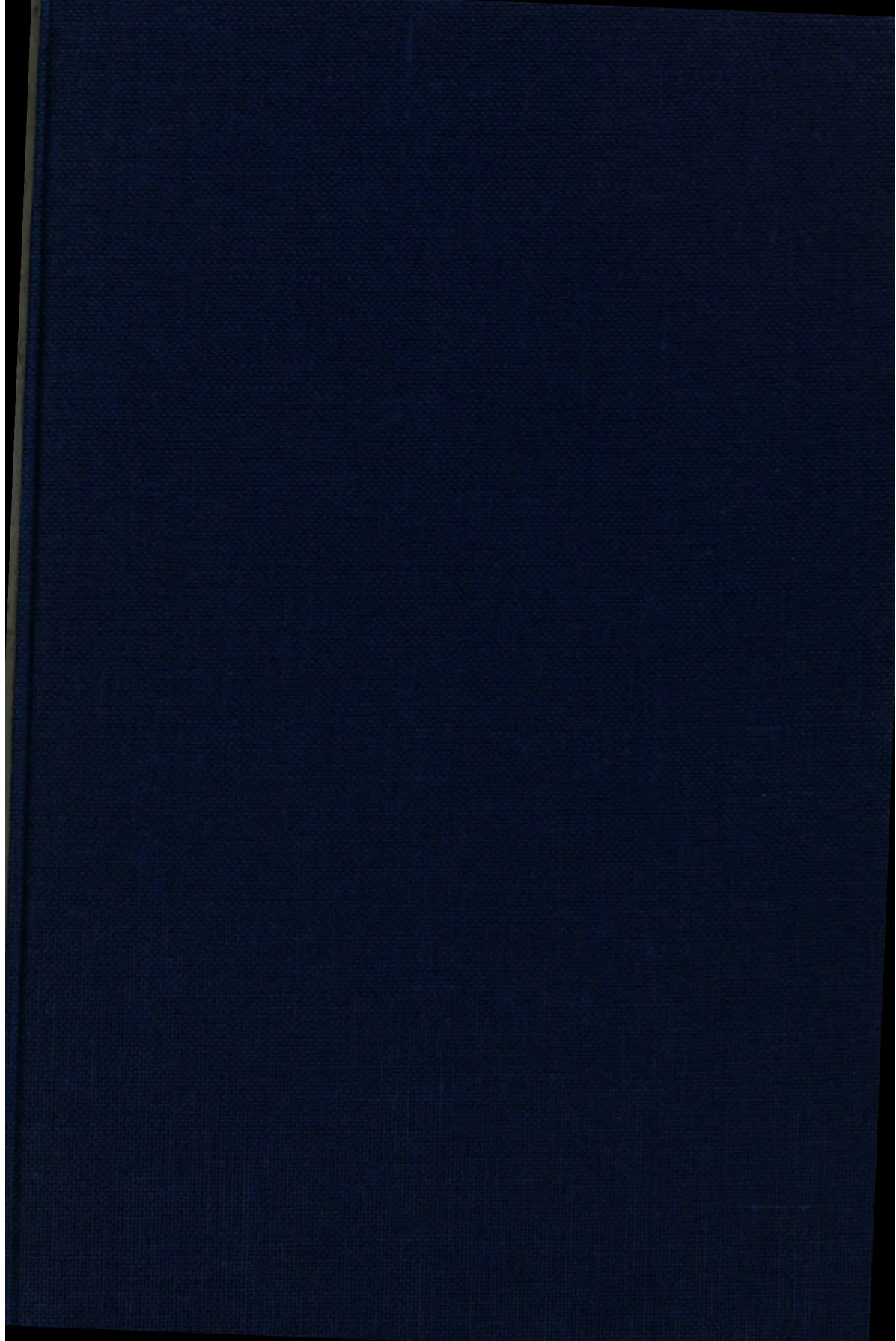






INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/29



Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/10

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)



EUROPE PRINTING ESTABLISHMENT

VADUZ – LIECHTENSTEIN

1973

Былое

БЫЛОЕ

№ 21

1923

R-

DK1

o B982

New ser.

no. 21-22

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

Годовик № 8

Напечатано 8.00 экз

ГОС. УЧЕБНО-ПРАКТ. ШКОЛА-ТИП. ИМ. ТОВА. АЛЕКСЕЕВА. ПЕТРОГРАД. КРАСНАЯ, 1.

Михаил Александрович Бакунин

Годы странствий

(1840—1849)

(Переписка с родными и друзьями):

17 октября 1914 г. я сдал в печать первый том „Семейства Бакуниных“— „Молодые годы Михаила Бакунина“. Том этот, составленный, главным образом, на основании семейной переписки, был в то же время продуктом десятилетней усиленной работы с моей стороны по части ознакомления с эпохой. Этот том заканчивается 1840 г.

Год этот послужил не случайно гранью моего произведений. В 1840 году М. А. Бакунин уехал в Берлин, после четырехлетних бесплодных стремлений туда; в том же 1840 г. умер (25 июня нов. ст.) Станкевич; и за год до этого времени Белинский переехал в Петербург. Таким образом, год этот послужил гранью, когда три главные столпа вышли из постройки.

Бакунин был в то же время членом другого, интимного кружка,—кружка, состоявшего из его сестер, братьев и барышень Веер. Читатель увидит, что Бакунин делал из-за границы всяческие попытки удержать этот кружок от распада. Судьба однако не судила ему успеха в этом предприятии; она не судила ему вообще вернуться на родину обычным путем. Вместо того, чтобы в течение двух-трех лет окончить курс Берлинского университета, как это предполагалось ранее, вернуться на родину профессором философии, Бакунин в корне изменил свое назначение.

Мы видим его уезжающим в Берлин полным философских интересов. И первый год, или даже полтора года, его письма полны философскими и религиозными интересами. Затем интересы эти мало-по-малу перемещаются у него налево, и мы видим, что он незаметно становится из гегельманца правого крыла гегельманцем левым. Затем он совершенно теряет интерес к религии и на третьем году пребывания за границей становится почти атеистом. Вместе с тем, он печатает в „Deutsche Jahrbücher“ статьи хотя и под псевдонимом Jules-Elyazar, но уже настолько резкие, настолько прямо отрицающие все современные условия общественного строя, что возвращение в Россию

становится для него весьма проблематическим. Правительство очень скоро угадало его настоящий образ мыслей, и в 1844 году, когда оно предложило ему вернуться обратно, Бакунин мог послать только категорический отказ. Затем наступает путешествие его по Швейцарии, Бельгии и Франции; из этой последней в 1847 г. его изгоняют, но он возвращается обратно через несколько месяцев, в момент революции, в феврале 1848 г. С этого момента наступает беспорядочная, но решительная борьба против всех существующих правительств, пока, в мае 1849 г., Бакунин не попадает в руки саксонских жандармов. Тогда начинаются процессы, приращения его к смертной казни, сперва в Саксонии, затем в Австрии и, наконец, выдача его в Россию. Таким образом, Бакунин обратно переезжает границу в мае 1851 г., после одиннадцатилетнего отсутствия, но для того только, чтобы просидеть шесть лет в крепости и, кроме николаевских жандармов, видеть лишь раз в год кого-нибудь из сестер и братьев.

Эти годы странствий начинаются спокойной и интересной жизнью в Берлине, главную часть которой Бакунин провел с Тургеневым, и в его письмах, и в письмах его семьи того времени есть много ценных подробностей и о жизни этого последнего.

Предшествующий том мы называли „Молодые годы Михаила Бакунина“. Теперь это будут „Годы странствий“ знаменитого анархиста, обнимающие собой время от 1840 по 1849 год.

I.

Михаил Александрович Бакунин 29 июня 1840 года сел на пароход в Кронштадте и 30 выехал из России за границу. 4 июля на плыве сугки он приехал в Травемюнде, а 9/21 июля в 6 часов вечера приехал в Берлин.

В Берлине он неожиданно нашел сестру свою Варвару Александровну Дьякову, с сыном Сашей, мальчиком пяти лет (род. 1835 г. ноябрь) и поселился с нею вместе.

Своим домашним он пишет еще с парохода:

„На пароходе.—31 час от Травемюнде.—4-го июля 1840. Четверг, 10 часов утра.

Милые друзья. Вот я и на открытом море,—уже два дня, как не видно берегов;—впродолжение всего нашего плавания был противный ветер, даже маленькая буря.—Почти всех укачало, исключая меня и еще двух пассажиров.—Я почти не сходил с палубы и не спускал глаз с величественного, для меня совершенно нового зрелища.—Вчера погода утихла,—небо было ясно, я видел захождение солнца, восхождение луны вчера вечером,—а сегодня восхождение солнца. Наконец-то я увидел настоящее безграничное море,—и никогда не позабуду его.

Петербург произвел на меня тяжелое впечатление;—Les petites misères de mon petit cercle d'autre fois sont venues m'atteindre jusqu'à Petersbourg et j'ai dit un adieu bien sincère à tous ces Messieurs. Il m'en a bien coûté de rompre tous ces liens, qui m'étaient si chers il y a un temps. Mais il

a fallu enfin;—je ne puis rien avoir de commun avec ces petits misérables hochets, qui remplissent leur existence actuelle, — avec ces petits, amours propres, qui s'encensent mutuellement—je me suis séparé d'eux de fond de mon âme ¹⁾). Вот почему пребывание в Петербурге оставило во мне тяжелое томительное чувство ²⁾).—Правда, что я несколько отдохнул душой в обществе Герцена и жены его,—но только несколько. Нужно было другое сильнейшее средство;—и я нашел его в море. У меня нет описательного слога и потому я не стану описывать его; укажу только, что оно мало-по-малу освободило мою душу от всех мелочей, томивших ее, и настроило ее к чему-то торжественному.

Да, милые, добрые друзья, все глупое, пошлое и мелочное, все это исчезло из моей памяти;—осталось только существенное,—только то, что действительно входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь.—Как часто я думал об вас,—как желал вашего присутствия для того, чтоб передать вам чувство невыразимого восторга, наполнявшего душу мою.—Да, друзья, наша взаимная неразрывная любовь есть наше общее, драгоценнейшее сокровище; в ней чувствую себя дома, в ней все для меня понятно, в ней не боюсь я глупых недоразумений,—не боюсь предаться свободному течению своей жизни, которая может иногда заблуждаться, но которая никогда не теряет из виду истины,—своей единственной цели и своего единственного назначения.

Покамест, прощайте, иду на палубу смотреть на остров Борнгольм.

„Законы осуждают предмет моей любви“.

Танюша, это к тебе относится:—милая, хорошая девочка, пиши мне скорее и люби меня по-прежнему ³⁾).

А ты, милая Ксандра ⁴⁾),—не забывай своего обещания,—я с тобой был откровенен, плати мне тем же.

Ваш М. Бакунин.

4 июля, четверг, 12 часов ночи; в 10 часах от Травемюнде.

Завтра, часов в 10 утра, мы прибудем в Травемюнде. Сегодня проехали два острова: Борнгольм и Рюген,—последний представил мне мало замечательного, но первый поразили меня;—берега: гранитные, высокие скалы,—на высшей из них древний, полуразрушенный замок,—вдали цветущие луга, рощи, деревни,—все это так мило, грациозно;—маленькие и сельские домики с красными крышами, купающиеся в садах;—а берег такой грустный, унылый,—множество чаек. Я вспомнил стихи Гейне, так верно выговаривающие

¹⁾ Маленькие несчастья моего старинного кружка преследовали меня до самого Петербурга, и я очень искренно распростился со всеми этими господами. Мне очень много стоило порвать все эти связи, когда-то мне столь дорогие. Но, наконец, нужно было: я не могу иметь ничего общего с этими маленькими несчастными игрушками, которые наполняют их тщеславное существование, с этими маленькими самолюбиями, которых они взаимно поклоняются; я отделился от них всей моей душой.

²⁾ Тут намек на историю его с Катковим, о которой см. „Молодые годы Михаила Бакунина“, стр. 675 и след.

³⁾ См. там же, стр. 209 и след.

⁴⁾ Ксандра—Александра Александровна Бакунина; в данное время у нее был роман с Вас. Петр. Вяткиным, о котором см. там же, стр. 511—557.

эту строгую и вместе глубокую северную красоту, да еще *Rigate* Вальтер Свотта! Во всем что-то грустное, унылое,—и вместе величественное, бесконечное, могучее,—северная жизнь и красота. Покамест, прощайте, друзья; в Гамбурге еще напишу. Итак, завтра я вступаю в новый мир,—с верою и с свежим теплым чувством, открытым для всех впечатлений. Все, что хоть несколько войдет в мою жизнь, будет Вам известно. Прощайте, милые, хорошие друзья. Пишите мне скорее. Послезавтра я буду в Гамбурге, где пробуду до вторника, а в среду буду в Берлине, откуда немедленно буду писать родителям, у которых прошу теперь поцеловать ручки.

5 июля.

Сейчас приехал в Любек.—Сейчас же едем в Гамбург.

Из Гамбурга Бакунин написал письмо В. А. Дьяковой, сестре своей, бывшей за границей. Он еще не знал в то время о смерти Станкевича, который умер в Нови с 24 на 25 июля нового стиля на ее руках, и потому первое письмо из Гамбурга 8/20 июля было отправлено к ней с художником Серебряковым на Итальянские озера, где по их предположению Серебряков должен был найти их обоих.

Гамбург, 18—8/20—40 июля—понедельник.

Милая Варенька.—Я пишу тебе с художником Серебряковым, с которым мы выехали вместе из Петербурга и с которым, вероятно, расстанемся сегодня вечером.—Он думает быть дней через 20 на Лукских водах, где, вероятно, найдет тебя, Станкевича и Ефремова.

Вот и я также за границей, Варенька;—во мне еще такая ералашь, что я ничего не могу сказать тебе о себе определенного, и грустно, и весело вместе; опять вера, опять надежды;—все, окружающее меня, так ново, оригинально,—все это дышит такою веселою, живою жизнью.—Теперь спешу в Берлин, где должна начаться моя новая жизнь.—Я уверен, что мне будет хорошо там, потому что я всей душою предаюсь науке, и наука для меня не только одно отвлеченное знание, но и жизнь вместе.—В последнее время я стал несколько пияетистом;—беспорядок в занятиях, почти совершенное одиночество в стремлении к высшему, религиозному и философскому знанию, неопределенность моей будущности,—все это вместе с некоторыми весьма неприятными и запутанными обстоятельствами сокрушило мою прежнюю энергию и, породив во мне тяжелое постоянное уныние, заставило меня спрятаться в себе. Одним словом, мне было нехорошо, я был болен и чувствую теперь, что мне необходимо крещение, а жду этого возрождения в Берлине и, кажется, найду в нем то, чего ищу.

Ты не можешь себе вообразить, как грустно мне было расставаться с Премухиним.—Маменька осталась та же,—*ein Naturkind, etwas durch eine falsche Erziehung verdorben* ¹⁾, иногда добра, иногда очень сердита, капризна,

¹⁾ Дитя природы,—несколько испорченное фальшивым воспитанием.

несправедлива, приваичива,—манерами, словами и поступками своими беспрестанно оскорбляет естественное чувство;—совершенное отсутствие женственности.—Впрочем, она любит нас, а в этом убедился при расставании; но папенька совершенно изменился;—он стал так мягок, кроток, снисходителен, святой старик. В последнее время он был так грустен, ему было так грустно расставаться со мной, что я готов был остаться, если б не был убежден, что, оставшись, я буду в тягость и себе самому, и всему семейству.—Сестер ты знаешь, и потому мне нечего говорить тебе об них;—разница только та, что после твоего отъезда и после кончины Любаши они почти совсем утратили ясность духа, они почти всегда грустны, бедные девочки, им тяжело жить на свете.—Ты поймешь, как грустно нам было расставаться;—одно успокаивает меня,—брат Николай, который служит теперь в артиллерийской бригаде, стоящей в Твери, славный, благородный, умный человек, с любящей душой;—он будет замечать меня, будет крепкою опорой для сестер. Кроме этого, и другие братья уже подросли. Павел уже совсем не ребенок;—в последнее время мы с ним очень сблизились и были почти неразлучны. Алексей берет уроки у Лангера и совершенно счастлив ¹⁾; Лангер же удивляется его способностям и его прилежанию, Александр будет брать уроки рисования—и верно будет хорошо рисовать ²⁾. Илья добрый и благородный малый, влюблен в Анну Петровну Ушакову ³⁾ и потому несколько фразерствует. С Беевыми произошла также счастливая перемена:—Наталья стала менее требовать от жизни и бразовала в себе действительную покорность судьбе и действительное самоотвержение, а Alexandrine смягчила несколько свое стическое отвлеченное самоотвержение, стала человечнее в своих отношениях с друзьями и не боится более требовать от них и от жизни. Они святые женщины, так горячо и свято любят, так немного требуют и так свято и кротко умеют покоряться необходимости, что ты не узнала бы их ⁴⁾.—Константин также славный, благородный малый,—под флегматическою внешностью его скрывается горячее любящее сердце. Он принадлежит к нашему маленькому, тесному кружку, в котором мы все так свободны, так счастливы, так уверены друг в друге ⁵⁾.

Вот тебе, милая Варенька, полный и подробный отчет во всем, касающемся до наших родных и друзей. Я ни слова не сказал об Alexandrine ⁶⁾;—но я жду от тебя ответа на мое последнее письмо, которое, вероятно, удивило тебя, и тогда уже скажу тебе все, что думаю и знаю.

¹⁾ Из него вышел впоследствии музыкант, писавший даже свои импровизации.

²⁾ Талант оказался очень небольшим, и из него не вышел даже посредственный художник.

³⁾ Вышла потом замуж за старшего брата Николая Бакунина.

⁴⁾ Об обеих сестрах и их отношениях к Михаилу Бакунину—см. „Молодые годы Михаила Бакунина“.

⁵⁾ О нем так же, но гораздо меньше.

⁶⁾ О сестре Alexandrine—намек на ее роман с Боткиным.

Тебе теперь хорошо, друг, — ты окружена родными, любящими тебя людьми, ты теперь отдыхаешь от всего перенесенного и выстраданного тобой. Напиши мне в Берлин хорошее, большое письмо; тогда я буду уже и сам, вероятно, в состоянии отвечать тебе отчетливее, чем теперь; а теперь у меня сумбур в голове. — Скажи Станкевичу, что я не пишу ему, потому что еще не могу писать; — приеду в Берлин — напишу. Что его здоровье? Не давай ему простужаться. Я знаю, и ему будет хорошо с тобой. Попроси его, чтобы он прислал мне рекомендательное письмо к Вердеру. Папенька писал к S-t. ельмскому коменданту и к Муравьеву в Флоренцию; — смотри, чтобы они не написали, что ты поехала в Рим, ведь ты ничего не писала об этом родителям. Прощай, друг, из Берлина напишу ¹⁾.

Поклонись от меня Ефремову.

М. Бакунин.

Первые письма из Берлина к родным не сохранились; зато сохранилось следующее письмо к Беерам:

Берлин. 18—25/13—40. Июль.

Вот я, наконец, и в Берлине, друзья; — сухопутное и морское странствие мое продолжалось ровно 22 дня. — 22 июня отправились мы вместе с сестрами и братьями в Козинино, и вечером часов в 9 простился я с ними надолго. Со мной поехали в Торжок Павел и Алексей, с которыми я простился 23 июня по утру, и сел в дилижанс; 25-го прибыл в С-т-Петербург; 26-ое, 27 и 28 июня употребил на разные хлопоты; — виделся несколько раз с Белинским; — последнее свидание наше вполне убедило меня в том, что мы совершенно разошлись с ним. — Было время, когда мы могли понимать друг друга, когда в наших существованиях было что-то единое, нераздельное; — теперь же мы потеряли друг друга из созерцания; — мы идем совершенно противоположными путями. — Не знаю, как он обо мне думает, но я никогда не перестану думать и быть уверенным, что при всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого. Мне грустно за него, потому что он глубоко страдает; — он мучение обстоятельств и своего ложного направления.

Pour le moment c'est une existence manquée; — mais il viendra un temps, j'en suis tout-à-fait certain, — où il trouvera une réalisation plus complète et plus analogue à sa profonde nature ²⁾.

Герцен, особенно жена его, были моею отрадою в Петербурге; он прекрасный, умный, благородный человек; а она святое, любящее истинно жен-

¹⁾ См. там же, стр. 645.

²⁾ Для данной минуты это потерянное существование, но придет время — я в этом совершенно уверен — когда он найдет счастие более полное и более согласное со своей глубокой природой.

— О Бакунине и Белинском, о их схождениях и расхождениях — см. особенно главы XVI, XVII, XVIII и XXIV—XXVIII „Молодые годы Михаила Бакунина“. Впоследствии они сошлись окончательно.

ственное существо. — Я был дома с ними. — 29-го июня по утрам сел я на маленький пароход, который должен был отвезти пассажиров в Кронштадтский рейд на большой Любекский пароход. — Но противный ветер был так силен, что после двух часов плавания мы должны были возвратиться в Петербург. — В 6 часов вечера опять отравились и прибыли в Кронштадт в 1 час ночи. — Из Кронштадта выехали 30 июня в полдень и пробыли на море 5 дней и 5 ночей, — я в первый раз в жизни видел настоящее безбрежное море; — если бы вы знали, друзья, как оно хорошо. — Я долго, долго смотрел на него, и чего не перечувствовал и не передумал в этом безмолвном и совершенно одиноком созерцании; — одиноком, потому что я оставался на палубе поздно ночью в то время, как все уходило в каюты спать; — я смотрел на луну и беспрестанно думал об вас, сестрах и братьях, — моих истинных и единственных друзьях. — В эти пять дней я успел передумать все прошедшее, и с трепетным ожиданием смотрел на свою будущность, — которая, верьте, друзья, нераздельна с вашей будущностью. — Наши жизни крепко связаны неразрывными, священными узами, и что вы ни говорите, — ничто не в силах расторгнуть их; — не правда ли, друзья, вы сами уверены в этом. — 4/16 июля прибыли мы в Травемюнде, на который вид с моря восхитителен; все так живо, деятельно, оригинально. Из Травемюнде отправились мы втроем, полковник Ломан, художник Серебряков и я, в Любек. — Последний познакомился во Флоренции со Станкевичем и Ефремовым; — он поехал в Италию, в Лукским водам, где увидится с ними и с Варенькой; вследствие чего я ему поручил отдать ваши вещи Станкевичу и Вареньке. — Германия произвела на меня чудное впечатление; — теперь я не могу еще отдать в нем полного отчета. Хорошо, очень хорошо. — Она даст мне то, что мне нужно. — Я достигну в ней своей цели.

4/16-го же июля прибыли мы втроем в Гамбург, где и пробыли три дня. — Не смейся, Костя. — Окрестности чудесные, нежки премиленные, все говорят: „Ja wohl“.

9/21-го полковник Ломан и я выехали с лон-кучером из Гамбурга; с ними ехали плотники из Бремена, — молодые люди, которых по обыкновению бременский магистрат послал путешествовать и работать в чужих людях; — они пели нам свои национальные песни. — На дороге купил одну философскую книжку и читал ее всю дорогу, а сегодня в 6 часов вечера прибыли в Берлин. — С завтрашнего дня начнутся мои хлопоты; — нужно устроиться.

— Город прекрасный, мне будет в нем хорошо во всех отношениях.

— Теперь пора спать, прощайте, друзья. — Я не прошу вас не позавидовать меня и любить меня по прежнему, потому что уверен в неизменяемости вашей, — но прошу вас верить в глубину и неизменяемость моей любви к вам.

— Покамест пишите ко мне *Poste-restante*, а когда устроюсь, напишу вам свой настоящий адрес.

Прощайте.

Ваш М. Бакунин.

Настасии Владимировне ¹⁾ прошу засвидетельствовать мое глубочайшее почтение.

Мишело писали из дому, первый раз после его отъезда, лишь коротенькое письмо, незначительное по содержанию, 2-го июля.

7-го июля ему писала Татьяна:

„Мы опоздали тот раз, как ни спешили.—Милой, доброй, хорошей Мурушка, вот ты и в Берлине; заботы верно не заглушают радости твоей, а мне, Миша, так весело думать, что и тебе, и Вареньке, и Станкевичу хорошо, свободно теперь, что вы близко друг к другу, и может быть скоро вы соединитесь. Я никак не могу представить, чтобы Италия так далеко была б от Берлина, ведь это все уж за границей, за околованной чертой, через которую так весело было б перескочить мне—за нею все расстояния, все невозможности исчезают: чудно, прекрасно там. Сердце так сильно, так порывисто бьется при одной мысли о том крае, об его сокровищах. Вчера вечером, при месячном сиянии, Павел, Алексей и я ходили по обычной дороге к Лопатину и все говорили об Италии, Швейцарии и Германии. Если нельзя исполнить желания, так и говорить об нем уж облегчает душу, умирляет нетерпение ее — только не всегда. В Твери мне тяжело было называть Премухино и теперь часто, если очень захочется видеть Любашу, я не могу выговорить слово про нее, каждое раздрает сердце, доходит нетерпение до нестерпимой тоски, так что, Бог знает, где искать облегчения.

Прощай, Миша, плачет какой-то ребенок, пойду, узнаю. Отнесла маленькую девочку к матери и пришла опять к тебе.

Маменька с бабушкой поехали в Баховкино, папенька остался с нами. Если б ты знал, Миша, как отраднo чувствовать, что мы можем быть чем-нибудь для него, мы почти беспрестанно с ним, и он так нежен, так добр.

И это счастье, друг, ты нам дал. Без тебя мы бы всегда остались в том тяжелом отдалении, в котором воспитание наше поставило нас от него. Сколько раз старались мы приблизиться к нему, но он так мало верил искренности нашей и сам был так скрытен, что все попытки были напрасны. Ты первый заговорил с ним, высказал перед ним свои и наши чувства, и сблизил нас. Видишь, Миша, причиной всего нашего счастья, всех радостей — всегда ты. Я хочу верить, что жизнь вознаградит тебя за все, что ты сделал для нас. Алеша говорил, что мы теперь точно стадо без пастыря (пастырь лучше, чем пастух), и что он еще никак не может собраться с духом. Правда, без тебя все как-то не так. Не думай, однако, чтобы мы предавались грусти — нет, друг, твоя сила осталась с нами. В каждом из нас — с новыми мыслями, с новым сознанием рождается и новая вера. Я не жалею, что детская вера моя покинула меня, она не удовлетворяла меня больше. И я жарко молилась, чтобы Бог открыл мне глаза. Он открыл, но только на ложь, которая окружала меня, истина не доступна еще слабым глазам; но я предчувствую ее, я знаю, что вне ее нет жизни, и верю, что когда-нибудь она прояснит тьму и сомне-

¹⁾ Мать Бееров.

ние. Терпение, покорность не есть ли уж живая вера в Бога. Мое неведение не мучит меня больше — в любви заключается высшее знание. Когда я буду любить всю бесконечность моего духа, тогда и Божественная истина откроется мне, проникнет меня.

Вот и Паша пришел. Если б ты посмотрел, как один раз ночью (это было третьего дня) он сидел на скамеечке перед фонтаном, и слезы, точно бриллианты, падали из глаз его. Месяц прямо глядел на нас, и мы подумали — он, верно, подслушивает, чтобы рассказать тебе. Ведь, в Берлине он той своей стороной светит, которой и у нас. Другая сторона спряталась в небе, по земле соскучилась вдали. Эти три ночи мы с Пашей все идеализировали, и ото всей души, без всякого утомления — за церковью, подле Любашки, просто невыразимо хорошо. Эти прекрасные южные деревья и цветы между нашими русскими производят на душу какое-то чудное, невыразимое впечатление. Если бы ты был с нами третьего дня ночью, так не захотел бы уйти оттуда. Темно-синее небо, усеянное звездами, месяц, который то скрывался, то выходил из-за туч и отражался в пруду, высокая, точно мрамор, белая церковь, Кутузова и Вязовая горка с своим обрывом и высокими деревьями — все, облеченное в ночной таинственный свет, представлялось глазам совершенно в ином виде и в тысячу раз лучше, чем днем. Такая ночь лучше и утра, и дня. Чтоб ею наслаждаться, можно жертвовать днем и многими днями.

С тех пор, как ты уехал, Миша, мы не имели писем от Бееров. Твое письмо из Петербурга хоть немного утешит их; бедные девочки, что-то делают они теперь, тяжело, грустно им. Посмотрела бы на них. Когда-нибудь будем вместе. Не навсегда же разделил нас Бог. Прощай, друг, пойти к папеньке*.

В письме от 1 августа пишет Татьяна свои жалобы на Павла:

„Милый, добрый друг, если б я могла выговорить перед тобою все, что лежит на душе. Мне так давно хотелось говорить, но я и теперь не знаю, скажу ли что-нибудь. Я хочу жаловаться на Павла. Он опять впал в то тяжелое, безутешное состояние, из которого ты один раз вырвал его. Твое присутствие живило его. Твоя крепкая вера спасала его от этих тяжелых рассуждений. Он работал, он жил с тобою — теперь время его течет в томительном бездействии, без интересу — как будто без цели — и он снова уверяет себя, что в нем нет ни искры любви — или веры, и что ему нечем жить — и что потому он и себе и другим в тягость. Миша, разбуди его, призови его опять к жизни. О, зачем же у него нет твоей силы! Ему бы никогда не должно расставаться с тобою. Милый друг, если б ты знал, как мне грустно; его положение страшно мучит меня: я не могу сама помочь ему и некого призвать на помощь — ты далеко, Alexandrine Беер тоже. Она бы рассуждала, говорила б с ним и верно б рассеяла его мрачные мысли, а мы, глупые, бедные девочки, ничего не можем. Любовь наша не исцеляет, как ни горяча, ни жива она. Что ж нам делать? О, друг, так тяжело, что пересказать нельзя. Я бы

никогда не стала роптать на Бога, если б он посылал горести на меня одну; но смотреть на страдания друзей—это выше сил моих... Миша, скажи, что с Павлом? Ведь и здоровье его терпит от этого тяжелого расположения. Он почти ничего не делает, ночи не спит, а время страшно бежит, только следы страдания не уходят с ним“...

Дальше она по-немецки пишет о Вареньке, не зная, что Мишель с ней живет вместе, и предполагая, что она в Комо. Следующее письмо от 24 августа написано ею уже по получении известия из Берлина о Вареньке. Известие это каким-то образом получил и Александр Михайлович и вообразил себе, что Варенька с Мишелем съехались потихоньку, по взаимному уговору. Татьяна пишет:

„Кажется, я разуверила папеньку, кажется, убедила его, что вы не обманом соединились в Берлине. Я говорила, что мы должны бы также об этом знать, если б это соединение было давно предположено между вами, и что готова показать ему письмо твое, где ты пишешь, как и почему ты оставила Италию; но вы, друзья, все-таки оправдайтесь сами перед ним, он такой милый, добрый. Мы все собрались вокруг него на балконе и говорили с ним. А братья сажают, работают в Любашином саду, мы также“...

„Скоро и братья уедут. Грустно мне будет без них. Но мне еще грустнее за них самих, особенно за Павла. При тебе ему хорошо было, но с тех пор, как тебя нет, он часто опять погружается в то мрачное, худое расположение, которое ты разогнал в нем. У него так мало веры в самого себя. Я знаю это состояние; оно и меня доводит просто до отчаяния, и я тогда, помнишь, выдумывала разные глупые желания, хотела быть каким-нибудь гением. Как будто не в каждого вложено семя любви, которому только развиться должно, чтобы удовлетворить все потребности, всю жажду счастья в человеке. Зачем смотреть на других, надо только глубже заглянуть в самого себя, чтобы открыть богатство жизни, которого прежде и не предполагал возможности в себе. Я так счастлива, что меня оставили теперь все пустые желания, сомнения. Нет, Миша, я теперь сильнее, живее живу, чем когда-нибудь прежде. Выслушай всю мою исповедь. Я сама не знаю отчего, но никогда еще, как в это лето, мне не было так глубоко, так безограндно грустно,—казалось, вся жизнь моя перешла в непреодолимую, разрывающую скорбь о чем-то—в душе не оставалось места для радости, для наслаждения;—и вместе с тем я была так покорна, светла, спокойна, я радовалась, когда страдание мое доходило до самой высокой степени; мне казалось, оно искупляет все заблуждения, все вины мои, и я жила, Миша, и любила всеми силами духа. Когда ты говорил, что замечаешь в нас какое-то стояние, оцепенение жизни,—мне становилось еще грустнее, я не хотела, чтоб внутренние мучения мои отражались и на вас; уже мне оставалось одно желание, одна молитва—об вашем счастье. Я надеялась скрыть мое страдание и видела, что вы проникаете в него и что на вас оно ложится тяжелее. Тяжело, друг, не обвиняй меня в неосторожности,—я не могла говорить тогда, и ты бы сам не мог помочь мне. Мне нужно было, чтобы все переработалось в душе моей—тихо, без свидетелей. Теперь, друг, я выздоровела.

Первое письмо Вареньки о болезни Станкевича глубоко потрясло меня—вывело из самой себя, наполнило чем-то новым. Я много плакала, много молилась. Что-то светлое озарило душу. Потом надежда выздоровления его, — потом известие об смерти через Лангера—до ваших еще писем—и я совершенно исцелилась. Не одним только духом, но и физические силы мои, которые в продолжение этого лета постепенно упадали до самой большой слабости,—вдруг встали. Я воскресла, оживилась вместе с этой чудной осенней природой—мне так легко, так весело теперь. Милые, добрые друзья, обнимите меня крепко, крепко,—дайте взглянуть на вас.—Да, я чувствую, они с нами—наши небесные друзья, их светлые души вечно пребывают между нами. Христос со всеми вами.

Татьяна.

Пожалуйста, поклонитесь Ефремову, он был с Станкевичем, с Вареньбой. Письмо ваше я пошлю к Беерам завтра“.

9-го августа нов. стиля сама Варвара Александровна пишет первое, со времени смерти Станкевича, письмо домой (по-немецки). Она уже с месяц находится в Берлине с Мишелем, в одной квартире, с ним „после стольких кровных страданий, после стольких безотрадных, бесплодных действий—опять надеющаяся, спокойная и полная любви и благословений—это не будет для вас,—прибавляет она,—друзья любимые, слишком неожиданным“...

О Станкевиче она пишет, что „он не умер, он живет в прекрасном воспоминании о нем“, но „оставил ее“ в этой ужасной пустыне и в одиночестве которых она не могла вывести. Смерть Станкевича для нее—не смерть, а преобразование. Далее она пишет о путешествии домой, что при одной мысли о нем, в связи с мыслью о ребенке, который будет расти и воспитываться в тех же местах и условиях, в которых протекала ее печальная юность,—ее бросает в нервную дрожь, но с другой—мысль об отце, об этом добром, прекрасном отце, переворачивает в ней сердце, и она хочет, очень хочет его видеть, побыть с ним.

Потом обычные мысли о Танюше и о вере в Бога; а потом об Александрии и просьба рассказать ей все о ее романе с Боткиным, который в это время, как мы знаем, приходил к своему печальному концу ¹⁾.

Кончается это письмо неожиданным восклицанием:

„А теперь, до свидания, „должна“ отворить двери Мишелю,—сегодня вечером у нас собирается общество, мы читаем Байрона „Каина“ в немецком переводе. Всего хорошего. Ваша Варенька“.

Перо переходит в руки Мишеля, и он пишет далее приписку, которая почти ввосье превышает письмо Вареньки:

„Танюша, милая,—так начинает он свою приписку,—неприменно напиши мне подробный журнал всей своей болезни и последовательном ее ходе—все, что ты чувствуешь—и пришли мне его скорее. Я дам его Schönlein, здешнему

¹⁾ См. „Молодые годы М. А. Бакунина, с. 525—557.

славному доктору, который и меня будет лечить. Твой организм я знаю—и так могу добавить остальное, и он мне скажет, что тебе нужно;—неприменно, без всяких отговорок и отлагательств, сделай это, Таниша.

Слышишь, Таниша, непременно, без всяких отлагательств. Это может быть для твоего здоровья очень полезно. А ты знаешь, как здоровье необходимо для крепкой, духовной жизни^а.

Дальше он пишет по-немецки, ко всем домашним вместе:

„Любезные друзья, ваше желание исполнилось—мы с Варенькой соединились, но мы дорого за это соединение заплатили: Станкевич, этот святой, благородный человек—нас оставил. Я не знаю, как, но его смерть не угнетает меня,—напротив, она внушает мне возвышенную веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами—он передал нам священное значение и неизмеримо глубокий смысл своей жизни,—как бы единую цель, к которой мы все теперь должны стремиться и которой осуществление будет неисчерпаемым источником душевной любви и неги. Он к нам ближе теперь, чем когда-либо, он нас не оставил. Такая смерть, как его, есть самая полная победа над смертью,—благородное откровение бессмертия и бесконечное могущество живого и во истину вечного Духа.—В Вареньке его личность для нас всех,—наше совершенное примирение. А Бееры с нашей малой духовной семьей нераздельно связаны. Он—наш, ему не чужд самый высокий и глубокий смысл нашей общей жизни и стремления. Да, друзья, я надеюсь, я совершенно уверен, что его смерть также и вас не разбила и что вы, так же как мы, понимаете ее глубоко и разрешающее значение, что живо и глубоко чувствуете—и что в ней находите новый неисчерпаемый источник духовной, высокой и святой жизни. Друзья, мы все много страдали, мы все понесли величайшую потерю, но мы должны и можем принять ее с радостью, в основе всей нашей жизни лежит бесконечная истина, единственно делающая нас человеческими и блаженными; это святое основание нашей общей духовной сущности есть также ее единая цель, цель, которая не недостижима и которой мы достигнем. Наш союз, наша взаимная любовь стоят на твердом основании и поэтому также неразрывны.

Опыт и время сломали все, не истинное, только им принадлежащее—мы остались одиноки,—а кругом ничто более, как ужасная пустыня, на которой мы встречаем карикатурные тени нашей собственной внутренней жизни,—тени, которые мы по ошибке принимали за родственные души. Теперь мы очень хорошо знаем, что это за души и как мало они нам родственны. Мы чувствуем себя одинокими,—но в этом одиночестве мы не одни—из бесконечной глубины вечной истины проникает к нам полнота истинной духовной и душевной жизни. Поэтому, друзья, мы хотим взаимно быть верными...

— Наша берлинская жизнь совершенно тиха и отвечает потребностям нашего духовного существа. Мы познакомимся с Вердером—это прекрасный человек. Он был у нас несколько раз. Теперь он отсутствует на два месяца. Зимой мы надеемся его часто у нас видеть. Мои занятия обещают хорошо идти. Этой зимой я буду слушать Вердера: 1. Логика и 2. Историю философии; Ватке—теологию; Габлера—феноменологию и физику^а.

Дальше по-русски:

„Милый Паша, дай осмотреться, обо всем буду писать и при случае pošлю тебе несколько полезных тебе книг. Не можете ли вы как-нибудь прислать нам песни Лангера. Когда будешь в Москве, пришли мне адрес Рекина и Грановского. Месяц посвящаю немецкому языку, а через месяц примусь за греческий. Скажите папеньке, что я непременно пришлю ему семян. Друзья, пишите больше и обо всем, до вас касающемся.

На днях напишу Бееровым и Шпилевскому.

Ваш брат и друг М. Бакунин.

Варенькино присутствие в Берлине должно оставаться величайшею тайною. (По-немецки) Пишите мне все—и худое и хорошее без исключения, что родители обо мне и о Вареньке скажут“.

18—30/18—40 августа. Берлин.

„Милая, бедная Танюша. Тяжело тебе теперь жить на свете;—все кругом страдает; Саша молчит, да про себя знает; Паша ждет только берлинского пистолета для того, чтобы застрелиться; а ты и должна утешать то того, то другого;—к тому же никто и утешаться не хочет, все хотят страдать. В самом деле, милая, хорошая, добрая деночка моя, тебе должно быть часто тяжело. (Дальше по-немецки) И твоя собственная внутренняя жизнь сама не свободна от великих страданий и противоречий. Ты дорогою ценою высокого достоинства твоего любвеобильного женственного сердца заплатила; что я тебе говорил, Танюша, не какая-нибудь незаслуженная похвала; ты могла сама в себе сомневаться. Нет ничего естественнее, что в то время, как ты о самой себе рефлектируешь—а одностороннее рефлектирование о самой себе есть очень часто твой величайший грех—ты ужаснейшие чувства и помышления в себе находишь. Это сущность рефлексии—что в то время, как отчаяешься в своей любви и достоинстве—не находишь в себе никакой любви и никакого достоинства. Каждая человеческая природа есть возможность всяких зол, как и всяких благ, и когда о себе слишком рефлектируешь, когда слишком много занимаешься сожалениями о своей ничтожнейшей индивидуальности, то принимаешь возможность зла за действительность, а возможность добра кажется полным отсутствием такового. Но это одни лишь призраки; из работы над своим усидевшим Я невозможно восстановить правду. Это мы все прекрасно знаем, в этом мы все совершенно убеждены, но, несмотря на это, когда мы впадаем в такое настроение, мучаемся мы совершенно так же, как будто об этом ничего не знали. Отчаяние в своей любви и в своем достоинстве есть наилучший признак их присутствия в человеке; когда мы к чему-нибудь стремимся, то это что-нибудь есть в нас; иначе и само созерцание стало бы невозможным; это только внутреннее противоречие, и всякое внутреннее противоречие необходимо указывает свою разгадку. Отчаяние в самом себе есть болезнь, которая проходит при помощи мыслей—прозорливости и воли; это новый род эгоизма самого худого самолюбия; против бесконечной силы воли не может оно противустоять; его

нужно себе покорить и при помощи бесконечного достоинства и божеской духовности проникнутого любовью и вечно в человеке гнедущая любовью прилаживать.

Постоянное самоуглубление есть всегдашняя боль, но вместе тоже и высочайшее блаженство. В нем—сама конечность, единственный источник всех наших страданий, она становится источником высшего блаженства, когда только в бесконечности.

Wohl endet Tod des Lebens Noht
Doch schauert Leben vor dem Tod
So schauert vor der Lieb ein Herz,
Als ob es sey vom Tod bedroht,
Denn wo die Lieb erwachet stiert
Das Jch der dunkele Despot.
Du lass ihn sterben in der Nacht
Und athme frey in Morgenroth¹⁾.

Самоотрицанием только конечного и единственного в человеке становится в нем действительным и живущим Богочеловек—вечная история становления человека богом.

Милая и прекрасная дружина моя, я теперь понимаю всю истину совета, данного мне Станкевичем в последнем письме ко мне: жить тихо, спокойно наслаждаться тем, что дает настоящее, делать все, что можно в настоящем, не требовать от себя слишком многого, но вместе с тем и не давать себе слишком много воли—и не слишком думать и заботиться о будущем. Эти слова основаны на глубоком знании человеческой природы; вот смысл, скрывающийся в них: человек рожден от духа Божьего, божественная истина его начало и конец его, единственная цель его жизни. По существенной природе своей он бесконечен и может удовлетвориться быть истинно счастливым и спокойным только в бесконечном. Но он и конечен также, и, как, конечный, не соответствует своей бесконечности, не может вполне осуществить ее в себе; как конечный, он окружен препятствиями, противоречиями, от которых находится в зависимости, не может заключить в одном определенном действии всей бесконечности своей духовной природы: часто падает, противоречит самому себе. Это противоречие есть необходимый результат его конечности; но оно не неразрешимое противоречие. Оно не только что не должно

¹⁾ Хотя кончается смерть нужна жизнь.
Однако содрогается жизнь перед смертью,
Так содрогается сердце перед любовью,
Как если бы ему угрожала смерть.
И'о. где любовь рождается, там умирает „я“,
— Тщательный деспот.
Ты оставь его умирать в ночи
и свободно дыши на заре.

разрушать гармонию, но существует единственно только для истинной гармонии, которая не иначе возможна, как через отрицание бесконечного в бесконечном.

Всякая истинная потребность, всякое истинное движение—все, что необходимо, должно осуществляться.

Ein guter Mensch im seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst“¹⁾.

1 сентября 1840 г.

„Милая Танюша, видишь, как я разболтался. Все эти дни мне так хотелось говорить с тобой и Павлом.

Вот вам о чем мое наставление:

Не теряйте времени в сомнениях в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком.

Не рефлектируйте на свое прошедшее и не думайте о том, что то, что было, могло бы быть иначе, и если это было бы иначе, то оно было бы лучше. Такая рефлексия есть ложь и грех против Духа, потому что в ней заключается следующая мысль: „правда, что во мне лежала возможность лучшего, но эта возможность есть только прошедшая, исчезающая возможность, и для меня теперь нет выхода“. Такая мысль есть ложь, потому что она отрицает сущность Духа. Дух не есть прошедшее, но настоящее, die ewige Gegenwart²⁾, вечное присутствие составляет его сущность. Правда, что в конечном происхождении своем, как человеческий дух, он зависит от индивидуальности человека, от временного развития ее и от внутренних и внешних обстоятельств, условливавших его. Как конечный дух, он имеет прошедшее, от которого зависит его настоящее, но это настоящее не есть еще истинное, вечное присутствие Духа, но конечное, ограниченное прошедшим и будущим. Оставаясь в нем, человек может и должен страдать, может и должен жаловаться на свое прошедшее и бояться за свое будущее. Но он не должен оставаться в этом конечном настоящем, er soll nicht die endliche, vergängliche Gegenwart seiner individuellen Lebens gegen die Wahre und ewige Gegenwart des Geistes erstarren (он не должен конечное, преходящее настоящее своей индивидуальной жизни противопоставлять против истины и вечного настоящего Духа).

В этом настоящем есть еще остаток эгоизма, потому что эгоизм есть не что иное, как удержание противоположения своей конечности бесконечному. Человек должен отрицать свою конечность, свое конечное настоящее, которое вследствие своей конечности беспрестанно проходит — в бесконечной, свободной и благодатной истине вечного, безвременного присутствия Духа. С этим отрицанием конечного, которое, в свою очередь, есть не что иное, как отрицание бесконечного, с этим отрицанием отрицания человек возвышается в свою

¹⁾ Хороший человек и на темном пути
Хорошо осведомлен о правильной дороге.

²⁾ вечное настоящее

„Былое“, № 21.

истинную сущность, в свою истинную, святую, благодатную отчизну, — где он чист, свят, достоин, не потому что он не грешен и не потому что он никогда уж не будет более грешить, но потому, что в сознании своей истинной бесконечной сущности, в области вечного Духа, он снял свой грех, сознал его ничтожество и вместе первоначальную свободу и святость своего Духа».

На полях приписано: „Die Phänomenologie führt mit Nothwendigkeit zum Anfang der Logik, т.е. Феноменология ведет с необходимостью к началу логики.

Далее по-немецки: „In dem Felde der Endlichkeit ist die Bestimmung, dass Jeder bleibt was er ist, — hat er Böses gethan so ist er Böse: das Böse ist in ihm seine Qualität. Aber schon in der Moral, noch mehr in der Sphäre der Religion wird der Geist als frey gewusst, als Affirmativ in sich selbst, so dass diese Schranke an ihm, die bis zum Bösen fortgeht für die Unendlichkeit des Geistes ein nichtiges ist: der Geist kann das geschehene ungeschehenen machen; die Handlung bleibt wohl in der Erinnerung, aber der Geist streift sie ab“.

По-русски это значит: „В пределах конечного существует условие, что каждый остается тем, что он есть; — сделал он зло — он злой человек; зло есть в нем, его качество. Но уже в морали и еще более в сфере религии Дух сознает себя свободным, как положительным сам по себе так, что та граница в нем, которая приводит его к злу, для бесконечности духа, ничтожна: Дух может сделать случившееся неслучившимся; действие остается в воспоминании, но Дух отрицает его“.

„Мы мерим обыкновенно вечного Духа своею индивидуальною конечною меркою, и в этом заключается наша главная ошибка, — ложь и причина всех наших рефлексий и страданий. Никогда нельзя слишком много полагаться на могущество его; все это будет, напротив, слишком мало в отношении к нему. Как только мы возвысимся в его область, мы уже не зависим более ни от прошедшего, ни от настоящего, потому что он не имеет другой причины и другого начала, кроме самого себя. (Далше по-немецки). В ту минуту, когда я до него возвысился, я от всего конечного и злого свободен — прошедшее становится ничем, только вечное присутствие духа становится моею действительностью и истиною. И в этот момент я обладаю всей полнотою истины, несмотря на мое конечное прошлое. Для меня, как для конечного, этот момент является моментом творчества Духа в бесконечном настоящем, соединенный с моим прошлым, — но в самом этом моменте, когда я это постиг, я уже больше не конечен, но действительно бесконечен. т.е. в моей бесконечности и для меня, как для бесконечного уже не существует более никакое прошлое — Дух есть первое и последнее, и он самодовлеющий, и победоносен, и единственно истинен, и действителен. В нем лишь мы истинны и действительны, — в нем становится наша индивидуальность и нашей личностью. Это так можно понимать, что истина состоит в абстрагировании индивидуальности, в полном уничтожении индивидуальности. Это однако не действительность, не живая истина, которая для меня настолько действительна и жива, насколько

ока в своем инобытии, в конечном и определенном найдет всю свою бесконечную полноту. Человек не должен заставляться в бесконечной и всеобщей неопределенности своего существования — в этом абстрактном пребывании, он хоть и бесконечен, но в то же время и бессодержателен и даже мертв. Он должен жить и действовать, а когда он живет и действует, он становится конечен и определен. Бесконечный Дух его существа, его беспредельная истина, может в нем обнаружиться лишь конечным способом — в этой определенной через определенные обстоятельства модифицированной индивидуальности, в это определенное время, в этом ограниченном пространстве и при определенных обстоятельствах. Стану ли и отсюда заключать, что я пока еще, несмотря на возможность быть бесконечным, в действительности только конечен. Да, когда и свято придерживаюсь конечности временного пребывания, ограниченного пространства и моей естественной индивидуальности против моей истины, против бесконечной истины Духа — тогда я конечен. Когда я это в его упрямстве поддерживаю и вместе в нем же истину и бесконечность хочу найти — то должен я необходимо страдать. Причина моего страдания однако лежит в моем сердечном упрямстве. Но если я его оживляю, если я его истинно отменяю, как подчиненный момент, и его созерцаю в свете бесконечности — тогда я совершенно свободен и, не зирая на блаженство моей конечности или вернее из-за моей конечности, моей преображенной конечности — тогда я имею в конечном, определенном, даже ограниченном чувство полноты Божества и блаженство сына человеческого, примиренного на веки с Богом.

Поэтому, милые, будьте спокойны и веселы. Стремитесь и имейте всегда цель вашего стремления в самих себе.

Gedenke deiner Fehler nicht mit Leid.
Mit Rache gegen dich; du strafst sonst jemand,
Da damals noch nicht war, den Besseren!¹
Du willst dich strafen, also bist du besser;
Heute lebst Du, sie sind nicht mehr *deine* Fehler.
Gedenke deine Fehler nicht mit Freude —
Dann sind sie, dann beginnst du noch von heute
Ungöttlich ist die Reue, die versteinert!
Die dich zu alten Höllegeistern stösst!
Denn in dir tiefgeheim und seligrein
Lebt immer fort ein heiligstillter Geist
Viel edler, reiner als ein Wille je
Der Geist ist Mensch. Als dieser Geist soll sich
Der Mensch empfinden! Dieser immer sagen!
Du sollst ein Mensch sein, immer, immer wieder,
Nach jeder Nacht, so wie nach jedem Fehl
Nach jedem Tag, so wie nach jedem Guten
Dass du gefehlt hast, lehre dich das Eine:
Du kannst auch heute, in andern Dingen fehlen.
Nur denke nicht, wie wirst du Morgen fehlen?
Was Morgen Gutes thun? Was schlimmes fehlen?
Die Sünde bringt dem Menschen sein Tod,
Es bringt der Feind dem Tapfern seine Kraft

Den nächsten Schritt allein thu immer richtig!
Die nächste That allein thu immer gut!
Das gute nur zu thun gedenke immer,
la meidest du auf götterart das Böse! ²⁾

Вот тебе, **милая Танюша**, выписка из сочинений L. Schefer, которые мы с Варенькой купили для того, чтобы при первом случае переслать к тебе.

Еще несколько слов из Гегеля — и моя длинная проповедь кончена.

(По-немецки). В Духе лежит сознание, что нет такого греха, который нельзя было бы помиловать, если в нем не участвовала естественная воля, кроме только греха против святого Духа, отрицания от Духа; потому что он есть власть, которая все отменить может³⁾.

Итак, безграничная вера в духа и добрая, сильная воля. С ними можно жить спокойно, беззаботно, как бы сказать, припеваючи; а начинаю это чувствовать, дай Бог и вам того же.

(По-немецки). Дорогие друзья, часто вам должно быть очень тяжело на сердце. Вы много перестрадали внутренно и снаружи. Но вы богато награждены, — ваши души чисты и богаты и обращены только к истинному, прекрасному и хорошему. Нельзя слишком дорого оценить честь и блаженство быть почти истинным человеком. Венец и высшее проявление жизни есть однако святая любовь, поэтому мы будем еще крепче, еще задушевнее объединяться, если только это возможно. Любовь одна может освобождать и закончить человеческую жизнь.

²⁾ Не вспоминая о своих ошибках с сожалением,
С нестью против себя; не то наказываешь ты того,
Которого тогда еще не было — Лучшего.
Ты хочешь наказывать себя — значит ты лучше.
Сегодня живешь ты, они уже больше не твои ошибки;
Не думай о своих ошибках с радостью —
Тогда они существуют, тогда ты начинаешь заново
Раскаляние, от которого ты черствеешь, не божественно,
Которое толкает тебя ко всем духам Ада,
Потому что в тебе глубоко — тайно и блаженно — чисто
Постоянно живет свято спокойный Дух,
Гораздо более благородный, чище, чем воля.
Дух — это человек. Этим Духом должен
Себя сознавать человек, всегда ему говорить:
Ты должен быть человеком; всегда, всегда, опять
После каждой ночи, так же, как и после каждого проступка,
После каждого дня, так же, как и после всего доброго,
Которого ты не совершил; да учит оно тебя одному:
Ты можешь провиниться и сегодня, в других вещах,
Только не думай о том, как ты будешь ошибаться завтра.
Что делать завтра доброго? Что злого делать?
Грех приносит человеку смерть.
Враг приносит храброму силу.
Делай лишь следующий шаг правильно,
Ляшь следующий проступок совершай хорошо:
Думай лишь совершать добро,
Так избегаешь ты божественно дурное.

Дальше опять по-русски:

Милые друзья, с тех пор как я здесь с Варенькой, я начинаю понемногу оживать; опять вера и сила; все идет тихо, верно, хорошо; за логику я уж принялся, и дело пошло хорошо, чувствую, что все пойму и все узнаю.

Zwar weiß ich viel doch möchte ich alles wissen. (Wagner)¹⁾.

Папа, теперь я делаю дневные записки; не огорчайся, ты также все узнаешь; — так как здесь за письма в Россию денег не берут, — то я буду писать для тебя самые ясные и вместе самые спекулятивные записки и буду посылать тебе. Я уж начал. Ты все поймешь. Зная тебя, я в этом уверен. Через два месяца выйдет логика Вердера. Я тебе пришлю ее, пришлю также записки, слово в слово составленные с его лекций. Я взял их у студента Menzel, с которым в отсутствии Вердера прохожу теперь логику, не за деньги, а по дружбе. Он умный, хороший человек, логику всю хорошо произвел. Милый Папа, я велю переписать эти записки и пришлю тебе. Ты мне прости свои сомнения, а я буду разрешать их. Только непременно принимайся за логику. После наших зимних толков, ты теперь смело можешь за нее приниматься. Прощайте, милые друзья, в будущем письме буду писать более описательным слогом“.

М. Бакунин.

28 августа/9 сентября 1840 г. М. А. Бакунин писал следующее письмо из Берлина Веерам:

„Милые друзья, вы, вероятно, уже знаете, что Варенька здесь, что мы живем с нею вместе, и вследствие какого грустного обстоятельства она сюда приехала. Станкевич умер. Иногда это меня несколько не удивляет, иногда же кажется так странным, невозможным, — что до сих пор не верится почти. Его нет более на свете; его образ, его голос, жесты, одним словом, вся светлая личность его, которая так живо сохранилась в памяти каждого из нас — мы ее более не увидим. Ужасно странно. А я только что стал снова верить в возможность сближения с ним. Я так много ожидал от свидания, от нового соединения с ним. Вера в возможность этого нового, еще полнейшего соединения давала мне так много блаженства; — и вот все теперь рушилось, его более нет на этом свете.

Есть минуты, когда его смерть несколько не удивляет, жил, умер — тут ничего странного, необыкновенного; но когда представишь его себе живее, когда вспомнишь, чем он был для каждого из нас, как он между нами всеми и истинно был всегда живым святым посредником, как он одним присутствием своим пробуждал в душе человеческое, — тогда смерть его наводит страх. Иногда мне кажется, что с его смертью разорвалась последняя связь между нами и небом. Но, нет, друзья, смерть его не должна отрывать нас от него, но, напротив, еще крепче соединять с ним. Его личность была свята и истинна, — но истинное не умирает, и его смерть есть лучшее удостоверение в бессмертии индивидуального духа. Он и здесь не умер для нас; его образ

¹⁾ Я знаю многое, но хотел бы знать все.

никогда не исчезнет в нас, никогда не перестанет быть для нас живым путем к святому; и дух его еще сильнее укоренится в нас; посеянное им не засохнет, не умрет в нас, но принесет живой плод.— Да, я верю в это, всякий раз, как я чувствую в себе присутствие бесконечного, присутствие любви и истины,—он присутствует во мне и благословляет жизнь мою. Вы должны чувствовать то же самое. И это общее чувство, эта живая плодотворная вера должны еще крепче соединить нас. Милые друзья, вы в своей жизни много вынесли, еще много ужасных страданий висят над вашими головами; но если вы вспомните, чего вы достигли путем ваших страданий, то вы должны благословлять их. Вы достигли человеческого сознания и возможности человеческой жизни в глубоком, в бесконечном значении этого слова, а для достижения такой цели можно много вынести.

Alexandrine, вы были больны; и мне кажется, я почти уверен, что причина вашей физической болезни заключается в болезни вашего еще непрямизменного духа. Будьте спокойнее, не давайте ложным рефлексиям приводить вас в отчаяние и отнимать у вас то, чем вы так богаты и что так неотъемлемо принадлежит вам. Вы ищете любви, а ее так много в собственной груди вашей. Доверяйте ей только более, дайте ей волю, и, поверьте, она не обманет вас, она даст вам все, что вам нужно, все, чего вы только, как истинная, святая женщина, имеете только право требовать.

Sie wollen begreifen, liebe Freundin, und Sie glauben, dass Sie dazu keine Fähigkeit haben, weil Sie nicht Alles auf ein Mahl machen können. Verzweifeln Sie nur nicht; es wird Ihnen alles gelingen. Jeder wahre und in der menschlichen Brust wirklich lebende Trieb muss erfüllt werden. Alles was Ihr liebendes Herz fordert, wird Ihnen gegeben. Vertrauen Sie nur mehr Ihrem Innern,—lassen Sie nicht Ihren geistigen Blick durch die, aus der Hölle der leeren und verzweiflungsvollen Reflexion steigenden Wolken verkümmern. Sehen Sie nur mutig in die Tiefe Ihres Innern hinein und Sie werden da solche unendliche Schätze von Liebe, Wahrheit und Seligkeit entdecken, die Sie gar nicht gehabt haben. Der heilige Geist der Liebe, der die Erfüllung unseres ganzen Lebens ist,—der ist nicht ausser uns in der Ferne zu suchen—der wohnt in unserem Innerem und der lässt sich hören, füllen und wissen,—wenn nur die bösen Leidenschaften und die Lüge des endlichen Denkens still sind. Gegen die Leidenschaften und die Trügheit des Geistes müssen wir den Willen richten. Der Wille kann alles, nichts ist unmöglich ihm, weil er von unendlicher Natur, weil sein Wesen die unendliche Freiheit ist. Der Wille ist die unendliche Kraft des sich Selbstnegirens in der Wahrheit, das Negiren der aller engen, dem Wesen der Menschen widerstrebenden Triebe und des endlichen, der Wahrheit entgegengesetzten Denkens—das Negiren seiner schlechten Ich'heit,—und das Resultat dieser Selbstnegirung ist die Gnade der Gegenwärtigkeit des Geistes, der unendlichen Liebe in dem Menschen. Je tiefer das Innere des Menschen desto stärker seine Feinden und je stärker seine Feinde, desto tiefer und breiter die heilige Versöhnung des sich in der Liebe wiedergefundenen Menschen's. Oh Freundin, wie beseligend die Bekenntniss unserer Nichtigkeit.

unserer Schwäche wenn sie zugleich vollkommene Hingebung,—die Erkenntnis der unendlichen Macht des uns in wohnenden heiligen Geistes ist. Reue ist nur dann heilig und wahr, wenn sie zugleich Erhebung und Verklärung ist, wenn sie zugleich Hingebung und Liebe ist. Nur dieser heilige Trauer ist wahr;—die andere Reue, die zur Verzweiflung führt, ist eine Lüge und wir müssen ihr nicht vertrauen, wir müssen sie mit der unendliche Kraft unseres Willens und unseres Denkens bekämpfen. Ruhe und Vertrauen zu Gott und zu sich selbst und Glauben an den heiligen unzertrennbaren Bande, die Liebe der uns alle mit ihnen vereinigen—dass ist das einzige Mittel gegen Ihre Krankheit. (Перевод: Вы хотите понимать, дорогой друг, и Вы думаете, что Вы не имеете к этому способности, потому что вы не можете делать все сразу. Только не отчаивайтесь: Вам все удастся. Всякое истинное и в человеческом душе действительно живущее стремление должно совершиться. Все, чего требует Ваше любящее сердце, будет вам дано. Доверяйте только больше Вашему внутреннему голосу, не давите Вашему духовному взору погаснуть от туч, поднимающихся из ада пустого и полного отчаяния размышлений. Выплывите храбро в себя, и Вы откроете там такие сокровища Любви, Истины и Блаженства, о которых Вы и не подозревали. Святой Дух любви, который является осуществлением всей нашей жизни—его не следует искать в дали, вне нас,—он живет внутри нас, и мы можем его слышать, ощущать и познавать—если только злые страсти и ложь ограниченного мышления хотят. Против страстей и лени мысли должны мы направить Волю. Воля всемогуща, для нее нет ничего невозможного, потому что ее природа бесконечна, потому что ее сущность—беспредельная Свобода. Воля—это бесконечная сила, самоотрицание в области Истины, отрицание всех узких, человеческой природе противоречащих стремлений и конечного истинно противного мышления,—отрицание своего злого „я“—и результат этого самоотрицания есть милость настоящего Духа, бесконечная Любовь в человеке. Чем глубже сущность человека, тем сильнее его враги, и чем сильнее враги, тем глубже и шире святое примирение вновь нашедшего себя человека. О друг, как блаженно сознание нашего ничтожества, нашей слабости, если оно в то же время является совершенным самозабвением, сознанием безграничной власти внутри нас живущего святого Духа. Раскаяние только тогда истинно и свято, если оно одновременно возвышение и преображение, если оно одновременно Самозабвение и Любовь. Только эта святая борьба истинна;—иное, к отчаянию ведущее раскаяние, ложно, и мы не должны ему доверять, мы должны победить его неограниченной мощью нашей Воли и нашего мышления. Спокойствие и доверие к Богу и к нам самим и вера в неразрывные узы любви, которые всех нас объединяют—это единственное средство против Вашей болезни).

Но, впрочем, вы не должны пренебрегать и физическими средствами. Вы должны лечиться у умного, хорошего доктора. Впрочем, я уверен, что за этим наблюдает, как следует. Костя, который теперь, верно, с вами. Поцелуйте его за меня в лоб и потрите за подбородок. От него я не надеюсь получить строчки и вотому прошу вас написать мне, что он делает, в каком бывае

обыкновенно расположении духа и чем занимается и, — если на что-нибудь решился, — чему хочет посвятить жизнь свою. Я знаю, что между нами было иногда что-то темное, что не позволяло нам жить всегда в одну душу, но между нами было, есть и будет также и много общего — я его истинно люблю и уважаю, и мои чувства к нему никогда не изменятся. Милые девочки, напишите мне как можно подробнее обо всем, до вас и до вашей частной жизни касающемся. Нам, т.-е. мне и Вареньке, нужно, необходимо об вас все без исключения.

Теперь вам будет, вероятно, интересно знать что-нибудь и о нашей жизни. Мы живем здесь тихо; лекции еще не начались, но я уже начал заниматься логикой и пишу, что все пойму, и потому мало-по-малу успокаиваюсь. Многое может случиться, будущего знать нельзя, но я смею гляжу вперед и готов теперь на все: что будет, то будет, мне бы настоящее прожить по-человечески. Быть истинным человеком во всех отношениях, внутри и со вне — и быть всегда наравне с обстоятельствами — образовать в себе благородный, истинно человеческий характер — вот моя единственная цель, о которой думаю и к которой стремлюсь денно и нощно.

Часто думаем и говорим мы о Вас и любим вас по-прежнему и чувствуем нашу любовь к вам еще сильнее прежнего. Всякую среду слушаем по одной симфонии Бетговена — сегодня слушали *Simphonie pastorale*. Вспомним с Варенькою также по-прежнему, впрочем, скоро миримся. Я работаю над логикой много; кроме этого, переписываю теперь для Паши записки логики, составленные по лекциям Вердера, и на-днях пошлю ему начало со своими примечаниями — очень умными примечаниями. Гуляю иногда с Варенькою из милости — Варенькино присутствие в Берлине должно оставаться величайшею тайною, — *Unter den Linden* и в *Tiergarten*, хожу всякий день в кондитерскую и читаю там газеты. Раз слышал *Löwe*, в которую я с первого раза влюбился, не говорите только Грановскому, а то он меня застрелит. Что Грановский? Какое влияние произвело на него известие о смерти Станкевича? Я боюсь за его здоровье, оно так слабо. Виделись ли вы с ним? Он прекрасный, умный, благородный человек. Если вы что-нибудь узнаете о нем, напишите мне, пожалуйста. Хоть обстоятельства и не позволили мне близко сойтись с ним, но я его очень люблю. Вердер много расспрашивал о нем. Кстати мы, т.-е. Ich и Варенька, мы познакомились с Вердером — чудный человек. Он скоро должен возвратиться в Берлин. Если будем живы, мы проведем чудную зиму в Берлине. — Скажите Грановскому, что мы ждем на-днях бумаги и вещи Станкевича, которые перешлем к нему, как к его законному наследнику. Станкевич любил его более всех и был ближе с ним, чем с нами. Что сказать вам еще? Немцы очень смешны, и Ефремов над ними острит. Он всем вам кланяется. Теперь также проходит логику, да, дурак, ничего не понимает.

Прощайте, друзья, спать хочется.

Ваш истинный друг М. Бакунин“.

„Наталья Андреевна и Александра Андреевна. Не верьте, ради Бога не верьте Мишелю. Этот человек поклялся преследовать меня. И за что же? — За то, что он полтора года сидел над логикой и ничего не понял, а я все это сделал в два дня. Но впрочем, заграничный и ученый вид Берлина действуют на него благотворно — мало-по-малу он начинает терять свойственную ему дикость и лютость характера и становится ручной человек. А. Ефремов“.

От 1/13 октября письмо М. А. Бакунина к ним же:

„Милые птишечки, что вы замолкли? Уж давно бы пора мне получить от вас письмо. Что делается у вас? как живете? как верите и как сомневаетесь? как радуетесь и как горюете? Я ничего не знаю об этом, а мне ведь следовало бы знать. Как ваше здоровье, милая Alexandrine? Как покорилась бедная Наталья с своею милою природою, состояние которой всегда так удивительно соответствует ее состоянию духа, и как решилась она опять запереться на целую зиму в комнате? Где вы проведете зиму — в Шашкине, в Москве, в Твери или в Попове? Что Константин? Служит ли он? и если служит, где и как? и если нет, то на что он решился? Все это мне необходимо знать, и потому прошу отвечать мне на все мои вопросы. — Бедные девочки, вам будет везде грустно жить; — теперь менее, чем когда-нибудь, найдете со вне утешение, если не находите его в себе. В деревне скучно и, кроме вас трех, совершенное отсутствие людей, а люди, истинные люди, так необходимы для жизни. Кроме этого, Шашкино так далеко от Премухина. В Москве еще грустнее. Там некогда жили исполненные не только внутренней, но даже и внешней жизни, там надеялись, там верили, там любили вы. Там некогда жил наш общий искупитель Станкевич и вокруг него прекрасный кружок наш, проникнутый его высоким духом. А теперь все исчезло, и многое, многое, совершенно разрушилось. Не поезжайте в Москву, вам будет тяжело в ней. Но нет, если бы вы были там, вам бы была там одна отрада, — братья. Вы были бы там их сестрами-друзьями, миром, в котором бы они отдыхали и приходили черпать веру в жизнь и силу для жизни. Нет, друзья, все не исчезло. — Станкевич не оставил нас, он оставил нам живую память о себе, память о прошедшем, которое никогда не должно переставать быть настоящим и которое живет в нас, которое освящает нас своим святым присутствием. Да, я в этом убежден, он любит, и мы снова увидимся с ним. Да, друзья, в вашем прошедшем и в вашем настоящем много тяжелого и много безотрадного, но все это ничего не значит, если Вы только вынесли из тяжелой борьбы любовь и чувство святого значения жизни. И я знаю, они пребывают в вас, живые залогов вечности. Не грустите, не жалуйтесь на судьбу свою, но радуйтесь, что Вам было дано испытать страдания и радости святой человеческой жизни. Большая часть людей не имеет ни предчувствия о том, что такое человеческая жизнь. Милые друзья, ваш мир, ваше спасенное и неотъемлемое сокровище — это святость душ ваших, — святость, на которую вы часто клеветаете, которую вы часто отрицаете, но которая ясна и неподвержена никакому сомнению для любящих и, следовательно, и знающих,

нас — это наша взаимная любовь, которую мы все вынесли полною и непркосновенною из противоречий и мучодей жизни.

Теперь пришло время, когда судьба Александрины должна решиться. Назначенный срок кончился; может быть в это самое время, как я пишу, в Премухине происходят ужасные сцены. Вы можете себе воображать, как тяжело быть в неосведомленности. После такого долгого испытания Alexandrine должна наконец звать, любит ли она Боткина или нет. Что она узнала и что решается? Я боюсь двух вещей: чтобы ее не смутила ложная мысль об обязанности к Боткину, а с другой стороны, чтобы ее не связала боязнь огорчить родителей и расстаться — как то, так и другое будет ложно. Ее руководителем должна быть единственно только чистая, святая истина. Дай Бог, чтобы в ней было довольно силы, веры и самосознания, для того, чтобы следовать ее голосу. Друзья, напишите, пожалуйста, что знаете — Сапа ничего не пишет ¹⁾.

Все это время я был в хлопотах. Варенька серьезно заболела, Сапа также — теперь ей лучше и Сапа совсем здоров. Бедная Варенька! как много она перенесла в своей жизни. Но, видите ли, все ее предчувствия исполнились — она нашла то, чего искала. Время, проведенное ею со Станкевичем в Риме, было для нее временным осуществлением: она и Станкевич сознали, что они любят друг друга, и оба выговорили это друг другу без всяких помпых церемоний. Когда она будет здоровее, и когда прошедшая жизнь перестанет быть только жизнью чувства и перейдет в ее сознание, тогда она сама поверит вам все. Милая Варенька. Она так сильна, так религиозно покорна судьбе своей. А здоровье ее сильно расстроено. Доктор Baré сказал мне: „sa santé est complètement ruinée et demande de grands soins et beaucoup de temps pour son rétablissement“ ²⁾. Однако он берется ее вылечить. Сапа славный мальчик — несколько искорченный Лизаветой Ивановной ³⁾; — он приехал сюда с ужасными капризами и великим фразером. Когда его связывали — это сильнейшее наказание — тогда он просил Бога, чтобы он умиротворил его, и говорил Вареньке, что он плачет не о себе, а об ней, что она такая злая. Но мы с Божьею помощью уговорили его. Он меня несколько побаивается.

Скоро начнутся лекции. Я примусь живо, весело и крепко за работу. Она уж и теперь славно идет. Логяку я понимаю и буду еще лучше понимать. Мне легко и весело на душе — здесь можно все узнать, и я все узнаю. Скоро, недели через две, придет сюда Бердер. Он познакомился уже с Варенькой и, как кажется, будет к вам часто ходить. Мы будем славно жить. Прощайте, милые, хорошие друзья. Пишите чаще. Скоро получите от меня

¹⁾ М. А. Бакунин говорит об Александрине — своей сестре, о конце ее романа с В. П. Боткиным. См. „Молодые годы Михаила Бакунина“, стр. 534 и след.

²⁾ Ее здоровье совершенно разрушено и требует больших забот и много времени для своего восстановления.

³⁾ Цыпля-эковомга, отлученная потоки.

через Пашу книжку Laienbrevier Scheffer's. Там много прекрасного, глубокого. Читайте и вспоминайте обо мне. Оставляю здесь место для Вареньки.

Ваш Михаил Бакунин.

Получили ли наше прошедшее письмо?"

26 сентября/8 октября 1840 г. Михаил Александрович писал родителям:

„Любезные родители! Снедую тому назад я получил ваше письмо и до сих пор не отвечал, потому что был в ужасных хлопотах. Варенькино здоровье, и без того слабое, в последнее время совершенно ей изменило; она должна была лечь в постель. Саша также занемог, и она, бедная, несмотря на свое совершенное расслабление, несколько ночей не спала и ходила за ним. Теперь ей несколько лучше. Доктор Baré, который теперь ее лечит, — (Schönlein уехал из Берлина) — сказал мне третьего дня, que sa santé est complètement ruinée et demande de grands soins et surtout la tranquillité la plus complète¹⁾. Он берется ее вылечить, но говорит, что болезнь ее так сложна и так устарела в ней, что это не иначе возможно, как в продолжение довольно долгого времени. Я долго не решался писать вам об этом, зная, что это вас сильно потревожит; но, с другой стороны, я видел, что долго скрывать от вас ее болезни нельзя, тем более, что теперь она вне всякой опасности. Кроме этого, письмо ваше побудило сказать вам всю истину; это необходимо для избежания новых недоразумений. Любезные родители! Я не показывал ей вашего письма — оно слишком бы взволновало ее — и это было бы ей очень вредно. — Теперь она еще слаба и от нее должно отстранять всякую причину волнений. Когда она несколько поправится, тогда я отдам ей его; пусть она сама отвечает вам, как знает и что чувствует.

Любезные родители! письмо ваше глубоко огорчило меня. В нем опять появились все старые подозрения, которые так мешают любви и которые, если не в силах заглушить ее, то всегда стесняют ее свободное проявление. Вы подозреваете, что съезд наш в Берлине был между нами условлен. Как доказать вам, что это подозрение не справедливо? Что, приехав в Берлин, я был в полной уверенности, что Варенька была в Италии. Если я стану уверять вас, то вы скажете, что я лгу. Клятвы и уверения ни к чему не служат, если нет веры. Доказать вам, что наша встреча в Берлине была для меня совершенно неожиданна (Варенька знала, что я еду в Берлин, из писем сестер) — я также не могу, потому что вы можете принять все мои доказательства за хитросплетения. Любезные родители! после всех страшных подозрений, которыми вы в продолжение некоторого времени обременили меня, у меня нет более духа доказывать вам и уверять вас, я могу только одно — просить вас поверить мне, что я говорю вам правду.

Любезные родители, позвольте мне еще раз повторить вам мою древнюю, и до сих пор еще к несчастью тщетную, просьбу: браните нас, указывайте

¹⁾ Что ее здоровье совершенно разрушено и требует больших забот и полнейшего покоя.

нам без всякой жалости на наши недостатки—мы с любовью, с покорностью, с безграничным уважением будем выслушивать слова ваши, мы с благодарностью будем принимать ваши советы,—но, ради Бога, не уничтожайте нас более такими подозрениями, которые леденят сердце и заставляют иногда сомневаться в любви вашей. Мне кажется, что если б я подозревал человека в том, в чем вы нас, и особенно меня, подозревали и до сих пор подозреваете,—то я не мог бы любить его.—Но полно об этом,—говоря о ваших подозрениях, я всегда боюсь увлечься. Да, я верю, я хочу верить, что придет скоро время, когда вы нам возвратите вашу полную нераздельную доверенность. Это будет золотое время, любезные родители, потому что глубокая взаимная любовь, которая никогда не оставила нашего семейства,—но которая, замученная несчастными обстоятельствами нашей семейной жизни, глубоко скрылась в сердце каждого и лишилась всякой возможности свободного проявления,—эта любовь снова разогреет и оживит жизнь нашего семейства, и его вечер будет может быть еще светлее и глубже, чем его утро.

Еще одно, любезные родители!—Я читал письмо Вареньки к вам—и право не помню, чтобы она говорила в нем об „исполнинской силе“ Станкевича. Это выражение в самом деле так странно, так похоже на фразу, что оно не могло уйти от моего внимания. Кроме этого, сколько я заметил, Варенька никогда не говорила пустых фраз. Впрочем, я мог и не заметить. Во всяком случае, я уверен, что если Варенька и употребила его, то это без всякой претензии на красноречие, а так, потому что оно первое попало ей под перо.

Дух Вареньки в самом деле несколько расстроен—в ней нет еще того ясного спокойствия, которое позволяет соединять рассудительный взгляд на вещи с глубокою и горячею жизнью души. Впрочем, это весьма похвально и извинительно, любезные родители. Если вы вспомните все, что она перенесла с самого замужества своего и до сих пор, если б вы знали, как расстроено теперь ее здоровье, которое имеет такое сильное влияние на духовную жизнь человека, и если бы вы видели, сколько в ней еще силы, не пустой, самолюбивой силы, но силы, вытекающей из религиозной преданности воле Провидения,—то вы стали бы судить ее снисходительнее, вы отдали бы ей даже тогда справедливость. Слабость ее иногда доходит до того, что она почти ходить не может, потому что ноги не повинуются ее воле; не может играть на фортепианах, потому что пальцы не хотят двигаться. Ведь при таком здоровье тяжело жить на свете, а она переносит все это без всякого ропота и с удивительной покорностью.

9 октября.

Любезные родители, сегодня я перечел свое письмо и чуть было не разорвал его. При всем старании не увлечься, я все-таки увлекся более нужного. Подумав несколько, я решился не рвать его и послать так, как оно есть. Вы поймете меня, вы простите мне мою горячность. Милые, добрые родители! Если бы вы посмотрели в сердца наши, то убедились бы, что мы горячо

любим вас, что наша главная потребность — ваша любовь и ваша доверенность. В них заключается главное, необходимое условие нашего собственного счастья. Милые родители! Помогите нам только разогнать эти серые, холодные тучи сомнений и недоразумений. Дайте нам окружить вас любовью, возвратите нам уверенность, что за нашими недостатками, которых в каждом из нас очень много, вы видите и признаете нашу светлую, добрую сторону, и что никакие подозрения, никакие черные клеветы внешнего и чуждого нам мира не в силах потратить вашей веры в благородство и святость наших намерений, — или, осуждая нас во многих заблуждениях, вы верите в истину и чистоту наших стремлений, то нам этого довольно. Всякий человек может заблуждаться. — Но тот худой, неблагородный человек, кто с намерением заблуждается.

Теперь возвратимся снова к Вареньке. Вы находите противоречие в наших письмах; — это противоречие весьма легко объясняется. Вы, верно, не сомневаетесь в потребности Вареньки возвратиться к вам и отдохнуть, согреться под теплым крылышком вашей любви, ваших попечений. Но, вместе с этим, в ней есть одна боязнь, которая превращается в болезненное чувство: мысль о свидании с Дьяковым потрясает все существо ее, разрушает все ее внутреннее спокойствие; она просто чувствует к нему непреодолимое отвращение, которого победить никак не может. Она не требует развода, если он невозможен, но полной достоверности, что у вас она будет совершенно ограждена от его притязаний. Зная, что в нем нет никакой самостоятельности, никакой воли и что, находясь под влиянием каждого, он беспрестанно переменяет свои решения, — она не верит в безопасность своего пребывания в России до тех пор, пока оно ограждено только его обещанием. Ей необходимо убедиться, что если бы даже он и хотел принуждать ее жить с собою или отнять у нее сына, то вы могли бы оградить ее от этого. Ей необходимо знать, что и при худых намерениях, он не будет иметь средства к их исполнению. — И мне кажется, что в этом она совершенно права.

Я с моей стороны убежден, как для вас, для сестер, так и для нее в необходимости ее скорейшего возвращения в Россию. Кроме этого, я уверен, что, кроме обещания Дьякова, она имеет еще другую, сильнейшую ограду в вас — в вашем праве быть ее заступниками и опекунами: Любезные родители! я уверен, что вы примете все нужные меры для ее безопасности. Вот почему я писал вам, что если здоровье ее позволит, то она возвратится к вам весною.

Вы упрекаете меня в расточительности, любезные родители, и удивляетесь, что я так скоро истратил 2365 руб., которые у меня были при отъезде за границу. Но из этих 2365 р.:

Я отдал полковнику Шпилевскому:	500 р.
За место на пароходе	175 „
место в делижансе, три дня в Петербурге, необходимые покупки около	150 „
выкупил часы	150 „

на пароходе, дорога из Травенюнде в Гамбург,
три дня в Гамбурге и дорога из Гамбурга в
Берлин около 250 р.

Всего 1225 р.

Я приехал в Берлин, и у меня было одеяние: только один старый сюртук с заплатками, старый изношенный фрак, две пары сапог с заплатками, один старый жилет, а другой — годный только в дороге. Я должен был одеться и издержать на платье и на сапоги около 100 талеров — 333 рубля. Варенька привезла с собою только 200 франков; да по счету нашлось, что она должна Ефремову 250 франков, из которых мы и до сих пор должны ему 50 франков.

Счет за два месяца с половиною, прожитые нами в Берлине, я вам приплю потю: он теперь у Вареньки. Она также должна была себе и Сашеньке сшить платье. Доктор, который посещает ее каждый день, лекарство etc. etc., все это требовало денег, и у нас нет ни копейки. Мы взяли теперь еще 50 талеров у Ефремова и с большим нетерпением ждем обещанные вами деньги. Любимые родители! Поверьте, нам не до того теперь, чтобы расточать деньги понапрасну. Мы слишком живо теперь чувствуем их необходимость. Если бы я был один, то мне бы этих денег достало по крайней мере на пять месяцев. Но вы верно не станете бранить меня за то, что я по необходимости издержал для Вареньки.

Теперь издержки наши увеличились еще более. Приближение зимы и болезнь Вареньки и Саша заставили меня уступить им комнату, занимаемую мною подле них. Это было необходимо для их спокойствия и для предохранения их от простуды. Я должен был нанять маленькую комнату в другой улице, за которую плачу 5 талеров в месяц. Деньгами, посланными вами в Милан, мы также не можем воспользоваться, потому что, выехав из Италии, Варенька должна была генералу Руберти 1000 руб., а Елизавете Ивановне 200 р. Теперь она написала банкиру, чтобы он послал деньги в Неаполь Руберти и известила также об этом и последнего. И потому, любезные родители, прошу вас, пришлите скорее нам денег, у нас нет ни копейки, — и у Ефремова также денег нет.

Прощайте, добрые родители. Прошу вашего благословения и остаюсь преданный вам сын ваш М. Бакунин¹⁾.

В этом же письме, как видно из пометки, сделанной рукой Татьяны Александровны (помочено 8 октября 1840 г. вечер. Премухино), — он писал сестрам на клочке бумаги: „Liebe Freunde. Seyen Sie nicht besorgt über Wanka! ihre Gesundheit — sie ist ausser allen Gefahr. Alles wird gut gehen; Morgen werde ich Ihnen schreiben. Ich küsse sie Tausend Mal. M. Bakunin“ ¹⁾.

¹⁾ Дорогие друзья! Не беспокойтесь насчет Вареньки — ее здоровье — она вне всякой опасности. Все пойдет хорошо; завтра я буду писать. Целую вас тысячу раз.

А 30 октября/11 ноября 1840 года Бакунин писал родителям же:

„Милые, добрые родители! Как выражу я вам благодарность свою за ваше письмо, за ваше доброе, снисходительное письмо. — Я боялся, что мое письмо скорбит и огорчит вас, ожидал от вас упреков и вместо этого нашел в вашем ответе только доброту, снисхождение, только чистые выражения вашей любви к нам. Успокойтесь, добрые родители, Вареньке лучше. Болезнь, о которой я писал вам, была не более, как припадок, частное проявление закоренившейся в ней хронической болезни. После этого припадка она стала чувствовать себя даже лучше прежнего, так что в некотором отношении он был ей даже полезен.

Доктор ручается за ее выздоровление, хотя не скорое, но зато совершенное. Болезнь устарела в ней и требует большого, постоянного внимания. Она становится все чаще и спокойнее духом, а это очень важно для ее выздоровления: Саша также исправляется, хотя для полного выздоровления может быть будут необходимы место и воды так же, как и для Варенькиного. Во всяком случае, время свидания с вами скоро, и это, я надеюсь, довершит ее внутреннее и внешнее выздоровление.

Я живу недалеко от нее, — она должна была переменить квартиру, — и вижу с ней только по вечерам. Утро и после обеда заняты лекциями и домашними занятиями. Теперь я сделал несколько хороших знакомств и постараюсь познакомить ее с одним или двумя хорошими семействами, — для того, чтобы вырвать ее понемножку из этого внутреннего абстрактного уединения, в котором она так долго жила и которое может превратиться, наконец, в неисцеляемую болезненность духа. И себя также я хочу воспитать в этом отношении. Непривычка к светскому обществу порождает в человеке какую-то робость и неловкость. Для того, чтобы сделаться половчее, я намерен взять несколько уроков в фехтовании и гимнастических упражнениях, и вы увидите, каким я сделаюсь ловким молодым человеком.

От Александра Максимовича¹⁾ деньги получил и сегодня возьму их от банкира.

Прощайте, добрые родители, пора идти на лекцию. Опоздывать не хорошо, во-первых, потому, что можно потерять связь лекции и, во-вторых, потому, что студенты шаркают ногами.

Ах, я вам еще, кажется, не писал, что я сделался германским студентом: я должен был имматрикулироваться, как студент, для избежания многих неприятностей, и для свободного слушания лекций и получил диплом, в котором получил название: *vir juvenis ornatissimus*.

Прочту вашего благословения и остаюсь преданный вам сын ваш М. Бакунин.

Милые сестры. Сегодня я когда писать. Завтра напишу непременно. Целую вас“.

¹⁾ Александр Максимович — А. М. Княжевitz, добрый приятель старика А. М. Бакунина.

Три брата Бакунины — Павел, Александр и Алексей были с 1839 года в Московском университете на юридическом факультете. В этом году они перешли на второй курс. Но, несмотря на присутствие в Московском университете таких профессоров, как Грановский, Редкин и Крюков, они таяготились университетом, и было даже непонятно, почему они все трое выбрали себе юридический факультет. Они посещали лекции аккуратно и внимательно их записывали, но интерес это для них представляло очень ограниченный. Характерно в этом отношении письмо Павла к Татьяне от 12 сентября, в котором он выражает серьезное сожаление о том, что они приехали в Москву на четыре дня раньше, чем следовало. Лекции начались только 16 сентября, и предстоящие четыре дня он не знал, что с собой делать. Поэтому и письма их домой того времени, к сестрам, хотя довольно частые и длинные, лишены всякого содержания и интереса. Они переполнены жалобами на пустоту и бессодержательность жизни, уверениями в любви и дружбе к сестрам, советами и увещаниями терпеливо пережить скучное время. Длинные письма писал собственно один Павел, Алексей писал значительно реже и короче, а Александр мрачно молчал. И сестры в это время скучали и томнились бессодержательностью своей жизни. Дружба и общение их с Мишелем и его друзьями расширили их умственный кругозор и подготовили их к жизни совсем другого рода, к жизни, более содержательной и идейной, но условной того времени и обстановки, в которую они были поставлены, заставляли их вести бессодержательную и лишенную всякого интереса жизнь помещичьих барышень.

Когда начались лекции в университете, то юноши Бакунины мало-помалу втянулись в них. Утром они были на лекциях, а приходя домой говорили и спорили между собой о лекциях и обо всем, происходившем в университете. Обыкновенным их посетителем бывал Константин Беер. Выдались они изредка и с Кавелиным, и с братьями Елагинными, причем последние вскоре сделались их друзьями, и они почти ежедневно стали бывать у Елагиных.

Значение Елагинского салона русскому читателю достаточно известно. В то время это был в Москве единственный в своем роде салон, в котором встречались и обменивались мыслями выдающиеся люди Москвы, как, например: Киреевские (они были сыновьями хозяйки от первого ее брака), Хомяков, Аксаков, Самарин, Огарев, позднее Герцен, М. Ф. Орлов и многие другие. Младшее поколение, — такие юноши, как Бакунины и Елагины, пока только слушали споры, происходившие между старшими, и сами не принимали в них участия.

Вскоре братья Бакунины нашли себе занятия каждый по своему вкусу, кроме университетских лекций, и эти занятия увлекали их гораздо больше, чем лекции. Павел сосредоточился на чтении Гегеля, принявшись за философию права, которая ему сперва не давалась, но он настойчиво занимался ею и, подходя к концу первой части, обратился как-то для справки к Гегелевой же логике и начал читать ее, бросив философию права. Вскоре это чтение увлекло его настолько, что он постоянно находился под его впечатлением, даже, когда и не читал.

Младшие братья, Александр и Алексей, одаренные артистическими натурами, особенно Алексей, избрали себе занятия каждый в своей сфере—Алексей по музыке, Александр по живописи. Алексей брал уроки у Лангера и поражал своего талантливого учителя своими выдающимися способностями. Александр менее удачно занимался живописью.

В письме от 30 ноября Павел писал Татьяне:

„Я, между прочим, все себе работаю, взялся за логику—самая трудная вещь, как говорят, в Гегеле, —но мне весело в ней работать,—уже многое я понял в ней, с полным сознанием, что в самом деле, понял. И эта работа уже не есть работа, она просто не покидает меня даже, когда я не у себя и, повидимому, ничего не делаю. Голова моя постоянно работает, даже во сне как-то раз с Шеллингом толковал о Гегеле. Нет, в самом деле, работа моя меня ни на миг не оставляет. Я часто думаю,—если бы теперь Миша здесь был, ему бы теперь было гораздо веселее со мною, потому что я чувствую теперь, я гораздо более в состоянии понимать, и мне самому теперь так весело и необходимо говорить кому-нибудь о том, что я понял или чего еще не совсем понял, что если б не совестно было, я бы вместо письма вам бы написал все, что я прочел из логики. Бедный Миша! Он мне всегда так много толковал, и ему так хотелось, чтобы я хоть немного понял его, а я так мало понимал. Впрочем, все-таки мое начало философии было именно то, что он в последнее свое с нами время успел мне совершенно передать. Я ему писал; написал три листочка, но, по незнанию адреса, они еще и теперь лежат у меня. Теперь уж пошлю из Твери, я думаю, поедем через две недели. Добрый Миша! Он будет так радоваться, что и я пошел за ним. Ему так хотелось этого, а уж теперь я определенно и ясно вижу дорожку, по которой я пойду. В Твери будет много работы, со мною будут логика и феноменология,—эти такие милые книжечки.

А с Николаем (который был старше его на два года. А. К.) возьму роль Миши,—он в то время как мне толковал, сам не знал того, что я теперь понимаю; а ему, Николаю, дам свою роль. Буду ему толковать и сердиться за его представления и рефлексии,—не уйдет,—как это со мною делал Миша. Из этого следует, чтобы Николай точно так же уважал меня, как Мишу, а в противном случае, будет больно бить“...

18—16/4—40 ноября. Понед. Берлин. Михаил Александрович писал сестрам по-немецки.

„Любезные, добрые сестры! Уже давно я чувствую потребность вам написать, и однако протекло очень много дней раньше, чем я собрался. Теперь у меня очень много работы; почти каждое мгновение поглощено моим любимым занятием, так что я сам не замечаю, как время уходит. Но вы не верьте, что это беспрестанное занятие могло вытеснить вас из воспоминаний моего сердца. О, нет. Оно связано, напротив, с вами. Мои занятия не есть педантическое собирание полезных, но мертвых знаний, а религиозное и искреннейшее стремление всего моего существа к истине. Теперь я переживаю выполнение моей внутренней жизни, и вы все также неразрывно

с ним переплетены. Да, я чувствую это. Мы образуем все вместе глубокий, нераздельный мир любви и истины; мы все члены этого возвышенного нам всем общего, сестры и братья, мира, в нем мы взаимно признаем и любим друг друга; а мы любим вас только на столько, на сколько мы в вас живем. — Велика и священна жизнь — это я снова повторяю с совершенной, вновь рожденной уверенностью. Неподвижная окостенелость, которая вновь начала расправляться и грозит живости моего внутреннего существования; я чувствую себя вновь живым и свободным; вера в Бога и в вечное бессмертное достоинство каждого отдельного человека во мне вновь оживилась. С этой верою, однако, можно мужественно и свободно смотреть в будущее. Дорогие друзья! Как бы я был счастлив, если б я мог вам внушить эту освещенную веру, это бесконечное мужество жизни; только в этой уверенности жизнь является человеческой и исполненной божьим духом.

Бедная Александрина. Она не признает самое себя, она не признает тех бесконечных сокровищ, которыми ее богатая натура наделена. Удивительно, что она и Натали не получили моих писем. Я им обоим много писал, и мои письма адресовал в Мценск. Теперь я еще раз написал (далее по-русски) и посылаю мое письмо вам для того, чтобы оно не потерялось, как другие. И Варенька им тоже писала. Странно, что они не получали наших писем, и жалко, потому что Варенька говорит, что мои письма к ним были хорошие письма, и я могу засвидетельствовать то же и про ее письма. Друзья! Пишите и вы ей также. Соберите все ваши силы, чтобы разрушить этот ложный мир рефлексий, который мучает ее и закрывает от нее ее истинный глубокий мир. Для этого не нужно много рассуждений, рассуждения бывают часто бессильны; для этого необходима любовь, которая выше, сильнее и истиннее всех рассуждений. Только любовь всемогуща, потому что только она истинна. Я верю в ее духовное выздоровление; она сама себя не знает и не видит. То, что она называет собою, так далеко от ее истинной сущности.

(Опять по-немецки):

И ты, дорогая, добрая, другая Александрина, поверь мне, я понимаю совершенно твое трудное положение. Я боюсь одного, что ты любишь Боткина и решилась пожертвовать своею любовью внешним препятствиям. Слушай меня, друг, я говорю тебе со всем моим убеждением. Если ты его истинно любишь, то ты не должна, ты не имеешь права жертвовать твоею любовью. Если ты любишь, Александрин, то ты знаешь все лучше, чем мы, потому что любовь единственно истинное познание. Жертвовать своею любовью и испустить своей жизни — одно и то же. Жертва своим высшим есть грех перед самим собою против истины (далее по-русски) и потому, умоляю тебя, друг, хорошенько проникнуть в себя, познать все внешнее, все внешние отклонения, все, что тебе говорили и говорят, и только тогда на что-нибудь решиться, когда ты خواهешь сделать это с полным, нераздельным убеждением — Я понимаю твое тяжелое положение также и в том случае, когда ты не любишь его. Грустная, тяжелая ошибка, но не безвыходное положение. Для свободного духа человека есть всегда выход, — и этот выход есть истина.

18—9/27—40 декабря вечером.

„Милые девочки, вы видите, как давно уже начато это письмо и все не dokonчено и не послано. — Стыдно мне, не правда ли? — Не браните меня; — вы сами знаете, как затягиваются письма; — иногда хочется писать, да некогда — а иногда есть время, да не умеешь слова написать. Вот так и со мной было. — Мне часто бывало так грустно по вас. — Ты, Саша, написала нам такое светлое, хорошее, грустное письмо, а мы до сих пор молчали, и ты могла принять наше молчание или за холодность, или за недоверие. Нет, друг, не сомневайся в нас, мы имеем полную веру в тебя, — будь только сама собой, и ты будешь всегда наша.

(Дальше идет по-немецки):

Дорогие, дорогие друзья! Как я стремлюсь к вам. Что делаете теперь вы? Должно быть, грустны? У меня нет предрассудков, но я не знаю, что со мною случилось. Каждый раз, как я думаю о вас, угнетает меня тяжелое чувство, так что я начинаю думать иногда, что вы переживаете теперь что-то тяжелое, не счастливое; Боже, сохрани вас! Будьте крепки, спокойны, проникнуты спокойствием вечного духа. Смотрите на все в свете вечности, чтобы вследствие этого быть вам в священном покое, участвовать в покое божества.

(Опять по-русски):

Так давно от вас никаких писем нет. Грустно и страшно. Если причина нашего молчания та же, что и наша, то это еще не беда. Ради Бога, пишите нам скорее, где вы теперь, в Премухине или в Твери. Если в Твери, то как проводите время. Что брат Николай, он верно с вами. Это меня успокаивает. Он прекрасный, глубокий человек, он может быть вашею крепкою подпорою. Попросите его написать мне или Вареньке хоть словечко. А от других братьев также ни слова. От Фееровых также нет. Знаете ли, мне иногда приходит в голову, что братья... да нет, не хочу договаривать. Мое предположение не может быть истинно. Слишком было бы грустно. А если оно истинно, то я не чувствую в себе силы противодействовать ему.

Скажите Павлу, что я еще не посылал ему обещанных записок, что я стал их переделывать по лекциям и урокам Вердера. Весною приедет в Москву Тургенев, который уже раз слушал курс и брат уроки у Вердера и с которым мы теперь вместе работаем над логикой. Я с ним близко сошелся. Мы живем с ним в одном доме, в третьем этаже, и работаем вместе от раннего утра до позднего вечера. Он обещал мне, милый Паша, пройти с тобою логику. Ты полюбишь его, я в этом уверен. Варенька, письма которой я не читал, вероятно, написала вам о своих новых знакомствах. Она мало-по-малу становится крепче духом. Единственное желание мое для вас, для родителей и для вас — это скорейшее ее возвращение к вам. Родители сомневаются в этом желании. Если бы они знали, как жажду я их спокойствия, то они не сомневались бы. Это желание останавливается только перед одною вещью — перед ее безопасностью. Только с уверенностью, что она будет вполне свободна, может она возвратиться к вам. Впрочем, я с радостью узнаю из письма роди-

*

телей, что они сами не иначе хотят ее возвращения. Прощайте, добрые друзья, пожалуйста, пишите скорее.

Ваш друг и брат М. Бакунин*.

В приписке любезности по отношению к м-ме Ушаковой и ее дочерям Анне и Екатерине.

Варенька между тем писала сестрам:

Берлин. 8 декабря, вечер.

„Я давно вам не писала. Отчего? Ах, если бы без всяких слов я могла открыть перед вами сердце, чтобы вы могли разом все в нем прочесть! Танюша, Саша, милые, милые друзья. Вы все каждую минуту, в которой я дышу свободнее, живете во мне — мне так хотелось обнять вас, сердце так сильно рвалось к вам, а между тем я не могла говорить и теперь еще не могу, не знаю, с чего начать, как это все передать. Мое здоровье кажется поправляется, но прежде дайте мне расспросить вас — я все это время много, много думала о вас. — Alexandrine, ты все говоришь еще так не ясно — и теперь уже так давно и от вас нету известия, что ты делаешь. Ради Бога, только вырви себе из сердца и головы все мнимо-геройские решения, — иди просто, не называя на себя непогоды, напротив, отстрани тихо от себя каждое угрожающее облачко, чтобы отстранить маленькие неприятности и даже, если хочешь, большие; ради Бога не бросайся в грязь. О, я знаю, как она давит душу, как она грязнит ее. Чем должно пройти, какими препятствиями, какими ужасными страданиями, чтобы, раз погрязнув в нее, опять вырваться. Такие страдания, Саша, только грязнят сердце и раздражают его. Нет, вынеси лучше разом, если ты его не любишь. Зачем я не с тобой? О никто, никто бы лучше не поддерживал, не защитил тебя, мою бедную, измученную девочку. Я так глубоко понимаю тебя, эту чуткую борьбу в твоей душе. О, ради Бога, не упади из слабости, чтобы только на минуту освободить себя от этих мучений, — те, которые ожидают после, (в) миллион раз, о, бесконечно хуже, гаже, и от них почти нету возможности освободиться. Моя милая, добрая девочка, не правда ли, ты меня слушаешь? Или ты думаешь загладить свою ошибку, пожертвовав своею чистотою и счастьем всей жизни человека? До такой безрассудности ты, верно, не дошла, и я проповедую вовсе понапрасну. Да, Саша? Скажи, да! я в этом уверена. Только напишите, ради Бога, скорей. Танюша, моя святая, милая Танюша, мне беспрестанно видится твое бледное, грустное личико, твои сквозь слезы блестящие голубые глазки (далее по-немецки). О, чем ты мне была, чем ты мне есть, этим никто не был и не будет для меня. Я люблю вас всех одинаково, но, кроме этой любви, в тебе лежит что-то чудесное, почти непонятное мне очарование, которое меня притягивает к тебе. Я была одно мгновение счастлива в этой жизни, но было ли это счастье совершенн.? Нет! Это счастье было мне, как украденное у тебя, потому что мне казалось, что каждая радость, которая мне встречалась, принадлежит тебе, и я могу лишь при твоём посредстве ею наслаждаться. Ты мое собственное, но преображенное мое высшее я,

которому единственно должны принадлежать все радости, все лучшее, что мне суждено в жизни. Я без тебя чувствую себя не цельной, потому-то без тебя у меня пропадает вся прелесть явления. Татьяна, Танюша, и я думала, что смерть может когда-нибудь меня от тебя отделить. Нет! и она этого не может. Я об этом говорила с Вердером, он меня совершенно успокоил. Отчего ты его не знаешь? Как бы ты его полюбила. Еще одно знакомство с одним русским студентом, г-ном Тургеневым. Летом он будет у вас. Чистая, светлая, нежная душа, мне кажется, что уже я много, много лет с ним знакома — он с Мишей каждый вечер приходит ко мне. Мне сегодня грустно, очень грустно, — кажется, я вчера невольно оскорбила Мишу. О, он не знает еще, как я его люблю. Знал бы он это, то никогда такое сомнение не могло прийти бы ему на душу. Но нет, оно не может быть длительно. Он ведь должен читать в этом сердце и насквозь прозревать все. И как он может думать, что я ему предпочту кого-нибудь (именно это была м-лле Фроман, одна приятельница Вердера), он делает несправедливость, горькую несправедливость этим мне и самому себе, потому что между всеми людьми, которых я узнала, с некоторыми он стоит наравне по степени своего развития, но никто не стоит с ним наравне по возможностям, которые дают ему его способности; — только один, — да и того уже здесь нету.

Теперь, что касается м-лле Фроман, то изю всех знакомств знакомство с ней было мне самым приятным, во-первых, тем, что единственное женское существо, и к этому еще глубокая ясная душа, да еще она из Веймара и знала Гёте и состоит в наилучших отношениях со всей его семьей.

6 декабря.

Два дня опять ушли. Вчера был Мишель немножко нездоров. Это меня обеспокоило. Сегодня он почти здоров. О ссоре нет больше никакой речи, и мы с ним живем по прежнему, т.-е. душа в душу. Я сейчас же пойду к нему. Третьего дня были мои именины по новому стилю. Мы провели прекрасный вечер; м-лле Фроман, Вердер, Мишель и Тургенев были у меня, играли, пели и разговаривали, и все шло от сердца каждого, и я хочу впредь как можно больше писать о Фроман, но сейчас этого еще не могу. Сделала я знакомство и с Варнгагеном, мужем Рашели. Он гораздо более мне понравился, нежели я ожидала, потому что он здесь мало любим, тогда как Станкевич его слишком строго судил, как это мне кажется. Наконец, м-лле Зольмар и хороший знакомый Грановского, полковник (имя я забыла).

Этим кончаются мои знакомства. Мишель был много раз у Беттины и может, таким образом, лучше вам о ней рассказать. Но самая хорошая и самая дорогая радость есть и остается мой Саша“...

Дальше, в конце письма Варвара Александровна рассказывает сестрам, что она много занимается музыкой и много слышит хорошей музыки.

Берлин 18 16/4 40. Декабрь, среда вечером, 11 часов.

„Милые девочки, — пишет Михаил Александрович сестрам, — записывая сегодняшнее число, я вспомнил, что сегодня Маменькины именины. У нас теперь

еще верно много гостей, и вы, может быть, пойдете скоро ужинать, — устанные, разряженные. Вероятно, вы уже в Твери. Если в Твери, то вам сегодня легче, потому что вы свободнее. Милый Николенька и Ушаковы с вами. Как я рад для Николая и для вас, что вы теперь вместе. Подле вас теперь человек, вполне достойный этого имени, живой, благородный человек. Скажите Николаю, что я всегда с какими-то особенным наслаждением думаю о нем и что я от него многого, очень многого ожидаю.. А Ушаковым поклонитесь от меня, и чтобы этот поклон не был бы холодною формою, но живым, горячим приветствием. В последнее время нашего знакомства я от всей души привязался к ним и чувствую к ним нежность брата. Вы можете сказать им это, потому что мы долго, долго еще не увидимся, и до времени нашего свидания еще много воды утечет. Скажите им, что я никогда не позабуду последнего дня, проведенного мною в Сокудине ¹⁾. Что же до вас касается, милые девочки, то я чувствую, что время никогда не унесет нашей святой, взаимной любви. Чем долее я живу в разлуке с вами, тем глубже и живее чувствую я, как вы, Наталья и Alexandrine, неразрывно связаны с моею судьбою, как глубоко вы необходимы для полноты и истины моего существования. Я сейчас пришел домой от Вареньки, мы вместе с нею пели премухинские песни, из которых почти каждая напоминает какое-нибудь обстоятельство из нашей общей жизни. Я всегда с каким-то горьким, грустным наслаждением погружаюсь в это живое прошлое, — в котором мы вместе становились людьми — путем познания истины, путем необходимых заблуждений, путем святых ошибок любви, страданий, радости и веры в лучшее, святое назначение человека. Друзья! в прошлом нашем нет ни одной точки, которой бы я не благославлял, на которой бы не останавливался с грустью и любовью и которая не сохранялась бы во мне, как живой, необходимый элемент моего духа. Да, друзья, верьте, любите, будьте полны упования, — все, все истинные требования, все надежды, самые таинственные и невыговариваемые предчувствия духа должны исполниться, потому что назначение человека осуществить в себе полноту Божьей любви, потому что это движение бессмертного духа, стремящегося к своему источнику. Пути различны, — иным суждено достигать цели через множество заблуждений; всякий необходимо должен заблуждаться и всякий заблуждается по своему, — но цель одна, и всякий необходимо должен достигнуть ее. Вера в духа должна вынести нас из всех бурь, из всех застоев жизни, — любовь, благодать Божья исполнится в нас.

Милая Саша, я не стану утешать тебя, — потому что всякий человек должен иметь утешение, силы и разрешение противоречий в самом себе, — всякий человек носит в таинственной сокровищнице души средство и возможность разрешения всех противоречий и всякий должен разрешать их по своему. Но не забывай только одного, друг, — не забывай нашей любви к тебе, помни всегда, что ты нам так же необходима, как мы тебе. Это должно быть для тебя одним из сильнейших средств излечения.

¹⁾ Имя Ушаковых.

Не знаю, описывала ли вам Варенька нашу берлинскую жизнь? Попробую я описать ее, потому что вам интересно знать все подробности нашей жизни, — хотя с другой стороны неохотно принимаюсь за такое трудное дело, — уж вы знаете, что у меня нет охоты и умения рассказывать сказочки. Начиная:

Варенька живет сама по себе, я сам по себе, т.-е. она живет на особенной квартире с Сашей и с нанятою девушкою; занимает она две комнаты с коридором. Одна комната ее гостиная (квартира в третьем этаже), комната большая, теплая, угловая, вид у нее отличный (на восток и на юг); мебель хорошая, фортепиано, на окошках разные растения, чижик летает по ним на свободе, а снегирь в клетке удивляется его подвигам¹⁾.

Мы, т.-е. я и Тургенев, живем недалеко от нее. Заняты целый день лекциями и домашними заботами, а вечером обыкновенно отправляемся к Вареньке. Довольно часто слушаем вместе симфонии, квартеты (большею частью Бетховена) и оратории. Варенька познакомилась с m-lle Фроман, — у нее бывает иногда Вердер. Воскресенье вечером был день его рождения. — Фроман была у нас, и он прочел нам пролог и I-й акт „Кристоф Коломб“. Чудное, глубокое произведение! А большею частью вечером у нас, кроме нас двоих, т.-е. меня и Тургенева, никого нет, — и мы говорим обо всем, и о серьезных, и смешных, и трогательных предметах. Спорим, смеемся после вместе, и нам бывает и весело, и грустно, и часто грустно и весело вместе. Варенька милая, очень милая дама, я ее все-таки немножко в руках держу, иногда она такая глупая, как ты, Саша. Ну, на сей раз описаний довольно. Вы мне должны заплатить тем же, все должны рассказывать. Милая Саша! береги свои светлые глаза, — и когда тебе грустно от бездействия, сочини мне сказочки и диету Танюше, которая сама глупая и не умеет сочинять сказок.

Беевы к вам приедут, и так мое желание, наконец, исполнится и вы опять увидите. Это было необходимо. Вам должно многое друг другу передать, что недоступно письменным отношениям, и снова переплесть свои жизни. Я получил от них на этих днях такие милые письма, — кажется, что Alexandre стала здоровее и телом и духом. Вам непременно было нужно увидеться.

Was die Unannehmlichkeiten betrifft, (welche daraus hervorgehen können, — so müssen sie davon absehen: — dem Cesar ist nur das zu opern, was zu seinem Reiche gehört; — das Wesentliche die Liebe aber können und müssen nicht ihm aufgeopfert werden²⁾).

Прощайте, девочки, пишите скорее. Ваш брат и друг М. Бакунин.

Поклонитесь от меня моему доброму полковнику, спросите у него, получил ли он мое письмо.

Будревичу хорошенько поклонитесь от меня³⁾.

¹⁾ В письме от руки набросан подробный план комнаты.

²⁾ Что касается неприятностей, которые могут из этого последовать, то мы должны не обращать на них внимания. Цезарю может быть только то принесено в жертву, что принадлежит к его царству. Но самое важное — любовь не должна и не может быть приносима ему в жертву.

9 декабря опять пишет Варвара Александровна.

Берлин, 9 декабря, вечер.

Милые, милые, и вы думаете, чтобы я могла быть счастлива без вас. Нет, вы этого не думаете. О, этот мир, в котором вы живете, со всех сторон окружены им, он тяжело, тяжело лежит у меня на душе. Я с вами, друзья, и неразрывно каждую минуту с вами. О, кто же в свете может разделить нас, отнять у меня ваши страдания. Они мои, для нас не существует отдельное я или ты, — мы одно нераздельное целое. Милые, милые друзья, много известия для нас нету, любовь наше блаженство, и кто нашел его, станет им искать другого. Нет, и у меня нет другого, — земное счастье мне более чуждо, чем когда-нибудь. Есть светлые наслаждения в жизни, светлые, полные, но жизнь ли дала их нам? И если бы дала одному отдельно, он бы не понял их, не понял бы иначе, как перелив их в сердце друзей. Только у вас, только с вами я буду совершенно спокойна, счастлива. Мне только от того хорошо здесь, потому что знаю, что буду с вами, что все, все разделю с вами; только сделавшись вашим, оно станет моим. Если бы не худое мое здоровье, я уже была бы с вами. Я все еще надеюсь вылечиться и приехать к вам здоровой. Если же увижу, что эта надежда пустая, ничто тогда более не удержит меня. Что мне все эти дразги, все эти гадости, лишь бы быть с вами. Мы забудем их вместе, мы станем смеяться над ними. О, Бог поможет, милые, милые, спросите у всего мира, кто так любит, как мы любим; кто так счастлив, как мы. Высший результат жизни — всего — есть любовь. Пускай мы будем бедны жизнью, пускай она все отняла у нас, — мы богаты любовью, для нас ничто не потеряно, мы все найдем в ней, она нам искусство, религия, она нам все, она научит нас мыслить, она даст нам Бога. О, станем верить, верить всею душою, живою, светлою верою, для которой все доступно, для которой нет невозможного. Что мне весь мир? Вы мои вечно, нераздельно мои, я ничего не хочу более, в любви вся истина, весь Бог.

Не гоните, зовите меня, с вами моя жизнь, мое счастье и земное и вечное, только с вами, у вас я дышу свободно, — в вас мне все светло, понятно — и в Нем, в Нем. Мы его скоро увидим, скоро мы все будем вместе, тогда воскреснет наш светлый, младенческий мир. О, они сбудутся, все эти бесконечные предчувствия, они уже сбылись, потому что мы любим, мы верим.

Танюша, пиши все, что тебе приходит в голову, и умное, и смутное. Я уже два года тому назад читала Вильгельма Мейстера, тогда он мне так же местами, как и тебе, нравился“.

А. Корнилов.

Возмущение крестьян на фабрике кн. Гагарина.

(Отголосок событий 14 декабря 1825 г.).

Влияние событий 14 декабря 1825 г. на настроение народных масс как в самом Петербурге, так и внутри страны до сих пор еще изучено очень мало. Большой интерес поэтому представляет собою дело о возмущении крестьян на бумажной фабрике кн. Гагарина, находящееся в несомненной связи с этими событиями ¹⁾).

12 февраля 1826 г. губернатор А. Безобразов донес министру внутренних дел, что крестьяне фабрики кн. Гагарина в Ярославской губ. вышли из повиновения своему начальству и отказались от работы. Вслед за тем более 300 человек из них явились в губернский город и принесли губернатору жалобу, состоящую в том, что: 1) не соблюдается на фабрике должной уравнительности в работах, 2) не выдано им из магазина столько хлеба, сколько следует, 3) не достаёт у них времени на исправление своих собственных нужд и 4) их употребляют иногда на барские работы в праздничные дни. После кратковременного вразумления, фабричные принесли „чистосердечное раскаяние“ и показали, что в соглашению стоять друг за друга причастен священник их прихода Михаил, который в церкви служил молебен об избавлении их от тягостных господских работ и потом при крестном целовании увещевал их стоять друг за друга. Установив таким образом „благочиние между сими заблудшими людьми“, губернатор распорядился наказать четырех зачинщиков, по указанию управляющих фабриками, пятьюдесятью ударами розог каждого „в страх и пример другим“, а пятого — Федорова, принявшего звание поверенного, задержать под караулом до дальнейшего рассмотрения. Относительно же священника, которого губернатор не усомнился считать „главным руководителем в нарушении порядка на фабрике“, было сообщено в духовную консисторию с предложением впредь до расследования немедленно отстранить его от должности для устранения вредного влияния его на фабричных людей.

¹⁾ Архив Мин-ва Внутр. Дел. Департ. Полиции Исполнительной, дело № 325 за 1826 г.

Затем, на место преиспешствия был командирован чиновник, чтобы удостовериться, не было ли каких-либо излишеств в распоряжениях управляющих фабрикою, несоответственных с добрым хозяйством“.

Это расследование подтвердило в значительной мере показания рабочих, и на основании его губернское правление постановило: „1) управляющего фабрикою обязать полискою, чтобы в праздничные и воскресные дни фабричные освобождались от работы, если же последние признаются необходимыми, то накрывать для исправления их или своих фабричных людей по добровольному соглашению, или посторонних с платою вдвое большей против будничных дней; 2) установить всевозможную уравнительность между лицами, которые должны находиться на работе, и так как фабричные заняты, кроме того, хлебопашеством, то и накрывать их брат на брата, предоставляя платящим за установленную плату работать и не в свою очередь; 3) таким же порядком установить уравнительность между теми людьми, которые употребляют для пилки и возки леса, попарно плотных и т. п., т.-е. чтобы таковые работы производить брат на брата; 4) так как рабочие на фабрике заняты по искусственной части с умеренною платою для пользы владельца, то внушить управляющему, что всякое взимание дальнейшего оброка за предоставленную им землю является несправедливым и, как прописное доброму хозяйству, должно быть уничтожено; 5) вменить в обязанность земскому исправнику иметь на будущее время неослабный надзор за фабричными людьми, которые, оставя свои занятия и дома, отлучились в Ярославль и бродили толпами по городу; 6) передать суду фабричного Дмитриева, принявшего на себя звание поверенного и руководившего подачей жалоб, а также отставного коллежского секретаря Крылова — за изъяснение ложных в прошении обстоятельств, чем подал повод фабричным людям более и более нарушать свои обязанности“.

Относительно участия священника Михаила выяснилось, что „под предлогом избавления от существующей будто бы между фабричными горячки он служил молебен об избавлении их от тягости господских работ, а по окончании молебна производил неприличное фабричным увещание, которое послужило главнейшей причиною общего непослушания крестьян на фабрике; означенные действия упомянутый священник подтвердил собственноручно данным показанием при депутате с духовной стороны.

Признавая, что дальнейшее пребывание его на фабрике может быть вредно и породить новые беспорядки, губернское правление направило собранные материалы в консисторию на предмет должных распоряжений“.

Приняв эти меры, губернатору ничего не оставалось, по его признанию, как ожидать, что „дальнейшее благоустройство в имении кн. Гагарина ни в каком отношении нарушено быть не может“. Но к его великому удивлению 22 марта внозь поступило от главноуправляющего именiem сообщение, что после сделанного губернатором внушения крестьяне обратились к работам и продолжали их в должном порядке до 16 марта, а с этого времени отелоняясь вторично от всякого повиновения, устраивают самовольно сходы, производят денежные сборы и, по общему их согласию, избрав из своей среды двух

поверенных — Козлова и Гусева, отправили их в Петербург, после чего среди них „породилась совершенная непокорность и осуждение“. К этому управляющий присовокупил, что главнейшей причиной возмущения служат распространившиеся между крестьянами слухи об ожидаемой к весне свободе, а руководителем неповиновения он считает не кого иного, как священника Михаила, в пользу которого производимы были и самые сборы денег.

Получив означенное сообщение, губернатор немедленно командировал исправника, который донес, что, по прибытии его на место, крестьяне были собраны и найдены в столь возмущенном состоянии, что никакие вразумления не могли иметь место, причем они заявляли только одно, что не обратятся к повиновению до тех пор, пока не получат от государя императора ответа на их жалобу. Из каких источников исходили слухи об ожидаемой к весне свободе, исправнику выяснить не удалось, но главнейшая причина непокорности и по его мнению заключается именно в них.

Распорядившись о получении воинской команды, губернатор отправился лично в имение Гагарина. Здесь к нему явилась толпа крестьян в несколько сот человек, которая была тотчас же окружена со всех сторон солдатами и чинами жандармерии. „Несколько часов сразу употреблял я, — сообщает губернатор в своем рапорте министру внутренних дел, — все меры кроткими внушениями вразумить неповинующихся крестьян обратиться к порядку, но все мои усилия оставались тщетными; дух непокорности замечен был в сильнейшей степени и действительно, как приметно было, происходил не от одних причин чувствемого ими отягощения в наряде на господские работы, но от влияния ложных слухов, излагаемых людьми распускаемых, ибо отзывы крестьян с приметною какою-то самонадеянностью заключались в том, что они ожидают милости от великого государя“.

Предполагая вредное влияние здесь со стороны священника Михаила, губернатор вызвал его к себе и, сделав строгое внушение перед всеми собравшимися крестьянами, объявил, что он не может более оставаться здесь и исполнять требы, а должен отправиться в консисторию. Однако и это не произвело на крестьян никакого впечатления, и они остались непреклонными. Тогда губернатор распорядился привести в исполнение приговор галаты уголовного суда о наказании плетью в количестве 30 ударов главного зачинщика первоначального беспорядка Дмитриева; но крестьяне, придя в крайнее возбуждение, делали неоднократные попытки помешать осуществлению этого и даже хотели его отбить. После этого при содействии воинской команды губернатор приступил к выделению из толпы активных элементов, „непреклонных к повиновению“ — таковых оказалось 120 человек, и они были отправлены в Ярославль. Остальные же 400 человек обратились к порядку, и им было приказано выбрать на следующий день 30 человек для опроса о причинах волнения. Из опроса как их, так затем и первой партии, губернатор вынес в конце концов убеждение, „что основной причиной происшедших беспорядков служат распространившиеся среди крестьян слухи об ожидаемой к весне свободе, а также служение всему миру злобна с увещанием священника

стоять друг за друга и крестным целованием, нарушение коего считалось ими клятвopеcтyплением. Следов же дурного обращения или экономического угнетения их обнаружено не было.

Имение Гагарина, перешедшее к нему в 1821 г. от Яковлева, состоит из 1429 душ, из коих собственно к фабрике принадлежит 464; они получают определенную плату, пользуются видимым благосостоянием и работы производят в полном порядке.

Сама фабрика, при которой они состоят, находится в образцовом состоянии и является одной из первых в империи. Остальные 965 состоят из крестьян, занимающихся хлебопашеством и пользующихся всеми угодьями, принадлежащими помещику, так как барской запашки не имеется. Обязанности их по отношению к фабрике заключаются в привозке леса для построек, дров для отопления, камня, кирпича и земли для плотин и других работах, с платой от 8½ до 32 к. в день, и отправке подвод с товаром в Ярославль, Ростов или Москву за плату в 25 к. с пуда. Так как производство на фабрике ведется только в зимнее время, то и работы крестьян на фабрике приурочены также к этому периоду, а летом они употребляются только к укреплению плотин, пилке и подвозу дров и пр. Для более точного регулирования повинностей на будущее время вотчинное управление согласилось установить следующее положение:

а) Вообще работы на фабрике между сельскохозяйственными крестьянами определить брат на брата; б) тягловым тяглом почитать мужского пола от 16 до 55, а женского от 15 до 50 лет; в) наряд подвод в Ростов и Ярославль определить на тягло в зимнее время по шести, а в летнее по четыре, считая дни проводникам из половины, на господские работы следующей; г) отвоз товара летом в Москву вовсе уничтожить, а зимний отвоз возложить исправление на каждое тягло по полторы подводы, с платой по 30 коп. с пуда и с зачетом времени из половины барской; е) землю получать по тяглам всю без остатка, что есть по дачам, оброк за оную будет уничтожен; ф) за всеми предоставленными выгодами крестьянам, работать обязанным из половины, уже плату за работу на фабрике также уничтожить, ибо по неимению запашки господской вся обязанность сосредоточивается в занятиях по фабрике, где и будут исправлять работы из половины“.

При проезде через деревни губернатором было замечено, что постройки весьма хорошие, есть даже каменные двухэтажные дома, а по удостоверению командиров расположенных в них воинских частей „хлеба у крестьян много, одежды роскошные и живут в избытке“. Это окончательно убедило губернатора, что главная причина возмущения заключается не в отягощении крестьян, а в том, что они „приобыкли к духу своеволия, столь в особенности свойственного людям, на фабриках употребляемым, почему более других при первом распространении в народе слухов о вольности, слепо оным поверив, возредали непокорность вотчинному управлению“.

Несмотря на настойчивые увещания из арестованных 112 человек обратились к порядку только 21, остальные же „явно дерзновенно остались непо-

юриспруденции" и отданы под суд. Вместе с тем губернатором было возбуждено перед министром внутренних дел ходатайство о высылке в скочанном виде из Петербурга двух поверенных от крестьян, которые отправились туда самовольно без паспортов и являются главными подстрекателями к совершенному отклонению их от повиновения.

Что касается священника, то консистория распорядилась „для отдаления всякого в возмущении крестьян сомнения“ удалить его из прихода села Плещеева и, до прислания нового места, перевести в Ростовский монастырь. Считая подобное распоряжение о предоставлении человеку, „нарушившему спокойствие более тысячи душ“, права свободного выбора места и о помещении его в монастырь, отстоящий не более 25 верст от возмущенного имения—скрытым покровством со стороны духовной власти, губернатор возбудил вопрос об исполнении высочайшего соизволения на предание священника суду и на взятие его впредь до окончания дела под стражу.

Между тем, из имения Гагарина вскоре поступило сообщение, что 206 семейств отложились вновь от всякого повиновения и заявили, что не будут выходить на господские работы, пока не получат высочайшего разрешения на поданную их поверенными жалобу. При этом, ими было представлено письмо означенных ходоков Козлова и Гусева, в котором последние, после бесчисленных поклонов, оповещают своих доверителей, что они „в Петербург в восемь дней слава Богу приехали и просьбу Государю подали. ...Ежели будет справка, то вы показывайте все свои нужды, хоша и на бумаге, или о изнурении давнишнем, не робейте: Бог милостив до нас; а вы скоро нас домой не ожидайте—видно пожить нам будет; мы каждый день у дворца бываем“. В другом письме сообщается, что „мы известие получали подробно, какое вам тиранство от губернатора происходит, и просьбу написали третью и подали Государю... Вы ни о чем не сомневайтесь, нас одержать никто не может, от Государя таким ходателям дана свобода“.

По докладу министра внутр. дел вскоре последовало высочайшее повеление, чтобы главнейшие зачинщики неповиновения были примерно наказаны и сосланы в Сибирь, а прочим объявлено было прощение; священника же Михаила—предать суду, а до окончания дела содержать в отдаленном монастыре. Вместе с тем в Ярославскую губернию был отправлен флигель-адъютант его величества полковник Строганов для содействия к восстановлению порядка и отысканию истинных причин неповиновения крестьян. 7 мая губернатор вместе со Строгановым прибыл в село Плещеево, где были собраны около 360 крестьян, из коих 200 упорствовало в своем неповиновении. В течение нескольких часов убеждали они толпу подчиниться высочайшей воле и обратиться к повиновению, но безуспешно: крестьяне единодушно отвечали, что доколе поверенные их не возвратятся и не доставят ответа на поданную ими государю просьбу, они не будут слушаться вотчинного управителя. „Все отзывы таковые их сопровождаемы были тихостью и благочинием, и никто из крестьян сих не позволял себе произвести крика или какого-либо шума, но в упорстве к повиновению остались непреклонными, чем явно доказывается, что таковой

план ими был обдуман, дабы подобною тишиною отдалить всякое от них заключение, что они в возмущенном состоянии находятся". Тогда по общему совещанию обоих администраторов решено было приступить к наказанию розгами тех из крестьян, которые в своих ответах более других возвышали голос. Но это не произвело ни малейшего впечатления, и после того как семь человек один за другим были наказаны, все прочие "сами просили быть наказанными также, объясняя, что действуют они все за одно, дали друг другу слово, прибавляя иные, что они крест целовали стоять твердо, доколе не возвратятся их ходоки из Петербурга, почему и наказание им должно быть равное". Оставляя дальнейшие вразумления, губернатор пробовал было произвести расспросы, не имеют ли они каких-либо новых жалоб, но они также единодушно отвечали, что поддерживают ранее заявленные показания и впрочем их пополнить не могут. Указание на то, что их жалобы на отягощение признаны неосновательными, равным образом не произвело на них никакого впечатления. Тогда решено было отобрать из толпы лиц в возрасте от 15 до 20 лет и старше 70, а оставших в количестве 140 человек, разделив на партии, отправить в Ярославль и Ростов под стражей. Вместе с ранее арестованными 84 крестьянами общее количество посаженных в тюрьму достигло таким образом 224 человек.

Рассмотрев в спешном порядке дело, палата уголовного суда постановила: 1) признавая главнейшими возмутителями против порядка и подстрекающими через письма других одновотчинных и неповиновению, находящихся доселе в Петербурге, ходоков, называющихся поверенными, по присылке их сюда предать строгому суду; 2) более других в неповиновении упорнейших и другими руководивших, равномерно собиравших деньги на траты по делу, а потому виновнейших перед прочими палата признала восемь человек, коих приговорила, наказав по 60 ударов плетью, сослать в Сибирь на поселение; 3) участвовавших во всех беспорядках и более прочих в неповороте замеченных, всего 20 человек, присудила к наказанию каждого по 40 ударов плетью, и 4) 55 крестьян, кои хотя в возмущении участие принимали, но по видимым в деле обстоятельствам замечаются завлеченными другими, в страх и пример на будущее время, предположила наказывать батогами каждого по 70 разанов, а крестьянина Ключина по чистосердечному его раскаянию, освободить от суда, водворить на место жительства".

Утвердив приговор суда, губернатор распорядился собрать на лобном месте также и тех 140 крестьян, которые еще ожидали суда, и до трех сот человек из других помещичьих вотчин, чтобы "строгим примером поступления по законам с нарушителями повиновения востребить повсюду и самые распускавшиеся слухи об ожидаемой помещичьими крестьянами вольности". 14 мая, когда все было готово, 8 главнейших зачинщиков были подвергнуты наизусть и под конвоем с лобного места отправлены в Сибирь, а остальным было объявлено всемигновенное прощение со внушением предъ пребывать в должном порядке. Но, когда по выслушании сего конвою приказано было отвести крестьян по своим местам, то из числа осужденных Палатою трое — Мотов, Буров и Дмитриев, остановившись, закричали: "не идем, снесите нас, не

повинуемся". По примеру этих бунтовщиков и прочие 29 человек из находящихся с ними в одной партии присоединили к ним свои крики. Прочие затем крестьяне, 184 человека, во все время производимого наказания сохраняли полное благочиние, но по приводе в полицию для отобрания подписки о пребывании на будущее время в повиновении решительно отказались от этого, заявив, что до возвращения своих поверенных они ни под каким предлогом вотчинному управлению повиноваться не будут. Тогда они вновь были заключены под стражу, и губернатор приступил к изысканию новых мер к их вразумлению.

Между тем трое поверенных, на поимке которых, как главных смутьянов, так настаивал губернатор, были арестованы в Петербурге и высланы на место жительства; но один из них с дороги бежал, причем сопровождавший их квартальный чиновник за явное послабление побегу был предан суду. По распоряжению губернатора, главный из поверенных Гусев был показан каждому из содержащихся в заключении крестьян с объяснением, что просьба их не уважена и что он выслан под караулом из Петербурга. Но и эта мера не имела почти никакого успеха, ибо из всех упорствующих крестьян только пятеро пришли в раскаяние, остальные же заявляли, что делают, что хотят, и повиноваться не будут.

Вскоре затем последовало издание высочайшего манифеста о пребывании крестьян в должном повиновении у своих помещиков. По этому поводу упорствующие крестьяне вновь были собраны и в течение нескольких часов подвергались вразумлению со стороны высших чинов администрации порознь и сообща, но „и сил мера осталась совершенно без успеха“.

Между тем, из имения Гагарина поступило сообщение, что часть крестьян вновь стала обнаруживать неповиновение или скрываться из мест своего жительства. Пришлось снова посылать туда воинскую команду, и командированный вместе с нею чиновник донес, что неповинующихся крестьян найдено 58 человек, из коих 54 удалось обратить к порядку, а 4 непреклонных взяты под стражу; сверх того самовольно отлучившихся значится 107 человек.

В спешном порядке было произведено судебное разбирательство, и 6 июля мятежные крестьяне на лобном месте подверглись наказанию: Котов и Буров, как главнейшие виновники — 40 ударами кнута, 9 человек — по 70 ударов плетью и 20 — по 40 ударов. По наказании таким порядком виновнейших в полиции стали отбираться от них подписки в повиновении вотчинному начальству, но и тут 23 человека „дерзнули еще пребыть упорными“, почему тотчас же были отправлены в крепостные работы. Остальным всем крестьянам было объявлено прощение, и они возвращены на место жительства. Из числа подвергшихся телесному наказанию 26 человек должны были отправиться на крепостные работы. Но для 18 из них в виду их раскаяния и прежнего хорошего поведения мера эта была отменена, остальные же 8 в возрасте от 35 до 55 лет (Дремни, Смуров, Кувшинов, Грачов, Буров, Котов, Иванов и Гусев) отправлены в Кронштадт, Динабург и Бобруйск.

Так кончилось „необыкновенное по упорству и ожесточению“ дело, „только вредное — по выражению красноречивого губернатора — благосостоянию про-

стодушных поселен, невинно вовлеченных злонамеренными разглашениями в пагубные для них последствия“.

Дело это было не единственным в этой губернии за данный год и имело несомненную связь с событиями 14 декабря 1825 г., как это видно и из нижеследующей переписки того же губернатора с полковником Строгановым.

„Со времени бывших в С.-Петербурге в декабре месяце происшествий различные нелепые слухи в народе беспрерывно распространялись и доселе распространяются. Слухи сии в Ярославской губ. более, нежели в другой, имеют возможность доходить и сосредоточиваться в мнении народа, ибо треть жителей губернии беспрестанно в отлучке, по торговле и промыслам большую часть проживают в Петербурге и Москве и из сих мест, обращаясь в дома свои, приносят вести, часто самые нелепые, но тем не менее среди собратий своих доверие заслуживающие. Сии то люди, приходящие из столиц, распространили слухи между помещичьими крестьянами о мнимо ожидаемой к весне вольности, а между казенными крестьянами и прочими состояниями, что все недоимки прощены будут. Рассеиваемые таковые разглашения имеют два последствия, и, как полагать должно, не в одной Ярославской губернии, во-первых, порождают неповорность помещичьих крестьян к своим владельцам, а во-вторых, накаплиют недоимки до значительных сумм.

По губернии, управлению моему вверенной, в отношении неповиновения крестьян, на началах слухов об ожидаемой вольности основаны были следующие происшествия: 1) в имении кн. Гагарина, в Ярославском округе состоящем, 2) в имении помещицы Пономаревой, в Мышкинском округе находящемся, 3) в Даниловской округе помещика Брянчанинова, 4) в Романо-Борисоглебской округе в имении Ярославова, 5) в имении гр. Мамонова, в Рыбинской округе находящемся. В имении Мамонова порядок водворен, и виновные преданы суду. В имении Брянчанинова земскому исправнику поручено удостовериться о степени справедливости обстоятельств, изложенных в прошении помещика. Крестьянам Ярославова, явившимся к губернатору с жалобой, сделано строгое внушение, и они обращены на место жительства; исправнику же было поручено иметь точное наблюдение за порядком, а между тем изыскать под рукою о настоящих причинах и справедливости словесно приносимых крестьянами жалоб на обременение их работами“. Требуя усиления воинских сил в виду беспокойного состояния губерний, губернатор обращает внимание на ее особенное положение, ибо „Рыбинская пристань с открытием сплава судов ежедневно сосредоточивает от 50 и до 100 тысяч народа, со всех почти южных губерний Империи нашей прибывающих, а потому... в особенности следует отвращать всякое зарождение беспорядков, от злонамеренных слухов начало получающих, дабы тем остановить и самое влияние на приходящий народ к пристани, который, возвращаясь в дома свои, не мог бы рассеивать слухов нелепых, которые пагубны могут быть их благосостоянию“.

К. Памитнов.

Одесские вольнодумцы пушкинской поры.

Комитет для следственных изысканий о злоумышленных обществах, высочайше учрежденный 17 декабря 1825 г., как известно, обратил в самом начале своей работы совершенно исключительное внимание на раскрытие тайных организаций в Грузинском корпусе ген. А. П. Ермолова, возможная привосновенность которого к движению 14 декабря (он был в числе трех кандидатов во „временное правление“ в случае успеха переворота) настраивала особенно тревожно нового императора¹⁾. Исходным пунктом дознания явились здесь некоторые предположительные данные кн. С. Г. Волконского, в свое время нашедшие себе место в известном отчете его Верховной Думе, что „существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести политический переворот в России“, что „во главе оного сам А. П. Ермолов, и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу“²⁾.

Несмотря на то, что все сведения эти, как установлено было вскоре самой Комиссией, покоились на фантастических вымышлениях А. И. Якубовича, вопросы о Грузинском корпусе продолжали довольно долго осложнять следствие, в начале марта неожиданно оживившееся, благодаря аресту в Ростове некоего Василия Сухачева, служившего „по гражданской части“ в Грузии, появившегося зимой 1825 г. на Дону и пребывавшего там с тех пор без определенных занятий.

Внимание провинциальной администрации он привлек сразу тем, что „вел жизнь самую уединенную, ни к кому не ходил, никого к себе не принимал, занимался письмом и чтением, имея при себе библиотеку, из 600 томов состоящую. Сей образ жизни его подал некоторое подозрение городничему, который уже имел повеление наблюдать за всеми теми лицами, которые бы приехали в Ростов без гласной причины или надобности“. При обыске, внезапно произ-

¹⁾ Н. К. Шильдер, Император Николай I. СПб. 1903, т. II, 20-27.—П. Е. Щеголев, А. С. Грибоедов и декабристы. СПб. 1905, стр. 37-38 (перепеч. в его сборнике статей „Исторические эгюды“. СПб., 1903).—В. С. Иконников, Крестьянское движение в Киевской губ. в 1826-27 гг. Сборник статей, посвященный В. И. Ламанскому, II. СПб. 1908, стр. 700-701.

²⁾ Записки С. Г. Волконского. СПб. 1901, стр. 415.—Ср. П. Е. Щеголев, А. С. Грибоедов и декабристы, с. 39.

веденном у Сухачева, обнаружены были „между вещами и бумагами“ кинжал, пара пистолетов, ружье, сабля, „злодейское клятвенное обещание“, алфавит для тайной переписки и несколько писем, „писанных буквами сего алфавита“. Сухачев препровожден немедленно был в Таганрог, где на учиненном ему 1 марта допросе показал¹⁾: что от роду ему 28 лет, исповедания греко-российского, принадлежал к сословию Бендерского малороссийского общества, служил несколько лет в Одессе приказчиком фирмы Серато и Верани в 1822 г., приобрел знакомство с коллежским секретарем Г. С. Радуловым и уволенным из купеческого общества М. К. Аристовым; в половине 1824 г. отправился вслед за ними в Грузию для „определения в статскую службу“, но, проработав „приватно“ в течение года в исполнительной экспедиции при верховном правительстве, в должности официально утвержден не был и решил „употребить себя по-прежнему в дела коммерческие“; 4 декабря, прогостив предварительно месяц в Новочеркасске, у одесского купеческого сына Александра Протасова, прибыл в Ростов „собственно для того, чтобы распродать библиотеку, которая заключается в шестистах с небольшим книгах разных лучших сочинителей, и, выруча за оную деньги, следовать на оные до Одессы“. Обращаясь затем к содержанию отобранных у него при обыске документов и бумаг, Сухачев изъяснил, что „клятвенная присяга“ извлечена им „по точным словам из книги театра сочинителя Августа фон-Боцебу, для одного любопытства, да ремарка о добродетели извлечена оттоль без всякого злого умысла; „ремарка на 2-х листах о страдании человечества извлечена из бумаг, но каких, не помнит“; письмо к Радулову „составлено из литер греческих, еврейских, арабских, турецких, китайских, латинских, русских и др., выдуманных им и друзьями его Радуловым и Аристовым“; некоторые извлечения из опытов нравственности Платона и других писателей черне на 6 листах „имелись для одного любопытства“; письмом на 5 листах к чиновнику канцелярии новоросс. генер.-губернатора М. Н. Леонтьеву „уговаривал его о непадении в заблуждение православной религии“, так как „слышал не однажды, что он, придерживаясь философии женевого сочинителя Жан Жака Руссо, не соглашался во всем с христианской религией и говаривал, что она хороша, но иногда может быть и вредна“; бумага под заглавием „Несправедливое истребление воинства“ на 8 листах писана Радуловым, „но отколь она выписана и на какой конец, неизвестно; азбука иероглифическая писана рукою Михаила Аристова; в азбуке сей выражение „храм общества независимых“ означает союз трех нас друзей; „Обнародование прав человека и гражданина“ писано рукою исправлявшего в Одесском Ришельевском лицее должность профессора г. Егором Шкляревичем, которым бумага сия и переведена с французского экземпляра, находящегося, должно быть и ныне, у Аристова и которую имею для одного любопытства, а ничуть не для руководства“.

¹⁾ Акт первого допроса Сухачева, сохранившийся в одном из дел бывш. Государственного Архива (1 В № 155), полностью воспроизведен в работе П. Е. Щеголева (op. cit., с. 40-44). Констатируя большой „бытовой и общественный интерес“ таганрогского дознания, автор располагал, однако, чрезвычайно скудными о нем данными.

Заключалось первое показание Сухачева следующим утверждением: „Сколько бумаги, у меня найденные по случившимся в прошлом году в столице от вольнодумства мятежам, повергают меня сомнению, столько я, не чувствуя сего пагубного за собою последствия, надеюсь оправдаться и правительство уверить, что все то происходило от глупости и извлекалось для любопытства из книг разных сочинителей, коими все мы начитаны... Судим по суду не был, к тайным обществам и масонским ложам не принадлежу и никогда не принадлежал; с людьми, общества сии основавшими или к оным принадлежащими, сношения не имел, и кто они такие, да и есть ли где, совершенно не ведаю“.

В показаниях Сухачева от 4 марта им дополнительно было разъяснено, что: 1) найденное в его бумагах письмо одесского купца Вонифатия Картамышева от 14 марта 1819 г. попало к нему случайно „во время квартирования“ в доме последнего, и к чему относится выражение „вступил в новую жизнь тебе неизвестную, вступил к лютым зверям, называемым себя обществом, увидел себя брошенного среди всех ужасов жестоким роком. Отчаяние заставило меня сделаться (три слова иероглифические), и словом все сии испытания поселили мое отвращение к жизни, но самая сия смерть казалась мне ужасною“ пояснить не в состоянии. 2) В переписанной им песне „Внянч меня в народе“ подпись „сочин. член общества независимых S. Spaskiy“ принадлежит Семену Тимофеевичу Спасскому, харьковскому купеческому сыну, приехавшему в 1821 г. в Одессу для прискания должности и оттоль уехавшему в Иркутск или Березов на службу в Северо-Америк. Компанию¹⁾. 3) Предписание ген. Ермолова об отъезде из Тифлиса им захвачено „нечаянно“ и „без всякого умысла“ из исполнительной экспедиции¹⁾.

Предварительное дознание „на счет принадлежности Сухачева, или других лиц, к тайным обществам“ закончено было ростовской, тифлисской и одесской администрацией в первых числах апреля. Ничего компрометирующего самого Сухачева обнаружено более не было; обстоятельное других оказались показания о нем купеческого сына Андрея Протасова и титулярного советника Леонтьева. Как было отмечено первым, „Василий Иванов Сухачев знаком мне с 1812-го года по нахождению его тогда в г. Одессе, в лавке купца Семена Андросова за приказчика; а потом во французском магазине, где он, получая немалое жалованье, приобрел себе хорошее одеяние и изрядную библиотеку, между тем, имея всегдшнее обращение с иностранцами, научился французского и итальянского языков; а по выезде моем оттоль в 1820 году я с ним, Сухачевым, уже не видался; прошлого 1825-го года в октябре месяце, бывши по торговому промыслу в городе Ставрополе, увиделся с ним, Сухачевым, оттоль он вместе со мною и со всеми бывшими там здешними торговцами приехал в Новочеркасск, имея при себе и упомянутую библиотеку; остановился на одной

¹⁾ Архив Новороссийского и Бессарабского ген.-губернатора, часть секретная, 1826, № 12. Дело о задержанном в городе Ростове по сомнению в принадлежности к тайному обществу уволенном из сословия Бендерского Малороссийского общества Василии Сухачеве, на 124 листах—л.л. 13—14.

со мной квартире, на которой, пробыв месяц времени, занимался чтением книг иногда сочинением драмы под названием „Велисарий“, которую только начал писать; потом выехал в город Ростов. Во время бытности его со мною на квартире из разговоров его не заметил и не знаю, чтобы он принадлежал к каким тайным обществам, а равно и предприятий вредных против правительства; а сказывал только, что он, Сухачев, служил в городе Тифлисе в верховном грузинском правительстве по исполнительной экспедиции и службу свою оставил по причине бывшей над ним продолжительной болезни, намереваясь в России прискаты коронную или партикулярную должность. Затем он, Сухачев, отъезжая в Ростов, обещался приехать в Новочеркасск для свидания со мною и с знакомыми ему здешними торговцами Львом Шапошниковым и Павлом Кладовщиковым; просил уведомить его, когда ему приехать, о чем я и писал ему в феврале месяце; вследствие какового уведомления моего он, Сухачев, приезжал ко мне в Новочеркасск, в последних числах прошедшего февраля, и, пробыв четыре дня масленой, возвратился в Ростов; при каковой бытности его занял у меня денег сто рублей и показывал мне в тетради начатое им сочинение, комедию под названием „Мнимые философы, или общество глупцов“, которую (как сказывал мне) намерен был по окончании сыграть на здешнем театре; но как в вышеупомянутой драме, так равно и комедии, я не нашел ничего противного нашей религии и вредного правительству“¹⁾.

В рапорте Леонтьева подтверждалось, что „главнейшее рассуждение и рассказы Сухачева были о книгах и о предметах, к наукам относящихся, и вследствие подобных изъяснений он дал мне когда-то собственноручно им писанное извлечение из опытов нравственности... Из слов его известно мне, что он короче знаком был с неким Радуловым, служащим в Грузии; читал их переписку, какую Сухачев мне показывал, но ничего подозрительного в ней не заметил; относительно же прочих знакомств, занятий и намерений Сухачева ничего не знаю, ибо не был с ним в откровенной связи, а принимал его за молодого, хорошего поведения и со способностями человека. Никаких бумаг противу правительства и народного спокойствия у него не читал и слов подобных от него не слышал и сколько могу себе представить, он ни по обращению, ни по роду жизни своей и состоянию не был близок к участию в каких-либо замыслах противу правительства“²⁾.

Обыск, „строжайшим образом“ произведенный у арестованных 3 апреля в Тифлисе секретаря Грузинской исполнительной экспедиции Григория Радулова³⁾,

¹⁾ Дело о Сухачеве, л. л. 18—19.

²⁾ То же дело, л. л. 30—31. Письмоводитель одесской градской полиции Михаил Леонтьев только 20 декабря 1823 г. определен столоначальником во II отделение канцелярии генерал-губернатора (Арх. канц. Новоросс. ген.-губ., дело 1 отд., 1824 г., № 57, л. л. 7—8).

³⁾ Коллежский секретарь Григорий Степанов сын Радулов, родом „из сербов“, получил воспитание „при родителях“, проживавших в казенном имении „Глинное“ (Тирасп. уезда), служил некоторое время в Тираспольском нижнем земском суде и Бессарабском Областном правительстве, затем определился в Саратовский пехотный полк

„канцелярского служителя“ Михаила Аристов¹⁾, в значительной степени должен был облегчить следствие, так как документальный материал, обнаруженный у друзей Сухачева, не только вполне соответствовал признаниям последнего, но и с совершенной определенностью раскрывал характер отношений и образ мыслей всех трех конспираторов.

В бумагах Аристов²⁾ „привлекли внимание: 1) гieroглифическая азбука, которою пользовался он в переписке с Сухачевым и Радуловым, 2) „Ода на свободу“, известное сочинение, как говорят, Александра Пушкина³⁾, 3) печатный экземпляр на французск. яз. „О правах человека и гражданина“ с черновым переводом его на русский язык, 4) книжка с записью „гieroглифическими литерами“ на стр. 46—„Александр есть также Смертный“, на стр. 47 „Общество независимых. Закон его следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными; признавать натуру творцом всего“, на стр. 52—стихи Сумарокова („Нет счастья на земле, на небесах оно оставлено богам, а смертным не дано“...), на стр. 52—53 порнографические вирши Баркова и самого Аристов⁴⁾, 5) „журнал происшествий“ во время поездки из Одессы до Редута-Кале с записью „Правил общества Друзей“. Последние, как свидетельствовал Аристов, „писаны без всякой цели; под названием общества друзей разумел себя, Радулова и Сухачева, дружбой конх весьма дорожили и восхищались, что буду пользоваться оной еще более; заметки об обществе независимых и прочие отрывки, равно и стихи сочинения не моего, а вероятно начитал оные в каких-нибудь книгах и рукописях, в которых подобные выражения весьма нередки, и выписал оные единственно из любопытства, не разумея важности оных—без всякой впрочем дурной цели и намерения“⁵⁾. В бумагах же Радулова, кроме одного письма Сухачева, „с свободомыслием писанного“, ничего возбуждающего сомнение не оказалось.

Предсудительные произведения, обнаруженные у его друзей, как показал Радулов 8 и 10 апреля, были ему неизвестны. С азбукой, изобретенной Сухачевым „из букв китайских, латинских, арабских и др.“, он познакомился лишь „для забавы“. Никогда „дружества“ с Сухачевым и Аристовым „храмом общества независимых“ не называл, так как такового вовсе не существовало, а была „между нас одна приятнь, начавшаяся в Одессе и продолжающаяся до

„аудитором“; через год перешел протоколистом в Одесский коммерческий суд и наконец переведен оттуда был в Грузию, где в исполнительной экспедиции при верховном правительстве занимал должность секретаря (Дело о Сухачеве, л.л. 62—63).

¹⁾ Михаил Константинов Аристов, 23 лет, сын овидиопольского купца, воспитывался сперва в одесском греческом училище, затем в гимназии; по окончании „курса наук“ занимался до 1820 г. торговлею, а потом „письмоводством“ в конторах одесских маклеров и нотариусов, а также „хождением по судным делам“; в августе 1824 г. отправился с Сухачевым в Грузию, где служил в Тифлисской исполнительной экспедиции и в управлении „лазненной нефти“ в Баку (то же дело, л. 58).

²⁾ „Онак писана—отметил Аристов—моею рукою с рукописной для одного любопытства“.

³⁾ То же дело, л.л. 68—78.

сего времени более потому, что они, желая поступить на службу и встречая в том затруднение, будучи податного состояния, наделись иметь пособие от меня, которого я, при всем желании открыть им путь, как имевшим хорошие способности к службе, не мог оказать по существующему запрещению, а предполагал, что достигнуть могут оно, оказав усердие к службе, по ходатайству об них начальства или по воспоследовании высочайшего утверждения правил на подобные случаи, кои по сведениям якобы составлены¹⁾.

Объяснение это, подкрепленное указанием на беспорочную службу и свидетельством, что „вредных предприятий против правительства не только никогда не имел, но даже и на ум сия преступная дерзость не приходила“, очевидно вполне реабилитировало Радулова в глазах кавказской администрации: в то время как Аристов был препровожден 27 апреля вместе со всеми отобранными у него бумагами в Таганрог, Радулов остался под арестом в Тифлисе.

Между тем, петербургский комитет для следственных изысканий о злоумышленных обществах, отнесясь первоначально с особым вниманием к таганрогскому делу и встревожив дополнительными вопросными пунктами о нем многих из арестованных декабристов²⁾, очень скоро пришел к заключению, что никакой связи с делом, в комитете разбираемым, процесс Сухачева и его сообщников не имеет.

По высочайшему повелению дело Сухачева надлежало довести до конца на месте, о чем новороссийский генерал-губернатор и был уведомлен отношением военного министра от 29 марта 1826 года. Весь следственный материал о Сухачеве препровожден был гр. Воронцовым в Петербург 28 апреля, но через две недели возвращен в Одессу с следующим заключением А. И. Татищева: „Как высочайше учрежденный комитет, в который от меня сие дело поступило, не имеет в виду ничего, что бы могло служить пояснением одного или к дальнейшему исследованию, и к тому же приводит уже к окончанию действия своим, то на основании положения сего комитета я имею честь препроводить упомянутое следственное дело с приложениями о Сухачеве к вашему сиятельству с тем, не благоугодно ли будет вам, милостивый государь, по получении ожидаемых от некоторых лиц сведений, представить о заключении вашем на счет Сухачева уже от себя к его императорскому величеству“³⁾.

Предложение комитета исполнено было гр. Воронцовым только 8 июня. Весьма осторожно и, по тем временам, довольно снисходительно он отметил во „всеподданнейшем рапорте“, что члены тайного дружеского союза—„храм

¹⁾ То же дело, л. л. 63—67.

²⁾ Ср. „вопросные пункты“ Грибоедову: „При возвращении вашем в Грузию, где вы виделись с Сухачевым (служившим в Грузии)? а) Давно ль вы с ним знакомы и у кого бывали вместе? б) Что вам известно от него или по слухам, о предложении, которое он делал некоторым из своих знакомых, об основании тайного общества в отдельном Грузинском корпусе, и какие представлял доказательства о возможности распространить там членов сего общества? в) Что известно вам о намерении Сухачева поселиться в Ростове и о предприятии его ехать в Таганрог? От кого и когда вы слышали или знали о сем?“ (П. Е. Щеголев, А. С. Грибоедов и декабристы, стр. 19—20).

³⁾ Дело о Сухачеве, л. 52.

общества независимых"—Радулов, Сухачев и Аристов, имели между собою самую тесную связь, и что образ мыслей их, как по некоторым выражениям заключить можно, был свободный, но вредной для общего спокойствия цели, ни действий, ни намерений, к ней стремящихся, в переписке их не замечено, и иероглифические бумаги, по расшифровании оных, оказались содержащими в себе неблагопристойные стихи и песни; некоторые только слова оных показывают вольнодумство". Без точных ссылок на инкриминируемый материал, гр. Воронцов „осмеливался представить", что „поелику ничто не показывает в сообществе злых умыслов против правительства, или общего спокойствия, то и нельзя судить их формальным порядком. В наказание же некоторых свободных мыслей, в переписке их найденных, не благоугодно ли будет вам, всемилостивейший государь, повелеть выдержать их еще несколько месяцев под стражей, и потом дозволить продолжать службу, или оставаться без оной, вменив начальствам тех мест, где они будут находиться, иметь над ними наблюдение" ¹⁾.

В силу собственноручной резолюции императора Николая от 11 июня — „Можно велеть выпустить взявъ росписки что они никакимъ обществамъ принадлежать не будутъ, и употребить на службу; имѣя, гдѣ будутъ подъ присмотромъ" ²⁾, гр. Воронцов 21 июня распорядился о немедленном освобождении из-под стражи Сухачева и Аристова, и тогда же о высочайшем повелении сообщил в Тифлис ген. А. П. Ермолову.

Возвращенные к месту своей постоянной службы титулярный советник Егор Радулов и „не имеющий чина" Михайло Аристов уже через год освобождены были „по отличному поведению их" от особого надзора ³⁾; что же касается юнкера Василия Сухачева, то, как видно из позднейшего прошения его в III Отделение ⁴⁾, он „около 6 лет употреблял все усилия к поступлению в коронную службу, но тщетно; о присвоении же частной должности не имел ни малейшей надежды, ибо все опасались его, как человека, под надзором полиции состоящего". Лишившись „всех средств к изысканию себе и престарелому отцу своему дневного пропитания", он умолял гр. Бенкендорфа освободить его из-под надзора, что и было, на основании одесских рекомендательных свидетельств о беспорочности его поведения, исполнено шефом жандармов в середине 1831 года.

Этими данными исчерпывается материал секретной части архива Новороссийского генерал-губернаторства о злосчастных членах неожиданно после событий 14 декабря раскрытого „общества независимых", первой тайной организации еще формирующейся разночинной интеллигенции Одессы ⁵⁾, в которой

¹⁾ То же дело, л. л. 83—84.

²⁾ Орфография и пунктуация подлинника (л. 83).

³⁾ То же дело, л. 104.

⁴⁾ То же дело, л. 110.

⁵⁾ Одесские масонские ложи „Попт Эвксинский" и „Трех царств природы", объединяя представителей местной администрации и иностранной колонии, существовали совершенно легально.

гр. Растопчин не даром так опасался успехов „местного либерализма“, Ф. Ф. Вигель с негодованием отмечал традиции „демократической республики“ ¹⁾, а ссыльный Пушкин, жадно вдыхая „и не вольный европейский воздух“, мог даже брать уроки „чистого афеяма“ ²⁾.

Ю. Г. Оксман.

¹⁾ Ср. Д. Атлас, Старая Одесса, ее друзья и недруги „Труды слушат. Одесск. высш. женск. курсов“ 1911, 1, в. 2.

²⁾ Переписка Пушкина, т. 1, СПб, 1906, стр. 103. Ср. одесское письмо Пушкина от 1/XII 1823 г. к А. И. Тургеневу: „Надобно подобно мне провести 3 года в душном азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и не вольного европейского воздуха“ (см. там же, стр. 89).

С. Гр. Стахевич и его воспоминания.

1 марта 1863 г. в канцелярии петербургского обер-полицеймейстера был получен донос от некоего колл. сов. Зефирова на студента Петербургского ун-та Андр. Алекс-др. Цветкова, проживавшего с ним на одной квартире, в том, что Цветков имеет прокламации центрального комитета, которые старается распространять. Обыск в ночь на 3 марта в комнате Цветкова подтвердил донос. Было найдено шесть экземпляров прокламации *„Летящая польская кровь, летящая русская кровь... Отчего же и для чего она летящая?..“* с печатью Русского Центрального Народного Комитета „Земля и Воля“; причем один экземпляр оказался вложенным в конверт, адресованный на имя Б. Э. Блау, родственника Цветкова, проживавшего в г. Карачеве (Орловск. губ.). Кроме прокламации, были найдены два лотерейных билета „в пользу семейства, оставшегося без всяких средств к жизни“ с печатью „АПН.“, и две записки, подписанные С. Стахевичем; в одной из них Стахевич просил Цветкова зайти к нему вечером 2-го марта: „До вас есть довольно важное дело, так что вы едва ли пожалеете о потерянном времени“. На первом же допросе Цветков заявил, что прокламация получена им от сотоварища по орловской гимназии, студента Медико-хирургической академии, Сергея Григорьевича Стахевича, просившего ее разослать знакомым по губерниям, а подпись на конверте сделана тоже его товарищем—Ив. Егор. Беляевым.

В ночь на 4 марта были арестованы С. Гр. Стахевич и жившие с ним студенты-медики И. Беляев, П. Афанасьев и П. Неумывакин. 14 марта на допросе в Следственной комиссии С. Гр. Стахевич показал, что он происходит из духовного звания, сын волл. регистратора, род. в 1843 г., учился в орловской гимназии, и что Цветков, Беляев и Афанасьев—его товарищи по гимназии. В противоположность Цветкову, показавшему, что прокламации он получил от Стахевича, и Беляеву, отказавшемуся от всякого соучастия в распространении прокламации и заявившему, что он написал конверт, не зная, для какой цели просил его сделать это Цветков, С. Гр. Стахевич всю вину принял на себя и всячески выгораживал своих сотоварищей: „Цветков, которому я передал шесть экземпляров, сказал, что подумает—может быть, пошлет, а может быть, возвратит мне назад“. Из сбивчивых же ответов Цветкова и Беляева ясно видно, что в распространении прокламаций принимали участие

все трое. Ни словом не обмолвился С. Гр. Стахевич, откуда он сам получил прокламацию: „Прокламации взяты мною в академии, где они лежали на окне, которого числа, не помню; взял их десять экземпляров, чтобы прочесть самому и передать другим; четыре экземпляра сжег“. Конечно, здесь нет ни одного слова правды. В записках своих С. Гр. Стахевич говорит, что получил прокламацию от своего знакомого в количестве 30—40 экземпляров, а что они были распространены им, видно из факта отсылки экземпляра 22 февраля в Бурсе Мих. Григ. Стахевичу, что мог сделать только сам Серг. Григ. По всей вероятности, С. Гр. Стахевич был членом общества „Земля и Воля“ (см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний о прошлом, с. 336-337. Пет. 1905 г.)

Однако, С. Гр. Стахевич не удержался на даче только необходимых показаний и, на вопрос — знает ли он о содержании прокламации, заявил, что не только знает, но и разделяет высказанные в ней взгляды, на что один из членов комиссии, ген. Дренякин, сказал: „какая наглость!“ Стахевич занес свой протест: „Присовокупляю эту жалобу в свои показания, чтобы судьи, которые будут рассматривать их, знали, что один из следователей считает чистосердечный ответ наглостью и ругает человека, которого он имеет власть только допрашивать“. Ответ Стахевича был слишком выигранным для обвинения, и комиссия 19 марта задала новый вопрос: „При допросе в комиссии вы, между прочим, отзывались, что разделяете убеждения, высказанные в прокламации „Земля и Воля“ и что в Польше должны быть прекращены военные действия, а войскам следует возвратиться и действовать против императорского правительства. По какому поводу вы усвоили себе такие, в высшей степени преступные, убеждения и для какой цели вы находите нужным, чтобы войска действовали против императорского правительства?“. Стахевич не увидев подставляемой ему ловушки этим провокаторским вопросом и спрометчивостью, свойственной молодому возрасту, дал обвинению против себя главное оружие: „Прежде всего замечу, — говорит он, — что этот вопрос сначала чрезвычайно удивил меня. Ни в одной цивилизованной стране не судят за убеждения (подчеркнуто С. Гр. Стахевичем), а потому и следствий о них не производят. Судят за проявления убеждений — за поступки, и о них производят следствия. Считал Россию страной цивилизованной, и думал, что и меня будут судить за поступок, именно за взятие прокламаций в Академии и передачу оных Цветкову. Настоящий же вопрос показывает мне, что следствие производится не только о моем поступке, но и о моих убеждениях. Справедливы ли или ошибочны мои умозаключения, во всяком случае я отвечаю по чистой совести и по крайнему разумению, что убеждения эти приобретены мною путем собственного размышления; никто другой в этом не виноват. С другой стороны, можно сказать, что все и всё в этом виноваты, потому что с каким бы предметом одушевленным или неодушевленным я ни приходил в соприкосновение, он непременно имеет влияние на развитие моих умственных способностей, а следовательно на способность размышлять и приходить к известным убеждениям. Я нахожу нужным, чтобы войска действовали против императорского правительства прежде всего затем, чтобы это последнее

произвело выкуп крестьянского надела от помещиков и прекратило таким образом обязательные отношения между этими сословиями“.

Показания Стахевича относительно его самого были исчерпывающими; в распоряжении III Отделения не имелось никаких данных, чтобы связать его с каким-нибудь другим делом; следовательно, дело о нем могло считаться оконченным. Старательное выгораживание своих товарищей, упорное нежелание указать источник получения прокламации, резкий ответ Стахевича, естественно сделали его главной и единственной фигурой одного из небольших процессов, возникших в 1863—1864 г.г. в связи с обществом „Земля и Воля“. В августе 1863 г. Стахевич был предан суду Прав. Сената, и в то время, как его сотоварищи отделались очень легко, сам он был приговорен в январе 1864 г. к шести годам каторжных работ в крепостях и поселению в Сибири навсегда.

22 января С. Гр. Стахевич был отправлен из Петербурга в Тобольский приказ о ссыльных и в начале февраля прибыл в Тобольск, где оставался почти полгода до выяснения вопроса, как надо понимать „каторжные работы в крепостях“, тогда как в Сибири никаких крепостей не существовало. Только в ноябре 1864 г. Стахевич был водворен в Акатуйскую тюрьму, откуда через год был переведен в Александровский завод. За это время родные неоднократно ходатайствовали об облегчении его участи: в 1864 г. — его отец, в 1868 г. — его брат Мих. Гр., причем просьба последнего была подкреплена личной просьбой курского губернатора Дена; в 1869 г. тюремное начальство отозвалось, что „С. Стахевич поведения хорошего и заслуживает облегчения участи“; в том же году ни министерство внутр. дел, ни министерство юстиции ничего не имело против перемещения его под надзор полиции в Курскую губ., как о том просил его брат. Однако, С. Гр. Стахевич неизменно оставался на Александровском заводе. Каждый раз в справке о нем неизменно указывалось, что на допросе Стахевич сам сознался, что „убеждения, выраженные в воззвании, он разделяет“, и всеподданнейший доклад о нем откладывался „до удобного случая“. Такого случая, однако, не наступило, и С. Гр. Стахевич пробыл на каторге до 4 марта 1870 г., когда он вышел на поселение.

В печатаемых ниже воспоминаниях „Среди политических преступников“, которые должны занять видное место в нашей небогатой мемуарной литературе о революционном движении 1860-х г.г., С. Гр. Стахевич и описал эти семь лет своей каторжной и тюремной жизни. Воспоминания эти, как видно из помет, написаны уже в Петербурге в 1908—1909 г.г., т.е. спустя сорок лет после описываемых событий. Они довольно обширны и разделяются на семь глав, из которых каждая представляет нечто законченное. Первая глава посвящена описанию ареста, тюремного заключения и суда, вторая — пребыванию в Тобольской тюрьме и описанию ссыльных поляков-повстанцев 1863 г., чего совершенно не встречаем в современных мемуарах; в третьей — описано путешествие из Тобольска в Акатуй, в четвертой — пребывание в Акатуйской тюрьме, в пятой и шестой — в Александровском заводе. Седьмая глава вся посвящена Н. Г. Чернышевскому, с которым Стахевич жил в Александровском заводе,

описанию его жизни, отзывам о нем, разговорам с ним, характеристике произведений, писанных Чернышевским в это время.

В Тобольске и Акатуйе Стахевичу пришлось жить преимущественно с поляками, почему он и говорит почти исключительно о них, характеризуя различных деятелей и участников польского восстания и их взаимоотношения с русскими. Но и в это время ему пришлось столкнуться с русскими революционными деятелями: Мартыновым, Заичневским, М. Муравским, Хохряковым о др. Конец же пребывания в каторжных работах Стахевич провел исключительно с русскими в Александровском заводе, в центре Нерчинской каторги, и в шестой главе его воспоминаний проходят перед нами почти все революционеры перв. пол. 1860-х г.г., включая сюда и каракозовцев. Каждому Стахевич дает характеристику, рассказывает его историю, передает разговоры с ними, эпизоды их каторжной жизни и т. п. Одно это выдвигает воспоминания Стахевича на очень видное место.

Конечно, каждый мемуар носит на себе, более чем какое другое литературное произведение, отпечаток личности автора. Воспоминания беллетриста и поэта Мих. Илл. Михайлова являются ярким художественным беллетристическим произведением; мемуары врожденного публициста Н. В. Шелгунова по преимуществу захватывают явления общественной жизни. Воспоминания С. Гр. Стахевича — человека с уклоном к точным наукам, медика по образованию, не обладавшего художественным талантом, не принимавшего широкого участия в общественной деятельности, — характерны по-своему. Стахевич говорит, что Чернышевский, подшучивая над ним, называл его „молодым ученым“ и однажды произнес такую характеристику: „Бывают люди, не имевшие детства с его играми, забавами, шалостями; они сразу вступают в жизнь серьезными. Вот, например, Сергей Григорьевич. Ему от роду лет 700; он как только явился на божий свет, тотчас попросил книжку и стал читать; так вот с тех пор все читает и читает“. Именно, обстоятельностью и серьезностью веет от воспоминаний Стахевича. О своих душевных переживаниях автор почти не говорит, но он очень наблюдателен, и все, что происходит во внешнем мире, с которым ему приходится сталкиваться, заносится в воспоминания. Быт тюрьмы и каторги, ежедневная жизнь их — вот что на первом плане. Воспоминания несколько суховаты, но очень точны и подробны, что делает их весьма ценными для историка.

Встречаясь с кем-либо, Стахевич дает описание его внешнего вида, сообщает биографические сведения; находясь в камере, подробно описывает ее размеры, расположение предметов, условия содержания; живя вместе с другими каторжанами — характеризует их привычки, работы и занятия, образ жизни, чтение, развлечения (песни, спектакли). И несмотря на некоторую сухость, серьезность, благодаря обилию подробностей, иногда „сухому“ юмору, почти незаметно пробивающемуся в рассказе, и изображение обстановки, и действующие лица выходят, как живые. Вот Митр. Муравский, устраивающий каторжную коммуну, с верою Симеона богоприимца, что из этой ячейки вырастет большое дело, и он покажет не на словах, а на деле, как надо жить; вот —

караказовцы „брабанты“, Странден и Юрасов, погруженные в хозяйственные заботы, обрабатывающие огород, ухаживающие за быком Аписом; вот — каторжный „кооператив“ со старостой Баллодом во главе и безнадежно задолжавшим в кооперативе Муравским; варка мыла и торжественное стихотворение того же Муравского: „Мудрость, богиня, воспой Петра Давыдова сына, мыло который сварил, соль в щелоку не презрел, но изыск, выпарив, всю“; литье свальных свечей, каторжные спектакли и т. д.

Точность дат, несмотря на сорокалетнюю давность, верность биографических подробностей, показывающие как большую наблюдательность автора, так и его хорошую память, позволяет доверчиво относиться и к описанию бытовых подробностей и к передаваемым разговорам, что, конечно, делает воспоминания незаменимыми во многих случаях, особенно при сопоставлении с воспоминаниями Шаганова и Николаева.

Довольно сносные условия тюремной и каторжной жизни 1860-х г.г. не дают возможности Стахевичу описать „ужасы“ тюремного заключения, моменты борьбы с администрацией, чем полны позднейшие соответствующие мемуары. Да это и понятно. Усилившаяся в конце 70-х годов реакция делала положение и условия жизни заключенных почти невозможными. С другой стороны, неизрасходованный зачастую запас революционной энергии, столь сильный у людей конца 70—нач. 80-х г.г., заставлял революционеров напрягать все силы, чтобы показать, что белый террор не отнял у них способности к борьбе. В результате создавалась подчас невыносимая атмосфера, разряжавшаяся террористическими покушениями на представителей тюремной администрации, протестами, тюремными бунтами, доходившими до вооруженного сопротивления. Тюрьма и ссылка 1860-х г.г. лишена такой революционной борьбы. Не вызывала ее прежде всего сама администрация — ср., напр., гуманное отношение военн. ген.-губернатора Суворова, крепостного плац-адъютанта Пинкорецки, помогавшего в сношениях заключенных с волею, коменданта Петропавловской крепости Сорокина, напутствовавшего своих невольных „пансионеров“ перед отправлением прекрасно сервированным кофе и дарящего каждому теплую фуфайку на дорогу. Этим и объясняется мягкий, незлобивый тон воспоминаний Стахевича и преимущественное внимание к бытовой будничной жизни, о чем так мало говорят позднейшие мемуаристы, естественно тягнущиеся к исключительным событиям, ярким драматическим моментам, к выдающимся личностям. Для С. Гр. Стахевича, наоборот, за исключением Чернышевского, перед которым он почти благоговее, все равны. Он с одинаковым интересом наблюдает и солдата Дядина, сосланного за фразу по поводу каразовского покушения, и рядового поляка-повстанца, и крупную колоритную фигуру „отца“ Митрофана Муравского. Об одних он говорит больше, о других меньше, но чувствуется, что каждый для него интересен, и он с серьезным любопытством человека „лет семисот от роду“ всматривается в его особенности и отмечает в своей памяти его образ.

Последний год тюрьмы, по признанию самого С. Гр. Стахевича, был для него самым тяжелым. „Внешних неприятностей не было ни от властей, ни от

товарищей, но чувствовалась сильнейшая потребность переместиться в другую обстановку. В иные дни я всем нутром понимал меткость малороссийского присловья: „Хочь гирше, та инше“; куда бы ни попасть отсюда, хоть в Камчатку, но только бы не оставаться здесь“. Поэтому понятно, с каким радостным чувством встретил Стахевич свой выход из каторги на поселение 4 марта 1870 г., т.-е. ровно, день в день, через семь лет после своего ареста 4 марта 1863 г. Семь лет тюрьмы за распространение воззвания и смелый ответ на допросе!

По истечении срока каторжных работ С. Гр. Стахевич был поселен в Иркутской губ. 9 янв. 1874 г. ему были возвращены прежние права состояния, а в 1878 г. он женился на Лидии Николаевне Фигнер, приговоренной по процессу 50-ти к ссылке на поселение в Иркутскую губ. В политической жизни С. Гр. Стахевич не принимал больше участия. Только в 1879 г. он был приговорен к недельному аресту за укрывательство бежавшей Евгении Субботиной, да в том же году был не надолго заключен под стражу вследствие перехваченного письма, в котором корреспондент Стахевича высказывал свое несогласие с его мнением о невозможности переворота в России. В 1887 г. был, наконец, снят полицейский надзор, и Стахевич был оставлен под негласным надзором. До 1892 г. он прожил в разных местах Восточной Сибири (Кяхта), после того в разных городах Европейской России (Рига, Харьков, Ярославль), и средства к существованию приобретал службою в торговых и промышленных конторах и в железно-дорожных управлениях, исполняя в них обязанности бухгалтера. С 1908 г. С. Гр. Стахевич переселился на постоянное жительство в Петербург, где тоже занимался бухгалтерской работой до самой смерти, как ни уговаривали его дети бросить службу. Незадолго до смерти он даже перескакал поближе к месту своей службы, не желая зависеть от трамваев. Умер С. Гр. Стахевич 13 мая 1918 г. ночью, тихо, от кровоизлияния в мозг, и похоронен на Волковом кладбище неподалеку от могилы П. Ф. Якубовича¹⁾.

А. Шиллов.

Октябрь, 1922 г.

¹⁾ За сообщение сведений о последних годах жизни С. Гр. Стахевича приношу благодарность его дочери Т. С. Стахевич, откликнувшейся на письмо и обещавшей написать характеристику личности С. Гр. по личным воспоминаниям и семейным письмам. Для предшествовавшего периода использованы соответствующие дела III Отделения с. е. жи. в. канцелярии и Департамента полиции.

Среди политических преступников.

(Из моих воспоминаний)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Петропавловская крепость.

1.

В январе 1863 года началось польское восстание. В феврале в Петербурге появился листок, выражавший отношение некоторой политической группы к этому восстанию. Приблизительное содержание листка было таково: „Льется польская кровь, льется русская кровь; для кого и для чего она льется? Владычествовать нравственно над Польшей мы не можем: ведь она не терпела уже и запаха рабства в то время, когда мы за честь для себя почитали именоваться рабами. Владычествовать исключительно насильем—это пагубно не только для них, но и для нас. Нашему войску, умиротворяющему поляков, следует вместо того обратить оружие против самодержавного правительства, которое одинаково душит и их, и нас“¹⁾. Вот, так сказать, скелет листка; кости этого скелета были надлежаще облечены мускулами и кожей; рассматриваемый с литературной точки зрения, как коротенькая публицистическая статья, листок был не ниже обычного уровня наших газетных передовиц или журнальных обзоров не только тогдашних, но и теперешних. Внешность листка приличная: порядочная бумага, отчетливый, ясный печатный, безукоризненная корректура. На каждом из тех экземпляров, которые мне пришлось видеть, была отпечатадена синею краскою печать: по середине печати изображены две руки, как бы пожимающие одна другую; кругом крупными буквами слово „Земля и Воля“²⁾.

В то время я был студентом Медико-Хирургической (теперешней Военно-медицинской) Академии. Начиная с осени 1861 года, подпольные листки время от времени появлялись в Академии в довольно значительном количестве: „К молодому поколению“, „Великорус“, „К образованным классам“, „Молодая Россия“³⁾. Многие студенты (я почти готов сказать: большинство; всех студентов было около семисот) побаивались этих листков, сторонились от них, чтобы не попасть в ответ. Из тех, которые не боялись взять листок в руки

и прочитать, большинство относилось к прочитанному более или менее сочувственно, меньшинство — с некоторым любопытством, однако же ни к чему дальнейшему не обязывающим. Упомянутый выше листок, благожелательный покаям, я получил от одного из знакомых в количестве тридцати или сорока экземпляров; из них шесть экземпляров я передал студенту-юристу Петербургского университета Цветкову. Эти шесть листов он положил в своей комнате на стол; в его отсутствие в комнату зашел его сосед по квартире, какой-то маленький чиновник; прочитал листок и немедленно донес, куда следует ⁵⁾; у Цветкова был произведен обыск, и его арестовали. При обыске оказалась в числе прочих бумаг моя записка к Цветкову; хотя записка не содержала в себе ничего подозрительного, тем не менее жандармское ведомство сочло нужным арестовать и меня; это было в начале марта 1863 года ⁶⁾.

Восемь дней я находился под арестом при полиции, кажется — при Казанской части; потом меня перевезли в Петропавловскую крепость ⁷⁾. Там, в крепости, имела свои заседания особая Следственная комиссия по политическим делам, состоявшая под председательством, если не ошибаюсь, князя Голицына; в числе членов комиссии были Огарев, Дренякин, Жданов; других фамилий не помню; делопроизводителем был Волянский; наиболее деятельным членом комиссии был, повидимому, только что упомянутый мною Жданов, сенатор ⁸⁾. В том же месяце марте я был вызван в комиссию два раза. Дело было пустяковое, несложное; поэтому и допросы были непродолжительные, каждый раз часа по два с небольшим. Комиссией было установлено, что именно я, а не кто-нибудь другой, передал Цветкову шесть экземпляров возмутительного воззвания; на вопрос комиссии: Разделяю ли я убеждения, высказанные в этом воззвании? — я ответил утвердительно ⁹⁾.

В августе 1863 г. я был привезен из Петропавловской крепости в Сенат. Там в присутствии нескольких сенаторов были прочитаны все вопросы, предложенные мне Следственной комиссией, и данные мною ответы.

— Подтверждаете ли эти ответы?

— Подтверждаю.

— Не имеете ли чего прибавить в дополнение и разъяснение?

— Не имею.

— Не было ли вам учинено допросов с пристрастием?

По ходу дела и по связи мыслей я понял, что выражение „с пристрастием“ следует понимать в данном случае, как технический термин нашего государства, означающий в переводе на обыкновенный разговорный язык: „с употреблением пытки“. Во время допросов Следственной комиссии и вообще во время моего содержания в Петропавловской крепости я ни разу не подвергался воздействиям, имеющим хотя бы некоторое слабое сходство с тем, что мы разумеем под словом „пытка“, и потому на этот вопрос Сената я ответил:

— Допросов с пристрастием не было.

13-го января 1864 г. я был вторично привезен из Петропавловской крепости в Сенат. В присутствии сенаторов было прочитано изложение дела

и приговор Сената, который по отношению ко мне гласил: „Такого-то за злоумышленное распространение возмутительного воззвания лишить всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и сослать в каторжную работу в крепостях на шесть лет, поселив затем в Сибири навсегда; приговор Сената одобрен мнением Государственного совета; такое мнение Государственного совета государь император в шестой день января сего 1864 года высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить“¹¹⁾.

При объявлении приговора рядом со мною стояли Цветков и Беляев. По отношению к Цветкову приговор гласил: такого-то за хранение у себя запрещенных сочинений без надлежащего на то разрешения — арестовать при гауптвахте на шесть недель и отдать под надзор полиции на полтора года.

Беляев был моим товарищем по орловской гимназии, впоследствии по Медико-Хирургической Академии; он жил в одной комнате со мною, и Следственная комиссия привлекла его к допросам, подозревая, что он присутствовал при передаче воззваний мною Цветкову. Это подозрение не было подтверждено ни показаниями подсудимых (т.-е. моими и Цветкова), ни прочими обстоятельствами дела: и потому Сенат постановил: считать Беляева к делу неприкосновенным.

Насколько мне известно, „судимость“ Цветкова и Беляева не оказала вредного влияния на их дальнейшую карьеру¹²⁾.

2.

Полицейская одиночная камера, в которой я пробыл первые восемь дней после ареста, имела шагов шесть в длину и шага четыре в ширину; от пола до потолка сажени полторы. Окно небольшое, расположенное очень высоко и течение дни в камере было однако же настолько светло, что я мог читать книгу, не чувствуя напряжения глаз. Кровать, столик, табурет; все это грубовато, но чисто.

Тотчас по привозе в полицию мне было разрешено написать записку об истребовании с моей квартиры кое-каких книг, а также мелочей вроде полотенца, мыла, чая, сахара и т. п. Каждое утро какой-то человек приносил мне кормовые деньги, помнится — пятнадцать копеек; я прибавлял к этому из собственного кошелька столько же, и служитель приносил мне обед из какой-то гостиницы или бухмистерской, расположенной неподалеку. Утром и вечером он же приносил мне мытилок, посуду для чая и булку.

В первое же или во второе утро моего пребывания в полицейской камере меня навестил чиновник, повидимому, совсем еще молодой, лет этак двадцати пяти или двадцати семи, назвавший себя стряпчим местной полицейской части; по теперешней терминологии это, мне кажется, соответствует товарищу прокурора окружного суда.

— Я — такой-то, стряпчий этого участка. Одна из моих обязанностей посещать содержащихся под стражей и охранять их от незаконных притеснений. Не имеете ли каких жалоб?

- Не имею.
- За что вы арестованы?
- Не знаю.
- При обыске у вас найдено ли что-нибудь противозаконное?
- Нет, ничего такого не найдено.

Он внимательно посмотрел на меня, оглянулся на дверь, которую, вошедши в камеру, притворил за собою; подошел ко мне вплотную и, заметно понизивши голос, сказал:

— Мой совет вам: при будущих допросах—звать не знаю, ведать не ведаю; это самая лучшая манера.

Потом обыкновенным, не пониженным голосом прибавил:

— Если пожелаете заявить мне жалобу, скажите ключнику, чтобы он доложил по начальству о вашем желании видетсья со мной; я явлюсь немедленно.

Разговор и вся вообще манера этого человека были явно доброжелательны по отношению ко мне. Обстоятельства так сложились, что я не воспользовался его советом о наилучшей манере держать себя при допросах; тем не менее, я и до сих пор с удовольствием вспоминаю о чиновнике, который при виде юного студента (мне было двадцать лет), посаженного в бутузку, ощутил в себе прежде всего—человека, а не чиновника, и по мере сил дал студенту совет человеческий, а не чиновничий. Вследствие некоторых случайных обстоятельств я прекрасно заметил фамилию этого чиновника и помню ее до сих пор. Если бы я знал, что его уже нет в живых, я считал бы своею обязанностью назвать его и почтить его память несколькими словами благодарности. Но ведь возможно, что он здравствует и доныне; в этом случае разве я знаю, какое действие произвело бы на него мое публичное напоминание об этом маленьком эпизоде из первых лет его служебной карьеры? Может быть, это напоминание было бы для него безразлично или даже приятно; а может быть, показалось бы ему и очень неприятным. 1863-й год и 1908-й; в течение сорока пяти лет тяжелый житейский жернов может перемолоть человека до неузнаваемости; оказывается Федот, да не тот, — от того Федота, от прежнего, осталось только имя....

3.

12 марта 1863 г. я был перевезен из полиции в Петропавловскую крепость. Сначала меня поместили в Трубенкой бастион, но там я только переночевал; на следующее же утро меня перевели в Екатерининскую куртину.

В то время, о котором рассказываю, один только верхний этаж Екатерининской куртины был занят камерами для арестованных; в нижнем этаже помещались какие-то военные люди; мне говорили, что это солдаты, составляющие гарнизон крепости. Камеры для арестованных были расположены вдоль коридора по обеим сторонам его.

Та камера, в которой поместили меня, была гораздо просторнее полицейской: шагов двенадцать в длину, шагов девять в ширину; высота не меньше

полуторых сажень. Огромный оконный просвет находился почти прямо против двери. Он начинался от самого пола; я мог войти в него, наклонивши немного голову; ширина почти два аршина. На расстоянии полутора аршина от входа в просвет — оконная рама с довольно большими, хорошими стеклами и с форточкою, которую я мог открывать по своему усмотрению. За рамою на расстоянии двух или трех вершков от нее находилась железная решетка, состоявшая из трех или четырех вертикальных и двух или трех горизонтальных полос. Из окна была видна Нева в расстоянии шагов семидесяти или восьмидесяти; за Невою отчетливо обрисовывались набережная, Зимний дворец и постройки, расположенные по течению Невы выше дворца. Несмотря на значительную длину оконного просвета (приблизительно сажень) и на перегородившую его решетку, камера была довольно светлая. В ясные дни я обыкновенно читал книгу, сидя на табурете около столика, который стоял налево от входа, т. е. совсем далеко от окна; в пасмурные дни ставил табурет около самого окна.

Налево от окна стояла большая деревянная кровать; на ней матрац, простыня, подушка и серое суконное одеяло. Налево от двери — столик и табурет. Направо от двери в той стене, которая отделяла камеру от коридора, было укреплено деревянное судно, которое я мог легко притянуть внутрь камеры и также легко отодвинуть наружу в коридор. Судно закрывалось крышкой совершенно плотно; за чистотою горшка служители наблюдали исправно; неприятного запаха в камере не бывало.

4.

Как только офицер ввел меня в камеру, тотчас явился служитель со свертком казенной одежды и белья. Все свое я с себя снял, и все это было куда-то унесено. Впоследствии, в те дни, когда я должен был отправиться в Следственную комиссию или в Сенат, или на прогулку по крепостной площадке (об этих прогулках расскажу ниже), — в эти дни служитель приносил в камеру мой сверток и говорил: „Потрудитесь одеться“. Из принадлежащих мне вещей при мне остались только книги (тома три или четыре), очки, гребенка и кусок мыла. Бывшие при мне деньги (рублей, помнится, пятнадцать или двадцать) были отобраны вместе с прочими вещами; эти деньги были где-то, в какой-то канцелярии, записаны; время от времени ко мне являлся человек, похожий по ухваткам на военного писаря, спрашивал, не требуется ли чего-нибудь купить; во время пребывания в крепости я получал от казны почти все, что мне было нужно, и потому заказов о покупках почти не делал; при отправлении в Сибирь мои пятнадцать (или двадцать) рублей оказались почти не тронутыми, были присоединены к тем деньгам, которые собрали для меня товарищи-студенты, и переданы двум жандармам, которые повезли меня в Тобольск.

В казенном свертке оказались следующие вещи: рубашка, кальсоны, нитяные носки, полотенце, халат из верблюжьего сукна и кожаные туфли;

о носовых платках не могу припомнить: получал ли я их от казны или мне было разрешено оставить при себе несколько штук своих. Все казенное белье было приблизительно такого же качества, как употреблявшееся мною на свободе, до ареста; оно менялось каждую неделю, как и наволочка на подушке; простыни—через две или через три недели. Халат прослужил без перемены все десять слишком месяцев моего пребывания в крепости; туфли прослужили, помнится, полгода.

Водворивши меня в этом новом для меня жилище, офицер удалился; дверь была задвинута засовом и замкнута сверх того на ключ. В коридоре день и ночь находился часовой (но, помнится, без ружья), сменявшийся, если не ошибаюсь, через каждые три часа. Всех камер на этом коридоре было, кажется, двадцать шесть; часовых в коридоре двое или трое.

5.

Обычный порядок дня установился такой: просыпался я обыкновенно в седьмом часу утра (как и на свободе); входили двое служителей, ставили на табурет таз и кувшин с водой; пока я умывался, они оба быстро подметали камеру, потом обтирали табурет и уходили. В первые два или три дня я спрашивал их:—Какова погода?—Получал ответ:—Не могу знать;—и, наконец, один из них сказал мне: Ваше благородие, нам не приказано разговаривать.—Дальше я уже не тревожил их.

Около восьми часов служитель приносил чай и булку. Чай был налит в фарфоровую кружку, довольно вместительную: думаю, что в ней было два с половиной стакана, а то, пожалуй, и все три; сахар подавался особо, помнится—куска четыре средней величины. К этому присоединялась чаще всего розочка, стоявшая в тогдaшнее время две, не то три копейки; иногда вместо нее половина французского хлеба; изредка что-нибудь необычное: крендель, подкова и т. п.

В первом или во втором часу обед из двух кушаньев. Первое: щи из кислой капусты часто, из свежей—порее; суп картофельный, рисовый, с перловой крупой, борщ, лапша. Второе: чаще всего—жаркое с картофелем, порее—гушное мясо, еще реже—рубленая котлета, совсем редко—каша. В воскресные и праздничные дни иногда прибавлялось к горячему—пирожки с мясом или рисом, ко второму—огурец, в заключение—что-нибудь сладкое вроде мякоти каши с сахаром, компота и т. п. Все это подавалось в достаточном количестве, так что я обыкновенно не доедал своего обеда. Вместе с обедом служитель приносил ложку, помнится—деревянную, но вилка и нож не допускались; мясо подавалось уже разрезанным на кусочки.

Около семи часов вечера чай, как и утром, с таким же количеством сахара и иногда с такою же булкой. Случалось, что булки вечером не было; случалось наоборот, что ее вечером приносили больше, чем утром, и иногда прибавлялось что-нибудь необычное: калач, одна большая баранка или несколько маленьких, плюшка и т. п. Впоследствии, люди, более меня осведомленные

о хозяйственных порядках крепости, говорили мне, что эти необычные дополнения к вечернему чаю представляли собою отчасти подавание арестантам натурою, поступившее от одного или от нескольких сердобольных благотворителей; отчасти это покупалось крепостным начальством на деньги, вынимавшиеся время от времени из кружки, находящейся при каких-то воротах крепости и имеющей надпись „в пользу арестантов“, или что-то в этом смысле.

Около десяти часов вечера я ложился спать.

Сколько денег тратила казна на суточное довольствие арестанта в крепости, я не знаю. В общем итоге не подлежит сомнению, что мое пропитание в крепости количеством и качеством отнюдь не уступало тому пропитанию, которое я имел на свободе, до ареста. Я не принадлежал к числу богатых студентов, но и к бедным нельзя было меня причислить: я зарабатывал (уроками) и проживал от 25 до 80 рублей в месяц. Комната, которую я занимал на свободе, была теснее моей камеры. Словом, за время пребывания в крепости моя материальная обстановка была удовлетворительна; материальных лишений я, можно сказать, почти не испытывал за все время этого ареста.

Вообще, тогдашнее крепостное начальство было довольно заботливо по отношению к материальным нуждам заключенных, и эта заботливость проявлялась, напр., даже в такой мелочи, как снабжение курильщиков напирсами: мне говорили, что каждому из них давалось от казны ежедневно десять папирос (сам я не курил в то время).

В материальной обстановке припоминаю один важный недостаток: в баню, которая помещалась где-то тут же, в крепостном дворе, водили нас очень редко, конечно, по одиночке; я был там не больше двух или трех раз и не могу припомнить никаких подробностей.

6.

На прогулку выводили нас почти ежедневно, тоже по одиночке. Местом для прогулки была площадка, на которую выходили окна моей камеры и других камер, расположенных по этой же стороне коридора (окна камер, расположенных на противоположной стороне коридора, были обращены во двор). На площадке были проложены и усыпаны песком неширокие дорожки, составлявшие фигуру прямоугольника; длина прямоугольника около шестидесяти шагов, ширина — около тридцати шагов. Когда снег растаял, площадка покрылась травой. Вид травы был приятный для глаза, она была такая свежая, зеленая, но должно быть, в почве или в окружающей обстановке чего-то ей не хватало: стебельки поднимались от земли вершка на три или на четыре — и на этом останавливались.

Вышедши на площадку, я обыкновенно ходил по ней кругом, то в одном направлении, то в противоположном. Конвоиры поступали неодинаково: иной бывало ходит за мною по пятам; иной предпочитает прислониться где-нибудь к стенке; присесть, если бы этого захотелось мне или конвоиру, нет возможности: на площадке не было ни скамейки, ни какого-нибудь большого камня,

ни вообще чего-нибудь в этом роде. Вид конвоиров был не воинственный, правда, одеты они были в серые солдатские шинели, но ружей у них не было, и даже тесаков не могу что-то припомнить.

Если конвоир не шел за мною по пятам, то я, проходя мимо амбразур с открытой форточкой, за которою виднелось человеческое лицо, замедлил шаги и спрашивал в полголоса: кто? Таким образом я узнал, что обе камеры, находившиеся в непосредственном соседстве с моею, в данное время, т.-е. в первые пять месяцев моего ареста, не были заняты никем; в дальнейших же камерах (вверх по течению Невы) находились Муравский ¹³⁾ и Шукшта ¹⁴⁾. Муравский, студент Харьковского университета, впоследствии встретился со мною в Сибири; мы прожили там несколько лет в одной тюрьме, и даже в одной комнате этой тюрьмы; я предполагаю говорить о нем подробнее в своем месте. Шукшта (если не ошибаюсь, артиллерийский юнгер) оказался, как мне говорили впоследствии, сосланным в Сибирь за участие в польском восстании или, точнее, за какие-то действия, изобличившие его привоcновенность к этому восстанию.

Обыкновенно прогулка продолжалась полчаса, иногда—три четверти часа, нередко—целый час.

7.

Нас посещали довольно часто плац-адъютанты, т.-е. офицеры, состоящие при коменданте крепости вроде его как бы помощников. Редко случалось, чтобы на неделе ни один плац-адъютант не заглянул к нам, а на иной неделе заглядывали двое: в один день Русов, в другой день Пинкорнели. Мне говорили, что всех плац-адъютантов четверо, что они дежурят поочередно, что во время своего дежурства каждый из них обязан обойти арестованных и опросить их, нет ли жалоб; но они ленились, и двое из них никогда не показывались к нам, Русов заходит изредка, Пинкорнели пунктуальнее всех и во время своего дежурства он почти никогда не забывает обойти арестованных. О нем прибавлю некоторые подробности ¹⁵⁾.

Чином он был, если не ошибаюсь, ротмистр. При первых своих посещениях он, войдя в камеру, задавал мне вопрос:— Не имеете ли просьб или жалоб? Впоследствии он изменил эту формулу, и первую его фразою стало:— Ну у вас по обыкновению нет ни просьб, ни жалоб? После этой вступительной фразы он иногда тотчас же уходил, а иногда у него являлось, должно быть, расположение перекинуться словечком. И вот однажды он сказал что-то о погоде, о недомоганиях вследствие худой погоды и вдруг спросил меня:

— А как вы думаете—какой мне год?

— Да лет, должно быть, тридцать пять, сорок, больше-то я думаю, нет.

— Ну, нет; вы очень ошиблись: мне шестьдесят третий год.

— В таком случае вы замечательно молоджави.

— Да, это правда, я молодежав; и это тем более удивительно, что обстоятельства моей жизни были довольно тяжелые. Я поступил на службу в молодые годы; дошел уже до штабс-ротмистра. Вышло так, что я перед фронтом ударил

полевника по лицу. Военный суд приговорил меня на три года в крепость и потом в рядовые на Кавказ. В киевской крепости я просидел ровно три года, день в день. Первые полтора года я находился в каземате под землей; у меня круглые сутки горел огонь, не выпускали меня оттуда ни на шаг; остальные полтора года — в обыкновенной камере. На Кавказе я был во многих перестрелках; ранен в руку, в ногу, в бок и контужен ядром в голову. Жаркий летний день; лежу раненый, не могу пошевелиться; жду, когда придут за мной и отнесут на перевязочный пункт: жду и вижу, что в ране уже червячки начинают шевелиться. . . . Да, всего бывало. А мой отец был еще крепче меня: в девяносто лет все зубы у него были целы, и великолепно щелкал орехи.

После этого разговора я стал догадываться, почему Пинкорнели аккуртно посещает арестованных: вероятно, нет-нет, да и вспомнит о своем пребывании в киевской крепости. . . .

8.

В августе 1863 года верхний этаж Екатерининской куртины стал быстро наполняться жильцами. Почти каждый вечер в коридоре слышался грохот засовов, звяканье и щелканье замков, топанье тяжелых солдатских сапогов, обряжание офицерских шпор; было ясно, что кого-то водворяют в камеру. Впоследствии мне говорили, что в Чернигове был арестован землемер Андрущенко⁶⁾; при допросах оговорил человек двадцать или тридцать, — вот их-то и засаживали в крепость. Ни самого Андрущенко, ни кого-либо из лиц, прикосновенных к его делу, я никогда не видел; ничего об этом деле не читал: в чем оно состояло, не знаю. Обе камеры, расположенные рядом с моею, оказались теперь занятыми. На прогулку нас выпускали уже только на четверть часа; в иной день и вовсе не выпускали.

В сумерки одного из августовских дней я шагнул по своей камере из угла в угол и вдруг услышал стук в стену, отделявшую меня от камеры, расположенной ниже моей по течению Невы; стук не громкий, но вполне отчетливый. Я тотчас вспомнил, что и дерево, и кирпич, и гранит — хорошие проводники звука; случалось мне иногда забавляться, прикладывая ухо к одному концу бревна и слушая тиканье часов, приложенных к другому концу. Вспомнив это, я торопливо подошел к стене и несколько раз ударил по ней концами пальцев. Мой невидимый сосед сделал несколько ответных шлепков такого же рода и потом, переждавши несколько секунд, стал производить удары медленно, отчетливо. Тук, тук, тук, — я стою и про себя произношу: *а, бс, се*; дошло до буквы *к*; сосед остановился, опять переждал несколько секунд и затем возобновил медленные, методические удары: я опять произношу про себя названия букв нашего алфавита и на этот раз дохожу до буквы *т*; опять пауза, опять стук, — на букве *о* сосед остановился и сделал по стене несколько ударов концами пальцев, вроде того, как будто ударяет по фортепьянным клавишам. Я понял, что сосед спрашивает меня: *кто?* и стал

отвечать ему такими же медленными, методическими ударами одного пальца в стену, произнося про себя названия букв нашего алфавита. Остановился на букве с, потом на букве т, и т. д. Сообщивши ему свою фамилию, задай вопрос: а вы? Получил ответ: Крапивин. В числе студентов Академии был один, по фамилии Крапивин; я знал его в лицо, мы встречались в аудиториях, но того, что называется знакомством, между нами не было. Мой сосед, показавший мне возможность разговаривать сквозь тюремные стены, был ли этот самый студент, или его однофамилец,—не знаю ¹⁷⁾. Дальнейших разговоров с ним у меня не было: в этот же вечер или в следующее утро его куда-то переклестили. Считаю возможным, что постукивание было замечено часовым, и что оно-то и было причиною перемещения. Таким образом, камера, соседняя со мною, расположенная вниз по течению Невы, опять оказалась незанятою. Мои постукивания в соседнюю камеру, расположенную вверх по течению Невы, оставались без ответа. Означало ли это, что сосед не желал вступать в разговор,—или он был такой же новичек в тюремных приемах, как и я, но не так догадлив, и потому не постиг возможности разговаривать через стену; или же, наконец, не была ли его камера отделена от моей пустым промежутком, более или менее обширным? между стенами этих камер не был ли положен слой войлока или другого материала, худо проводящего звук? Не знаю, но только ответа от соседа не было. Что касается войлока и вообще разъединения камер худыми проводниками звука, об этом мне говорили впоследствии, когда я был уже в Сибирь, многие поляки; а именно они упоминали, что в Варшаве местом заключения политических арестантов была тамошняя цитадель; самые важные арестанты помещались в так называемом „десятом павильоне“ этой цитадели; и вот в этом-то десятом павильоне пространства между стенами соседних камер были наполнены опилками или залиты смолою или что-то другое в этом роде.

9.

В сентябре меня переместили в ту часть крепости, которая носит название „Невской куртаны“. Эта куртина была одноэтажная; камеры были расположены по правой и по левой сторонам длинного, полутемного коридора: окна правой (от входа) стороны были обращены на Неву, окна левой стороны — во двор. Моя камера была на правой стороне коридора, четвертая или пятая от входа. Сколько было всех камер, не помню; кажется, 20. Какой-нибудь надстройкой, вроде верхнего этажа, эта куртина, насколько могу припомнить, не имела.

Размеры моей камеры были приблизительно такие же, как в Екатерининской куртине; и окно такой же величины, как там: два с половиною аршина в высоту, около двух аршин в ширину; но здесьнее окно имело такой вид, как обыкновенно бывает в домах, т. е. его нижний край не был на одном уровне с полом, — выходился на высоте полтора аршина от пола. От наружного края подоконника до Невы расстояние было шагов двадцать. Через окно я видел в значительном расстоянии какой-то мост, должно быть — Троицкий,

а дальше — набережную противоположного берега Невы и как будто решетку Летнего сада. Ни Зимнего дворца, ни других построек, которые виднелись за Невой из окна моей прежней камеры, отсюда не было видно.

Кровать, столик, табурет, судно, — все это было здесь такое же, как и в прежней камере. Как отапливалась прежняя камера, не могу припомнить: кажется, из коридора. Тут, в Невской куртине, в углу стояла большая чугунная печь цилиндрической формы, высокая и толстая; диаметр ее был, мне кажется, не меньше аршина с четвертью. В камере никогда не было ни холода, ни сырости.

В Невской куртине я пробыл четыре месяца с небольшим. Прогулок не было; во всем остальном распорядок дня остался без перемены. Наступали долгие осенние вечера; в сумерки слуга приносил в камеру масляный ночник, горевший довольно тусклым пламенем; мне разрешалось зажигать свечу, купленную на мои деньги.

10.

В Невской куртине разговоры посредством стука в стену пошли у меня гораздо бойчее, чем в Екатерининской. Первая и продолжительная практика в этом искусстве установилась с соседом, занимавшим камеру рядом с моею, расположенную вниз по течению Невы, т. е. другими словами, направо от входа в мою камеру. Первые несколько слов мы передали друг другу, придерживаясь медленной и, так сказать, первобытной манеры, которая состоит в том, что каждая буква алфавита означает число ударов, показывающим то место, которое эта буква занимает в алфавитном ряду. Затем мы упростили способ разговора, разделив алфавит на шесть строк, которые имели приблизительно такой вид: первая строка — а, б, в, г, д; вторая строка — е, ж, з, и, к; третья — л, м, н, о, п; четвертая — р, с, т, у, ф; пятая — х, ц, ч, ш, щ; шестая — ы, ь, э, ю, я. Для означения буквы следовало сделать сначала число ударов, показывающее, на какой строке находится эта буква, а потом, после коротенькой остановки, — число ударов, показывающее, на каком месте строки находится данная буква. Например, для означения буквы л, следовало сделать три удара и после остановки — один. Это упрощение значительно ускорило наши разговоры, тем более, что очень часто после нескольких означенных букв слушающий собеседник по связи мыслей угадывал, какое слово говорящий собеседник хочет сказать, и ударом в стену давал знать, что это слово он угадал; не терпите, стало быть, времени, чтобы доканчивать его, а сразу начинайте дальнейшее слово. Вот таким-то манером я узнал, что фамилия моего соседа — Левашов¹⁸⁾, что он студент Московского университета, арестован по какой-то прикосновенности к делу о побеге Кельсиева¹⁹⁾; в данное время занимается чтением сочинений Рикардо и подыскиванием алгебраических формул для политико-экономических тезисов, высказанных в этих сочинениях Рикардо. Само собой разумеется, что я о себе тоже сообщил ему соответственные сведения в ответ на его вопросы. Между прочим он любопытствовал:

— Какого ожидаете приговора?

— Каторга; на сколько лет, не знаю.

Он стал утешать меня:

— Ожидаются большие реформы, судебная, земско-хозяйственная; многие утверждают, что и конституция не за горами; а при конституции, конечно, амнистия будет.

И ответил ему, что близость конституции считаю неправдоподобной, но уныния тем не менее не чувствую; ведь и в Сибири солнце светит и люди живут.

Беседовали мы с ним обыкновенно по вечерам. Около семи часов служитель, подавши чай, удалялся; и тогда мы „шли один к другому в гости“, как мы сами подшучивали. Беседовали часа полтора, два; постукивать больше этого времени было бы утомительно: пальцы уставали.

Между прочим я любопытствовал при одном из наших собеседований: что нового в нашей литературе? Он ответил: напечатан роман Чернышевского „Что делать?“ Я попросил рассказать содержание романа; он согласился, постукивал об этом предмете вечеров пять или шесть. Не раньше, как через три года, мне удалось получить экземпляр этого романа; читая его, я убедился, что Левашов передал мне остов романа обстоятельно и толково.

11.

В той камере, которая была расположена рядом с моею, вверх по течению Невы, т.-е., другими словами, налево от входа в мою камеру, — не было никого. Левашов был освобожден в ноябре, и в его камеру никто не был посажен. После Левашова моим собеседником был Петр Давидович Баллод²⁰), студент-естественник Петербургского университета; его лично я не знал, но фамилия была известна мне и многим другим студентам-медикам: в Академии появился и бойко пошел в ход учебник описательной анатомии человека, — сочинение Гиртля, переведенное под редакцией Баллода (этого самого) и Фаминцина (профессора музыки и эстетики в консерватории). Камера Баллода была расположена на левой стороне коридора, т.-е. ее окно было обращено во двор. Моя камера была, как я упомянул, на правой стороне коридора, четвертая или пятая от входа; его камера — на левой стороне коридора, подалее моей, пятая или шестая от входа; двери наших камер — через коридор, наискось одна от другой. С Левашовым я мог перестукиваться очень легкими ударами в стену; я думаю, что находящийся в коридоре часовой мог заметить эти постукивания в том только случае, если останавливался около двери нарочно и прислушивался внимательно. С Баллодом не было возможности перестукиваться подобными легкими ударами. На столике камеры всегда стояла оловянная кружка с водой для питья: вот этой-то кружкой я постукивал по столу, и звук получался достаточно сильный, чтобы Баллод мог различать номер строчки алфавита и номер буквы в строчке. Впрочем, он скоро указал

мне возможность дальнейших упрощений нашего разговора; свои упрощенные приемы он заимствовал из телеграфной техники; но моя практика с ним была гораздо кратковременнее, чем с Левашовым, и потому я давно забыл те упрощения, которым он научил меня тогда. Иногда он укорял меня, что я чересчур осторожен, стучу слишком тихо: „Стучите громче; ведь уж за это нам каторги не прибавят“.

Перестукиваясь с Баллодом, я узнал, что он арестован в июне (или в июле) 1862 года. При обыске, произведенном на его квартире, ничего противозаконного не оказалось; но тотчас по окончании этого обыска ему сказали: „А теперь поедem на вашу другую квартиру“. На этой другой квартире, снятой на какое-то чужое имя, оказалась небольшая типография; насколько мне известно, это была первая тайная типография в России (оставляя Польшу в стороне). Доносчиком был Горбачевский, наборщик, работавший в этой типографии; за свой донос он получил от жандармов награду — триста рублей, и был произведен из унтер-офицерского звания в классный чин. В типографии оказались кое-какие рукописи; из них особенно важною, по мнению властей, была рукопись, в которой неизвестный автор громил Шедо-Феротти и его памфлет, направленный против Герцена²¹). Но всего хуже было то, что оказался еще небольшой рукописный листок с заглавием „Предостережение“ и почти оконченный набор этого листка. В листке от имени Центрального революционного комитета упоминалось о распространяемых полицией и жандармами слухах, будто бы большие пожары, происходившие около того времени в Петербурге и в некоторых других городах России, будто бы эти пожары — дело революционеров; комитет выражал уверенность, что публика оценит эти слухи по достоинству и заклеймит злостную жандармскую клевету презрением, каково она вполне заслуживает²²). Когда Следственная комиссия спросила Баллода: от кого он получил этот листок? он написал в ответ длинное повествование о том, как он однажды получил по городской почте письмо с приглашением явиться в такое-то время к такому-то пункту; как его на этом пункте встретили незнакомцы, одетые вот так-то и так-то (чуть ли даже не в масках); ну, и т. д., — роман с переодеваниями и с приключениями во вкусе какого-нибудь Понсон-дю-Терайя. Члены комиссии сказали ему, что во всем этом романе они не верят ни одному слову, и что своим упорным запертательством он отягчает свою участь. Баллод счел нужным вызвать в них некоторое доверие к своим показаниям и для достижения этой цели назвал им литератора Писарева, как автора той упомянутой выше рукописи, в которой предавался растерзанию памфлет Шедо-Феротти. Члены комиссии сказали ему, что они уже и сами почти открыли автора этой рукописи следующим способом: изложение рукописи, бойкое, искусное, ядовитое, привело их к убеждению, что автор рукописи — литератор по профессии; они добыли образцы почерков всех более или менее известных сотрудников тогдашних газет и журналов; сличение почерков приводило к заключению, что автор рукописи — или Чернышевский или Писарев; но способ начертания буквы d и еще какой-то буквы склонял их более в сторону Писарева.

Узнавши от меня, что я арестован сравнительно недавно, Баллод спросил:

— „Колокол“ вы читали?

— Читал; и довольно курьезно, что весь „Колокол“ за два года, 1859-й и 1860-й, в великолепном переплете, я имел от одного из знакомых, у которого родственник занимает какую-то должность при дворце великого князя Константина Николаевича, и том „Колокола“ был взят на несколько недель из дворцовой библиотеки.

— А за дальнейшие годы читали?

— Читал, но не регулярно; многие номера не удавалось достать.

— Не попался ли вам такой номер, в котором золотопромышленник Жуковский извещает о своем прибытии в Лондон?

— Помню заявление от имени Жуковского, что вот он благополучно добрался до Лондона и благодарит всех лиц, содействовавших ему при побеге из России, а в особенности при переходе через границу; но был ли он назван золотопромышленником, этого не помню.

— Все равно; значит, он самый; значит, Жданов показывал мне настоящий номер, не сфабрикованный в Петербурге²⁴⁾.

— Какой Жданов²⁵⁾? Какой номер? (Я был в полном недоумении).

— А вот, видите ли: когда я написал свое показание о лицах, от которых я получил листок „Предостережение“, сенатор Жданов, самый дельный из членов комиссии (вы его, конечно, видели), стал убеждать меня, что гораздо выгоднее для меня, гораздо правдоподобнее для комиссии будет, если я укажу на Жуковского, близкого мне человека, который теперь в Англии, и которому, следовательно, мое показание повредить не может. И спросил Жданова: откуда же известно, что Жуковский в Англии? — А я вам принесу, говорит, номер „Колокола“, и, действительно, принес и там было вот это заявление Жуковского, которое и вы читали, когда были еще на свободе. Но я усомнился: ведь номер „Колокола“ можно перепечатать и в Петербурге, выбросивши из настоящего номера пятнадцать, двадцать строчек и заменивши их этим заявлением. Потому я счел за лучшее — стоять на своем показании, хотя оно, правду сказать, действительно, сбывается на ромах с переодеваниями и с приключениями. А он-то, Жданов, долго уговаривал меня, стараясь победить мое недоверие. „Вы, — говорил он мне, — думаете про себя: с какой стати сенатор Жданов станет заботиться о выгодах какого-то студента Баллода? Очень просто: наш государственный порядок не печен; может быть, через несколько лет он будет разрушен и заменен другим; тогда может случиться, что мы с вами поменяемся местами; и я надеюсь получить от вас услугу вроде той, какую теперь желаю бы оказать вам“²⁶⁾.

Баллод так и остался при своем показании. Во время обоих допросов, которые делались мне в Следственной комиссии, я видел Жданова; он читал задаваемые мне вопросные пункты, кое-где пояснял их, читал написанные мною ответы, кое-где спрашивал о подробностях; держал себя прилично, веж-

ливо. Впоследствии, приблизительно через три или через четыре года, будучи уже в Сибири, я прочел в газете коротенькое известие о смерти сенатора Жданова: возвращаясь из Симбирска в Петербург, остановился в каком-то из попутных городов и умер в гостинице скоропостижно. От некоторых лиц я слышал, что в Симбирске Жданов был командирован для расследования обстоятельств бывшего там громадного пожара. Ходили слухи, что в тамошнем отделении государственного банка накануне пожара находилось государственных кредитных билетов и процентных бумаг на очень значительную сумму; что эти деньги и бумаги были разделены полюбовно между какими-то важными лицами чиновничьей иерархии; что пожар был произведен для сокрытия следов преступления. Верившие этим слухам прибавляли, что Жданов добрался до корней этого дела и вез с собою в Петербург важные документы, изобличавшие виновников и участников вышеизложенной махинации, но смерть последовала скоропостижно, а портфель с его бумагами куда-то исчез.... От других лиц я слышал, что все эти рассказы — совершенный вздор; что в симбирском отделении государственного банка не произошло при этом пожаре никаких убытков или почти никаких; что Жданову было почти семьдесят лет, и потому нет оснований видеть в его смерти что-то особенное, подозрительное. Сам я склоняюсь в пользу этой второй версии. О первой версии упомянул потому, что вздорные слухи, не имеющие сами по себе никакой ценности, тем не менее характеризуют в значительной степени общественную среду, т.-е. тех лиц, от которых подобные слухи исходят, а также и тех лиц, между которыми они распространяются; и сочинители, и распространители считают такое-то происшествие хотя необычным, но все-таки возможным; самый упрямый скептик принужден соглашаться с ними: необычно, неправдоподобно, но, к сожалению, у нас при наших порядках — возможно.

13.

Камера, расположенная как раз против моей камеры по левой стороне коридора, т.-е. выходящая окном во двор, — была занята упомянутым мною литератором Писаревым, главным сотрудником „Русского Слова“, одного из тогдашних ежемесячных журналов. Со статьями Писарева и вообще с „Русским Словом“ я был почти незнаком: некогда было читать их; от обязательных учебных занятий свободного времени оставалось немного, и оно уходило на беглый просмотр двух-трех газет и на более внимательное чтение некоторых статей в журналах; из журналов я чаще всего и больше всего интересовался „Современником“; в „Русское Слово“ заглядывал очень редко, но, конечно, я знал, что это журнал радикального направления.

Двери камер Писарева и моей были одна против другой; ставши около дверей и говоря обыкновенным, даже пониженным голосом, мы хорошо, отчетливо слышали друг друга. Об обстоятельствах своего ареста Писарев рассказывал мне приблизительно так:

„Мы с Баллодом товарищи от времен детства, учились в одной гимназии, в университете оставались в приятельских отношениях. Литературная работа поглощала меня вполне; конспиративными делами я совершенно не занимался. Но вышло дело так: я влюбился; барышня предпочла мне другого, по фамилии Гарднера; я, недолго думая, вызвал его на дуэль. Он убеждал меня, что это крайне глупо с моей стороны; но я был разъярен, и никакие убеждения на меня не действовали. Наконец, он сказал мне, что, скрепя сердце, соглашается на эту нелепую дуэль, но с тем непременным условием, что она будет отложена недели на две или на три, так как ему необходимо съездить в провинцию для устройства дел, у него какая-то там фарфоровая фабрика. Я не соглашался ни на малейшую отсрочку, а он не соглашался отказаться от своей поездки на фабрику. Я пригрозил ему, что если он вздумает уклониться от немедленной дуэли, я дам ему публично пощечину; он сказал: посмотрим. На другой день мы оба оказались на вокзале; я подошел к нему и ударил его хлыстом по лицу, он ударил меня палкой, между нами завязалась драка. Жандармы розняли нас, написали протокол, отправили нас обоих к обер-полицеймейстеру. Этот спрашивает меня: — Вы что там наделали? — Я ударил его хлыстом по лицу. — Обращается с вопросом к нему: — А вы что наделали? Гарднер ответил: — Я его ударил палкой еще сильнее. Обер-полицеймейстер пожал плечами и отпустил нас обоих на все четыре стороны. Ну, вот я чувствую, что наделал чего-то несообразного; на душе у меня очень скверно; иду к Баллоду и говорю: — Ты ведь, знаю, занимаешься какими-то там политическими делами; дай, пожалуйста, какую-нибудь работу по этой части; может быть, мне от нее полегчает. Он дал мне памфлет барона Фиркса, который под псевдонимом Шедо-Феротти попал на Герцена за помещенную им в „Колосколе“ статью „Бруты и Кассии Третьего Отделения“ ²⁷⁾. Я окупился в эту работу дней на десять, написал статейку жестокую, яростную; отдал Баллоду. Он спросил: — Не хочешь ли еще чего-нибудь в этом роде? — Нет, говорю, — не надо; успокоился достаточно. И возвратился к своим обычным литературным работам. Досадно, что рукопись попала в руки жандармов; но на Баллода я не сержусь: я вполне понимаю, что ему было необходимо сказать членам Следственной комиссии хоть что-нибудь настоящее, не фантастическое, — он и указал на меня, как на автора рукописи“ ²⁸⁾.

Наши разговоры с Писаревым происходили в течение недолгого времени, дни три-четыре. Несмотря на нашу осторожность, часовые заметили это явное нарушение крепостного режима, и начальство переместило его куда-то в другую камеру.

Впоследствии я узнал, что Баллод был приговорен к ссылке в каторжную работу на семь лет, Писарев — к заключению в крепости на два года и восемь месяцев ²⁹⁾. Баллода я встретил в Сибири; я, он, упомянутый мною Муравский и несколько других лиц, о которых предполагаю говорить со временем подробнее, прожили в Сибири несколько лет в одной тюрьме ³⁰⁾. Писарев, как в крепости, так и по освобождении из нее, продолжал свою литературную деятельность, но на свободе прожил недолго: купаясь, утонул на рижском взморье в 1868-м году.

14.

Собственных книг я имел в крепости немного, но книги содержательные. Фундаментальнее — Учебник физиологии (на немецком языке); Дарвин — О происхождении видов, перевод, помнится, Рачинского; Кольб — Сравнительная статистика, перевод (с большими дополнениями) Корсака; Милль — Политическая экономия, перевод Чернышевского с его примечаниями и дополнениями (только 1-ая книга — производство). Вот эти-то четыре тома и наполняли значительную часть моего времени в крепости.

Кроме собственных книг, я пользовался еще книгами из крепостной библиотеки. Мне говорили, что казна не тратила ни копейки на эту библиотеку, и составила она исключительно из книг и периодических изданий, пожертвованных разными лицами в разное время. Я уже упоминал, что человек, похожий на военного писаря, приходил иногда в камеру и спрашивал, не нужно ли чего купить; иногда он же приносил небольшой список книг и журналов, имеющихся в крепостной библиотеке, и спрашивал: — Не желаете ли получить что-нибудь из этого списка? Желаемая книга доставлялась иногда тотчас же, иногда — через несколько дней; больше одного тома сразу не давалось, сроков для пользования книгою не было установлено никаких. Журналов за текущий год в списке не было вовсе; за предыдущие годы были: „Библиотека для Чтения“, „Морской Сборник“, „Время“, „Основа“. Самых известных в то время журналов: „Современника“, „Русского Слова“, „Отечественных Записок“, „Русского Вестника“ — в списке совсем не было, даже и за прежние годы. „Современник“ и „Русское Слово“ были у начальства на худом счету; и я допускаю, что крепостные власти могли прямо таки отказываться от принятия жертвуемых экземпляров; но в отношении „Отечественных Записок“ и „Русского Вестника“ это неправдоподобно; их отсутствие в крепостной библиотеке происходило от какой-нибудь другой причины.

В книжках „Времени“ ²¹⁾ были помещены между прочим „Записки из мертвого дома“ Достоевского. Я прочел их очень внимательно, так как был почти уверен, что через несколько месяцев буду сам находиться в мертвом дохе. В действительности вышло не так: через несколько месяцев я оказался в обстановке, не имеющей почти никакого сходства с тою, которая изображена Достоевским.

В числе книг крепостной библиотеки было несколько разрозненных томов „Истории государства Российского“ Карамзина. В одном из этих томов я прочел о пререканиях новгородцев с киевским великим князем, если память моя не обманывает, — с Ярославом Мудрым. Он пригрозил новгородцам, что для обуздания их строптивости пошлет к ним в князья одного из своих сыновей, известного грутым нравом; новгородцы ответили: „Если у него две головы, — присылай“. Вот это, подумал я, очень выразительно сказано; умели когда-то наши предки разговаривать с властями не таким языком, каким мы теперь разговариваем....

Из книг крепостной библиотеки упомяну еще о сочинении Шлоссера „История восемнадцатого века и девятнадцатого до падения первой империи“, восемь томов. Это сочинение так понравилось мне, что впоследствии, уже, в Сибири, я прочел его еще раз, а некоторые главы (об общественной жизни и о литературе) прочел и в третий раз.

Были в библиотеке „Очерки“ Маколея в прекрасном издании Тиблена; некоторые из этих очерков (Бэкон, Гампден, Клейв, Байрон) произвели на меня довольно сильное впечатление, так что я вот и теперь, в старости, еще сохраняю о них воспоминание не совсем смутное.

15.

13-го января 1864 года, по выслушании в Сенате приговора, изложенного в начале моего рассказа, я был привезен обратно в крепость и отведен в ту же камеру Невской куртины. Через три или четыре дня меня привели в квартиру коменданта (генерала Сорокина), и в одной из комнат этой квартиры я имел получасовое свидание с тремя товарищами-студентами. Они поговорили со мною о разных разностях, главным образом, о снаряжении меня в дальнюю дорогу: что из моих вещей оставить при мне, что продать, какую купить теплую одежду и т. п. От казны мне был дан полшубок довольно хорошего качества; теплая овчинная шуба у меня была; нужно было купить шапку, рукавицы, пояс, шерстяные чулки, теплые сапоги. От продажи моих вещей и от сделанной товарищами в мою пользу складчины образовалась сумма рублей, помнится, до двухсот; часть этой суммы решено было употребить на покупку шапки и прочих теплых вещей, остальное передать коменданту, а он передаст жандармам, которые повезут меня в Сибирь.

Прошло после этого еще три или четыре дня, и я имел второе свидание с теми же тремя товарищами-студентами. Они сказали мне, что еще четвертый человек хотел повидаться со мною, но его хлопоты о свидании запоздали: оказалось, что генерал-губернатор (князь Суворов) уехал с государем на охоту, а без генерал-губернатора никто не соглашается допустить просимое свидание. Товарищи перечислили все покупки, сделанные для меня, и присоединили к ним брошюру, в которой содержались три популярные лекции Шлейдена: о происхождении растительных и животных видов, о происхождении человека и о древности человеческого рода.

22-е января 1864 года было последним днем моего пребывания в крепости. После обеда, часу в третьем, в камеру вошел плац-адъютант Соболев.

— Оденьтесь; захватите все ваши вещи с собою; больше сюда не придем.

„Все ваши вещи“ это означало — четыре книги и гребенку. Когда мы подошли к выходу из коридора, Соболев обернулся назад и громким, резким голосом выговорил: „Исключить из списков!“ Вышло что-то вроде команды; относилась ли она к солдату, который шел следом за нами, или к какому-нибудь писарю, который находился, может быть, где-то в глубине коридора вне пределов моего зрения, — не знаю. Соболев отвел меня на гауптвахту,

расположенную где-то тут же, недалеко от Невской куртины. Мы вошли в какие-то сени: дверь налево отворилась, и я вошел в камеру такого же вида, как в Невской куртине, но только гораздо меньших размеров, приблизительно шагов шесть в квадрате. На постели я увидел теплую одежду: шубу, полушубок и проч., а также брошюру Шлейдена, о которой я упомянул выше.

Не успел я еще осмотреться хорошенько, как в камеру вошел полу-военный человечек: „Приказано, сударь, остричь и побрить“. Он остриг меня коротко, как я, впрочем, стригся и на свободе; обрил, бороду совсем еще маленькую, усы — тоже невнушительного вида, бакенбарды — едва заметные. Только что он удалился, вошел тот самый человек, похожий на военного писаря, который был, так сказать, прикомандирован к арестованным для исполнения их поручений по части покупок и книг. Он держал обими руками довольно большой поднос, на котором были расставлены: кофейник, стакан с блюдцем, сливочник, сахарница и корзина с сухарями; на локтевом изгибе левой руки болталась какая-то вещь ярко-красного цвета (у поляков этот оттенок называется „амарантовый“, а по-русски не умею подобрать названия вполне подходящего). Он поставил поднос на столик.

— Господин комендант просят вас выпустить кофей на доброе здоровье, а вот это посылают вам для дороги, для теплоты то-есть. Это уж у них такое положение: каждому отъезжающему в Сибирь вот такая куртка-с.

Он развернул ярко-красную вещь во всю ее ширину, — это была просторная фланелевая куртка. Я попросил его поблагодарить коменданта за любезность и заботливость.

Кофе я пил с удовольствием, не торопясь и, так сказать, смакуя. В сенях слышалось звяканье, мгновенно напоминавшее мне кандалы, которыми позвякивали арестанты, виденные мною в разное время уголовных партий. Вместе с позвякиванием слышался разговор двух голосов, старавшихся, повидимому, говорить не громко. Один голос выговаривал несколько шутливо:

— Ну, брат, приготовили для дружка хороший наряд, вечего сказать: фунтов тридцать будет, ей-Богу.

Сердитый голос ответил ему:

— Дураки вы, вот что вам скажу; нынче это отказано; не полагается.

— Ну? — недоверчиво протянул шутник.

— Вот те и ну; сам увидишь.

Сердитый голос оказался осведомленным лучше шутника: кандалов на меня не надели.

В седьмом часу вошли двое жандармов: „Надевайте все теплое, поедем“. Я с особенным удовольствием надел теплые сапоги из оленьей кожи шерстью наружу и внутрь, длинные, доходившие вверх дальше коленного сустава вершка па четыре. Поверх куртки надел куртку — подарок коменданта, полушубок и шубу; подпоясался, рукавицы и носовой платок сунул за пазуху, надел шапку, взял в руки свой маленький сверток (белье, книги и сапоги). У подъезда стояла просторная кибитка, запряженная тройкой. Под навесом кибитки уселись я и один из жандармов; другой жандарм — против меня

спинной к ящику. Поверх моей шубы они накинули халат из серого арестантского сукна: „Это — пока через город проедет; а там — положим его под ноги, вроде подстилки будет“.

Мы поехали сначала довольно тихо, почти шагом, и через несколько минут выехали из ворот крепости.

Было свежо; мороз, впрочем, не сильный, насколько я мог судить по ощущению, градусов семь-восемь. В последние четыре месяца я бывал на открытом воздухе очень редко и неподолгу; теперешняя вечерняя свежесть ошпыляла меня. Я стал дремать, скоро и совсем заснул. Когда очнулся, Петербург был уже где-то там, далеко за нами.

С. Гр. Стахевич.

Петербург.
Ноябрь 1908 г.

Примечания.

1) Прокламация „Льется польская кровь..“, выискивавшая отношение общ-ва „Земля и Воля“ к начавшемуся польскому восстанию и распространенная в Петербурге и Москве 19 февр. 1863 г., полностью, с некоторыми неточностями, напечатана М. К. Лемке в XVI т. „Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена“, с. 151—155. — Автором ее был А. А. Слепцов (см. там же, с. 90). — Горячей статьей приветствовал А. И. Герцен прокламацию в № 160 „Колокола“, откуда она перепечатана там же, с. 150—151.

2) На подлинной прокламации, приложенной к делу С. Гр. Стахевича, А. А. Цветкова и др. — круглая печать, в центре — надпись „Земля и Воля“, а вокруг — „Русский Центральный Народный Комитет“. На других землеволюческих изданиях действительно приходилось видеть печать, подобную описанной Стахевичем.

3) Прокламация „К молодому поколению“, принадлежавшая Н. В. Шегунову и М. И. Михайлову, была распространена в нач. сент. 1861 г.; напечатана полностью В. Я. Богучарским в „Материалах для истории револ. движения 1860-х гг.“ Париж, 1905, с. 2—15 (русс. изд., с. 2—11) и М. Лемке, „Политич. процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского“, СПб., 1907, с. 36—54. О самой прокламации см. „Записки М. И. Михайлова“, СПб., 1922. Изд. „Былое“ и во вступительной статье к ним. — „Великорусс“ — первая печатная в России в 1860-х гг. прокламация — (вышло 3 №№; первый был распространен в начале июля 1861 г.) напечатана в указанной книге В. Богучарского. Пар., с. 26—34 (русс. изд., с. 18—25) и М. Лемке „Очерки освободительного движения 60-х гг.“, СПб., 1909, с. 359—368 (в обоих изданиях текст напечатан несправно: в № 3 — пропуск 20-ти печатных строк). Литературу об организации „Великорусс“ см. в „Записках М. И. Михайлова“. Пет., 1922, с. 47—48. — Воззвание „К образованным классам“, датированное 30 авг. 1862 г., напечатано в „Колоколе“ (№ 148 от 22 окт. 1862 г.), откуда перепеч. В. Богучарским в указ. книге, Париж, 1905, с. 69—71 (русс. изд., с. 50—51). Автором его был Н. И. Утин — о чем см. Л. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. СПб., 1905, с. 284—285. — Последняя упомянутая прокламация „Молодая Россия“ была выражением взглядов крайней левой революционерки нач. 1860-х гг. и выставляла требования не только политической, но и социальной революции. Она была распространена в мае 1862 г. и связана с именами московских студентов П. Гр. Заичневского и П. Эм. Аргиропуло; напечатана В. Богучарским в указ. кн. Пар., 1905, с. 56—63 (русс. изд., с. 41—43) и М. Лемке „Полит. процессы“, с. 94—104 (с цензурными пропусками).

4) К сожалению, С. Гр. Стахевич, состоявший, как он сам говорит в одной из глав „Записок“, в организации „Земля и Воля“, не сообщил ни имени этого знакомого, ни сведений о самой организации.

5) Цветков, Андрей Александрович, студент Петерб. ун-та (с 1861 г.), род. ок. 1844 г., из дворян Орловской губ., воспитывался вместе с С. Гр. Стахевичем в орловской гимназии и вместе с ним был привлечен к делу о распространении прокламации.

6) Ком. секр. Александр Николаевич Зифилов, донесший на Цветкова петерб. об.-полицейскому и получивший из III Отделения „за оказанное им особое усердие“ 50 р., долго еще беспокоил III Отделение своими настойчивыми просьбами о вспомоществовании, особенно усилившимися после 4 апр. 1866 г.; жаловался он на свою участь, многочисленную семью и „презрение, которое высказывали ему его сослуживцы“ (Дело III Отд. с. е. имп. вел. канцелярии, I эксп. 1863 г. № 230, ч. 89—Истор.-Рев. Архив).

7) Обыск и арест А. А. Цветкова произведен был в ночь на 3 марта 1863 г. Обстоятельства его ареста изложены во вступительной заметке. В ночь на 4 марта 1863 г. были арестованы Стахевич, Беляев и два студента медика (П. Афанасьев и П. Неумывакин), жившие все на одной квартире.

8) Стахевич и Беляев были перевезены в Петропавловскую крепость 12 марта 1863 г. и заключены в отдельные казематы Невской куртны и Трубецкого бастиона.

9) Особая Следственная комиссия была высочайше учреждена 16 мая 1862 г. под председательством стат.-секр. кн. А. Ф. Голлицина и просуществовала до весны 1871 г. Главной причиной ее образования было, конечно, усиление революционного движения, а ближайшим поводом — обнаружение в некоторых гвардейских полках революционных воззваний и пропаганды среди солдат, а также появление прокламации „Молодая Россия“, „по содержанию своему действительно превосходившей в дерзости все, что дотоле появлялось в подпольной печати“, как гласит официальный источник — Обзор деятельности комиссии см. в ст. В. Богучарского, Общественное движение 60-х гг., под пером казенных исследователей — „Голос Минувш.“ 1915, № 4; — дополнения в ней — там же № 6.

10) С. Гр. Стахевич был вызван в комиссию для допросов 14 и 19 марта 1863 г. О столковении его с членом комиссии ген.-майор. Дренякиным на первом допросе и об ответах его — см. выше — во вступительной заметке.

11) Приговор был опубликован в „СПБ. Сенатск. Вedom.“ 1864, № 6 от 21 янв. — перепеч. в кн. Богучарского, Госуд. преступл. в России (загр. изд.), т. I, с. 219—220.

12) Студент Медико-хирург. ак-ии Ив. Егор. Беляев был освобожден от ответственности, а студ. Петерб. ун-та А. А. Цветков был выслан под надзор полиции в Вологодскую губ. в г. Никольск; в авг. 1865 г. надзор был заменен негласным наблюдением, и Цветкову разрешено поселиться в Орловск. губ.; в 1876 г. он служил в г. Орле. — Ни Беляев, ни Цветков более по политическим делам не привлекались.

13) Муравский, Митрофан Данилович, из дворян Харьков. губ., р. 1838 г., один из неутомимых и деятельных организаторов, известный среди революционных деятелей 60—70-х гг. под именем „отец Митрофан“, „Дед“. В первый раз привлекался в 1860 г. по делу о харьковском революционном кружке, образовавшемся в 1855 г. (Я. Н. Бекман, М. Д. Муравский, П. С. Ефименко, В. В. Ивков, П. В. Завадский и др.), и был выслан административно в г. Бирск (Оренб. губ.). Вторично арестован в Оренбурге в сентябре 1862 г. вследствие перехваченной переписки; особым присутств. Сената в ноябре 1863 г. „за действия, имевшие целью возбудить к бунту... и за дерзкие откаты о личных качествах государя императора“ был приговорен к лишению прав и к каторжным работам на 8 лет. Наказание Муравский отбывал в Александровском заводе (Нерчинск. окр.) вместе с С. Гр. Стахевичем. О совместной жизни с ним, об устройстве коммуны подробно рассказывает Стахевич в пятой и шестой главах своих воспоминаний. По окончании срока был поселен в Оренбурге, где организовал кружок молодежи; снова был арестован в 1874 г., судился по процессу 196-х, вторично присужден к каторжным работам и умер в ноябре 1879 г. в Борогославской (Тамб. губ.) каторжной тюрьме. — О Муравском

см. М. Лемке, Очерки, с. 279—331 (Молодость „отца Митрофана“), с приведением какого-то фантастического приговора — ср. „Госуд. преступления в России“ (загр. изд. с. 217); Е. Брешковская, Из моих воспоминаний, СПб., 1906, с. 21—40; В. Богучарский, Активное народничество. М. 1912; Старик (С. Ф. Ковалик), Движение 70-х г.г. по большому процессу „Былое“ 1906, № 10—12.

14) Шукшта, Адольф Иосифович, из дворян Ковенск. губ., портупей-юнкер Михани. Артиллер. училища; за доставление в фотографию свидетеля для воспроизведения печатного воззвания „К полякам“ (дело Степутто, Бабашинского и др.) 13 июля 1863 г. приговорен особ. прис. Сената к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 4 года (Богучарский, Госуд. преступления в России, т. I, с. 215—216). В сент. 1864 г. Шукшта был отправлен в Нерчинские заводы; в 1866 г. освобожден от каторжных работ и перечислен на поселение; в 1871 г. ему возвращены права и было разрешено повсеместное проживание. Изложение его дела см. „Полное собр. сочинений и писем А. И. Герцена“, т. XI, с. 395—407; там же, на с. 397—398 перевод воззвания „К полякам“.

15) О. И. Ф. Пинкорнелли, много способствовавшем сношениям заключенных с волею, очень тепло вспоминает М. И. Михайлов. — См. его „Записки“. Изд. „Былое“. Петерб., 1922, с. 79 сл.

16) Андрущенко, Иван, р. 1840 г., пом. землемера г. Василькова (Черниговск. губ.), арестован в июле 1863 г. по делу о распространении земевольческих и других нелегальных изданий („Свобода“, „Долго давили вас, братцы“, „Что нужно народу?“ И. П. Огарева и П. Н. Обручева, и, между прочим, той самой прокламации „Льется польская кровь...“, за распространение которой привлекался и сам Стахевич). Вместе с Андрущенко были арестованы поруч. Ал-др Белозерский и врач Ст. Нос. При допросах в Следственной комиссии Андрущенко выразил полное раскаяние и оговорил целый ряд лиц (Н. Шатилов, Ю. Мосолов, П. Пушторский, Я. Сулин, И. Речицкий и др.), привлеченных, в количестве 38 лиц, по делу о революционном сообществе „Земля и Воля“. — Изложение дела Андрущенко было напечатано в „Колоколе“ № 203—215, откуда перепечатано В. Я. Богучарским в „Материалах для ист. рев. движения 60-х г.г.“ Пар. 1905, с. 100—178 (русс. изд., с. 81—133).

17) Крапивин, Константин Андреевич, р. ок. 1844 г., студ. Медико-хирург. ак-ии, привлекался по делу о распространении революционных учений путем преподавания в воскресных школах (Самсоновская школа — чтение „Молодой России. Огаревских воззваний „Что нужно народу?“ „Что надо делать войску?“ и др.). Особым прис. Сената в марте 1863 г. Крапивин был приговорен к заключению в крепости на четыре месяца и к ссылке в отдаленн. город Европ. России; еще находясь в заключении, сошел с ума и умер 25 янв. 1864 г. — Изложение дела о нем см. М. Лемке, Очерки, с. 399—438 (Дело „воскресников“).

18) Левашев, Александр, из дворян Рязанск. губ., студ. Моск. ун-та, был оговорен Андрущенко в содействии к побегу И. П. Кельсиева, в принадлежности к кружку Н. Шатилова, Ю. Мосолова („Библиотека казанск. студентов“) и в распространении земевольческих изданий („Свобода“); в крепости содержался с 27 сент. 1863 г. О Левашеве см. В. Богучарский, Материалы для ист. рев. движ. 60-х г.г. Пар., с. 142—146 (русс. изд., с. 106—109).

19) Кельсиев, Иван Извознич, брат эмигранта В. И. Кельсиева, р. 1841 г.; за участие в московских студенческих беспорядках 1861 г. выслан в г. Верхотурье (Пермск. губ.); 26 мая 1863 г., преданный суду прав. Сената за составление революционной статьи, бежал из московского тюремного замка за границу и умер в Тульче в июле 1864 г.

20) Баллод, Петр Давыдович, из крестьян гор. Риги, р. 1840 г., студент Петербургского ун-та. 15 июня 1862 г. был арестован по доносу наборщика типографии комиссариатского департамента военного министерства Горбановского, которому Баллод предлагал отпечатать с готового набора прокламацию „К офицерам“; арест был произведе-

дел по делу так назыв. „карманной типографии“, которая в 1862 г. выпустила прокламации: „К офицерам“, „Подвиг капит. Александра“ и „Русское правительство под покровительством Шедо-Феротти (последняя составлена студ. Павл. Серг. Мошкалоным). Прав. Сенат 11 ноября 1864 г. приговорил Баллода к каторжным работам на 15 лет, сокращенн. до 7 лет, которые он и провел в Александровском заводе (Нерчинск. окр.), где жил вместе с С. Гр. Стаховичем, и близко сошелся с ним. В 1865 г. Баллод был причислен на поселение в Верхоянский окр.; в 1874 г. ему возвращены права состояния; потом состоял на службе Ленского золотопр. товарищества. О совместной жизни с Баллодом Стахович рассказывает в пятой и шестой главах своих воспоминаний. Умер Баллод в 1916 г. О П. Д. Баллоде—см. М. Лемке „Политич. процессы“. Пет. 1907, с. 91 сл., (изложение дела). В. Г. Короленко, Воспоминания моего современника — „Гол. Минуш.“ 1920—1921 г.

21) О Шедо-Феротти и памфлете Д. И. Писарева—см. ниже.

22) Прокламация „Предостережение“ должна быть выпущена, чтобы ослабить впечатление от „Молодой России“; напечатана она полностью у М. Лемке. Политические процессы. Спб. 1907, с. 110—112; фантастический рассказ Баллода о получении ее и о некоторых обстоятельствах ее написания см. там же, с. 104—109 и „Полное собр. сочинений и писем“ А. И. Герцена, т. XV, с. 331.

23) Жуковский Николай Иванович, товарищ Д. И. Писарева, жил на одной квартире с П. Д. Баллодом, студент Петербургского ун-та; в 1862 г. во время следствия по делу Баллода эмигрировал за границу, принимал деятельное участие в организации Славянской секции Интернационала. Его заявление о бегстве из России напечатано в виде письма „к издателям „Колокола“ — в № 144 „Колокола“ (8 сент. 1862 г.)—См. о нем Л. Дейч. Русск. революц. эмиграция 70-х г.г. П., 1922, с. 17 сл. и Лемке „Политич. процессы“. Петр. 1907 (Процесс Д. И. Писарева).

24) Замечания Баллода о возможности перепечатки „Колокола“ с соответствующими вставками в выпусках не являлись выходом подозрительности только Баллода. В письме к сыну от 10 апреля 1859 г. А. И. Герцен сам пишет, что „в России „Колокол“ перепечатывают с выпусками и до государя нас не допускают“.—См. в примечании к письму „Полное собр. сочинений и писем А. И. Герцена“, т. IX, с. 542—543.

25) Жданов, Семен Романович, тайн. сов., сенатор, член Особ. Следств. комис. под предс. А. Ф. Голицына, председатель Казанской следств. комис. по делу о „казанском заговоре“. Умер 8 ноября 1865 г. в Нижнем-Новгороде.

26) Соответствующий рассказ о Жданове, приводимый Л. Ф. Пантелеевым в его кн. „Из воспоминаний прошлого“ Петр., 1905, с. 336, заимствован им из записок Стаховича, которые последний давал ему на просмотр.

27) Статья Герцена „Брути и Кассии III Отделения“ (Письмо к русскому послу в Лондоне), помещенная в „Колоколе“ (№ 109), вызвала брошюру публициста, русского финансового агента в Брюсселе бар. Фед. Ив. Фиркса (1812—1872), псевдоним Шедо-Феротти, под заглавием „Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями Д. Б. Шедо-Феротти“ (Берл., 1861). Допущенная к свободному обращению в России с целью скомпрометировать Герцена, брошюра послужила поводом для Каткова начать печатную кампанию против Герцена и вызвала резкие отзывы, конечно, в нелегальной литературе: — один из них, напечатанный П. Д. Баллодом в его „карманной типографии“, под заглавием „Русское правительство под покровительством Шедо-Феротти“, написан П. С. Мошкалоным (Богучарский, Материалы для ист. рев. движ. 60-х г.г.—русск. изд., с. 51 и „Полн. собр. сочин. А. И. Герцена“, т. XV, с. 82—83), — другой, более пространный—написан Д. И. Писаревым, напечат. там же, т. XV, с. 83—90, и в кн. Лемке „Полит. процессы“, с. 125—130.

28) Как ни странным кажется на первый взгляд такое „легкомысленное“ объяснение, даваемое Писаревым своему выступлению в революционной деятельности, однако оно, при более детальном рассмотрении, находит много подтверждений. Брушная роль, которую играла в жизни Д. И. Писарева, его невеста—аутистка Р. Дм. Коренева

(в замужестве Гарднер), выяснена с детальностью Е. Соловьевым (Андреевичем), в его биографии Писарева (СПБ., 1894). Драка с Гарднером на Царскосельском вокзале произошла 3 или 4 мая 1862 г., а статья о Шедо-Феротти была написана тоже в мае и в начале июня передана П. Д. Баллоду. В своих показаниях Писарев говорит, что писание статьи „давало ему возможность вылить накопившуюся желчь“ (М. Лемке, Политич. процессы, с. 143, ср. также, с. 156). Нечто вроде этого сообщает в своих показаниях П. Д. Баллод: Писарева „знаю очень хорошо, как не-революционера... Причины, по которым он впал в крайность, два несчастья, постигшие одно за другим. Коренева, которую он сильно любил и которую давно считал своей невестой, вышла замуж за другого. Второе несчастье—закрытие журнала „Русское Слово“ (так же, с. 121—122);—последнюю причину следует отнестись, так как „Русское Слово“ было приостановлено 12 июня 1862 г., а статья была доставлена Баллоду в конце мая—нач. июня, как он сам указывает.

29) Приговор по делу П. Д. Баллода, Д. И. Писарева и др. см. в сборнике В. Л. Богучарского, „Государственные преступления“, т. I, с. 226—227; сенатское определение в кн. М. Лемке, Политич. процессы, с. 159 сл.

30) См. пятую и шестую главу воспоминаний.

31) „Записки из жертвого дома“ впервые были напечатаны в журнале „Время“ 1861, № 4, 9—11 и 1862, № 1—3, 6, 12.

Примечания составлены А. А. Шадовым.

К процессу В. И. Засулич.

Среди громких политических процессов 1861—1881 г.г. и даже позднейших процесс В. И. Засулич (31 марта 1878 г.) занимает особое, исключительное положение. Объясняется это отчасти финалом процесса: восторженно встреченным русским обществом оправдательным вердиктом присяжных заседателей, поразившем, однако, своею неожиданностью высшие сферы.

Известно, что исход процесса чувствительно отразился на карьере целого ряда выдающихся администраторов, как по министерству внутренних дел, так, в особенности, по министерству юстиции. Одни оказались в опале, другие — в отставке. Кроме того, приговор поколебал доверие правительства к институту присяжных заседателей, оказав тем огромное влияние в дальнейшем на практику уголовного судопроизводства (в отношении, конечно, политических или, как выражались, „государственных“ преступлений) в русских судах. Отныне исключена была навсегда возможность участия присяжных в политических процессах.

В этом, в сущности, очень несложном процессе для историка может быть любопытна закулисная его сторона. Ведь и до 1878 г. скамью подсудимых занимали сотни обвиняемых в политических преступлениях; однако же их судил предубежденный коронный суд. В. И. Засулич предстала, как исключение, пред судом присяжных.

Нечего и говорить о том, что власти, предавая В. И. Засулич суду присяжных, руководились буквою закона судебных уставов 1864 г. Формальный повод к тому, конечно, был. Преступление В. И. Засулич можно было квалифицировать, как „уголовное“, подсудное по месту покушения суду с участием присяжных заседателей. Но слишком часто правительство нарушало формальный порядок судопроизводства, когда обстоятельства того требовали, предавая своих противников удобному для себя суду. И, в частности, в деле В. И. Засулич, где речь шла о жизни такого влиятельного временщика, как Ф. Ф. Трепов, правительство навряд ли считалось бы с уставами 1864 г., мало вообще соответствовавшими реакции конца 1870 г.г.

И, однако, В. И. Засулич судили присяжные, и после однодневного разбирательства несложного, повторяю, дела, где факт покушения нельзя было никаким образом опровергнуть, В. И. Засулич, сопровождаемая восторженными приветствиями многочисленной толпы, вышла из залы заседаний петербургского окружного суда оправданной.

Как же однако случилось, что правительство и, в частности, генерал-прокурор Империи, министр юстиции, граф Пален, допустили процесс до такого скандального исхода? Вопрос не в том, какими мотивами руководились, вынося свой приговор, присяжные, а в том, как в высших сферах не была предусмотрена возможность такого исхода процесса? Почему, наконец, судьба героини дня была вручена независимому народному суду, руководившемуся не формальным фактом преступления, а его первопричиной?

Ответы на поставленные вопросы пока невозможны. Все данные для более или менее правильного ответа кроются именно в закулисной стороне процесса, совершенно не освещенной в литературе за отсутствием как документальных (официальных) материалов, так и существенных свидетельств современников, причастных так или иначе к этому делу¹⁾. Тем интереснее для выяснения этой закулисной стороны являются публикуемые воспоминания известного присяжного поверенного и поэта Сергея Аркадьевича Андреевского, принадлежавшего к числу тех лиц, бюрократическая карьера которых завершилась внезапной и преждевременной отставкой вследствие, именно, оправдания В. И. Засулич. „В 1870 г., — пишет С. А. Венгеров, пользовавшийся автобиографией Андреевского, — С. А. поступил на службу по судебному ведомству, но в 1878 году, состоя товарищем прокурора петербургского окружного суда, вышел в отставку вследствие нежелания выступить обвинителем по делу Веры Засулич“²⁾.

Позднее к написанию С. А. Андреевским своих воспоминаний послужило следующее обстоятельство.

В 1914 г. министр юстиции И. Г. Щегловитов выпустил небольшое свое исследование. „Влияние иностранных законодательств на составление судебных уставов 20 ноября 1864 г.“³⁾. Экземпляры своей работы автор разослал некоторым современным юристам, в том числе и С. А. Андреевскому. Последний особым письмом (от 14 сентября 1914 г.) поблагодарил И. Г. Щегловитова за „ценную работу“. „Читая вас, — писал Андреевский, — еще раз убеждаюсь, до чего вы „прирожденный профессор“! Какое знание всевозможных кодексов! Какая любовь к науке права!“ Радуюсь окончательному выводу Щегловитова, „что русский суд присяжных завоевал себе общее расположение и доверие в широких народных массах“ и что следует оберегать этот суд „от всяких изменений“, Андреевский тут же замечает: „Кстати, я вполне разделяю ваше мнение, что присяжные едва ли годятся в судьи по делам политическим. В виде наглядной иллюстрации позвольте мне — пишет С. А. Андреевский, — по этому поводу рассказать вам мою роль в деле Веры Засулич. Этот эпизод моей жизни нигде мною не записан. О нем существует

¹⁾ Некоторый, быть может, свет на эту любопытную сторону дела прольют воспоминания председательствовавшего на суде А. Ф. Кони, о предстоящем оглашении которых не раз сообщалось в печати.

²⁾ „Критико-биографический словарь русских писателей и ученых“, т. I, Пет. 1889, с. 545. То же в „Новом энциклопедическом словаре“, т. II, с. 794.

³⁾ Пет., изд. Сытина.

только предание. И я сообщу вам его впервые во всей правде,—на память“. „Вверяю вам, дорогой Иван Григорьевич, эти воспоминания“ — такими словами Андреевский заканчивает свое письмо ¹⁾).

„В ту пору прокурором судебной палаты был А. А. Лопухин (отец недавнего каторжника...) ²⁾, а прокурором суда Н. Н. Сабуров (впоследствии директор Департамента полиции ³⁾). Но ко времени поступления дела Засулич в суд, Сабуров находился в отпуску, а его должность исправил старший из товарищей прокурора В. И. Жуковский. Мне, как самому младшему среди прокуратуры, и в голову не приходило, чтобы с предложением обвинять Веру Засулич на суде могли обратиться ко мне. Да и помимо того,—весьма чуткий к окружающей политической атмосфере,—я был твердо убежден, что из суда присяжных Вера Засулич всегда выйдет оправданною.

Однако же, как-то утром, когда я совершенно безмятежный пришел на службу, меня тотчас же позвал Жуковский и (не то посмеиваясь, не то сострадав) — торопливо заговорил:

— Знаешь?.. Тебя ждет Лопухин. Он тебя решительно избрал обвинителем Веры Засулич. Конечно, ради приличия, он предложил эту обязанность и мне, как исправляющему должность прокурора,—но он мечтает именно о тебе. Я же ускользнул, сославшись на то, что мой брат „эмигрант“ и поэтому, в уважение моих родственных чувств, меня всегда освобождали от дел политических, за что я беру на себя труднейшие процессы общего характера... ⁴⁾.

Бесконечно взволнованный я пошел к Лопухину.

Он встретил меня с „распростертыми объятиями“ и сказал:

— Когда я настаивал на передаче дела Засулич в суд присяжных, я имел в виду именно вас. Я часто слушал ваши речи и увлекался. Вы один сумеете своею искренностью спасти обвинение...

— Но, Александр Алексеевич, ведь ваше обращение ко мне — величайшее недоразумение! Конечно, Вера Засулич совершила преступление, и если бы вы, как мой начальник, предписали мне обвинять ее, то я не

¹⁾ За сообщение этого письма приношу благодарность петербургскому букинисту Ф. Г. Шилову.

²⁾ Прокурор петербургской судебной палаты Александр Алексеевич Лопухин, отец директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина, осужденного в апреле 1909 г. особым присутствием Сената на 5 лет каторжных работ за содействие В. Д. Бурцеву в деле разоблачения Азефа.

³⁾ Речь идет о прокуроре петербургского окружного суда.

⁴⁾ „Эмигрант Жуковский“, о котором упоминает Андреевский,—Николай Иванович Жуковский. В 1862 г. он разыскивался по делу Д. И. Писарева, но во время успел скрыться за-границу, где принял деятельнейшее участие в эмигрантской жизни 60-ых и 70-ых годов и в частности в Славянской секции Интернационала. Между прочим, по делу же Д. И. Писарева привлекался к дознанию и Владимир Ив. Жуковский, тогда судебный следователь гор. Уфы, а в описываемое Андреевским время — старший товарищ прокурора петербургского окружного суда. См. М. Лемке — Политические процессы Михайлова, Писарева и Чернышевского (И., 1907, с. 151 — 152); — (Н. Н. Голлицин), История социально-революционного движения в России, гл. X. Пет., 1927, с. 101 (с неправильным указанием отчества Ж — го).

имел бы права послушаться. Поэтому, я прежде всего ждал бы знать: беседуем ли мы с вами формально, или по-человечески?

— Да что вы! Что вы! Конечно, тут нет никаких формальностей, и вы можете говорить вполне откровенно.

— Тогда я вам скажу, что обвинять Веру Засулич я ни в каком случае не стану, и прежде всего потому, что кто бы ни обвинял ее, — присяжные ее оправдают.

— Каким образом? Почему?...

— Потому, что Трепов совершил возмутительнейшее превышение власти. Он выпорол „политического“ Боголюбова во дворе тюрьмы и заставил всех арестантов из своих окон смотреть на эту порку... ¹⁾ И все мы, представители юстиции, прекрасно знаем, что Трепову за это ничего не будет. Поймут это и присяжные. Так вот, они и подумают, каждый про себя: „значит, при теперешних порядках, и нас можно пороть безнаказанно, если кому вздумается? Нет! Молодец Вера Засулич! Спасибо ей!“ И они ее всегда оправдают.

— Бог знает, что вы говорите!...

— Александр Алексеевич! Мне кажется, вы не чувствуете важности момента. Ведь мы присутствуем при начале *иной* (бурсив здесь и дальше автора. Р. К.) революции. Уже не против монарха, а против *правительства*. И в обвинители Веры Засулич следовало бы достать какого-нибудь дореформенного человека, преданного далекой старине, который был бы готов за нее „костями лечь“, который бы сказал присяжным: „Г.г. присяжные! Нам дела нет до побуждений г-жи Засулич. Помните только одно, что она посягнула на наши святыни. Она стреляла в генерал-адъютанта, носящего на своих плечах вензеля государя, — всегда имеющего к царю свободный доступ... Кто любит государственный порядок, тот не пожелает даже вникать в объяснения подсудимой. Можно, пожалуй, смягчить ее ответственность, но оправдать ее — никогда!“.

— Какая великолепная речь! Произнесите же ее!

— Нет, Александр Алексеевич, мы совсем не понимаем друг друга. И верьте мне, что никакая речь не поможет.

Лопухин пожал плечами и сказал: „Ну, что же делать! Придется обратиться к товарищу прокурору Кесселю“...

„Засулич была оправдана с таким треском и ревом, каких никогда не знали ни ранее, ни позднее стены судебного зала. Приговору аплодировали даже сановники (ныне уже умершие), стоявшие в местах за креслами судей...²⁾“.

¹⁾ Архим Петрович Боголюбов (в действительности — Егудынов) по делу о демонстрации на Казанской площади 6 декабря 1876 г. осужден особым присутствием Сената (в январе 1877 г.) на 15 лет каторжных работ. 13 июля 1877 г., находясь в доме предварительного заключения, он по распоряжению петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова был подвергнут телесному наказанию, о чем см. ниже, с. 93—94.

²⁾ Аплодировали, напр., капитан Горчаков, граф Баранцов и др. См. Н. С. Тихонцов. Пережитое, вып. II, СПб. 1919 г., с. 44.

Когда, после заседания, мы с Жуковским уселись на „ниперылые конки“ и поехали домой, он мне спокойно сказал: „Ну, брат, теперь нас с тобой прогонят со службы. Найдут, что если бы ты или я обвиняли, этого бы не случилось“.

Его пророчество сбылось очень скоро. Моя семья во время процесса находилась в деревне у родственников. И в самый день моего отъезда туда я получил от возвратившегося в Петербург прокурора суда Сабурова извещение, что министр юстиции требует от меня и Жуковского объяснений, почему мы отказались обвинять Веру Засулич?...

Жуковский был переведен товарищем прокурора в Пензу, а я — уволен от должности.

Осенью мы оба были приняты в адвокатуру¹⁾.

Та часть прокуратуры, которая непосредственно наблюдала за направлением дела, как можно заключить из рассказа Андреевского, не была уверена, что В. И. Засулич непременно будет осуждена. Речь шла о том, чтобы „спасти обвинение“. Нельзя допустить мысль, что только А. А. Лопухин „наставлял на передаче дела Засулич в суд присяжных“. Конечно, его мнение оказало известное давление, но не по настоянию его одного поступили так. Вопрос решался в кругу более влиятельных и высших сановников.

При отсутствии свидетельских показаний других лиц, прикосновенных к процессу со стороны судебной администрации, воспоминания С. А. Андреевского не могут быть пока подвергнуты критической оценке. Одно неопровержимо ясно — за кулисами волновались и искали „спасителей“.

Но „спасти обвинение“ не удалось. Оправдательный приговор, вызвавший столь решительное одобрение общества, поколебав доверие правительства к институту присяжных заседателей, поставил перед правительством новый вопрос: как избежать подобного исхода в будущем? Через шесть дней после суда над В. И. Засулич, 6 апреля 1878 г., министр юстиции граф Пален внес в Государственный Совет проект нового закона, осуществленного на практике, „об изменении подсудности и порядка производства“ той категории дел, которая формально могла, при желании, рассматриваться судом присяжных. Отныне, присяжные заседатели были в принципе отрешены от суждений о политических преступлениях¹⁾.

Замечу кстати, что и в позднейшей практике ведения политических процессов мы сталкиваемся с фактом предварительного обсуждения порядка и формы суда над политическими преступниками в специальных совещаниях в целях предупреждения внезапных казусов. Так, напр., 6 марта 1881 г. в 11 часов утра, в Зимнем дворце было созвано под председательством нового монарха специальное совещание „по вопросу (цитирую официальную повестку) о форме суда, которую надлежало бы принять относительно виновников

¹⁾ Записка министра юстиции Палена по поводу изменения подсудности дел о преступлениях против должностных лиц была напечатана тогда же нелегально (в виде отдельной брошюры с пунным пояснением) в земельвольческой „Вольной Русской Типографии“, в Петербурге.

преступления 1 марта“.... И сообразно с важностью процесса в совещании приняли участие такие лица, как в. кн. Владимир, П. А. Валуев, Лорис-Меликов, министры: военный, юстиции и двора и кн. Урусов... ¹⁾

Оправдание В. И. Засулич в то же время поставило в неловкое положение и главного виновника скандала — Ф. Ф. Трепова. Приняв во внимание мотивы, руководившие В. И. Засулич, и удовлетворив широкие слои общества, народные судьи тем самым признали, что Трепов, подвергнув Боголюбова-Емельянова телесному наказанию, совершил недопустимое преступление. Оправдание В. И. Засулич было в то же время осуждением Трепова. Это так и поняли те, кому это понять не мешало. Лучше всех и в первую очередь понял сам Трепов. Он пытался оправдаться перед *общественным мнением*... и довазывать обществу, что 13 июля 1877 г. он творил не беззаконие, а что-то законом непрекрасимое. Разыгралась в связи с этим маленькая закулисная история, о которой, пользуясь случаем, расскажу вкратце.

11 апреля 1878 г. Трепов представил министру внутренних дел Тимашеву следующий доклад:

„Вашему высокопревосходительству известно, что по поводу разбирательства дела о Вере Засулич, сделавшей покушение на мою жизнь, общественное мнение впало в сомнение относительно права, принадлежавшего административному начальству, применить к содержащемуся в доме предварительного заключения, 13 июля 1877 г., Боголюбову закон о телесном дисциплинарном взыскании, как к лицу, принадлежавшему к разряду ссыльно-каторжных. Таким образом, сложившееся общественное мнение, оставаясь ничем не опровергнутым, продолжает обвинять правительственную власть в явном нарушении закона и возбуждать умы против администрации.

„В видах восстановления истины, долгом считаю представить на благосмотрение вашего высокопревосходительства напечатанное, по моему распоряжению, краткое объяснение означенного обстоятельства с тем, не изволите ли признать полезным приказать напечатать содержание его в „Правительственном Вестнике“.

Тимашев не решился самостоятельно капитулировать перед игнорировавшимся в принципе общественным мнением и в тот же день поставил вопрос, поднятый Треповым, на обсуждение Комитета министров. После Комитета министров в тот же, или на другой день, проект правительственного разъяснения рассматривал еще Александр II. Результаты всех суждений шеф жандармов Н. В. Мезенцов 12 апреля резюмировал в таких словах: „Комитет министров в заседании своем признал печатание предлагаемого объяснения несвоевременным и по докладу моему о сем государю императору его величество изволил с этим согласиться“.

Неопубликованное в свое время оправдательное объяснение Трепова заслуживает быть оглашенным, как исторический документ, тем более, что

¹⁾ О совещании упоминает в своем дневнике П. А. Валуев („Современник“, 1913 кн. VI, с. 70). — Отд. изд. Петр. 1919, с. 150.

оно отчетливо рисует помимо всего юридическое положение политических ссыльно-каторжных того времени:

„При посещении с.-петербургским градоначальником, 13 июля 1877 года, дома предварительного заключения, содержащийся там, по обвинению в государственном преступлении, Боголюбов дозволил себе дерзкие с ним объяснения; по данному же им знаку прочие арестанты подняли шум и крик, стали ломать и выбрасывать в окна форточки посуду и проч.

„Для восстановления порядка и в видах предупреждения подобных нарушений на будущее время, виновные были подвергнуты по распоряжению градоначальника, дисциплинарным взысканиям; главный же виновный Боголюбов — наказан 25 ударами розог ¹⁾.

„Принятие против сего последнего означенной меры представлялось вполне законным по следующим основаниям: приговор над Боголюбовым, в окончательной форме, объявлен ему 8 апреля 1877 года, и так как он не принес на оный кассационной жалобы, то таковой вошел в законную силу 22 апреля. 19 мая последовало высочайшее повеление на утверждение приговора по делу 6 декабря 1876 года, и 20 июня за № 893 товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента правительствующего Сената поручил управляющему домом предварительного заключения „перечислить содержанием за губернским правлением арестантов, ныне ссыльно-каторжных, Боголюбова“ и других, „объявив всем этим лицам, что приговор о них, вместе с сим, обращен к исполнению“, что и исполнено взятием от них 24 июня подписок.

„Таким образом, не представлялось никакого сомнения в том, что Боголюбов 13 июля принадлежал к разряду ссыльно-каторжных и что за сим к нему были применимы постановления закона, относящиеся до таких арестантов, а в том числе и ст. 807 т. XIV уст. о ссыльных, по которой, даже за маловажные проступки, подобные лица „во время тюремного заключения“ могут быть тюремным начальством подвергаемы наказанию розгами не свыше 100 ударов и даже плетью. То обстоятельство, что Боголюбов находился еще в доме предварительного заключения, ни в чем не изменяло подобного права начальства, что достаточно видно уже из того, что закон (ст. 388 того же уст. о ссыльных) представляет этапному офицеру или унтер-офицеру приводить в послушание легким телесным наказанием ссыльных, во время следования, т.-е. также в то время, когда ссыльно-каторжный не достиг еще места назначения, по приговору ему назначенного. Не излишне заметить, что даже начальствам арестантских рот, а также смиренных и рабочих домов закон (ст. 976 и 1073 т. XIV уст. о содерж. под страж.) представляет право наказывать подведомственных им заключенных розгами, хотя сии последние не лишены всех прав состояния и представляются менее важными

¹⁾ Описание происходившего в тот день в доме предварительного заключения, см. в ст. Сергея Глаголя — Процесс первой русской террористки. („Голос Минувшего“, 1918 г., кн. VII—IX).

преступниками, чем лишённые всех прав состояния сильно-каторжные¹⁾.

В инциденте с Треповым характерно больше всего то, что правительство во главе с Александром II оправдывало действия градоначальника, не отвергнув проект по существу, а лишь признав оглашение его несвоевременным. Слишком много масла подлило бы такое объяснение в разгоравшийся огонь...

Р. Кантор.

¹⁾ Дело бывш. архива III Отделения собств. его имп. в. канцелярии 3 экз., 1878 г. № 68, ч. I л.л. 192—194.

Литературные воспоминания.¹⁾

(Продолжение)

У.

Итак, началось мое регулярное сотрудничество в „Петербург. Газете“, причем я не прерывал занятий и в „С.-Пет. Вedom.“ Как я уже замечал выше, Аксель Карлович Гермониус, вступивший в редактирование газеты, задумал ее олитературить. Издатель, С. Н. Худков, в это время уже либро разбогател, и как всегда бывает, стал питать честолюбивые мечты. Для этого тоже нужно было подтянуть газету, а верхом подтянутости он считал сделать газету русским „Фигаро“. Литературные силы, работавшие в то время в „Петерб. Газете“, были, действительно, значительные. Кроме неизменного Н. А. Лейкина, сделавшего для газеты своими „Кадрильными разговорами“ очень много, работал Н. С. Лесков, С. Н. Терпигорев-Атава, А. А. Дьяков-Житель, С. Г. Фруг. Это были, так сказать, литературные украшения газеты. Это новое вино было смешано со старыми дрожжами; тут были, по своему, также весьма даровитые, но насквозь уличные журналисты, как А. А. Соколов, бывший редактор „Петерб. Листка“, свирепый гонитель актеров, известный под псевдонимом „Театральный Нигилист“, автор напумованного романа „Театральные болота“. Он писал в газете „Заметки Празднующегося“. Потом известный И. А. Баталин, скончавшийся в 1918 г., писавший под псевдонимами „Руслан“ и „Оса“. Далее под псевдонимом „Чичероне“ писал заметки о том, о сем—„городские“—А. А. Плещеев. Было еще несколько литературных сотрудников—Бахтияров, Пыляев и др., всех уже не упомяну. Во главе репортеров был Я. А. Харламов, глуховатый на одно ухо и хромой на одну ногу, и затем шел целый ряд полу-грамотных счетчиков, „пожаристов“, „происшестввенников“ и т. п. Почти одновременно со мной, в качестве секретаря редакции, вошел брат Акс. Гермониуса, уже упомянутый выше Альб. Карл. Гермониус, впоследствии заменивший своего брата на посту редактора. С. Н. Худков писал редко—и больше по городским делам. Об Александрийском театре и других больших театрах писала издательница, Над. Ал. Худкова, симпатичная, юная дама, умершая во время

¹⁾ См. „Визис“, кн. 29.

революции в 1918 г. В общем, состав сотрудников был в то время очень сильный, и нужно отдать справедливость Акс. Карл. Гермониусу, что он поднял литературную сторону газеты на значительную высоту.

Аксель Карлович давно умер, и дурная слава осталась по нем. Я не хочу ни оправдывать, ни защищать его. Прожив значительную часть своей жизни в театрально-газетном мире, я научился понимать своеобразные отношения этого мира и разбираться в грехах его и слабостях. Несомненно, что Акс. Гермониус, не будучи Беконем, имел его слабости и шутовское двуличие, ходившее по редакциям и приписываемое В. Ф. Платонову „Скажи, Альберт, по таксе-ль взимает брат твой, Аксель?“ довольно близко подходило к действительности. Но в его, Гермониуса, мздоимстве была, так сказать, обезоруживающая сторона; он взимал, совершенно не понимая, какая это пакость. У него не было сознания греха или стыда или чувства неловкости. Он брал откровенно, просто, вот как птица песни поет. Как не стыдился Юсов, а только говорил: „Ты брат—бери, да сделай, не марай чиновничества“, так и у Акселя Гермониуса это была совершенно ясная философия жизни, покоившаяся на убеждении, что таков строй социальных отношений, и потому он высоко, так сказать, держал знамя мздоимства. Бессознательный циник, он даже не бравировал этим, а относился в высшей степени деловито к антрепренерам, обложенным данью. Однажды часу в 4-м, когда большая часть сотрудников разошлась, Акс. Гермониус, уже в пальто и с портфелем, сердито барабанил по стеклу окна, молвил вслух: „Что это, Лейферт (антрепренер балаганов на Марсовом Поле) не едет—ведь знает, что сегодня пла-тежи! Безобразие! Жди вот тут!“. Этот „маленький недостаток“ Гермониуса знали все, и в первую голову, вероятно, знал издатель. Но так как Гермониус был человек способный, бойкий журналист, и главное, „в высшей степени цензурный“ редактор, то на „маленький недостаток“ смотрели сквозь пальцы, пока не „розыгрался гросс-скандал“, о котором расскажу ниже. Быть „в высшей степени цензурным редактором“ в то время—значило обладать самым важным достоинством. Гермониус, например, не пропускал слова „правительство“, почитая его „нецензурным“. Когда я его однажды спросил, почему он подвергает слово „правительство“ остракизму, то он мне ответил: „Правительство не доступно нашей критике, и потому не зачем упоминать его“. А когда я возразил: „но ведь тут нет критики, а лишь упоминание“, то он сказал: „Всего незачем упоминать правительство“. Так, вы и не найдете на протяжении нескольких лет в „Пет. Газ.“ ни разу слова „правительство“, за исключением официальных актов, где правительство говорит само о себе, в первом лице. Но еще „цензурное“ было говение Акс. Гермониуса на слово „лысый“. Я несколько раз замечал, что в моих статьях и фельетонах слово „лысый“ или совершенно устраняется или, что еще хуже, заменяется разными описательными выражениями, вроде „редкая растительность“, „жидкая шевелюра“ и т. п. Наконец, я задал вопрос Гермониусу, почему ему не нравится слово „лысый“. „А видите,—ответил он мне, хитро поблескивая глазами,—государь читает газету, а он лысый, ему будет неприятно встретить это слово. Может

еще и на свой счет принять! Нет, уж, пожалуйста, прошу вас, избегайте этого слова“. И лет пять, пожалуй, я обходил тщательно это слово, пока стал и сам лисоть...

Поскольку дело не касалось „в высшей степени цензурных соображений“, Гермониус предоставлял сотрудникам полную свободу и даже в области театра не проявлял никакого давления. Если он „взимал по таксе“, то единственно за рекламы или за заметки, которые писал лично. Так, говорили, будто некий актер, приехавший делать в Петербурге карьеру, предложил 150 руб. в месяц за заметки об его выступлениях. Актер этот имел состояние и жестокую любовь к шекспировским ролям, для которых не располагал иными „данными“, кроме „данных“ за рекламу. И уверяли, будто Акс. Гермониус напечатал: „много, как видно, обещает,—посмотрим, как он оправдаст эти обещания“.

Акс. Гермониус был, несомненно, очень способный человек, но опустившийся. Еще в университете, как говорят, у него была какая-то история с товарищами, от которых он печатно отрекся в баталинской „Минуте“, и тем расположил к себе „в высшей степени цензурное начальство“. Так, он был, что называется, добрый малый. Красивый, хорошо сложенный, неглупый, подержанный хронической влюбчивости. При этом влюблялся он нередко Бог знает в кого. И тогда происходила очередная драма: покинутая Калипсо оплакивала Улисса, а наш Улисс заводил другой предмет. Он был наизн в своих пороках, как сущий язычник, и потому бесполезно было ждать от него прояснения. Он не был нисколько зол, но детски испорченный эгоист, с атрофией некоторых сторон морального существа. Кончил он жизнь весьма печально. В результате его откровенных до грании полученных с антрепренеров, разгорелась история. Дело было так: один антрепренер, которого распекал Грессер, как-то бухнул ему: „Позвольте, ваше-ство, доложить—сил никаких нету, пристаю плати, опять полицеймейстеру платим, репортеру плати, редактору особо“... Тут Грессер всплил, очевидно, оскорблялись за полицию, которой приходилось делиться частью дани, и назначил расследование. Потребовали антрепренерские книги, и тут в некоторых напли полностью прописанными все цифры „даденного“. Скомпрометированными оказались весьма многие, но пострадали только двое: Акс. Гермониус и еще кто-то, замешанные в деле купца Остолопова. Прочих генерал „великодушно простил“, сделав соответствующий нагоняй. Акс. Гермониус же должен был сложить редакторские полномочия, куда-то был выслан и пробыл в „почетной“ ссылке несколько месяцев. Происшествие с купцом Остолоповым было такого рода. У купца Остолопова была „штучка“, актриса Р. И вот на этой „слабой струне“ все время играли. То исполняла она роль хорошо, то прескверно. То туалет был умопомрачительный, то безвкусный. То лице было почтеннейший зегодант, то выскочка—смотри по обстоятельствам. Но Остолопов был купец крепкий и старого русского забала, т.е. при всей простоватости, с хитрекой. Однажды он решил, что платено довольно или, как говорится в щедринском жизнеописании менажи Парамонова: „а на дальнейшее сказано—посмотрим“. Решив это, он во время очередной беседы о субсидии спрятал в соседней комнате двух приезчиков-

молодцов и поймал вымогателей с поличным. Составили письменную запись, — и к какому генералу! Ну, тут и пошло....

Я не считал Акс. Гермоннуса способным на шантаж и думаю, что тут было не без посторонних влияний. Тогда было лишь известно, что по предложению градоначальника Главное Управление по делам печати предложило издателю переменить редактора, скрепи сердце, предложило — я полагаю, ибо „в высшей степени цензурное ведение газеты“ высоко ценилось. Акс. Гермоннус уехал в Одессу, где сотрудничал в „Одесском Листке“ и даже, кажется, одно время редактировал эту газету. Потом спустился ступенькой ниже и редактировал какую-то газету в Екатеринославе. Потом его разбил паралич. У меня хранятся два его письма, писанные из изгнания. Он перебирает в них свою жизнь и жестоко себя бичует. Я верю в то, что среда и его заела. А среда была ужасная... Антураж бульварной петербургской газеты, всюду читаемой и потому влиятельной; низкопоклонство бифетчиков, трактирщиков, демимонденов, актрис, актеров, темных дельцов, клубных арапов и пр. — все это кружило голову. При этом снисходительность свыше, ибо главное — быть в высшей степени цензурным. В конце концов, разврат был повсюду, и только привычка к чистоплотности могла бы удерживать слабого человека, безыдейного и беспринципного, на стезе добродетели. С. Н. Терпигорев, со свойственным ему цинизмом, сказал мне однажды по поводу учреждения литературно-артистического кружка: „А ревизионную комиссию выбрали?“ И когда я заметил: „Ну, что это вы, С. Н., всех так мрачно представляете? Слово честных людей нет...“ — он возразил: „Молодой человек, поживите с мое, и вы убедитесь, что честные люди это — те, которые потеряли надобность быть нечестными“. Ну, хорошо, но сам Терпигорев, презирая газеты, в которых работал, — что собою представлял в таком случае? Ведь он был не молод и достаточно искушен Совершенно такой же цинически откровенный, презрительный тон как о „Шет. Газ.“, так и о „Нов. Вр.“ был и в речах А. А. Дьякова, когда он, бывало, выпьет с подюжины пива. Не знаю, почему у Дьякова ко мне была необъяснимая в таком жалком человеке и мизантропе, симпатия. Он приставал ко мне постоянно зайти к нему, поболтать. И я у него был раза два-три. Жил он в чрезвычайно курьезной обстановке. Большая квартира, в которой можно было найти с подюжины стульев и несколько столов; затем очень много картин, наваленных на полу и только в редких случаях развешанных по стенам, груды разных книг, и всюду пивные бутылки. Дьяков был женат на еврейке, красивой женщине с грустными израильскими глазами. Ее жизнь была, вероятно, не из легких, но говоря уже о том, что Дьяков вечно изрыгал хулу на евреев как устно, в присутствии жены, так и печатно на страницах „Нов. Врем.“. Две темы всегда волновали Дьякова — „жиды“ и „семейный ад“, и все это иллюстрировалось на основании, якобы, опыта собственной жизни. Каково было жене Дьякова читать раза по два в неделю этикие из востраши! Тем не менее, она оставалась при этом мизантропе и диком человеке до самой его смерти — он, кажется, скончался купаясь в одесском лимане. Дьяков был отаратительный собеседник, потому что собеседник это — тот, который говорит сам и слушает других. Он же почти

не слушал. Ему надобно было только схватить ваше слово, чтобы завести свою пружину и говорить, говорить без конца... Он не рассуждал, а только злопыхательствовал в форме отрывочных и резких афоризмов и сентенций. Подлинно, все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. При этом „демонизм“ его был неизящный и чорто-образный. Дьяков был невообразимо некрасив и словно грязен видом, платьем и наружностью. В одном из очерков Дьякова о заграничной русской революционной братии, помнится, я встретил такую фразу: будто бы некая революционная девица взяла себе какого-то революционного мужчину, жизнеописание какового мужчины и являлось предметом дьяковского очерка — и будто другая революционная девица после того, как первая ее осведомила о своем решении, — молвила кратко и просто: „Ты бы его в баню сводила“. Эта мысль о бане всегда напрашивалась при встречах с Дьяковым. Быть может, я неблагоприятен к его памяти, ибо, как я уже заметил, у него было ко мне большое пристрастие, и однажды, — правда, на 8-ой или 9-ой бутылке пива, — он сказал мне: „я бы за то уже евреев выселил из России, что они вас не почитают, как самого талантливого человека из всего русского Израиля“. Фельетоны Жителя имели огромный успех. Несомненно, что он был очень даровитый человек. Но этот навигиченный сатанизм, это его вечное злопыхательство и брюзжание, в котором не находилось ни одной примиряющей ноты и ни одного светлого пятнышка, — при прилежном, так сказать, чтении (как в его сборниках) производили впечатление какой то мелодрамы. Но раз в неделю попробовать этак немножко горького, при тогдашней сытой, спокойной и недвижимой жизни было, надо полагать, весьма кстати. Похоже было на горчишную приправу или на острую сою к всегдашней сытости. В наше смятенное, голодное, страшное, кровавое время трудно, конечно, понять прелесть легкого бичевания и незначительных острых уколов. А тогда это было нужно, ибо „своей дремоты превозмочь не хочет воздух“....

Мизантропия, цинизм, вигилизм, жесткость в суждениях о людях, презрение ко всем (и в том числе, быть может, скрытое презрение к себе) — это было не только в Жителе-Дьякове; это было у огромного большинства литераторов и журналистов, работавших в „Новом Врем.“ и „Пет. Газ.“ — двух грешницах, одной пофигуристей и понарядней, другой попроче. Те же черты были и в Терпигореве. То же в Буренине. Таков же был Баталин, А. А. Соколов и многие другие. Как будто люди озлобились за собственное падение. Как будто они, чувствуя его, всячески гнали от себя мысль, что существуют или де могут хотя бы существовать люди, у которых есть общественно-политическая цель, или идеал служения, или же которые, по крайней мере, имеют право сохранить к себе полное уважение и, озирая свою жизнь наелине с собой, не стыдиться и не краснеть. Я выше привел характерные слова Терпигорева. Он всегда глядел насмешливо-иронически умными маленькими своими серыми глазами. Лицо серьезно, а глаза смеются. Потом скажет что-нибудь, и непременно обругает. Ходил он в крылатке старого образца, и часто можно было видеть его фигуру на имперiale конки, шедшей из „Новой Деревни“, где он жил. „Заходите, — говаривал он, — я вам свою библиотеку пока-

жу". Я и впрямь думал, что у него замечательная библиотека. Но „библиотекой“ он называл ряд полок с ящиками, где хранились самые затейливые настошки и напитки. Для них у него существовал особый алфавит, и комбинациям настоек, ерофеича, зубровок, рябиновых, померанцевых и т. п. не было числа. „Мой любимый автор в нынешнем году,—говаривал он,—это ерофеич“. Большим приятелем Терпигорева был фотограф академии наук, известный Ковст, Шапиро, так как у Шапиро тоже была соответствующая „библиотека“ с напитками ультра-модерн, как у одного из героев романа Гюнсмана—„А rebours“. Однажды, когда я снимался у Шапиро, он меня повел в заднюю комнату и, осторожно озираясь, извлек из нижнего ящика какого-то шкапа флакон с желтоватой жидкостью, откуда в маленькую, с ниперсток, рымочку налил содержимое и предложил попробовать. Вкус был неопределенный, но аромат, точно, изумительный. Ударил этот напиток не в голову, а в ноги. „До этого Сергей Николаевич (Терпигорев) еще не дошел,—сказал Шапиро.—Он все приставал ко мне: продай авторские на это сочинение, но я не продам. Угостить угощу, а не продам...“

Меньше литературным калибром, но еще больше в стиле вульгарного сатанизма, был Баталин. Баталин был из духовного звания, уроженец Калужской губернии, и кажется, в начале своей газетной карьеры работал в первой половине семидесятых годов в „Биржевых Вестях“, и был на хорошем счету. Потом как-то случилось с ним,—это было задолго до моего появления на газетном поприще,—что он поступил на службу к петербургскому градоначальнику (кажется, Трепову). Долго ли, коротко ли прослужил он в градоначальстве и каковы были его обязанности—я не знаю. Но после этого он уже чувствовал на себе „табу“, и сразу полетел вниз. Я читывал еще в университете его газету „Минуту“ (он же и был ее основателем), и помню, что она возбуждала в молодежи всеобщее негодование, так как громила студенчество за демонстрации и делание политики, и вообще почиталась, как позднее стали выражаться, газетой „черносотенной“. Вероятно, Баталин получал субсидию, каковую скоро пропустил между пальцев. Он рассказывал, как ему отказали в новой субсидии. „Прихожу это я к начальнику (это было, кажется, еще до Феокистова), ну, он мне стал говорить: и это у вас не так, и то, дескать, плохо, а вы бы вот что и вот этап... А у меня, знаете, мысли рассеяны, что, думаю, он городит. „Извините, говорю,—ваше превосходительство—возьмите платочек и вытрите нос: у вас течет“. Ну, он утерся, действительно. Только в субсидии уже отказали“. Баталин писал обо всем и о чем угодно, не без яду и злобы. Всех равно ненавидел и на все брюзжал. Вечера и ночи проигрывал в карты, а случалось, что и утром предавался тому же занятию. Когда он еще издавал „Минуту“, и неопытные сотрудники, из желторотых, приходили к нему за гонораром, он, случалось, предлагал им сразиться в карточки и обыгрывал, если удавалось, на весь гонорар. Издавал он также журнал ежемесячник „Колоса“, в котором неуклонно проводилась та же тенденция—по возможности не платить за статьи, а в статьях ругаться... Циник он был чрезвычайный, в стиле Ноны Писемского. Даже любил привирать насчет своего цинизма.

Помню, однажды он рассказывал про литератора и журналиста В., который позволил себе наметнуть в газете „Молва“ на его, Баталина, прежнюю полицейскую службу. „Хорошо,—повествовал он,—только на следующий день я и напечатал: что я служил в петербургском градоначальстве, это всякий знает, потому что служба моя была открыта, а вот что скажет г. В. о тех литераторах, которые к градоначальнику с заднего крыльца приходили и, как нуды, предавали тайком товарищей?“ Напечатал и жду. И что же вы думаете, приехал В., на колени стал, плачет: не губите,—говорит... Ну, я рукой махнул простил. Я то ведь знаю, сколько он в месяц получал за агентурные сведения“. Он доводил меня иногда своим цинизмом до бешенства, и однажды, не помню уже по какому случаю, я пустил в него, как Лютер в чорта, тяжелой чернильницей. Происшествие это не только не возымело на него отрицательного действия, но наоборот, после него он стал ко мне относиться дружелюбнее. В начале девятисотых годов он для увеличения своего гонорара прибегал к весьма оригинальному приему. Он сотрудничал в „Свете“ Комарова одновременно с „Петерб. Газ.“, и сплошь и рядом сам с собою полемизировал: дескать, „Свет“ по такому-то вопросу пишет то-то, но мы с этим в корне не согласны. А на следующий день пишет в „Свете“: „Газета Худекова, пером Руслана, пытается опровергнуть наши суждения. Как бы не так или чья бы коровна мячала, а наша б молчала...“ Но самое замечательное, что он и не скрывал этих своих двухсторонних упражнений и полемики с самим собой... Баталина никто не любил, но злого языка его побаивались. Я его встретил в последний раз, за несколько месяцев до революции: для своих лет (ему было много за 70) он был очень крепок и бодр, и даже седина у него было мало. Но революция окончательно сбила его с толку. Он уехал в Калужскую губернию, на родину и там умер весной 1918 г.

В 1889 или в 1900 г. в „Петерб. Газ.“ появился новый сотрудник, которому предстояло завоевать себе немалую известность, это—В. В. Протопопов. Прошлое В. В. Протопопова, как история мидян, темно и загадочно. Говорили разное. Утверждали, будто он привлекался по делу о подделке ломбардных билетов, и оставлен был в сильном подозрении. Но в литературном мире того времени так много сплетничали друг про друга и так злословили, что полной веры слухам нельзя было предавать. Про весьма популярного романиста рассказывали, например, что он „роялист“, так как в молодости брал на прокат рояли и затем продавал их... Мало ли что! Этот предмет, вообще, меня мало интересует. Но было нечто другое, что связано в газетном мире с именем В. В. Протопопова. Он был первый русский интервьюер. Старик Суворин однажды выразился, что это пошлейшая форма газетного изложения. Я глубоко с этим согласен. Несмотря на то, что западная—преимущественно англо-американская и французская пресса—пестрела интервью, придающими уже самой формой своей газете оттенок „желтизны“,—русская печать, даже в лице наиболее мелких органов, все еще держалась добрых традиций и интервью не знала. „Петерб. Газ.“ распадалась на две части: в одной печатались в литературном отношении хорошие статьи,—в другой подбирались ма-

тернал хроник по вкусу незыскательного, уличного читателя. Но статьи, в общем, были действительно хорошо написаны и отмечены индивидуальностью авторов. Конкурировать с авторами этих статей Протопопов не мог, и потому он осторожно, но настойчиво привил к газете интервью. Этот род искажения чужих слов, мыслей и мнений, обычно сугубо перевранных репортером, „оживлял газету“ пестротой популярных имен. Газета делала рекламу интервьюируемым. Интервьюируемые делали рекламу газете. Шло обоюдное обучение по ланкастерскому методу, а публика глотала чепуху, потому что чепуха приписывалась известному лицу. Все, что было в газетном мире истинно литературного, с нескрываемой безгласностью относились к этому новшеству. Терпигорев рассказывал, как к нему явился один из подражателей Протопопова, много известный впоследствии И. Ф. Манасович-Мануйлов, в качестве интервьюера от „Петерб. Жизни“, и будто бы Терпигорев сказал ему: „Интервью я вам никакого не дам, а ежели вы все-таки наврете и тысяче что-нибудь якобы с моих слов, так я напечатаю, что такого-то де чиста был у меня интервьюер, а по уходе его я обнаружил исчезновение с моего письменного стола золотых часов... Адье!“ Постепенно американские приемы стали прививаться, и вместе с ними, росла популярность Протопопова, умевшего пробраться в какие угодно хоромы и затмившего бывшего „короля репортеров“, Шрейера. К интервью снисходили даже сановники, и помнится, спустя несколько лет, Доросевич написал остроумный фельетон, сравнив „интервьюирование“ с массажем: дескать, с утра уже проинтервьюировался, и потому бодр, свеж и гляжу вперед без страха и сомнения. Сам Протопопов ставил высоко свои интервьюерские опыты и называл их „сбором документов“. Впоследствии он стал сочинять пьесы и приобрел ими известность, и в основании этих пьес лежал, если можно выразиться, экспериментальный метод интервью.

Все-таки самой большой, в смысле уличного успеха „Пет. Газ.“, силой был Н. А. Лейкин. Если память мне не изменяет, он писал раньше в „Стрекозе“ и „Листке“, под псевдонимом Алектор, и, как говорят, сильно пил, чему можно было поверить, судя по следам обрюзглости на лице, которые и с течением времени не проходили. Н. А. Лейкин был человек весьма одаренный, но наивный и ограниченный. Его хорошей чертой было отсутствие всякой зависти. Лейкин выводил охотно молодых литераторов, и он же рекомендовал Чехова „Петерб. Газ.“, в которой, как известно, Чехов аккуратно в течение нескольких лет помещал свои рассказы. Когда я стал сотрудничать в „Пет. Газ.“, Чехова уже „перебил“ старик Суворин, и беллетристический отдел пополнялся почти исключительно Лейкиным. Я любил читать его романы и повести, разбитые на маленькие газетные главы, но большая публика предпочитала всему его „кадрильные разговоры“, развие „амбразуры городского управления“, „физиономии личности“, „женехов из хорошего фруктового семейства“ и т. п. Бывало, только Лейкин уключется какоюнибудь повестушкой, как С. Н. Худеков его мягко, но настойчиво, возвращает к „кадрильным разговорам“. Лейкин был довольно чувствителен к лести и, широко ослабив-

пия на комплимент издателя, переходил на очередной „кадрильный разговор“. По внешнему виду, манере выражаться Лейкин был на тонкий Собакевич. Коренастый, широколицый, с большим, чисто русским, мясистым носом, он сильно прихрамывал—говорят, результат неудачного прыжка в окно, в образе русского Вакха. Женат он был тоже совсем под пару, или „под кадрили“, на портнихе, Прасковье Никифоровне, маленькой, вертявой, с носиком пуговкой. Детми их Богне благословил, и это доставляло Лейкину сильное огорчение. Прасковья Никифоровна ввела в жизнь Лейкина строгий порядок. Он стал прикапывать денежки, и был известен среди литературной братии, как скопидом и богачей. Получал он, действительно, по тому времени много—до 10.000 руб. в год от „Пет. Газ.“, да давали много издания его книжек, шедших очень бойко. К тому времени, когда я с ним познакомился, у него был прехорошенький деревянный домишко на Петербургской стороне, причем некоторые комнаты были отделаны в русско-византийском стиле; вообще, его жилище отличалось, как это ни странно, вкусом; не было в нем шлона и трафаретности. Лейкин имел слабость к юбилеям, праздновал и 20-летия, и 25-летия, и 30-летия, и 35-летия. Без прегреличения, и раза 4 был у него в доме, в качестве юбилейного поздравителя. Литературная братия охотно писала Лейкину адреса, благо это ничего не стоило, а Лейкин устраивал отличное угощение, после молебна, которое духовенство для такого популярного человека служило с особою торжественностью. Прасковья Никифоровна надевала светлое платье и принималась хлопотать. Кулебяки у нее были изумительные. а составы напитков приводили в прекрасное настроение даже владельца такой „библиотеки“, как Терпигорева, или такого испытанного знатока и сих дел мастера, как В. О. Михневича. Прослушав довольно невнимательно соответствующие и очередные слова о „самоцветных камнях русского юмора“, все направляли взоры свои в столовую, откуда уже доносился аромат свежей кулебяки. Лейкин, красный и добродушный, кланялся и благодарил, и был необычайно счастлив. Шампанское он полагал настоящее, и хозяин в таких случаях был прегостеприимный. Кроме дома, он прикупил себе имение, где-то вблизи Усть-Ижоры, где и проводил лето, и находил там много материала для своих произведений. Помню, например, его повесть „У кирпичного завода“. Как я уже заметил, прост он был до чрезвычайности. Бывало, принесет новенькое издание свое в редакцию и говорит секретарю: „Напишите-ка заметку“. Секретарь же, в простоте газетных нравов, и при том явно отклоняя от себя почетную обязанность лейкинского библиографа, отвечает: „Да вы бы сами, Николай Александрович, написали“. „Человко, знаете,—отвечал Лейкин в простоте души,—да вы напишите обычное: вышла новая книжка нашего широко известного и талантливого сотрудника, Н. А. Лейкина, отличающаяся обычными нескромными блестящими юмором и наблюдательности. Ну, еще прибавьте чтонибудь в этом роде... А у самого, знаете, рука не годится“.

Сам С. Н. Худков в это время газетой занимался все меньше и меньше. Его влекло неудержимо честолюбие, и вещь его он видел в должности ветер-

бургского городского головы, но это ему не удавалось: на вершок, но не донесет. Лето и весну он большую часть жил у себя в деревне в Рязанской губернии, где устроил образцовое хозяйство. Дом-особняк на Стремянной он отделал на самый барский манер, и одно время, для полноты впечатлений, решил устраивать у себя литературно-артистические субботы. Сотрудники считали эти субботы довольно неприятною обязательною службою и норовили приезжать, кто мог, часам к 12, — к ужину, который был великолепен и тонко сервирован. Кроме ближайших сотрудников газеты, бывало всегда много народа. Раз два был Чехов. Цели артисты оперы, особенно Фигнер, весьма ценивший дружественную поддержку газеты. Les honneurs de la maison исполняла Н. А. Худекова, жена издателя, весьма достойная и милая, несколько институтского склада, дама, писавшая, вместе с мужем, рецензии об Александринском театре. Несмотря на блеск приемов, на отличное угощение и на многолюдство этих собраний, — было ужасно тоскливо, вернее, холодно, потому что не доставало главного: внутреннего интереса. Тут не было ни политической платформы, объединявшей круг приглашенных, ни артистического или литературного темперамента, ни умственных запросов. Литературная братия тайне завидовала „майору Худекову“, так разбогатевшему благодаря успеху своей газеты, и злоязыничала по углам, льясь в „официальных“ тостах. При том во всей особе С. Н. Худекова, несмотря на опыт жизни и дворянское происхождение, был какой-то привкус „мещинности“. Чувствовалось, что он из „разбогатевших“ и еще не вполне освоившихся со своим положением. То же наблюдалось на „суаре“ издателя „Бирж. Вед.“ С. М. Проппера, хотя все же эти последние были оживленнее. О них в свое время. Сам Худеков писал мало. Слепо веруя в то, что выше лба уши не растут, и ничего нет более прекрасного, чем традиция „Фигаро“, он подписывал маленькие статьи в 30—50 строк, подражая главным редакторам парижской газеты. Писал он бойко и размашисто. Иногда любил остроты и каламбуры, подражая опять таки „Mazque de fer“ из „Фигаро“. Из этих каламбуров у меня остался в памяти такой: „Сарданапал — с одра на пол упал“. Из меня С. Н. Худеков хотел сделать то пародиста à la Мильо из „Фигаро“, то редакционную силу, и с этой целью предложил мне вести нечто вроде газеты — полемиического обозрения, назначив за это весьма хорошее по тому времени жалование — 350 руб. в месяц. Я вел этот отдел месяца два, не больше, и отказался. И когда я теперь припоминаю свой отказ и вообще эту свою редакционную работу, то вижу, что хотя я был „во jung“, но не был „во verdorben“. Меня что-то отталкивало от редакционной связи с „Петерб. Газетой“, издатель хотя, повторю, держал себя по отношению ко мне не только корректно, но и весьма любезно, что особенно выразилось на праздновании 25-летия „Петр. Газ.“ Празднование было довольно помпезное. В юбилейном № были помещены портреты сотрудников, и я был представлен на фотографии таким жгучим брюнетом, со столь глубокими и подведенными типографской краской глазами, что получил не мало писем от читательниц, внезапно плененных моими фельетонами. Кстати говоря, я не люблю этого своего раннего портрета, где я, по

моему, изображаю нечто среднее между Лассалем в молодости и продавцом рахат-лукума в лавке восточных сладостей.

Формально почти вся печать приветствовала юбилей газеты, но чувствовалась какая-то оглядка. Надо было говорить „bene“, ибо „nihil“ о юбилеях говорить нельзя, и все, казалось, предварительно долго думали, какое бы сказать к случаю „bene“. Впрочем, может быть, так только представлялось несколько встревоженному чувству. В памяти у меня осталось слово В. В. Комарова, сказанное с полною искренностью, потому что его слово было посвящено не литературно-публицистической стороне газеты, относительно чего с одного боку нельзя было не согласиться, а с другого—нельзя было не сознаться,—а энергии, с какой С. Н. Худеков создал свое издательское дело. В этом отношении „майор“ Худеков, один из многочисленных представителей дворянского „оскудения“, обнаружил точно редкую настойчивость и решимость. Комаров припомнил, как Худеков заложил подушки свои и женины для того, чтобы купить бумагу для очередного номера,—и этот эпизод, на фоне общего великолепия картин, бронзы, зеркал, ковров и разливанного моря шампанского, являл собою художественное и трогательное пятно.

VI.

Я не порывал связей с „С.-Пет. Вед.“ и продолжал сотрудничать в этой газете, хотя она явно хирела. Вместе с тем я стал работать в „Минуте“ новой редакции,—последнее представляет любопытный эпизод в моей жизни, и вместе с тем яркую страницу для характеристики положения и роли печати того времени. Новую „редакцию“ газеты составлял некто Лев Михайлович Барачунский. Этот „основатель“ новой редакции кончил дни свои в качестве помощника режиссера Крестовского кафе-шантана, и уже из одного этого обстоятельства можно заключить, что эпизод, который я собираюсь рассказать, не лишен своеобразной красочности. Л. М. Барачунский появился на петербургском горизонте, незнамо как, неведомо откуда. Это был человек много за сорок, высокий, худощавый, сильно брюнетистый, именовавший себя парамом, но явно еврейского происхождения. Вид у него был „гишпанца“ и даже отчасти дон-Кихота, но без идеализма последнего. Сейчас мне совершенно ясно, что это была довольно темная личность, но так как наявности моей тогда не было границ, то хотя я и видел, что он врет, как сивый мерин, однако, считал его человеком деятельным и энергичным. Он как-то ужасно быстро перезнакомился со своей газетной бегемой и стал своим человеком в разных летних Эльдorado, и в вечернем приюте сладких отдохновений тогдашних журналистов—Приказчицкнм клубе. Он имел вкрадчивые манеры, вкрадчивый голос, умильно щурил глаза, и через два дня сходилса „на ты“. Мне он импонировал рассказами о французской журналистике, в которой он будто бы состоял (он, действительно, недурно владел французским языком), а также чрезвычайно авторитетными и вескими суждениями о женщинах. Одной из излюбленных тем его было рассуждение о demi-monde, и о том,

что *demi monde* настолько же живописен и красив, насколько проституция отвратительна и грязна. Теперь я понимаю, что в молодости он был „лихим сердцеедом“, в жанре М. Альфонса, и закончил свое парижское воспитание под руководством какой-нибудь кокотки *de la haute volée*. Но в то время я очень плохо разбирался в этих тонкостях и с большим интересом изучал у него житейской мудрости. Он кое-где пописывал — очень мало, хотя имел некоторую технику. Вернее всего, что он работал где-нибудь в южных газетах, потом его бросило в Париж, и, состарившись там для роли поправителя *demi mondain'ов*, он прибыл в Петрополь, все еще строгий, как тополь, но уже значительно увядший.

В один прекрасный день среди газетной богемы разнеслась молва, что Карачунский будет издавать газету. Многие отнеслись к этому слуху крайне скептически; однако, когда Карачунский стал раздавать авансы — правда, не выше 50 руб., преимущественно же в размере четвертной, — то и скептики прикусили языки. У Карачунского, несомненно, были деньги. Когда он расплачивался в „Аркадин“, — в качестве журналиста со скидкой 50%, — то любопытный глаз мог усмотреть в бумажнике даже несколько радужных. Хотя Карачунский по-прежнему был необычайно любезен, но все же в обращении появилась величественность, а главное, была маска торжественности на лице. И вот, однажды, он явился ко мне в меблированные комнаты, таинственно запер дверь и, положив ангельским движением руки на плечи, сказал: — Саша, ты мой лучший друг! Саша! Я тебе должен сказать первому: я купил „Минуту“!

Саша, т.-е. я, имевший от роду 24 года, ровно вдвое меньше блестящего своего друга, был до крайности польщен таким вниманием. При всей святой своей невинности, я все же нашел в себе настолько сообразительности, что спросил: — „Но откуда у тебя появились средства?“

Будущий помощник режисера Крестовского кафе-шантана сделал театральный жест и воскликнул, хлопнув себя по бумажнику:

— Компанион у меня уже здесь...

И, сделав искусную паузу, прибавил:

— Саша! Ведь это я только здесь Лев Карачунский, — в Париже я известный журналист. Это — один богатейший француз, Саша!.. Он мне дает 25.000 руб. Первый взнос — 2000 руб. — уже сделан.

И он мне показал пачку радужных. Затем мы углубились в разработку плана газеты, состава сотрудников и т. п. Так как газета будет „наша“, т.-е. Карачунского и моя, то о плате мне не возникло, разумеется, и разговора. Пока на „мелкие расходы“ я получал 50 руб.

Это была все та же „Минута“ Добродеева, с которой мы уже знакомы. Хитрый мужичок, он ее подкидывал, как убитую, кому угодно, лишь бы сохранить как-нибудь концессию, ибо концессия, по тем временам, был тот же капитал. Разумеется, Добродеев заключит с Карачунским такое условие, какого благоразумный и серьезный человек никогда бы не принял, но так как Карачунскому было „заварить дело“, то он совершенно философски

относился к добродеевским условиям. Нам же, т.-е. ближайшим сотрудникам, Карачунский врал и доказывал, что газета ему вполне принадлежит, только какие-то там формальности не выполнены. Эти „ближайшие“ сотрудники были три совершеннейших младенца в житейском смысле. Во-первых, я, представлявший из себя нечто вроде редактора, что положительно кружило мне голову восторгом; во-вторых, Вас. Серг. Лялин, писавший в „Нов. Врем.“ под псевдонимом „Петербуржец“—милий, добрый, очень честный и детски доверчивый человек, и я очень рад здесь восстановить память моего друга, о котором, как принято было вообще думать и говорить о сотрудниках „Нов. Вр.“, сочиняли ни весть что. Лялин был и даровитый, и вполне чистоплотный журналист. Он и в „Нов. Вр.“ писал, я уверен, с такой же святою наивною верою в Суворина и добродетель, с какою относился и к Карачунскому. Он страдал астмой, ничего не пил, и единственною слабостью Лялина была своеобразная любовь к самому низшему сорту проституток, и потому он часто шатался по вертепам. Но на фоне журналистики того времени, уже инфильтрованной спекулятивнодельческим элементом, Лялин был, в сущности, белой розой. И достаточно было всмотреться в его чистые синие глаза, чтобы убедиться в этом. Наконец, третьим младенцем в этой компании дураков был уже знакомый читателям Вас. Аваньевич Лебедев из „С.-Пет. Ведом.“ Тоже чистый, тоже наивный, тоже с широко раскрытыми, все принимающими и на все доверчиво моргавшими глазами. „Редакция“, если можно так выразиться, помещалась в квартире Карачунского, на Невском, между Владимирской и Николаевской, во дворе. Вся-то квартира состояла из трех комнат. Что же касается редакции, то она помещалась в кабинете и спальне Карачунского. Для надобностей редакции полагались две пары ножниц, клейстер, пачка бумаги и петербургские газеты сегодняшнего дня. На репортаж ассигновывалось рублей 8-12 в день, не больше. Тем не менее работа кипела. Дело было так. Отработав что нужно для „Пет. Газ.“, я в 2 часа отправлялся в „С.-Пет. Вед.“ и работал там до 4 ч., причем, по возможности, воровал хроникку и просматривал иностранные газеты. Затем, мигнув Лебедеву, мы с наворованным материалом мчались к Карачунскому. Карачунский встречал нас с распротертыми объятиями и подносил по шкалику хорошего коньяку—чорт его знает, откуда он добывал его! Лебедев сейчас же соловел и принимался составлять разные обязательные газетные отделы, хроникку и писал нечто вроде городских набросков. Я писал: а) передовую, б) политическое обозрение, в) печать и, сверх сего, все, что можно было. Наконец, в 6 часов являлся Лялин и приносил ежедневный фельетон, а случалось, и заметку по городским делам. Карачунский писал театральные заметки и разные скандальные обличения. Помнится, было первое представление „Татьяны Репинной“, и по этому поводу нами была уделена целая страница. Кто ее составил и кто писал—не помню, но знаю, что подано было горячо. Легко себе представить, как и сколько я работал. Для этого надо было иметь 24 года и необузданный темперамент, который только такая работа и могла укротить. Помню, как я однажды, не имея перед собою иностранных газет, а только на память, на

основании беглого просмотра в редакции „С.-Пет. Ведом.“, дал целую страницу о выборах Буланже в Париже. Домой я уходил часов в 7-8 вечера, и это продолжалось больше месяца. Я верил твердо в звезду „Минуты“. Не знаю, как она шла. Но знаю, что даже мои 24 года не помогли бы, и я бы надорвался, если бы в одно прекрасное утро в „Прав. Вестн.“ не было напечатано краткое сообщение о закрытии газеты на 3 месяца за нарушение циркуляра Главн. Управл. по делам печати. Нарушение это касалось сообщения в „Минуте“ подробностей о ходе рассмотрения и о прениях в Государственном Совете по поводу законопроекта о земских начальниках. Версию эту я подслушал в „С.-Пет. Вед.“ и, как все там подслушанное и наворованное, немедленно тиснул в драгоценную „нашу“, т. е. мою и Карачунского, газету. Кроме сообщения, еще была статья с эпиграфом из Гейне: „Ты видишь, мой сын, эти зеленые деревья?“ „Ах, папаша, какое вам дело до зеленых деревьев!“ Тут нас и прихлопнула злодеика-западня...

Трудно себе представить, как я был омрачен этой катастрофой. Но друзья мои, более опытные и истинно ко мне расположенные, поздравляли меня с окончанием этого дурацкого эпизода. Но я сгубил! Никто этого не знал! Никто не знал, что это был первый опыт моей самостоятельной работы и полу-редакторской автономии... Когда „Минуту“ закрыли, разыгрался легкий скандал с Карачунским. Открылся секрет богатого французского компаньона. Это оказался содержатель французского ресторана Контан, которому Карачунский посулил, во-первых, огромные барыши, а во-вторых, — позднюю торговлю до 5 ч. утра, так как де петербургский градоначальник постарается ладить с представителем прессы. Кроме того, Карачунский обещал еще обличить Довона в том, что обыкновенную нашу утку он выдает де за руанскую и т. п. По всем этим основаниям Контан дал ему 2.000 р. Когда же газету закрыли, и все эти блестящие перспективы исчезли, Контан, говорят, схватил Карачунского за борт скюртука и кричал на весь ресторан: „Rendez mon argent“. Карачунский, однако, очень ловко вывернулся. Считаясь якобы издателем газеты, он, с благословения Добродеева, перепродал ее А. А. Пороховщикову и получил еще вдобавок от последнего предложение сформировать редакцию. Таким образом, я в третий раз попал в „Минуту“. Впрочем, название было изменено вскоре на „Русск. Жизнь“.

А. А. Пороховщиков и посейчас мне представляется загадочной личностью. Т. е. ничего загадочного в нем, как мне кажется, не было. А загадочно то, что, не будучи несколько загадочным, он мог так шуметь в Москве и прожектерствовать. Как известно, Пороховщиков в Москве был одно время, как Фигаро: и тут, и там... Он и полгорода новых домов построил, и новые ряды, и какие-то заводы, и имел финансовые, экономические и государственные проекты на все случаи жизни. Когда Пороховщиков купил газету, то говорили: „Ну, этот... о, этот!“ Но что такое был „этот“ и чем он брал, так и осталось для меня секретом. Это был хитрый старик, без сомнения, но едва ли особенно пронырливый и, в сущности, несколько не деловитый. Он поручил Карачунскому составление редакции и ведение

газеты и потом удивлялся, что ничего не выходило. Позднее, он мне жаловался как-то:

— Я, ведь, почему взял Карачунского?... Вижу, человек несколько раз прогорал на газетах и проваливал их—значит, на опыте своем познал все ошибки и уже не будет их больше делать...

Конечно, газетно-издательское дело — особое, специальное. Но познается истинный делец, „фезер“ во всем. Пороховщиков, правда, умел делать умное лицо. Он почти никогда не смотрел на собеседника и закрывал глаза, что придавало беседе его торжественно-мистический характер. Но кого он мог обмануть этим путем? Между тем несомненно, что по тем громадным суммам, которые ему доверяли и которые прошли через его руки, он почитался в московских финансовых кругах докой. Еще совсем недавно имя Пороховщикова появилось снова в газетах в связи с какими-то новыми проектами. „Сколько же ему лет?“—подумал я. Потому что и в то время, о котором я пишу, Пороховщиков казался стариком,—за 60 наверное.

Редакция газеты помещалась в особняке на Итальянской улице, где теперь выстроен Палас-театр, и была довольно просторна и обширна. Я вел в газете печать и получал, кажется, 150 или 200 р. в месяц, и так как газета в начале была вечерняя, то это дело было не легкое. Приходилось вставать в 8 час. утра и просматривать газеты, а в 10 уже сдавать в типографию. Однако, скоро эта первая, по времени, в России вечерняя газета перешла на утреннюю. Вечером никто не желал читать газет—да зачем их было читать? Да и что было читать в них? Пороховщиков завел в редакции патриархально-московские порядки: ходил из комнаты в комнату в халате, а иногда с чады и домочадцы. У него гостила дочь, Варвара Александровна, которую он очень любил, потом занималась еще какая-то племянница. Была у нас одна переводчица, Х. П. Вриони, молодая особа, очень неглупая, образованная и самолюбивая. Пороховщиков и к ней подойдет—как был, в халате—погладит по голове и скажет: „Переводите вы плохо, да мне Варя говорила, вы сыроежка, ну, переводите, Христос с вами!“ В общем, вся эта работа и вся обстановка напоминала мне сцены Островского из московской жизни—не то „На всякого мудреца довольно простоты“, не то „Праздничный сон до обеда“. Я вскоре на лето уехал из Петербурга, и когда вернулся, то и редакция помещалась на другом месте, и редактор был уже другой, какой-то кривой семинарист и попovich, только издательский халат был тот же. Прошел еще месяц, и в качестве верховного руководителя „Русск. Жизни“ появился некто Песис, или Пёсис, надменный помощник прис. поверенного, который повел газету в провинциально-радикальном духе. В этом виде она, кажется, имела некоторый успех среди „третьего элемента“. Я уже тогда не работал в газете: она мне успела опостылеть...

VII.

Сейчас мне хочется сделать некоторый перерыв в хронологическом ходе своих личных воспоминаний, вокруг которых располагаются знакомые лица

и события. Чувствуется потребность набросать хотя бы вкратце общую характеристику того времени и отражение его в журналистике. Трудно именно теперь, когда жизнь потрясена до самых оснований, когда разворочены и обнажены самые корни, и бешеный бег событий на протяжении 15 лет не дает ни отдыха, ни сроку — представить себе ту жизнь. Невольно припоминается насмешливый эпиграф, взятый Чернышевским для полемической своей статьи, направленной против Тургенева: „Ah que j'aime cette vie, si calme et douce!“. И точно, господствовала тишь, да гладь, да Божья благодать... Существовавшая для охраны порядка в области идей и настроений, „без лести преданная“, печать, вроде „Гражданина“ кн. Мещерского, сама не знала, что ей, собственно, предпринять, и в какую, если можно выразиться, враждебную игру вцепиться. Заводили иногда и полемику, но по пустякам, и так как это были пустяки, то быстро отставали. По части „выдумывания вопросов“ большим искусством отличалось „Новое Время“. Так, особенно „удачно“ газета провела кампанию насчет маргарина. То ли против завода маргаринового, то ли против открытой продажи маргарина, но месяца 1½ — 2 маргарин заметно оживлял газетные столбцы. Иногда, уж очень было томительно и жарко, как в июльский длительный зной, милосердное небо посылало какой-нибудь легкий дождик: проворовывался думский деятель или подрядчик, или происходило в романтической обстановке убийство из ревности. Тогда все газетчики несколько дней, а то и недель, дышали полной грудью и пели дружным хором: „Золото, золото падает с неба!“. В остальное же время вздыхали и лениво мечтали, как девица у Островского: „Все одно и то же да одно и то же! Хоть дом бы сгорел, али папенька помер“. Из таких оживляющих и животворных моментов припоминаю скандал с мучкой Пушерт, поставленной городу, в каковой мучке оказалась изрядная доза кувальдана; убийство артистки Висновской в Варшаве, драму ревности в гостинице „Европа“ и т. п. Тут гремели витии и перьям был предоставлен простор. Приезжали еще в гости — то был медовый месяц франко-русского альянса — французские эскадры, и тогда писались статьи о „прекрасной Франции“ о „цветах Франции“, а французы кричали: „vive l'empereur russe“, что злые языки переиначили в „vive l'empire russe!“. Писали еще о промышленности и торговле, причем Д. И. Менделеев доказывал, что Россия может производить, при надлежащих ставках протекционного тарифа, „все, кроме перца“; ему же возражали, что у нас нет культуры, и потому никакие тарифы не помогут. Тогда вмешивался enfant terrible реакционной печати, кн. Мещерский, издававший ежедневный „Гражданин“, и объявлял — текстуально — что „России культура не нужна, а нужно обучение во всех видах техники“. Перчатку поднимал Суворин, т. е. собственно не поднимал, потому что отличительным свойством его публицистического жанра была уклончивость, и писал, что наши промышленные неудачи — результат классического образования. „Но ведь я же и говорю, что суть в обучении во всех видах техники! — восклицал кн. Мещерский, — это одно и то же.“ — „Нет, не одно и то же, — мягко, и нашим и вашим подмигивая, писал Суворин, — я ведь про классическое образование... гм! — что вы на это скажете?“. Но тут, выступил Грингмут, за смертью

Каткова приливший венец и барин „Московск. Вѣдом.“, и писал: апологию классицизма...

Еще писали о выставках, по поводу балов, о романах Гоборыкина, о спиритизме. Пожарная выставка давала одной стороне, — стороне „либеральной“ — возможность настаивать на деятельности земств, в смысле распространения огнетушительных машин, возведения огнеупорных построек и обязательном взаимном страховании, — другой же стороне — консервативно-реакционной — предоставляла случай философствовать в духе Кифы Мокиевича о том, что причина пожаров, хронически истребляющих Русь, — это небрежное отношение кучеров, дворников и пр. к своим обязанностям. Кучера сплошь и рядом отправляются на сеновал с трубками в зубах — долго ли до греха? Но ежели предоставить земским начальникам, с одной стороны, пороть нерадивых кучеров, а с другой — награждать, вплоть до серебряной медали на станиславской ленте, — то пожары прекратятся сами собою. Самое трудное было найти тему для очередной статьи или очередного фельетона. И даже не от цензуры это зависело, а от того, что ничего не случалось, что как в записках Поприщина говорится, „день был без числа“. Вот почему, кстати сказать, газетный фельетон в то время лучше всего обслуживался беллетристами, умевшими, вследствие особенностей своего художественного зрения, находить в текущем однообразии дней некоторые интересные штрихи и черточки: таковы были, например, П. П. Гнедич, Н. Морской, прошумевший своим фельетонным романом „Аристократия Гостиного Двора“, и особенно И. Л. Щеглов („Чеховский жанчик“), выдумавший — да будет благословлено имя его — „дачного мужа“.

Собственно говоря, писали лениво, отбывая обязанность и затораясь разве при личных схватках. И точно, как все это было далеко от непосредственных живых интересов! На почве этой общей скуки, лени и беспечально-сытого существования совершенно понятен был успех толстовских идей. „Крейцера соната“ была и в достаточной степени цензурна, и вполне соответствовала разрешению проблем, связанных с убийством в гостинице „Европа“. Вегетарианство — почему не помечтать об нем, когда говядина первого сорта стоит 12 — 14 копеек фунт. „Неделание“, — но как будто и впрямь мы ничего не делаем... В сущности толстовская проповедь была органическим продуктом застоя. Из этого застоя она возникла, и в застой превращалась в своем коловращении. Жизнь дремала, как выжженная зноем степь или пустыня, и над ней висел полог необуддизма в транскрипции Толстого. День не знал конца. Казалось, это на годы, десятилетия, века... „Гатчинский отшельник“ всем видом своим — видом русского исполина — сулил жизнь долгую и бразды правления держал крепко. По случаю частых поездок его из Гатчины в Петербург провели электрическое освящение по Фонтанке, Измайловскому проспекту и Невскому, и проложили торцовую мостовую. Жилось спокойно, как нынешними изголодавшимися и иссохшим современникам, живым мощам на костылях, и не снится. Толстовские идеи, во всяком случае, представляли едва ли не единственное метафизическое бродило того времени. Марксистский материализм, закруживший голову дальнейшим поколениям,

еще только нарождался, и в литературе и публицистике не имел серьезного отклика. Народовольчество умирало. Народничество впадало в толстовство...

Это время было зенитом старого режима и старой России. Для того, чтобы увидеть этот зенит, достаточно было бывать по субботам в Михайловском театре. „Тут было „Rendez-vous du monde élégant“, — как потом выражались садовые афиши, печатая внизу „вход 50 коп.“. Ложи были унижены знатно, дамами света и дипломатическим корпусом. В последнем выделялся испанский посланник, маркиз Камподисаградо, добродушный толстяк-бонвиван, переходивший из ложи в ложу и приветствовавший прекрасных дам. Особенно окружена была красавица в русском стиле, графиня Богарне, родная сестра М. Д. Скобелева. В партере сидели офицерство, чины, имевшие въезд ко двору, а позади, в местах за креслами, пребывала, в то время еще не очень обширная, русская интеллигенция. На балконах и в верхних ложах неистовствовали поклонники черноусого Гитра, маркиза Бельваль, игравшего, и довольно посредственно, под именем Вальбель, златокустрой Анжел и черной, как галка и сухой, как палка, Лины Мент. А в директорской ложе, улыбаясь улю и тонко, сидел И. А. Всеволожский, обдумывая очередной каламбур, над которым высочайшие особы будут милостиво смеяться. Последний обломок старого барства он говорил: „Ах, эта русская жизнь! Из русской жизни я знаю одно — что у меня было 8 миллионов, а теперь нет ничего“. После спектакля начинался разъезд. Публика попроще разъезжалась на извозчиках — за 40 коп. на Пески или к Покрову, а пошикарнее — на своих экипажах из французского театра во французские рестораны. Кутежи у Кюба с участием высших и высочайших особ были обильным явлением. Однажды великий князь Владимир Александрович подрался или чуть было не подрался с французским актером. Приезжал градоначальник, разбудили, кажется, Дурново по должности не то директора департамента полиции, не то товарища министра внутренних дел. Доложили государю, который сделал резолюцию: „Выслать актера и удалить на время великого князя“.

Летом место Михайловского театра занимала известная уже нам гостеприимная „Аркадия“, Там *maitre'om des plaisirs* был, в своем роде знаменитый и по сей день здравствующий, Рауль Гюнсбург. Этот совершенно каучуковый человек, обер-врачман и с обезьяноподобным лицом и гуттаперчевой эластичностью, в течение нескольких лет был своего рода Леонардо да Винчи при петербургских Медичи и Сфорца. Прошлое Рауля Гюнсбурга темно и загадочно. По всему можно думать, что он был из одесско-румынских или румынско-одесских евреев. Он свободно, хотя с жестким выговором — *un accent belge*, как выражаются парижане — говорил по-французски; по-русски же говорил дурно, и притом еще, для вящего шиксу, как многоопытные профессора „черной и белой магии“, намеренно коверкал русские слова. Я его помню еще куплетистом и рассказчиком на открытой сцене Зоологического сада и Демидова сада (ныне „Луна Парк“, в просторечии именовавшийся Демидрон — отсюда „Краса Демидрона“ у Щедрина), где он показывал, как человек с насморком читает газету, или же, надувая щеки, изображал феериверь. Потом он вкрася в доверие

богомольного еврея Шломы Береза (М. Charles Beréze, как его рекомендовал Гюнсбург), тогдашнего антрепренера „Демидрона“ и устроил в зимнем помещении театра французскую оперетку. А через год перенес свою деятельность в „Аркадию“, где держал несколько лет французскую оперу и оперетку, очень ловко привлекая французских артисток и артистов всяческим враньем о „*boyards russes*“, тонях, кутежах и пр. Он сумел сделать свой театр излюбленным местом для всего Петербурга. Вы там могли встретить великих князей (особенно часто бывал Николай Николаевич), бар. Фредерикса со всей придворной знатю, всех гвардионцев, весь *demi-monde*. Хорошенькие французские артистки, вроде оперной Вильом, находили своих „*boyards*“; Гюнсбург же враг, чванился, „делал франко-русский союз“ и богател... Такого необузданного полета вральной фантазии, как у Гюнсбурга, я не встречал в своей жизни. Он не только был главным осведомителем Фора при заключении „альянса“. Он служил также в папской гвардии. Он предводительствовал эскадроном в Тонкине. Он охотился на слонов в южной Африке. Он и играл на цимбалах в присутствии его величества короля Сиажского. Враг он так да враг, и в результате довался до того, что завоевал солидное положение в театральном мире Франции, мечтал о директорстве в *Grand Opéra* и папа Сарсэ посвящал ему целые артикли, хотя, казалось бы, гасконады Тартаренов из Тараскона должны были приучить французов к гюнсбургиадам Раулей из-под Бендер. В общем, однако, Гюнсбург был обходительный, живой, подвижной, как ртуть, человек, и он, несомненно, сумел сблизить летнее петербургское общество. Танулись зыпнажи на Стрелку в погожий петербургский вечер, и нарядная публика наблюдала действительно прелестный наш закат на меланхолическом фоне северных вод. А со Стрелки сзорачивала к Раулю Гюнсбургу. А от Рауля заезжала к Фелисьену. Это был ритуал петербургского бо-монда.

Когда я теперь оглядываюсь на это время, на весь этот, такой незыблемый, такой, казалось, несокрушимый строй жизни, то с трудом как-то представляю себе катастрофу, поглотившую старую Россию. Говорят, будто девиз *ancien régime'a* во Франции был — „*après nous le déluge*“. Но никто не думал у нас о потоке, о возможности потопа в то время. Если Плеве хвастался, что на сорок лет отодвинул революцию, то и для него „революция“ и „потоп“ едва ли были синонимичны. Но уже совсем никакие мрачные мысли не закрадывались в головы тогдашнего общества. И если были все же фармазоны, „щелкоперы и бумагомайки провлятые“, которые мечтали о революции в более или менее отдаленном будущем, то, конечно, в таком благопристойном виде — о чистенькой, умытой, причесавшей революции, проводимой под руководством опытных губернаторов. „*Tenez vous droite!*“ — говорят губернаторы из интеллигентов революции, и она чинно идет на указанное ей место. Но и это было „пленной мысли раздражение“, ибо достаточно было встретиться с разъезжавшим на паре серых с яблоками генералом Грессером для того, чтобы почувствовать под собою твердь, подобную граниту. Ген. Грессер был тот немец с „чисто-русской душой“, о котором говорится где-то у Щедрина. Сухой, холодный, со стальными глазами и жестким голосом, он был удивитель-

но похож на портреты военных немцев из „Симплициссимуса“. Я не знаю в точности его карьеры. Говорили, что он был раньше не то приставом, не то полицеймейстером в Житомире. Кем бы он ни был в прошлом, но по прямой линии генеалогия его восходила к Дубельтам и Бенкендорфам. Это был последний могикан, так сказать, в духе старого николаевского режима. После него промелькнуло много градоначальников в Петербурге, и тоже из немцев — фон-Валь, фон-дер-Лауниц и пр. — но такого уже не было. Пафос николаевской полицейщины, еще не изжитый „эпохой великих реформ“, как принято было выражаться на либеральном жаргоне того времени, весь вылился в Грессере. Взятчи́ком он не был — в вульгарном, по крайней мере, смысле слова, потому что был поэт-полицейщи́н. Он любил свою полицейскую каланчу, любил полицейскую семью, и, вроде того как старые солдаты с убеждением пели — „наши жены — ружья заряжены“, — его женой, его музой был полицейский свисток. И точно, Сердечкиным его никак нельзя было назвать, хотя всем был известен его бывший, во времена, впрочем, прошедшие, до-петербургские, роман с видной петербургской антрепренершей, В. А. Линской-Неметти. Линская-Неметти, дама энергичная и весьма деловитая, сумела использовать благодарные воспоминания немца с русскою душою. В то время украинский, так его называют, а по прежнему наименованию, малороссийский театр подвергался всяческим ограничениям, запрещенным и преследованиям. В Петербург въезд ему был строго запрещен. И вот, Линской-Неметти удалось получить от Грессера разрешение на устройство малороссийских спектаклей. Она выписала труппу Кропивницкого с Садовским, Савсаганским и Заньковецкой и открыла спектакли в так назыв. зале Кононова (впоследствии отель „Регина“), близ Полицейского моста, на Мойке. Успех был колоссальный — во-1) потому, что это было ново, во-2) потому, что это было ранее запрещено и, во-3) потому, что это было очень немудро, а среди актеров, точно, имелись талантливые люди. К успеху быстро примазался и, в свою очередь, очень ему содействовал А. С. Суворин. Он захлебывался от восторга и до конца дней своих числился и значился любителем, аматером и покровителем украинского театра. Особенно превозносил он Заньковецкую. Что Заньковецкая обладала редким драматическим талантом — спорю нет. Но в суворинских рецензиях было много еще искусственно подогретого: в лице Заньковецкой он продолжал свою „апотеозу“ Стрепетовой, истерический талант которой он всячески старался вознести над глубоким реализмом и чеханиным искусством М. Г. Савиной. Впрочем, о театральных тонкостях — в свое время.

Украинские актеры понравились также и высочайшим особам, и в результате брызжание победоносцевского и катковского бржжа, пуще огня болящего каких бы то ни было проявлений „самостийности“, не имело для дерзнувшего Грессера дурных последствий. Только на студенческих вечеринках чаще стали мелькать вышитые малороссийские рубашки, да горластее стали петь: „Гей, ты Днипр широкий“ и „Ой, казалась мне мати“.

К искусству, вообще, Грессер был, конечно, глубоко безразличен, да едва ли и чувствовал какую-нибудь в нем потребность. Он бывал в театрах, потому

что высочайшие особы ездили в театр, и следовательно, надобно дежурить. Единственною слабостью его был пожарный оркестр. Так как, вообще, пожарная часть издревле составляла излюбленную отрасль градоправителей, то естественно, что и Грессер весьма был озабочен состоянием пожарной команды, и вместе с тем часть его милостей распространилась и на имевшийся при пожарной команде оркестр. Оркестр этот, точно, был хороший, сыгранный. Капельмейстером состоял тоже добрый немец и, кажется, недурный музыкант, Миллер, говоривший по-русски..., да почти никак по-русски не говоривший. Я познакомился с Миллером в саду „Аркадия“, где оркестр его каждодневно играл на эстраде. Миллер, как настоящий немец, обожал начальство, и никогда, разумеется, никаким оппозиционная мысль не могла бы шевельнуться в его душе. Тем не менее однажды он уселся за мой столик, на веранде, с мрачным видом и выпил залпом, одну за другой, две кружки пива, отчего его красное лицо еще более побавровело. Затем сказал, пристукнув по столу:

— Этий генераль... Этий Грессер!.. Ах, этий генераль!..

Грессер был в этот вечер в „Аркадия“ и внимательно обошел аллен, окидывая начальническим оком все закоулки, даже, кажется, в писсуар заглянул.

— Что же, генерал-то? — полюбопытствовал я.

— Ах, этий генераль... Ви понимает, ми играль увертюру из „Тангейзера“... Ви слыхаль?.. Ну, и Вагнер, ви понимает, der grösze Musiker, он написал в партитур три ff... Ви понимает — три fff? Fortissimo, ви понимает? Ну, и генераль не понравился, и он мне кафариль: зашем so laut gespielt? Я кафариль: excellenz, там три fff... Там, в партитур, не два, а три fff... Но генераль... он бил... sehr unzufrieden... и кафариль: не играют так громко, я приказал, не играют так громко... А в партитур — три ff, ви понимает?..

Он был в полном отчаянии, и не столько потому, что должно было пострадать музыкальное выражение вагнеровской музыки, сколько потому, что столкнулись два начальственных предписания: партитура Вагнера, с одной стороны, и приказ по полиции — с другой. И то и другое — начальство, и ему! Миллеру, у которого был свой король в Баварии, надлежало разрешить начальственное пререkanie, сохранив шпёт к начальственному авторитету вообще.

Грессер внушал такой страх и трепет, каких уже старый режим после него не знал. Он был — все. Он был, как Аракчеев при Александре I, как шиогун при микадо. Дальше Грессера не заходило обывательское воображение. Тут завершался круг, тут увенчивалась вершина. Обыватели, попросту не говорили „градоначальник“ или „Грессер“, а называли его „генерал“. Генерал — только и всего. Единственный, незаменимый, все в себе совмещающий, генерал... И точно, он как нельзя лучше символизировал время. Круг его идей и понятий в совершенстве соответствовал кругу идей и понятий, в которых жил Александр III и который этот венценосец источал. Я видел Александра III близко только один раз (также и Николай II вблизи видел лишь однажды), но этого раза было совершенно достаточно для того, чтобы составить, по его эскиз-рису, более или менее ясное представление. Было это на юбилее училища Правоведения. Я совершенно не понимаю, почему В. Г. Асеевко при-

для мысли поручить мне описание этого юбилея. Пришлось выполнить поручение. Я долго сначала искал фрак и галстук. Вероятно, был очень смешон и забавен во фраке. Не могу забыть взгляда, каким меня при этом окинул почетный попечитель училища принц Ольденбургский. Поднимаясь по лестнице, я был предметом слишком беспредемонного внимания со стороны правоведов, пропускавших почетных гостей. С меня сошло семь потов, пока я, наконец, поднялся в актовый зал. Зато я был вознагражден с избытком, так как, по непостижимой игре случайностей и по капризу толпы, оказался буквально в двух шагах от царя. Я простоял около него в церкви всю службу и имел возможность вдосталь на него насмотреться. Рядом с Марией Федоровной, Александр III представлял разительную противоположность. Она производила впечатление незначительной женщины — только и остались в памяти ярко блиставшие на солнце румяна и белила. Мария Федоровна плохо гримировалась, или поставщики ее косметик бессовестно ее обманывали. Неумело и наивно лежали притирания на ее лице, делали его похожим на парикмахерскую куклу. Маленькая, худенькая, она едва доходила до плеча Александра III. Это был настоящий богатырь. Светлые глаза, с наигранным благодушным взором, под которым чувствовалась упрямая воля, красивая белокурая борода, плечи косая сажень — ни дать, ни взять, купец Калашников. Памятник Трубецкого очень верно с реалистической утонченностью, близкою к символизму, уловил в Александре III твердую хозяйскую руку. По Петербургу одно время ходило крылатое слово, приписываемое Бисмарку и сказанное про Александра III: „Я не знаю, чего он хочет, но он сильно этого хочет“. Уравновешенный характер, твердость воли, спокойствие уверенности обычно сопрягаются с узостью кругозора и ограниченностью желаний. Александр III жил и мыслил как „добрый помещик“ из аксаковской „семейной хроники“. Философиями не задавался и принадлежал к тем, по своему, счастливым организациям, о которых Пушкин сказал:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто во время созрел...

И как гласит — в цензурном варианте — последний стих:

Кто водку пьет и в Бога верит...

Пил Александр III водку, действительно. Но и пил он по-хозяйски, без всяких признаков алкоголической жажды, методически, без излишеств, как водится, перед трапезой. Бина употреблял легкие — исключительно крымские. Копол дрова. Отвергал медицину. Нефрит, сведший его, богатыри, в могилу, — одно из обычных осложнений инфлуэнцы, исчезающее весьма быстро при надлежащем лечении, оказался у него безобразно запущенным, потому что он продолжал, несмотря на недомогание, свой обычный режим, и водку пил, и в отца Иоанна Кронштадтского больше верил, чем в „качественный анализ“ почечных выделений. Он стал лечиться лишь тогда, когда разрушение почек уже ничем не могло быть остановлено. Кн. Мещерский, подыгрывавшийся под вкус своего всенепосного читателя, также упорно отвергал „официальную

медицину". Гомеопатия, тибетская медицина, вода Вревского находили всегда жокровителств на столбцах „Гражданина". Был еще какой-то самодельный врачеватель, некий Гачковский, лечивший особою жидкостью, которая, по произведенному анализу, оказалась простою водою. Эту воду, однако, иной раз настолько небрежно разливали, или, быть может, с чем-нибудь смешивали, что ген. Грессер умер от заражения крови, после впрыскивания лекарства названного знахаря.

Патриархальная простота, „дохой медицину", водка и квас за обедом, пироги по воскресеньям и „постное по средам", земские начальники и сонм губернаторов — „хозяев губерний" — все сливалось в некоторое единство. С воцарением Александра III — отмечаю характерный штришок — соблюдение великопостного режима стало обязательной модой в петербургском „свете". В самых фешенебельных ресторанах появились два расписания кушаний — скромных и постных. Грибы, горчичное масло и т. п. деликатесы постного стола сразу возросли в цене. Александр III сам кушал постное, но в столу подавалось и скоромное. На одном из небольших обедов, в присутствии самого ограниченного круга приглашенных, императрица Мария Федоровна обратилась к вкушавшему скоромнѣ И. А. Всеволожскому, с замечанием:

— Разве вы не православный?

На что И. А. Всеволожский ответил:

— Конечно, ваше величество, я православный, но мой желудок протестант.

Чему, т.-е. такой форме протеста, много смеялись. Сытно пообедав, записав обед кваском и бражкой со льдом, царь ложился спать. „В высшей степени цензурная" печать, исполняя роль крепостного казачка, усердно отгоняла мух, чтобы не беспокоить спящего. А иной раз царь брал корнет-а-пистон и разыгрывал на нем немудреные пьесы. И это тоже был замечательный штрих в общей картине.

Так шли дни, месяцы, годы. Шли необыкновенно быстро. Шопенгауэр очень верно пишет где-то, что всего быстрее проходит время в тюрьме. вследствие однообразия впечатлений, содержанием и числом которых и измеряется жизнь. Мне лично кажется, что я дольше жил в зрелом возрасте, чем в эти молодые годы: основываясь на воспоминаниях о смене событий, которые, что версты полосатые, отмечают дорогу жизни.

А. Нугель.

На закате народовольчества.

(Памяти В. Я. Богучарского)

(Продолжение)

VIII.

Почти идилия¹⁾.

...Раненых²⁾ еще не успел выпустить из тюремной больницы, а красные пятна на снегу, а потом и самый снег на монастыревском дворе стали понемногу, и опять там и травка зазеленела, и птички защебетали. С каждым днем солнышко поднималось над Вилуйском все выше и опускалось все ближе к северному краю небосклона, где-то над заречной равниной с ее лесами, застилавшими таинственные дали лиловатою дымкой. Светло стало по ночам как днем, но без дневного жара и без солнечного блеска. Лесные дорожки в этом темном послезакатном свете стали прекрасны. Прямые и мощные стволы по их бокам убегали из глаз, образуя длиннейшие, совершенно пустынные колоннады, заманивавшие пути по ним вдаль в волнующем ожидании непременно что-то встретить там вдали небывалое, едва ли не сказочное. Только что появившаяся зелень ожившей лиственницы по нежности рисунка своей шелковистой хвоей и по ее сладкой пахучести делали бескрайний и безлюдный северный лес очаровательным. Днем он замирал и млея под яркими лучами, а ночью, казалось, дышал полной грудью и жил по-своему, любясь отражением своих кудрей в холодной стали бесчисленных озер — «игрищ между сел» птичьего мира. Птицы тут появилось видимо-невидимо. Мало ей было места в тайге, — в самый город, случалось, вторгались одуревшие от любовного пыла стайки, шлепались с разлета в уличные лужи, разлившись в целые маленькие озера, и плавали по ним словно оно так и надо. Охотникам, т.-е. почти всем мужчинам городка, теперь ночь была за день, а днем мужское население отсыпалось; копошились по домам-ности и показывались за воротами только бабы.

Насилие Яковлевич Богучарский³⁾ к этому времени успел выкупить свою Кану, — знаменитую иностранку, приобретенную им в городе Канске от конной-ного солдата за двугривенный.

¹⁾ См. „Вилуйск“ кн. 3—6, 18, 20.

²⁾ Вооруженное сопротивление якутских сызых 22 марта 1899 г. — см. „Вилуйск“ кн. 18 и 20, а также „Вилуйск“ 1906, № 9 (ст. О. Минера).

³⁾ Яковлев-Богучарский.

Там как-то незадолго у проезжего барина породистая собака в пути ошенилась; этапные солдаты разобрали щенков и продавали их кому придется. Благодаря этой случайности скудный стол бывших ссыльных впоследствии значительно улучшился. С весны у нас на первое бывала все та же неизменная „баланда“¹⁾, но на второе попадали такие уточки да рыбчики, что хоть бы и не нам. Василь, муштра Кану, внушая ей принципы философии Летие. Я читал тогда „Микрокосм“ в несколько устарелом и тяжеловесном по языку переводе Корша и иногда цитировал особенно курьезные выражения переводчика. Между прочим, в книге неоднократно повторялось, что „атом лишен собственных побудов к движению“, что атом „вполне бессамен“. В. И., подхватив от меня эти словечки, утверждал, что это цель ~~та~~ же, что у Александра III—довести свою верноподданную до того, чтобы она стала „вполне бессамной“ и лишилась „всех собственных побудов и движению“. По своей чистокровности, Кана усваивала высший курс собачьих наук поразительно восприимчиво. К началу сезона она уже была предметом изумления и восторга для всего обывательского мира. Мою фамилию не все обыватели знали, Техника²⁾ мало кто знал, а эту диковинку собачьих совершенств, будущую грозу болот и брасу лесов, от исправника до последнего бедняка подгородных урт все знали и все читли. Быть ее хозяевами составляло честь для нас всех. Среди обывателей зауряд можно было слышать такие разговоры:

— У кого по всему округу скакун самый лучший?—У тоёна Терешкина. Как он сам настоящая тоёна, так и конь у него пролезл прочих коней тоёна как есть!

— А чья шуба по городу всех лучше?—У кунца у Растргуева шуба первейшая. Потому как он есть при капитале, то и все у него первей сойт.

— А чья собака всех лучше?—У государственных преступников собака—уж это собака! лежит—в землю вросла; стоит—лапку вверх, хвостик стрункой,—час простоят, не шелохнется; словцо одно—пулей летит, маху не даст; другое словцо—пала на земь, застыла... хоть за хвост ее поднимай, как мороженую щуку,—не дрыгнется!... Сами ученые, так и собаку свою сумели же выучить!

Так, благодаря Кане, наша высшая культурность сразу же была признана обывателями, как факт очевидный и неоспоримый.

К первым проталинкам, когда для Каны настала пора ее подвигов, для нашего старосты наступила его страда. И так уж не было ретивому Тарасичу³⁾ ни будней, ни праздника в неустанных поносах для артели чего-нибудь съестного. Шнырял он по городу, правда—весь-то городок был как на ладони,—рыскал по якутским наслегам,—а иной наслег из край в край в сутки не проедешь,—все время был на чеку: какой якут соберется козову резать? какой

¹⁾ Жиденький тюремный супчик с крутой.

²⁾ Бывший студент Моск. Техпн. училища Сергей Михайлович Терешенков.—
О нем см. „Былое“ кн. 18, с. 79 и 82 сл. Ред.

³⁾ Бывший студент Петерб. ун-та Александр Тарасович Вацковский.—О нем см. „Былое“ кн. 5—6, с. 38; кн. 18, с. 79 и сл. Ред.

казак с хорошим уловом рыбы? В ином месте не упустит случая выменять для нас привезенную из Якутска соль на мясо; там добудет рыбы в обмен на махорку: так ли, сая ли обернется и кормит своих беззаботных, но требовательных сожителей, как матка прожорливых птенчиков. Как постаяло, так пришлось ему и обычное свое дело долать и разрываться на части, налаживая все отрасли нашего зарождавшегося хозяйства. Прежде всего приобрел он для аргали конягу. Другого конягу у кого-то окортомил, и отправились они с Викторичем ¹⁾ верхом на этих коньках по окрестным наслегам в поисках землицы под посев. Вблизи было слишком песчано; забрались наши „землепроходцы“ подалее и вошли в сделку с якутами в трех местах: в тридцати верстах от города, верстах в сорока, и в семилесати верстах. Якуты уступали свою землю, а наши были семена; якуты брались вспахать и взборонить нивы, а мы — произвести посев. Жать улаживались совместно, а урожай должен был пойти исполу.

С этим главнейшим делом еще не вполне управились, время от времени все еще куда-то ездяи, а у себя во дворе в другое дело ввязались: при всеобщем скептицизме со стороны обывателей, стали копать грядки и насажали картошку и еще что-то.

Со мною Тарасич уложил ночку-другую на обход прилегающих лесов для выбора места заготовки на зиму дров. Мы искали такого лесочка, где было бы на чем топоры разгуляться. Ближе пятнверстного расстояния по сыпучим пескам росла все разреженная, корявая мелочь. Пришлось углубиться в тайгу за песчаную полосу, и только там мы облюбовали один участок близ глухого проселка, которым зимой можно было воспользоваться, не прокладывая для вывоза дров особой просеки. Невдалеке от облюбованного нами участка было озеро, так что за водой для чая пробираться сквозь чащу подлеска предстояло неподалу. Лес тут рос хороший: лиственницы прямые, как мачты, а иные лирообразно раздвоенные, похожие скорей на увитые зеленою музыкальные инструменты каких-то лесных гигантов, чем на простые деревья. Среди их серых стволов с вытянутыми больше вверх пушистыми вершинами там и там краснели своей душицей медухой толстые сосны с более развесистыми и грубоватыми макушками, — совсем дебелие купчихи в обществе стройных, элегантных дам. Густой подлесок, — осинничек, ракитничек, березничек, — тонкий и гибкий, как луговой ширей, дотягивался до самых крон и образовал арками своих переплетающихся ветвей кривые всех порядков, — изучай по ним аналитическую геометрию в самой натуре. При малейшем прикосновении он вздрагивал и хлестался, готов был кольнуть пришельца в глаз или задеть его в петлю. Его листва шелестела при самом слабом ветерке, доносившемся с озера, но чаще даже этот пушистый мохляк был тих и неподвижен, а матерый лес думал свою вековую думу про себя, не снисходя до перешептывания. Мы с Тарасичем вертелись под гордыми молчаливцами, и как букашки, и обдумывали их гибель: „макушки делой, — светлыми и макушками по здешнему не стоит и возиться.

¹⁾ Александр Викторич Молдовский. — О нем см. „Былое“ кн. 5—6, с. 48; кн. 18, с. 79 сл.

Из одного стволика при сахой дороге легко наставим сажен двадцать, — с нас и довольно!"

Вернулись мы в город и на следующий день принялись топоры точить и пилу править, и тут почувствовали, что занесло нас и на самом деле за пределы культурного мира: пилу мы купили еще в Якутске, но не догадались там же ее и развести; думали, что это и местные кузнецы сумеют. Но попробовал местный кузнец-якут, по указаниям Тарасыча, приступить к делу, зубец — трах! стала наша пила еще до работы с изьяном. Поосторожней, принялся якут за другой зубец, — трах! стала наша пила с двумя изьянами. Тарасыч чуть не заплакал, а якут резонно оправдывался: „до седых волос дожил, — с таким инструментом никогда дела не имел; у них, по-якутски, нужна доска — переколи бревно вдоль и обтесывая каждую половинку гладенько, — вот тебе и две доски; и в чем тут этот зубчатый инструмент?"... Делясь своими сетованиями с обывателями, Тарасыч узнал, однако, что у купца Расторгуева, когда он отстроил себе новый дом, работали плотники-поселенцы, и для них была выписана из Якутска пила с тамошней разводкой, а после ухода русских плотников наверно валяется та пила у Расторгуева без употребления. Тарасыч за это сообщение ухватился, изыскал расторгуевскую пилу, пребывавшую в полном небрежении со всяким ломом, приобрел ее для артели, и, хотя она тоже была не совсем полнозуба, все лето старушка нам верно служила, а наша новенькая сохраняла свою непорочность до нашего возвращения в Якутск.

По плану Тарасыча мы могли бы выжить и в Вилюйске на одно казенное „пособие" (по 12 рублей в месяц на человека), только наладив артельное хозяйство таким образом: пашня доставит нам запас ячменя на всю зиму; запашка в трех местах послужит артели обеспечением от гибели всего посева при каком-нибудь летнем морозе или при засухе, что здесь не редкость: в одном месте все пропадет. — на двух других участках отыграемся. Значит хлеб, по крайней мере, ячменный, у нас будет свой. Дрова тоже будут свои: мы заготовим сажень с двадцать сосняку и лиственничу в тайге, и сажень с десяток березничка в низине за термой, где густо разросся и мрачный, островерхий ельник, и, словно для контраста с ним, худравая, белая березка. К зиме мы заведем двух коров и будем иметь вволю молока, а потом убьем одну корову и надолго обеспечим артель мясом. Сена мы наносим на участке, который придется окоротить у казаков где-нибудь за рекой. Для вывоза дров и сена у нас уже есть коняга, а впоследствии мы заведем и другого. Если, в посрамление обывательского скептицизма, уродится у нас что-либо на огороде, да если Василий с его Каной оправдают их репутацию, то проживем мы будущую зиму припеваючи, на своих трудах праведные, а казенные денешки пойдут у нас частью на одежду, у всех, кроме Фрагта¹⁾, уж чересчур плачевную, а частью на выписку газет, журналов и пяти-шести новейших книг, какие выберем мы с Яковлевым.

¹⁾ Моисей Гуревич, известный впоследствии провокатор. Мих. Иван. Гурович. — О нем см. „Былое" кн. 5—6, с. 59—51; кн. 18, с. 79 сл. и ст. Л. Клейншморта — „Былое" кн. 16, с. 86—107.

Надежда перебиться собственными усилиями даже в такой чертовой трудобе, как Вилуйск, за восемь тысяч верст от Москвы и за шестьсот верст от Якутска, наполняла нас некоторой гордостью. Нам казалось, что, добываясь хотя бы мизерного благосостояния и обеспечивая себе возможность присаживаться на зимнем досуге и за енижку, мы катягиваем нос правительству: „ну что?—закатали вы нас на самый край обитаемого мира... что же? Не на таких напали, подлые души! Вернемся мы, когда-нибудь живы и здоровы; сведем с вами, голубчики, наши счёты!“ В этом настроении мы готовы были видеть в косябе и в рубке леса как бы революционные акты, и грубые работы для пропитания получали в наших глазах высший смысл.

Наша ненависть к правительству за последние время усилилась и обострилась как никогда раньше. Якутское кровопролитие казалось нам всем первым проявлением „торжества победителей“, предвзвешенной дикой пляске над телом обессиленной, беззащитно распростертой России. За эти годы, начиная так с 1882-го, уничтожено, исковеркано или схвачено за горло и вставлено под нож почти все то, что отличало Россию шестидесятых и семидесятых годов, „пореформенную Россию“, от России николаевской, елицинавловской. Крестьянство захвачено в тиски и над ним устанавливается „близкая к народу власть“ ¹⁾. Дворянству возвращается „новая эра“ ²⁾, и на него сыплется (из тощего народного кармана) неисчислимый золотой дождь. „Суд улицы“ (т.-е. суд присяжных) сведен к простой формальности, урезан и даже в таком виде близок к полному отмене. Мировой суд похерен. Несменяемость судей похерена. Брошенные зачатки общественного самоуправления забыты в колонии и брошены под палу губернаторов. Печать удушена. Университеты еле дышат. Гимназии превращены в пансионы для благородных девиц. Женское образование сведено почти к нулю. Молодежь сознательно подталкивается правительством к пьянству и ко всяческому распутству, лишь-бы только не революционировала. Попам предоставлено одно: беспрерывно кадить начальству и получать подачки, истолковывая народу евангелие, как оправдание всякой тарахии и всяких мерзостей, исходящих свыше. Усилен слух, усилены все виды гнета, проводится с полным цинизмом преследование всякой мысли, всякого честного стремления, всякого намека на протест...

Два раза в неделю приходила в Вилуйск почта, и каждый раз дня на два-на три с ее приходом мы бывали заняты извозом. Почта приносила нам газеты и журналы: якутское „Восточное Обозрение“, доходившее до Якутска через шестнадцать дней, а до Вилуйска через месяц; московские „Русские Ведомости“, читавшиеся нами через полтора и два месяца после выхода каждого номера; „Русскую Мысль“, — наследницу „Отечественных Записок“, „Вестник Европы“, — академически чинный и уже, казалось бы, умеренный по взглядам, и все-таки явно задыхавшийся от одержанной злобы и озлобления к правительству. Многие прочитывались нами в своей компании вслух, и все время с родины звучала

¹⁾ Т.-е. власть земских начальников.

²⁾ Одно из доказательств безразличия к истинной жизни народа и к.

для нас, как похоронный звон. Хоронили Россию; ее стоны палачи старались заглушить залихватским гикальем и хвастливыми выкриками своих наемных борзописцев; детей ее они пытались, уверить, что это для маминой же пользы ее втискивают в узкий ящик и надвигают на ящик тяжелую крышку... Россия 1889 года представлялась нам такой, какой воспроизвел ее Салтыков в страшной картине своих „Забытых слов“, только-что появившихся в печати:

„Серое небо, серые дали, наполненные скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болото вышат и клубятся серые гады: в сером воздухе беззвучно режт серые птицы... ¹⁾ Удручают серые товы, но еще более удручают безмолвие. Ни звука, ни шума, ничего кроме печати погребели... Передо мною кладбище. Точно изволнованное море раскинулось оно на необозримом пространстве в даль и в ширь, усевинное бесчисленными могильными насипями... Храм, когда-то осенявший мертвецов, стоит полуразрушенный... Колокол, некогда призывавший живых и оплакивавший мертвых, лежит разбитый у подножия храма; надмогильные памятники, ограда, — все повалилось и лежит разбросанное, заросшее мхом и бурьяном“...

22-го марта с этого кладбища до нас дошел как бы последний залп, которым добивались последние, до сих пор уцелевшие в живых люди высших идеалов и незапятнанной чести. О них каждая новая почта приносила вновь тоскливые вести. Дополнялись разными деталями наши сведения о погибших, приближалась с каждой неделей гибель для нескольких других, может быть для многих. „Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлалось и на нас невзначай набрело... Суд наехал. Допросы. Тщетохонько“, — мотив этой печальной некрасовской песни слышался теперь во всех письмах, какие мы получали из Якутска. И туда наехали из Иркутска члены военно-судной комиссии, и там шли допросы, намечались категории подсудимых, в тумане ближайшего будущего все яснее вырисовывались виселицы. Отказ административно составных студентов и гимназистов исполнить явно неисполнимое требование вице-губернатора члены комиссии подогнали под статью военного устава, предусматривающую отказ воинской части в момент боя выступить вперед по требованию своего командира. Этот прием военно-юстиции делает излишним описание всех подробностей следствия. Все его частности были выдержаны в том же стиле. Якутские товарищи сообщали, однако, нам эти частности, и я, слушая их письма, вспоминал манера Кесселя, в закрытом заседании московского военно-окружного суда, обвинявшего когда-то меня ²⁾.

„В политических процессах, господа судьи, — говорил элегантно и майор, сверкая своими густыми эполетами и красиво жестикулируя, — очень редко удается установить факт преступной деятельности подсудимого, если отсутствует прямой оговор или собственное сознание виновного. Такие преступные деяния, как пропаганда и агитация, не всегда оставляют после себя материаль-

¹⁾ Многоочная мол., т. к. выдержка приводится мною в сокращении. — И. М.

²⁾ См. „Народная Воля“ № 3—9; — „На родине“ № 1; — В. Бурцев, За сто лет. (Ум.).
Ред.

ные следы, которые могли бы служить вещественным доказательством совершенного обвиняемым тяжкого преступления. Еще менее уловим по внешним признакам образ мыслей подсудимого, предопределяющий все его будущие поступки. Гражданские суды, связанные бесчисленным множеством тончайших формальностей, часто оказываются бессильны оградить общество от его неприимых врагов по отсутствию ясных улик, и люди, «по суду оправданные», получив известный ореол в глазах своих единомышленников, становятся затем во главе преступных сообществ и готовят те страшные злодеяния, которые, — увы, слишком поздно, — вызывают такой ужас и такое негодование в сердцах всех честных граждан. Военные суды именно с тем и установлены верховной властью, чтобы дать обществу возможность не только карать злодеев, но и предупреждать самые злодеяния, устраивая их инициаторов и будущих исполнителей заранее, по непосредственному впечатлению судей, по их психологическому чутью, обостренному у лиц из военной среды их исключительной любовью к родине и их непоколебимой преданностью государю. Военный суд, это — суд совести! Он выше всех требований формального правосудия, выше всякой казуистики! Он постановляет свои приговоры по внутреннему убеждению судей, — этих избранных, твердых душею воинов, в которых мирное общество находит свой последний оплот против грозящего ему гибелью чужака бешеных террористов. Исполните же свой долг, господа судьи, — долг тяжкий, но священный долг, возлагаемый на вас вашим высоким званием! Помните, что, карая безумцев, формально еще не уличенных, вы спасаете страну от беспримерных преступлений, еще не совершенных, но несомненно уже созревших или созревающих в уме этих людей, не знающих пощады к своим противникам, будут ли это скромные служители долга или... сами помазанники Божии!... — (полный негодования жест в мою сторону).

Теория майора Несселя была очевидно общей теорией всей военной прокуратуры того времени. Руководствуясь одним «внутренним убеждением», члены якутской военно-судной комиссии подталкивали поближе к виселице след за Бернштейном и Зоговым еще и третьего «бешеного террориста». — Альберта Гаусмана. В нем, по их «внутреннему убеждению», они усмотрели идеального вождя всей калмыцкой гонимости. Мы в Вильюйске хорошо знали, что Гаусман как раз наоборот, — все свое влияние до перестрелки употреблял на то, чтобы умиротворить слишком нервных тозарищей и предупредить катастрофу. Но судьи именно его-то и облюбовали для петли. Юридически такой выбор был нелеп, но психологически верен. По общей оценке улусников, Гаусман среди всех евреев, прибывших за последние год в Якутск, являлся и самым образованным, и самым даровитым, и наиболее твердым по характеру. Уже одно то, что он не поддавался общему угару, говорило за то, что это не стабильный человек. Ему в момент катастрофы было 28 или 29 лет, и он успел пройти два университетских факультета — естественный и юридический. Помимо того, он и вообще был большим шачетчиком во многих предметах. Целую библиотеку он привез с собою на свой счет в Якутск в надежде устроить и тут свою жизнь как-нибудь так, чтобы не прерывать своих книжных занятий и

упорно подготовляться к будущей научной и общественной деятельности. Говорил он сухо, протѣв Папия Подбельскаго или Павлова Орлова много поbledней, но зато говорил очень ясно, дельно и содержательно, обнаруживая хорошие диалектические способности, так, что адвокат из него несомненно вышел бы выдающийся. Можно было надеяться, что был бы он на своем месте и в парламенте, и в центральных учреждениях серьезной политической партии. Для революционного дела все мы признавали его человеком очень ценным. К сожалению то же признали и военные судьи. Когда Зотов, стоя на крыльце, стрелял в Осташкина, рядом с ним находился Михайло Орлов и некто третий. Следствие всячески старалось сгруппировать показания солдат так, чтобы могло казаться вероятным, будто этим третьим был Гаусман. А раз он стоял рядом со стрелявшим, то отчего же не допустить, что мог стрелять и он сам? Зачем иначе ему было бы стоять рядом? А если он мог стрелять, то уж, конечно, и стрелял. А если он стрелял, то есть полнейшее основание его повесить. Так было построено обвинение против Гаусмана.

Угрожавшая ему опасность побуждала нас всех помнить его так же часто, как Зотова, но Николай Львович, если погибнет, то станет жертвой своего собственного беззаветного порыва; а этому чего ради гибнуть?— потому разве, что не расти ты, стебель, выше мелкой травы,—скорей угодишь под косу?—только поэтому?!

Мне лично Гаусман запомнился по одной внешней особенности, сразу выделявшей его в толпе ссыльных: по очень степенной и чинной манере себя держать. Почти все ссыльные из русских были тогда народ несколько „нигилистической“ поведки. Одевались они немногим лучше уголовных поселенцев и с веда походили более на присковых рабочих, чем на бывших студентов и офицеров,—только лица были другие. Посмотреть на них, когда эта публика бывала в сборе где-нибудь на „улушной квартире“,—почти на всех либо фланелевые блузы, либо рубахи сарпиевые, ситцевые, бумажные, а то и арестантские,—холщовые, белые, с широким отложным воротом. Почти на всех шаровары из какой-нибудь грубой материи либо из чортовой кожи, иногда уже выцветшей до полной жестизны, но все еще крепкой,—на то и зовется этот материал—чортова кожа. На ногах у кого чудовые сапожница работы мастера поселенца, у кого черные якутские „сэры“ (мягкая обувь из конской кожи), а у многих наипростейшие „торбасы“ (как бы чулок из коровьей кожи), какие носит вся якутская беднота. Голос у этих молодцов, привыкших значительную часть времени проводить на открытом воздухе и перекрикиваться на далеких расстояниях, чаще всего был громкий, с решительным преобладанием басов и баритонов над более редкими тенорами. Речь их была пересыпана множеством словечек, усвоенных из арестантского, из челдонского и из местного, полуякутского жаргона, в котором для свежего человека не все было понятно. Говорившая этим странным языком полуразбойничьего вида публика, по местному обычаю почти всегда отправлявшаяся из дома не иначе как с якутским ножом у пояса или с револьвером в кармане, съезжаясь в городе, проводила все время, свободное от хлопот, в оживленных спо-

рах на вселенские философские, литературные и политические темы и в повествованиях о своих вольных и невольных странствованиях, о блужданиях, о побегах, о тюремных голодовках и т. п. При сборищах в городе это занятие иногда сопровождалось более или менее основательной вышивкой, за которой неизменно следовали песни, песни и песни до белого света... Цоявившийся в городе с начала 1888 года новый элемент ссылки — „колымчане“ в большинстве выглядел совсем иначе: эти одевались больше по-городски, — носили дешевенькие пиджачки, а некоторые и крахмальные рубашки; иные были даже франтоваты. Они почти все говорили чрезвычайно быстро, все больше тенором, в движениях были юрки, а в обращении даже с мало знакомыми людьми легко переходили в фамильярность и обнаруживали большое любопытство к подробностям личной жизни своих новых знакомых. Всегда благопристойный Гаусман не походил ни на нас, ни на тех. Высокий, худощавый, довольно красивый, с матово-белым лицом и умными черными глазами, он всегда был одет или в черный спортух или в черный пиджак строгого покрою, застегнутый почти на-глухо. Манера говорить у него была неторопливая и вразумительная. В обращении с людьми он был корректен почти до легкой чопорности, в движениях был методичен так, как будто эти движения были им усвоены раз навсегда, — ни быстрее, ни тише, а вот именно так, как должно, будь там вокруг хоть пожар, хоть потоп... Всем этим он мне очень напоминал добродетельного англиканского пастора. Это сходство усиливалось тем, что в его понимании социализма этическое начало занимало первое место. Быть социалистом для него это значило прежде всего — быть проникнутым строгим уважением к достоинству, к правам и к интересам всякой другой человеческой личности. Попраание чужого достоинства, насилие над чужой совестью, эксплуатация чужого труда — со стороны социалиста абсолютно недопустимы. Напрасно некоторые готовы видеть зачатки социализма во взглядах и в действиях Робеспьера. Где налицо тирания, там о социализме не может быть и речи. Если в Робеспьере видеть социалиста, то почему не назвать социалистом и Аракчеева? почему не назвать „коммуной“ каторжную тюрьму?... Быть социалистом это, по Гаусману, значило — носить на себе, не снимая, тяжелые нравственные вериги и неустанно предаваться тому „внутреннему деланию“, которого требует от верующего и христианская этика. Очень трезвый и рассудительный в обсуждении политических вопросов и житейских дел, во всех вопросах нравственного характера лично мне он казался чрезмерно догматичным, педантически принципиальным и почти до жестокости требовательным. Однако, его неумолимая принципиальность была направлена главным образом на него самого, и это выгодно отличало его в моих глазах от тех самозваных отцов духовных, которые видели свое призвание в том, чтобы отравлять существование всех близких папойлизмом, проповедью во все часы дня и ночи их деревянной морали. Таких я, к сожалению, тоже встречал в ссылке и в городе; за все годы повстречал их экземпляры три, оставивших во мне воспоминание отвратительное. Их мораль, как мне казалось, была похожа на краденого коня, на котором такие боголюбцы стремились высочить на видное место. В противоположность таким спяточам,

Альберт Гаусман внушал мне полное доверие к его искренности и к действительно строгой порядочности, не людям напоказ, а в удовлетворение непреходящих требований его собственного библейского духа.

Вероятность трех близких казней составляла черный призрак, дважды в месяц встававший перед нами и на время застилавший от нас свет Божий. У этого призрака было бледное лицо и властный взор, вперенный в нас с ожиданием. Жутко становилось под этим взглядом. Умирать никому не охота, а кому-то еще, того и жди,—придется. Хотелось бы об этом не думать... Ведь факт еще не совершился. Наперекор рассудку, всякий из нас делал вид, будто он не верит в смертный приговор; ну не в самый приговор, то в его исполнение; будто он чего-то ждет от нашего правительства, от общественных протестов, пожалуй даже — от иностранного заступничества... Это были жалкие уловки; —попытки руками оттолкнуть уже сорвавшийся обвал, громадный и близкий, от которого не убежать и не спрятаться...

Проходил день-другой в смутном и щемливом состоянии, когда всякое дело из рук валялось и друг на друга и смотреть не хотелось, чтобы не увидеть в другой лице, как в зеркале, отражения собственной тоски. Но все только горевать да нервничать нам не приходилось. Затеяли мы раньше ряд неслыханных работ, так пора было приниматься за них вплотную. Лес кивал нам своими верхушками и ласково звал из мира крови и слез в его успокоительную тишь.

Там становилось изо дня в день все лучше. На озере близ нашей рубки свила себе гнездо пара лебедей. Умная птица, не доверяя людям, соорудила себе приют для своих будущих детенышей на маленьком островке, подальше от берегов, вне выстрелов. Но мы и так бы их не тронули. Картинные создания благородством своего вида и горделивостью движений напоминали нам о какой-то культуре, и даже об очень высокой культуре. Глядя на эту красу царско-сельских прудов, не шло с ума и здесь, что за каймою леса, подступавшего к озеру вплоть, откуда на него ни глянь, должна таиться увитая плющем грациозная вилла, а в ней мечтает теперь, вырвавшись из рук недочитанный томик Ламартина или Мюссе, очаровательная женщина (вроде моей саратовской волшебницы). Так как о той до меня доходили слухи, что она уезжала заканчивать свое музыкальное образование в Италию, то перед очаровательной женщиной, мечтавшей за лебединым озером, мне живо представлялся ее теперешний поклонник, —неприменно очень красивый итальянский синьор с изысканными манерами и с благороднейшими чувствами... На самом деле никакого жилища далеко кругом тут не было, а вместо щеголеватых кавалеров, романтически влюбленных, стояли в лесной чаще мы, — разнаставные варлаганы с двумя топорами и с пилой, дычали из коротеньких трубочек духовитой махоркой и облюбовывали: с какого бы это края нам вчать наше дело.

Присмотрелись мы, поперекав между собой, выбрали первую жертву, и далеко окрест понеслись новые для этого мира звуки. Настоячно зашуршала в проворных руках Тарасыча и Викторыча вкрадчивая пила: твердо и

гулко, с нефлюидной мерностью застучал по стволам мой топор. Вздрыгнув и охнув, валились на прикинутую поросль один за другим лесные красавцы, которым не мы, — века-бы стоять, да стоять всей тайге на красу, белкам на прибыль... Вокруг нас редело и светлело, а нас вскоре же охватил боевой азарт. Раз да раз, сверху вниз, стук да стук, „наддай ребята!“, „вали следующую!“, „жарь теперь вон ту!“. Золотистое щепье усело образовавшимся вокруг нас полянку, как осенняя листва. Наши семисаженные противники ложились перед нами в бессилии, широко раскинув свои зеленые руки. Вместо этих гордецов на полянке разrostалось над травкой и цветками приземистое племя каменных-то огромных грибов шестивершковой толщины. Рядом с распростертыми лиственничными торчади такими грибами пни серые, с обнажившейся розоватой древесиной и с запахом сладковато-нежным, а при свергнутых соснах, как тем безголов, сиротливо возвышались пни изжелта красные, с золотистой слойкой по распилу и с запахом остро-смолистым. От заваливших полянку, снесенных верхушек и от мелкого щепья дух шел по всей нашей рубке, сгущенный и пряный. Он несколько пьянил дровосеков, как запах крови опьяняет бойцов в рукопашной схватке. Любо человеку отдаваться ритму мерных и широких движений. Раз да раз, сверху вниз, слева-справа, знай руби, знай махай, — весь твой смысл как бы переходит, в топор и тот сам знает свое дело. Он то сверкает у тебя над головой, то врубается в упрямый ствол, повскакивая к нему то прямо острием, то под углом, а твой дух неведомо где — уносится куда-то за пролетевшими лебедями и еще дальше их, не связываясь сознанию, нитает где-то в недостижимых для рассудка областях, у границ вечного покоя, „где же несть ни печали, ни воздыхания“...

Час ли, два ли, три ли отмахался так в бездумном упоении музыкой труда, когда оставалось долу только твое крепкое и гибкое тело, глядишь, — рубаха твои вмокла, хоть выжми. Приостановившись в работе, чтобы сдвинуть к затылку наползающий на брови картуз, и ощущаешь, что в сложном аромате лесных запахов, — смолистых, медовых, землистых, и доносящихся с озера, — острой струйкой начинает проступать едкий запах твоего собственного пота. Чувствуешь приятную легкую усталость, которая проходит при самом недолгом отдыхе... Тарасич командует перерыв. Он горд и доволен. Понукает нас живой разводить костер и сулит в награду за усердие дать в чаю хлеба по краюхе во по какой, да еще с коровьим маслом ¹⁾ и с солью, хоть по целой горсти, коли придет кому такая охота. Поощренные такое необычной щедростью нашего прижимистого старосты, мы не мешкаем. Не успеет Тарасич разложить на траве всех богатств своей котлохи, кто-нибудь уже сходил на озеро и принес воды; другой уже укрепил в земле два колышка с развилками, перекрыл их крепенькой жердочкой и наложил на нее длинный шест для подвески чайника. Вскоре трещит и подыхает костер среди снесенных верхушек и наваленных грудями круглых обрубков, взметывает искры выше нижних сузьев

¹⁾ Сливочного масла лягуш не выделяют, и оно заменяется топленым коровьим маслом, которое у местных жителей идет за сливочное.

обступивших наш стад деревьев, дымок поднимает выше маков, и болышет его клубящийся столб над неподвижной лесной зеленью словно кому-то кивает и знак дает, что есть в лесу люди, чужаки-пришельцы с их людскими ватагами и умыслами. Горький запах привычного дыма сроднился в нашем скитальческом восприятии с теплом после мороза, с отдыхом после изнурительного пути, с пищей после голодовки, и со многими приятными представлениями. Он символизирует для нас победу человека над стихиями, и мы все его любим. Закуриваем свои трубочки прямо от угольков и слушаем потрескивание пылающих веточек, как журчание идиллического ручейка. Разогретый у огня кирпич чай с края отмяк и распарился. Тарасич стружет его кудраво загибающимися коричневыми полосками, и тот булькает в закипающую воду, а к симфонии лесных запахов прибавляется еще один тон — чайный... Воздух чудный, обстановка красивая, труд у нас вольный, отдых законный; в мягком полусвете весенней ночи все выглядит так успокоительно и ласково... Ну чего еще человеку надо?...

Василий Яковлевич приходил обыкновенно к нам со своей Кавой как раз к чаю, понамаявшись по болотам и озерам. Он с похвалой вытаскивал из ягдташа за тонкие лапки пару другую хорошеньких уток, то черных, как уголь, то серых, то сизых, и повествовал нам о своих приключениях: там-то он чуть не завяз в болото; на Вилюе чуть не опрокинулся под ним неулыбчивый „бат“¹⁾; при возвращении занесло-было его на ирбьинскую дорогу, — чуть не заблудился и т. д...

На первых порах он было покобенился согласиться на увольнение его от лесных работ на основании его полной трудовой непригодности. Заставлял однажды дать ему топор и начал свои подвиги с того, что стал под надрубленным и нагнувшимся деревом как раз с той стороны, на которую то должно было падать. Стал бочком, и давай тукать торопливными и коротенькими бабьими ударами. Переместили мы его, пока его не подняло, на другое место, и он с конфуза затюкал еще торопливней и усердней, и вконец и вкось. Раскраснелся, запыхался, как-то смешно совался к дереву всем туловищем, а через несколько минут охнул и выронил топор из рук. На нежно-золотистом щенке задела яровь и ее пятнышко стало быстро расширяться. Кромсанули себя наш работник по ноге; в счастью не особенно глубоко. Станули мы с него прорубленный сапог, из каковой-то рвани сделали перевязку и, водрузив на артельного Сивку, на котором тот раз приехал в лес Тарасич, под конвоем нашего старосты отправили Василя назад в „Тундру“, на налечение. Несколько дней он должен был провести дома, с большим ущербом для разнообразия и обилия нашего стола, а после этого в наше дело он уже не совался. Обычно, отчаевав с нами и немало поспособствовав оживленности нашей беседы своим балагурством, он отправлялся со своей неразлучной Кавой на поиски дальнейших болотных приключений, а мы с его уходом вновь принимались за нашу гимнастику. Чтобы рассказывать особенно порежистые

¹⁾ Чукот, выдолбленный из цельного ствола.

штопорной слойки обрубки, приходилось загонять в них с обоих краев широкие березовые клинья, и к прежним звукам лесной работы присоединялись глухие, тяжкие удары громадной долбицы, способной оглушить пещерного медведя. Визг и шорох пилы не умолкали все время, а громкий и размеренный стук топора иногда сменялся одиночным грохотом, словно бухнула пушка после мелкой стрельбы. Мы работали и работали на перебой друг перед другом, один все взмахиваясь сверху вниз и снизу вверх, а другие двое, низко пригнувшись над поваленным стволом и все подаваясь с соединяющей их сталью то назад, то вперед, как цельная система из трех тел — стального и двух человеческих. Пила шуршала себе да шуршала, как дождичек по листве, топор постукивал упорно, как дятел, а долбля изредка угала, как выпл над рекой.

Шла такая музыка без перерыва до первых проблесков восхода, когда вся северная половина неба начинала разгораться уже по предутреннему, а стволы деревьев и чаща подлеска еще дремали по ночному. Травка вокруг пней в ту пору еще стыла под налетом инея, а макушки леса, все те что повыше, одна за другой озарялись малиновым сиянием. Шли от него всперьятые отсветы и проникала вниз розоватая прозолоть. На глаз оживала и преображалась тайга. Нежный, но бледный акварельный рисунок ее дремливых чащ внезапно становился осмысленно выпуклым и ослепительно ярким. Адели уже все верха, рдели все низа, все линии вырисовывались, как на позолоченном окладе иконы. Настроение являлось такое же, как при крысном звоне на Св-тый день. Тянуло снять шапку и перекреститься... Такие праздники уст, аивала тайга всякое утро для птиц и для зверей, для жуков и для бабочек, а ненароком случится, — и для людей, коли и те оказывались тут же под ее сенью, зауряд со всяким иным дыханием.

Под это красочное песнопение мы шабашили со своим разрушительным делом и перед уходом принимались за кладку поленниц. С одной стороны примыкали мы поленницу к надежному дереву, с другой стороны закрепляли ее кольями, а колья подпирали прочными боковыми устоями. Аршинные дрова мы накладывали на всю длину руки выше моего роста и клали вплотную на советь. Потом руками пробовали шатнуть, и еще подправляли. В завершение отходили в сторону и любовались своим сооружением: „прочно?“, — „ядром не прошибешь!“... Случилось через недели две-три, что прошел над Вилуйском сильный ураган; в тайге много он бед наделал; много жиденьких якутских поленниц разметал в бесформенные кучки. Наши поленницы, кроме двух, все устояли, да и две то не вовсе рассыпались. Заметили это проезжавшие изредка по соседней дороге, казаки и якуты, и такое обстоятельство явилось вторым фактом, послужившим к немалой нашей чести. Писаний наших и наших разглагольствований серый обыватель не знал и ими нимало не интересовался. Что мы за люди, — обыватель судил не по газетным слухам и не по нашим словесам, а на свой, очень узкий по охвату, но зоркий глаз. Во всем чтимом деле ружейной охоты мы, через Василия, показали себя вилуйцам с самой лучшей стороны; можно сказать — блестяще. Тот же Василий

оказался у нас лекарем, а Яша¹⁾ сапожником. Другое, оказывалось теперь, шилой умеют орудовать лихо и сажени кладут, так уж кладут; — тоже, значит, ребята со смыслом, а не пустобрехи какие-нибудь! На обывательский взгляд это и есть настоящее мерило для оценки человеческих достоинств: на что ты горазд? да каково горазд? да к нашему, тутошнему делу пригоден-ли, нет-ли?...

Выходило, что мы ребята не плохие и к делу пригодные.

Этот косвенный результат наших лесных трудов выяснился для нас уже впоследствии. Сначала, мы работали с самой узкой целью: наставить себе дров, и только. Закончив лесной урок, мы поворачивали домой и шли по нестачной дороге, плотной, сырой, на прохладе, и только последние версты где нам приходилось брести уже по рассыпчатой, нагретшейся вязи, поджигающими лучами. Доплетались мы до города часам к семи, несколько размякшие и сонные, и, наскоро напившись чаю, заваливались спать часов (до четырех дня. Фрагмент нередко возвращался откуда то домой тоже под утро, с видом усталым и томным. Где он был? и в чем состояли его труды? — мы не спрашивали и он помахивал. И так то у нас не было принято залезать друг другу в сердца, а после лесных впечатлений да снисходить к мир таким то грязноватым адольтерцес и тому подобной дряни и вовсе не было нам охоты. Ну его к черту с его похождениями! Он, говорят, и в Сургуте путался с какой-то лавочницей; и в Таре у него что-то такое было.... Маня что-ли у него такая павостная? Уходил-бы скорее с нашей квартиры и хоть он там гарем себе заводил, — нам-то какое дело?! Он не наш. Ветром его и нам занесло, ветром унесет, и пропади он совсем!..

Спали мы, как убитые, и вставали, как встрепающие. Обедали с аппетитом, ужасавшим Тарасюча, и потом не спеша пьем себе чай, распевая легкие разбойничьи и запорожские песни, и друг над другом подшучиваем, т.-е. проводим время приятнейшим образом часов до шести вечера, когда вновь отправлялись в лес. Так шло изю дня в день с превеликой пользой и для души, и для тела. Россия и все российское полускрывались при этой жизни в такой далекой ягле, что переставали бередить нервы. Даже Якутск начинал казаться где то за тридцать земель. Наш мир — зеленый мир птичьего гогота и лесных шорохов; эта великолепная река, почти всегда пустынная; заречные дали; тишь, гладь и божья благодать... Глубокий покой охватывал душу. Чувствовал, как в тебе силушка по жилушкам переливается, и был рад тому, что она находит исход в труде вольном, никем тебе не навязанном, на воздухе упоительно чистом и ароматном, в обстановке красивой и даже величавой, в перетонку с приятными и веселыми товарищами. Дальше — будь что будет. А пока — дает нам Судьба родных, и сгину-пропади всякая черная мысль... Кабы так да подольше!

Отоспимся, напитаемся, и в лес.

В лесу наш Викторич брался за работу, как тройка в Кулундинской степи берет пригорок: с места вскач, без оглядки, камень, ей не камень,

¹⁾ Яков Дибобес. — О нем см. „Былое“ кн. 5—6, с. 48—49; кн. 18, с. 79 ст.

ама ей не ама, хоть вверх колесами телега, — все нипочем. Влетает он птицей на вершинку и, трахнув гривой, зыкнуть бубенцами в знак победы: „знай-ка наших! орлы и жаворонки и кто там еще есть в степи? — человек ли, верблюд ли где чернеет пятнышком на открытой глади? — дивитесь-ка нашей прыти! Так и наш „парубок жоторный, найперший ото всех бурлак“. До работы грыз удила от нетерпения, в работе до чайного перерыва удерживать не знал, а после чая морил бедного Тарасыча вопреки всем увещаниям своего благоразумного друга. „Эй, Викторыч, не форси, — свалишься!“, — укоризненно ворчал Тарасыч. „Жарь, черт! не задерживай!“, — лихо, огрызнулся Викторыч в таком же азарте, с каким в развеселой компании он раньше отказывал когда-то казачка. Однако, по пути до дому он в песках еле волочил ноги, а по приходе имел вид ребячьего шарика, из которого выпущен газ: весь обмяк, скисал и добирался до кровати, чуть дыша. Отоспавшись, упрямый казачина опять геройствовал во всю и возжа рвал, но хватало его сил дня на три, на четыре, и — стоп! Лежит перед нами на кровати вместо пелуна и ухаха полутруп; трясется в ознобе и обливается холодным потом. Сердобольный Тарасыч ухаживает за ним, как нянька. Василь суетится около него как фельдшер. Викторыч злится и капризничает. Несколько дней можно бывало думать, что дело Викторыча вовсе плохо, но вдруг он вскакивал как ни в чем не бывало, непременно уязвлялся с нами в лес, и повторялось прежнее.

Тарасыч в работе усердствовал без всякого форса, как лошадка, которая бежит себе да бежит ровненькой рысцой, но знай наверняка, что к сроку у места будет, не выдаст. На беду его очень часто отвлекали хозяйственные заботы и разбавы и сплошь да рядом бывало так, что в тайгу уходил в один... И это было тоже не плохо. В компании, оно конечно, веселей; за то одному — красивей. Полней и глубже чувствовалось, что ведь это уже действительно — Сибирь, тайга, даль, глушь, все то, чем тебя хотели духовно раздавить и обесшнить. Так как в этом крае медведей очень много и не редко они давят коров под самым городом, то брали мы с собою в лес большого калибра револьвер и клали его на какой-нибудь пень у своего стана. Прибегнуть к его помощи нам не пришлось ни разу, но вид оружия наготове напоминал нам, что тут всяко бывает, и вносил в общее самочувствие легонький элемент прятной остроты. С этим единственным другом да с двумя топорами за поясом стояшь тут один одинехонек и сознаешь свое одиночество не без жуткого удовольствия. Человека не слышно; следов его нигде не видно. Весь то божий мир и ты противопоставляются в твоём сознании один другому, как две равноценные величины. Вся эта ширь, мощь и красота — для тебя одного. К твоим ногам ложатся великаны. По твоей мысли, по твоей воле ширится эта просека и изменяется ее вид. Отрадное чувство полной свободы становится неотличимым от чувства безграничной власти.

Иной раз отмахнешь час-другой своими топорами, наворотышь поленьев горку не малую, остановишься запалить трубочку и думаешь: сидит теперь в какой-то комнате гатчинского дворца император и самодержец всероссийский Александр III-й; и стоит тут, под босной, в обтрепанной ситцевой рубашке,

„лишенный всех особых прав и преимуществ государственный преступник“ миррек. Спрашивается: у кого из них двоих обстановка красивей? — Конечно у меня. А кто из них двоих независимей, спокойней, да пожалуй — и горделивей себя чувствует? — Да конечно — я. В этом и сомневаться невозможно. И мне ясно представлялось: только что был у Александра III-го Дурново; докладывал ему о новых злоумышлениях крамольников. Царь смущен. Не знает: может ли он вполне положиться на свой гатчинский караул?... Воронцов-Дашков у него был, докладывал, что великий князь Владимир все ворует и ворует, князь Алексей все пьет; княгиня Такая-то все таскается с офицерами так, что срам на всё Европу... Бедный Александр!... Ведь и душу то ему отвести не на чем! — дома — этикет, а из дома высунуть носа не смеет: убьют... И это — царь? это — власть?! ... Плевка я не дал-бы за такой трон и за такую власть!

В своем лесном царстве я не знал ни этикета, ни подавляющих страхов, и личность Александра III-го мне представлялась мизерной и жалкой. В его жизни, конечно, есть свои преимущества: хороший стол, портер, шампанское... Но только и есть хорошего, что это одно. А во всем остальном далеко ему до нас с Тараснчем.

Вполне проникнутый этим сознанием, я выколачивал свою трубочку и принимался за недоколотые плахи с таким же удовольствием, с каким музыкант садится за любимый инструмент. Скрытое за чащей озеро поддерживало во мне бодрость оглашавшим всю окрестность гулом его веселых свадеб. Иногда с шумом пушечного снаряда проносились над моей головой все туда же стаи пальниктурпанов¹⁾. Лес жил привольной жизнью по своим неписанным законам, и я жила в нем и с ним, охватывая в своем сознании его чащи и воды со всем их населением, как свое достоинство, как элементы моего собственного умиротворенного духа.

К чайному перерыву внезапно выпрыгивала из зелени черная как уголь и как уголь гибкая Нана, скакала мне на грудь, лизала мне руки и приветствовала меня всякий раз с такой восторженностью, словно я воскрес из мертвых. Василий Яковлевич пробирался вслед за ней, не торопясь и благожелательно справлялся: — „трудяетесь?“. Я кивал на заготовленную горку дров и отвечал самодовольно:

— Вот сидятелство моих трудов. Доложите Тараснчу, что этот мол усердствует... Не то что прочие, которые с собачками по лужкам погуливают.

— Ну-ну! Я ведь тоже не даром ноги мля! — и В. Я. похлопывал ладонью по своему не тощему ягдташу, который тут же снимался и вешался на сучок.

Наедние мы не долго растабарывали о своих хозяйственных делах и за второй чашкой черного, как деготь, крепко пахучего кирпичного чая уже пировали в old merry England Чоусера, молились, влюблялись и размахивали пиллагами в кальдероновской Испании, а потом колобродили и геройствовали, не стеснялись эпохой, во многих иных местах обоих полушарий. Об их чудесах

¹⁾ Морская утка, на пути к морю свадьбующая на якутских озерах.

и слыхом не слыхивали ни оберегавший нас Антонович, ни Осташкин, да пожалуй и сам Александр III й, гатчинский узник, слишком грузный и тугой, чтобы улетать куда-нибудь из своего раззолоченного стойла на шаманском бубне. Он, барахсан,¹⁾ только и находил утешения, что в портере, да в мертвом сне пьяного человека, а мы с Яковлевым и без портера были радостно пьяны от своего молодого задора и от своих безмерных ожиданий. Это пустяки, что мы теперь в каком то Вилуйске, в уморительно мизерном положении, по существу нам совершенно несоответственном!... В политической борьбе без таких эпизодов не обходится... Но знаем: „настанет тот день, и падет крепостенная Троя“... Должна пасть! Не может не пасть! А над ее развалинами засияет новое солнце, и подлинная „народная“ Россия встанет перед изумленным миром во всей своей несравнимой, вполне самобытной красоте...

Притаившийся в кустах Мефистофель, слушая наши диалоги, хохотал до упада. Но мы не замечали его присутствия. Мы думали, что его века только и было, что до появления таких светочей, как Чернышевский и Лавров, а теперь этому старому каверзнику — капут! И уж над нами то, трезвыми реалистами, последователями не то Конта, не то Спенсера, ему не поглумиться!

Помимо бесед об артельных интересах и совместных прорывов в будущее (как теперь выходит, — не очень-то удачных), у В. Я. — ча не было недостатка и в других темах для живого разговора. Он вел теперь жизнь содержательную и разнообразную. Кое-какие хозяйственные хлопоты в подмогу Тарасичу это было у него одно дело. Обход озер и болот — другое дело. Фельдшерство и выезды по поручению Семенова в якутские наследи — третье дело. А в промежутках он жадно читал все, что у нас было под руками по истории и по политическим наукам, а кое-что у нас все-таки было. Между прочим, в моем чемоданчике, кроме Тэна и Тикнора, имелась „История XVIII-го века“ Шлоссера, „Литература XVIII века“ Геттнера, лекции Карелина, Ключевского, Стороженка, Янжула, целый подбор сочинений Градовского и еще кое-что, и этими богатствами Яковлев совершенно завладел на все то время, которое у меня занимали сначала лесные, а потом луговые работы. Всякое новое чтение давало новый толчок его мысли и вызывало его на новые разговоры. И наряду с этим у него неустанно шло пополнение его материалов о „мартовской истории“, как ее стали называть в ссыльном мире, о всех условиях следования в Колымск и колымского существования. Чтобы яснее представить себе: что могло ожидать наших колымчан, не случись того, что вышло, он стал читать мои книги о природе дальнего северо-востока Азии, подхватывал сведения об этих местах и в повествованиях обывателей, живавших на Колыме, и в казенных рапортах, и даже в описании в местных „Епархиальных Ведомостях“ преосвященным (не помню — Иаковом или его предшественником Дмоисием) архипастырского выезда на ревизию приходов отдаленнейших якутских окрестностей.

¹⁾ Барахсан — бедняжка, горемыка; проищеское слово, которое якуты, а за ними и местные русские, постоянно употребляют как присловье: бедняжка-топор, бедняжка-ручей и т. п.

Мои книги и бытовые рассказы помогли ему раздвинуть мысленно наш вилюйский горизонт и представить себе всю Якутию в ее целом,—загроможденную непроходимыми океанскими льдами с севера, окутанную непроглядными морскими туманами с востока; с ее крутыми срывами в сторону этих наползающих туманов, с ее отлогими скатами к царству мертвой полночи. Тут на громадном пространстве, как шпатель, расположились юга и с востока к северу и к западу угрюмые хребты, густолесные или голобожельные, но всюду пустынные. Под их кручами протекают громадные реки, из которых многие никогда не видали из своей синеве паруса. С обнаженных высот тут мчатся, все в пене, никем не зарисованные потоки, неподвластные человеку, нежные ни для птицы, ни для рыбы. Они грохочут, перекатывая по своему тесному руслу огромные глыбы, как пасхальные яйца. Заблудившиеся в ущельях ветры гудят уныло, но, вырвавшись на голые вершины, победно воют и сметывают вниз обломки прежних каменистых зубцов, как крошки со стола. Случается: тут рывкнет зверь в тайге и застонет его жоргова. Это все звуки ввечной борьбы слепых и животных сил. Чаще в этих мрачных теснинах и в пустом просторе промерзших тоней ни сохляя билиunea нигде не шелочется, ни дымок нисткуда не повееет, ни собака нигде не таявкнет. Мертвая тишь. Слепая белизна. Кованный воздух, который без малого пожом резать можно... Лунная поверхность без конца, без края... Изредка тут проползает по звонкому насту еле видной букашкой оленья нарта с несколькими иззябшими, измученными, запуганными всякими рассказными людьми из дальнего края,—из каких-то Почепов и Береслазов, где все по иному... Вернувшись в Россию, Яковлеву хотелось-бы теперь съездить за границу и там, при помощи эмигрантов, опубликовать все им собранное, чтобы этот новейший прием краеведственной „борьбы с крамолой“ не остался неизвестным и получил от всех должную оценку. Такое намерение ставило перед ним определенную задачу, указывало ему „дело“, которое избавляло его от тоскливого сознания своей полной ничтожности, гнетущего почти всякого деятельного человека в смысле хуже нищеты, хуже оторванности от всего сычного. Разъезды по наслегам, якуты, их тойоны, их юрты, вся их обстановка были для него новы и любопытны. После всякой поездки новоспеченный лекарь охотно делился своими наблюдениями с менее подвижными товарищами и находил о чем еще и еще порасспросить обывателей-старожилов, знатоков якутского быта.

Всегда оживленный и словоохотливый, полный интереса к их собственному житьишу и к их богом забытому краю, В. М. был желанным гостем и в бытовом кругу. В городке и в его округе было десятка полтора семейств, составлявших местное „общество“, т. е. аристократию этого уголка. (Всех жителей в Вилюйске не насчитывалось тогда и четырех сотен душ,—это вместе с городскими якутами; а во всем округе населения было немного больше тридцати тысяч душ, почти сплошь якутов и частью тунгусов).—В центре „общества“ стоял, конечно, вдовец исправник со своими дочками, а близ него: отец протоверей с супругой, помощник исправника, казачий командир, окружной врач и почтовый смотритель, все с супругами, которые наряжались и держались

не как бабы, а как дамы, по образцу исправницы и протопопши из самого Якутска. Это были представители правящего круга. Вся администрация таких дальних округов, как вилюйский, сосредоточивалась тогда всецело в одном учреждении, — в Окружном Полицейском Управлении; никаких других установлений в таких местах не было. Полиция взимала подати. Полиция в мелких делах судила, а в крупных производила дознания, забирала виновных и заподозренных и препровождала их с казаком в якутский острог. В случаях голодовок, мора или падежа, полиция пеклась о населении, вызывая к губернатору, и получала из областного Правления в ответ на свои слезницы успокоительные бумаги (и ничего больше). Полиция примиряла семейные раздоры и ведала дела о наследствах. Она писала по улусам о исправности мостов и гадей и получала отписки инородных управ о невозможности исправления таковых. Она же, по точкам выше, пропагандировала в дилом крае (бумагами в инородные управы) высшую культуру. Улусными писарями эти наставительные бумаги занумеровывались и складывались в свято хранимые ящички, содержание которых для якутов составляло непостижимую тайну. По требованиям Областного Статистического Комитета полиция представляла ему (а через него высшей власти) сведения о всех сторонах местного быта и народного хозяйства. В сведениях этих никогда не бывало никаких пробалов и все цифры представляемых по начальству ведомостей всегда были поразительно точны, ибо все они одинаково брались с потолка и потому оказываться неточными им не было резона. Та же универсально мудрая полиция радела и о процветании наук в стране мамонтов и ископаемых носорогов: так как прежний губернатор Светлицкий (ученый генерал, бывший прежде директором кадетского корпуса) основал в Якутске какой-то там музей и интересовался всяким старьем, то Антонович слезла за улусными вестями и, если какой-нибудь якут при рытье погребка находил либо каменный топор, либо бронзовый меч, либо какие-то загадочные кости, то на место высылались полицейский заседатель (становой пристав), странные предметы отбирались у якута и при бумажке (более или менее bestолковой) препровождались в столицу края. Несмотря на столь многообразные занятия, досуга у чинов полиции было много (ведь для регистрации входящих и переписывания исходящих при Полицейском Управлении имелся небольшой штат вольнонаемных предков, преимущественно из уголовных ссыльных). Досуг был, и „доходы“ тоже были, — не без того, конечно. Тужить чиновникам было нечего, и они жили — поживали, на бога не жаловались, царя не ругали, установленными от прадедов „доходами“ полегоньку пользовались и лишь изредка зарывались до того, что попадали под суд. Чаще шкуры с людей они не драли и к ближним, вообще говоря, относились не как лютые волки, а как благоразумные овцеводы: постричь, — отчего не постричь!.. А чтобы душить да резать, — к чему это?!.. Любили эти благодушные люди, собравшись компанией, изрядно выпить, прилично закусить, перебинуться в картишки, поболтать о том, о сем. Отрезанные от мира, все те же да те же, они, конечно, были охочи послушать заезжего человека, а уж тем более человека из высшего круга. А Василий Яковлевич Яковлев был в ихних местах именно человеком из высшего круга. Ведь его отец — помещик, мировой судья;

сам он сотник, служил в Петербурге, был адъютантом амурского губернатора. Захотел бы только, — мог-бы сюда исправником приехать, а не ссыльнич; а дальше послужил-бы, — пожалуй, и в губернаторы-бы вышел. Так смотрели на него и казачий командир (простой урядник по чину) и отец протоиерей, и все прочие представители местного „общества“. Этот образованнейший господин, перед которым открывались было перспективы, совершенно недоступные для кого бы то ни было из вилюйцев, был в то же время любезнейшим человеком, нисколько не гордым: он и о деле поговорит, и запросто поболтает, и от рюмочки мадеры не откажется. „Жаль, что не служил дольше! для подчиненных начальник был бы прекрасный!“... Такие достоинства вызвали к Василию Яковлевичу со стороны обывателей отношение дружелюбное и даже несколько почтительное.

С меньшим почтением, но зато с гораздо большей теплотой, относились люди этой среды к „милейшему Станиславу Фаустиновичу“, т. е. к Михалевичу¹⁾. Всеобщий друг-приятель, он вносил своим появлением в их компанию тот огонек и блеск, которых самим этим тяжеловатым и пресноватым людям слишком не доставало. Молодцеватый с вида и всегда веселый, неиссякаемый анекдотист, находчивый каламбурист, приятный собутыльник, ретивый партнер за карточным столом, дамский угодник, примиритель обывательских ссор, участвовавший наперсник обывателя в его горестях и неутомимый подстрекатель во всяких отважных, но обывательским понятиям, поступкам, — вот каков он был, этот „милейший Станислав Фаустинович“, прямо находка для умирающего со скуки захолустного „общества“. Этот весельчак не морил своих собеседников серьезными разговорами и не губил своей молодости, все сидя над какими то мудренными книгами, как иные из „политических“. Этот жил во всю: шутя, бегая, немножко приволакивался за бабенками, скакал на коне то туда, то сюда по наслегам, при каждой поездке набирался новыми темами для забавнейших рассказов, а в то же время и солидное дело вел, — торговлю свою раскинул, глядите-ка вы, как! Он и домашнюю свою жизнь поставил совсем не так, как другие „политики“: квартира у него была просторная, со сравнительно приличной обстановкой; у него на кухне всегда толклось по несколько прихлебателей-якутов, которые и печи ему топили, и на посылах бежали, и прямо в рот ему смотрели, ожидая тойонского взгляда, чтобы лететь стремглав в исполнение тойонской воли. Он был гостеприимен и любил не только угощаться у знакомых, но и других угостить. Любил и умел угостить. Соберет иной раз городскую публику и устроит ей пирушку на славу. Мало того, — якутов, и тех и кормит, и конит, и табачком оделяет, и уже мало-мало болтает с ними по ихнему. „А ведь это, знаете, тоже — расчет! для торгового то дела оно как пригодится!“ — смеялись обыватели и признавали, что Станислав Фаустинович не только душа-человек, но и коммерсант преловкий. В Вилюйске и в его округе было с десяток „торгующих“ разного звания, и все они со своими семьями входили в состав местного „общества“, заменяя в глазах

¹⁾ О нем см. „Дилкое“ кн. 18. с. 79, 82 сл.

населения отсутствующее в этом крае дворянство. Михалевич стал в этой среде вполне своим человеком и являлся живой связью между их миром и нашим, — до того несходными мирами, что им трудно было бы сблизиться без такого всеведомого, как наш жизнерадостный „пан“, одинаково легко дышавший и в воде, и на воздухе.

Вскоре его популярность перенеслась через все леса и бадараны (топи) округа и сделала его нам известным от Нурьбы и Сунтара на западе ¹⁾ до отдаленнейших обитаемых урочищ и на юге и на севере. Начало его славы положили первый же его объезд по наследам „для научения рынка“. При вторичном объезде ему сопутствовал Тарасич, искавший тогда для артели земли. Со слов Тарасича, мы имели весьма яркое представление об этой веселой поездке, местами превращавшейся в некое триумфальное шествие. Приезд Михалевича в какой-нибудь поселок, состоявший из двух-трех юрт, куда и поп то наведывался разве на Касьянов день, составлял событие. При его отъезде отсюда самые почетные старики, не опасаясь унизить этим свое достоинство, подсаживали его на коня и держали тойону стремя. Кредитовал он якутов направо и налево. Мы с большой тревогой спрашивали его: да как вы с них получите? Чем будете расплачиваться в Якутске? Пан отвечал нам с беззаботной улыбкой: „эти отдадут, в своих должниках я уверен. У меня на людей чутье удивительное!“ — И он находил, что его дела идут блестяще. Каковы будут финансовые результаты этих смелых операций, для нас оставалось сомнительным, но зато было вполне несомненно, что не только сам Михалевич в представлении якутов „сверкал, сияя в алата“, но, по их бесхитростной оценке, блистали и его „добрые дела“, и отблеск его славы отчасти ложился и на нас. Вокруг уголовных ссыльных и казаков попроще о нас говорили: „это ничего, что они ходят по нашему и работают... А деньги у них есть! Уж не иначе как с ба-альшими деньгами господ!“

Поскольку авторитет колонии среди местного плебса основывался на мифе о наших тайных сокровищах, Михалевич поддерживал его своей неслыханой в тех краях щедростью и ослепительной роскошью своих выездов. Один его путевой наряд чего стоил! — красная вумачевая рубашка на выпуск, шелковый пояс, просторный синий пиджак на распахку, плюсовые шаровары, и на ногах не сапожища, а мягкие черные сары с пленительной для якутского взора алой оторочкой. У пояса шитый бисером кисет, а за поясом маленькая трубочка — „гамза“ — с длинным чубуком, хитро изукрашенная серебряной резьбой. Таким Чурилой Пленковичем стародавней былинны „пан“ появлялся у каких-нибудь затерянных в лесной чаще юрточек на борзом коне, сиди в седле с громадным висеребренным передком, в сопровождении двоих рабобенных прислужников — якутов, с видом, исполненным благоволения к ближним, картинный, блистательный, „светлому богу подобный“...

¹⁾ Единственные в этом крае русские селения, одно в 300-х и другое в 500-х верстах от Вилюйска.

С городскими жителями поменьше, по своим обязанностям старосты, больше, чем ктонибудь другой из членов артели, являлся у нас Тарасыч. Завернув к какомунибудь казаку, чтобы купить у него рыбы для нашего стола, он, глядишь, уже сидел у бородача на чайном и живописно рассказывал, как ловят рыбу на Оби, да сколько ее там, да как ее сохраняют впрок, и откуда соль берут, и почему и т. д. И сам бородач, и его жена-полуякутка, и старая бабушка, все слушали многовидевшего пришельца с величайшим интересом и завязывалась у них беседа, равно увлекательная для обеих сторон. На следующий раз, зайдя Тарасыча на улице, казак еще издали его радостно приветствовал, а перед своими отзывался о нем, как о барине простом и во всяком деле шибко понимающем.

Эти трое товарищей поддерживали связь нашей колонии с соотечной и зрелой по возрасту частью населения. Но был в городке и молодатник: у исправника были дочка, у купчиков сынки, у некоторых обывателей и жены еще молоденькие, и в этой публике на руках носили нашего Викторыча. Викторыч был для таких подростков и для бабчонок, еще не успевших вполне обзавестись, и университетом, и консерваторией, и публичной библиотекой, и поверенным их душевных тайн, и организатором их увеселений и, ну еще всего, наставником и вдохновителем на пути к чему-то неясному, но очень хорошему. Было ему тогда 24 года; был он тощ и некрасив собой; лицо у него было слишком вытянутое в длину, изжелта-смугловатое, с лихорадочно горящими иссиня-серыми глазами. Воспитывался он в каменец-подольской духовной семинарии, и всякий с первого же взгляда признал бы в нем бывшего семинариста. Но этот чаклый семинарист весь куда-то летел и в своем стремительном полете невольно втягивал в свое движение и попутные молодые души. Обоим пола слеточкам было любо впервые в жизни взмахивать словно теперь только появившимися крылышками, вырываться из своих домашних клеток, из за прилавков своих папенок и из владений своих мамочек, и лететь вслед за пролетным соколом куда-то ввысь, в лазурь, в неизвестное, где также, как тот сокол, чувствуют себя дома. Викторыч помнил наизусть множество „идейных“ стихов из Некрасова, Гейне, Беранже, Плещеева и других мудесников, умевших перелагать прописи на музыку и красиво проливать гражданские слезы. Не щадя своего большого горла, он при случае декламировал их звучные строфы хрипатым голосом, но с заразительным одушевлением. Его слушатели и слушательницы не все в этих стихах понимали, но воспринимали их все-таки с каким-то новым для них волнением. Что-то такое эти музыкальные приемы в свежих сердцах шевелили. Викторыч по памяти пересказывал перед своей восхищенной аудиторией, с удовольствием вспоминая все это и сам, содержание многих романов Виктора Гюго и Шиллера. Он живо представлял себе, как ревел океан вокруг могучего Жильята („Труженник моря“), как бушевало пламя у ног Лантенака („93-й год“), как был забавен Гаврош и величествен Анжольрас на баррикаде („Отверженные“), и стеснявшиеся вокруг залетного сокола слеточки как-то по своему, но тоже представляли себе эти картины и эти образы неведомого для них мира и

недоступной для них жизни. По поводу какого-нибудь мелкого житейского случая Викторыч мог разразиться пламенной речью о пустячности взяток или восторженно восславить тех добродетельных девиц, которые в России, имея полную возможность повыходить замуж за помещиков и чиновников, предпочитали обречь себя на служение народу в скромном положении фельдшерниц или сельских учительниц. Он грошил пороки и прославлял добродетели с таким азартом, к которому были уже неспособны ни я, ни Зюзовлев... И вместе с тем он не утомлялся терпеливо вдавливать разницу между тоном и полутонем какой-нибудь полуякуточке с намеками на сопрано. Он был зажигательным дирижером танцев, а в особенно добрые минуты, и если уж очень пристанут, не отказывался даже и теперь тряхнуть старшей и на удачной обывательской вечеринке пуститься перед всей публикой в присядку, лишь-бы какая-нибудь пригожая попадейка догадалась, — поплыла перед ним белой лебедью, помахивая платочком. Тут уж и солидные люди, вплоть до самого Николая Марковича Антоновича, выбравшись из-за карточных столов и, сгрудившись кучкой у двери в залу, хлопали в такт плеса в ладоши и притоптывали каблуками, вполне сливаясь с молодежью в общий восторг восхищения Викторычем. Заломив руки над затылком, забыв и Шпильгагена, и Гюго, и все на свете, Викторыч порхал и носился вокруг своей тосноватой арены с лихими выкриками, и каждая жилка в нем вывала: „прах их возьми всех докторов со всеми их предписаниями! Ходи изба-ходи дом, ходи изба кругом!“ И действительно: и мне (к этому часу уже находившемуся в некотором градусе), и казачьему командиру (тоже в градусе), и присяжному улусному попнику (в большом градусе), всем нам казалось на миг, что прах возьми все на свете! Ходи изба-ходи дом, ходи вся изба кругом!

Франт в такие минуты стоял одиноко в загромажденном отставленными стульями углу залы, скрестив на груди руки, как уездный Чарльз Гарольд тридцатых годов, и смотрел на Викторыча с сардонической улыбкой. Он репительно не понимал: как это такой некрасивый малый, как Викторыч, и вдруг имеет такой успех у женщин! ну чем он берет? Неужели только тем, что ногами дригает?!... Впрочем Франт очень редко появлялся в обществе в одно время с нами. По большей части он пребывал где-то в отдельном плаваньи. Обыватели нас никогда не спрашивали: а где-же у вас еще один? и проводили явную грань между нами всеми и этим. Мы были для них одно, а тот-совсем другое.

По началу Франт, по всем ведомостям, очень и очень опасался, как-бы Викторыч не выставил его за двери у его дамы. Захотел-бы только Викторыч, эмг оказался-бы Франт не у дел. Но у Викторыча и на это не было доводить свои успехи до такого конца. Он любил кувиртаться турчаном в синем просторе с целой стайкой резвых слеточков и щебетливых птичек, а „успехов“ во вкусе Франта совсем не добивался. Чтобы утешить самого, ему нужна был-бы вдохновительница поутонченной его вишней х покло-ниц. Лганье будто-бы о любви перед мало интересной в сущности бабкой и тайные объятия с нею в каком-нибудь чулане его эстетической натуре

претили. Убедившись в том, что Викторич-просто пустомеля, который почему-то не умеет извлекать из своих успехов должных результатов, Франт несколько успокоился и терпеливо переносил нескрываяемо презрительное отношение к нему со стороны самого этого прыгуна. Лишь изредка, в отсутствии Викторича, Франт позволял себе пропеть севозь зубы по его адресу: „до-ффоби“, слагая таким образом презрение к себе своего возможного соперника на всю еврейскую нацию.

Многое в нашем поведении казалось Франту непонятным или в высшей степени глупым. В частности, он никак не мог взять в толк: ну с чего это мы явно держим на ошибе его, человека с такой аристократически утонченной натурой, а вот с незвратным Яшей, который по русски и говорит-то довольно скверно, мы все за панибрата и тот у нас свой, да свой? Мы даже в обывательское „общество“ проложили Яше дорогу, хотя и не без некоторых усилий. Ведь он не был ни бывшим адъютантом, как Яковлев, ни бывшим лиценстом, как я, ни „душою общества“, как пан Михалевич. По обывательским понятиям он был просто „сапожник из жидов“. Но мы находили, что принадлежность человека к нашей среде „русских социалистов“ смызает с каждого все его, прежние обозначения и стирает между нами все наши прежние различия, национальные, сословные, и даже чуть-ли не различия по полу. Киренский сямьный Цицианов был раньше грузинский князь; погибшая в Якутке, Южакова была раньше генеральская дочь; а вот Петруха Алексеев ¹⁾ — был раньше сичевский мужик. И этот Петруха не только вполне „наш“, но он — ваша гордость. Мы находили, что общий дух нашей среды, смысл ее существования в России, не был бы достаточно выражен, не будь меж нас этого Петрухи и ему подобных подлинных социалистов и подлинных людей народа. Петруха раньше был мужиком, но перестал им быть с тех пор, как стал служителем идеи осуществления на земле полной правды, т.-е. осуществления социализма, и борцом за освобождение русского народа. Цицианов раньше был грузинским князем, но, став в ряды русских социалистов, он сопричислился к тому же лику, как и Петруха, и в сиянии его нового ореола совершенно тускнеет и теряет всякое значение его прежний титул, видеть-ли в этом титуле нечто почетное или нечто постыдное. То же и с национальными различиями: ну, пусть они даже и в самом деле так существенны в каждой личности, как думает Павлюк; но ведь общечеловеческие свойства тоже заложены в каждой личности не менее глубоко, и социализм пробуждает и усиливает в личности эти свойства с такой силой, что они оттесняют национальные признаки куда то вглубь и делают человека прежде всего и больше всего — человеком вообще, носителем высших идеалов, равно обязательных и для эллина, и для иудея. Конечно, это бывает так, если человек усваивает социализм по русски, как учение о полной правде,

¹⁾ Ткач, прославившийся своей превосходной речью на суде, в Особом Присутствии Сената; в восьмидесятых годах, по окончании каторги, он был поселен в Якутской области, а в 1891 году был убит якутами. — О пребывании его в ссылке — см. воспоминания Э. К. Пекарского „Вспом.“ кн. 19, с. 80 сл. Ред.

а не по-немецки, как учение о правилах дележки аршина сукна. Но раз учение социализма усвоено кем бы то ни было именно так, то оно действует, как благодать Божия в представлении христиан, вполне очищая и преображая душу по высшему типу. Поэтому, каковы бы ни были национальные свойства той или иной народности, но раз кого бы там ни было благодать осыпала, то он уже не еврей, не цыган, не татарин, он — „наш“, брат наш во Христе, товарищ по оружию, и все мы должны стоять за него грудью и в обиду его не давать. Эта сектантская психология уживалась в наших сердцах наряду с самым повышенным русским национальным самоощущением при помощи самой простой логической связки: ведь истинный социализм составляет выражение нашей славянской природы, и если инородец становится истинным социалистом, то это значит, что он вполне русеет и становится таким, какими мы прямо рождаемся. Строгий критик может найти, что логика тут сильно хромает, но мы в то время этого не находили и держались своего взгляда крепко.

В Яше мы, без всяких совещаний на этот счет, признали нечто такое, что делало его „нашим“, но в чем состоит это нечто, Франту было никак невдомек.

Чтобы склонить и обывателей принять нашу точку зрения на значение для людей нашего мира всяких национальных различий и заставить их признавать и в Яше не „сапожника из жидов“, а „русского социалиста“, нам пришлось таки побиться. После одного случая должны были мы с Яковлевым отправиться к помощнику исправника Шершникову, туповатому и неотесанному мужлану, и битых два часа уламывать его, чтобы он извинился перед Яшей, которого накануне этот пентух, — конечно в пьяном виде, — обозвал „жидом“. Еле-еле мы добились своего. Но и то, крепко пожимая нам на прощанье руки, несколько изумленный и растроганный собственным великодушием, Шершиков многократно с подчеркиванием повторял нам, что он приносит такую жертву лишь ради нас обоих, жонх он весьма уважает за нашу образованность и еще за то-то и за то-то.

Получив доступ в обывательское „общество“, Яша в грязь лицом не ударил. Он соорудил себе пиджачок, приобрел рубашечку-фантази, веселенький галстучек, и держал себя на обывательских вечеринках премило: был сдержан без робости, в меру оживлен, в еврейском вкусе шутив, — иногда довольно удачно, а больше наговаривал толочься поближе к Викторычу, с которого глаз не сводил, как с недосыгаемого образца светскости и изящных манер. Один раз он даже устроил „прием“ у себя на дому. На этот случай колоды и косяки были сгружены в одном из углов Яшиной избенки, стол был накрыт синенькой скатереточкой, а гостям предлагался чай (фамильный, а не кирпичный), в небольшом количестве водочка и в достаточном количестве жареное мясо с картошкой. Гости (мы и кое-кто из обывателей), были очень довольны. Превесело болтали, пели „Пие Куба до Якуба, Якуб до Михала“¹⁾ и т. п., засиделись долго, и Яша справедливо находил, что его вечерок удался как нельзя лучше.

¹⁾ Польская застольная песенка.

Реже всего появлялись в кругу обывателей я и Техник. Огромный, красивый и внушительный Техник был, в сущности, малый чрезвычайно застенчивый. Он словно стыдился своих размеров, своего великолепного баса, своих темных глаз, которые на слишком бледном лице со строгим профилем выделялись уж чересчур ярко и сразу привлекали к этому юноше внимание своим выражением, — умным и каким-то до жуткости сосредоточенным. Присев за какой-нибудь столик в уголке обывательской гостиной, Техник долго в молчании созерцал окружающее. Если к нему обращались, он отвечал с отменной вежливостью, кратко и ясно, но сам никаких вопросов не предлагал и разговора не поддерживал. За ужином, пропустив одну-две рюмки, он несколько оживлялся и время от времени вставлял в общий разговор острое и едкое словцо. В такие моменты мне приходилось подсаживаться к нему поближе и смотреть за ним в оба: дело в том, что хмель пробуждал в нем какой-то скрытый недуг и, если случалось, что его прорвет, а мы не доглядим, то с ним бывала беда. Он становился придирчив к людям и беспощадно саркастичен, а при малейшем противоречии приходил в ярость. На мне лежала обязанность предупреждать такие вспышки, а уж если грех случится, то принимать меры к тому, чтобы не разразился настоящий скандал. По большей части мне это удавалось. То шуткой, то кротким увещанием, то осадкой более или менее крутой, внушивши таки малому, что ему сегодня пить не след, и он, поглядывая на меня иронически, снисходит до обещания: „ну-ну! успокойтесь! ваша благовоспитанность сегодня не будет больше шокирована; буду держать себя институткой“. И он действительно в этот вечер больше не пил и был со всеми подчеркнуто учтив и только на меня поглядывал иногда с улыбкой, спрашивая взглядом: „ну что? — разве не институтка?!“...

Зная за собой свою несчастную слабость, Техник чаще всего воздерживался от вина совсем. Сидит, молчит и наблюдает жизнь совершенно чуждой ему среды, словно зритель из театрального партера, когда на сцене идет мошловатая и скучноватая пьеса.

Еще чаще он вовсе отказывался от приглашений и оставался у себя в юрте за своими дифференциалами или за упорными размышлениями о терроре, как о проявлении через посредство террористов божественного возмездия тиранам, и т. п.

Обыватели относились к его вспышкам в высшей степени благодушно. Это для нас повышенный голос и угрозы уже составляли скандал; а в их среде на такие пустяки не обращали внимания. „С кем не бывает! А он человек молодой... Ну, погорячился немножко... хе-хе-хе!“, — посмеивались они почти любовно, так как Техник им явно нравился и своей наружностью, и своим очевидным умом, и своей обычной учтивостью.

Из всей нашей компании менее всего входил в сношения с обывателями я. Мне с этим людьми было неизмеримо скучно. Моя потребность общения с близкими достаточно удовлетворялась болтовней с сожителами по „Тумидре“, с которыми я мог держаться на распашку, тогда как при общении с Антоновичем и с Расторгуевым надо же было применяться к их интересам,

к их языку, к их уровню развития, т.-е. в известной мере насилловать себя, что было мне неприятно. Карт я не выносил. Дразгами этого мира интересовался столько же, сколько интригами при дворе китайского богдыхана. Будь у меня больше душевной теплоты, — а, может-быть, сумел бы с участием отнестись к горестям этих маленьких людей и к невзгодам их серенького существования. Но я слишком привык сосредоточивать свою мысль на судьбах народов и на мировых событиях, — ну что для меня были коммерческие промашечки Расторгуева или служебные огорченьица Антоновича, чтобы претерпевать собеседования на эти темы часами?! Пока я оставался вполне трезв, я мог выслушивать пространные обывательские сетования и их титучие повествования только из вежливости, да и то краем уха. Только пропустив рюмок шесть-семь или больше, я несколько отмякал и начинал чувствовать, что меня точно маслом смазали. Сознания я не терял, сколько бы не пил, самообладание у меня сохранялось, на ногах я оставался тверд и на язык боек, но отношение мое к людям становилось совсем другим, — благодушным и несколько юмористическим. Я начинал смотреть на всех этих поповов, лавочников и канцеляристов, как на любопытные экземпляры ахтарандитов и вилюнтов (минералы местной породы), о которых читал у Маака и у других авторов. Мне казалось в таком состоянии, что любой человек не лишен какого-нибудь интереса и, пожалуй, заслуживает даже некоторого сочувствия, если рассматривать его под микроскопом. Водочка снабжала меня таким микроскопом. За десятой рюжкой и далее я уже мог поддерживать беседу с каким-нибудь раскисшим Шершиковым и мог терпеливо выслушивать его сердечные излияния, не без любопытства присматриваясь в этом ахтарандите к углам его граней. В пьющей обывательской компании, под конец вечера, я оставался чуть ли не единственным сравнительно трезвым человеком и тогда мне приходилось принимать на себя по отношению к перепившимся собутыльникам ту же роль, как раньше по отношению к Технику: предупреждать возникновение ссор, усмирять бующих и утешать обиженных. Проспавшись, и те и другие быстро мирились, а меня обе стороны восхваляли, как предусмотрительного брандтмейстера, который во-время сумел пустить в дело свои насосы!

Для колонии присутствие в ее среде таково рассудительного выпивохи было сущим кладом. Обыватели почти поголовно пили до-зела и за горло тупили наших, чтобы те пили с ними. А из наших почти все были по этой части слабы; две-три рюмочки, и довольно; дальше этим воробышкам уже в рот не шло. Простанут обыватели:

— Василий Яковлевич! еще по единой!... Да уж пожалуйста! не портите компании!

— Александр Тарасыч! ну как-же это? Да так нельзя, — не по прихотски!.. Уж как хотите!

Оба осажденных ливают на меня:

— Да вот он у нас пьет по доверенности за всю артель. Ну-ка! Хлопайте-ка им за диво „большого орла“, как на петровской ассамблее!

И я хлопал за всю компанию. Обыватели оставались удовлетворенными, а наши спешили улизнуть от испивающих к дамам или в другую комнату.

В общем наши отношения к обывательскому миру были не особенно близкими, но теплыми, и явную от позднейших ссыльных, что память по себе мы у вилюйцев оставили не плохую.

Менее всего было у нас поводов для сближения с основным населением края, т.-е. с якутами. Михалевич и Яковлев, разъезжая по наслегам, входили с ними в сношения, но это были сношения довольно поверхностные. Мне и Технику приходилось встречаться только с якутами горожанами, которые все более или менее ломаным языком объяснялись с русскими будто бы по русски и сохраняли немного туземных черточек. Коренная якутина в них уже сильно потерлась. Они нам примелькались и были мало интересны.

В конце зимы прибыли как то в город для уплаты ясака и для закупки пушным. Эти были много поколоритней. Они остановились станом под городом. Там они живо соорудили на снегах свои урасы, — остроконечные палатки, оббитые ровдугой, т.-е. самодельной оленьей замшей. Их густорогие олени с прелестными глазами были очень стройны и грациозны. И сами эти выходцы из дальней тайги были стройны, подвижны и ловки не в пример якутам. Это были люди маленького роста и совсем другого типа, чем якуты. У некоторых из них были красивые черные глаза своеобразного разреза, вовсе не монгольского, своим огнем и мягким блеском напоминающие глаза ихних оленей. Мы поболтали с ними на русско-якутском жаргоне, дали им немного сахара и махорки и этим на тот раз удовлетворили свой этнографический интерес.

Со временем, через посредство Тарасича и Викторича, наша артель начала было сближаться с некоторой частью улусных якутов и даже успела оказать на них в двух-трех местах кое-какое культурное воздействие. Вилюйские якуты уже лет этак до того научились „прикапывать“ ягель в „сметанную“ развороченную землю¹⁾, потом срезать колосья, толочь подсушенные зерна в больших ступках и печь на исподе своих жерлистых камельков лепешки с вида в роде лодушкового листа, и пышные пористые оладьи. Однако, они в наше время пахали, и бороили, и сажали, и жали совершенно по-детски. Смотрел на них Тарасич и диву давался, а Викторич негодовал: как эти дикари профанируют благородный земледельческий труд! Его раздирала охота показать, как у них, в Исодольяине, проскурские хлеборобы сеют и жнут и, по Божьей заповеди, и бовно и ревностно возделывают землю. А то смех один выйдет якут сеять, — захватит с собой турсучек²⁾ зерна, ходит по пашне согнувшись и посыпает зернышки, словно баба кусочек кормит. А со жнитом у этого люда уже прямо понедлин: соберутся бабы, мужчины, дети; прихватят с собою свои маленькие табуреточки; сколько трубочек раскурят, все и мужичины и женщины; сколько тут пойдет и них бодьвич, смеха, навьюного флирта! Потом старушки наболтаются, молодки набалузуются, примутся все за работу

¹⁾ Русское слово „прикапывать“ употребляется и якутами в смысле: сеять.

²⁾ Турсуча — небольшое барсачье животное.

Дальний Восток.

Расставят свои табуреточки, рассядутся на них, и ножичками давай резать по крошечной горсточке... Много-ли так нажнешь?!

Крутил Викторич головой, глядя на эту потеху, и разгоралось его сердце все пуще и пуще. Пришла пора,—отправились они с Тарасычем по нашим долевицам в три разных места, и во всех этих местах повторялось то же. Сбегались якуты и якутки изво всех ближних юрт и надивиться не могли на этих русских и на их приемы.

Когда Викторич начинал засев, они толпой стояли в сторонке и глазели на него с восхищением.

Викторич был из таких, которые, сжав кулак, уже начинают проникаться гневом, а пропев хотя-бы вполголоса „що дается сердцу“, як воно болить“, уже выпадают в истому и чувствуют себя сладостно несчастными. Здесь, среди родичей печенегов и молочцев, недалеко ушедших от тех по своей культуре, выхода с кошницей на ниву, он сознавал себя славянином, исконным служилем Матери-Земли, обучающим отстаые племена, как надо чтить свою Матерь. Сосредоточенный и вдохновенный, он плыл над обнаженными платами, развевая золотистые зерна красивой дугой, и всем выражением своего лица, пластикой своих богослажебно-плавных движений передавал изумленным якутам частицу своего хлебоборобского одушевления. Из юрты в юрту переходила молва о его необыкновенном таланте, и стал он для якутов нескольких урочищ своего рода Шалипиным, на которого подивиться сбегались уже издалева.

Так начала было слагаться для колонии ее жизнь в этой краесветной глуши, мирно и безмятежно, не без маленьких лишений, но и не без маленьких радостей.

Как будто занесло нас ветром в тихую заводь, где мы и зачалили свою лодочку под приветливой ивой... Но не такова была наша участь, чтобы нам в идиллических заводях подолгу благодушествовать. Скоро сорвало нашу лодочку с причала и пошло трепать хуже прежнего.

И. И. Майнов (Саратовец).

Из переписки с П. Л. Лавровым.

В предлагаемой заметке я хочу привести некоторые из сохранившихся у меня писем П. Л. Лаврова, которые он мне писал в разное время между 1880 и 1885 годами. Я рассматриваю их, как исторический материал и как материал для характеристики Петра Лавровича. К каждому из писем я даю пояснения тех или других упоминаемых в них фактов.

Мои первые сношения с Петром Лавровицем относятся к 1875 году, когда я сделался нелегальным и когда я корреспондировал в газету „Вперед“, издававшуюся под его редакцией в Лондоне. В феврале 1880 г., когда Гартман был по требованию русского правительства арестован в Париже, я был командирован Исполнительным Комитетом Народной Воли в Германию, чтобы оттуда разослать воззвание Исп. Ком. на французском языке в редакции иностранных газет, политическим деятелям и известным русским эмигрантам. Воззвание было составлено Тихомировым, Желябовым и Ал. Михайловым. Перевод на французский язык сделала Анна Павловна Корба; воззвание было размножено при помощи гектографа, за отсутствием в нашей типографии иностранного шрифта. При помощи наших контрабандистов я перешел вместе с пачкой воззваний границу недалеко от Вержболово и разослал воззвания из Кенигсберга, где я остановился у знакомого социал-демократа только на несколько часов, ибо должен был торопиться назад. Я жил в Петербурге на конспиративной квартире в качестве ее хозяина, и меня не выписали при отъезде, чтобы не обращать внимания на квартиру участковой полиции. Дворники же не заметили моего отсутствия ¹⁾.

Разумеется, что экземпляр французского воззвания, вместе с отпечатанным русским оригиналом, я послал также Петру Лавровичу. Замечу еще, что указанное воззвание не попало в сборник документов партии „Народной Воли“, изданный Базилевским-Богучарским, но в свое время оно было напечатано в некоторых иностранных газетах ²⁾.

Прежде чем привести письма Петра Лавровича, я считаю интересным предложить читателю письмо на мое имя Гартмана от 25 авг. 1880 г., в котором последний говорит о Лаврове.

¹⁾ Более подробно этот эпизод изложен в воспоминаниях автора „Первые шаги Народной Воли“. Изд. Музея Революции. Петр., 1922 г. *Ред.*

²⁾ Оно напечатано в русск. изд. кн. „Литература партии Народной Воли“. — *Ред.*

16, Green, Terroce, Clerkenwell, E. C. Fondon.

25 авг. 80.

Друг Владимир.

Твое письмо я получил.

Вот то, чем ты меня удивил—Гришкой. В прошедшем письме ты писал мне, что „Гришка выдал“. Я было предположил, что Гурвич, что в Париже, и в этом тоне отвечал, а теперь только уразумел, что дело идет о Гришке нашем, о Гольденберге.

Да, брат, это скверно. Правда ли, что в Кроунштаде и Ревеле арестовали динамит, привезенный из-за границы?

О какой это ты корреспонденции из Женевы пишешь? Не получил я никакой. И кто это пишет в Женеву для передачи мне, когда легко мог бы и мне прямо послать?

Что случилось с газетами, что застряли на границе? Скоро их вырвут? Листок Нар. Воли прислал ты мне слишком поздно: прежде чем прошло два дня, он был уже перепечатан из какого-то источника во всех английских газетах.

Либер пишет из Америки к Мосту. Рассказывают очень и очень курьезные факты о Либере, о коих не стоит говорить.

Про Дейча и Стефановича напишу не теперь, а в другой раз.

Ответь мне, пожалуйста, на мои вопросы, что писал я выше: относительно 1) корреспонденции из Женевы, 2) газет, что застряли на границе, 3) относительно ареста динамита.

Теперь писать свободнее, посему я напишу тебе на-днях еще письмо: а сегодня трещит голова, ибо за всю ночь спал 2 часа.

Читал ли мои корреспонденции в Рошфоровском L'Intransigent? Я состою там постоянным сотрудником с месячным жалованьем.

Посылаю тебе 2 фотографии Маркса, которые он передал мне специально для отсылки в Россию террористам, коим он вполне сочувствует. Мост пишет свою статью для Нар. Воли. Он сочувствует всей душой одним террористам.

Что ты не пишешь ему сам? Чего тут быть тактичным, когда от этого тактика не пострадает, и Мост и ты—оба будете очень довольны. Адрес Моста: J Most Esq., 22 Percy Street, Tottenham Court Road, London W.

Писни же Лаврову: старик просто обижается: всеми оставлен, никого знать не хочет о нем. Полагаю, что ты ничего не имеешь против него, ну так что же не завести переписки? Не беда, что незнаком. Лавров сам бы написал тебе, да, чувствуя, что от него отрекшиеся, не хочет начинать, не хочет получить вновь отпора.

В своих письмах ко мне он просто скорбит душой. Старик хорош, только много немецких книг читает, и от того чадит от него немецким духом. Конечно, не распространяя этого между другими: и пишу тебе то, что Лавров высказывает дружески, по-ренне, и этого не следует распространять.

Ты обрадовал бы его сильно, переписавшись с ним. Юр. Мак. был в Париже и не зашел к нему. По этому поводу Лавров просто скорбит и спор-

бит и жалуются, что его незаслуженно покидают. И впрямь незаслуженно: он сжился со своей программой, но он симпатизирует террористам от всей души. Его адрес: P. Lavroff, 328, Rue St. Jacques, Paris.

С Марксом я теперь в самых дружеских отношениях и скоро буду сотрудничать с ним, по его предложению, в одной английской социалистической газете.

Следующий раз пришлю тебе письма для питерцев.

Жму твою руку Л. Гартман.

К этому письму необходимо дать следующие пояснения.

После взрыва в ноябре 1879 г. царского поезда под Москвой мне было поручено отвезти Гартмана за границу, так как его усиленно разыскивали ¹⁾. После этого переписки Гартмана с Россией проходила большей частью через мои руки.

О предательстве Гольденберга, открывшего, можно сказать, правительству карты Исполнительного Комитета и способствовавшего таким образом разгрому последнего, мы узнали через Клеточникова очень скоро после ареста Гольденберга, в конце 1879 г. Но, чтобы не расстроить сочувствующие Народной Воле ряды, сведения эти в большой публике не распространялись, пока они не стали известными всем из процесса 16-ти в начале 1881 г. Гартман узнал о „Гришке“ из моего письма к нему, но он сначала не понял, о ком идет речь, ошибочно относя мое сообщение к тогдашнему эмигранту в Париже Григорию Евсеевичу Гуревичу, впоследствии датскому консулу в Киеве ²⁾.

В Ревеле действительно был арестован привезенный на пароходе из Англии динамит, но человек, пришедший за его получением, успел скрыться. Это был студент Ф., теперь инженер путей сообщения в Германии.

Гартман в начале получал из Петербурга сведения для помещения в иностранных газетах, охотно печатавших его статьи.

Вопрос о газетах, застрывших на границе, повидимому, относится к печатным номерам „Народной Воли“, застрывшей при моем переходе через границу у нашего контрабандиста.

Либер это эмигрант Либерман. Он сначала жил в Лондоне. В 1880 г. он предлагал через меня свои услуги Исполнительному Комитету; но его поездка в Петроград не состоялась, благодаря неблагоприятному отзыву Гартмана о его неконспиративности. Он уехал в Нью-Йорк, откуда писал в газету левого социал-демократа Моста, ставшего потом анархистом. Вскоре Либерман застрелился в Нью-Йорке ³⁾.

¹⁾ Подробный рассказ об этом см. в тех же воспоминаниях „Первые шаги Народной Воли“. — *Ред.*

²⁾ О Г. Е. Гуревиче — см. примеч. на с. 54 — первого выпуска „Материалов для биографии П. Лаврова“ под ред. Н. Вигяева. Петр., 1921. — *Ред.*

³⁾ О Либермане автор подробнее говорит в своих воспоминаниях „Далекое прошлое“, напечатан. в 13-й кн. „Былое“, с. 57—60. *Ред.*

Фотографии Маркса с его подписью по-французски я переслал с okazji в Петербург.

Я, переслал также статью Моста, с которым я действительно списался. Я, впрочем, был с ним знаком еще в Берлине в 1875 г. Пошла ли его статья в печать, не помню.

От Петра Лавровича никто, конечно, не отверчивался, но народовольцы, поглощенные террористической борьбой, не могли заниматься эмигрантами, которых считали чуть ли не дезертирами, претендовавшими притом на руководство из-за-границы революционным движением в России. Только после 1-го марта 1881 г. Народная Воля вступила в сношения с эмигрантскими кругами, и Петру Лавровичу было предложено стать во главе заграничного „Красного Креста Народной Воли“ по сбору пожертвований.

Лично с Лавровым я виделся один только раз в конце 1881 года, когда из Швейцарии проехал через Париж в Лондон для свидания с Гартманом, который меня вызвал для переговоров с представителем „New York Herald“. Но об этом буду говорить в своих „Воспоминаниях“.

С Марксом и Энгельсом Гартман был на ты. Когда Гартман был выпущен французами в Лондон, Маркс устроил для него банкет, и он и Энгельс пили с ним брудершафт. Когда я приехал в Лондон, Маркс был уже настолько болен, что я не мог его посетить; но я обедал с Гартманом у Энгельса, от которого у меня сохранилась фотографическая карточка с надписью. Энгельс, как и Маркс, отрицательно относились к революционным вспышкам в Германии, считая их гибельными для организационного роста социал-демократического движения, но сочувствовали русскому террору, как форме политической борьбы с оплотом европейской реакции—русским абсолютизмом.

Перехожу к письмам Лаврова. Вот первое из них.

328, rue St. Jaques.

14 октября [1882].

Любезный товарищ,

Гартман мне писал несколько раз о „Владимире“, находящемся в Швейцарии, с которым он переписывался и который, тому несколько времени, жил в Цюрихе под адресом W. Goldowsky. Hattingen, Ritterstrasse, 7. Теперь он просит меня поставить ему некоторые вопросы, передать Вам одно поручение и войти с ним в переписку по этому поводу. Мне сообщили, что этот „Владимир“—Вы, я потому и обращаюсь к Вам. Если тут ошибка, то прошу Вас не читать далее и возвратить все посланное подателю. Но, кажется, ошибки нет.

Гартман писал мне, что тому месяца 4½ назад Вы звали его в Россию от имени его товарищей. Он писал Вам 28 сентября на Ваш прежний цюрихский адрес, причем спрашивал Вас: 1) может ли он ехать в Россию? 2) Когда? 3) Может ли получить деньги на проезд из Лондона?—Он просит и меня постараться (если Вы не в Швейцарии) получить ответ на эти вопросы.—Само собою разумеется, что раз Вы в Швейцарии, Вы ему ответите сами.—

Он дал мне для переписки два адреса. Один обычный: D-r Z. W. Lilienthal, 301, East 10th Street New-York City. Другой—шифрованный по ключу „Земли и Воли“, но который я не мог разобрать, так как не знаю значения точек, в нем поставленных (один петербургский адрес, в котором не было точек, я разобрал прекрасно). На всякий случай я сообщу его Вам в следующем письме; может быть, Вы удачнее разберете и найдете нужным отвечать Гартману на этот адрес, а не на Lilienthal. Если Вам известен смысл точек, поставленных после некоторых чисел, сообщите мне.

Далее, Гартман мне прислал письмо для пересылки в Петербург, которое просит послать или по особому адресу, если он у меня есть, или по адресу, который он мне дал и который мне давно известен. Но так как он старый, а в последнее время много народу позабрано, то я не решился послать на него; мой же адрес для этого не считаю удобным. К тому же Гартман в последних строчках последнего полученного мною письма (от 30 сент.) предпочитает, чтобы я переслал его Вам для своевременной отправки куда надлежит, если Вы в Швейцарии. Я и посылаю его Вам. Доставьте кому нужно. Может быть не лишне сообщить Вам, что он пишет: „поступайте осторожнее с письмом, чтобы не стереть написанного“. Я хранил его в особом конверте, не разворачивая. Просит и о „возможно скорой“ отправке его в Россию.

Жму руку и прошу Вас известить меня о получении письма и о всем, что Вы предпримите.

П. Лавров

Письмо это, помеченное 14 окт. без указания года, относится к концу 1882 года, когда Гартман уже переехал из Лондона в Нью-Йорк. Хотя Лавров не был уверен в том, что я именно и есть тот Владимир, к которому адресовано письмо, он тем не менее послал мне его с несколько наивной для конспиратора заметкой, чтобы я дальше не читал, если письмо не для меня назначено.

Следующие сохранившиеся у меня письма Лаврова—открытки, относящиеся к 1884 и 1885 г. г., когда я заведывал типографией и изданием „Вестника Народной Воли“¹⁾. Некоторые из писем П. Л. мной давно были переданы в Музей Революции. Одно из этих писем напечатано в моей статье об издании „Календаря Народной Воли“²⁾, а другое П. Витязев поместил в книге, посвященной Лаврову³⁾.

328 rue St. Jacques

10 апреля [1884].

Любезный товарищ,

Как только я получу от вас или корректуру страниц 4—6 рукописи, Вам посланной, или временно эти самые страницы, чтобы прочесть их вместе

¹⁾ Открытки адресованы на имя В. Годовского.

²⁾ Журнал „Музей Революции“ № 1. — *Ред.*

³⁾ „Материалы для биографии П. Л. Лаврова“. Под ред. П. Витязева, Вып. 1, с. 50—54. Петр. Изд. „Колос“ 1921. — Там же помещены биографические сведения о Вл. И. Иохельсоне. — *Ред.*

с остальными и исправить статью в целом, на другой же день будет Вам выслана вся статья (на сколько она войдет в № 3), которую я сегодня кончаю. Так как статья посылается не переписанной, то необходимо будет, я полагаю, две корректуры. Присылайте мне, пожалуйста, всегда 2 экземпляра. Корректуру буду возвращать в самый день присылки. Жму руку.

П. Лавров.

Открытка эта касается корректуры вступительной статьи для № 3 „Вестника Нар. Воли“¹⁾. Надо заметить, что разбирать рукописи Петра Лавровича было мучением, как для наборщиков, так и для корректора, обязанности которого я исправлял. Притом, Лавров имел обыкновение посылать статьи частями с неизбежными пропусками или повторениями, которые приходилось исправлять в корректуре.

326, rue St. Jacques

11 апреля [1884].

Любимый товарищ,

Сию минуту получаю от Вас. Игн. три первые листика корректуры моей статьи с моими исправлениями, как они были. Не понимаю, что это значит, и думаю, что произошло недоразумение. Вас. Игн. хотел Вам писать тому несколько дней, а я Вам писал вчера, что, мне крайне нужна или корректура следующих за этим рукописных моих страниц 4, 5, 6, или, если они набраны, то корректуру их. Еще раз прошу прислать мне или их на одни сутки, или их корректуру. Как только я получу, на другой день вышлю всю статью. Жму руку.

Нужны ли вам полученные мною 3 первые листка?

П. Л.

Открытка от 11 апреля 1884 г. касается корректуры той же статьи, что и предыдущая открытка. Надо заметить, что П. Л. имел обыкновение отмечать на письмах число и месяц, но не год, который восстанавливается по почтовому штемпелю.

Вас. Игн. (Василием Игнатьевичем) назывался за границей Лев Тихомиров.

326, rue St. Jacques

17 апреля [1884]

Мне очень трудно оценить верность возражений, которые Вы выставляете против набора меншиным шрифтом, но если нельзя, то набирайте № 10. Только статья и без того длинная, выйдет еще длиннее. По времени, которое я употребляю на чтение ее страниц, а не слагаю, что будет и еще 3 листов. — Цитати

¹⁾ Речь идет о большой статье П. Л. Лаврова „Социальная революция и задачи нравственности“, напечатанной в №№ 3 и 4 „Вестн. Нар. Воли“. Статья переиздана отдельным изданием в 1921 г. под ред. Н. Витазова (Петр. Изд. „Колос“). — *Ред.*

вотны из 5 разных статей: 1) 2 небольшие из „Очерков" вопросов практической философии" (1860): это посылать не стоит; 2) „Современные теории нравственности" (1870): постарайся послать; 3) „Исторические письма" (1870) послать не могу; 4) „Государств. элемент в будущем обществе" (1875)²⁾: нет ли этого в Женеве? 5) „Вперед", газета № 13³⁾: послать переплетенный большой том очень неудобно; нет ли в Женеве? Кажется, нельзя будет послать, потому что есть [два слова: изразбрани] в чем согласна и М. П.

П. Лавров.

В начале открытки помещены еще следующие строчки, зачеркнутые самим П. Л.

„Если я посылаю печатные статьи, то прошу очень беречь и возвратить как только, можно будет; а кроме того, обратить внимание, что есть в тексте изменения против печатного".

Это письмо касается той же статьи для № 3 „Вестника Нар. Воли", которая упоминается и в предыдущих двух открытках. В ней были большие вписания на прежних работ Петра Лавровича. Чтобы облегчить работу наборщиков, я просил П. Л. прислать нам оригиналы для извлечения из них цитат.

М. П.—Мария Николаевна Оловникова, которую называли за границей Мариной Пшканоровной. Она заведывала в Париже конторой „Вестника П. В.", а в Женеве заведывала типографией. Женевцы меня величали „mon sieur le Directeur de l'Imprimerie russe". Собственно говоря, у нас была только наборная, а не типография, и русский набор, сверстаный в рамах, возили в швейцарскую типографию для тиснения. Когда не было денег на рассылного, сам mon sieur le Directeur тащил тележку с набором в типографию. У нас в то время было три наборщика: Бухановский, Петнов и Коган. Последние два шли под чужими именами.

Наборщики получали от 75 до 120 франков в месяц, но так как из Женевы деньги присылались весьма неаккуратно, то наборщики получали не такое жалованье, довольствуясь 50 фр. в месяц. Они как то умудрялись на это жить и одеваться. Бухановский, любитель театра, по оперу посещал. Наборная, впрочем, была должна не одним только наборщикам, но и типографии, бухгалтеру, фактору и брандуровнику, и mon sieur le Directeur часто имел неприятные личныя отношения, особенно в конце года, когда в Швейцарии принято выставлять долги по годичным счетам.

25 апреля [1884]

Очень благодарю за поздравление с выходом номера у Рас 23 апреля, но все же поспрашивать себя не с чем. Я ждал, а ведь вчерашний день и не получал. Знаю, что Рас не подал ни эссемаляра 4 под бан ерлюю. Это

¹⁾ Точное название статьи: „Современные учения о нравственности и ее истории". Мюнх. Зам. 1870. № 4—5. — *Там же*.

²⁾ Издеч. в сборн. „Вперед", т. IV (Жен. 1866). — *Там же*.

³⁾ Статьи „Социально-революционная и буржуазная нравственность". — *Там же*.

дошло бы скорее. Так делалось с первым номером. Буду ждать и книгу и обещанную корректуру, которую не задержу. Если получу сегодня, выпущу завтра; если получу завтра, выпущу в тот же день. Жму Вашу руку.

Надеюсь, что вы послали и первые листы.

П. Л.

328, rue St. Jacques.

7 сентября [1884]

Любевный товарищ,

Сейчас получил Ваше письмо и 12 экземпляров № 3¹⁾. Благодарю Вас и Ваших товарищей по типографии за поздравление. Нам, пишущим статьи и редактирующим их, было бы гораздо правильнее посылать работающим в типографии специальный привет, так как именно на них лежит самая трудная и скучная часть работы, и без их готовности давать свой труд и свои силы мы были бы совершенно беспомощны.

Крепко жму руку Вам и всем наборщикам.

П. Лавров.

Пожалуйста пришлите последние страницы моей статьи для номера 4 как только они будут набраны. Их осталось, кажется, всего 9, по рукописи.

328, rue St. Jacques.

13/1 янв. 1885.

Любевный товарищ,

Сегодня утром получил сперва 2¹⁾ экз., потом 3 экз. № 4, но все без портретов. Так как многие спрашивают с портретами, то, пожалуйста, пришлите. Очень благодарю за поздравление и прошу передать от меня всем товарищам, трудящимся в типографии, мои наилучшие желанья на новый год.

П. Л.

Получили ли Вы посланное на днях письмо для передачи и передали ли?

Это единственное письмо П. Л., на котором при дате написан и год. Открытка эта касается получения Лавровым первых книжек № 4 „Вестника Нар. Воли“. Не имея под руками этого номера, я не помню, какие портреты были к нему приложены.

328, rue St. Jacques.

15 июня [1885]

Дорогой товарищ,

Как я ни устал от вчерашнего празднества, но Вы осыпали меня такою кучею любезностей, что мне хочется ответить Вам сегодня же. Ваше любезное письмо, Ваш прелестный подарок, Ваша подпись на трех телеграммах,—это

¹⁾ „Вестника Народной Воли“.—Ред.

даже черезчур много. Жму крепко Вашу руку за Ваш привет и прошу Вас передать Вашим товарищам по типографии и по той группе, которая послала мне свои пожелания по-русски французскими буквами, мою глубокую благодарность Жуковскому и группе, в которой он участвовал, пишу особо; следовательно и там в моем письме есть Вам доля. Будем работать вместе, пока есть силы и возможность, как знаем и как умеем.

Еще раз крепко жму руку.

П. Лавров.

328, rue St. Jacques.

16 июня [1885]

Дорогой товарищ,

Снова беспокою Вас письмом. Сегодня только получен и передан мне подарок, посланный мне дорогою для меня группой, в которой и Вы участвуете. Еще раз приходится мне благодарить Вас и просить Вас передать мою глубокую признательность и дружеский привет всем, участвовавшим в посылке.

Жму руку Вам и всем им.

П. Лавров.

Кстати прошу Вас передать и мою благодарность, как Н. Б., автору прекрасного стихотворения, особо мне переданного, и присутствовавшим на празднестве, так и совершенно неизвестному мне автору того неподписанного стихотворения, которое находится в книге вчера полученным.

Оба эти письма касаются празднования в Париже 60-летнего юбилея Лаврова. Из Женевы ему были посланы три поздравительных телеграммы от 3-х групп: от типографии „Вестника“, от народолюбцев вообще и от старых эмигрантов во главе с Жуковским Эльсницом, Соколовым, Мемановым и др. Я участвовал во всех группах. Подарок, посланный типографией, состоял из роскошно переплетенных книжек „Вестника Цар. Воли“ с золотым обрезом и тиснениями. Н. Б. — был Николай Берг, бывший московский нотариус. Автором другого стихотворения был московский артист Гурьев, проводивший лето с семьею в Швейцарии.

В. И. Михельсон.

Материалы для характеристики контр-революции 1905 г.

(Из переписки Бориса Никольского с Антоном Волинским).

Публикуя здесь ряд писем епископа Антония Волинского и проф. Б. Б. Никольского, мы считаем необходимым предпослать им несколько строк о самих деятелях и о тех обстоятельствах, при которых завязалась между ними настоящая переписка.

Борис Владимирович Никольский был, по специальности, юрист. Помимо профессуры, он много занимался и юридической практикой. Работал он также и по истории русской литературы. Но, не ограничиваясь ученой и литературной работой, Б. Б. Никольский весьма деятельно занимался также политикой, принадлежа к крайне правой части русского общества; он был превосходным оратором, — из правых ораторов он был, пожалуй, самым крупным. — и выступал, особенно накануне и во время первой революции, левоуническим пропагандистом и агитатором черносотенства. После раскола черносотенцев Никольский примкнул к дубровинскому крылу. Многие, вероятно, памятно еще его столкновение с Марковым 2-м, едва не закончившееся дуэлью. В последние перед второй революцией годы Никольский уже не принимал активного участия в политических делах и, во всяком случае, воздерживался от всякого явного, открытого в них участия. Весной 1919 года Никольский был расстрелян за причастность к контр-революционной деятельности.

Антоний, в маре Алексей Павлович Храповицкий, — является одним из наиболее известных и наиболее, вместе с тем, черносотенных церковных деятелей последнего времени. В конце прошлого столетия он руководствовал в духовных академиях Москвы и Петербурга; в 1900 г. был поставлен епископом в Уфе, а с 1902 г. в течение 15 лет, был на Волыни сначала епископом, потом архиепископом. Немного до первой революции Антоний стал членом-исполнителем христовского комитета, вследствие чего он был кинутым из великих галиций. На патриарших выборах конца 1917 г. Антоний был сильнейшим из кандидатов. За него было получено наибольшее число голосов (другими кандидатами были Тихон и Арсений Новгородский). Но крепкий решил вопрос о поддержке в пользу другого из кандидатов, чем, впрочем, Антоний, как

будто, даже был отчасти рад, так как он и сам сознавал, что его кандидатура является слишком яркой и боевой. В конце 1921 г. имя Антония называлось в печати, в связи с монархическим „собором“ в Карловцах, на котором он председательствовал.

Нам остается сказать несколько слов о том, как возникла публикуемая переписка. В мае 1905 г., находившийся тогда в Петербурге Антоний Волинский был уволен из синода в свою епархию. Месяца через полтора-два после его отъезда из Петербурга Никольский и написал ему первое из публикуемых ниже писем. Заявлявшаяся переписка прекратилась в начале след. года, когда Антоний был вновь вызван в Петербург для участия в работах предсоборного присутствия (см. об этом ниже, в примеч.). Печатаемые нами письма не исчерпывают всей переписки за этот период времени: после того, как было Антонием написано последнее из печатаемых писем, от 3-го января 1906 г., было еще, если мы не ошибаемся, два письма. В одном из них, Никольского, Антоний, очевидно, приглашался им на первый всероссийский съезд, так назыв. русских людей, созывавшийся на февраль месяц Русским Собранием. Антоний отвечал (3 февраля 1906 г.), что, при всем горячем интересе к соборанию, он не может двинуться в столицу раньше вызова, так как, числясь в оппозиции к синоду, должен быть осторожен, чтобы какнибудь дожить до собора („хотя,—прибавлял он в скобках,—я плохо верю в его осуществление“). „Но все-таки,—писал он далее,—по секрету скажу, я уже завел переписку со старцами св. Афона, чтобы убраться туда, если у нас духовные либералы повредят православие“...

Письма Б. В. Никольского печатаются с черновиков, тщательно выверенных Никольским и подписанных им (инициалами), письма же Антония Волинского печатаются с подлинников. Приложений, о которых упоминается в переписке, мы не видели. В тех случаях, когда это оказалось возможным, содержание этих приложений мы восстановили при помощи литературных данных.

Ш. Левин.

I.

3 июля 1905 г. Сестрорецк,
дача Шуберта № 2.

Преосвященный Владыко,

Numquid tandem novi? Nihil sane, quod quidem aut Tu audire velis, aut ego pro certo ducere audeam ¹⁾. Лучше и нельзя начать, чем этими словами Цадерона. События показали, куда мы идем,—но события кончатся, а мы свое. При таком ослеплении добрый исход был бы возможен только чудом, но надеяться на чудо—безумие: когда ослепление так очевидно, то чудо было бы безнравственно. Кто сеет ветер, должен жать бурю. Вот и какне врежена б-гусь я за перо, чтобы напомнить Вам о себе, преосвященный Владыко. А для того, чтобы писать не одни горькие слова, сопровождаю настоящее письмо несколькими приложениями: только что полученный и еще

оттиском моей статьи о Кондратьеве, — молодом поэте, которого Вы у меня видели в Ваше последнее посещение ²⁾, — объявление Роговича ³⁾ и два письма ко мне: Глазова ⁴⁾, где говорится о Вас, и П-ва ⁵⁾. Эти два письма очень прошу мне вернуть по прочтении. Все приложения никого не могут, конечно, утешить, но все-таки хоть не огорчат: и за то спасибо.

Все, что я пишу, имеет очень общий, отвлеченный характер; но как воспроизвести те сведения и происшествия, из которых слагаются эти мрачные выводы? Их также множество, и они нередко так незначительны, а, с другой стороны, так непригодны для письма, что позволю ограничиваться обобщениями. В город теперь хоть не езди: кроме самого скверного и нелепого, ничего не ждешь. А между тем ездить приходится. Встречаешь сановников, сильных людей, — и такая растерянность, неуверенность и апатия, что тошно видеть и слышать. Я всеми силами стараюсь подольше быть в Сестрорецке, где заканчиваю второй выпуск моей докторской диссертации ⁶⁾; но надо жить, — а для этого ездить в город. Кажется, впрочем, в июле вздохну свободно хоть ненадолго. Но зато осень сулит такую жестокую смуту в учебном деле, какой еще никогда не бывало. Истинно Вам говорю, Владыко: я был бы счастлив, если бы теперь стал предметом удачного покушения. Быть может, это малодушие? Ну, тогда постараемся быть живы: это свидетельствует о мужестве. „Се время помощи“, как читается в отходной.

Прося святых молитв Ваших, остаюсь с искренним почитанием и глубочайшею преданностью Вашего Преосвященства пок[орнейшим?] слугою Б. Н[икольский].

II.

7 ию[ля] 05.

Ну, многоуважаемый Борис Владимирович, наверно Вы рассказали, что доставили мне удовольствие своим добрым письмом с приложениями. Дело в том, что одно приложение я возвращаю Вам наорванным, ибо принял его за одну запявку, поджавшую изорванию. Все-таки прошу простить мою оплошность, хотя и непростительную. Спасибо и за брошюру, которую я просмотрел с интересом.

Пасат[ельно] современных событий можно сказать только то, что Ваши печальные предсказания о начавшейся и Высоч. утвержденной революции блестяще подтверждаются, а утешительных явлений ни откуда не видно, а в Св. Синоде всего менее. Я почти уверен, что с сентября же начнутся забастовки по университетам и м. б. дух[овным] семинариям. Мы с завтрашнего дня будем в продолжении шести дней напутствовать отходящие из Д. Восток 3 наших полка, т.-е. 14000 человек. Сколько можно, буду начинать их патриотизмом и антиреволюционным духом. Один полк останется в Житомире для охраны Г. г. евреев от русских.

Желаю Вам воспринять увенчание докторством, победить завистников и интриганов и долго просвещать университет[ское] юношество.

Сережка Трубецкой, прохвост и плагиатор, говорил Государю строгий выговор и распечатал его в общем удовольствии хулиганской интеллигенции⁷⁾. Подумаю, не перепечатать ли мне критику свою на его докторскую, где (Миссион. Обзор. Янв. 1902) я доказываю, что она списана с двух друг другу противоречащих нем[ецких] сочинений, да еще безграмотно⁸⁾.

Поклон Вашей супруге и детям, и Божие благословение. Душевно преданный Е. Антоний.

III.

4 августа 1905 г.

Сестрорецк, д. Шуберта № 2.

Преосвященный Владыко,

После целого месяца нездоровья только теперь начал оживать. Ко мне привязался жестокий бронхит, без лихорадки, но с мучительным кашлем, насморком, головною болью и т. д. Все мои надежды и планы на июль разлетелись прахом: я ничего не успел сделать, а теперь не успеть и подавно. Время идет и нас не ждет. А я жду всего самого скверного, и не для себя — это бы не беда, — но для России. De patria taceo lacrimis oppressus, пишет мне Гринвичут в латинском письме⁹⁾.

Вместе с настоящим письмом отправляю Вам, Владыко, заказною бандеролью небольшую книжку, по просьбе ее автора, с которым нынче только познакомился¹⁰⁾. Позвольте обратить на нее Ваше особенное внимание. Не только интересна книга, но и автор. Это девушка лет 25, дочь одесского (покойного) профессора математики, бывшая институтка. Образованная, прекрасно воспитанная, даровитая, умная, патриотка в лучшем смысле слова и в политическом отношении внушающая мне безусловное сочувствие, уважение и единомыслие: чего же больше? Между тем, сберечь все это в наше время, и не только сберечь, но горячо и прямо высказывать свои убеждения, бороться и стоять за них, — это уже заслуга даже для мужчины. А ведь это молодая девушка, перед которой еще вся жизнь впереди! Словом, С. Б. К-на — из тех немногих людей, на которых отдыхаешь умом и сердцем. Жаль, что не могу Вам ее представить лично; но надеюсь, что Вы не откажетесь прочесть ее небольшую работу. Много тут незрелого, несовершенного; но главное — дух и общий тон. Не оскудела еще Русская Земля, если даже в наше гнусное время выдвигаются нам столь даровитые единомысленники.

Болезнь лишила меня возможности узнавать не газетные новости и слухи; обречен на одни газеты. В начале июля порадовался Вашему архипастырскому окружному посланию, перепечатанному в „Московских Ведомостях“¹¹⁾; но сколько за то после пришлось горевать! В какую бездну ведет нас нравственное безволие человека, не ведающего, что он творит! Какие чудовищные Ходынки сеются в Петергофских и Портсмутских собраниях! За Гаагскую конференцию мы заплатили Артуром и Цусимой; страшно подумать, какую цену заплатим мы за Петергоф и Портсмут. Вся моя надежда — на японцев.

Помоги им Господи заставить нас поворотить их! Если они нас не заставят, то ведь мы их вынудим в глаза нам наплевать перед целым светом. Пошлипно, Владыко, наше время послано в испытание нам: кто его переживет и не падет духом и не погибнет, тот хороший вынесет закал на будущее. Хуже всего то, что наш неуг посит затяжной характер. При императоре Павле все совершилось бурно и скоро. А наше лихорадочное и полухорадочное состояние, — дурные симптомы. Да что мы! Умереть никогда не поздно и всегда хорошо. Мне жаль начинающих жить. Что мы им оставим? На какое горе, на какие мытарства обрекаем их воспитаннем, образованнем и твердыми правилами? Архимед мог обдумывать теоремы во время шторма; но он чертил на земле; а мы, чертящие правду и долгу на детской совести, — сколько бессонных ночей приходится нам провести, испытывая свою совесть и свои убеждения? Но, горе племю сердца. Благословите, Владыко.

Испрашивал святых молитв Ваших и т. д. ВП.

IV.

9 августа 05.

Многоуважаемый и дорогой

Борис Владимирович.

Ваше грустное настроение и Ваше несправедливое отношение к современным событиям я вполне понимаю. После завтра переживаю по обычаю на полтора месяца в Шочаевскую. Пару и по дороге прочитаю интересную брошюру, о которой и раньше слышал, и теперь Вас от души благодарю. Прочту Вам на дилк вновь отпечатанную бесшощадную критику на докторскую диссертацию Сергея Трубецкого, которую он списал с двух нем[ецких] книг, друг другу противоречащих. Жиды недовольны манифестом о го[уд]ар[ственной] думе¹²⁾ и делают манифестации, а драгуны лупят их плетями. Ала ороссы уверены, что жиды низвергнут Царя и поставят царем еврея. Облобление их достигло крайней степени, и теперь только войска охраняют жидовскую нацию: иначе она была бы перебита, а при конституции наверно будет избита крестьянами и солдатами, потому что тогда ни те, ни другие ведь никто не будут слушать. Все это я объяснял жидам на-днях в тюрьме, но арестованные, действительно, несколько призадумавшись, сказали: тогда оберегать нас должны „пастыри церкви“ своим влиянием — Да ведь пастыри тогда будут сидеть, где теперь Вы сидите, — ответил я. — Ну, это крайность.

Естьли по селам, где были колебания в сторону католичества, и крепко заридил малороссов. Ксендзы зубами скрежещут. Пусть приучаются скрежестать: ведь придется заниматься им этим делом целую вечность в преисподнем.

Никт, будем еще дышать в надежде на лучшее будущее, которое водворится даже и в худшем случае, т.-е. выплата на добьется своего на 1½ года, а потом придет мизик с воланом и протянет пузо либеральному барину, и опять начнется коридок.

Привет и Боре с благо[воз]вещием и т. д. Е. Антоный.

V.

С 1-го сентября:
Сиб. Лискин 36, кв. 9.

29 августа 1905.
Сестрорецк, д. Шуберта 2.

Пресвященнейший Владыко,

Спешу принести Вам мою величайшую благодарность за полученную мною брошюрку. Я с большим интересом и удовольствием ее прочел. Что Трибейкой не серьезный человек и вовсе не-ученый, это для меня и [там?] было ясно; но его шарлатанства я прежде не мог оценить, не будучи особенно сведущим в его области.

События свидетельствуют, что мы движемся по наклонной плоскости все быстрее. На чем остановится эта лазина — Богу известно, а нам и гадать мудрено. Я чувствую лишь одно, — что всеобщее недовольство с каждым днем становится болезненней, острее и грознее, причем с каждым-то ослеплением отверженного Богом человека сверху все последовательней отталкиваются, оскорбляются и предаются верные и разнуздываются грехи. Истребление дикарегии становится такою неизбежностью, что каждый русский человек должен предусмотрать и обдумывать последствия этого события, чтоб оно не застало врасплох, по крайней мере, хоть людей нашего образа мыслей. И 1912-му году видимо предвещает великое испытание. Будет содействовать на нас оставит Бог Россию. Умереть честно мы сумеем — не в обиду никому будь это сказано — но умереть всякий может: лучше не умирать, да спаси. Посильная ли чаща? Но да будет воля Божия.

Теперь наш университетский хаос вступает в новый фазис. Капитуляция власти дошла до последних пределов уныния и позора. Намному ясно, что занятий ничто не будет и что каждый день обещает нам все более мрачные бедствия. Самоуправство и самосуд: и то единственное, что остается сторонникам порядка и закона. Но правительство, которое до этого дошло, — преступно, и терпеть его — еще преступнее. Да, Владыко, — быть консерваторм ничто значит быть, по крайней мере, радикалом, а вернее — революционером. Вот несколько строф Алексея размером, написанных мною на 6-е августа...¹²⁾

С такими чувствами и мыслями берусь я с сентября за латини. В университете-то они пойдут не даром, а на Статистических Курсах МВД, где и читаю государственное и полицейское право, занялся, конечно, сессиями. Но что еще произойдет до весны — вопрос иной.

С 1-го сентября я живу в городе, а семья переедет туда же в середине месяца. В душе мечтаю о том, чтобы Вас вызвали снова в Синод. Вам этого совсем не хочется, но я рассуждаю эгоистически.

Испрашивая святых молитв и т. д. ЕН.

„изд.“ X 11.

VI.

14 сент[ября] 1905.

Многоуважаемый

Борис Владимирович,

Сегодня я проводил последний транспорт своих гостей—архиерея и 4-х архимандритов, затем начал писать ответ на запросные пункты „к предстоящему собору“, разосланные К. Печем¹⁴⁾, а теперь ночью пользуюсь временем до первой дремоты, чтобы поблагодарить Вас за письмо и за прекрасные стихи, которые я припрятал с тем, чтобы напечатать их после того, как Вас убьют нигилисты, если это паче чаяния случится раньше того, как меня убьют жида. теперь столь же горячо меня возненавидевшие, как прежде они меня восхваляли. Я не изменил своих воззрений, но они недоумевали, зачем я, хвалил жидов патриархальных, обличая либеральных.

Насколько Почаевское житие не богато удивлениями, это видно из того, что после Успенья у меня перестало шестеро человек архиереев, а всех прочих чинов в соответственной обратной пропорции их рангу, так что низший ряд в виде студентов Д. Академии достигает до цифры 20. Но теперь остается 2 недели удивления и писания ответов. Не столько боясь противодействия 200-летнего государственного десютезизма над православием, сколько повзворававшейся поповской декадентизации, проектов о женатых архиереях, попах дажеженцах, сюртучных священнослужителях, отмены погов и, наконец, уважения проституткам, если Мережковский и Розанов откроют свое хайло, не имея на чем более зарабатывать авторский топорар, кроме богословия¹⁵⁾.

Все, что Вы пишете о государстве и об университете, вполне радяно. О последнем был чудный, божественный фельетон в „Киевлянин“ № 251 (Мурочка и Мурочка).

Разноску свою на Трубецкого я написал еще в 1901 году, и с тех пор низзь перестал печататься, а пустился в политику, как и другие неудавшиеся профессора в роде Бареева, Свешникова и т. п. Это уже низшая ступень надежды сравнительно с уродливыми барышнями, которым приходится либо в клетку, либо на вышние курсы, и они выбирают последнее.

8-го сент. я был на торжестве в Холме Люблинском с Митр. Флавианом и Генерал-губернатором Сазоновым, с которым о Достоевском мог бы вторично сменить слово губ. Лембке для „Бесов“. Сему несчастному литератору пришлось выступать в этот день две проповеди о необходимости прибегать к помощи твоей и Матери Вождей. Будет помнить.

Приветствую Вашу добрую семью и посетителей из Христианского] содружества¹⁶⁾. Сердечно преданная М. Антоний.

VII.

23-го сент.

Преподобнейший Владыко,

С чувством полной благодарности получил я Ваше послание¹⁷⁾ и превосходное слово на избрание крест¹⁸⁾. Это одна из лучших про-

модей за время нынешних событий, да и не только за это время. Я несколько раз уже читал ее вслух разным людям и всегда с огромным впечатлением. Но, Боже мой, сколько сраму с тех пор, как я получил Ваше последнее письмо! ¹⁹⁾ Только и остается, что преуспевать на горшее. По моему вполне определенному убеждению, спасти династию от полного, поголовного истребления — немисливо. Зато, с другой стороны, до этого истребления может пройти несколько недель, а может и два-три года: а за это время мы зайдем так далеко, что не скоро вылезем. Но, во всяком случае, только с истребления династии возможен поворот. Анархия не сказала еще последнего слова, и не все еще убедились, что мириться с нею нельзя. Отпор все еще не накопился, хотя и *н а ч и н а е т с я*. Томск, Тверь, Киев, Феодосия ²⁰⁾ показали, что русский народ вовсе не *tabula rasa*, видимость которой сообщала ему поневоле его монархическое чувство при выродившейся династии. Но, с другой стороны, ожесточения всенародного еще нет и вождей не заметно. Все еще не время. Приближается утро, но еще ночь. (Ис. 21, 12). И остается по-прежнему взирать, как накаплиются события. Копятся же они хоть и быстро, но все-таки так долго, что не многие выдержат и дождутся конца. Дождавшись, они победят и возродят несчастную Россию; но до тех пор будем подвизаться подвигом добрым политического самообладания.

Не жалеете ли Вы Константина Петровича, получив милостивого государя из ведомства казенных мерзавчиков? ²¹⁾ Теп *моде* ²²⁾. Меня спросили, из кого теперь состоит Синод. Я сказал, что из Матильды, Котика Оболенского, Алешки Оболенского, Витте, Дондуковой-Корсаковой и митрополита Антония. „Маленькая, но пренеприятная компания“, как говорится в известном анекдоте. Митрополит Владимир теперь в Петербурге, — уверяют, что его судят и собираются усадить на покой вместе с преосвященными Никоном и Трифоном ²³⁾. Кружок молодежи послал (и я подписался в числе прочих) приветственную телеграмму митрополиту. Теперь не в телеграммах, конечно, дело, а в том, что толнения на Владимира поселят такую бурю негодования в Москве, перед которою ничто томский погром.

Прилагаю к письму новое мое стихотворение, писанное, впрочем, раньше того, которое прислал Вам в прошлом письме, и проект адреса, писанного мной одному хорошему союзу хороших людей. Адрес вышел не худой, но я почти убежден, что они трусят и не посмеют. А согласитесь, Владыко, что уж если адрес, то такой, как в моем проекте. Впрочем, я не теряю надежды, что проект мой пройдет. Как я жалею, что лишен возможности видиться с Вами в такое время, как ничто, и познакомить Вас со многими, с кем Вы современем будете совместно работать на возрождении России! Всего в письме не напишешь, особенно теперь, когда возможность написать письмо — редкий праздник среди суеты и долга.

Ваше письмо заканчивается приветом моей семье и Христианскому Содружеству. Семья моя глубоко благодарит за привет и благословения. Но Содружество, увы, погибнет в общей смуте. Не только студенты, но сами поны соприим с уда. Дурац Лихоселский ²⁴⁾ заявил, что считает мучеником

того рабочего, который был убит с иконой в руках то время январских беспорядков. Не знаю, так-то переживает Содружество нынешние события. Конечно, в числе гонимых оно малое стадо, но больно и горько. Горе, убожеством сердца.

Испрашивая Вашего архиепископского благослов[ения] и святых молитв Ваших и т. д. ВП. 25)

VIII.

6 ноября 1905 г.

Многоуважаемый и дорогой

Борис Владимирович!

Большое Вам спасибо за стихи библейского тона, за адрес Царю смелый и убежденный, и за письмо, с содержанием которого я вполне согласен и даже более того. Именно я послал К. П-чу длинное письмо-адрес, в коем заявил, что охотно бы его напечатал, если-б был уверен, что он не против того²⁶⁾; послал ему и икону 12 праздников более квадр. аршина. 31 окт. я говорил в соборе слово о нашем Царе и нашей вине пред ним²⁷⁾. Исклали даже мужчины, и чиновники, и офицеры. Непосредственно после службы начались шествия с портретом взамен бывших 19-го революционных. Патриотич[ескому] энтузиазму конца не было — до 6 час. веч.; потом пошли ежедневно патриотич[еские] митинги по 5000 по 10000 человек. Огу проповедь я записал потом и прислал Вам. В Вашем стихотворении переходы от библейского текста к современ[ным] событиям и обратно напоминают по стилю и изяществу А.А. Толстого и Анухина. Наверно перечитаю его еще не раз в печати? В адресе я считаю весьма не вполне уместным совет Царю удалите от себя). Прочее чудно — хорошо. С Вашей точкой зрения на народную месть я вполне согласен и отстаиваю ее пред другими. Я тоже исключен в начале сего года в одню тайное патриотич[еское] общество, но не знаю вполне его отношения к сему делу, ни его состава даже. Не то ли это, что и Вася? сам я сидел обетом казенным сверх того, что сообщил сейчас, да и сам почти ничего не знаю.

Да! М. Антокий²⁸⁾ ведет себя дурлично до позора. Образдались слова Перенна Препображенского к Арх. Амвросию 1900 г.: „вы, ипод, хвалите самодержавие из-под илетц, а возьмет эту илеть констатация, будете расхваливать кон-цию“. М. Владимиру я тоже написал горячее соответствующее письмо просил его не уходить на покой: а власти, конечно, не тронут ни его, ни его икарарев. За подобие его писем послания св. Димитрия Троицкого и Авраамия Палидина их прославляют в истории, а теперь поносят их клеветни-а. П-чу, К. П-чу, и писал в заключение, что Вы мне: „дегкомыслииный Ваш диффаматор пророчил Вам тяжелую смерть, а я убежден, что Господь сподобит вас христ[ианской], мирной и неопытной кончины, но желаю, чтобы ей предшествовала еще долгая безболезненная старость, но не для того, чтобы вы видели вашхановли революционеров, как Вам желают ваши жалкие га етны враги,

но чтобы вы увидели, как из общества, образумленного жстателем-народом, начнут нарождаться всходы новой народной и православно верующей, преданной царю интеллигенции“²⁰). Сегодня в газетах пишут, что у графа Витте удар. А ведь он уж начал отбой бить в сторону реакции. И почему? потому что „мужички за себя постояли“, как выразился автор „Братьев Карамазовых“.

Посылаю Вам докладные записки Синоду. Это секретно—только для близкого человека, если заинтересуется, прочитайте²¹). Эх, надо бы войска одушевлять, солдат, офицеров, конкеров. И как этого не понимают. Нужны профилактич[еские] законы о забастовках путей сообщения и почты! А вель, если правда, что Полусахалинского сменит несомненно благонамеренный Игнатьев²¹), то ведь ума-то ему не хватит здесь одной добродетели мало! У нас жидов не били, но хорошо ли это,—не знаю; говорят, что я тому виновник, но я ни слова о жидках не говорил, а только подписал краткое воззвание и не уверен, хорошо ли сделал.

Пред. сердечно Е. А.

IX.

12 ноября 1905 г.

Ямская 36, кв. 9.

Пресвященный Владыко,

Спешу принести Вам живейшую признательность и за письмо, и за доверие, и за присланные документы. Со своей стороны сопровождаю свой ответ несколькими приложениями: избирательною программою Русского Собрания (писана мною, кроме неслепо изложенного п. XII, переработана слегка и только в редакционном отношении—в комиссии и Совете и завтра обсуждается в Общем Собрании), воззванием Самоохраны (петербургского отдела) и особенно великолепною статьею в *Energie française*—„*Lettre de Russie*“. Последнюю прошу мне вернуть по прочтении или снятии копии, буде понадобится.

Обе Ваши проповеди—и о мире, и о Царе—дейтельно мною читаются везде, где можно, и везде производят сильнейшее впечатление. Я глубоко радуюсь, что ими мне удалось совершенно убить некоторое заочное предубеждение против Царя в человеке, который должен Бог понимать и ценить для будущего блага Отечества. Ах, эти заочные предубеждения! Они мой лютейший враг, и мне хочется верить, что кое-что из моей борьбы с ними мне зачтется на том свете.

Что касается Ваших глубоких и ясных докладных записок, то я узнал в них много мыслей, Вами передо мной высказывавшихся в разговорах. Новостью для меня были Ваши суждения о приходе. Не умею выразить, до чего я порадовался им. Я всегда считал душою богиою все толки о приходе, зная и всюду пронодя взгляд, что дело не в учреждениях, а в людях: воспитайте людей—и при всяких учреждениях жизнь потечет разумно и достойно; дайте людям шатких, слабых и неверных—и никакие учреждения никого и ничего не спасут. Я даже и богословском отношении считаю, что главным предикатом

А те, кому я писал адрес, конечно, струсиле, хотя поездка отменяются. Все решится не позже 19-го или 20-го ноября.

Вы пишете, что Игнатиену не хватит ума, если придется сменить Колусахалинского. Позвольте не согласиться. Во-первых, именно скорей ума хватит, чем добродетели; а, во-вторых, если бы не хватило, и помогу; и, в третьих, граф Алексей Павлович настолько умен, что знает твердо, ум хорошо, а два лучше, чего завистливо боится Гитле. Наконец, в четвертых, граф Алексей Павлович не только умен, но и волею не сомней одним будет заодно и дружно вести политику. Самое же главное то, что не смеяться важно, а смеяться вовремя: что во-время, всегда умно, и только то умно, что вовремя. Я нахожу, что еще рано. Слишком дешево бы отделались мы, если б уже теперь настала расплата²¹⁾.

Испрашивая снятых молитв Ваших и т. д.

Х.

21 ноя[бря] 1905.

Многоуважаемый

Борис Владимирович.

И статья во франц[узском] журнале перечитана мною с удовольствием, и воззвание Ваше я перепечатал в Епарх. Вед[омостях]²²⁾, но, увы, не вижу еще отсюда надежного выхода из согрем[енных] затруднений России. К обличению слабости правительства нашего я бы на месте Дюгюа прибавил еще и такое соображение, что в любом, даже в немногочисленном обществе, если будет объявлен принцип безнаказанности, то непременно найдется несколько человек, которые не откажут себе в удовольствии выкинуть скандалчик, а то и преступление. Теперь же такой принцип безнаказанности объявлен фактом не сотне людей, а 130 миллионам. Удивились ли после этого великие забастовкам, издранню царских портретов, революционным провокациям в газетах и пр., или, напротив, удивляться тому, что всего этого сравнительно так мало при таком неслыханном удобстве для всякой политической и нравств[ственной] уголовщины. — Призыв Вашего Р[усского] Собрания (т.-е. нашего), к сожалению, лишен единодушия, и программа с множеством отдельных мнений не может иметь силы прокламации. Впрочем, я ее напечатал у себя сокращенно (в Вашей редакции) и все варианты выпустил... Франц[узскую] книгу и гектографку я возвратил Вам.

Не знаю, дойдет ли до Вас еще письмо, ибо, по видимому, и телеграф, и почта в столице не действуют, а жида говорят здесь, будто там вооруженные столкновения и убийства. Нет, не союз русских людей на литературном и т. п. поприщах могут остановить революцию, а диктатура Государя, военное положение везде, закрытие 3/4 редакций и в случае нужды державный призыв всего населения к вооруженной самозащите и энциклопедия революционеров. Баяна была бы сильная, но зато в один миг революция была

бы сметена с лица русской земли, и мы бы воротились к спокойствию, не менее прочному, чем в 1888 году и последующих.

Частная инициатива не должна ограничиваться организацией думских выборов, каковых, к. б., революционеры и вовсе не допустят, а должна начинаться с закупа оружия и с намечения себе тоже линчированным первоклассных артистов революции. Иные способы действия уже запоздали, мне кажется³⁶). Как духовное лицо, я не могу, конечно, принимать участие во внутрешней войне, не могу поступать в Черную Сотню, да ее, к сожалению, и не существует, как учреждения организованного. А евреи в заграничных брошюрах открыто хвалятся, что „они вынесли на своих плечах русскую революцию“. (См. „Жизнмирская Самосборона“).—Ужасно то, что Синод тащится за Витте и, кажется, склонен дать автономию д[уховным] академиям по требованию худших и пьянейших профессоров (идиотов и сифилитиков). Я в крайнем опале опять у Митрополита и, по обыкновению, у сино[дальных] чиновников, но, конечно, о сем не печалюсь и плюю на это. Думаю, что никаного Собора мы не дождемся, как не дождемся Думы. Впрочем, дай Бог, чтобы я ошибался. Привет Вашему семейству и приятелям. Душ. преданный Е. Антоний.

XI.

25 декабря 1905 г.

Лиская 36, кв. 9.

С.-Петербург.

Преосвященный Владыко,

В самый день Рождества Христова нахожу, наконец, минуту, чтобы приветствовать Вас с великим праздником и поблагодарить за новую присылку великолепного послания Вашего³⁷) и вообще № 50 „Почасовского Листга“ с прибавлениями. Ваши речи о мире и о царе я выписал из редакции и распространил по несколько десятков каждой. Теперь также поступаю с Окружным посланием. Не знаю, долго ли мне еще дадут заниматься борьбою наших негодяи из-под красноты флага, но пою Богу моему, дондеже есмь. На всякий случай посылаю Вам одновременно с сим подбор адептивной черносотенной литературы. Если бы кому-нибудь у Вас понадобилась она для распространения, то пусть только мне сообщат адрес и число нужных экземпляров: я охотно припущу и вверю буду присылать по мере появления новинки в этом роде. В особенности обращаю Ваше внимание на статью „Русские Речи“ в № 5/6 „Объединении“. Везде нигде Вы не найдете правды об этом приеме. Да и эта статья далеко не полно передает факты. Этого № я на всякий случай посылаю несколько штук³⁸). В пятницу Царь принимал 26 депутатов от о[б]ла[стного] Русского Народа. Депутация была великолепна; хозяин говорил ничего незначащие фразы³⁹). Предлагалась депутация от Русского Собрания, но не явилась, полагая ли она ко двору⁴⁰). Собрание переживает трудное время: авидясь рознь, иль лигася⁴¹), и на почве личных симпатий обострились отношения. По последнему случаю, ко моему прискорбию, кто считает необходимым

гическими подбадривать Царя депутатами. Это все, что можно еще делать. Хотя, в сущности, все бесполезно. Мне достоверно известно, что еще 27-го ноября выработан текст конституционного основного закона, текст присяги Царя и церемониал присяги в присутствии представителей иностранных держав, сословий, войск и т. д. 3-го декабря эти проекты Витте представил Царю. Утверждены они не были, но и не были возвращены. Теперь депутатам Союза Русского Народа было сказано, что скоро будет обнародован основной закон, — и сказано в ответ на ее заявления, что, кроме самодержавия, народ никакой власти верховной не желает. Как понимать этот ответ — никто не знает. Но, конечно, присяга чем ушибудь — народу непонятна. Народ (правильно, в сущности) решит, что Царь присягнул кому-то. Кому? Жидкам. „господам“, иностранцам и иностранкам и т. д. Легко себе представить, что из этого выйдет⁴¹⁾. Но, во всяком случае, пока Дума не собралась и не разогнана палками, ни смысла, ни мира, ни порядка не будет нигде в России. Увы, Ходышка — символ царствования.

В настоящий концерт я запечатаваю „Виттову Шляпку“, которой падях выйдет второй выпуск. Успех этого листа — колоссальный, не зирая на замалчиванье и отчаянную борьбу против него успеха. Второй № будет еще гораздо лучше и остроумнее. Жаль, что праздники задержали издание⁴²⁾.

Моя работа идет так, что едва успеваю спать. В чем она состоит? Когда я смотрю на нее, то нахожу, что она — пустая трата сил; когда вижу ту ненависть ко мне, чисто инстинктивную, которую она вызывает, начинаю думать, что в ней есть какой-то смысл. Мое мнение таково. Помочь делу может только катастрофа. До нового царствования лучше не будет (это вовсе не значит, что с новым царствованием будет лучше)⁴³⁾. Действовать еще рано, ибо реакция в обществе еще не назрела. При таких условиях остается одно: организовываться и объединяться. А для этого надо создавать центры объединения. Союзы, общества, собрания, журналы, съезды, доклады, проповеди, — все, что хотито. В частности, однако, необходимо и нечто более тонкое: необходимыми отдельные люди, около которых бы собирались и знакомились другие. Вот эту роль я и взял на себя. Мой дом становится некоторым центром, к которому собираются разрозненные силы. В прошлом году мои понедельники еще далеко не были тем, чем стали нынче. Мои речи в Русском Собрании, на съезде Союза Земледельцев в Москве, в Семеновском полку, в Михайловском манеже на собрании Союза Русского Народа⁴⁴⁾, — все это лишь далеко меньшая часть моей работы. Часть более видная, и потому окружаемая неистовою ненавистью врагов, но часть бесконечно менее важная. Самая же важная — обучение сановников. Без преувеличения могу сказать, что в Государственном Совете и даже в совещаниях у Царя ни один вопрос не решался без моего невидимого участия, и много недаром Витте создается у меня в кабинете. Я становлюсь постепенно юриконсультантом „правов“. А это положение бесконечно хлопотливое. В нем себе совершенно принадлежишь. Притом и эта служба ничем не вознаграждаемая материально и немалочасная работа ради средств к существованию. Но все бы это ничего: то мучительно,

что силы тратишь безо всякой надежды увидеть победу. Хоть бы издали страну обитованную увидеть перед концом! Но да будет воля Божия.

Испрашивая сн[ис]тих жалов[ан] и благословения Вашего и т. д. В. Н.

XII.

3 янв[аря] 1906.

Многоуважаемый

Ворис Владимирович!

Горячо благодарен Вам за письмо и за газеты. Последние я роздал отчасти в Ред. П[о]чаевского Листка, а отчасти нашему Митом[ирскому] Патриотическому Обществу. Истину упомяну, что это общество держит Митомирских жидков в таком страхе, что они не смеют п[р]о забастовки держать более одного дня. И это потому, что жидкам хорошо известно, как члены сего общества накупили себе железных инструментов, не будучи кузнецами и не имея в них настоящей нужды в домашнем обиходе. — Ваше сообщение о возможности постыдной присяги проституция, т.-е. конституции и эволюции, меня и опечалило, и удивило: ведь это будет издевательством над русским народом, со всех сторон присылающим телеграммы о сохранении самодержавия. Это до того выбесит мужика, что плохо будет прежде всего жидам, а потом помещикам. Землю последних разграбят и захватят навсегда не позже, как чрез месяц после предполагаемой присяги; жидов же вырежут до последнего человека, как обещают наши волынские малороссы.

Боюсь, что они, все вообще мужички, пожелают без приглашения в города; солдатики снабдят их орешками, а они эти орешки будут поджаривать под те домики, где учились студентики, а равно и под другие заведения. М. б., Свят. Синод будет снова рассылать воззвания о гуманности, прогрессе и культуре⁴⁵), но слушать их тогда уже не будут. На пожарах города народ выберет Царя из Романовых, если кто-либо из них останется жив, а если всех убьют метежники, то добудут хоть из-за границы или из Эллады родича ~~и~~ и вручат ему самодержавие.

Все-таки честь москвитям, что были у Государя 1 деп. М. б., если б не они, то и конституция была бы дана, и реакции не последовало бы.

Увы, М. Антоный совсем обиделся с толку: твердых убеждений у него никогда не было, но такой неустойчивости, двоедупии и готовности жертвовать привратником ради человекоугодия даже и я от него не ожидал. Он ко-ложительно отдает церковь в лапы пьяным дичкам-нигилистам, изображающим из себя академические корпорации⁴⁶. Государь приглашал к себе инспектора Спб. Академии арх. Феофана, молодого еще, но святого и непоколебимого в своих убеждениях подвижника, и беседовал с ним два часа. Это, конечно, очень хорошо, но было бы еще лучше, если б все, в чем Царь убедился, он проводил бы и в жизнь. А если бы он утвердил в Вел[иком] Посту патриаршество и революции бы не было. Отняли царя у Бога то, что Он за Собой оставил, и вот Он отлучает у них царство, как у Саула. Свою 4-ую записку с

патриаршестве я вышлю Вам немедленно по получении из типографии ⁴⁾). — Да хранят нас Господь от угроз бунтарей; и мне грюсли, а я ответил: „буду весьма рад, и это сделать легко, ибо принимаю всех, даже босняков ежедневно“.

Душевно преданный богомолец Ваш Е. Антоний.

Р. Б. Все-таки теоретически я убежден в том, что борьба с революцией должна начинаться с казни гр. Витте. Жоржи в звания, умные речи и книги, но мачать-то надо с этого самого.

П Р И М Е Ч А Н И Я.

¹⁾ Перевод. Однако, что же нового? Ничего хорошего, что ты хотел бы услышать, или я решил бы сказать, как достоверное.

²⁾ См. в № 149 (1905 г.) „Московских Ведомостей“ фельетон В. Никольского „Заволодвинский талант“, посвященный книге: А. К. Стихотворенна. СПб. 1905 г.

³⁾ Рогович, Алексей Петрович, в то время Ярославский губернатор. Никольский, несомненно, имеет в виду „Объявление Ярославского губернатора крестьянскому населению Ярославской губернии“, от 3-го мая 1905 г., напечатанное 31-го мая в „Яросл. Губ. Вед.“ (№ 41) и, кроме того, дважды — на отдельном листе, в виде прибавления к „Губернским Ведомостям“ (при №№ 42 и 43, 3-го и 7-го июня 1905 г.). Рогович „разъяснял“ крестьянам смысл указа 18-го февраля 1905 г.: „...Воля Государя Императора выражена вполне ясно: основной закон о существе самодержавной власти Русских Государей должен остаться неизменным, никто и никакие учреждения не могут и не должны ограничивать, умалять власть Государя; в настоящее время все законы до утверждения их Государем Императором обсуждаются в Государственном Совете, а теперь Государю угодно, чтобы к участию в (в тексте ошибочно напеч. не, а, а „и“ предварительной разработке, в обсуждении законодательных предположений были привлечены достойнейшие и доверием народа обеспеченные, избранные населением люди. Следовательно, по воле Государя призываются выборные для обсуждения и для совета. Так бывало и в старину при Царях Московских, когда они созывали выборных людей на земские соборы, и никому тогда и ныне из верноподанных русских людей не приходила мысль и желание ограничивать верховную власть Государя“... „Если явятся люди, которые будут подбивать вас медовыми речами и льстивыми обещаниями, что лучше самим решать за Царя, то помните, что от многовластия бывают только расдоры и нестроения, и что всякий, кто дерзает созывать именованной основой закона самодержавной власти Русских Государей, — есть ослушник воли Царской“...

После 17-го октября Рогович ушел с губернаторского поста. В августе 1906 г. он был назначен товарищем обер-прокурора синода.

⁴⁾ Владимир Гаврилович, министр народного просвещения.

⁵⁾ И — в. В. А., журналист, в те годы переписывавший с Никольским на литературно-общественные темы.

⁶⁾ Докторская диссертация Никольского, „Б истории дарений между супругами“, напечатана была только через 19 лет в Юрьеве, после того, как ее отверг юридический факультет Петроградского университета.

⁷⁾ Сергей Николаевич Трубецкой; Антоний имеет в виду известную его речь, сказанную при приеме Николаем II депутатами земских и городских деятелей (в Петергофе, 6-го июня 1905 г.). Речь эта многократно перепечатывалась; см., напр., кн. И. И. Голлоновского „Земское движение“. М., 1911, с. 288—291.

⁹¹ На докторскую диссертацию С. Н. Трубецкого, „Учение о Логосе в его истории“, Антионий поместил, под псевдонимом М. Старобельского, рецензию в „Миссионерском Обозрении“ (январь 1901 г., а не в 1902-м). Рецензия эта в 1905 г. перепечатана была в Пачаеве под брошюрной (не для продажи) и была, кроме того, напечатана в неофициальной части № 22-го „Возвышения Епархиальных Ведомостей“, от 1 августа 1905 г.: „К характеристике современных деятелей. Кн. С. Н. Трубецкой. (Византийское учение о Логосе в современном его истолковании). Глаголет, та же рецензия перепечатана в полном собрании сочинений Антиония, изд. 2-е, 1911 г., т. III, стр. 189—203.

⁹² Перевод: Я молчу об отечестве, подавленный слезами. — Грингмут, Владимир Андреевич (1851—1907)—редактор „Московских Ведомостей“.

⁹³ К—ва. С. Как учится молодость в Париже? СПб. 1905.

⁹⁴ „Почаевский Листок“. 1904 г., июль, № 22. То же — „Моск. Ведом.“, 1905, № № 13, 197 и 188, 10, 11 и 12 июля. Перепечатано в полном собр. соч., изд. 1911 г., т. I, стр. 169—178. — „Почаевские“ направлены против социалистов, сектантов, католиков и униатов.

⁹⁵ Манифест о законодательной (т. наз., бюджетной) думе, от 6-го августа 1905 г.

⁹⁶ Стихи были, очевидно, даны в приложении к письму; в нашем черновике они записаны в самом тексте — собранно и неразборчиво.

⁹⁷ Константин Петрович Победоносцев.

⁹⁸ В марте 1905 г. св. синод представил Николаю II адрес и всеподданнейший доклад о созыве собора для избрания патриарха и разрешения ряда вопросов церковной жизни: о разделение России на церковные округа, о пересмотре законоположений о существующих органах церковного управления и суда, о благоустройении прихода в религиозно-нравственном, благотворительном и просветительном отношениях, об усовершенствовании духовно-учебных школ и т. д. Николай подал 31-го марта на докладе резолюцию: „Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне тревожное время столь великое дело, требующее спокойствия и обдуманности, каково созывание поместного собора. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, по древним примерам православных Императоров, дать сему великому делу движение и собрать собор Всероссийской Церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления“. Таким образом, мысль о соборе была в принципе одобрена царем. 24-го июня Победоносцев вошел в синод с пространным предложением, указывая на необходимость немедленно приступить к подготовительным трудам по созыву собора. В июле синод указом (от 27-го числа) поручил епархиальным псаломщикам войти в суждение по вопросам, затронутым в предложении обер-прокурора и предположенным в рассуждении на соборе, с тем, чтобы соображения архиереев были представлены в синод не позднее 1 декабря 1905 г. Об исполнении этого синодского указа и говорит, очевидно, епископ Антоний в своем письме: „Затем начал писать ответ на запросные пункты „к предстоящему собору“, разосланные К. П.—тем“. 17 декабря Николай II принял по вопросу о соборе, катронолича петерб. Антония, митр. моск. Владимира и митр. киевского Флавиана, а 27 декабря он обратился к митр. Антоцию с рескриптом, предлагая ему, совместно с Владимиром и Флавианом, определить время собора. 16-го января 1906 г. царь утвердил доклад об учреждении предсоборного при- утствия, которое и открылось 1-го марта того же года, при участии, между прочими, Антония Волынского. Сводка архиерейских ответов на запросные пункты печаталась в „Церковных Ведомостях“, в прибавлениях. В № 6, 11 февраля 1906 г., напечатаны первые две записки еп. Антония: 1) о составе ожидаемого собора, в которой автор выступает безучастным противником участия на соборе священников и мирян, находим, что „ничто, кроме епископов, не должен быть допущен на собор“ (с. 269), и 2) о приходе, выборе священников и др. (Несколько отрывков из этой второй записки, продвигаясь в „Церк. Ведом.“, помещены в „Волыск. Епарх. Ведом.“ № 6, 21 февраля 1906 г. (ч. неоф.). В № 3 „Церковных Ведомостей“, 25 февраля 1906 г., напечатаны еще две

записки еп. Антония о духовной школе и о патриаршестве. — Докладные записки Антония перепечатаны были в 1908 г. отд. брош.; а впоследствии вошли в полн. собр. соч., изд. 1911 г., т. III, с. 423—532.

16) „Христианское Содружество учащейся молодежи“ — одно из наиболее ранних объединений „патристического“ студенчества, призывавшее к Обществу Распространения Духовно-Православного Просвещения. В письме, написанном в декабре 1903 г., в ответ на запрос известного харьковского религиозного деятеля, проф. А. С. Вазнизя, В. Никольский характеризовал „Содружество“ следующим образом: „Я был... называемое общество богословскими собраниями светской учащейся молодежи. Собираются по повесткам для докладов... и для проповедей... и, паче и конча заседание молитвой, расходится. На собраниях присутствуют „гости“ из молодежи и „старшие члены“ содружества — духовенство из О. Р. Д.-Н. П. и приехавшие к содружеству преподаватели высших учебных заведений, в сущности только Духовной Академии и Университета. Бывают и сторонние посетители... Собирающиеся там молодежи, по словам Никольского в том же письме, доставляет ему „минуты самого глубокого нравственного наслаждения“. Не в действительной стороне собраний дело. Всего прекрасней и возвышеннее нравственный их строй. В наше нудное время это что то вроде чуда...“

17) Окружное послание к волынской пастве, за призывом которого Никольский благодарил епископа Антония, напечатано было в „Волынских Епархиальных Ведомостях“, № 29, 11 окт. 1905 г., и в „Почаевском Листке“, № 40, окт. 1905 г. Заключив для своего летнего пребывания в святой и чудотворной Лавре Почаевской и уговаривая к переселению на зиму во град Житомир, епископ „милостиво“ прощается с волынской сельским народом и призывает его помнить о том, чему его учили в лавре, и не слушать безбожников, мистификов и ересотворителей. Послание заканчивается приглашением „благочестивых сельских богомольцев“ прибыть 29 октября в Житомир, дабы почтить память преподобномученицы Анастасии Римляныни. — Послание перепечатано впоследствии в полн. собр. соч., изд. 1911 г., т. I, стр. 483—488.

18) Слово на заключенье мира с Лигией было произнесено в житомирском кафедральном соборе 9-го октября 1905 г. („Почаевский Листок“, № 42, окт. 1905 г. Полн. собр. соч., изд. 1911 г., т. I, с. 143—147). Епископ задает вопросы, почему Россия в войне потеряла поражение. В прежних войнах, напр., в Крымской и русско-турецкой, „за войском стояла единопутная Россия, вдохновляла героев одним чувством как бы из одной материнской любящей груди; тогда они (т.-е. воины. III. Д.) чувствовали за собой иссякающее одушевление, как одну багровую стену. Тогда они защищали единую Святую Русь, ту самую, за которую прежде умирали их предки“.

„А ныне чем сделалась их родина, в значительной части своего передового общества? не вертепом ли разбойников—вместо храма молитвы? Не скопищем ли зордастующих недоброжелателей вместо сочувствующих братьев и сестер? За кого должны умирать юности-солдаты?“

„... О, не тому двинуся мы, что прежние солдаты стремительней бросались на врага и одолевали его, сравнительно с борцами Японской войны, но тому, что эти последние все-таки держались и бились, изумляя врагом своим бесстрашием, бились за родину, которая излагала им закон за добро“.

Вину несут, однако, не одни изгнанные отечества, а и другая часть населения и. „В Благовещенске, на Амуре,—вспоминает еписк. Антоний,—пять лет тому назад, мы допустили жестокое дело. Несколько тысяч китайцев, бывших в услужении у русских граждан, для общей безопасности последних, были обманом уведены из города и закиданы в реку, где нашли свою неминуемую гибель... Так Россия явила Востоку не русскую широту духа, человеколюбие и доверчивость, а только „животное самосохранение, ни вред чем не оставался“... „Это черная вина наша, ибо Бог еще в Ветхом Завете на целом народе выискивал грехоначальника его полководцев“.

„Вторая вина заключается в изнурении наших чудес со стороны людей двойных, но законом с благочестием наших солдат“. Таково было название Порт-Артур-

ской иконы Божией Матери, или пророчества Серафима Саровского о предстоящей, через год после открытия его мощей, победе над англичанами; или измышленно, видения солдата, „согласно коему, по взятии русскими Цонской столицы, должен всплыть корабль с адмиралом Макаровым, а затем после торжественного парада всей русской эскадры, снова опуститься на дно“.

„За такие суеверия, за это поругание истины и веры глупыми современными баснями Господь не внимал и искренним молитвам измученных и оставшихся русских людей. Надо благодарить Его за то, что Он мало нас покарал, и помыслить, что Он ужасно сердился над Россией ради ее достойных сынов, ради простого, черного народа и ради благого, праведного и веропрощающего государя“

²⁰⁾ Оценка эта относится, конечно, к манифесту 17-го октября.

²¹⁾ В Томске 20-го октября 1905 г. имел место страшный погром, с поджогами зданий упр. служб пути и таги Сиб. жел. дор. и массовыми убийствами. — В Твери 17-го октября подожжено здание губернской земской управы; находившиеся в нем земцы и служащие были избиты. — В Киеве 19-го и 20-го окт. имел место еврейский погром. — В Феодосии с 19-го на 20-ое окт. сожжена городская управа.

²²⁾ 19 октября 1905-го г. дан был указ сенату об освобождении К. П. Победоносцева от должности обер-прокурора синода и рескрипт на его имя. На его место назначен был князь Алексей Дмитриевич Оболенский.

²³⁾ Перевод: Он способен.

²⁴⁾ В разгар октябрьской забастовки, 16-го числа, в московских храмах было произнесено, по распоряжению московского митрополита Владимира, поучение: „Что нам делать в эти тревожные дни?“ (Напечатано в „Московских Ведомостях“, № 276, 16 окт. 1905 г.). Текст и редакция поучения не принадлежали, по словам митрополита, лично ему, но составлено оно было по его поручению. Речь шла в нем о происходящей забастовке, о ее тяжких последствиях, о самых стачечниках и их руководителях-революционерах. „Пора нам одуматься, — начинало поучение, — пора перестать быть равнодушными к этому великому бедствию на Руси, пора стряхнуть с себя духовную лень и больше не подпускать к себе и в деталях наших этих опасных затуманенных людей (т.е. революционеров-агитаторов). Говорят, что человек, потерявший страх Божий и совесть, человек, которому закон не писан, который потерял и страх человеческий, такой человек хуже всякого лютого зверя. И нам грозит беда, что в таких людях зверей и обратятся все эти одичавшие толпы разных забастовщиков, концы руководят безбожные анархисты. Вот этого-то и желают, этого-то и добиваются всесильные наши заклятые враги, подпольные наши крылольники и их заграничные руководители. Братья, ужели мы допустим это? Ужели и теперь будем безучастно смотреть на все эти безобразия?“ Так что же делать? — Надо молиться, надо встать... И надо, вместе с тем, и помнить, что „каждый из нас есть сын родной земли, верный подданный своего Царя“... „Будь любящим сыном родной земли, будь беззаветно преданным слугою своего царя. Исполнишь то, чего от тебя потребуют слуги Царевы, что скажут тебе пастыри Царя. Будь готов умереть за Царя и за Русь. Вспомни, как предки твои бесстрашно за Него умирали. Вспомни, как простой посадский человек, по-нынешнему мещанин, Козьма Минин Сухорук поднял Казань, а за ним и всю Русь на защиту Родной Земли. Посмотри, как он, на своем памятнике, благородно-энергично показывает на родной, заветный, столь славный для русского сердца Кремль болящему князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Вспомни, как вечнопамятный Костромич крестьянин Иван Сусанин с радостью и мужеством положил душу своею за Царя, в куски изрубленный врагами-поляками. Не всем судил Бог быть такими героями, но всем заповедал: что отца твоего и мать твою. Цари чтите, братство-народ возлюбите!“... В таком сильно приподнятом тоне выдержано было и все поучение.

В то воскресенье кое-где в церквях имели место экспромсы. В протестных кругах общества поучение вызвало сильное негодование. Раздались протесты также из среды самых священнослужителей. Синод, как показывает определение его от 22 октября,

тоже признал в некоторых частях поучения „как бы призыв местного населения к самозащите в области политических убеждений, что при одностороннем толковании могло послужить причиной междоусобного раздора среди населения, проявившегося даже в самих храмах“.

Митрополит Владимир отказался на выдвинутые против него обвинения письмом в редакцию „Русского Слова“, в котором он наставлял, что задача поучения состояла только в умилении сердец, отжесточенных партийною борьбой, и в способствовании „прекращению всеобщей забастовки, дальнейшее продолжение которой сделало бы невыносимым положение беднейших классов населения“. „Если же, — писал он в письме, — два-три неосторожных выражения, допущенные в этом поучении (результат неосведомленности, с какою оно по необходимости составилось) смущали совесть некоторых из слушателей и в двух местах послужили даже поводом к нарушению церковного благочиния, то я глубоко скорблю об этом и еще раз заявляю, что проповедь имела целью пробудить во всех вообще, в забастовщиках в особенности, чувство раскаяния, умиротворить население и соединить его для мирной работы, и я крепко сомневаюсь, чтобы кто-либо из благонамеренных слушателей мог понять его, как призыв к насилию и истреблению участников освободительного движения“.

Скоро, в московских газетах от 24-го октября, опубликовано было небольшое воззвание митр. Владимира к населению Москвы, содержавшее призыв к прекращению братоубийственной распри раздоров. „Взвешивайте в чистоте православную веру и добрые обычаи ваших предков, — говорило воззвание, — но да не будет у вас иного щита, кроме „щита веры“, и иного меча, кроме „малога Божия“. А „всякое насилие над ближним, хотя бы и несогласным с вами по убеждениям, недостойно христианина“...

В то время, когда Никольский писал настоящее письмо, митрополит Владимир находился в Петербурге. В прессе были тогда сообщения о намерении его уйти на покой.

*) Священник Павел Лахостский — был распорядителем Содружества.

*) На последней странице письма (6-ой), в верхнем правом углу, написано: „При(с)ожия: Благоухаю душо (стих)отворение — III. Л.) и Павловский крест“. Приложенный у нас, как уже сказано, не было.

*) Письмо к Победоносцеву было в 1906-м году напечатано. См. „Волынск. Епарх. Вед.“, № 24, 21 августа, ч. неофц., также отдельно; вошло в полное собр. соч. Антония, изд. 1911 г., т. I, с. 540—543.

*) „Почаевский Листок“, № 44—45, окт. 1905 г. „Слово Преосвященнейшего Епископа Антония, сказанное в житомирском кафедральном соборе 21 октября 1905 г. (Для прочтения „Отцами Иереями в храмах в ближайшее воскресенье)“. Слово было приурочено к годовщине восшествия Николая II на престол и, в большей своей части, посвящено было характеристике личности царя. Прославляя сь его смиренномудрие, благочестие, братолюбие, миролюбие и т. под. добродетели, и в итоге он был признан Антоном благостнейшим и кротчайшим из русских царей. В слове, сказанном через 4 только дня после 17-го октября, манифест обходился молчанием. Говорилось обще о преобразованиях новейшего времени, при чем это место речи было обставлено любезными оговорками. „Последние года своего царствования Государь ознаменовал добрым и добродушным сердцем и разумом русского населения, и вот оно, не осознавшие своими порядками жизни, теперь повсеместно бунтует. Не наше дело обуздывать, насколько подданные сии порядки к современной России (курсив здесь и ниже маш. III Л.), ибо говорю вам о Царе-человеке и христианине, а не о делах государственных; но являю для меня то, что дух нашего Государя не способен требовать послушания за страх, но за совесть, что, имея сам душу чистую, Он верит и в других людей и постигает согласно такому доверию. Учись и сему, русский человек, у своего Государя; старайся о том, чтобы все больше и меньше добиваться добрых целей чрез страх и принуждение, и не переставай взывать к разуму и к совести твоих ближних. Насколько сие удобоосуществимо в делах государственных, о сем говорить мы не решаемся, но то, которое связано с ближним личною властью,

личными отношениями, т.-е. фодителн, учителя и хозяева, пусть знают, что толк! Когда они достигли цели своего назначения, когда не за страх, а за совесть пов- пуются на дети, учения и подчиненные служащие“.

Элементы скепсиса и полу-критики Антоний внес и в свои рассуждения о „миро-любии“ царя Николая: „Наш Государь, желая распространить свое примиряющее добродетельное настроение на весь мир, созвал правительств всех народов на Гаагскую конференцию для обсуждения мер к полному прекращению международных войн из: до крайней мере, к возможному их облегчению. Достигнуть первого, конечно, было невозможно, ибо, по слову Господню, войны не только не прекратятся, но весьма умно- жатся к концу времен; но все-таки эта конференция значительно облегчила жестокости и коварство военных столкновений между народами“. От царского миролюбия отчасти зависела даже судьба России в войне с Японией: чуждый волеи военного зазора, Ни- колай и другие правительства считал миролюбивыми, „а потому Россия подверглась унижению Японии совершенно неподготовленной“! (Ср. слова Никольского в приво- димом выше III письме: „За Гаагскую конференцию мы заплатили Артуром и Цусимой“).

Так, уклоняясь от широкой постановки вопроса „о делах государственных“ и предпочитая говорить не о степени государственной мудрости царя, а о его человеко-любии и христианских добродетелях, Антоний все же использовал высокоторжественный стиль и для того, чтобы намекнуть на „исудебосуществность“ тех начал, которые, будто бы, лежали в основе внешней и, особенно в последнее время, внутренней поли- тики Николая. Но главной целью слова была, конечно, не критика, а нужно было воодуше- вить толпу слушателей; а для этой цели такие намеки на слабость Николая, как правителя, годились не менее, чем восторженные похвалы его силрению и любви к ближним. Предтечи или царя послыхавшо кротким, незлобивым, доверчивым, брато-любивым великим негоюванкем мог обрушиться на крамоулянков, уподобленных ту крамоу- ливному, которые „также в тем боольшую приходили ярость, чем более слышали о кротости и незлобии Спасителя“.

Вспомни, однако, вина пред государем не только мятежников и забастовщиков, а всех тех, кто недостаточно сжедо им противясь, тем самым помогая развиваться крамоу- ле. Но теперь, — восклицал Антоний, — когда она открыто бестинетует в наших руках, когда она гадко заглушает своими выходами всю Русскую землю, когда она шкелет в глаза, о, Россия Русь, — теперь стыдом и разжалованием исполнены сердца наших. Теперь мы понимаем, как должны были мы беречь Тебя, о, возлюбленный пани Государи, теперь мы понимаем, что Ты один, Ты и никто более, надежный щит нашей рас- торгани-той России, и Твои враги суть злешие враги России.

О, Государь! если бы Ты знал, как безраздельно предан Тебе Твоей парод и душа во- ссиян императора.

О, Государь! если бы Ты знал, сколько миллионов русских сердец дали бы себя за Тебя, за Твое благополучие!

Надо, чтобы царь в этом убедился: тогда, б. ж., его кроткое сердце найдет в себе силы, чтобы простить своих неблагодарных подданных и не замыкаться для них на- всегда. Если будет так, то и Господь не отвернется от них. „Но если долготерпение блаженного праведника истощилось, и он в своем сердце проклинает нас, то этого волеи праведника достигает небо и низводит на нас промание Божие, как говорил Господь Моисею, и тогда уж никто не спасет русскую землю от конечной гибели, и ко- торую караются Господь ее внутренние враги.“... (Слово о царе впоследствии перепеч. в подл. „Собр. соч. изд. 1911 г., т. 2, с. 148—154).

Упомянутый здесь и в других местах митрополит с.-петербургский и ладожский и кервентствующий член синода Антоний (з мире Александр Васильевич Вацковский) — был одним из наиболее терпимых и либеральных, сравнительно, первых деятелей своего времени. До известной степени можно считать показательной для позиции М. Анто- ния и тогдашнего синода речь, сказанную им от имени синода на приеме посланцев

... (Слово о царе впоследствии перепеч. в подл. „Собр. соч. изд. 1911 г., т. 2, с. 148—154).

укрепления основ нового порядка зависит расцвет жизненных сил народа русского, что синод признает великое историческое значение манифеста 17-го октября и в выражение своей верноподданнической благодарности подносит царю икону и т. д.

²⁹⁾ В „Волыск. Епарх. Вестн.“ место это выражено несколько иначе (здесь, вероятно, восстановлен был подлинный текст обращения еп. Антония к Победоносцеву): „Один легкомысленный ваш диффаматор предсказывал вам тяжелую смерть. Я, напротив, уверел, что ваша кончина будет христианская, неостыдная и мирная. Но я желаю, чтобы ей предшествовала еще долгая и безболезненная старость не для того, чтобы видеть вакханалии революционеров, как они вам того желают, но чтобы вы еще здесь на земле увидели русское общество, образумившееся после взрывов народной мести за поругание его святынь, чтобы вы могли увидеть входы интеллигенции возрожденной, народной, православной“.

³⁰⁾ Записки, как указывалось в приложении к VI письму, были в начале 1906 г. напечатаны. Кого еп. Антоний здесь имеет в виду под близким человеком, неясно: б. м. (это вероятно весьма), речь идет об определенном лице, б. ж., о близких людях вообще.

³¹⁾ О графе Алексее Павловиче Игнатьеве см. прим. 34-е.

³²⁾ Перевод: Не для святейшего синода, а лишь для чуткого сердца святейшего, уважаемого, дражайшего епископа Антония, которого я никогда не называю иначе, как ради того, чтобы высказать уважение, хвалу и благодарность.

³³⁾ Это место письма способно создать впечатление, что К. П. Победоносцев по собственной инициативе оставил после 17-го октября свой пост. Оставляя открытым вопрос о том, как в действительности было дело, мы ограничимся приведенным относящимся к отставке П--ва строк из „Воспоминаний“ Витте:

„В Петергофе я успел объяснить только по следующим вопросам. Во-первых, было решено, что обер-прокурор Победоносцев оставаться на своем посту не может, так как он представляет определенное прошедшее, при котором участие его в министерстве омывает у меня всякую надежду на водворение в России новых порядков, требуемых временем. Я просил на пост обер-прокурора святейшего синода назначить князя Алексея Дмитриевича Оболенского...“

Его Величество сразу согласился, что Победоносцев остаться не может, и распоряжился, чтобы он оставался в Государственном Совете, как рядовой член, и на назначение вместо него князя Оболенского. Затем мне пришлось ходатайствовать, чтобы на Победоносцева осталось полное содержание и, до его смерти, чтобы он оставался в доме обер-прокурора на прежнем основании, т. е. чтобы дом содержался на казенный счет. Я, кроме того, заехал к министру двора обратить его внимание на то, чтобы со стариком поступили возможно деликатнее и чтобы Его Величество ему Сам сообщил о решении частного.

Если бы я об этом не позаботился, то Победоносцев просто на другой день прочел бы приказ о том, что он остается просто рядовым членом Государственного Совета и basta“ (Т. II, с. 59).

³⁴⁾ Игнатьев, Алексей Павлович, родился 22-го мая 1842 г. С 1877 г. граф. В 1883 — 1889 гг. состоял Иркутским (вост.-сиб.) генерал-губернатором и командующим войсками иркутского военного округа. В мае 1889 г. был назначен товарищем министра внутр. дел, но, не успев вступить в должность, получил — в августе того же года — новое назначение: на пост киевского, польского и волынского генерал-губернатора. С 1896 г. Игнатьев был членом Госуд. Совета. В конце 1897 г. он оставил генерал-губернаторский пост, как раздался впоследствии в „Киевлянин“ Д. И. Пихля, — вследствие того, что считал „направление нашей внутренней политики шатким и неопределенным“ и предложил, что оно станет шатким и относительно охраны, в частности Юго-Западного края.

В дальнейшем, он развил особенно интенсивную политическую деятельность во время первой революции. В нашем распоряжении было два письма к Борису Никольскому В. М. Сырцова, от марта месяца 1905 года. Письма эти позволяют предположить, что тогда уже „делом“ Игнатьевых (графа и графини, — весьма известной истом) была

местом, где собиралась „избранная“ реакционная публика, а также, что именно тот момент надлежит считать началом знакомства (или, во всяком случае, началом более близкого знакомства) Б. В. Никольского с А. П. Игнатьевым.

В первом письме (14-го марта) В. Скворцов писал: ... „Вчера я заходил к Вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение и исполнить поручение графа Алексея Павловича Игнатьева, который просил передать Вам его искреннее уважение к Вашей мужественной патриотической деятельности по укреплению идеи самодержавия в сознании сближаемого толку общества. О Вашей прелестной, убежденной лекции о самодержавии много говорят в обществе высшем. Графиня Софья Сергеевна Игнатьева и граф Алексей Павлович очень бы желали и поручили мне просить Вас: не возьмете ли Вы на себя труд повторить Вашу лекцию у них в салоне для избранной публики. Графиня предлагает соединить с Вашей лекцией благотворительные цели в пользу Красного Креста. Если Вам угодно будет выразить Ваше просщенное согласие, то благополучие“ и т. д. Через два дня Скворцов писал Никольскому, что граф Алексей Павлович очень тронут его готовностью повторить у них доклад и просит Никольского пожаловать к нему (указан адрес Игнатьевых и время), чтобы лично переговорить по этому предмету. Доклад, по всей вероятности, был читан Никольским у Игнатьевых на той же неделе, 18-го числа.

В начальный период первой русской революции Игнатьев принимал близкое участие в работах, вызванных указом 12-го декабря 1904 г.: он был поставлен председателем особых совещаний по пересмотру исключительных положений и по вопросам веротерпимости. Помимо того, он, по поручению Николая II, предпринял поездку в Херсонскую и Екатеринославскую губернии. В заседании петербургского совещания 19-го июля того же года он говорил об этом: „По Высочайшему Вашему Императорского Величества повелению, я объездил Екатеринославскую и Херсонскую губернии и имел счастье представить Вашему Величеству три адреса от местного сельского населения, в том числе и от колонистского населения. Все местные жители просят избавить их от равноправности евреев и о сохранении Самодержавия“. В Петергофе, как известно, обсуждался булыгинский проект Гос. Думы. Игнатьев был там в числе противников проекта. Высказанные в заседаниях мысли он повторил и подчеркнул с особым мнением, которое представил Николаю накануне 6-го августа.

„Положение о Государственной Думе,—писал он,—является произведением или измышлением канцелярии и совета министров; оснований для такого учреждения не имеется ни в истории нашего отечества, ни даже в истории западно-европейских государств“. Неизвестно, как привьется новое учреждение на русской почве. Если земские учреждения, особенно губернские собрания, превратятся в политические говорильни, то где основания утверждать, что Дума, составленная из тех же частей, что и земские собрания, собранная со всей России, будет удержана в рамках проектируемого закона? Учреждение Думы никого не удовлетворит, ни крайних, ни большинства, так называемых интеллигенции, ни подавляющего большинства истинно-русских людей. Приходится поэтому опасаться забастовок при выборах в Думу, при принесении присяги, наконец, попытки превратить Думу в учредительное собрание. „Не сомневался, что такая попытка будет немедленно подавлена и Дума распущена, нельзя, однако, не предвидеть тех осложнений, с которыми при этом встретится правительство“. „Не следует также забывать, что если, чего Боже сохрани, попытка созвать учредительное учреждение в решающее, ограничивающее самодержавие увенчалась бы успехом, то многочисленные массы народа русского ринутся на защиту Царя, Его священной власти, против „господ“, затеявших ограничить эту власть. Не дай Бог дожить до этого“. Наконец, если даже Дума окажется на высоте призвания и спокойно займется своим делом, то едва ли возлагавшая на нее кропотливую, сложную работу окажется по силам ей, особенно ее депутатам-крестьянам.

Булыгинская Дума не удовлетворила, как правильно предсказывал Игнатьев, никого почти, и сама власть в октябре должна была призвать (по крайней мере, фор-

мально) неизбежность „превращения совещательного учреждения в решающее“. Этому, однако, предшествовал краткий период колебаний между уступкой революции и объявлением военной диктатуры. Кандидатом — или одним из кандидатов — в диктаторы был граф Ал. Павл. Игнатьев. Витте передает („Воспомин.“, т. II, с. 28), что он сам указал на него Фредериксу, как на подходящего диктатора, буде царь останется на диктатуре. В другом месте (т. II, с. 50) Витте об Игнатьеве говорит, что он тогда „испугался“. (Газеты в свое время передавали и такую версию, что 17-го октября, днем, назначение Игнатьева уже было совершившимся фактом, и что только непроверенные сведения, полученные в тот момент, о восстании в Черноморском флоте, а также тревожные телеграммы из Берлина о состоянии русских фондов — побудили избрать другой путь для успокоения народа и общества).

После 17-го октября Игнатьев выступает в первом ряду врагов „обновленного“ правительства. Уже к ноябрю, как показывают и публикуемые письма, его называют как возможного преемника графа Витте. Спустя несколько недель, 1-го декабря, „Свободный Народ“ — в заметке „Ищут диктатора“ — писал: „Мы слышали, что слухи о назначении графа А. П. Игнатьева диктатором имели несколько дней тому назад солидное основание. Действительно, графу Игнатьеву была предложена должность с полномочиями диктатора, но он от нее отказался, заявив, что уже поздно“...

В начале декабря он участвовал в Царскосельском совещании по вопросу о расширении избирательного права. Игнатьев заявил себя в совещании противником скорого созыва Думы: „С чем.. правительство встретит думу?“ спрашивал он. „С сознанием, что оно бессильно управлять государством. Это прямой шаг к учредительному собранию“. О том же он писал в своем особом мнении. Как и в совещании, он здесь настаивает: „Мне представляется необходимым прежде всего сложить во что бы то ни стало крамолу, скуту, революцию; нужно восстановить государственную власть во всей ее силе и тогда немедленно созвать обещанную думу“. „Мы слышали, что для борьбы с революцией не хватает войска; необходимо во что бы то ни стало создать силу. Никакая дума эту, силу не создаст, а правительство Вашего Величества должно это сделать. Если не хватает войска, нужно усилить полицию, создать полицейские отряды, наконец, может быть, кликнуть клич, призвать к содействию правительству видных общественных деятелей, призвать добровольцев из ратников ополчения и запасных. Лучше вести их на борьбу хотя сколько-нибудь организованными, чем дожидаться того, чтобы народ стал распри- няться самосудом, чему мы были свидетелями“.

В феврале 1906 г., 14-го и 16-го, происходило в Царском Селе новое совещание, созванное для обсуждения Учреждений Государственной Думы и Государств. Совета. В совещании этом принимал также участие Игнатьев. Он усмотрел в проекте преобразования Госуд. Совета несомненный шаг в сторону конституционного устройства и протестовал против него как в самом совещании, так и в поданной после того царю записке. „Манифестом 17-го октября, — сказал он в своей речи, — существенно изменено положение о государственной думе с предоставлением ей решающего значения. Ныне же пересматривается и учреждение государственного совета. Теперь он упраздняется, как совет монарха по законодательным делам. Вместо него учреждается верхняя палата. Это уже решительный шаг к конституционному устройству, и шаг этот можно делать только сознательно. Несомненно, от державной воли вашего и. в. зависит изменить весь государственный строй (как не вспомнить здесь соображений Никольского о судьбе Павла и пр. III. Л.), но я, по долгу присяги, обязываюсь заявить, что не следовало бы идти далее того, что было даровано 17-го октября“.

Записки Игнатьева царю, цитированные нами, напечатаны были после его смерти в „Киевлянин“ Д. И. Пихто. Он опубликовал и письмо Игнатьева от 4-го марта, при котором эти записки ему Игнатьевым были пересланы. „По совести я сделал все, что мог, — писал А. П. Игнатьев. — Хотелось бы сделать гораздо больше, т. е. не ограничиваться отрицательною ролью, но убедился, что пока ровно ничего сделать нельзя“...

Надо заметить, что писало это Игнатьев писал в то время, когда у него, несомненно, были известные основания считать решенною отставку С. Ю. Витте. Ибо уже 23-го февраля Никольский (а он бесспорно находился тогда в близких отношениях с Игнатьевым, от которого, вероятно, и получал значительную часть информации о положении) телеграфировал Грингхуту: "...Свято храните великую достоверную тайну: убирают нашего друга до, а не после", т.-е. убирают Витте до открытия Думы, а не после. Тому же Грингхуту Никольский писал 4-го марта: "...О переговорах с Дубасовым не могу знать ничего достоверного. Кроме того, сильнейшим кандидатом остается граф Игнатьев 2-й (т.-е., именно Алексей Павлович. *III. Л.*). Но будучи сильнейшим, он имеет и самых упрямых и сильных противников. Знаете, кого проводили в начале? Муравьева, Ринского! Но это, к счастью, провалилось. Теперь остаются Игнатьев и Горемыкин. В пользу Горемыкина есть голоса, но, по-моему, нет доводов, кроме только того, что теперь он „исправился“. Ну, конечно, это по нынешним временам убедительно. Тыфу!..."

14-го марта, в письме на имя П. П. III., Никольский писал: "...Изменили, негодяй и висельник Витте со своим шайкою все еще не выгнан. Порадую Вас, впрочем, достоверною вестью, что его уход до Думы давно уже принципиально решен; все дело в преемнике. Преемник — один: граф Ал. Павл. Игнатьев; но именно потому, что сама сила вышей его выдвигает, готовы назначить кого угодно, только не его. Теперь колебания идут между Муравьевым (бывший министр юстиции; хуже Витте, ибо тот хоть крупный мерзавец; а Муравьев — мелкий жулик), Горемыкиным (бывш. мин. вн. д.) и Коковцевым. Все нигуда не годны, хотя каждый в своем роде. Во всяком случае, лучше будет от ухода Витте; но многие, конечно, завист от того, как именно его уберут. В том же письме Никольский писал о Думе: „По ходу выборов пока ничего еще нельзя предсказать. Дума равно может еще оказаться и революционной, и нашей, черносотенной. Я больше склоняюсь ожидать первого и думаю, что это даже лучше: скорее разгонят ее штыками. А это такая штука, что чем скорее, тем лучше. Хотя среди надвигающихся грозных событий не знаешь, где хуже, где лучше. Мне кажется, что как ни скверно сейчас, а каждое сегодня лучше каждого завтра. Это не отчаяние, даже не pessimism, а просто трезвое политическое наблюдение!..."

Витте, как известно, ушел, действительно, до Думы: на его место сел не А. П. Игнатьев, а И. Л. Горемыкин, вполне, как показали события, „исправившийся“. Дума оказалась достаточно для Горемыкина, Игнатьева, Никольского и им подобных реакционной, чтобы мог быть поставлен в порядок дня вопрос о „разгоне ее штыками“. Впрочем, не всеми он был поставлен одновременно. Одним из первых, позитивному, разгону и в положительном смысле граф Алексей Павлович, хотя возможно, что и Никольский от него не отставал. В начале июля Игнатьев говорил сотруднику „Нового Времени“, что Думу следовало распустить сейчас же, да не допустить ее до того безобразия, в котором мы ее видим. От первых дней июня 1906 г. сохранилось письмо Б. Никольского к гр. Игнатьеву, озаглавленное, до известной степени, обстановку похода против старой Гос. Думы, который предприняла черная сотня: „Позвольте сего, — обращался Никольский к Игнатьеву, — муж добрый и черносотенный, черный, как китайская тушь, и политический сюда требовать послушка Государственной Думы. Я устроил ему, что он для достижения сей благой цели, но засим счел весьма не вредным, чтобы Вы его любезно и с ним побеседовали. Вы сядите беседовать с черносотенцами, а он черносотен, будет обязан думать, что он побывает в гостях у Хозяина (т.-е., у Николая. *III. Л.*) ведь бы Вы нашли возможным, то по получении сей записки не откажите распорядиться, чтобы ему назначили время приема!..."

Когда был выдвинут план кадетского министерства, А. П. Игнатьев выступил в нем и деятельным его противником. Он горячо поддерживал и откровенный проект Горемыкина — немедленно распустить Гос. Думу. О том, сколько Игнатьев тогда проявил энергии и „святого полемизма“, после его смерти рассказывал в „Известиях“ А. Савинко. Но русская Дума Игнатьев рассматривал не как факт издевательский, а как шаг к прогрессу.

программы, в основу которой легла бы „борьба с анархией“. „Я много занимался вопросами внутренней политики, — говорил он в уже упомянутой беседе с сотрудниками „Нового Времени“, — и для меня было очевидно, что прежде всего необходимо остановить анархию, посадить революцию на свое место, загнать ее в преисподнюю, а уже потом приступить за устроительную работу“. Для борьбы с анархией „необходима энергия и сознательная сила. И. Д. Горемыкин человек „мягкотелый“, и он не сумеет справиться с анархией. Вспомните Галифе... Разве он хотя одну минуту задумался над расправой с коммунарами? Мягкость и добросердечие в такие моменты часто оплачиваются еще дороже последующими событиями“. (Беседа эта, по просьбе Игнатъева, не была тогда напечатана. Она опубликована после его смерти).

Инициатор проекта кадетского министерства генерал Трепов — потерпел на этом вопросе поражение. 2-го июля Николайский писал Грингмуту, что „Трепов вовсе уничтожен. Царь его не принимает и с ним не разговаривает“. „...Горемыкин по-прежнему никаких компромиссов не желает“. Но о роспуске, как решенном деле, он отнюдь еще не говорил. Лишь 6-го он известил Грингмута по телеграфу, что „операция решена, срок неопределен, но близок. Если припадки, применят деятельный массаж“. — Говорилось и о Тропове: „Р. Тем. изъято из обращения, вовсе конечно, не принимают более трех недель, прописывается чисто номинально“. 5-го вечером узнал о роспуске от А. П. Игнатъева находившийся тогда в Петербурге сотрудник „Киевлянина“ (последствия член Думы) Савенко. 8-го июля был опубликован указ о роспуске: задержка вышла, по сообщению Савенко, оттого, что власть, опасаясь волнений, решила предварительно занять всю столицу войсками.

После первой Думы Игнатъев высказывался за изменение избирательного закона, но его не послушали. До второй Думы он не дожид. 9-го декабря 1906 г. он был убит в Твери, во время губернского земского собрания, социалистом-революционером Сергеем Николаевичем Ильинским. Ц. К. П. С.-Р. опубликовал об этом следующее объявление в № 4 „Партийных Известий“ (от 5-го января 1907 г.):

„9-го декабря Лет. Боевик Отрядом Центр. Обл. П. С.-Р. приведен в исполнение смертный приговор над признанным главою „звездной палаты“, вдохновителем тайных черносотенных организаций, кандидатом „реакционной партии в „диктаторы“, бывшим крутким и киевским ген.-губернатором гр. А. П. Игнатъевым. Приговор исполнен членом Л. Б. О. Серг. Ник. Ильинским“.

А на другом фланге, епископ Платон, как бы подтверждая оценку, данную эсерами Игнатъеву, говорил о нем, что „он являлся единственным из государственных деятелей, имя которого было на устах всех русских, когда им приходилось особенно трудно. Среди общей растерянности, слабости и метания из стороны в сторону, как же можно было наблюдать в правящих сферах, всем казался твердым один только Алексей Павлович“...

Об А. П. Игнатъеве см.: „Киевлянин“ 1906 г., №№ 342 и 354; „Новое Время“ 1906 г., № 11044; протоколы нелегальных совещаний (в кн.: „Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования“. Изд. журн. „Голос Минувшего“, — и отдельно); протоколы царскосельских совещаний в „Былое“, 1917 г., №№ 3 и 5—6; С. Ю. Витте, Воспоминания, и др. — О С. Н. Ильинском см. в кн.: И. Брильов. На каторге. Петр. 1917 г.

*) „Волынские Епархиальные Ведомости“, № 34, 1 дек. 1905 г., часть неофициальная.

*) Мы считаем здесь уместным познакомить читателя со взглядом Николайского на роль черносотенного террора против деятелей освободительного движения, высказанный в ряде писем 1906 г., во время первой Государственной Думы.

Вот выдержка из его письма в Вологду: „Думы грозят террором и забастовками в случае отказа в амнистии. Но я думаю, что угроза не страшна. Черная сотня, до сих пор мифическая, наконец, явится и начнет на террор отвечать террором всенародно уже не бессмысленными погромами пушечного мяса революции, но на убийствах“.

каждого нашего ответа убийствами десятка главарей иской крайности. Это средство самое верное и неосложненное. Когда на пять-шесть наших они потеряют 50—60 своих вождей, весь террор как рукою снует, и надолго. По моему суждению, минута возмездия близится“.

В Иваново-Вознесенск Никольский писал (7 мая): „...Могу Вам с уверенностью сказать, что амнистия никакой не будет: в совете министров это решено бесспорно. Газеты лгут. Разгонять Думу не хотят до последней крайности, и это, по-моему, прекрасно; впрочем, разбойники думцы грозят забастовками и, главное, рядом отчаянных покушений, если амнистия не будет дана. Вот тут-то, и настанет время черной сотни. (Курсив здесь и ниже Никольского). Правительство одно не в состоянии справиться с этими адювитами гадинами. Но если на их террор ответить своим террором и за каждого убитого нашего избивать по 5, по 10 главарей красногвардейцев, они скоро очнутся. Главное то, что ответный террор должен выражаться не открытым погромом над ничтожной мелюзгой, а тайным истреблением, и притом заведомых главарей: не местных даже агитаторов, а именно общеизвестных руководителей, и не око за око и зуб за зуб, а, повторяю, за одного, напр., Дубасова истребить всех депутатов от Москвы и Петербурга, а Витте на придачу. Я твердо убежден, что после пяти-шести таких опытов покушения прекратятся навсегда. По слову великого французского поэта Шенье, обезглавленного во время революции, „истреблять бесщадно этих адювитах гадюк значит дарить жизнь людям“. Но, впрочем, — страшен сон, да милостив Бог. Угрожать гораздо легче, чем исполнить угрозы“...

Одному киевскому черносотенному деятелю Никольский писал (8 мая): „...Левые Думцы заявили, что если амнистия не дадут и смертной казни не отменят, то они ответят таким террором и покушениями, каких еще не бывало. Но, во-первых, тогда их немедленно и расчистят; а, во-вторых, тогда ошелощенное общество на террор ответит не грубым самосудом и бесполовыми погромами, но тоже террором, только более сильным; поверьте, что если на гибель каждого из наших проснувшийся народ начнет отвечать истреблением десятка их главарей, то весь террор мгновенно прекратится. Вся суть именно в том, чтобы спрашивать ответа не с пушечного мяса революции, а с ее главарей, у которых все што-крыто; не избивать жидов, а уничтожать их вождей и авторитетов. Иного способа, разумеется, нет. Но, даст Бог, до этой крайности еще и не дойдет. Среди кадетов назревает раскол, особенно с так наз., трудовики. Аладин и ему подобные очень скоро, по-моему, должны стать хозяевами положения в Думе, — и вот тогда мы посмотрим, как сами кадеты взовет и станут молить о мерах обуздания“...

Кстати, из того же письма видно, что Никольский, отзывавшийся раньше (см. примеч. об А. П. Игнатьеве) более, чем неодобрительно, о Горемыкине, после назначения последнего перемены свое о нем мнения. По поводу сообщенного ему из Киева содержания телеграммы, посланной тамошними черносотенцами на имя царя и требовавшей учреждения диктатуры, мобилизации казаков и т. д., Никольский писал: „...Решительные меры хороши только тогда, когда все уверены, что они будут приниматься настойчиво и последовательно. Если же сменить энергичные меры малодушными уступками, то лучше и не начинать. А ведь у нас шатание-то идет не с низу, даже не с боку, а прямо сверху. Это понимать надо и с этим считаться. На диктатуру, мобилизацию казаков и т. д. не только нет надежды, но и хорошо, что ее нет. Теперь все это не своевременно. Новый кабинет пока не выступил, но мне известны его намерения, и я их одобряю“...

*) В № 50 (декабря 1905 г.) „Почтаевского Листка“ напечатано „Окружное послание к Волынской Пастве“ еп. Антония, — о том, „что не нужно слушать тех, которые побуждают к забастовкам и грабегам“.

„Когда, — писал Антоний, — я слышу о бесчинствах, какие произвели крестьяне в усадьбах некоторых помещиков, то не помещиков я жалею: их, обидя, быть может, искусят некоторые согрешения их пред Богом. Но жалею я вас, добрые крестьяне.

Жаль мне душ ваших, которые вы хотите губить, участвуя в делах разбойнических. С меня Бог спросит о душах ваших. Могу ли я бесечно взирать на тот дух зависти, наглости, дерзости и грабежа, которому желают враги подчинить ваши сердца?

Люди! кого вы начали слушать? нанятых, недоучившихся мальчишек, беглых матросов, изменивших царской присяге, выгнанных учителей, которые поступили в услужение врагам Царя и России.

Люди! вы знаете, кто пишет вам эти строчки? Тот, кого увещания вы так любите слушать во святой и чудотворной Лавре Почаевской.

Люди! вы знаете, что я ваш, ваш мужичий, архiereй, не нанский, не польский а ваш русский, к которому всегда открыты для вас двери.

Итак, слушайте, что скажу вам. Поняли ли вы, почему митесники появились в ваших деревнях не раньше, а сразу после того, как по разным городам крестьяне убили и пожгли огнем бунтовщиков, ругавшихся над царскими портретами около 20-го октября? Бунтовщики испугались простого народа и его любви к Царю. Они увидели, что невозможно им уничтожить православную веру и извести Царя, пока не обезвредят преданных вере и Царю крестьян. Но поняли они и то, что возбуждать народ открыто против Христа и против Царя невозможно, — и вот они решили прежде как-нибудь испортить душу в народе, погрязнуть в нем разврату Божий и совесть христианскую, сделать людей бессовестными и злодеями, а тогда уже не трудно будет повести их и против Церкви Божией и против Царя Православного.

...Они наняли разных негодных людей по одному человеку на каждые пять сел, дабы эти бессовестные и коварные люди, представляясь как бы доброжелателями вашими, которым жаль вашей бедности и нужды, внушали бы вам забастовку и грабеж и притом показывали бы вам ложные манифесты, как бы от Царя изданные"...

Антоний предостерегал крестьян особо против агитации, исходившей от Крестьянского Союза:

„Не верьте всяким воззваниям, какие приносят вам от ложного „Крестьянского Союза в Москве“. Такого союза нет. Посмотрите сами, разве крестьянскими (мужичьими) словами написаны все их митеснические постановления?

Если бы был там настоящий Крестьянский Союз, то на каждой волости выбирали бы туда уполномоченных. А разве у вас таких выбирали в этот Союз? разве кто туда ездил? Нет. Разве настоящие крестьяне могли съехаться в Москве, не отслужив молебна, не послав телеграммы Государю Императору? А разве то исполнили их самозванный союз? Нет, он только осыпал укорами Русское Правительство. Значит, это вовсе не крестьянский союз, вовсе там нет деревенских крестьян, а бунтовщики, обманщики, которых главарей уже арестовали"...

Бунтовщики — „злейшие враги ваши, враги вашего спасения, т.-е., слуги дьявола, который желает погубить наши души“. Но следует также помнить и знать, что на грабителей гнев Божий открывается „еще в сей жизни, прежде чем постигнет их вечное осуждение в жизни будущей“. „Не будем, — призывает в заключение епископ крестьян, — завидовать богатым и желать их достоинства. Будем подражать людям трудолюбивым и добродетельным и желать их духовных дарований"... (Послание переп. в поли. собр. соч., изд. 1911 г., т. I, с. 488—495).

²⁹⁾ „Объединение“, еженедельная политич., обществ. и литерат. газета, начавшая выходить 13-го ноября 1905 г. Статья „Русские речи“, в № 5 и 6, от 18 декабря 1905 г., представляет собою отчет о приеме 1-го декабря царем московских черносотенных депутатов: от союза русских людей, монархической партии, союза землевладельцев и друг. Статья воспроизводит речи А. А. Чехомурова, П. Г. Евстратова, Н. А. Павлова, К. Н. Паскалова, П. Ф. Бузаделя, Л. Л. Кисляковского, В. Н. Ознобишина и С. Ф. Шарпова.

³⁰⁾ Прием депутатов (по сведениям прессы, 23-х, а не 26-ти) от Союза Русского Народа состоялся 23-го декабря 1905 г. В числе депутатов были: А. И. Дубровин, А. А. Майков, П. Ф. Бузадель, А. И. Тришатный, Г. В. Бутин и др.

«Декларация Русского Собрания была принята 31-го декабря 1905 г. Б. Никольский произнес весьма резкую речь, которая министерством двора не была тогда разрешена к напечатанию даже в числе 50-ти экземпляров, о чем хлопотал оратор. Она титалась на собраниях местных черносотенных организаций, напечатана же была впервые в конце 1906 г. в Харькове усилиями Визигица. Во избежание недоразумений с властями, Визигиц, по совету Никольского, сопровождал ее следующим примечанием: „Теперь эта была неоднократно воспроизводима, в самом искаженном или сокращенном виде, газетами. Ныне она подается в печати впервые полностью с подлинника. Все отступления от вполне достоверного нашего текста являются или невольными ошибками, или злонамеренными искажениями“. В 1914 г. речь вышла в СПб. третьим изданием.

„Перед лицом В... И... В... — говорил Никольский, — мы предстали в мучительные дни, когда весь народ начинает с ужасом понимать, что России грозит опасность не только иноземных нашествий и порабощения зарубежному лихоимству, но и внутреннего междоусобного распада, а Вашему Царствующему-Дому не только явный натиск с его проклятыми знаменами, но и великий раскол с народом (Курсив наш. Ш. А.). В такие дни наш долг перед отечеством повелевает нам всенародно засвидетельствовать, что мы принесли присягу на верность и что велеть нам изменить эту присягу или заменить ее другою присягою нельзя никакой власти земной и всех вместе можно было бы той власти, которая сама изменила бы то, в чем мы ей присягали“...

„Нармущая десница Божия тяготее над нами. Война не дала нам побед, мир не принес успокоения. Проклятии международных врагов законности и порядка, сплотившихся во всемирный еврейско-масонский заговор, ведут отчаянную борьбу в лице нашей роины с христианством, просвещением и культурою. Во главе русского правительства поставлен человек, которому никто в мире не доверяет, которого вся Россия презирает и ненавидит, которого каждый шаг встречается всенародным негодованием, которого убийственное бездействие предательски влечет нашу родину в бездну позорных... Убийство, грабеж и разбой царя во всем отечестве нашем. Адам становится Россией и пылаю существование. Сам Бог призывает нас к ответу на рубеже тысячелетия нашего прошлого. События властно поставили грозный вопрос, дожить ли нам нашу историю.

Но, Государь, историю не переломить, если весь народ самого не захочет и не удостоит новой воли своей многолетним несогласием. Горе тем, кто пробными доказательствами безрасчетно вопрошает невнимавшуюся волю народную. Притом же зарево калибровских пушек, ураган немых избиений и небывалое декабрьское побоище в Москве показали с полной очевидностью, что даже в годину смуты, насилия, грабежа и разбоя сам народ на перелом и на предательство не согласен. Он вопиет о власти, о той самодержавной власти, которую доверил некогда предку Вашему не для самодовольного расточения, но дабы преемственно соблюсти ее, как некое сокровище народное, до последнего погошка в доме Вашем во всем величии не только мудрой милости, но и карающего всеоружия. Между тем, уже не первый год Вашего царствования племена ставят себе целью завладеть, — обманом, или страхом, или даже павловскими наводнениями, — августейшею волею Вашей и, достигнув исполнения своих желаний, варварскими указами обманывать монархическую верность народа. Вот почему, во имя Царя и народа и их неразрывного единства, скрепленного присягою, мы, верноподданные Ваши, русские люди, провозглашаем, что не признаем и никогда не признаем иной верховной власти, кроме царского самодержавия, и на ее возрождение обрекаем себя самих, все наши силы душевные и все достояние наше. Те, что вероломно мечтают исподозвать советь народную, ни в чем не находят между собой единомыслия и ни себя опоры: Государь, мы, русские люди, — как один человек, и нашей опорой — племена лет русской истории и его миллионов родного народа“...

„Восстаньте же карающим самодержцем..., да возродится и обновится единение племени с отечеством! Дайте народу русскому стать совместно с В... И... В... на страже

свободы, порядка и законности! Военною властью, мощною военною властью да будет сокрушена, погреблена и сметена безумная вакханал, восстановлено спокойствие, оправдана присяга, спасено отечество. Бездействующие законы да вступят в полную силу, найдя, наконец, исполнителей, желающих или хотющих соблюсти свой долг перед Царем и Россиею. В урочное время пускай водворатся, в пределе закона, правые свободы, пускай соберется, по властному зову, народная Дума, но да водворится сначала державная власть, которая могла бы соблюсти законность и единство расторгнутой ныне родины наших, дать ей внутренний мир и внутреннюю безопасность. В противном случае мы не видим спасения ни Вашему Царствующему Дому, ни нашему русскому строю и ждем только небывалых в истории потрясений, доколе русскою кровью не искупится та несомненная окончательная победа, которая и теперь еще может быть достигнута жертвами, несравненно меньшими!..

⁴²⁾ Слухам о конституционной присяге царя посвящена была передовая статья — „Мы идем опровержения“ — в № 323 „Моск. Ведомостей“, от 22 декабря 1905 г. В № 324 газеты, от 29 декабря, в статье „Разъяснения“, приведен текст опровержения, присланного в газету Вунчем (нем. упр. делами сов. министров) „По приказанию Председателя Совета Министров, сообщая, что слухи, на которых основана передовая статья редакторской ваши газеты от 21 декабря, представляют совершенно пустой вымысел, не имеющий ни малейших оснований“.

⁴³⁾ Черпосотенный юмористический листок — „Виттова Пляска“, „Виттова Пляска продолжается“, „Таврическая Пляска“ и т. д. Приводим для примера „объявление“ из „Виттовой Пляски“: „Скоро поступят в продажу новые каприсы В и т е 25 штук 25 копеек. М о ш е н и к 10 шт. 6 коп. С ющенкек: Альпин-Нарасит“. Или другое, „Новое издание. Новый легчайший способ сделать профессором, Торонитесь! Голем только во время забастовки всех высших учебных заведений и анархии в стране. Склад издания: Университет. Спросить Евгения Тарде. У того же автора, „Миниоумершн или как выгодно на время умереть“. Эпизод из борьбы с царским правительством“.

⁴⁴⁾ Приводим из письма Никольского к Грингмуту, от 2-го июля 1906 г. (письмо уже цитировалось нами в прим. об А. П. Игнатьеве) выдержку, конкретизирующую несколько взгляды Никольского по вопросу о престолу: „Шабел царя и династии, к которому он так часто в публикуемых письмах возвращается“.

„Трепов вовсе уничтожен. Царь его не принимает и с ним не разговаривает. Рейнбот уверен, что Дубасов не вернется в Москву: не в этом ли залог и его жизни? Положение Столыпина становится шатко. Горемыкин по-прежнему никаких надежд и компромиссов не желает. Шинлов был действительно признат, но по моим сведениям для чисто академического знакомства. Царю шлют со всех сторон, чтоб он вовсе разогнал Думу и прекратил эту думную затею.“

Общее положение тревожно и скверно. За границею при мне говорили: Wann werden doch die Russen dieses Idioten los? Легко сказать! Но — помните мое слово около года назад, — что династия погибнет на сербский лад от сибирских офицеров, прошедших в гвардию? Лечинский назначен. Я не о нем говорю; но он поведет за собою сибирцев. Армия ненадежна, истины больше не скроешь. Если еще подождать некого, так разлучаются все стихии. Подлинно, в хорошея мы время живем!..

Ген. Лечинский тогда только что был назначен начальником первой гвардейской дивизии (в армии он командовал 6-ой стрелковой дивизией).

⁴⁵⁾ Встретившись Никольского на съезде Союза земледельцев, перед солдатами Седнеповского полка и на митинге С. Р. Ц. состоялись во второй половине ноября 1905 г.

⁴⁶⁾ Епископ Антоний имел в виду воззвания синода после октябрьских погромов.

⁴⁷⁾ Несмотря на такое хвение омитрополите с.-петербургском, Антонии Волынский не мог нужным обратиться к нему с сочувственным словом через год, когда в „Русском Знамени“ выступил против митрополита с окриками левых доктор А. Н. Добролюбов. Несколько раз Антоний Волынский подчеркивает в своих выступлениях слово „калема“.

тано было в „Вол. Ем. Вед.“, № 36, 21 дек. 1906 г., ч. неофиц.), что его с митрополитом разделяют многие разногласия: „На многие предметы жизни церковной и народной у меня сложились иные взгляды, чем у тебя“. Но он не сомневается в искренности того, что высказывается митрополитом, отказываясь видеть в этом подлаживание к направлению политической минуты. Те из действий митрополита, которые давали повод некоторым представителям патриотических организаций недружелюбно о нем отзываться, Антоний Волынский приписывает в своем обращении к нему не его враждебности к патриотизму и не оппортунизму, не благосклонности к крамольному движению также, но его преданности законам любви, сострадания и смиренномудрия и его отвращению к людям жестоким и гордым, отвращению, череносиному и на предмет: требований этих людей.

Антоний Волынский поясняет, что он вызвался все это сказать сколько повинаясь своему сердцу, столько же и по уверенности, что слово его, которого прославили в газетах черносотенцем (от сего наименования он и не отрекается), приметя русскою паствою доверчивее, чем слово его собратьев.

⁴⁷⁾ Записка еп. Антония о патриаршестве напечатана впервые в „Церк. Вед.“, № 8, 25 февр. 1906 г., прибавлений, стр. 380—384. Если бы восстановление патриаршества совершилось в великом посту, „то не позже Троицы, — пишет он, — состоялся бы и законный Собор Поместный с участием восточных патриархов, а к осени святая Церковь процвела бы такою силою благодатной жизни и духовного оживления, что оно бы увлекло паству далеко-далеко от тех зверских интересов, которыми теперь раздирается наша родина, а Самодержавная Власть непоколебимо и радостно стояла бы во главе народной жизни. По лицу родной страны раздавались бы священные песнопения, а не марсельезы, в Москве гудели бы колокола, а не пушечные выстрелы, черноморские суда, украшенные бархатом и цветами, привозили бы и отвозили преемников апостольских престолов священного Востока, а не изменников, не предателей, руководимых жидами; и вообще революция тогда бы не было ни теперь, ни в будущем, потому что общенародный восторг о восстановлении православия после долгого его плена и подступиться не дал бы сентам безбожной смуты“.

Приключения составлены Ш. Лешным.



Григорий Распутин.¹⁾

Из воспоминаний.

Глава V.

Надзор за Распутиным. — План его удаления из Петрограда. — Назначение тобольского губернатора. — Скандалы Распутина. — Отказ его от поездки по монастырям.

Пока проводилась кандидатура Волжина на должность обер-прокурора святейшего синода, я предписал начальнику охранного отделения, полковнику Глобичеву, всесторонне освещать для меня жизнь Распутина, представляя мне ежедневные, а затем и еженедельные, своды филерских наблюдений. Оказалось, что, вопреки предположениям кн. Андронникова, Распутин сделался осторожнее; приставленных к нему для охраны филеров в квартиру свою не допускал и избегал разговоров с ними. Вследствие этого, филеры были помещены внизу, в швейцарской, а затем в агентуру были взяты швейцар и его жена. Тем не менее, как путем агентурным, так и наблюдениями Червинской выяснилось, что к Распутину лился живой поток людей различных положений и классов общества. За ним приезжали в автомобилях, джипах и являлись его. Он сам часто, стараясь быть незамеченным филерами, черным ходом куда-то уходил и уезжал. Около него образовывались кружки лиц, имевших на него различные влияния, и т. п. Это была колоссальная фигура, чувствующая и понимавшая свое значение, что и сказалось на первых же порах наших отношений.

На своих утренних приемах Распутин раздавал небольшими суммами деньги лицам, прибегавшим к его помощи. Если требовалась большая сумма, то он писал письма для просителей и посылал с этими письмами к знакомым, а часто и к незнакомым лицам, преимущественно из финансового мира. Письма его, написанные безграмотно, с крестом наверху, письма, как пишут обыкновенно лица духовные, ходили во множестве по рукам и составляли предмет своеобразной нелепости; находились любители, которые покупали их и коллекционировали.

¹⁾ См. „Былое“ кн. 20

Все это, в связи с ореолом таинственности влияния Распутина на высшие сферы, с его посещениями ресторанов и частных домов без разбора, куда его приглашали часто напоказ и напавляли, заставляя танцевать, говорить по телефону с министрами, с которыми он находился в хороших отношениях, писать им письма и проч. — заставило нас сильно обеспокоиться не только с точки зрения охраны личности Распутина, высочайше нам предписанной. Оценки были его публичные выступления в общественных местах в различных компаниях, но охранявших Распутина от выходов, о которых потом, иногда в преувеличенном виде, ходили не только в столицах, но и по всей России слухи, связывавшие имя Распутина с именами августейших особ, являясь угрозой идее паризма... Наконец, приближалась сессия Государственной Думы, а думская агентура, сведения от Родзико и других депутатов предсказывали неизбежность выступлений по поводу Распутина при обсуждении сметы министерства внутренних дел.

К тому же наш план сделать кн. Андронникова единственным посредником для сношений с нами Распутина по его делам и ходатайствам не удался: Распутин, вопреки обещаниям, стал засылать своим письмам и присылать просителей не только меня и А. Н. Хвостова, но и наших жен, которые к нему относились в высшей степени отрицательно. Мы увеличили, поэтому, сумму наших выточ Распутину, и мне пришлось, кроме ежемесячной выдачи в 1500 р., давать ему разновременно по 3 т. р. (тайно от кн. Андронникова) и, вместе с тем, через кн. Андронникова и Червинскую, настоятельно просили Распутина, чтобы он к нам на квартиру просителей со своими письмами не посылал, что он обещал делать, но что выполнял только на первых порах.

Все вышеназванное побудило нас серьезно приняться за проведение ряда широких мер, не жалев, по приказанию А. Н. Хвостова, денег из секретного фонда, ибо с именем Распутина связывалось антидинастическое движение в стране. Ряд широких мер, чтобы предупредить проникновение в общество сведений и фактов из жизни Распутина, повлиять на Распутина в смысле большей разборчивости его в знакомствах, развить ряд того же тесную дружескую жизнь около Распутина при помощи расположенных к нему лиц, особенно дам, не проводивших через него своих дел (а таких было очень мало), бороться с рядом ряда влияниями на него и т. п.

По докладу об этом А. А. Змруботой, она согласилась с нашими планами и просила нас отдалить от Распутина лиц, имеющих на него дурное влияние, хотя она по опыту хорошо знала, как трудно было, а иногда бесполезно пытаться влиять на Распутина в хорошую сторону, так как эти попытки только его злоблили.

О наших мероприятиях, отнюдь не ограничивая Распутина, а, наоборот, зашикая его и указывая лишь на обязательку времени и дурные звания влияния, А. Н. Хвостов доложил и государю, получив и его согласие, и благодарности.

Помимо всего, политическая жизнь того времени и наши служебные обязанности требовали от нас слишком много времени. — и мы решили, что

лучше всего было бы удалить Распутина на некоторое время из Петрограда, хотя бы для путешествия по монастырям, и затянуть это путешествие на возможно долгий срок, с тем, чтобы в моменту открытия Государственной Думы Распутин в столице не было. Во время моего директорства, после речи А. И. Гучкова в Государственной Думе о Распутине, такой план удаления его из Петрограда удался, и Распутин, хотя неохотно, но сознательно подчинился и уехал.

Удалением Распутина из Петрограда мы имели в виду создать себе возможность спокойно работать, но главным образом, заставить общество забыть о Распутине. В думскую среду мы предполагали провести слухи о том, что нам удалось ослабить влияние Распутина в сферах на столько, что Распутин уехал не к себе домой, как обычно делал, а по монастырям, чтобы таким смиренным восстановит подорванное в себе у высоких особ доверие: мы хотели убедить влиятельных депутатов Думы и ее председателя не мешать нам в нашей дальнейшей в этом направлении работе своими выступлениями против Распутина: такие выступления, в силу особого склада характера августейших особ, усиливали только положение Распутина.

Согласно этому плану в таком направлении, т.-е. для удаления Распутина из Петрограда, должны были воздействовать на А. А. Вырубову епископ Варнава, кн. Андронников и А. Н. Хвостов. На ту же тему епископ Варнава и А. Н. Хвостов должны были говорить и с государыней с тем, чтобы впоследствии А. Н. Хвостов сделал соответствующий доклад государю. В докладе государю А. Н. Хвостов предполагал провести ту мысль, что поездка Распутина по святым местам не только будет полезна в смысле умиротворения Государственной Думы, но и рассеет всякие несправедливые толки о жизни Распутина и будет свидетельствовать о религиозных порывах духовной его натуры во время войны.

Приступив к осуществлению этого плана, мы, по предложению епископа Варнавы, вызвали игумена Тюменского монастыря Мартемьяна, личного и большого друга Распутина. А пока, мы начали готовить Распутина беседами на тему о роли Государственной Думы в общественном сознании, в особенности в связи с войной, в сфере влияния Думы на армию. Об этом горячо говорили еп. Варнава, кн. Андронников и А. Н. Хвостов. Я же был сдержан, не потому, что боялся неуспеха наших начинаний, — я знал, что Распутин победил в Государственной Думе, — а потому, что Распутин был во время беседы мрачен, подавал односложные реплики и расхолаживал настроение. Поэтому и предпочел выждать приезда игумена Мартемьяна. С его приездом дело пошло быстрее. А. Н. Хвостов уже прямо рекомендовал Распутину поездку с Мартемьяном в Верхотурье с тем, чтобы привезти августейшей семье оттуда благословение обителя — икону св. Павла Обдорского. Говорил на эту тему и еп. Варнава, а затем и Мартемьян, бросившийся целовать Распутина и убеждать его поехать по монастырям и заехать домой, а затем, когда отношения с Гос. Думой выладутся, вернуться в Петроград.

С поездкой Распутина к себе домой были связаны многие важные дела.

Еп. Варнава, еще до приезда Распутина, взял с А. Н. Хвостова и меня слово назначить тобольским губернатором, вместо бывшего тогда на этом посту Станкевича, вице-губернатора Гаврилова, своего друга, что нами и было обещано. Но Распутин по приезде категорически заявил, что Станкевича надо удалить, а на его место назначить „своего человека“, который записал бы Распутина, а не предавал. Дело в том, что Распутин, в последние дни министерства Маклакова, едучи на пароходе с Мартемианом, в пьяном виде наскандалил на пароходе, где, после пьянства и плясок с новобранцами, избил лакея, за что и был высажен капитаном парохода на берег, о чем был составлен полицией протокол. Полиция, однако, протокол по подсудности не направила, имея предписание считаться с личностью Распутина и заглушивать подобные факты поведения его, и отослала этот протокол губернатору Станкевичу, который, не имея директив в отношении Распутина от министра внутренних дел кн. Щербатова, личным письмом „в собственные руки“ препроводил ему всю переписку по делу в копии. Кн. Щербатов отправил переписку министру юстиции А. Н. Хвостову, а последний вернул ее князю, указав, что подобные дела не подлежат разрешению министерства юстиции, так как в законе указана подсудность подобного рода дел. Кн. Щербатов осведомил об этой переписке и председателя совета министров И. Л. Горемыкина. Об этом проникли слухи и в думские сферы. И в таком виде переписка поступила в наследство к новому министру внутренних дел — А. Н. Хвостову. Дело же должно было разбираться в волостном суде, так как потерпевший лакей отказался от примирения. Это обстоятельство сильно беспокоило А. А. Вырубову и Распутина, который отрицал правдивость протокола, хотя Мартемиан в беседе со мной подтвердил справедливость всех деталей скандала. Распутин же успел по-своему изложить все происшествие и в высоких сферах, так что возобновление дела его очень тревожило. Мы понимали, что необходимо как-нибудь уладить этот инцидент, и отстрочить по крайней мере процесс, чтобы он не совпал с думской сессией, иначе при огласке дело вызвало бы неудовольствие и А. А. Вырубовой, и августейших особ.

Так как Распутин настаивал на удалении Станкевича, то мы его вызвали телеграммой в Петроград, предписав привести подлинное дело, касавшееся Распутина. Станкевич приехал, однако, и второе дело о Распутине по обвинению его в неуважительном отзыве в пьяном виде об императрице и августейших дочерях. Допрашивание по этому делу велось жандармским управлением и, по требованию Станкевича, было переслано ему. Об этом дознании не знали еще ни Вырубова, ни Распутин, и, таким образом, у меня явился хороший козырь в отстаивании Станкевича, которого я считал необходимым и полезным оставить на службе в качестве губернатора с переводом в лучшую, земскую губернию.

Разговоры с Распутиным о поездке по монастырям продолжались, и он неожиданно для меня, — я ожидал большего сопротивления, — согласился решительно уехать из столицы. Мы думали, что такая решительность явилась результатом влияния игумена Мартемиана и опасений самого Распутина за

исход его первого дела о скандале на пароходе. Впоследствии наши предположения не оправдались.

А. Н. Хвостов заявил Распутину, что все расходы по его поездке будут оплачены и соответствующие суммы выданы игумену Мартемиану. В беседе со мной, затем последовавшей, А. Н. Хвостов сказал мне, что верит в удачу поездки Распутина, потому что знает Мартемиана и потому что в Вологде и в губернии у него есть много преданных ему лиц, которые окружают тесным кольцом Распутина и надолго его задержат путем спаивания; особенные надежды в этом отношении он возлагал на вологодского исправника, друга Мартемиана. В денежном отношении решено было не скупиться и предложить Мартемиану не стесняться в средствах, в особенности на вино. Игумен Мартемиан ставил, однако, условием своего участия в поездке с Распутиным возведение его, Мартемиана, в сан архимандрита. Поэтому я, по просьбе А. Н. Хвостова, в виду согласия еп. Варнавы войти с соответствующим представлением в синод, заехал на другой день к Волжину и отвез ему послушной список Мартемиана, прося Волжина о содействии, на что последний, в особенности узнав о предполагаемом отъезде Распутина, охотно согласился.

Мы удовлетворили также все просьбы еп. Варнавы и устроили ему собственную квартиру, выдав для этой цели денег на обстановку и ежемесячное пособие его сестре, и, кроме того, выдали епископу и пособие. На другой день деньги на поездку Мартемиану были выданы. Кроме того, я передал Распутину на личные расходы 5 т. р. и на примирение с побитым им лакеем еще 3 т. р. После этой передачи я сообщил Распутину о втором о нем деле по поводу оскорбления им высочайших особ и отметил в этом инциденте тактичную роль Станкевича, с которым рекомендовал не ссориться. Это второе дело сильно поразило Распутина, очевидно, боявшегося, что о нем узнает государь. Распутин переменил свой тон и манеру обращения, стал доказывать полную свою невинность и успокоился тогда лишь, когда я сообщил ему, что об этом деле решительно никто не знает, кроме меня и А. Н. Хвостова, не знает даже кн. Андронников (который мог сообщить о случившемся, по своему обыкновению, министрам, с которыми был в хороших отношениях, и председателю совета министров И. Л. Горемкину, ничего о втором деле не знавшему). Государю А. Н. Хвостов обещал также о деле не докладывать. Весь этот образ действий я объяснил Распутину сердечным к нему отношением с нашей стороны. Мы расцеловались, и когда я после этого заговорил о Станкевиче, то Распутин уже заявил, что он ала ему не желает, но что в Тобольск требует назначения „своего человека“, а именно председателя пермской казенной палаты Ордовского-Танеевского. Вопрос о Станкевиче был улажен. А. А. Вырубова согласилась на перевод его губернатором в Самару, и соответствующий об этом доклад был сделан А. Н. Хвостовым царю и не встретил возражений.

Что касается кандидатуры Ордовского-Танеевского, то, как оказалось из дальнейшей беседы с Распутиным, она была predetermined. Пермский управляющий казенной палатой был в отличных отношениях с Распутиным, воздавал ему почести при проезде его через Пермь, когда Ордовский-Танеевский

исправлял там должность губернатора, и о переводе его в Тобольск губернатором Распутин уже условился с А. А. Вырубовой, и государыня уже одобрила этот план. А. А. Вырубова была также весьма довольна нашим планом покончить первое парокходное дело Распутина примирением с лакеем, для чего я выдал Распутину 3 т. р.; и еще более довольна тем, что я передал ей в подлиннике второе дело о Распутине (оскорбление высочайших особ), чем оно и было ликвидировано. Но когда я заговорил о поездке Распутина, то Вырубова, не возражая ни слова, быстро перевела разговор на другую тему. Распутин же все оттягивал под разными предлогами свой отъезд, ожидая, между прочим, Ордовского-Танеевского, а когда тот приехал, и А. Н. Хвостов провел доклад об его назначении у государя, то положение сразу изменилось.

Распутин определенно заявил, что он никуда по монастырям не поедет, и свой отказ выразил в такой категорической форме, что возражать, из опасения вызвать только его гнев, уже никто не решался. В виду этого я поручил Ордовскому-Танеевскому, по приезде его в Тобольск, ликвидировать дело с лакеем, о чем его просил и сам Распутин, но 3 т. р. он не дал ему для передачи лакею... Я предложил Ордовскому-Танеевскому для ликвидации дела не стесняться расходами.

Почему Распутин не поехал? Мне казалось, что его путешествие по монастырям теперь теряло свой смысл; так как все тобольские инциденты были улажены, а, с другой стороны, ему казались подозрительными наши настойчивые убеждения его в необходимости поездки. Религиозная же цель поездки никакого веса ни в глазах, ни в сердце Распутина не имела...

Но впоследствии, после моей отставки, в 1916 году, когда Распутин стал относиться ко мне доверчивее, я его спрашивал о причинах его отказа от поездки по монастырям. И Распутин откровенно мне сказал, что он и не предполагал выезжать и что А. А. Вырубова была также против этой поездки. Не устраивала эта поездка и Мартемьяна... Играл же свою роль Распутин потому, что хотел выяснить, к чему же все наши настояния клонятся...

Глава VI.

Распутин и церковные дела. — Назначение Питирима. — Распутин и Питирим. — Влияние Питирима.

Все вопросы, тесно связанные с церковной жизнью и назначениями, как по обер-прокурорскому надзору, так и в составе высшей духовной иерархии, не только интересовали Распутина, но близко его задевали, так как в этой области он считал себя не только компетентным, но и как бы непогрешимым. Поэтому, при всяком видном назначении или в мероприятиях в сфере духовных интересов церкви он играл, особенно в последнее время, доминирующую роль. С ним считались многие, в том числе видные иерархи церкви, не говоря уже о средних духовных слоях, искавших, по человеческой слабости,

мощной поддержки у него. И наоборот, ко всему тому, что происходило помимо Распутина и его желаний, он относился первою и неблагоприятно. Это задевало его самолюбие, и Распутин искал тех или других слабых сторон данного лица, чтобы отпугнуть их в высоких сферах, как крупную ошибку при назначении, пропущенную потому, что его не послушали или с ним не посоветовались. Этим объясняется, почему зачастую предложения синода по некоторым вопросам или проектам назначений, представляемые через обер-прокурора, не разрешались немедленно при докладах, а оставлялись царем и возвращались с резолюциями, дававшими иные указания.

После ухода Самарина и в связи с делом еп. Варнавы предстояло обновление состава синода.

Мы предупредили Волжина об отношении к подобного рода вопросам со стороны Распутина и рекомендовали, предварительно всенеподданнейшего доклада, хорошо узнать, пет ли в составе представляемых лиц таких, к которым Распутин относится неблагоприятно. Что касается нашего участия в деле составления списка присутствующих в синоде, то А. П. Хвостов рекомендовал архиепископа тверского, а я — епископа могилевского Константина (противника Распутина). С этими кандидатурами согласилась и Вырубова, записавшая эти имена себе на память. Когда мы заговорили по этому вопросу на одном из обедов с Распутиным, то он согласился с нашими кандидатурами, но прибавил категорически, что необходимо вызвать с Кавказа экзарха Питирима, так как он декой человек и Варнаву защитит.

Ни я, ни Хвостов Питирима не знали, но у обер-прокурора Волжина имелись, как оказалось, секретные сведения о нем, касавшиеся его отношений к своему секретарю Осипенко. Эти секретные сведения Волжин доложил царю, когда Николай II повелел Волжину вычеркнуть из списка епископа могилевского Константина и, вместо него, поместить Питирима. Царь ответил, что он впервые слышит об этом, список оставил у себя, а затем вернул его с пометкой о вызове преосвященного Питирима. Оказалось, что Вырубова уже давно знала Питирима, что у него были давнишние связи со двором и что, наконец, кандидатуру его провел Распутин.

В виду колебавшегося после ухода Самарина положения петроградского митрополита Владимира, мы опасались его ухода и назначения в Петроград митрополитом Питирима, так как предоставление ему митрополичьей кафедры было уже предreshено. Открылась тогда вакансия в Киеве, после смерти митрополита Флавиана. Мы проводили через Вырубову и Распутина Питирима в Киев, но Волжин получил от государя приказание о назначении митрополита Владимира в Киев, а Питирима в Петроград.

Из всей обстановки назначения Питирима ясно было видно желание двора иметь около себя близкого человека. Мы поняли, что в силу занимаемого им положения, ему будет отведено крупное влияние во дворце.

Мы с Хвостовым поздравили Питирима с высоким назначением, были у него с визитом, и папи отношения, таким образом, завязались. О Распутине мы с Питиримом никаких разговоров не заводили из чувства деликатности,

хотя из докладов начальника охранного отделения Глобичева мы знали о частых посещениях Распутиным митрополита. То же подтвердил мне и Манасевич-Мануйлов, который проник вновь в дом Распутина и ввел туда сотрудника „Нов. Времени“ Снарского. Манасевич-Мануйлов вел кампанию в „Нов. Времени“ против Распутина, когда с ним же боролся и ген. Богданович. По приказанию Маглакова, выступления Мануйлова против Распутина были в прессе преграждены, но Распутин боялся их возобновления и стал поэтому принимать Мануйлова, который и начал после этого передавать мне все, что узнавал в доме Распутина.

Нужно отметить, что сам митрополит, все время поддерживая самые теплые отношения с Распутиным и решая с ним все дела, всячески избегал вплоть до смерти Распутина подчеркивать публично свою к нему близость, принимал его в конспиративной обстановке, его квартиры не посещал, а для сношения с ним, зная подозрительность характера Распутина и во избежание телефонных разговоров с ним, уполномочил своего секретаря Осипенко. Последний ежедневно бывал у Распутина, часто сопровождал его в поездках по знакомым, ездил впоследствии с поручениями и письмами владыки к Вырубовой, которой только в этот приезд был представлен, и удостоился приема у государыни.

По отношению к Осипенко я сделал ошибку: пытался заагентурить его и настойчиво вручил даже ему для этой цели 300 р., обещая подобные же выдачи и в будущем. Но значение Питирима и роль при нем Осипенко были слишком велики, чтобы можно было прибегать к подобной мере.

Питирим вскоре не избегал общей участи тех, кого судьба сводила с Распутиным: владыке пришлось испытать перемену общественных отношений к себе из-за своих связей с Распутиным, несмотря на все старания Питирима приобрести общественную популярность. Поведение Распутина и по отношению к Питириму было таким же, как и ко всем другим лицам из правящего мира, на которых Распутин смотрел, как на своих ставленников. Распутин о своей близости к митрополиту говорил, где можно, и в особенности говорил там, где этого нельзя было делать, что причинило Питириму весьма много огорчений.

На этой почве произошел разрыв Питирима и с А. Н. Хвостовых, который позволял себе бестактность. Раздосадованный на то, что митрополит не поддерживает план в Хвостова в связи с предстоящей выборной кампанией в Думу, Хвостов, чтобы оказать давление на владыку, однажды приказал полковнику Комиссарову, приставленному к Распутину, привезти последнего к митрополиту и ввести его без доклада в кабинет. А в это же время у владыки был и сам Хвостов. Этот приезд Распутина и приход без доклада ясно обнаружили близость митрополита к Распутину, что Питирим скрывал, а затем разговор Распутина с митрополитом о поддержке начинаний Хвостова в присутствии Распутина привел только к обратным результатам потому, что митрополита вся эта тактика Хвостова только оттолкнула от него.

Из всех лиц правящего класса, как этого, так и последнего периода, прошедших через Распутина, никто не пользовался таким постоянным и неиз-

менным доверием, как государя и государыни, так и Вырубовой, как митрополит Питирим. Его постоянно приглашали к себе высокие особы и Вырубова. К его мнениям по вопросам церковной и государственной жизни прислушивались, также считались с его отзывами и оценками лиц, интересовавшихся в селении сферы. Поездки Питирима в Царское конспирировались, и Осипенко принимал все меры, чтобы сведения о них не проникли в печать и общество. При жизни Распутина, последний был в курсе всех начинаний митрополита, поэтому Питириму приходилось с ним считаться. Когда Распутин умер, я был в день его похорон вечером у владыки, и тут я понял, насколько велик был для него гнет Распутина.

Глава VII.

Моя аудиенция у государыни императрицы. — Распутин и царика.

Вскоре после приезда Распутина в Петроград, — по моему назначению товарищем министра внутренних дел, — и установления с ним и с Вырубовой некоторого сближения, епископ Варнава был принят августейшей семьей и передал ей свои впечатления, вынесенные им от знакомства со мной и А. Н. Хвостовым. Владыка подчеркнул нашу преданность интересам царской семьи, наше благожелательное отношение к Распутину, нашу общую солидарность во взглядах и дружескую между собою связь. Вслед за этим, как епископ Варнава, так и кн. Андронников признали необходимым для меня, в моих интересах, представиться государыне императрице Александре Федоровне. Это отвечало и моим желаниям, так как я до того ни разу в личной особой аудиенции не был принят государыней. Видел я ее только на общих приемах, где был удостоиваем поклона и целования ее руки. Зная о том влиянии, которое императрица имела на государя, и о ее роли в решении вопросов государственной важности, я хотел вынести и свое непосредственное, хотя и мимолетное, впечатление. Но вместе с тем, я слышал и знал, из примера немыслимости государыни к А. А. Макарову, что ее величество ничего не забывает и не легко поддается перемене своих отношений к тем, о которых она составила определенное не в их пользу мнение. Во время моего директорства, после передачи министром Макаровым государыне ее писем к Распутину, вшедших у Иллиодора, я был заподозрен Александрой Федоровной в том, что перехватил одно из таких писем в общем порядке перлюстрации. Кроме того, государыня знала мое отрицательное отношение в ту пору к Распутину. И этими обстоятельствами я объяснил себе тот факт, что Макаров, получив отставку от должности министра, получил в то же время письменное приказание уволить меня без объяснения причин. Об этом я узнал впоследствии не от Макарова. Узнал и то, что Макаров, получив такое повеление, испрошил себе аудиенцию у государя и убедил его оставить меня на службе. Другим, что на решение государя уволить меня повлиял и князь Мещерский, с которым у меня произошел разрыв и который вел против меня кампанию в „Известиях“ и делал личные и письменные обо мне доклады государю.

В виду всех этих обстоятельств я естественно боялся, что прием меня государыней может носить характер простого официального представления, которое не выяснит отношения царицы к представляющемуся лицу.

Поэтому, по совету кн. Андронникова и с ведома А. Н. Хвостова, я обратился к Вырубовой и высказал ей свои опасения относительно своего приема государыней. Вырубова приняла во мне большое участие, переговорила при мне по телефону с государыней по-английски и сказала мне, что государыня будет рада принять меня. И кроме того, записала себе для памяти — переговорить еще раз перед приемом обо мне с государыней. На другой день я ею был принят.

В назначенный час я был введен скороходом в одну из личных комнат государыни и удостоился особо милостивого приема. Пригласив меня сесть, государыня выразила свое удовольствие по поводу моего назначения и моей солидарности и дружественной связи с А. П. Хвостовым, поблагодарила за сведения, сообщаемые Вырубовой, и подчеркнула, что в передаче переписок о Распутине (по двум вышеупомянутым делам-скандалам, очевидно, переданным Вырубовой государыне) она видит залог нашего дальнейшего благожелательного отношения к Распутину. В ответ на это я принес ее величеству искреннюю благодарность за то доверие, какое она проявила ко мне своим участием в деле моего назначения, и затем уверил ее величество, что как во время моего управления департаментом полиции, так и в настоящее время, мною принимались и будут приняты все меры к охране жизни Распутина. Коснувшись истории с письмом, о котором я раньше упомянул, я постарался рассеять у государыни сомнения относительно участия моего в этом деле.

Затем, я доложил ее величеству о намеченной А. П. Хвостовым и мною первойшей задаче нашей программы — организовать и широко распространить среди народа задания и картины, обрисовывающие царственные за период войны труды ее величества, его величества и их дочерей. К этому государыня отнеслась с большим сочувствием и просила предварительно посылать ей на просмотр корректурные листы.

Когда я перешел к докладу о намеченном нами открытии в фабричных районах продовольственных лагов для рабочих, государыня отнеслась одобрительно к этому плану и указала, что продовольственный вопрос и настроение рабочих сильно озабочивают государя, который возлагает в этом отношении особые надежды на А. П. Хвостова.

Наконец, государыня, находясь, повидимому, под впечатлением представившегося ей предо мной князя Жевахова (которого я встретил в приемной), и зная мои отношения к Волжину, передала через меня обер-прокурору святейшего синода повеление об устройстве князя Жевахова по ведомству св. синода, согласно желанию князя.

Разговор наш все время шел на русском языке, которым государыня владеет хорошо, с редкими сравнительно замечками в длинных периодах и со слабым иностранным акцентом, в противоположность своей сестре Елизавете Федоровне.

Из этого приема государынею, длившегося полчаса, я вынес впечатление, что интересы Распутина очень близки ее величеству, что вопросы, выдвигаемые обстановкою времени, ее сильно захватывают, что Вырубова ставит ее в курс всего того, о чем узнает от лиц, ее окружающих, пользуясь безграничным доверием государыни, и что, наконец, государыня, если пожелает, может быть простой, доступной, любезной и благодарной тем, кто служит ее интересам.

Заехав затем после приема к Вырубовой, я поблагодарил ее за проявленное ею участие в этом приеме и передал ей, как прием государыней тронут меня и расположил к ней. О том же я сообщил кн. Андронникову, Распутину и еп. Варнаве.

Поручение к Волжину я исполнил, и, после длинной истории, больших затруднений и препятствий, кн. Жевахов получил впоследствии должность второго товарища обер-прокурора синода, несмотря на свою молодость и отсутствие достаточного служебного стажа.

Глава VIII.

А. Н. Хвостов и его положение при дворе. — Флигель-адъютант Дрентельн. — Распутин и великие князья Павел и Михаил Александровичи и вел. кн. Елизавета Федоровна.

А. Н. Хвостов, как министр внутренних дел, не имел никаких полномочий вмешиваться в назначения министров, тем не менее он это систематически практиковал. Роль Хвостова в назначении Волжина указана выше. Он провел Наумова на пост министра земледелия, вместо Кривошеина, и весьма долго вел интригу, чтобы, вместо Барка, министром финансов провести гр. Татищева. Невольно возникает вопрос, как же А. Н. Хвостов, не имея высочайших обещаний поста председателя совета министров, ни полномочий близкого советчика, мог осмелиться вмешиваться в функции, относящиеся к сфере прав председателя совета министров?

Нужно заметить, что назначение Хвостова состоялось в весьма знаменательный период. К этому моменту у государыни окончательно созрело поддерживаемое, особенно Распутиным, мнение о необходимости иметь около себя, государя и наследника только людей, в личной преданности которых она не могла сомневаться. Государыня учитывала сложившиеся политические условия страны и их серьезность и особенно опасалась за жизнь наследника. Эту мысль о необходимости окружать себя только безусловно преданными людьми государыня внушила и государю, и с этой точки зрения необходимо смотреть на все назначения этого и последующего периода.

А. Н. Хвостов был давно известен государю. Мысль о назначении его на пост председателя совета министров возникла тотчас после смерти Столыпина; и Распутин был уже командирован в Нижний, чтобы „посмотреть“ на такого кандидата. Свою преданность престолу и самодержавным началам Хво-

стов подчеркнул тем, что, оставив губернаторский пост, пошел в Государственную Думу и не только сел на правых скамьях, но и добился звания председателя правой фракции. При представлении государю, он даже в дни докладов по должности министра всегда надевал значок союза русского народа, украшенный лентами, чего никто из сановников правых убеждений никогда не делал. Близкие лица, мнением которых государь дорожил, к А. Н. Хвостову относились хорошо и об его начинаниях отзывались с похвалой. Сам Хвостов при докладах царю усвоил систему Сухомлинова и умел вести такой доклад, учитывая особенности характера его величества, располагая изобильным материалом для поднятия множества вопросов, ловко выводя взгляд государя и ища ему и свою точку зрения. Наружность и подкупающие своею правдивостью глаза скрывали внутренние его побуждения. Подобно впоследствии Протопопову, Хвостов подчеркивал государю, государыне (а также Вырубовой и Распутину) истинную сторону своего служения и бескорыстного желания быть полезным государю: он всегда указывал, что он обладает громадным состоянием (которое в значительной части принадлежало не ему, а его жене). Хвостов затем умело использовал хорошо ему известные отношения государя к лицам и событиям; таким образом, достиг того, что доверие к нему росло. И если бы не ряд ошибок, им сделанных, несомненно, Россия имела бы его на посту председателя совета министров после ухода Штюрмера.

Как умел обставлять свои приемы у государя, при помощи Распутина и Вырубовой, Хвостов, видно из следующего факта. Флигель-адъютант Дрентельн, хотя и родственник Хвостова, открыто заявлял, что в виду близости по отношению к Распутину, он Хвостову при встрече руки не подаст. Дрентельн был очень близок к государю и постоянно бывал около него во дворце и в ставке. Поэтому, в виду того, что Хвостову предстояло ехать в ставку для доклада, он был очень обеспокоен возможностью открытого скандала с неподачей руки, скандала, о котором немедленно была бы осведомлена Государственная Дума, не говоря о сановном Петрограде. Поэтому, Хвостов решил обратиться к государыне, к Вырубовой и Распутину, хотя знал, что Дрентельна государыня очень не любила и была способна настоять на удалении его из армии, что вызвало бы неблагоприятные толки в армии и в Петрограде в думских кругах, а этого Хвостов решил избежать.

Кроме подготовительного письма, посланного князем Андронниковым и Хвостовым дворцовому коменданту Воейкову, Хвостов усиленно внушал Вырубовой и Распутину мысль о необходимости воспользоваться данным моментом и подорвать у государя доверие к Дрентельну, незаметно удалив его из армии путем назначения командиром армейской бригады. При этом Хвостов выставил себя страдальцем за интересы государыни и близких ей лиц. Распутин и Вырубова принимали горячее участие в этом деле. Вырубова обещала свое содействие, но не сказала в чем оно выразится; однако, настаивала, чтобы Хвостов при приеме у государя и снулся бы вопроса и о Дрентельне.

Хвостов уехал в ставку, был принят государем и в конце доклада заговорил с Дрентельне и его угрозе. Царь ответил, что Хвостов сам скоро убе-

дятся в неосновательности своих опасений. И действительно, когда государь стал у закуского стола и Хвостову, приглашенному к столу, пришлось проходить мимо Дрентельна, то государь не спускал глаз с флигель-адъютанта, и он подал Хвостову руку. По приезде Хвостов от Вырубовой узнал, что Дрентельна получит назначение в армию. На самом деле он получил назначение не в армию, а в гвардию командиром Преображенского полка. Вопрос об уходе Дрентельна в армию затянулся до предреволюционного времени. Незадолго перед этим, Дрентельн был в Петрограде и должен был представиться государыне, но в назначенный час на прием опоздал, а на другой день на прием и совсем не явился, составившись на необходимость отъезда из Петрограда, что государыня приняла за демонстрацию против себя.

Эта характерная особенность государыни, — отожествлять личное к ней отношение с отношением ко всей августейшей семье, — заставляла нас серьезно считаться при проведении всех наших дел и проектов, а та же и при различных докладах Вырубовой. Относительно этих докладов приходилось во все посвящать Распутина, который подозрительно относился к влияниям на Вырубову вне своего участия и всегда проверял, правильно ли ему был передан доклад Вырубовой. Он придавал большое значение своей осведомленности, чтобы при свиданиях с государем, которым он придавал большое значение, обнаруживать знание и интерес к вопросам государственного порядка, причем Распутин так же, как и Вырубова, занимал все то, что останавливало его внимание.

Из бесед с Вырубовой я выяснил себе, кто из тех или иных лиц, в какой степени и в силу каких соображений интересует императрицу. И согласно с этим я прибег к помощи перлюстрации, составив для заведующего ею т. с. Мардарьева соответствующий список лиц, корреспонденция которых подлежала просмотру. Этот список был дополнен фамилиями лиц, которыми интересовался также и Хвостов. Материал, почерпнутый из вскрытых писем, а также и сведения из других источников, служили темой для докладов Вырубовой. Так как в это время отношение к императрице почти всей императорской фамилии выяснилось, и государыня многое знала из жизни велико-княжеских дворов и разных источников, то я своей агентурой в этих дворцах не заводил и письма их высочеств не просматривал, а только, получая в некоторых случаях от Вырубовой указания, сообщал ей то, что мне приходилось узнавать другими путями. Отношений императрицы к императорской фамилии Вырубова от нас не скрывала.

Распутин понимал хорошо, насколько для него лично важно парализовать влияние великих князей на государя. Поддерживая настроение императрицы и государя против тех высочайших особ, которые шли против него, Распутин в тех случаях, когда видел возможность заручиться хоть каким-нибудь поводом завязать с каким-нибудь двором августейших особ связи, старался проявить к тому свой живой интерес. Это он делал для того, чтобы в беседе с государем доказать отсутствие у него личных побуждений в вопросе о семейных отношениях в царской фамилии, а, наоборот, показать свое душевное желание сродниться и сблизить всю августейшую семью не столько в династических интере-

сах, сколько в родственниках. Но таких случаев было мало. Отмечу один из них, о котором сам Распутин старался везде говорить. Дело в том, что вел. кн. Павел Александрович был в опале из-за своегоmorganaticкого брака. Отношение до стороны императрицы к его супруге было исключительно отрицательным, и в последнюю, поэтому, обратила за содействием к Распутину. Распутин обрадовался случаю и со свойственной ему настойчивостью добился того, что императрица переменяла свое отношение к жене Павла Александровича: опала была снята, брак великого князя был признан, его жене был дан титул светлейшей княгини Палей, а великий князь был привлечен к активной деятельности. Распутин даже мечтал сроднить эти августейшие семьи через великого князя Дмитрия Павловича. Впоследствии княгиня Палей, в силу различных причин, главным образом, вследствие поведения Распутина, отошла от него. Распутин, чтобы набежать упрека государю в неумении распознавать людей, старался подчеркнуть в его глазах положительную сторону своих побуждений вне всяких его отношений к княгине и ее супругу, вина в данном случае ту среду, в которой они вращались в последнее время. На это жаловалась и Вырубцова, которая указывала на частые посещения великого князя Стаховичем и графом Олсуфьевым, открыто выступавшим и у великого князя, и в других домах против императрицы в связи с разоблачениями Распутина. Однако, Распутин и поддерживавшие его лица не простили княгине Палей перемену ее отношений к Распутину, и результатом ее разрыва с ним явилось охлаждение к великому князю Павлу Александровичу и опала княгини Палей со стороны императрицы.

Тем же надо объяснить и последовавшее в последнее время охлаждение царской семьи к великому князю Михаилу Александровичу. Снятие с него опалы, признание его брака с дарованием его супруге титула графини Брасовой, назначение командиром дивизии, его посещение Кавказа и оказанный ему прием, успехи этой дивизии, все это невольно выдвигало личность вел. кн. и служило причиной частого упоминания его имени. Распутин все время поддерживал в императрице опасность популярности Михаила Александровича в армии и народе. Когда вел. кн. Михаил Александрович, после недолгого пребывания на театре военных действий, вернулся с супругой в Гатчину, то императрица обратила внимание на его личную жизнь и, в особенности, на его похождения запросто с женою в общих залах петроградских ресторанов „Астория“ и „Метрополис“ и на круг его знакомств и родственных связей его супруги. Вследствие этого Вырубцова поручила нам сообщать ей для доклада императрице все сведения о Михаиле Александровиче. Нам было поручено возможно подробно осветить его жизнь, так как императрица и Вырубцова видели в замкнутой жизни семьи великого князя в Гатчине, в его знакомствах и в особенности во влиянии его жены, обладавшей сильным характером и большим честолюбием, — указания на возможность тайных династических притязаний. Однако, мои данные не дали никаких для этого материалов.

За тот же свой служебный период я заметил огромное влияние Распутина на возрастающее в ту пору охлаждение государыни к своей августейшей

сестре Елизавете Федоровне. Со слов Распутина я знал, что приходы Елизаветы Федоровны, в особенности, если они совпадали с пребыванием государя в Царском Селе, сильно нервировали императрицу. При этом Распутин прибавлял, что Елизавета Федоровна постоянно поднимает вопрос об удалении его, Распутина, от близости к августейшей семье, чем, по словам Распутина, она добьется только того, что ее совсем не будут принимать.

Глава IX.

Государственная Дума в прошлом. — Дума, государь и государыня. — Война и Дума. — Полигика А. Н. Хвостова. — Награждение Родзянко. — Распутин и Государственная Дума. — Его интриги против нее. — Доклад Хвостова и речь Горемыкина об отсрочке созыва Государственной Думы.

Все отмеченные выше черты отношений высших сфер к государственным вопросам в особенности проявились по отношению к Государственной Думе. Я не буду касаться всем известной истории возникновения этого учреждения, вызванного к жизни напором общественного настроения того времени. Не буду говорить о той роли, которую сыграли влиятельные правые кружки, лица и действовавшие в силу своих партийных дозунков монархические организации в деле удаления гр. Витте от должности премьера. Не коснусь и дальнейшего до его смерти отношения к нему государя, несмотря на то, что гр. Витте имел вначале сильную поддержку в лице государыни императрицы, стоявшей даже вначале на точке зрения необходимости дарования народу полной конституции. Не буду также касаться вопроса о последовавшем изменении отношения государя, в силу тех же причин, к покойному дворцовому коменданту Трепову и начавшемуся, правда, незаметно, охлаждению к великому князю Николаю Николаевичу за его участие в поддержке гр. Витте, при обновлении порядка в стране. Отмечу только, что первые две Государственные Думы своими выступлениями по волновавшим их вопросам давали сильное оружие против них в руки их политических противников, сумевших внушить государю чувство подозрительности к этому учреждению. П. А. Столыпину пришлось выдержать большую борьбу с влиятельными правыми течениями и идти по пути некоторых уступок, чтобы доказать необходимость этого государственного института в интересах успокоения страны. В предпринятых Столыпиным начинаниях налаживания отношений правительств с Государственной Думой проеся весь секрет признанной необходимости пребывания его на посту председателя Совета Министров и успех его борьбы с покойным П. Н. Дурново, окончившейся выездом последнего за границу незадолго до смерти Столыпина. Той же политике примирения с Государственной Думой держался и В. Н. Коковов. Но с Государственной Думой начали считаться только как с учреждением законосовещательным, пошедшим так или иначе в обиход государственной жизни страны, и чуть ли не прислушивались ко всем выступлениям Государственной Думы и министров, в особенности во время бюджетных прений и по вопросам

управления. В силу тех же доминирующих правых течений развивалась политика привлечения на сторону правительства умеренных и правых групп, а в усилении правого крыла Государственного Совета виднелось сдерживавшее Государственную Думу начало в ее конституционных стремлениях.

Государь после речи А. И. Гучкова в Государственной Думе о влияниях Распутина задушил в себе, сбитаясь с государственными соображениями, личное чувство обиды и не позволил на встречу сильному напору на него разных влияний, желавших исподволь пробить мороз личным чувствам государя в своих домогательствах об участии в Государственной Думе. Но зато государь с этого момента резко изменил свое отношение к ней и всецело перешла в этом вопросе на точку зрения правых групп. Она прислушивалась к их голосу, в особенности идущему из провинции и зачастую встречавшему правительственным директивам. Старалась приблизить к государю тех влиятельных сановников, которые могли бы содействовать изменению его взглядов на Государственную Думу, нервно относилась ко всеподаннейшим личным докладам председателя Государственной Думы, в особенности, если темой доклада служили вопросы, которым она придавала личное значение.

Война заставила изменить отношение к Думе, в особенности в минуты тяжелых испытаний переменного военного счастья. Затем, между Думой и правительством начался ряд осложнений на почве обвинений правительства в неподготовленности к войне и в предоставлении неверных о боевой приспособленности армии сведений и в желании идти навстречу Думе в области мероприятий по обороне. Осложнения эти заставили Думу прибегать к поддержке Верховной Ставки, ставшей в интересах армии на сторону Государственной Думы. Этим была значительно выдвинута роль великого князя Николая Николаевича в делах государственного управления. Министры не только считались с его взглядами, но и были поставлены даже в положение исполнительных органов его повелений. Это повлекло за собой обращение некоторых министров к государю в отстаивании своих мероприятий, в соответствующем освещении роли Думы и великого князя. Изменилось отношение к великому князю и правых влиятельных групп, в особенности, после частичного обновления кабинета. Это повлекло за собой в связи с отрицательным отношением Распутина к великому князю и умело интригованному студент в это время подозрением о посягательстве великого князя при помощи Думы и армии на корону, — уход великого князя на Кавказ. Переменялось и отношение к Государственной Думе и к тем министрам, которые оказывали ей поддержку.

Этот период времени совпал со вступлением А. Н. Хвостова в управление министерством внутренних дел. При обсуждении нашего плана действий мы ввели в нашу программу необходимость ослабить остроту переживаемого момента, войти в контакт с правым крылом Думы и Совета и монархическими организациями, приостановить хотя бы временно их выступления перед государем против Государственной Думы и наравлять в этом вопросе внимание Государя, отрицательный взгляд которого на Государственную Думу мне был известен из частных бесед. В нашу задачу входило также примирить государя

с необходимостью, в интересах армии и страны, прохождения бюджета в предстоящей сессии Государственной Думы, а также принять все меры к сближению с председателем Государственной Думы и влиятельными ее депутатами. Подготовив такую обстановку, мы предлагали, переговора с генералом Алексеевым и убедив Воейкова. — осветить именно в этом направлении вопрос о Думе при личном докладе государю.

Центральную роль в осуществлении этого плана взял на себя Хвостов, а я, подготовив ему обстановку, должен был влиять на Вырубова и на Распутина. По моему совету, А. И. Хвостов сделал визиты влиятельным правым Государственного Совета и вошел в кругок Штюмерера, находившийся в полном согласии с Горемыкиным и придворными сферами. Я лично просил Штюмерера сказать Хвостову содействие, обещая ему перевод его старшего сына в Петроград, а затем и назначение его вице-губернатором в одну из отдаленных губерний. Таким образом, я постарался обеспечить Хвостову хорошее отношение к нему сенатора А. А. Римского-Корсакова и его монархического кружка. Кроме того, я устроил ряд обедов для правых членов Государственного Совета и влиятельных правых Государственной Думы, а также некоторых сенаторов для закрепления более тесного единения их с Хвостовым. Что касается монархических организаций, то вели переговоры с их представителями как Хвостов, так и я.

В отношении же Государственной Думы мною было значительно усилено, — путем дополнительного, по три тысячи рублей в месяц, ассигнования полковнику Берггольду из секретного фонда, — агентурное освещение всех фракционных и советских заседаний Государственной Думы, а также кулуарных разговоров и ложки журналистов. Кроме того, секретно от Куманина было установлено проверочное наблюдение сообщаемых им председателю совета министров того же порядка сведений. Кроме того, все то, что мне сообщал А. Д. Протопопов или члены Государственной Думы Мариев, Замысловский, Алексеев и Дерюгин при получении у меня субсидии, и все другие сведения о Думе я докладывал Хвостову при личных, почти ежедневных свиданиях. Что касается Хвостова, то он широко использовал князя Волконского, имевшего в Государственной Думе большое значение и большой круг знакомств, — как для парализования нежелательных для нас течений, слухов и разговоров, так и для передачи тех сведений, которые могли бы успокоительно подействовать на депутатов, особенно в вопросе своевременного открытия сессии и отношения государя к работам Думы. Вместе с тем, Хвостов, кроме инструктирования указанных выше правых депутатов, в особенности Барача, предпринял, как он мне говорил, меры к сближению с националистами и октябристами (насколько они были удачны, не знаю) и сблизился с членом Государственной Думы П. Н. Крупенским, которому я, по поручению Хвостова, переданному мне в присутствии Крупенского, выдал 20 тысяч рублей якобы для устройства потребительной при Государственной Думе лавки. При сем по уходе Крупенского Хвостов, смеясь, мне заявил, что эта ассигновка имеет своим назначением привлечение Крупенского к освещению настроения Государственной Думы.

Хвостов старался и, — как он сам мне передавал, — достиг ожидаемых результатов, завязать хорошие отношения с председателем Государственной Думы, часто к нему ездил и говорил по телефону, передавал ему политические новости, сообщая многое о деятельности состава министров и о Горемыкине, а также сведения из приватных сфер в освещении, соответствующем видам Хвостова. Он старался всячески заручиться расположением М. В. Родзянко в смысле его влияния на спокойный ход работ Думы и ради избежания поднятия в общих собраниях Думы, в интересах династических, каких-либо разговоров, связанных с именем государыни.

А. И. Хвостов и лично при открытии занятий бюджетной комиссией посещал Государственную Думу, входил в нее из общего депутатского подъезда, и для более тесного сближения с депутатами передавал им в кулуарах и за завтраком желательные ему в общих или личных целях сведения.

Подготовив, таким образом, некоторую почву для осуществления нашей программы о Государственной Думе, мы постоянно, при каждом свидании подготавливали к благоприятному для нас разрешению наших предположений и Вырубову и Распутину, запугивая их неспокойным настроением масс, видимыми осложнениями войны и подчеркиванием патриотической роли Думы. Нельзя сказать, чтобы нам с первых же разговоров удалось достигнуть желаемых результатов.

В этом отношении Вырубова была откровеннее Распутина. Хотя она и понимала важность переживаемого времени, но на Государственную Думу смотрела с той же точки зрения, как и императрица и правые круги. Только наша настойчивость и убеждение ее в том, что нами будут приложены все усилия к тому, чтобы в общих собраниях Думы не был поднят разговор об императрице, Распутине, митрополите и о ней, несколько поколебали ее, и она обещала переговорить по этому поводу с императрицей. Особенно не верила Вырубова в содействие Хвостову со стороны Родзянко, так как она считала его врагом императрицы. Немного ее успокоило мое заявление, что мне дал обещание помогать в этом направлении товарищ председателя Государственной Думы Протопопов, о котором я, после предварительного моего с ним разговора, пользуясь случаем и исполняя его просьбу, высказался в благожелательных тонах, как о человеке, преданном интересам императрицы и желающем даже с нею, Вырубовою, познакомиться; и просил ее принять Протопопова и выслушать его доводы, а также его начинания в области воздействия на Родзянко, — что она и обещала.

Зная с слух Протопопова, сообщавшего мне сведения о настроенных Родзянко и о совете старейшин, насколько был обижен Родзянко пожалованьем ему по случаю трехсотлетия юбилея дома Романовых ордена Владимира 3-ей степени в очередном, как рядовому чиновнику, порядке, тогда как министры получили награды в исключительном порядке, и высказал мысль о пожаловании Родзянке к предстоящему 6-го декабря вне правил ордена св. Станислава 1-ой степени, что покажет Родзянко знак милостивого отношения государя к нему и его заслугам и будет оценено Думой, как знак августейшего ви-

мания к ней. Хвостов с этим согласился и добавил, что, если императрица не встретит препятствий к созыву Государственной Думы, то при докладе государю он будет просить его величество оказать Родзянке ряд знаков милостивого к нему внимания. А. П. Хвостов обещал также Вырубовой переговорить перед докладом государя с Воейковым и Алексеевым.

Что касается Распутина, то его отношение к Государственной Думе можно охарактеризовать следующим образом.

Присмотревшись к Распутину, я вынес убеждение, что у него идейных побуждений не существовало и что к каждому делу он подходил с точки зрения личных интересов своих и Вырубовой. Но в силу свойств своего характера он старался замаскировать внутренние движения своей души и помыслов. Изменяя выражение лица и голоса, Распутин притворялся примодушным, открытым, неинтересующимся никакими материальными благами человеком, вполне доверчиво идущим на встречу доброму делу, так что многие, некушанные опытом жизни люди и даже близко к нему стоящие лица, зачастую составляла превратное о нем мнение и давали ему повод раскрывать их карты. Только в минуты сильного гнева, раздражения или полной его доверчивости, у него обнаруживались иные черты его характера и помыслов.

Как ни мало знали мы еще Распутина в ту пору, для нас была понятна его точка зрения на Государственную Думу. В прошлом Государственная Дума ничего ему, Распутину, не дала хорошего, а наоборот, каждое открытие сессии Государственной Думы влекло за собой не только стеснение его свободы действий, но, в большинстве, и выезды его на продолжительное время из Петрограда, а это порождало у него тревогу за возможность в этот промежуток времени изменения отношений к нему со стороны, по крайней мере, государя. Выступления Гучкова обнаружили близость Распутина к высшим сферам, что вызвало общее негодование и породило в Распутине чувство опасения за свою жизнь. В будущем он не надеялся на перемену отношений к нему Государственной Думы, так как он сам видел, насколько этот вопрос беспокоил государя. Поэтому, он всецело поддерживал государя в мысли о бесполезности Думы, а государю указывал, что крестьянская масса разочаровалась в Государственной Думе, которая ничего не сделала для крестьян в улучшении их положения.

Распутин, будучи знаком с представителями монархических организаций, с Дубровным, Орловым, его часто посещавшим, с Восторговым, Кольцовым и другими, находил в их взглядах на работы Государственной Думы материал для своих бесед с государем, с целью выставить не свои личные обиды и боязнь этого учреждения, а партийные лозунги и соображения в интересах монархического принципа. С другой стороны, Распутин боялся высказывать открыто свои взгляды на Государственную Думу, чтобы этим не дать повода к излишним о нем разговорам в ней. Он очень нервно воспринимал все то, что говорилось о нем в кулуарах Думы, и когда эти разговоры до него доходили, расспрашивал меня об их подробностях и очень ценил тех немногих лиц, кто старался рассеять среди депутатов эти толки. Поэтому, он обнаруживал свои

симпатии А. А. Копу, который, познакомившись с ним по моей просьбе, — как увлекающийся вообще человек и к тому же мистик, — почему-то искренно к нему привязался, находя в нем какой-то особенный склад душевных импульсов. Имея место, как журналист, в ложе корреспондентов и часто посещая Государственную Думу, где у него было много знакомых среди депутатов, Коп старался защищать Распутина и даже влился с мыслью сблизиться с ним членами Государственной Думы. Эта мысль очень понравилась Распутину, но, с другой стороны, несколько его пугала. И был против этого плана, который был осуществлен уже после моего ухода, когда Коп уже по собственному побуждению начал осуществлять это сближение Распутина с членами Государственной Думы. Я два или три раза присутствовал при свидании Распутина с М. А. Карауловым и видел, как Распутин с особым вниманием всматривался в Караулова, как в человека другого мира, и не знал, как вести себя. И только когда Караулов, налив ему за обедом вина, пригласил его выпить, Распутин начал входить в свою колею. И все же в его беседе время от времени проскальзывало желание показать Караулову, что он — человек исключительный. По моим советам и настоянию Вырубовой, такие свидания вскоре прекратились.

После моего ухода, когда в Государственной Думе начались речи о императрице и о Распутине, я заинтересовался отношением Распутина к заседаниям Государственной Думы и спрашивал об этом Манасевича-Малухилова, все время, на первых порах по назначению Штюмерера, находившегося около Распутина.

Манухилов передал мне, что из всего того, что происходило в Думе, Распутин интересовался только выступлениями против него и против лиц, ему покровительствовавших. Распутин требовал, чтобы Манухилов прочитывал ему все, что о нем говорилось в Думе, и был взволнован, сосредоточен и ругал Штюмерера за то, что тот сейчас же не выступал в его защиту.

Когда А. П. Хвостов и я начали разговаривать с Распутиным о предстоящем открытии сессии Государственной Думы, он сразу изменился, выслушал наши доводы и ответил с замаскированно-простодушным и доверчивым видом, без всякой будто бы злобы, что он не раз говорил с государем о том, что надо помириться с Государственной Думой, приехать в нее и сказать: „я ваш и вы мой, из-за чего нам ссориться, будем жить в ладу“. Но „она“, т. е. депутаты, по словам Распутина, больно оскорбили государыню, и виною охлаждения высших сфер в Государственной Думе является Гучков и Родзянко. Распутин говорил, что он отлично понимает, почему его Дума не любит, тогда как он ничего дурного не сделал и, кроме добра, никому, а тем более августейшей семье, не желал. Думцы же все время про него распускают всякие небылицы, а Родзянко передает их государю.

Видя такую неискренность Распутина и чувствуя в его ответе оттенок затаенного озлобления против Думы, мы дали ему понять, что если только эта сессия Думы будет отложена, то не только Дума, но и вся Россия и армия будут винить в этом исключительно его, — и тогда мы не ручаемся за его безопасность. Наоборот, если Распутин поможет открытию Думы, то можно

это обстоятельство использовать для изменения недоброжелательного к нему отношения, указав некоторым думцам на его роль в этом деле. Что касается Родзянко, то Хвостов успокоил Распутина, сказав, что он с ним находится в хороших отношениях и примет все меры к убеждению Родзянко не допускать в открытом заседании разговоров ни о нем, ни об императрице. Затем мы указали Распутину на те соображения, какие приводили и Вырубовой относительно смягчения настроения Родзянко. К этому я прибавил, что в Государственной Думе есть около Родзянко мой хороший знакомый — товарищ Родзянко А. Д. Протопопов, который желает познакомиться с Вырубовой и с ним, который обещал нам помогать, в виду своей преданности государю и государыне, и который совершенно иначе, чем другие, понижает и относится к нему, Распутину.

После этого Распутин, перешел на свой обычный тон и стал интересоваться деталями этого дела и, усвоив себе личную выгоду от нашего предложения, обещал даже сказать Вырубовой, чтобы она попросила Танеева (своего отца) о награждении Родзянко, и дал свое согласие содействовать нам в этом деле.

После посещения Распутиным государыни и получения А. Н. Хвостовым разрешения от ее величества императрицы внести этот вопрос на всеподданнейший доклад государю, Хвостов отправился в ставку и там, заручившись согласием Боейкова и Алексева, провел свою программу. Вернувшись в Петроград, Хвостов постарался широко распространить в думских кругах о благожелательном настроении государя к Думе и ее работам. По агентурным думским сведениям, это обстоятельство сгладило недоверчивое отношение думских кругов к Хвостову и внесло успокоение в депутатскую среду относительно открытия занятий Государственной Думы.

О решении государя Хвостов довел до сведения некоторых министров. Но Хвостов не учел влияния Горемыкина... Горемыкин при докладе ему Хвостовым этого дела сказал, что он не получил еще никаких директив от государя и предполагает, в зависимости от хода занятий бюджетной комиссии Государственной Думы, испросить указаний по этому вопросу от его величества. Своего взгляда Горемыкин не высказал... Председатель совета министров еще до этого говорил мне, что ему не нравится роль, которую занял Хвостов в вопросе об открытии Думы, взяв именно на себя его разрешение путем всеподданнейшего доклада. Об этом я сообщил Хвостову, и тогда он решил поднять этот вопрос в совете министров.

6 декабря последовала награда Родзянко, что, судя по отзывам, внесло успокоение и уверенность в нормальном ходе работ Государственной Думы. Горемыкин был молчалив и в совете министров избегал разговоров о созыве Государственной Думы.

Чем ближе время подходило к середине декабря, тем сведения, получаемые мною из Думы, становились тревожнее, так как в виду близости рассмотрения в бюджетной комиссии сметы министерства внутренних дел, видно было, что не избежать в бюджетной комиссии выступлений против Распутина. И Родзянко, по словам Хвостова, не видел возможности положить какой-нибудь предел этим

разговорам в комиссии. Хвостов все же надеялся, что он сумеет своим ответом в бюджетной комиссии не вносить излишнего раздражения в среду депутатов и тем избежать резкой переходной формулы. Хвостов надеялся, что этим и окончатся выступления против Распутина и на общих собраниях она не повторятся. Что касается печати, то по военной и общей цензуре уже существовало распоряжение не пропускать о Распутине ни одной строчки. В этом направлении и были осведомлены Вырубова и Распутин. Не скажу, чтобы это их успокоило, так как они настаивали, чтобы ни о каких подробностях о заседании бюджетной комиссии, где будет затронут Распутин, не было помещено в печати. В виду этого Хвостов отдал по Петрограду и по Москве соответствующие распоряжения самого категорического характера.

Когда приблизился день рассмотрения сметы министерства внутренних дел в бюджетной комиссии, мы получили уже подробные сведения о том, кто именно из депутатов, о чем и в каком духе будет выступать с речами о влиянии Распутина.

В день заседания бюджетной комиссии я должен был выехать в ставку и поэтому присутствовал только на части заседания. По моем возвращении Хвостов заявил мне, а затем при мне Вырубовой и Распутину, что он сравнительно доволен исходом прений.

Приближалось время открытия Государственной Думы, но Горемыкин об этом в совете министров вопроса не подымал. Мне и Хвостову было известно, что он ездил с докладами к императрице. Это нас несколько встревожило. Затем у Горемыкина в этот период времени бывал Распутин, который нам также не сообщал о цели своего посещения председателя совета министров, а объяснял это свидание желанием вообще его повидать. Все это было подозрительно, и поэтому Хвостов решил поднять вопрос о Думе в совете министров. Несмотря на попытки Горемыкина отклонить суждение по вопросу о созыве Думы, тем не менее обмен мнений состоялся, и большинство министров стояло на точке зрения Хвостова. Горемыкин, не высказывая своего мнения и закрывая заседание, обещал при докладе государю сообщить ему выслушанные им мнения министров.

Хотя мы обо всем предупредили Вырубову и Распутина, тем не менее мы узнали затем, что Горемыкин побил нас тем же оружием, которое мы выставляли, то-есть Распутиним, представив происшедшие в бюджетной комиссии выступления против Распутина началом более сгущенных разговоров на эту тему и относительно императрицы в открытом заседании Государственной Думы. При этом Горемыкин указал, что Родзянко, по имеющимся сведениям, противодействовать этому не будет. Сведения эти, конечно, стали достоянием министров, Государственной Думы и прессы. Настроение Государственной Думы резко изменилось. И это было использовано Хвостовым для того, чтобы всю ответственность за изменившееся отношение Государственной Думы и общее в стране по этому поводу неудовольствие всецело перенести на Горемыкина и убедить высшие сферы принять ряд мер для смягчения настроения депутатов. Я рекомендовал изменить обычную форму даваемого в таких случаях

указа, составив его в виде рескрипта на имя Родзянко и поставив срок открытия Думы в зависимости от доклада Родзянко государю об окончании работ бюджетной комиссии. Затем мы рекомендовали посещение государем Государственной Думы и указывали, что перемена председателя совета министров будет служить наглядным для всех доказательством того, что высшие сферы в этом вопросе считают ответственным Горемыкина, который своим неточным докладом о настроении Думы поставил в необходимость принять такую меру, как отсрочка ее созыва. Указ был составлен министром юстиции и дан на имя Горемыкина в несколько измененной редакции, что снова дало повод Хвостову отметить неприятное впечатление, произведенное на Государственную Думу этим указом, и опять высказать Вирубову и Распутину для доклада во дворце, что необходимо и это обстоятельство поставить в вину Горемыкину.

Глава X.

Личный характер всех проявлений высших сфер. — Дела святи. Востокова, Восторгова, архиепископа Иннокентия. Стношение к Поливанову. — Штюрмер, и легитимизационный секретный фонд на печать. — Уход Поливанова.

Чисто личные отношения, чисто личные оценки наделяются преобладающими во всех проявлениях высших сфер. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, из которых ограничусь следующими.

Чрезвычайно популярный в Москве среди фабричных пригородов протоиерей Востоков, решившийся поместить на страницах своего духовного журнала петицию прихожан против влияния Распутина, был уволен из епархиальной епархии. Внезапность этого дела уфимского архиепископа Андрея, в миру князя Ухтомского, вызвала неудовольствие против него Вирубова и Распутина и не позволила его удалению на покой только из опасения синода, что такая мера вызовет открытое выступление самого еп. Андрея и поддержку со стороны прессы.

Из епископов протоиерей Восторгов был давно другом с Распутиным. Вирубов и Распутин, под влиянием Хвостова, оказывали Восторгову поддержку в его стремлении получить епископство в Машке. Но митрополит Никандр, в виду быстрого возмущения этого назначения гласными широкими митрополитом московским Макарием и стоял за Восторгова. Внезапно, против этого, предполагая предоставить Восторгову епископство кафедру в Иркутске. Дело помешал д-р Дубровин. Тот рьяно отстаивал кафедру Вирубовой, по назначению Восторгова с отрицательным в нем отношении к Распутину. Распутин также заявил готовность этим издать и с епископством Восторгову — «что я, на что не волнует... И действительно, с тех пор Восторгов о нем знает и не вмешивается в сторону протестантов.

Архиепископ и митрополит Иннокентий был уволен со своего поста в виду того, что в департамент полиции вошел циркулярный указ на имя князя Рейе его переписка с оной из неучиненных митрополитов, в которой, кроме многого латин-

ных влияний, был высказан ряд горьких мыслей по поводу губительно отражающегося на всем ходе церковного управления, разрывающего высшую иерархию влияния Распутина и отношений к нему высоких особ. Я ознакомил Вырубову с этой перепиской и по ее указаниям передал копию обер-прокурору Влжину и митрополиту Питириму. После указа об удалении епископа были приняты меры к тому, чтобы его прощание с паствой, в которой он был популярен, не сопровождалось демонстрациями. А в виду донесений жандармского управления по поводу отношений к властям генерал-губернатора Княз-ва, последний, по предложению Хвостова, без всяких предварительных сношений с генерал-губернатором, что его обидело, был назначен в Государственный Совет.

Отношения к военному министру Поливанову определялись еще тогда, когда он разрывал свои отношения с Сухомлиновым, и вследствие его близости к А. И. Гучкову. Когда Поливанов был назначен военным министром, то продолжавшееся его знакомство с Гучковым и близость его к графу Кокореву, к чему относился подозрительно и Горемыкин, служили темой частных наших разговоров с Вырубовой. Но подозрительность к Поливанову усилилась с момента приезда Распутина, когда было обнаружено филерское наблюдение за Распутиным со стороны военного ведомства, устроившего также проследку телефонных разговоров Распутина и наших. Вырубова, узнав про это, просила принять нас свои меры. Мы филерское наблюдение военного ведомства за Распутиным провалили, были сделаны телефонные отводы, и я, в свою очередь, установил наблюдения за телефонными разговорами Поливанова из его квартиры и его поездками в Царское и Павловск для выяснения его знакомств. О полученных мною сведениях я сообщал Вырубовой. Так как она и Распутин вольно или невольно за собой, особенно за телефонными разговорами, то я как-то передал Поливанову, что установка наблюдений за Распутиным вызвала приятие и с нашей стороны таких же мер. После этого филерская проследка и наблюдение за телефоном военного ведомства были сняты. Хвостов пытался в докладах бороться с Поливановым, но государь не поддавался этому и, наоборот, требовал от Хвостова установления корректных отношений с Поливановым. Но вследствие этого, и так как в наши планы налаживания отношений с Думой не входило обостренное сношение с Поливановым, с декабря 1915 года мы старались избегать в наших беседах с Вырубовой и Распутиным упоминания о Поливанове.

Уход Поливанова состоялся еще после нашего оставления службы в министерстве, но основная причина охлаждения Штурмера к Поливанову произошла при нас.

Штурмер с первых шагов своего вступления на пост председателя совета министр и отнесся очень внимательно к плану А. И. Хвостова, задуманному им с Гуранидом по борьбе с оппозиционной прессой и созданию путем скупки акций „Нового Времени“ доминирующего влияния правительства на этот орган и т. п. Узнав, что Хвостов получил уже согласие на кредит из секретного фонда для осуществления этих мероприятий и для предпринимавшей избирательной кампании, Штурмер пожелал взять на себя общее руководство этим делом. Меня удивило, что Хвостов легко согласился

ча это, повидимому, не просто, а имея в виду особые при этом цели. Согласился Хвостов и с желанием Штюмерера присутствовать при первом же докладе Хвостова государю, год предлогом необходимости совместного освещения общих вопросов. Также согласился Хвостов и на представление Штюмереру всего перлюстрационного материала, шедшего к министру внутренних дел, чего при Горемыкине не было.

Хвостов затем рассказывал мне, что на совместном докладе Штюмерер нервничал, волновался, никаких программных предложений не делал, а только сумел испросить у государя разрешение на ассигнование в его, Штюмерера, распоряжение 5 миллионов рублей из секретного фонда на осуществление мер по прессе, но государь поставил условием, чтобы ассигнование прошло через совет министров. Повидимому, эта ассигновка была единственным мотивом желания Штюмерера присутствовать при докладе Хвостова.

В следующем очередном заседании совета министров Штюмерер предложил им в подписи проект журнала о денежном отпуске без указания на какие надобности, доложив совету, что на отпуск денег государь уже согласился; Хвостов подписал журнал, а Поливанов, к которому журнал перешел для подписи, спросил о целях назначения кредита. На это Штюмерер резко отвечал, что обо всем он докладывал государю, как о секретном назначении, что если Поливанов не желает, то может журнала не подписывать, но об этом будет доложено царю. Тогда Поливанов и вслед за ним остальные министры подписали журнал, но об этом инциденте пошли разговоры, дошедшие и до Думы. Тогда я помимо Хвостова, доложил обо всем Вырубовой, советуя, дабы избежать впутывания в это дело имени государя, предупредить его об этом, так как Штюмерер не указал совету министров цели расхода, а сослался на доклад государю. В результате государь оставил при докладе Штюмерером журнал у себя, а затем вернул его с пометкой о согласии „с ознакомлением лично государственного контролера Покровского о всяком расходе из этого кредита“, Штюмерер был поражен таким исходом, а министры довольны. Сведения об отметке государя попали в Думу, и Штюмерер считал виновником всего этого Поливанова. Я вскоре после этого уезжал надолго из Петербурга и не знаю, что предпринимал Штюмерер относительно Поливанова, но знаю, что назначение Шуваева прошло мимо не только Штюмерера, но и лиц, его поддерживавших, и по своей неожиданности ошеломило Распутина, так как кандидатом Штюмерера и Распутина был ген. Беляев, друг Сухомлинова, известный Вырубовой и императрице и принимавший, по поручению императрицы, меры наблюдения через военную цензуру, за телеграфными сношениями Иллариона с Ржевским после ареста последнего, мною произведенного. О ген. Беляеве Распутин отзывался всегда хорошо и говорил, что императрица и Вырубова считают его своим человеком. А. Д. Протопопов, когда я передал ему, со слов Распутина, о предстоящем и значении Беляева военным министром, отнесся к этой кандидатуре с одобрением.

Глава XI.

Настоятель Феодоровского собора о. Васильев.—Распутин и посещение государыней лазаретов.—Выезд наследника в ставку.—Вырубова и Распутин и отлучки государя.—Распутин и его возможные конкуренты из мира юродивых.

С таким же отношением мне пришлось считаться и в вопросе относительно настоятеля царскосельского Феодоровского собора воспитателя наследника по Закону Божию, протоиерея о. А. Васильева. Вырубова заявила мне, что императрицу и ее интересует о. Васильев, так как можно предположить, что о. Васильев не является сторонником императрицы, а между тем государь относится к нему доверчиво, а наследник к нему привязался. Из двух перелюстрированных писем о. Васильева я усмотрел несколько отрицательное его отношение к Распутину. Никаких дальнейших данных, однако, у меня не накопилось, и Вырубова перестала о нем говорить. Сам же о. Васильев рассказывал мне следующий эпизод, происшедший за семейным высочайшим столом. Наследник цесаревич спросил государя: „Правда ли, что Григорий Ефимович (Распутин) — святой человек“. Тогда государь, ничего не отвечая наследнику, обратился к о. Васильеву и попросил его ответить наследнику на его вопрос. О. Васильев заметил при этом, как пылливо на него смотрела императрица, не спуская с него своего взгляда во время его ответа. О. Васильев, понимая щекотливое свое положение и не давая прямого ответа, объяснил наследнику, какие требования представляет завет Спасителя и священное писание к каждому, кто искренно желает угодить Богу. Государь после этого встал из-за стола, и разговор на этом оборвался.

Я уже указывал, как Распутин дорожил теми советами, которое мы ему при свидании давали, если они могли закрепить его значение у государыни. Испытуя эту черту, я на одном из наших свиданий на нашей конспиративной квартире высказал Распутину сожаление о том, что государыня прекратила свои выезды по лазаретам в Петрограде и в провинциальные города, а между тем такие поездки могут только подчеркнуть, как равным, так и всему народу, ее заботы о жертвах войны, в особенности, если эти поездки будут совершаться в простой обстановке, которая могла бы дать возможность государыне воочию познать в нем ее милосердное отношение к раненым. Это Распутину понравилось, и под влиянием его советов был ряд выездов государыни в ближайшие к Петрограду деревни и объезды петроградских лазаретов. То же впечатление на Распутина произвело и наше гостевие о желательности, как эта разлука ни тяжела для государыни, чтобы наследник сопровождал государя при выездах в ставку. Мы лично в этом отношении следовали общему желанию удержать, по возможности, наследника от внимания на него Распутина. С этим был согласен и Васильев, как лично, так и старшая настронка армян. Затем Алексей вернулся в его ставку, после одного из своих первых выездов по лазаретам, и Вырубовой свой разговор с государем об его визите в Мотилево, и государь говорил, что единственным

утешением для него будет наследник и что за это он очень благодарен государыне. После этого превратились на время разговоры Вырубовой и Распутина относительно выездов наследника в ставку, и Распутин передавал, что государь был ему благодарен за его советы брать иногда наследника в ставку. Но затем, время пребывания государя и наследника в ставке стало затягиваться, и Вырубова и Распутин, несмотря на наши указания, что это объясняется ходом военных операций, начали подозрительно относиться к этим долговременным отлучкам государя и наследника. Вместе с тем, и императрица, несмотря на просьбы наследника, снова начала, в интересах непрерывности занятий наследника, высказываться против его выездов с государем. В этом ей стал помогать и Распутин, потому что когда государь уезжал один, то он старался поскорее вернуться в Царское Село, постоянно тревожась за здоровье наследника. Распутин мне передавал, что ему пришлось особенно настойчиво убеждать государя не брать наследника перед объездом армии юго-западного фронта. Распутин даже вызвал этим гнев государя. Так как на этот раз ни просьбы императрицы, ни убеждения Распутина не действовали на государя, и он уехал с наследником, то настроение Распутина и Вырубовой сделалось подавленным и нервным.

Во время этой поездки, не доезжая до станции Бахмач, у наследника, смотревшего в окно вагона, близко прижавшись лицом к стеклу, при переезде поезда на стрелках, от сотрясения, открылось кровотечение из носа, что служило всегда для августейших родителей предметом постоянной боязни их за жизнь наследника, так как он страдал сложной формой гемофилии. Государь взволновался и, после принятых медицинских мер, приказал немедленно срочно возвращаться в Царское. Государь и наследник вернулись туда вечером. Немедленно по телефону было сообщено Распутину о болезни наследника с просьбой приехать. Но он не поехал. И как сам рассказывал потом, он сделал это сознательно, чтобы „помучить“ государя. Распутин по телефону передал только, чтобы наследника положили в кровать; а сам выехал только на следующий день утром. Приехал он оттуда в торжествующем настроении и заявил, что отныне государь будет слушаться его советов. После этого, действительно, не только увеличилось влияние Распутина, но и на время приостановились и выезды наследника в ставку.

Вообще всякие выезды государя являлись событием, волновавшим как Вырубову, так и Распутина: затягивавшееся пребывание государя давало повод для всяких опасений возможности влияния на государя в отношении императрицы и Распутина. В силу этого, как мне объяснил Распутин, государыня каждый день почти писала государю, а впоследствии, по совету Распутина, наезжала в ставку и сама. Сам Распутин несколько раз пытался выехать в ставку, но и и Вырубова всегда этому препятствовала. Однако, телеграммы государю в духе и в стиле избранных его „размышлений“ он посылал.

Чтобы показать, насколько нервно и злобно относился Распутин к тем, кого он подозревал в тайных замыслах подрывать его влияние на августейшую семью, я отмечу его позднейшее отношение к епископу Варнаве.

Затянувшееся по нашей, скорее, вине пребывание в Петрограде епископа Варнавы, по нашей просьбе проводившего некоторые назначения, возбудили у Распутина, не без влияния о. Мартемьяна, Мануйлова и Оспенко, начавшееся чувство подозрительности к Варнаве. Поэтому Распутин приложил все усилия, чтобы воспрепятствовать дальнейшим приглашениям епископа Варнавы во дворец, всячески отдалял приемы его у Вырубовой, несколько охладил отношения к нему митрополита и, наконец, добился того, что епископу дали понять о желательности его отъезда из Петрограда. Варнава понимал свое положение и стал готовиться к отъезду. Хотя это и успокоило Распутина, тем не менее он, почти накануне отъезда владыки, находясь в опьянении, вызвал его к телефону и тоном насмешки сказал ему, вроде того, что: „довольно наватались на автомобили, теперь пожалуйте на своих и к себе; нечего здесь прохлаждаться“ (владыка ездил на предоставленном ему мною автомобиле, и хотя я завел впоследствии и для Распутина от охранного отделения автомобиль, но это не давало ему покоя).

Если бы его отношения были таковы к епископу Варнаве, с которым у него были старые связи, то по отношению к инок Мардарию, воспитаннику Петроградской духовной академии, красавцу славянину, мистичу, он был беспощаден. В одном из свиданий Вырубова просила меня сообщать ей сведения об этом монахе, так как Распутин постоянно о нем говорит, и поездки Мардария в Царское Село не дают Распутину покоя. Распутин добился, в конце концов, того, что Мардарий принужден был выехать из Петрограда.

Ту же нервность обнаружил Распутин, когда я передаю ему и Вырубовой полученные мною сведения о появлении в Царском Селе жродивого-босоножки Олега, которого скрывали в одном из домов, для представления его затем, как можно было предполагать, высочайшей особе. Старец Олег поспешил уехать из Петрограда.

Другое отношение Распутин проявлял к старцу Василию-босоножке. Этот старец стоял всегда в монашеском полукафтаны, со значком союза русского народа, без шапки и с жалованным посохом на паперти Казанского собора и собирал подаяние на построение храма, причем раздавал отрывки со св-им изображением во весь рост. Об этом старце была большая по департаменту полиции переписка с архиепископом старопольским, который разоблачил его жадность и его корыстность и требовал отобрания у него книжки для сборов, снятия монашеского одеяния и препровождения на родину. Но, этот старец пользовался покровительством Распутина и не выходил из его подчинения, вследствие чего нельзя было исполнить требования епархиального начальства, хотя он и был на учете полиции и по другим неблагоприятным поступкам.

Глава XII.

Разоблачения Распутина в „Биржевых Ведомостях“. — Давление на прессу. — Письма о Распутине. — Письмо о Распутине о канцлерские Горемыкина.

Если мы, помня значение публичных разоблачений личности и влияния Распутина на высочайших особ, с точки зрения охраны династии, принимали

меры сознательно к недопущению выступлений против него в прессе, то покровительствовавшие Распутину лица видели в таких разоблачениях вмешательство в их личную жизнь и стремление опорочить того, кто им был дорог.

До моего вступления в должность в „Биржевых Вестях“ был помещен ряд корреспонденций о покушении в с. Покровском на жизнь Распутина, организованном Ильяшом. По особому распоряжению, следствие велось под наблюдением бывшего министра юстиции Щегловитова, который держал в курсе получаемых им сведений высочайших особ. По вступлении моем в должность, я, до издания общего запрещения писать что-либо о Распутине, обратился к редактору „Биржевых Вестей“ М. М. Габсбушу, которому я впоследствии оказал содействие в перемещении им своей фамилии на „Горелова“, с просьбой прекратить эти фельетоны. От него я узнал, что материалы для этих статей дает им сотрудник Давидсон, случайно бывший в это время в с. Покровском и познакомившийся с семьей Распутина, под видом жены старшей дочери Распутина. Давидсона я знал еще ранее и помогал ему кое в чем в журнальной работе. Так как Давидсон, с которым Распутин и семья его прекратили знакомство после его фельетонов, продолжал звонить по телефону в дом Распутина, то Вырубцов просил меня положить предел преследованию Давидсоном старшей дочери Распутина и была обеспечена возможность дальнейших газетных его против Распутина выступлений. Собирая о Давидсоне ряд сведений последнего времени, дававших мне возможность откровенного с ним разговора, я получил от него при письме желаемого мною содержания его архив, не представлявший никакой ценности, и помог ему, ввиду болезни его выдав ему в два приема 600 р. из секретного фонда. Печатание фельетонов о Распутине в „Биржевых Вестях“ было приостановлено, а письмо и полученные мною материалы от Давидсона вполне успокоили и Вырубцова и Распутина. Давидсон после моего ухода, не знаю, по каким соображениям, был временно арестован, а потом, как я слышал, перешел в организацию печати к Гурьянду. После смерти Распутина, Давидсон хотел было поместить в „Биржевых Вестях“ ряд сенсационных сведений, явившись в редакцию этой газеты с одной молодой особой и называя ее дочерью Распутина. Но был разоблачен редактором, г. Бонни, который мне об этом пересказал. Затем, в первые недели моего вступления в должность, я запретил печатать и приказал уничтожить все материалы по предлогу вранья и подложно в Москве кем-то разоблачавшей питейные откупники Распутина и его ночные аферы и его раба в бане в с. Покровском.

Особенную первенство как Вырубцов, так и Распутин проявили по отношению к пьесе, где был выведен Распутин и его почитательница и которая должна была идти в театре Яворск й. Пьеса, пропущенная цензурой, была снята в день первого спектакля, затем неоднократно цензурировалась и переделывалась, шла в сильно измененном виде, что вызвало расклевывание публики и все же, по настоянию Вырубцова и Распутина, была запрещена Хвостовым окончательно к постановке по всей России.

Другое отношение проявила Вырубова к произведению фельдшера—фамилии не помню—массированного ей попп и составившего хвалебный очерк жизни Распутина. Военная цензура не разрешила выпуска в свет этой брошюры, и мы соглашались с ней потому что выход книги в свет поставил бы в необходимость разрешать и рецензии о ней. Настоятели Вырубовой в этом направлении делу не помогли.

Не менее характерным делом, подтверждавшим мой общий вывод о личном характере всех отношений, является история с письмом Распутина о Горемыкине. По просьбе князя Андроникова я принимал участие в устройстве юбилея Горемыкина, помогая составить юбилейный о нем очерк. Князь Андроников широко агитировал за возможную популяризацию юбилея, в результате чего последовал ряд поздравительных телеграмм от высочайших особ. А затем, при поддержке Распутина и Вырубовой, был проведен план награждения Горемыкина орденом Андрея Первозванного, который имел из числа высших сановников только Кулемзина.

После этого, когда последовала смена министров, подписавших петицию о поддержании пожеланий Государственной Думы по вопросу о кабинете общественного доверия, как в прессе, так и в думских кругах заговорили об уходе Сазонова, министра иностранных дел, и о приятии Горемыкиным на себя обязанностей такого министра с назначением канцлером Российской империи по образцу князя Горчакова. Слухи вскоре стихли. Но в один из своих очередных мне докладов Манасевич-Мануйлов передал мне, что случайно, как секретарь редакции „Вечернего Времени“, на своем дежурстве он познакомился с сыном сенатора Кузьминского, авиатором, который предлагал редакции купить у него письмо Распутина к высшим особам с просьбой о пожаловании Горемыкина „канцлером“, в случае отказа предполагая сделать такое же предложение редакции „Речи“.

Мануйлов оценил всю серьезность предложения, отказался от покупки письма для редакции, имел в виду нас, и обещал Кузьминскому поместить письмо в надежные руки. Я решил письмо это выкупить у Кузьминского. Для этого был выработан план продажи письма моему корреспонденту английских газет, роль которого была поручена мною чиновнику Исаефовичу. Для этого ему пришлось иметь несколько свиданий с Кузьминским в ресторанах и в специально нанятой квартире, заказать визитные карточки несуществующего английского корреспондента и т. п. В конце концов, выкуп письма со всеми расходами обошелся в 1—1½ тыс. р., взятых мною из бывшего в моем распоряжении секретного фонда. Исаефовичу, со слов Кузьминского, удалось узнать, что письмо Распутина передала ему его знакомая барышня, бывавшая у дочери Распутина и видевшая как-то это письмо на письменном столе у Распутина, небрежно вообще относившегося к письмам. Об этом она рассказала Кузьминскому, который и уговорил ее достать подлинник.

Изот подлинник я показал Хвостову, который велел снять с него фотографию для своей коллекции о Распутине. По его же приказанию я письмо и фотографии передал Вырубовой, подтвердив ей ту опасность, которая гро-

знал, если бы все эти материалы попали в руки кадетской партии. Фотография письма была показана и Горемыкину. Распутин был очень удивлен, узнав про похищение у него письма, стараясь разузнать, кто мог это сделать. По его словам, ему "дастало" от Вырубовой за небрежное хранение писем. Роль Кузьминского и Писефовича в этом деле мы, конечно, никому не раскрывали...

Ст. П. Белцкий.

(Окончание следует).

Из воспоминаний М. В. Родзянко.

1914 — 1917 г.г.

Русское народное представительство, в лице четырех Государственных Дум, сыграло громадную роль в политическом развитии России и в подготовке ее к революционным этапам последней фазы истории. На долю 4-ой Государственной Думы, классовой, помещичьей и буржуазной, выпало быть воспреемницей первой революции 1917 года, в лице своего экстремистского органа — Временного Комитета. Но в годы войны даже классовая Дума сделалась механизмом, невольно приводившим в движение все активные силы страны в их борьбе с самодержавием. Дума естественно сделалась центром, из которого исходили программы действий всех тех, кто опирался на Думу или же совершенно ее отрицал. Вполне понятно, что за этот военный период фигура председателя Думы приобрела, вследствие этого, исключительную, яркую всероссийскую видимость, авторитетность и влияние.

Председатель 4-ой Думы Михаил Владимирович Родзянко стоял в самой гуще политических событий 1914 — 1917 г.г. Оставляя в стороне вопрос, насколько отвечал Родзянко требованиям, предъявляемым особенно в ответственные исторические минуты к государственным деятелям, и насколько он обладал нужными для этого талантами, нельзя не признать, что все же, при всех данных условиях, Родзянко пришлось выступать на амвоне политического первого артиста, в героических ролях посредника между царем и его правительством, с одной стороны, и между народным представительством, с другой. Вполне понятно, какой большой интерес представляют воспоминания бывшего председателя Думы, свидетеля со сцены русской политической жизни вскоре после февральского переворота.

Руководствуясь этим, редакцией "Былого" обратился в свое время к М. В. Родзянко с просьбой дать свои мемуары, на что б. председатель Думы изложил полнейшее согласие. Однако, Родзянко своего обещания не исполнил, и, таким образом, мы не имеем его воспоминаний, которые для нас были очень

особенно потому, что должны были бы быть написаны под свежим впечатлением переворота, уничтожившего династию Романовых. И только через два года, в 1919 году, в разгар успехов генерала Деникина, М. В. Родзянко издал напечатанную в Ростове на-Дону брошюру, под заглавием „Государственная Дума и Февральская 1917 года революция“ (62 стр.)

Эта брошюра, однако, имеет весьма мало общего с мемуарами. Написана она с определенной политически-агитационною целью и ставит своей преимущественной задачей защиту 4-ой Государственной Думы от тех обвинений, которые предъявлялись к ней *post factum*, повидимому, исключительно среди деятелей белогвардейского движения.

„Принято на веру далеко, однако, не бесспорное положение, — пишет М. В. Родзянко, — что Государственная Дума 4-го созыва подготовила, создала, воодушевила и воплотила в реальные формы переворот 27 февраля, а также и самую революцию. Всю вину за прошлые и настоящие ужасающие события принято валить на Г. Думу и в частности на ее председателя“. Это обвинение горячо возмущает М. В. Родзянко. Он протестует против него всеми своими воспоминаниями о прошлом и всеми аргументами о деятельности своей и народного представительства. И всю брошюру свою, богатую, правда, фактами, хотя и различной ценности, он посвящает угодливому доказательству своего торжественного вывода, что обвинение Думы в какой бы то ни было причастности к революции не имеет ни малейшего основания.

Были, однако, другие времена, когда у председателя Думы в душе складывались иные впечатления и воспоминания. Правда, это было вскоре после низвержения самодержавия, когда бесспорные гражданские чувства М. В. Родзянко не успокоились еще от тех поистине грубых и дичайших пощечин, какие систематически наносила самодержавная власть народному представительству, и обида была глубока и сильна. Тогда М. В. Родзянко умел говорить иным языком и давать иные характеристики, не считаясь с тем, как отзовется на это „наш доблестный главнокомандующий, истинный и верный сын своей родины генерал Антон Иванович Деникин... эта единая, сильная народным доверием власть“ (стр. 60). Тогда М. В. Родзянко оставался только ответственным государственным деятелем, и ему не приходилось считаться с сильным напором черной реакции, очевидно, нашедшей свое средство с позднейшей его идеологией.

Весной 1917 года М. В. Родзянко дал ряд весьма интересных, тогда же застенографированных ответов на обращенные к нему устные вопросы о пережитом им в своей недавней политической деятельности. И эти ответы-воспоминания М. В. Родзянко являются не только весьма существенным дополнением к изданным им полумемуарам, но и весьма значительным их коррективом. В брошюре М. В. Родзянко все смягчено, все обито примиряющим, прощающим светом. И Николай II не встает во весь свой траги-комический рост, и его министры не так уж плохи (кн. Щербаков, Самарин, А. А. Хвостов и Поливанов называются „наиболее популярными государственными деятелями в России“), и даже пре-

словутый Горемыкин, этот „выпущенный из нафталина“ черный маг реакции, оказывается „безупречно честным государственным деятелем и человеком“ (стр. 27). Нет в брошюре и картины яркой бесхозяйственности, какой заняло себя правительство во время войны. О влиянии Распутина сказано несколько слов. Точным силам не следовало ни одного слова, даже митрополиту Питириму, которого Родзянко совершенно не щадит в печатаемых ниже воспоминаниях.

Весьма характерно, что написанные в Демидовском царство мемуары, по настроению и поному тонусу откровенности, мало отвечают „революционной“ (для Родзянко) окраске ответов-воспоминаний, в которых Б. председатель Думы парадирует в демократической тоге. Ниже читатель найдет изложение тех аргументов, какие М. В. Родзянко развивал перед Николаем II, чтобы убедить его отказаться от проекта установления диктатуры. В республиканские времена 1917 г. Б. председатель Думы не рисовал, или не имел мужества, изложить все эти аргументы целиком. И не приводит, поэтому, М. В. Родзянко следующего своего сообщения, которым он рассчитывал, повидимому, окончательно испугать царя: „если же (диктатором) будет назначено частное лицо из правящих классов, то пример Юаншаня в Китае, провозгласившего себя президентом китайской республики, может показаться довольно соблазнительным для вновь испеченного диктатора“ (стр. 24).

Одним словом, М. В. Родзянко выступил уже в иной одежде мемуариста, когда писал свою брошюру на предмет белогвардейской агитации. Но зато весьма характерны, кроме только что приведенного, и иные умолчания, какие допустил Родзянко в своих ответах-воспоминаниях. Допустил потому, что в красные дни революционного возбуждения не хотел идти против ветра и примечался к обстоятельствам. В Демидовском царстве М. В. Родзянко уже менее стеснялся и был искренен относительно фактов, так сказать, правого устремления его и его присяжных.

Приведем некоторые из них, в дополнение к ниже печатаемым, сравнительно откровенным ответам-воспоминаниям Родзянко.

Когда М. В. Родзянко узнал о трех указах-бланках, находившихся на руках у последнего председателя совета министров кн. Голицына, он задумал в некотором роде организовать диктатуру дворянства. Уверенный в том, что его ждет арест и высылка, он вызвал телеграммами в Петроград из Москвы губернского предводителя дворянства Базилевского, председателя съездов объединенного дворянства Самарина, его товарища кн. Курякина, В. П. Карпова и петроградского губернского предводителя Соколова. Объяснив им положение дел, Родзянко просил их, в случае своего ареста и высылки, „стать на страже интересов родины и взять на себя долг бороться с теми оскорблениями, которые несомненно, вынудят на волю родины“. Это совещание постановило, что, в случае разгона Думы, „дворянство должно стать во главе движения для блага родины“. Однако, когда представители земств и городов с той же целью борьбы с самодержавием в тот же момент приглашали Родзянко в Москву, он отказался ехать под предлогом, что собирается скоро Дума.

Умолчал весной 1917 г. Родзянко и о том, что он вместе со своими товарищами по президиуму Думы пытался установить диктатуру великого князя Михаила Александровича: его убеждали явочным порядком объявить себя диктатором Петрограда, понудить выйти в отставку всех министров и потребовать от государя манифеста об установлении ответственного министерства. План этот, вследствие перемены личности великого князя, возмущавшего по этому поводу вести переговоры с императором, рушился. А оти сительно кандидатуры Михаила Александровича на престол после Николая II, Родзянко прибавляет характерный штрих: „великий князь поставил мне ребром вопрос, могу ли я гарантировать ему жизнь, если он примет престол, и я принужден был ответить ему отрицательно“. И не скупится в своей брошюре Родзянко и своего обращения, в сущности, к революции, рассказывая о том, как он был возмущен „беззаконным престолом“ солдатами председателя I Совета Щегловитова, или характеризуя положение дел в Петрограде в ночь с 26 на 27 февраля, как „френетическую резню“, чего, конечно, не было...

Как и всякие мемуары, ниже пошла мне ответы воспоминания Родзянко рисуют прежде всего личность самого их автора. В этом отношении они весьма интересны. Дальнейшие исследования обнаружат, насколько прав Родзянко, рисуя свою роль по отношению к царю и министрам и столь высоких героических тонов и столь сильно выписанных красках гражданского мужества, бесстрашия и рыцарства. Можно усомниться, чтобы и председатель Государственной Думы, проведший суровую линию военной дисциплины и сдержанности в придворных чинах, — то есть от кося вышней бюрократии и аристократии, — говорил с министрами и царем именно тем тоном, какой он приводит в этих мемуарах. Во всяком случае, сдержанная русская Ду́я, заключенная процессом неизбежного политического роста и огромным ходом событий к либеральному просовершению, не может перед нами в воспоминаниях Родзянко весьма вычурно и приукрашено.

Н. А.

I.

Война. — Неподготовленность правительства. — Демократизм. — Завоевание власти с Ставкой. — Возвращение к полякам и Николаю II. — Ассамблея с Кавказскими. — Запрещение земского съезда для обсуждения нужд армии. — Роль Н. А. Маляева.

При объявлении войны у меня создалось такое впечатление, что министерство Горемыкина совсем не было подготовлено к ведению военных дел России. Но, и сознательно, общее и среднее, когда с малым совершенно не разделялось, не только правительствами, но и думских кругов было таково, что продолжительность войны считалась в 6 месяцев. Далеко вперед Миллюков полагал, что война продолжится не больше 3 месяцев. В силу этого, все расчеты по снабжению и обмундированию армии выходили из этого короткого срока. Однако, после распада Думы, состоявшейся 24 июля 1914 г.

лишь для проявления патристического энтузиазма, когда началось деловое отношение к войне, у нас прежде всего обнаружился недостаток снарядов, обуви и одежды. Уже в конце августа стало ясно, что дело будет плохо, если война затянется. И к этому моменту у нас вполне определилось весьма вредное разделение властей. Уже тогда у императора Николая возникла мысль стать во главе армии. Горемыкину, бывшему тогда в силе, еле удалось отговорить царя от этого шага, но незаконная картина двоевластия, на основании положения о командовании полевыми войсками, развернулась в полноте. Ты жил под командой правительства, а дальше шла демаркационная линия, и правительство не смело делать ни одного шагу. На путях сообщения министерство путей сообщения ведало, например, зимним поездом только в пределах тылового района, — далее он поступал в распоряжение комендантов, сидевших на станциях и обладавших властью вплоть до расстрела. Начальники станций, в свою очередь, обладали такою же властью, и между ними шла вечная война.

Я обратился к великому князю Николаю Николаевичу и указал ему, что хаос, начавшийся с железных дорог, пойдет в глубь тыла, и тогда получится разделение власти или, иначе, безвластие. — „Я не знаю, как мне быть, — отвечал великий князь, — но Горемыкин отказывается принимать какое бы то ни было участие в делах войны“. Я услышал об этом в первый раз. Если принять во внимание, что штаб верховного главнокомандующего не отдавал себе отчета в графическом изображении войны, которую нельзя было объявлять одними канцелярскими распоряжениями, то получится такая картина: со стороны правительства — бездействие, а со стороны штаба — непонимание. И от этого произошла глухая борьба правительства со Ставкой.

Особенно резкую позицию по отношению к ней принял Мавляков (министр внутренних дел). Это весьма отчетливо проявилось в связи с воззванием главнокомандующего к полякам и декларацией об объединении Польши.

Вокруг этого позыва ходило много легенд. Говорили, будто бы великий князь выпустил его самовольно. На самом деле, это воззвание, составленное министром иностранных дел Сазоновым, обсуждалось и было принято, против голосов министра юстиции Щегловитова и Мавлякова, советом министров. После издания воззвания, ко мне обращались различные польские организации, члены Государственного Совета, граф Велепольский и другие лица с просьбой выяснить при докладах государю смысл и значение воззвания Николая Николаевича, вызвавшего много недоумений. В чем, в самом деле, его суть? Создается ли самостоятельная объединенная Польша? Или будет только автономия российской Польши? Или это будет скомбинированный союз на началах унии? Поляки приходили ко мне и говорили: „Выясните эти вопросы, потому что для нас существенно важно, в какую сторону мы должны вести агитацию в областях нерусской Польши — в австрийской и прусской“. Я, конечно, не мог поехать к царю и заставить его стать на ту или иную точку зрения в этом вопросе. Я им советовал самим обратиться к верховной власти. Между тем положение осложнилось; генерал-губернатор Польши определенно сказал

полякам, что „все это вздор и преждевременно“, началась игра страстей по польскому вопросу, и я решил испросить доклад у императора по этому делу, понизая, какую роль может сыграть эта разногласица при оккупации германскими частями русской Польши.

У государя я встретил чрезвычайно резкое отношение к воззванию главнокомандующего. Я был этим весьма удивлен и сказал царю: „Как же это так? Вы сами, ваше величество, изволили подписать?“ — „Нет, — отвечал царь, — мы поторопились“. — „Как поторопились?“ — спросил я, но царь мне ответил, что все детали этого вопроса разъяснит министр внутренних дел.

Нужно заметить, что вообще Николай II был чрезвычайно скуп на слова. При всех докладах, которые я делал, как председатель Думы, я определенные ответы получал весьма редко, и то только в тех случаях, когда удавалось задеть его за живое. Вообще говоря, все мои доклады за 6 лет представляли для меня пытку, потому что приходилось говорить без всякого оглядки. Меня внимательно выслушивали — и только.

Относительно польского вопроса для меня стало ясно, что у царя взяли перевес отрицательные влияния Щегловитова и Маклакова. Горемыкин стоял энергично за проведение воззвания главнокомандующего в полноте, но, таким образом, кроме раздвоения властей вообще, получилось и вторичное раздвоение в самом правительстве...

По этому делу и вообще по поводу общего направления политики и в конце сентября 1914 года отправился к министру земледелия Кривошеину и, между прочим, сказал ему: „Если вы так поведете дело, если вып председатель (Горемыкин) будет говорить направо и налево, что ему до войны дела нет, что это дело его величества и его высочества, их дело только управлять, а, с другой стороны, правительство ставит тормоз тому, что делает великий князь, хотя как будто бы вы и умны руки относительно войны; затем в польском вопросе вы беспокоите поляков, театр военных действий и все население; если вы затем не проявите никакого сочувствия к общественным силам, могущим прийти на помощь в народной войне, — то, смотрите, колеса вы вывалили, устами императора вы взяли вестить войну до конца, а на деле при таких приездах вы не доведете ее до конца и будете разбиты“. — „Почему?“ — спрашивает Кривошеин. — „Потому что у вас нет снарядов, — отвечаю я, — нет сапог, нет одежды. Все это есть, но когда вы начнете разнортывать части, то ничего не окажется в наличности“. „Что же надо делать?“ — спрашивает Кривошеин. — „Во-первых, — отвечаю, — надо всех вас сменить, начиная с Горемыкина, и призвать людей, которые понимали бы дело, или пусть великий князь будет диктатором, и правительство переедет в Ставку, если нельзя согласовать действия Ставки и власти. Иначе вы задавите энгуизм, и Россия будет разбита“.

Кривошеин задумался, но он был бессилен что-либо сделать, — над ним уже тяготели обвинения в либерализме.

Я долго ломал голову, чтобы объяснить подобное отношение правительства, и пришел к выводу, что оно пропиталось убеждением, будто

только бюрократия может спасти Россию. Это была коренная, роковая ошибка.

Когда в январе 1915 г. собралась Дума, вопрос о недостатке снарядов был для всех уже ясен. Мы с математической точностью вычислили, насколько хватит снарядов, патронов, винтовок и т. д. И тогда наступил период, когда я, по полномочию Думы, начал вести сильную борьбу с правительством, императором, Ставкой. В конце февраля или марта я поехал к великому князю, чтобы предупредить его о том, что его ожидает и что снарядов он не получит. Нужно сказать, что великий князь еще с ноября это знал и вел определенную борьбу с Сухомятиным и понимал то положение, в котором мы находимся. Я считаю великого князя одним из честнейших и прекраснейших людей, но он совершенно незнаком с ведением внутреннего государственного распорядка. Это солдат, военный человек, который никогда душой не кривил. Насколько он способен быть верховным главнокомандующим, — в делу не отосыт, но во всяком случае он делал свое дело добросовестно.

Я помню его характерные слова. Я ему говорю: „Ваше высочество, нельзя же палками драться“. Он отвечает: „Я должен сказать одно: я верующий человек, и мне остается надеяться на милость Божью. У меня нет винтовок, нет снарядов, нет сапог. И я к вам, как верховный главнокомандующий, предъявляю требование, как к председателю Думы, — поезжайте в Петроград и обуйте мне армию. Я не могу этого видеть: войска не могут сражаться босыми“. Я отвечаю: „На это мне нужен от вас документ“.

В связи с этим и разыгрываются события, которые ясно определяют отношение правительства к Ставке и войне.

Великий князь дал мне документ, содержащий в себе приказ верховного главнокомандующего принять все меры по снабжению армии сапогами. Понятно, что без содействия общественных элементов, без общего подъема производительных сил, сделать ничего нельзя было. Я решил, что если удастся на сапогах организовать общественное содействие, то дальше можно будет присоединить и работу по приготовлению винтовок и снарядов. И сейчас нужно созвать для этого земский съезд всех председателей управ. Нужно было для армии 3 миллиона пар сапог. По предварительной переписке с председателями управ и по другим подсчетам, ясно было, что выполнить эту задачу весьма легко.

Собирать самостоятельный земский съезд по тем временам было невозможно, и мне не хотелось обречь заранее большое дело на провал. Я поехал к министру внутренних дел Макакову, и тут произвел такой разговор.

„Николай Алексеевич, — сказал я, — вот вам записка великого князя. Вы видите, в каком бедственном положении находится армия. Много выходов нет, как работа при общественном содействии, — как бы вы ни сопротивлялись. Я думаю, что вы будете настолько патристичны теперь, что согласитесь. Понимаю же, в самом деле, оставлять армию босой. Ведь в декабре дело доходило до того, что люди обматывали себе ноги палатками, потому что сапогов было. Я сам это видел в Галиции“. — „Чего же вы хотите?“ — „Нужно т

сейчас же написать мне разрешение съезда всех председателей управ и городских голов под моим председательством, так как я имею соответствующие указания великого князя. Мы этот вопрос на съезде обсудим и решим, как выйти из этой беды“.

Перед этим я беседовал с ген. Шуваевым, снабжавшим армию, и он мне говорил: „Я выбиваюсь из сил, но с одними военными организациями ничего сделать не могу. Мне нужно сделать запас в 3 миллиона пар. Тогда, вливая в армию все то, что производится, мы будем держать армию одетой и обутой“.

На предложение о съезде Маклаков отвечает: — „Знаем мы ваши съезды. Вы просто хотите, под видом сапог, собрать съезд и предъявить разные ваши требования — ответственное министерство, а, может быть, даже и революцию“. Я говорю ему: „Послушайте, почтеннейший Николай Алексеевич, выпейте стакан воды (тут графин с водой стоял), вы, вероятно, не в своем уме и твердой памяти или я буду иначе с вами разговаривать. Вы с ума сошли“. — „А что?“. — „Перед вами кто сидит? Председатель Государственной Думы, который, по поручению верховного главнокомандующего, должен сообщить, что армия — босая. Вы, пожалуйста, на свой аршин не мерьте. Когда собирается съезд, тут не до переворотов, — наши сыновья и братья гибнут. Как вы смеете мне это говорить? Я буду жаловаться на вас государю императору, я рапорт подам“. — „Я не то хотел сказать, — отвечает Маклаков, — но, конечно, эти случаи могут воспользоваться“. — „Да кто захочет, — говорю я, — воспользоваться и каким случаем? Думают только об одном перевороте — министра Маклакова слыхнуть, а об остальном ничего не думают. Если вы будете вести такую политику, вы ввергнете страну в революцию, а что вам надо уйти — это совершенно верно“. — „Но я надеюсь, что этот разговор между нами“, — замечает мне Маклаков. „Нет, почтеннейший, — отвечаю я, — между вами это не останется; такие слова, сказанные председателю Думы, не остаются в тайне. Вы не предупредили меня, что разговор в тайна, и я тайны делать не намерен, и доложу об этом Думе“. — „Может быть, я не так выразился“. — „Вы имейте, по крайней мере, мужество, — сказал я, — не играть назад. Сказали, так сказали, и я тоже буду иметь мужество сказать это в Думе“. Маклаков отвечает: „Раз вопрос ставится так, что армия остается без сапог, то я внесу его на рассмотрение совета министров“.

Я подумал, что это хоть какой-нибудь шаг вперед, — быть может, удастся убедить совет министров в необходимости разрешения съезда.

Отправился я к Горемыкину и изложил положение дел. „Мой дорогой, — говорит мне по-французски председатель совета министров, — это не мое дело“. — „Как не ваше дело?“ — „Он (Маклаков) не имеет права это делать“. — „Но тогда вы, — отвечаю я, — должны что-нибудь сделать при обсуждении вопроса в совете министров; заставьте, чтобы съезд был разрешен, и я даю вам слово, я клянусь, никакой революции не создавать. Но про изгнание Маклакова говорить будут“. На что Горемыкин отвечает: „Я должен сказать, что я тоже терпеть не могу Маклакова“. — „Радуюсь этому“, — отвечаю я. — „Я обещаю вам поддержку“, — говорит в заключение Горемыкин.

Чем же кончилось дело? Вопрос вносится в совет министров, Маклаков делает доклад. И по полученным мною сведениям, Маклаков в докладе проводит ту мысль, что вот, мол, явилась, у председателя Государственной Думы новая затея. Он-де человек беспокойного нрава, вмешивается не в свое дело и не дает покоя нам, при этом Маклаков представил совету таблицу работ губернаторских комитетов по заготовке сапог. В созыве съезда было отказано.

Кстати, вспоминаю характерный эпизод. Одна моя знакомая, помещица Калужской губернии, едет как-то в губернский город и встречает довольно крупную партию людей, с виду ремесленников, окруженных урядниками. Их куда-то гнали. На вопрос помещицы, следует ответ: „Да, вот идем сапоги шить: приказано согнать всех сапожников в Калугу—шить сапоги“.... Вот как действовали губернаторские комитеты.

Отказ в разрешении земского съезда до такой степени меня возмутил, что я потребовал доклад у государя и рассказал ему все происшедшее. „Ваше величество,—говорил я,—при таком отношении к представителям общественных элементов, уничтожающим средостение между царем и народом, по неволе приходится повторить пословицу—жалует царь, да не милует царь“. Царь отвечает: „Я ему скажу“, но, очевидно, ничего не сказал, потому что Маклаков был тогда необыкновенно в силе.

II.

Объединение общественных сил.—Беседа с царем во Львове.—Увольнение пяти министров.—Созыв Г. Думы.—Снова реакционный поворот.—Влияние императрицы.—Распутин и Берлин.—Приезд царя в Г. Думу.—Угрозы роспуском Думы.

Москва сгорела от трехкопеечной свечки. Так, может быть, и тут, от этого инцидента разгорелось особое стремление общественных сил к объединению, ради помощи родине. С этого момента, с начала января (1915 г.), начинается упорное, сознательное сличение общественных сил. Были организованы прекрасно действовавшие лазареты земских союзов, продовольственная часть, в которой принимало участие земство. Но как это ни страшно, все это привело как раз не к сближению с правительством, а к тому, что правительство кабинета Горемыкина взяло под подозрение все общественные силы и всех тех, кто непосредственно говорит дерзости, — например, я и кн. Львов считались людьми чрезвычайно опасными. Мало-по-малу нарасталось общее недовольство, и, наконец, разразилось бедствие в Галиции.

Когда я пришел в штаб генерала Радко-Дмитриева, то увидел, что армия находится в самом невероятном положении. До этого момента я посетил Львов, куда приезжал государь, причем я не понимал, почему его туда направляли. Он долго со мной говорил и, между прочим, сказал: „Кто может думать, что мы здесь встретимся?“. Я ответил: „К сожалению, это слишком рано: как бы у нас не отняли. Я объехал всю Галицию и видел, что войска слабы и плохо снабжены“. Царь возразил: „Пожалуйста, вы не каркайте“.

В это время, как известно, великому князю Николаю Николаевичу была пожалована сабля. Я посоветовал спрятать ее в чемодан....

От этого периода мои впечатления определенно свелись к тому, что правительство стояло на принципе необходимости победить немцев и окончить войну со славой; но, с другой стороны, оно не докладывало верховной власти истинного положения вещей, потому что при моих докладах бывали моменты, когда царь положительно с облаков падал, и для него открывались такие вещи, которые ему были совершенно неизвестны.

Когда произошло галицийское отступление, сдача крепостей, разруха, император вспомнил мои доклады, устные и письменные, и я был вызван в Ставку.

Ставка была чрезвычайно встревожена, кроме великого князя, который на мой вопрос, почему он так спокоен, отвечал: „Я к этому приготовился еще в январе, я говорил, что не могу воевать без снарядов, без винтовок и без сапог“. Я спросил великого князя, знает-ли он, чем кончились мои хлопоты о сапогах для армии. Он ответил, что знает...

На докладе царю я сказал ему: „Вы погубите страну; погибнет Россия при таких порядках“. — „Что же делать?“ — спрашивает царь. „Гоните прочь ваших советчиков, — отвечаю я, — они погубят всех нас, погубят родину“. Повидимому, царь тут вынул мне и дал обещания, что наиболее одиозные лица будут удалены. К этим одиозным лицам относились: Мавляков, Саблер, Щегловитов, Сухомлинов. Я всячески требовал и просил, чтобы был удален Горемыкин. Государь спрашивает: „Что же вы можете ему инкриминировать?“ — „Вещь самую ужасную“, — отвечаю я, — самую ужасную, какую мог сказать первый министр — это не мое дело“. Ведь это преступление! За это его надо прогнать. Разве можно, чтобы первый министр о гибели страны, о расстройстве финансов, о разрухе, о расстройстве транспорта говорил, что это „не его дело?“ Чье же это дело?“ — Царь на это промолчал. Но я получил от него санкцию — это было сделано через великого князя — на устройство особого совещания по обороне, которое и положило начало пробуждению общественных сил и призыванию их хоть сколько-нибудь к активной работе. О результате я говорить не буду. Они — на лицо: армия была снабжена снарядами, сапогами одета.

Здесь надо заметить, что если бы меня послушали и последовали указанию Г. Думы, то мы выиграли бы ни больше, ни меньше, как 7 месяцев, считая с октября по апрель, даже по май; чтобы собрать нашу промышленность и наладить ее, нам потребовалось бы приблизительно 10 месяцев, т. е. к марту или апрелю 1916 года все было бы в полном ходу. Это документально установлено.

Бездействие же правительства, торжество этого принципа „не мое дело“ в половине войны сыграло роковую роль. Ибо, если бы все было сделано по общественному плану, то к моменту (в марте) наибольшего напряжения германского наступления, когда мы понесли ужасные потери и были отброшены за реку Пиню, армия, обученная, одетая и вооруженная, могла бы стоять.

В конечном счете всеобщее негодование и тревога дали свои плоды. Была собрана Государственная Дума (26 июля). И верховная власть уже не дерзнула представить в Г. Думу министерство в старом составе. Были уволены: Маклаков, Сухомлинов, Щегловитов, Саблер, и дело как будто бы пошло лучше. Были новые министры: кн. Щербатов по внутренним делам, Поливанов по военным, А. А. Хвостов оказался весьма порядочным человеком, заняв место Щегловитова. Самарин был назначен обер-прокурором, и как будто вздохнулось полегче. К этому моменту надо отнести развитие деятельности общественных кругов.

Но это продолжалось два-три месяца, и опять традиционные стремления — попытаться во что бы то ни стало обойтись без народа, получили полную силу, и началась, по выражению Пуришкевича, министерская чехарда и возвращение к тому абсолютизму, который не допускал никаких возражений, считая всякое проявление свободной мысли, даже в пользу России, революционным, когда все мы были взяты под подозрение, когда казалось, что чуть ли не мы тогда старались свергнуть существующий строй.

Причиной нового поворота я считаю влияние императрицы. Иначе я этого объяснить себе не могу, потому что император был слишком мягкий и поддавался всякому влиянию, и до этого поддавался моим уговорам, моим увещаниям, хотя и считал меня отъявленным революционером. Но я полагаю, что здесь имело место влияние императрицы, и тут, по-моему, начинается особенно сильное воздействие Распутина.

Почему эти два лица вели такую определенную линию? Я думаю, что императрица действовала бессознательно, а Распутин действовал сознательно из Берлина. Зная более или менее близко настроение придворных, я думаю, что никакое следствие не даст указаний и документов на связь императрицы с заграницей, на ее измену. Думаю, вряд ли это найдется. Я сужу по инциденту с Васильчиковой, которую я тогда же разоблачил. Которая была буквально ею избрана и Я знаю это хорошо, потому что Васильчикова мне близко знакома. Это была провокация со стороны Васильчиковой, по поручению из Берлина. Ее можно было спрятать и покрыть. Но эта история не была покрыта, был поднят скандал, из-за него ушел, кажется, Хвостов.

Итак, я думаю, что императрица действовала бессознательно. Но она была убеждена, что верховная власть и правительство должны победить, отнюдь не прибегая к народу, чтобы не народ это сделал: народ должен только подчиняться. Она была очень властная женщина. Я думаю, что все это внушалось ей через Распутина, а, может быть, тем, что окружало Распутина — Рубинштейн и т. д.

Фактов у меня нет, потому что исправно прятали концы в воду. Но определенно ходили слухи и ко мне приезжали частые лица с заявлением о том, что через шведское посольство Распутину передаются большие деньги из-за границы. Я знаю, что все эти сведения сообщались генералу Беляеву, стоявшему во главе контр-разведки. Я знал, что Распутин окружали лица, имевшие связи с заграницей. Потом это подтвердилось. Я убежден, что тут была его работа. Я не могу себе иначе объяснить, откуда появилось плано-

жестокое и правильное изгнание всего того, что могло принести пользу в смысле победы над Германией. В том беспорядке, который у нас царил, существовал известный порядок. Он планомерно приводил к смене министров. Затем подбор таких лиц, которые совершенно не отвечали общественному настроению. Затем продолжают ставить в конфликт власть правительства с обществом, и систематическое отстранение государя от Думы началось, когда отношения удалось уладить.

Царь это, наконец, понял и приехал в Г. Думу 9 февраля 1916 года. Но уже было поздно, так как после этого ничего не последовало. Я тогда в полукруглом зале, когда его провожал, говорю государю: „Ну, а что дальше? Вы изволили пожаловать, а дальше что?“ — „Вы говорите насчет чего?“, — спрашивает царь. Я отвечаю: „А ответственное министерство?“ — „Ну, об этом я еще подумаю“, — отвечает царь. И говорят, что этот приезд в Думу царь совершил на свой страх, и когда приехал к императрице, ему пошло, и очень хорошо. И поэтому он сейчас же постарался все загладить. Но самый прием в Думе произвел на него сильное впечатление, — это я заключил из его искреннего мне заявления: „это на меня чарующее впечатление произвело — прием. Никогда не мог решиться“...

К моменту созыва Думы, с переменой министров, относится решение царя стать во главе армии. Я лично докладывал ему, что считал опасностью соединение командования армией с верховной властью управления. Соображения очень просты. Когда монарх является командующим армией, т.-е. руководит всеми судьбами России и вместе с тем управляет страной, то из этого ничего не может выйти. Кто же над ним судья? Я понимаю, когда есть верховный главнокомандующий, правительство и верховная власть. Тогда эта верховная власть может быть судьей всех действий. Но когда она во главе, кто же ее может судить? Очевидно, народ, который льет кровь.

В этом духе мною было написано письмо к государю, и я самым отчаянным образом заявил об этом. Царь не мог забыть мне этого письма до последних дней. Он постоянно мне говорил: „Вы продолжаете отстаивать вашу точку зрения, что я не должен был принимать командования“. Я отвечаю: „Не только продолжаю, но считаю, что это величайшая ошибка вашего царствования, что вы это сделали“.

Этот шаг я считаю исходным пунктом гибели нашей. Это было в половине 1915 года.

Тогда сессия Думы была неожиданно прервана 3 сентября. Правительство решило, — об этом мне заявил Горемыкин, — что Дума волнует страну, что она своими откровенными беседами колеблет престиж власти. Я его спрашивал, зачем он говорит со мной о несуществующих вещах. „Какой у вас престиж?“ — говорил я. — „Неужели вы думаете, что у вас есть в стране престиж? Это наивно. Колебать вас никто не желает и не может“. Горемыкин на это обиделся и отвечал, что Дума критикует правительство. „Как же вас не критиковать?“ — говорю я. — „Вы позволяете слишком много болтать“. — „Слишком мало“, — отвечаю я. — „Напротив, члены Думы жалуются, что я строг. Я думаю, мне после ваших

слов придется ослабить возжи значительно". Тогда Горемыкин заявляет мне: „Знаете, если так будет продолжаться, то придется Думу распустить". — „Сила солову ломит", — отвечаю я и предупреждаю, что его отношение к общественности делает уже свое дело.

Факты же были. Делегацию от земств и городов в лице Львова, Гучкова и Челнокова царь не принял. Было всеобщее неудовольствие. С этого момента по-моему, началось и озлобление по отношению к власти и правительству. Но правительство осталось верным себе до конца.

III.

Штюрмер. — Влияние Распутина. — Визит митрополита Питирима. — Обед у Штюрмера. — Совет пяти министров. — Диктатура военная и Штюрмер.

Вместе Горемыкина был назначен Штюрмер. Что влияние Распутина и его приспых в это время начало возрастать, видно из вмешательства во все политические дела петроградского митрополита Питирима.

Я вспоминаю, как перед самым назначением Штюрмера, в январе 1916 года, митрополит усиленно просил меня об аудиенции и приезжал ко мне. Нужно заметить предварительно, что в конце 1915 года я написал известное письмо к Горемыкину. Письмо это не предназначалось к печати, но я его оставил у себя в кабинете, оно исчезло, а затем появилось по всей России. При докладе моему царю 27 декабря 1915 г., я отдал копию этого письма императору и сказал ему: „Вы, вероятно, слышали о письме, которое я написал Горемыкину. Чтобы не было недоразумений, позвольте мне его представить. По крайней мере, за моей подписью. — значит, несомненно, верно". — „А я и не знал", — отвечает царь. Этот эпизод и имел связь с визитом Питирима.

Он прислал ко мне члена Думы, священника Немерцалова, который и заявил, что владыка митрополит непременно хочет меня видеть. По своему положению, я не мог отказать ему в приеме. В назначенный день он приезжает. А перед этим он ездил в Ставку. Едва ли не единственный митрополит, который был в Ставке, и для этого у него были свои причины.

Я Питирима инстинктивно боялся и с ним с глазу на глаз беседовать не мог. Поэтому, я приглашаю к моменту приезда ко мне митрополита представителя канцелярии Глинка и прошу его посидеть в кабинете, указывая, что „митрополит намерен с три короба". Митрополит оказался, вероятно, походярнее меня, потому что приехал не один, а со священ. Немерцаловым. Но так как я более опытный политик, чем он, то я спрятал Глинку...

Митрополит вошел ко мне и прямо подает руку. Я говорю: „Простите, ваше преосвященство, я все-таки православный и христианин, вот у меня икона висит, а вы не хотите меня благословить". — „Ах, — говорит, — извините". — „Благослови". Сели. Вот митрополит и говорит мне сладко: „Вы, — говорит, — Михаил Владимирович, знаете, что я давно желаю с вами познакомиться". — „К сожалению, — отвечаю я, — хвастаться взаимностью не могу". Посмотрел на

меня. „Да, — говорит, — вы меня интересовали. А главное — мне хочется войти в контакт с Г. Думой; впрочем, я должен вам сказать: вы знаете, для чего я ездил в Ставку?“ Я говорю: „Нет. Я за вами не следил и не имею таких агентов, чтобы подглядывать ваши мысли“. — „Я ездил в Ставку, — продолжает митрополит, — для того, чтобы смягчить впечатление известного вам письма“. — „Какого письма? — спрашиваю я. — А вот вы писали, разве не помните? письмо Горемыкину? Я и хотел смягчить впечатление, которое оно могло произвести на государя“. Я думаю — ну, и попался же ты, как кур во щи, и говорю ему. „Позвольте сказать, что это совершенно неверно. Ничего вы не могли смягчить, потому что когда вы были? В феврале. А 27 декабря я сам отдал письмо государю в руки. Как же вы говорите, что вы должны что-то смягчить?“ — „Как, — отвечает Питирим, — мне государь ничего не говорил“. Я и повторяю ему: „Так что никаких данных для этого нет“. — „Ну, — возражает Питирим, я сделал, что мог, желая вам быть полезным“. — „Очень благодарен“. — „Да, — продолжает митрополит, — я вам говорил, что я хочу непременно войти в контакт с Г. Думой“. — „Затрудняюсь сказать, — отвечаю я, — как это можно сделать. Вы не член Думы. У нас сфера законодательства гражданская. Единственная точка соприкосновения — это смета св. синода, да и то ваш враг — обер-прокурор — ее защищает, а не вы“. — „Вы знаете, — настаивал митрополит, — я так уважаю вас и это учреждение, и мне хотелось бы войти в контакт“. Я отвечаю: „Ваше высокопреосвященство, вам не удастся, должен отнять у вас всякую надежду“. — „Вы знаете, — переменил тему разговора мой собеседник, — кто будет назначен? Вы знаете, что Горемыкин уходит?“ И посмотрел на меня лукаво, будто хотел дать понять, что назначен буду я. — „Я говорю: „Ваше в-ство, мы не в шарady играем. Не могу отгадывать, что вы делали в Ставке“. — „Да я вам скажу, — говорит Питирим, — Штюмер“. Тогда свящ. Немерцалов, который был вместе с нами, вскочил с кресла и говорит: „Ваше в-ство, как можно немца назначать, Штюмера? Невозможно! Штюмер! Что же это такое?“ Митрополит посмотрел на священника и сказал: „Священник Немерцалов, во-первых, Штюмер такой же русский человек, как и мы с вами. Это вы должны знать“. — „Нет, — вмешиваюсь я, — позвольте поддержать отца Немерцалова. Такое назначение может возбудить всевозможные толки и неудовольствия. Тем более, что я слышал, что Штюмер хочет переменить фамилию и сделаться Паниным“...

Ясно было, что Питирим и Штюмер это было одно.

„Как же, — спрашиваю я, — вам удалось это сделать? Говорили вы с кем-нибудь?“ — „Так удалось, — отвечает Питирим, — одним словом, будет назначен Штюмер“. Я отвечаю: „Очень жалко. Предстоит еще более упорная война со Штюмером, чем с Горемыкиным“. Митрополит замечает: „Это — царская воля“. — „Царская воля? — говорю я, — значит, вы подшепнули?“ „Ну, подшепнул ли или нет, — это очевидно“....

Назначение Штюмера состоялось при участии Питирима, а Питирим — покорный слуга Распутина. Назначение Штюмера вызвало еще больший разлад. А из этого вывод: это выгодно Бердяву. Я глубоко убежден, что это

было дело рук Германии через Распутина. У меня это убеждение не отнимете.

Питирим в конце беседы все же настаивал на том, что жаждет войти в контакт с Думой. На мои отрицательные ответы он допытывался узнать причины. „Лучше не спрашивайте“, — говорю я. „Скажите“, — настаивает он. „Да, потому“, — отвечаю я, — что вы — ставленник Распутина. Всем известно, что вы через Распутина попали в митрополиты. Это не секрет“. — „Я попал на это место, — возражал мне митрополит, — потому, что был в Грузии. А из Грузии — во Владикавказе, а из Владикавказа в Самаре, а потом в Курске“. — „Население вас изгнало, ходатайствуя, чтобы вы ушли. В Самаре тоже не могли ужиться. Во Владикавказе стычки с казаками. В Грузии, как вы ни старались соединиться с грузинской церковью, у вас ничего не вышло, так что мое положение остается в силе. По крайней мере, опровергайте это убеждение“. Питирим отвечает: „Вы все-таки научите меня. Если даже такое подозрение есть, — как бы я мог с Думой помириться?“ — „Я вас научу, — отвечаю я, — как делать. Если вы последуете моему совету, я убежден, что Дума будет вас на руках носить“. — „А как?“ — „Вот, — говорю, — возьмите на себя почин этого дела. Соберитесь три митрополита, поезжайте к государю императору и представьте ему всю мерзость Распутина, все негодование народное и потребуйте ультиматума: или Распутин чтобы был удален, или вы его предаете в церквах анафеме. Вот тогда мы будем с вами лучшие друзья“. Митрополит опустил голову с влбюзом. Сидел. — „Ну, — говорит, — видно я от вас ничего не добьюсь“.

Все это характерно, все это — штрихи той обстановки, в которой правительство действовало.

Таким образом был назначен Штюрмер. Самым крупным фактом из правительственной деятельности за это время я считаю его пресловутую организацию сначала группы в пять министров, потом — всех министров, потом — семи министров. Ничего нельзя было понять. К этому времени надо отнести попытку Штюрмера объединить общественные круги с правительством. Для этой цели им был устроен обед, на который он пригласил меня, приехав ко мне лично. „Пожалуйста, приезжайте, будут некоторые ваши товарищи по Думе, постараемся соединиться, так как дело идет из рук сон плохо“. — „Чего уж хуже“, — ответил я.

Я был уверен, что будут представители Думы, но мне было несудбно спросить у Штюрмера, кто им приглашен. Приезжаю. Оказывается — кто же представители Думы? Марков 2-ой, Пүришкевич, Крупенский и я, ничего общего с этой половиной Думы не имеющий. Из Государственного Совета была также правая сторона. Потом все министры, все товарищи. Тут, за обедом, мне пришлось наговорить всем им много неприятных вещей, так что даже Сазонов (министр иностранных дел) обиделся. Я доказывал, что министры ведут страну к гибели, что так дальше нельзя идти.

И, действительно, нельзя было идти дальше. Высшее правительственное место, закон о котором был проведен и через Думу — Особое Свещанпе по обороне было взято под подозрение, потому что его боялись: оно ближе

всего соприкасалось со всей хозяйственной деятельностью органов правительства. Понятно, что у нас развился оппозиционный дух. И мерилом этого может служить то, что член Государственного Совета Стишинский сделался карбонарием и стал говорить по адресу правительства невероятные вещи. А министр внутренних дел Маклаков говорил, что Особое Совещание надо закрыть... Понятно, что на обеде перепалка была жестокая. Я был один, который говорил: „Если что надо закрыть, то это правительство, потому что вы доказали неспособность управлять страной в то время, когда царят война, разруха, растущее недовольство и систематическое наускивание общества на революцию. Вы приведете нас к такой разрухе, какой свет не видел, потому что, расквашав такую страну, как Россия, вы не скоро ее успокоите. Произошла схватка и с Щегловитовым. Тогда был монархический съезд, он был лидером правых и говорил, что благодать выскрывается в чиновников. После этого съезда произошел совершенно невероятный для меня поворот в правящих сферах, причем тут участвовали такие лица, которых мне даже не хотелось бы упрекать или обвинять.

Возвращаясь к совету пяти министров, я должен сказать, что считал необходимым обратиться к Штюрмеру с запросом, на основании какого закона устраивается отдельный совет пяти, которому присваиваются едва ли не диктаторские права? Штюрмер мне не ответил, и я тогда послал ему дополнительное письмо. Министр-председатель позвонил затем по телефону и сказал мне: „Я не могу вам ответить, но я могу вам разъяснить, если вы пожелаете на обед: я покажу вам документы“. Приехал я. После обеда Штюрмер пригласил меня в кабинет и здесь предъявил документы. Оказывается, что министр путей сообщения Тренов представил всеподданнейший доклад о том, что трудно в полном составе совета министров разбирать все дела, что некоторые дела требуют спешности и что происходит трения и задержки, и поэтому для выхода из такого положения необходимо устроить совет пяти министров — военного, путей сообщения, морского, торговли и промышленности и финансов. Я дал Штюрмеру такую оценку этой меры: „Я помню, в мои молодые годы, у конвойных казаков устраивались вечера, на которых казаки делали ходячие пирамиды. Получалась постройка: внизу 12 человек, потом 7, потом 5 и, наконец, наверху 1. Стоит одному из пяти вывернуть плечо, и вы летите в бездну. Так же править страной невозможно: министр-президент участвует там и не участвует здесь. Вы ведете нас к гибели. У вас нет власти — один хаос“. — „Я тут не при чем, — отвечает Штюрмер. — Это министр путей сообщения представил такой доклад, указывая, что это необходимо, и государь положил резолюцию: „Быть по сему“, с тем, чтобы председательствовал в малом совете министров Тренов“. О нем я должен сказать, что когда он был назначен министром путей сообщения, он как-то вознесся и считал себя едва ли не спасителем отечества. Но я должен сказать, что Тренов — один из наиболее удачных министров. Это человек большой воли, большого ума, способный на компромиссы и на пользу. У нас с ним отношения были уже налажены, и через него мы, может быть, получили бы ответственное министерство, но как только

об этом прослышали, то Трепова сейчас же изгнали и явился — Протопопов....

Совет пяти министров начал прицираться к особому совещанию по обороне. Наше совещание, между прочим, для поощрения работы заводов, установило известные премии за количество сделанных произведений... Мера эта оказалась удачной, и Путиловский завод стал вырабатывать невероятное количество пулеметов. Вдруг получается бумага (военным министром был в это время уже Шуваев) о том, что председатель совета министров считает необходимым эти премии отменить. Я сейчас же обратился к Штюрмеру. Надо сказать, что эту его бумагу я просто... выкрал. Штюрмер стал отрицать свое распоряжение. Тогда я ему показал его бумагу: „А это что?“ — „Кто вам дал?“ — спросил Штюрмер. — „Так я вам и скажу, кто дал: сорока на хвосте принесла“. Тут мы жестоко поспорили, и я опять сказал: „Вы губите дело“.

Я поехал в Ставку. Перед поездкой мне дали документ, из которого было видно, что генерал Алексеев требовал учреждения диктатуры в тылу, так как тыл был настолько-де расстроен, что необходимо поставить надо всеми ведомствами одно лицо — одну волю. Это было в июле 1916 года. Готовилось нелепое положение. Если диктатор назначался из военных, то получается всероссийская диктатура при наличии верховного главнокомандующего — царя. Если диктатор будет гражданский, то опять таки при диктатуре главного штаба — при чем будет царь? Я опасался разговора с Алексеевым, потому что было неловко сознаться в том, что у меня имеется налицо документ. Но Алексеев сам пошел мне навстречу и при первых моих словах о слухах по поводу диктатуры сам показал мне подлинный документ. Я обрисовал ему общее безнадежное положение. „Что же делать в таком случае“, — говорил мне Алексеев, — я не могу иначе поступить (чем требовать диктатуры). Научите, как быть“. — „Я вас научу, как быть. Надо прогнать теперешнее министерство и сделать ответственное“. — „Так вот скажите это государю“. — „Я об этом и говорил и писал государю“.

При всеподданнейшем докладе я рассказал все государю. Нужно заметить, что, по слухам, в диктаторы предназначался великий князь Сергей Михайлович. Я сказал государю: „Ваше величество, если вы приняли на себя верховное командование и вследствие вашего отсутствия явился развал тыла, то что же получилось? Говорят, что будет великий князь Сергей Михайлович. Но тогда вы создадите себе конкурента. Если он лучше вас справится, тогда все будут говорить, что царь нигде не годится, а великий князь все-де исправил. Если же вы гражданского назначите то будут говорить, что вы это сделали потому, что вы от тыла отстраняетесь и только занимаетесь армией. Если вы взяли на себя бремя командования и управления, то несите его до конца. Так умаливать себя на вашем месте я не позволял бы“. — „Это никогда“, — отвечал царь. Тут я увидел, что выиграл позицию, что диктатора не будет. А об ответственном министерстве государь сипль отвечал: „я подумаю“.

Затем обнаружилось, что диктатура отпала, но по существу возникла диктатура Штюрмера, который был снабжен государем самыми неограничен-

ными полномочиями. Я не знаю, на основании каких документов-указов, рескриптов эти права были предоставлены, но знаю, что Штурмер мог приостанавливать действия всех административных учреждений, в том числе особых совещаний по обороне, по продовольствию, по топливу и т. п., которые по существовавшему закону никому не были подчинены и ответственны только перед верховной властью, в силу прошедших через Думу законов. Так что все было сделано в порядке верховного управления.

Получилось положение совершенно безвыходное. Что бы вы ни задумали, все тормозилось, чего бы ни просили — во всем отказ. Начались притеснения земств, земского союза. Штурмер постоянно на них нападал. Правительство еще резче подчеркивало тот принцип, что оно само справится с немцами и что народ за ним пойдет, — стоит ему только приказать.

IV.

Министр внутренних дел А. Д. Протопопов. — Его эволюция направо. — Кн. Шаховской, министр торговли. — Назначение Протопопова и торг со Штурмером. — Душевно-больной министр.

Немного совестно говорить о министре внутренних дел А. Д. Протопове. Никто так не обманулся в нем, как я. Я должен сказать, что трансформация Протопопова была для меня ударом по голове, потому что предательства я меньше всего ожидал от него.

Протопопов в 3-ей Думе занимал позицию чрезвычайно левого октябриста, близкого если не к кадетам, то к прогрессистам. В рабочем вопросе он отстаивал интересы рабочего класса против промышленников, хотя сам был промышленником. В 4-ую Думу он прошел с тем же настроением, хотя все остальные члены Думы по Симбирской губернии, от которой он был избран, прошли, как правые.

Когда в Думе произошел второй президентский кризис, и кадеты отказались войти в состав президиума, я пригрозил отставкой, и в конечном результате товарищем моим был избран Протопопов с приветствием и от левой стороны Думы. В особое совещание по обороне я пригласил и Протопопова, как большого знатка промышленности в числе тех людей, которые могли в работе дать что-либо реальное, взяв с каждого обязательство уйти по первому моему требованию. Нужно сказать, что хотя Протопопов добрых своих отношений с Сухоминовым не скрывал, но в совещании по обороне он встал по отношению к нему на резкую ногу. Сухоминов приветствовал наше появление и выражал радость, что я буду с ним не только сотрудничать, но и разделяю ответственность. Я ответил, что очень рад, но с тем условием, чтобы „меня вместе с вами повесили“. И все же Сухоминов поддерживал Протопопова. Так что последний был вне подозрений.

Когда наметилась поездка членов Г. Думы за границу, решено было, что поеду вместе с прочими членами Думы и я, но государь почему-то решительно

воспротивился этому. Протопопов настолько не возбуждал во мне сомнений, что я предложил ему поехать вместо меня. Ловкий человек, Протопопов в эти поездки очаровал государственных деятелей за границей, дипломатов, членов Думы. Бадмаев, может быть, помог, но всех он очаровал. Подозрения во мне возбуждала эта дружба с Бадмаевым. Я тоже с Бадмаевым знаком; под видом лечения я получал от него анти-распутинские сведения. Бадмаев действительно лечил Протопопова, а он в 1912 году был анти-распутинец. А затем порошки перестали действовать, и Бадмаеву захотелось сделаться другом Распутина. Я бросил Бадмаева, а Протопопов остался. Как бы то ни было, это был единственный источник подозрений против Протопопова. И подозрения оказались правильными, хотя решительно ничего и не указывало, что Протопопов изменил левому октябрьскому направлению.

Мне же и пришлось рекомендовать Протопопова правительству.

Должен сказать, что главным вдохновителем в правительстве правых направлений и борьбы с общественностью был министр торговли Шаховской. Я не скрывал от этого министра, что я боролся за его удаление, — ведь отставка Поливанова произошла при участии Шаховского. Поэтому, при каждом докладе государю я указывал на необходимость удаления Шаховского. Потерпев терпение, император однажды и спросил меня, кого же я рекомендовал бы на его место? Пришлось рекомендовать „европейски известного“ тогда уже Протопопова. Но я его рекомендовал на пост министра торговли в убеждении, что там он был бы на месте. Это человек с большими знаниями, умный, голковый и хорошо изучил промышленность. Я думал, что в составе правительства это был бы свой левый человек. Но я попал впросак.

Когда этот разговор с императором происходил в Ставке, Протопопов был еще в Лондоне. И как только он оттуда вернулся, началась по поводу его серия недружеских вопросов. Оказывается, министр иностранных дел Сазонов, с которым Протопопов был не в особенно хороших отношениях, рекомендовал Протопопова в Ставке для доклада о поездке. Как это произошло, я не знаю. Но Протопопов пришел просить у меня разрешения, не решаясь ехать без моего согласия и упомянув о том, что он „попытается туда попасть“. „Нет, — отвечал я, — так я вам не позволю, а если легальным путем, то пожалуйста. Я согласен, но поставлю вам известное условие. Вы в докладах должны упираться на значение, которое имела ваша поездка для Государственной Думы, и постарайтесь укрепить императора на той почве, что без Думы ничего нельзя делать“. — „Хорошо, — отвечает Протопопов, — условие принимаю“.

Я Сазонова отнюдь ни в чем не подозреваю. Сделали Протопопов такие-нибудь шаги, — как оказалось, он мог сделать это через Бадмаева, — я не знаю. Но суть дела в том, что Протопопов был приглашен в Ставку, был там, сделал доклад, был приглашен к завтраку, а затем ему предложили пост министра внутренних дел. Вернулся он в Петроград и от меня некоторое время скрывался. О его приезде я узнал из газет, много раз звонил по телефону, по трем телефонам звонил, и, наконец, по одному из них уловил его. И потребовал его к себе. Я уже знал, что Протопопова кто-то рекомендовал.

что Штюмер не хотел его и упорно проводил в Ставке князя Оболенского (назначенного потом по продовольствию). Тогда Штюмеру показали письмо или телефонограмму из Царского, где рекомендовался Протопопов. Таковы мои сведения, быть может, они не документальны.

Когда эта борьба затеялась, то, очевидно, состоялось соглашение Протопопова со Штюмером, т.-е. Протопопов принял все условия Штюмера, лишь бы попасть в власти, а условия Штюмера ясны: итти направо, давить, душить, тащить и не пущать.

„Ходят вокруг вас слухи,—начал я свою беседу с Протопоповым,—что вы назначаетесь чуть ли не председателем Совета министров“.—„До этого еще не дошло,—отвечает он,—но я все-таки получаю высокое назначение.“ Я говорю: „Слушайте, вы мне должны обстоятельно и правдиво рассказать“.—„Я буду министром внутренних дел“.—„Нет, отвечаю я, вы им не будете (я не знал, что это уже состоялось), вы не имеете прав. Если вы идете министром внутренних дел, а Штюмер остается, это значит, что вы идете в союзе с ним, стало быть, изменяете вашему знамени и Государственной Думе. Вы меня подводите, вы всю Думу подводите, потому что она избрала вас в качестве человека известного направления, а вы идете под фирмой чуть ли не союза русского народа“. Протопопов смутился: „Как же вы меня заставите?“ — сказал он. „Я вас сейчас же, — отвечаю я, —сию минуту посажу на мотор, соберу экстренное совещание Думы и попрошу, чтобы вас так отделали, что вы вынуждены будете сложить полномочия Думы“. Наивный я все-таки человек. „Я думал, что это может повлиять. Оказалось, что такой шаг только усилил бы его положение. „Я вам должен сказать,—говорит Протопопов,—что я вашего требования исполнить не могу“. Я говорю: „Батенька, вы победного тона не принимайте. Вы будете в моих глазах ренегатом, изменником, предателем, если пойдете. Потрудитесь не принимать“.—„Я не могу“.—„Как не можете?“.—„Я уже дал слово“.—„Ну,—я говорю,—батюшка, прощайте, я больше с вами разговаривать не желаю. Этакая гадость ни с чем не сравнится. Быть товарищем председателя Думы, итти спрашивать меня, можете ли вы ехать в Ставку, и, приняв условие поддержать Думу, вы ехали с камнем за пазухой. И теперь делаетесь министром чуть ли не на почве союза русского народа. Мы дальше не знакомы!“ Он уехал.

Настроение императора в ту пору уже очень изменилось, — ведь с 1915 года начинается особенно агрессивное влияние Распутина. Я при докладе говорил императору: „Потрудитесь удалить Протопопова“.—„Вы сами его рекомендовали“.—„Да, рекомендовал, что ж делать, по не на то амплуа. Он мной рекомендован, как министр торговли, а вы его делаете министром внутренних дел, куда он совершенно не годится“.—„Однако же,—отвечает царь,—он был товарищем председателя Думы, и Дума его, так сказать, фетирировала“. Я должен был сказать на это: „Позвольте указать, что сам Иисус Христос был богочеловек, но во всей его земной прпведи за ним стоял Иуда Искариотский, который его предал. Раз Христос мог ошибиться, то как же председатель Думы не мог?“ — „Ловко сказано“, — отвечал царь.

Протопопов делал попытки примирения с Думой у меня на квартире. Протокол этой беседы ходил по рукам, — он записан был Милюковым.

Назначение министром ударило в голову Протопопову. Ведь у него были чуть не диктаторские полномочия, колоссальная власть. Штурмер перед ним трепетал. Нужно заметить, что из правящих наибольшую силу имели те, кто имел отношения с императрицей..

На первых шагах своей деятельности Протопопов заехал ко мне и просил у меня совета по продовольственному делу. Я ему говорю: „Прежде всего надо в отставку идти“... Он хотел все продовольственное дело изъять из рук общественных элементов и отдать губернаторам. Мне удалось все-таки его от этого отговорить.

Потом пошло все дальше и дальше, и Дума в последние дни невероятно волновалась. К открытию (14 февраля) решено было устроить грандиозный скандал Протопопову. Удалось уговорить, но решено было, если Протопопов явится в Думе на кафедре, то моментально все депутаты, даже правые, уйдут: пустой зал — и Протопопов один.

В этот день Трепов должен был читать свою декларацию и просил меня зайти в министерский павильон. Я был там, переговорил, а с Протопоповым у меня произошла стычка, при которой я ему отчитал все, что он сделал, публично, в присутствии всех министров, а от него потребовал, чтобы он подал в отставку, указав, что он — причина озлобления и беспорядков. Беседа ничем не кончилась, но Протопопов не решился показаться на министерской скамье и пошел на свое депутатское место среди членов Думы.

Я считаю, в конце концов, Протопопова душевно-больным человеком. В последнее время у него были пункты, на которых он прямо выходил из себя. Когда затрагивали промышленность, он начинал говорить несуразные вещи. Как-то, будучи у меня, он схватил меня за пуговицу, потащил в кабинет и начал: „Я спасу Россию. Я чувствую, что я призван вытащить Россию из беды, спасти“. Он проповедывал, что промышленность должна руководить всей жизнью страны и быть рулем государственной жизни. И начинал на эту тему говорить несуразные вещи. У него, несомненно, было природное актерство. Я думаю, он еще юнкером был актер. Это из таких характеров, которые любят порисоваться, а с другой стороны, это был человек, всегда живший принципом, что ласковое тело двух маток сосет.

О том, что министр внутренних дел — сумасшедший, я докладывал императору. Но император покачал головой и ничего не ответил. Вероятно, не поверил. А 7-го января во время доклада я говорил бывшему императору: „Вы изволили иногда меня слушаться, и выходило хорошо“. — „Когда?“ „Вспомните, в 1915 году, вы уволили Маклакова“. — „А теперь я о нем жалею“, — прервал император. И на мой вопрос, почему, посмотрел на меня в упор и сказал: „Этот, по крайней мере, не сумасшедший“. — „Совершенно естественно, отвечал я, — потому что сходить не с чего“. Царь засмеялся: „Ну, положим, это ловко сказано“.

У меня на квартире Протопопов грозил кулачками, что он нас всех согрет в порошок и зальет кровью столицу. Вообще, если откровенно говорить, Протопопов был самый вредный, самый страшный человек для государства, для разрухи. Последствия его деятельности ужасны, но сделано все человечески недостойным и незначительным, потому что он большой человек, а положительно утверждаю. У него была мания величия, он был каким-то исповедником: он видел, что к нему приближается власть, что он может спасти царя и Россию. Он как закаты глаза — делается, как глухарь, ничего не видит, не слышит. Ненормальный человек.

V.

Замыслы о государственном перевороте. — Правый блок. — Салон Штурмера. — Щегловитов и Распутин.

Документально я не могу ничего сказать о посягательствах и умыслах, которые бродили в головах членов правительства относительно основных законов и представительного строя. Но я слышал, что таково было настоятельное требование в Царском Селе, главным образом, со стороны императрицы, которая почему-то находила, что дало слишком много свобод (так говорили приближенные) и что на эти свободы надо наложить veto. Но император колебался. Но крайней мере, когда я ему поставил в упрямый вопрос, он сказал, что Думе ничто не угрожает. Так что тут, повидимому, происходила борьба между ним и императрицей, а, может быть, и среди тех, которые стояли за их синой. Но я определенно слышал, что было большое колебание и большая борьба.

К началу 1917 года было три течения относительно Г. Думы. Одно стояло за прежнюю сторожку Г. Думы, второе, в лице Протопопова, настаивало на полный рывок и превращение новых выборов, чего Протопопов и не скрывал, — путем давления промышленных сил, для чего была учреждена газета «Русская Воля», которая потом оказалась совершенно не того направления. И, наконец, самое радикальное третье течение — рывок Г. Думы, окончательный переворот, coup d'état. Изменение законов было предложено в том направлении, чтобы закон, даже отвергнутый Думой, все же переходил в Г. Совет, и уже верховной власти предоставлялось право принять или нет закон. Эти три варианта могли быть осуществлены в любой момент, потому что бланки царской подписи находились у председателя совета министров кн. Голицына.

О письме бывшего императора к Маклакову в 1913 году, говорившем о радикальном изменении основных законов, я ничего не слышал; слышал лишь про такие намерения.

Вообще об императоре я должен сказать, что когда я бывал на докладах, я не пропускал случая и старался уловить взгляд, потому что царь редко смотрел в глаза, а я его всегда фиксировал и думал, что, может быть, путем смущения что-нибудь узнаю, но не улавливал ничего. Вообще об отношении

царя в Думе я судил по приемам меня. Если я сидел у него долго, значит, он ко мне милостив, и тогда я знал, что он на стороне Думы.

О правом блоке, который образовался в противовес прогрессивному, ради усиления попыток изменить основные законы, я должен сказать, что как ни не люблю я правых, все это на них напраслина. Ведь в начале сессии 1916 года лидер националистов Балашев определенно входил со мной в переговоры о включении его партии в прогрессивный блок, и сам-то, по крайней мере, туда вошел. О кружке Римского-Корсакова я ничего не знаю. Но о так называемом политическом салоне Штюрмера я могу сказать следующее: „Зачем ему было заводить салон, когда он через Распутина без всякого салона, на одной этой кухне, мог все сделать великолепно? Я Штюрмера хорошо знаю по губернаторству его в Новгородской губернии. Это был единственный губернатор, который уехал без проводов: его провожал лишь оркестр пожарных, игравший какой-то опереточный марш. Штюрмеру, для усиления политического влияния, не надо было салона. Ведь он был крепко в Александро-Невской лауре: ко мне прибегали монахи и говорили, что Распутин все время там сидит со Штюрмером и Пятимиром. Я не думаю, чтобы его салон имел значение.

О том, что Щегловцов вернулся к власти и получил пост председателя Государственного Совета через Распутина, я знал. До меня дошли слухи, что некоторые министры платили Распутину вступные деньги при получении поста. Вообще, через Распутина без собольей шапки или без собольей шубы нельзя было делать дела.

VI.

Сессии Государственной Думы.—Царские бланки о роспуске Г. Думы.—Сессия 1-го ноября.—Речь Милюкова об императрице.—Домогательства Штюрмера и бар. Фредерикса. Запрещение речей о Распутине.—Голицынские бланки.—Отношение царя.

Первая сессия Государственной Думы, собранной по случаю объявления войны 26 июля 1914 года, демонстрировала свои патрпотические чувства, и этим была исчерпана ее задача. Роспуск Думы произошел по соглашению. Таким образом, по соглашению прекратилась короткая сессия Думы с 27 ноября по 9 января 1915 г. Соглашения бывают разные. Есть соглашения между равноправными сторонами и соглашения между более сильным и более слабым. Данная сессия была прекращена потому, что нам было обещано немедленно созвать Думу вновь при малейшем колебании государственных или военных дел. А так как государственный бюджет, при наличии военного фонда, никакого значения не имел, то он прошел довольно гладко, и мы не настаивали на длительности сессии. Но мы настаивали, и по-моему, насильственно созвана была Дума 19 июля 1915 года. Здесь, благодаря упорному настоянию моему и членов Думы, царь сдался. Сессия продолжалась до 3-го сентября и была прекращена по настоянию Горемыкина. В такой трудный момент жизни

государства нам не дали работать. По этому поводу я написал доклад, потому что меня не приняли в Ставке. В докладе я очень резко высказался, что роспуск Думы — преступление перед родиной. Именно в таких выражениях я и высказался. Роспуск был совершенно неожиданный. О нем я узнал утром, а день самого роспуска, и мне стояло больше о трудах сдерживать Государственную Думу от взрыва негодования. И, поэтому, и заседание-то открыл только в 5 часов дня. И публика ждала, и всякие экспрессы ожидались. Когда я открыл заседание, то, кажется, Керевский провозгласил: „Да здравствует русский народ“. Были аплодисменты, но заседание было закрыто. Настроение было до такой степени напряженное, что моя семья, сидевшая на хорах, рассказывала, что там некоторые просто плакали по поводу того, что в такое тяжелое время Дума закрывается. Это насилие я приписываю исключительно Горемыкину и его влиянию. Он считал, что Дума мешает ему работать. „Вы, Михаил Влaдимирович, хотите управлять?“ — „Да, говорю, полнотно“. — „Как понятно, говорит, управлять? Вы должны законодательствовать, а мы управлять“. Я говорю: „Вы не умеете управлять. Отсюда понятно наше стремление управлять“. — „Мы не дадим вам управлять“. — „Ну, ваша воля“.

Следующая сессия продолжалась с февраля 1916 года по 20 июля 1916 года. В то время еще Горемыкиным была изобретена формула роспуска Думы без точного обозначения для созыва ее. Например: „с оном не позже конца ноября, в связи с чрезвычайными обстоятельствами“. При таких условиях, например, я не знал, имею ли я право открыть Думу 30 ноября или нет? Такую формулу я определенно называю лицемерием и указанием на то, что правительство хочет от нас отделаться.

Как председатель Думы, я знал, что царь, представитель верховной власти, дает свои подписи под бланками о созыве и роспуске Думы и, таким образом, уступает часть своей прерогативы министрам. Это было при Столыпине и при всех последующих примерах. С Горемыкиным начались злоупотребления этими бланками, потому что срок в них проставлялся не по соглашению, а вопреки желанию председателя Государственной Думы. Сессия 1-го ноября прекратилась на некоторое время в связи с назначением нового премьера и затем продолжалась до 17 декабря 1916 года, и это было предвечерием событий. Члены Думы съехались тогда в таком настроении, что никакого добра не предвиделось. Я был убежден, что нас по первому абцугу отправят гулять. Миллюков тогда произнес свою известную речь. Эта речь, которую я не слышал, так как не председательствовал по болезни, заключала в себе указание на государыню: „Die Junge Königin“. На другой день я получил письмо от Штирмера, в котором он просит доставить ему стенограмму речи Миллюкова для возбуждения против него уголовного преследования. Я ему ответил, что это его не касается. Если он желает привалять к ответственности, то для этого есть суд и никаких стенограмм, поэтому, он не получит, к тому же есть цензура. Штирмер очень обиделся, и после этого министр двора Фредерикс в письме ко мне просил меня, по званию камергера, обратить внимание на то, что произошло в Государственной Думе, где была задета честь

императрицы и ее достоинства. „Я считаю нужным напомнить вам, — писал Фредерикс, — что вы были всегда возвысаны милостями императора и носите придворное звание“. Это мне не понравилось, и я послал в ответ два письма барону Фредериксу, которого считал очень порядочным человеком, кристальной чистоты. Я его знаю: он был моим командиром. В первом письме я указал ему, что закон не предоставляет министру двора права делать какие-либо указания о поведении председателя Г. Думы, независимо от того, носит он придворное звание или нет. В заключение я просил его взять свое письмо обратно. Второе письмо я ему написал, как старый подчиненный и близкий знакомый, что я очень огорчен, что должен был так ответить, „но виноваты вы сами своей бестактностью; если вы желаете иметь от меня частным образом какие-нибудь сведения, то извольте, а официально очень прошу вас не задавать председателя Думы“. Очевидно, на меня производилось прямое воздействие: было указано, что надеются, что председатель Г. Думы строго покарает Милюкова. Но, если бы я и хотел это сделать, — а никакого желания у меня не было, так как я всецело сочувствовал, — я формально сделать этого не мог, потому что право председателя на наложение взыскания ограничено по наказу данным заседанием, а я, к тому же, и не председательствовал.

Перед открытием Думы Штюрмер мне грозил, что он обладает бланкетом и, стало быть, правом распустить Г. Думу. По этому поводу у нас было несколько бесед. Я помню, что был у него; он лежал в постели, так как свихнул себе ногу. Я поехал к нему узнать, уйдет ли он, наконец, в отставку, и вообще, не ожидает ли нас какой-нибудь приятный сюрприз. У нас начался обмен любезностями. „Ну, — говорит Штюрмер, — вы знаете, я должен вас предупредить, что Г. Дума должна изыпать к спокойствию, а если этого не будет, я вынужден буду принять известные меры“. — Я отвечаю: „Послушайте, грозить Думе? Вы, премьер, да, ведь это курам на смех! Чем вы можете грозить? Вы у меня под отчетом, так сказать, право контроля имею. Вы изволите грозить?! Разве можно?“ — „А вы считаетесь с тем, — отвечает Штюрмер, — что я, может быть, во всеоружии?“ — „Да, это вы от своего имени? Если вам покажут, что приказывают, я спорить не буду. Вы незаконно грозите от своего имени. И этого слышать не хочу и не желаю“. — „Ну, — отвечает Штюрмер, — вы не так понаехали“. Вообще я должен сказать, что все они на расправу были жидки. И матерчатый отпор встрезал уступки. Когда они видели зубы, они отступали. Я говорю: „Ваших угроз не признаю и никаких директив признавать не хочу, а буду действовать, как велит мой долг и совесть“.

Вообще, Штюрмер, хотел от меня добиться обещания, что я буду пресекать в корне малейшую оппозиционную речь. Конечно, я мог это сделать. Но я могу одного, двоих согнать с кафедры, а третий бы меня согнал, — это совершенно невыгодно. „Вы можете критиковать, — говорил Штюрмер, — сколько хотите, но я вас предупреждаю, что разговоры о Распутине могут вызвать для вас нежелательные последствия“. — „Борис Владимирович, — отвечаю я, — запрещенный плод — самый сладкий. Оставьте в покое, что вам Распутин? Если справедливы слухи, что он вас назначил, тогда дело другое“. — „Я ничего

с ним общего не имею". — „Отчего же вы его защищаете? — спрашиваю я. — Это негодяй первостатейный, которого повесить мало". — „Это, — говорит Штурмер, — желание свыше". — „Ведь черт знает, что делается, — отвечал я. — Распутин, Бог знает, что делает. Катается пьяный по улицам, протоколы составляются в Москве и в Петрограде, как не предупредить? Какой же вы после этого монархист? Вы, напротив, самый ярый республиканец, который путем побрякушек колеблет монархическую идею. Кто такие вещи делает?"

Штурмер никогда в разговоре со мной не грозил, что члены Думы лишатся жалованья, будут отданы в солдаты и так далее. Но такой слух был пущен в обращение из правых групп. Но члены Думы, к их чести, не обращали на это никакого внимания.

Последний роспуск Думы 26 февраля 1917 года произошел по одному из тех бланков, которые имелись у председателя совета министров, князя Голицына. 25-го февраля я поехал к нему (он, до некоторой степени, мне родственник), чтобы убедить его уйти в отставку. „Вы хотите, — сказал Голицын, — чтобы я ушел, а вы не знаете, что у меня лежит вот тут, в этой папке?" Я полюбопытствовал. „Да, любопытно, — говорит Голицын, — и тут ваш приговор". Я говорю: „Не пугайте, в чем дело?" Он раскрыл папку, и я увидел бланки, и говорю: „Послушайте, это немножко рискованно. Это лежит у вас открыто, вы увидите обедать, дажей будет читать. Хоть бы убрал под замок". — „Ну, — говорит Голицын, — это можно спрятать". После этого Голицын просил меня устроить ему на другой день совещание с лидерами думских партий, и мы условились, что такое совещание состоится 26-го, хотя я предупреждал, что в городе волнение и как бы не вышло хуже, чем он думает. 26-го, разумеется, это совещание не состоялось. Но того же 26-го, вечером, я застал у себя на квартире уже напечатанный указ о роспуске Думы. Следовательно, 25-го мне предлагают какую-то мировую, и в тот же день решено напечатать указ о роспуске! Повторю, честных людей на свете нет.

О бланках я предупреждал и государя. Я ему сказал при докладе 10 февраля: „Так нельзя делать, что бланки о роспуске Думы, о разных проках, лежат на столе у премьер-министров". Государь спрашивает: „Вы откуда это знаете?" — „Почему я знаю? Ваш вопрос, ваше величество, обнаруживает, что это так. Для меня это совершенно ясно". — „Ну, что же, — говорит царь, — и вам верю". — „Но могут быть, — говорю я, — ужаснейшие злоупотребления, и злоупотребления такие, которые могут роковым образом отозваться на отношениях Г. Думы, правительства и вашего величества". Так это тут была какая-то связь и добровольное согласие со стороны государя при передаче этих бланков.

VII.

Первый доклад о Распутине. — Требования императрицы. — Судьба доклада у царя. — Доклад о командовании армией. — Последний доклад царю. — Отказ в подаче руки Протопопову. — Предупреждение о неизбежности революции.

Один из ранних (в 1912 г.) моих докладов государю касался Распутина. Через генерал-адъютанта Дедюлина мне было прислано указание выслушать

святтейшего синода дело о Распутине, ознакомиться с ним и доложить мое мнение о Распутине. И в настоящем случае дело не обошлось без столкновений, интересных для характеристики влияния императрицы. Получив такое поручение, я потребовал товарища обер-прокурора Доманского и попросил привезти мне дело, что он и выполнил. На другой день Доманский, заявив мне по телефону, что ему необходимо меня видеть, приехал ко мне в Думу. Относясь подозрительно к Доманскому и Распутину, я пригласил присутствовать при нашей беседе секретаря. Доманский заявил, что он приехал просить, чтобы я отдал ему секретное дело Распутина. Я спрашиваю: „А у вас высочайшее повеление есть?“—„Нет“.—„Так как же я его вам дам?“—говорю я.—Я его только что взял и должен приготовить доклад, очень важный, исторический. Может быть, можно что-нибудь из этого извлечь такое, чтобы Распутина уничтожить“.—„Это очень высокопоставленное лицо просит“,—говорит Доманский.—„Неужели вы не догадываетесь, очень высокопоставленное лицо... государыня императрица“.—„Передайте императрице“,—говорю я,—что она такая же подданная государя, своего супруга, как я, и должна подчиняться. Она может только повлиять и получить отмену; тогда я подчинюсь, а теперь мне нет дела до ее желания“.—„Ах, как вы это так говорите“,—отвечает Доманский,—вы знаете, на кого вы посягаете?“—„Я посягаю на Распутина“,—отвечаю я,—если императрица заступает, это ее дело, и меня это не касается“.—„Ваше превосходительство“,—говорит Доманский,—я с собою привез законоучителя“. Я говорю: „Какого? Я из этого возраста вышел“.—„Нет, законоучителя детей императора“.—„Какое же мне дело до педагогии?“—спрашиваю я. „Он вам все расскажет“.—„Хорошо, привезли, так чтобы даром не приезжал в Г. Думу, попросить его в другой кабинет“.

Оказалось, что это протонерей А. Васильев. Он начал мне говорить: „Вы напрасно нападаете, вы не знаете, какой прекрасный человек Распутин“.—Я до того разозлился, до того взбесился, что говорю: „Как, вы сюда, в Г. Думу, приехали хвалить Распутина, негодяя, развратника, хлыста? Вон из моего кабинета!“—„Ваше превосходительство“,—отвечал Васильев,—я никогда не слышал, чтобы со мной так говорили“.—„Ну, я прекрасно, и убирайтесь“.

Я, конечно, дело о Распутине не отдал, но, умудренный опытом, призвал массу переписчиц и с этого дела снял копии, на всякий случай. Однако больше ко мне не приставали. Я закончил обследование дела, написал доклад и потребовал аудиенции. Очевидно, такая моя нелюбезность, чтобы не сказать больше, по отношению к Доманскому и Васильеву вызвала большой гнев, так как я пренебрег указанием свыше. Произошло следующее: обыкновенно, на просьбу об аудиенции, я получал ответ на второй день, а тут проходит день, два, три, ответа нет, а я знаю, что император должен уехать в Илту, так как наследник был болен. В это время ко мне приезжает мой приятель, флигель-адъютант, который был дежурным, и говорит, что меня не примут. Я поехал к Коковцеву, который был тогда премьером, рассказал ему дело, но он стал меня уверять, что меня, наверное, примут, что не принять председателя Думы—невозможно. Как раз в это время стучат в дверь, и является

курьер, который подает Коковцеву пакет от государя. Вскрыв его, Коковцев мне сказал: „Это касается вас, вы были правы“. И показал мне мой доклад, на котором царь написал такую резолюцию: „Прошу председателя совета министров сообщить председателю Г. Думы, что он принят не будет. Считаю необходимым обратить внимание ваше на то, что подобные выходы, которые имели место в Г. Думе, терпимы быть не могут, и прошу вас войти в соглашение с председателем Г. Думы и выработать меры к их пресечению“. Так мы и сели. Начали обсуждать положение дела. Коковцев мне говорит, что напишет мне об этом письмом. „Вы не трудитесь,—отвечаю я,—так как я письмом пришлю обратно, потому что председатель Г. Думы не может получать никаких известий от государя через полицию“.—„А если все-таки вас не примут?“ — спрашивает Коковцев. — „Тогда я выйду в отставку,—отвечаю я,—с изложением причин. Как так? Он меня и вызвал на доклад, а потом меня не принимает? Мне вашего посредничества не надо“. На просьбу Коковцева дать совет, что делать, я сказал: „Телеграфируйте сейчас же в Царское Село, поезжайте и доложите государю то, что я вам сказал. Я желаю получить личное письмо от его величества с объяснением этого обстоятельства. Без такого письма я не останусь председателем и уйду“. Я уехал, Коковцев отправил телеграмму, и на другой день я получаю от его величества письмо, в котором он очень извиняется, что не мог меня принять, потому что был очень занят, и просит прислать письменный доклад. Оказывается, что Коковцев у него был и доложил. Я свой доклад послал, а затем Коковцев уехал через две недели в Ялту, и я просил его проследить, где мой доклад.

По возвращении Коковцева из Крыма, я спросил его о судьбе доклада. На это он мне ответил: „Камердинер мне говорил, что его величество, кроме „Ялтинского Листка", ничего не читает, что от председателя Г. Думы толстый пакет лежит две недели, а он его и не трогает“. Потом я узнал, что в Крым приезжал Гессенский герцог убеждать свою сестру, нашу императрицу, чтобы она прогнала Распутина. Тогда государь вспомнил, что есть доклад; они его читали и переводили герцогу. Больше за третью Думу докладов писать мне не пришлось.

Относительно докладов государя я припоминаю, что, когда он хотел вступить в командование армией, я сделал ему против этого устный доклад, и это был один из бурнейших докладов. Государь, обыкновенно выдержанный и равнодушный, тут вскочил и стал ходить по кабинету. Я тоже ходил по кабинету и доказывал, что принять командование невозможно. Но он стоял на своем. Когда я вернулся домой, я сел и написал дополнение к моему докладу. Затем я писал перед 19-м июля, когда требовал созыва Думы. Потом по поводу роспуска 3-го сентября, в конце 1916 г., в декабре, и, наконец, 10 февраля я представил ему последний письменный доклад об общем положении дел. Этот письменный доклад я ему лично прочитал и затем устно развил в гораздо большей степени. Этот доклад, сделанный за четыре дня до открытия Думы, был самый бурный и самый тяжелый относительно настроения

императора ко мне и в Думе. Правда, в этот день у него было несколько однородных докладов. Во-первых, у него был вел. князь Александр Михайлович, по моему настоянию, затем был вел. князь Михаил Александрович, папюнен, был я. Но заключительный доклад был сделан председателем Государственного Совета, Щегловитовым, который все испортил. Во всяком случае, государь был заранее агрессивно настроен. Это было уже после убийства Распутина. Императрица пылала мстью, видела в каждом врага. В особенности она считала, что и в этом деле был обязательным участником. Когда я окончил доклад: государь мне сказал: „Вы все требуете удаления Протопопова?“. Я говорю: „Требую, ваше величество, прежде я просил, а теперь требую“. — „То-есть, как?“ — „Ваше величество, — сказал я, — спасайте себя. Мы накануне огромных событий, таких событий, которым даже нельзя предвидеть конца. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, до такой степени развращает общественную мысль, что все возможно. Всякий прохожимец всеми командует. Если прохожимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нельзя? Вот, какое суждение, вот что начинает думать публика. От публики это перейдет в армию, и получится полная анархия“. В этот момент, как я уж говорил выше, государь сказал, что он жалеет об отставке Маклакова. После этого я говорю: „Ваше величество нужно же какие-нибудь меры принять. Вот я целый ряд указываю, это искренно написано. Что же, вы хотите потрясти во время войны страну революцией?“ — „Я сделаю то, — отвечал царь, — что мне Бог на душу положит“. Я отвечал ему: „Ваше величество, вам во всяком случае очень нужно помолиться, сердечно попросить Господа Бога, чтобы он показал правильный путь, потому что тот шаг, который вы теперь предпримете, это, может быть, роковой шаг“.

Государь тут встал.

Нужно сказать, я его видел здесь в первый раз после моей истории с Протопоповым, когда я ему не подал во дворце руки. Наше столкновение произошло таким образом: я просил церемониймейстера принять меры, чтобы Протопопов ко мне близко не подходил, потому что я ему не подам руки. „Я такого господина вообще близко не подпускаю, — говорил я, — поставьте за ним фельдшера, чтобы он держал Протопопова за фалды и чтобы тот близко ко мне не подходил“. Я был настолько благороден, что, видя, что он стоит посреди комнаты, я пошел по стене, думая о том, чтобы с ним не встретиться. Протопопов это увидел, начал лезировать, мы столкнулись, и он говорит: — „Здравствуйте, Михаил Владимирович“. Я говорю: „Нет, ни за что, никогда и ни при каких обстоятельствах“. А он обнял меня за талию и искренно говорит: „Дорогой мой, ведь во всем можно согласиться“. Я ему сказал: „Пожалуйста, отойдите от меня, вы мне противны“. Он мне на это: „Если так, я вас вызываю“. Я говорю: „Пожалуйста, только чтобы свидетели ваши не были из жандармов“. Только суждения могут обниматься при таких обстоятельствах.

Я все это и доложил государю. Государь меня спросил: „Он вас вызывал?“ — Я говорю: „Да“ — „Ну, и что же?“ — спрашивает царь. — „Да, — го-

ворю, — благополучно шесть недель прошло, и никаких секундентов я не видел. Я все поджидал, у меня секундантины были“. — „Вы бы с ним дрались?“ — спросил меня царь. Я ответил: „С удовольствием. Я стреляю хорошо, так что на этот счет я был совершенно спокоен“. — „Странно, как он не дрался“. — „Ваше величество, — сказал я в связи с этим, — я имел странные сведения о том, что ваше величество на меня гневались. И перед вами, как перед хозяйнином двора, виноват. Но о том, что вы изволили указать лишить меня мундира и придворного звания, нельзя ли мне, так как я председатель Г. Думы, услышать из ваших уст?“ — „Откуда вы это знаете?“ — спрашивает царь. Я отвечаю: „Слухом земля полнится“. — „Мундир? Нет, этого никогда не будет. И вам верю“. А после этого сейчас же пошло сплошное недоверие: дошли мы до последнего момента, и я сказал: „Я уйду в полном убеждении, что это мой последний вам доклад; я полтора часа вам докладывал и по всему вижу, что вас привели на самый опасный путь, государь; в этом докладе высказано все последовательно, и я убежден, что мы видимся в последний раз, потому что вы хотите распустить Думу, я уже тогда не председатель и, конечно, тогда к вам больше не приеду. А что еще хуже, вы хотите ее на время распустить, в такие моменты прекратить заседания Думы. Я вас предупреждаю, я убежден, не пройдет и трех недель с этого дня, как вспыхнет революция, которая сметет вас, и вы уже царствовать не будете. Я предупреждаю вас, государь.“ — „Откуда вы это берете?“ — спрашивает царь. — „Из всех обстоятельств, которые складываются. Нельзя так шутить народным самоуправием и народной волей, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных. Вы пожнете то, государь, что вы посеяли“. — „Ну, — говорит государь, — Бог даст“. С этим я и уехал. Так что государь был предупрежден по всем швам.

VIII.

Подготовка правительства к пулеметной обороне от революции. — Запрос в особом совещании по обороне.

В особом совещании по обороне рассматривался, между прочим, вопрос о подготовке правительства к пулеметной обороне от народных волнений. Эта подготовка делалась до такой степени нагло, что стоило проехать в Петрограде на Офицерскую улицу и иметьшей там пожарной части, чтобы увидеть, как на площади полиция обучалась обращению с пулеметами. Но этого мало. Приехал мой сын из Еластеровской губернии и говорит мне с изумлением: „Сделал что-нибудь, это ужасно, полиция обучается у нас на соборной площади обращению с пулеметами“. То же было и в Смоленске. Так что пулеметы являлись херой общего характера. И данные эти имел, но не располагая точными сведениями о количестве пулеметов, предоставленных полиции. Стрелки указывали — 500, 600, 1000. Я поднял этот вопрос в заседании особого совещания, и генерал Елачев, который был тогда военным министром, был очень скупчивым. Мой земляк, член Государственного Совета Марков, возмущенный: „Как можно пуле-

меты, — говорил он в заседании, — против кого? Против меня, мирного гражданина? Я буду голодать, вы не дадите хлеба и будете расстреливать из пулеметов?». Все присоединились единогласно к запросу и потребовали объяснений. Очевидно, ген. Беллевэ прекрасно знал, в чем дело. Как же и не знать, когда речь шла минимум о шестистах пулеметах? Откуда же они появились? Ведь их надо же было откуда-нибудь привезти! На это мы ответа не получили, и по сие время нет в делах следов этого объяснения. 10 февраля я докладывал об этом императору. Он говорит: „Я ничего этого не знал и не знаю“. Я сказал ему в ответ: „Прикажите эти пулеметы убрать. Гораздо полезнее послать их на фронт, чем держать здесь. Для обывателей и винтовки довольно“.

Размещались ли пулеметы Протопоповым по крышам, я не знаю. Но он говорил одно: „Если вспыхнут беспорядки, я их задавлю, я кровью залью“. Это он говорил еще до нового года. И по существу он был прав. Когда начались беспорядки, их можно было временно задавить теми силами, которые были. Конечно, революционное движение задавить нельзя было, но кажущийся порядок он мог временно установить.

IX.

Депутат Малиновский. — Отказ от звания члена Г. Думы. — Разоблачение Джунковского. — Марков 2-ой и скандал в Г. Думе.

Относительно депутата Малиновского, оказавшегося агентом-provocатором, я должен сказать следующее. Его выступления в Г. Думе, я должен это сказать, были весьма умные. Так что я иногда спрашивал его: „Где вы учились?“ — „Получил только домашнее образование“, — отвечал он. Его речи были чрезвычайно интересные, очень увлекательные и обоснованные, и притом так осторожно составленные, что мне не приходилось прибегать к цензуре. Неприятных разговоров по поводу речей Малиновского с министром-председателем я никогда не имел, равно как и указаний на то, что речи этого депутата слишком резки, недопустимы и т. п. Равно и угрозы роспуском Думы из-за речей Малиновского я не слышал. Угрозы были общего характера.

Уход Малиновского из Г. Думы сопровождался следующими обстоятельствами.

Малиновский после одной из своих речей вдруг исчез из Думы и больше не появлялся. Затем, в один прекрасный день, он пришел ко мне в кабинет, бросил свое пршение на стол и объявил, что выходит из состава Думы. Незадолго до этого в Г. Думе произошел крупный скандал, когда мне пришлось исключить из заседания 21 человека. Утром до заседания ко мне телефонирует, и чей-то женский голос мне говорит: „Считаю нужным вас предупредить, что у вас в Думе ожидается огромный скандал“. Я спрашиваю: „Да кто вы такая?“ Ничего не ответила. Придя в Думу, я вызвал депутатов кн. Геловани, Вершинина и других и говорю им, что они плохо охраняют свои секреты, так как я могу рассказать им про их вчерашнее собрание и про резолюцию, какую они вынесли.

На вопрос, откуда же я все это знаю, я ответил, что мне об этом сказал по телефону чей-то женский голос. Депутаты очень взволновались...

Так вот, Малиновский, войдя ко мне в кабинет, бросил на стол свое заявление и сказал: „Простите!“ — „Что это такое? — говорю я, — Малиновский, ведь это невежливо“. — „Мне не до того, — отвечает Малиновский. — Прощайте. Я выхожу из членов Думы. некогда мне. Прощайте!“ — И ушел. В это время входят его товарищи и спрашивают меня, где же Малиновский и что произошло? Я ответил им незнакомым, и они отправились на поиски Малиновского и нашли его только на вокзале.

Через несколько дней в Г. Думе был товарищ министра внутренних дел Джунковский, и я его спросил, что случилось с Малиновским? Почему он исчез, получил ли он паспорт? И Джунковский мне отвечает: „Дело его ликвидировано. Мне самому это претит. Это омерзительно, что в Думе, на положении члена Думы, был сыщик. Он теперь ликвидирован и больше не будет“. Джунковский просил меня об этом не рассказывать. Но ко мне пришел член Думы кн. Геловани и стал спрашивать про Малиновского. Я ему одному, под честным словом, и рассказал правду. Теперь войдите в мое положение. Меня обвиняют в том, что я не огласил, обвиняют в недонесении. Но как я мог оглашать этот факт? Как заявить в печати, что среди членов Думы есть агент полиции? Это ужасно. И во имя чего? Во имя спасения партии? Так она сама могла о себе позаботиться. А наложить такое позорное пятно на Думу я никак не мог. Но товарищи Малиновского прекрасно знали, вероятно, со слов Геловани. И все знали, но не говорили. Недаром Марков 2-ой, когда бывало заседание, всегда кричал: „А где Малиновский?“ — Я его даже раз остановил за это.

Кстати, о Маркове 2-м и о том скандале, который он устроил по моему адресу в Г. Думе. У меня никаких отношений с Марковым 2-м не было, потому что он по внешности и существу был нечистоплотов так, что и подходить близко — страшно было. Но не было и злобы. Но его злоба ко мне вытекала не из нашего личного знакомства (его ведь не было), а просто как члена Г. Думы, и, очевидно, ему был дан известный план. Он говорил свою речь с кафедры Г. Думы и начал развивать ее все резче и резче. Я его остановил на одной фразе. Он мне возражал, и я его лишил слова. Тогда Марков и крикнул: „А, вы мне не даете кончить, вы — мерзавец!“

Марков 2-ой рассчитывал, что я не сумею сдержаться, пушу всего графиню, — и было у меня такое побуждение — графин такой славный был, полный водки. Но сумел собою овладеть, сдержался, и инцидент разыгрался во вред Маркову и всему обществу доказал, что Г. Дума воспитанное учреждение, которое умеет ликвидировать такой инцидент по-благородному, а не как Марков, рассчитывавший на потасовку. Если бы председатель Думы ударил члена Думы, а тот ответил бы, то оставалось бы только раскулачить Думу. Это ясно.

Как это было?

(Массовые убийства при Колчаке в ноябре 1918 г. в Омске и окрест. Н. В. Фомина)

1. Цензовые группировки в Сибири.

Колчаковский переворот совершился 18 ноября 1918 года. Момент для переворота был чрезвычайно благоприятный. Директория низшим серьезным авторитетом не пользовалась и ее существование в сущности мало кто интересовался. Сама она внутренне представлялась слабой и не чувствовала в себе силы для решительной борьбы, между тем весь ход событий заставлял ожидать резкого стихновения. Рабочие и профессиональные организации либо не существовали, либо замерли, погрузились, под влиянием начинавшегося террора, в полудремотное состояние. На крестьянство никто из переворотчиков не обращал внимания, — им заинтересовались значительно позднее. Что же касается обывателя и вообще всей той бесформенной массы населения, по преимуществу городского, мнение которого обычно принимается в цензовой прессе за голос народа, то оно было настроено глубоко апатично и желало лишь одного, чтобы его оставили в покое. Жардецкий, коронный публицист сибирской реакции, так и писал в „Сибирской Речи“, что вернейшим союзником идеи диктатуры является равнодушная апатия населения. Когда утром 18 ноября омский обыватель, проснувшись, узнал, что у него теперь новое правительство во главе с адмир. Колчаком, то он отнесся к этому скорее благожелательно, чем с неудовольствием. Для и у многих на душе стало как-то легче: — по крайней мере теперь все ясно: диктатура, так диктатура.

Но встречались и небольшие облачки на этом светлом горизонте, когда на нем вошло новое государственное знамя. Сразу, невооруженным глазом их трудно было заметить, особенно в общем праздничном настроении, охватившем цензовые круги тем же ноябрьским вечером. Этими облачками являлись еще всего несколько заметных статей цензовой прессы о перевороте 18 ноября и в особенности лит. о адмир. Колчаке. И не знаю сейчас по-рукой пол его полтора десятилетия газет, но статьи их хорошо помню. В общем, цензовая пресса всягда сочувственно и дружно, как по сигналу, выскочила за переворот, доказывая в перегонку его спешительность и законность. В этом отношении никаких разногласий в ее среде не было, что и неудивительно:

необходимость единоличной власти провозгласил еще съезд торгово-промышленников в Уфе, происходивший за два месяца до переворота. Но, наряду с органами, преклонявшимися не только перед переворотом, а и перед самим адмиралом Колчаком, были и такие, напр., как „Свободная Сибирь“ в Красноярск, в отзывах которых слышалось не то чтобы разочарование или неодобрение, — переворот должен был быть, диктатура единственный путь к спасению страны. Этого газета ни в коем случае не отрицала: — но в них прослеживалась какая-то неохота к особенным похвалам по адресу новых властителей. Как будто бы праздничное лицо цензовых публицистов невольно сбавало изнутри легкая гримаса. Чувствовалось, что кое-кто из цензовиков в этом случае чем-то не удовлетворен, как будто они хотели сказать, а по-есте я говорил о новом правителе, что это Федот, да не тот, которого они хотели и которого они ждали.

Объяснялось всё это очень просто: — цензовики имели своего претендента на пост Верховного Правителя, но этим претендентом не у всех у них являлся адмир. Колчак. Адмирала Колчака в Сибири мало знали, даже вовсе не знали, человек здесь он был новый, и когда этот новый и мало кому известный человек (а кроме того, известный некоторым цензовикам, как нежелательный кандидат) оказался верховным диктатором, отстранившим предполагавшего ранее претендента, то он оказался в глазах наиболее посвященных, как бы выскочкой, захватчиком. В Сибири ни для кого не было тайной, что настоящий кандидат на пост Верховного Правителя, уже открыто, еще в июле 1918 года принявший этот титул (на ст. Гродеково, около Пограничной), был вовсе не Колчак, а ген. Хорват, Дмитрий Леопольдович или иначе „Дмитрий Самозванец“, как его назвала одна дальне-восточная, народофильская газета, за что и была привлечена харбинским прокурором к ответственности по статье, карающей, как за оскорбление его величества¹⁾.

Кандидатура ген. Хорвата на всероссийский престол, — речь шла именно о всероссийской, а не местной сибирской власти, — была открыто выставлена в средней и западной Сибири еще в августе 1918 года в статьях покойного А. В. Адрианова, напечатанных им в газете „Сибирская Жизнь“. Это были яркие, боевые статьи, тогда же отмеченные во всей сибирской прессе и широко разнесшие повсюду имя ген. Хорвата. В лице Адрианова ген. Хорват имел своего Баяна, как адмир. Колчак в лице Жардцкого. Но тогда как Жардцкий не успел создать предварительной печатной агитации за адмир. Колчака, Адрианов, напротив, организовал широко поставленную, на американский лад, рекламу ген. Хорвату, страстно пропагандируя настоящий государственный переворот в духе смены власти демократических кругов властью цензовиков. Идейной лабораторией этой пропаганды являлся так называемый в Томске, месте действия А. В. Адрианова и „Сибирской Жизни“, кружок областников имени Гр. Н. Потанина („потанинский кружок“, который гораздо вернее нужно бы назвать „адриановским кружком“), группировавшийся около старшей

¹⁾ Я здесь не пропущу, а сообщу действительный факт.

сибирской газеты, основанной еще в конце 1890-х г.г. сибирским Павленковым, П. Ив. Макушиным. Ген. Хорват, в отличие от адмир. Колчака, считался, правда больше по недоразумению, местным человеком, органически связанным с Сибирью, чуть ли даже не сибирским областником, хотя собственно Западная и Средняя Сибирь его знали не больше, чем Колчака. Чтобы приобщить ген. Хорвата к сибирскому областничеству, с которым он по сути делу не имел ничего общего, предполагалось даже организовать поездку на Восток Гр. И. Потанина, и если она не состоялась, то по каким-то случайным причинам. Вообще, именем Потанина эта часть областников, несмотря на протесты другой их группы, возглавлявшейся Вл. М. Крутовским, тогда чрезвычайно злоупотребляла, желая использовать его крупный моральный авторитет в узко-групповых целях.

Трудно сказать теперь, насколько это движение в пользу объединения цензовиков около ген. Хорвата было связано организационно в разных своих частях, но что попытки создать такую организационную связь, притом в широком масштабе, существовали, это несомненно. Сам ген. Хорват появился на Дальнем Востоке в начале 1900-х г.г., будучи командированным туда гр. Витте.

В мемуарах гр. Витте о нем есть несколько интересных строк. На Востоке у ген. Хорвата имелась своя общественная ячейка, поддерживающая его кандидатуру на пост Верховного Правителя, — это биржевые комитеты Амурской обл. и Дальнего Востока. От лица их в октябре 1918 г. из Владивостока в Омск совершила поездку особая делегация от не „социалистических организаций“ во главе с одним видным владивостокским биржевиком. Эта делегация подготовляла общественное мнение цензовиков к необходимости ориентации на ген. Хорвата, и по всей линии железной дороги от Владивостока до Омска (Чита, Иркутск, Красноярск, Томск, Ново-Николаевск) оставляла организационные ячейки. Отчеты о деятельности и публичных выступлениях членов делегации появлялись кое-где и в газетах. Восточные цензовики проявляли в это время вообще большую энергию и сплоченность в стремлении насадить диктатуру в Сибири. Идея диктатуры пришла с Востока, там она первоначально зародилась, там была сформулирована, там приобрела полу-официальное международное признание, и отсюда же прибыл в среднюю Сибирь главный диктатор, перед которым разверзались двери неограниченной власти, хотя не тот, которого ждали. Прибыл, словом, не Хорват, а Колчак.

Кроме Востока, у цензовиков были попытки связаться и с дальним Западом, с Европейской Россией. В апреле 1918 г. с юго-запада России проехали на Восток полк. Глухарев и ген. Флуг, уполномоченные ген. Корнилова, через которых ген. Корнилов, если не организационно, то идейно, пытался связаться с сибирскими цензовыми кругами. Осенью того же 1918 г. в своих руках находились копии писем полк. Глухарева к ген. Корнилову, в которых он сообщал ген. Корнилову о своих сибирских связях с военными кругами и с областниками. Имя ген. Корнилова в то время в Сибири в цензовых кругах и в части интеллигенции было окружено необычайным ореолом и пользовалось исключительным моральным авторитетом. Самый факт связи с ним

и с его организационными областниками, впрочем, и не скрывали, так как об этом в „Сиб. Жизни“ (в том же № от 28 августа) писал А. В. Адрианов.

Насколько большим и непререкаемым авторитетом пользовалось тогда в ценовых кругах имя ген. Корнилова, показывает инцидент с бывшим министром Временного правительства Н. В. Некрасовым. Он приехал летом 1918 г. в Сибирь, но его появление в Сибири подняло целую бурю в ценовой прессе и в ценовых кругах, потребовавших от Некрасова ответа за его поведение в деле Корнилова. После св его рода общественного суда над Некрасовым, страсти разгорелись до такой степени, что он предпочел вернуться обратно в Советскую Россию, несмотря на весь риск, связанный с таким переездом.

Как бы, однако, ни была сильна эта связь с Западом, — а в организационном отношении она едва ли являлась сколько-нибудь значительной, — она, во всяком случае, не могла идти ни в какое сравнение по своей важности с той связью, которая у сибирских ценовиков установилась с Востоком. Центр всего движения, особенно центр организационный, находился несомненно там, на Востоке. И там же, на Дальнем Востоке, у сибирских ценовиков оказался чрезвычайно сильный союзник, связывавший их с международной дипломатией; этот союзник, конечно, Япония, действовавшая на Востоке через посредство ген. Хорвата и его вооруженной руки, атамана Семелова. Япония, как магнит, притягивала к себе все реакционные силы России, выброшенные за борт революцией 1917 года, и под ее протекторатом они могли постепенно приходить в себя и организовываться. Когда же произошло чехо-словацкое восстание (май-июнь 1918 г.) и Сибирь оказалась совершенно отрезанной от России, эта роль Японии получила особенно широкое значение, и дальне-восточная реакция с своим организационным центром в Харбине у ген. Хорвата перешла на положение полного гегемона в среде сибирских ценовиков.

Отсюда и еще один факт, не представляющий никакого сомнения, — все то, что потом произошло в Сибири, и тот тип власти, который окончательно установился в ней после 18 ноября, и те методы управления, которые получили название — „колчаковщины“, хотя их с таким же успехом можно было бы назвать — „хорватовщиной“, наконец, и те приемы борьбы со всякого рода оппозицией, вплоть до физического уничтожения ее представителей (убийство учителя Уманьского и „черные автомобили“ в Харбине), все это пошло с Востока. Отличие можно заметить только в одном отношении: то, что там практиковалось в сравнительно небольшом размере и на ограниченной территории, здесь развернулось в огромном масштабе, приковав к себе всеобщее внимание. На этой же почве разыгралась и трагедия 22 декабря 1918 года, связанная с массовыми расстрелами в Омске, с убийством членов Учредит. Собрания и с гибелью Н. В. Фомина. Об этих событиях я и имею в виду рассказать то, что знаю и что непосредственно происходило на моих глазах.

2. Омское восстание в декабре 1918 г.

В декабре 1918 г. меня не было в Омске, и разыгравшиеся там события я знал только из газет или из рассказов других лиц. Я находился тогда

з Красноярске, и вести из Омска доходили с большими перерывами, нерегулярно. Газеты обо многом умалчивали, питаться приходилось больше слухами, чем достоверными сведениями. Мы знали или „слышали“ в Красноярске, что в Омске восстание; говорили, что город кем-то захвачен и отрезан от остальной Сибири, что там переворот. Слухами о переворотах тогда вообще жила вся Сибирь, и им легко верили так же, как вестям о поражениях на фронтах. Желание есть мать веры, — это давно известно. Но потом стали говорить, что Омск не взят никем, но что крупный бой идет в Куломзине, пригороде Омска, на левом берегу Иртыша, около жел.-дорожного моста. Прошло еще некоторое время, и стало известно, что восстание в Омске действительно произошло, но его сравнительно скоро подавили. Это было одно из тех городских восстаний, которые за время Колчака спорадически вспыхивали то тут, то там, быстро локализовались и еще быстрее подавлялись с невероятной жестокостью. Восстание в Омске по первоначальному плану должно было начаться в городе, перекинуться в лагеря, где содержались военно-пленные гражданской войны красноармейцы, затем найти поддержку в Куломзине среди рабочих и, таким образом, кончиться захватом всей городской территории. Но еще до того момента, как ему вспыхнуть, оно оказалось обреченным на неудачу: накануне предполагаемого выступления был арестован весь штаб повстанцев, и арестованных тут же расстреляли. Все эти аресты „накануне“ всегда подозрительны и заставляют предполагать, что они происходят не случайно. О подготовке выступлений в таких случаях власти обыкновенно знают заранее, потому вовремя и производят аресты. Чрезвычайно интересны в этом отношении показания, данные после самим Колчаком на допросе в Иркутске.

„Приблизительно около 20-х чисел декабря, — рассказывал там адмирал, — Лебедев ¹⁾ сообщил мне, что имеет агентурные данные, говорящие о том, что в Омске готовится выступление жел.-дорожных рабочих и что движение идет под лозунгом советской власти“.

Движение это, по словам Колчака, не беспокоило Лебедева, — „он большого значения ему не придавал“, и это понятно, он был в курсе дела и в любой момент мог приступить к „ликвидации“, что на деле и произошло, как сказано выше. Тем не менее, восстание вспыхнуло, но не в городе, не в центре, а на периферии, в пос. Куломзино. В городе же оно захватило только ту часть территории, на которой расположена тюрьма. Туда явился небольшой отряд солдат, захватил тюрьму и освободил заключенных, среди которых находилось много видных эс-эров, „учредителей“: Н. В. Фомина, Ф. Ф. Федорович, В. Е. Павлов, В. В. Подвидный и др. Часть арестованных через день или два вернулась добровольно в тюрьму при обстоятельствах, которые ниже подробно изложены, но некоторые категорически отказались возвратиться. Из тех, которые вернулись, многие погибли, в том числе Н. В. Фомина, и эта гибель Н. В. Фомина произвела в Сибири потрясающее впечатление, не меньшее.

¹⁾ Лебедев, нач. штаба верх. главкомандующего, т. е. самого Колчака. Ген. Лебедев один из крупнейших представителей колчаковской политики и наиболее приближенное лицо к самому адмиралу. В Омск он прибыл от Деникина.

я сказал бы — даже большее, имея в виду местные условия, чем до известной степени аналогичная гибель в Петрограде Шингарева и Косошкина.

Гибель Н. В. Фомина, принимавшего непосредственное и очень крупное участие в чехо-словацком перевороте, можно сказать организовавшего этот переворот, — поставила естественно вопрос, как это могло совершиться и кто ответственен за его убийство. На том же допросе в Иркутске адмир. Колчак категорически отстранил от себя всякую ответственность за омикие расстрелы и за гибель, в частности, Фомина. Он сказал, что он просто — „не знал“, кто это сделал и по чьему распоряжению, во всяком случае не по его. Что это происходило не по его непосредственному распоряжению, это вполне вероятно, но чтобы он так-таки и не знал и не узнал за все время своего правления, кто это сделал и по чьему распоряжению, тут возможны большие сомнения. Кое-что, и кое-что существенное, адмир. Колчак во всяком случае знал. На допросе в Иркутске Колчаку были названы несколько лиц, непосредственных участников тогдашних расстрелов; напр., был назван кап. Рубцов, затем Барташевский, взявший из тюрьмы Фомина и др., и еще ряд лиц. — „Я знаю, — отвечал Колчак, — что Рубцов принимал участие в выполнении приговоров полевого суда“. — „А знаете ли вы, — спрашивали там Колчака, — что Рубцов и Барташевский ссылались на ваше личное распоряжение?“ — И на это адмирал принужден был ответить: — „Да, Бузнецов, производивший следствие, мне об этом докладывал“. Таким образом, давал или не давал Колчак непосредственные распоряжения о массовых расстрелах в эту ночь, но факт тот, что те, кто тогда действовал, действовали не чьим-либо чужим, а его, адмир. Колчака, именем; он это знал и позднее против этого не протестовал, — по крайней мере о таких его протестах никогда нигде не говорилось, — не поднимал о них речи и сам он на допросах в Иркутске. Я полагаю, что это не случайность. Кровь, пролитая в ту ночь, являлась помазанием адмирала при венчании на пост Верховного Правителя. Она сделалась залогом, примирявшим его с теми самыми непримиримыми фракциями ценовиков, легкую тень неудовольствия которых он вызвал, появившись внезапно, как „выскачка“, на государственной арене. Как именно все это произошло и к каким привело результатам обще-политического значения, — и составляет задачу моего дальнейшего изложения.

3. Адмирал Колчак и англичане.

Кроме самого адмирала Колчака, были и еще силы и люди, политически ответственные, хотя может быть не прямо, а косвенно, за происшедшие тогда события. Я боюсь, что читатель моих записок удивится и сочтет это за парадокс, если я скажу, что такими лицами, ответственными за пролитую кровь, явились иностранцы, именно англичане, английские политические деятели. Это, конечно, очень странно и неожиданно, но это так. Когда при известии о воцарении Колчака легкая гримаса неудовольствия промелькнула по лицу ценовской сибирской прессы, это отнюдь не представляло случайности, да и, вообще, случайностей не бывает в крупных событиях политической жизни, а тем более в таких критических

узловых пунктах ее. Цензовики, конечно, прекрасно понимали, что дело тут не в самой личности адмирала, ибо чем он в самом деле был хуже ген. Хорвата, — репутация Колчака представлялась им даже более значительной, чем репутация Хорвата, — но имелось нечто, все-таки заставлявшее их предпочесть последнего первому. Вопрос здесь решался не персональными качествами двух претендентов, а тем, какие реальные силы стояли за ними, и что эти силы несли с собой для организации власти внутри Сибири.

За ген. Хорватом, как всем представлялось ясным, стояла Япония, страна еще недавно полуфеодалная, страна монархическая и реакционная, Япония — это духовный страж реакции на всем бассейне Тихого Океана. Между тем, адмир. Колчак давно уже проявил себя на Дальнем Востоке несомненным японофобом в области международной политики. Об этом он опять-таки совершенно определенно говорил на том же допросе в Иркутске и еще ранее во время своего пребывания на Дальнем Востоке (весной 1918 г.), в одном из обширных газетных интервью, позже перепечатанном в „Свободном Крае“ в Иркутске. Японофобство Колчака в международной политике безусловный факт и, может быть, было бы даже его единственной положительной чертой, если бы распространялось и дальше, на внутренние дела, чего на самом деле не было. Здесь, напротив, он усвоил чисто японские методы управления и особенно подавления, о чем я еще буду говорить подробно, на основании официальных документов. Не будучи в области международной политики сторонником Японии, а на допросе в Иркутске осуждая даже вообще „интервенцию“ (на этот раз едва ли искренне), адмир. Колчак имел своих союзников среди иностранных дипломатов, оказывавших ему серьезную и, конечно, не бескорыстную поддержку. Этими союзниками Колчака, на которых он усиденно ориентировался, являлись англичане.

Переворот 18 ноября — есть дело сибирской реакции, имевшей организационный центр на Дальнем Востоке, но появившейся на посту Верховного Правителя адмир. Колчака — это дело, бывшее чрезвычайно желательным для англичан, если не прямо их рук дело.

Цензовые круги в Сибири вообще считали для себя оскорблением слухи о том, что в перевороте 18 ноября играли какую-либо роль иностранцы, безразлично — японцы или англичане. В их представлении переворот 18 ноября являлся исключительно национальным делом, в котором никакие иностранцы никакой роли не играли. Однако, теперь даже в книге Гинса о Колчаке есть такая фраза: „Когда военный представитель Англии ген. Нокс узнал о кандидатуре Колчака, он горячо приветствовал ее и сказал, что назначение Колчака обеспечивает помощь со стороны Англии. Отсюда — по мнению Гинса — пошла легенда о том, что Колчак, как Верховный Правитель, был создан ген. Ноксом“.

Гинс ошибается, — эта легенда пошла не только отсюда, но, во всяком случае, и это заявление Нокса очень характерно. Гинс, с другой стороны, умалчивает, когда это заявлялось ген. Ноксом, до переворота или после него. Я позволю себе здесь утверждать, что еще в октябре 1918 г. ген. Нокс при

поездах по Сибири усиленно зондировал почву в разных городах на предмет возможных перемен в организации власти, причем то тут, то там он называл и определенные имена, в том числе и адмир. Колчака. Заслуживает также внимания такой факт: в сентябре 1918 г., будучи во Владивостоке, и имел случай убедиться, что, по мнению местных биржевых кругов, далеко не одни японцы настроены в пользу восстановления монархической или полумонархической власти в России, но что и англичане (там был тогда ген. Нокс, а перед тем сэр Джордж Эллиот) полагают лучшим типом власти для России конституционную монархию, а для данного момента власть единоличную, диктаторскую. И тогда был очень заинтересован этой уверенностью владивостокских биржевиков и впоследствии не раз убеждался, что их информация оказалась довольно точной и близкой к истине. Но, какую бы роль ни играл ген. Нокс до переворота 18 ноября, во всяком случае, после переворота он сделался самым энергичным и самым сильным союзником Колчака, упорно поддерживая его до самого конца. Фактически ген. Нокс взял на себя главную тяжесть по снабжению армии Колчака военными припасами: это был интернациональный интендант колчаковской армии, делавший всё от него зависящее для полного насыщения ее необходимым техническим материалом. Колчак, однако, ни в какой степени не оправдал оказанного ему ген. Ноксом доверия, и когда началось беспримерно-паническое отступление, вернее — бегство его армии на восток, все это английское снабжение в колоссальном количестве попало в руки красной армии. Французы тогда острили в Иркутске над ген. Ноксом, называя его „Le grand fournisseur de l'Armée Rouge“ — великим поставщиком Красной Армии.

4. Выступления полк. Уорда.

Что Англия в лице своих дипломатов приложила руку к перевороту 18 ноября, это теперь не представляет спора. Но кое-что уже выяснилось и в то время. И хорошо помню, напр., хотя и не могу навести нужную справку, как весной 1919 г. в газете „Наше Дело“, издававшейся в Иркутске, появилась телеграмма из Лондона с отчетом о заседании парламента и с ответом лорда Черчилля на запрос оппозиции о роли Англии в сибирских делах. Лорд Черчилль заявил там, что положение в Сибири осенью 1918 г. было таково, что англичанам приходилось для охраны своих интересов предпринимать некоторые меры с целью надлежащей организации власти, и в результате этого появилось правительство, возглавляемое Колчаком. Находились, впрочем, и в самой Сибири простяки из числа местных бурбонов, которые без всяких дипломатических тонкостей пробаивались о том, как и кем, с чьей помощью, происходил переворот 18 ноября. Для характеристики этого приведу один пример.

Вскоре после переворота 18 ноября, в Красноярске начальник местного гарнизона ген. Феодорович (тогда генералов, как блины, пекли), типичный военный селяк старого типа, собрал к себе представителей всех общественных учреждений, имевшихся в городе (дума, земство, профсоюзы и пр.), чтобы

информировать их о происшедшем перевороте, и, изложив, что произошло в Омске, закончил свое сообщение заявлением о бесполезности каких бы то ни было протестов против правительства адмир. Колчака, так как, по словам ген. Феодоровича, то, что произошло, было сделано с согласия и при участии союзников, в частности англичан. Не помню, был ли тут назван тогда ген. Нокс, но все знали и понимали, что если в этом случае фигурировали англичане, то не мог не фигурировать прежде всего ген. Нокс, слишком уж он был тогда известен в Сибири, правда, еще никто не подозревал, что он сделается со-временем великим поставщиком Красной Армии с помощью своей креатуры — адмир. Колчака.

Ставка на Колчака являлась, таким образом, ставкой на Англию, что, по многим соображениям, не соответствовало желаниям сибирских ценовиков. Япония им была, во всяком случае, ближе, всякой Англии, не говоря уже о том, что Япония и географически находилась тут же, близко, тогда как до Англии из Сибири три года скачи — не доскачешь. Затем, все-таки англичане считались конституционалистами и демократами, а это для ценовиков тоже представлялось неподходящим. Герцен когда-то говорил, что самое худшее из всех правительств, это правительство расsvирепевших лавочников, но вот это самое правительство тогда и устанавливалось в Сибири; как же оно могло ориентироваться на Англию и ее демократию? Нужно, однако, сказать, что англичане сделали все возможное, чтобы примирить с собой этих сибирских „расsvирепевших лавочников“. Особенно на этом поприще постарался полк. Уорд (или Вурд, как его иногда называли), английский демократ, член парламента, деятельный участник тред-юнионистского движения. Полк. Уорд проехал от Владивостока до Перми, если не дальше, не до самой линии фронта, всюду выступая с лекциями, докладами, застольными речами и всякого рода призывами. Как подобает английскому тред-юнионисту, полк. Уорд излагал свои взгляды на положение России не только среди чистой публики, но и среди рабочих, особенно среди жел.-дорожников. В жел.-дорожных мастерских для полк. Уорда устраивались специальные собрания, как в былые время всяческих митингов и свобод, но только без права диспута, а лишь с обязанностью слушать. Этот способ воздействия на аудиторию усвоил впоследствии, впрочем, не только один полк. Уорд.

Выступления полк. Уорда, начавшиеся еще задолго до переворота 18 ноября, но несомненно расцвечавшие путь к нему, были чрезвычайно характерны и симптоматичны. Я считаю, что одним из самых ярких является помпезное выступление его в середине октября на банкете в Иркутске; банкеты тогда были в большой моде. Полк. Уорд говорил долго, говорил он по-английски, с переводчиком, и едва ли он представлял в точности, кто его слушает и как его слова, быть может, очень хорошие и уместные где-нибудь в Англии, преломляются в душе и в понимании сибирских „расsvирепевших“ обывателей, как штатских, так, в особенности, военных. Типичный английский либерал, свято хранящий в душе верность старым английским традициям и всему прошлому в истории своего народа, такой богатой куль-

турными завоеваниями, полк. Уорд не считался с тем, что тут, в Сибири, перед ним была не Англия, а скорее Патагония, как выражался когда-то Столыпин, и что здесь все его разговоры о традициях будут поняты самым примитивнейшим образом и едва ли так, как этого хотел бы он сам.

Полк. Уорд, по его словам, был очень удивлен, когда, приехав в Сибирь, узнал, что здесь национальным английским гимном считается—„Rule Britannia“, „Британия, царствуй и на водах“, тогда как на самом деле национальный гимн англичан—„God save the King“ или по-русски: „Боже, сохрани короля.“ „В Англии,—говорил дальше полк. Уорд,—могли бы быть всякие перевороты и революции; Англия, быть может, совершит еще огромные социальные реформы, но все-таки национальным гимном ее останется по-прежнему гимн в честь короля. Англия—страна традиций и от них никогда не откажется; ее прошлое ей дорого просто потому, что это ее прошлое, и она над ним не станет надругиваться и другим надругаться не позволит. Но это не мешает ей быть страной передовой, прогрессивной и демократичной. Совсем иное положение нашел в России. Проезжая сюда из Харбина, он увидел, напр., что на всех станциях железной дороги, принадлежащей русским—русской дороге, болтаются какие-то красные лоскутки вместо флагов. Но где-же ваш старый национальный флаг?—спрашивает полковник.—Почему вы от него отказались?

Речь полковника имела огромный успех особенно в том месте, где он с большой эспрессной сказал, что если бы в Англии появились такие же реформаторы, как в России, проповедующие грабеж и убийство и нагло нарушающие вековые национальные традиции, то мы, англичане, при всем нашем уважении к суду и к законности, не нашли бы для таких людей иных слов, кроме слов негодования, и они за свою пропаганду ответили бы своей головой.

Гром аплодисментов покрыл эти слова полк. Уорда, и какой гром. Сибирские погромщики почувствовали тут что-то свое, родное в словах английского либерала и покрыли их целой бурей оваций.

События имеют свою логику. Поэтому, по мере продвижения полк. Уорда на запад, к Омску, его слушатели не удовлетворялись уже одними аплодисментами и, напр., в Красноярске, а потом в Омске, наслушавшись речей о том, что в Англии всякий рабочий тред-юнионист поет национальный гимн в честь короля, участники банкета затянули тут же от полноты чувств в тон оратору: „Боже, Царя храни“, а затем на глазах англичан разыгралась настоящая „драка в Доме“, подобная той, которая была описана в свое время в одном рассказе Короленко, хотя едва ли это живое напоминание об английских традициях доставило много удовольствия и польстило национальной гордости англичан, прибывших вместе с полк. Уордом.

5. Н. В. Фомина и его общественная работа.

Полагаю, на этом я могу пока закончить предварительные замечания к рассказу и к оценке декабрьских событий 1918 г., чтобы теперь ближе подойти к ним самим. Прологом к омским событиям явилось столкновение между

съездом членов Учредит. Собрании и волчаковскими офицерами в Екатеринбурге. Собственно уже тут было решено расправиться с „учредильщиками“, и, если этого не произошло, то по чисто случайным причинам, в виду вмешательства чехов. Я, впрочем, не был свидетелем того, что происходило в Екатеринбурге и позже в Уфе и Челябинске, так же как не участвовал и на предыдущих съездах членов Учредит. Собрании. Об их работах я знаю только с чужих слов, поэтому и на них здесь не останавливаюсь. В числе членов Учредит. Собрании, арестованных в Челябинске, после того как съезд был вывезен чехами в Уфу, был и Нил Валерианович Фомин, человек мне близкий и очень хорошо известный.

Я знал Нила Валериановича с лета 1916 года, со времени моей ссылки в Енисейскую губ., которую я, вместо Туруханского края, куда был назначен, отбывал в Красноярске. Там я встретил целую группу ссылных, большевиков и эс-эров; из них многие играли впоследствии крупную роль в революции, как февральской, так и октябрьской, и в центре и на местах, а некоторые, правда, не все, и теперь занимают весьма видные посты. Нил Вал. Фомин работал в то время в Енисейском союзе кооперативов; он был еще молод, ему исполнилось тогда лет 27-28, хотя на вид он казался гораздо старше. В Енисейском союзе он пользовался большим авторитетом, и за ним, несмотря на его молодость, числился уже серьезный кооперативный стаж. По убеждениям он являлся эс-эром, что, впрочем, не мешало ему в то время быть в очень близких личных отношениях с некоторыми выдающимися большевиками. В тот момент, когда мы с ним встретились, он заведывал в союзе секретариатом и, вскоре после нашего знакомства, уехал в Минусинск на ревизию местного кооперативного объединения. В Минусинске он между прочим очень близко познакомился с Е. К. Брешко-Брешковской, тоже отбывавшей там ссылку.

Центром тяжести его работы в это время являлась, однако, не политическая деятельность, а кооперативная. Необходимо отметить здесь для характеристики его, как кооператора, что в кооперативной литературе его работа по минусинской ревизии считается образцовой. Позже волна событий оторвала его от вопросов кооперативной практики и теории, и центром тяжести у него сделалась не кооперативная, а политическая деятельность. Это произошло сейчас же после революции 1917 года. Нил Валер. примыкал тогда к направлению центра партии соц.-рев., лидером которого является В. М. Чернов. В местной партийной группе он занимал одно из самых видных мест, можно сказать даже центральное положение, сохраняя его и впоследствии. Временами он уезжал из Красноярска на съезды, то кооперативные, то обще-политические, на совещания и просто по личным делам. Он не присутствовал, напр., на первом крестьянском обще-губернском съезде, где шла ожесточенная борьба с большевиками, окончившаяся в то время их поражением. Однако, эти отъезды, обычно кратковременные, не мешали ему сохранять живую и крепкую связь с местными интересами.

Я выехал из Красноярска в начале июля 1917 г. и до декабря этого года с Нилом Вал. не встречался. Встретились мы с ним снова только перед

открытием Учредит. Собрания, как депутаты от одной губернии, прошедшие по одному списку. Я нашел Нила Вал. за этот период значительно изменившимся, что очень выпукло отражалось на его тогдашних статьях в „Красном Знам. Труда“, присылавшихся им из Петрограда в Красноярск. Раньше по целому ряду вопросов обще-политического характера (война, Временное правительство, большевики и пр.) он был, по общепринятой терминологии, „левее“ других; теперь он стал переходить на чисто „активистские“ позиции, не останавливаясь перед самыми крайними выводами, что являлось для него характерным. По натуре это был вообще типичный искатель правды, глубоко честный и искренний; в поисках правды он иногда как бы метался от одного положения к другому, но, раз в чем-либо убедившись, делал из этого все логические выводы.

Прошло Учредит. Собрание, и в самом начале 1918 года, еще до Брестского мира, мы с ним снова расстались; он уехал в Москву, я остался в Петрограде, почти не принимая участия в тогдашней политической жизни (если не считать ряда лекций и выступлений на митингах), но сотрудничая на этот раз в официальном партийном органе „Дело Народа“. Для характеристики своего отношения к тогдашним событиям в Сибири считаю необходимым отметить здесь две свои статьи, напечатанные в конце мая 1918 года, одна под заглавием „Что происходит в Сибири?“ и другая — „Что ждет Сибирь?“. Во второй из этих статей, определив свое отношение к большевистской работе, и, между прочим, писал, что в Сибири, как и везде, нас ждет приступ борьбы с демократией и социализмом, со всем социализмом, безотносительно к тем или иным его разветвлениям. Одни течения социализма, вроде большевиков и левых с.-р., будут ненавистны и виноваты в глазах самых разнообразных кругов тем, что они делали; другие же, противники большевиков и левых с.-р., виновны окажутся в том, чего они не делали или, вернее, чего они не сумели сделать. Первые признаки такой реакции мы имеем уже в Сибири. Как характерно, напр., что бывший депутат от Красноярска в Госуд. Думе Ростротин, правый кадет, находившийся тогда на Дальнем Востоке, отказался там входить в сношения с социалистами при переговорах об организации власти. Этот отказ, переданный газетами, был весьма знаменателен: я находил, что это первая ласточка, за которой последуют и другие вестники реакционной волны.

В той же статье я указывал в противовес московским „Известиям“, что в Сибири „атам. Семенов есть реальная сила, и едва ли правы „Изв.“ в своем оптимизме и в уповании насчет не-реальности его предприятия“¹⁾; далее там упоминается о „намерении есаула Семенова назначить диктатором Забайкалья адм. Колчака, известного в Сибири своими связями с американскими капи-

¹⁾ Московские „Известия“ тогда писали: „У Японии нет никакого намерения вмешиваться в сибирские дела, и если есаулу Семенову помогают японцы оружием и деньгами, то это делают частные лица и компании, правительство же Японии стоит от этого совершенно в стороне“. И дальше „Известия“ говорят, что „Семеновщина дожидает свои последние дни“, так что Семеновым, Хорватам, Плешковым не удастся избежать корпизоловской участи.

тапистами, тоже людьми, как известно, частными; наконец, проводится параллель между Семеновым и Калединым с Корниловым. — „Картина в этом отношении вполне ясна: Семенов действует не по типу Каледина или Корнилова, Семенов действует скорее по типу украинской Рады, опиравшейся в своей борьбе против большевиков на иностранную помощь, более или менее искусно вуалированную. Это факт огромной важности для оценки того, что ждет Сибирь“.

— „Лозунгом Семенова является—Учредит. Собрание,—говорится дальше в статье.—Не станем этим обольщаться: ныне никакого иного лозунга ни у кого, пока что, не может быть. Это единственный приемлемый для народа лозунг, под знаменем которого можно действовать. Но ведь не всякий выходящий: Господи, Господи, внидет в царство небесное“. „К Учредительному Собранию есаул Семенов относится так же, как все люди его типа: если оно поддержит его, тогда он его признает, а если не поддержит, то нет, не признает. Что оно его может поддержать, это не невозможно, особенно при содействии Востротных: бывали же в истории учредительные собрания вроде Бурдосского парламента во Франции, почему же их не может быть у нас? Даже наверное будут“.

„Учитывая все это в целом, мы должны признать, что Сибири предстоят тяжелые времена и что истинно-демократическим элементам этой окраины надо спешно мобилизовать все свои силы, дабы не дать реакции беспрепятственно занять все те места, которые если она займет, то сумеет надолго на них основаться“.

Статья оканчивается словами: — „Итак, граждане, все на работу! Не дайте этой великой по своим возможностям окраине сделаться вотчиной какого-нибудь нового гетмана Скоропадского“.

Приблизительно такого же содержания, сколько я помню, была и вторая статья моя о Сибири, напечатанная в „Деле Народа“, тоже в конце мая 1918 г. Печать тогда в Петрограде была почти-что свободна и высказываться можно было полностью. Я не верил тогда в прочность существования на окраинах советской власти, но я не особенно высоко оценивал также и организованность демократии. Очередным вопросом дня я тогда считал борьбу с грядущей реакцией, политически и морально окрепшей под влиянием практики последнего времени, предшествовавшего периода политики, особенно в вопросах международной политики.

6. По приезде в Омск.

В начале июня 1918 г. я решил ехать в Сибирь, в значительной степени, в силу вышеизложенных соображений. Не могу не отметить тут одного факта, который может служить некоторой иллюстрацией к последним словам предыдущей главы. Перед тем, как выехать, я получил от редакции „Дела Народа“, через А. Р. Гоца, предложение написать статью о начавшемся конфликте советской власти с чехо-словаками. Должен сознаться, что я до того времени имел весьма слабое представление о существовании чехо-словац-

ких дивизий у нас в России, и поэтому весь вопрос о чехо-словацком выступлении упал на меня, как снег на голову. Не будучи ориентированным в достаточной степени в этом вопросе, не имея точного представления о характере и возможном будущем этого движения, я, после некоторых колебаний, отказался от мысли написать такую статью, и очередной № „Дела Народа“ вышел без предполагавшейся оценки чехо-словацкого движения. Своим взглядом по этому пункту я окончательно выработал несколько позднее, будучи уже в Сибири.

Из Петрограда я выехал 6 июня 1918 г. Цель моей поездки была Красноярск. Я не думал, что мне удастся остаться в городе, какой бы режим там ни основался, но я полагал, что деревня примет меня радушно, и я найду в ней достаточно надежный приют. Не успели, однако, мы доехать до Перми, как стало известно, что прямой проезд в Сибирь закрыт. Наш поезд задержали на ст. Верещагино. Станция, как обыкновенно, в таких случаях была полна слухами, но что собственно происходило за Уралом—никто не знал. Лишь по секрету местные железнодорожники сообщили пассажирам глухое известие о падении Омска. Еще раньше, в Петрограде, вечерние газеты напечатали краткие телеграммы о падении Н.-Николаевска, а в дороге мы прочитали отчеты о событиях в Пензе. Но из Пензы чехо-словаки быстро ушли, и в прочность Н.-Николаевского переворота не было больших оснований верить. Да и вообще, за это время мало кто придавал серьезное значение чехо-словацкому выступлению. Огромное большинство предполагало, что чехи, окруженные со всех сторон советскими огрядами, разбросанные по огромной, совершенно чуждой им стране, полу-вооруженные, без связи между разными частями, будут быстро раздавлены. Правда, лично у меня в этом полной уверенности не было, так как я слишком хорошо видел полуганархическое состояние тогдашнего советского строя. — это было в 1918 году, описанном в „Двенадцати“ у Блока;—но и при этом условии чехо-словацкое движение казалось мне скорее эпизодом, чем началом длительной и чреватой всякими неожиданностями борьбы с советской властью на Востоке России, хотя, с другой стороны, смутно я сознавал все-таки возможную серьезность при некоторых условиях поднявшегося движения.

Задержанный на ст. Верещагино я, однако, ни в каком случае не хотел возвращаться назад в Петроград, как это предлагала нам железнодорожная администрация. Я вообще не привык отказываться от достижения поставленной цели, пока не убеждался, что все средства для этого исчерпаны. Я поехал поэтому окружным путем в Сибирь, через Верхотурье, Надеждинский завод, Сосьну и Тавду, и через месяц пути с столь обычными в то время приключениями, сделав часть его на лодке по Тоболу, прибыл сначала в Тобольск, а потом, уже на пароходе, в Омск. На пароходной пристани в Омске я высадился утром 2 июля 1918 года, эту дату я хорошо помню. Только на перегоне от Тобольска к Омску и затем в первые часы пребывания в Омске, я узнал более или менее точно, что именно произошло в Сибири за этот месяц моего странствования. В Омск в это время уже переехал

совет министров Брест-Литовского правительства, во главе которого, к моему разочарованию, оказался Н. Г. Вологодский. Однако, о самом близком участии в событиях Н. В. Фомина я и в это время еще не слышал.

Вскоре, однако, я узнал обо всем этом от него самого, так как случайно встретился с ним в одной квартире, и узнал, что во всем переломе он играл, с самого начала, одну из самых активных и ответственных ролей. В Омск он только что приехал с фронта из-под Нижнеудинска и после доклада в совете министров о текущих делах (Нил Валер. в это время был уполномоченным председателем сов. министров) должен был снова возвратиться на театр военных действий, неотложно подвигавшийся к Иркутску.

Вечером того же дня Нил Вал. делал доклад о положении фронта и о тех настроениях, которые там начали обнаруживаться тогда же (конец июня—начало июля). Он желал, чтобы я выслушал его доклад, и просил совет министров допустить меня присутствовать в той части заседания, в которой будет идти его доклад. Мне разрешили, и я доклад его слышал.

На этом заседании присутствовали почти все будапештские министры, за исключением Н. В. Вологодского. Здесь находился Михайлов. Ив. Адр., известный впоследствии под именем—„Ванька Каина“, Степавенко, управлявший тогда министерством путей сообщения, да и ныне не оставшийся без дела, Головачев Мст. П., тов. министра иностранных дел, человек случайный, но в каком отношении не соответствовавший своему назначению (назначили его потому, что он знал иностранные языки, да и то не блестяще), Гилс Р. К., вошедший в правительство еще до Вологодского и упреждавший из него, точнее бежавший в Иркутске из-под ареста, последним из старых министров, это был один из самых активных представителей реставрационной Сибири, ее идейный руководитель,—был ли кто еще, не помню. Заседание проходило под председательством Вл. М. Крутовского. Отсутствовал на заседании управляющий военным министерством Гришин-Алмазов, на встречу с которым особенно рассчитывал Нил Вал., а вместо него пришел начальник его штаба полк. Белов, одна из самых загадочных фигур среди тогдашних деятелей Сибирского правительства. Я много о нем слышал за этот день и с большим интересом к нему присматривался. Его настоящая фамилия была не „Белов“, а „Виттенкофф“, он из курляндских немцев, впечатление производил человека не глупого, повидавшего войну, и знающего, что надо делать. Уже чувствовалось, что власть надо искать нигде, как здесь, в кругах, представляемых „Беловым“.

Из доклада Фомина я очень ясно помню только одно место, навсегда запечатлевшееся в моей памяти во всей своей конкретности. Это именно то место, когда Фомина, глядя в упор на Белова, с характерным для него напыленным голосом, сказал тихо, но отчетливо разведя слова:—„А затем обращаю внимание совета министров на то, что в армии Цепелева есть люди, которые гонят перебежавшим сыном большевиков, а потом будем считать членом Брестского правительства“.

Полк. Белов сидел и старательно что-то записывал себе в книжку, повидаемому, для доклада Гришину Алмазову. Остальные слушали молча, неко-

ловые делали вид, что как будто даже и не слышат, что говорит Фомина, на лицах кое-кого проскальзывало выражение легкой досады на оратора, как на человека, допустившего какую-то неаккуратность. После доклада Белов произнес несколько незначительных слов, а потом долго и нудно болелся вокруг да около поднятого вопроса. Инак, большим мастер на такого рода операции. Мимо, однако, было, что он на стороне Белова, а не Фомина. Он, вероятно, не только чувствовал, но и просто знал, что это-то вешать во всяком случае не будут. Полагаю, что спокоебным за себя был и Михайлов, хотя совершенно не помню, высказывался ли он по докладу Фомина или нет. Держал он себя на заседании вообще очень скромно и предупредительно, особенно когда речь шла о предоставлении субсидии обществу Ам.-Минусинской жел.-дороги. Не знаю, были ли приняты какие постановления по докладу Фомина, но думаю, если были приняты, то, вероятно, в следующем заседании, на котором Нил Вал. вторично выступал, ко меня туда уже не допустили. Протестовал против моего присутствия Михайлов. Да я и не высказывал особенного желания слушать, что там происходило.

Останавливаясь на этом эпизоде, так как считаю его очень характерным для тогдашнего момента. Напомню еще раз, что все это происходило 2 июля, меньше чем через месяц после того, как Омск был оставлен большевиками.

Я прибыл тогда в Омске очень недолго, день или полтора, тем легче я мог подвести итоги первым впечатлениям. Они представились мне в таком виде:—переворот в Сибири произошел не так, как я себе представлял в статьях, цитированных выше. Он разразился скорее, чем я думал, и был совершен такими силами, которые не находились в поле моего зрения. Но он все-таки произошел, обнаружив тогдашнюю дезорганизованность и слабость советской власти. Он обнаружил вместе с тем, что—как и следовало ожидать—реакция лучше подготовлена к захвату власти тем демократии.

7. Мобилизация реакции.

Настроение Фомина за эти месяцы было очень тревожным. Перед тем он сделал большой изгиб вправо, уйдя далеко в сторону от прежних позиций. Памятью об этом уклоне его политической мысли осталась его статья об отношении кооперации к совершившемуся перевороту в журнале „Сибирская Кооперация“, в 8-ом номере за 1918 год. Статья была написана в самые первые дни после переворота, а появилась уже осенью, когда настроение Нила Вал. снова изменилось или, точнее, выравнялось, и он был недоволен ее опубликованием, хотя задержать его уже не мог. Писал ее Нил Вал. усиленно оттачивая остроту слов и тенденциозным подчеркиванием доводя свою мысль до крайнего выражения. Едва ли он и в то время думал так именно, как писал, а писал он, что политический смысл совершившегося переворота заключается в замене власти партий и классов властью всего народа, социальным

же смысл — в возвращении к буржуазным формам общественной жизни. В мае — июне месяце он с нарочитым подчеркиванием развивал эти мысли и в печати и в партийных собраниях, и все-таки я думаю, что это были бурные всплески молодого протеста против уродливых форм социального реформаторства, а не выражение спокойного и глубокого убеждения. Начиная с июля и, особенно, кояпа августа 1918 г. настроение Нила Вал. стало принимать совсем иные формы. Революционный инстинкт делал в этом случае свое дело.

Из числа общественных факторов, оказывавших большое влияние на общественное настроение Н. В. Фомина, на первое место нужно поставить, конечно, тот процесс мобилизации реакции, который тогда развивался таким усиленным темпом. Первые признаки его появились еще в самом начале после переворота, в то время, когда я приехал в Омск. Одновременно с тем, как я слушал доклад Фомина в совете министров, мне пришлось сталкиваться с фактами, аналогичными тем, какие он там приводил. На юге по области шли какие-то подготовительные работы среди казачьих кругов. Через Монголию они ввели в связь с организациями ген. Хорвата на Дальнем Востоке и, по сведениям, которые я имел, получали оттуда большие деньги. В то же время отряд Анненкова, развертывавший все шире свою деятельность, получал крупную субсидию от омских торгово-промышленных кругов. Уже в это время имя ген. Хорвата начинало слышаться все чаще и чаще, пока, наконец, всеобщую огласку не придал ему А. В. Адрианов своими статьями в „Сибирск. Иллюстри“. Ген. Хорват трактовался почти открыто, как некоронованный король Сибири: несколько позже, в сентябре 1918 г., на Восток выехал с особой делегацией премьер-министр Вологодский, причем главная цель его поездки состояла несомненно в том, чтобы там выяснить отношения и столкнуться с тем же Хорватом, а через него с японцами.

Параллельно этому еще бо́льшая консолидация реакционных сил происходила в самом Омске. Здесь центральную роль играл салон Гришиной-Алмазовой, жены министра, омской красавицы, представлявшей собой нечто среднее между г-жей Сталь и Сонькой Золотой Ручкой. В салоне Гришиной-Алмазовой культивировались чисто монархические настроения, это было настоящее гнездо реакции, ничем не прикрытой. Здесь открыто шли за здоровьем Михаила Романова и не сомневались в его близком пришествии. В Омске вообще тогда распространялись слухи, что сам великий князь находится уже здесь, спасшись от большевиков, но живет инкогнито, до поры до времени не открывая своего имени. Находились даже офицеры, которые собственными глазами видели его на улицах города или, по крайней мере, утверждали это. В известия о его смерти во всяком случае никто не верил, все были убеждены, что он спасся.

Сам Гришин-Алмазов не был лишен некоторой политической гибкости и пока что лавировал между разными лагерями, но истинное его настроение и его вожеления не так трудно было понять, хотя вместе с тем весьма многим очень почтенным людям он сумел тогда внушить большое доверие к себе. Его идеализировали и находили, что он годится быть сибирским Напо-

леоном. Занимая пост военного министра, или собственно управляющего военным министерством, так как военным министром предполагалось сделать Крайовецкого, находившегося в то время на Востоке, — и проповедуя всюду, что армия должна стоять вне политики, Гришин-Алмазов вместе с тем охотно вмешивался в разрешение чисто политических вопросов. Так в августе 1918 г. он сделал попытку разогнать собиравшуюся Област. Думу, но его отряд, предназначенный для этой цели, был остановлен чехами в Тайге, и Гришин-Алмазов сделал вид, что все это недоразумение. Потом в Томске числа 15-16 августа он выступал на закрытом заседании думской фракции областников и развивал там идею диктатуры. Словом, в воздухе уже начинал чувствоваться запах крови, процесс мобилизации реакции все ускорился, положение с каждым днем обострялось. Оставалось только делать из этого вывод.

Помню, как числа 18-го августа мы с Н. В. Фоминым сидели рядом на заседании Областной Думы (Сиболдумы, как ее называла цензурная печать). Слева от нас в первом ряду с краю, на министерской скамье красовалась фигура Гришина-Алмазова, поразительно напоминавшего по внешности Керенского. Нил Вал., показывая на Гришина-Алмазова глазами, тихо сказал мне, наклонясь к уху: „Нас он на одних берегах с большевиками будет вешать“. За все это время у него зрела какая-то глубокая уверенность, столь же глубокая, сколь и спокойная, что он погибнет, что это неминуемо, неотвратимо и скоро совершится. Предчувствие не обмануло его, и гибель постигла его и как раз в тот момент, когда, казалось, он был уже спасен.

Но это случилось позже. Что касается того времени (август 1918 г.), то я считал, что он сгущает краски. Мне казалось, что еще далеко не все потеряно и есть большие возможности, опираясь на те и на другие силы, в том числе и на чехо-словаков, нанести сильный удар реакции, предупредить ее нападение на нас. В общем так же думал и Нил Вал., но мысль о гибели приходила к нему и с другой стороны. Он считал тогда, что истинным вождем реакции является Михайлов и Гришин-Алмазов, особенно первый. Так оно, конечно, и было на деле. Считая, что он сам помог им возвыситься и укрепиться, Нил Вал. полагал, что он же должен взять на себя инициативу для решительного прерывания их деятельности. Он тогда рассуждал приблизительно так, как Булыба у Гоголя по отношению к Андрею, передававшемуся покаянам: „Я тебя породил, я тебя и убью“. Руководясь этими соображениями, Нил Вал. ставил вопрос о совершении немедленно террористического акта против Михайлова, причем брал лично на себя выполнение его. Не знаю в точности, но, повидимому, он обращался с этим предложением к официальным партийным организациям. Сам я полагал тогда, что человеку в положении Нила Вала подобные акты нужно предпринимать непосредственно на свою ответственность, не ища им санкции со стороны. Так или иначе, но этого покушения не состоялось. Михайлов не был устранен ни прямо, ни косвенно, и вскоре сам перешел в наступление. Руководимая им реакция быстро сплачивалась и начинала действовать. В сентябре произошла первая попытка государственного переворота справа, в Томске была разогнана Обл. Дума, в Омске погиб в это время

Новоселов, убитый офицерами из организации ген. Волкого. В октябре после Моисеенко. В декабре произошли массовые расстрелы, в том числе погиб Фомина.

Каждый шаг мобилизовавшейся реляции оставлял по себе правовые следы.

8. Перед гибелью Н. В. Фомина.

Гибель Фомина произошла в самый разгар зимы 1918—1919 г. Зима в тот год стояла необычайно суровая. Весь декабрь не прекращались жестокие морозаградусные морозы. Казалось, замерла вся жизнь, казалось, были сквлены все чувства. Казал-то ледяная глыба задавила всю страну, и она присовалась воображению, как у сибирского поэта, — „словно саваном светом одетая, словно мертвый, неподвижно, бледна“.

Начиная с конца ноября и почти весь декабрь, я тогда пробыл в Красноярске. Переворот 18 ноября застал меня при переезде из Томска в Красноярск, и в пути сначала в вагоне от одного из пассажиров, имевших связи в Томске, я услышал, что в Омске что-то произошло, и Алексантьев арестован. В Ачинске на станции я прочел первые официальные телеграммы о перевороте, мне они показались жалкими и робкими, какими-то стыдливими. В это время члены Учредит. Собрания организовывали съезды на Урале. И не поехал тогда ни в Екатеринбург, ни в Челябинск, так как не верил, что там может что-нибудь выйти. Не верил в это и Н. В. Фомина, но у него было, очевидно, больше, чем у меня, сознания, что в этот момент надо всем быть вместе, и он, неверующий, оказался там, где спасти могла бы только фанатическая вера. Не поехал туда я и потому, что в обще тяготел в самостоятельной деятельности, на личную ответственность, что в дальнейшей моей работе в Сибири заставляло меня иногда входить в конфликты с партийными организациями.

Об аресте Н. В. Фомина я узнал в Красноярске от его родителей, которые пришли ко мне встревоженные и даже потрясенные. Я успокоил их чем мог, ибо я и в самом деле полагал, что все это не так уже страшно, как кажется. Потом жена его уехала в Омск. Потом я узнал, что Нил Бал. переезжал вместе с другими „учредитовцами“ туда же, в столицу Колчака, которому предстояло сделаться их общей Головой. Я считал, что возможно, конечно, всякие случайности, но вместе с тем полагал наиболее безвредными именно омские тюрьмы: столичные, а не провинциальные. Родные Нила Бал. настаивали, чтобы я тоже поехал в Омск хлопотать за него, но я находил, что мое присутствие скорее пойдет ему во вред, чем на пользу, и не поехал. Впоследствии, по многим причинам, я в этом очень раскаявался. Одно время из Омска стали доходить, впрочем, успокоительные известия, сначала о том, что попытка устроить процесс ничем не кончилась, что следовательно даже не находил состава преступления в деяниях арестованных, и, наконец, что их решено освободить. Казалось, можно было вздохнуть свежо, и я уже радовался, что так скоро оказался прав, как вдруг эта страшная весть: — в Омске мятежное.

Тут я впервые, как-то вдруг, был охвачен мыслью: неужели теперь все кончено?!

В успех восстания я не верил. Одних чекиских сил хватило бы для подавления какого угодно внутреннего движения на городской территории. Но тем более страшными должны были быть расправы, а в такие моменты не разбирают, кто прав, кто виноват, особенно среди сидящих в тюрьмах.

Как томительны, как тяжелы были эти дни ожидания известий. В конце концов они пришли. События жестоко надругались над моим спокойствием и оптимизмом: почти все были убиты, в их числе Нил Вал. Фокин.

Потом, через несколько дней приехала из Омска жена Нила Екатерина с одной из своих подруг. Я не стану здесь рассказывать этих дней свиданий и разговоров. Помогать людям, когда они в горе, когда этому горю нет ни конца, ни края, когда оно ничем не может быть исправлено, всего труднее. Отыскивая хоть какие-нибудь средства, чтобы облегчить, пусть даже немного горе всей семьи Нила Вал. (после него осталась жена, мать, двое детей, сестра матери), я подумал, что если они выплывут его слезами до конца, то им быть может, станет легче. И я сказала жене Нила Вал., чтобы она, как это им тяжело для нее, записала бы теперь же, как все это произошло, и рукописи оставила бы где-нибудь в надежном месте. Я не был даже уверен, что у нее хватит на это сил, но ее, повидимому, так приковала мысль ко всему пережитому, что, начав эту работу, она уж не могла оторваться от нее и все, час за часом, записала. Может быть, ей и в самом деле стало тогда легче после этой записи. Когда она принесла ко мне эти записки, посвященные ею „друзьям Нила — кооператорам“, и я прочел их, только тогда встала передо мною во всем объеме пережитая ею трагедия, столь потрясающая, и, даже в нашей жизни, столь необычная. Эти записки я считаю одним из самых замечательных документов времен гражданской войны и полагаю, не совершу нескромности, если воспроизведу их полностью, по тому тексту, который случайно у меня сохранился, несмотря на все тревожения.

9. Рассказ жены Н. В. Фокина о его гибели.

Не знаю, удастся ли мне записать все, что было в те дни, когда погиб Нил... Назад мне я получила от него письмо, где он писал о близком конце своем, о смерти... „Если меня не прикончат здесь и дело мое кончится каторгой, тюрьмой или еще чем,—это не меняет дела. Будь спокойна в этом вопросе, как спокоен я сам. Сегодня у меня показалась кровь горлом. Это в пятый или в шестой раз в этом году. И это само по себе определяет перспективы“...

В этом же письме была приписка: „Сегодня группа офицеров опять делала попытку взять нас—одиночников, из тюрьмы „на допрос“. Надо торопиться давить в смысле ускорения нашего дела“. Жуткие сообщения... Они еще больше усилили тревогу, в которой я жила в Омске с 11-го декабря. С утра же мы (я говорю о себе и С.), как и каждый день, впрочем, начали свои хождения. Бесцельные хождения, потому что они не зажигали действительной энергии.

у тех, в чьих руках была возможность „давить“ на ускорение дела... Один из товарищей, которого я в тоске спрашивала, что можно сделать в таком случае, когда над головой близких нависла такая угроза — быть взятыми и из тюрьмы обманным путем и незаконно убитыми — сказал мне: — „Попробуйте обратиться к прокурору, за которым дело вашего мужа, может быть он сможет предотвратить это“. Немедленно же я пошла к прокурору военно-окружного суда. Рассказала ему в чем дело; надо отдать ему справедливость: он был внимателен, понял мою тревогу, но сказал, что ничего не может сделать, так как вооруженной силой он не располагает и ею не распоряжается, и посоветовал мне обратиться к окружному комиссару... Я была и там. Комиссар принял меня не в приемные часы, так как я настаивала на приеме, говоря, что по очень важному неотложному делу.

Выслушал он меня почти враждебно... Но все же обещал принять к сведению мое заявление. Обещал предупредить тюремную администрацию о том, что надо тщательнее относиться ко всяким требованиям выдачи арестованных... Затем я съездила обед Нилу, как и всегда, в 2 часа и вернулась к себе на Копуйскую. Вечер и, С., Р. и М. А. провели вместе, ежась и говоря вполголоса на моей кровати, в той комнате, которую я снимала пополам с хозяйской дочерью. Затем они ушли. Я села за письмо Нилу. Писала его всю ночь до 3-х час. Затем копировала для себя и в 5 час. только уснула.

В воскресенье проснулась я рано и с 8-ми часов сразу же принялась писать прошение Вологодскому. Мне казалось, прошение мое об освобождении Нила будет иметь силу. Там я сообщила министру-председателю о том, как военный прокурор не нашел во всех, вменяемых в вину Нилу, деяниях состава преступления: — „То, что есть в этих бумагах, — сказал прокурор, перебирая бумаги, — ведь, это же мнение, за это не судят“. — Прокурор заверил меня, что дело он возвращает обратно в военный контроль, с надписью о передаче его в Брюхатовскую комиссию¹⁾, сказав еще раз, что нет возможности предъявить обвинения.

Мне казалось это убедительным. И еще — эта ужасная кровь из горла — это было тоже лишним доводом за то, чтобы освободить Нила. не держать его в гибельных условиях, в тюрьме. Прощение осталось неподписанным на полуслове. Пришла взволнованная С. И., жена содержавшегося вместе с Нилом, члена Учред. Собрания — Девятова, и тихо сказала: „Одевайтесь, в городе, переворот. Ваш муж у меня. Едьте — повидайтесь“. — Я изумилась. Стала спрашивать в чем дело — какой переворот. Она ответила: — „Не знаю. Кажется, не удался. Всюду расставлены патрули. Паспорта проверяют. Из тюрьмы всех освободили“... Тревога сжала сердце. Руки оцептелились... „Зачем все это случилось? Что же теперь будет? Ведь их же должны были не сегодня-завтра освободить“. И растерянно задавала ей эти вопросы, она сердилась и говорила: „Вот чудачка какая, одевайтесь же, едьте, там видно будет“... И оделась — мы вышли, взяли извозчика. Доехали до поста — остановил патруль. „Паспорта, куда едете?

¹⁾ Комиссия по либерализации.

Не советую ехать, в 12 час. дня будет прекращено всякое движение по городу, лучше возвратиться (было около 9-ти часов)". Мы заверили, что вернемся во время домой, и просили разрешить ехать нам дальше. Начальник караула сделал нам под козырек — и мы проехали.

Да, всюду патрули. У всех паспорта спрашивают. Спрашивают у мужчин, впрочем. Видно было, что это делается для того, чтобы выловить кого-то. Кого же? Освобожденных из тюрьмы. На душе — тревога. Но по настоящему ничего не знаем. Приехали к С. И. Я вошла в комнату. Из угла раздался голос Нила: „Ну, здравствуй“. В голосе смех... Я прошла к нему, присела на кровать, спросила его: — „Что такое? в чем дело?“ Он говорит: — „И сам не знаю... Какая-то провокация: пришли, говорят: „Свобода, идите на волю“. Ну, и пошли. — „А зачем же пошли вы, нельзя было остаться?“ — наивно спросила я. — „Так как же останешься — ведь, они — вооруженные освободители — еще озвереют и прикончат...“ Дальше я стала спрашивать, как произошло это освобождение. Нил рассказывал: „Я спал в это время. Ко мне пришел надзиратель, радостный, и сказал: „Ну, товарищ Фоман, свобода, одевайтесь!“ — Ничего не понимая, я стал складывать вещи, собирать все. Через двери хрюкнули: какие там вещи; идите, за вещами после приедете.

В тюрьме раздавался шум, крики — уголовные просили освободить и их, но солдаты, освобождавшие политических, загнали их всех обратно в камеры. Вышли за ворота — нигде никого и ничего... Пошли в город... Почти никто из нас не знал города. Скитались долго по городу. Наткнулись на патрули. Первый, недалеко от тюрьмы, караул казачий спросил, что за люди идуг; мы сказали: — „Мы — члены Учредительного Собрания, сейчас освобожденные из тюрьмы“. — „Ну, идите“. — Некоторые из освобожденных в этой группе склонны были считать это доказательством того, что патруль этот был осведомлен об освобождении политических арестованных и стоял на стороне переворота, другие уверили, что казаки ничего не поняли...

Стучались в „Центросибирь“, — не достучались. И опять до утра бродили в разных направлениях по городу. Мороз был большой, до 40 градусов. Нил был без галаш.

К утру собрались почти все из группы уфимских арестованных, члены Учредительного Собрания — в редакции „Слова“ — там грелись. Часов в 8 поставил у редакции караул — сказали, будет обыск. Минут через пять солдаты ушли сами. Публика, пользуясь этим, разбрелась, кто куда. От одной из слушающих Деятов узнал адрес своей жены. Нил пошел с ним, надеясь так скорей найти меня, потому что знал, что я с Деятовой ежедневно возим передачу в тюрьму. Позже в редакции все же был произведен обыск... Слушая этот рассказ Нила, я все спрашивала себя, что же дальше, что делать? Никто из присутствующих не знал, в чем же, собственно, дело. Я предлагала пойти к чекам — рассказать им, спросить, что делать? Нил отверг мое предложение. Ему хотелось выяснить, в чем дело, и поговорить с остальными освобожденными, что нам рены они делать, как согласовать свои поступки, чтобы представительство от членов Учредит. Собрания было достаточно авто-

ритетным; кроме того, Нил просил меня съездить в город к товарищам-кооператорам, узнать у них о более надежной квартире и информироваться о происшедшем в городе. Я поехала к С., рассказать ей все и с ней ехать к кооператив. Уезжая, я отдала Нилу письмо, которое писала ему ночью, сказав, что хоть теперь и не то совсем, но все же он может быть его прочтет.

Товарищи указали нам квартиру, а относительно положения в городе и дальнейшего поведения освобожденных говорили единодушно, что необходимо сдать в руки властей,—министра юстиции или прокурора; горячо и с негодованием говорили о том, что все это освобождение—сплошная провокация, что завтра их должны были освободить, а теперь это освобождение—только предлог для расправы, указывали на необходимость немедленно же возвратиться.. Лео, у которого предполагалось достать квартиру, мы не застали дома. Были еще раз, опять не застали. Возвратились к Нилу. Это было около 12 час. дня. Рассказал ему все, как о положении в городе, так и о совете возвратиться в руки властей. Нил и Девиатов согласились, что это, пожалуй, лучше всего гарантирует неприкосновенность жизни. Но сдаваться прокурору в моем случае считала нелепым: надо говорить с остальными освобожденными. Хозяева квартиры волновались все зрелище ужасно,—говорили, что уже есть сложка за квартиру. Нил и Девиатов соорудили себе на всякий случай паспорт. В это время С. И. и хозяин квартиры отправились в поиски другой квартиры. Скоро они возвратились и предложили нам ехать. Я поехала с Нилом. Позже туда же приехали и Девиатовы. Нил ужасно мерз дорогой. Попросил меня взять его под руки—так, тесно прижавшись друг к другу, радуясь тому, что извозчик уверенно нас без улики, где нет патрулей, мчался по Омску. Приехали. Это была окраина города. Люди, пригласившие нас, были простые люди. Они были радужны, налили чаем, обогрели. Затем Нил опять просил меня ехать к другим освобожденным и предложить им план действий—сдачу властям с вышеприведенной мотивировкой. В то короткое время, что мы виделись, мы перебрасывались урывками мыслями. О разном,—о пустяшном и важном. То, что говорил Нил мне—часто диктовалось уверенностью в том, что, может быть, мы и не увидимся больше.. Он сказал, что прочел мое письмо и сжег его там у Девиатовых. Дал ответ на мои вопросы в письме. Между прочим, тревожно спросил, сколько я получаю жалованья,—видимо, обеспокоенный мыслью о том, как будем мы жить без него. В душе—тревога, как постоянно все нарастающий мотив. Надо ехать, позвать других освобожденных, спросить их, согласны ли сдать.. И надо узнать о квартире. Я поехала, простившись с Нилом, неуверенная, найду ли его здесь, возвратиться. Другие трое освобожденных, с которыми мне удалось свидеться и передать им предложение Нила, категорически отказались сдаваться в тюрьму. В их числе были Федорович, Назнов и Брудерер, но Брудерер позже, когда я поехала узнавать еще про квартиру, перебрался к Нилу и Девиатову, желая с ними сдать властям. Пришлось ехать дальше относительно квартиры. На этот раз и застала указанное лицо дома. Там были еще Х. З. Я спрашивала их, что делать нам, как быть Нилу. Оба они не советовали сдаваться. Гово-

рили, что при царском режиме было труднее,—шпионы, охранка, и те не сдавались. Не советовали ни в коем случае возвращаться в тюрьму. Предлагали достать лошадей на завтра для въезда из города... Я была у них с С., и отсюда уже мы отправились к Нилу. Там застали и Брудерера. Я стала рассказывать Нилу обо всем, что узнала. Он, выслушав, спросил: „А, знаете ли вы о приказе начальника гарнизона—сегодня же явиться всем, незаконно освобожденным—в противном случае—расстрел при поимке на месте, расстрел хозяевам, укрывателям, и т. д. и т. д.“

Лица у хозяев были уже встревожены, и видно было, что они ждут от нас всех решения, спасающего их жизнь. Мы с С. молчали, не зная, что посоветовать. Нил и другие проявили сами инициативу. Нил сказал: „Ну, думать нечего. Поезжай, Наташа, к Сазонову ¹⁾ и узнай, как сдаться надо—куда и как бы это выглядело надежнее, чтоб нас не выдали за пойманных“... Пока я одевалась, Нил и Брудерер обменялись мыслями по поводу того, что кругом так все безнадежно, и, скрываясь нелегально, едва ли делать что возможно;—Брудерер слабо возражал, указывая на возможность работы в России. Нил только рукой махнул. Бедный Нил. Он давно чувствовал, что завоевания революции погибли. Помню ясно и твердо, когда он уезжал в октябре, на съезд членов Учред. Собрания, решив не пользоваться отпуском до первого января, я, провожая его на вокзал, спросила его о чем-то, относящемся к нашей дальнейшей жизни, и он сказал: „Не знаю, Наташа; видишь ли, страшно сказать, но для меня несомненно, что завоевания революции погибли, и как, вообще-то, жить дальше—трудно сказать“... Это не был ответ на мой вопрос но он объяснял многое, и я поняла тогда, что вопросы нашей личной жизни отодвинуты дальше, на потом...И еще долго мы будем жить далеко от Нила, оторванные от него.

Я не спрашивала его больше тогда, не ждала ответа.

Во время этого последнего его ареста в Челябинске, откуда он был немедленно перевезен в Омск, на одном из допросов он заявил, что власть, по его мнению, должна принадлежать Учредительному Собранию.— За это его не хотели освобождать вместе с другими уфимцами...

Было уже 7 часов вечера... Я уходила. Надо было ехать к Сазонову, узнать, как сдаться властям побезопаснее. Нил выглядел совсем больным. Его знобило. Всю предыдущую ночь он пробродил без галош в 40-градусный мороз. И теперь без конца подкладывал в чугунную печь дров, и, хотя кругом уже было нестерпимо жарко, ему все было холодно... Я уехала. Я мчалась, пообещала извозчику двойную плату, чтобы только успеть к 8-ми час. вернуться обратно. Там (Атамановская, 9) я застала только В. Г. Шиликанова ²⁾—Сазонова не было. Сказала В. Г., зачем я приехала. Он сердито набросился на меня: — Почему же так медлили, почему не сдались днем? Ведь, уже почти все сдались сами“... Я объяснила, как это случилось. Тогда Ш. сообщил об этом

¹⁾ Председатель правления совета кооперат. съездов.

²⁾ Член правления — „Закупсбыт“.

бывшему у них в гостях М., заведующему отделом печати в Совете Министров — тот позвонил по телефону к Бржезовскому, начальнику гарнизона, спрашивая, куда могут явиться трое желающих добровольно слатся властям. Из канцелярии нач. гарнизона ответили, что в приказе ясно сказано, куда явиться: 1) Е. начальнику караула тюрьмы, 2) — в участок милиции и 3) — к коменданту города. Ш. и М. посоветовали мне отвезти Нила и других прямо в тюрьму так как это обеспечит их от перевода ночью из одного арестного помещения в другое, когда наиболее часты случаи расправы с арестованными. С этим я возвратилась к Нилу, Десятову и Брудереру. Выслушав меня, они заторопились одеваться. Я попросила хозяина провести нас коротким путем к тюрьме — тот пошел с нами... Через полчаса мы подходили к тюрьме. Мы шли с Нилом, держась за руки. Оторвисто говорили — о том же, о чем писали, в последние дни друг другу: о его болезни. Я просила беречь себя в тюрьме. Он обещал по освобождении серьезно заняться лечением и еще раз сказал, что я никогда не была ему роднее, чем теперь, после моих писем ему в тюрьму. Едва ли не последние его слова были о детях: „будь с детьми...“ Мы подошли к тюрьме. У проволочных ворот темнела кучка солдат. Нас отделили. Мы остановились. Нил орапортовал: Мы были освобождены сегодня утром из тюрьмы и по приказу градоначальника возвращаемся, — доложите начальнику караула“. Тот вышел, спросил еще раз, кто пришел — skoмандовал: — „Ну подходи, по одному“. Нил сказал: „Мы с женами пришли. Вот, простимся и сейчас“. Мы стали прощаться, Брудерер пошел первый, затем Нил и Десятов. Когда обыскали Нила и пропустили его вглубь двора, начальник караула спросил — как фамилия второго; — Нил ответил: „Фомин“.

В голосе слышалась сплoйная решимость претерпеть все до конца... Поразительный спокойствием веяло от него... И зная то, что их ждало... Нам солдаты сказали. — „А вы отравляйтесь“. Мы, помядив еще несколько минут, ушли. Странно непостижимы пути мыслей человеческих. Мы шли с С., даже успокоенные тем обстоятельством, что благополучно довели их до тюрьмы, что теперь их дело пойдет обычным порядком... Мы не знали, что в тюрьме распоряжается отряд атамана Красильникова, а то бы не были так спокойны за судьбы дорогих нам людей... Еще деталь — когда мы отходили от тюрьмы, к нам подошел человек, оказавшийся хозяином квартиры, проводившим нас до тюрьмы. — Он объяснил нам, что не мог так уйти, надо было спразиться, как их взяли, все ли благополучно. Эту ночь мы провели у меня на Ковульской. Мы даже довольно спокойно спали, измученные тревогами дня... На утро мы отир вились к кооператорам, рассказать им, где Нил, и узнать от них о дальнейшей судьбе, их ожидающей. Все облегченно вздохнули: Нил вернулся, избегнув таким образом массы случайностей недетальной жизни в дни усмирения мятежа в Окске... В два часа позвали мы с С. к тюрьме — повезли обеих Нилу и Десятову по поручению его жены. Там узнали, что никаких передач нет, что администрация тюрьмы смелена. Мы стояли с С., держа в руках судач с обеим, не зная, что делать. Солдат, стоявший на часах, сказал нам, что сейчас сменился начальник караула и придет новый, у которого мы

сможем еще раз справиться о новом порядке передач в тюрьму. Действительно, три нас подошел к тюрьме отряд вооруженных людей, входящих внутрь тюрьмы. Я представила себе, что положение заключенных там должно быть ужасно. Когда они прошли, я обратилась опять к часовому, добродушному и словоохотливому ларю, с вопросами: „Голубчик, скажите, а заключенные сидят по камерам — то, кто вернулся сам? Их кормят? С ними ничего не делают?“ — Он ответил: — „Да, кормят. Много возвращается добровольно. Сидят в камерах. Им ничего не делают“. В это время к воротам подошла девушка со связкой книг. Лицо взволнованное — она стала спрашивать. „Николай Бобров в тюрьме?“. Часовой вызвал офицера, видимо, начальника уходящего из тюрьмы караула. Девушка спросила и его о том же. Из ворот выглядывало злорадно-насмешливое лицо, молодое. — „А вы нам скажите, где он?“ — „Если бы я знала, не пришла бы вас спрашивать“, — вспыхнула девушка. Мы слушали, и все стояли, не хотелось уходить ни с чем от тюрьмы. Случайно пришел на ум и мне этот же вопрос: „А Фомин, член Учредительного Собрания, в тюрьме? Он вчера вернулся, я проводила его до тюрьмы“. Стаявший у ворот другой офицер сказал: „Нет, Фомина нет в тюрьме“. — „Где же он?“ всполошились мы, подошли к нему вплотную. — „Его увезли в три часа ночи в военно-полевой суд“... Мы сомневались. Уверали, что это ошибка, что он сам вернулся — не может быть, чтобы его взяли в суд. Офицер уверил, что это так. С безумной тревогой, с ужасной боязнью, что уже все кончено, бросились мы в город. Я попросила С. ехать к кооператорам, сама же поехала к чехам, к французам и в военный контроль. У чехов уверили, что с ними ничего не может быть сделано, если они вернулись добровольно — успокаивали. Меня поражала их уверенность в порядочности русских властей, в то, что слово, данное градоначальником, должно быть сдержано. Эта уверенность казалась трусостью. В душе жила безумная, затемняющая мысль, что уже все кончено, или каждую минуту может кончиться — и Нила не станет. От чехов бросилась к французам. В ужасе рассказала им, зачем я приехала к ним. К сожалению, Реньо не было уже, он уехал; был кто-то, его заменяющий, и секретарь. Они выслушали меня, а затем спросили, силась понять, в чем дело. И, признав положение ужасным, спросили, что они могут сделать и почему я к ним обращаюсь? — „Ведь, это же дела русских с русскими. Мы не можем вмешаться“... Я пошла в ставку, в военный контроль, там долго не принимали. Я ждала, разрывалась — не уйти ли мне. Ведь, пока я жду, там может быть все уже кончается. Я металась, как затравленный зверь. Швейцары успокаивали, говорили, что начальник контроля примет, когда придет, и что все выяснится. В конце концов, вышел ко мне пом. нач. военного контроля и надменно спросил, что мне надо. На мой горячий вопрос, где мой муж, член Учредительного Собрания, Фомин, он ответил с гримасой: „Не знаю, — он у нас числится в беггах!“. Когда и в ужасе стала уверять его, что я, сама, проводила его, Девятова и Брудерера вчера в тюрьму, что это ужасно то, что он говорит: их могут осудить, как пойманных, если у военного контроля такие сведения, что он в беггах, между тем, как и свидетельница его добровольной сдачи в тюрьму... Он сказал: — „Ну,

что вы хотите?—Мы верим вам, но у нас он числится в бегах“, — и, резко повернувшись, ушел от меня. Я стояла, не зная, что же делать, куда обратиться. Все глухи и безучастны. И как-то сразу я тут почувствовала, что здесь убийцы Нила. Оставаться в военном контроле больше было незачем. Я пошла с ужасной тревогой в душе—к С., к кооператорам. Там все уже были в тревоге. Звонили Старынкевичу, довели до сведения адм. Колчака. Не узнать сегодня же о судьбе их ничего не смогли. Узнали только, что ночью, кроме Нила, взяты еще девять человек, в том числе Девятых, Брудерер, Маевский, Кириенко, Саров, Локтев, Лиссау, Барсов и Марковецкий. Кроме того, В. В. Куликов смог найти, где заседает военно-полевой суд, и добился того, что его заявление было передано председателю военно-полевого суда, затем виделся лично с председателем и на словах ему сказал еще, что он, Куликов, желает быть по делу взятых ночью из тюрьмы свидетелем и что есть у него свидетели и по делу Фомина, Девятова и Брудерера.—Председатель сообщил ему, что дела этих лиц не поступали еще в суд, а когда будут, обещал его вызвать.

В этот же день вечером мы узнали от Сазонова, что Старынкевич, министр юстиции,—был у Верховного Правителя, где делал доклад по делу исчезнувших ночью из тюрьмы членов Учр. Собраний и общественных деятелей, и что Верх. Правитель передал председателю военно-пол. суда распоряжение о предоставлении ему на ревизию дел о членах Учр. Собраний, если таковые дела поступят в суд. Это немного нас успокоило. Нам казалось, что если еще не совершилось ужасное, то теперь уже достаточно сделано, чтобы помешать ему совершиться... Но это—если... А если уже... Я поехала еще несмотря на то, что было уже около шести часов вечера, в канцелярию нач. гарнизона Бржезовского, но у порога на крыльце стоял солдат, не русский, а, видимо, серб с винтовкой и свирепо гнал меня... Я не смогла пройти внутрь и никого не видела. Позже вечером мы ездили с Куликовым к нач. гарнизона на дом, желая заявить о том, что мы свидетели их добровольной явки.—Нач. гарнизона не принял Куликова, хотя и был дома. Сказали через дверь, что нет дома. Мы возвратились на Атамановскую, в квартиру Сазонова и В. Г. Шишканова, где был телефон и где В. Г. нам разрешил остаться ночевать (ночь с понедельника на вторник). Мы подытожили итоги дня, говорили, что в общем, конечно, мало надежды, но если еще не поздно, то сделано достаточно, чтоб помешать теперь совершиться злодеянию... Дело передано гласности. О нем осведомлены все, кто должен быть осведомлен... Вспоминали Директорию, тоже просидевшую под арестом чуть не два дня, и когда тоже никто не знал, где члены Директории. Цеплялись за надежду—может быть и наши также где-нибудь еще сидят... Но тревога нарастала в душе... Под утро я забылась тревожным сном. Мне хочется огметить сновидение, привидевшееся мне в эти короткие часы тревожного сна, потому что я в страхе проснулась и думала:—верно, уже все кончено... И в течение дня, во время бесконечных поисков Нила, не раз возвращалась мысль к этому сновидению... Снилось мне скитание по какому-то городу... Поиски, напри-

женное ожидание. Потом мы едем на катере—Нил, я, А. В. Сазонов. У меня сохранилось неясное впечатление, что А. В. Сазонов—ворничий нашего катера. Плыдем стремительно по темной реке... неба не видно. По берегам поднимаются сплошные стволы деревьев, вершин их не видно. В том же направлении, что и мы, но обгоняя нас, плывут баржи, „с осужденными“, почему-то думала я... И на одной из них вижу фигуру полурасдетого человека с низко опущенной головой, волосы закрывают лицо, руки скручены назад... Баржи одна за другой проплывают мимо нас... Тяжело там на баржах. Чем-то черным, прозявым веет от них. У нас чисто, легко на катере... Вот приплыли. Стремительно не идем, а точно несемся мы: Нил, я, С. по целой анфиладе комнат-камер. Всюду пусто, чисто. Связь верхние окна последней камеры пробивается свет восходящего солнца, розовый свет, отблеск его пронизывает все пройденные нами комнаты. Нил останавливает меня, предлагая оглянуться назад, посмотреть на отблески света... Мы стоим минуту, потом входим в комнату, залитую солнцем, маленькую, уютную. Последнюю комнату, где мы должны остаться надолго, чего-то ждать... Во сне я назвала это „Воскресением“ почему-то. Мы должны ждать „Воскресения“ здесь... На столе стоит стакан с двумя роскошными душистыми цветками... Мы садимся... Я смотрю на Нила, С. Потом Нил начинает искать бумага. Ему страшно хочется курить... Бумаги нет нигде... Пересохшие губы, беспокойный взгляд и эта жажда курить...

Еще не совсем проснувшись, не открыв глаз, я думаю:—„Боже мой, если бы не забыть этот сон,—надо продумать, что значит он“. Сердце почти останавливается от странного ощущения, что сон этот означает то, что последние этапы земной жизни Нилом уже пройдены...

В 8 часов утра (вторник, 24 декабря) мы были уже в Центросибирь у В. В. Буликова, узнать, нет ли у него каких-либо сведений. В. В. был уже там. Он предложил нам поехать с ним в управляющему делами совета министров Гинсу, чтобы мы лично могли рассказать ему о положении дела и через него получить возможность увидеться с Вологодским. Из слов Гинсы мы узнали, что весь совет министров озабочен этим делом, все встревожены, сделают все, что можно... „Но, сказал Гинс, мы, гражданские власти, так растерялись, что выпустили все из своих рук, и теперь целиком распоряжаются военные... Боюсь, что уже поздно что-нибудь сделать“... Выяснилось, что в Вологодскому нам идти незачем. „Если еще не поздно, все будет сделано“,—сказал нам Гинс. В. В., выходя с нами от него, сказал нам: „Вы поезжайте, дождитесь меня в Центросибирь, я съезжу к Жардцецу и постараюсь через него добиться от начальника гарнизона, где же они? Поеду в канцелярию Верховного Правителя. Во что бы то ни стало узнаю, где же они и что с ними сделали“. Я попросила В. В., боясь выговорить уже ставшую почти во весь рост передо мной ужасную истину—попросила добиться разрешения, если правда, что они убиты, взять тело Нила, похоронить его. В. В. обещал мне это.

Около 12-ти часов дня мы узнали через канцелярию Верховного Правителя, что ночью (с воскресенья 22 декабря на понедельник 23 декабря) были

действительно кем-то из тюрьмы взяты члены Учредительного Собрания, уведены и убиты... Мы получили бумагу из канцелярии Верх. Правителя к начальнику гарнизона, чтобы он оказал „содействие мне и Куликову в розыскании тела убитого члена Учредительного Собрания Н. Фомина“.

Дальше — наши поиски. Описывать ли их ужас? Эти бесконечные мытарства по участкам, канцеляриям.... Страшное состояние, когда рассудок мутится от ужаса совершившегося, а тут формальности — разрешения, длительная процедура записывания этих разрешений в исходящий и т. п. Вместе с Куликовым, я, С. и Девятова поехали к начальнику гарнизона. Добившись личного свидания с ним В. В. передал ему пакет из канцелярии Верх. Правителя об оказании содействия нам в отыскании тела Нила. Мы искали всюду только Нила, будучи уверены, что там окажутся и все остальные, исчезнувшие одновременно с ним из тюрьмы... Начальник гарнизона написал приказ на этой бумаге городской милиции. Все вместе мы поехали туда. Здесь нас без конца долго держали. Пока составлялись приказы в третий и пятый участки городской милиции, в районах которых были в эти дни убитые, подписывались, записывались и т. д. Я волновалась, негодовала на их жестокость, ведь, они своей медлительностью могли помешать нам выяснить сегодня же, где же Нил, что с ним было... Но в то же время я подмечала, что руки у канцелярских служащих как бы в ужасе медлят над этой бумажкой, глаза по несколько раз перечитывают две-три строчки, ум, видимо, не может постигнуть ужаса, заключенного в этих строках... Может быть, это мне казалось, но я меньше сердилась на них, прощая отчасти им их медлительность. И потом, в других участках, в пятом и третьем, куда мы поехали в первый раз, опять все, и куда потом в течение этого дня мы возвращались по несколько раз, я подмечала машинально, что простые солдаты, милиционеры сочувствуют нам, жалеют нас сокрушенно качают головами и вздыхают над судьбой членов Учредительного Собрания.... По указаниям пятого участка мы поехали в анатомический театр. В. В. Куликов дальше нас не сопровождал, мы ездили втроем: я, С. и Девятова.

Анатомический покой. Здесь было много — до пятидесяти убитых в воскресенье 22-го. Я не могла преодолеть ужаса. Я знала твердо, что сойду с ума. В ужасе, в страшной тоске, заполонившей меня всю, без всяких задерживающих преград, я кричала, плакала. Это был крик всего моего существа, крик протеста и скорби... Я спросила С., если она в силах, если надеется на себя, пойти с Софией Ивановной Девятовой посмотреть, там ли Нил. С. И. долго не могла собраться с силами, как говорила мне потом С. Потом они пошли. С ними пошел наш кучер (из Центросибиря); всех они не смотрели, их было много. Свалились друг на друга. Почти все нагнел. „Лежат, как рова“, — сказал наш кучер... „Лица у всех такие молодые, невинные, ничего не понимающие, — говорила С., — видно, Наташа, что они все не при чем, совершенно бессознательные лица, добродушные... Какой ужас, Наташа! Они ни в чем не виноваты, видно, что их зря убили... случайно... Сторож сказал, что здесь все убитые в воскресенье днем. Значит, наших не может быть здесь“... Мы поехали в город.... Опять участки... По указанию начальника

милиция третьего участка были еще тела убитых, неубранные на Иртыше, у переправы, на левом берегу Иртыша. „Вы никуда не ездите, — говорил он Куликову, когда мы были еще с ним, — советую вам. А прямо поезжайте к этой переправе. Там были 11 или 12 трупов, еще не убраных — там люди „в манжетах“ и думаю, что это должны быть члены Учр. Собрания“. Я стояла за спиной В. В. Куликова в переполненной людью комнате и смотрела на лицо этого человека. Мне показалось, что он пытался подмигивать своим подчиненным: „Вот, мол, какая история бывает с членами Учр. Собрания“. Потом он пересилил, себя, перестал улыбаться. Сделал даже сочувствующее лицо и стал рассказывать подробно, где эта переправа, как нам туда проехать. Он обратился к одному милиционеру, не знает ли тот, убраны ли в настоящий момент отсюда тела убитых? — „Не слышны ли под лед?“ — буквально спросил он. Тот заверил, что не должно этого быть.... Я стояла и слушала. В уме отметила: „Боже мой, еще и так бывает — спускают под лед“... Мы поехали сначала одни с ночером, ездили долго, ничего не могли найти, потом вернулись в милицию, и тогда уже милиционер поехал с нами, и очень быстро привез нас к тому месту, где лежали тела одиннадцати или двенадцати убитых. Лошадь подъехала почти вплоть к телам и в страхе задремала... Я увидела часть лодины и неясную груду перепутанных человеческих тел, подузаннесенных снегом... Один лежал слева, отдельно от других... Тот же крик захватил меня всю... Скорбь, страшная скорбь по случившемся... Мука, тоска рвались безудержно в том крике...

С. и Девитова мужественно пошли к убитым, пошел с ними и милиционер. Фигура Нила, его спокойное лицо привлекли внимание Сони. Милиционер, заметив на кого она смотрит, нагнулся и сказал: „Вот и метка на белье: Н. Ф. это он“. С. подбежала ко мне сзади — обхватила меня за плечи и как-то странно взволнованно сказала: „Наташа, Нил здесь“...

Позже, по дороге в город, перестав кричать и плакать, я просила С.: „Расскажи, какой Нил? много ран? лицо цело?“. Заливаясь слезами, С. сказала: „Ах, Наташа, они еще их и ограбили. Сняли шубы, на многих нет верхнего платья, почти все без ботинок... Нил тоже без шубы, платья и ботинок... на лице — кровавое пятно. Лицо спокойно“... Мы попросили милиционера и одного извозчика остаться там. Сначала я хотела остаться с ними. Но милиционер запротестовал — послал в город за санями и разрешением взять тело Нила. С. И. Девитова не нашла среди убитых своего мужа. Уже вечерело. В городе мы разделились: я попросила Девитову поехать к Куликову, к А. А. Емелину, сама же, по указанию нач. третьего участка милиции, должна была ехать в уездную милицию за разрешением взять тело Нила, так как оно было найдено за пределами города.

Страшно трудно было ехать одной по городу и искать уездную милицию (адрес сообщили неверный, старый) с мыслью, гвоздящей мозг: Нил убит, Нил там в поле лежит замерзший, израненный... Собирала все силы довести до конца, добиться разрешения взять Нила, увести его, согреть... После часу езды мы подъехали к помещению уездной милиции. У дверей я столкнулась с А. А. Емелиным. Неподдельным участием, глубоким сочувствием моему горю

звучал его голос. В эти ужасные часы тяжелой муки, безвыходного отчаяния, я почувствовала в его голосе дружескую поддержку. Мне стало, как будто, легче. словно под тяжелое бремя, легшее на меня, кто-то подставил еще свои плечи... „Теперь уж возьмите, Н. Ф., нам сделать все, что надо“, горючо сказал... Он был уже в дровишки. Мы поднялись вместе наверх. Там нам быстро выдали разрешение, с которым пришлось возвратиться в 3 участка милиции, чтобы с милиционерами ехать везть тело Никола. Здесь был уже и Куликов. Милиция стала протестовать против действий уездной милиции, говорили — уездные милиционеры должны ехать с нами, а не они. После долгих переговоров с ними, Куликов позвонил непосредственно к директору департамента милиции⁴⁾. Ему пришлось прочесть в телефон бумагу из канцелярии Верх. Правительства, разрешение Букеевского и т. д., взять на себя ответственность за перевоз тела, пообещать представить еще сколько угодно разрешений завтра... Кроме того, пообещал, что до осмотра тела врачом, следовательно — мы не станем обмывать и одевать Никола, а только увезем его к себе, ибо тела всех убитых с ним валяются без присмотра и охраны за городом... Наконец, он стал негодовать: „Имейте же хоть каплю человечности, дайте, наконец, сделать хоть то, что можно, отдайте тело жене для погребения“... Мы стояли, безмолвно следи за переговорами. Телефонная трубка переходила без конца то к Куликову, то к дежурному помощнику нач. милиции, — аппарат соединяли то с директором департамента милиции, то с квартирой нач. участка, то с уездной милицией... Уже темно. Горит огарок свечи. Кругом солдаты-милиционеры. В душе все нарастает тревога, неужели не дадут взять сегодня Никола, и он останется на ночь в этой ужасной лодбине, там, в степи, брошенный. Во время переговоров кто-то предлагает перенести его до утра в анатомический покой, мы с С. в ужасе протестуем. Нет, только не туда!... В конце концов В. В. Куликов добился таки разрешения взять тело Никола сегодня же и приказал двум милиционерам помочь нам. Мы поехали все туда, на берег Иртыша. Александр Андреевич и Куликов со свечой (было уже около 8 час. вечера) пошли к телам убитых. С трудом нашли Никола, подняли и уложили его на сани, в снег ваткнулись на паспортную книжку Брудерера. Печальным cortege мы двинулись в город.

Нил нашел последнее пристанище в доме „Закупобита“. Руки товарищей и сослуживцев оказали ему последнюю услугу. Помогли согреться, вымыться, одеться. Потом только показали его мне. Эти два дня, что Нил отогревался, я не могла решиться пойти к нему. Да меня и удерживали. А. М. Д-на ни за что не хотела пустить меня к Нилу, пока он не одет и не выхит. Потом я пошла к нему с С., Р. и М. А. и уже до конца, не отрываясь, смотрела на него, держала его руку. Успием воли я гнала слезы с глаз. Они сохли у меня... Я сознавала, что ни минути больше нельзя плавать — надо смотреть, смотреть... Плакать буду потом. А теперь — смотреть, впитывать в себя образ

⁴⁾ В. И. Чепелев. Впоследствии министр. внутр. дел и еще позже председат. сов. министров. Расстрелян вместе с Колчаком.

Нила, надо, потому что скоро закроют крышку. Опустит в могилу. Хотелось без конца оттягивать этот момент. Хотелось прочесть, что пережил он в этот короткий промежуток времени с того момента, когда я привожу его в тюрьму, до того, как я увидела его убитым... Лицо спокойно. Под конец мне удалось прочесть ясно вопрос, вставший в глазах его. Мне кажется, вопрос этот относится к тому вопросу, который совершили над ним. Кому это надо? Кто смел совершить это черное злодеяние? И еще какой-то вопрос, более важный — видимо, перед собой, стоявший перед лицом смерти, был в его глазах. Сформулировать и затруднилась... Я видела этот вопрос, силалась понять его... но внешне был не только вопрос, но и какие-то, нам неизвестные. Я видела все до конца. До последнего момента я смотрела в лицо, в глаза Нила. Мимически и говорила с ним. Обещала помнить, быть с ним и там...

Когда я была у гроба Нила, в маленькой, маленькой кухне «Закупбыта», переполненной людьми, тот же человек, у которого мы были в воскресенье с Нилом и который нас привожал до тюрьмы, протиснулся ко гробу, сочувственно, скорбно посмотрел на Нила, перекрестился, покачал головой и участливо посмотрел мне в глаза... Как он узнал, где тело Нила, как нашел и пришел отдать последнюю дань убитому избраннику народа, я не знаю...

Из квартиры, около 4-х часов, Нила вынесли на руках товарищи-кооператоры. Все близкие люди, имена которых я не раз слышала от Нила, а увидеть пришлось их только теперь... Понесли в ближайшую церковь. Нил лежал прямо, как струна. Лицо спокойно. Гроб господствует над небольшой толпой друзей. Я иду у гроба. Поза Нила, в которой было что-то стремительное, вызвало у меня в уме скорбную мысль, что это — смотр... Смотр друзьями-соратникам. Кругом — все люди, среди которых протекала недолгая активная жизнь его... Близкие товарищи его по кооперативной работе. И ведь, по существу, по складу его характера, желаний, настроений кооперация была его любимой областью работы, творчества... Вот я в церкви. Я припала к гробу, смотрю, не отрываясь, в лицо Нила. Мне кажется, он слушает слова священника и пение. Я стараюсь слиться с ним в этом процессе восприятия одних и тех же слов, молитв. Смотрю, не отрываясь, в лицо, в глаза Нила. И слушаю, понимаю слова молитв...

Вот подходит прощаться. Не могу оторваться, не могу перестать смотреть... Сзади меня берут, поднимают от гроба — говорят, что проститься еще можно будет на кладбище. Вот катафалк, я растерянно смотрю, а как же я, — неужели, не видеть Нила?... Какая-то женщина, незнакомая мне, говорит: — «Вы тоже можете ехать, садьте у гроба на колесницу». Я ухватилась за эту идею. Села, припала опять к Нилу. Смотреть, смотреть, еще смотреть в глаза. И так всю дорогу. Медленно едут лошади. Слегка трясет. В уме рои вопросов: — Нил, скажи же, что было? Бедный, бедный, мой Нил! Руки покрывают его рану на голове, стараются как можно большую площадь его тела прикрыть, согреть. Мороз, вью. А Нил в одном платье... В уме мелькает желание, от которого веет успокоением — вот так бы ехать долго, без конца, всю жизнь, не отрывая

взгляда от его лица... Но вот остановились. Дальше ехать нельзя... начинается кладбище. Гроб опять несут. Вот свернули с аллеи — идут по глубокому снегу. Вот могила. Гроб опускают. Я опять подхожу, опускаюсь у гроба. В сумерках мерцает лицо Нила... Все тот же вопрос на лице... Ну, прощай, прощай, прощай, родной. Потом опустили крышку. Вбили два гвоздя. Опустили в могилу. Стали засыпать. Кто-то вложил землю в мою руку и заставил бросить ее. Что это? Зачем? Я не знаю значения этого обряда...

10. Комментарии к рассказу Н. Ф. Фоминой.

Первый вопрос, который является по прочтении этого потрясающего повествования, несомненно такой: кто же были виновники этого небывалого злодеяния? В рассказе Н. Ф. Фоминой на это дается определенный ответ: это был самосуд кучки офицеров над ненавистными им социалистами; самосуд, попытки к которому имели место и раньше, при том не раз и не два, за время их тюремного заключения.

— „Офицерский самосуд!“ — Вот та версия, на которой сошлись тогда все круги и все слои общества, без различия партий и направлений. Очень энергичное выражение той же версии дал прежде всего председатель совета министров Н. В. Вологодский в интервью с сотрудником „Сиб. Жизни“ в начале 1919 г. Там было рассыпано много жестких слов по адресу безответственной кучки военных, столь перзочно запятнавших свой офицерский мундир. Порой, впрочем, для этих преступников находились некоторые смягчающие вину обстоятельства. Говорилось, напр., что поведение официальных эс-эровских кругов давно уже раздражало, и не без основания, военную среду, патристично и государственнно настроенную, и вот в результате такого раздражения, вызванного бестактным поведением самих „учреждловцев“, и разыгрался прискорбный инцидент с офицерским самосудом над членами Учредительного Собрания.

Выражалось также упование, что Верховный Правитель достойно покарает всех участников такого самоуправства, нетерпимого ни в какой благоустроенной стране. Колчака, ведь, тогда серьезно многие считали „русским Вашингтоном“. Или говорили, даже после омских событий, буквально так: „Конечно, он не Вашингтон, но он подавит атаманину и тогда пойдет по пути русского Вашингтона“.

Мысль об офицерском самосуде как-то всех тогда загнипнотизировала, она принималась везде на веру и никем не оспаривалась. Даже в недавно вышедшем сборнике: „Рабочая революция на Урале“ омские убийства членов Учредит. Собрания оказались изображенными в таком же виде: „По чьему-то приказанию они были взяты из тюрьмы и обратно уже не вернулись. Их тела были найдены на берегу Иртыша. Против убийц, конечно, не было принято никаких мер“. И разве можно удивляться, что при таком общем настроении, загнипнотизированном мыслью об „офицерском самосуде“, то же самое возмещение омских событий встречается в рассказе Н. Ф. Фоминой? Это так понятно! Подавленные

ужасом перенесенных ею испытаний, она должна была механически воспринимать то объяснение происшедшего вокруг, которое как-то само собой установилось во всех общественных слоях. Несмотря, однако, на все это общепринятая версия об офицерском самосуде показалась мне с самого начала мало убедительной. Совершенно же я в ней разуверился, когда при первом же ближайшем посещении Омска (самое начало января 1919 г.) мне пришлось розыскать то место, на котором разыгрался заключительный акт этой ужасной драмы.

Я выехал из Красноярска на запад в конце декабря 1918 года, сам еще в точности не зная, где я окончательно остановлюсь. В Омск я приехал под самый новый год, и пока что, по разным соображениям, задержался в городе. Здесь я пробыл весь январь, и обстоятельства так сложились, что через два-три дня после моего приезда в Омск, мне пришлось, между другими делами, заняться подробным и тщательным расследованием того, как произошли декабрьские убийства. Первый толчок к этому мне дало посещение того места, на левом берегу Иртыша, где были убиты Фокин, Бродерер, Маевский и др.

Оно оказалось совсем близко от центра города, прямо против крепости и чуть наискось от того дома, в котором позже жил Колчак. Если бы он переехал в него раньше, то мог бы, особенно в хороший морской бинокль, и обращению с которым он так привык, наблюдать, как на рассвете зимней ночи на 23-е декабря происходила вся эта расправа с его врагами, так называемый „офицерский самосуд“, к которому сам он, конечно, никакого касательства не имел.

Убили их в небольшой ложбине, отделявшейся невысоким пригорком от русла Иртыша. Когда я стоял на этом пригорке и смотрел с него на город, весь залитый зным солнцем и широко раскинувшийся передо мною, вверх и вниз по реке, как-то само собой мне пришла в голову странная мысль: — зачем это их так далеко увезли из тюрьмы, разве нельзя было сделать то же самое где-нибудь около нее?

Областная омская тюрьма расположена в северной части города, вниз по Иртышу, считая от жел.-дорожного моста и от вокзала. Когда-то, и не так еще давно, она находилась за городом, почти что в поле, как о том можно судить между прочим по запискам Гр. Н. Потанина, который в этой самой тюрьме содержался в 1865-1866 г.г. по обвинению в намерении отделить Сибирь от России. С тех пор Омск, расплываясь, подобно липам, во все стороны, окружил тюрьму рядом мелких домиков и просто лачужек, так что севернее тюрьмы создан еще ряд улиц числом 14 или даже больше, которые так и называются — „Северными“. Но от тюрьмы все же недалеко и до всякого рода пустырей и до знаменитой „Зеленой Рощи“, давно уже игравшей в Омске роль парижской площади Революции, но только без эшафота и без гильотины. Здесь в подобных случаях обходились и обходятся проще, без таких затейливых сооружений. Это та самая „Зеленая Роща“, хорошо видная из окон тюрьмы, в которой 20 сент. 1918 г. был убит Новоселов, первая

искупительная жертва на пути развития „колчачовщины“. В Сибири все такие даты, как я уже упоминал, связаны с убийствами.

Таким образом, по сохранившейся традиции „Зеленая Роща“, казалась бы, представляла все удобства для офицерского самосуда. И, однако, „утрадиловцы“ затем-то увезли совсем в другой конец города, за несколько перест от тюрьмы, увезли к той центральной части, к дому Колчака, из которого расстояние было гораздо большее, чем до близ лежащих пустырей. От двора Колчака до тюрьмы дорога, особенно в то время, вообще казалась очень далекой. Чтобы попасть сюда с северной окраины, надо было проехать полгорода, пересечь его центральную часть, потом всю крепость, потом поперек напрямик по главной улице, где, по преданию, весьма мало, впрочем, достоверному, содержался Достоевский, проехать к старинным Тобольским воротам, памятнику Екатерининской эпохи, прийти через них, спуститься вниз к реке, пересечь реку, выехать на противоположный берег и только потом уже спуститься в эту аполучинную ложбину. Какой долгий, настоящий крестьянский путь. Непосвященному не представлялось никакой нужды, да еще в жестокий 40-град. мороз совершать его весь полностью, когда так просто и легко было поступить иначе, тем более, что весь это был, по общему убеждению, быстрый и скорый самосуд.

Когда бываю самосуды, то убивают тут же на месте, там, где застанут свою жертву или где-нибудь вблизи. Для самосудов характерна импульсивность действия: тут некогда раздумывать, некогда откладывать то, что задумано, — могут, ведь, и комешать. На самосуды люди приезжают возбужденные, пьяные от угарных мыслей, а часто просто от вина. Сознание тогда туманится мыслями о крови, о кровавой расправе, руки судорожно ищут дела. Такова психология всякого самосуда, а тем более офицерского. Но какой-то инстинкт, бессознательный ход мысли, получившей откуда-то неожиданный толчок, подсказывал мне, что такого самосуда тут не было, а было что-то иное, более холодное, более жестокое, более расчетливое. Вскоре в этом я убедился документально.

11. Мое расследование по делу Н. В. Фомина.

Я был тогда в Омске полулегально. Мне приходилось показываться в таких местах, где все было, в том числе и лица весьма высокопоставленные, мечтавшие, что скоро они будут в Кремле, и в то же время и постоянно менял места своего пражата. Ареста я особенно не опасался: — после этого драмы как-то все зтихло, и реакция на время притаялась. В Новый Год был даже опубликован примирительный манифест о левых партиях. Всем этим можно было пользоваться...

Чрезвычайно скоро после моего приезда меня начала захватывать повседневная революционная сутолока, начались сношения с тюрьмой или, точнее, с тюрьмами, в которых еще содержалось много близких мне лиц, являлись планы организации побегов. Порядки оказывались удивительными: — при некоторой ластойчивости и небольших тратах можно было многое сделать.

Потом начали поступать предложения более серьезные, но и более опасные. То тут, то там возникали предположения о разных выступлениях, в том числе террористических, прежде всего против Колчака. Технически они представлялись сравнительно легко выполнимыми, но меня они по разным причинам мало привлекали. Еще ранее, за время петроградской жизни, я начал приходить к мысли, что в этой совершенно новой обстановке, в среде отличной от прежней, в особенности от той, какою была до 1905 г., эти методы революционной борьбы как-то поблекли, потеряли прежнее значение. Дело было ведь не в простом физическом устранении какого-либо лица, власти иущего, а в том резонансе и политическом значении, которое должно было бы сопровождать всякий аналогичный акт. Раньше оно давалось само собой, теперь это стало как-то сложнее и заставляло медлить. Я очень боялся, кроме того, и провокации.

Чем больше все это выяснилось, тем глубже стала меня захватывать задача, невольно вставшая передо мною, разъяснить во всех подробностях, как именно произошли убийства 22—23 декабря. Клубок был очень запутан. Ити следом и слезлись от кровавых пятен, но то тут, то там стали проскальзывать разные концы и за них можно было ухватиться, распутывая дальше. И работу эту делал не один, нас было двое. Очень скоро мы узнали один факт, тогда же установленный официально. В ту ночь из тюрьмы были взяты Кириенко и Девятов, но их — о чем упоминает также Н. Ф. Фомина — в груде трупов в лошине на берегу Иртыша не оказалось. Где они находились, оставалось неизвестным, однако, очень скоро обнаружилось, что из тюрьмы их взяли не просто какие-то, никому неизвестные лица, а взял их совершенно определенный человек, кап. Рубцов, и взял их — по расписку. Самосуд, в котором людей берут „под расписку“, это снова заставляло задуматься.

Кап. Рубцов был допрошен следственной комиссией, назначенной по распоряжению Колчака, и показание дал сбивчивое, явно неправдоподобное. Выходило как-то так, по его рассказу, что он вел какую-то группу солдат или повстанцев, приговоренных к расстрелу, и почему-то среди них оказались Кириенко и Девятов. Во время пути не то Девятов, не то Кириенко стали возмущать приговоренных против конвой и даже кричали: „да здравствует советская власть“. Конвой был так возмущен, что какой-то солдат выстрелом из винтовки убил обоих „агитаторов“. Тут было все до такой степени неправдоподобно, что не заслуживало опровержения. Интересно было только то, что и Девятов и Кириенко оказались каким-то образом в группе лиц, приговоренных к смертной казни.

Что они находились действительно в этой группе, подтвердилось и другим путем. Жена Девятова (Соф. Ив. Девятова), проявив поминуте нечеловеческую энергию, добилась тогда права производить ровыски трупа мужа не по погребальным, как то делала Фомина, а разрывая братские могилы, в которых были наскоро погребены казненные. Начались раскопки. Это, конечно, совершенно особая страница в революционной археологии, едва ли где-нибудь имевшая себе что-либо подобное. Девятовой указали, наконец, братскую могилу.

в которой, по некоторым признакам, она могла найти то, что искала. Там оказалось свыше 40 трупов, в том числе труп одной женщины, там же были найдены останки Девятова и Кириенко. Так естественно напрашивалась мысль, что они не случайно были погребены в одной братской могиле с казненными по суду.

Замечательно, что вся низшая администрация той тюрьмы, из которой были взяты и Кириенко, и Деватов, и Фокин, очень твердо и определенно заявляла, как об этом рассказывает и Н. Ф. Фомина в своих записках, что их брали на суд. Фоминой стоявший у ворот тюрьмы офицер прямо сказал о ее муже: — „Его увезли в три часа ночи в военно-полевой суд“. Просто и точно! Летом 1920 г. мне самому пришлось пробыть некоторое время в той самой тюрьме, где сидел и Фокин при Колчаке, караулил даже тот же надзиратель, как и его. Бывают иногда такие совпадения. На мой вопрос, куда тогда увели Никола Валера, и зачем, он очень твердо отвечал: „На суд, увезли на грузовике, в крепость“. То же самое тот же низший персонал тюрьмы передавал и раньше при Колчаке.

Распутывая весь этот клубок дальше, мы тогда же узнали, что как раз именно в крепости, в большом зале гарнизонного собрания, места балов и благотворительных вечеров при Колчаке, теперь клуб имени Троцкого, в ту ночь заседал военно-полевой суд в составе трех человек (по закону времени Керенского, если не ошибаюсь). Свои действия он открыл в 10 час. вечера и „работал“ до 4-х утра.

Когда мы все это узнали, картина сразу делалась ясной. Крепость — центр города. От крепости до места казни, до этой дантовской лощины, рукой подать, надо только перейти реку. Если их судили в гарнизонном собрании (в том самом зале, в котором Гришина-Алмазова получила однажды первый приз за красоту), то нельзя найти ближе места для казни, чем левый берег Иртыша. Туда их и отвели.

Одновременно со всем этим нам стало известно, что суд в ту же ночь рассмотрел среди других еще и 14 дел тех заключенных, которых привезли из тюрьмы. По 13 делам были вынесены смертные приговоры, по одному делу приговор оправдательный. В числе судившихся выступал и Фокин, и Маевский. По крайней мере, их имена нам были названы. Нам сообщили затем, что суд задал Н. В. Фомину вопрос: правда ли, что он член Учредит. Собрания, и что смертный приговор ему был вынесен — „за то, что он член Учредит. Собрания“. Маевского же „осудили за газету“, т. е. за „Власть Труда“, издававшуюся им в Челябинске. Маевский осуждал в своей газете переворот 18 ноября. Там же была напечатана небольшая, но очень яркая заметка Н. В. Фомина: „Я протестую“, посвященная аресту и тайному увозу из Челябинска Кириенко.

В информации, полученной нами тогда, могли быть неточности, могла быть своего рода наивность в передаче. Едва ли, напр., могли осудить Фомина только за то, что он член Учредит. Собрания. Вернее, что его спрашивали, правда ли, что он член той „семерки“, которая была образована в Екатерин-

бурге из числа членов Учредит. Собрания и которую предполагали обратить в организационный центр для борьбы с Колчаком. Если такой вопрос ему был задан, то нет никакого сомнения, что он ответил на него утвердительно, и, по всей вероятности, что-нибудь прибавил вообще о своем отношении к правительству адмир. Колчака и о правах Учредит. Собрания, нарушенных переворотом 18 ноября. Для суда такого признания оказалось бы, разумеется, вполне достаточно, и „суд“ с спокойной совестью приговорил его к казни.

Маевского же безусловно и обвиняли, и осудили за его статьи во „Власти Труда“, несмотря на то, что газета издавалась под цензурой и постоянно выходила с белыми полосами. Но с этими формальностями судьи могли не считаться.

Все это происходило после 3-х часов ночи на 23-е декабря. К 4 или 5 часам утра суд закончил свои патриотические подвиги, и судьи удалились на покой, а подсудимых, то-есть уже осужденных, передали конвоем. В состав конвоя входили не офицеры, совершавшие самосуд, а слушатели унтер-офицерской инструкторской школы, начальником которого являлся вышеупомянутый зап. Рубцов. Это была, разумеется, отборная команда. Впоследствии, адмир. Колчак на допросе в Иркутске вполне определенно заявлял: — „Я знаю, что Рубцов принимал участие в выполнении приговоров полевого суда“.

Ночь на 23-е уже кончалась. Скоро должен был начаться рассвет. К тому же все утомились. Спешили скорее совсем разделаться. Приговоренных оказалось 13 человек, оправданный один. Его увели в тюрьму при гауптвахте, это тут же, через переулоч. С приговоренных сняли верхнее платье, шубы, пальто, куртки, — шапки оставили. И в таком виде, спешно погоняя, всех погна-ли. Не повели, а погна-ли. Куда? Раздумывать было нечего, — на Иртыш! Больше гнать было некуда, а до Иртыша в самом деле рукой подать. Пять-шесть минут, даже меньше, хорошей ходьбы, и прошли Тобольские ворота, потом на лед и на ту сторону в ложбину. Затем началась расправа, последний акт трагедии. Как страшно было потом читать официальный — „Акт осмотра трупа гражданина члена правления „Закупсбыта“ Нила Валериановича Фомина“. Каким ужасом веяло от сделанного там перечня нанесенных ему ран, — всего там учтено 13 ран: 5 нанесенных при жизни и 8 после смерти. Повидимому, Нил Вал. защищался, быть может, инстинктивно, прикрыв голову руками. Поэтому руки и плечи у него оказались перерубленными. Как говорится об этом в акте: „В области левого плечевого сустава, поперек сустава резанная рана длиной 3 вершка, рана от плечевой кости, кость сломана“; „на задней поверхности правого плеча, тотчас под локтем обширная резанная рана с переломом плечевой кости“; „на левом плече точно такая же рана и также с переломом плечевой кости“, и т. д. Один из первых ударов был ему нанесен, повидимому, саблей в голову, но шапка на голове ослабила удар, который тем не менее должен был его оглушить: „В области левой теменной кости, во всю длину ее, резанная рана до кости“. Шапку, сброшенную этим ударом с головы, или, может быть, позднейшими, нашли тут же, залитую кровью. Дальше шли бесконечной чередой раны по преимуществу в левую

сторону тела:— „В области левого сосцевидного отростка револьверная пулевая рана“; „пулевая рана под шестым ребром, с левой стороны“; „под седьмым ребром той же стороны штыковая рана“; „на 1 сантиметр от нее винтовочная пулевая рана“; „три пулевые револьверные раны на левом плече“ „в области левой лопатки пулевая револьверная рана“; „на 3 сантиметра внизу от нее штыковая рана“, и так далее, и так далее! Всех ран было так много, что смерть, в неизбежности которой он был так убежден, вероятно, пришла очень скоро. Страшна не смерть, страшны минуты ожидания.

Также оказались изуродованными и трупы остальных. Сорвав с них все, что только можно было сорвать еще, конвой вернулся в город. А на другой день, всю Сибирь, а потом и весь мир, облетела весть об „офицерском самосуде“¹⁾.

12. Мин. юст. Старынкевич об „офицерском самосуде“.

Самосуд! Но не все ли равно? Самосуд все-таки имел место, если не простой, то квалифицированный. Какая разница?

О, нет, разница огромная, потому что квалифицированный самосуд ставит вопрос об ответственности за омерзительные убийства тех самых правительственных верхов, представители которых официально и торжественно гарантировали полную неприкосновенность для всех добровольно возвращавшихся в тюрьму. Разница огромная, так как в этом случае убийства должны были совершаться по чьему-то приказанию, данному не сгоряча, не импульсивно, а

¹⁾ Все приведенные выше данные произведенного расследования были мной тогда же (февраль или март 1919 г.) сообщены в особом письме Гр. Н. Потанину с просьбой напечатать его, за моей личной ответственностью, в газете „Сиб. Жизнь“. Одним из поводов к письму являлось интервью П. В. Вологодского, помещенное в той же газете и касавшееся омских событий. Вологодский, как я уже указывал в тексте, категорически поддерживал заведомо ложную версию об „офицерском самосуде“, строго говоря, оплеветывая этим те самые военные круги, защитником которых он всегда себя выставил. Письмо мое было получено Гр. Н. Потаниным и так как он к тому времени уже совершенно лишился зрения, то оно было ему прочитано вслух одним близким мне лицом. Гр. Н. Потанин передал его в редакцию „Сиб. Жизнь“, покойному А. Н. Шапцыну, с просьбой напечатать его. От Шапцына Гр. Н. Потанин имел известие, что лично ничего не имеет против опубликования моего письма, но что этот вопрос окончательно должна решить редакционная коллегия. Письмо напечатано не было. Кроме того, уже после моего отъезда из Омска мои сотоварищи по произведенному расследованию была сделана попытка передать телеграмму (в ней было 800 слов) через французскую миссию о результатах нашего расследования в Париж, на имя Альбера Тома. Дошла ли эта телеграмма до Парижа (февраль 1919 г.), я в точности не знаю, но слышал, что будто бы дошла. Прибавлю еще, что относительно Маевского у меня было дополнительное известие такого рода; мне передавали, что он, а также еще кто-то, не были приговорены к смертной казни, а только к 20 годам каторги, но так как обратно вести его в тюрьму было очень далеко, а ночь была чрезвычайно холодная и отдельного конвоя не оказалось под руками, то его, а равно еще двух-трех человек, находившихся в таком же положении—расстреляли заодно со всеми. Однако, мне не удалось проверить на сколько это известие было правильно.

с жестоким холодным расчетом. Разница огромная, так как здесь должно было иметь место небывалое вероломство, одна мысль о котором заставляла полчаковских министров терять почву под ногами, толкая их, в особенности Вологодского, на попытки всячески скрывать истину, судорожно цепляясь за идею об офицерском самосуде. Пусть лучше будут ответственны безмятежные стрельчаники, а не те, кто стоит у руля государственного корабля.

Разница между самосудом простым и квалифицированным до такой степени проста и очевидна, что настаивать на ней нет никакой нужды. Но, может быть, все-таки это неверно. Может быть, власти, особенно гражданские, ничего и не знали о военно-полевых судах над „учреди овцами“. Не даром же, как рассказывает Н. Ф. Фомина, Гипс сетовал, что они в эти дни потеряли возможность руководить событиями: все делали военные.

Все эти вопросы для меня представлялись уже тогда, еще в январе 1919 г. совершенно решенными. Относительно военной среды и степени ее осведомленности обо всем, что происходило, какие могли быть сомнения? Узнал, что когда военной приехал брат Н. В. Фомина и остальных, тюремная контора не сразу соглашалась выдать их, опасаясь как раз самосуда, и шла предварительно длительные переговоры с приехавшими офицерами. Затем они куда-то уехали и вернулись снова через некоторое время, но уже снабженные ордерами. Как характерно также повеление того же ген. Бразовского (тогдашний начальник омского горнизона) в рассказе Фоминой.

Знаю, кроме того, что приказание об отдаче возвратившихся в тюрьму „учредиловцев“ под суд исходило непосредственно от ген. Измакова-Ринова, получившего в эту ночь диктаторские права.

Первоначально предполагалось расстрелять всех „учредиловцев“ без изъятия, но в эту ночь не успели, и без того было много дела, а с утра на следующий день поднялся слишком большой шум, и те кто случайно уцелел — спаслись. Через день или два все они были освобождены, присутствовали на похоронах Н. В. Фомина и могли, глядя на его изуродованный труп, представить себе участь, которая их ожидала.

Правда, несмотря на полную уверенность в точности получавшихся мною сведений (в том числе и от лиц, бывавших на дому у ген. Измакова-Ринова), у меня являлась все-таки мысль проверить результаты произведенного расследования путем личного обращения к высшим гражданским властям, но я решил этого не делать. О чем в самом деле мы стали бы с ними разговаривать? Однако, обстоятельства сложились иначе, и кое-что в этом отношении мне пришлось предпринять, о чем я позже не жалею. Все вышло случайно, но тем характернее оказались результаты.

Закончив свои омские мытарства, а, в самом начале февраля, решил выехать обратно в Красноярск, „в свой избирательный округ“. Ехать в то время по железной дороге было не так уж просто. Поезда ходили переполненными, свирепствовал тиф, заразу схватывали очень легко, а отделялись от нее часто с большим трудом. Затем эти постоянные контроль на железнодорогах с неизбежной проверкой паспортов. Я предпочитал избегать всего этого.

К счастью, собираясь выехать из Омска, я узнал, что на Восток возвращается один из вновь назначенных сенаторов Колчака. Перед этим происходило открытие Сената, и для демонстрации начал законности Колчак при открытии *стола*, а сенаторы *сидели* в знак того, что Власть подчиняется Закону. Теперь один из этих сенаторов, воплощавших идею законности, не только ехал домой, но имел в своем распоряжении целый вагон. Я не был с ними лично знаком, но слышал, что он, — по натуре человек честный и хороший судья, — отзывался обо мне с сочувствием и, вероятно, не отказался бы взять меня с собою. Неудобство состояло только в том, что надо было идти к нему на квартиру, а желал он, как мне сообщили, у министра юстиции Старынкевича. Несмотря на это, я решил сходить к нему, полагая, что встреча с министром не обязательна. Этот милый и добрый старик (в духе сибирского Коня) встретил меня очень тепло и радушно. Когда ему доложили обо мне, и он услышал мою фамилию, он быстро вышел навстречу и сразу же удивил меня словами:

— „Как я рад вас видеть, а мне говорили, что вы убиты“.

Это говорилось совершенно спокойно, представителем закона, в квартире министра юстиции.

Я ответил, что нет, я вполне здоров, что, повидимому, он смешивает меня с Н. В. Фоминым, который действительно убит. Но мой сенатор настаивал на том, что об убийстве Фомина („такая ужасная история“) он слышал особо и знает хорошо, но то само собой. Мы прошли в его комнату и быстро обо всем оговорились, однако, когда на обратном пути я направлялся к выходу, меня встретил сам министр, и тут мне пришлось вступить с ним в долгий разговор. Необходимо здесь напомнить, какое это было время. Незадолго перед тем произошли на Урале переговоры между несколькими членами Учредит. Собрания (Вольский, Ракитников, Буревый и др.) с советской властью, и состоялось соглашение между ними для общей борьбы против Колчака. В Сибири весть об этих переговорах произвела большое впечатление, и на вс-эров обрушилась вся цензурная печать. Началась пезабываемая травля. Но для цензурников было мало имен Ракитникова, Буревого, даже Вольского, им хотелось припутать сюда непременно В. М. Чернова. И вот неожиданно и к великой радости их получается радио, что 19 января Чернов (потом, много позже, оказалось, что это относилось не к Чернову, а к Черпенкову) приехал в Москву для переговоров о соглашении с Лениным и Тропким. Анковскую цензурную печать не было ни конца, ни краю. Наконец-то виновники себя обнаружили и оказались пойманными с поличным. Я знал, что вся эта информация ложна, так как перед тем получил точное сообщение, где именно находился Чернов, как раз около 18—19 января, и каково было его истинное отношение к событиям на Урале. Разговор мой с министром начался как раз с его вопроса о том, знаю ли я, что Чернов в Москве и ведет переговоры с советской властью. Я ответил, что это неправда, и мне лучше, чем ему известно, где Чернов находится: он здесь, в Сибири. Кто-то из случайно проходивших в эту минуту по комнате заметил мне:

— „Если вы знаете, где Чернов, вы должны сообщить властям его адрес“.

Это было до такой степени оригинально, хотя и не совсем для меня неожиданно, что вызвало с моей стороны новую реплику, в ответ на которую министр, полуобращаясь то ко мне, то к моему спутнику, которого я так и буду называть—„сибирский Коник“,—произнес целую обвинительную речь против вс-эров, длинную и вдохновенную, тем более для меня интересную, что это говорил недавний член той же партии с.-р. Закончил он ее совершенно в драматическом тоне, указав на то, что двуличная и двурушническая политика партии по отношению к большевикам справедливо раздражает военные круги и воспитывает в их среде законное негодование на „учредильцев“, и вот в результате такие печальные инциденты, как офицерский самосуд над Н. В. Фоминим, о котором тут только что вы (обращаясь к „сибирскому Коник“) говорили.

Это было уж слишком! Это был вызов, брошенная перчатка, да еще кем!

Я сказал на это Старынкевичу:—„Вы, министр юстиции, говорите об офицерском самосуде над Фоминим. Но разве вы не знаете, что самосуд—это злумы. Их судили“.

— „Как судили? Откуда это вы знаете?“

— „Их судили в гарнизонном собрании, в крепости, после 3-х часов ночи на 23 декабря. Откуда я это знаю? Я вел свое следствие. Это—результаты“.

Затем началась настоящая словесная дуэль, продолжавшаяся довольно долго при безмолвном секунданте, „сибирском Конике“, который, кажется, не знал, куда ему деваться от смущения. Самая существенная часть этого разговора заключалась в следующем. Узнав, что я производил какое-то сепаратное следствие, министр довольно внушительно заявил мне, что я нравственно обязан представить результаты своей работы, свои соображения и—главное—своих свидетелей, раз я им доверяю, той правительственной комиссии по расследованию событий 22 и 23 декабря, которая уже образована и работает под председательством Висковатова. Я ответил Старынкевичу, что сделать этого не могу и не сделаю, но прибавил:—„впрочем, если вы гарантируете мне чем-нибудь реальным неприкосновенность моих свидетелей, тогда, если они на это согласятся, я назову вам их“.

— „Я должен гарантировать неприкосновенность свидетелей!“—воскликнул вдруг к моему удивлению Старынкевич, обращаясь исключительно к нашему безмолвному секунданту. И затем он рассказал поразительно характерную историю, которую я помню почти во всех деталях. Тогда же, вернувшись к себе домой, я записал ее по свежей памяти, как почти весь этот разговор, но эта запись осталась в одном из моих сибирских архивов, а ее не имея при себе и воспроизвожу по памяти, ругаясь, однако, за точность передачи во всем существенном. Но возможно, что в моей памяти стерлись некоторые детали, делающие его еще более красочным.

Министр передал, что с некоторых пор к нему стали поступать всевозможные доносы и жалобы из Семипалатинска на действия атамана Анненкова.

Совершенно такие же жалобы поступали также и к самому Верховному Правителю. Изнывая от небывалых притеснений, местное население молило о защите и помощи. Жалобы лились такой волной и казались столь убедительными, что решено было произвести дознание, но строго секретное, через особого агента с большим стажем. Агент этот служил раньше у ген. Алексева, потом работал в Казани при большевиках. По решению местной военной организации он вошел в какое-то советское учреждение, вероятно, имевшее отношение к фронту, и, работая в нем, оказывал большие услуги своим сопотарищам. Теперь он перебрался в Омск и находится в распоряжении министра юстиции. Человек это энергичный, находчивый и во всякого рода секретных поручениях незаменимый. Вот его-то и решил министр послать в Семипалатинск для производства строго секретного, даже секретнейшего дознания об Анненкове и о действиях его отряда. Агент выехал, снабженный документами, хорошо маскировавшими его личность и истинную цель его поездки. Вскоре после того, как он прибыл в Семипалатинск и приступил к дознанию, от него начали поступать доклады, всецело подтверждавшие правильность того, что утверждалось в челобитных семипалатинских жалобщиков. Больше того: попутно этому агенту удалось обнаружить такие поступки Анненкова, перед которыми бледнело все сообщавшееся раньше. Картина разрывалась потрясающая. Но вот, вдруг, от него же, от агента, приходит крайне тревожная весть:—анненковская контр-разведка, как оказывается, его самого ищет в Семипалатинске. Она знает, что он там, знает его настоящее имя, знает, зачем он туда командирован, но не знает, под каким именем он живет. Тревоге министерского посланца не предвиделось границ. Он почувствовал, что попал в опасное гнездо подлинной атакманщины. Он предупреждал министра, что если его поймут, то—убьют. Он умолял, поэтому, разрешить ему экстренно выехать обратно и на проезд снабдить его новыми документами, так как имя, под которым он живет, может всякую минуту быть раскрыто. Просьбы его были уважены и он, к счастью, благополучно, вернулся в Омск. Однако, заключения его еще не кончились на этом. Вернувшись в Омск, он начал составлять доклад о всех своих разоблачениях. Надеясь, он его закончил и должен был представить по назначению. Но, когда он шел с докладом к министру, на пути, днем, на улице его арестовали агенты военного контроля и посадили в тюрьму. Ему предъявили грозное обвинение в службе у большевиков на Волге. — „И я ничего не могу сделать для его освобождения,—заявлял министр, — тем более, что, ведь, он действительно служил у большевиков“.

После этого наступила глубокая пауза. „Сибирский Копи“, как ему и полагается, поник у стола в позе искренне огорченного человека. Давно ли в самом деле он сидел, а сам адмирал перед ним стоял, и вдруг такой исход. Он молчал, ждал, что еще скажет министр юстиции, благо, он оказался таким охотником до разговоров. Но он больше ничего не прибавил, а подошел только итогом всему разговору, снова обращаясь к нашему секунданту и поочередно на меня: — „А в т и я речею жмет, чтобы я дал ему какое-то гарантии“.

В самом деле, как я был вынужден в таком требовании.

13. Еще раз у Старынкевича.

Мы расстались с министром, условившись, что я приду к нему в субботу (разговор происходил в четверг, ехать я должен был в воскресенье) в его служебный кабинет, где он обещал еще раз выслушать мои соображения и сообщить мне, как обстоит следствие по всему этому делу. Я видел, что он что-то не договаривает при третьем лице, и, в чаянии получить от него новые дополнительные сведения, согласился прийти. Здесь, глаз на глаз, без неудобных свидетелей, министр держался со мной совсем иначе и сразу стало ясно, что оспаривать мои утверждения он не имеет никакого намерения. Он сказал мне, когда я попытался было подробно обосновать свое мнение об „офицерском самосуде“, что он и сам знает, что дело обстояло, конечно, так, как я излагаю, но только в атмосфере этого общего страха перед военной партией нельзя доказать этого юридически. Нет свидетелей, то-есть они есть (вот, напр., такие-то), но боятся говорить или говорят лживую неправду. Допрашивали, напр. кап. Рубцова. Он все знает, но отделяется несообразными показаниями. И затем министр передал мне показания Рубцова в том виде, как другие совсем лица передавали мне их и раньше. Я мог этим проверить точность данной тогда мне информации, не говоря, разумеется, об этом Старынкевичу.

Свидетелей нет,—продолжал министр, а без них сделать ничего нельзя, хотя всем ясно, что дело тут не в самосуде. И не только нет свидетелей, а нет собственно и следователей. И затем начался новый рассказ на эту тему, тоже чрезвычайно характерный. Тогда в Омске (январь 1919 г.) произошел громкий грабеж с бриллиантами, нашумевший на весь город. Я не помню уже его детали, но помню только, что грабеж происходил днем, в людном месте, и грабители бесследно скрылись. Впечатление от грабежа было очень большое. Власти энергично взялись за следствие и быстро обнаружили, что заодно с грабителями действовали пом. нач. милиции, по фамилии, если не ошибаюсь, Кленский, и кажется, еще кто-то из служебных лиц. Все они были арестованы, следствие было поручено энергичному и талантливому молодому прокурору Шредеру. И вот, в пятницу (разговор происходит в субботу) к Шредеру являются два весьма бравых незнакомца, увешенные оружием, в форме офицеров Красильниковского отряда. Шредер не сразу понял, чего они от него хотят, но видел, что те пришли с какими-то серьезными намерениями. Говорили они не весьма членораздельно, аргументируя больше красноречивыми телодвижениями. Объясняясь по такому методу с прокурором, они начали требовать от него немедленного ответа, когда же он освободит их товарища. — „Какого товарища?“ — Оказывается, того самого помощника начальника милиции, который арестован за соучастие в деле по грабежу с бриллиантами.

Товарищ прокурора всем этим визитом оказался так напуган, что тут же, по уходе обоих красильниковских героев, составил рапорт на имя министра, тоже прося либо „гарантий“, либо освобождения от столь рискованного поручения.

— „Теперь около 12 час.,—продолжал министр.—Через полчаса мой доклад у Верховного Правителя, между прочим и по этому делу в виду рапорта Шредера.—Что же касается обстоятельств, сопровождавших убийство Фокина, то что я могу тут сделать, встречая на каждом шагу препятствия. Вы говорите—их судили. Да их судили“...

Он больше не оспаривал этого. Но дальше начал туманно и обиняками говорить о военной партии, о ее домогательствах, о том, что в дело Фокина замешан ген. Иванов-Ринов, и пр., и пр. Затем пришло время ехать ему к „Верховному“, как называли Колчака попросту министры, и я расстался с ним.

14. Расплата по векселю.

Из всего, что на этот раз передал мне Старынкевич, самой важной была ссылка на ген. Иванова-Ринова. Кто такой генерал Иванов-Ринов? Ген. Иванов-Ринов один из активных членов тайных военных организаций, подготавливавших переворот весной 1918 г. Его фамилия собственно просто—„Иванов“, а „Ринов“ это кличка, которую он носил в тайной организации. Так же как „Гришин-Алмазов“ назывался просто „Гришин“ в прежнее время, но стал „Алмазовым“ по соображениям конспиративного характера. В прошлом ген. Иванов-Ринов не имел никакого военного стажа и почему он собственно сделался генералом, а потом военным министром, а позже даже командиром конной армии, долженствовавшей повторить в сибирской обстановке кавалерийский рейд ген. Мамонтова, о котором в свое время было столько шуму,—для меня все это непонятно.

Заслуги ген. Иванова-Ринова, если уж о них говорить, надо было искать вовсе не в военной, а совсем в иной области. Его карьера являлась чисто административной, даже собственно прямо полицейской, а вовсе не военной. Раньше он служил в средней Азии, в Туркестане, по военной администрации и был чем-то вроде уездного не то начальника, не то исправника. Последнее даже вернее. Затем шел вверх по административно-полицейской лестнице, выдвинувшись при подавлении одного из местных восстаний. Быть может, это и создало ему своего рода популярность в омских военных сферах. В эту памятную ночь с 22 на 23 декабря Иванов-Ринов получил в Омске неограниченную власть, фактически являясь диктатором, без всякого преувеличения. Перед тем он был на Дальнем Востоке и виделся там с атаманом Семеновым. О его позиции в это время ходили в Омске разные слухи, но я полагаю, что наиболее заслуживающей внимания должна быть признана та версия, которую полу-намеками, но достаточно определено, сообщил мне на этот раз тот же Старынкевич. Суть ее сводилась к тому, что Иванов-Ринов, усиленно соперничавший с Колчаком, сознательно бросил ему в лицо трупы „учредильщиков“, как вызов и как залог кровавого сообщничества в дальнейшем. Тут имели место не личные счеты, а своего рода расплата по векселю, явившаяся результатом целого сплетения внутренних и международных общественных отношений.

Я говорил уже, что переворот 18 ноября являлся своего рода подарком ценовой и ультра-правой части Сибири адмиралу Колчаку. Наиболее активные деятели этого переворота (Пепеляев, Лебедев, Волков, Красильников, Сурин, Катайцев и др.) были монархистами и японофилами. Связь монархических кругов в Сибири с японскими официальными кругами факт несомненный и не подлежащий оспариванию. В октябре месяце 1918 г., вернувшись из Владивостока в Омск, я слышал там от одного крупного ценовика из военно-промышленного комитета, личного друга кн. Г. Е. Львова, что военные агенты Японии в Омске (была названа даже фамилия, которую я, к сожалению, забыл, а навести справку в своих материалах я лишен возможности), ведут откровенно монархическую агитацию и состоят в тесной связи с местными реакционными деятелями из военной среды.

Я говорил также, что у этих военно-монархических кругов был свой претендент на пост Верховного Правителя, принявший уже этот титул еще в июле 1918 г., — ген. Хорват. Первоначально сторонником Хорвата являлся и позднейший колчаковец, Жардецкий. Этот, как я его называл выше, коронный публицист сибирской реакции, журналист безусловно очень талантливый. Но ставка на Хорвата не прошла, воцарился Колчак при обстоятельствах, до сих пор тщательно скрываемых ценовой прессой: что проявляется одинаково, как, напр., в воспоминаниях Ключникова в „Накануне“¹⁾, так и в обширнейшей книге Гинса о „Сибири, союзниках и Колчаке“.

Колчак воцарился при условиях очень для него благоприятных и борьба против него, казалось, была немислима, особенно со стороны тех, кто помог ему низвергнуть Директорию. Тем не менее борьба началась; правда, началась пока что не на Западе Сибири, а на Востоке. Отерыл ее атаман Семенов в Чите, демонстративно отказавшийся признать власть „Верховного“ Смирить. Семенова вооруженной рукой Колчаку не удалось, несмотря на все желание: у атамана Семенова нашелся очень внушительный защитник и союзник в лице Японии. Впоследствии адмир. Колчак на допросе в Иркутске показывал, как ген. Жанен, вообще-то очень благоволивший к адмиралу, предостерегал его, однако, от обострения отношений с атаманом Семеновым в виду заинтересованности тут Японии. „Он сообщил мне, — рассказывал там адмир. Колчак, и этому рассказу можно верить, — что положение чрезвычайно обостриется в Забайкалье, так как командующий японской дивизией заявил ему, Жанену, что не допустит никаких столкновений по линии жел. дороги и что в случае, если я попробую ввести войска в Забайкалье, то японские войска принуждены будут выступить против них“.

Этот конфликт Колчака и Семенова внес новое смущение в ценовую прессу, не знавшую, как выйти из столь запутанного положения. Не известно, конечно, как бы события пошли дальше, но тут разыгралось омское восстание 22—23 декабря, о подготовке которого власти несомненно хорошо знали. С другой стороны, одновременно с этой подготовкой в городе шла еще одна подпольная

¹⁾ См. его фельетон в № 7 „Накануне“ от 2 яну. 1922.

работа, но иного характера, не революционная, а монархическая. Для монархистов наступал долгожданный момент, так как можно было, воспользовавшись смутой, получить для подавления мятежа всю фактическую власть в свои руки и, подавив мятеж, направить острие того же оружия в другую сторону. против „высочек“ Колчака. Атаман Семенов нашел себе в этом случае хорошего помощника в Омске, и этим помощником явился ген. Иванов-Ринов, фактический диктатор во время расправы с восставшими. Он должен был, имея в руках вооруженную власть, даже всю полноту власти, сказать адмиралу:— „*ôtes toi de là que je m'y mets*“. В таком виде, по крайней мере, передавали мне смысл разыгравшихся событий весьма осведомленные люди, из тех, которые полагают, что Колчак и в самом деле почти что русский Вашингтон.

Однако, справиться с Колчаком оказалось не так легко, как наприм., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся, — что, конечно, не удивительно, но замечательнее и удивительнее, кем именно охранялся. Охранялся он английскими солдатами, выкатившими прямо на улицу все свои пулеметы. Адмирал, очевидно, не желал отправляться в дальнейшее плавание и загородился штыковым барьером, пусть даже не своим, а чужим, какая разница. Мы не знаем, что там происходило между этими матодорами сибирских цензовиков, но кончилось тем, что в своем приказе от 22 декабря, расклеенном на всех заборах, ген. Иванов-Ринов заявил, что он признает власть адмир. Колчака и не позволит никому ее свергать. А о том, что он сам только что готовился ее свергнуть, ген. Иванов-Ринов в своем приказе не обмолвливался ни словом. Но, признавая власть адмир. Колчака, ген. Иванов-Ринов на этом одном не мог остановиться. Сибирские погромщики оказались готовыми вторично услужить адмиралу и вторично признать его власть, но вместе с тем в виде компенсации решили его, болтавшего там что-то о Национальном Собрании (чуть-что не Учредительном), помазать на царство кровью этих самых „учредильщиков“, забросать его их трупами, сделать это его собственным именем в расчете, что он не посмеет отказаться от солидарности с ними, и все это свяжет его круговой провавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов. Это была попытка жестоко надругаться над счастливым противником, как только может надругаться на с чем непримиримый сибирский погромщик, расвирепавший лавочник. Это была дьявольская сатанинская программа, счет к уплате по векселю, выданному еще 18 ноября убийцам. Вексель был предъявлен, счет погашен, убийства, именем самого Колчака, совершились, а затем, чтобы скрыть истинных виновников и всю суть происшедшего, была пущена по всему свету живая легенда о простом офицерском самосуде.

Адмир. Колчак покрыв погромщиков, устроивших беспримерную бойню в ночь — с 22 на 23 декабря. Говорят, или точнее, говорили тогда, что, узнав о расстрелах „учредильцев“, он был в истерике. Это возможно. Этот диктатор обладал вообще темпераментом истерической женщины. Но, с истерикой или без истерик, факт остается фактом: — покрыв погромщиков, зная несомненно,

нам все было, значит покрыв их сознательно, а не по неведению, он затем силой вещей сделал их соучастником и верным слугой. И царству опричников, казалось, не будет конца и краю. То, что происходило дальше, и те результаты, к которым это приводило, я наблюдал уже не в Омске, — в Омске с тех пор при Колчаке я не был ни разу, а после Колчака этот город сделался моей тюрьмой, — а в Красноярске, Иркутске, Томске, на Алтае. Там переходящую прошла еще целая жизнь, временами даже более страшная и более драматичная, чем в эти ужасные дни омских переживаний.

Евгений Колосов.

Закавказье в первую половину 1918 г. и Закавказский Сейм.

Открытие Сейма. — Состав Сейма. — Политическое положение Закавказья. — Закавказский Комиссариат и политические организации. — Конструирование Сейма. — Аграрный вопрос. — Исключение из Сейма представителей фронта. — Объявление независимости Закавказья. — Мирные переговоры в Трапезунде и объявление войны Турции. — Новые мирные переговоры, вмешательство немцев и конец Сейма.

I.

10 февраля 1918 г. в Тифлисе, в городском театре, открылся Закавказский Сейм. Все места для зрителей — балконы, ложи, галерея — были битком набиты. Кругом театра толпилась огромная толпа несчастливцев, которым не удалось добыть билетов на право входа. В партер, уже отведенный для депутатов Сейма, едва набралось 50-60 чел. На лицо были почти все меньшевики, дашкисабапы и некоторые только представители мусульманских партий; вся почти фракция мусульман-националистов „Муссават“, составлявшая почти одну треть всего Сейма, отсутствовала. Делегаты партии „Муссават“ были заняты на местах и не спешили в Сейм к его открытию.

По соглашению главных фракций, заседание было открыто представителем меньшевиков Чхендзе. Его речь была кратка, холодна и напоминала речь на торжественных похоронах. Речь Чхендзе первое заседание и закончилось. Дальнейшее заседание было отложено на несколько дней в ожидании приезда мусульман-муссаватистов. Работы же Сейма перенеслись в Белую залу дворца, которая ремонтировалась и приспособлялась для этого.

В то же самое время, когда Чхендзе приветствовал Сейм, в Александровском саду, в нескольких шагах от городского театра, произошла кровавая драма. Милиционеры стреляли без предупреждения в митинг, состоявший, главным образом, из солдат и рабочих, созданный большевиками для протеста против действий Закавказского Комиссариата. Были убиты и ранены. Много участников митинга было арестовано. Последние отделались, правда, дешево. Их просто выслали за пределы Закавказья (фронтвики Петренко и другие). Единственный стрелок остался, разумеется, безнаказанным. Министр внутренних

дел Ной Рамишвили, ответственный за действия милиции, назначил следственную комиссию, которая, конечно, всю эту историю поспешила потушить. Печать же о расстреле митяги ничего не писала. Одна только армянская националистическая газета „Кавказское Слово“ ограничилась краткой туманной заметкой об образовании следственной комиссии. Большевистские же газеты к этому времени были все закрыты.

II.

Выборов в Сейм, собственно говоря, не было. После октябрьской революции Советская власть в Закавказье установилась только в одном Баку. Остальное же Закавказье управлялось Закавказским Комиссариатом, составившимся, по соглашению между собой, из партий социал-демократов меньшевиков, дашнаков и муссават. Эти партии, объединившись для борьбы с большевистской властью, решили созвать Закавказский Сейм в ожидании свержения большевиков и замены их новой общероссийской властью. В Сейм выборы не производилось. Кандидатские списки во Всероссийское Учредительное Собрание были признаны списками кандидатов в Закавказский Сейм. Число голосов, полученных каждой партией на выборах во Всероссийское Учредительное Собрание, было признано полученным также для Закавказского Сейма. Был установлен минимум, необходимый для проведения одного депутата в Сейм, меньший приблизительно в три раза, чем тот минимум, который требовался для выборов во Всероссийское Учредительное Собрание. Таким способом был определен партийный состав Сейма.

Самыми крупными партиями в Сейме были меньшевики с 30 депутатами. „Муссават“ (татары-националисты) с 30 депутатами и „дашнакцутюн“¹⁾ (армяне-националисты) с 24 депутатами. В Сейме имелись еще партия „гуммет“ (татары-меньшевики), проводившие по отдельному списку 4-х депутатов, мусульманский социалистический блок с 7 депутатами, партия мусульмане в России с 3 депутатами, грузины-федералисты с 3 депутатами, социалисты-революционеры с 5 депутатами и кадемы с 1 представителем.

Все означенные депутаты считались избранными по спискам Закавказья но в Сейм были допущены, кроме них, и представители фронта²⁾. По фронтовому списку во Всероссийское Учредительное Собрание прошло 5 соц.-революционеров и 1 большевик. В Сейм же должны были войти 14 соц.-революционеров, 3 большевика и 1 меньшевик.

Персонально состав Сейма определялся следующим образом. За основание, как мы уже выше указывали, были приняты партийные кандидатские списки во Всеросс. Учред. Собрание: выбранные были признаны обязательными и неза-

¹⁾ Партия называется „Дашнакцутюн“, а члены партии дашнакцами.

²⁾ Во Всероссийское Учредительное Собрание Закавказье выбирало по двум спискам — тыловому и фронтовому. По первому списку выбирало русское население и армяне, находившиеся на оккупированной во время войны территории Турции и Персии.

менимыми, даже в случае их отсутствия, членами Сейма; следующие же за ними в списках кандидатов партии имели право до открытия Сейма заменить другими лицами. На этом основании партийные комитеты в последнюю неделю до открытия Сейма проверяли и пересматривали списки своих кандидатов. В частности, меньшевики накануне открытия Сейма на специальной партийной конференции пересматривали списки, причем из них выбрасывались, главным образом, те лица, кои почему-то считались в оппозиции к лидерам партии. Большое значение при этом придавалось также принадлежности кандидата к грузинской национальности. Большевики, выбранные в Сейм по фронту, тут не вошли, а вместо этого предпочли уехать в Баку, где были сконцентрированы большевистские силы Закавказья. Во главе меньшевиков стояли Чхеидзе, Жордания, Гегечкори, Чхенкели и Ной Рамишвили. Фактически самую крупную роль играл Ной Рамишвили — министр внутренних дел и председатель Закавказского Областного Комитета социал-демократов меньшевиков¹⁾. Н. Рамишвили, 35—38 лет от роду, интеллигент, но мало образцовый, большой грузинский националист. К описываемому времени он, повидному, был наиболее подходящим лицом для проведения националистической политики: Чхеидзе и Жордания были, как видно, совершенно выбиты событиями из колеи своего политического миропонимания и сильно подпали под влияние Н. Рамишвили. В частности Чхеидзе, занимавший фактически пост президента Закавказской республики, проявлял мало активности и еще меньше инициативы. Гегечкори считался наиболее левым из закавказских видных меньшевиков. После октябрьского переворота закавказские меньшевики были уверены, что Временное Правительство через несколько дней снова вернется к власти, и Гегечкори настоял на резолюции, принятой Краевым Советом Кавказской Армии (представительством фронта), чтобы Временное Правительство, вернувшись к власти, не применяло особых репрессий в отношении большевиков; к описываемому же времени Гегечкори, как премьер Закавказского Правительства, сильно увлекся борьбой с большевистским Баку.

Что касается Церетели, Зурабова и Скобелева, то их не было в Тифлисе ко дню открытия Сейма. Они находились еще в Петрограде, куда ездили для участия в работах Всероссийского Учредительного Собрания.

Во главе партии „Дашнакцутюн“ стоял деятель Кавказского Союза городов и гласный тифлисской городской думы Хачазнухи, человек преклонных лет, который по старости не годился уже в лидеры партии. Место лидера партии вскоре занял красноречивый доктор Хатисов, бывший городской голова Тифлиса и председатель Кавказского Союза городов старого состава. До 1917 года Хатисов считался человеком правых убеждений, но подошел февраль 1917 г. Карьере угрожал крах. И Хатисов, ко всеобщему удивлению, вдруг оказывается в рядах Дашнакцутюн, партии, правда, националистической, но все же пре-

¹⁾ Ной Рамишвили широкая публика склонна смешивать с Иосифом Рамишвили, депутатом 1-ой Государственной Думы. Последний был также в Сейме, но по преклонности лет роли никакой не играл.

следовавшей при царизме. Тем не менее Хатисову пришлось из городских голов Тифлиса превратиться в головы уездного городка Александрополя, так как место его в тифлисской думе занял меньшевик Эляда. Дашнакцаканы, повиному, относились вначале довольно недоверчиво к своему новому сочлену, и в списке кандидатов во Всероссийское Учред. Собрание Хатисов фигурирует на весьма скромном месте. В Сейме же, как человек талантливый, прекрасный оратор, большой политик и еще больший политикан, Хатисов сумел стать во главе своей партии. Пр том он занял вскоре пост министра финансов.

Партия „Муссават“ состояла из крупных мусульманских землевладельцев, ханов, беков, мулл, видных врачей и адвокатов националистического толка. Партия эта, на чем мы остановимся ниже, хотела использовать положение в целях присоединения Елизаветпольской губернии (Азербейджан) к Турции. Момент казался подходящим. Положение в Турции, где царил Энвер-паша, казалось, благодаря союзу с немцами, прочным, и политический строй Турции гарантировал ханам и бекам сохранность их поместий. Депутаты „Муссавата“ во времени открытия Сейма были заняты на местах работой по подготовке присоединения Азербейджана к Турции и не могли приехать в Тифлис.

Указанные три главные партии руководили Сеймом. Остановимся еще на партии социалистов-революционеров. Закавказье дало в Сейм всего 5 эс-эров, из коих Лункевич, член Всероссийского Учр. Собрания, был в отъезде. Фронт уже дал 14 эс-эров, из коих 5 — члены Всероссийского Учр. Собрания (Донской, Березов, Пижов, Т манов, Михайлов) к 10 февраля не были еще в Тифлисе. Эта незначительная группа распадалась на 3 течения: одно — близкое к лево-эс-эровскому, другое — право-эс-эровское, активистское в отношении к большевикам, но в известной степени оппозиционное к господствующим закавказским партиям, третье же — эс-эры с закавказской „самостийной“ ориентацией. Характерно, что в этой последней группе примыкали эс-эры грузинской национальности — братья Гобечия¹⁾, Лордкипанидзе²⁾.

III.

В декабре 1917 г. начался отход с фронта российской старой армии; ее должны были заменить создавшиеся в 1917 г. по идее комиссара Закавказского фронта и председателя Краевого Совета кавказской армии эс эра Донского национальные армянские и грузинские части: формирование этих частей шло, однако, очень туго; мобилизации мало удавались. Кроме того, при национальной ненависти, существовавшей между армянами и грузинами, образование нацио-

¹⁾ Старший из братьев состоял в 1917 г. помощником комиссара юго-западного фронта, в июле 1917 г. писал статьи о введении смертной казни на фронте, был убит в 1918 г. в Тифлисе на поезде не политической; младший брат состоял помощником комиссара кавказского фронта при комиссаре Донском.

²⁾ Лордкипанидзе — врач, член Всеросс. Учред. Собрания по румынскому фронту, впоследствии министр путей сообщения Грузинской республики.

нальных войск на территории Закавказья угрожало открытой национальной войной. В 1917 г. во время существования внешнего русско-турецкого фронта формировались только армянские и грузинские части. Мусульмане же национальных войск не образовывали, считал недопустимым выступать против турок по причинам религиозного характера. С конца же 1917 г. и мусульмане начали формировать свой корпус „на всякий случай“. В то же время русское население Закавказья, состоявшее, главным образом, из чиновничьего элемента, формировало русский корпус почти исключительно из офицеров, что было не трудно, так как Тифлис был переполнен офицерами старой армии, которые из-за расстройств путей сообщения и масс внутренних фронтов не могли пробраться в Россию.

Национальные части воевать не хотели, солдаты дезертировали в свои деревни или уходили в горы. Офицеры же разгуливали в фантастических формах с русскими погонами на плечах по Гоголинскому проспекту; зато национальные части усердно занимались реквизицией всего, что попадалось на глаза, и ловлей и кофейнях дезертиров, которые тут же за деньги откупались.

Отходившая старая армия двигалась частью через Трапезунд Батум-Новороссийск—Туапсе на Северный Кавказ, частью же мимо Тифлиса на Баку. Разложение ее было так велико, что вооруженные татары отбирали оружие у старых солдат, проводивших по несколько лет на фронте; нападения на воинские эшелоны носили организованный характер и производились толпами в тысячи человек. Татары Елисаветпольского района вооружились. Первыми почувствовали это армяне, которых татары начали вырезывать.

Для руководства эмиграцией старой армии образовался „Армотвод“ из представителей старого фронта и политических партий с-д. и с-р. Воинские эшелоны провожались представителями Закавказья, в том числе видными мусульманами, которые искренно или притворно уговаривали своих пропускать солдат.

В районе Тифлиса эшелоны останавливались на так называемой 310 версте, в нескольких верстах от Тифлиса. Здесь большевики вели агитацию среди войск занять Тифлис, свергнуть Закавказский Комиссариат и объявить советскую власть. Агитация эта среди солдат, сильно распропагандированных большевиками, встречала сочувствие; но в виду того, что эшелоны обыкновенно быстро отправлялись дальше, больших скоплений войск в районе Тифлиса не было, и агитация практических результатов не имела; но Тифлис жил все время в панике; городское население, состоящее в огромном большинстве из мещанских элементов, дрожало при мысли о возможности захвата города большевиками. В то же время Тифлис и его район переживали сильный продовольственный кризис из-за отсутствия хлеба. Дело в том, что хлебом Тифлис снабжался из Владикавказа, где теперь была советская власть, не желавшая давать хлеба Закавказскому Комиссариату. В то же время приходилось также опасаться большевистского наступления из Владикавказа по Военно-Грузинской дороге. В Баку также была советская власть, которой руководили Шаумян, Джапаридзе и Фиолетов. Оттуда также угрожала большевистская опасность.

Но здесь по пути на Тифлис были вооруженные татары и броневики Закавказского Комиссариата, которые и останавливали большевистские успехи. Помимо опасения большевиков, серьезность положения усугублялась еще национальной ненавистью между армянами и татарами, принявшей характер взаимной резни. В самом городе Елисаветполе положение, например, было таково, что одна часть города, по одной стороне реки, была в руках армян, а другая по другой — в руках татар; мост же посреди реки представлял собой границу; посредниками между обоими частями города служили местные греки, евреи и русские, которые спокойно передвигались по всему городу; армянам же и татарам нельзя было переходить из одной части города в другую под угрозой смерти. В самом Тифлисе отношения между армянами и татарами, были также очень обостренные, и в татарской части города, на Майдане, рылись окопы на случай резни. Мусульмане, таким образом, готовились к серьезным действиям. Серьезность же действий обуславливалась тем, что мусульманская национальная партия „муссават“ готовилась объявить присоединение Азербейджана к Турции. Для этой цели население вооружалось оружием, отбирались у уходящих солдат, и вызывались армяне. Агитация за присоединение к Турции шла широкая. Мусульманское духовенство работало во всю. Во глав движения стояли те же муссаватисты, которые состояли членами Закавказского Сейма. Член Сейма доктор Султанов в турецкой офицерской форме открыто разъезжал и вел агитацию в пользу присоединения Азербейджана. Представители „муссават“ в Тифлисе в самом дворце, в двух шагах от залы заседания Сейма, в своей фракционной комнате принимали переодетых турецких эмиссаров. Через Персию приезжал брат Энвер-пашы для переговоров. Для партии „муссават“, руководимой ханами и беками, из конх некоторые владели десятками тысяч десятин виноградников, были неприемлемы не только октябрьская революция, но даже и умеренный Закавказский Комиссариат с меньшевиками во главе. Для спасения своих поместий и привилегий им нужны были турки. Татарские же массы были очень невежественны и находились под влиянием своих мулл, державших сторону ханов. В виду такой напряженной работы, члены Сейма из „муссават“ не спешили в Тифлис. Тем же, которые находились в Тифлисе, приходилось, во избежание преждевременного раскрытия карт, действовать очень осторожно и закрывать с меньшевиками. Таким образом, получалось, что в то время как одни муссаватисты руководили нападениями на русских солдат, уходивших с фронта, другие брали на себя роль „уговаривающих“ не нападать на солдат. Политика совершенно в восточном стиле. При таком положении, самая важная роль в Закавказье выпала на долю третьей крупной национальности — грузинской. У грузин же господствующей партией, игравшей в то же время роль национальной партии, являлись меньшевики; несколько странным может казаться, что в Грузии, где нет ни фабрик, ни заводов, где нет совершенно промышленного пролетариата, всем руководили социал-демократы. Объясняется это причинами чисто исторического характера. В Грузии еще до последнего времени существования царизма сохранялись полукрепостнические отношения в деревнях, и первыми в защиту

крестьянства выступали грузинские социал-демократы; в борьбе с царизмом соц.-дем. стали очень популярными не только в городах, но и в деревнях, так что никакая политическая партия не могла с ними конкурировать во влиянии. Поэтому, даже на выборах в государственные думы грузины выбирали социал-демократов.

Ввиду экономической конкуренции между армянами и грузинами в Закавказье, особенно в Тифлисе, где армяне вытеснили грузин из всех областей экономической и общественной жизни, грузины-меньшевики ткнулись к союзу с татарами, причем с татарами „муссаватистами“. Их объединила, с одной стороны, взаимная ненависть к армянам, а с другой — большевистская опасность.

Положение же армян было очень тревожное. В Елисаветпольском районе уже шла резня. Наступление же турок угрожало поголовной резней всех армян. Последние были вынуждены таким образом силою вещей искать защиты у господствующей партии в Закавказье, т.-е. у меньшевиков.

Здесь необходимо в интересах истины отметить тот факт, что в большевистском Баку советской власти удалось избежать радиопального воюния внутри. Поэтому, в Баку те же армяне не из партии „дашнакцутян“, поддерживавшие в Тифлисе меньшевиков, мирились с советской властью. Ввиду наступления на Баку войск Закавказского Комиссариата и татар, что опять таки угрожало национальными осложнениями, представители дашнакцутян из Баку в феврале 1918 г. обращались к Закавказскому Комиссариату с просьбой прекратить военные действия против Баку. Обращение это было поддержано также большевистскими меньшевиками. От имени последних обращение было подписано лидером их Айвазом, игравшим впоследствии большую роль при занятии Баку англичанами. Среди членов Закавказского комиссариата обращение это не находило себе отклика. Положение Закавказья осложнилось еще и тем, что финансы были в полном расстройстве. Связь с Россией была расторгнута, и денежный приток прекратился. Из-за отсутствия денежных знаков не только частным лицам, но и государству пришлось приостановить все платежи. Это окончательно парализовало экономическую жизнь.

IV.

Как уже упомянуто, в конце 1917 г. власть была в руках Закавказского Комиссариата. Во главе его стоял премьер Гегечкори. Главнейшие министерства (внутренних дел, военное, земледелия) были в руках грузин-меньшевиков; остальными руководили муссаватисты и дашнакцутяны; причем соблюдался перипетичный принцип, по которому при министре-меньшевике товарищами состояли дашнакцутяны и муссаватисты, и наоборот. Аппарат государственный был вылажен довольно слабо, и министерства проявляли мало жизнеспособности.

Из политических организаций Закавказья остановимся вкратце на следующих. Существовавшие национальные Советы: грузинский, армянский и татарский представляли собой не что иное как расовые фракции партий

меньшевиков, дашнакцутюн и муссават; советы мелких народностей не имели никакого значения. Первые группы и в слабой степени эс-эровские элементы были представлены русским национальным советом, который и организовывал русский корпус.

Краевой Совет кавказской армии состоял из представителей старого фронта, избранных на Краевом съезде кавказского фронта. Здесь нужно заметить, что 2-ой Краевой съезд кавказского фронта, состоявшийся в Тифлисе, в декабре 1917 г., принял формулу „вся власть советам“, и большинство его, стоявшее за советскую власть, оставило Тифлис и перенесло работы съезда в Баку. Меньшинство же, состоявшее из меньшевиков и эс-эров осталось в Тифлисе и выбрало Краевой Совет. Таким образом, тифлисский Краевой Совет, представляя собой в конце 1917 г. только небольшую часть фронта, политической роли не играл никакой, так как в тому времени начался уже отход армии. Следует еще упомянуть о существовавшем с 1917 г. Краевом Центре советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, во составе преимущественно меньшевистским и отчасти эс-эровским; им руководили Жордания и Гегечкори. Когда образовался Сейм, роль Краевого центра стала чисто показной. Его, правда, созывали; на нем читались доклады по текущим политическим вопросам, по которым принимались резолюции, но зачастую уже после того, как вопросы проходили через Сейм.

V.

Сейм первым делом утвердил правительство. Затем был избран председателем Чхемидзе, которому были предоставлены права президента республики, так как он мог назначать премьеров. Товарищами председателя Сейма были избраны один от муссават и другой от дашнакцутюн; партии эс эров при этом была обойдена, несмотря на протест. При выборах президиума Сейма, уже на негласном вопросе выявилась шаткость союза меньшевиков с муссаватом. Меньшевики требовали, чтобы место секретаря Сейма было предоставлено той же фракции, к которой принадлежал и председатель Сейма, выдвигая при этом кандидатуру члена Сейма Оннашвили (городской голова г. Поти), большого националиста; но муссават был против этого, опасаясь слишком большого влияния грузин на ход работ Сейма; мусульман поддерживали эс-эры, и в результате на место секретаря Сейма был избран мусульманин Али-хан Кантемиров ¹⁾, принадлежавший, правда, не к муссавату, а к мусульманскому социалистическому блоку, работавшему однако в контакте с муссаватом.

Внутренняя жизнь Сейма шла спокойно, как будто в стране царил мир и тишина. Несмотря на то, что Закавказье находилось на вулкане, все текущее

¹⁾ Али-хан Кантемиров, присяжн. пов., выступал защитником в 1915 г. в известном процессе джарцев; в Закавказском Комисариате занимал пост товарища министра внутренних дел.

вопросы в Сейме решались единогласно, страна жила своей жизнью, которую Сейм упорно не хотел отражать.

Предстояло решение аграрного вопроса. Мы уже выше указывали, что в Закавказье в деревне при царизме еще во многом сохранились полу-крепостнические отношения между помещиками и крестьянами. Крупные феодалы-грузины (светлейшие и иные горные князья), татарские ханы и беки выжимали из крестьян последние соки. 1917 год не покончил с аграрным вопросом. Ждали созыва Всероссийского Учредительного Собрания. К описываемому времени во многих местах происходили аграрные волнения.

Сейм приступил к аграрному вопросу. В тифлиских политических кругах ожидали, что по этому вопросу Сейм распадется; считали, что здесь не удастся достигнуть соглашения между меньшевиками и муссаватистами-аграриями, так как выработанный меньшевиками законопроект состоял в национализации всей земли, кроме мелких участков. Однако, оказалось, что Сейм своего спокойствия не нарушил и на этот раз. Все аграрии ханы и беки (хан Хойский, хан Эриванский, хан Шахтахтинский и др.) единогласно голосовали за безвозмездное отчуждение земли. Они, очевидно, были уверены, что их поместьям никакой реальной опасности не грозит, открыть же свои карты они считали преждевременным. Расчет ханов в общем был правилен, исходя из соотношения сил момента. Декларированный закон в жизнь не проводился, так как из закавказских правителей одни не были в силах, а другие не хотели провести его в жизнь. Вследствие этого полоса аграрных волнений пошла сильнее; но это уже относится к периоду, последовавшему за само-ропуском Сейма.

Ведение мирных переговоров с турками, начатое вследствие непрекращавшегося их наступления, и желание совершенно отмежеваться от советской России побудили лидеров меньшевиков поднять в Сейме вопрос об объявлении независимости Закавказья. Муссават был, разумеется, всецело за это, так как объявление независимости послужило бы переходной ступенью к присоединению Азербейджана к Турции и, таким образом, содействовало бы сохранению земель и привилегий господствующих мусульманских классов. Что же касается армян-националистов, то они всегда ориентировывались на ту партию, в руках которой была власть. Для того, однако, чтобы вопрос прошел в Сейме без трений, было необходимо удалить из Сейма тот элемент, который, как предполагали, будет противодействовать объявлению независимости. Таким элементом являлись представители фронта, допущенные в Сейм. О составе фронтовиков мы уже говорили выше. Исключение депутатов-фронтовиков произошло по докладу мандатной комиссии. Последняя подняла вопрос о том, имеют ли право оставаться в Сейме представители фронта, которого уже не существует больше. Правда, старая кавказская армия в большой степени состояла из уроженцев Закавказья, которые после ухода с фронта рассеялись по Закавказью же, на каковом обстоятельстве главным образом ссылались представители фронта.

Среди меньшевиков и дашнакцаранов внутри фракций не было единогласия по этому вопросу; но представитель муссавата Рассуль-Заде заявил.

что в случае оставления представителей фронта, фракция мусават пересмотрит вопрос о своей дальнейшей работе в Сейме. Это заявление и решило вопрос в смысле исключения фронтовиков. Меншевики, однако, опасались крупного политического скандала, и Ной Рамишвили внес компромиссное предложение оставить в Сейме тех представителей фронта, кои были избраны также и во Всероссийское Учредительное Собрание. В такой форме вопрос и был решен. Фактически ни одного фронтовика-учредителя не было налицо. Только позже приехали из Петрограда эс-эры-учредители Березов и Туманов и вошли в Сейм.

Вопрос об объявлении независимости вытекал уже логически из той политики, которая велась в Сейме. Еще в феврале месяце вопрос этот дебатировался в меньшевистских кругах. Инициаторами были Ной Рамишвили, Жордания и Чхенкели. Для обсуждения этого вопроса было создано меньшевиками, под председательством Гегечкори, специальное совещание из членов фракции Сейма, фракции Городской Думы, членов Закавказского Областного Комитета и делегатов от районов. Из присутствовавших в защиту объявления независимости выступали почти исключительно участники грузинской национальности, против же выступали не грузины (Смирнов¹⁾, д-р Бекзадьян²⁾, Коренева³⁾ и неск. др.).

Определенно выступали за независимость Ной Рамишвили, Гегечкори и Чхенкели (Жордания находился тогда в Трапезунде); Чхендзе высказался только к концу двухдневных дебатов в том смысле, что дебаты убедили его в необходимости объявления независимости.

Сторонники независимости исходили, главным образом, из того положения, которое им казалось неоспоримым, что ставка на советскую Россию есть ставка на реакцию. К апрелю месяцу, после закулисных переговоров между лидерами господствующих партий, вопрос был подготовлен ко внесению в Сейм. 9 апреля 1918 г. вопрос слушался в Сейме. Докладчиком меньшевики выставили посредственного депутата Аннашвили. Лидеры же, в том числе и Церетели (вернувшийся к этому времени в Тифлис), уклонились от выступления в защиту независимости. Вопрос в Сейме прошел единогласно, так как все было уже подготовлено заранее. Вечером того же дня вопрос о независимости обсуждался в Краевом Центре советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.

Кем-то был поставлен вопрос Церетели, — почему он не выступал в Сейме по вопросу о независимости, на что последовал ответ: „Вожди идут вперед при наступлении, при отступлении же они отходят последними; объявление независимости это отступление и поражение пролетариата, и я выступать вперед не мог“. Ответ Церетели показывает, что в этот период вожди грузин-меньшевиков отдавали себе отчет в том, что действия их отнюдь не являются революционными. Тем не менее, они продолжали плыть по течению.

Население Тифлиса приняло объявление независимости спокойно без энтузиазма и без горечи. Настали внешние события.

¹⁾ Смирнов—член Сейма, член В. Ц. И. К. 1-го Созыва.

²⁾ Д-р Бекзадьян—член Сейма.

³⁾ Коренева—гласная тифлисской Городской Думы, жена Ной Жордания.

VI.

Еще до объявления независимости Закавказья, являясь непримиримым противником наступления турок, Сейм выделил особую делегацию, с Жордания во главе, для предложения туркам мира на основах границ 1914 года. Переговоры эти ни к чему не привели, так как турки, воспользовавшись присутствием в Трапезунде ряда делегаций, сфабрикованных партией „Муссават“, требовали присоединения к Турции Азербейджана, соглашались заключить мир только на основах границ 1877 г., включая Карс, Ардаган и Батум. Делегация Сейма на это не могла согласиться, и военные действия со стороны турок продолжали развиваться усиленным темпом: ими был взят Эрзерум, Ардаган, они двигались на Карс, наступали на Батум. Меншевики сильно падали на грузинские части¹⁾; тем более, что бои происходили в батумском направлении в местности с преобладающим грузинским населением. Они считали необходимым от имени независимого Закавказья объявить Турции формально войну, дабы показать европейским странам, что Закавказье едино и сильно. Речь вопрос был в поведении татарской части Сейма. Как отнесется к этому муссават. Не вызовет ли постановка вопроса краха всей внутренней политики Сейма, основанной на затушевании спорных вопросов. Но муссават и в этом вопросе обещал поддержку меньшевикам.

Объявление Турции войны происходило при чрезвычайно торжественной обстановке. Зала Сейма во дворце была битком набита представителями печати и публикой. Дворец был окружен огромной толпой народа. К 8 часам фракции меньшевиков, дашнакцутюн и других групп были уже все на своих местах. Членство сидел на трибуне; не было только муссаватистов. Последние заседали с самого утра и никак не могли подобрать соответствующей случаю формулы перехода. Только к 12 часам почти они явились. Меншевики первые высказались за объявление войны Турции. Дашнакцаканы их поддержали. От мусульман выступил Расуль-Заде, который в весьма дипломатической и двусмысленной речи говорил о положении Закавказья, о происходящей уже помимо их воли войне с турками, указывал, что татары, по понятным причинам, активно воевать с турками не могут, но что его фракция, не возражая против объявления войны, будет всеми силами и средствами поддерживать правую сторону. Речь его вызвала всеобщее недоумение. И на прямо поставленный вопрос, кого же муссават считает правой стороной, ответ был дан столь же неопределенный и двусмысленный. В результате же голосования дано единодушное объявление войны Турции, но все чувствовали, что воевать дальше нет никакой возможности. Наступление турок продолжалось,

¹⁾ Нужно заметить, что национальные грузинские части состояли из кадровых частей старой армии со старым офицерством во главе и отдельно из частей образованной народной гвардии, составленной из меньшевиков с выборным командным составом. Во главе народной гвардии стоял член Сейма Джугаш. Последний был до октября 1917 г. членом большевистской фракции Р.С.-Д.Р.П., а после октября перешел к меньшевикам.

были взяты Карс и Батум. Последний был прекрасно защищен отборными грузинскими частями. Защитой непосредственно руководил военный министр меньшевиков Георгиадзе. Сам Жордания ездил в Батум и провел целый день в окопах с ружьем в руках для вдохновения его защитников. Газеты сильно отметили это явление. С грузинскими национальными частями повторилась та же история, что с армянскими национальными частями, охранявшими Эрзерум. Они разбежались под напором более слабого численностью врага. Туркам досталась большая добыча.

Таким образом, через 7—9 дней после объявления войны Турции уже весь спорный район был фактически в руках турок. Границы 1877 г. уже были ими заняты. Воевать при этом дальше было совершенно безнадежно.

Муссават продолжал голосовать в Сейме за все предложения меньшевиков, а вне Сейма тайно конспирировать с турецкими агентами.

Армянское население начало переживать тревожные дни. Тифлис стал наводняться армянами-беженцами, панически покидавшими занятые турками районы.

VII.

Едва заканчивалась 2-я неделя со дня объявления Турции войны, как вопрос о заключении мира снова стал на очередь дня. Снова блестящее заседание Сейма при переполненной зале. Но настроение подавленное. Чувствуется близость развязки. Фракции во главе с меньшевиками призывают Сейм к возобновлению мирных переговоров. Чхендзе объявляет об отставке премьера Гегечкори (сторонника войны) и о замене его Чхенкели (сторонником мира). Мирные переговоры теперь возобновляются в Батуме, уже турецком; но турки уже не удовлетворяются границами 1877 года. Их требования простираются до самого Тифлиса.

В то же время передовые части турецких войск подходят на 20—25 верст к Тифлису. В армянской части города Сачаллаках страшная паника. Население бросает имущество и разбегается. Военно-Грузинская дорога, ведущая в советский Владикавказ, сплошь покрыта всякого рода повозками. В течение нескольких часов ликвидируются миллионные состояния. В турецком Тифлисе торжество. В публичных местах интеллигентные турки начинают открыто позавывать в красных фесках, намекая на ожидаемых ими гостей.

Все это сильно нервирует мирную делегацию в Батуме. Положение ее безвыходно. Теперь на сцену выступает в роли спасителя „честный маклер“ немец. В Батуме не одни турки. За ними зорко поглядывает глаз Вильгельма. Ему нравятся Грузия с ее колоссальными залежами марганцевых руд и еще другими ископаемыми, необходимыми немцам для продолжения империалистической войны. Немецкие генералы ведут переговоры с Жордания, предлагая ему сдаться Грузию. У немцев, оказывается, есть договор с турками, по которому местность, оккупированная немцами, не может быть занята турками. Предложение немецких генералов, таким образом, сводилось к тому что немцы займут Грузию и этим преградят туркам дальнейшее наступление. Тифлис будет спасен от

турецкой оккупации и разгрома. Немцы же предоставят грузинам самостоятельность и удовлетворятся ролью покровителей.

Что касается остальных частей Закавказья, то ведь для Грузии они интереса не представляют. В Азербейджане „народ“ в лице муссавата ждет турок с нетерпением. Об армянах думать и заботиться не приходится. Если понадобится, то немцы не отказываются взять их также под свое „высокое покровительство“.

Что же касается вопроса о том, как немцам занять Грузию, то и здесь выход предложен простой. Во всех крупных городах Грузии имеются небольшие количества (в сотнях) немецких военнопленных. Их нужно вооружить, поднять в городах немецкий флаг, и дело выиграно. Турки будут вынуждены остановить свое наступление и примириться с совершившимся фактом.

Грузинская часть делегации нашла предложение немцев приемлемым. Грузинский национальный совет и меньшевистская фракция Сейма предложение немцев приняли и одобрили переговоры. Муссавату это было только на руку. Дашнакцуканам пришлось примириться с этим. В результате немцы стали хозяевами положения. Закавказье распалось. На последнем заседании Сейма 26-го мая 1918 г. меньшевики заявили об объявлении независимости Грузии, а муссават и Дашнакцукон сделали соответствующие заявления от имени Азербейджанской (мусульманской) и Араратской (армянской) республик. Муссават в последнюю минуту не решился объявить Азербейджан присоединенным к Турции, так как мусульманские социалистические группы были против этого. Араратская республика вся состояла из нескольких уездов Эриванской губернии.

Сейм таким образом само-распустился. Власть в новых республиках перешла к национальным Советам. Во главе Грузии стали меньшевики;— Азербейджана—муссават с премьером Хан-Хойским;—Араратской республике—Дашнакцукон с премьером Хатисовым.

В Грузии начался процесс „огрузения“. Все негрузинское подвергалось преследованию. Особенно преследовались русские, как граждане советской державы. Из учреждений удалялись русские служащие, русские беженцы выселялись на север. Грузинские войска начали наступать по Черноморскому побережью на полосу Сочи—Туапсе, занятую советской властью, населенную притом, главным образом, русскими и греками. В то же время на Сочи—Туапсе, с другого направления, со стороны Северного Кавказа наступали добровольческие части генералов Алексеева и Деникина.

В Тифлисе же в это самое время Церетели заявлял, что советские рабочих депутатов дезорганизуют всякую власть.

В единственный порт новой независимой Грузии на Черном море, в Поты, в большом числе стали прибывать огромные немецкие океанские пароходы, грузившие марганец. Вильгельм собирал свое „колоссальное вооружение“ за посредничество и роль покровителя. Он собирал смелое, так как чувствовал себя хозяином положения, но он не был последним хозяином Закавказья. За ним двинулись другие...

Киев. 6 июля 1922 г.

С. Я. Хейфец.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Пролетарская Революция. Исторический журнал Истпарт. №№ 1, 2, 3 и 4. Москва, 1921—1922 г.г.¹⁾

С прошлого года в Москве выходит новый историко-революционный журнал „Пролетарская Революция“. Основной его задачей является опубликование материалов „по истории пролетарского революционного движения в России“. Едва ли нужно доказывать, насколько важна и своевременна постановка такого специального издания. Мы, с своей стороны, приветствуем появление нового журнала и желаем ему плодотворной работы на благо русской исторической науки.

Как ни бедна литература по истории нашего рабочего движения, все же „Пролетарская Революция“ не приходится строить на совершенно пустом месте. И в этом смысле, думается мне, Истпарт, характеризуя во вступительной статье первого номера нынешнее положение интересующего нас отдела истории русской революции, погрешил несколько против истины.

Конечно, едва ли найдется хоть сколько-нибудь сведущий человек, который возьмет на себя благодарную задачу доказать, что у нас до сих пор с изучением рабочего революционного движения все обстояло благополучно. Нет и тысячу раз нет. Но, прежде всего, нужно ли причину этого неблагополучия искать там, где ищет ее автор вступительной статьи „От Истпарт?“ В самом ли деле виноват в нем буржуазный читатель, который-де очень любит террориста и терпеть не может революционного рабочего, или виноваты „наши исторические журналы 1906—1908 г.г.“, потому что они, подталкиваемые этим читателем, „быстро скатывались по наклонной плоскости к сборникам „диптих“ подвижников-террористов, с одной стороны, нелепых рассказов о провокаторах, — с другой..“

О провокаторах-то в 1906—1908 г. г. написано совсем немного, о чем, конечно, нельзя не пожалеть, хотя бы по одному тому, что в то время это был превосходный агитационный материал против вынужденной такими средствами зажиматься от революции и, в первую голову, от рабочего класса—власти. Но так ли уж много мы знаем о террористах? Перу на себя смелость утверждать, что наши исторические журналы 1906—1908 г.г., хоть и далеко не достаточно занимались рабочим или крестьянским движением, но еще гораздо меньше данных в них можно найти о Лаговском, Карповиче, Гершун, Балашеве, Декерте, Сазонове, Сикорском, Калыеве и т. д. и т. д.

А много ли вы из них узнаете о студенческих волнениях, о волнениях в армии и флоте, о конституционном движении земцев и о многом другом, чему место на страницах изданий, посвященных истории освободительной и революционной борьбы? Очень немного. Что это значит? Мне кажется, вывод стоида ясен: в нашей историко-революционной литературе несомненно вообще преобладает материал по истории движений времен Александра I, Николая I и Александра II над материалом по истории нового и новейшего революционного движения; декабристы и петрашевцы, шестидесятники, семидесятники и пародовольцы подавляют числом посвященных им страниц и томов

¹⁾ Доставленная еще в середине 1922 г. рецензия не могла быть напечатана в предшествующих книжках; в следующем номере будет дана рецензия на дальнейшие книжки журнала.—Ред.

и рабочес, и крестьянское, и земское, и студенческое, да и все вообще движение последних сорока лет.

Условия для изучения давно прошедшего были, разумеется, несравненно благоприятнее, нежели условия изучения тех движений, которые были, да и сейчас еще, в значительной степени, являются его только вчерашним днем. Лучшее объективное доказательство этого я вижу в том, что „старое“ революционное движение доныне давно уже начало становиться предметом внимания со стороны более подвижных элементов даже кафедральной науки.

Правда, автор вступительной статьи пробует доказать, что и в том, как подносились различные материалы по истории, скажем, 70-х годов, также сказались и дурной вкус буржуазного читателя, и неспособность этому дурному вкусу со стороны прежних историков. „Великолепно зная переживания каждого отдельного „бунтаря“ 70-х годов, что знаем мы о стачечном движении тех дней? Кроме кое-каких отрывков в тогдашней революционной печати — ничего“. Но дело, по моему, достаточно хорошо объясняется уже одним тем, что ряд этих бунтарей-интеллигентов дожил до 1906—1908 гг., годов, а некоторые благополучно дожили и до наших дней и сами рассказывали о своих переживаниях. А Халтурины и им подобные, к несчастью для нашей науки, не могут нам поведать о своих делах и своих переживаниях, о своей жизни и робких попытках борьбы многих тысяч своих соотечественников на фабриках и заводах. Впрочем, автор и по существу не совсем, вещь, прав, ибо мы, и помимо „отрывков в тогдашней революционной печати“, знаем кое-что о стачечной борьбе того времени из некоторых воспоминаний (напр. Г. В. Плеханова, М. Р. Попова; архивные документы этой эпохи были раньше совершенно недоступны).

Словом, автор вступительной статьи из первого номера „Пролетарской Революции“ напрасно усмотрел причину скудости нашей исторической литературы по рабочему движению в том, что „буржуазный читатель“ не любил читать о революционном рабочем, а — тоже буржуазный? — писатель старался об этом, нелюбимом его читателях, предмете не писать.

Можно даже больше сказать. Поскольку вообще публиковались материалы о новом освободительном и революционном движении, они относились гораздо чаще к борьбе именно рабочих и соц.-дем. интеллигенции, чем к движениям крестьян, либеральной буржуазии или — не социал-демократической интеллигенции. Поэтому-то я и позволил себе выше указать, что новым органам, которые ныне приступают к изучению рабочего движения, придется создавать не на пустом месте; они имеют позади себя весьма небольшую абсолютно, но довольно значительную — сравнительно с другими отделами истории революционного движения последних десятилетий — литературу. Не стоит здесь на этом долго останавливаться: сошлемся хотя бы на четырехтомник „Общественное движение в России в начале XX века“, на статьи и книжки (мы упоминаем исключительно последние произведения) Мартова, Акимова, Лядова, Батурина, Стеклова, Эйдельмана, Сомова, Павлова и друг. Нельзя забывать также того, что многие из этих авторов печатали свои статьи и воспоминания именно в исторических журналах 1906—1908 гг., которые, таким образом, все-таки положили начало (в легальной исторической журналистике) изучению истории рабочего движения и социал-демократии в России²⁾.

²⁾ Заметим, кстати, что косвенно это должна была признать и редакция „Пролетарской Революции“, которая в первом же номере перепечатала из истор. сборника „Наша Страна“ (т.-е. фактически из „Былого“, взамен которого вышла „Наша Страна“) статью В. Эйдельмана „К истории возникновения Российской соц.-дем. рабочей партии“ и использовала его же указания „По поводу статьи Акимова“, которая предназначалась для напечатания в журнале „Минувшие Годы“ (выходил вместо „Былого“ в 1908 г.), но не появилась там за прекращением журнала.

Все это, правда, очень мизерно в сравнении с той колоссальной работой, которая предстоит еще впереди. Эту работу необходимо общими усилиями энергично развивать, а едва ли полному работнику на этом поприще следовало начинать дело с недостаточно обоснованных выпадов против тех, кто раньше пытался производить эту работу.

Впрочем, если хотелось непременно найти виноватого, то не лучше ли было искать его около себя. В самом деле, кто же должен был прежде всего заботиться о собирании и публикации материалов по истории пролетарского движения, как не те, кто связал свою жизнь с движением рабочих масс, кто действовал среди этих масс и помогал им создавать свою партию? А между тем достаточно хорошо известна беззаботность на счет своего собственного прошлого огромного большинства деятелей Р. С.-Д. Р. П. По этой причине, главным образом, у нас так несознательно мало воспоминаний об с.-д. работе. Притом, нельзя думать, что мы с этим прискорбным явлением уже покончили. Посмотрим, например, что пишет М. Ольминский в „Пролетарской Революции“. Цитируя слова одной из участниц казачьего сборника „Из партийного прошлого“—Чаадаевой—об огромном значении, которое ныне справедливо придается собиранию материалов по истории коммунистической партии, Ольминский замечает: „В своей душевной простоте она (т.-е. Чаадаева) и не подозревает, какой горькой прощай над действительностью для нас, членов коллегии Истпарта, звучат эти слова. Если бы она знала, то поставила бы вместо слова „громоздкое“ слово „вычужденное“ и была бы ближе к истине. Против равнодушия и непонимания бессильны даже „Ц. К. Р. К. П.“¹⁾

Здесь, действительно, одна из серьезных, действующих и поныне, причин неблагоприятного состояния истории рабочего класса в России. На борьбу с непониманием и равнодушием в собственной среде следовало бы, прежде всего, обратить свое слово новому органу.

Лучшим из всех отделов журнала „Пролетарская Революция“ бесспорно является отдел воспоминаний и записок, хотя особенно выдающихся по своему историческому значению воспоминаний в первых книжках ист. Рядом с воспоминаниями двух-трех выдающихся деятелей Р. К. П. (я имею в виду лишь вещи более крупные, а не мелочи), журнал дал довольно большое число воспоминаний рядовых партийных работников,—воспоминаний, представляющих как с фактической стороны, так и в бытовом и психологическом отношении значительный интерес. В особенности заслуживает благодарности помещенный ряд записок партийных деятелей рабочих, ибо такими материалами мы до сих пор были особенно бедны. Того, что могут дать такие записки для истории быта и развития сознания рабочей среды, нельзя было бы получить ни из партийной литературы, которая, ведь, довольно редко была продуктом творчества не интеллигентского, ни из архивных документов.

В первом номере „Прол. Рев.“ поместили свои воспоминания²⁾ А. Шестаков („На заре рабочего движения в Донбасе“) и Н. Семашко („Из воспоминаний“).

Шестаков описал условия работы в 1901—1902 г.г. на заводах и рудниках Донецкого бассейна и дал необыкновенно яркую картину работы донецкого полуполья в начале века.

Гораздо меньше удовлетворяют читателя воспоминания Н. Семашки, отрывочные, неполные и бедные, как признает и сам автор. Чего им не достает особенно — это большой чистоты, откровенности, того именно, что, придавая мемуарам особую литературную прелесть, делает их также весьма важным, часто совершенно незаменимым историческим источником. Семашко отнесся к стоявшей перед ним задаче через чур формально: он регистрирует кое-какие факты, рассуждает о пользе эмигрантских споров, подводит итоги периоду новой эмиграции русских с.-д. (1907—1917), а, в результате, в этой—

¹⁾ № 3, стр. 303.

²⁾ Мы отмечаем только более крупные, по размерам или по значению, вещи.

важнейшей—главе, которая могла бы стать исключительно интересной и ценной, и в виду той крупной роли, которую автор тогда играл в заправочной части партии, вспоминая его, к сожалению, сбиваются несколько на не особенно глубокую статью полу-агитационного характера ¹⁾.

Наибольший интерес в воспоминаниях Н. Семашки представляют те страницы, которые посвящены им Г. В. Плеханову.

Во втором номере обращает на себя внимание очерк Ладиса: „Тверская группа Р. С.-Д. Р. II.“. Очерк содержит ряд документов московского охранного отделения, дополняемых и разъясняемых личными воспоминаниями автора. Работа сделана не особенно искусно, и тем не менее очерк читается с большим интересом, так как затрагивает вопросы о событиях в Иваново-Вознесенске (в августе 1915 г.), о подпольной работе группы латышей с.-д. в Москве в годы войны (эта группа и назвала себя „Тверской“), о роли известного провокатора „Целатса“—Розанова. Очерк Ладиса сохранил, несомненно, свою ценность и тогда даже, когда мы увидим в печати все главные документы по делу об Иваново-вознесенских событиях и все материалы о положении с.-д. работы в Москве в годы мировой войны. И тогда, повторяю, придется обращаться к нескольким страничкам воспоминаний Ладиса, которые помогут лучше разобраться в архивных документах.

В третьем номере помещены: автобиографический очерк А. М. Коллонтай, отрывок из воспоминаний Н. Рыбкова и начало воспоминаний Г. Н. Котова. Автобиография Коллонтай написана кратко, автор тесно ограничивается сухим перечнем внешних фактов своей политической деятельности. И все же она ценна не только в том отношении, что дает канву для будущей биографии А. Коллонтай—довольно крупной и колоритной фигуры в истории русского революционного движения,—но и тем, что сообщает некоторый материал о массовом рабочем движении. В последнем смысле несомненный интерес представляет глава „Революция 1905 года“. В остальных своих частях очерк, вследствие своей краткости, не дает, в сущности, ничего нового ни для истории партии, ни для истории революции.

Воспоминания Рыбкова („Как я попал на работу при нашем подпольном правительстве и что именно выполнял“) рассказывают о работе автора по обслуживанию боевой и литературной деятельности партии в 1906, 1907 и начале 1908 г.г. и безусловно пригодятся исследователю при изучении финляндского периода в жизни Ц. К.

Воспоминания Гр. Ник. Котова—ридового, периферийного работника—о сорномском рабочем движении 1904—1905 г.г., запечатанные в двух книжках журнала (3-ей и 4-ой), дают не особенно много нового по сравнению с тем, что уже известно о нем из нижепроданных „Материалов по истории революционного движения“ (ред. В. Т. Миларионова). Но важно то, что рассказывает автор о своей жизни, о своем развитии, о своих впечатлениях, своей семье и т. д. Воспоминания интересны, прежде всего, как человеческий документ. Не лишено, впрочем, значения и описание автором (описание хотя и свободное, тем не менее безусловно яркое) дней свободы.

В последнем из рецензируемых номеров помещены еще воспоминания А. А. Митревича, П. Н. Кунгурова и Ал. Аросева.

Воспоминания Митревича охватывают огромный период с 1895 г. по 1919 г. и, в главной своей части, посвящены участию автора в петербургском рабочем движении. Наиболее интересными следует признать страницы, посвященные окт.—дек. событиям 1905 г. в Либаве и Либавскому Совету Рабочих Депутатов и петербургскому рабочему

¹⁾ Быть может, этим характером воспоминаний объясняется, что автор кое-где пользуется такими литературными приемами, которые способны лишь испортить впечатление от его воспоминаний. Неблагородные впечатлительные провозглашения, напр., место, посвященное Штутгартскому международному конгрессу (с. 177). Рассуждения о знаменитых „поправках“ к штутгартской резолюции, Семашко приводит их В. И. Ленин и Розе Люксембург, упуская из виду, что в числе авторов был также Мартов (ср. кн. Мартова, „Против войны“, Москва, 1917, с. IV).

движению предвоенных лет. В главе о 1917—1919 г. г. весьма интересны страницы, описывающие деятельность автора в качестве „волостного комиссара“ в 1917 г. (при Врем. Правительстве). В воспоминаниях Митревича очень много неточностей, из которых только часть оговорена редакцией.

Интерес „Записок рабочего“ П. Н. Кунгурова заключается, главным образом, в той их части, которая описывает переживания автора во время двухлетнего заключения (1918—1920 г. г.) в тюрьмах сибирской контр-революции (в Кургане и Чите).

Воспоминания Аросева („Из прошлого революции“) начаты печатанием в четвертой книге журнала. Написаны воспоминания превосходно. В первой очерке Аросев рассказывает о казанской ученической организации (1907—1909 г. г.), во втором (не окончен еще) о партийной работе трех казанских реалистов (Аросев, Мелотов и Мальцев) в Вологде, куда они высланы были из Казани.

Значительно слабее рассказанного отдела отрез статей. За вычетом небольших заметок Бонч-Бруевича и Маркушевича и статей, посвященных первому съезду, помещенные в редакционных померах статьи не дают почти ничего для истории: в них нет оригинальных мыслей, нет также почти новых фактов; это — либо первичечки, либо популяризация, притом, к сожалению, носящая на себе иногда печать некоторой поспешности, новостности и тенденциозности.

Не исследовательская, а конъюнктурскую и пропагандистскую цель преследуют, прежде всего, две работы П. Лепешинского: объяснительная записка к курсу истории русской революции, предложенному в губсовпартишколах („Ист. Рев.“ № 2) и такая же записка к курсу истории Р. И. И. (начата печатанием в № 3 „Ист. Рев.“). Окончательное суждение о второй записке приходится пока отложить, так как она еще далеко не закончена. Я ограничусь поэтому указанием неточностей, содержащихся в опубликованной части.

Автор пишет, что Северный Раб. Союз просуществовал с 1879 г. до весны 1880 г. (№ 3, с. 90). Это неверно. Союз возник в конце 1877 г. и, во всяком случае, не позднее 1878 г. По поводу статьи Плеханова „Социализм и полит. борьба“ у него сказано, что она была предназначена для „Вестн. Нар. Воли“, в краткий период намечавшегося соглашения между становившимися на путь марксизма ¹⁾ заграничниками чернопеределцами и организацией „Нар. Воли“, но была отвергнута редакцией „В. Нар. В.“, как полная, с точки зрения незыблительного народничества, совершенно неприемлемых ересей (с. 91). Однако, можно считать безусловно установленным, что в то время, к которому относятся переговоры Плеханова и его друзей о работе в „В. Н. В.“, они, а особенно, сам Плеханов, уже были вполне марксистами. (Кстати, неосторожно выражение, что статья была отвергнута редакцией; ср. „Искру“ № 54 и „Дела и дни“ № 2 1921 г., „Письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову“). Совершенно непонятно, в каком смысле говорят у Лепешинского о попытках Плеханова „организационно связаться как с лавристами, так и народолюбцами“ (с. 92). Ибо лавристов уже, в сущности, давно не было, самого же Лаврова тех лет ни в каком случае нельзя считать представителем „стороннического“ течения.

О „Стедо“ Лепешинский, между прочим, пишет: „Может быть, происхождение этого документа действительно носит случайный характер, как это подчеркивают некоторые „свидетельские показания“ (Аникив в своем „Оч. разв. с.-д. в России“, стр. 51, или „Рабочее Дело“, № 4, стр. 24 и т. д.“. Но разве можно игнорировать основное решающее в вопросе „показание“ самого автора „Стедо“ Е. Д. Пусковой („Былое“ 1906 г. № 10)?

О происхождении „Искры“ Лепешинский пишет: „В. И. Ульянов... стал сейчас же после окончания срока своей ссылки (в 1900 г.) ²⁾ держать курс на создание общерусской соц.-демократической газеты за границей...“ (с. 110). Совсем иное сообщает другой инициатор газеты Мартов (заметим, что Лепешинский

¹⁾ Курск. мой. III. Л.

приписывает — по всем данным, неправильно — одному Лениву инициативу в данном вопросе, игнорируя Мартова и Потресова). По словам Мартова, сначала предполагалось возобновить издание „Рабочей Газеты“, под ред. Ленива, Потресова и Мартова, а когда этот план рухнул под ударами кабарды, то решено было, что А. Н. Потресов и Ленив отправятся за границу, чтобы там, при содействии „Группы Освоб. Труда“, поставить независимую с.-д. политическую газету... (Истор. рев. с.-д., с. 54-55). Вторая версия — по нити и комментаторам сочинений Ленина (Собр. соч., том IV, с. 306).

Временем возникновения заграничного Союза русских с.-д. Ленинский считает 1896 г., а между тем Союз был основан в 1895 г. Проф. Озеров на зубатовских собраниях мог говорить рабочим о возможности улучшения их жизни в союзе с „благожелательным“ правительством Николая II, а не Александра III, как по чьему-то недосмотру сказано в статье (с. 113), так как последнего давно не было в живых. В 1903 г., читаем мы на стр. 116, стр. на юге России прокатилась грандиозная стачечная волна (особенно в Ростове-на-Дону). Ростовская стачка происходила, однако, не в 1903, а в конце 1902 г. Никогда в редакцию „Искры“, вопреки указанию Ленинского (с. 119), не входил Критевский.

В приложенной к статье библиографии, в части, касающейся „истории народничества“, бросается в глаза отсутствие таких изданий источников (пусть далеко не совершенных, но пока незаменимых), как „Револ. журналистика 70-х гг.“ и „Литература Партии Народной Воли“, и монографий В. Богучарского: „Активное народничество“ и „История политической борьбы“. (Не мешало бы, кроме того, указать и книгу Антимаха о „Земле и Воде“).

Если мы можем признать вполне удавшейся записку того же автора к курсу истории русской революции. Объяснения его довольно часто производят впечатление немного прикинутого (см., напр., место о студенческом движении, № 2, с. 57), а в описании событий он не всегда бывает точным. Рассказывая о возникновении партии соц.-рев., он, между прочим, пишет: „Замершее было народничество, революционное крыло которого¹⁾ усело в конце 70-х и начале 80-х годов народовольческие годы борьбы, воскресает в начале 90-х годов под фирмой партии эсеров“ (с. 55). Что должны означать подчеркнутые нами слова? Неужели то, что народники, не усомнившие народовольческих методов борьбы, скажем, чернопотельцы, принадлежали к революционному крылу? Нельзя не заметить также, что партии соц.-рев. в нач. 90-х годов еще не было. По словам Ленинского с.-р. „в сущности, никогда не идут дальше своих предположений в понимании природы революционной борьбы“ и „всю свою „революционную“ деятельность основывают на индивидуалистических способах борьбы с самодержавным режимом“. Но даже о народовольцах нельзя сказать, чтобы они на терроре основывали всю свою деятельность (а „понимание“ революц. борьбы и подавно не было, по крайней мере, у лучших представителей народовольчества, таких наивных), об эсерах же в особенности этого сказать нельзя. На стр. 67 читаем у Ленинского: „3-го июня вторая Дума была распущена, социал-демократическая фракция предана военно-полевому суду“. Фракция, на самом деле, предана была не военно-полевому суду, а суду особ. прис. сената. На стр. 74 автор говорит об отколовшихся от революционного пролетариата социал-патриотах, вроде Плеханова, социал-шовинистах из „Нашей Жизни“ и т. п. разякальных элементах мелкой буржуазии. О какой „Нашей Жизни“ идет здесь речь? Газета под таким названием (народническая), действительно, выходила гдеть в издании в начале 1915 г., но была разгромлена еще до выхода первого номера. Быть может, автор имел в виду негритянский журнал „Наше Дело“ или сахарскую газету „Наш Годос?“ На стр. 76 автор пишет, что „все вечеринные дивидаторы Потресовы, Ежовы, Левицкие и т. д. и т. д.“ стали под лозунг „оборончества“. Но несколькими строками ниже он же сам указывает на возглавлявшихся Мартовых и Аксельродов интернационалистов, которые занимали „несколько иную позицию“. Правильно

¹⁾ Курсив мой. Ш. Л.

ли было в таком случае говорить о всех ликвидаторах? В частности, автор ошибся несколько относительно позиции ликвидатора Ежова). Так же он пишет о пятерке „близгов“, составлявшей Организационный Комитет, с Муртовым и Аксельродом во главе. Это не точно. Пятерка, в которую входили эти два деятеля (вместе с Мартиновым, Семеновым и Астровым), составляла заграничный секретариат Организационного комитета, сами же О. К. находились в России и занимал по-прежнему, далеко не всегда и не во всем совпадающую с позицией куда более „чужих“ заграничных секретарей. Вообще строки, посвященные характеристике позиций и роли пятерки, а также Троцкого, следует признать весьма неудачными. Из других вызывающих сомнение утверждений автора отметим еще два: на стр. 77 сказано, что в Гос. Думе „напалась группочка с. д. рабочих (большевистская фракция)“, которая в самом начале войны голосовала против военных кредитов“. Но, как известно, в заседании Гос. Думы 23 июня 1914 г. все социал-демократы (и большевики, и меньшевики) выступили совершенно солидарно; общая декларация была оглашена Хаустовым. Не совсем точно указано, что они голосовали против Ардига, так как депутаты с. д. еще до голосования покинули заседание. На стр. 79 известные разъяснения Миллюнова к поге от 27 марта отнесены к 20-му апреля; на самом деле, они были отправлены 18 го апреля, 20-го же были опубликованы в газетах.

Весьма недавно составлена библиография к курсу истории русской революции. Для истории партии соц.-революционеров указаны лишь брошюры Слегова, Гершуни и об „устройстве боевых организаций“; надо было обязательно указать известную книгу Сиридовича, стоило бы также отметить сборник статей из „Рев. России“ вып. I, 1908 и вышедшие в России съездовские протоколы. В списке нет ни одной книги, посвященной земскому движению. Можно бы, о не указывать еще не вышедших 11-го 12-го т. т. собр. соч. Ленина, но безусловно необходимо было включить сборник статей Зиновьева, Ильина (Ленина) и Каменева „Марксизм и ликвидаторство“. Указание, что в 1908—1911 г. г. были только меньшевистские органы печати, не вполне точно. В декабре 1910 г. начала выходить „Звезда“, тогда же стала выходить (прекратившаяся на № 5) „Мысль“ (я не говорю уже о профессиональной прессе). Не знаю, о каком журнале „За рублем“ говорит автор (№ 73): был „Голос Социал-Демократа“, который надо было здесь указать, если он хотел отметить загранич. меньшев. прессу. Приписанное (№ 74) „Совр. Мира“ к бурж. англой прессе не может считаться обоснованным. Для периода войны следовало указать „Летопись“, „Дело“ брошюры и книжки Аксельрода, Мартона, Троцкого, Разанова, Плеханова, Потресова, Суханова, „Капит. Революции“ (о раб. группе центр. в-пром. кд.), „Самозащиту“ и т. д. и т. д., не говоря уже о народнических и либеральных изданиях (ведь, это библиография к курсу истории революции, а не истории партии). Непонятно, как мог автор не включить в список изданий, относящихся к февральской революции, записки И. Суханова и п. статьи А. Блока. Это далеко не все, что можно было бы поставить в упрек автору записки по истории русской революции. Но и сказанного, думаю, достаточно, чтобы признать ее не вполне отвечающей своему важному назначению.

Целый ряд статей в „Прол. Рев.“ посвящен с. д. партийным съездам. Для первого съезда даны две статьи Эйдельмана (см. примечание выше) и статья В. Певского, составленная по материалам архива Б. департамента полиции. Основная статья (скорее даже не статья, а вспоминалка очевидца и участника)—„Б истории возникновения Р. С.-Д. Р. П.“—является перепечаткой из „Нашей Страны“; новый вклад в литературу о первом съезде представляет лишь примечания Эйдельмана к этой статье. Вторая статья того же автора и работа Певского. Для второго съезда дано „Письмо к товарищам“ Павловича-Красикова (перепечатано с загранич. издания 1904 г.), с примечаниями Лешинского. Почему письмо попало в отдел статей, а не материалов—трудно сказать, так как, представляя с собою от из многочисленных документов фракционной литературы, возникшей в связи со съездом, оно может лишь поужить одним из источников для будущей истории второго съезда. Третьему съезду посвящена статья Антова, интерес

которой потерпевается тем, что в ней вскрыты псевдонимы многих участников съезда и названы некоторые члены тогдашних партийных центров¹⁾.

Подробнее хочется остановиться на статье О. Варенцовой об объединительном съезде. Протоколы этого съезда вышли в 1907 г. в России (в Москве). Еще раньше, в 1906 г. опубликован был известный доклад об объединит. съезде Ленина. Этот же доклад был недавно перепечатан, со всеми приложениями, в VII т. собр. соч. Ленина; в том же томе помещены речи Ленина и некоторые другие материалы о съезде. При таких условиях может возникнуть вопрос: да стоило ли вообще печатать в специальном журнале обширнейшую статью Варенцовой, если в ней нет ни одной почтенной мысли, которая не была бы уже высказана в докладе Ленина, и нет ничего нового сравнительно с протоколами, кроме пары-другой имен делегатов съезда? Раз статьи тем не менее печатаются, то читатели в праве, по крайней мере, требовать, чтобы пересказ упомянутых докладов и протоколов съезда был вполне удовлетворительным. Так ли это, однако, на деле?

Обратимся, напр., к тому списку участников объедин. съезда, который приложен к статье Варенцовой. Список взят из протоколов, но достаточно сколько-нибудь внимательного просмотра этих протоколов, чтобы убедиться в несправности помещенного в них списка участников съезда. А между тем ошибки протоколов, списка не замечены были составителем статьи и остались неогороженными. Так, и в протоколах, списке, и в „Пр. Рев.“ тульским делегатом обозначен Стодолин, уфимским—Петрунин, Сипягинской военной организации—Алексеев и Борисов, харьковскими—Величко. („Пр. Рев.“ № 4, с. 141; прот., с. V: все это псевдонимы). А в тексте протоколов читаем: на стр. 29 об утверждении уфимским делегатом (а не тульским, Ш. Л.) Стодолина; на 46 и сл. стр.—спор между харьковскими делегатами Петруниным и Алексеевым, с одной стороны и Артамоновым, с другой. (На с. 47 даже прямо сказано: „Встают два делегата г. Харькова, Петрунин и Алексеев...“). Из одной речи Дана (стр. 279 Прот.; ср. также с. 338—339) видно, что под псевдонимом „Руденко“ выступал на съезде Ермаченский (об этом же говорится в „Истории“ Мартова, с. 195); Варенцова эти указания не использовала, как не использовала она и тех страниц протоколов, которыми устанавливается, что под псевдонимом „Основского“ выступал на съезде Строев (с. 302—303).

Я делаю эти, б. м., мелочные указания не потому, что придаю всему этому самостоятельное значение, а для того, чтобы показать, как подошел автор статьи к разрешению поставленной ему весьма несложной задачи. Надо, ведь, заметить, что такое отношение к деталям, в частности в ряде случаев имело и более существенные последствия. О докладе Череванова, напр., в статье сказано, между прочим: „Необходимым условием победоносного восстания докладчик считает дезорганизацию войск и переход их на сторону восставшего народа“ („Пр. Р.“ № 4, с. 114). Череванов же говорил о „дезорганизации войск и переходе части их (курсив мой) на сторону народа“ („Прот.“, с. 316) Придавалось ли значение этому „оттенку“ мысли? Из речи Плеханова видно, что безусловно да. Полемику с Винтером (Красным), он говорил: „Мы не говорим, что для успеха восстания необходим переход всего войска на сторону народа“. Напомнив об обстоятельствах взятия Бастилии, Плеханов сделал вывод: „Значит, возможен частичный переход, и этот частичный переход имеет в виду наша резолюция“ („Прот.“, с. 321). В другом, случае, вместо „значительная масса крестьянства проникнута наивной верой в царя“ („Прот.“, с. 165) получилось просто—крестьянство проникнуто верой в царя („Пр. Р.“ № 4, с. 91), в третьем случае протест 200 тифлисских рабочих против мандатов тифлисской делегации („Прот.“, с. 284) превратился в протест со стороны просто тифлисских рабочих („Пр. Р.“ № 4, с. 74) и т. д., и т. д.

Следует также отметить, что автор, весьма широко пользуясь докладом В. Ленина, приводя сплошь да рядом подлинные его выражения, источник, однако, не указывает;

¹⁾ Рецензия была уже дана для печати, когда получены были вновь вышедшие 5 и 6 №№ журнала; в № 6 (с. 248) Л. Каменев исправляет ошибки, допущенные Лядовым при выведении участников третьего съезда.

весьма обильно цитируются также протоколы, по редкой такой „цитата“ (заключенная в кавычки) вполне точно воспроизводит текст подлинника. В приложениях к статье мы не находим принятых съездом резолюций: даны лишь проекты, внесенные съездом-ским меньшинством.

Помимо указанных статей, в рецензируемых №№ „Пролетарской Революции“ помещены интересные заметки Маркушевича („Детство и отрочество Степана Халтурина“), В. Гонтч-Бруевича („Некоторые сведения о юношеских годах В. И. Ленина по официальным документам“) и две статьи Л. Дейча: „Н. А. Некрасов и семидесятники“ и „Виктор Обнорский“. Из двух последних статей большего внимания заслуживает статья об Обнорском, не совсем, впрочем, новая, так как наиболее существенное из того, что в ней содержится, уже было автором сказано в другом месте („Рабочий Мир“, 1919 г., № 10—12). Статья вызывает кое-какие вопросы и возражения. Дейч рассказывает, что Обнорский, когда начались аресты чайковцев и распропагандированных рабочих, отправился в Арханг. губ., потом вернулся в Петербург и там вел успешно пропаганду и агитацию среди рабочих, зимою 77 г. принял участие в стачках; организовав — вместе с Халтуриним и другими — Сев. Русск. Раб. Союз, Обнорский поехал летом 1878 г. за границу по делам Союза. Другое рассказывает В. Бурцев в статье „Сев. Союз Р. Рабочих“ („Былое“, 1906, № 1). По его словам, Обнорский уже до своей поездки 1878 г. долго жил за границей, где был близок к набатовцам, а также хорошо познакомился с редакцией „Работника“. В Россию Обнорский приехал с готовым планом организации „Союза“. Обе эти версии очень существенно расходятся, и можно лишь пожалеть, что Дейч не отметил этого в своей статье и не сообщил, на основании каких именно данных он предпочел свою версию Бурцевской. По словам Дейча, Сев. Союз весной 1879 г. прекратил свое кратковременное существование, причем разгром его был результатом работы Рейнштейна. Но еще Бурцев писал, что Союз „просуществовал до половины 1879 г. или даже, можно сказать, до весны 1880 г.“. А в настоящее время можно считать установленным, что окончательно Союз разгромлен был не с арестом Обнорского и др., как думает Дейч, — это был первый, хотя, быть может, решающий разгром, — а тогда, когда взята была типография „Рабочей Зари“, т. е. в марте 1880 г., причем роль Рейнштейна на этот раз выполнял, очевидно, некий Петр Суетин. (См. ст. А. Шилова в „Красн. Летописи“ № 2—3). На стр. 58—59 „Пр. Рев.“ № 3) Дейч говорит о „каком-то“ (кавычки мои) штабс-капитане Соколове, состоявшем, вероятно, на службе по охране политических преступников — „из „дел“ не видно, где именно он служил“. Надо думать, что это известный Соколов-Ирод. Наконец, в статье (очевидно, по недосмотру корректора) днем взрыва в Зимнем Дворце указано 4-ое февраля, вместо 5-го.

В заключение хочется подчеркнуть общее впечатление, какое производит „Пролетарская Революция“. Поскольку она публикует неизвестные документы (пока, правда, в крайне ограниченном числе) и воспоминания партийных деятелей, по столько она делает вполне своевременное и полезное дело. Пусть в воспоминаниях много пристрастия, пусть много и вообще неточностей и ошибок. Это, в конце концов, почти неизбежно, и для авторов воспоминаний, до известной степени, даже простительно. Поэтому, за воспоминания, за документы и читатель вообще, и читатель-сидяк скажут журналу спасибо; чем больше будет таких материалов, чем подробнее они будут — тем лучше. Зато в отделе статей многое оставляет желать лучшего. Необходимо давать больше статей исследовательского характера, а в „популярных“ статьях стремиться достигнуть большей достоверности, большей и „солидности“, что ли, и внимательности; наконец, в них нужно избегать той тенденциозности, которая дает себя знать не в субъективном освещении событий только, а даже в самом изложении фактов.

Кроме того, в журнале слишком много места отводится перепечаткам, особенно из изданий, вышедших в России.

Словом, больше новизны, больше внимания, больше науки — и журнал тогда действительно принесет всю ту пользу, которой все мы в праве от него ожидать.

Ш. Ленин.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“.

ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

Библиотека издательства „Былое“.

Заславский Д. Поляки в Киеве в 1920 г. Стр. 47.

Нанторovich В. Французы в Одессе. Стр. 27.

Клейнборг Л. Нападение на поезд (1920). Стр. 48.

Майский С. Черный кабинет. Из воспоминаний цензора. Стр. 28.

Цоголев, П. Любовь и развращение. Стр. 30.

Замiatин Е. Три дня (Восстание на „Потемкине“). Стр. 27.

Никитин, Н. Ахерпелское счастье и другие рассказы. Стр. 48.

Слонимский Мих. Палата смертников. Рассказы. (Печатаются).

Форш Ольга. Обыватели. Рассказы. (Печатаются).

Никитин Мих. Камни. Рассказы. (Печатаются).

Зощенко Мих. Разночье. Рассказы. (Печатаются).

Павлов П. Агенты, жандармы, шпачи. Стр. 80.

Сандомирский Герм. Сестра Беатриче. Из воспоминаний католички
(Печатается).

А. Н. Чеботаревская - Сологуб.

ЖЕНЩИНА НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1789 г.

С портретом автора и вступительной статьей Федора Сологуба.
Петроград. 1922 г.

К. А. Пажитнов.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ.

(Готовится к печати).

Проф. В. А. БУТЕНКО.

КУРС НОВОЙ ИСТОРИИ.

часть I. XVIII век.

(Готовится к печати).

БЫЛОЕ

№ 22

1923

Петроград № 3372.

Напечатано 6000 экз.

ГОС. УЧЕБНО-НАУЧ. ЦЕНТРА-ТИП. ИМ. ГИД. АНДРЕЕВА. ПЕТРОГРАД. БРАСОВАЯ, 1.

Александр Первый.

(Личная характеристика).

В 1777 году, 12 декабря, в Петербурге, в Зимнем дворце, великая княгиня Мария Федоровна (в девичестве принцесса виртембергская), вторая супруга цесаревича Павла Петровича, разрешилась от бремени своим первенцем. Это и был будущий император всероссийский Александр Первый, названный впоследствии Благословенным. Он родился и воспитывался в такую эпоху, когда общий ход европейской истории уже очень сильно начал втягивать Россию в международные отношения Запада, и потому не удивительно, что когда до Александра I дошла очередь царствовать, наступившая даже скорее, чем можно было бы ожидать по летам его отца, то внешняя политика России уже находилась в неразрывной связи с внешней политикой главнейших европейских государств. Этим основным фактом в истории Российской империи конца XVIII и нач. XIX в. и объясняется прежде всего, почему на долю Александра I выпала необыкновенная судьба, почему деятельность его, как монарха, вышла далеко за пределы возглавляемого им государства и получила не только русское, но и обще-европейское значение, и почему, наконец, как он, будучи подавлен той высотой, на которую его поднял непонятный им ход истории, склонен был взирать на себя, как на орудие промысла, как на монарха, воистину отмеченного благословением божьим. И такой взгляд Александра I на себя был для него очень удобен: он снимал с него всякую ответственность за неожиданные им результаты его деятельности и бездеятельности. Промысел божий покрывал собой человека, а благословение божье окружало монарха короной воображенными лучами неземного света, чем тоже подчас можно было утешаться при отсутствии утешений иного рода. Положение, какое занимал Александр I, как исторический деятель,—положение наследственного русского самодержца, и великие события, в которых ему пришлось участвовать, требовали большого знания, гениального размаха мысли и энергии, хорошей дисциплинированной воли, словом, требовали человека, во всех отношениях из ряда вон выдающегося,—и только в этом случае, при оценке такого деятеля, можно было бы обойтись без ссылок на божественную волю. Александр Павлович, при всех своих признанных достоинствах,—скажем это с самого начала,—не был человеком настолько же необыкновенным, насколько необыкновенное казалось его судьба. Лиризм, когда был нужен, мучил

жавина наградила „порфирородного отрока“ всевозможными талантами и добродетелями; но, будучи не только лстивой, но и умной, эта муза подала новорожденному и добрый совет, исполнение коего предоставлялось доброй воле будущего венценосца:

„Будь страстей своих владетель,
Будь на троне человек“.

Исполнил ли впоследствии Александр Павлович державинский совет? Ответом на данный вопрос служит все царствование этого монарха. Но к моменту вступления Александра I на российский престол его личный характер достаточно уже определился; ибо в этот момент ему шел 24-й год (было 23 года и 3 месяца), и он был юношей, изведавшим и испытанным для своих лет очень многое; поэтому, для понимания этого характера, мы должны остановиться на анализе таких условий, под действием которых он создался: тогда-то для нас будет вполне ясно, в какой мере Александр Павлович был способен к проявлению своей „доброй воли“ для осуществления тех или иных выдвигавшихся теорией и жизнью задач и, в частности, для того, чтобы „быть на троне человеком“. В ряду этих условий надо прежде всего указать на те, которые стоят в стороне от всякой человеческой воли, т.-е. на условия наследственности. Эти условия были мало благоприятны для зарождения крепкой и уравновешенной психической организации.

В самом деле, вспомним деда и бабушку Александра, Петра III и Екатерину II, лиц разного духовного калибра, но одинаково серьезно уклонившихся от нормы, лишь в разных направлениях. Петр III с его ребячливым умом, с его слабой волей и припадками озорливости сильно ухудшал общее состояние своей выходящей личности склонностью к пьянству, повидимому, унаследованной им от своего родителя: склонность эта была так велика, что из Петра Федоровича вышел настоящий алкоголик. Если сын такого человека страдал с детства душевною неуравновешенностью, а под конец жизни и подлинною душевною болезнью, то это было только в порядке вещей. Таков именно был Павел Петрович, несомненный отец Александра. Павел Петрович своему отцу Петру Федоровичу, которого его супруга готова была бы отвести от этой роли, но едва ли удачно, при всей компетентности ее в этом вопросе, — был обязан многим и помимо предрасположенности к психозу; это — разного рода пристрастия к мелочам и, прежде всего, к мелочам военной службы, превращенной одинаково и отцом и сыном из средства в самцель и сделавшейся важнейшею отраслью их государственной деятельности. „Наука царей“, учившая их бессмысленной солдатской муштре и породившая парадоксацию и танцевальную Александру I, а также и всех его братьев, несомненно, ведет свое начало от прославленных Екатериной II игр Петра III, человека уже женатого, в солдаты, от которых он плохо отличал и свою молодую супругу. Разного наследство Александра I по мужской линии от Петра и Павла.

Что касается женской линии, то здесь из ближайших предков прежде всего — замечатель „бабушка“, женщина великой хитрости и еще более великой

половой распущенности, переходящей, и под старость совсем перешедшей, в эротоманию. Брачный союз двух маний, солдатомании и эротомании, разумеется, не обещал для потомства полного психического здоровья. Во всяком случае, едва ли мы много погрешим в истине, если скажем, что в отмеченных особенностях предков Александра I заключались условия для отягченной его наследственности. Мать Александра, бывшая виртембергская принцесса, была женщина терпеливо-практичная и уравновешенная по-немецки и по-немецки же сентиментальная, т.-е. в меру, без вреда для своего здоровья; она и пользовалась всегда превосходным здоровьем, поддерживавшим в ней ровное и большей частью веселое расположение духа; присущая ей некоторая, в немецком же вкусе, тупость мысли и убогость умственных представлений, не выходявших из круга мелких интересов ее петербургской семьи и виртембергской родни, содействовали в общем невозмутимому, себялюбиво-спокойному течению ее жизни. Мать Александра, на которую он походил, и больше всего, не только лицом, но и основными чертами своей души, сентиментальной и в то же время глубоко-эгоистической, при некоторой умственной ограниченности, и сообщила ему известную психическую устойчивость против крайней психической неустойчивости, шедшей к нему по мужской линии, от деда и, особенно, от отца.

Такова наследственность, которую в первую голову должен объясняться характер Александра: как дед и отец, он подчинялся, хотя далеко не так часто, как они, минутному впечатлению и впадал в разные противоречия с самим собою; как бабушка, совсем уже несоизмеримо с дедом и отцом, он способен был сдерживаться, подавлять свои эмоции и, хитря направо и налево, приспосабливался к обстоятельствам, плыть по их течению, в пассивной надежде, что оно само куда-нибудь его вынесет; как мать его, он при всяких событиях, при всяких неприятностях и душевных терзаниях, твердо помнил о привычках для него занятиях, вроде воинского развода или парада, об еде и сне, и вообще даже в горе не страдал ни отсутствием аппетита, ни бессонницей. Хотя тоже, как мать его, всегда не прочь был пролить слезу сострадания и умиления. В результате скрещивания и неизбежной борьбы разнообразных психических элементов, унаследованных Александром от предков, получился душевный его облик, находившийся вообще в состоянии равновесия, но равновесия неустойчивого. Поскольку Александр этим обликом не походил ни на деда, ни на отца, он был обязан наследственности по женской линии. Одно достоинство которой находилось вне всяких сомнений, это—здоровье. Действительно, голубоглазый первенец Марии Федоровны с первых же дней своей жизни заявил себя очень здоровым ребенком.

Державной „бабушке“ ее первый внук понравился сразу, как только, по рождении, она взяла его на руки и затем оставила под своим ближайшим попечением. На „господина Александра“, как шутливо называла Екатерина своего внука, лилось ее неудавшееся раньше материнское чувство, насколько к нему, при ее жизненной обстановке, она еще оставалась способна,— и на того же „господича“ вскоре была возложена императрицей надежда, как на

возможного своего наследника, вместо нелюбимого сына. Поэтому неудивительно, что попечение „бабушки“ о внуке шло гораздо дальше, чем это было желательно родителям Александра. Екатерина не оторвала его от них так радикально, как когда-то от нее самой был оторван императрицей Елизаветой ее собственный сын Павел, но все-таки не отцом и матерью, а бабушкой закладывались основы и определялось направление физического, умственного и нравственного воспитания ребенка и отрока. Для его здоровья в раннем детстве это не было вредно. Скорее напротив: Екатерина в деле физического воспитания установила новый режим, стремившийся не стеснять, не насиловать, но по возможности закалить природу, стремившийся не вступать в противоречие с ее требованиями. Ребенок, правда, еще пеленался, но иначе, — по указанию самой бабушки, — очевидно много свободнее, чем тогда практиковалось; освобожден он был также от укучивания, от тяжелых и слишком теплых покрывал, под бременем которых когда-то изнемогал и задыхался другой ребенок, будущий отец этого; освобожден был Александр и от всяких опутывательных запыриваний с ним, но зато в его обширной комнате, хотя бы он спал, всегда говорил громко, всегда в пей поддерживался свежий воздух, и самому владельцу ее, четырехмесячному „господину Александру“, в очень коротенькой рубашечке и в маленьком визаном жилетике, но всегда без чулок, вольготно было барахтаться на ковре, разостланном по средине комнаты. Когда же наступила первая весна для первого внука Екатерины, то его, освободив от чепчика, стали выносить прямо на воздух и сажать на траву или на песок на воздухе; где-нибудь в тени, на подушке, он и спал нередко по несколько часов в обычном своем свободном костюме, с голыми ножками. Не мудрено, после этого, что ребенок закалялся и не знал простуды. Бабушке „весело“ было „смотреть“ на своего спокойно переворачивавшегося на ковре внука, радовалась она и его здоровью, которому, после хорошей женской наследственности, несомненно, подействовало здоровое, гигиеническое воспитание: счастливая бабушка не могла не похвастаться перед своим корреспондентом, шведским королем, тем, что ее любимый внук „полон, велик, здоров и очень весел и не кричит почти никогда“.

Так „господин Александр“ уже в раннем детстве обнаружил способность, очевидно, заложенную в нем самой природой, — способность нравиться. Эта способность и была едва ли не самым главным преимуществом его личности.

В этом отношении Александр был прямою противоположностью своему брату Константину, родившемуся через два года после первого и пошедшему не в мать, а в отца, не отличавшегося привлекательностью ни по внешности, ни по характеру. И в глазах бабушки второй внук, или „чужак“, как она назвала его вскоре по его рождении, имел то несомненное право на существование, что он нужен был для Александра в качестве его товарища. Константин был также отобран у родителей и воспитывался совместно с Александром, разделяя с ним заботы „бабушки“, но никогда не получая от нее той нежной любви, какой дарила она своего первого внука. Также различные относились к двум братьям-товарищам и воспитателям, приставленные к ним.

И причина заключалась в разнице их характеров, вполне гармонизировавшихся с разницею и в их наружности. Напоминавший лицом и фигурой Павла Петровича, склонный к циничному шаржу и сарказму, но неспособный к логической мысли, взбалмошный и сумасбродный не менее отца, но, пожалуй, еще более его грубый и жесткий капрал, а отнюдь не рыцарь, хотя бы и потешного образа Павла Петровича, Константин Павлович не мог внушать симпатии к себе. Не то — Александр Павлович: из него вышел „сущий прелесть“, перед обаянием которого нередко не могли устоять не только женщины, но и мужчины. Уже отроком Александр покорял сердца и своею внешностью, напоминавшею тогда розового белокурого амура или херувима и внутренними своими качествами, сводившимися к умению не возвышать своего голоса, но ровно и мягко говорить одно приятное всемогущей „бабушке“, постоянно свидетельствуя ей о своей любви и преданности, „всем сердцем и душой“, не уставая в письмах к ней целовать ее „ручки и ножки“ и даже „маленький пальчик“ и подписываясь: „ваш нижайший внук Александр“. Было естественно, что Екатерина не устояла перед такой нежностью и отвечала на нее тем же, — и вследствие этого и все окружающие, восхваляя кроткий, вкрадчивый, чуждый злой насмешливости нрав маленького Александра, начали называть его „ангелом“, что, разумеется, не могло не послужить к развитию в отроке непомерного самомнения и тщеславия. Эти свойства, несомненно заложенные в нем самой природой, стали заметно обнаруживаться уже в то время, когда для дальнейшего воспитания обоих великих князей потребовались мужские руки. Эти руки не оказались ни достаточно чистыми, ни достаточно сильными. Главный руководитель воспитания Александра и Константина, граф Н. Салтыков, был хитроумный царедворец, способный лишь скрывать правду истинных отношений от глухо борющихся между собой главных действующих лиц придворного мира — Екатерины II и нелюбимого ею Павла Петровича; другой воспитатель, — граф Протасов, приставленный для ближайшего наблюдения к Александру, был человек во всех отношениях ничтожный, слышавший прямо тупицею, ханжой и трусом; такой выбор, впрочем, и не был неожиданным, ибо он обуславливался фавором, каким пользовалась у Екатерины сестра этого воспитателя, фрейлина, удостоенная с давних пор особым доверием от императрицы и ближайшая ее соучастница в делах самого интимного и далеко не назидательного характера. Отсюда ясно, что и главный руководитель воспитания и непосредственный воспитатель если и могли иметь влияние на Александра, то только отрицательное. Из дядек его выдавался своим благородством лишь Муравьев, впоследствии назначенный попечителем Московского учебного округа, но это был необычайно робкий человек, совершенно непригодный для развития в питомце твердости и укрепления в нем непоколебимой готовности следовать в жизни основным принципам морали. Не оказался к этому способным и знаменитый Лагарп, сперва (в начале 1784 г.) назначенный к великим князьям на должность наставника для преподавания разных учебных предметов, и прежде всего французского языка, а несколько позднее, после представления им императрице

записки о плане преподавания, перечисленный прямо в наставники великих князей. На Александра Лагарп имел несомненное влияние, именно как наставник-воспитатель, оставивший в самом воспитаннике прочные и светлые воспоминания, даже внушавший ему убеждения, или, по крайней мере, словесное уверение, что всеми своими знаниями и возвышенными идеями он обязан исключительно Лагарпу. Это, может быть, и верно, но беда-то заключалась в том, что сам Лагарп не был в состоянии дать своему воспитаннику столько и такой духовной пищи, сколько и какая была необходима для развития ума и характера Александра. И в числе многих причин некоторого несоответствия между педагогическими стремлениями Лагарпа и их реальными результатами на первый план надо поставить недостаток твердости и настойчивости в наставнике по отношению к ученику. Лагарп, проникнутый идеями освободительной философии, республиканец по убеждениям, был в сущности не педагогом, а пропагандистом усвоенных им новых учений о государстве и обществе, и силен он был не своею личностью, а тем обаянием, какое тогда оказывали на умы идеальные построения новой, грядущей человеческой жизни с торжеством в ней разума, свободы и справедливости, только и могущих вести к осуществлению святых принципов равенства и братства и таким образом ввести страдающее человечество чуть ли не в земной рай, сменивший для атеистов рай верующих — загробный, небесный... Декламация наставника на эти темы тем более могла иметь успех у воспитанника, что до наступления страшных моментов французской революции освободительные идеи и высокие принципы социально-политического переустройства мира носились в воздухе и обладали большою заражаемостью; от нее не спаслась сама практическая Екатерина II, что было, разумеется, известно ее внуку и что несомненно содействовало, может быть, и бессознательно, тому вниманию, с каким ученик Лагарпа прислушивался к звучным и красивым тирадам столь возвышенно-благородного содержания. Он и усвоил их твердо, навсегда, но так, как в детстве усваивают некоторые отрывки из классических поэтов, помещенные в школьных хрестоматиях, т.-е. как понравившуюся песню или музыку, а не как нечто вполне серьезное и нужное для жизни. В этом собственно и выразилось влияние Лагарпа на Александра, в том, что наставник сумел увлечь своего воспитанника хорошими словами настолько, что тот выучился их повторять „с чувством, с толком и расстановкой“. Не даром один из друзей его юности, оставшийся до старости расположенным к нему, говорит в своих записках, что „мнения“ Александра-юноши, когда он с ним впервые познакомился, „были мнениями школьника 1789 года, который желал бы видеть повсюду республику и считал эту форму правления единственною, сообразною с желаниями и правами человечества“. Но в действительности эти мнения являлись наносными, лишь кажущимися убеждениями, прочно не сросшимися с душой, убеждениями, эмоциональная форма которых обыкновенно не превышает школьного возраста, оставляющего в наследство последующим возрастам в лучшем случае лишь „толк и расстановку“, а в худшем — просто оставку. Наглядным примером того, что на новые освободительные идеи можно было

посмотреть только как на красивые фразы, удовлетворяющие прежде всего эстетическое чувство, была „бабушка“ Александра, отлично совмещавшая конституционалиста Монтескье с самодержавием российским, объяснявшая своему любимцу-внуку французскую конституцию 1791 года и тогда же со-славшая в Сибирь благородного народолюбца Радищева... Французская революция, в связи с пропагандистскими уроками Лагарпа, оказала на Александра, как и на других впечатлительных русских, хотя несколько прикосновенных к просвещению, свое несомненное влияние; но едва ли сколько-нибудь могли усилить это влияние конституционные беседы Екатерины, назвавшей деятелей Национального Собрания канальями. Напротив, общение на этой почве с „бабушкой“ скорее закладывало в восприимчивом мозгу внука, помимо его воли, примирительные начала такой житейской мудрости, какая ему очень пригодилась впоследствии, в зрелые годы, и более подходила к его от природы робкому и достаточно пассивному характеру. Кажется, незаметному, но едкому влиянию Екатерины, как ржавчина, подтачивавшему героическое содержание бесед Лагарпа, Александр был обязан тем, что из него вышел не государственный и социальный реформатор, а просто „сладенький человек“, с добродетельными и высокими словами на устах и с камнем на всякий случай на пазухой, умевший очень мягко спать, но все-таки так, что спать, кому он спал, было очень жестко. Разумеется, в данном случае влияние „бабушки“ потому и оказалось, в конце концов, сильным, что оно падало на благодарную психологическую почву: всегда отличавшее Александра себялюбие свидетельствовало, что он истинный „внук“ великой эгоистки на троне, каковой была Екатерина II, тоже большая любительница хороших слов, но никогда не останавливавшаяся перед жестокими делами, если это ей лично было выгодно. Себялюбие, это — та броня, которая охраняла его во всех трудностях жизни, начиная с детства.

В то время главною трудностью для него было ученье, но не по недостатку способностей, а потому, что он был весьма ленив. Пассивность его натуры прежде всего выражалась именно в лени, и это была не столько физическая лень, сколько худшая ее форма — лень мысли. Быстро схватывавший преподаваемое налету, обладавший тонкой, хотя едва ли особенно дальновидной, практической сметкой благоразумного немца, Александр не любил упорного умственного напряжения, и его трудно было приохотить к таким предметам, которые вызывали в нем скуку, а это и были учебные предметы. Екатерина в своих заботах об обучении внуков старалась сделать его возможно занимательнее, по себе зная, что скука вообще отвращает и от полезного дела; но даже и „бабушкина азбука“ с поговестями, пословицами, поговорками, сказкой о царевиче Февсе и изложением древней русской истории, повидимому, не привили Александру большого вкуса к учению. — и впоследствии перед его женитьбой, восхваляя добродетели Александра, его честность и бесконечную доброту, отмечали также и присущие ему „праздность, медленность и лень“.

Сам Александр хорошо сознавал эту сторону своей природы. Отдавал Лагарпу отчет в своих учебных делах и настроениях. Александр, между прочим,

однажды сообщил о следующем: когда его как-то спросили повторить пройденное по истории в предыдущий урок, то он не только не старался отвечать, но довел бесечность и лень до того, что даже и не хотел вспомнить о том, *«о чем и почему»*, прибавляет 9-ти летний отрок, — что я говорил, не зная, что говорю (*J'ai parlé sans savoir ce que je dis*)⁴. В этом эпизоде как нельзя лучше проявилось пассивное упрямство, тоже одна из природных особенностей Александра. В этом свойстве только и выразилась воля его при общем недостатке активности, внутренней энергии духа. Но означенный недостаток не казался Александру недостатком: напротив, состояние даже полного покоя представлялось ему в высшей степени желательным, — чуть ли не идеалом существования: «Так приятно ни о чем не стараться, — признавался он Лагарпу в том же письме, — что я бы желал даже, чтобы другие могли так жить: ходить, есть, пить и говорить; и я ничему так не завидую, как походить на статуя (*et je n'envie rien tant que de ressembler à une statue*)⁵». Разумеется, это было лишь сильной реакцией требующему учебной напряженности мысли, но столь определенно выраженная эта реакция и говорит нам, что в этом мальчике формировался не крепкий, а слабый волей человек, которому были неприятны как раз волевые акты. Лагарп, очевидно, считался с этой особенностью личности своего старшего ученика, но не как педагог, долженствующий побороть природную лень и апатию, а как человек, желавший быть почти на равной ноге с воспитуемым и потому снисходительно необременявший его серьезной переработкой с ним учебного материала и приучением его чрез то к самостоятельному умственному труду. Этим отношением к своему прямому делу Лагарп и достиг того, что Александр привык к своему наставнику и сделался не столько его учеником, сколько младшим другом; но от этого в значительной мере проиграло истинное образование в Александре ума и характера. Вместе с тем тогда же стало выясняться, что этот большею частью мигкий и скромный мальчик, неспособный побороть в себе лениности, оказывался очень стойким, когда дело касалось его личных интересов, особенно его самолюбия и тщеславия, и стремился, хотя и кроткими способами, так или иначе настоять на своем, даже на своих капризах. Любовь „бабушки“ и снисходительность Лагарпа, спускавшего до ученика, несомненно содействовали развитию в Александре уже отмеченной выше психической черты и созданию из него „кроткого упрямца“, как Екатерина милостиво называла своего старшего внука.

Огорчение прошло; для Александра наступила первая весна юности, но она, увы, привнесла ему не укрепление еще только расцветающей души, а ослабление и в то же время преждевременное загрязнение ее. Прежде всего Александра должна была еще более расхлябать слишком ранняя его женитьба, состоявшаяся, когда он еще не достиг полных 16-ти лет (28-го сентября 1793 г., а родился 12-го декабря 1777 г.). Сама Екатерина полагала, что внук ее не достиг еще и полного понимания реального назначения брака, и потому, говорит, предварительно поручила его одной из своих служивших фрейлин для познакомления этого вопроса в его воспитании. Певестя

Александра, баденская принцесса Луиза-Августа, превратившаяся у нас в Елизавету Алексеевну, была моложе его, всего 14-ти лет, чем, повидимому, и обуславливалась необычайно заботливая предусмотрительность „бабушки“. „Большой двор“ отличался настолько большим развратом, здесь выдали такие опыты, что едва ли много нашлось лиц, которых удивила эта своеобразно-педагогическая мера императрицы. Но, несомненно, на самого юного жениха эта мера подействовала очень вредно, ибо сразу загризнула его, может быть, еще очень робкое чувство к невесте и повела к некоторому огрубению его нравов. Здесь, вероятно, тантиса мутный источник быстрого охлаждения Александра к молодой жене и появления у него, и в довольно скором времени, такого к ней отношения, что он не только стал равнодушно относиться к уходу за ней своего польского друга (Адама Чарторыйского), но даже и поощрил его страсть и нескромные искания ответного чувства... Путь к этому разводу Александра от жены намечался уже в первые месяцы их супружеской жизни. В самом деле, женившись, „молодой человек“, как в то время попрежнему шуточно называла своего внука Екатерина, значительно переменялся, стал много развитее, начал понимать временами вино и, подобно своему деду, удаляясь от своей супруги, „шалал“ непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно“, а по отношению к юной жене иногда обнаруживал, как сообщает Протасов, „некоторый род грубости, не соответствующий нежности ее пола“. При таком обороте дела, жизнь молодой четы или „Амура и Психеи“, по обычно шутовскому определению Екатерины, не могла долго быть счастливой, тем более, что „Амур“ скоро оправдал свое наименование и, будучи уже более опытным, чем раньше, направляя свои стрелы в сердца иных очаровательниц и вообще нигде не пропускал своим вниманием привлекательного женского лица: так, польский друг Александра и, может быть, преемник его у оставленной Психеи (хотя некоторые в этом сомневаются), свидетельствует, что Александр „очень любил наивную красоту престыянок“. Вообще, этот человек ссутловатый подросток начал чувствовать себя мужичиной, и при том тоже очаровательным, каким он и признавался всеми, начиная с забавницы „бабушки“. Она предвидела возможные осложнения для внука от его очаровательности, столь опасной для женских сердец, но больше всех сделала и своим личным примером и экстраординарной своей мерой полового воспитания для того, чтобы Александр пристрастился не избегать удовольствий и наслаждений, на какие наталкивали его присущие ему дары очарованья... „Бабушка“, никогда ни к чему и ни к кому, кроме своей особы, серьезно не относившаяся, все пошучивала, да пошучивала, и не заметила, как из ее старшего, любимого внука, на которого она возлагала столько надежд, вышел „молодой человек“, ничего толком не знавший, но очень много для своих 18 — 19-ти лет познавший, весьма обленившийся, но не устававший говорить общие места о любви к свободе и человечеству: не заметила она и того, что внук с полною неблагодарностью, в общем прикидательно, оценивает и личность и деятельность своей „бабушки“, у которой он когда-то с такою нежностью целовал на „ножке“ „маленький

наличия". Ранняя женитьба помешала правильным учебным занятиям, от которых молодой муж под разными предлогами, создававшимися именно его жизнью с женой, стланивал, и которые, в конце концов, были совсем оставлены. Главным образом, вследствие „лени и нерадения“, забравших всецело под свою власть слабовольного женатого ученика. Себялюбие попрежнему охраняло Александра от укоров не только таких людей, как Протасов, которого он совсем не уважал, но даже и своей собственной совести, ибо еще с отрочества он привык ставить свою личность в центр вселенной: „лишь бы на мои глаза и был совершенством,— исповедывался он тогда Лагарпу,— мне нет дела до сострадания разумных людей о моем невежестве“. Но „разумные люди“ сравнительно редко „сострадали“, гораздо чаще они хвалили, хвалили за природные способности, за ум, за доброту, и потому самолюбие Александра находило постоянно обильную пищу, год от году становилось огромнее, заставляя его биться на такие пути для его удовлетворения, на которых не требовалось большого умственного напряжения. Не без наивного фанфаронства он сам сознавался в своих писаниях Лагарпу, что „чрезвычайно нечувствителен ко всему, что не задает прямо самолюбия“, сознавался, что „тщеславен“: „мне бы хотелось,— лукаво откровенничал он,— выказываться и блеснуть на счет ближнего, потому что я не чувствую в себе нужных сил для приобретения истинного достоинства“. При таком настроении, несколько не удивительном в самолюбивом юноше, к тому же хорошо знавшем, что его верховная воспитательница тоже выказывалась и блистала на счет своих ближних,— религиозное чувство не могло особенно сильно развиться в Александре, какой бы законоучитель ни был к нему приставлен. К тому же в пору его отрочества к ранней юности еще продолжался польтернянский век. „Я был, как и все мои современники, не набожен“, впоследствии вспоминал Александр, воспитанный в христианской вере протоиереем Андреем Афанасьевичем Самборским, религиозность которого заподозревалась, но который учил своего питомца: находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего, „и тогда никого не обидишь, и тогда исполнится закон Божий“. Не будучи в юности очень религиозным, Александр однако очень рано (13 лет) научился править покорное смирение паче гордости. Привычки к серьезному чтению Александр не приобрел и позднее, в этом отношении уже совсем не находя на свою знаменитую „бабушку“. „Александр за все время, пока был великим князем,— великодушество и свидетельствует расположенный к нему Чарторыйский,— не прочел до конца ни одной серьезной книги“. У него вообще мало было вкуса к такому чтению, но ранняя женитьба и все, соединявшееся с ней, в особенности помешало развиться этому вкусу. Сверх того, громадной помехой тому же являлась военная служба под руководством его опального отца, которая для Александра началась так же рано, как и семейная жизнь. Эта служба в Гатчине, в месте пребывания цесаревича Павла Петровича или „малого двора“, допущенная Екатериной, связывала сына с отцом и вместе с тем связывала тот традиционный узел много рода, чем с „бабушкой“, отношения, узел, в котором закрутились и погибли жизнь Павла и душевное спокойствие Александра.

Екатерина, беря детей своего сына Павла под свою опеку и под свое общее руководство их воспитанием, не устранила влияния на них и со стороны родителей. Это влияние развивалось совершенно в противоположном направлении тому, которое шло от „бабушки“. И как последняя ни была ласкова, все-таки родители нередко перетягивали детей на свою сторону. Уже самые жалобы на отнятие у них детей, на насилие над родительским чувством, не могли не вызывать в детях сочувствия к родителям и, следовательно, затаенного негодования на „бабушку“. Здесь, вероятно, и надо искать зерно, из которого впоследствии выросла и пышно распустилась неприязнь к памяти Екатерины II положительно у всех ее внуков. Александр Павлович из них был самый впечатлительный и в то же время самый тонкий, почему, негодя в душе на „бабушку“ за произвол и обиды, допускаемые ею по отношению к его отцу, он наружно был на ее стороне и тем крепче связывался с отцом внутренне, незаметно для себя, следуя голосу крови, переходил в психологическую оппозицию Екатерине и всем порядкам или, точнее, беспорядкам, связанным с ее правлением. Он не допускал, как его брат Константин, того, чтобы в угоду „бабушке“ и к удовольствию ее фаворита, комично копировать своего отца, а за глаза резко отзываться о „бабушке“, но тем не менее и Александру приходилось продумывать, сверх возвышенных теоретических идей, внушаемых республиканцем Лагарпом, еще два строя практических мыслей и испытывать двойные, чисто житейские эмоции, лавируя между бабушкой и отцом, и, таким образом, невольно культивировать в себе, присущую ему и от природы, способность более или менее тонкого актерства.

Две диаметрально противоположные роли чаще других пришлось ему исполнять в юности: роль хитрого и вкрадчиво любезного царедворца, тщательно изученную при „большом дворе“, и роль усердного и исполнительного слугаки-фронтовика, еще более тщательно, до всех мелочей, изученную при „малом дворе“. „Малый двор“, это — Гатчина с ее модельной, хотя и живой, армией всех родов оружия по прусскому образцу, с ее постоянными плац-парадами, маневрами и вообще неукоснительной, усердной „службой“, с ее маньяком-службистом цесаревичем, с трепетом ждущим то короны, то гибели от собственной матери, верующим в бога и Фридриха II, при чем во второго даже глубже, чем в первого. В Гатчине мягкий и впечатлительный Александр естественно научился и рассуждать и поступать „по-гатчински“, как он сам тайком от „бабушки“ заявлял с характерным пояснением: „по-нашему“, чем он как бы подчеркивал, где находятся настоящие, более прочные его симпатии.

Таким образом, у Александра должна была создаваться весьма сложная, крайне противоречивыми элементами, какая-то сумбурная психика. Республиканская закваска поднимала в его душе протест против окружающей его действительности; но так как эта закваска была не сильна, то и самый протест выходил весьма слабым, выражаясь лишь в словесных излияниях перед теми, кому он мог понравиться. Так, в письме (в мае 1796 г.) к В. П. Кочубею, в оппозиционности которого Александр не сомневался, он в резких выражениях нарисовал отрицательную картину екатерининского царствования с такими

людьми в высшем управлении, которых он „не желал бы иметь у себя и лакеями“. „В наших делах, — писал он, — господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон: все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению своих пределов“. И приходя все в больший и больший пафос, 19-летний Александр уверяет в своей решимости отречься от предстоящего ему высокого поприща и удалиться с женой в частную жизнь, переселившись куда-нибудь на берег Рейна; немного ранее (2 февраля 1796 г.) о таком намерении своем Александр писал Лагарпу, рядом с домом которого в родной ему Швейцарии он желал бы поставить свою ферму... „Непостижимо, что происходит, — пояснял Александр свой кокетливый пессимизм касательно возможности ему в будущем царствовать, — все грабят, почти не встречаешь честного человека; это ужасно“. Все это было просто стихотворениями в прозе, которым способный и женственно-впечатлительный юноша доверил свои навеленные любимым наставником и великим французским переворотом мечты. Это такие мечты, относительно которых в самой глубине души обыкновенно таится убеждение, что они — длинные мечты, что им никогда не суждено осуществиться: так мечты, хотя бы и с подкупающей искренностью выраженные, направлялись в ярко освещенное, но совершенно пустое место.

Военные занятия в Гатчине окончательно отбивали Александра от умственных занятий, от чтения серьезных книг, и в письме к Лагарпу (27 окт. 1795 г.) он как бы недоволен таким положением дела, но это — фиктивное недовольство, высказанное для бывшего наставника, ибо в письме к нему же позднее (13 окт. 1795 г.), уже войдя, по видимому, во вкус гатчинской военщины, Александр не мог скрыть, наоборот, самодовольства, которым он был переполнен в своем новом положении гатчинского служаки: „Нынешним летом, — писал наш юный воин, — могу действительно сказать, что я служил, ибо, представьте себе, каждый день, в 6 часов утра, мы должны были ездить в Павловск и оставаться там до первого часу, а часто даже и после обеда, не исключая и праздничных дней"... Лагари, при его педагогической догадливости, вероятно, сразу понял, что его бывший воспитанник вполне удовлетворен своей „службой“ и горд успехами в ней, что он в этом отношении был вполне сыном своего отца и внуком своего деда. В этой „службе“ Александра, как и его ближайших предков, привлекала военная игра, а не дело. К военному делу он был вполне равнодушен, и потому не удивительно, что когда однажды Екатерина решила послать своего старшего внука с генералом Кутузовым произвести осмотр крепостей по шведской границе, то Александр не проявил к этому поручению интереса, и „дело окончилось ничем“. свидетельствует Чарторыйский. Зато с громадным интересом Александр относился ко всевозможным мелочам службы: к вахт-парадам и смотрам, возведенным в Гатчине в ранг самого серьезного дела. На этой-то почве, на почве наследственной парадомании укрепились в Александре естественная в сыне любовь к отцу, чему опять-таки содействовал любимый наставник Александра, Лагари, несмотря на долгое предубеждение против него Павла Петровича, встал в критическую минуту на его сторону. Он

начал с того, что привлек самого Павла к его сыновьям, посоветовав сближение и доверие к ним, а потом, когда Екатерина незадолго до своей смерти задумала сделать „наставника“ своих внуков орудием осуществления давней ее мысли — лишить права на российский престол своего сына и передать это право своему старшему внуку, то Лагарп отклонил от себя миссию убедить Александра согласиться на сделанное ему „бабушкой“ предложение и уже одним этим отказом поддержал своего воспитанника в его отрицательном отношении к династическому проекту Екатерины; после чего Лагарп и должен был проститься с Александром, с которым ему суждено было еще увидаться позднее, и не раз, но уже совсем при иных условиях. Екатерина не учла сыновнего чувства Александра к Павлу, с которым его еще более сблизила именно гатчинская „служба“, окончательно вернувшая ему отца и давшая им обоим одного и того же друга, самого ретивого и беспощадного гатчинского служаку — Алексея Андреевича Аракчеева.

Несомненно, именно под влиянием отца, Александр понял, какой нужный и незаменимый человек этот истинно русский неученый дворянин, как Аракчеев сам называл себя: ибо Александр, после высокогуманной проповеди Лагарпа о любви к человечеству, услышал вместе с братом своим Константином от отца иное лаконическое наставление: „вы видите, дети,—сказал своим сыновьям Павел по поводу кровавых событий французской революции,—с людьми надо обращаться, как с собаками“. Сразу было видно, что Аракчеев в высокой степени способен к такому обращению, и потому-то отец и сын его столь высоко оценили, при чем сын оказался даже последовательнее отца, научившись из его примера, как губительно было для него даже на время лишиться такого верного и „без лести преданного“ слуги, как Аракчеев скромно себя аттестовал.

Когда Павел был опальным наследником, Александр больше любил отца, чем боялся; но и тогда страх перед ним жил в сердце сына, невольно искавшего поддержки в своем старании угодить отцу и находившего эту поддержку в знатке всех тонкостей гатчинской службы, в Аракчееве; отсюда-то и вышла симпатия мягкого, светски образованного и изящного юности Александра к грубому и, как медведь, неуклюжему павловскому инструктору. Таким образом, Павел несколько запоздал с своим приглашением, — быть друзьями, сделанным в первый день своего царствования Александру и Аракчееву, руки которых он соединил. Они уже были „друзьями“ и крепко держались друг за друга, а в царствование Павла эта „дружба“ сделалась прочнее — настолько, что пребывание с Аракчеевым стало представляться Александру „великим утешением“ и могло, по его же собственным словам, „загладить некоторым образом печаль разлуки с женой“. Так у Александра получились два „друга“ — „respубликанец“ и „гатчинский капрал“, и они очень хорошо разместились в любвеобильном сердце будущего „Благословенного“.

При Павле I Александру нужнее был второй из „друзей“, и потому в его сердце он занимал тогда большее место, оставив отсутствующему Лагарпу меньшее; ибо, помимо того, что с глаз долой — из сердца вон, — а Лагарп хотя

и на меньшем месте все-таки в нем остался, — этому неравномерному положению „друзей“ в сердечной жизни Александра способствовало чрезвычайное усиление в нем страха перед отцом-императором, довольно скоро обнаружившим перед окружающими его все признаки маниакального помешательства. Вследствие этого страха, Аракчеев сделался Александру гораздо нужнее, чем раньше, — для того, чтобы помогать ему так или иначе выходить с честью или, по крайней мере, без взысканий из все увеличившихся служебных затруднений и опасностей. С другой стороны, страх затемнял в душе Александра светлое чувство сыновней любви, и теперь он уже более боялся отца, чем любил; а это повело к тому, что с течением времени Александр, не вырвав из души своей симпатии и к отцу и к главному его делу — военной службе, неизбежно встал в оппозицию к безумным приемам его правления; эта же оппозиция, в конце концов, существенно и выразилась в согласии на предложение высокопоставленных заговорщиков добиться у Павла отречения от престола. То, что ради сыновнего чувства, поддержанного любимым наставником, Александр когда-то отклонил, находясь в тайной оппозиции к правлению своей бабушки, — теперь, под влиянием страха за собственную особу и вне влияния своего наставника, он пассивно принял, как единственный выход из невыносимого, рокового положения, в какое ставила его прогрессирующая болезнь отца. И из этого положения, разумеется, его не мог вывести никакой Аракчеев, сам потерявший всякий кредит у Павла, а могло спасти лишь старинное средство, уже не раз испытанное при русском дворе и освященное авторитетом все той же „бабушки“, т. е. насильственный дворцовый переворот. Из такого столкновения обстоятельств и создавалась в душе Александра та известная драма, которую некоторые отрицают, исходя из того, что эта личность, себялюбивая и безнадежно-фальшивая, по бессердечию своему, неспособна была к какой-либо внутренней тяжелой борьбе с самим собой. Мы думаем и оцениваем личность Александра не так. Отбрасывая все посторонние историческому значению тенденции, нередко оказывавшие свое влияние на характеристики царей, мы строго держимся фактов и тщательного их анализа, стремясь единственно к исторической истине, какова бы она ни была. Из предшествующего уже изложения видно, что как в наследственности, так и в окружающей в детстве и юности Александра обстановке было много условий, неблагоприятно отразившихся на психическом складе его личности, и в момент перед решительным шагом в жизни этого человека он поражает исторического наблюдателя совместительством в своей личности крайне противоположных свойств, совокупность которых дает общее впечатление какой-то неопределенности. При оценке умственных способностей Александра, близкие к нему люди приходили к очень восторженным заключениям; так часто бывало, когда оценивались способности столь высоко поставленных лиц: стоило царю иметь какой-нибудь ум, чтобы прослыть у многих чуть ли не гением. Так, в значительной мере, случилось и с Александром: умственные способности его, его политическая проницательность и дальновидность, значительно преувеличены и некоторыми современниками, и неко-

торыми историками (из новейших — в. кн. Николай Михайлович, А. А. Кизеветтер); но, даже приняв все это во внимание, все-таки следует сказать, что Александр был способный человек, быстро схватывавший сообщаемое и быстро выводивший из узанного заключения, особенно применительно к своим личным выгодам. Умственная чуткость и сметливость его не подлежат ни малейшему сомнению, но дальновидной сообразительности, широкого взгляда на общий ход событий и способности предвидеть более отдаленные возможности у Александра не заметно; и, таким образом, в общем итоге пред нами человек среднего умственного калибра, не столько умный и прозорливый, сколько сметливый и способный постоянно быть себе на уме, хитрый из боязни, по необходимости. Но этот „хитрец“ был не бездушной куклой. Он обладал не только этими житейскими, обиходными качествами ума, но и большим честолюбием, соединившимся с некоторою горячностью темперамента. Так получилась уже более сложная натура, вполне способная к внутренней борьбе, обладавшая и стремлением к славе, и способностью почувствовать разные пути к ней. Другие свойства этой натуры были тоже противоположны и тоже могли влечь за собой внутреннюю борьбу: мечтательный и слабовольный, но подталкиваемый самолюбием и тщеславием, Александр склонен был и к упорству, не освобождавшему его от подчинения чужому влиянию; это последнее обстоятельство — подчинение чужому влиянию — в самые серьезные моменты его жизни и царствования и доказывает неопровержимо, что настоящей воли не было у Александра. В течение всей своей жизни он не мог побороть в себе главного отрицательного свойства своей природы — лени, так и оставшись до конца „врагом труда“, как назвал его Пушкин, а непобежденная лень и содействовала подчинению его то одному, то другому постороннему влиянию.

Итак, в психике Александра были все условия для душевной драмы: он из честолюбия был способен на рискованный преступный шаг, отнесшись к нему с легкомысленной беспечностью и выlostью, не предусмотрев всех возможных его последствий, ибо он всегда думал более о себе, чем о других; и он способен был, после события, оценить моральную неправильность этого шага и искренне мучиться угрызениями совести, пережить тяжкие минуты от позднего сознания своей вины и вспоминать о них с подлинным ужасом до самой своей смерти. Так, мне кажется, теоретически решается вопрос о душевной драме Александра. В эпизоде заговора против Павла и его убийства проявились все важнейшие особенности личности его старшего сына, которые он затем проявляет во многих эпизодах и своего собственного царствования.

Положение Александра в качестве наследника было очень трудное. Военная служба, успехи в которой раньше, в Гатчине, радовали честолюбивое сердце Александра, бывшего тогда скрытым гатчинцем, теперь, в Петербурге, обернулась к нему своей отрицательной стороной, ибо, под руководством императора Павла, сделалась невыносимо-придирчива и трудна... И Александр-наследник незаметно очутился в оппозиции своему отцу и тому мелочному харак-

теру службы, который раньше одобрял, будучи в тайной оппозиции большому двору и распушенной повадке екатерининской службы. Теперь Александр с горечью пишет Лагарпу о том, что он „теряет все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера“ и „не имеет“ „решительно“ „никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составляющим“ его „любимое времяпровождение“. Теперь он чувствует себя „самым несчастным человеком“. Сближение Александра со знатым польским патриотом, князем Адамом Чарторыйским, содействовало этой перемене фронта. Влияние умного и ловкого князя Адама на Александра едва ли можно отрицать: оно-то и сыграло, мне кажется, наиболее активную роль в составлении тех неопределенных, но широко либеральных планов будущей преобразовательной деятельности, с которыми Александр начал носиться в интимных беседах, устных и письменных, в царствование Павла; эти планы и мечты о „свободной конституции“ настолько не соответствовали „мелочам военной службы“, что неизбежно делали престолонаследника — с массой фиктивных должностей, но с действительными обязанностями лишь „унтер-офицера“ — „несчастливым“ и заставляли его думать, что истинное его призвание — научные занятия. Это был искренний самообман податливого на чужое влияние человека. Влияние Чарторыйского было так велико, что именно от него в это время Александр ждал наиболее правильного выражения своих политических мечтаний. Это видно из поручения ему составить проект манифеста, долженствующего в будущем, когда Александр вступит на престол, облагодетельствовать Россию новым порядком управления, всеми выгодами свободы и справедливости и поразить мир великодушием самого благодетеля-реформатора, решившего, по совершении великого государственного преобразования, сложить с себя власть. Уже одна такая заготовка манифеста в прок показывает, что Александр любил власть и желал ее использовать, дабы приобрести всесветную славу. Пред его умственным взором рисовалась залитая лучезарным светом картина, в которой он сам, общий любимец, ангелоподобный Александр — главная фигура в эффектной и красивой позе, и вдруг эта картина должна была раз навсегда исчезнуть. Во мгновение ока, как чудный, никогда не сбывающийся сон... — Александру грозила опасность от Павла, сыну от отца, который, разумеется, не мог забыть, что сын выставлялся, помимо его, кандидатом на престол, был его соперником по власти; мнительность Павла с каждым годом, а под конец с каждым днем, возрастала все более и более, дойдя, наконец, до чудовищных размеров, готовая сокрушить все и вся. Самовлюбленность и страх за себя заставили Александра со вниманием прислушаться к доводам Панина и Палена о необходимости добиться от Павла Петровича отречения от престола, а затем и дать свое согласие на занятие отцовского места. Но согласиться на это значит — одобрить заговор против отца; Александр как-то не вики в полную возможность трагического исхода задуманной политической авантюры... Впоследствии ему казалось, что он был вполне уверен в данном ему главари заговора слове сохранить жизнь отца, и некоторые современники, хорошо знавшие Александра, верили в голубиную невинность его в этом кровавом

деле; но большинству не верилось тогда, да и теперь не верится, чтобы вполне зрелый — 23-х летний человек оказался до такой степени наивным, чтобы совсем не подозревать, как обыкновенно кончаются подобные дела. Чужая душа — потемки, но вполне вероятно, что мысль о возможности катастрофы с отцом мелькала в уме сына, но он прогнал ее, старался думать, что это напрасные опасения... Он просто пассивно отдался течению событий, подталкиваемый страхом перед отцом и хитроумными лестными уговорами, возбуждавшими его честолюбие. При свойственной ему лени души, он преждевременно не утруждал себя усиленными размышлениями и к замысливаемому предприятию отнесся несерьезно, как тщеславный, трусливый и легкомысленно-податливый мальчик, а не зрелый молодой человек: не даром в нем и в позднейшее время такой сердцеведец, как наш великий Пушкин, замечал „много детского“, а любившая его бабушка Екатерина II когда-то заподозривала в нем умственную простоту, недалекость, как у его матери... Да и пред самым приведением заговора в исполнение Александр вел себя весьма трусливо, по-детски... Офицеру, начальнику караула, смененного на свою голову Павлом в его последнюю ночь, навсегда осталась памятна та сцена, когда Александр тихонько выглянул из-за двери и, как испуганный заяц, сначала крался вдоль стены к своему брату Константину, беседовавшему с офицером, а потом, услышав шаги наводившего на него панический ужас отца, прыснул в свою комнату. Александр не раздевался в эту ночь, навсегда омрачившую его душу, а когда узнал о том, что ему приходится шагнуть на трон предков через труп отца, жертву заговора, в который он допустил втиснуть и себя, то он рыдал и убивался, как ребенок или истерическая женщина. Он был совершенно подавлен. Можно допустить, что он не ожидал такого финала, по крайней мере ясно, отчетливо о нем не думал, и старался не думать и, обманув себя, как все слабовольные люди, поверил, что не думал. Он так растерялся, что нуждался в поддержке и нашел таковую в лице своей супруги Елизаветы Алексеевны, обнаружившей в эту мрачную ночь столько твердости, сколько непостоянный муж обнаружил слабости. Не подлежит сомнению, что в поддержке Александр нуждался и тогда, когда его вовлекали в заговор, и если бы таковая у него оказалась тогда, то, может быть, ему не было бы суждено сделаться невольным соучастником в царевубийстве. Это он сам сознавал, почему при свидании с возвратившимся из Италии своим польским другом имел известное основание сказать ему, что ничего не случилось бы, если бы он был при нем в то трудное, непосильное для него время. Вступать на престол с пятном отцеубийцы было совсем неблагородно, морально некрасиво, и болезненно-самолюбивый Александр страдал от такого сознания. Но надо было царствовать, и он начал царствовать, стараясь сделать все, чтобы было забыто это пятно не только другими, но и им самим.

В течение своего царствования Александр, психический облик которого мне кажется, достаточно уже выяснен в предшествующем изложении, проявил три свои основные особенности: большое честолюбие, немалое женолюбие

и очень малую любовь — чтобы не сказать отсутствие всякой любви — в России и русским. Великие события, конечно, шли своим чередом, захватывая своим подчас бурным течением российского самодержца, но, в силу этого его положения, в развернувшихся помимо его воли событиях сыграли известную роль и отмеченные особенности российского монарха; с другой стороны, эти особенности преломлялись в событиях, связанных с его именем, получали каждый раз особый, соответствующий переживавшемуся им моменту отпечаток. С этим преломлением в событиях основных особенностей Александра мы и должны далее познакомиться, чтобы его психический портрет был вполне дорисован; это тем более необходимо, что, в конце концов, каждая из названных особенностей оказала влияние на общий ход его жизни и царствования, а все в совокупности они, несомненно, ускорили преждевременно наступившее разложение его личности и ее конец.

Грандиозная борьба Англии с наполеоновской Францией, втянувшая в себя и Россию, направила честолюбие Александра от внутренних преобразований, которыми он мечтал осчастливить Россию, к внешним делам, в водовороте которых он и кружился до конца своего царствования. Внешние дела обострили честолюбие Александра, заставив его долго испытывать чувство, всегда живущее бок-о-бок с тщеславием, — зависть. Эта последняя неволью сделала Александра соперником главного героя века — Наполеона Бонапарта. Карьера и успехи императора французов были так необычайны, так красочны, что многим честолюбцам тех времен не давали спать. Александр Павлович сна не лишился, ибо совсем не был склонен к бессоннице и был способен засыпать моментально при каких бы то ни было обстоятельствах, но насторожиться против любимца фортуны — насторожился, а вскоре легкомысленно попытался и помериться с ним силами. Силы были слишком не равны, и Александр под Аустерлицем (1805 г.) получил первый тяжкий урок от созданного Французской революцией императора-полководца. Александр, разумеется, в этот исторический момент был не самостоятелен и, как пойманная птица, бился в сетях то австрийской, то английской дипломатии. И это было известно сторонним наблюдателям, хорошо понимавшим, что трон в России занят „бесхарактерным молодым человеком, окруженным и руководимым фаворитами“, что этот „молодой человек“ имеет „доброе сердце“, но что он „всегда робок от сознания своей посредственности“ и „не вооружен ни железным скипетром, ни железной головой...“ Особенно шокировало сторонних наблюдателей то обстоятельство, что Александр позволяет увлекать себя даже против своего убеждения. „Этот государь, — писал об Александре аустерлицкой эпохи один из очень недурно осведомленных иностранцев, — в общем отличается такою слабостью, что гороскоп его царствования, несмотря на его хорошие буржуазные качества, выходит не очень внушающим почтение“. После Аустерлица „почтения“ стало еще меньше, и автор приведенных строк „сам слышал“ очень непохвальные отзывы об Александре I, наиболее мягкий из коих был отзыв „как о дураке“...

Такого наименования Александр, конечно, не заслужил, но в рассматриваемое время его царствования он, действительно, не проявил ни пронырливости,

ности, ни твердости, ни простого умения выбирать ближайших советников. Но он проявил честолюбие; оно оказалось неудовлетворенным, самолюбие оскорбленным, а зависть к победителю обострила горькое чувство неудачи и обиды и толкнула „слабохарактерного молодого человека“ „вооружиться упрямством и хитростью“, столь ему свойственными. Фридланд и Тильзит (1807 г.) дали Александру новый тяжелый урок сознания своего бессилия перед Наполеоном, заставили преклониться пред ним и подчиниться его влиянию. Это могло рассматриваться Александром только как страшное унижение. Уже одна необходимость спуститься до „Бонапарта“ глубоко уязвила Александра, писавшего из Тильзита с худо скрытым раздражением: „Moi, ravagé mes journées avec Bonaparte“.

В Александре, несмотря на обаяние, каким в юности пользовалась в его глазах Французская революция, заговорил наследственный монарх России при вынужденно-дружественном общении с самым ярким и победоносным детищем этой самой революции. У людей такого рода, как Александр Павлович, в подобных случаях обыкновенно ум оказывается не в ладу с сердцем, чувства которого берут верх над моментально меняющимися „идеями“, так и в данном случае: как бы Александр ни подбадривал себя своими идейными воспоминаниями, все его наследственное „утро российского самодержца“ вопило против „высочки“, и в глубине его сердца сейчас же притаилась ненависть к счастливому, пусть гениальному, но совсем не родословному победителю. Эрфурт (1808 г.) подлил масла в огонь этой скрытой ненависти. При свидании в Эрфурте „Бонапарт“, окруженный склонившимися пред ним монархами Европы, явился во всем блеске своего военного могущества, но с солдатской грубостью, резко оттенявшей его политическое происхождение, и тем и другим больно задел чувствительное самолюбие своего подневольного „друга“.

Александр ехал сюда, по дороге выразив маршалу Ланну, с войсками коего встретился, „любовь императору Наполеону“ и готовность „дать доказательства ее во всех случаях“, но здесь, в Эрфурте, ему предстояло в высшей степени неприятное испытание. Здесь Наполеон, при некоторых знаках внимания к русскому императору, вообще перестал стесняться. Так однажды, раздраженный возражениями Александра, Наполеон до того вышел из себя, что хлопнул своей шляпой об пол и стал топтать ее ногами. В другой раз, на смотре своих войск, он еще сильнее уколол самолюбие российского властителя: объезжая фронт, Наполеон, не обращая внимания на Александра, сказал вперед, предоставив ему следовать за ним, как бы в виде адъютанта, а затем, пригласив столь униженного русского царя с его братом в круг, образованный им из свиты и отличившихся на войне французских солдат и офицеров, он заставил своих храбрецов рассказывать об их подвигах в сражении с русскими под Фридландом...

Все это было не слишком любезно по отношению к царственному русскому „другу“, который продолжал уплативать „Бонапарту“ за такое обращение самую изысканную любезностью. Но, само собой понятно, под внешнею оболочкою этой любезности, Александр воспитывал в себе иные чувства. Чувства реванша и будущей мести.

Так всегда бывает, когда честолюбивый и завистливый соперник повергнут и должен смириться: в этот момент он невольно начинает мечтать о том, что и для него когда-нибудь настанут иные дни, что и счастливый враг его, велением войны навязанный ему в друзья, будет тоже повергнут... Многие историки (Соловьев, Богданович, вел. кн. Николай Михайлович, Кизеветтер) видят в этих мечтаниях проявление какой-то особой провинциальности и необыкновенной „твердости“ Александра ¹⁾, только потому, что впоследствии Наполеон был побежден, и его империя рухнула. И в последнее время такой взгляд, кроме самого хода событий, опирается на некоторые места недавно опубликованных писем Александра из эпохи эрфуртского свидания. Но о чем, собственно, говорится в этих местах? В письме из Эрфурта (от 25 августа 1808 г.) к матери Александр указывает на „момент“, который наложил на него „обязанность не избегать свидания“ с Наполеоном, затем на „необходимость заключить тесный союз с Францией“; замечая далее, что с нашей стороны будет сделано все, чтобы доказать Франции „искренность и благородство нашего образа действий“, Александр свидетельствует, „что он спокойно увидит падение Наполеона, если на то воля Провидения“.... Последнее было сказано с большой долей наивности, ибо едва ли кто, не только Мария Федоровна, мог сомневаться в этом. Но, в конце концов, что же желает предпринять Александр для выхода, как теперь любят говорить, „из создавшегося положения“? А вот что: „Если Провидение определило падение этого колоссального государства (т.-е. французской империи), сомневаюсь, в том, чтобы оно могло быть внезапным, но, даже если это произойдет вдруг, было бы благоразумнее подождать этого падения и тогда только принять меры“. Только и всего: „подождать и тогда только принять меры“! В этом как нельзя лучше сказывается не провинциальность и твердость, а пассивность и слабость при естественном желании, вызванном завистью и унижением, терпеливо дожидаться падения Бонапартова могущества. Это с эрфуртского свидания сделалось назойливой мечтой Александра, и он тем более лелеял эту мечту, чем более чувствовал себя оскорбленным самым превосходством ненавистного „друга“ Бонапарта, который, по мнению Александра, высказанному им в письме его сестре Екатерине Павловне, осмелился считать его глупцом: „Rira le mieux, qui rira le dernier“— присовокуплял Александр. Нельзя видеть и в этой кстати приведенной французской поговорке выражение твердой решимости осуществить уже тогда задуманный или намеченный план будущей борьбы с Наполеоном: это — обычное, свойственное обиженным, трафаретное утешение в терзаниях самолюбия и тщеславия, утешение худощавыми поговорками вроде русской: „бог не выдаст—свинья не съест“, ибо тут же Александр снова возложил надежду только на бога. Так же неустойчиво и пассивно, как это было до Эрфурта, Александр и дальше вел свои внешние дела. Не доверяющий ни себе, ни другим и попрежнему не любящий значительного

¹⁾ Об этом задолго до новейших историков Александра I упоминается даже в „Войне и мире“ графа Толстого, изд. 5 е. Москва, 1886, т. III стр. 2.

напряжения и труда, он хотел бы, чтобы слава сама далась ему в руки. Он покорно шел за событиями и, в конце концов, общий ход европейской истории своим стихийным течением как бы оправдал его терпеливое ожидание личной славы, свалившейся на него не по заслугам, и прав был Пушкин, сказавший, что Александр был только...

„Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой“.

Действительно, слуга Англии в первый период своей внешней деятельности, Александр, разбитый Наполеоном, оставил свою союзницу Австрию с тем, чтобы вскоре после нового поражения от того же врага оставить и вторую свою союзницу, Пруссию, заключить тесный союз с Наполеоном и воевать уже в союзе с ним против первой своей союзницы Австрии, но воевать плохо, лишь формально, из-за тайной вражды к своему новому „другу“.

Эта вражда совпадала с возбуждением общественного мнения в России против континентальной системы и с возникновением прежней англо-русской политической конъюнктуры. Так называемая „отечественная война“, разразившаяся в результате тильзитско-эрфуртской дружбы, велась под ближайшим контролем Англии и потому имела своим естественным продолжением, вдохновленным тоже морскою державою, войну за освобождение Европы от владычества Наполеона.

Так разворачивалась обще-европейская драма, драма упорной, до конца, борьбы между главнейшими представителями мирового империализма тех времен — Англией и французской империей, созданной революцией и быстро начавшей создавать капиталистическую промышленность и торговлю и, следовательно, успешно конкурировать с Англией, более развитой, уже сравнительно старой капиталистической страной. Борьба эта, начавшаяся из-за колоний, была борьбой из-за господства на морях, из-за рынков и мирового коммерческого преобладания, и в ней земледельческая патриархальная Россия могла участвовать лишь в качестве орудия того или другого из тягавшихся между собою государств. Так и было: и в последнюю эпоху своей военной карьеры Александр явился подручным Англии, покорно шедшим на ее поводу и с ее финансовой поддержкой.

Но честолюбивые мечты и, вообще, свойственный Александру, по виду скромный и невинный эгоцентризм сделали то, что эту грандиозную борьбу, имевшую, как все великие события, чисто стихийное течение, он в своем сознании перевел на личное соперничество между ним и Наполеоном; откуда и получилась знаменитая формула: „Наполеон или я, я или Наполеон, но вместе мы царствовать не можем“.

В стремлении к личной победе над „Бонапартом“, после 1812 года, Александр действительно проявил много упрямства, подчинив этой цели самые кровные интересы России, но он достиг ее только потому, что к низвержению Наполеона стремилась Англия, неудержимо влеваемая к тому же к северного

соперника. Сначала Александр в процессе этого быстрого движения не замечал, что он влеком силою складывавшихся обстоятельств, а не сам своей волей едет в Париж, и первый въезд его в столицу Франции был моментом для него „величайшего торжества“; он был упоен „своей победой“, самолюбие его было удовлетворено, и он не удержался, чтобы не позлорадствовать перед генералом Ермоловым на счет своих соотечественников, которые, в том числе, может быть, и сам этот саркастический генерал, когда-то считали его, несравненного и ангелоподобного „властителя“ России — „простаком“. Но вместе с тем, к этому счастливому для него моменту в его душе укреплялось и иное чувство, которое не было культивировано ни республиканским, ни гатчинско-капрановским воспитанием, но которое, в сущности, весьма хорошо гармонировало с пассивностью его натуры, — чувство покорности провидению.

Иногда, несмотря на присущую Александру бесбечность, впечатлительная душа его изнемогала под бременем тяжелых испытаний. В первый раз он серьезно почувствовал это бремя в трагическую ночь 11 марта, и весьма возможно, что эта памятная ночь, повлекшая за собою просыпавшиеся от времени до времени угрызения совести, послужила первым толчком к набожности, которой Александр не имел в ранней юности. Затем пришлось ему осязательно испытать слабость своих сил в первой борьбе с Наполеоном и, под влиянием сознания этой слабости, возложить надежду на... провидение.

Бедствия 1812-го года, особенно занятие Наполеоном и пожар Москвы, глубоко поразившие Александра, довершили в нем психический процесс обращения к вере в божественный промысел, направили к ежедневному чтению евангелия и привели к тому, что удачное для России окончание знаменитой многотрудной годинки он отнес не к человеческой, а к божьей воле: „не нам, не нам, а имени твоему“ было приказано им вычеканить на медали в память 1812 года. Что же удивительного в том, что и в момент торжества Александра над его гениальным соперником, кроме удовлетворенности самолюбия и злорадства над посрамленными недоброжелателями, Александр проявил и религиозное чувство. Перед занятием союзными войсками Парижа, явившимся, по мнению Александра и его подданных, достойным ответом Наполеону на занятие им Москвы, это чувство живо испытал новый, дождавшийся своей очереди, счастливый победитель в Европе, который вот в каких выражениях изложил в тогдашних переживаниях своему первому политическому пестуну, князю Голицыну: „В глубине моего сердца,—писал ему Александр,—затаялось какое-то смутное и неясное чувство ожидания, какое-то непреодолимое желание передать это дело на полную волю Божию. Совет продолжал заниматься, а я на время оставил заседание и поспешил в собственную комнату; там колени мои подогнулись сами собой, и я излил пред Господом все мое сердце“. Человек был пред порогом славы, еще вполне не приобретенной, но уже близкой, минута была слишком великой и потрясающей для впечатлительной, но не сильной души Александра, и колени его невольно „подогнулись“ для молитвы... Сложное, вероятно, чувство сказалось в этой молитве: человек

был и благодарен providению за приближение к славе, и был неспокоен за дальнейшее...

И если последнее так, то предчувствие не обмануло Александра. В дальнейшем, вслед за минутным удовлетворением честолюбия, он стал испытывать острые уколы самолюбия, и началось несчастное разочарование в испустившейся на него славе. Он увидал, что в глазах тех, которые, по его мнению, должны были бы быть ему наиболее признательны, эта слава, в сущности, имеет небольшую цену и не всегда даже предохраняет от невнимания и намеренных оскорблений. Бурбоны, которых он не выносил, но против своей воли принужден был восстановить во Франции, а также правящие английские круги, которым он служил, но с которыми он не сумел спеться во время посещения им Англии, лучше чем кто-либо дали понять Александру всю незначительность в их глазах его удельного веса, как политического деятеля...

А между тем, слуга реакционной Европы, он с изумительной наивностью почитал себя ее главой-освободителем. Но система австрийской политики которая основывалась, по собственному сознанию одного из главных ее представителей (Генца), на „переходных оттенках“, повела к тому, что честолюбивый русский император из вождя европейской федерации превратился в ее покорное орудие. „Переходные оттенки“ политики, т.е., попросту, втирание очков и нашим и вашим, австрийская дипломатия усердно практиковала на Венском конгрессе, где Александр, окруженный внешним вниманием и ослепленный блеском балов, всякого рода увеселений и своих собственных дипломатических успехов, был обведен вокруг пальца Меттернихом.

На поверку вышло то, что за спиной упоенного славой и общим поклоном русского царя, — Австрия, Англия и Франция заключили договор, направленный против России; но даже и это обстоятельство ничему не научило Александра, которому Наполеон, считая его умнее, по возвращении с Эльбы переслал означенный договор, забытый Людовиком XVIII в своем кабинете при поспешном бегстве из Парижа. Александр не изменил самому себе. К Австрии его отношение не изменилось, он остался ей верен не менее, чем Пруссии, об интересах которой он хлопотал куда больше, чем об интересах России. И Пушкин был совершенно прав, подчеркнув эти политические тяготения Александра: „пруссский и австрийский он сшил себе мундир“. В этих мундирах он щеголял до конца своей жизни. Немудрено, что с этой стороны шло лукавое возвеличение Александра, особенно со стороны вероломной Австрии. Здесь, в Вене, внушили Александру не только идеологию Священного Союза, но и убеждение, что он-то и есть настоящий основатель европейской федерации на евангельских началах, а потом, под сурдинку подсмеивались над колоссальною „простотою“ российского венценосца и, считая пустым фразерством все его „священные“ декларации и благочестивые разглагольствования, сваливали на его голову инициативу удушения всех народных порывов к свободе, всех революционных движений в Европе и охотно предоставляли именно свободолюбивому Александру первое место среди вождей наступившей безмолвной европейской реакции. Так, в конце концов, определялась роль

Александра в обще-европейской политической жизни, таково право его на величие, приписываемое ему бывш. великим князем Николаем Михайловичем¹⁾.

Крайняя культурная отсталость русского народа и его слепая готовность подчиниться самодержавным велениям были, конечно, общими условиями, при коих только и возможно было Александру играть столь, по внешнему виду, лимпозантную роль и рисоваться в Европе на многочисленных конгрессах; но помимо общих условий, было и личное обстоятельство, которое втянуло Александра в такую роль, — это довольно странное, но дорого стоявшее России соперничество его с Наполеоном. Как видно из указаний Чарторыйского, Александр хорошо понимал Наполеона, не любил его и очень боялся. Это заставило его напрячь все силы своей души на борьбу с человеком, военная слава которого, если не нарушила его сна, то весьма сильно тревожила, и от обаяния которого он сам долго не мог освободиться.

Соединенными усилиями всей Европы Наполеон был низвержен; но показное главенство, которое перешло от него к Александру, не затмило его славы; ибо Наполеон и побежденный остался великим полководцем. Тогда-то у Александра, в связи с тяжкими разочарованиями, какие он потерпел в отношениях со своими союзниками, родилась мысль затмить Наполеона славою другого рода, — не военной, а умиротворителя в духе христианской любви. И в этой славе он успел более, чем в той, к которой так упорно стремился в первой половине царствования.

¹⁾ Сочинение в. кн. Николая Михайловича „Александр I“ заключает в себе много новых ценных материалов и в этом отношении имеет большое научное значение. Но оно избегает также очевидных противоречий, вследствие которых характеристика Александра I в нем не получает надлежащей цельности и в существенном страдает большой обивчивостью.

Так, считая Александра I „великим“ в обще-европейских делах, Ник. Мих. однако справедливо находит, что Меттерних в этих делах „оказался ловчее и преглубительнее“ Александра, „оставался победителем на дипломатической арене“; „Меттерних“, говорит Н. М., „окончательно сбил с толку доверившегося ему так неосторожно русского императора“ (стр. 340 и 341). Какое уже тут величие? Далее и оказывается, что о действительном величии не может быть и речи.

Так Н. М. полагает, что „гениальность Наполеона отразилась, как на воде, на нем (т. е. на Александре) и придала ему то значение, которого он не имел бы, не будь этого отражения“. Что касается твердости его характера и необыкновенной силы воли, то и здесь дело обстоит не совсем благополучно, ибо такого рода утверждения Ник. Мих. противоречат его же утверждение о „значительном и даже беспрельном“ влиянии, которое имел на Александра Аракчеев (стр. 269), и замечания вроде следующего: „у Александра не хватало более силы воли лично руководить сложной машиной управления“, не говоря уже о том, что Н. Мих. сообщает о влиянии на Александра Меттерниха и других лиц в Европе. Не отрицает Н. Мих. и известной преднамеренности Александра касательно Аракчеева: Александр „вообразил, что Аракчеевым он как бы привнес себя от всякой ответственности“. Но это наблюдение плохо согласуется с общей опиской ума и характера „великого“ чужих величием монарха. — Вел. кн. Николай Михайлович, Александр I. СПб., 1912, стр. 261 и 262. Сравни кой-кого: Александр I и его душевные драмы. СПб., 1910, стр. 39 и 31.

Многие были убеждены тогда, что Александру „хотелось, чтобы люди любили друг друга, как братья, и что он погону и предпочел лучше внушить любовь, чем страх“, — многие полагали, что именно для внушения любви и был создан им Священный Союз. Даже такой желчный человек, каким был Вигель, был уверен в чистоте намерений Александра и дал ему за его умнотворительные стремления следующую аттестацию: „Никогда еще, — пишет Вигель, в своих мемуарах, — не было на троне монарха, оживленного столь искреннею любовью к человечеству“.

Сам Наполеон, с которым Александр столь наивно соперничал в славе, отдавал ему должное в его филантропических стремлениях, считал его добрым человеком и, говорят, даже называл его „философом на троне“.

Последнее было большою любезностью по отношению к Александру, ибо этот человек менее всего был способен на философское амплуа. Его уму была свойственна та чуткость, которая давала ему возможность быстро понимать истинные побуждения людей, большую частью невысокого качества, и тем не менее, довольно чутко относиться к человеческим страданиям, но в этом уме не было ни глубины, ни беспристрастия, т.-е. тех свойств, которые делают ум философским. Это был ум не мужского, а женского типа: тонкий, лукаво-изворотливый, но не последовательный и недальновидный, а в соответствии с этим и характер его был женственный, — потому-то в нем веселость капризно чередовалась с чувствительностью, и очень нередко, его беззаботный смех сменялся горькой слезой, как в юности, так и в более зрелом возрасте. Удивительно ли, что такого человека любили женщины: он их особенно хорошо понимал, и они хорошо понимали его и гораздо лучше, чем мужчины, могли оценить его мягкую вырочивость и нежные эмоции сердца, а прежде всего, разумеется, его внешние качества.

Последние в юности находились в гармоническом сочетании с внутренними и в соответствии с ними создали Александру, особенно у близких к нему женщин, репутацию ангела. Быть царственно-величественным Александр, не отличавшийся внешнею ловкостью, никогда не умел, почему, вероятно, и не любил показной придворной жизни с ее торжественными выходами и блестящими балами, но он в высокой степени умел быть привлекательным и милым в более тесном кругу и в частном быту: тут в способности к очарованию, сильно подкреплявшейся его положением, у него не было конкурентов. В женском обществе Александр чувствовал себя, как рыба в воде, и без всяких усилий со своей стороны, одною способностью быть шагмапом одерживал весьма крупные победы. Его ласковый взгляд прекрасных голубых глаз, послушно говоривших собеседнице то, что было желательно их обладателю, и столь же послушно, когда было нужно, сверкавших слезой, его в душу проникавший мягкий голос, его цветущее лицо и вся его вообще довольно стройная, хотя и немного сутуловатая фигура были неотразимы для представительниц прекрасного пола, иногда настолько, что сам очарователь должен был принимать некоторые защитительные меры, чтобы удерживать их от слишком решительного на него натиска. Александр любил игру

в любовь, флирт и, чаще всего, дальше этого не шел, не проявляя и тут, в столь интимной сфере, той активности, которая нередко была желательна наиболее увлеченным его собеседницам, почему, как сообщает Чарторыйский, „лишь в очень редких случаях добродетели дам, которыми интересовался этот монарх, угрожала действительная опасность“.

В сети такой игры попадались многие, и между ними — прусская королева, красавица Луиза, которой Александр не принес ничего, кроме безнадежных терзаний; но в его отношениях к ней, при всей их неглубокости и малой искренности, было так много красивой эстетичности, которую любят женщины, что не удивительно, что все те из них, с которыми так или иначе сближала Александра судьба, сохранили о нем самые признательные и даже восторженные воспоминания. Даже его супруга, нежная и хрупкая сложением и сердцем, но твердая умом и характером, жестоко оскорбленная его неверностью, до конца дней своих любила его. Это, во всяком случае, лучшее оправдание личности Александра, какие бы отрицательные свойства она в себе ни заключала: его любили женщины.

Со своей стороны, и Александр, несмотря на то, что представлял собой жестокую кокетку в мужском образе, любил женщин. Влюбчивость его была так велика, что он в своей родной сестре рассмотрел прежде всего привлекательную женщину, нежной привязанностью к которой, как свидетельствуют его письма к ней, далеко заходила за пределы простой родственной дружбы. Связи его не столь платонические, были мимоletны, но Марье Антоновне Нарышкиной удалось привязать его к себе на длинный ряд лет, может быть, потому, что Александр имел от нее дочь, сердечно им любимую, умершую юной и горько им оплаканную, незадолго до его собственной кончины. С годами, по мере того, как Александр плешивел и толстел, его эстетические эмоции становились острее и порой, особенно к концу жизни, стали проявляться в грубой чувственности, которая уносила его умственные силы, усиливала природную апатию и по временам нападавшую на него меланхолию. То религиозное настроение, которое начало посещать его с эпохи 1812 года, находило себе опору и в этой апатии, и в этой меланхолии, и в сущности совмещалось с обостренным эротизмом. Но в то же время искренности религиозного настроения Александра не подлежит ни малейшему сомнению. Именито благодаря этому настроению, все более и более охватывавшему его с названной эпохи, объясняется его терпимость к масонству и разным мистическим сектам и обществам в России. Да это и понятно: почетный член русского библейского общества, возносящийся горé с доморощенными мистиками, вроде Кошелева и князя Голицына, и с иностранными, вроде знаменитой „Крюдверши“, милостиво беседовавший с английскими изаерами и с самим оконческим богом-саваофом — Селивановым, не мог быть гонителем мистцизма во всех его формах.

Но это продолжалось до тех пор, пока Александр не попал в цепкие лапы такого православного изувера, каким был архимандрит Фотий; последний грубо, но метко ударил по религиозным струнам души Александра, оконча-

тельно запугал его, становившегося уже ханьяком, — и мистика, стремившегося к постижению „божественной философии“ и к внутреннему общению с божеством, превратил в простого ханжу... Тогда Александр стал облегчать свою душу щедрыми пожертвованиями на храм божий ладана и свечей.

Само собой понятно, что такой психологический финал человека, возбудившего в молодости большие надежды, произошел не без серьезных причин. Одну из них мы уже отметили: это — разочарование Александра в его попытке быть руководителем в европейских делах, тогда как, на самом деле, ему пришлось сыграть только служебную роль в европейской коалиции. Австрия и торжествующая Англия в этой коалиции занимали первое место. И в частности, в Англии этот „богоподобный человек“, как называет Александра Вигель, „всемирно исповедывал свою любовь“, а та к нему отнеслась далеко не с тою признательностью, на которую, по его мнению, он мог рассчитывать. Другая причина печального психологического финала, это — разочарование Александра и в его свободолюбивых начинаниях, которыми он пытался осласли-вить Россию, да разочарование и в самой России, которая его вообще гораздо меньше интересовала, чем Европа. Из свободолюбивых начинаний путного ничего не вышло. Все дело ограничилось сначала разговорами в негласном комитете, достаточно неопределенными, а позднее — составлением конституции Сперанским, в осуществление которой не верил сам ее автор, несмотря на то, что он, со своей стороны, сделал всё, чтобы получилась одна видимость свободы, а не самая свобода. Сперанский (как и некоторые другие умные современники) знал, что его царственный белокурый патрон, посвятивший иногда во время серьезных докладов, „любил свободу“¹⁾, как игру ума. Эстет в душе, Александр и на дело организации внутреннего управления смотрел с эстетической точки зрения: ему нравилось слыть свободолюбивым, и неестественная репутация монарха-республиканца долго волновала его тщеславное воображение, как нечто необыкновенно красивое. Александр любил не только внешнее, но и внутреннее щегольство, а означенная репутация была именно таким щегольством — и только! Дальше этого он не шел. Во-первых, и бывший учитель Лагарп не советовал, да и правящий класс — дворянство, пред коим оказывалось бессильным и историческое самодержавие, настолько крепко встало на страже своих кровных интересов, что Александр, имевший и личный зуб против Сперанского, не постеснялся, в угоду главной социальной силы страны, пожертвовать человеком, им же выдвинутым и, как бы по рецепту старика Державина, взявшимся за фантастическую задачу — совместить царское самовластие со свободой. За первое и сам Александр держался куда крепче, чем за последнюю.

Бое-какие следы от насаждавшейся еще в начале царствования свободы остались, именно в виде некоторого расширения прав сената; но когда сенат

¹⁾ На эту сторону личности Александра я уже указывал в своем этюде „Александр I и его душевная драма“. Сиб., 1910; несколько позднее, ту же сторону отметил и А. А. Кизеветтер: „Александр I и Аракчеев“. Исторические очерки. М., 1912.

воспользовался своими новыми правами и большинством голосов постановил решение, несогласное с мнением Александра, то он, узнав об этом от министра юстиции, поэта Державина, сказал: „Я им дам знать“. Сам-то Державин, и по прежним своим опытам и по новым, хорошо знал, как в России совмещается свобода с самодержавием, и потому, вероятно, не удивился ответу свободолюбивого монарха; ибо Александр посту-министру на настойчивые его указания вообще говаривал: „ты все хочешь учить, а я самодержавный царь и хочу, чтобы было так, а не иначе“. И у этого „самодержавного царя“ нашелся исполнитель, который, как никто, его понял и знал, что действительно в своей империи Александр больше всего ценил беспрекословное повиновение ему, стремящемуся лишь к пользе общей монарху. Этим исполнителем монаршей воли был Аракчеев, старый пестун и друг Александра. Даже не соглашаясь с мнением последнего, как это было на примере, по отношению к военным поселениям, инициатива которых принадлежит самому Александру, Аракчеев проводил в жизнь монаршую мысль, осуществлял монаршую волю с неукротимой, ему только свойственной настойчивостью. В затее с военными поселениями и самодержавный царь и его главный исполнитель проявили себя, как нельзя лучше. Идея военных поселений, несомненно, вышла из побуждения облегчить народ в ненавистной ему солдатчине, которая отрывала человека от дома и земли и превращала, в конце концов, в негодного для земледелия инвалида. Военные поселения имели целью удержать крестьянина на земле и создать из земледельца воина, одновременно и обрабатывающего землю и умеющего защищать ее от врага, согласно с уставом о воинской службе и утвердившимися в армии обычаями. Это, в сущности, значило, что ученик республиканца Лагарпа взглянул на Россию, как на свою, хотя и громадную, вотчину, над которой возможно производить какие угодно эксперименты, и вот „добрый барин“ обуреваемый желанием благодетельствовать своих рабов-крестьян, придумал для них хорошую, чисто барскую, штуку: не тревожить, хотя и некоторых из них, рекрутством, а просто всех сделать солдатами, оставив их попрежнему и землю обрабатывать на своих родных местах. Затая была и гуманная и выгодная. Предполагалось уловить сразу даже не двух, а целых трех зайцев, ибо, соединив в одном лице ратая и брата, сверх того, предвкушали сокращение расходов на армию, так как военные поселенцы должны были сами себя проармировать.

Не удивительно, что либеральный, не менее Александра склонный к бюрократическому утопизму, Сперанский оказался сторонником военных поселений. Но далекого от всякого либерализма и практического Аракчеева не увлекла эта царская затая, ибо он, в качестве павловского фронтовика, хорошо понимал всю несовместимость военной муштры с земледелием, понимал, что в результате получится не солдат и не мужик, а нечто среднее между тем и другим, совершенно не приемлемое для образцового гатчинского капрала. Но тем не менее, он ни минуты не сомневался осуществить мертворожденный проект военных поселений и произвел это с тем свирепым, рабским усердием, с каким исполнял все желательное для его борзенованных господ. Александр не мог

нарадоваться на это усердие, ибо военные поселения сделались самым любимым его созданием, куда любимее учрежденных им университетов, этого единственно ценного результата либерального даярповского воспитания. И в отношении военных поселений просвещенный, мягкий и добрый Александр был не менее неумолим, чем „без лести преданный“ ему раб. Всякое непослушание среди военно-поселенцев вызывало в Александре сильнейший гнев, и он готов был на самые крайние кровавые меры, лишь бы настоять на осуществлении взлелеянной им затеи. Аракчеев это учел и, как главный доверенный приказчик по управлению вотчинами, поставленным на военную ногу, развернулся в полную меру своей репутации солдатского истязателя, в злую минуту отрывавшего даже усы у гренадеров. Возлюбив такого исполнителя своей воли, приблизив его к себе, как самого верного ему человека, хотя и не освободив его от своей подозрительности, Александр в эпоху конгрессов не только военные поселения, но и вообще все внутреннее управление Россией сосредоточил в руках Аракчеева, повидимому, полагая, что, если он умеет держать в образцовом порядке свою вотчину — „Грузино“, то он сумеет навести порядок и в Российской империи. Но надо быть справедливым: добрый русский царь, с легким сердцем подчинявший интересы русского народа интересам легитимистской Европы, т.-е. высших классов европейских обществ, сам вдохновлял грузинского вотчинника и своего старого друга. Этот царь носился с евангелием, читал один, без понимания, и вдвоем с м-ше Крюденер, уже понимая мудреное „облако над святилищем или нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет“, был убежден, что он следует „путями Бога, ведущими к завершению общего блага“, и в то же время повелевал зверски мучить солдат; так, например, за возмущение в лейб-гвардии Семеновском полку он „повелеть соизволил“ старых боевых солдат „прогнать шпиретонами каждого через батальон 6 раз и потом отослать в рудники“.

Аракчеев, которым Александр загородился от России, хорошо понимал, какому настроению монарха следует придавать более серьезное значение, и потому охотки на руку не клал; но ясно, что он создал „аракчеевщину“ под руководством своего собственного царственного ученика, в душе которого уживались оба воспитания — даярповское и аракчеевское, но с тою разницей, что первое проявлялось более в Европе, чем в России, а второе — исключительно в России. И здесь, в нашем отечестве, второе воспитание дало неизмеримо более спелые плоды, чем первое. В самом деле, вся вторая половина царствования в весьма значительной мере обуславливалась вторым воспитанием — аракчеевским.

Как бы ни оценивать характер Александра, сколько бы ни трактовать об его „твердости“ и самостоятельности, несомненно одно: Аракчеев сыграл громадную роль в жизни и царствовании этого императора. Так или иначе, а „павловский бурбон“ и „екатерининский купидон“ сошлись и поняли друг друга: бурбон сделался необходимым купидону и, беспрекословно исполняя его волю, сам оказывал на него сильное влияние, и чем дальше, тем более сильное, в конце же царствования — совершенно безраздельное. И Павел Петрович ценил Аракчеева, но в отношении его сын был последовательнее отца. Это объясняется разницей характера Павла и Александра.

У сына были, мы знаем, некоторые черты отца, как-то: подозрительность и вспыльчивость, которая порой увлекала гуманного и сердобольного монарха не только к жестоким словам, но и к жестоким поступкам, однако в существенных своих особенностях Александр не походил на отца.

Павел быстро переживал свои впечатления, они у него сменялись ураганно и беспорядочно, переходя всякие границы нормальных психических процессов.

Александр, в общем, медленно и скрытно переживал свои впечатления — и здесь причина, почему отношение его к людям мало походило на то, которым характеризуется его отец. Будучи подавлен ими, он становился пассивным в противоположность слишком активному отцу, и потому, как и отец, тоже подчинялся влиянию людей, подходящих к переживаемому, а так как оно было длительным, то и люди, влиянию коих Александр подчинялся, не часто менялись около него. Так с кн. Голицыным, пестуном его по мистицизму, он дружил очень долго, почти до конца; кн. Волконский, постоянно сопровождавший Александра в бесконечных его странствиях, проводил его и в последнее путешествие — в могилу. Но гр. Аракчеев был еще ближе к нему, и положение его было прочнее, ибо при всем недоверии к людям, которых, „Александр вообще называл мерзавцами“, на Аракчеева он смотрел чуть ли как не на человека, посланного ему самим богом; но этот „человек божий“, „без лести преданный“ гр. Алексей Андреевич, как бы оправдывая своим настоящим поведением не имя свое и не девиз свой, а пессимистическое мнение о людях Александра, под конец поступил по отношению к нему в духе этого мнения. Нужного Александру человека, которого он именовал другом, не оказалось при нем в его последние минуты, как, впрочем, он не успел прибыть во-время к императору Павлу. Последнее обстоятельство, помимо известного задержания Паленом у Петербургской заставы, могло иметь объяснение и в том, что Павел в течение четырех лет своего царствования два раза удалял от себя Аракчеева, тогда как Александр, несмотря ни на что, в течение двадцатипятилетнего своего царствования считал Аракчеева незаменимым, любил отдыхать только в его обществе, в обществе грубого и необразованного слугаки, и огорчался продолжительной с ним разлукой. Отношения „кроткого“ царя с суровым подданным были настолько интимно-дружеские, что Аракчеев имел полное основание написать в своей автобиографии: „с оного числа (17 июня 1812 г.) вся французская война шла через мои руки, все тайные донесения и собственноручные повеления государя“.

Ничего, после этого, нет странного в том обстоятельстве, что в бытность свою военным министром Аракчеев получил от Александра 56 собственноручных писем и записок. Отсюда, само собой понятно, что такой подданный мог сделать очень многое, и он сделал столько, что своей вульгарной и неуклюжей фигурой почти совсем закрыл от русского народа и общества игравшего двойную игру самодержавного республиканца. Эпоха, запечатленная особым приложением аракчеевской руки, как бы выпадала из Александровского цар-

ствования и получила кличку „аракчеевщины“, но это, разумеется, было лишь обманом зрения, ибо Аракчеев потому только и влиял на Александра, что постиг аракчеевские тенденции царской души. Они-то и повели к тому, что комплот между Аракчеевым и Фотием достиг своей цели, т.-е. гонения не только на либерализм, столь свойственный раньше самому Александру, но и на мистицизм массонского типа, свойственный ему позднее, вместо какового воцарилось сплошное мракобесие с Фотием в церковных сферах и с Магницким — в научно-учебных. Магницкий был когда-то другом Сперанского, большим вольнодумцем и остряком, а под конец Александрова царствования сделался гонителем науки и всякой живой рационалистической мысли, а в особенности философии, о пагубе которой вещал текст священного писания, начертанный на черной доске над кафедрой по этому предмету в Казанском университете.

Казавшееся многообещающим начало царствования Александра с его заботами о народном просвещении окончательно хорошилось под этой доской, и ответственность за такой финал этого царствования должна быть возложена не на кого иного, как на самого великолепного внука „великой Екатерины“. Он это предчувствовал и потому не мог не страдать, хотя бы по временам, когда просыпались воспоминания, не мог не страдать от сознания, что его управление Россией не вызвало любви признательных подданных, а лишь создало общее разочарование в нем, недовольство и даже готовность освободиться от неоправдавшего тоже общих надежд царя. Впрочем, Россию, русских Александр никогда не любил. Относясь к иностранцам весьма любезно и мягко, он даже с русскими офицерами, близко к нему стоявшими, обращался сурово и жестко, „крутенько“. Общественным мнением Европы он интересовался и, дорожа им, дал конституционное правление Польше и Финляндии, восстановление и создание коих было в числе главнейших его забот. Мнение русского общества Александр презирал и вместо обещанной конституции дал России „аракчеевщину“. А встретив со стороны этого общества неодобрение и глухой тайный отпор себе, начал все дальше и дальше уходить от своих подданных в личную жизнь с ее тяжелыми воспоминаниями о косвенном соучастии в отцеубийстве и с ее незатейливыми религиозными и иными, вроде частых путешествий, отвлечениями от невеселых мыслей о кровавом пятне на нем, с одной стороны, и о неисполнении своих обещаний касательно либеральных внутренних реформ — с другой. Последнее обстоятельство не могло не тревожить человека, который иногда, и во времена „аракчеевщины“, поговаривал о своих республиканских взглядах, продолжавших скользить в его сознании, тогда как в его сердце таилась чисто аракчеевская готовность обратиться к шпицрутенам для всех, осмелившихся не повиноваться ему, а порицать его, и стремившихся самостоятельно найти выход из сложившегося внутреннего положения России — из „аракчеевщины“ и „фотиевщины“. О революционных тайных обществах Александру было известно, но он медлил с началом разбора возбуждаемого доносами дела. Дело было слишком поразительным, слышком было не в бровь, а в глаз самого, когда-то, казалось,

горячего сторонника тех же самых идей, которые исповедывались заговорщиками; выходило как-то некрасиво, незстетично преследовать их, и Александр, всегда более эстетик, чем политик, медлил, апатично выжидал, долго оставаясь в нерешительности, после того как, по своему обыкновению, обмолвился предки. Васильчиковым красивой фразой о невозможности ему карать людей за то, что они так же заблуждаются, как и он сам заблуждался в молодости; но карать, по его настоящему мнению, было надо, и он, как бы нехотя, в дальнейшем приказал начать следствие. Вскоре после того постигшая его смерть не допустила его до внявшего падения, до расправы с людьми, твердо и серьезно пошедшими по тому пути, на котором он только немного либерально порезвился; зато он твердо стоял на другом пути, на пути поддержания status quo, наличного положения, которое вполне подходило к истинным запросам его себялюбивого сердца, бывшего не в ладу с его затронутым свободолюбивыми идеями умом, с их неуываемою красотой, и на этом пути он много повредил тому, чтобы вполне исполнилось пожелание Державина — „быть на троне — человеком“. Поскольку в нем обнаруживалась природная мягкость в соединении с либеральной заковской лагариновского воспитания, Александр действительно был на троне человеком, добродушным и порядочным, хотя и не без недостатков; но более он был на троне просто русским царем, который к тому же далеко не всегда мог быть „страстей своих владетелем“.

Он в главном и существенном прежде всего следовал не интересам России и русского народа, а тому, что подсказывали ему влечения его собственной самолюбивой и славлюбивой души и что он мог осуществлять благодаря своей самодержавной власти, а также экономическому и культурному состоянию этого самого народа. Народ мало знал Александра I, несмотря на все чрезвычайные события его царствования — как впрочем и других своих царей нового времени, — но непосредственность и частое отсутствие его из дому обратило на себя народное внимание, и в одной из очень немногих песен своих о нем народ с недоумением отмечает:

„Обещался Александр наш
К Рождеству домой прибыть,
Все три праздничка проходят, —
Александра дома нет“.

Так его и не оказалось „дома“, в государство Российском, для того, чтобы устроить его по-хорошему, согласно с когда-то затверженными лагариновскими уроками.

Приведенными простодушными словами простого народа личная характеристика Александра может быть вполне закончена. Она, мне кажется, вполне ясно и величеприятно показывает, что назвать Александра I великим государем своего времени отнюдь нельзя, с какой бы точки зрения мы ни производили его оценку, как русского или как обще-европейского деятеля: или величия, мы видели, Александру не доставало многого, главное же —

широкого размаха и проницательности мысли, искренности и самостоятельной активности в стремлении к общей пользе. Но он не был и совсем маленьким человеком, ибо обладал живыми способностями, и это не раз сказывалось там, где ему приходилось так или иначе вникать в ход дел; он, как отмечено выше, был средним талантливым человеком, могущим быть очень симпатичным и даже charmer'ом в частной жизни, но не выдерживавшим строгой критики, как государственный деятель, которому в лучшем случае суждены были „благие порывы“ — более, как нечто головное, отвлеченно-натасканное, чем как проявление действительной потребности души; почему... „великого“ Александр I ничего и не совершил.

Н. Н. Фирсов.

Некрасов и деньги.

I.

Исследуя некрасовские рукописи, удивляешься: в них нет ни одного рисунка. Можно ли представить себе страницу лермонтовской или пушкинской рукописи без коней, черкесов, женских ножек, профилей, карикатур и т. д.? Писатели—почти все рисовальщики. Да и как им не рисовать: творческая мысль работает у них переборами; так называемое вдохновение то приходит, то уходит опять, и, конечно, во время этих невольных антрактов праздное перо бессознательно чертит всякие носы и завитушки.

У Некрасова — ни завитушек, ни носов. Недаром по рисованию у него была единица в гимназии. Но если нет рисунков, то есть нечто иное, как будто чуждое всякой поэзии — цифры. Целые колонки цифр в самых прихотливых сочетаниях: сто пятьдесят, двенадцать минус пятьдесят, три, один, три тысячи семьсот пятьдесят, и еще сто пятьдесят, и еще сто пятьдесят, и т. д. Таков цифровой орнамент на рукописи его стихотворения „Эй Иван!“

А на рукописи „Медвежьей Охоты“:

— 3000... 2000... 2000... 1000... 12,500... 13,500...

Чуть его рука отрывалась на минуту от стихов, она бессознательно выводила цифры. Впрочем, не всегда бессознательно: иногда это были счета, денежные конторские выкладки, и на той самой странице, на которой написаны следующие, еще не бывшие в печати, стихи:

Так умереть? ты мне сказала.

Я отвечал надменно: да!

Не знал я той, что мне внимала,

Не знал души твоей тогда,—

рядом с этим строчками о женской душе и о смерти начертано рукою поэта:

Гирсу	150
Решетя	150
Скабич	100

Курочк.	100
Немцу	50

Все это счет рублей, которые он уплатил своим сотрудникам. На рукописи его поэмы „Кому на Руси жить хорошо“ таким же образом подсчитаны истраченные франки. К „Герсам Времени“ Некрасов даже прилепил расписку французца Шассена в получении тысячи франков, а на другом стихотворении написал:

— (В) Конт (ору) сдал стихи и векселя.

Это и поистине великолепно. Некрасов первый из русских поэтов почувал, что стихи и векселя, стихи и деньги не враждебные явления в поэзии, а родственные, часто сливающиеся; что деньги такой же поэтический образ как розы или звезды или волны; что настало время врестить этот образ, в поэзию и даже сделать его главнейшим из поэтических образов. В самом деле, звезды у него в стихах появляются мелким, а деньги на каждом шагу, — бумажки, серебро, облигации. Если бы на свете не было звезд, стихи Некрасова остались бы те же, в них не произошло бы почти никаких перемен, но выныте из системы мира деньги, и сами собой уничтожаются такие характерные пьесы Некрасова, как „Извозчик“, „Секрет“, „Ростовщик“, „Горе старого Наума“, „Княгиня“ и проч. В этом самобытное свойство Некрасова, кажется, еще никем не отмеченное: в его творениях, как и в творениях Бальзака, впервые появился пред читателем новый герой, металлический, le héros métallique, — и этот металлический герой для него интереснее, чем все Грандиссоны и Вертеры ¹⁾.

Деньги в произведениях Некрасова вертят людьми, как хотят, и люди часто повторяют о них:

- Царь вселенной — куш!
- Жизнь, по моему, искусство наживать денгу.
- Водор, дитя мое, всё в мире, дело — капитал.
- В свете только деньги важны... надо их копить, копить...
- Денежки есть, нет беды, денежки есть, нет опасности.
- Судью за денежки куплю, умилостивлю бога.

Конечно, Некрасов смотрит на этих людей с отвращением, но все же смотрит и смотрит, и не может оторваться от них. Каково бы ни было его отношение к деньгам, — он весь проникнут ощущением их катастрофической силы и, как очарованный, следит за ее проявлениями. Люди в его писаниях страдают не столько от по жайов и войн, сколько от страшного действия денег.

Замечательно о, что даже метафоры в писаниях Некрасова денежные.

И искры черных глаз
Сверкают, как червончики.

¹⁾ Ср. у Теофиля Готье в его знаменитом этюде о Бальзаке: *Idee dominante de Balzac est l'argent. Certes, personne ne fut moins avare que l'auteur de la „Comédie Humaine“, mais son génie lui faisait pressentir le rôle immense, que devait jouer dans l'art ce héros métallique etc.* („Portraits Contemporains“, p. 75).

В другом стихотворении он сравнивает желтые снопы, разбросанные на зеленом лугу, с грудями тех же червончиков:

Чу, воз скрилит! Плетутся два вола,
Снопы пред нами в зелени ныряют, —
Подобие зеленого стола,
На коем груды золота мелькают.

Описывая в фельетонных стихках пение знаменитой подруги Тургенева, г-жи Полины Виардо, он выражает свое восхищение опять теми же денежными терминами:

Чтоб только петь, как Гарция,
И удивлять весь свет,
Не пожалел бы гарция
Серебряных монет.

Словом, деньги вошли в обиход его поэтической мысли, и, напр., об азартном охотнике он выражается так:

— Тут его Крез за миллионы не купит.

О влюбленном молодом человеке:

— Кредит сердца его пал.

О любимой женщине:

— Отдала свою любовь в проценты под верные залоги.

Сколько было написано у русских поэтов изумительных стихов о любви, но Некрасов первый отметил в поэзии, что любовь есть товар, как и всякий другой, и подробно до последних мелочей описал куплю-продажу любви. Все помнят его „Убогую и нарядную“, где изображаются продажные женщины, и его пронзительный романс „Еду ли ночью по улице темной“, где женщина продает себя, чтобы купить своему голодному любовнику пищу, а умершему младенцу гроб. Но не только продающихся женщин, а и продающихся мужчин изображает Некрасов. Через три года после „Убогой и нарядной“, в 1860 году, он пишет подобное же стихотворение „Папаша“, где рассказывает, как продается мужчина, как в юности он предлагает себя за большие деньги богатым старухам, как в сорокалетнем возрасте он постепенно лишается самых лучших своих покупательниц и как на старости лет, растеряв клиентуру, он принужден торговать своей дочерью.

В глазах Некрасова такая купля-продажа любви есть массовое, гуртовое явление: он описывает не только отдельные случаи, не только отдельных продавцов и покупателей, но целый человеческий рынок, где идет оптовая торговля любовью:

Тщетно ювоши рыщут по базам,
Тщетно барышни рыдают в мух,
Вовсе нет стариков с капиталом,
Вовсе нет с капиталом старух.

Для Тютчева — любовь роковой поединок, для Фета — радуги, ароматы, лучи и песты, — „волшебный мир живых благоуханий, горячих слез и уст,

речей без слов, мир счастья и пылких упований¹. и лишь Некрасов, единственный, осмелился выговорить, что здесь не только радуги, но и рубли. Он первый из русских поэтов XIX века отметил стихийное вторжение денег в любовь и рассказал о тех ужасах, которые они несут с собою. Деньги в стихах у Некрасова постоянно губят и любимых и любящих. Они несут отчаяние и смерть. В стихотворении „Княгиня“ богатыя выходят за нищего, и тот разоряет ее; в стихотворении „Маша“ любимая требует денег у любящего и тем доводит его до могилы; в стихотворении „Дешевая покупка“ любимый продает все приданое любящей, та плачет, а поэт, покупая это приданое, восклицает с тоской: копейка ты медная, горе ты, горе, нужда окаянная.

Конечно, и у Некрасова не мало стихов, где эта медная копейка не принимает никакого участия, но драгоценно отметить, что даже такую любовь, бескорыстную, Некрасов изображает в виде торговли, пусть шаловливой, но все же торговли. Между коробейником и Катей происходит игра в торговлю: он раскладывает перед нею товары, а она платит за них поцелуями:

Катя бережно торгуется,
Всё боится передать,
Парень с девицей целуется,
Просит пену набавлять.

Хоть и в шутку, а все же идет между ними купля-продажа любви.

И пусть в стихотворении о старом Науме другой влюбленный Ванька совсем бескорыстно целует свою полногрудую Таню, Некрасов вводит деньги и сюда: он показывает ночные объятия влюбленных стареющему макаку-толстосуму и заставляет его тяжело задумываться: что лучше: любовь или деньги? Наум думал, что деньги, оказывается — любовь. В любви больше барыша для души.

II.

Но „Горе старого Наума“ написано Некрасовым в конце его жизни, мы же хотели бы начать свои наблюдения с начала, с сороковых годов, чтобы в более стройной последовательности проследить за развитием изменчивого и сложного отношения Некрасова к деньгам.

Замечательно, что один из первых рассказов, напечатанных им в „Литературной Газете“ (в 1841 году), так и назывался „Двадцать пять рублей“, а второй, напечатанный там же, „Ростовщик“, история ростовщика.

В рассказе „Ростовщик“ на одной только странице напечатано:

— Денег... деньги... векселью... денег... залог... деньги... денег... денег... деньги... деньги... грош... наследство... векселью... денег... векселью... процентам... денег... денег... денег... залог... процентами... вексель... вексель... денег... вексель... тысячу рублей... денег...¹).

¹ „Интер. Газета“ 1841. № 9. „Двадцать пять рублей“, рассказ Н. Некрасова, стр. 95 и 96.

То же самое и на другой странице.

О вехах и процентах молодой Некрасов говорил очень часто. Недаром, кроме рассказа „Ростовщик“, он написал еще стихи „История ростовщика“ и водевиль „С.-Петербургский ростовщик“. Три произведения из жизни процентщиков ¹⁾!

Или нет, не три, гораздо больше. После „Двадцати пяти рублей“ и „Ростовщика“ Некрасов напечатал в той же „Литературной Газете“ рассказ „Капитан Кук“. Судя по заглавию, можно подумать, что это новая тема, не имеющая отношения к деньгам. Но в том-то и дело, что некрасовский капитан Кук вовсе не тот капитан Кук, который открыл Новую Каледонию и Сандвичевы острова, а другой, на того непохожий, — Иван Егорович Кук.

„Капитан Кук“, — повествует Некрасов, — был известен в своем городе, как человек почтенный, у которого можно „не иначе как по знакомству“ занять денег за пустячные проценты, под заклад серебра и золота*.

Опять проценты, опять ростовщик, но Некрасову и этого мало. Оказывается, что та женщина, на которой процентщик мечтает жениться, есть тоже процентщица. У нее тоже можно занять денег за пустячные проценты под заклад серебра и золота. Но и этого мало: в романе „Три страны света“, написанном позже, в 1848 году, один из главных персонажей опять ростовщик, шестой ростовщик в галлерее молодого Некрасова! Почти все эти ростовщики влюблены и страдают от неудачной любви. Повст как бы посрамляет их этим человеческим чувством, перед которым их бесчеловечные деньги — ничто. Он постоянно твердит: богатство бессмысленно перед истинной благодатью души; приобретая богатство, вы теряете душу, душа дороже богатства и т. д., и т. д. По этой схеме он несколько раз обличал страсть к наживе, в ту раннюю пору, и, например, его баллада „Секрет“, в которой прикоснувшийся к деньгам становится закоренелым злодеем, могла бы послужить отличным текстом для проповеди о глетворном влиянии денег.

Та процентщица, на которой мечтает жениться процентщик, капитан Кук, увы, любит другого, — молодого человека Чегунова. Этот молодой человек Чегунов тоже большой финансист, поистине финансовый гений: когда Кук отказался ссудить его деньгами, он влюбляет в себя ростовщицу, а потом идет к ростовщику и говорит: дайте мне тысячу рублей, и я уступлю эту женщину вам.

Ростовщик с радостью дает ему деньги — без процентов! — а сам бежит к ростовщице венчаться.

Молодой человек Чегунов в барыше, потому что у него был отличный финансовый план: если бы влюбленный ростовщик не дал ему тысячи рублей, он продолжал бы ухаживать за его ростовщицей и получил бы те же деньги от нее. Он играл наверняка, без проигрыша.

¹⁾ Водевиль был сыгран в Александринском театре в 1845-46 годах, а стихи напечатаны в альманахе „Первое апреля“ (они являются отрывком из водевиля, но были выделены особым).

Таких финансовых гениев у Некрасова великое множество, и он с большим увлечением рассказывает, какими необыкновенными способами каждый из них нажил свои капиталы.

Об одном из них у него говорится:

— „Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам, и чем жеты думаешь? пивьями! Вот нпкогда не думал, чтоб таким средством можно было нажиться! В молодости случилось ему быть в Персии, там он и высмотрит, что пивьяка вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото — да теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми“...

И так ему дороги милые пивьяки, давшие ему состояние, что, лаская свою дочь, он говорит пив в очка, а жену называет пив в ушкой¹⁾.

Другой некрасовский герой нажился еще лучше, не пришлось и в Персию ездить.

Некрасов повествует о нем так:

— Был у меня бедняк знакомый с почтенным выпуклым лицом, питался редькой и содомой и слыл в народе подлецом, да вдруг столкнулся с богачом. Затеял ссору с ним пустую, пощечину изволил съесть, сто тысяч взял на мировую и вдруг попал в почет и честь. И что ж! ведь было б безрассудно сердиться, мщенье замышлять: боль усмирить в щеке нетрудно, сто тысяч мудрено достать!

„Боже мой, — иронически пишет Некрасов. — Как мало нужно для счастья! Одна, только одна пощечина, и дело сделано, и уже прежний бедняк нанимает великолепную квартиру, ездит четверкой“...²⁾.

Чтобы нанимать великолепную квартиру и ездить четверкой — можно пойти на все:

Не сто — пожалуйста пять тысяч.
Я сам, как честный человек,
Себя сейчас позволю высечь!

Роман „Три страны света“ есть целая энциклопедия наживы. Там перечислены всевозможные хитроумные способы приобретения капитала. Вот один — не самый замечательный.

У богатого барина есть библиотека. Вы служите у него камердинером и каждый вечер, уходя к себе, уносите под полой какой-нибудь том из полного собрания сочинений того или другого писателя. Так вы поступаете несколько лет. Барин ничего не замечает. Библиотека, где все собрания сочинений разрознены, теряет свою первоначальную цену. Вы покупаете ее за гроши,

¹⁾ „Современник“ 1850, т. XX. „Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко“. Неправдоподобный рассказ.

²⁾ „Первое апреля“. Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе. СПб. 1846, стр. 34. „Пощечина“. Рассказ „Пощечина“ является отрывком из водевиля Некрасова „С.-Петербургский ростовщик“, впервые напечатанного В. Е. Максимовым в „Жизни Искусства“ 2 дек. 1921 г.

как никуда негодный хлам, вставляете припрятанные недостающие томы и делаетесь обладателем большого богатства ¹⁾).

Иногда, говоря о наживе, Некрасов доходил до утопий, до настоящей фантастики. Например, один из его ростовщиков каждый год отращивал себе длинные волосы и продавал в парикмахерскую, в качестве женской косы. Это у него называлось: брать со своих волос процент ²⁾).

Интерес ко всяким эксцентрическим способам приобретения денег сохранился в Некрасове до конца его дней. Все помнят в его „Современниках“ подробный рассказ о том, как разбогател землекоп Федор Никифоров Шкурин. Он за несколько медных грошей подкупил свинопасов, и те позволили ему дергать щетину из хребта у живых свиней. Свиньи ревели, но щетина была первого сорта, и Шкурин продавал ее за хорошие деньги.

Стал я теперь богачом,
Дом у меня, как картинка.
Думаю, глядя на дом:
Это свиная щетинка!

Таких виртуозов наживы в его книгах целые десятки.

Ипроче́м, не только виртуозы наживы, не только ее герои и мученики, но всякие, — даже заурядные, — приобретатели денег в высшей степени интересовали его. Как люди наживаются, откуда у них состояние? В 1845 году он даже балладу написал, как некто, имевший пятнадцать грошей, сделал из них миллион. И через тридцать лет в „Современниках“ с большим интересом описывал, как богател, разорился и вновь богател вельможа Григорий Запечни, как некий пастух Авраам нажил себе состояние ловкой покупкой болот, как помещик Хватунов нажился на искусственном орошении полей и т. д.

Легко объяснить это чрезвычайное любопытство Некрасова к деньгам особенностями его биографии. Он был ярославец, то-есть по самой своей природе — делец. Из Ярославской губернии ежегодно прибывали в столицу бойкие подростки шестнадцати-восемнадцати лет, в сущности такие же Некрасовы — и торговали, барышничали, делали деньги ³⁾. — „Некрасов аферист от природы,

¹⁾ „Три страны света“. Роман в восьми частях Н. Некрасова и Н. Ставицкого. СПб. 1849, стр. 41. — Здесь изображается действительный случай. Так, по словам Григорьевича, разбогател тогдашний купец Поляков. Собр. соч. Д. В. Григорьевича. СПб. 1896, т. XII, стр. 268.

²⁾ „Первое апреля“ „История ростовщика“.

³⁾ По словам барона Гакстгаузена в 1840-х гг. в Ярославской губ. одна двадцатая часть населения уже тогда занималась промышленностью, в то время как в Харьковской губ. промышленники составляли лишь 1/452 часть населения. („Исслед. внутр. отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России“ Барона Августа Гакстгаузена. М. 1869, стр. 70). В. И. Семевский говорит, что Ярославская губерния в 40-х гг. по числу случаев освобождения отдельных крестьян занимает первое место. („Крестьянский вопрос в России в XVIII и перв. полов. XIX в.“ В. И. Семевский. СПб. 1888, т. II, стр. 213). Некрасов был, следовательно, представителем самого передового в этом отношении района.

он так с тем и родился“, — писал о нем Достоевский, когда в юности познакомился с ним. — „Думаю пуститься в афферы: Некрасов на это золотой человек“, — писал в то же время Белинский. Покупать, продавать, вычислять барыши было постоянным занятием Некрасова.

„Некрасову хоть битым стеклом торговать“, — говорили его враги. „По моей роли в журналистике мне постоянно приходилось, так сказать, торговаться“, писал он сам в одном частном письме ¹⁾. Замечательно, что ни в одной из своих спекуляций он ни разу не терпел убытка. Издавал ли он „Статьки в стихах без картинок“, или „Первое Апреля“, или „Петербургский сборник“, или стихотворения Кольцова, все это были предприятия верные, основанные на точном расчете и удивительном знании рынка. Мудрено ли, что в литературе он уделял столько внимания деньгам?

Это объяснение кажется правдоподобным, но верно ли оно? Мало ли чем занимались в России поэты, и разве их занятия всегда отзывались в их творчестве? Можно ли объяснить пристрастие поэта к каким-нибудь темам только его биографией? Полонский был цензором, Фет — офицером, Тютчев — дипломатом, но разве это чувствуется в их лирике? Мы думаем, что, кроме личных причин, были причины общественные, которые заставляли Некрасова сделать деньги предметом поэзии. Эту тему ему предиктовала эпоха. Те самые сороковые годы, когда слагались основные формы его творчества, требовали от него этой темы и внушили ему трактовать ее так, а не иначе. Его личные вкусы были здесь почти ни при чем. Это видно хотя бы из того, что в начале своего литературного поприща, несмотря на личное тяготение к деньгам, он осуждал их и в стихах и в прозе, а потом, приблизительно около 1845 года, начал, как мы ниже увидим, прославлять их и проповедовать накопление денег, как религию. Эта проповедь длилась до 1850 года, а потом прекратилась, и снова в поэзии Некрасова послышалось осуждение стихателей. Ясно, что это разное отношение к деньгам в писаниях Некрасова зависело не от его личных пристрастий, которые в этом случае никогда не менялись, а от каких-то изменчивых свойств тогдашней общественной жизни. Не в Некрасова нужно всматриваться, чтобы объяснить эту особенность его литературного творчества, а в ту эпоху, которая породила его. Забудем же на время о поэте и попытаемся отчетливо вспомнить те пресловутые сороковые годы, когда он, семнадцатилетний подросток, только что прибывший из провинции, вырабатывал с такой необыкновенной энергией свой собственный — некрасовский — стиль. Какие особые качества этой эпохи заставили молодого Некрасова сделаться воспевателем денег?

III.

Вам издали эта эпоха кажется сонной и затхлой.

У Излера франты в светло-кофейных штанах так медленно жуют растегаи. По Невскому так сонно шагают бекешки, и в облаках из тафты, шурша

¹⁾ „Русск. Зам.“ 1915, IX.

широчайшими юбками, так томно проплывают многоцудовые, но жеманные дамы, — лифы сердечком и губы сердечком! — и даже шуллера от Доминика, взирающие на них с вожделением, вожделуют как будто сквозь сон. Мирная, казенная эпоха, гладкая, без всяких происшествий! Дома низки и желты, а площади пусты, тишина как на кладбище, только и слышишь всю жизнь, что мирное, мерное, томное, тошное скрипение департаментских перьев, и под это скрипение перьев люди плодятся, целуются, доживают до старости, чувствуя, что и через тысячу лет будет то же скрипение перьев. И все будет то же через тысячу лет: те же плошки, парады, бекешы, тот же Шукров табак, та же зевающая, красноносая, немая дворня в каждой улице и в каждой прихожей. Все загадано на тысячу лет, и меняться могут лишь танцы да водевили в Александринском театре.

В танцах, действительно, были великие новшества: с 1844 года во всех домах затанцовали польку, новый танец, дотоле не виданный ¹⁾. И в картах произошла революция: явилась новая игра преферанс, встреченная всеми с восторгом; каждый год вносил в эту игру новые великие реформы, бурно волновавшие общество.

Других реформ нет и не надо, и без них хорошо, все довольны и собою и жизнью; со вкусом рожают детей, обожают царскую фамилию, ходят в Александринский театр смотреть водевиль „Женых, чемодан и невеста“, „Волшебный нос, или талисманы и финики“, „Женатый проказник, или рискнул да закалялся“, — и если взять тогдашнюю газету, покажется, что на свете нет ни тюрем, ни больниц, ни шпицрутенов, а только водевили, концерты, лотереи-аллегри, балы, балаганы, парады, петергофские гулянья, фейерверки. Самодовольная, веселая эпоха, не желающая никаких перемен. Пусть где-то на задворках брюзжат какие-то Белинские, мечтающие о чем-то ином, на то они и „башибузук“, „заклейменные отвержением вкуса и всех добропорядочных людей“ ²⁾. А на первом плане, у всех на виду — фельетонщики, развлекатели публики, которых тогда расплодилось огромное множество, они так и танцуют на страницах журналов, изо дня в день повторяя, что все превосходно, что ничего другого и не нужно, что Вотье великодушный парикмахер, а Тальони бесподобная Сильфида; а в Париже недавно скончался жираф; а женщины, которые любят апельсины, имеют сварливый характер; а с Фридрихом Прусским случился вот такой анекдот, а с Наполеоном вот такой анекдот, а с Поль де Кокотом вот такой анекдот, — никогда еще не было столь пышного расцвета анекдотов, куплетов, водевилей, фельетонов, каламбуров и вообще литературных пустяков, как именно в ту страшную пору откровенной и самодовольной обывательщины, которая от своих литераторов требовала только забав.

Все превосходно, а если и бывает плохое, то не у нас, но в Америке, или, пожалуй, в Испании. Америкой ужасно возмущаются за ее бесчеловечное

¹⁾ „Литер. Газета“ 1845, стр. 72, 76, а также стих Некрасова „Новости“, напечатанное в той же газете.

²⁾ Статьи Плетнева и кн. Вяземского о Белинском.

обращение с неграми. Даже Сенковский сердит на Америку и пишет в своей „Библиотеке для Чтения“: „Жестокость обращения Северо-Американцев с неграми так известна, что об этом не стоит и говорить. Но Французы, Англичане и особенно Испанцы, самые отчаянные из возможных в наше время либералов, несколько не уступают в этом отношении знаменитым заморским республиканцам“ ¹⁾. А что у нас у самих миллионы таких же негров, это никого не смущает. Богатая рабовладелица графиня Ростопчина даже стихи написала о горькой участи краснокожих индейцев, потому что кого же ей и жалеть, как не краснокожих индейцев!

И пролетариям у нас тоже отлично. По крайней мере „Библиотека для Чтения“ печатает:

— „Наши фабриканты не то, что французские и английские, сами ревностно содействуют благотельным положениям правительства о нравственном улучшении быта рабочих“ ²⁾.

Словом, у нас все превосходно, лучше, чем у англичан и французов, только бы г-жа Санковская сплясала „Жизель“ не хуже, чем г-жа Андреянова, только бы пела г-жа Виардо, только бы приехал Рубини.

Но и на „Жизели“ и на гастрюлах Рубини, какой казарменный, казенный порядок: в третьем ярусе только купцы, в четвергом — только титулярные советники, а в бель-этаже — только князья и вельможи, так и сидят по чинам, являя собой как бы микрокосм всего государства. Даже щеголи гуляют по Невскому в таком порядке, такими шеренгами, что, по выражению Герцена, их можно принять за отряд полисменов, а их штатские сюртуки — за мундиры.

Все заковано раз навсегда, всюду негнущиеся железные формы, изготовленные по казенным образцам.

Но если внимательно всмотреться в этот крепко-сколоченный быт, можно заметить, что с некоторого времени в нем как будто развинтились какие-то гайки. Что-то там внутри задребезжало, и с каждым днем дребезжит все сильнее, распатывая государственный корабль. Это что-то — деньги, власть денег. Казенные люди вдруг почувствовали себя ввергнутыми в какой-то бешеный денежный вихрь, — и испугались. Как раз к тому времени, когда Некрасов очутился в Петербурге, этот испуг начал изливаться в печати. С самого начала сороковых годов, или, вернее, с середины тридцатых — в петербургских журналах установилась привычка писать о новой эпохе, как о лихорадочном, меркантильном, финансовом веке, веке цифр и денег. Если судить по тогдашним журналам, можно подумать, что Петербург внезапно стал Нью-Йорком, что Россия, наподобие Луи-Филипповой Франции, переживает расцвет „афферизма, спекуляции, барышничества“. В газетах появились такие сентенции:

¹⁾ „Литературн. прибавл. к Русск. Инвалиду“ 1838, стр. 53. — „Библиотека для Чтения“, 1883, т. XXVII, отд. VII, стр. 97; Гр. Е. Ростопчина, стихотв. „Негодование“.

²⁾ „Библ. для Чтения“ 1847, т. 25, стр. 52.

— „Что такое дух времени? Голос, который говорит человеку: истинное счастье деньги, все прочее вздор“ ¹⁾.

— „Всякий только и метит обогатиться. Цель всех слов, деяний — деньги, деньги, деньги, деньги. Деньги сделались даже мерилом ума, таланта, гения“ ²⁾.

Поэты все чаще стали писать в альманахах:

Честь, дружба, труд, любовь, ум, сердце и душа
Поверглись в прах пред золотым кумиром.
И жажда прибыли, и алчность барыша
Теперь владеют целым миром ³⁾.

Рифма души и барыша стала модной, и появилась новая рифма: банкира и золотого кумира; в какой-то тогдашней сатире русская барышня поет такой невозможный романс:

Я умела оценить
Влест и блага мира
И старалась приманив
Толстого банкира, — ⁴⁾

Хотя в сороковых годах на Руси еще не было ни толстых, ни тонких банкиров.

Особенно скорбел о вторжении денег в поэзию — поэты предыдущей, более патриархальной эпохи: например, Бюргинский еще в 1835 году в трагическом стихотворении „Последний поэт“ говорил:

Век исчезает путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещения
Поэзии ребяческие сны.
И не о ней хлопочут поколения.
Промышленным заботам преданы ⁵⁾.

Скорбь о том, что промышленные заботы убивают поэзию, стала через несколько лет общим местом журнальных и альманашных стихов. Эту скорбь выражали и Греков, и Сушков, и Печенегов, и Стромиллов, и Шарш, и десятки других стихотворцев.

Замечательно, что в той же самой — мартовской — книжке „Московского Наблюдателя“, где появились стихи Бюргинского, была напечатана о том же предмете статья Шевырева „Словесность и торговля“, горько сетующего,

¹⁾ „Литерат. Газ.“ 1841.

²⁾ Там же, 1845.

³⁾ Стигейки в стихах. Без картинок. СПб. 1843, т. I, стр. 3 „Встреча старого 1842 года с новым, 1843“.

⁴⁾ Там же, том II, стр. 19 „Жизнь и любовь“.

⁵⁾ „Московский Наблюдатель“, 1855. I (март).

что область изящной словесности становится делом торгашеским. Подобно стихам Боратынского, эта статья Шевырева оказалась прообразом многих подобных писаний, которые появились впоследствии, через три или четыре года.

„Я представлю себе нашу словесность, — писал Шевырев, — владелицею ломбарта. Здесь на престоле из ассигнаций восседает она со счетами в руке“... „Цена печатного листа есть двести-триста рублей; каждый эпитет в статью ценится, может быть, в гривну; каждое предложение есть рубль; каждый период, смотря по длине, есть синяя или красная ассигнация. Ныне слова — деньги, и слог, чем грузнее, тем выгоднее. Торговля теперь управляет нашею словесностию“.

Шевыреву казалось, что, торгуя словами, писатели унижают словесность, и самый обычай взимать гонорары казался ему профанацией искусства. В своей статье он писал:

— „Вот едет литератор в новых саях. Ты думаешь, это сани? Нет, это статья „Библиотеки для Чтения“, получившая вид саней... Литератор хочет дать обед и жалуется, что у него нет денег. Ему говорят: да напиши повесть и пошли в „Библиотеку для Чтения“: вот и обед!“

Это засилье денег корбило молодого ученого, хоть он и понимал, что борьба с этим засильем немислима, так как, по его выражению, деньги становятся и у нас, как в Европе, „всдвигущими парами физического и умственного мира“.

Вот как непривычны были деньги людям предыдущей эпохи, двадцатых и тридцатых годов. Нам, через восемьдесят лет, не понять этой странной неприязни к гонорару. Разве жажда гонорара обескрылила творчество Вальтер Скотта, Бальзака, Достоевского, Диккенса и других романистов-подевичиков, писавших наспех, для рынка, с постоянною мыслью о превращении написанного в фунты стерлингов, франки, рубля? В Англии еще в XVIII веке Самюэл Джонсон, который был первым по времени писателем-профессионалом, сказал: „Все, кроме завзятых болванов, всегда писали только из-за денег“¹⁾. потому что уже в 18 веке, и он, и Гольдсмит, и десятки других только и жили продажей своих литературных творений.

В России лишь в сороковых годах, лишь с наступлением эпохи денег, вознаграждение за литературный труд стало установленным обычаем, потому что на смену замкнутой кучки аристократических гениев пришли писатели-профессионалы, живущие только пером. Появилась целая армия второстепенных писак, литературных ремесленников, без завтрашнего дня, без убеждений, и что за беда, если эти писакки были неряшливы, болтливы, невежественны, они создали литературное сословие, они сделали литературу общественной силой. Литература стала хоть и ниже, но шире, потому что в сороковых годах появился новый разночинный читатель, появились новые слои полувар-

¹⁾ „No man but a blockhead ever wrote except for money“. „The Life of Samuel Johnson L. L. D., by James Boswell, Esq., Vol. III, 1826.

варов, для обслуживания которых понадобились не Боратынский, не Лермонтов, а целые полки фельетонистов. Оттого-то по всему тону литература наступившей эпохи стала вульгарнее прежней, оттого-то сразу после Пушкина началось такое страшное падение литературного стиля; журналы и книги стали адресоваться не только к образованным барам, но и к мелкому разночинному люду, который, под могучим влиянием денег, понемногу накапливался в столицах.

Это было в порядке вещей, но с этим долго не могли примириться, и не было журнала, который не жаловался бы по всякому поводу:

— „Литература сделалась ремеслом, книжная торговля афферой, спекуляцией“.

В „Тарантасе“ гр. Соллогуба читаем:

— „В наше продажное время поэзия разлагается на акции, и восторг берется на откуп“ (1845).

А в „Литературной Газете“ того же 1845 года книжные новости так и озаглавлены: „Новости с литературной биржи“, и все сведения о прозе и стихах изложены биржевым языком. Статья подписана. „Литературной биржи маклер Назар Вымочкин“ ¹⁾.

Такова была эта эпоха. Так ощущали ее современники. Молодой Достоевский лишь повторил общераспространенную ходячую фразу, когда в том же 1845 году написал:

— „Наше время, железное, деловое, денежное время, расчетливое время, полное таблиц, пыфр и нулей всевозможного вида и рода“ ²⁾.

А через два года в „Библиотеке для Чтения“ появился роман „Спекуляторы“, написанный талантливым и несправедливо-забытым Сухониним. Уже самое заглавие романа было по тому времени небывалою новостью ³⁾. В романе постоянно говорится по адресу „нашего века“, „нашего продажного времени“:

— „Таков уж век, в который деньги ценятся дороже всего“.

Этот забытый роман драгоценен для характеристики тогдашней эпохи. Геронья говорит отцу:

— Я пойду в монастырь, папенька.

Отец отвечает:

— И в монастыре нужны деньги (т. 84, стр. 39).

Это первый русский роман из жизни героев наживы, он написан, конечно, не без влияния Бальзака, но в нем чувствуется русская действительность. Автор писал с натуры. Он и сам вращался среди спекуляторов. Сделки, подряды, векселя и аферы впервые стали достоянием беллетристики. Роман написан умно, темпераментно, векселя перемешаны в нем с любовью и подвигами: из романа явствует, что уже тогда, в сороковых годах, высшая знать и столбовое дворянство были сильно заверчены денежным смерчем. Конечно, капитализм был тогда допотопный, не было ни биржи, ни банков,

¹⁾ „Литер. Газета“ 1845, стр. 97.

²⁾ „Огочесты. Записки“ 1845, т. 43, стр. 43.

³⁾ „Библиотека для Чтения“ 1847, том 3, 84 и 85-й. О Сухонине см. статью Петра Быкова. „Нива“ 1909, № 21.

промышляли только казенными подрядами, да ростовщицеством, да мертвыми душами, но и эта первоначальная стадия выдвинула целую плеяду дельцов, которых автор изображает самыми черными красками.

— „Вся ложь из-за денег — притворство, флигарство чувств“, — морализирует он и так сурово осуждает аристократию, которая стала заниматься аферами, что цензура искромсала весь роман и выбросила добрую треть.

В глазах романиста спекуляtorство — грех, от которого можно очиститься только постом и молитвою.

— Молись, друг мой, может быть, бог и простит тебя! — говорит одному спекулятору мать.

— Да, матушка, надобно молиться, — говорит раскаявшийся спекулятор.

Но этому течению поплыл и Некрасов. Мы видели, что в его первых произведениях такое же отношение к деньгам. Деньги — скверна, спекуляторы — грешники.

В том же году, когда появился роман „Спекуляторы“, Некрасов напечатал альманах, под заглавием „Первое Апреля“. Эта книга так насыщена деньгами, что ее можно было бы назвать „Книгой о деньгах“ или, вернее, „Книгой о наживании денег“. Там представлена целая шайка стяжателей, и каждый из них — негодий. Видно, что автора, как и Дурова, увековеченного Пушкиным, неотвязно преследуют мысли о всевозможных способах быстрой наживы. В его сборнике есть статья, которая так и зовется: „Одно из тысячи средств нажить огромное состояние“. Другая озаглавлена так: „Как один господин нажил себе за беснепок дом в полтора ста тысяч“. Потом следуют стишки „Ростовщик“ — о том, как наживался ростовщик. Потом „Дядюшка и племянник“, о том, как дядя продал родного племянника и, получив на этой афере барыш, благородно поделился с пострадавшим.

С большим аппетитом повествует Некрасов обо всех этих путях к обогащению. Большинство из них нами описано выше, но вот каким образом можно купить за беснепок дорого-стоющий дом: вы ломаете в доме лестницу, портите штукатурку и рвете обои, а подкупленный вами приказчик добывает хозяину дома, что все здание ветхо и гнило, что оно не сегодня-завтра рухнет. Тот, полагая, что дом и действительно впредь не годится, уступает его вам за гроши. Вы в полчаса исправляете сделанные вами извны и становитесь обладателем великолепного дома.

У Некрасова таких рассказов всегда был обширный запас; таких рассказов требовало у него тогдашнее русское общество: оно так испугалось вторжения денег, усиления денежной власти, что стремилось как-нибудь осмыслить свой воню и признать ему моральное оправдание.

IV.

Но почему же тогдашние люди так испугались денег?

Вопрос, никак неслучайный, мы можем сказать, что было чего испугаться. Если бы люди тогдашней казенной России до конца осознавали, что означает

собою это все растущее владычество денег, их испуг был бы гораздо сильнее. Они лишь смутно почуяли в деньгах опасность, но никто из них еще не постиг, что деньги несут разрушение и им самим и всему их быту.

Деньги сделались страшным революционным ферментом, который исподволь проекался в Николаевскую твердыню и с самым благонамеренным видом принялся разрушать тот сплошной крепостнический строй, который в течение веков был основой всего государства.

Еще недавно, еще в двадцатых годах, деньги были одним из второстепенных придатков натурального крепостного хозяйства, а теперь стали играть в русской жизни универсальную, почти европейскую роль. Еще крепки штыки Николая, еще много анекдотов у барона Брамбеуса, еще далеко до севастопольских дней, а уже где-то под спудом, во тьме, начинается что-то иное. Нарождается третье сословие, молодая буржуазия растет изо дня в день, купечество, не дожидаясь освобождения крестьян, уже начинает свою фатальную схватку с дворянством. Когда в 1843 году прусский барон Гакстгаузен, гуляя по Москве, наткнулся на какое-нибудь пышное здание и спрашивая, чей это дом, ему отвечали почти неизменно:

— Фабриканта такого-то, купца такого-то, а прежде принадлежал князю такому-то или такому-то ¹⁾.

Уже тогда деньги властно вытеснили из стародворянской Москвы их прежних хозяев и заменили их новыми. Эти новые все еще слабы и робки. кланяются каждой кокарде, дворяне все еще зовут их канальями, не пускают их дальше передней, говорят им ты и дергают их за мужицкую бороду, но без них уже не могут обойтись, так как именно в эту пору, в начале 40-х годов, началась та особая жгучая дворянская жажда денег, которой уже не в силах был утолить никакой Опекушкин Совет.

Эти каналы стали страшно нужны государству, потому что хозяйственная жизнь страны потребовала заводов и фабрик, вольнонаемного труда, мирового товарообмена, и недаром царь Николай, первый дворянина всей России, вынужден заигрывать с канальем, жалует канальям медали, учреждает для каналей Мануфактурный Совет и — первый из русских царей — посещает Нижегородскую ярмарку, демонстративно, перед лицом всей страны извывая свое монаршее благоволение — канальям ²⁾.

Пусть в Александрийском театре над ними потешается всякой злодеемский писака, пусть они необразованы и дики, пусть у них еще не зажили спины от недавних издекуций на конюшье, они единственные не-казенные люди во всей этой казенной стране, сами по своему творящие жизнь, вне казарм и вне департамента, — фабриканты, мастеровые, ремесленники, мелкий и крупный промышленный люд, только и верящий в деньги, только и рвущийся к деньгам. Они купили себе свободу за деньги, откупались у господ на волю, и

¹⁾ „Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности семейных учреждений России“. Барона Августа Гакстгаузена. М., 1863, стр. 30-32.

²⁾ „Русская история с древнейших времен“ М. П. Погодина, т. IV, изд. 1860.

вог в 30-х и 40-х годах из Московской, Ярославской, Новгородской губерний целые тысячи этих вчерашних рабов так и хлынули в столицу делать деньги, и самым своим бытием доказали, что деньги сильнее, чем феодальная власть господина. Почти каждый из них был героем и мучеником, потому что много нужно было таланта, самоотвержения, выносливости, чтобы выбиться из крепостной неволи в купцы и из Тимошки сделаться Тимофеем Матвеевичем.

С каждым годом их становится все больше, они втихомолку сами покупают крестьян, заводят кустарные избы и фабрики, и самые счастливые из них, — вслед за Прохоровыми, Гучковыми, Морозовыми, — становятся именитыми гражданами, так как уже с середины двадцатых годов можно стать именитыми — за деньги ¹⁾.

Наиболее передовые дворяне в свою очередь начинают увлекаться промышленностью и, вместо крепостного балета, устраивают кирпичные заводы.

Медленно, но неуклонно Россия перестраивается в буржуазное царство и, затеяв первую железную дорогу в России, поощряя пароходства на Днепре и Донце, строя в Петербурге таможню, биржевые палатаузы, здание заемного банка, Николай и его министр финансов бессознательно приготовили Россию к этому самодержавному владычеству денег; они словно не чувствовали, что в этом грядущем владычестве денег — конец их возлюбленному феодальному строю. Они пытались найти компромисс между правом крепостным и денежным, но не для денег крепостное право было стеснительной, мешавшей плотниной, и они с каждым годом напирали на нее все сильнее, пока наконец в 1861 г. не разнесли ее в щепы.

Те секретнейшие комитеты по крестьянским делам, которые из года в год собирал Николай, в сущности только о том и заботились, как бы совместить эти несовместимые вещи: феодальное право и денежное ²⁾. Но уже то, что феодальное право понемногу свелось к получению денежного оброка с крестьян, показывало, что помещичьей власти приходит конец, и начинается новая ³⁾.

Владычество денег сказалось во всем: Булгарин начал лебезить перед гостинодворскими лавочниками, как некогда лебезил перед сановниками. Женитьба на богатой купчихе именно с этой поры стала заветнейшей дворянской мечтой. Во многих столичных домах дворню вытеснили нанятые лакеи. Вязки борзыми щенками даже в уезде заменились пучком ассигнаций. И недаром самым видным государственным деятелем стал в то время министр финансов.

Конечно, старое было еще живуче и крепко. Даже слово „буржуазия“ не вошло еще в русский язык, но в городах уже скопились немалые массы новых безземельных людей и устанавливали новые более свободные нравы, диктуемые почти исключительно деньгами. Это был как бы авангард надвига-

¹⁾ П. А. Берлин. „Русская буржуазия в старое и новое время“. М. 1922, стр. 77, 86, 95.

²⁾ В. И. Семевский. „Крестьянский вопрос в России в XVIII и перв. полов. XIX вв.“ СПб. 1888, т. II.

³⁾ Петр Маврошин. „Общедоступный курс истории народного хозяйства“. П. 1914, стр. 297.

вшегоя денежного строя. Деньги для этих людей были все: и здоровье, и сила, и красота, и свобода, а безденежье было позор и болезнь. Конечно, этих новых людей в русских захолустьях было мало, но в столицах они становились все более заметны, и потому в столицах создавалась иллюзия, будто владычество денег уже наступило.

Некрасову нечего было бояться владычества денег, потому что он и сам был разночинец, он и сам всей душой прилепился к юному сословию, к буржуазии, которая именно тогда начинала кипеть великими жизнетворными силами. И тем не менее во всех тогдашних произведениях Некрасова стяжатели — все до единого воры, и Некрасов ненавидит их, как личных врагов. Хотя и проявляет большое любопытство к их деятельности. Когда с одним из них случилось несчастье, поэт со здорадством моралиста воскликнул:

И вот тебе, коршун, награда
За жизнь воровскую твою!

Это осуждение пашивы и всяких забот о наживе он высказывал всю свою жизнь. Дорога стяжания — дорога несправедливая. Стижателями могут быть лишь бездушные люди, не чувствующие бога в душе. Позже, в 1856 году, поэт повторил:

Счастливы, кому мила дорога
Стяжания, кто ей верен был,
И в жизни ни однажды бога
В пустой груди не ощутил.

Отречься от стяжания значит — приблизиться к богу:

Связь вся души великая
В дело божие ушла,
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была.

Стяжание противопоставляется богу. Дорога стяжания в стихах у Некрасова вся полита человеческой кровью.

V.

Но есть у Некрасова одно очень странное стихотворение, которое, помнится, еще с детства удивляло меня.

Оно совершенно не выжется с остальными стихами Некрасова, стоит особняком в его книге и отчасти даже нарушает единство ее содержания.

Это стихотворение написано в 1845 году, в селе Соколове, на даче у Герцена. Некрасов приехал к Герцену, прожил у него несколько дней в обществе Кетчера, Грановского, Корша и других единомышленников Белинского и, послушавшись их пылких речей, написал такие невероятные строки:

Я за то глубоко презираю себя...
Что, дожив кое-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкались ног.
Да и умные порой возмекать мог.

Строки неслыханные, кажется, впервые прозвучавшие в лирике, с тех пор как существует поэзия. Это пишет человек, больше всех проклинаявший стяжание, и пишет в кругу идеалистов, у Герцена!

Какой поэт в лирических стихах осмелился бы так открыто заявить, что ему хочется денег потому, что в деньгах власть над людьми и почет. Вначале Некрасов приписал это стихотворение Ларре, и поэтому многие думали, что он говорит от чужого лица, но потом, перед самой смертью, он сделал такую пометку на той странице, где напечатано это стихотворение:

— „Неправда. Приписано Ларре по странности содержания. Искреннее“.

То-есть сам признался, что выразил в этих стихах не чужую, а свою собственную жажду богатства, которое дало бы ему право господствовать над глупцами и умишками. Но, так как в ту пору было не принято изливать такие непохвальные чувства в стихах, он наделил этими чувствами испанского писателя Марьяно Хосе де-Ларру, хотя тот был прозаик и стихов не писал никогда.

Разночинец осознал себя, но только на миг. Через несколько месяцев он, по какой-то инерции, снова пишет осудительные слова о наживе. Но то чувство, которое однажды сказалось в стихах о богатой казне, уже не может остаться под спудом. Оно живет, развивается и, наконец, находит свое выражение в романе „Три страны света“, написанном (совместно с Панаевой) в 1843 и 1849 годах. В этом романе благороднейший юноша, идеальный герой восклицает:

— Клянусь, я буду иметь деньги... Через два года я вернусь с пятьюдесятью тысячами рублей.

Одна дама так и говорит ему: желаю вам денег!

Жажда денег швыряет его из Архангельска в Астрахань, и, когда после долгой разлуки этот подвижник стяжания снова встречает страстно-любимую Полинку, он, как утверждает Некрасов,— достает с своей груди полнsworthный бумажник и молча передает его Полинке.

— „Пересчитай, Полянка!— были первые слова, которые произнес Каятин. — Для них (то-есть для денег) переплыл я моря, исходил три страны света, для них тысячу раз подвергал я жизнь опасности и много кровавого пота выжали они из твоего друга“.

„Полянка принялась считать. Давно уже насчитала она 50.000, а денег все еще было много. Вот и еще 50.000 отсчитала она...“

„Наконец все было сочтено, и они снова бросились друг другу в объятия.

„Счастливы были они,— продолжает Некрасов,— что любили и были молоды, но еще больше были они счастливы, что имели деньги“.

Откровенность неслыханная. Так-таки прямо и сказано, что деньги — необходимейшее условие счастья, что без них и молодость не молодость, и любовь не любовь. Это не просто роман, а символ веры, проповедь и призыв. Напрасно историки нашей общественности замалчивают эту почти единственную в русской литературе апологию стяжания, дельчества. Именно, апологию,— ибо, повторяю, юный стяжатель Каятин, помчавшийся от полюса к полюсу за сотнями тысяч рублей, есть у Некрасова идеальный герой,

которым автор само восхищается. Каютин интеллигент, петербургский студент, — из тех, которые зачитывались статьями Белинского, — лучший, передовой человек той эпохи. Он даже пишет стихи о любви, совершенно в некрасовском стиле. Создавая в 1848 году образ этого идеалиста-промышленника, двадцати-семилетний Некрасов обращался к поколению тургеневских лишних людей, гамлетов щигровского уезда, и говорил ему: сии победиши! Он звал этих гамлетов к промышленной, хозяйственной деятельности, веруя, что она для России нужнее всех Гегелей. Зорким глазом дельца-о-славца он сразу заметил роковую особенность русских культурных людей. Их мечтательность, оторванность от практики, и вот устами Каютина пытается завербовать их в купцы:

— „Звание артиста — конек наш, а купец, подрядчик, промышленник — нам обидно и подумать!“ — укоризненно восклицает Каютин. — „Мы — белоручки, ждем, чтобы деньги сами пришли к нам, упали с неба... При том мы все большие господа... Нам давай по крайней мере звание профессора, литератора, артиста... Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой“...

Вот какими словами заговорил этот недавний обличитель наживы, едва только он понял ее тогдашнюю роль в русском обществе. Русская интеллигенция никогда не могла принять и вместить это прославление наживы. Впоследствии, много лет спустя, известный П. Н. Ткачев посвятил роману Некрасова злоую статью, где доказывал, что идея в романе „узенская и пошленькая“ ¹⁾, но Некрасов смотрел иначе. Для героя его романа добывание денег не низменное, но героическое и вдохновенное дело.

— „Бывают же примеры и у нас, — говорит он, — что человек, не имевший гроша, через десять-двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего?... с опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, пытается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Вот как куются денежки, Полянська“.

Как куются денежки? Герои романа воруют, надувают, барышничают, или просто находят бумажники, набитые крупными деньгами. Один выкопал из земли целый сундук с серебром и стал любовно целовать каждую монету. Другой декламирует на целой странице:

— Деньги, деньги, один деньги... Вот-с как деньги-то важны ²⁾.

VI.

Чем же объяснить это внезапное преклонение пред деньгами, сказавшееся в 1848 — 1849 годах? Почему Некрасов, бывший таким ярким хули-

¹⁾ Постыль (П. Н. Ткачев) „Неподрашенная старина“. „Дело“ 1872, ноябрь.

²⁾ „Три страны света“. Роман в восьми частях Н. Некрасова и Н. Станицкого. Изд. третье. СПб. 1872, т. I, стр. 127, 315, и т. II, стр. 259.

телем денег, вдруг сделался восхвалителем их? Что побудило его выступить, тотчас же после смерти Белинского, с такой непопулярной, ответственной и рискованной проповедью? В романе „Спекуляторы“, о котором было упомянуто выше (и который, кстати сказать, написан за год до романа Некрасова), есть тоже идеальный молодой человек, подобно Каютину, ставший из жа любви — афферистом.

— Я буду спекулятором! — сказал Анатолий. — Несмотря на отвращение, которое я питаю к занятиям спекулятора, я буду им... Клянусь миллион!

Весьма возможно, что этот Анатолий и послужил прототипом Каютина, но какая между ними огромная разница! Герой Некрасова не только не гнушается отвращения к афферам, но и других призывает заниматься афферами. И автор ему лжно сочувствует.

Откуда такое сочувствие? Как посмел он призывать к афферам то самое поколение, которое только что создало „Бедных людей“, „Записки Охотника“, „Антоня Горемыку“, да и ему самому, Некрасову, продиктовало его первые плебейские песни? Ведь фельетонно-водевильная полоса его творчества кончилась, ведь уже наметилась его великая роль — одного из вождей молодой демократии. Ся уже редактор „Современника“, он ученик Белинского, он по праву стоит в ту пору рядом с такими гуманистами, как Герцен, Достоевский, Тургенев, — и не боится проповедывать наживу! Что сказал бы Белинский, если бы прожил еще несколько месяцев и прочитал его странный роман, призывающий молодежь к спекуляции!

Но в том-то и дело, что Белинский не только не отверг бы идею романа, а напротив, горячо восхвалил бы ее. У Белинского у самого в конце сороковых годов появились такие же мысли. Возможно даже, что именно он и повлиял на Некрасова, внушив ему идею романа. Ведь в последний год жизни Белинский постоянно твердил в своих письмах к друзьям, что „патриархальный сонный быт весь изжит“, что „надо взять иную дорогу“ и что эта иная дорога возможна лишь при воцарении денег, при наступлении буржуазного строя.

— „Вся будущность Франции в руках буржуази“, — писал Белинский незадолго перед смертью, — всякий прогресс зависит от нее одной (от буржуази)... Внутренний прогресс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство превратится в буржуази“¹⁾.

Это убеждение Белинский вывез из своей предсмертной поездки во Францию. Он уверял, что третье сословие, которое тогда было еще вольнолюбиво и декларировало самые высокие чувства, уничтожит все тяготы феодального быта. Он приветствовал эту денежную власть, как победительницу несправедливого строя, как один из этапов к воцаренному братству и равенству. Он высказал свое убеждение Анненкову, но до Анненкова оно

¹⁾ Белинский. Письма. Пб., 1914, г. III, стр. 317 и 339.

не дошло. Несомненно, что, вернувшись домой, умирать. Белинский не раз повторял свою центральную мысль друзьям, в том числе и молодому Некрасову. Некрасов, единственный, понял ее до конца. Он понял ее даже лучше, чем Белинский, так как она формулировала то, что он давно уже чувствовал сам. Ему достаточно было нескольких слов, чтобы он утвердился в своем ощущении, что деньги для тогдашней России есть хартия вольности, что их вторжение в русскую жизнь знаменует собою, если не полное раскрепощение народа, то хоть ослабление прежних крепей. Да и как ему было не понять этого! Он был первый поэт города, первый поэт плебей, первый разночинный поэт, как же ему было не чувствовать, что в деньгах—творческая свобода и сила! Он носил это ощущение в крови, и не он один, а очень многие.

В том же году, когда появился роман Некрасова, появилась и «бык-новенная история» Гончарова, где в более осторожной и робкой форме заключалась та же меланхолическая проповедь. Адуев-старший был принят читателями, как типический герой новой денежно-промышленной эпохи. Белинский, верный своему тогдашнему взгляду на освободительную роль «буржуазии», выступил с горячей статьей, восхваляющей этого убежденного меланхолического меланхолика.

— «Петр Иванович по-своему человек очень хороший, — писал Белинский об Адуеве-старшем. — Он умен, очень умен. Он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких дай бог, чтобы было больше».

Еще год тому назад Белинский не сказал бы этих слов. Год тому назад, браня буржуазию, он утверждал, что она — воплощение всего, что только есть дурного в народе. Но теперь ему так захотелось полюбить буржуа, что он нарочно закрывает глаза на все его темные стороны, хотя можно ли сомневаться, что, если бы ему довелось в жизни столкнуться с Адуевым-старшим, он возненавидел бы его с первой минуты. Тем знаменательнее это стремление примириться с Адуевщиной, забыть свое органическое отвращение к ней, и как чутко стал Белинский ко всяким обидам, причиняемым его новым любимцам! Когда Герцен в письмах из Avenue Marigny позволял себе задеть буржуа, Белинский считал долгом вступиться за них в последней предсмертной статье.

Некрасов воспринял и развил в романе эти идеи учителя. Он придал этим идеям реальную форму, показал их воплощение в жизни. Если бы Белинский был жив и познакомился с подвигами молодого Каютина, он сказал бы то же, что об Адуеве старшем: дай бог, чтобы в России было больше таких людей.

Так что в 1848 и 1849 годах роман, призывающий к «хождению в купцы», отнюдь не являлся изменой заветам Белинского.

С этим призывом Некрасов обращался не только к дворянам. Его избранные крестьяне Хребтовы, — Никита и Антип, — следовали той же про-

грамме и за это были особенно милы ему. Каютину, как мы ниже увидим, так полюбился Антип, что он даже советовал Поленые расцеловать этого мужика, как своего лучшего друга. Это сердечное расположение к крестьянам-купцам сказалось и в стихотворениях Некрасова. По-родственному, ласково и весело, самыми счастливыми стихами воспевают он торгашей-коробейников, торгаша дядюшку Якова (того самого, у которого дом не тележка), торгашей, наполняющих „сельскую ярмонку“. Он любит перечислять их товары, воспроизводить их торгашеские — бойкие и лукавые — речи.

Не только купца-мужика, не только купца-дворянина, но и купца-мещанина изобразил он в своем романе с особой любовью. Один из персонажей романа, мещанин Душников, был даровитый художник и писал отличные портреты. Но вот, к концу романа он, при полном сочувствии автора, оставляет художество и, снарядив две большие барки, отправляется вместе с Каютиным в Каспийское море добывать капитал.

Некрасову кажется, что после этого у Душникова даже наружность меняется к лучшему. „Купеческий костюм, — утверждает Некрасов, — шел к нему гораздо лучше так называемого немецкого платья. Ловко сшитый синий кафтан с меховой оторочкой, подпоясанный красным кушаком, шапка с собором прилавали ему молодецкий вид“.

Ненастоящий оперный, маскарадный костюм. Подобно костюму, Некрасовым были идеализированы и самые люди, носящие этот костюм. Всю жизнь он называл их „коршунами“, „пауками“, „разбойниками“ — а теперь не видит в них никаких недостатков, изображает их самыми нарядными красками. Это было необходимо тогда, так как слагающаяся буржуазия действительно несла с собою освобождение крестьян. Но нужно ли говорить, что, когда через несколько лет обнаружилось, что, несмотря на это, ее природа по-прежнему хищническая, Некрасов снова взглянул на нее глазами врага.

Уже к середине шестидесятых годов оказалось, что Каютин не только не расположен целоваться с Антипом, но, напротив, все сильнее угнетает его, и что живописный мещанин Душников, — предтеча Колупаевых и Разувзевых, — успешно заменяет дворянские крепки кулацкими. Некрасов не был бы Некрасовым, если бы не отвернулся от этих людей и не стал бы обличать их обоих. Эти обличения достигли своего апогея в конце его жизни, в 1875 году, — в эпоху Кокорева, Полякова и Губонина, когда Россию охватил небывалый промышленный и биржевой ажиотаж; тогда Некрасов написал сатирическую поэму „Современники“, где учинил жестокую расправу с Каютиными-биржевиками, Каютиными-заводчиками, Каютиными-банкирами, Каютиными-железнодорожниками, всякий раз наглядно показывая, как больно отзывался „Каютиństwo“ на живом теле многострадальных Антипов.

Таким образом, восхваление наживы и проповедь „хождения в купцы“ явилась лишь кратким и вполне обособленным эпизодом в литературно-общественной работе Некрасова, — эпизодом отнюдь не постыдным (вопреки мнению Ткачева и мн. др.), а, напротив, находящимся в полной гармонии с либеральными воззрениями Некрасова. Если впоследствии идея романа

могла быть лишь „узенькой и пошленькой“, то тогда, в свой первый год она была и нова, и широка, и нужна. Некрасов никогда больше к этой идее не возвращался, выбросил ее вон из души. Было бы безумно проповедовать эту идею в шестидесятых или семидесятых годах.

VII.

Всю жизнь Некрасов спорил с деньгами, противопоставлял им то любовь то религию. Но, даже обличая их, он против воли обнаруживал инстинктивное влечение к ним.

Мы видели, что всякое накопление богатств, превращение бедняка в богача для него неотразимо любопытное зрелище, и следить за всеми подробностями этого обогащения людей, рассказывать о нем в повестях, водевилях, романах, стихах было истинной потребностью его души, потому что, несмотря ни на какие идеи, он по своей натуре, по инстинктам, был приобретатель и собственник. Всю жизнь он подавлял в себе эти инстинкты и только дважды высказал их в поэзии и в прозе. Но, если бы он даже ни разу не высказал их, мы догадались бы об этом и так, потому что слишком часто возвращается он к этим денежным темам, слишком часто волнуется ими. Хотя в своих произведениях он многократно доказывает и себе и другим, что истинное счастье не в деньгах,— но не странно ли, что ему приходится это доказывать! Он такими мрачными чертами рисует катастрофический ужас безденежья, что обладание деньгами кажется завиднейшим счастьем. Безденежье в его книгах страше судьбы и чумы. Лично, не в литературе, а в жизни, он всегда был восхвалителем денег.

Одна пятнадцатилетняя девочка (значительно позже) сказала ему как-то за обедом, что денег она терпеть не может.

— А свободу любите? — спросил Некрасов.

— Больше всего на свете, — отвечала девочка.

— Но какая же свобода без денег? — воскликнул поэт ¹⁾.

Его сложное, двойственное отношение к налге сказывается на каждом шагу.

Своей поэмой о старом Науме, которого он зовет пауком, он хотел вызвать презрительное отношение к Науму, как к человеку, который зачерствил свою душу многолетним стремлением к деньгам. Но удалось ли ему это? Едва ли. Слишком уж подробно и любовно изображает он всю приобретательскую работу Наума, слишком уж подробно исчисляет все источники Наумовых богатств; так что, когда дело доходит до того, чтобы показать душевное банкротство Наума, мы этого банкротства не чувствуем, так как слишком долго мы вместе с поэтом любовались им и его мудрой хозяйственностью. Поэт против воли любит его, любит больше, чем той полуго-

¹⁾ „Научное Обозрение“ 1903, IV, стр. 140. Воспоминания о Некрасове Е. Ф. Литвиновой.

леди красавицей, которую нечаянно видит Наум. Поэма так и начинается перечислением доходов:

Науму паточный завод
И дворик постоянный
Дают порядочный доход

говорится в первом куплете.

Во втором и третьем куплете поэт повествует о том, как нажились Наум от отродя.

В четвертом и пятом — сколько прибыли дает ему кабак.

В шестом и седьмом — как обогащают его волжские перекаты и мели.

У поэта с кабатчиком только и разговору, что об этом:

— Ну как делишки? — спрашивает поэт.

— В барыше! — отвечает кабатчик, „разговорившись по душе, подробно высчитывает, что дал в году ему вино и сколько от завода“...

Поэт слушает с большим уважением. Не только деньги, но и все это изумство занимало его творческую мысль. Мы видели его повесть о доме, который был куплен одним хитроумным дельцом. Этот делец был историк Погодин, введенный под прозрачным псевдонимом, в великому негодованию Герцена ¹⁾.

Одно время это называние домов было положительно манией Некрасова.

— Купашь дом многоэтажный, — говорит он об одном персонаже.

И о другом:

— Дом нажил в восемь этажей

И о третьем:

Простой и добрый семьянин,
Чиновник непроданный
Он нажил только дом один,
Но дом пятиэтажный.

И о четвертом:

Детью и деревеньками
И домом нажился.

И о пятом:

Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.

Все эти дома — огромные, многоэтажные; все они нажиты нечистыми средствами.

Некрасову не было еще девятнадцати лет, когда он описал в своем первом рассказе, как некий Макар Случайный, имея оборотливый ум, нажил

¹⁾ Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII, 355. — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. СПб. 1915, т. IV, 412.

огромный дом, и как впоследствии все говорили: да, с таким родственником не надо четырехэтажного дома в Петербурге.

Через год он изобразил в „Литературной Газете“, как один капитан сватался к богатой вдове, которую звали Домна, а когда Домна отказала ему, воскликнул в отчаянии: о, я бездомный!

Бездомный вдвойне: без Домны и без дома Домны, потому что капитан был влюблен одновременно и в Домну, и в ее каменный дом ¹⁾).

Скажут, что такое наживание домов было тогда в Петербурге бытовым явлением, мимо которого поэт не мог пройти, но, спрашивается, почему же у других поэтов той эпохи, у Майкова, Полонского, Фета, ни разу не упоминается об этих домах? Почему в самом деле ни Майков, ни Полонский, ни Фет не сделали поэтами денег? Ведь они жили в одну и ту же эпоху с Некрасовым, были его сверстниками, но даже не заметили ни ассигнаций, ни ростовщиков, ни приобретенных за бесценок восьмизатяжных домов.

Ясно, что здесь дело не только в общественных условиях, но и в личных особенностях каждого из этих поэтов. До сих пор в нашей статье мы намеренно игнорировали личные свойства Некрасова, но теперь мы должны указать, почему же именно Некрасов — и только Некрасов — умел так изволнованно переживать эти темы.

Как приобретаются дома, у кого и за сколько, — эти вопросы даже в юности волновали его больше, чем те мировые вопросы „о тайнах вечности и гроба“, которые из поколения в поколение обычно волнуют молодые умы. Откуда? куда? зачем? — этих вопросов он не знал никогда. Но вещи, материальное богатство, имущество — вечно были у него в уме. Чужое имущество стояло у него пред глазами, раздражая и даже как бы оскорбляя его. Он постоянно подмечал в своих персонажах ту жажду имущества, тоску об имуществе, которая грызет мещанина. Герой его рассказа „Карета“, написанного в 1841 году, говорит: „сколько людей ездят в каретах! чем они лучше меня? Сердце мое надрывалось от злобы и зависти при виде кареты, я ненавидел тех, кто мог иметь ее. Зависть сосала мою душу“ ²⁾).

Это пишет подросток девятнадцати лет, и таким он оставался до старости.

То, что называется материальными благами жизни, занимает в его душе и в его поэзии огромное место; стремление к этим материальным благам, к домам, каретам, деньгам и вообще всевозможным вещам — доведено в его произведениях до нафоса.

Вообще, он весь в вещах, в земном и временном, и никогда не напал бы о себе, что „в беспредельное влекома душа незримый чует мир“, потому что он — только в предельном и зримом. Кроме Крылова, не было в России поэта, который был бы так непричастен к метафизическому умозрению, у которого была такая приземистая философия, над которым было бы также

¹⁾ „Литературная Газета“ 1841. № 42. „Капитан Кук“

²⁾ „Карета. Заниски дурака“. „Лит. Газ.“ 1841. № 60.

низкое небо. О небе, — о месяце в небе, — у него есть изумительные строки, невозможные в ту пору ни у какого другого поэта:

Он сказал мне: месяц в небе
Словно сайка на столе.
Значит, думает о хлебе.
И мечтаю о тепле.

Думать о хлебе, мечтать о тепле — это он умел лучше всех. Именно оттого он с такой необычайной остротой ощущал физические лишения людей, оттого он сделался поэтом голодных и холодных, что сытость и тепло часто были для него предельной мечтой. Только однажды у него написано в стихах:

Зачем же ты в душе неистребима,
Мечта любви, не знающей конца?

Но он словно не заметил в себе этого влечения к бесконечности, которое „неистребимо в душе“, и больше никогда не возвращался к нему. Так странно было видеть в одном из его стихотворений столь чуждое ему слово вселенная:

Чашу вселенского горя
Всю расплещи.

Это слово не из его словаря. Но в том-то и дело, что оно написано им по неволе. В подлиннике это двустипшие читается так:

Чашу народного горя
Всю расплещи.

Но цензура не позволила поэту мечтать об уничтожении горя народного, и он по неволе должен был расширить свою мечту до вселенских размеров.

Всю жизнь он был поэтом народного горя, но какого счастья хотел он для своих любимых крестьян?—

Надо, чтоб были здоровы
Овды и лошади их.
Надо, чтоб были коровы
Толще московских кунчих.

То-есть надо, чтобы крестьяне раньше всего обладали имуществом и чтоб это имущество было обильно:

Как бы так нам захотеть, чтоб весь свет удивить,
Чтобы деньги в кармане, чтобы рожь на гумне.

В романе „Три страны света“ Непрасов с увлечением описывает богатый Опечанский посад, где живут гордые и дюжие мужчины-богачи, где „стада русой и кур“, где „множество пароваров, тулупов и шуб“. Зажиточный мужик был его идеалом. Неприемными и радостными красками описывал он эту мужиковую зажиточность.

Мальчишку вырастит скоро.
Уж запаслись мужики
Зерем из темного бора,
Рыбкой из окрестной реки...

Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы:
Гуси кричат, поросата
Тычут в корыто носы...

Все принялось, раздобрело.
Сколько там, Саша, свиней!
Перед селеннем бело
На полверсты от гусей.

Как там возделаны нивы.
Как там обильны стада.
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда.

Видно, — ведется копейка.
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душе: рейка —
Из соболей воротник.

Дети до возраста в неге.
Конь — хоть сейчас на завод,
В кожаной прочной телеге
Сотню пудов увезет...

Сыты там кони-то, сыты.
Каждый там сыто живет.
Тесом там псы-то крыты,
Ну, уж зато и парод.

Такова утопия Некрасова. Дальше этого она не идет: чтобы хилая, скудная Русь превратилась в гомерически-зажиточный Тарбагатай. Сама фактура этих тарбагатайских стихов, — таких мускулистых, добротных и прочных, — показывает, что автор действительно в полной гармонии с этим обильным животновещественным миром. И такое название, — „Тарбагатай“. В самом звуке этого слова есть и грузность, и сытость, и приземистое небо, и полное удовлетворение вещественностью. Тарбагатаю ничего не надо, никаких метафизик, он и физикой чрезвычайно доволен —

Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живет.

Стихи замечательные, единственные в русской поэзии. Упоение материальным довольством, богатой хозяйственностью, выразилось в них как нигде (кроме, пожалуй, стихотворений Державина). Когда русская критика научится разбираться в произведениях искусства, она должна будет признать, что эти тарбагатайские строки ценнее, поэтичнее многих прославленных стихотворений Некрасова. Их мог написать лишь силач. В них есть фламандское, рубенсовское. Форма их изумительно слита с содержанием: напр., как хорошо это введенное в строку о поросатах:

поросата
Тычут в корыто носы. *

Тя-ты-то, — как передлет это м тыканье поросячьих носов и как связано оно с Тарбагатаем. Хилость и скудость всегда были ненавистны Некрасову. Ему нужны были здоровенные псы, высокорослые люди, полногрудые женщины, сытые кони. Если нет ничего, кроме плоти, то пусть эта плоть раздобрееет, разбухнет до крайних пределов! Пусть вся земля вокруг селения будет покрыта гусями, слошным, многоверстным гусем. И помню, как улаждался покойный поэт Гумилев этим „Тарбагатаем“ Некрасова. В своем увлечении Гумилев доходил до того, что утверждал, будто по всей некрасовской лирике самая лучшая, самая волнующая строчка:

Сколько там, Саша, свишей!

а если и не лучшая, то характернейшая. Если мы прочувствуем до конца эту тарбагатайскую черту в творческом облике Некрасова, этот облик осветится для нас по-новому; мы увидим его не таким, каким он казался нам до сих пор.

В романе „Три страны света“ чувствуется такое же упоение обликом: — „Гусь туда со всего света ланять летит — руками лови. Рыбы виднись-невиднись: успевай ловить..., а песцы, а медведи белые. Нигде не найдешь столько рыбы, и зверя, и птицы с дорогим пухом“¹⁾.

Не только в хозяйственной жизни, а всюду он любит изображать изобилие, прочную, тяжелую, чрезмерную, монументальную плоть, плоть в ее высшем выражении, наиболее плотскую плоть:

— „Посмотрите, что за рыба! Еле внес ее лакей...“

— „Князь Иван колосс по брюху, руки — род пуховика“.

— „С большущей сивой гривою, чай, двадцать лет нестриженной, дед на медведя смахивал“.

Таких монументальных образов у Некрасова очень много. Его, слабого, вечно больного, так часто привлекали „здоровенные“ многопудовые люди:

— „И было в ней перед ее кончиной без малого четырнадцать пудов“.

— „Генерал Федор Карлыч фон-Штубе, десятипудовой генерал, скушал четверть телятины в клубе, крикнул пасс и со стула не встал“.

Эти строки и сами десятипудовые, и в их звуках чувствуется грузность, обилие телесности, и самая фамилия генерала передает его вес.

Женщин Некрасов любил тоже „здоровенных“:

она

Мила, хорода и красна.

Постой, проказница, ужо

Вот догоню...“ Догнал, поймай. —

И полезуй их прозвучай

Над Волгой вкусно и свежо.

Нас так никто не целовал.

Да в подругиленных губах

У наших барынь городских

И звуков даже нет таких.

¹⁾ „Три страны света“ Роман Н. Некрасова и Н. Станицкого. С. Петерб. 1849. Часть IV, стр. 46 — 47.

Дарья, у которой двухлетний ребенок сидит на груди, как на стуле, может служить лучшим примером этого пристрастия к монументальному женскому образу:

цветет
Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Во всякой работе ловка.

Таковы были органические вкусы Некрасова, независимые ни от каких литературных и журнальных программ.

Муж этой громастой Дарьи такой же богатырь, как и она: „пригоже-ством, ростом и силой ты ровни в селе не имел“.

И Дарья, и Прокл, и их Савраска, и Савелий богатырь святорусский, и Матрена Тимофеевна — „осанистая женщина, широкая и плотная“, „корова холмогорская, не баба“, — и вообще вся „кряжистая корежжина“, „богатыри серьезные“ — так и тянуло Некрасова сюда, к монументальным и грузным образам, монументальным и грузным словам.

И подстать этим образам были те огромные почти невозможные цифры, которых так много в поэзии Некрасова. Он не был бы поэтом материального мира, если бы не питал особого пристрастия к цифрам, и эти цифры выражали такое же стремление к обилию. Мы только что видели гиганта-коня, который в гигантской телеге увозит сотню пудов. Почти все цифры у Некрасова такие гигантские:

— Сто вечеров до поздней ночи он говорил нам про него. — Сто дней не ел, хирел да сох... — Он жил сто семь годов... — Было ему уж до сотни? — Было и с хвостиком сто... — Впятером им четыреста лет... — Целый век по квартирам толкался и четырнадцать раз погорал... — Ты снес один по крайности четырнадцать пудов... — Убил ты, точно, на веку сто сорок два медведя...

Так щедр был Некрасов в своей арифметике. Цифры он выбирал самые крупные — иногда для гротеска, в шутку, по привычке к водевильному мышлению, но чаще всего всерьез, веруя в них вполне, выражал ими свою тарбагатайскую душу ¹⁾.

И это было в нем прекраснее всего. Он был земной человек, безо всякого порывания в нездешнее, безо всяких касаний мирам иным, но он

¹⁾ Из его шуточных цифр напомним такую:

Именья — семь дворов; так бедно, что с трудом
Дай бог своих детей прохарчить мужичонку,
А тут еще беда: что год, то в каждый дом
Сестрицы-барышни подкинут по ребенку.

— Как, что ты говоришь? — „А то, что в восемь лет
Так тридцать три душа прибавилось в именье.
Убытку барышням, известно дело, нет. —
Да, сударь, мужикам, какое разоренье.“

твёрдо стоял на земле, он любил ее хозяйственной, деловой, крестьянской любовью, и, если бы не его чрезмерная чуткость к человеческим страданиям и жалобам, которая сделала его поэзию мученической, это был бы самый здоровый, крижистый поэт, счастливый житейским и здешним: деревьями, скирдами, конями, коровами, женщинами своей любимой тарбагатайской земли.

Отсюда все его панихиды и похороны. Любя тарбагатайское здоровье, тарбагатайскую сытость, тарбагатайскую „холоу“ и „негу“, он именно поэтому с такой болью, как личную обиду, ощущал нашу хилость, нищету, скорбь и смерть, именно поэтому так мучительно ненавидел всё то, что непохоже на его Тарбагатай, что мешает пышному и чрезмерному цветению плоти. Именно потому он был поэтом болезни, нужды и смерти, что умел до такой степени радоваться здоровью, богатству и жизни, — жизни, как таковой, самым сокам жизни, ее зеленому шуму, ее разноголосице и суете. Это бездумное наслаждение жизнью он умел изображать как ничто. Как его радовали, напр., весенние звуки:

В обаянии счастья и славы,
Чувству жизни ты вся предана,—
Что-то шелчут зеленые травы,
Говорливо струится волна;

В стаде весело ржет жеребенок,
Бык с землей вырывает траву,
А в лесу белокурый ребенок —
Чу! кричит: „Парасковья, ау!“

По холмам, по лесам, по долинам
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышим — и в лес соловьиный
И нестройные писк и галчат.

Грохот тройки, скрипленье подвоим,
Крик лягушек, жужжание ос,—
Треск кобылок,— в просторе свободы
Все в гармонию жизни слилось!—

Хороша земля, хорошо на земле, жить бы тысячу лет и все слушать бы эти земные ауканья, ржанья, шопоты, говоры, грохоты, радоваться кобылкам, лягушкам, быкам, жеребяткам и просто тому, что вот сейчас из лесу слышно, как какой-то мальчишка кричит: „Парасковья!“ Он был рад не только звукам, но и краскам:

По пыльным по головушкам
Играет солнце внешнее,
Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом.
Китаны на парнях пливовы,
Жилетки полосатые,
Рубахи всех цветов;
На бабах платки красные,
У девок косы с лентами,
Лебедками плывут.

Эти тарбагатайские, здоровые, пышные звуки и краски сливались для него в „гармонию жизни“; он крепко прилепился к ним, он чувственно и страстно любил их, и потому-то его всю жизнь так пугала смерть, потому-то он пел панихиды над своим собственным трупом. Его предсмертные годы — те носемнадцать месяцев, когда он, заживо разлагаясь от рака, без надежды на выздоровление, боролся один-на-один со смертью — все проникнуто одним криком: не хочу-у-у! Смерти он не принимал, не вменял и говорил ей только одно „не хочу“, — не хочу, чтобы прекратилось для меня это вечно праздничное цветение плоти, чтобы кончилась эта милая, телесная жизнь, — а другой он не знал и знать не хотел: ни разу в своих предсмертных стихах, где он кричит об этом не хочу! — ни разу в них не высказал он даже отдаленной надежды на иное бытие, на загробное, неплотское счастье. Он был так крепко привязан к этому миру явлений, что не изменил ему даже на смертном одре.

Всю жизнь он с особенной болью отзывался на царящую в мире смерть и не знал ей никаких оправданий, и всегда отмечал с омерзением, как она уничтожает самую пышную, богато цветущую плоть. Вспомните Савву, — охотника-гиганта, который поддел на рогатину сорок медведей — какими тарбагатайскими красками изображает поэт его огромную телесную силу, чтобы возмnozвать нас его смертью:

Росту большого, рука — что железная.
Плечи — косая сажень...
Умер, Касьяновна, умер, болелзвал.
Вот уж тривалцатый день!

И другой оплакиваемый поэтом покойник — Иван — такой же тарбагатайский гигант:

Богатырского сложения
Здоровенный был детинущка.
Поднялся сам из Питера
Генерал на парня этого,
Как в рекрутское присутство
Привели его раздетого!

Так мощно и стройно было это молодое тело, — к тем страшнее его умирание, тем страшнее эти гениальные слова:

И потас он, словно свеченька.
Восковая, предыконная...
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная.

Человек создан для счастья, не загробного, а здешнего, земного, — этого не осмелился высказать ни один из русских поэтов. Некрасов и здесь самобытен, ни на кого не похож. И пусть Владимир Соловьев, любивший лишь поэтов-метафизиков и умевший понимать их лишь постольку, поскольку они

были метафизики,— презирал поэзию Некрасова за то, что Некрасов был лишен чувства вечности, для Некрасова эта земля дороже вечности и лучше всяких загробных миров,— ее ветры, запахи, весны, птицы, деревья, снега. Только от него мы узнали, что физическое, тарбагатайское счастье людей достойно величайших поэм, что любовь к насущному, житейскому — драгоценнейший, редчайший дар, доступный немногим избранным, что гораздо легче воспевать „Деву Радужных Ворот“, Небесную Софию и Вечную Женственность, чем по-настоящему, всем сердцем обрадоваться тому, что мальчишка кричит „Прасковья“, а бык с землею вырывает траву. Мы не умеем ценить великие произведения искусства, и, например, о „Рыцаре на час“ у нас не существует ни одной настоящей статьи, а есть только бессвязные, чисто эмоциональные возгласы, и никто еще не указал, как типична для всего душевного строя Некрасова выраженная в ее первых строках радость жизни. радость от сознания, что вот я живу, иду по дороге, вдыхаю воздух, слушаю, смотрю,—

По широкому полю иду.
Раздаются шаги мои звонко;
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул астребенка.

Как он вздрогнул, как крылья развил,
Как взмахнул ими сильно и плавно.
Долго, долго за ним я следил
И невольно сказал ему: славно!

Чу! стучит подлезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги.

Здесь опять-таки изумительный аппетит к бытию; чувствуется, что в эти минуты он говорит свое славно не только астребенку, а всему: пахнет деготьком,— славно! гуси проснулись,— славно! Воз проехал,— славно! Это славно Некрасов говорил очень редко, но когда говорил, то по самым его образам, по звукам его стихов можно чувствовать, что это плотоядное — от души, что он вложил сюда всего себя без остатка. Тому, кто так умел любить земное, действительно не нужно небесного, он и без неба — великий поэт.

Post Scriptum.

Моя статья кончена, но мне хотелось бы — хоть в нескольких беглых строках — предупредить одно возражение, которое запрашивается само собою.

Дело в том, что многие свои доводы я черпаю в романе Некрасова „Три страны света“, а между тем этот роман пользуется у читателей очень плохой репутацией.

Об этом романе в литературе существует легенда, будто он не выражает подлинных убеждений Некрасова, будто он написан спустя рукава, лишь бы только дать читателям легкое и забавное чтение. Принято думать, что этот роман есть просто вздор, недостойный внимания, тем более, что сам Некрасов

сов отзывался о нем пренебрежительно и никогда не позволил бы поставить его в один ряд с серьезными своими вещами.

Если это так, то, конечно, мы были не в праве делать из этого романа те выводы, которые были сделаны выше.

Для того, чтобы отстоять это право, мы должны доказать, что роман, действительно, отражает в себе подлинные верования и убеждения поэта.

Поэт, действительно, хотел написать легковесный авантюрный роман, для развлечения, а не для поучения читателей, но удалось ли ему это? Нет! Года три или четыре тому назад удалось бы, но теперь не удалось, потому что теперь, в 1848—1849 годах, когда кончился водевильно-фельетонный период его творчества, на него нахлынули новые мысли и чувства, и он стал вкладывать в свои писания всю душу. Слишком серьезное, слишком учительное было то время, недаром именно тогда, в эти два-три года, сразу, выдвинулись такие писатели, как Герцен, Достоевский, Гончаров и Тургенев. Шутить литературой в те годы было уже нельзя. Конец сороковых годов по своему душевному тону был совершенно не похож на их начало.

Стоит лишь бегло перелистать этот огромный роман, чтобы убедиться, что Некрасов,— может быть, против воли,— внес туда свои заветнейшие мысли.

Роман написан только потому, что после французской революции 1848 года русская цензура стала запрещать все французское и зарезала подряд шесть романов, намеченных для напечатания в журнале Некрасова. А так как без французского романа журнал был немислим, то Некрасов и решил, что он сам напишет французский роман. А для того, чтобы роман вышел еще более французским, он пригласил в сотрудницы свою подругу Авдотью Панаеву. Панаева, действительно, офранцузила этот роман, ввела туда несуществующих петербургских субреток, влюбленных горбунов, подкинутых младенцев и похищенных дев. Но если выбросить из романа все то, что написала Панаева (а выбросить легко, так как теперь достоверно известно, что написано ею и что написано им), то пред нами будет довольно точная и верная картина самых искренних и задушевных чувств Некрасова¹⁾.

Правда, попадаютсся страницы, отызывающиеся водевилем и фарсом. Некрасов только что перестал поставлать водевили для Александринской сцены, и у него еще долго оставались привычки водевильного мышления. Недаром, через год после написания романа, он напечатал превосходный рассказ „Краска Дирлинга“, который так и просится на Александринскую сцену; это явный театральнй водевиль, маложенный в форме рассказа. Когда в своем романе он выводит подъячего, который на каждом шагу говорит: миллион триста тысяч,— напр.:

— Мороз страшный, миллион триста тысяч градусов!

¹⁾ Главы „Как кутит Киричев“, „Деревенская скука“, „Первый шаг“, „Выстрел“, „Новые лица“ написаны единолично Некрасовым, а „Пролог“ и „Шутка“ — Панаевой. Панаева является автором глав, посвященных преимущественно Поленке и лицам, окружающим Поленку. Некрасов жевзал на себя изображение путешествий и приключений Каютина.

— Нам ведь учений: миллион триста тысяч языков знает!

— Разрезали его (самоубийцу) на миллион триста тысяч кусков!

Так и видишь этого подъячего в исполнении Дюра или Мартинова на Александринском театре. Таким же водевилем отдает анекдот о старике Доможирове, который женился на свирепой квартирной хозяйке лишь затем, чтобы не платить за квартиру. Такова же глава „Свадьба“ в начале второй части романа.

Но таких страниц мало, большинство же страниц отражает Некрасова гуманиста, Некрасова певца обездоленных, Некрасова народника, — словом, того самого Некрасова, каким мы знаем его по его лучшим стихам.

Как ни старался он быть на этих страницах просто занятным рассказчиком, это ему не удалось. Даже в авантюрном французском романе, написанном для легкого чтения, несмотря ни на какие притеснения цензуры, он высказывает свои наболевшие, некрасовские, неотвязные мысли. Странно, что русская критика, обычно столь чуткая ко всяким гуманным мотивам в произведениях искусства, не заметила таких потрясающих, истинно некрасовских эпизодов романа, как, например, „История мещанина Душников“, где рассказывается, как даровитый живописец из народа был искалечен жестокой средой. Такие же некрасовские жалобы на тиранию людей чувствуются в главе „Деревенская скука“, где скучающий помещик от нечего делать, в течение долгих часов издевается над крепостным ребенком ¹⁾, и в той же главе, где самодур Кирпичев оскорбляет старика-приказчика, и дальше, где деспот-отец губит непокорную дочь, и дальше, где хозяева эксплуатируют беззащитных работников, и дальше, где важный генерал выбрасывает, не читая, прошение подъячего, обремененного огромной семьей — всюду та же некрасовская чуткость к человеческим обидам и болям, к слезам и стонам угнетенных людей, без которых поэзия Некрасова была бы немислима.

Это в Некрасове — подлинное, органическое; это заставляет нас отнестись к его роману с таким доверием, с каким до сих пор еще не относились к нему. И другая чисто некрасовская черта сказывается в этом романе: страстная любовь к мужику.

В ту пору только что начинали сентиментально любить мужика (по Жюль Сандю) и никто еще не думал окружать его тем ореолом, который был создан потом. Только Некрасов — единственный — в этом романе заговорил о русском мужике так влюбленно и пылко, как еще не говорил никто. Другие просто любили (или старались любить) мужика; он один был влюблен в него, и в этом романе впервые — признался в своей любви. Именно здесь начался его длинный роман с мужиком. Особенно умалют его Антип и Никита Хребтови. Он видит в них воплощение всего прекрасного и благородного, что только есть в мужике. Ему нравится даже лукавство Антипа, даже его насмешливость, даже его себе на уме. В четвертой части романа мы встречаем также — по тому времени новые и необыкновенные — строки:

¹⁾ Впоследствии Некрасов переделал эту главу в одноактную театральную пьесу: „Осенняя скука“.

„Каютина задумался о Полинке и о той минуте, когда он приведет к своей невесте невысокого чернобородого мужика с пробивающейся сединой, с маленькими сверкающими глазками, с умилой и немного лукавой улыбкой и скажет ей: полюбви его! расцелуй его! это мой лучший друг!“

Тогда никто еще в нашей словесности не целовал мужиков. Никто не называл их своими лучшими друзьями. Некрасова первого охватило это чрезмерное чувство, и он излил его в этом романе.

Словом, как мы бы ни относились к роману, мы должны признать, что в нем отчетливо выражены все подлинные симпатии и антипатии Некрасова. В этом романе он весь со всеми своими пристрастиями. Тут и ветер, и стоны, и смерть, и бурлаки, и охота на медведя, и карты! — весь некрасовский мир. Пусть роман написан впопыхах и небрежно, но в нем Некрасов остается Некрасовым. Это не то, что его недавние очерки „В Сардинии“ или „Певца“. Он вкладывает в этот роман много фактов из своей биографии. Он рассказывает, например, как хозяин выставил оконную раму у неплатящего за квартиру жильца; мы знаем, что этим жильцом был он сам. Он рассказывает, как некий Граблин писал прошения нищим, получая за это гонорар в три копейки. Такие прошения писал, как известно, он сам. Он говорит о Каютине, что отец направил его в Петербург, в Дворянский полк с письмом к генералу, а он не выполнил воли отца и поступил в университет слушать лекции. Это тоже из собственной своей биографии ¹⁾. (Вообще Каютина он часто отождествляет с собою). Мы сказали бы, что этот роман, пожалуй, даже слишком некрасовский. Нигде в своей прозе Некрасов не высказывался с такой полнотой. И если мы относимся с доверием ко всем прочим тенденциям, выраженным в этом романе, мы должны с таким же доверием отнестись и к этой главной тенденции — к прославлению наживы.

Н. Чуковский.

¹⁾ В романе он выводит не мало своих знакомых: Доейкова, Л. П. Бутыба, Р. М. Толстого под фамилией Лачугина (Толстой помог ему основать „Современник“, у него он только что гости в Казанской губ.), книгопродавец Поликов, купец Жуков и даже свою собаку Фингала. Во второй части на 109 стр. рассказан сюжет его стихотворения „Похороны“, в четвертой части на 67 стр. есть вариант его стихотворения „Не заказано ветру свободному“; в романе мы встречаем и „бессменного“ Блюхера (II, 98), который упоминается дважды в позднейших стихотворениях Некрасова („На Русь жить хорошо“ и „Похлебки“, и словечко туда, которое играет такую роль в позднейшем стихотворении „Над чем мы смеемся“).

Михаил Александрович Бакунин.

Годы странствий.

(1840—1849)

(Переписка с родными и друзьями)¹⁾.

Барвара Александровна Дякова (Бакунина) перед новым 1841-м годом под влиянием только что полученного письма своей матери, впала в покалывающее настроение,— что часто случалось с ней, особенно в Берлине. И в этом настроении она написала матери следующее письмо:

„Милая, бесценная, добрая маменька, молча прижаться к груди вашей — вот одно, что бы я могла в эту минуту. — Ваше письмо разорвало мне душу. Сейчас принес мне его Миша. Простите мне все горькие минуты, которые причинила в моей жизни. Бог знает, что каждая из них может быть еще тяжелее ложилась на мне. Нет, мои дорогие, милые, бесценные родители! я не с намерением, не с холодным равнодушием мучила вас и себя. — Неужели вы и теперь еще не перите моей любви, моей откровенности и неподдельной прямоте моего сердца? Если во мне есть что-нибудь истинное, хорошее, то именно эта неподдельность чувства и любовь моя к вам, — это все мое блаженство, и я не хочу другого... Вы мне еще не верите, — я в этом удостоверилась в одном из писем ваших, где вы, не поняв моего письма, приняли все за фразы. Ах, если бы вы знали, как далеко от меня всякое фразерство! И если бы оно даже не было мне так чуждо, не в таком состоянии духа я бы могла продаться ему. После всего, что я испытала, милые родители, право, только одно истинное чувство, а не пустые фразы могли согреть меня. Неужели эта недоверчивость всегда будет между нами? Неужели горячая, полная, светлая вера любви никогда не уничтожит ее? О, ради бога, простите меня, если я говорю слишком смело! Скажите мне это. Только не сердитесь на меня, не приписывайте мне чего-нибудь слишком чуждого, не оттолкните меня, не назовите это опять фразами. Мне бы лучше было молча обнять вас, — письма так легко могут привести к недоразумению, а это так лжёт сердце и так охлаждает его.

¹⁾ См. „Библиог.“ кн. 21 (1923), с. 3—41.

И не умею написать того, что люди называют рассудительного письма, т.-е. ни холодного, ни горячего, строго обдуманного и взвешенного, со всех сторон подрезанного,—по крайней мере не к вам, милые родители. Такого благоразумия у меня никогда не будет—ни в письмах, ни в действиях, т.-е. с теми, которые мне так близки, так дороги, как вы: а для благоразумных людей у меня есть также благоразумие, но что меня радует, без фальши. Мне кажется, этих благоразумных людей только тогда и можно любить, когда не фальшиваешь с ними, а кого любишь, того уже не оскорбляешь.

О, скажите мне, что я могу говорить с вами с совершенною откровенностью; мне иногда так хочется сказать вам, но боязнь вам не понравится каждую минуту меня останавливает, и я поневоле должна прекратить мое письмо и ограничиться описанием наружных, мертвых обстоятельств. Я право не умею делать такого рода описаний. Все эти наружные перемены имеют для меня только тогда значение и жизнь, когда перешли в меня и сделались мне чувством—тогда я только их и понимаю.

Маменька, милая, добрая, бесценная маменька! О, будьте всегда со мною, как в вашем последнем письме, не срывайте от меня ничего,—мне так сладко все делить с вами. Да, маменька, я, как мать, глубже, полнее понимаю вас, чем сестры. Есть время, маменька, где дочь становится другом матери, где они могут поверить друг другу. И это равенство не утрачивает детской любви, нет, напротив, в нем она достигает своего высшего совершенства. Да, маменька, были минуты, когда я сомневалась в любви вашей и папеньки,—это было потому, что я не знала силы всей беспредельности любви родителей к детям. Но причиною этого сомнения, которое так ужасно потрясло спокойствие нас всех, было это фальшивое, и, к несчастью, всеобщее правило, будто полная, свободная доверенность детей к родителям не соответствует тому подчинению, которое они всегда должны чувствовать к ним. Это гибельное правило было причиною всего... Говорят: дети должны во всем безусловно верить родителям, все, что они делают, должно быть для них совершенно. Но может ли это быть? Дети больше и лучше рассуждают, чем это думают. Я думаю даже, что в них больше здравого смысла и сметливости, чем во взрослых людях, потому что в них все так просто, чисто и безыскусственно,—но об этом-то именно и не подумают... Маленькие недостатки и слабости больше всего бросаются в глаза детям, потому что они им понятны,—а кто может совершенно от них освободиться? И потому, вместо этого безусловного почтения, не лучше ли ввериться любви их. О, ради бога, не примите это только за упрек! Эта ошибка не ваша, общая, а потому вы не могли ее избежать, не могли предвидеть и грустных последствий. Не прежде, как перейдя через страдание, мы научаемся избегать его. О, только теперь не сомневайтесь в любви нашей! И ничто не потеряно, напротив, все это грустное пережитое еще ближе соединит нас. О, если бы я могла хоть на минуту дать взглянуть вам в мое сердце: вы бы не стали сердиться на меня за то, что говорю так прямо и смело, вы бы меня поняли и все мне простили. Нет, меня несколько не трогает, когда Сапа, видя меня ле-

много в дурном расположении, с негодованием говорит мне: „Ты сердита, я не могу любить тебя, когда ты сердита, ты сама сказала мне, что не надо сердиться. Нет, не сердись, а то и я рассержусь“... Зато какое счастье дает мне любовь его. На этих днях я читала, он играл на полу. Вдруг он зарыдал, бросился мне на шею. Я испугалась. Наконец, почти задыхаясь, он проговорил: „Нет, нет, не умирай прежде меня, я не хочу без тебя жить, нет, я хочу прежде умереть, нет, мы умрем вместе, я не хочу прежде тебя идти к богу! Давай молиться богу, чтобы он взял нас вместе!“... Я с трудом могла его успокоить, и он несколько дней сряду все твердил об этом.

Je lui laisse absolument toute la liberté de parler, il me fait toutes les questions et toutes les observations qu'il veut. — S'entend seulement que je tache de donner lieu aussi rarement que possible à des observations du genre de celles d'en haut, et qui tombent en ma difaveur, la crainte de devoir se séparer de moi le tient toujours dans les bornes du respect, — c'est la seule punition et la plus efficace. — depuis quelques temps, c'est à dire depuis que ma santé a commencé à s'améliorer, j'ai de jour en jour moins besoin de recourir...¹⁾. (К сожалению конец письма не сохранился).

Бакунии к этому времени решается вызвать брата Павла в Берлин. Решает он это вместе с Тургеневым, с которым в это время он жил в одной квартире и сдружился очень тесно. Насколько Тургенев дорожил дружбой Бакунина, с самого начала их знакомства, выражается в письме его от 8 сентября 1840 г., в котором Тургенев, между прочим, писал ²⁾:

„Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в девять месяцев!..

Я приехал в Берлин, предаясь науке, — первые звезды зажглись на моем небе — и, наконец, я узнал тебя, Бакунина. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтоб вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь, быть может, мне необходим: из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом: с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна,

¹⁾ Я ему предоставляю полную свободу говорить, и он задает мне все вопросы и сообщает все наблюдения, какие он хочет. — Разумеется, я стараюсь как можно реже давать ему повод к таким замечаниям, о которых упоминала выше и которые говорят не в мою пользу. Страх разлучиться со мною держит его всегда в границах уважения. — Это единственное наказание и самое действительное. С некоторого времени, т.-е. с тех пор, как здоровье мое начало улучшаться, мне день ото дня приходится реже прибегать...

²⁾ Письмо напечатано в „Русской Мысли“ 1912. декабрь, стр. 141, в отделе „Материалы по истории русской литературы и культуры. Одно из ранних писем И. С. Тургенева“.

прекрасное, знакомое — и не знакомое явление: ему отрадно и легко и он верит в достижение цели...

Философическое убеждение каждого есть его создание, и если в искусстве ничего нельзя создать без дисциплины, тем более в философии, где средства и цель нераздельны и движутся в духовном мире, wo die Vernunft aus dem Verstand, der Geist aus der Vernunft hervorbricht und der in unserer Tiefe lebende Gott in unser ganzes Wesen übergeht. Eine philosophische Ueberzeugung fassen ist das höchste Kunstwerk und die Philosophen sind die grössten Meister und Künstler. Eigentlich hört hier die Kunst auf, Kunst zu sein, sie löst sich auf in der Philosophie ¹⁾).

Случалось ли тебе сорвать ветвь камыша (или распуколку розы), сморять его скатанные оболочки и все находить другие, все белее и мягче, все теснее скатанные, и с радостью доскидывать последнего сокрытого зерна? Я в детстве часто трудился подобным образом и досадовал и задумывался, видя, что последние оболочки так тонки и нежны, что ободрать их невозможно. Вот образ философской системы. Но ты будь терпелив, дай расцвести цветку, и ты будешь любоваться его изящной формой, наслаждаться его запахом и перечесть все его распутившиеся листики и тычинки.

Michel! нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, а вечером будем сходиться у твоей сестры, ходить слушать хорошую музыку; составим чтения; Вердер ²⁾ будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, сколько месяцев наслаждения, с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 210 дней! Весной я должен ехать в Россию — непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма к своим: как я желаю хоть видеть их! Скажи им обо мне, как о человеке, который тебя любит: больше ничего. Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе — ты. У меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: Станкевич скончался 24 июня 1840 г., а ниже: я познакомился с Бакуниным 20 июля 1840 г. Из всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было два друга — и первого звали Michel. Он умер: мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер. Но ты будешь жить, и я буду жить и, может быть, оба — не даром..."

Прожив осень с Тургеневым, Михаил Александрович Бакунин написал брату Павлу следующее письмо:

„Милый брат, я давно хотел писать тебе, да все как-то не удавалось. Но ты ведь уверен в том, Паша, что я не позабыл тебя, не правда ли? Всякий новый успех мой в науке был связан с мыслью о тебе. И вот теперь,

¹⁾ Где разум проступает из рассудка, дух из разума и живущий в глубине нас бог проливает все наше существо. Философское убеждение понять есть величайшее искусство, и философы величайшие мастера и художники. Собственно здесь искусство перестает быть искусством — оно растворяется в философии.

²⁾ Вердер — очень известный в 30 и 40-х г. г. философ, бывший гегельменцем, профессор Берлинского университета. А. К.

милый Паша, явилось средство к осуществлению моих любимых фантазий. Твое здоровье требует поездки за границу. Ты увидишь из письма моего к Грановскому, в чем дело и какие средства я считаю действительными для достижения этой цели. Тургенев даст нам займы денег столько, сколько нам для этого будет нужно; мы заплатим ему, когда у нас будет свое собственное имущество. Нужно испросить позволение графа Строганова; в этом тебе могут помочь Грановский и другие знакомые профессора, которые верно не откажутся быть тебе полезными. К Грановскому будь вполне доверчив; между мною и им большое отдаление, но не менее того я его глубоко уважаю, как друга Станкевича и как благородного человека. Я знаю, он сделает все, что от него зависит, для нашего семейства, и будет рад быть ему полезным. Он также может помочь тебе уговорить родителей. Ты знаешь, какое уважение имеет папенька к мнению начальников (посредственных и непосредственных) детей своих.

Ты непременно должен прочесть мое письмо к Грановскому; повторить сказанного мне не хочется. Ты увидишь, что мой замысел не ограничивается только твоей поездкой и что я хочу, чтобы ты привез к нам Титану. Все это может показаться диким и невозможным с первого разу — были минуты, когда оно мне самому так казалось, — но это глупые минуты. Мы все так покорились пошлой действительности, что нам всякое свободное, широко решение кажется диким. Твое здоровье, болезненное состояние твоего духа (о чем папеньке говорить никак не должно или, по крайней мере, очень осторожно) требуют этой поездки. Для Танюши, положение которой ты так хорошо знаешь, как и я, она также необходима. И если мы, наконец, убедились в этой необходимости как для тебя, так и для нее, то не гораздо ли диче, невозможнее и непростительнее, сложа руки ничего не делать и предоставить все пошлостью и пагубному ходу ежедневности. Веры, веры больше — в веру истина и сила. В наших мыслях, в чувствах и намерениях, вытекающих из глубины душ наших, мы видим наше высшее, то, что дает нам право называться святым именем человека; а между тем, когда приходит час столкновения их с ежедневностью, тогда мы называем их призраками, пустыми фантазиями, тогда мы заставляем их преклоняться перед этою ежедневностью, которую мы прежде так глубоко презирали. Нет, не они призраки, но эта ежедневность есть самый страшный призрак, окутывающий нас ничтожными, но вместе с этим сильными, невидимыми цепями. Силою веры и силою воли, всегдашней сопутницы веры, мы должны свергнуть эти оковы...

И несколько увлекся; дело в том, что мысль моя совсем не так неудобополнима, как оно может показаться с первого разу. Родители легко согласятся на твой отъезд, и когда твое дело будет уже решено, тогда — вы должны говорить о Танюше. Дай бог, чтобы вы пришли только в то состояние духа, в котором все легко, все удастся, в котором все препятствия исчезают. Это состояние духа есть то, в котором вера так сильна, что она перестает быть движением, экзальтацией, порывом, — но становится простым, спокойным, крепким, мягким и вместе бесконечно твердым и сильным чувством.

Мне кажется, что, если бы я был теперь с вами, то родители скоро согласились бы: впрочем, я напишу им письмо, которое пошлю тебе или Николаю, для того, чтобы вы могли отдать его им, если по вашему благорассмотрению оно может быть полезно. Во всяком случае я уверен, что вы, милые братья и сестры, сумеете все сами сделать. В этом деле, да и вообще во всяком, должно быть истинным, избегать всякой лжи, но вместе с тем и говорить правду умеренно. Цель вам дана, — а что и как должно сделать для достижения ее, — это вы сами должны знать и будете знать, проникнувшись необходимостью достигнуть ее с ясною и чистою душою и соображаясь с обстоятельствами.

Тут предстоит одно затруднение. Родители ожидают Вареньку осенью, но она только тогда возвратится, когда мы вполне убедимся, что ей не угрожает ни малейшая опасность со стороны Д[ьякова]. Это решено. Об этом я хочу писать тетеньке Татьяне Михайловне, которая, может быть, вам будет полезна. Старайтесь выхлопотать себе от родителей позволение остаться за границею до будущей весны. Если же нет, — то до будущей осени, и тогда, если ваше здоровье вам позволит, вы должны будете возвратиться осенью.

Главное, как можно больше веры и деятельности и как можно менее уныния. Принимайтесь сейчас же за дело ясно, твердо и кротко, — и вы успеете — в этом нет никакого сомнения. Особенно не давайте спать брату Николаю, он может иметь сильное влияние на родителей. Наше дело истинно, я знаю, какие препятствия оно может встретить со стороны отца. Как грустно и тяжело огорчать нашего святого старика. Да оно необходимо, а потому должно и может быть достигнуто.

Кроме того, остается еще одно затруднение, — Саша останется одна. Но, с одной стороны, вы можете устроить так, что Annete Rzevsky, одна из Ушаковых, а может быть Alexandrine Beer, которой я завтра напишу. Но главное ее будет поддерживать мысль, что твое и Танюшино адоревье поправляется и что мы некоторое время будем вместе. Я знаю, что эта мысль ей будет большим утешением, счастьем даже, а потому за нее бояться нечего. Что ее глаза? Напишите, милые братья, вы мне ничего не пишете — ведь я ничего не плачу за ваши письма — если я вам не пишу, то из этого не следует, чтобы вы были избавлены от труда писать мне. Я никому не писал, потому что во мне происходит новый переворот. Ich bin im neuen Werden begriffen — der Staub fällt ab und es wieder klar und mächtig in meiner Seele. Diesen Winter habe ich ein bedeutungsvolles Leben erlebt, — die Wiedergeburt nach der ich mich so geseht habe fängt schon an in meiner Seele sich mächtig zu bewegen; — das Gefühl des Alters das mich so niedergedrückt hatte, ist verschwunden; ich fühle mich wieder jung und lebendig; mein alter Glaube und meine Kraft scheinen auferstehen zu wollen; und alles ist durch die Besonnenheit die ich in den schwersten Stunden meines Lebens errungen habe, gestärkt und bereichert — das Leben ist schön, obgleich es auch schwer und gerade weil es schwer ist — ist es schön und wahr. — Glauben und Muth — das sind des Lösungsworth; der Muth der Consequenz; Gott bewahre uns von jeder erbär-

mlichen Vortrüglichkeit — es ist besser consequent abstract zu sein als durch diese kraftlose Verträglichkeit sich in der concreten Welt ertragen zu wollen; — die Consequenz in der Abstraction führt bald zum Bewusstsein ihrer Einseitigkeit und zur wirklichen Befreiung; die Verträglichkeit aber hat keinen Ausgang, weil sie alles zu haben scheint und doch nichts hat, weil sie nichts aus sich reproducirt — sondern nur alles aufnimmt wie es ihr entgegen kommt. Und nur das ist dem Menschen wahr und wirklich, was er aus dem innersten Quell seiner Eigenthümlichkeit reproducirt ¹⁾.

Милая Сама, ты верно теперь еще в Москве; Du hast viel gelitten, gute Schwester; aber es ist immer besser, als die Frau eines Mannes zu werden den man nicht wirklich liebt: tröste dich, — nichts geht im Leben verloren; die Irrthümer selbst sind nothwendig; ihre Möglichkeit muss zum Lichte kommen, sich verwirklichen und wirklich getieft werden zu können, sich das Heiligthum seines inneren Lebens muss man nur verwahren, mit diesem Führer hat man nichts zu fürchten; wahr sein nach innen und nach aussen, das ist der einzige Faden — der uns aus jeder Verwicklung retten kann. In dieser Wahrheit allein lebt und liebt man wirklich: — und unsere Liebe, Schwester ist sie nicht deine Heimath, macht sie dich nicht glücklich; — das dass wir in der grössten Entfernung eins sind, eins lieben, denken und fühlen, ist es nicht ein heiliges Wunder, ist nicht die höchste Offenbarung und Seeligkeit? Das Leben ist ja Seeligkeit — aber keine matte, sondern eine solche wo der Sturm spielt und die schwarzen Wolken herumziehen um sich in einer höheren Harmonie zu vermählen ²⁾.

Прощайте, добрые друзья, — завтра напишу Танюше, Николаю и Бееровым.
Отвечайте мне скорее и соберите все свои силы для достижения нашей цели.
Ваш М. Бакунина³⁾.

¹⁾ Я нахожусь в новом начале — пыль отряхается, и снова становится ясно и мощно в моей душе. Нынешней зимой я прожил полную значения жизнь. Возрождение, которого я так долго ждал, уже начинает проявляться в моей душе. Чувство старости, которое меня угнетало, прошло. Я снова чувствую себя молодым и полным жизни; моя старая вера и сила хотят, кажется, снова восстать. И все, чего я достиг осторожностью в труднейшие часы моей жизни, усиливается и обогащается. Жизнь прекрасна, хотя она также тяжела, и именно потому то, что она тяжела, она прекрасна и истинна. Вера и храбрость — таков пароль; храбрость в последовательности. Боже, сохрани нас от всякой жалкой уступчивости, лучше быть абстрактно последовательным, чем через эту бессильную уступчивость позволить перенести себя в конкретный мир. Последовательность в абстракции приводит быстро к сознанию ее односторонности и к действительному освобождению. Миролюбие же не имеет никакого выхода, потому что оно кажется обладающим всем, и однако же ничего не имеет, потому что оно ничего не воспроизводит, а лишь воспринимает все, что встречает. И только то истинно и действительно для человека, что он воспроизвел из самого внутреннего источника своей жизни.

²⁾ Ты много перенесла, добрая сестра, но это все-таки лучше, чем сделаться женой человека, которого действительно не любишь. Утешься же, ничто не потеряно в жизни. Даже ошибки необходимы. Их возможность должна проявиться и осуществиться, чтобы можно было бы действительно углубляться. Следует лишь хранить святость своей внутренней жизни, и с этим вождем можно ничего не бояться. Быть истин-

В то же время Мишель писал и самой Татьяне Александровне:

1841 г. 13/1 февраля. Берлин.

„Милый друг, сейчас получил твое письмо. Я еще не отдавал его Вареньке. Вечером.

Письмо-то я уж отдал, да все это не мешает мне продолжать начатую речь. Сомнения твои естественны, потому что они вытекают из большей или меньшей болезненности твоего духа — болезненности, причину которой я глубоко понимаю. Они совершенно не основательны. Поверь мне, друг, что ты для Вареньки служишь тем, чем никто другой быть не может для нее. Это до такой степени справедливо, что, если мне невозможно разлучить в мыслях и в чувствах своих одного из членов нашего тесного кружка от других, то еще невозможнее разлучить тебя от Вареньки. Вы две составляете одно прекрасное, полное, драгоценнейшее для меня всего в мире существо. Думая о Вареньке, я невольно думаю о тебе, и, думая о тебе, я невольно думаю о Вареньке; вы дополняете друг друга точно так же, но еще в теснейшем смысле, как мы все дополняем друг друга. Жизнь нас тесно, неразрывно связала, и ничто в мире не развяжет союза, совершившегося во имя любви и истины. В развитии всех глубоких элементов, заключающихся в нас, должна заключаться вся наша жизнь, все наше счастье. Mensch werden, das ist der höchste Beruf des Menschen; seinen Genius, den in seiner Persönlichkeit vor aller Ewigkeit Fleisch geworden Gott — zum bewussten Inhalte seines Lebens zu machen, — das ist die einzige Aufgabe des Lebens, — alles Grosse, Geheimnisvolle und Heilige liegt einzig nur in der undurchdringlichen und einfachen Eigenthümlichkeit, die wir Persönlichkeit nennen; — das Allgemeine, abstract für sich genommen, es kann so gerühmt werden wie man will — bleibt doch immer seicht, flach und todt; nur der persönlich geoffenbarte Gott, nur die unsterbliche und vom Geist Gottes verklärte Einzelheit und Eigenthümlichkeit des persönlichen Menschen, — ist lebendige Wahrheit und Realisirung dieser Wahrheit ist einzig und allein nur die Liebe, und die höchste Stufe alles Thuns und Willens ist gerade die, — wo es sich aus sich selbst zur lebendigen Flamme der Liebe und zur heiligen Wirklichkeit des persönlichen Geistes aufhebt. Das Leben und die Wahrheit sind im Grunde so einfach, — und doch treten sie uns in der Wirklichkeit so zusammengesetzt und so mannigfaltig schwer entgegen; es giebt Augenblicke, wo alles so klar ist, wo jede sonst schwere Aufgabe sich so leicht auflöst; — in solchen Augenblicken allein ist man glücklich, — weil man dann sich selbst.

ним совне и внутри — это то, что дает единственную спасительную нить, которая может спасти нас из всякой запутанности. В этой истине только и живут и любят истинно. Но наша любовь, сестра, не есть ли это твоя отчизна, не делает ли она тебя счастливой. То, что мы однажды, будучи на величайшем расстоянии, однажды полюбили, о чем думали и чувствовали — не есть ли это священное чудо, не есть ли это высочайшее откровение и блаженство? Жизнь есть блаженство, но не выное, а такое где буря играет и черные тучи нависают, чтобы сойтаться в высочайшей гармонии.

sein ganzes Ich, und Gott in sich — in harmonischen und einfachen Einheit schaut und hat; — in solchen Augenblicken scheint es sonderbar, — dass man sich sonst so gequält hatte, um eine Wahrheit zu finden die so tief im Herzen jedes Menschen, als sein einziges Wesen, als der einzige lebendige Quell seines gottmenschlichen Lebens wurzelt; und doch ist diese Mannigfaltigkeit, — ich möchte sagen dieses unglückseelige sich Zerstreuen in dem tausendfädigen Gewähle des Lebens, — nothwendig. Die Einfachheit, — diese wahre, göttliche Einfachheit, — und diese ist nichts Anderes, als die Ur-Persönlichkeit, Ur-Eigen thumlichkeit jedes Menschen in Gott, — muss sich selbst in der Mannigfaltigkeit und durch die Ueberwindung derselben — erzeugen.

Was ist die Seele, das Lebens-element jedes grossen musikalischen Kunstwerkes? — Eine einfache und grossartige Melodie; — wenn es nicht so ist, so ist das ganze Stück nur eine zusammengesetzte Plauderei — ein sinnloses Geräusch der nur gemeine Menschen betragen kann; — aber was wäre auch die Melodie, ihren einfachen Schönheit ohneachtet, — ohne harmonische Entwicklung? Die Harmonie ist ihr lebendiges Sich-Entwickeln, Sich-produciren; — das lebendige produciren ist das einzige Leben; alles andere ist unnützes dummes Zeng. Und produciren kann man nur sich selbst — seine lebendige Einfachheit, und diese ist Persönlichkeit, und das einzige ihr eingeborene Mittel ihrer Verwickelung ist die Liebe; die Liebe ist die Höchste weil sie die Offenbarung, das Selbst-Erzeugen der Persönlichkeit ist. Sei ruhig und getrost, Freundin, — kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude, — der Mensch ist berufen zur Menschlichkeit, zum Gottmenschlichen Leben, und das heisst Seeligkeit; und jeder Mensch — jeder ohne Ausnahme-muss spät oder früh seelig werden, weil er Mensch ist. Habe festen Vertrauen an Gott, — an die einfache Stimme deiner schönen edlen Seele; folge nur ihrer Bewegungen — liebe uns, und vergesse niemals dass deine Liebennur Heimath, die heilige Stätte unseres gemeinsamen Glückes ist ¹⁾).

¹⁾ Человеком стать — есть высшее призвание человека. Сделать свой гений, который является в своей личности предвечно воплощенный бог, сознательным содержанием своей жизни — такова единственная задача жизни. Все великое, таинственное и святое прилагается единственно лишь к непроницаемому простому отличительному свойству, которое мы называем личностью. Общее, взятое само по себе, — абстрактно; оно может быть прославлено, как угодно, — но останется всегда неглубоким, поверхностным и мертвым. Только проявившийся бог, только бессмертное и от духа святого промисненное единство и отличительное свойство личного человека — есть живая истина, и осуществление истины есть единственно и только любовь — и высочайшая ступень всякого дела и воли есть именно там, где она возвышается сама собой к живому пламени любви и к святой деятельности личного духа. Жизнь и истина в основе своей так просты и однако в действительности встречаются нам столь сложно подобранными и столь разнообразно трудными. Бывают моменты, когда все ясно, когда самая трудная задача легко разрешается. Только в такие моменты мы счастливы, потому что тогда видишь и имеешь самого себя, свое собственное я и бога в себе в гармоническом и исключительном единстве. В такие минуты кажется удивительным, что так мучился, отыскивал истину, которая глубоко коренится в сердце каждого человека, как единый живой источник его богочеловеческой жизни. И однако же это разнообразие — и хочу сказать это несчастное разбрасывание в многотысячной толпе жизни — необходимо.

Да, друг, я понимаю все твои страдания; я вполне знаю все твои потребности и вижу, как окружающий тебя мир мало способен осуществить их. Но, друг, в тебе скрыто такое глубокое сокровище жизни, любви — дай ему полное, свободное развитие; не сомневайся в своей личности, потому что это грех; живи, как птица божья — бери то, что тебе дается жизнью, и без ропота, без отчаяния без холодного стоицизма, не отказываясь ни от чего, ожидай с покорностью времени, назначенного судьбою. Тогда осуществятся все твои главные желания. Вера в жизнь и в себя — есть единственное условие жизни.

Теперь прощай, девочка — спать пора.

Прощай, девочка, посылаю тебе это письмо — многое еще хотелось бы сказать, да боюсь, заляжется“.

Через полтора месяца Мишель писал на ту же тему брату Николаю, служившему в Твери в артиллерии:

18 ²
9 марта 41 Берлин.

„Милый Николай, давно уже собираюсь писать тебе, а ты, вероятно, уже ждешь письма от меня, ну вот я и пишу к тебе, да к тому же еще и о весьма важном деле. Ты знаешь, вероятно, что брат Павел серьезно болен, что его здоровье требует скорых и решительных мер и что, вследствие этого, родители решились взять его из университета для того, чтобы он мог отдохнуть в деревне. Но я знаю, и ты знаешь точно так же, как и я, что это средство будет недостаточно для его выздоровления. Половина его болезни заключается в его духе. И ее хорошо знаю, в этом отношении мы имеем с ним много общего. С одной стороны, ему необходимо хорошее и умное телесное лечение, но с другой и, еще нужнее, спокойствие, возвращение жизни, деятельности, веры его духу. Родители этого не поймут, но для нас это, как день, ясно. В этом отношении пребывание в деревне не только что ему не поможет, но

Простота, эта истинная, божеская простота — она не что иное, как первоначальная личность, первоначальное отличительное свойство каждого человека в божестве — она должна через многообразие и через победу его сама собой рождаться. Что есть душа жизни — элемент каждого величайшего музыкального творения? Простая и величественная мелодия. Если ничего этого нет, то все произведение есть лишь сборище болтовни, бессмысленный шум, которым может обмануться лишь обыкновенный человек. Но что было бы с мелодией, если кроме ее несравненной простоты красота она осталась без гармонического развития? Гармония есть ее жизненное саморазвитие, само-воспроизведение. Жизненное воспроизведение есть единая жизнь. Все остальное есть бесполезный вздор. И воспроизводить можно лишь самого себя, свою живую простоту, — и в этом личность, и единое средство ее, приращенное средство для своего осуществления есть любовь. Любовь есть высшее, потому что она есть откровение и самовозрождение личности. Будь спокойна и бодра, друг мой, кратко страдание и вечная радость, — человек призван к человечеству, к богочеловеческой жизни, и это означает блаженство. Каждый человек, каждый без исключения, должен поздно или рано быть блаженным, потому что он человек. Имей твердую веру в бога, к простому голосу твоей прекрасной благородной души. Следуй лишь их побуждениям. Люби нас и никогда не забывай, что твоя любовь есть наша отчизна, святое место нашего взаимного счастья.

будет для него положительно вредно. Мысль, что ему уже 21 год и что между прочим он не идет вперед, одним словом все мучения, болезни и сомнения, необходимо сопряженные с неудовлетворением живой потребности знания и духовной жизни — болезни, которые я глубоко испытал и которые меня мучили очень, очень долго и которые потому я очень хорошо знаю. В этой духовной болезни, которая — я знаю — развилась в нем до сильной степени, заключается основная причина болезни его уже и без того слабого организма. Прибавь ко всему этому das verständige Wesen meines Vaters, seine jede lebendige Bewegung des Geistes niederdrückende Reden, die unsichtbare und doch schreckliche geistige Krankheit die den Organismus unseres Familienlebens durch und durch dringt ¹⁾ все эти, повидимому, маленькие, но в сущности так тяжело и пагубно действующие на всех недоразумения и несприятности, и тогда ты вполне убедишься, что пребывание в Премухине не только не будет спасительно, но, напротив, пагубно для него. А здоровье его находится в опасном положении; обманывать себя не должно — при таком слабом организме, в таком состоянии духа и при таких обстоятельствах он может легко погибнуть. И ждать разрешения от времени, в то время как мы знаем наверное, что оно не может быть иначе, как гибельным разрешением, — было бы с нашей стороны преступлением, просто убийством. Да, милый Николай, мы не должны себя обманывать, не должны быть слепы, любовь должна быть врачом. От того, кто не любит, от того пошлая ежедневность и призрак обыкновенности может закрывать то, что происходит в груди других людей, то, что им угрожает. Но нас ежедневность обмануть не может. Кроме этого, любовь не должна и не может ограничиваться только теоретическим пониманием другого — только та любовь жива и действительна, которая действует. То не любовь, что смотрит, сложив руки, на тяжелое состояние других, любимых людей, и не чувствует в себе ни силы, ни веры, ни способности, чтоб помочь им — не любовь, а болезненное, подгнившее чувство. Истинная любовь видит все, как оно есть, — и она одарена этою проницательностью не для того, чтобы приходить в отчаяние и уныние, но для того, чтобы живо и всемогуще действовать. Да, Николай, ты верно все это так же хорошо знаешь и чувствуешь, как и я, а потому приступаю скорее к делу. Я в свое время много действовал для сестер и братьев, теперь наступила твоя пора. Вот в чем дело: единственное средство для спасения брата Павла, это — поездка за границу (на год). Во-первых, он полечится здесь у доктора Schönlein, который считается лучшим медиком в Германии и который делает здесь чудеса. Он в продолжение этой зимы просто спас многих из моих знакомых. Во-вторых, это совершенно восстановит здоровье и силу его духа. Как и почему — тебе толковать нечего. Итак, жизнь брата Павла находится в опасности. Вернее и единственное средство для его спасения — есть поездка за границу; вслед-

¹⁾ Рассудительный характер моего отца, его казое живое побуждение духа, сокрушающие сети, лживая и тем не менее жестокая душевная болезнь, которая вследствие проникла в наш семейный организм.

ствие этого мы должны употребить все усилия для осуществления ее. Теперь нужно поговорить о средствах. Во-первых, не нужно, чтобы эта поездка портела его карьеру; он не должен терять времени и потому он должен получить от университета отпуск на год для поправления своего здоровья, с тем, чтобы ему было позволено держать экзамен через курс; таким образом он не отстанет от братьев. Об этом я писал Грановскому и просил его, чтобы он вместе с другими профессорами выхлопотал этот отпуск у графа Строгонова, который, без всякого сомнения, согласится дать его, во-первых, потому что здоровье Паши действительно требует его, во-вторых, потому что он точно таким образом дал отпуск своему сыну, и, в-третьих, потому что Паша заслужил это своим прилежанием.

Во-вторых, необходимо согласие родителей. Тут также может вам помочь Грановский. Я просил его вместе с другими профессорами написать к папеньке письмо и доказать ему необходимость этой поездки. Наконец, ты, сестры и брат Павел сами должны тут действовать ясно, твердо и кратко вместе.

Третье и почти главное, это — денежные средства. Во-первых, наше состояние совсем не в таком несчастном положении для того, чтобы папенька (если захочет) не мог дать средств, а во-вторых, я нашел средства. Тургенев, с которым я здесь подружился, предлагает мне нужные деньги с тем, чтобы отдать ему их, когда у нас будет свое собственное имение. Об этом папеньке должно говорить осторожно и только в крайности; во всяком случае, он должен дать денег. Во всех ваших действиях вы должны скрывать свою экзальтацию в самих себе и говорить с ним рассудительно, спокойно и твердо, это самое лучшее оружие против их несогласия. Кроме этого, войди в сношение с Грановским; я знаю, он с радостью сделает все, что от него зависит.

Ну, что ж, милый Николай, ты теперь доволен, видишь, что дело не так трудно, как кажется с первого раза, и радуешься этому легкому случаю отличиться на родном поле нашего семейства? Нет, постой, милый брат, это только цветочки, сейчас будут ягодки. Ты должен устроить, чтобы с братом Павлом родители отпустили и сестру Танюшу. Что, ошеломлен, не правда ли? Как обухом по лбу! Но не менее того это точно так же необходимо, хотя и гораздо труднее. Но необходимо, а следовательно — и возможно.

Необходимо потому, что Танюша точно в таком же опасном положении, как и Паша. Она старается скрывать свою болезнь, но ее болезнь очень опасна, и тем опаснее, что половина ее заключается в ее духе, точно так же, как и болезнь брата Паши.

Танюша уж очень давно духовно и физически опасно больна. У нас этого никто не примечает, а если и примечают, то стараются отвлечь от этого, подумав об опасности. Во всем нашем семействе царствует какая-то гибельная усталость, какое-то болезненное равнодушие: дни текут, все страдает, все больны, опасность увеличивается с каждым днем, а между тем, все, сложа руки, старается не думать об опасности. Никто не пошевелит пальцем, чтобы помочь злу, все погружены в какую-то постыдную апатию. Знаешь ли,

милый Николай, кутить и горячиться, когда в сущности все спокойно и обыкновенно, есть фразерство и мальчишество; но стараться быть спокойным и следовать пошлomu ходу ежедневности, когда опасность, действительная опасность угрожает — это пошло и грязно, это признак отсутствия жизни и любви. Любовь должна быть деятельна и смела, она не должна бояться никаких препятствий, потому что ей дано свыше знать и действовать и потому, что она знает, что делать. Милый Николай, я знаю, что ты любишь, глубоко любишь сестер и ты способен к сильной энергии. Но в тебе есть что-то флегматическое, ленивое. которое ты на это время должен стряхнуть с себя. Вспомни, что ты призван теперь быть спасителем брата и сестры. Кроме этого, я знаю, тебе может помешать твоя неясность, твоя болезнь огорчить родителей, твое маленькое православие. Поверь мне, милый брат, и уважай в тебе эти прекрасные, святые стороны; но я знаю также, что бывают такие минуты и такие обстоятельства, когда нужно подчинить их внешнему долгу, высшей цели. Эта святая сторона может превратиться в преступление, когда она может помешать тебе действовать для спасения сестры и брата. В преступление против их, против себя, против родителей. Скажи мне, разве родителям моим будет легче, когда, повинаясь тесному кругу своих мыслей и своей недалекости, когда для эгоистического сохранения временного спокойствия они погубят сестру и брата? Положим даже хотя это предположение и совершенно несправедливо, совершенно невозможно, — что они могли бы предпочесть сохранение временного спокойствия и соблюдение обыкновенного порядка спасению детей своих, — то мы, разве мы имеем право покоряться их воле; разве мы не должны разорвать эту пошлую ежедневность и исполнять священный долг наш повиноваться святому голосу любви? Да, Николай, я бывал в таких обстоятельствах, где для спасения сестер я должен был идти против воли отца, должен был огорчать его. Мне было грустно, тяжело! Но я не колебался, потому что во мне говорила и действовала любовь; а только одна любовь: святая и истинная. Все остальное, как бы оно ни называлось — пошлость, глупость, грязь и грех. Да, Николай, я знаю, как тяжело огорчать нашего святого старика, но что ж делать! С разорванным сердцем мы должны исполнить долг наш. А этот долг — священный долг, он наложен на нас любовью. Поверь мне, Николай, я дорого бы заплатил за возможность окружить нашего бедного старика любовью и спокойствием, ничто так не необходимо мне, как вера его в любовь мою, как его благословение. Но что же делать мне? Судьба поставила меня в такие отношения, что это почти невозможно. В продолжение нескольких лет я должен был бороться с ним за сестер и братьев и теперь еще должен продолжать ту же самую борьбу. Он требует возвращения Вареньки и требует вместе с тем, чтобы она написала благодарственное письмо Д[ьякову], чтобы она примирилась с ним. Ты чувствуешь сам, что это невозможно; что это погубило бы ее, потому что это возвращало бы ее к тому же самому унижению, от которого она избавилась отъездом за границу. Варенька не может иначе возвратиться из-за границы, как с полным уверенностью, что она будет

у вас в полной безопасности от притязаний Д[ьякова]. Это условие non plus ultra (sine qua non?). Иначе она не может возвратиться и не возвратится, это решено. Вы должны употребить все средства, чтобы уговорить отца законным образом устроить ее безопасное возвращение. Но об этом потом. Я об этом напишу тебе больше с Тургеневым, который мой истинный друг, друг моей сестры, а потому будет и вашим другом. Я знаю, мне не суждено доказать отцу любовь свою. Теперь мне стало это ясно, он никогда не поверит ей. Он всегда более или менее будет видеть во мне врага своего спокойствия. Да, Николай, эта мысль иногда раздражает мою душу, мне бывает очень, очень, грустно. Но что же делать, я до последней капли крови буду исполнять долг свой, а потому я спокоен вместе, я здоров и крепок. Но перейдем теперь опять к Танюше. Поездка эта будет ее спасением. Сперва нужно выхлопотать согласие родителей на поездку брата Павла, а потом уже говорить о Танюше, если можно на год, если уж никак нельзя, то хоть до будущей осени. Пусть родители дадут столько денег, сколько нужно, а остальные мы добавим другими средствами и экономией. Ну, брат Николай, встань, вооружись и действуй. Вот тебе обширное поле для действия. Дальнейшие советы, как действовать, будут бесполезны, во-первых, потому, что вы сами все знаете, а во-вторых, потому, что нужно соображаться с обстоятельствами, которых я здесь видеть не могу. Главное, будьте истинны, истина — лучшая руководительница в трудных да и вообще во всяких обстоятельствах. Кроме этого, скажи братьям, чтобы они прислали тебе мое письмо к Павлу. Действуйте вместе, с общего совета, для того, чтобы был план, чтобы было единство в ваших действиях. Отправьте их к нам как можно скорее. Мы будем ждать их в Берлине, посоветуемся с Schönlein и отправимся, куда следует.

Еще одно. Я знаю, что Танюше будет тяжело оставить сестру Alexandrine. Но, во-первых, она должна вспомнить, какое счастье будет для Вареньки находиться с нею; во-вторых, что сохранение жизни и здоровья есть святая обязанность. И в-третьих, какое счастье будет для самой Alexandrine знать, что они здоровы, счастливы. Пусть она вообразит себе, что должна ехать Alexandrine и как бы оскорбительно было для нее, если бы Alexandrine не согласилась ехать, чтобы не оставить ее одну, и тогда она почувствует, что в любви ничего не делать для себя точно так же эгоистично, как ничего не делать для других. Кроме этого, можно и должно устроить, чтобы Alexandrine не оставалась одна, это можно устроить с помощью Alexandrine Beer или Ушиковых. Alexandrine Beer я завтра напишу и пошлю письмо к тебе, потому что не знаю, где она пребывает. Если она не в Твери, то ты непременно же пошлешь мое письмо к ней. Rappelle moi en souvenir de ma mère Ouchakoff, des Demoiselles Catherine et Annette; ты можешь даже показать им мое письмо, с одним условием, чтобы Катерина Петровна не смеялась над моею безграмотностью; я здесь совершенно разучился писать по-русски. Недавно я хорошенько от меня полковнику Шпилевскому; скажи ему, что я здесь часто о нем вспоминаю, что я его так же горячо люблю, как и прежде. Я ему писал, но он не отвечал мне. Получил ли он мое письмо?

Пожми руку Будревичу хорошенько. Прощай, Николай. Брат Павел привезет назад Танюшу с Варенькой, если это будет возможно, или без нее, в случае невозможности. Не теряй ни минуты, будь деятелен и отвечай мне немедленно. Твой брат и друг М. Бакунин“.

Пока Бакунин вел деятельную переписку с своими домашними о поездке брата Павла и сестры Татьяны в Берлин, обнаружилось, что м-ме Тургенева находится в крайнем бесполойстве о своем сыне, от которого не получает никаких писем. По крайней мере в архиве Бакуниных сохранилась записочка, полученная из Москвы Мишелем от Alexandrine Бакуниной, из которой видно, что м-ме Тургенева нашла этот путь сношения с сыном, даже не будучи лично знакома с Бакуниными.

„Michel, — пишет Alexandrine, — я так удивилась. Вдруг приходит ко мне человек от м-ме Тургенев. Спрашивает меня, не знаю ли я что-нибудь про ее сына, который дружит с тобою. Je pense qu'il est question de ce Turgenev qui est à Berlin avec toi. Dis lui que sa mère est inquiétée et qu'il ferait bien de lui écrire ¹⁾. Прощай, друг. М-ме Тург. пошлет его. Просила, чтоб я написала тебе, про ее сына. Здоров ли он? А то так беспокоится. Сама хочет послать мое письмо.

Александра Бакунина“.

29 марта Alexandrine пишет Варваре и Мишелю, очевидно в ответ на сомнения Мишеля о том, как она останется одна без Танюши и будет скучать:

„Варенька, Michel, к чему уверения, к чему слова? О, вы поймете, как счастлива я буду, когда Танюша будет с вами в теплом климате. Возьмите, возьмите ее поскорей! Я боюсь, силы ее не вынесут все, что ждет быть может здесь. Варенька, ты долго еще не можешь возвратиться. Свидание с тобою оживит ее, возвратит если не к счастью, то к светлому спокойствию. Варенька, Michel, вам бог послал эту светлую мысль, она давно, давно была у меня в душе, но я боялась выговорить, боялась, чтобы не приняли ее за глупую фантазию. Но теперь, уж не мечта эта мысль, — вы ее выговорили. О, обнимите крепко меня, прижмите к себе, вы и меня оживили, я как будто лечу к вам. О, поймите после всего этого, как бы тяжело мне было, если бы она только для меня осталась. Папенька не будет один, — все тяжелое кончено между нами ²⁾. И опять легко и хорошо, даже лучше прежнего. Я, Annette

¹⁾ Я думаю, что дело идет о том Тургеневе, который с тобою в Берлине. Скажи ему, что его мать беспокоится и что он сделает хорошо, если ей напишет.

²⁾ Дело идет очевидно об окончившемся романе Alexandrine с Боткинним, против которого отец восставал.

Rzevsky ни на минуту не оставляем его. Да если бы я и одна осталась, что же тут страшного? Ведь бог со мною, и он даст мне силу успокоить и развеселить его...“

К сожалению не сохранилось письма Татьяны, в котором она решительно отказывается от комбинаций Мишеля.

Сохранилось ее письмо о Павле и о Дьякове от 20 марта 1841 г.:

„Третьего дня маменька возвратилась из Москвы с Павлом, которого планы простираются гораздо далее Премухина. Но об этом после. Теперь надобно исполнить поручение маменьки. Она видела Дьякова в Твери и сказала ему, что ты в Берлине, Варенька, (что) ты приехала и хотела бы возвратиться в Россию и в семейство свое, если бы не боялась встречи с ним и покушения на сына. Он отвечал ей почти со слезами, что он никогда не станет ничем тревожить тебя, что все отдаст в волю твою и даже сына увидит, когда он сам этого пожелает, когда помощь его сделается ему нужна. Он говорил еще, что ты верно не захочешь очернить его в глазах Саши, что он сам чувствует, сколько виноват перед тобою, но не заслуживает ни ненависти, ни презрения, а потому уверен, что ты не станешь худо говорить про него Саше; что он только одного бы желал, это — нескольких слов от тебя самой. И маменька просит тебя, Варенька, написать к нему, сказать ему, что ты знаешь его права на Сашу, а просишь его не разлучать тебя с ним, потому что не можешь жить без него. Если ты решишь, Варенька, так не пиши много, только несколько дружеских слов. Сергей Иванович Гронеско, которому он говорил все то же, что и маменьке, говорит, что эта наружная уступчивость удовлетворит его маленькому самолюбию, успокоит его, хоть он в душе и будет знать, что не имеет никакого права разлучить тебя с Сашею, потому что сын всегда остается с матерью. Вот все, что мне нужно было сказать. Теперь думайте и решайте сами. Бог сам внушит вам, что делать, а я только передаю вам маменькины слова так, как она просила меня. Узнай силы свои, Варенька, прежде чем решиться на что-нибудь. Дьяков, я уверена, не станет беспокоить тебя, но весь этот мир, в который ты снова вступишь, эти мелочи, все, все, чего и рассказать нельзя, но что, может быть, еще сохранилось у тебя в памяти, все это опять ляжет на тебя, стеснит твою душу. Ты привыкла к простору, к свободе, к жизни, а здесь, Варенька, мертво и тесно. Здесь только тихая любовь наша все также ярко и светло горит, но может ли она все это заменить? Все, Варенька, потому что, кроме ее, ничего нет, никакой жизни, никакого наслаждения. Наш путь часто бывает томителем, часто изнемогаешь, потому что нельзя свободно вздохнуть. Как же тебе, Варенька, из простору вдруг перейти в эту душную неволю. Подумай, Варенька милая, хорошенько подумай, станет ли сил у тебя, ведь ты должна сохраниться для Саши.

Ну, полно об этом. Мне стало уже душно, потому только, что я говорила и живо представила то, что незаметно проходит. Если ты будешь писать

к Дьякову, то не прямо к нему, а через нас. Мы перешлем к нему твою записку, посмотрим прежде, не слишком ли увлеклась ты, не сказала ли что-нибудь лишнее, но Миша не даст.

Павел здесь и говорит, что ему только надобно быть в Берлине, чтобы сделаться совсем здоровым. В Московский университет он уже не хочет вступать. Но папенька и маменька не знают еще его тайного решения. Столько повидимому невозможного исполнялось у нас, что я ни в чем не сомневаюсь. И все делается, как должно быть. Только верить, это — главное.

Сапа Бакунина в Москве, Сапа Беер здесь и у меня за обеих разрывается сердце. Обоих так жаль, так жаль, что я готова бы плакать. Если бы не так сильно было во мне страдание и радость за других, так я бы нраво, подумала, что потеряла совсем способность чувствовать то или другое. Так тихо, так спокойно у меня всегда в сердце... Но я никогда еще так не любила, как теперь люблю. Хотела и что-то серьезное писать, но пришла Alexandrine (Беер) и рассказала мне такие хорошие тверские сказочки, что я все и позабыла. Но что ж мне вам еще сказать? Michel, Sophie Montavien очень больна и едет весною в Италию со своей тетюшкой ¹⁾. Ее магнетизируют, и она сказала, что только в Италии она может излечиться. Ты, может быть, увидишь ее, Миша. Мне так грустно думать, что и она больна.

Ну, прощайте, мои милые, добрые. Маменька велит вам сказать, что деньги придет, только что сама их получит, а это должно быть скоро. Христос с вами, целую Сапу.

Т. Б.²⁾

Варенька, очевидно, тотчас написала Дьякову письмо по совету Татины к с вехом Мишеля, и Николай Николаевич Дьяков отвечал ей следующим коротеньким письмом от 23 мая 1841 года:

„Après avoir lu votre lettre je vois que vous avez l'intention de revenir, et qu'il n'y a que mes importunités et les pour-parler du monde, qui vous font retarder votre retour. Quant à moi, je vous promets de vous laisser bien tranquille, les trois années que vous avez passées aux pays étrangers vous en assurent. Je désire que votre séjour à Premouchino vous fasse goûter le bonheur que vous méritez si bien.

J'ai l'honneur d'être votre dévoué serviteur.

N. Diakoff ³⁾.

¹⁾ Софья Александровна Муравьева, дочь Александра Николаевича Муравьева — основателя Союза Спасения.

²⁾ Получив ваше письмо, я вижу, что ваше намерение вернуться и что только моя докучливость и слезлики заставляют вас откладывать свое возвращение. Что касается меня, то я вам обещаю оставить вас в полном покое. Трехлетнее пребывание на границе должно нас в этом уверить. Я желаю, чтобы ваше пребывание в Премучино дало вам испытать счастье, которого вы так заслуживаете.

Ихень честь быть вашим покорным слугою.

Н. Дьяков.

10 апреля и Грановский писал Бакунину, в ответ на его письмо, о котором Бакунин упомянул выше в письмах к братьям Павлу и Николаю:

„Благодарю тебя за доверие, любезный Бакунин. Брат твой, действительно, болен, и ему нужно скорое пособие. Поможет ли ему пребывание за границею, — не знаю, но сделаю все, что в моих силах, для исполнения твоего и его желаний.

Он болен более душою, чем телом. В нем развилось какое-то болезненное стремление вырваться из настоящего круга его занятий, жизни и так далее. Я мог все это видеть в его записках, которые мне давал Алексей. Постарайся, чтобы это стремление не оторвало его окончательно от разумной действительности, чтобы он не бросил университета, который даст ему внешнее средство к будущей деятельности. Я на-днях пишу к нему. Я познакомился или, лучше сказать, возобновил знакомство с твоею матерью и с Александрой Александровной, которая осталась здесь лечиться. Ее здоровье теперь лучше, хотя одышка все еще очень сильная. Посылаю тебе письмо от нее и от Алексея, которого я очень люблю, несмотря на то, что он мой счастливый соперник в любви.

Ты говоришь о письме Татьяны Александровны, которое ты вложил в свой конверт, — там его не было. Ты, верно, забыл. На ее поездку за границу мало надежды. Поблагодари Варвару Александровну за письмо ко мне. Оно мне доставило минуты, каких я давно уже не знал. Мать Тургенева в отчаянии. От него нет никаких писем около двух месяцев. Что с ним? Пишайся ему, Вердеру и Ефремову. Преданный тебе Грановский.

Письма твои переданы, кому следует. Павлу нельзя будет держать экзамена через курс. Но что ж за беда, если он останется лишний год в университете?—

9 мая Александра Александровна Бакунина сообщает сестре и брату о поездке за границу Авдотьи Петровны Елагиной:

„Michel, Варенька, это письмо отдаст вам или пришлет вам Авдотья Петровна Елагина. Я хотела бы, чтобы вы познакомились с нею в Берлине, если она там будет, или в Карльсбаде, где она будет пить воды. Завтра она уезжает из Москвы. Последнее время я у нее была всякий день с братьями. У нее в доме все так просто, свободно. С ней часто говорила я откровенно, от души, и Москва очень опустеет для меня без нее. Но я рада, что она едет на воды — здоровье ее так худо. Она не жалуется, не говорит, но у нее, кажется, было много горя, страданий в жизни.

Мы с Алексеем хлопочем об Павле. Пишем письма в деревню, и я надеюсь, что, если не летом, то осенью увидите его в чужих краях. Теплый климат, новое общество, новая жизнь оживит его, возвратят ему потерянное здоровье.

О Танюше и говорить нечего, — elle ne pourra aller que dans le cas où mes parents l'en supplieront eux mêmes¹⁾, она сама за себя не может действовать. В начале июня мы будем все в Премухине и увидим, что делать. Она сама, я думаю, писала вам обо всем. Что будет, то будет, а вам все-таки не надо сидеть сложа руки. Хорошо, что мы остались здесь, в Москве. Мое папешино письмо вывело, кажется, папеньку и маменьку из заблуждения на счет здоровья Павла. Не мы одни, все родные наши говорят, что ему надо ехать за границу. Авдотья Петровна Елагина звала Павла с собой: уж он не успеет с ней ехать, но он поедет, я в этом уверена. А вы примите его хорошенько с должным почтением и уважением к его чину и сану. Он приедет к Вам из Премухина и расскажет вам много хорошего и худого, только про меня не много верьте, а если поверите, то не разлюбите. Ты ведь знаешь, Миша, я глупая.

Я теперь в Москве, пью воды и приеду в деревню совсем здоровая. Папа расскажет вам, отчего я больна, — сама виновата, не на кого и жаловаться.

К этому письму есть приписка брата Алексея:

„Вот, Миша. Сама тебе все написала, и я очень рад, потому что об деле писать не умею. Папа почти верно едет за границу. Последнее письмо папеньки уже выражает согласие. Он пишет: если средства мне позволят, то я его отправлю за границу.“

А Авдотья Петровна Елагина, сама того не зная, может быть, очень способствовала согласию их на эту поездку. Об Танюше, как я тебе прежде писал, ничего не умею сказать. Здесь все зависит от доброй воли родителей, потому что иначе она ни за что не согласится ехать. Сашенька здесь в Москве под мою команду; послушанием ее я очень доволен. Да она таки и не то, чтобы сказать очень глупа была — просто маленько, да это не мешает. Вылечим ее совсем, тогда поедет в Премухино. Папа вряд ли выедет прежде июня. Уж поздно мы начали действовать, а, впрочем, если скорее пойдет, то может быть, и в июне, но уж никак не прежде, вероятно маменька его отправит под покровительство Авдотьи Петровны, которая очень любит Пашу (и всех нас) и очень хочет познакомиться с Варенькой и с тобою. Может быть, вы вместе и поедете в Южную Германию. Смотрите ж, берегите Пашу, не давайте ему кутить, что он очень любит и что я ему строго запретил. Там, смотря по обстоятельствам, германские доктора могут найти полезным, чтобы он и второй год остался в Германии; ну, да что еще будет — то впереди, а теперь мы будем хлопотать, чтобы скорее его отправили за границу.

Миша и Варенька, познакомьтесь непременно с M^{me} Elaguine. Это чудесная женщина, я редко встречал таких. Ее нельзя видеть и знать, чтобы не полюбить. Познакомьтесь непременно, она много может вам рассказать об нас, про наше житье-бытье в Москве. Ну, что ж тебе еще сказать? Музыка моя идет успешно, как и в композиции, так и в практическом изучении. Когда

¹⁾ Она может ехать только в том случае, если родители сами станут умолять ее об этом.

придешь, то я уж буду готов поступить к тебе в должность государственного капельмейстера, с условием, чтобы ты купил мне хороший рояль Мейбаума и венскую фис-гармонику. А пока можешь поздравить меня и Александра студентами третьего курса, отлично выдержавшими экзамен и которым всего на- всего осталось два года пробыть в Москве. Ну, прощай, Миша и Варенька, берегите Пашу. Познакомьтесь с Елагиными.

Ваш Алексей Бакунин¹.

Вторая приписка к письму А. А. Бакуниной:

„Варенька, Michel, сама так и полетела бы к вам и обняла бы всех, и посмотрелась бы вдоволь, и оставила бы у вас Танюшу и Пашу. И мне кажется, что все так и сбудется. Теперь Паша скоро придет к вам, а там и Танечку пришло. Тетенька Татьяна Михайловна с такою нежностью и с такою любовью говорит об вас. Она очень была нездорова, нервная горячка сделалась у нее, но Бог сохранил ее, а теперь она уже начинает ходить. Она велела сказать, что написала бы сама, да слаба еще. Elle n'ose rien te conseiller, chère amie²), огляться или возвратиться. Сама не знаю, что лучше, говорит она, советовать страшно. Напишите ей еще, она так радуется вашими письмами.

А. Бакунина³.

Павел Александрович, однако, не скоро еще выехал. Переписка об его поездке тянулась все лето. Он уехал только в начале августа. Между тем настроение его становилось все хуже. Вот как он самописывает его в письме к Alexandrine Беер, к которой он был неравнодушен:

22 мая 1841 года.

„Моя жизнь, как сон, я сам, как тень, и не имею власти коснуться до действительности. Я во всем присутствую, все вижу, но ничего не могу. Мои слова, мои дела, как тени, как призраки, ни до чего не касаются, все проникают, как пустоши, которые ни в чем не находят препятствия. Я знаю, что такое любовь, и не имею силы любить, как будто я призрак. Я знаю, как можно любить, я знаю, в чем сила веры, и никакой веры, ни силы не имею. И тяжелей всех знаю, что слова мои пусты, я призрак сам и только призраки передо мною, а знание мое не дает мне действительности. Alexandrine, я никогда не скажу вам ничего радостного, но с вами я хочу быть простым, хоть бы вам и мне от того тяжелей было. Говорю, что есть, как боль, как глухое, немое страдание в душе. Другим — все, что есть во мне веселого, радостного, вам же — невысказываемо тяжелое, но впрочем без жалобы на судьбу, как спокойное рассуждение, чтобы слышать, что вы на это скажете.

¹ Она не осмеливается тебе советовать, дорогой друг.

И смотрю на людей, на их жизнь, нравы и привычки, на их условия общественные, на их слова и дела, но сам ни в чем не нахожусь, во всем отсутствую, не оттого, чтобы что другое занимало, а оттого, что действительно меня нет ни в чем. И вижу много людей, и некоторые мне нравятся, и я их люблю, но не один из них того не может чувствовать. и это не от них, но от меня, оттого, что меня ни в чем нет. И вижу многое и чувствую, понимаю всю лживость его, но все напрасно. Эта лживость при мне, как без меня, я не могу коснуться до сердца, а внешность всегда ускользает. И изнемогаю от своей собственной призрачности...

Наконец, в самых первых числах августа Павел сел в Петербурге на пароход и уехал в Берлин. Из Берлина он пишет родителям:

9/21 августа 1841 года.

„Милые папенька и маменька, вот я уж далеко от вас, но все чувства и мысли мои еще с вами, и всякую минуту, всякую секунду я возвращаюсь опять к вам. Всякую секунду мне грустно по вас. Вареньку и Мишу еще не нашел, но надеюсь найти скоро. Но я вам расскажу всю мою дорогу до Берлина. До Петербурга я уж писал вам, что было, — особенного ничего. В Петербурге, с самой минуты моего прибытия и до 10 часов утра, 2/14 августа, все хлопотал. Жилище мое было высоко, в гостинице „Лондон“, где мне беспрестанно приходилось беречься, чтобы у меня чего-нибудь не пропало. Но наконец, в 10 час. 2 августа, взял чемодан и все прочее и все привез в контору пароходства, что на Морской. Пароход отправлялся в час пополудни того же дня, и я на три часа был свободен. Случаем нашел одного моего знакомого в Москве, который должен был отправиться лечиться в Германию, Сатин, у которого ноги до того болят, что он ходит на костылях¹⁾. Разумеется, я помогал ему, как могу, как своему путевому товарищу, и тем более, что ему присмотр и помощь чья-либо были необходимы. Братья знают его. Вот мы с ним и отправились, сперва на маленький пароход, и прибыли часу в четвертом на большой, что возле Кронштадта, „Наследник“. нас поместили вместе в небольшой каютке. И за моим больным ухаживал, как мог, любовался морем, читал книжку, писал к вам и сестрам, и, наконец, на четверг или среду, 6/18 числа в полночь, благополучно прибыли мы в Травемюнде.

На море, несмотря на небольшую качку, я все время был здоров. Часто бывал с обществом, тут князь Кочубей, гн. Анемзон, француз, несколько немцев и немки и одна русская дама, м-не Рахманова, с которой я все любезничал и все по-французски. Немцы постоянно спрашивали меня, не немец ли я, или не был ли я давно уже в Германии, что так свободно изъясняюсь по-немецки; и по-французски выходило у меня как-то все довольно складно. Я пишу вам, милые папенька и маменька, все маленькие подробности, потому что мне хочется, чтобы вы все знали обо мне, как будто я все еще с вами,

¹⁾ Сатин — известный член кружка Герцена.

и мне весело думать, что вы будете некоторым образом участвовать в моей теперь и пока еще столь страннической жизни. Теперь дальше. Капитан был так любезен, что сам позаботился, что достал мне и моему большому товарищу einen Postwagen до Любека (две мили от Травемюнде). Мы скоро подъехали к Любеку, остановились в *Notel zu Stürme*. Это было ночью, хорошенько ничего нельзя было увидеть. На другой день, в четверг, 7/19, позавтракали *Butterbrod, Ei und Thee* ¹⁾, отправились с фурманом в Гамбург. Все чрезвычайно странно, домики совсем не как у нас, все красные, кирпичные, с странными верхушками, беспрестанно садики, деревья. Пемки уж совсем не кокетки, в странных, огромных шляпах, с разными корзинками с зеленью и пр. Наш фурман совсем не спешил, рассматривался на обе стороны, кому словечко, кому два, все улыбался и говорил: *so wohl*. Первый немецкий город Любек чрезвычайно мне понравился. Весь в саду, итальянские тополи на каждом шагу так грациозно, так величественно поднимались рядом колонн. Но мы выехали из Любека — точно так же все мило. Германия с первого взгляда мне показалась очень милою. Беспременно домики в зелени, обвитые хмелем, реки, ручьи — все чрезвычайно грациозно. Везде эти чудные пирамидальные тополи, мне стало завидно, что этого нет у нас...“

И так далее, в том же роде описана вся дорога до Берлина.

Окончив описание дороги, Павел Александрович так заканчивает свое письмо:

„Милые, добрые папенька и маменька, все это чудо, как хорошо. Но мне грустно здесь, если б возможно, я бы тотчас все это бросил, чтобы опять быть с вами. Послал комиссионера разузнать, где Миша и Варенька. Он еще не приходил, жду его с нетерпением. Где я сегодня буду — не знаю. Может быть, опять пушусь в дорогу, зависит все, скоро ли я узнаю, где Мишель и Варенька.

Вас много, много любящий сын Павел Бакунин“.

Затем он несколько дней ищет по Германии, где находятся Мишель и Варенька, потому что в Берлине их не оказалось. Он проехал Майнц, Веймар, Эрфурт, Готту, Эйзенах, Ганау и Франкфурт на Майне. Разослал до тридцати писем в разные города Германии и наконец, 28/16 августа, повидимому, нашел. По крайней мере он написал в этот день сестрам письмо следующего содержания:

„Милые девочки, однако ж удалось. Мои розыски во Франкфурте напали на след Миши и Вареньки. 7 июля из Франкфурта они отправились в Эмс. Я еду туда, не знаю только, сегодня или завтра. Старик, комиссионер гостиницы, не пускает меня, говорит, что нельзя, нога может опасно разболеться [должно быть, он ее ушиб дорогой. А. К.]: не знаю, слушаться его или нет, и думаю, что нет. Вот как скоро грусть переходит в радость. Девочки, девочки.

¹⁾ Буттербродами, яйцами и чаем.

мои милые, наконец я попал, нашел, кого следует, и мне легко стало на душе. Прощайте, еду следовательно в Эмс“.

Одновременно со сборами Павла за границу, Тургенев выезжал в Россию. 3/15 мая 1841 года Мишель писал о его выезде:

„Братьям и сестрам всеобщее послание.

Тургенев оставляет нас и возвращается в Россию. Он едет отсюда в понедельник, 17-го числа, и через две с половиной недели будет у вас в Премухине. Примите его, как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем и другим, я уверен, никогда не перестанет им быть. После вас, Бееровых и Станкевича, он единственный человек, с которым я действительно сошелся. Назвав его своим другом, я не употреблю всеу этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость и горе. В продолжение целой зимы мы жили с ним почти в одной комнате, целые дни от 6-ти часов утра и до позднего вечера были неразлучны и работали вместе — и это не только что не ослабило, но, напротив, укрепило нашу связь. Каждый вечер проводили мы вместе с Варенькою и втроем с нею пережили чудные минуты. Варенька говорит, что она полюбила его, как брата. От него у нас не было ни одной тайны; и потому вы видите, друзья, он не может вам быть чужим человеком. Он вам много, много будет рассказывать об нас и хорошего и дурного, и печального и смешного. К тому же он мастер рассказывать, — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите.

А мы останемся здесь сиротами; будем ждать Пашу. Наделись, что и Танюша приедет, да, видно, тщетная надежда! Твое письмо, милая Танюша, тронуло и убедило меня. Поступай всегда из свободной полноты твоей жизни, и твои поступки всегда будут истинны и ты никогда не утратишь себя в своей жизни.

С Варенькою вы, вероятно, увидите скоро, вероятно, будущей осенью. Мне необходимо только совершенно убедиться в ее безопасности от притязаний Дьякова — в такой безопасности, которая не была бы основана только на его доброй воле.

Прощайте, друзья! Скоро буду писать вам.

Ваш М. Бакунин“.

Рекомендация, данная Тургеневу Мишелем, подтвердилась вполне, хотя мы и не видим, чтобы Тургенев приехал через две с половиной недели в Премухино. Вероятно, он счел нужным раньше явиться к матери. Но что касается его хороших, даже нежных отношений к Варваре Александровне, то они подтверждаются сохранившимся в Премухинском архиве подарком.

Этот подарок—тщательно переписанные Тургеневым восемь стихотворений Лермонтова, посвященные переписчицом Варваре Александровне к новому, 1841 году. Стихотворения эти переписаны на почтовой бумаге большого формата. Не безынтересно привести их перечень: 1) Памяти А. И. Одоевского, 2) 1 января, 3) Казачья колыбельная песня, 4) Дума, 5) Дары Терека, 6) Не верь себе... 7) Тучи, 8) Еврейская мелодия. В то время все они представляли приятную новость.

Упоминаемое здесь письмо Танюши—то письмо, которое, к сожалению, до нас не дошло.

Что касается свидания ее с Варенькой, то оно состоялось через год, летом 1842 г., хотя уже зимой 41-42 г. Мишель, как увидим, решил ее благословить в путь.

Первое письмо Тургенева к Николаю Бакунину сохранилось от 17 октября 1841 года. Оно следующего содержания:

„Вы должны быть теперь в Премухине, Бакунин *par excellence*, и действуете так, как хотели, как мы все от вас ожидаем. Дай Бог успеха! Толковал с вашими братьями: Эгмонт [Алексей. А. К.] первый решил, что Татьяне Александровне неудобно жить у Безобразовой; рассудительный Александр подтвердил и одобрил его мнение. Кстати, у вас премилые братья: я их люблю от души, особенно Эгмонта. Мы вас ждем сюда скоро, недели через три. Бееровым я писал и известил их обо всем. Вероятно, они приедут в Москву. До свиданья, Бакунин умный и хороший, которого надобно однако обратить в христианскую веру.

Весь ваш Тургенев.

P. S. Прочтите письмо Мишеля, которое я сложил в особый пакет. Скажите маменьке, что я не забыл ни опейника, ни лорнета.

По письмам Алексея Бакунина видно, что Тургенев был в Премухине приблизительно от 10-16 октября 1841 года. 18 октября в пять часов утра Алексей пишет сестрам:

„Вот, девочки, встал спозаранку, да и пишу вам. Тургенев в Москве, — чудный человек!—Если бы вы знали, как я рад, что он в Москве. Рассказывал он нам, как вы с ним в Премухине жили. Говорит, просто чудо, как эти шесть дней пролетели, т.-е., прибавил, каждый миг из этих шести дней заключал в себе целую вечность. Еще много другого кой-чего рассказывал. я я очень рад, что он в Москве будет хоть одну зиму, — Танюша, Николай, приезжайте на зиму, — право, хорошо будет... И знаешь ли что, органист лютеранской церкви умер. — Вчера мне Лангер говорил, что ему очень хочется принять это место на себя, и он сегодня будет об этом хлопотать. Ну, уж если Лангер делается органистом, то я тебя, Танюша, каждое воскресенье буду возить.

в лютеранскую церковь и сделаемся мы с тобой немцами. — Тургенев нанимает себе фортепиано — и непременно познакомится с Лангером: уж это я сделаю...“

22 октября он же писал:

„Сестры! С чего начать? Вот с чего: Тургенев чудный человек, какого я еще до сих пор не встречал.

23 октября вечером.

Вот остановился вчера зачем-то, да так и бросил и ушел к Тургеневу. Он приказал сказать, что грешно вам думать, чтобы он забыл время, проведенное им в Премухине. Эти шесть дней были для него слишком прекрасны, чтобы он мог забыть их. „Вот в таких словах и напишите“, — сказал он мне вчера, — вот я сегодня и написал. Тургенев чудный человек, каких я до сих пор не встречал. Он брат нам, и я ему готов верить все, все без всякого сомнения — никогда не видал человека открытее, прямее Тургенева. Когда пробудешь с ним полчаса, то чувствуешь себя и свободнее и достойнее, и все мелкие заботы и пр. alles zum Henker, так он сам часто выражается. Какие чудные вечера мы у него провели — уж давно, давно не помню таких. Все, что было истинного в душе, ожило, разгорелось — просто это были благодатные для меня вечера. Они озарили всю жизнь, придали мне столько духу и жару, никогда я их не забуду. Они омыли, очистили меня от несносной московской жизни, которая всегда налегает на меня своею одинаковостью, бесцветностью, пустотою, одним словом всем, что только есть самого несносного в ней — и volens-voles и сам не заметишь, как мало-по-малу закрывает, заглушает все стремления, alle Triebe ¹⁾, и налагает печать бесцветности на самого меня. Тургенев, как греческий огонь, который и в воде нигде не гаснет, где ни пройдет — везде зажжет. Как мы с ним фантазируем иногда, — просто чудо! Да что рассказывать? Этого никак не написать. Когда увидимся, тогда все будем рассказывать. С какою любовью он все рассказывает об вас, о времени, проведенном с вами, сколько частности, — ну, да что и говорить уж, ведь ничего же не расскажешь... Сашенька, глупая девочка, ну как ты могла такое думать о Тургеневе? Кисаньки, он вас всех так любит, говорит: какие у вас прекрасные сестры, да и все вы славные ребята. Он вас зовет не иначе, как „дети мои“. — „Прощайте, дети мои“ — говорят, или „здравствуйте, дети!“ — А я как третьего дня с ним боролся и так его новалил, что пол затрещал! Тургенев познакомился с Лангером, что Лангер ему понравился, это очень естественно; а вот что он Лангеру очень понравился — я даже не ожидал так. Еще радостная новость: Лангер, кажется, уж наверное, или по папенькиному вероятно, будет органистом лютеранской церкви, где новый орган. Танюша, приезжай, мы славно проживем это время. Тебе очень свободно

¹⁾ Все потребности.

будет, об этом уж мы постараемся. А весело уж будет — так это верно!! Никола, привози скорее Танюшу в Москву!

Ну, зато вот новость для всех вас неожиданная, и по крайней мере для меня очень нерадостная — а впрочем, мне все равно. Грановский женился в среду на прошлой неделе. Теперь уж настоящий гражданин! Тургенев нарисовал на этот случай славную карикатуру, которую вам посылаю.

Прощайте. Ваш А. Бакунин⁴.

27 октября, вечер.

„Милые, хорошие мои девочки! Вот я один остался у себя в комнате, Александр ушел к Тургеневу, а я простудился — горло болит — и теперь должен сидеть. Сегодня весь день никуда не выходил, все оставался дома и сидел за фортепианами“.

30 октября, вечер.

„Девочки, что вы делаете? Сегодня я так живо представил вас в темной зале и видел, как Сашенька фантазировала на фортепьянах, а Танюша ходила взад и вперед, скрестив руки назад. Милые мои, вам теперь тяжело, в Торжок надо переехать. Вы верно оттого долго и не пишете — да перед вечностью все ничто: это такое утешение, которое всюду идет. И я теперь этим же утешаюсь, потому что до сих пор еще не совсем здоров. Только вы не вздумайте еще этого толковать по-своему. Кисаньки мои, я вас так люблю, так люблю, что и сказать не умею. Ты, Танюша, неправду написала: *anderes Leben, an der Liebe*¹⁾. Для меня и есть только одна истинная, святая любовь: брата к сестре, — все другое до меня не касается. Потому я всегда с вами. Все, что есть во мне хорошего, истинного, все так тесно связано с вами, так что когда я нахожусь в истине, *wenn ich wahr bin mit mir selbst*²⁾ — тогда я с вами. Когда я во-вне, тогда я теряю себя и вас. Или лучше: когда я с вами, тогда я только и с собою, когда я вас теряю, я и себя теряю. Все, что есть во мне истинного и хорошего, что должно развиваться в будущем, все это дорого мне через вас и для вас. Если б не вы, так чорт знает, что бы со мною было. Я сам себя люблю и уважаю только через вас. Через вас и для вас я люблю жизнь, музыку, все, что есть прекрасного. Любовь ваша мне необходима. Право, я говорю вам, если я теперь хочу быть музыкантом, то для того, чтобы быть им с вами. Я не умею сказать того, что хотел бы, ну да довольно вам того, что вся моя жизнь течет в вас. Кисаньки, никогда вы не перестанете быть мне необходимы, пока я Алексей Бакунин и умный; — разве, когда я стану дураком и вздумая жениться. Ну, уж тогда я перестану быть Алексеем Бакуниным, а до тех пор вы мои и я ваш, und damit amen.

Вчера был у нас Тургенев, много с ним говорили. Я опять повторяю: он чудный, живой, одухотворяющий человек. В его присутствии все способ-

¹⁾ Иная жизнь в любви.

²⁾ Когда я исцелен с самим собою.

ности духа согреваются живым огнем и вытягивают и схватывают все жадно. Ну, да одним словом — чудный человек! Он нам рассказывал много, много — между прочим ночь, проведенную им в развалинах старинного замка Dungenfels, с бутылкою рейнвейна, при лунном свете, на горе над Рейном. Как он рассказывает, чудо! Будто сам все вместе делаешь и живешь с ним. Вечером он одержал надо мною две блестящие победы: два раза повалил меня на диван и был очень собою доволен и описывал потом, какие хитрости он употребил, чтобы повалить меня. А какие карикатуры он с Александром виллуски рисует! Я собираю все лучшие, потом покажу вам. Вы не нальбоуетесь!

Прощайте, девочки. Ваш Алексей Бакунин.

Из письма Alexandrine от 12 ноября мы узнали, что Татьяна заболела внезапно и что собирается ехать в Москву лечиться.

..... Доктор не советует ехать в такую погоду. Надо будет ждать, может быть, неделю (она чувствует себя лучше). Праздники скоро придут, и можно будет ехать сюда, и она теперь говорит, что не будет покоя, если вы останетесь в Москве для нее. Беспокойство ей хуже всего. Она хочет вас отправить, а сама остаться в Москве. Этого никогда не будет. Если она решится с вами вернуться — это тоже нехорошо. В три недели лучший доктор ничего не может сделать. Мы сегодня долго рассуждали с Николаем. Он вам предлагает следующий вопрос: не лучше ли будет для нее ехать в Москву после праздников с вами и остаться там месяца два и возвратиться прямо в Премухино, а не в Торжок, где ей просто невыносимо. А до праздников и Николай, и Ушаковы, и Илья будут забавлять ее. Отвечайте скорей и спросите у Тургенева, как у вашего старшего брата (нам он меньшею, хорошо ли это. Пожалуйста, отвечайте скорей. Гости гниют, надо идти.

Ваша Александра Бакунина.

Отвечайте скорей, Николай ждет вашего ответа, в Торжке он только до четверга может ждать, не больше. В воскресенье вы получите это письмо, в среду мы должны получить ответ⁴.

На этом письме приписка Татьяны Бакуниной:

„Толкуют и решают без меня, как будто я ничего не значу, как будто меня и спрашивать не нужно. Празд, обидно!“

Ответ Алексея Бакунина следовал 19 октября 1841 г.

„Ваши письма получили мы не в воскресенье, а во вторник, и потому и вы мое письмо получите не в среду, а в пятницу. Вот что мы с Тургеневым решили, — кажется, так хорошо будет. Татьяна теперь останется, — на праздники приедем мы с Тургеневым. Он пробудет дня три или четыре. А мы, смотря по Татьяниному здоровью, уже поедем с ней в Москву, где нас Тургенев встречать будет. Кажется, хорошо. Татьяна милая, тебе весело читать,

как о тебе пишут в третьем лице? Оно — ничего, кисанька, ты себе сиди да молчи. Наше буду писать — напишу все, как ты ведела, все очень хорошо будет, уже это верно, — ни слова своего не прибавлю. И роиль уж я отдал сегодня Мейбауму. Сегодня узнаю, когда будет готов. И что еще? Ну, да и все хорошо. Тургеневу моя Анна понравилась, он просил меня ее кончить. Я кончил, — только правду сказать, не так удачно, — потому что уж я старался, а при старании ничего хорошего не выйдет. Есть хорошие мысли — и довольно, но нет чего-то такого, что бы сводило всю песню — в одно. Все слышишь — вот это хорошо, ну вот это хорошо бы. Ну, да я вам пришлю — и как она есть — перед вами не стыдно. А еще попросите у Екатерины Петровны Ушаковой позволение посвятить небольшую русскую песню самой маленькой Ушаковой. Если позволит, то я тотчас пришлю.

Прощайте, Кисаньки. И ведь это письмо пишу для того, чтобы вы поскорее узнали наше верховное решение. А то ведь вы, бедные, не знаете, что делать. Вот как поступайте, — как мы вам предписали, и все хорошо будет. Прощайте.

Ваш А. Бакунин."

14 декабря писал он же:

„Официально.

От нынешнего дня — через три дня — сиречь — 18 декабря в четверг, после обеда в пять часов отправляются из Москвы в Торжок: два Бакунина, один Тургенев, одна собака и Луна. О сем извещается брат наш Николай, дабы он готов был встретить нас при проезде нашем через Тверь с подобающею нам честью.

Частно.

Вот скоро и вместе будем. Николай, ты устрой так, чтобы тебе можно было ехать с нами в Тверь [в Торжок? А. К.], а то ведь Тургенев уедет в Москву, он не более дней на три или четыре, а может быть и пять, приедет в Торжок. Мне решительно не пишется, потому что скоро уж ехать надо, а уж здесь теперь делать подавно ничего не могу — руки отяжались. Прощайте. Николай, сделай же так, чтобы ты был с нами в Торжке. Скоро станем лицом к лицу, а до тех пор прощай.

Твой А. Бакунин.

Восприемником твоим из св. крещения Тургенев назначил быть мне — приготовься“.

1-го января (нов. ст.) 1842 года, Михаил Бакунин, в письме к Татьяне, вспоминает Тургенева в следующем красноречивом отрывке, в котором изображена их дружба со всеми ее переходами.

„Утро 1-го января 1842-го по-здешнему, а впрочем, теперь и по моему, потому что я весь бусурманом стал.

Милая Танюша, скажи Тургеневу, что я с тех пор, как проснулся, думаю о нем — и том, как мы вместе встречали у Вареньки 1841-й год;

скажи ему, что я часто, часто вспоминаю о нем и всегда благословляю небо за друга, которого оно мне дало в нем. Чужую жизнь вели мы в Берлине. Напомни ему наши поздние бдения у меня в комнате — он подле своей любезной печки, а я на диване. Прикосновение его духа всегда очищало, освящало меня; говоря с ним, я становился сам собою. Напомни ему наши общие фантазии, предчувствия, надежды — напомни так же, как, сонавая, что жизнь наша при всей полноте своей еще отвлеченна, идеальна, — мы решились броситься в действительный мир, — для того, чтобы жить и действовать, и как, вследствие такого благородного решения, мы на другой же день отправлялись к m-lle Solmar, — он в зеленом, довжуановском, бархатном, а я в лиловом, также бархатном, жилете. Напомни ему толстую, идеальную племянницу и другую маленькую барышню — Fräulein Lamprecht, которую Вердер находил очень geistreich (wir saßen und tranken am Theetisch) ¹⁾ и вследствие этого разговаривал он с ней всегда о высоких материях. Напомни ему также наши вечера — у Вареньки после Бетховенских симфоний — где за чаем и копчеными языками мы долго, долго говорили и пели и смеялись. Напомни ему ужас Вареньки, при виде въезжающих к ней разных мебели — и масло, намазанное на хлеб хитрыми руками Иоханны и расплывающееся от жару, подобно тем салным слезам, которые мы с ним так славно передрязниваем. Напомни ему также и окончание лекций Вердера, Stündchen, последнюю лекцию, — знакомство с Беттиной, — скажи ему, что это время уже никогда не возвратится. Впрочем, он знает это не хуже меня. Скажи ему, что это короткое время заключало в себе всю первую юность нашей дружбы, — и что вследствие этого оно полно, исполнено, окончено и совершенно заключено в себе. — Оно было прекрасно, как юность, и заключало в себе все премущества, достоинства и все недостатки юности; — теперь и даже еще прежде скоро после Stündchen Вердера, настало время мужества, действительности, дела; — и мы тогда еще оба чувствовали это и внешним образом стали чужды по крайней мере несколько чужды друг другу; — что-то тяжелое легко между нами; — с тех пор и до получения его письма в Дрездене было время тяжелого перехода, где я часто терялся и сбивался с толку. Но с получением его письма для нас начался новый период: прекрасная юность наших отношений подтвердила себя в действительности, как действительная дружба. Я писал ему в ответ, что с этих пор малейшее сомнение в его любви ко мне делалось для меня невозможным, — и чувствую, что я не солгал и сказал не пустую фразу. Он мой, точно так же, как и я его. Скажи ему все это, милый друг. Я мог бы сам все это сказать ему, — но не знаю, почему мне так захотелось, чтобы он слышал все это от тебя; — это еще сблизит тебя с ним, а я хочу, чтобы ты, чтобы все вы так же любили его, как и я. Пусть будет он принадлежать вам всем, друзьям моим, так же, как и мне, пусть будет он вам братом и другом. Вот вам мое благословение и мой подарок на новый год, — и вы

¹⁾ Одаренною духом (мы сидели и пили за чайным столом).

должны принять его, потому что ведь я всегда был вашим духовным отцом. И хотя теперь на короткое время, волнуемый беспрестанными противоречиями, теряясь часто в них, я и отказался от этой роли, но я отказался от нее не навсегда. И скоро придет время, когда вы все будете получать от меня снова дорогие и поучительные послания“.

А. Корнилов.

Воспоминания о Некрасове.

Говорят, что о мертвых следует говорить только хорошее или молчать. Не знаю, насколько это правильно, особенно когда речь идет о выдающихся личностях. Кем был Некрасов. Дело людей оценивать все стороны души человека и прощать ему его прегрешения, если хоть часть его хороших сторон заглаживает дурные. Помимо всего хорошего, высказанного им в стихах, Некрасов, как и всякий живой человек, был не чужд слабостей, свойственных всякому обыкновенному человеку. Мне было бы очень жаль, если бы читатель увидел в моих воспоминаниях какую-нибудь затаенную злобу или месть. Если у меня шевелилось иногда такое чувство по отношению Некрасова, то оно и похоронено вместе с его смертью. Его продолжительные страдания искупили в моих глазах все то горькое, что ощущалось мною иногда против него. Стоя у могилы с успокоенными чувствами, я созерцаю прошедшее с беспристрастием летописца, и если во мне шевелятся кой-какие неугасшие чувства, то это скорее чувства любви ко всему далекому, невозвратному прошлому, сопряженному с моей молодостью...

Вернемся, однако, к Некрасову: я не касаюсь ни его общественной деятельности, ни оценки его поэтических произведений, так как не считаю себя достаточно компетентной, чтобы прибавить что-нибудь к оценке, сделанной о нем покойным соредактором его и сотрудником А. Н. Пыпиным; поэтому привожу только те частные факты его жизни, которые проявлялись непосредственно на моих глазах и соприкасались с нашей личной жизнью, моей и мужа моего Ю. Г.

Я познакомилась с Некрасовым в 1864 году в апреле. Я заехала в редакцию „Современника“, чтобы переговорить об одной статье с Антоновичем; он еще отсутствовал; я застала одного Слепцова, с которым и разговаривала, когда вошел Некрасов. Отведя в сторону Слепцова, он осведомился у него кто я, и попросил тотчас же представить мне себя. Еще до запрещения „Народной Летописи“ он предлагал Ю. Г. через Пыпина дать денег для того, чтобы обратить эту газету в ежедневную. Ю. Г. согласился и хлопотал с новым редактором, в виду отказа от ответственного редакторства Ахшарумова, как вдруг ее закрыли по высочайшему повелению. Теперь, встретив меня, Некрасов стал мне объяснять, что очарован публицистическими статьями Ю. Г. в „Народной Летописи“ и потому очень бы желал, чтобы Ю. Г. принял более близкое участие в редакции „Современника“, не ограничиваясь исключительно научными статьями, как было до сих пор. Я, разумеется, посоветовала ему обратиться к самому Ю. Г., что он вскоре и сделал.

С тех пор у нас с Некрасовым завязалось близкое знакомство.

Вернувшись осенью из деревни, он часто заходил к нам по вечерам прочесть то или другое, только что им написанное стихотворение или просто поговорить о редакционных делах. Читал он крайне оригинально, совершенно не так, как читали другие поэты того времени; не входил в пафос и не завышал, а читал каким-то замогильным голосом, чему много содействовала его постоянная хрипота.

Отличаясь широким размахом, он представлял удивительную смесь широкой природы с некоторою прижимистостью, обнаруживавшейся преимущественно в мелочах.

Так все были удивлены однажды скверным переводом какого-то французского романа, помещенного в „Современнике“, где, например, слово *esprit de corps* было переведено — „дух тела“ — и тому подобные другие неподходящие выражения.

Кто-то стал укорять Пыпина за пропуск такого перевода.

— Да это ведь не я; перевод этот поместил сам Николай Алексеевич: он его купил у какого-то неизвестного переводчика.

Кто-то при мне укорил Некрасова за это.

— Грех попутал, — засмеялся он, — соблазнил меня малый дешевизной: по 8 рублей с листа спросил.

Рядом с этим он не жалел давать большие авансы людям, которых признавал талантливыми и от которых ждал большого, что зачастую не оправдывалось на деле.

Так, одному молодому писателю, написавшему недурную повесть, он дал не только аванс, но и предоставил свою квартиру в распоряжение во время своего временного отсутствия из Петербурга. Возвратившись, он не застал писателя у себя, а лишь письмо от него, в котором последний просит простить ему совершенную им подлость. Получивши это письмо, Некрасов растерялся и стал совещаться с присутствующими сотрудниками, о какой подлости могла идти речь. Стали высказывать разные предположения.

Вдруг входит его человек Василий и с сумрачным физиономиею спрашивает:

— Николай Алексеевич, вы булавки-то ваши что ль спрятали куда?

— Да они же под стеклом в горке.

— Ни одной нету.

Пошли посмотреть: под стеклом ни одной булавки, из которых некоторые были большой ценности.

Некрасов радостно расхохотался.

— Ах, каналья каналья, ведь как было напугал! А я боялся, бог знает чего!

Он хорошо сознавал свою слабость и нередко исповедывался нам в своих грехах, которые невольно прощались ему, до того искренно и просто было раскаяние, а разговор его занимателен и умен.

В практическом отношении у Некрасова был чрезвычайно легкий взгляд на исполнение обещаний, раз они не закреплены официальным путем.

В одно из наших воскресений Некрасов принес нам известие о выпуске первого внутреннего займа. Почти все, у кого было и не было денег, захотели приобрести такой заем, в том числе и я. Размечтавшись на счет выигрыша в 200,000, многие стали договариваться, кто сколько кому даст в случае выигрыша, и просили свидетелей бить по рукам. Когда я обратилась к Некрасову разнять руки, он сказал мне:

— Бросьте, Е. И., все эти предосторожности: как только выиграете, ни копейки никому не дадите.

— Что это вы,—воскликнула я,—мы ведь на честное слово.

— И честное слово ничему не поможет, как получите выигрыш в руки,—засмеялся он моему изумлению,—верьте опытному человеку.

Несмотря на серьезность его тона, я все-таки готова была объяснять это его замечание шуткой. К сожалению, его дальнейшие, и при том ближайшие поступки доказали, что таково было вообще его воззрение на денежные отношения и честное слово.

Так, перед подпиской 1866 года, когда с разрешением обходиться без предварительной цензуры подписка приняла значительно большие размеры, Некрасов обещал делиться прибылью с главными постоянными сотрудниками. Половина суммы с подписки сверх 4000 подписчиков (покрывавших все расходы издания) должна была идти ему, другая — трем главным сотрудникам: Ю. Г., Пыпину и Антоновичу. Когда кто-то из них заикнулся Некрасову в январе об его обещании, он ответил, что все будет пока по-старому, что в сущности он погорячился, что расходов больше, чем он тогда предполагал. Сотрудники были люди деликатные, в денежных делах конфузливые и неумелые, потому и отошли ни с чем; только посмеялись над кудачеством Некрасова.

В том же году летом мы жили с Антоновичами на даче в Лесном по закрытии „Современника“, когда к нам приехал проститься Некрасов, уезжая в деревню. Он заявил нам, что, в виду force majeure, он не считает себя обязанным возвращать подписчикам деньги, что он должен еще уплатить кой-какие долги по старым счетам „Современника“.

— А вот вам троим (Ю. Г., Антоновичу и Пыпину) я велел конторе выдать по 1000 рублей; а затем видно будет.

Поблагодаряли. Через день к нам приехал Пыпин и привез делить полученные на троих 500 рублей вместо обещанных 3000.

— Звонарев (заведывавший конторою „Современника“) уверяет, что Некрасов велел выдать пока эти деньги; а остальные мы получим по его возвращении. Есть какие-то неуплаченные счета, — сказал Пыпин.

Переехав осенью в город, после суда над Ю. Г., нам пришлось перебиваться и потому мы поджидали возвращения Некрасова из деревни, чтобы получить из конторы „Современника“ обещанные им деньги для уплаты за квартиру и самых настоятельных долгов. Вернулся он, наконец, и явился к нам в воскресенье вечером, видимо, рассчитывая застать у нас по-прежнему общество. Между тем после паники, вызванной выстрелом Каракозова, после

обысков, как-то все приуныли и перестали собираться друг у друга и заходили больше по-одиночке, когда как придется; да и вообще еще немногие переехали в город, и потому Некрасов застал нас только одних. Вел он себя без обыкновенной простоты и радушия и как-то неестественно холодно. Он не извинился за то, что велел выдать всего 500 рублей на троих вместо обещанных 3000, и ни словом не обмолвился о своем намерении выполнить свое обещание. Сообщил, между прочим, что ему все лето присылали в деревню деньги за годовую подписку полностью, лишь бы получить 5 книг „Современника“ со статьями Ю. Г. „Вопрос молодого поколения“. Я пробовала толкать потихоньку Ю. Г., чтобы он воспользовался этим повествованием и напомнил ему о деньгах. Но всегда до невероятности щепетильный в денежных вопросах, касающихся непосредственно его самого, Ю. Г. не решался заговаривать, надеясь, что Некрасов сам заговорит. Но Некрасов не заговаривал. Зашла речь о суде и приговоре. Рассерженная поведением Некрасова, я заметила ему:

— Удивительно добрый и покладливый Александр Николаевич Пыпин. Ведь статьи „Вопрос молодого поколения“ были напечатаны, еще когда вы подписывались редактором. Помните, вы еще приезжали уговаривать Ю. Г. не вычеркивать из корректуры некоторые места, зачеркнутые им. А вот А. Н. ни за что, ни про что судился и приговорен к отсидиванию. Надеюсь, что хоть сидеть-то будете вы, а не он.

— Что же, я готов,—ответил Некрасов смущенно.

В конце концов отсидывать пришлось все-таки Пыпину, которому Некрасов, желая задобрить, послал недодавшие до 1000 руб. деньги и штраф.

Уходя от нас, Некрасов, будто мимоходом, сказал:

— И ведь Звонареву прислать вам завтра штраф (100 руб.).

Из этого я увидела полное намерение Некрасова не платить остальных денег, и так как наше положение было почти безвыходное, то я пошла за Ю. Г., вставшим проводить Некрасова, и строго сказала ему:

— Спроси же, а то нас скоро из квартиры выелят.

Нечего было делать Ю. Г. при таком упоминании; он воодушевился храбростью и сказал Некрасову:

— Как же на счет тех денег, что вы обещали весной?

— Да, да, я распоряжусь,—и поспешно вышел.

На другой день из конторы Ю. Г. привесли 100 рублей для уплаты штрафа. Как ни были мы бедны, но все-таки такой поступок Некрасова не мог нас не возмутить, точно подачка нищему, и потому Ю. Г. отказался от этих 100 рублей. Часа через три после этого лакей Некрасова привез от него 300 рублей при записке последнего, в которой он говорил, что остальные деньги он оставляет за собою право уплатить или не уплатить, смотря по обстоятельствам. И эти деньги Ю. Г. отправил назад при записке, в которой сказал, что ждет получить долг, а не подачку в зависимости от его милости.

На это Некрасов счел нужным написать, что из обратной присылки видит, что Ю. Г. не особенно нуждается в деньгах, и потому передаст их кому-нибудь, более нуждающемуся.

Обе эти записки Ю. Г. показал на другой день приехавшему к нам Пыпину, покачавшему на них головой, и отдал их ему на память:

— Может быть, вам это пригодится для ваших литературных характеристик.

На этом у нас прервались отношения с Некрасовым, пока мы не встретились с ним у Унковского. Мы держали себя сдержанно и избегали говорить с ним. Он чувствовал себя не по себе и старался задобрить нас. К концу ужина он прочел нам свое новое стихотворение на современную тогда тему „обиск“.

Желая как-нибудь сгладить наши отношения и смягчить мою суровость, он сказал:

— Тут и об вас есть, Е. И.,—и он прочел.

На другой день приходит к нам Унковский и говорит:

— Сейчас заходил ко мне Некрасов. „Калятыя пришел,— говорит,— помогите, родимый, чувствую себя совершенным свиньей перед Иуковским; в глаза совестно было вчера смотреть. И в долгу у него: я ему тысячу рублей должен; как мне их ему отдать?“—Я сказал: „Очень просто, пойдите и отдайте, кодь должны“. Он все-таки счел нужным меня наперед заслатъ: „как,— говорит,— меня Е. И. (т.-е. я) примет?“.

Вскоре он действительно пришел, взволнованный, извинился перед Ю. Г., отдал деньги и стал высказывать разные проекты на счет какого-нибудь нового издания вместо „Современника“. Расстались с тем, что, как только он скембинирет что-нибудь, то сообщит Ю. Г.

Мне грустно вспоминать время, сопряженное с слиянием Некрасова с „Отечественными Записками“, которые „Современник“ не переставал бранить и третировать в продолжение стольких лет.

Наступившая реакция после выстрела Каракозова решила смести все сколько-нибудь либеральные журналы и не разрешать таковых людям с либеральным именем, как Некрасов. „Отечественные Записки“, павшие с процветанием „Современника“, не представляли почти выгоды Краевскому: поднять их требовались имена. А так как еще само общество было либерально настроено, то Краевский придумал предложить своему бывшему врагу присоединиться к своей фирме, предоставить Некрасову полное распоряжение составом редакции, при чем долготелнее консервативное направление Краевского как бы служило гарантию благонадежности журнала перед правительством.

Слияние Некрасова с Краевским представилось в первое время чем-то чудовищным; сначала никто не хотел верить; но так как оно оставалось почти единственным выходом, то нашли возможным принять участие в „Отечественных Записках“ новой редакции, во всем дружно вместе. Антонович письменно и за границы просил Ю. Г. взять на себя защиту всех его интересов по отношению сотрудничества в „Отечественных Записках“, оуде Некрасов пригласит его, в чем ни Антонович ни кто другой не сомневался. Но так как Некрасову, избалованному большими барышами, предстояло теперь делиться с Краевским, то он прежде всего задумал сократить расходы по жалованью и гонорару.

Воспользовавшись отсутствием Антоновича, он выразил желание получить сотрудничество только Ю. Г. и Пыпина. Обсудив такое предложение, Ю. Г. и Пыпин нашли невозможным выкинуть Антоновича. Ю. Г. это было бы тем более неприятно, что Антонович вручил ему свои интересы, как я писала выше, высказывая наперед уверенность, что Ю. Г. не может поступить дурно. Хотя по тогдашнему стесненному положению, в котором мы находились, предложение Некрасова 250 руб., вместо прежних 300 р., представляли для нас все-таки большой ресурс, и Ю. Г. с Пыпиным готовы были согласиться, но не иначе как с Антоновичем, с которым были связаны товариществом. От сотрудничества Антоновича Некрасов все-таки отказался, так как был недоволен его полемикой с Достоевским и Страховым в „Современнике“. Точно также отказался и от всяких гарантий в смысле участия в прибылях. Ю. Г. и Пыпин придавали много значения духу корпорации и нашли невозможным участвовать, при полном устранении Антоновича, и отказались. Антоновичу они не захотели даже сообщать о настоящих причинах своего отказа участвовать в „Отечественных Записках“ из чувства деликатности, чтобы он не думал, что внутренне они укоряют его за то стесненное положение, в котором они очутились, благодаря чувству товарищества. Ему сообщили только, что их оттолкнуло кулачество Некрасова, который теперь, получивши журнал без затрат и риска, так как скрывался за спиной Краевского, предлагал худшие условия только потому, что знал наверняка, что им деться более некуда и они приперты к стене. То были неисправимые идеалисты, у которых слово не расходилось с делом. Да и не думали они, что поклонники и почитатели, так еще недавно чествовавшие оправданного в первой инстанции Ю. Г., так быстро отступятся от него, под влиянием реакции, и станут забрасывать его за то грязью и печатными упреками в корысти, так как Некрасов, в объяснение, почему у него не участвуют его прежние сотрудники, говорил, что они много запрашивают и не сходятся с ним из-за 50 рублей. В опровержение этих слухов Ю. Г. и Антонович напечатали брошюру, которая вызвала против них нападки всех чаявших воды у „Отечественных Записок“, желавших подслужиться последним.

Отношения Некрасова к женщинам были далеко не корректны. Так, всем известные его и не скрываемые отношения к А. Я. Панаевой, которой он главным образом был обязан своим благосостоянием, одно время приняли весьма некрасивый характер. Живя с ней почти в одной квартире, дверь об дверь по парадной лестнице и связанной непосредственно с его задними комнатами, он не только беззастенчиво принимал у себя француженку, что было оскорбительно для самолюбия А. Я., но постепенно низвел последнюю на роль экономки, поселив француженку напротив своей квартиры по ту сторону Литейной, в доме Тацки. Однажды он зашел предупредить А. Я., что не пойдет в клуб, а будет брать ванну, и просил ее озаботиться его ужином, чем она и распорядилась. Ко времени его ужина был накрыт стол на двоих в ее столовой, где обыкновенно он ел. Но вместо Некрасова явился его лакей захватил оба прибора и готовое блюдо и увес все к француженке, запер,

что Некрасов будет ужинать у нее после ванны. При таком положении вещей А. Я. не нашла возможным оставаться долее с ним. Так как „Современник“, основанный мужем Панаевой, который, кроме своих денег, вложил еще деньги, полученные ею от Огаревой, ничем не оформил свою собственность, и с его смертью Некрасов являлся единоличным владельцем этого журнала, то ее положение становилось весьма тяжелым при отсутствии каких-либо документов. Она обратилась к Ю. Г. и просила переговорить с Некрасовым относительно ее денежных дел. Ю. Г., не входя в расчеты ее относительно денег Панаева, который уже задолго до своей смерти оставался только ее фиктивным мужем, считал, что Некрасов, проживши с ней чуть ли не 20—25 лет и будучи богатым человеком, обязан ее обеспечить, и потому не считал возможным в данном случае отказаться от посредничества, хотя бы рискуя полным разрывом с Некрасовым в случае отказа последнего. К счастью, Некрасов не только согласился с доводами Ю. Г., но почувствовал прилив необыкновенной нежности к нему, что и высказывал многим нашим общим знакомым: „Вот человек“, — говорил он. Я рада, что могу об этом упомянуть, чтобы меня не заподозрили в сплошном недоброжелательстве к Некрасову, который был именно привлекателен своими широкими взмахами и совершенно неожиданными переходами. Он согласился отдать Панаевой 50.000, которые не мог реализовать сейчас целостью, а передал их векселями Абазы, у которого он около того времени выиграл 300.000, уплаченные ему тоже векселями. После этого Панаева выехала из дома Краевского и вскоре вышла замуж за покойного секретаря „Современника“, моего бывшего товарища по коммуне Аполлона Филипповича Головачева. Хотя А. Я. Панаевой в то время было под пятьдесят лет и она была лет на 15 старше Головачева, тем не менее она была так умна и привлекательна, что свадьба эта никого не удивила.

Головачев же остался неисправим до конца дней своих. Из секретарства он, конечно, ушел, женившись на Панаевой. Его как-то устроили управляющим типографией князя Голицина. Привыкши жить широко и хлебосольно, А. Я. Панаева продолжала свой прежний широкий образ жизни и по оставлении Некрасова и очень скоро спустила 50.000, в чем ей помог ее муж, всегда беспечный. Впоследствии, когда он разошелся с нею, и А. Я. впала чуть не в нищету, держась только пособием из Литературного Фонда и субсидией, выдаваемой ей ее племянницей, дочерью Краевского — Бильбасовой, Некрасов, благодаря посредничеству своей сестры, сохранившей добрые отношения с Панаевой, — не раз помогал последней и завещал ей свой доход с „Отечественных Записок“.

Поступок Некрасова с другой женщиной вышел еще грубее. Он привез молодую, красивую вдову из Ярославской губернии, где сошелся с ней... Одно время говорили, что он женится на ней, и он представил ее в качестве бевесты в дом Гаевских. Однако прошло несколько месяцев, о свадьбе не было слышно. Покойный Салтыков как-то в разговоре с нами заметил: „Боюсь, что он и с ней сделает какую-нибудь пакость; симпатичная женщина, только, кажется, уж больно престоная; скоро ему надоест“. И действительно, пред-

сказания Салтыкова скоро оправдались. Однажды эта вдова явилась пропаться к Гаевским, при чем со слезами рассказала, что Некрасов стал с ней грубее и холоднее: не упоминал более о свадьбе, а на-днях, после того как у него произошла оргия, в которой принимали участие дамы полусвета и француженки из кафе-шантанов, когда она пришла с укорами и спросила: „При чем же тут я?“—он самым циничным образом ответил: — „Чтобы со мной спать, когда мне этого захочется“. — „Тогда я уеду“. — „И с богом; удивительно, как женщины не понимают, когда им пора удалиться“. Она и уехала. Теперь такие грубые выходки не в редкость. Современные нравы замечательно огрубели. Нынешние романисты новейшей формации возводят половую похоть, разнузданность и животные инстинкты в идеал жизни. Не так было в наше время. Случались ошибки в выборе жены; но во всяком случае в ней прежде всего искали человека, друга, а не аппетитное тело только. Потому выходки Некрасова внушали негодование даже самых близких ему друзей.

Последняя возлюбленная Некрасова была самая ловкая и сумела довести его до брачного обряда перед самою его смертью. Он венчался, лежа в постели, при чем ему пришлось заказать походную церковь, обшедшуюся в несколько тысяч. Жена его была необразована, дочь военного писаря и очень хорошенькая.

По поводу этого романа, если можно было назвать романом последние прихоть Некрасова, — мне вспоминается маленький инцидент: Некрасов нанял этой Зиночке квартиру в Поварском переулке, как раз против квартиры Антоновича, с которым в то время совершенно разошелся. Переулок, как известно, узенький, и окна квартиры Зиночки не завешивались, так что Антоновичи, помимо воли, могли наблюдать нежные эволюции парочки. Однако Антонович, более других разов заинтересованный происходящим напротив, взялся за бинокль и как раз был замечен особенно разнежиивавшимся Некрасовым. Последний тотчас же прекратил свои нежности около окна и на другой день перевез Зиночку на другую квартиру.

По отзывам близко знавших Некрасова в последнее время, во время болезни, будущая жена его окончательно овладела им, держала в руках и только при посторонних делала вид, что ухаживает и бережет его. Она выбрала у него все наличные деньги, по словам его сестры, с которой Некрасов не переставал вести дружбу до самой смерти и которой завещал свои сочинения.

Вообще же, как он однажды высказал Ю. Г., он больше всего любил свою собаку, с которой не раз фотографировался. Однажды он пришел к нам совершенно расстроенный и сообщил, что у него пропала собака, и во весь вечер не раз с тоской упоминал об этой потере.

— Вот и выходит, что не следует привязываться так к животным, — заметил ему Ю. Г.

— Да ведь это была моя единственная серьезная привязанность в жизни! — воскликнул он с отчаянием.

Е. И. Жуковский.

По поводу воспоминаний о Некрасове.

Цель настоящей заметки отнюдь не полемика с почившим автором „Воспоминаний“. Я имею лишь в виду разъяснение и проверку некоторых утверждений Е. И. Жуковской при посредстве объективных данных чисто фактического свойства.

1) Утверждение Е. И. Ж., что в 1866 г., в связи с упразднением предварительной цензуры, подписка на „Современник“ „приняла значительно большие размеры“, основано на плохой информации. Уже в письмах к П. А. Плетневу (см. мою книгу: „Некрасов. Сборник статей и материалов“. М. 1914 г.) и к М. Щербинину (см. статью „Агония Современника“ — „Былое“, кн. 20) Некрасов жаловался на очень плохую подписку на 1866 г. Наконец, в письме к В. Я. Фуксу (там же) от 22 января 1866 г. он указывает цифру подписчиков — 2100) каковая цифра не могла не возбуждать самых серьезных опасений с его стороны, ибо была вдвое меньше прошлогодней. И с П. А. Плетневым собственником „Современника“, и с М. П. Щербининым (начальником гл. упр. по дел. печати), и с В. Я. Фуксом (членом совета гл. упр.) Некрасов состоял в деловых, даже официальных сношениях, а потому в своих письмах к ним, данные которых легко было проверить в почтамте, конечно, ни в коем случае не решился бы дать неверные сведения о ходе подписки, в частности уменьшить цифру подписчиков.

В связи с этим падает утверждение Е. И. Ж., что Некрасов, обещавший в 1866 г. делиться с Ю. Г. Жуковским, А. Н. Пылитым и М. А. Антоновичем „половиной суммы с подписки сверх 4000 подписчиков, покрывавших все расходы издания“, и не выполнивший своего обещания, повинен в „кулачестве“.

2) Утверждение, что Некрасов после запрещения „Современника“ отказывался признать свои денежные обязательства относительно подписчиков, стоит в противоречии с содержанием писем к Некрасову книгопродавца Звонарева („Архив села Карабихи“. М. 1916 г., №№ 202 — 208), которому была поручена ликвидация денежных дел „Современника“. В этих письмах совершенно определенно указывается, что подписчикам „Современника“, взамен книжек журнала, выдавалось „Собрание сочинений“ Шекспира, из чего с неизбежностью вытекает, что обязательства перед подписчиками Некрасовым признавались.

3) Эпизод с задержкой в уплате Ю. Г. Жуковскому 1000 руб., которыми, по собственному побуждению и почину, Некрасов хотел поддержать видного сотрудника запрещенного журнала, совершенно иначе освещается в письме Некрасова к Жуковскому, упоминаемом и в „Воспоминаниях“ Е. И., как это и видно из нижеследующих строк (это письмо еще не напечатано; цитирую по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском Доме, среди бумаг А. Н. Пыпина). „Вы знаете, что мои личные средства в векселях, по которым получение медленно и не всегда верно, но при этом я имел до 70 т. ежегодно в руках оборотного капитала и потому мог распоряжаться довольно широко. Как я распоряжался, это видно из книг Сов. р. и расписок на каждый выданный рубль — эти документы меня оправдают, если б кто мог меня заподозрить в своекорыстии; в этом отношении я спокоен. Не предвидя уже прилива наличных денег, которые могли бы меня выручить в случае замедления получения по векселям, я естественно должен стараться выиграть время в выдаче наличных денег, и вот из чего вышло, что я побоялся обещать вам эти деньги на-днях и сказал в декабре... Надев уже шапку и шубу и торопясь, чтобы карета моя поспела к разъезду из театра, куда я обещал ее послать — я, может быть, второпях как-нибудь неловко выразил самую невинную вещь: подождите, если можно, до декабря. Вам стоит мне извинять эту неловкость или резкость, как я извинил вам возвращение ста рублей — и все разлетится“. Таким образом, затяжка в уплате объясняется не желанием уклониться от уплаты обещанного и не скарденностью Некрасова, как это легко можно подумать, читая, „Воспоминания“ Е. И. Жу-ой, а просто стесненными материальными обстоятельствами.

4) Упрек, брошенный Е. И. Жу., судя по ее „Воспоминаниям“, в лицо Некрасову в том, что за напечатание статьи Жуковского „Вопрос молодого поколения“, вызвавший привлечение автора и одного из редакторов (А. Н. Пыпина) к суду, — следует сидеть не Пыпину, а Некрасову, — едва ли может быть признан вполне основательным, ибо, как уже указывалось в моей статье „Агонии Современника“, из официальных заявлений Некрасова и Пыпина от 15 сентября 1865 г., хранящихся в делах гл. упр. по делам печати, явствует, что на первом лежала ответственность за беллетристический, а на втором за ученый, критический и политический отдел журнала. Так что de jure Некрасов и не мог отвечать перед судом за статью Жуковского. Если часть моральной ответственности все же лежала и на нем, то он, сознавая это, повидимому, готов был подать об этом надлежащее заявление, против чего возражал Пыпин (см. в „Архиве села Карабики“ письмо Пыпина к Некрасову от 27 августа 1866 г.)

5) Рассказ Е. И. Жу. о том, что переговоры Некрасова с Жуковским и Пыпиным об участии этих последних в арендуемых у Краевского „Отеч. Записках“ не привели к благоприятным результатам только потому, что и Жуковский и Пыпин из товарищеских чувств не хотели идти в „Отеч. Записки“ без Антоновича, а Некрасов не соглашался-де на его приглашение, находит себе совершенно иное освещение в воспоминаниях Г. З. Елисеева, его жены и в письме Некрасова к Пыпину. Так из воспоминаний Г. З. и Е. П. Ели-

сеевых (см. мою статью „Некрасов и Елисеев в деле воссоздания „Отеч. Записок“ Краевского“ — „Голос Минувшего“, 1916, № 2) известно, что товарищеские чувства не помешали Жуковскому подвергнуть „остракизму“ Елисеева, как предполагаемого сотрудника „Отеч. Зап.“, хотя он был не менее близок „Современнику“, чем Антонович, и, следовательно, имел не меньше прав быть приглашенным. В этих же воспоминаниях сообщается, что Жуковский претендовал на половину прибыли от журнала и на право не только контролировать расходы по журналу, но и накладывать свое veto на тот или иной из предполагаемых расходов. Ни с этими требованиями Жуковского ни с „остракизмом“ Елисеева Некрасов не согласился, и свое несогласие совершенно определенно выразил в особом письме к Пыпину (см. мою статью „Из цензурной истории „Отеч. Записок“ — „Русское Богатство“ 1918, № 1-2-3).

Мой комментарий к „Воспоминаниям“ Е. И. Жукой можно было бы распространить и на некоторые другие их пункты, однако и сказанного достаточно для вывода, что, при всей своей занимательности и значительной ценности для биографии Некрасова сообщаемых в них отдельных штрихов и фактов они требуют к себе весьма критического отношения и строгой проверки. Впрочем, эту участь разделяют с ними и воспоминания многих других лиц, посвященные Некрасову.

В. Евгеньев-Максимов.

В Тобольской тюрьме.

(Из моих воспоминаний.)

ГЛАВА ВТОРАЯ ¹⁾.

1.

Дорога от Петербурга до Тобольска продолжалась шестнадцать дней. По дороге мы почти не видели обозов, ни попутных нам ни встречных; на станциях проезжающей публики почти не было. Из городов, расположенных по этому тракту, я помню только три: Кострому, Вятку и Пермь. На почтовых станциях этих трех городов и еще на какой-то станции, которой название не могу припомнить, мы останавливались на ночлег; спали каждый раз часов по шести или по семи. В остальные ночи останавливались только для перепряжек, для каждой перепряжки на десять или на пятнадцать минут; ехали дальше и спали в кибитке.

7 февраля 1864 года приехали в Тобольск, остановились около приказа осылных; здесь мы пробыли очень недолго: жандармам было приказано отвезти меня в тюремный замок.

2.

В тюремной конторе наше появление не произвело особенного впечатления на находившихся там смотрителя тюрьмы, его помощника, писцов и двух-трех надзирателей. В течение последнего года к ним привозили такое множество поляков, что появление жандармов с новым арестантом стало для них чем-то обыденным. Когда старший жандарм передал смотрителю деньги, составляющие мою личную собственность, около полутораста рублей, — смотритель, маленький, худенький человек добродушного вида, глянул на меня с некоторым как будто уважением. Пять рублей он тотчас же передал мне — на мелкие расходы; остальные деньги отдал чрез три или четыре дня.

Из конторы помощник смотрителя отвел меня в ту часть тюрьмы, которая была назначена для политических арестантов, т.-е. в данное время почти исключительно для польских повстанцев и вообще для лиц, имевших

¹⁾ См. „Былое“, кн. 21 (1923).

какую-либо прикосновенность к польскому восстанию. Из конторы мы попили чрез главный тюремный двор, довольно большой, ко второму двору, поменьше; во втором дворе подошли к крыльцу; шагах в десяти от этого крыльца поднималась каменная стена, отделявшая этот конец двора от внешнего мира. Дверь, ведущая с крыльца в сени, запиралась на замок снаружи, со двора, каждый вечер, после того как смотритель (или его помощник) и караульный унтер-офицер обошли камеры и пересчитали арестантов; рано утром дверь отпиралась и оставалась незамкнутой до вечера. Часть сеней налево от входа была отделена перегородкой: это был сортир, устроенный сносно и содержащийся довольно опрятно. В сенях направо находилась дверь, никогда не запиравшаяся на замок; она вела в арестантские камеры.

Первая камера имела в длину шагов двадцать с чем-нибудь, в ширину не меньше шагов двенадцати, в высоту не меньше двух сажен. Пять или шесть окон, довольно больших, были обращены на тюремный двор; снаружи окон железные решетки. Камера была довольно светлая, несмотря на решетки; при ясной погоде можно было в самом далеком уголке камеры читать книгу свободно, без утомительного напряжения глаз. Почти вся камера была занята нарами, имевшими вид помоста, вокруг которого оставался свободный проход, шириною около трех шагов.

Перегородка отделяла первую камеру от второй, имевшей, насколько могу припомнить, такие же размеры, как и первая, такие же нары и столько же окон. В обеих камерах пространство под нарами было довольно темное.

В первой камере человек пятнадцать могли расположиться свободно на той половине нар, которая обращена к окнам, и человек пятнадцать — на противоположной половине, обращенной к глухой стене; во второй камере — еще тридцать человек. Обыкновенно бывало у нас просторно; но бывали изредка дни, когда нас набиралось до двухсот человек. В подобные дни на нарах, под нарами, на полу, в проходах — располагались везде, где только была возможность. Собственно дни-то проходили легко: ведь мы могли ходить свободно по всем тюремным дворам; а вот ночью теснота чувствовалась. Я упомянул, что дверь из сеней в первую камеру никогда не запиралась на замок; и таким образом мы были избавлены от тюремной язвы — параша.

Неподалеку от двух больших описанных мною камер находился так называемый „дворянский коридор“. Там было пять или шесть небольших комнат; в них помещались поодиночке те из поляков, которые тяготились пребыванием в описанных двух камерах и имели достаточные средства, чтобы уласлить смотрителя и получить от него особую, так сказать, квартиру.

3.

Когда я и помощник смотрителя вошли в камеры, в первой из них было поляков человек двадцать с чем-нибудь, во второй — человек десять. Во второй камере та половина нар, которая обращена к глухой стене, была

почти не занята; я там и расположился со своими вещами. Моя пуба стала для меня постелью, полушубок — изголовьем; халат, который во время переезда в Тобольск мы клали на дно кибитки, как подстилку для ног, теперь получил более почетное назначение: днем он заменял мне пальто, ночью — одеяло.

В числе студентов Медико-хирургической академии было много поляков. И мне случалось очень часто слышать их разговоры между собою в промежутках между лекциями, во время практических занятий анатомией, во время обходов в кухмистерских; никогда до поступления в академию не слышавши польского разговора, не выдавши польской книги, я однако же оказался понимающим наполовину и даже, пожалуй, больше, чем наполовину, те разговоры поляков-студентов между собою, которые слышал в академии. Здесь, в тобольской тюрьме, товарищи по камере задали мне на польском языке вопросы: как ваша фамилия? откуда вы родом? где арестованы? какой приговор вам объявлен? и т. п. Вопросы я понимал без затруднения, но отвечать на них мог только по-русски. Как только собеседники поняли, что я — русский, не поляк, они выделили из своей среды двух или трех человек, владевших русским языком очень сносно; толмачи задавали мне вопросы по-русски и кое-что из моих ответов, не совсем понятное для прочих поляков, разъясняли им по-польски. Тон нашего разговора был дружелюбный, товарищеский. Когда они услышали, что я приговорен к ссылке в каторжную работу в крепостях, они сказали мне, что у тобольских властей возникло недоумение такого рода: в приговорах о ссылке в каторжную работу всегда означается, к какому именно роду работ приговорен ссылаемый человек, — к каторжной работе в заводах, или в крепостях, или в рудниках; казенные заводы в Сибири есть, казенные рудники — тоже, но крепостей нет; куда же посылать приговоренных к каторжным работам в крепостях? Об этом недоумении местные власти написали в Петербург; впредь до получения ответа из Петербурга, приговоренные к работе в крепостях приостанавливаются в тобольской тюрьме: „Вот этого приостановили, и еще этого, и еще вот третьего; должно быть и вас остановят“. Так и вышло: мое пребывание в тобольской тюрьме продолжалось пять с половиной месяцев, до двадцатых чисел июля 1864 года.

Расспрашивая собеседников о здешних хозяйственных распорядках, я в тот же день узнал следующее. Раз в неделю или в две недели казна выдает нам кормовые деньги (помнится, по семи копеек в сутки); припасы здесь дешевы, особенно рыба; но все-таки прожить исключительно на кормовые деньги очень трудно, необходимо добавлять из собственного кармана. Каждую неделю двое или трое из числа поляков получают разрешение пойти в горы, в сопровождении конвоира; им мы даем деньги и записки, чего надо купить. Зовут именно, для кого именно. Покупаем, главным образом, холодными закусками: колбаса, ветчина, сыр, яйца; ну, разумеется, чай, сахар. Но соседству с нами находится помещение вроде кухни; там можем получать закусок безвозмездно с утра до ночи.

Около тюремных ворот сидят обыкновенно несколько торговков с лотками и корзинами; у них можно купить через надзирателей разную снедь попроще магазинной и подешевле: молоко, масло, пироги с разнообразною начинкою, кусок жареного мяса, копченую рыбу, яйца свежие и печеные.

При наших двух камерах находился назначенный тюремным начальством слугитель из уголовных арестантов, старик лет за шестьдесят. Рано утром, когда мы еще спали, он приходил с уголовного двора; из большой бочки, стоявшей у нашего крыльца, натаскивал воду ведрами в ушат, помещавшийся в сенях; выливал помой из деревянной лохани, которая стояла около ушата и заменяла нам умывальный таз; подметал обе камеры. По мере того, как мы вставали и умывались, лохань наполнялась водою; старик раз за разом уносил ее куда-то к помойной яме, опоражнивал там, приносил обратно.

4.

Около половины февраля население наших двух камер заметно увеличилось: привезли из Варшавы человек двадцать; их доставили на почтовых с жандармами, т.-е. они совершили свой переезд приблизительно в таких же условиях, как и я. Одежда на всех собственная, вполне приличная; у каждого был твердый чемодан из черной кожи или мягкий, шеголеватый дорожный мешок.

Впоследствии не один раз я видел партии поляков, привезенных из Варшавы в тобольскую тюрьму, и все эти партии производили на меня такое же впечатление зажиточности, благообразия и культурности. Совершенно другой вид имели поляки, прибывавшие в ту же тюрьму из Вильно и вообще из литовских губерний, т.-е. из так называемого официально „Северо-Западного края“. Эти подходили к воротам тюрьмы в составе пеших арестантских партий, в арестантских халатах, в безобразных арестантских шапках, в сильно заносимом грязном белье из грубого холста; на ногах грязные онучи и арестантские коты. Перед отправкой из Литвы у них отбирали все, что они имели из дому; давали арестантскую одежду и в таком виде препровождали по этапам в Тобольск.

Случалось, что этапное помещение тесновато, а поляков в партии много; их загоняли в камеру, втискивали туда же парашку и запирали дверь на замок. „Не только лечь негде, но и присесть нет возможности; стоим всю ночь на ногах: воздух портится до такой степени, что свеча не горит; мы разбивали оконные стекла, чтобы не задохнуться. На утро за разбитые стекла остался вычет из наших кормовых денег; но надо правду сказать: за самоуправное битие стекол к какой-либо дальнейшей ответственности вроде, например, карьера. — нас не привлекали“. Мне приходилось слышать от нескольких поляков, прошедших этапами из Литвы в Тобольск, приблизительно следующее: „Если бы мне дали власть подвергнуть пари наказанию по моему усмотрению, хотя бы даже смертной казни, — я приказал бы препроводить его из Вильно в Тобольск в составе пешей арестантской партии, отнюдь не давая ему каких-нибудь особых притеснений, а только待遇 его одинаково

с прочими партийными арестантами. И в Тобольске я велел бы его освободить: иди, дружок, на все четыре стороны. И если бы мне сказали: а не послать ли его таким же порядком обратно из Тобольска в Вильно? я сказал бы: ни-ни; повторение подобной дороги было бы жестокостью уже выше всякой меры“.

По прибытии в Тобольск литовские оборванцы довольно скоро приобретали более приличную внешность: одежда, белье, обувь, — все это подчищалось, починивалось, перешивалось, отчасти заменялось новым. Среди поляков, привозимых из Варшавы, некоторые оказывались хорошими знакомыми, иные — родственниками единоплемеников, приглашенных из Вильно; понятно, пришельцы получали некоторую помощь от друзей и родственников. Мне говорили, что в числе тобольских жителей есть несколько польских семейств, постоянно поддерживающих дружеские отношения с поляками, находящимися в тюрьме. Эти городские семейства помогали нуждающимся соотечественникам, находящимся в тюрьме, и вещами и деньгами. Расспрашивать поляков об этих городских семействах я считал совершенно неуместным; но все же из происходивших вокруг меня разговоров было ясно, что средства для помощи поступали отчасти от добродетельных дателей, живших в Тобольске, отчасти от соотечественников из царства Польского и из Литвы. Все в один голос говорили, что помощь получается не особенно значительная, но ведь край разорен контрибуциями и всяческими поборами разных наименований, легальными и нелегальными; большое спасибо и за то небольшое, что получается оттуда.

5.

Почти каждую неделю в наших двух камерах появлялись новые жильцы, то приехавшие из Варшавы, то пришедшие этапам из Вильно. Через неделю или через две вновь прибывшие отправлялись дальше; задерживались только приговоренные к каторжным работам в крепостях, о чем я сказал выше.

Упомяну об общественном положении ссыльных поляков, которых сотня прошли перед моими глазами за пять с половиною месяцев моего пребывания в тобольской тюрьме. Разумеется, я помнил тогда и помню теперь, что судьба предоставила мне возможность видеть лишь некоторую часть ссыльных поляков. Наиболее видные деятели восстания были отчасти убиты в военных стычках, отчасти казнены по приговорам военно-судных комиссий, отчасти успели эмигрировать; вот этих людей, занимавших наивысшие ступени повстанческой иерархии, я не видел, за исключением одного или двух, о которых скажу впоследствии. С другой стороны, мне говорили, что многие тысячи поляков, состоявших у русского правительства более или менее на худом счету, были высланы административным порядком из царства Польского (из Литвы мало) в разные города Европейской России, где они находились более или менее продолжительное время, иные — несколько месяцев, иные — несколько лет: этих тысяч людей, скомпрометированных легко и даже вовсе не скомпрометированных, а только не понравившихся за что-то местным властям, — я тоже не видел. Значит, в Тобольске я видел сретний класс повстанцев.

Крестьян было очень немного; таких, которые принадлежали к польскому племени, т.-е. говорили на польском языке, я почти не могу припомнить: один, два — и обчелся. Была группа крестьян жудинов, человек десять или пятнадцать; но эти, родом из Августовской или из Ковенской губернии, говорили своим особым языком, которого я совершенно не понимал, и из поляков понимали очень немногие. Это были люди на вид уже не первой молодости. Лет сорока или около того, руки мозолистые, движения угловатые. Держались они вместе, кучкой. Сидят, починяют одежду или обувь, что-то между собою говорят, но не громко, вполголоса; кончили работу, — вынимают молитвенники, формата маленького, но довольно толстые; каждый читает молитвы сам по себе, и почти таким же пониженным голосом, каким они перед тем разговаривали: чтение молитв продолжалось полчаса, иногда час и даже больше; утром и вечером молились непременно, среди дня — случалось мне заметить не один раз. И не один раз я вспомнил Лаврецкого («Дворянское гнездо» Тургенева), который увидел в церкви молящегося крестьянина, осведомился о постигшем его ударе судьбы («сына забрали») и задав себе вопрос: что может заменить религию для этого человека?

Ремесленников всякого рода было довольно много: плотники, столяры, фортепьянщики, печники, каменщики, штукатуры, маляры, портные, сапожники, шорники. Через много лет мне привелось увидеть некоторых из них в Иркутске: они пользовались хорошей репутацией и имели много заказчиков. А в то время, в Тобольске, в газетах, проникавших в тюрьму довольно свободно, мы читали между прочим корреспонденции из Америки о войне северных штатов с южными из-за невольничества; в одной из корреспонденций описывалось, как один из северных полков подъезжает в вагонах к такому месту железнодорожной насыпи, которое попорчено отступающими южанами: полковник командует своим северянам: землекопы, вперед! слесаря, вперед! кузнецы, вперед! Работа закипает, и в скором времени северяне опять садятся в вагоны и продолжают свой путь. Ну, подумал я, читая эту корреспонденцию, — если нам пришлось бы находиться в таком положении, мы тоже, кажется, не ударили бы лицом в грязь; нашлись бы между нами искусные люди по всякой части.

Преобладающий возраст ремесленников был от двадцати лет до тридцати; подростков было очень мало, стариков еще меньше. Иные с иглою в руках, починяя белье, пришивая пуговицы к чамаркам, другие без работы, придерживая рукою трубку с коротеньким чубуком и время от времени усердно посасывая чубук, — они усаживались небольшими группами и любили показывать: вспоминали об оставшихся дома родственниках, о делах хозяйственных и ремесленных, об обучении во время пребывания в отряде военному строю ружейным приемам, правилам караульной службы, о стычках с русскими войсками, о взятии в плен, о военно-судных комиссиях. Если членам этих комиссий казалось, что допрашиваемый упорно запирается, не сознается в таких преступлениях, которые он, по мнению комиссии, несомненно совершил, — они ругали его, били по лицу собственноручно: пощечины, синяки, разбит-

тый до крови нос, выбитые зубы, — все это бывало довольно часто. Изредка, когда у членов являлось подозрение, что допрашиваемый знает, но не хочет назвать других преступников, гораздо более важных, чем он сам (например, влиятельных членов организаций), — они приказывали солдатам дать ему тридцать или сорок ударов розгами и допрашивали после этого снова: иногда подобный прием повторялся на другой же день или через два, через три дня. Фамилия какого-то Тухольки (капитана или майора, если память меня не обманывает ¹⁾), упоминалась особенно часто в рассказах о зуботычинах и сечениях.

Собеседования ремесленников отнюдь не были запечатлены унынием, плаксивостью; разговор был пересыпан шутками, остротами, смехом: особенно отличались бойкостью и веселостью варшавяне. Над набожными жмудинами, о которых я упомянул выше, ремесленники не насмехались, и вообще высокомерия по отношению к религии я в них не заметил. Утром и вечером они большей частью молились, но при молитве не предавались многословности: человек становится около нар, наклоняет голову, складывает руки на груди, шевелит губами: чрез минуту или две принимает обычный вид и утром — начинает свои обыденные хлопоты, вечером — укладывается на постель.

Не проходило дня, чтобы в одной или в другой камере не собрались люди в кружок, человек от пяти до пятнадцати, — поразвлечься родными песнями. У ремесленников одна из любимых песен была на тему, которая в первой же строфе выражалась приблизительно такими словами: „Завтра будет день рабочий, послезавтра — еще более мозольный; тем веселее пусть будет для нас день нынешний“. Эта песня, насколько могу припомнить, не имела политического или национального оттенка: если бы она была переведена стихами на русский язык, она была бы вполне подходящая и для русского рабочего. Но вот в другой песне, которую ремесленники распевали тоже довольно часто, политический и национальный смысл был ясно выражен в припеве: „Под наше цеховое знамя понесем жизнь, понесем голову“. Еще резче был повстанческий характер песни, которой содержание я почти забыл, потому что и слышал ее не так часто, как две названные только что: в ней упоминалось о Келинском, который „был сапожник, взбунтовал Варшаву“.

6.

Из числа поляков, виденных мною в тобольской тюрьме, значительная часть принадлежала к классу ремесленников, но мне все-таки кажется, что в Тобольске не ремесленники составляли большинство ссыльных: людей интеллигентного труда было как будто больше, чем ремесленников. Доктора, учителя, архитекторы, землемеры, техники, приказчики, конторщики, писки, бывшие чиновники правительственных учреждений (немного), бывшие служащие варшавского магистрата (т.-е. варшавского городского управления); этих

¹⁾ Председатель следственной комиссии. — Приложение II. Ф. Пантелеев.

было немало), священники, бывшие студенты различных российских университетов, — всё это мелькало перед моими глазами. Мне казалось, что особенно многочисленную группу составляют так называемые у поляков „официалисты“, т. е. лица, служившие в помещичьих экономиках управляющими, приказчиками и писцами. Помещиков почти не было; припоминаю только четырех; фамилии их помню по разным причинам, отчасти, может быть, и потому, что их было так мало: вот эти фамилии: Чапский (граф, по имени, кажется, Эдуард), Соколовский (Ян), Лац (имени не помню), Грабовский (имени тоже не помню).

Людей пожилых и стариков между интеллигентами было заметно больше, чем между ремесленниками; подростков было очень мало; большинство составляли, как и у ремесленников, люди в возрасте, повицимому, от двадцати лет до тридцати.

О военно-судных комиссиях интеллигенты рассказывали в том же роде как и ремесленники. Слово „самодержавие“ как будто подразумевает, что все чиновники, гражданские и военные, высшие и низшие, благоговейт перед царем, принимают его указы, как некоторую святыню, стараются исполнить их „не только за страх, но и за совесть“ со всевозможною точностью. Я уж и тогда понимал, что на деле и было и есть совсем не так, что исполнители царских указов не особенно церемонятся с ними. Однако же я немножко усомнился, когда в первый раз услышал рассказ какого-то поляка из Литвы: „Вышел от царя манифест: кто положит оружие до 1-го мая (1863 года) и выйдет из повстанческого отряда к русским властям, того привести к очистительной присяге и больше уже не тревожить его за участие в восстании. Вот я поверил, явился, присягнул. Через две или три недели меня арестовали, привели в комиссию, допрашивают: был ли ты в такой-то банде, под начальством такого-то мятежника? Был, говорю, но ведь я покорился то 1-го мая, и всё это закрылось царским манифестом. А председатель мне и говорит: „Дурак ты, дурак; манифест писан для Европы, а не для вас, мятежников; ты, дурак безмозглый, и этого не понимаешь“. Ну, и присудили к каторжной работе“. Устыдившись в первый раз, я, говорю, не совсем поверил рассказу о таком нахальном игнорировании манифеста; но в разное время и в разных местах разные люди рассказывали мне то же самое, и я перестал сомневаться.

7.

Граф Чапский пробыл в тобольской тюрьме несколько недель, занимая камеру в дворянском коридоре. По своему общественному положению это был очень крупный землевладелец, магнат в полном смысле слова; по словам поляков, он состоял даже в каком-то родстве с прусскою королевскою фамилиею. На вид ему было лет сорок с чем-нибудь. Держал он себя с некоторою важностью, я однако не решился бы назвать эту важность высокомерием: товарищи по заключению относились к нему, можно сказать, безразлично: я не замечал с их стороны ни вражды к нему, ни особой благосклонности; холобоострастия — не было и следов.

Прогуливаясь по двору, Чапский иногда подходил ко мне и заводил разговор на русском языке, которым владел очень недурно. Однажды он полюбопытствовал: какое составилось у меня мнение о поляках, о теперешних поляках, которых десятки и сотни проходит пред моими глазами? В ответ на это, я прежде всего напомнил нашу поговорку: человека узнаешь, когда нуд соли с ним съешь. „Людей я вижу множество, но большею частью на очень короткое время, при том самая наша обстановка необычна; поэтому мое мнение надо считать построенным на фундаменте довольно шатком. Тем не менее, если вы любопытствуете, я скажу вам, что мое впечатление в общем благоприятно для поляков, очень благоприятно. Я думаю, что, как ни тяжелы времена, переживаемые ныне Польшей, но такой народ никогда не погибнет, не может погибнуть“. Он вынул из кармана листок почтовой бумаги и указал мне несколько строк в конце письма, обращенного, не знаю к кому: смысл указанных строк (на французском языке) был таков: „О своих соотечественниках, которых вижу здесь значительное число, не решаюсь сказать ничего определенного; это еще (или уже) хаос“. Последние слова показались мне выражающими такое мрачное настроение и в такой сжатой форме, что они врезались у меня в памяти в том самом виде, как были написаны: *c'est encore (ou déjà) le chaos*. Я сказал Чапскому: „Ваши слова, написанные в скобках (или уже), заставляют думать, что у вас с языка готово сорваться пресловутое восклицание, произнесенное будто бы Косцюшкою: *finis Poloniae!* Но ведь Косцюшко много раз заявлял, что на него лгут, что он никогда не произносил подобного восклицания. На вашем месте я уничтожил бы эти слова: или уже“. Чапский ничего не возразил мне, но и согласия не высказал.

8.

Проходя из камеры через сени на тюремный двор, я заметил несколько раз, что какой-то человек сидит на подоконнике. Окно было расположено на значительной высоте, можно сказать, под самым потолком; оконный просвет был не высок и не широк, так что мне прежде казалось, что человек не мог бы поместиться в оконной впадине. И вот я видел, что человек забрался-таки туда; сгорбился, скорчился, не отводит глаз от оконных стекол и смотрит куда-то вдаль. Случалось, что я по двору хожу довольно долго, возвращаясь в камеру,— скрючившийся человек всё там же и смотрит всё туда же, за пределы тюремной решетки. Соседи по камере объяснили мне:

— Это пан Грабовский (имя я забыл), видная фигура из нашей организации,— воевода Плонский. Человек уже не молодой; разумеется, тяжелее ему, чем нам, людям молодым, переживать теперешний разгром; вот и вышло с ним что-то этакое... не того... Он ни о чем как будто не заботится; ни об еде не вспомнит, ни о питье; мы за ним, как за малым ребенком, смотрим: принесем кушанье, напомним ему,— пожует немножко, а сам не подумает; и почти не разговаривает, только вот попросит подсадить его на окошко, скрючится там и всё туда смотрит; а в той стороне, за тысячи верст, наша родная земля.

После этого разъяснения я взглянул раз-другой на бывшего воеводу повнимательнее. Седина еще не очень заметная, на вид ему лет сорок с небольшим. Глаза светло-карие, смотрят печально, тоскливо; если бы я был живописцем на религиозные темы, я дал бы такие глаза Иисусу, молящему отца о чаше.

Разговаривать с Грабовским я не пробовал; для меня было ясно и без разговоров, что его душевное настроение — очень тяжелое, мрачное.

9.

В дворянском коридоре, по соседству с Чапским, помещался Ян Соколовский; у него болела грудь. Боли обострились, и он приостановился в тобольской тюрьме на неделю. Некоторые поляки думали, что у него чахотка и что он уже недалек от смерти. Меня привел к нему, кажется, Чапский. Соколовский лежал на постели в теплой фланелевой куртке, закрывшись до пояса теплым одеялом. На вид ему было лет около тридцати; впалые щеки, на них подозрительный яркий румянец. Говорил он только по-польски; однако мой русский разговор понимал свободно. Разговор касался разных предметов. Между прочим, Соколовский любопытствовал о моем процессе; выслушавши мой рассказ, очень короткий, простой, он порывисто схватил меня за руку, крепко пожал ее и быстро, почти задыхаясь, проговорил: „Takiego moskala piersia swoja bronilbym (такого москаля я грудью своею защищал бы)!“ У поляков слово „москаль“ означает, собственно говоря, „русский“, т.-е. человек русского (точнее — великорусского) племени; но вследствие исторических обстоятельств слово „москаль“ получило у них еще другое значение, которое можно выразить словами; „наш враг, угнетатель, варвар“ и т. п. В русском языке слово „татарин“ вследствие таких же исторических причин получило такое же двойственное значение, отчасти сохранившееся и доныне, по старой памяти. Случалось мне слышать, что вновь прибывшие в тюрьму поляки спрашивали соотечественников обо мне: кто это такой? Запрашиваемые редко отвечали им „москаль Стахевич“, а вместо того почти всегда выражались „россиянин Стахевич“.

Когда наш разговор с Соколовским коснулся политических дел вообще и польских дел в частности, вид у него был сначала огорченный, довольно мрачный, но понемножку он повеселел, воодушевился, глаза заблестели, румянец разгорелся на щеках, и он выпалил: „О! Польша будет свободна, непременно будет! И я еще побываю у польского короля на балу и мазурку танцовать буду... Еще доживу...“

В Сибири несколько докторов говорили мне, что климат этой обширной страны, особенно ее восточной половины (начиная от Иркутской губернии), очень благоприятен для чахоточных. Они наблюдали неоднократно случаи поразительного замедления в ходе этой роковой болезни: человек приехал из России с несомненными признаками бугорчатки, и при том в такой степени развития, что жить ему оставалось, повидимому, три-четыре недели; в Сибири он прожил больше трех лет, и неизвестно, сколько проживет еще. В некоторых случаях развитие болезни, повидимому, совершенно останавливалось; больной,

можно сказать, выздоравливал. Я не знаю, была ли у Соколовского чахотка: может быть, его товарищи тревожились напрасно: если и не напрасно. — могло случиться, что сибирский климат замедлил или даже приостановил развитие его болезни.

Пан Ланц, четвертый и последний из упомянутых мною польских помещиков, пробыл несколько дней в общей камере, занимая на барах место неподалеку от меня. В моей памяти он ничем не выделяется из общности польских интеллигентов, виденных мною в Тобольске.

Пробывши в тюрьме неделю или, может быть, две или три, каждый из этих четырех представителей крупного землевладения отправился дальше: об их последующей судьбе мне ничего не известно.

10.

Левандовский (имени не знаю) беседовал со мною раза два или три по-русски он говорил сносно. Перед восстанием он жил в Лондоне, примыкая к тамошней колонии польских эмигрантов; бывал у Герцена и очень соответственно пересказывал его мнение, что полякам надо бы жить с русскими в дружбе, и не только полякам, а вообще славянам: если русские будут и дальше поступать так же, как поступали до сего времени, возбуждая своим гнетом в поляках ненависть, в прочих славянах — отвращение и страх. — то в недалеком будущем всем нам придется плохо: „Германизм нас скрутит“.

Слово „германизм“ Левандовский произнес на польский лад, т.-е. делая ударение на предпоследнем слоге). Я им в военно-судной комиссии так напрямик и сказал безо всякого лукавства. Они задали мне вопрос: „Что побудило вас стать в ряды повстанцев?“ — А как же, говорю, не восставать против вас? Вы почти сто лет хозяйничаете в нашей земле: что же вы принесли нам: Утиск, грабеж, пролитие крови. Да и не нам одним; в 1848 году что вы принесли венграм и австрийским славянам? Утиск, грабеж, пролитие крови“.

Я отчетливо помню точные слова, употребленные Левандовским, и хотел полезным написать эти точные слова с указанием сделанных им ударений: „Утиск, грабеж, пролитие крови“. Рассматриваемые грамматически, эти слова — не русские и не польские. Когда я пробую заменить их литературными русскими словами: „притеснение, грабеж, кровопролитие“ — эти слова кажутся мне не так выразительными, как бы следовало.

Несколько поляков стояли около нас и внимательно слушали наш разговор. Когда Левандовский произнес упомянутые три слова, а через несколько секунд произнес их вторично, — слушатели сочувственно закивали головами и исполгоса одобрили его: „так, пане пулковнику; верно; отлично сказано“. Они относились к Левандовскому с заметным уважением и всегда титуловали его „пане пулковнику“, хотя по внешности это был человек простой и как будто совсем не военный. Роста он был среднего и даже, пожалуй, несколько ниже среднего: лет, повидимому, около сорока; выражение лица добродушное, приветливое. В манере говорить выражалось такое же добродушие, как и

в чертах лица: звуки голоса вполне отчетливые, вразумительные и вместе с тем мягкие, негорюпчивые; время от времени говор прерывался посасыванием коротенького чубука небольшой трубки. Случалось, что он иногда среди дня чувствовал себя утомленным, влезал на нары, клал под голову маленький сверток; пососавши трубочку, засовывал ее в боковой карман своего куртка и быстро задремывал. Поглядывая на него, я размышлял: вот человек совсем простой, и ничего особенного в нем как будто нет, а между тем я чувствую, что он ни при каких обстоятельствах не смутится и не растеряется, а если пообещает сделать что-нибудь, — сделает непременно.

Во время восстания он был начальником отряда; при одной из стычек с русским войском взял в плен нескольких офицеров и солдат. Повстанцам негде было держать пленных, и потому они отпускали их на свободу или тотчас или через два-три дня, отобравши только у них оружие. Исключение составляли казаки: если они попадали в плен, поляки вешали их, видели в них не воров, но разбойников и грабителей. И еще называли мне Чоховского, как единственного начальника повстанческого отряда, который приказывал вешать всех пленных без разбора. Левандовский, придерживаясь общераспространенного правила, отпустил своих пленников. Через несколько дней его отряд был разбит, и сам он взят в плен. Обычный порядок был таков, что военно-судные комиссии приговаривали начальников повстанческих отрядов к смертной казни. Офицеры, отпущенные Левандовским из плена, начали хлопотать за него сильнейшим образом. Должно быть, это были люди со связями, и потому их хлопоты увенчались успехом: Левандовский был приговорен, кажется, к каторжным работам, даже, может быть, и того меньше — к ссылке на поселение; припомнить его приговор с точностью — не могу.

О дальнейшей его судьбе после отправки из Тобольска я ничего положительного не могу сказать. Говорили мне, что он устроился где-то в Иркутской губернии или в самом Иркутске, а именно: вошел в компанию с товарищем по ссылке, и они открыли мелочную лавочку. Если это верно, радуюсь за него и не вижу ничего удивительного в таком обороте дела: ведь и Гарибальди пришлось прожить некоторое время в Нью-Йорке, свискивая пропитание продажей салых свеч.

11.

Иногда я задавал польским интеллигентам вопрос: не было ли восстание вызвано надеждами на иностранное вмешательство? если б не было этих надежд, восстание, может быть, и не произошло бы? Поляки отвечали мне не все одинаковыми словами, но смысл ответов был одинаковый: надежду на иностранное вмешательство имели далеко не все повстанцы, и далеко не такую сильную: главная причина та, которую высказал пан полковник Левандовский: притеснение, грабеж, кровопролитие; мера нашего терпения переполнилась. А последним толчком было то, что нашу молодежь, настроенную патриотически, стали забирать в солдаты. Не обращая никакого внимания на списки о возрастном составе

населения, не соблюдая никаких очередей, хватают человека, которого считают настроенным бунтовщически, и посылают его за тысячу верст; там засадят его в казарму, муштровать будут, ругать, бить... Э, думаем,— была не была, айда в лес! дальше что Бог даст... Вот и пошло и разгорелось“.

В ту пору, когда я был в Тобольске, об иностранном вмешательстве не было уже и помина: восстание было усмирено. Многие из моих тюремных товарищей скучали без газеты и время от времени покупали номер «Голоса»; для чтения газеты собирались обыкновенно в кружок, один читал, другие слушали; случалось, что ко мне обращались с просьбой быть чтецом и отчасти комментатором встречающихся там и сям необычных выражений; я охотно соглашался читать и, где требовалось, старался разъяснить своим слушателям все, казавшееся им непонятным. В первом же номере «Голоса», который принесли ко мне с просьбой прочесть его вслух, находилась между прочим коротенькая заметка под заглавием «взыскание», излагавшая в трех-четырёх строчках приговор о ссылке меня в каторжную работу. Время от времени в «Голосе» появлялись корреспонденции из Варшавы, смысл которых был тот, что русские власти беспощадно изгоняют поляков из правительственных учреждений, каковы бы ни были эти поляки, хотя бы и благонамеренные. О земельных мероприятиях правительства в пользу крестьян царства Польского и Литвы ничего не сообщалось в тех номерах газеты, которые бывали у меня в руках; и разговоров с поляками на эту тему в Тобольске у меня не было; впоследствии — бывали.

Книг у поляков было немного. Я заметил у одного какое-то сочинение Нарушевича, у другого — лекции Мицкевича о славянских литературах, у третьего (по профессии это был учитель гимназии) — монографию, и довольно объёмистую, о яйцах польских птиц (*oologia ptaków polskich*). Эти три книги остались у меня в воспоминании, но видел я их гораздо больше, только уж забыл, давно ведь это было.

12.

Настроение польских интеллигентов было, насколько я мог судить, довольно бодрое: они не унывали; упомянутые мною граф Чапский и воевода Грабовский — исключения, и таких исключений было немного. Однако же интеллигенты сравнительно с ремесленниками держали себя серьезно; шутливости и веселости было у них заметно меньше. Между интеллигентами были охотники попеть и в одиночку, и хором, и песен было немало; но пели они реже, чем ремесленники.

До прибытия в Тобольск я никогда не слышал польской песни; в «Колоколе» Герцена при описании какой-то варшавской манифестации было упомянуто о почталлоне, который играл на своем рожке «*Ieszcze Polska nie zginieła*»; этими четырьмя словами ограничивалось все мое знакомство с польским песенным репертуаром. В Тобольске эта песня не была в ходу, пели ее очень редко и непременно с куплетами, присоединенными к ней

в прошедшем (1863-м) году, в которых говорилось: „Велёпольский изрек, что мы погибнем в лесу; но бог сохранил нас“.

Не особенно часто, но с большою выразительностью исполнялись две песни, повидимому, очень подходившие к настроению большинства интеллигентов. Одна из них представляла собой отрывок, кажется, из Мпцкевича, и в ней особенно подчеркивались слова: „А где еще живут поэты, там и народ жив“. В другой выдавался припев: „Как обширна наша земля! на ней одно только племя. Поднимем же, братья, наши бокалы: будущность — там наше великое призвание“.

Одна песня предназначалась как будто для крестьян, которых в тобольской тюрьме почти не было; песню же эту нередко пели и интеллигенты и ремесленники. В ней подается крестьянам иносказательный совет: „У вас худая трава, которая засоряет эту землю; пусть же парни бодро двинутся на поле“. Припевом то ли к этой песне, то ли к другой, которую я забыл, были слова: „Бартош (уменьшительно-ласкательная форма имени „Варфоломей“), Бартош, не надо нам терять надежду; бог благословит и спасет нашу родину“.

Была песня с задухновенными воспоминаниями о конституции третьего мая; другая обращалась к французам 1830 года: „В июльские дни вы дали всему миру великое наставление о достоинстве народов“.

Были песни с некоторым шляхетским привкусом. Одна: „Наш Стефан Баторий великий грошил московских бояр, не носил фрака и жилета, — носил кунтуш и чамару. Отбросим назад вылеты (откидные рукава), закрутим усы вверх, оправим половчее пояс и пойдем танцевать“. Другая: „Венгр и поляк — два брата и при сабле, и при стакане“. Третья, составленная, вероятно, в 1849 году, когда Турция гостеприимно приютила у себя венгров и поляков, которые успели спастись от преследования армий австрийской и русской: „Выпьем за здоровье султана и Садыба-паши (Чайковского)!“ Четвертая: „Кто с москалем дружит, того в две палки; цу-пу-лупу, лупу-цу-пу; того в две палки“.

Была, наоборот, песня с ярым демократическим оттенком; она называлась „Марш Мерославского“ и начиналась словами: „К оружию, народы! Восстанем разом и по-братски подадим руки друг другу!“

Мне кажется, что чаще всего распевались две песни, которые, повидимому, одинаково нравились и интеллигентам, и ремесленникам. Вот некоторые строфы первой песни, оставшиеся у меня в памяти; песня получила свое начало, очевидно, от событий 1848 года: „Что это за шум? Царь развеселился: Гергей, изменник, сдался ему, прислал свою саблю. Опять свистят палки и плети, течет свежая кровь. Пируй, царь, а с тобою вместе и твои сановники; подлость пусть сияет во главе вашего скопища, ведь во главе — царь. Постой, царь, постой; не кончилась борьба; Кланка еще держится в Коморне, слышна польская команда: Ту й (целься)!“ Из второй песни: „Когда-то валилась ключьями кожа с плеч, раздирали ее московские когти; а поляк все-таки отплясывал мазурку, — нет другого танца такого, как мазурка. Сам Бог за нас стоит ведь земля-то наша: и так, братья варшавяне.“

за саблю и — вперед! По старинному обычаю у нас два правила: друзьям отдаем сердца, врагам — наколачиваем спину”.

Довольно редко слышались гимны, представлявшие собою нечто среднее между песнью и молитвою. Один из них начинался словами: „Боже, отец наш! Мы твои дети, молим тебя о лучшей участи для нас; день за днем скорбно уходит, — мы все в неволе“. Другой: „Боже! Долгие годы ты украшал Польшу славой. Пред твоим престолом возносим молитву: родину и свободу благоволит возвратить нам, господи!“ Третий гимн ведет начало от 1846 года, когда австрийское правительство подстроило в Галиции жестокую жакерию, и множество помещиков с женами и детьми были перерезаны крестьянами *ad maiorem Metternichi gloriam*. Вот из него несколько слов, оставшихся у меня в памяти: „Дым от пожаров, пар от крови зарезанных братьев, — с этим-то дымом и паром несется к тебе, господи, этот вопль! Жалоба эта страшная, стон этот последний, от таких молитв седеют волосы. Сын убил отца, брат убил брата; множество кайнов между нами; но покарай руку, а не слепой меч“. Один из поляков говорил мне, что во время волнений, предшествовавших восстанию, этот гимн исполнялся неоднократно в варшавских костелах многотысячною толпою, и во время пения толпа, так сказать, электризовалась.

Была еще одна песня, которую в Тобольске я слышал один или, может быть, два раза, не больше; впоследствии, в Перчинских заводах, я слышал ее много раз. Сочинена она в тысяча восемьсот тридцатых или сороковых годах одним из польских поэтов, которого имя я твердо не помню, — кажется, Юлий Словацкий. Во время восстания народное правительство (Жюнд Народовы) запретило петь эту песню в повстанческих отрядах на том основании, что она содействует возбуждению и обострению вражды между общественными классами, — а это было несвоевременно. В Тобольске воспоминание о народном правительстве было у ссылаемых еще свежо, нарушение его приказаний представлялось чем-то вроде издевательства над родною матерью: потому здесь этой песни почти не пели. Вот некоторые отрывки, сохранившиеся у меня в памяти: „Когда народ двинулся с оружием в поход, господа препирались на сеймах; когда народный голос прогремел: ущем или победим! — господа рассуждали об оброках. При Сточке простолюдины отбивали у неприятеля пушки руками черными от пуга; господа в столице покуривали сигары, толковали о братьях побережьев Буга. Но час восстания пробьет, и народ приготовит для вас пиршество; из ада позовет музыку, чтобы играла, — а дворянство пускай себе потанцует“. (После каждой строфы припев: „Ой, почет вам, господа магнаты, за наше порабощение и оковы! Ой, почет вам, князья, графы, прелаты, за ваш край, обрызганный кровью!“ Как содержание этой песни, так и ее мотив, могучий и несколько мрачный, производили на меня сильное впечатление, сильнее французской марсельезы, вероятно потому, что в польской песне и мысли, и слова, и напев казались мне более родственными; она как-то сразу, властно находила в моем настроении сочувственные отзвуки.

В апреле или в мае 1864 года был привезен из Петербурга в тобольскую тюрьму Владимир (отчество не помню) Трувеллер¹⁾, служивший до ареста во флоте в чине мичмана. Об обстоятельствах ареста и ссылки он разговаривал с очевидною неохотою. Кажется, при возвращении его из заграничного плавания у властей явилось подозрение, что он везет какие-то бумаги от Герцена; и при обыске что-то такое, действительно, нашлось. В тобольской тюрьме он пробыл недолго, кажется, неделю, оттуда его отправили, помнится, в Курган, уездный город Тобольской губернии.

Днем Трувеллер почти не сидел в камере, все рассказывал по двору, при этом иногда разговаривал со мною, а чаще читал какую-нибудь из своих книг или на ходу, или стоя на месте. Он сказал мне, что в камере не может читать: „У поляков почти не прекращаются песни; одна группа замолчит, другая начинает петь, читать не могу и не хочется слушать их пение; поляки вообще — не музыкальный народ“. На чем основывалось его мнение о немзыкальности польского народа: на личном только впечатлении или на теоретических соображениях о музыкальном искусстве, — не знаю. Сам я совершенно лишен музыкального образования; из мотивов польских песен не было ни одного, который производил бы на меня впечатление неприятное: все они нравились мне, одни больше, другие меньше.

Случалось, что и у меня песни поляков вызвали грустное настроение, но в другом роде. Человек так создан, что обо всем судит по сравнению. Видя перед собою польских простолюдинов и интеллигентов, я почти невольно припоминал наших русских портных, сапожников, столяров, приказчиков, чиновников. У них у всех есть песни; некоторые из этих песен грубые, пьяные, кабацкие; об этих неприятно и вспоминать. Однако, много песен хороших, с хорошим человеческим чувством и в словах, и в напеве; но это чувство — чувство отдельной личности; гражданское общежитие, протест против прагов общества, одушевление во имя идеалов общественных, — подобные темы не затрагивались в тех русских песнях, которые мне приходили на память. Впрочем, одно исключение я все же припомнил. Осенью 1861 года в Петербургском университете происходили волнения; около полтора ста студентов были арестованы и помещены в Кронштадте, в тюрьме ли, или в каком-нибудь казенном здании другого именованья, — не знаю; содержались они в общих камерах, развлекались разными способами и, между прочим, распевали арии из „Жизни за царя“, строго сохраняя мотивы арий,

¹⁾ Трувеллер, Владимир, юнкер флотского экипажа, служил на фрегате „Олег“ и был арестован в 1862 г. по возвращении из заграничного плавания по подозрению в распространении среди матросов нелегальной литературы; на фрегате было найдено 1000 экз. огаревских воззваний „Что нужно народу?“ и „Что делать войску?“ — Морской суд приговорил Трувеллера к трем годам каторжных работ, замененных ссылкой на поселение. В 1865 г. он был возвращен из Сибири, жил под надзором и своим именем в 1877 г. вышел из России на постоянное жительство в Швейцарию. — Ред.

но слова арий заменили другими, в духе более или менее республиканском. В Кронштадте они пробыли, помнится, недель шесть. Впоследствии, по освобождении их оттуда, мне пришлось не раз видаться с некоторыми из них, и не раз я слышал пение арий с пересочиненными словами. Положим, — раздумывал я, — эти арии распевает покамест только студенты, и то далеко не все; ну, поменьше проберутся эти и подобные им песенки и к сапожникам, и к мужикам...

14.

В тобольской тюрьме я познакомился и разговаривал много раз с Иосифом Михайловичем Рыбickим. Это был совсем еще молодой человек, на вид лет восемнадцати или разве чутьточку постарше. Он родился и вырос в Варшаве, в семье довольно состоятельной; окончил курс среднего учебного заведения, пробыл несколько месяцев студентом варшавской главной школы; со мною разговаривал по-русски и владел русским языком довольно порядочно. Он был воспитан, очевидно, в страхе божием: молился утром и вечером; молитва была не так продолжительна, как у жмудинов, но и не так суммарна, как у ремесленников (не говоря уже об интеллигентах). Относился с особенным уважением к Стецкому, ксендзу из Варшавы, который, впрочем, пользовался почетом и между всеми вообще поляками.

В 1861 году, при начале волнений, предшествовавших восстанию, положение дел в царстве Польском было для русских властей настолько неутешительно, что власти сочли полезным пригласить некоторых уважаемых представителей польского общества Варшавы к учреждению особого комитета, который получил название „делегации“ и которому было предоставлено принимать меры к поддержанию порядка в Варшаве. „Делегация“ просуществовала несколько недель и действовала вполне успешно, опираясь почти исключительно на чисто нравственную силу — на сочувствие польского общества. А когда русские власти почувствовали, что в их распоряжении находится уже достаточное количество войска, и всякое проявление непокорности можно подавить уже силою оружия, — тогда „делегация“ была упразднена. Приблизительно в таком роде рассказывали мне об этом эпизоде Рыбickий и некоторые другие варшавяне. Ксендз Стецкий был в числе делегатов. Мне говорили, что русские власти не имели никаких доказательств о прикосновенности его к восстанию, но хорошо помнили, что он — один из делегатов, и порешили, что этого человека, имеющего влияние на своих сограждан, безопаснее будет упрятать подальше, и упрятали в Сибирь.

Красивые голубые глаза ксендза Стецкого смотрели умно, проникательно, с некоторою важностью, но вместе с тем благосклонно и, так сказать, снисходительно. На вид ему было лет около тридцати пяти. При беседах со мною сам он говорил по-польски, но мои русские реплики понимал, повидимому, вполне хорошо. В разговоре со мною Стецкий распространился на ту тему, что полякам и русским следовало бы жить помирнее; эту мысль

он обосновывал не соображениями о будущем, как Левандовский, — нет, он оставался в пределах настоящего. „У нас наклонности не одинаковы, и один народ пополнил бы недочеты другого. Мы, поляки, народ земледельческий, а у вас, у русских, большие способности к торговле; одно к другому, — вышло бы хорошо“. Я возражал, что огромное большинство русского народа занимается земледелием; что он приписывает русскому народу выдающиеся способности к торговле на основании, вероятно, наблюдений над десятью-двадцатью купцами, торгующими в Варшаве; они, может быть, замечательные коммерсанты, но нельзя же мнение о целом народе основывать на наблюдении, относящемся к такой маленькой горсточке людей. Впрочем, закончил я, дружелюбных отношений я тоже желаю, как и вы, и думаю, что дружелюбные отношения установятся, но только очень нескоро; пока солнце взойдет, роса глаза выест.

15.

Вышедши однажды на тюремный двор, я увидел новую фигуру необычного типа: красивый брюнет лет, повидимому, тридцати, одетый так изящно, что его туалет представлялся каким-то сверкающим, режущим пятном на сероватом фоне наших тюремных халатов, свиток, чамаров, курток и проч.; около него несколько поляков, разговаривают с ним почтительно, как подчиненные с начальником. Спрашиваю Рыбицкого:

— Кто это?

— Жихлинский; вчера привезли из Варшавы, он помещился на дворняжском коридоре. Служил в армии Американских Соединенных Штатов, у северян. Не знаю, долго ли служил, а только при оставлении службы имел чин капитана, и американское правительство назначило ему пенсию, и пенсию-то, говорит, не маленькую. Приехавши на родину, он был назначен предводительствовать отрядом, который именовался „Дети Варшавы“.

— Предводитель отряда? как же это военно-судная комиссия выпустила его живого?

— То-то и есть, что многие недоумевают. Говорят разное. Кажется, дело тут нечистое. Есть тут у нас люди уважаемые; станут доискиваться, как и что.

Поляки, разговаривавшие с Жихлинским почтительно, как подчиненные, были действительно его подчиненными в недавнее время: служили в отряде, которым он предводительствовал.

Дня через три Рыбицкий сказал мне: „Сегодня ксендз Стецкий надел орнат (облачение), пошел к Жихлинскому, с ним еще человека два-три, говорит Жихлинскому: „А где же те наши соотечественники, которых вы предали в руки русских палачей? где вот такой-то и вот такой-то?“ Жихлинский отвечает: „Я никого не предавал; эти обвинения — ложь и клевета; дело происходило так и так; в подтверждение моих слов указываю, как на свидетелей, на такого-то и на такого-то. Из указанных свидетелей некоторые находятся

здесь, — подтвердили, но небольшая часть — в Варшаве; когда приедут, дело возобновится“.

В скором времени и Жихлинский и Стецкий были увезены дальше в Сибирь. Возобновлялось ли разбирательство дела, не знаю. Лет через пять поляки говорили мне, что Жихлинский находится еще в ссылке, живет где-то в Чите или около Читы. Бывшую с ним передрагу я объяснял себе самому так: человек молодой, очень красивый, изящный, вероятно, имел большой успех у женщин, некоторые приятельницы могли иметь большие связи; ну, и выхлопотали для него замену смертной казни ссылкой. Если бы обвинения были справедливы, — мне кажется, не ускользнул бы Жихлинский от своих соотечественников; нашлись бы между ними мстители...

Через много лет я встретил Рыбницкого в Иркутске; видел его за несколько дней до его отъезда на родину в Варшаву. Если доведу свои воспоминания до тех годов, то расскажу и об этой встрече с ним.

16.

Раз как-то мои соседи по нарам сказали мне: — Вот вы все читаете свои книжки; подарите нашему обществу один вечер, познакомьте нас легонько с содержанием этих книг. Вам это все равно, ведь вы же занимаетесь ими и без нашей просьбы; а для нас будет вроде развлечения.

Я ответил, что готов изложить им содержание нескольких глав из сочинения по политической экономии, и моя лекция состоялась вечером того же дня или следующего.

Когда я окончил лекцию, ко мне подошли несколько человек:

— Занимательная это наука, политическая-то экономия. И вы правильно сказали, что для трудящегося человека артист так же полезен, как доктор. Сидишь иной раз над чертежами, планами, вычислениями, таблицами, — одурь возьмет, голова вроде какого-то котла делается; пойдешь в театр или в концерт, — через час или через два голова свежа, и опять можно работать, как будто человек в жаркую погоду искупался.

Эта лекция была поводом к моему собеседованию с доктором Барановским, по имени, если не ошибаюсь, Антонием. На вид ему лет тридцать пять; по-русски говорил хорошо. Он слегка одобрил мою лекцию, произнес несколько снисходительных слов по адресу политической экономии, как науки, и затем продолжал:

— Толпа воображает, что материальное благосостояние — венец жизни. самое, так сказать, ядро ее. Пустяки. Вы, я, все вот эти архитекторы, чертежники, учителя, — все мы на свободе имели более или менее сносную материальную обстановку, не испытывали голода и холода, не были пазурены чрезмерною работою; но разве же это означало, что мы уже „совершили в пределе земном все земное?“ Некоторые поняли сюда по недоразумению; но вы, например, ведь хорошо знали, что ставите свое благосостояние на карту; и гоже знал это; почти все знали, а многие, очень многие знали, что они ста-

вят на карту не только свое благосостояние, но и самую жизнь. Значит, почти все мы самым образом своих действий показали, что не разделяем с толпою ее мнений о благосостоянии; ее идол — для нас не бог, у нас бог другой, и, очевидно, не у всех один и тот же.

Доктор сделал большую паузу, потом продолжал:

— Я видел, что вы иногда читаете физиологию; в каждом учебнике физиологии есть глава о размножении. Яйцевая клеточка, семенной живчик.... Это какая-то изумительно маленькая пылинка, которую мы можем видеть лишь при помощи сильного микроскопа. Проходит некоторое время, — мельчайшая пылинка, которая была невидима для невооруженного глаза, превратилась в щенка или в котенка, или пилленка, или в головастика; вообще — пылинка превратилась в организм, состоящий из бесчисленных миллиардов мельчайших пылинков, которые отчасти похожи на первоначальную пылинку, отчасти не похожи. Какими арканами первоначальная пылинка-клеточка притягивала к себе все новые и новые частицы вещества? Какими приемами она преобразовывала эти частицы вещества по своему образу и подобию, т.-е. в пылинки-клеточки? Почему клеточки, вновь образовавшиеся, располагались слоями именно вот в таком порядке, а не в другом? Почему слои клеточек дифференцировались именно в таком направлении, а не в другом? Я много думал об этом.

Он опять сделал большую паузу и затем стал излагать свое, так сказать, натур-философское понимание наследственности; механизм, посредством которого вещественно-духовный капитал данного поколения передается следующим поколениям, — этот механизм оказывался в схематическом изображении доктора очень сложным, запутанным, так сказать, кудреватым. В последние десять или пятнадцать лет мне случалось читать естественно-научные фельетоны о наследственности, изредка появляющиеся в газетах, и естественно-научные статьи о том же предмете, появляющиеся еще реже в журналах (не специальных); эти статьи и фельетоны очень напоминали мне схему доктора Барановского. Моя реплика доктору была приблизительно такова:

— Очень недавно я был в числе студентов Медико-хирургической академии. Один из профессоров академии, химик Зинин, иногда делал маленькие экскурсии в область других наук или затрагивал общие вопросы о человеческом познании. Однажды он сделал уклонение к той именно теме, которая занимает вас, и выразился так: „Две яйцевые клеточки, повидимому, совершенно одинаковы; из одной развивается идиот, из другой — гений, хотя обстановка развития, повидимому, в обоих случаях почти одинакова: отчего же произошла такая разница? При теперешнем состоянии науки лучше всего ответить: не знаем. Не знаем, будем стараться узнать, придет время, — узнаем“. Вот, доктор, эти слова Зинина я считаю вполне подходящими для заключения нашего разговора. Если же вы настаиваете, чтобы я сказал что-нибудь непременно свое собственное, я, пожалуй, обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что в вашей схеме много таких предположений, которые не подтверждены ни наблюдениями, ни опытами: необходимо подтвердить,

если вы дорожите своей теорией. Если же некоторые из этих предположений недоступны такой проверке через опыт и через наблюдение, — из подобных предположений постарайтесь сделать такие логические выводы, которые поддавались бы проверке через наблюдения и через опыт.

Доктор остался, повидимому, не совсем доволен моим ответом.

17.

В тобольской тюрьме промелькнули перед моими глазами три польские дамы.

Первая — Рольке (Атолия Станиславовна), следовавшая в Сибирь добровольно за своим мужем (Львом Романовичем), счетным чиновником какого-то присутственного места в Варшаве. Они помещались в дворянском коридоре. Через много лет я увидел их в Иркутске.

Госпожа Жербовская, варшавская домовладелица, и госпожа Гудзиньская, содержательница кофейни в Варшаве, помещались в женском отделении тюрьмы, в котором я не был ни разу.

Мне говорили, что русские власти считали кофейню Гудзиньской местом, в котором происходили собрания членов народного правительства или, по меньшей мере, важных лиц из организации; чтобы вынудить у Гудзиньской имена посетителей-заговорщиков, ее в военно-судной комиссии секли розгами несколько раз и не только обычным порядком, но также по животу, не взирая на ее тогдашнее состояние, — она была беременна.

Бывая во дворе, я видел Гудзиньскую несколько раз довольно близко; по наружности она показалась мне здоровой, цветущей. Означало ли это, что внешность была в этом случае обманчива (как это бывает и во многих случаях)? Или организм ее замечательно крепок, вынослив, и потому она быстро оправилась от истязаний? Или, наконец, рассказ об истязаниях преувеличен? С нею лично я ни разу не разговаривал; упоминание об истязаниях слышал от нескольких поляков, в правдивости которых не сомневаюсь и которые все говорили об этом в одинаковых выражениях.

Видел я в тобольской тюрьме нескольких иностранных подданных. Один был венгр, фамилии не помню; он говорил по-польски свободно. Другой — уроженец Вены, не говоривший и не понимавший по-польски ни слова, хотя фамилию носил настоящую славянскую: Вишневецкий. Я полюбознательствовал, спросил его по-немецки:

— Да как же вы попали в польское восстание, когда ни слова по-польски не знаете?

— Кровное родство подействовало: кровь потянула.

Один из поляков, которому я перевел этот вопрос и ответ, заметил скептически:

— Рассказывай там.... Кровь.... Должно быть, авантюрист. Наслышался от какого-нибудь пустозвона, будто в наших отрядах жалование дают громадное; прибавил от себя фантазию о возможной военной добыче, — вот и затесался в наш отряд. А то — кровь.... Так я ему и поверил.

Был француз, которого фамилию я забыл и который по-польски тоже не понимал ни слова. Он говорил мне, что по каким-то причинам его не должны бы посылать сюда; дело, кажется, в том, что французское правительство хлопотало о нем, и хлопоты были уважены, но произошло какое-то недоразумение, и его отправили в Сибирь. „Меня как будто толкнули в длинный, предлинный тоннель и надавливают в спину поршнем; станция за станцией, я от своей Франции все дальше; и не знаю, где наконец меня из этого тоннеля вытолкнут. Конвойные солдаты, офицеры, чиновники, — никто ничего и слушать не хочет от меня. Я ничего не понимаю, и они ничего не понимают и понимать не хотят. Здесь был какой-то чиновник; как будто понял меня: напишу, говорит, о вашем деле какому-то там начальнику; но только ответ не скоро будет, вы тогда уж далеко отсюда будете; я ответ перешлю следом за вами; но только не скоро“. На лице француза был замечен некоторый, можно сказать, ужас.

18.

Пробыл я в тобольской тюрьме пять с половиною месяцев; перед моими глазами прошли многие сотни поляков; если бы я закатал обрисовать их взаимные отношения немногими словами, я сказал бы: это были хорошие отношения, — товарищеские. За все это время ни одной драки, ни одного случая воровства, ни одного случая грубой ругани, т.-е. с употреблением площадных слов.

Было одно отступление от доброжелательного, благодушного строя тобольской тюремной жизни поляков. В первой общей камере был помещен на несколько дней поляк-шпион, шпион самого дешевого сорта, из числа уличных оборванцев; в чем он провинился перед русскими властями, за что его присудили в Сибирь, — не знаю. Он почти не выходил из-под нар, а когда показывался оттуда, тотчас раздавались с разных сторон сердитые выкрики: шпег, лайдак, галган, пся крив и т. п. Бывшие поближе присоединяли к этим клеймящим словам пинки и толчки, более или менее чувствительные. Он не раскрывал рта для возражений, не пробовал обороняться от пинков, и, конечно, если бы попробовал, — подлил бы масла на огонь. Он старался покончить как можно скорее то дело, ради которого вылез из-под нар: например, подскопавши к ушату с водой, проворно зачерпывал воду ковшом, проворно подносил ковш к губам, быстро делал несколько глотков и стрелою летел обратно в свое логовище, под нары.

19.

В течение этих пяти с половиною месяцев случаев обратной отправки из Тобольска в Варшаву было немного; обратно в Вильно — не помню ни одного. Разумеется, тобольские власти отправляли человека в Варшаву вследствие требования тамошних властей; а тамошние власти требовали человека вследствие открывшихся новых улик против него, и обыкновенно улики тяжелых, — из-за пустяков не стали бы себя беспокоить новым делопроизвод-

ством. Понятно, что отправляемый из Тобольска имел вид печальный, и более близкие к нему из товарищей были тоже сумрачны. Через несколько недель поляки, приехавшие из Варшавы, на обращенный к ним вопрос об отправленном обратно человеке обыкновенно отвечали: повешен. Однако были и такие случаи, что человек оставался жив, и варшавские власти отправляли его в Тобольск вторично.

20.

В июне 1864 г. в тобольскую тюрьму был привезен из Петербурга Николай Гаврилович Чернышевский и пробыл тут с неделю. Обо всем, относящемся к нему, я предполагаю рассказать в одной из будущих глав моих воспоминаний ¹⁾.

В июле 1864 г. получился от петербургских властей ответ о лицах, приговоренных к каторжной работе в крепостях. Смысл ответа был тот, что не следует сибирским властям обращать внимание, к какому именно роду каторжных работ приговорен ссыльный: к работе ли в заводах, или в крепостях, или в рудниках; в каких пунктах казна имеет свободные помещения для заключения ссыльных, туда и отправлять их. 22-е июля было последним днем моего пребывания в тобольской тюрьме.

С. Г. Стахович.

Петербург.
Декабрь 1908 г.

¹⁾ Н. Г. Чернышевскому и пребыванию его в Сибири Стахович посвятил обширную шестую главу своих воспоминаний. — *Ред.*

Былые знакомства и встречи.

(Странички из литературных воспоминаний).

Путешественник, беллетрист и журналист Александр Степанович Афанасьев, более известный под псевдонимом Чужбинского, хороший знакомый моего отца, вернувшись из своей поездки „по Днепру и по Днестру“, писал ему: „Передайте вашему сыну, моему юному другу, что когда он придет в Петербург и буде меня там не застанет, пусть разыщет одного хорошего человека и потолкнет с ним о своих грядущих работах“. — „Хороший человек“ это — Алексей Егорович Разин, писатель для детей, которого, кстати сказать, „мой юный друг“, чуть ли не обожает за его повести и статьи по естествоведению... — „А кроме того, пусть посетит Благодетель, редактора „Русского Слова“. Он покровительствует молодежи, и знакомство с ним будет очень полезно для юноши, желающего трудиться и выступать в литературе. Благодетель прост, никаких рекомендательных писем к нему не надо. Он даже и не долюбивает их. К нему надо прийти и самому отрекомендоваться, объяснить ему в чем дело, не пускаясь в длинные разговоры. Теперь он работает за пятерых, так как ему очень необходимо поставить „Русское Слово“ на надлежащую высоту, — чего этот энергичный и упорный человек, клянусь, достигнет. И поэтому утомлять его многоглаголением положительно не следует. Что ему нужно знать от обращающегося к нему, он узнает сам, ловко наведет на это. И тут же решит — исполнить его просьбу или нет. Ему всего лет 37, а уж людей он научился узнавать, опыта у него достаточно, так же, как и проницательности. Привет юноше и пожелание доехать до Питера без приключений. Пусть капризная госпожа удача дарит его улыбкой“.

Меня очень тронула эта заботливость моего крестного литературного отца, но знакомиться с Благодетелем мне не было нужно, так как я, хотя и заочно, уже познакомился с ним по письмам его ко мне, когда я обращался к нему с просьбой о некоторых книгах по естествознанию. Благодетель выслал мне просимые книги и еще добавил кое-что по своему выбору, одобрил мое стремление поискать счастья в Петербурге, при чем прибавил что „счастье — в нас самих, — состоит в разумном труде и в исполнении принятых на себя обязанностей“. Письмо было, конечно, деловитое, слегка наставительное, но не сухое. Я храню его, как память о человеке, которого я не мог не ценить. После того, как я узнал его покороче, он стал производить на меня обаятельное впечатление необычайной скромностью своих

убеждений, идейностью, выносливостью, неизменной готовностью не останавливаться ради идеи, проводимой в жизнь, на полдороге. „Не признаю мертворожденной идеи, не приносящей плода, безрезультатной, предпочитаю совсем умереть, чем замирать как сурок“, — постоянно твердил, при всяком удобном случае, он нам, дружно работавшим с ним. Его нельзя было не ценить, как образцового редактора, идеального журналиста, фанатика своего дела, честного политического деятеля, честного человека, безукоризненного семьянина, наконец, моего учителя в исповедании веры в литературной области. Не мог я его забыть и потому еще, что он сделал мне много добра, выказал массу доверия. В заключение письма своего он просил меня за книги денег не высылать. „Разочтемся после, а вам деньги на поездку нужнее (каждая копейка), чем мне, сидящему на месте и привыкшему ко всяким неожиданностям жизни...“ — писал он мне.

По приезде в Петербург, я сразу же завертелся, посещая знакомых отца моего, его товарищей по морскому кадетскому корпусу, между прочим, Степана Степановича Лесовского, впоследствии морского министра, — которым я передавал письма „старого морского волка“, как величали его эти товарищи. Из них мне особенно памятен Лесовский, обласкавший меня, и, в свое время, спасший меня от не столь отдаленных мест, когда, по ренению пресловутого III Отделения, я должен был покинуть столицу. Благодетелю я пошел разыскивать недели через три после моих визитов к морякам и после того, как я уже поместил кое-какие пустяки в разных еженедельниках до „Искры“ включительно. На-дому я его не застал и меня послали в типографию на Колокольную улицу. В передней конторы я увидел высокого роста господина, прямого как трость, с бритыми красно-синими щеками, устремленными из-под густых, темных бровей на собеседника. Одет он был очень просто, его темный пиджак был немного потерт, но сидел как вылитый; голову он держал высоко, манерами напоминал истого бурсака, и, когда говорил, беспрестанно теребил усы. Все в нем было полно достоинства ¹⁾.

— Меня, — сказал я этому господину, — послали сюда из квартиры Григория Евлампиевича Благодетеля... Сказали, что он здесь... Скажите, как мне найти его? Куда идти?

— Я Благодетель. Не будете стоять на крыльце. Идите и дорогой вы мне скажете, на что я вам нужен, — сказал он мне это приятным баритоном с басовыми нотками.

С первого раза он не внушил мне симпатии, кажущейся сухостью производил несколько отталкивающее впечатление. Я немного оробел и почувствовал, что краснею. Быстро вынул я приготовленное письмо, которое Благодетель адресовал мне в деревню, и дал ему, сказав:

¹⁾ Даваемая ниже характеристика Г. Е. Благодетеля сильно отличается от имеющихся в литературе: ср., напр., С. А. Венгеров — в „Крит.-биографическ. словаре русск. писат. и учен.“, т. III, стр. 345 — 362, — Н. В. Шелгунов. Воспоминания Пет. 1923, стр. 276 — 281. — См. также последнюю работу о Благодетеле — В. Козмина, „Соврем.“ 1922, № 1 (Г. Е. Благодетель). — *Ред.*

— Мне Чужбинский писал, чтобы я не был болтлив с вами, как с человеком занятым и усталым... Я уже кое-что напечатал. Два рассказа стишки и статейку. Хочу дальше идти, работать, дослушивать лекции по зоологии у Брандта, заниматься историей литературы, библиографией. Ищу работы, хочу, чтобы вы дали мне хороший совет. Я дорожу вашим мнением. — Все это я выпалил залпом и ждал.

Благосветлов пробежал свое письмо и, слегка улыбаясь, сказал: — Когда я писал это, я был адски занят, надо было написать обстоятельнее, толковее... А здесь у меня общие места. Поговорим дома. Приглашаю вас на скромный, хотя и сытный обед... Что у вас делается на Юге? Как готовятся к освобождению крестьян? Есть ли порядочные люди? Хорошо ли знакомы с „Русским Словом“? Замечают ли в нем перемену?“

Он задавал мне вопросы, а сам при моих ответах не спускал с меня глаз, что называется, пронизывал меня насквозь.

— Если вам предстоит когда-нибудь быть журналистом, — сказал он с большим воодушевлением, — отдавайте силы, здоровье и всякие удобства, все на служение идее, на борьбу с тлетворным равнодушием общества, но не унижайтесь до угождения ему. Упрямо ведите его за собою, и главное верить успеху вашей миссии... Изучайте технику — азбуку журнализма... Я умею не только излагать свои мысли, но умею набирать и держать корректуру... Всю науку печатного дела прошел еще до поездки за границу и там тоже учился... Сам научился корректуре, и вы будете работать у меня. Довольны вы? — сказал он мне уже с улыбкой.

У Благосветлова бывал я часто, перезнакомился почти со всеми его сотрудниками, с Писаревым, Мордовцевым, Марко-Вовчком, Лохвицким Я. П. и Л. А. Полонскими, Водовозовым, Ф. Г. Толлем (беллетристом, составителем „Настольного словаря“), Шашковым, Варфоломеем Зайцевым, Бажиним. Чем больше я узнавал Благосветлова, тем сильнее влекло меня к нему, к этому подвижнику протеста и борьбы, поразительно работоспособному труженику, ночи просиживавшему за своей кропотливой работой, обожавшему свое дело. Три года скромно помогал я Благосветлову в его работе и донныне храню сладкие воспоминания о нем, несмотря на то, что он был требователен и суров в те дни, когда злейшая цензура держала его в тисках, в страшном напряжении, был иногда вспыльчив и смотрел сверху вниз на большинство сталкивавшихся с ним людей. Стоило однако побеседовать с ним, чтобы дурное впечатление быстро изглаживалось. Он был рабски предан своему журналу, засыпал с думою о нем, просыпался с теми же думами. — „Я вечно изображаю наседку, которая упорно сидит на гнезде и твердо знает, что птенцы ее вылупятся“, — говорил он мне с своей кривою усмешкой. В отношении трудолюбия, исполнения долга, он желал, чтобы все походило на него, и думал, что все должны быть так же, как он, неутомимы и проникнуты своим делом.

Когда „Русское Слово“ было приостановлено в 1862 году, я расстался с Благосветловым и сблизился с ним, когда, после моей высылки, вновь вернулся в Петербург, застав Григория Евлампиевича тем же черно-

рабочим, в основанном им „Деле“, каким был он в „Русском Слове“. После небольшого перерыва, я стал усиленно заниматься библиографией и совсем окунулся в поэзию. А. К. Шеллер охотно печатал мои стихи в „Деле“, где заведывал беллетристическим и другими отделами, но Благосветлов зачастую приделывал свои концы к стихотворениям, если они не удовлетворяли его в отношении мысли, лучше сказать тенденции. Обижаться я не мог, потому что техника стиха у Благосветлова была безукоризненна; он сам прекрасно владел стихом и поместил еще в „Русском Слове“ (1864 г.) два стихотворных перевода: „На развалинах Помпеи“ Леопарди и „Последний поделуй“ из Томаса Мура, под псевдонимом Г. С-тлов и Н. Луни⁴⁾. Я помню, как он без церемонии исправил два стихотворения П. И. Вейнберга „Дожливыи день“ из Лонгфелло и „Кумир“ из Барбье, и, надо сознаться, к лучшему. Благосветлов давно знал несколько языков, английский и французский в особенности, был большим знатоком иностранной литературы, „изящной словесности“. Он великолепно понимал дух произведений Теннисона, Мура, Лонгфелло, Барбье, Гюго — его любимых поэтов, и читал многие произведения их навзгусть, декламируя на манер известного актера Мунне-Сюлли. Вспоминается мне, как после усиленной черной работы мы — Благосветлов, Шелгунов, Бажин и я — сидели в редакции „Дела“ и вели разговор о сборнике Гюго „Les Orientales“. Шелгунов похвалил переводы, сделанные из этой книги Шеллером.

— „Есть итальянская поговорка: „traduttore — traditore“, — „переводчик — изменник“, выразился Благосветлов, — и Александр Константинович переводчик в таком духе... У него в переводах вранье...“ Незадолго перед тем Н. И. Шульгин и А. К. Шеллер сделались соиздателями Д. А. Карч-Карчевского по „Живописному Обзору“ и ушли из „Дела“, где первый состоял ответственным редактором, и Благосветлов усиленно злился в особенности на Шеллера. К Шелгунову присоединился и я, оспаривая мнение Благосветлова. Он послал к себе наверх за книгой Гюго и затем нашел в „Деле“ перевод Шеллера „Горе паша“. Благосветлов читал куплеты подлинника, я — перевод. Он оказался блестящим. Сравнили еще несколько стихотворений, — и Шеллер был оправдан. Благосветлов заволновался, извинился перед нами, что оставит нас на время, ушел к себе наверх и вернулся, держа в руках листок почтовой бумаги. — „На ваше одобрение“, — произнес он немного дрожащим голосом и прочел: „Александр Константинович! Вам известна моя честность и безграничная любовь к правде, чем я в праве гордиться. И я, в силу этого, вынужден, каковыми бы ни были наши отношения, написать вам эти покаланные строки. Час тому назад я бессовестно бранил вас, как переводчика стихотворений, в присутствии близких мне лиц. — Быкова, Бажина и Шелгунова. Сильно заспорив, мы решились сравнить ваши переводы из Гюго с оригиналом. Они превосходили мои ожидания, они превосходны. Проклятая

⁴⁾ Кроме инициалов и приведенных псевдонимов Г. Е. Благосветлов подписывал свои статьи: „Гринок“, „Защитный юморист“, „Д. Л.“, „Н. Л.“, „Н. Л.-инт.“ — См. „Дело“ 1860, № 11 — некролог и перечень его статей, составленный П. В. Быковым. — 190.

работа по горло в течение многих лет (вы это хорошо знаете) мешала мне полюбопытствовать — насколько верно вы переводите, и я позволил себе судить о вас, как о переводчице „à priori“. Глубоко огорчен и приношу повинную“. Письмо было немедленно послано с посыльным в редакцию „Живописного Обозрения“ на Пушкинскую улицу для вручения Шеллеру, который, при моем свидании с ним, позволил мне снять копию с письма Благосветлова для моего литературного архива. Случай этот, однако, не помешал Благосветлову впоследствии при случае все-таки побранивать Шеллера, говорить, что в круг воспитания его входило сидеть по целым вечерам в „Буффе“, что он бескусен и т. д.

В эту пору моего знакомства и общения с Благосветловым, я видел, как он был порою злоречив, как смотрел сверху вниз на людей, не исключая и дорогих для него лиц, ему очень нужных. Припоминая, например, годы своего пребывания за границей, жизнь у Герцена, когда он в исходе пятидесятих годов учил его детей, Благосветлов не мог утерпеть, чтобы не распространиться о „барских“ наклонностях автора „Кто виноват“, о его преугодии и т. д. „Хороший работник, честный писатель, Николай Федотыч, — говорил Благосветлов о Бажине, помещавшем свои повести и рассказы в „Русском Слове“ и „Деле“ в течение лет пятнадцати, сперва под псевдонимом Холодова, — только бы ему талантика побольше и рассудка... А то большая часть его героев лежат и в потолок плюют от особенной идейности“. Очень он одобрял и другого своего верного сотрудника Серафима Серафимовича Шашкова (псевд.: С. Ставриш, Серафими), но не без раздражения замечал, что его манера выражаться напоминает манеру завсегдаевых домов терпимости. Благосветлов стонал и охал, выправляя в корректуре его статьи. Помню, как мы вместе работали над его очерком „Женщина и роскошь во Франции“. Благосветлов чиркал целые страницы этой статьи, и, вместо них, сам списывал листы. Он был необычайно ревнив к этой работе. Герпетъ не мог недолюбова, допуская их лишь вследствие цензурных условий, и вот уж кто свято блюл слова поэта, чтобы „словам было тесно, мыслям просторно“. О двух лицах отзывался он без тени критики, без малейшей проники — о Николае Васильевиче Шелгунове, писавшем также под псевдонимами: Н. Радюкин, Н. Р., Н. Языков, Н. III., Т. З. (т. е. Тюремный заключенник) и Петре Лавровиче Лаврове, не говоря уже о Петре Никитиче Ткачеве (П. Никитин и друг.). Относительно первого Благосветлов не был ни в чем виноват и одинаково любил его всегда во все тяжкие моменты своей жизни, когда цензура держала дамоклов меч над „Делом“ и когда Григорий Евлампиевич раздражался по отношению к другим. Очень ценил он Льва Ильича Мечникова, известного волонтера-гарibaldiнца, писавшего в „Деле“ под псевдонимами Леон Горанда, Эмиль Денегри, Э. Д. Л. М. и друг. Посещая меня особенно часто перед отъездом своим за границу и делая мне множество поручений по журналу, вручая мне целые листы распоряжений относительно литературного материала и вообще ведения журнала, Благосветлов каждый раз просил меня беречь Николая Васильевича и

следить, чтобы он не работал до переутомления, и прибавлял при этом, чтобы „Шелгунича“ (Людмила Петровна Шелгунова) — так звали жену Николая Васильевича — не тревожила его в редакции долгими визитами. Отдавал он должное и Жакляру, который вел в „Деле“ политическое обозрение под псевдонимом Ж и к а. Это был очень остроумный собеседник, бывший коммунар, душа редакторских обедов Благосветлова, на которых присутствовали очень часто лица, чуждые журналу, не дававшие в него ни одной строчки, вроде Михневича, плотно обедавшего и почти тотчас уходившего после обеда. Приехавший из Швейцарии Станюкович (псевд.: Откровенный писатель) (он жил одно время довольно долго в Кларане) на одном из этих обедов затеял очень бестактный и бесцеремонный разговор с Благосветловым о гонораре переводчикам-эмигрантам, работавшим в „Деле“ (и приславшим достаточно плохие переводы, — замечу кстати). Станюкович горячился, но спокойный и разумный Благосветлов громко сказал: „Да поймите, что ваши эти сотрудники без штанов ходят!“ Пахло скандалом. Красные пятна появились на лице издателя, — признак его раздражения. Но Жакляр сумел предупредить во-время могущий случиться пожар, ловко замяв разговор. Станюкович после обеда ушел „по-английски“, ни с кем не простившись ¹⁾.

Благосветлов был расчетлив, но не скуп. Помню хорошо, как он помогал Николаю Успенскому, двоюродному брату Глеба Успенского, наезжавшему к нему из Москвы и явившемуся нередко в нетрезвом виде. Другого такого же несчастного писателя, проживавшего последнюю рубашку, он несколько раз пытался спасти. Мы ездили за ним на Сенную отыскивать его в „Вяземской Лавре“ и привозили к Благосветлову, который вытрезвлял его, одевал с ног до головы, лечил. А тот ускользал. Это повторялось за время моего „редакторства“ в „Деле“ несколько раз, и однажды мне пришлось повторить миссию Благосветлова накануне его отъезда в Париж. Бедняк этот был беллетрист-народник В. Старостин, поместивший в семидесятых годах в „Деле“ ряд талантливых повестей, рассказов и очерков: „Деревенская школа“, „Крестьянский мальчик Корка“, „Веселый пикник с розгами“, „Любовь и бедность“, повесть из крестьянского быта, „Похождения семинариста Хлопова“, поэма подражание Гоголю, „Мой друг Вагон и его родители“. Благосветлову он стоял не мало денег. Помнится еще А. А. Шкляревский, автор многочисленных рассказов уголовного характера, который не раз стучался в двери Благосветлова и никогда не уходил с пустыми руками, получая авансы, никогда непогашавшиеся. Таков был Благосветлов, каким я много лет его знал, никогда не изменявшим своим принципам, стоявшим всегда на страже свободы и сыгравшим огромную роль в воспитании подрастающего поколения, как ярый до мозга костей западник. Это был своего рода журнальный колосс, высоко стоявший на своем тягчайшем посту и умерший с пером

¹⁾ Из эмигрантов помещали свои статьи в „Деле“: П. Л. Лавров (псевд.: Кедроз, Угрюмов), С. М. Степняк-Кравчинский (псевд.: С. Горский), Л. Тихомиров (псевд.: И. Кольцов), Эльсинд (псевд.: Москвин) Цакли и др. — *Ред.*

в руках. Переписка с ним, очень близкое знакомство, работа вместе обязывают меня вернуться еще не раз к этой замечательной личности в моих литературных воспоминаниях. Не без пятен была закулисная сторона его жизни, о которой у меня сохранилось много резких фактов, но я не стану их касаться: меня интересовал он, как идейный борец и, как ни как, чуткий, отзывчивый к чужим бедам человек. „Очень завидую вам,—писал мне И. А. Салов, саратовский беллетрист и журналист, о Благосветлове,—что вы близко возле него стоите, работаете с ним, с этим гигантом по отношению к остальным пигмеям нашей многострадальной журналистики“.

Петр Быков.

Детское село.
Февраль 1923 г.

Александр II и императрица Евгения.

За последнее время французская печать (особенно, толстые журналы) уделяют заметное внимание не только текущим вопросам русской действительности, но и историческим исследованиям, посвященным России. Некоторые из авторов скрываются под псевдонимами, иные, как, например, Извольский, выступают под собственными именами. Среди псевдонимов чаще других появляются три звездочки, принадлежащие, как подпись, лицу, не скрывающему, однако, по всему своему направлению, что он является ревностнейшим сторонником „безвременно угасшей в России монархии“.

В этом году, в первых двух книжках реакционного журнала „Revue de Paris“, за этими звездочками появилось объемистое „исследование“ о покушениях на Александра II, представляющее собою простую перепечатку из известной „Хроники социалистического движения в России“ ген.-лейт. Шебеко (русск. перевод — изд. В. Саблина. М., 1907 г.). Более солидный и приличный „Revue des Deux Mondes“, вслед за окончанием мемуаров Палеолога, дал интересный очерк, посвященный пребыванию императора Александра II в Париже, покушению на царя Березовского и любопытную переписку Александра II и императрицы французской Евгении.

В противоположность безработному дипломату, скрывающемуся за тремя звездочками, граф Примоли, автор статьи „Императрица Евгения и царь Александр II“ („Revue des Deux Mondes“ 1922, № 9), отнюдь не проникут особым благоволением к „августейшей особе“ Александра II. Напротив, в его изложении, хотя и вполне корректном, скорее проглядывают трагикомические нотки, когда он описывает ту „охоту на царей“, объектом которой явились в то время в Париже трое венценосцев (Александр II, Наполеон III и прусский король Вильгельм), если не считать императрицы Евгении...

I.

Как известно, пребывание Александра II в Париже в 1867 г. совпало с подъемом симпатий к угнетенным полякам, исходившим из самых разнообразных кругов французского общества. В это самое время большой шум поднял вокруг себя в Париже блестящий шедевр Т.-Робера Флери „Варшавские убийства“, собиравший многочисленную публику и объявленный

„гвоздем“ Салона. Париж был объят негодованием по адресу русской политики в Варшаве, — и у Александра II не было ровно никаких оснований рассчитывать на радушный прием.

Получив приглашение посетить выставку, от Наполеона III, Александр II 1-го июня 1867 г. прибыл в Париж в сопровождении многочисленной свиты и своих сыновей. Наполеон III встретил своего гостя на вокзале и сам отвез его в Тюльери, откуда Александр II направился в Елисейский дворец. Немалое изумление и ряд веселых разговоров среди парижан вызвало то обстоятельство, что, сейчас же после обеда, Александр II, вместе со своими сыновьями, отправился в... „Варьетэ“, где изволил прослушать оперетту „Великая герцогиня Герольштейнская“. Парижане открыто стали говорить о том, что августейшая русская семья прибыла в Париж с единственной целью — поразвлечься.

Встреча, оказанная парижским населением обоим венценосцам, проезжавшим в открытой карете, была более, чем сдержанная. Местами, по адресу Александра II, раздавались даже весьма недоброжелательные возгласы, но неизвестно — долетали ли они до императора. Но уже на другой день манифестации против Александра II приняли более открытый характер. Во время посещения царем Palais de Justice Флоэ, как известно, встретил его возгласом: „Да здравствует Польша, государь (Monsieur)!“ Вечером, когда, по окончании спектакля, императорская карета, в глубине которой сидели императрица Евгения и принцесса Матильда, а визави их, на скамеечке, оба императора, отбыла из Б. Оперы, большой толпа встречала ее по пути все с тем же мятежным возгласом: „Да здравствует Польша!“

„Карета, — добавляет гр. Примоли, — была освещена внутри, и императрица Евгения посмотрела на Александра II. Он пытался притвориться спокойным, но бледность, разлившаяся по его лицу, выдавала его. Он должен был сделать над собой большие усилия, чтобы подавить приступ гнева. Еще бы! Всякий, осмелившийся крикнуть то же самое в России, был бы немедленно отправлен в Сибирь“.

На 6-ое июня, в день, когда произошло покушение Березовского, был назначен большой смотр в Лоншане, на котором, вместе с Наполеоном III и Александром II, присутствовал приехавший накануне прусский король Вильгельм.

Императрица Евгения, веря в прославленную галантность французов по отношению к женщинам и, кроме того, опасаясь, что король прусский возбудит к себе еще более враждебное отношение, нежели Александр II, посадила его в свою карету, — и оба они благополучно прибыли в Лоншан. Но зато, на обратном пути, имел место инцидент, мало известный широкой публике, по свидетельству гр. Примоли, имевший исключительное историческое значение.

В этот день дежурным берейтором при императрице состоял маркиз***, гарцовавший у самой кареты и привлекий к себе всеобщее внимание странными аллюрами, которые он заставлял проделывать свою лошадь. Весь поглощенный ритуалом „вышей школы“ верховой езды, он совершенно поза-

был о маршруте, установленном в тот день для кортежа, и потому направил коляску императрицы по пути, назначенному для обоих императоров. Это обстоятельство, по мнению гр. Примоли, и послужило причиной того, что царю удалось избежать пули Березовского. Посмеший, точно осведомленный о маршруте обоих императоров, был неожиданно обит с толку. Он поместился на правой стороне возвышения, окаймлявшего фонтан, мимо которого должны были проезжать Александр II и Наполеон III. Вследствие небрежности маркиза, он очутился дальше от своей мишени, чем рассчитывал. Увидя приближавшийся кортеж, он поспешил перебежать на другую сторону возвышения, но для этого ему пришлось пересечь всю лужайку. Эта задержка дала возможность Фирмену Рэнбо поместить свою лошадь между царем и стрелявшим. Пуля пошла по другому направлению, — и полиции легко удалось задержать террориста...¹⁾

Наконец, злополучный кортеж вернулся в Тюльери. Императрица только что вошла в свой будуар, как на пороге его появился Наполеон, своей обычной, степенной походкой, — с всегдашней улыбкой на устах. Однако, это спокойствие так сильно противоречило первым же словам, произнесенным им, что Евгении показалось, будто он рассказывает ей о происшествии, в котором он играл роль свидетеля.

Между супругами произошел такой диалог:

— Только что стреляли в царя... — спокойно произнес Наполеон.

— В царя?... Значит, — и в Вас?

— Да... И я сказал даже по этому поводу своему спутнику: „Ваше Величество, мы вместе побывали в огне, — и оба выходим невредимыми из него“.

— Вы говорите, что стреляли в него... Пусть так. Но, ведь, и Вы подвергались той же опасности. И Вы несколько не возмущены этим?... На этот раз Вы сыграли ту неблагоприятную роль, которая всегда выпадает на мою долю, когда мы с Вами выезжаем вместе. Всегда говорят: „Стреляли в императора!“ и никогда не добавляют: „И в императрицу!“ При этом забывают, что я разделила опасность, — у меня хотят отнять и эту честь... Расскажите же толком, — в чем дело?

С невозмутимым спокойствием, точно он рассказывал содержание пьесы, которую он смотрел из партера, Наполеон описал ей сцену у фонтана, выдержку Рэнбо, гибель лошади, в которую угодила пуля, предназначенная царю... Рассказал и о том, как царь с тревогой обратился к сыновьям, схватив их за руки, глядя на них и спрашивая по-русски, — не ранены ли они?

— Я должна сама проводить его, — сказала императрица, — и убедиться в том, что он, действительно, не пострадал.

Никакие уговоры не могли повлиять на нее.

Евгения быстро сошла во двор, и села в карету, дежурившую круглые сутки у решетки, и направилась в Елисейский дворец.

¹⁾ Рассказ о покушении Березовского, записанный со слов Рэнбо, сына упомянутого Фирмена Рэнбо — см. в кн. Е. П. Семенова „В стране изгнания“. СПб., 1911, с. 12 — 21. — *Ред.*

Сильно взволнованная, она быстро поднялась по лестнице и сразу прошла в кабинет Александра. Царя она застала в сильнейшем волнении, которое особенно поразило ее по сравнению с выдержкой и спокойствием Наполеона. Очевидно, наступила реакция, — и после сделанного спокойствия к нему вернулось его естественное состояние. Он нервно шагал по комнате и говорил о том, что ему необходимо немедленно ехать в Россию.

Нет сомнений, императрице Евгении очень хотелось бы поскорее отделаться от столь беспокойного гостя. Но она призвала на помощь весь свой такт и, напротив, стала ему доказывать, что он не должен уезжать, — иначе все истолкуют его отъезд трусостью. С другой стороны, неудавшееся покушение может иметь хорошие последствия. Оно усилит бдительность полиции. Не нужно забывать также о том, что официальная программа не выполнена до конца. Нужно еще всего два дня, чтобы целиком осуществить ее полностью: банкет у префекта Сены и, на утро, посадка в Фонтенбло.

Царь дал, в конце концов, уговорить себя и выразил готовность в тот же вечер посетить банкет в „Hôtel de Ville“.

Этот вечер у префекта больше всего волновал монархов и... полицию. Дело в том, что в таких торжественных случаях двери широко распахивались перед бесчисленным множеством приглашенных, — что, в высшей степени, затрудняло полицейское наблюдение. За себя Наполеон не боялся. Прежде всего, он был фаталистом и верил в свою счастливую звезду, которая до тех пор хранила его. Но еще больше, чем в свою судьбу и... полицейских агентов, он, по свидетельству гр. Примоли, верил в спасительность пронзительного взгляда своей супруги, умевшей раскрывать заговорщиков в толпе. Не раз, — уверяет автор мемуаров, — ее „стальной“ взгляд точно парализовал руку покушавшегося. В ряде процессов, некоторые из арестованных заявляли, что, будучи уверены, что их раскрыл устремленный на них пронзительный взор императрицы, они не осмеливались разрядить револьвера.

Поэтому, при входе в зал Наполеон поручил императрице следить за безопасностью гостя. „Хорошо, — ответила она, — я послужу щитом для него“.

И, — как рассказывает Примоли, — Евгения сумела прекрасно выполнить свою роль. Она грациозно взяла Александра II под руку и тесно прижалась локтем к своему спутнику. Со стороны это можно было бы считать за кокетство или заигрывание, но Александр II прекрасно понимал — в чем дело. Автор мемуаров свидетельствует о том, что „император был весьма растроган“, — императрица, точно живой щит, старалась отстранять от него возможные удары.

Но все предосторожности оказались излишними. Бал прошел совсем гладко. Настроение парижан как будто вдруг переменялось в пользу царя. Распространялись легенды об его мужественном поведении во время покушения. Кроме того, от него ожидали вмешательства в пользу задержанного террориста, которое должно было свидетельствовать о его великодушии...

Последний день перед отъездом царя решено провести за стенами шумного и опасного Парижа, в Фонтенбло, поближе к природе, подальше от польских, русских и интернациональных террористов. Наконец, можно будет не

только самим отдохнуть, но и дать отдохнуть бедным полицейским сыщикам, буквально сбившимся с ног после всех этих приездов августейших особ!

Но вот, в тот самый момент, как оба императора выходят на платформу вокзала в Фонтенбло и обмениваются изысканными любезностями, в радостном предчувствии близкой разлуки, которая должна была принести большое облегчение обеим сторонам, — к императрице с почтительным и крайне-секретным докладом подходит префект. Дело в том, что раскрыт серьезный заговор против царя, и, как часто бывает в таких случаях, полиции удалось арестовать всех заговорщиков, за исключением одного: главного террориста, который и отправился в Фонтенбло с целью поправить неудачу, выпавшую на долю Березовского. По мнению префекта, царя придется в течение суток продержать в замке, где легче будет организовать наблюдение. Ни в каком случае ему нельзя будет позволить отправиться в лес, где предполагалась охота с гончими, завтрак на траве и т. д.

Сначала императрица, приведенная в крайнее замешательство этим сообщением, решила осведомить об этом донесении Наполеона. Но он так был занят своим гостем, окружал его таким исключительным вниманием, что разлучить их никак нельзя было. Затем Евгения подумала о крайне повышенном, первом состоянии, в котором находился царь, об его подозрительности, о том, что он может заметить и т. д., — и решила, храни тревогу в своем сердце, нести одна свой крест гостеприимной хозяйки до конца. Прежде всего, — нужно, как можно скорее, добраться до замка. Со свойственной ей стремительностью, она усаживается в шарабан, приглашает царя сесть рядом с ней, по другую сторону царя усаживает Наполеона, — и таким образом царь, защищенный двумя почетными конвоирами, направляется в замок. И на этот раз Евгения обнаружила свой прекрасный стратегический талант: нельзя было стрелять в царя, не прошив сначала пулей одного из владельцев замка.

Переезд совершился вполне благополучно. В замке и Евгений вернулась: обычное самообладание, но ее тревожное состояние в пути не укрылось от Наполеона. Он спросил ее, выходя из кареты, чем объяснить ее задумчивое молчание? Тут императрица решила воспользоваться случаем. Кстати, царь о чем-то разговаривал в это время со своим сыном... Евгению удалось шепнуть несколько слов Наполеону и посвятить его в свою тайну. Больше всего ее тревожило выраженное царем желание отправиться верхом в лес. Нужно сделать все усилия, чтобы не дать ему выйти из замка и придумать для него какие-либо развлечения... в стенах замка.

Сначала усаживаются завтракать. Завтрак затянулся так долго, как это только могли позволить приличия. Что же делать затем? Как удерживать царя в стенах и какие можно придумать для него развлечения, которые заняли бы его в течение двенадцати часов?

Сначала императрица предложила своему гостю детально осмотреть и изучить замок. Она показала ему все. — от погребов до чердака, употребила все свое остроумие и изрядную на то, чтобы сделать свои объяснения как

можно более основательными и интересными. Евгения рассказала массу приятных анекдотов чуть ли не о каждой комнате в отдельности; привела сотни исторических имен (и когда не хватило настоящих, прибегла к апокрифическим): в ее рассказах фигурировали королева Христина шведская, Людовик XIV, Наполеон I. Она не преминула показать царю стол, на котором было подписано отречение императором, демонстрировала все ценности китайского музея, золотые вазы Храма Неба — и т. д., и т. д.

Евгения, когда хотела, умела быть очаровательной. На этот раз она превзошла самоё себя. Но и царь был галантен. Любезно извинившись в причиненных ей хлопотах, сопряженных с осмотром замка, он предложил погулять в парке. Но Евгения сослалась на сильную жару... Тогда царь заговорил об оставшихся еще невыполненными пунктах намеченной программы — и был довольно настойчив. Больше всего — ему хотелось присутствовать на облаве в лесу. На это ему поспешили возразить, что, вследствие последних дождей, дороги в лесу стали совершенно непроходимыми.

Однако, царь продолжал настаивать. Пришлось предупредить гр. Шувалова о той опасности, которая угрожает Александру II, если он рискнет отправиться в лес. После этого всем стало, наконец, ясно, что нужно до отхода поезда в Петербург оставаться в замке на положении арестованных!

Нетрудно себе представить, каким вздохом облегчения встретили владельцы замка отъезд столь неудобного гостя.

Подводя итоги всем этим событиям, автор мемуаров приходит к убеждению, что результаты поездки были ничтожны. Надежды на заключение франко-русского союза рухнули. Бисмарк и Горчаков, как известно, великолепно сторговались между собою за спиной Франции.

Исход дела Березовского явился завершением всех неудач. Все ожидало, что Березовский будет приговорен к смертной казни, — и тогда царь вмешался бы в пользу осужденного. Вмешательство подняло бы его престиж. Но случилось так, что сами судьи признали наличие смягчающих вину обстоятельств. Царская милость оказалась ненужной, — великолепный жест, на который многие рассчитывали, не удался!

Александр был вдвойне раздосадован: неожиданной снисходительностью французских судей к человеку, посягнувшему на его жизнь, и провалом хитрой комбинации.

„Он вынес такое отвратительное впечатление из своей поездки в Париж, — свидетельствует гр. Примоли, — что, может быть, оно и послужило причиной того, что он отказался вмешаться в пользу Наполеона III в 1870 г.“.

Другие историки эпохи, — как, например, г-жа Адан в своих мемуарах, — высказывают предположение, что рукой Березовского руководил сам Бисмарк. Гипотеза эта, однако, до сих пор не получила ни малейшего подтверждения.

II.

Чтобы проследить историю дальнейших отношений Александра II и Евгения, мы считаем необходимым привести здесь два их письма, датирован-

ные сентябрем 1870 г. Обмен этими письмами является интересным этапом в развитии их отношений, тем более, что они были написаны в промежутке между двумя их встречами.

Гастингс, 15/ix 1870 г.

Его Величеству

Императору Российскому.

„Государь,

Я пишу Вашему Величеству, будучи ныне оторванной от моего отечества.

Если бы я сделала подобную попытку всего несколько дней тому назад, когда судьбы Франции были еще в руках правительства, образованного Императором, — в глазах моей родины и Вашего Величества я показалась бы человеком, сомневающимся в живых силах Франции.

Последние события развязывают мне в этом отношении руки, и я могу обратиться к сердцу Вашего Величества. Если я правильно поняла содержание докладов нашего посланника, генерала Флэри, Ваше правительство в priori исключает всякую возможность расчленения Франции.

Государь, судьба отвернулась от нас. Государь — в плену и оклеветан. Теперь другое правительство взяло на себя задачу, выполнение которой мы считали нашим долгом. И ~~я~~ ^я просила Ваше Величество употребить все свое законное влияние на то, чтобы в нужный момент мог быть заключен продолжительный и почетный мир, — молю Вас, о том, чтобы Франция, каково бы ни было ее правительство, встретила со стороны Вашего Величества те же чувства, какие Вы обнаруживали по отношению к нам в минуты тяжких испытаний.

Такова мольба, с которой я обращаюсь к Вам.

В том положении, в каком я нахожусь, каждый мой шаг может быть дурно истолкован; поэтому, я прошу Ваше Величество держать в тайне эту мою попытку, истинный смысл которой будет без труда воспринят Вашим великодушным умом. Воспоминание о Вашем пребывании в Париже дает мне надежду на это.

Прошу Ваше Величество верить чувствам, одушевляющим меня, с какими имею честь пребыть

Вашего Величества сестрой
Евгенией“.

Письмо это было получено в Петербурге 20 сентября 1870 г. Ровно через месяц Александр II ответил Евгении:

„Madame,

Я получил письмо, которое Ваше Величество соизволили отправить мне. Я понимаю и ценю чувство, продиктовавшее его Вам и заставляющее Вас — во имя испытаний Франции — забыть о своих собственных. Я искренне сочувствую этому [?] и горячо желаю скорого наступления мира, который положил бы конец им, так же как и всем несчастьям, вытекающим из них для Европы. Я думаю, что этот мир будет тем прочнее, чем он будет спра-

ведичнее и умереннее. Я делаю и буду делать все зависящее от меня, чтобы добиться столь желанного для меня результата.

Благодарю Вас за Ваше доброе воспоминание и доверие к моим чувствам.

Заверяя Вас вновь в моем расположении, остаюсь Вашего Величества братом

Александром."

Царское Село, 20/х 1870 г.

Это письмо, представляющее собой недурной образчик специфически-романовского, доморожденного и недалекого максимализма, еще не положило, однако, конца отношениям между Александром II и Еюгенией. Судьба угодно было, чтобы воспоминание о „приятном“ совместном времяпровождении в Париже и Фонтенбло еще встало перед ними¹⁾. Для Еюгении это было особенно тягостным, ибо до конца своих дней она сохранила обиду в своем сердце на неблагодарность Александра II, ради которого ей пришлось перенести столько тревожений и... риска во время его пребывания во Франции. В то время все французы были убеждены в том, что Александру II достаточно было сделать один жест, чтобы остановить германское нашествие, — но этого жеста он не сделал.

Гери. Сандемирский.

¹⁾ Последнее свидание или Еюгении с Александром II состоялось в Англии в 1878 г.

Литературные воспоминания.

(Продолжение ¹).

Кажется, в 1890 году началось мое сотрудничество в московской газете „Новости Дня“. Я стал там работать в качестве петербургского фельетониста, потом почему-то прервал работу, а затем вновь начал писать по специальному приглашению заведывавшего редакцией газеты А. С. Эрманса. Газета находилась тогда в затруднительном положении, вследствие перехода В. М. Дорошевича, имевшего блестящий успех, в „Московский Листок“ Пастухова. Говорили о том, что Пастухов „переманил“ Дорошевича на необыкновенных, чрезвычайных условиях — тысяч на 10 в год. „Новости Дня“, вошедшие в моду, переполошились, стали искать сотрудников, могущих в большей или меньшей степени заменить В. М. Дорошевича, и остановились, между прочим, на мне. Положили мне, кажется, 7 коп. за строку, что тогда почиталось гонораром важнейшим, и я стал писать за подписью „Квидам“ петербургские корреспонденции. Это должны были именно быть корреспонденции, потому что в „программе“ газеты отдела „Петербургский фельетон“ не было, цензура же, вообще строгая и особенно придирчивая к „Новостям Дня“, блюла за тем, чтобы не было отступления от „программы“.

Трудно себе представить, до какой административной схоластики доведено было положение печати в то время. Издателем „Новостей Дня“ был Абрам Яковлевич Липскеров, и одного этого уже было достаточно, чтобы усугубить всяческие придирки цензуры. Липскеров получил концессию на газету, благодаря М. Н. Каткову, у которого он состоял судебным репортером. Был он приятный, добродушный человек, очень нравившийся Каткову и без лести ему преданный. И вот однажды, в начале 1880-х годов, Михаил Никифорович, бывший в хорошем расположении духа, спросил Липскерова:

— Абрам Яковлевич, хочу я тебя наградить за верную службу. Скоро я помру и надо бы тебе помочь. Хочешь, я тебе потомственного почетного гражданина исходатайствую?

Абрам же Яковлевич, про которого сплетничали, что, не имея „прав жительство“ в Москве, он якобы приписался к портновскому цеху, сказа-

¹) См. „Былое“, кн. 20 — 21.

— Михаил Никифорович, что мне гражданство? Зачем мне гражданство? Что я из него суп сварю для моих деток? У меня есть одна просьба к вам, только не знаю, сделаете ли...

— Ну, говори, что?

— Попросите, чтобы мне разрешили газету...

Михаил Никифорович потрепал своего „Абрашу“ по плечу и сказал:

— Ишь ты, чего захотел! Ну, да уж бог с тобой, пиши прошение, завтра я еду в Петербург, так передам Феоктистову.

Абрам Яковлевич, не слыша ног под собой, побежал домой и, запершись в кабинете, стал писать „прошение“. В прошении должна быть упомянута „программа“, по которой газета издается. А программа, это — паспорт. и ежели каких-нибудь „особых примет“ в паспорте нет, то и физически они существовать не могут. Отсюда понятны затруднения Абрама Яковлевича, излагавшего „программу“. Что он твердо знал, это — пункт о судебных реформах. Поэтому на первом месте он написал: „Судебный отдел; отчеты о заседаниях судебных мест, мировых судей, съездов, окружных судов, судебных палат, правительствующего сената, отделений и общих собраний кассационных его департаментов“. Что же дальше? Он еще знал „хронику“, потому что давал заметки и в хронику. Потом „роман“ — непременно „роман“, и даже „роман-фельетон“, так как Пастухов, издававший „Московский Листок“, с которым ему надлежало вступить в состязание, на романе „Тайна Брынских лесов“ и составил тираж газеты. Затем Абрам Яковлевич вспомнил, что, если из родного его города, Бахмута или Мелитополи, будут писать корреспонденции, то там это вызовет сенсацию, и потому твердой рукой написал — „корреспонденции“. Он еще знал, что существуют объявления и отдел театра, дающий много объявлений, и какой-то еще отдел „Смесь“, где печатаются петитом разные занимательные вещи. Больше он ничего не мог припомнить, да большее ему и не представлялось нужным, и в таком виде „программа“ поехала в Петербург, где уже механически вставили в „программу“ „правительственные распоряжения и узаконения“. Что может быть шире такой „программы“, и какой Пастухов устоит против нее?

Разрешение на газету Липскерову дали, так как отказать Каткову было невозможно, но Феоктистов, а еще более Адикневский, сокрушенно при этом вздыхали. И когда Катков умер, и Липскеров лишился покровителя, началось не то, что преследование, а изымательство над Липскеровым и его газетой. Так как в „программе“ статей не было, то никаких статей нельзя было печатать. Фельетон мог идти только под рубрикой „День за день“. Мои фельетоны печатались, как корреспонденции, под заголовком „Петербург. От нашего корреспондента“. Но самое убийственное для Липскерова было то, что, с ростом своего благосостояния, он пристрастился к спорту, и даже завел не то рисистую, не то скаковую конюшню, отдела же „Спорта“ не было, и потому отчеты о бегах и скачках, если и помещались, то в отделе „Корреспонденций“. „Скаковое поле“ (от нашего корреспондента), в таком, примерно, виде: „Наша местность, усердно посещаемая москвичами, была

вчера весьма оживлена, благодаря устроенным у нас скачкам. В первой скачке участвовали следующие лошади... Первою пришла такая-то, вторую „легко в руках“ такая-то, третьей такая-то; впереди остальных (а скакало всего четыре лошади) шла лошадь А. Я. Липскерова „Викториа“.

О деяниях цензуры в „Новостях Дня“ можно было бы написать 101 том воспоминаний. Были цензоры просто глупые, были хамоватые, были пьяные... Так, один из последних, цензуруя пасхальный номер газеты, в каком-то рассказе, где действующим лицом был дьякон, зачеркнул слово „дьякон“ и написал красными чернилами „репортер“. Выходило приблизительно так: „облекшись в ризу, репортер густой октавой стал читать апостола. Батюшка посмотрел на репортера исеуса и подумал: „Чего-то это наш отец репортер старается! Надо быть, дьяконица хорошо вчера отду репортеру намылила голову“.

Как это ни странно на первый взгляд, но, чем больше цензура измыкалась над Липскеровым и теснила газету, тем лучше она шла. И, пожалуй, было тут многое действительно ей на пользу. Статьи по тому времени могли писаться только скучные и вялые; предметы, подлежащие обсуждению в статьях, были как раз те, которые наименее интересовали читателя. Но „noblesse oblige“ нужно было писать и печатать эти статьи. „Новости Дня“ однако физически были лишены этой возможности. С другой стороны, отсутствие программы заставляло, вообще, избегать шаблона и понуждало стараться о том, чтобы занимательности, бойкость и живость изложения проникали в те отделы программы, кои были дозволены. Поэтому печатались интересные и разнообразные заграничные и русские корреспонденции, живые и остроумные отчеты, рефераты и т. п.

В. М. Дорошевич со своим свежим и ярким остроумием много сделал для успеха газеты. Хотя я никак не мог признать за собой такого бойкого остроумия и юмора, какими отличался, в то время особенно, В. М. Дорошевич, однако скажу без излишней скромности (тем более, что все мои тогдашние писания теперь представляются мне ужаснейшим вздором), что и я, по уходе В. М. Дорошевича, был весьма полезен газете и крайне „читабелен“. Писал я статейки и корреспонденции за час до отхода курьерского поезда в Москву, держа перед собою часы и следя за минутной стрелкой. Писал, не думая или очень мало думая. И странно, что, чем менее выкал в то, что пишется и что выходит, тем как будто выходило бойчее и легче. Это—особый жанр, „неглиже с отвагой“, и он удается только в молодости, когда сам чорт тебе не брат, и жизнь, быстро бегущая, очнутись вам не дает. Как только уясняется уму связь событий и расширенный кругозор смягчает резкость контрастов, так пропадает смех. Старики, вообще, смеются сравнительно мало. И это не только потому, что у молодежи сильнее физиологическая потребность смеха, а и потому, что молодежи кажется смешным—только смешным, не чем иным—многое, что пожилым людям вовсе смешным не кажется, так как перед их взором выступает объективный смысл явления. Дикари смеются над тем, как люди пишут. И действительно, если не понимать, почему и зачем люди водят по бумаге палочкой с таким серьезным видом, то это должно казаться смешным. Смешно, потому что бессмысленно.

Огиюдь не собиравсь умалать значение смеха. Наоборот, юмористическое настроение есть подлинно—дар небес, радостная форма приятия мира. Я хочу лишь сказать, что смех легче дается, когда человек молод и дурачится, и с трудом приобретается, когда человек поживет и отвык, да и не может дурачиться. А читать эти милые глупости и впивать в себя юмористическое настроение—чрезвычайно приятно, едва ли нужно удивляться, что В. М. Дорошевич имел такой успех, а за ним и юмористы не столь специальные, что ли, как А. В. Амфитеатров или я.

Все мы, приблизительно, выступили одновременно на газетном поприще. Вслед за переходом Дорошевича в „Московский Листок“, „Новости Дня“ пригнали, кроме меня, А. В. Амфитеатрова, который до этого, кажется, писал в кавказских газетах, после своих не совсем удачных дебютов на тифлисской оперной сцене. Познакомился я с Амфитеатровым, если память мне не изменяет, у Эрманса, редактировавшего „Новости Дня“. Помнится, мы завтракали, и Амфитеатров поразил меня своим аппетитом — к завтраку, к жизни, к природе... Он был воплощением аппетита. Писал Амфитеатров и тогда размахисто, крепко, богатырски. „Новости Дня“ в этом отношении были замечательной газетой, ничем никого не стеснявшей. Однажды, приехав из Петербурга в Москву и ночуя в кабинете А. Я. Липскерова, который меня очень любил и ласкал, я был свидетелем того, как Липскеров читал газетные гранки, доставлявшиеся ему поадно вечером. Он сидел в халате и покрывале. Я, как говорится, уже готовился смежить очи, когда А. Я. обратился ко мне со словами: „Что написал! Ах, что написал!“ „О чем вы, А. Я.?“ — спросил я. „Ах, вот посмотрите! Амфитеатров об открытии „Эрмитажа“. И он протянул мне гранки. Действительно, Амфитеатров расписался столбца на четыре. Амфитеатров, вообще, расписывался и был многоречив, и много поднее, сотрудничая в „Руси“ А. А. Суворина и вытесняя своими необъятными фельетонами всех сотрудников, он говаривал, повторяя чей-то афоризм: „У меня слишком мало времени, чтобы писать кратко“. В статье об „Эрмитаже“ — увеселительном саде М. В. Лентовского, было все — „любовь, страданье, упрек с последнею мольбой и безнадежное прощанье, — прощанье с жизнью молодой“. Были уподобления, были сравнения, был блеск, была ирония, было нечто из Гейневских „Флорентинских ночей“ и из Алексея Толстого. Неспорно, весьма талантливо, но так как все же это было только открытие шате-кабака, а не второго Московского университета, то, посопев носом, Абрам Яковлевич сказал: „Замечательно, что я плачу гонорар за это, а не мне за это платит „Эрмитаж“!“

Однако, о чем же еще можно было писать? Однажды, по поводу какой-то очень хлесткой юдофобской статейки в „Новом Времени“, помнится, В. Г. Авсеенко очень метко выразился в разговоре с сотрудниками:

— Кроме, как против евреев, ни о чем нельзя писать свободно. Оттого „Новое Время“ и юдофобствует.

Так, может быть, большая часть пишущей братии; т.-е. по соображениям того же рода, попала в театралы, в спортсмены и т. п. Надо же было о чем-

нибудь свободно писать и проявлять в полной мере свой темперамент. Пресса рассматривалась под углом зрения того легкомысленно-строгого генерала из тургеневского „Дыма“, который дал якобы понюхать набалдашник „фолклендеру“ щелкоперу, и при этом сказал: „avec l'Orphée dans les Enfers le progrès a dit son dernier mot“.

Чем газета была откровенно бойчее, тем она была „цензурнее“ и желательнее. И можно ли удивляться, что ум, дарование, темперамент молодого поколения литераторов, попавших в газеты, уходили на бойкое, не по существу, безликое „ничто“. Как мне кажется теперь непонятным, что я писал весь этот бойкий вздор, так, должно быть, странными показались бы иные грехи молодости Амфитеатрову, если бы он их перечитал теперь (а, может быть, и перечитывает, когда не спится?). Дорошевич в нашей троице отличался тем, что, по несравненному своему юмору и по качествам своего дарования, а может быть, и характера, — особенно легко, привольно, и притом до конца своей литературной карьеры, чувствовал себя в этой сфере пустяков и милого вздора. Я не знаю, можно ли про Дорошевича сказать: „кабы да ежели бы...“ Он был тем, чем был, и не мог быть иным. И уже как-то упоминал, что почти все, впоследствии известные и даже славные писатели, начали с юмористических журналов, и как одна знаменитая французская актриса, указывая на спальню, так большое число литераторов, указывая на редакцию юмористических листов, могли бы сказать: „il faut passer par là“. Но у Дорошевича „Будильник“ и „Развлечение“ были в крови. Он прежде всего сам радовался неожиданностям и скачкам своего остроумия. Человек с хорошими задатками, он был сильно помят жизнью еще в молодости. Свою мать — популярную, бульварно-газетную романистку Соколову — он не любил. Об отце его ниго, кажется, ничего не знал. Его первый псевдоним — еще до „Дяди Власа“ — был „Сын своей матери“. Чуть ли не с гимназической скамьи — блестящий успех среди московской полукультурной черни. Москва того времени кишела такой чернью, и таковой же, за ничтожными исключениями, была и московская литературная среда. Дорошевич был, вообще, истый сын Москвы. Крупного сложения, ширококостный, с большим ртом, мясистым носом, близорукими глазами и раскатыстым голосом, он походил несколько на Собакевича. Около каждой церкви мелко-мелко крестился, любил покушать, отведать хорошего вина, и, когда еще мы были почти юношами, хаживал с палочкой и припадал на ногу. Собеседник, на мой взгляд, он был неважный. Он не умел и не любил слушать, а все сам говорил и срывал „эффекты“. Когда он, уже тронутый в сильной степени своею печальною болезнью, приехал в Петербург, то поразил какую-то непонятною, упорной молчаливостью, — словно, молчание было послано ему в наказание судьбою за грех излишней болтливости. Он умел „держаться фасон“, обнаруживал редкий апломб и, когда впоследствии бесконтрольно распоряжался редакцией самой распространенной русской газеты — „Русское Слово“, то завел там дух и порядок чрезвычайно чванный. Я всякий раз испытывал чувство неловкости, попадая в редакцию „Русского Слова“ — до того атмосфера редакции, созданная Дорошевичем, не походила

на обычную нашу русскую редакционную атмосферу: ни признака богемы, беспорядка, панибратства. Чинно, строго, с целым рядом комнат, устроенных по коридорной системе и напоминавших дом предварительного заключения, с чрезвычайно разработанной иерархией заведующих, секретарей и чуть ли не экспедиторов. Даже не сразу можно было догадаться, где помещается звонка, которую нужно нажать, чтобы привести механизм в движение и добиться чаемого результата. Вообще, что-то среднее между большим министерством и большою экспортною конторою, — американское, французское, английское, коли хотите, немецкое, но совсем не русское литературно-издательское дело. Эту печать наложил, несомненно, Дорошевич. Подобно тому, как Дорошевич первый поднял гонорары на небывалую высоту, создав некие легенды о редакционном вознаграждении и т. п., так он же, едва ли не первый, сумел обуздать московское издательское амикошонство и замоскворецкие нравы, утвердившиеся в прессе. Отношения в этой прессе, в большинстве случаев, были такие же, как между хозяином и „молодцом“ из приказчиков. Я тебе плачу, по ты, мол, чувствуй, — как Азов и Ипполит у Островского. Самая богатая московская газета была, бесспорно, „Московский Листок“, владельцем которой был уже упомянутый Николай Ив. Пастухов. Он иначе с сотрудниками не обращался, как на ты, говорар любил улачивать в трактире, за парой чая или в бане, куда бесплатно водил сотрудников, и всему предпочитал и всего более любил, напоминая в этом отношении биографические черты Кузьмы Пруткова — пожары. „Отполировать“ такого купца, как Пастухов, заставив его считаться и дорожить сотрудником, было уже много. Дорошевич держал московского купца в „решпекте“, вплоть до Н. Д. Сытина, этого удивительно талантливого русского самородка, гниейшую коммерческую голову, который, однако, трепетал, если можно выразиться, имени Дорошевича. Чем особенно действовал на издательскую породу Дорошевич — талантом ли, самоуверенностью, верой в свою звезду — право, не знаю, но — действовал. Говорят, он делал тираж газеты. Может быть, в отдельных случаях, но не всегда. Мне известно, например, что его сотрудничество в „Пет. Газете“ — довольно кратковременное и оборвавшееся, вследствие вынужденного отъезда Дорошевича из Петербурга (за статью об употреблении евреями христианской крови), — не отразилось заметным образом на тираже газеты. Но там, где не было газетного ансамбля, где Дорошевич устраивался, так сказать, на правах гастролера, — он, точно, собирал публику и, взамен тиража, требовал от издателя „уважения и преданности, преданности и уважения“ и, конечно, гонорара. Если не ошибаюсь, именно Дорошевич завел систему контрактов, до тех пор совершенно неизвестную в нашем газетном мире. Он писал не просто контракты, а с неустойками, процентными начислениями, обеспечениями на будущее время и пр. О последнем его контракте с Н. Д. Сытиным рассказывали чудеса. Тут были и отпуска, и годы отдыха, и какие-то 40.000 р. в год, присвоенные Дорошевичу на „вечные времена“. Увы, пришла революция, и „вечность“ превратилась в дым. Дорошевич умер в нужде, и жене его пришлось распродавать имущество. Революция спасла Н. Д. Сытина от одной

крупной неустойки. Он их столько заплатил, что заплатил бы, конечно, и эту. Почти все сотрудники „Русского Слова“ писали с Сытиным контракты и выговаривали неустойки. Кажется, один я не поднимал вопроса о контракте, чем, вероятно, весьма уронил себя в глазах И. Д. Сытина.

Будучи, так сказать, создателем особой отрасли газетно-гонорарного права, Дорошевич усовершенствовал также институт авансов. Об авансе Дорошевич думал то же самое, что Ф. Н. Плевако. Старый анекдот гласит о том, что однажды к московскому „златоусту“ явился именитый купец с каким-то весьма неприятным для него делом. Плевако, после „оскультации“ и ознакомления с делом, во время чего купец сидел ни жив, ни мертв, наконец, молвил: „Ну, что же, дело ничего, дело можно и обернуть!“—„Уж будь, Федор Никифорович, отцом-благодетелем! Не оставь!“—„Благотельствовать я тебе не буду, а давай аванс!“ Купец глаза выгнул: „Это что же такое, Федор Никифорович, аванс?“—„Ах, ты, чудак! Задаток знаешь?“—„Ну, вестимо, знаю!“ „Так вот, аванс вдвое больше!“ В таком роде растолковал значение слова „аванс“ Дорошевич московским надателям. Аванс взымался строго, неуносительно, почти с правешом. Аванс соблазнил, увлекал, доводил ум до восторга. И я пал жертвою аванса. Доведенный до отчаяния задержкою денег конторою „Новостей Дня“, запутавшись в векселях, связанных с надательством „Театра и Искусства“, я, кажется, в 1902 г., дал себя увлечь в „трактир купца Крюкова“ (как называл Дорошевич ресторан Крюба), и там Дорошевич, можно сказать, перепродал меня Сытину за 4.000 р. аванса.

Дорошевич умел, вообще, показывать товар лицом. Например, он безмерно растягивал свои фельетоны. Я в наивности своей долго не понимал, зачем он это делает, тем более, что, вскоре после воцарения своего на троне российских фельетонистов, он упразднил для себя построчный гонорар, а завел, так сказать, *liste civile*, по которому контора неуносительно платила. Но он отлично учел психологию, если позволено так выразиться, читательской обывательщины. Долгое, длинное — значит важное и первостатейное. Смешение количественного и качественного коэффициентов, подмен одного другим — это ведь обычная абберрация толпы. Толпа до сих пор, например, твердо уверена, что, если театр ставит, хотя бы прескверно, пятиактные драмы, то этот театр „серьезный“, а если театр ставит небольшие пьесы, — то это уже „театрик“. Если издание выходит в лист, то оно — „журнальчик“, хотя бы писал в нем Шопенгауер, а если три листа, то „журнал“, хотя бы наполнял его граф Амори. И разве не для этого — не для „волюма“, не для престижа, создаваемого пухлостью, многолистностью, растягивали себя, как резину, многие писатели, — ну, хотя бы Леон. Андреев, который всегда был и оставался только новеллистом и автором одноактных святей, произвольно их растягиваемых на многие листы и акты? Дорошевич располагал для увеличения объема драгоценнейшим орудием — коротенькой строчкой, которая, быть может, больше, чем его блестящее остроумие, содействовала его успеху и, увы, скоро-преходящей славе. Эта коротенькая строчка — точно, его, Дорошевича, подлинная собственность. Несомненно, что самый характер его

стиля, особенность его темперамента соответствовали этому „staccato“, если позволено будет прибегнуть к музыкальному термину. Его отрывистый слог, скачки мысли и игра противоположностей, действительно, исключали округленность периодической речи, и как „из всех цветочков более розу я люблю“, так Дорошевич мог сказать, что из препинаний знаков точку более люблю.— Но и любя точку, можно писать в одну строку. А можно сплошь прибегать к абзацам, как делал Дорошевич. В условиях московской печати это, прежде всего, было выгодно. Еще когда я писал в „Новостях Дня“, там существовали так называемые „чики“, — прелюбопытное изобретение издательской прижимистости. „Чиками“ назывались неоконченные слова на новой строке, если за ней шел абзац. Эти строчки почему-то гонораром не оплачивались, а набегало таких неоплаченных строк на статью — от 6 до 10. Глядишь, издатель-то оно и на пользу. Но так как сила сопротивления возрастает, как квадрат давления, то ежестрочные абзацы Дорошевича, ухитрившегося из слов „да“ „нет“, „о“, „увы“ и пр. делать особые строки, были достойным возмездием издательской жадности. Из всех свежих и талантливых Дорошевича — абзацы и коротенькие строчки всего быстрее распространились по лицу русской печати, особенно провинциальной. Это „краткосочетание“ всегда производило неприятное впечатление и как-то сразу, в одной мгновенной манере, единственно типографским штрихом, полагало заметную, ясно видимую грань между тем, что есть литература, и что есть не более, как газетное „распивоchno и на вынос“.

Кончина В. М. Дорошевича была очень печальная. Он стал утасать с самого начала революции. События — еще с февральских дней — ударили его, словно обухом по затылку. Он растерялся. По свойству своего дарования, он был фельетонистом и писателем повседневности. У французов различают ораторы будничных дней и ораторы больших выступлений — „des grandes occasions“. Дорошевич был журналистом „маленьких поводов“ — „des petites occasions“ — и когда разыгралась грозная стихия, он беспомощно, как малая щепка, закружился в волнах событий. Я не знаю обстоятельств его ухода из редакции „Русского Слова“, но он ничего уже не писал, если не считать популярных лекций о печати во время французской революции. Потом я его встречал в Киеве, в Одессе, где еще кипела газетная жизнь, уже затихшая в Петербурге и Москве. Он отмалчивался, глядел робко по сторонам и одиночествовал. Когда он приехал в Петербург, это был живой труп, одержимый, если можно сказать, маянием преследования. Умер он совершенно забытый и всеми, кроме близких, покинутый. Ни одного, кажется, представителя литературного мира не было на похоронах. Был прескверный, грязный, серый, снежный и сырой, петербургский день, и как я ни гвал извозчика, — я не поспел на кладбище. И я вспомнил, как несколько лет назад, почти в такой же день, на том же Волковом кладбище мы хоронили В. А. Тихонова и во время обедни вышли из церкви покурить, и Дорошевич сказал, в ответ на мое шуточное замечание, что вот-де мне придется и его отпевать: „ну, нет, не ты у меня, а я у вас буду на похоронах“. In effigie, впрочем, как говорится в уголовном праве, уже несколько лет, как состоялись наши общие похороны.

При всей, однако, ненормальности условий жизни того времени, было нечто крайне жестокое в этом забвении литературного мира. И, мысленно обозревая блистательную карьеру Дорошевича, я почему-то цитировал про себя обращенные к Зевсу слова Гётевского Прометея: „Чьи слезы осушил ты? чье горе успокоил?“ Надо сознаться — Дорошевич был холоден: его блеск был холоден, как диск зимнего солнца...

Возвращаясь к прерванной нити воспоминаний о московской журналистике.

Я частенько ездил в Москву „проветриться“. Редакционных обязанностей у меня не было, был я молод, холост, одинок, жил на Пушкинской улице — рукой подать до Николаевского вокзала. Курьерские поезда, недавно введенные, уходили не то в 8, не то в 9 час. веч., и иногда, вдруг, ни с того, ни с сего, я, взяв тросточку и сунув в карман смену белья, а то просто чистый носовой платок, отправлялся за 15 минут до отхода поезда на вокзал и уезжал в Москву. Товарищеские отношения были в Москве теснее и на вид, по крайней мере, дружелюбнее, чем в Петербурге. Редакционная семья „Новостей Дня“ была довольно обширна. Кроме заведывавшего редакцией, обходительного и мягко стлавшего А. С. Эрманса (впоследствии издателя „Одесских Новостей“), была целая куча народа. Там начинал свое литературное поприще скромный юноша Н. Е. Эфрос, писал какие-то бульварно-психологические романы И. О. Ракшанин, очень занятный человек в пенсах и с необыкновенно романтическим — для себя лично — сердцем; такие же романы, но более уголовно-наказуемых „сюжетов“, писал, явно выходя из моды, хромой Павлушин; там же я познакомился близко с И. Я. Гурляндом, приобретшим впоследствии такую громкую политическую известность. И. Я. Гурлянд жил не в Москве, а в Ярославле, где приват-доцентствовал; или, наоборот, жил в Москве, а в Ярославль ездил два раза в неделю читать лекции. Он подписывался „Арсений Гуров“, а потом сокращенно „Арсений Г.“ Происхождение псевдонима — тоже чисто ярославское. „Арсений Гуров“ был герой какой-то комедии того же названия местного ярославского литератора Михеева. Пьеса эта шла и в Петербурге в Александринском театре, если память мне не изменяет, с В. Н. Давыдовым, и, должен сказать, ничем решительно не выделялась. Но ярославский патриотизм И. Я. Гурлянда возымел свое действие, и не то он решил прославить Михеева, не то Михеев, фамилией своего героя, великодушно согласился прославить Гурлянда. В то время Гурлянд был живой, остроумный, очень приятный собеседник, добрый товарищ, влюбчивый молодой человек, писавший бойко, интересно, зло, с положительным талантом. Я помню особенно его роман, который сначала тянулся в „Новостях Дня“, а потом вышел отдельным изданием, из театральной жизни. В героине легко было узнать черты Л. Б. Яворской, начинавшей тогда в Москве свою шумную театральную карьеру. Автор был полон обличительного жара — я думаю, тут были некоторые обстоятельства личного характера. Мы так обидчивы в молодости, особенно когда страдает мужское достоинство. Chi lo sa? По умению вести рассказ я приковать внимание читателя, роман был премилый. Как из своего бел-

летристического дарования, так и из многих интересных качеств своего ума и интеллекта, Гурлянд сделал востину бессмысленное употребление. Я доселе нахожусь под властью молодых воспоминаний о Гурлянде и потому, может быть, к нему пристрастен. Помню, много раз я заговаривал с ним о той, нелепой на мой взгляд, кривой, которую приобретала его карьера. Гурлянд написал хорошую диссертацию, встреченную крайне сочувственно такими известными и бесспорными учеными, как проф. С. Платонов и др. Он был талантливый публицист и беллетрист. Темперамент его, яркий и легко возбудимый, казалось, нигде не мог найти для себя такого полного выражения, как в литературе. Гурлянд же почему-то записался в губернаторские чиновники при Штурмере и необычайно дорожил своим положением среди губернских нотаблей. Его больше радовало то обстоятельство, что он сидел рядом с архиереем за губернаторским столом — он, приват-доцент, — тогда как экстраординарные и ординарные профессора Лицея, не говоря уже об инспекторе гимназии, помещались на дальнем, „музыкантском“ конце. Его увлекло куда-то в бок, в сторону, тщеславие, — увы, слишком распространенная человеческая слабость, даже у неглупых людей. Материальных соображений тут не было и не могло быть никаких. Литература и профессура давали ему и могли дать неизмеримо больше чиновничьего оклада. Кто знает, может быть, у него от губернского аристократического салона кружилась голова потому, что из детства вспоминались картины еврейского гетто. Может быть, что-нибудь еще более отдаленное, смутное, как инстинкт, как бессознательный отголосок старых унижений, в которых жили его предки? Гурлянд, приезжая в Петербург по делам своей диссертации, останавливался у меня; я, бывая в Москве, иногда располагался у него. „На кой тебе чорт служба у губернатора?“ — недоумевал я. „Это важно, интересно!“ — говорил он, просматривая корректуры своей книги „О ямщине и общине“, — „ты не понимаешь!“ Так я и не понял и прекратил разговор на эту тему с ним надолго. А возобновился он уже значительно позднее — в 1906 г., во времена первой Государственной Думы, как раз в то время, когда Трепов завел флирт с кадетами. В один прекрасный день Гурлянд явился ко мне весьма озабоченный, с расстроенным лицом. Он был убежден, что Винавер будет министром юстиции, и „нас всех погонит“. Я удивился и этому легковерию, да и самому расстройству. „Винавер не будет министром юстиции, — сказал я ему, — ну, а будет, тебе-то что? Будешь писать в реакционных газетах“. Но Гурлянд обижался, когда его называли реакционером. Он стоял на той точке зрения, что все самое культурное, просвещенное, образованное привлекает к себе на службу государство, на стороне же так называемого „общества“ остаются только одни поскребушки; что еще много-много лет понадобится для того, чтобы „общество“ получило возможность вступить в состязание с „бюрократией“. Я не касаюсь здесь вопроса о том, насколько самая карьера Гурлянда находилась в зависимости от этого взгляда. Желание порождает мысль, и *c'est une théorie, comme une autre*, как говорит, кажется, Свидригайлов в „Преступлении и Наказании“. Последующие события, во всяком

случае, дали некоторое подтверждение этому взгляду. Что представляло собою „общество“, как совокупность либерально-демократических элементов, степень его бессилия и его беспомощности — все это обнаружилось на первых же порах нашей революции. Винавер не стал, и как теперь ясно видно, и не мог стать министром юстиции; бюрократическая же интеллигенция, под видом „спецов“, нашла себе изрядное употребление. Это свидетельствует не только об ее приспособимости, но и об ее сравнительной практической пригодности.

Несмотря на то, что наши дороги столь решительно разошлись, Гурлянд был и остался по отношению ко мне хорошим другом юности и товарищем. У меня хранится одно письмо его, написанное им по случаю 10-летия „Театра и Искусства“, — очень милое и теплое письмо. Десятилетие журнала было, по каким-то для меня самого непонятным причинам, отпраздновано очень пышно и богато. Откликнулась вся литературная и театральная Россия. И не то с горечью, не то со скорбной иронией, Гурлянд в письме своем извиняется, что не хочет-де своим присутствием наводить на „ликующий день“ унылую тень отверженца. Но зачем он, запутавшись в мелких чувствах, записался в отверженцы и бросился в охранительно-жандармские объятия?

В редакции же „Новостей Дня“ я познакомился с П. А. Сергеевко, усердно сотрудничавшим в этой газете и еще не избравшим себе позднейшей специальности — лейб-биографа Л. Толстого. Сергеевко жил в Коломне и за гонораром, который ему был существенно необходим, приезжал специально в Москву. Но контора „Новостей Дня“ была удивительным учреждением: ею заведывал брат Абрама Яковлевича Липскерова, Исаак Яковлевич, про которого Дорошевич однажды хорошо сострил: „Почему господь не сказал еще раз: Авраам, Авраам, убей Исаака!“ Исаак Яковлевич был самый обыкновенный мелитопольский или бахмутский еврей, до управления конторой московской газеты, вероятно, торговавший в бакалейной лавочке. К деньгам он относился, вообще, любовно и расставался с ними крайне неохотно. Платить деньги было для него сущим мучением, как для Дикого из „Грозы“. Но Дикой, по свойствам своей пьяной натуры, мог хотя отругаться, а Липскеров-младший и этого не мог. Но он мучительно долго расплачивался, заставляя ждать, бессовестно затягивая процедуру выдачи гонорара, и непременно норовил подсунуть вместо денег несколько купонов, еще не вышедших сроком. Кроме того, „чики“ он толковал чрезвычайно казуистически. Представьте себе мрачную, высокую, похожую на Дон-Кихота, фигуру Сергеевко, приехавшего специально из Коломны, и медовым голосом обращающегося к Исааку Яковлевичу, у которого в кассе как раз скопилось столько хорошеньких ассигнаций, радующих сердце, но увы, обреченных на выдачу Сергеевке.

— Ну, хорошо... Гонорар? Ну, хорошо! А вы знаете, сколько?

— Помилуйте, как же не знать... Я же на бумажке написал...

— Ну, хорошо... Что вам так непременно нужны деньги? Поезжайте себе домой, а когда следующий раз приедете, то и получите уже сразу еще за две недели.

— Да что вы, Исаак Яковлевич, я же нарочно приехал, деньги нужны очень.

— Положим, — соглашался Исаак Яковлевич, — деньги действительно нужны... Ой, как нужны!.. Ну, хорошо... Слушайте, Аграфiotи, — обращался он к конторщику, — вам уже принесли фактуру на бумагу? Фактура, фактура фа-акту-ура...

И, делая рулады, он словно забывал о Сергеевке, стоявшем в углу, со скрещенными руками, как воплощенная укоризна. Через некоторое время Сергеевко снова пытался напомнить о себе.

— Исаак Яковлевич, что же гонорар?

— Ой, боже мой, ну, что вы скажете, я совсем забыл. Вы хотите получить деньги?

— Ну, да, ведь мы же говорили об этом...

— Хорошо. Так вы их таки-да получите. Аграфiotи, приготовьте ведомость Ефимову на розницу... Что? Ну, да... Позвоните в Славянский базар! Алло! Барышня, вы спите? Скажите, Петр Алексеевич, что у вас стоит в Коломне ведро огурцов?..

— Дайте же, наконец, гонорар!

— Гонорар, гонорар, гонорар... Аграфiotи! Вы знаете, что господину Сергеевку следует гонорар? Ну, так напишите ему талон, потом пойдите к Лорне и разменяйте у него купоны; я же знаю, что господин Сергеевко не любит купоны... А почему не любит? Что это не деньги? Но не любит!

Так он вгнал Сергеевку в чахотку. Я думаю, что байроновский, мрачный как Эреб, взгляд Сергеевко обязан своим происхождением, главным образом, Исааку Яковлевичу Липскерову, а никак не пессимистическому мирозерцанию лейб-биографа Толстого. Судя по произведениям Сергеевко, он скорее оптимист и, во всяком случае, доверчивый и наивный поклонник сократической мудрости.

Гонорар, вообще, платили умеренный. На московском издательском деле лежала еще некоторая, так сказать, печать натурального хозяйства. Двери издательского дома были широко раскрыты для званных и незванных, а всего более для сотрудников. За стол у Липскерова, не считая многочисленного потомства единственно мужского пола, садилось человек 10, преимущественно сотрудников. Считалось совершенно в порядке вещей, что сотрудник, у которого нет денег или нет охоты тратить на стол, завтракал, обедал и ужинал у издателя. Там же можно было заимствоваться кредитом и поручительством у портного. Издатель же должен был брать ложи в Малый или Большой театры на премьеры и иные представления, что и называлось взять ложу „в складчину“, т.-е. „в складчину“ просить Липскерова купить ложу. Липскеров был, как я уже говорил, простой и добрый человек, характера на вид сдержанного и спокойного, и крайне наивный, особою печальною еврейскою наивностью. Был тщеславен, в том смысле, чтобы сравняться образом жизни и всем „*train de la maison*“ с именитыми московскими купцами. Лейбин сказал бы „подражал под герцогиньейского купца“. Однажды, приехав в Москву и

остановившись, по обыновению, у Липскерова, совершенно так, как засажают в гостиницу, я не успел еще умыться с дороги, как был увлечен хохляком в залу. „Видите?“ — сказал мне Липскеров с торжественным выражением лица, указывая на огромную машину-орган, занимавший всю стену большой залы. „Трактир тут один прогорел, так я машину купил“. И он немедленно поставил вал „Дунайские волны“, или что-то в этом роде. Машина играла, дудила в дуды, хлопала тарелками и барабанами, а Липскеров сладко жмурился от удовольствия. „Мазурии торговал, — прибавил он, — а я перекупил. Красненькую (10.000 р.) прибавил“. О конюшне Липскерова я уже писал. Конюшня его совершенно разограла, но она была необходима для „престижа“. Когда к освещенному фасаду французской выставки (в 1890 г., кажется) или к „Яру“ подъезжал на паре рысаков Липскеров, то он был не хуже, чем Окромчеделов или другой московский именитый гражданин. А это создавало даже кредит, не говоря об удовольствии, а также о посрамлении Пастухова. Пастухов был прижимист и, конечно, в двадцать раз богаче Липскерова, который пускал пыль в глаза. От албы, ревности и зависти Пастухов даже похудел. Он иначе не говорил, встречаясь с кем-нибудь из сотрудников: „У жидов работаешь?“ Когда же в „Новостях Дня“ появилось шикарное описание какого-нибудь значительного пожара, а в „Московском Листке“ собственный репортер оказывался не на высоте, — тогда отчаянно Пастухова не было предела, и можно было опасаться за его жизнь. Он безвыходно сидел несколько дней в трактире, и всем депутациям сотрудников, умаливавшим его вернуться в редакцию и вновь принять издательские венец и бармы, отвечал только одно: „У жидов-то, у жидов, пожар-то, пожар-то как описал! Ах, ты, господи! Зарежут меня жида, окончательно зарежут!“

Но резали Пастухова не столько удачные пожары, попадавшие в орбиту зрения репортеров Липскерова, сколько рвало то, что сам читатель московский эволюционировал и стал приобретать вкус к более литературному материалу. Пастухов совершенно не мог попасть в дух времени, жил по старинке, почти не изменял физиономию газеты. Я не знал газеты Пастухова в прежние годы. Говорят, что он создал первоначальный успех среди сидельцев Охотного ряда, Ильинки и пр. московских торговых рядов (а они-то и составляли главный контингент читателей) главным образом, благодаря оригинальному „почтовому ящичку“, в котором печатались такие, примерно, строки: „Купцу Фед. Ив. П-ву. Что за женой-то не поглядываешь? Спыхватись, да будет поядно“. „Ильинскому торговцу С-ву. Ты спросил бы у Якова, где деньги берет, чтобы по трактирам шататься. Не в выручку ли залезает?“ Я, повторяю, этих обличительных приемов уже не застал. Но газета была, действительно, какая-то совершенно особая. Больше половины ее посвящалось какому-то „церковному листку“ и „дневнику происшествий“, т.-е. полицейской хронике мелких событий и фактов — то, что на французском газетном жаргоне называется „faits divers“, при чем в сводках, развлек-пей, печатались заголовки происшествий. Весь жар души и вся фантазия „редакционных сил“ уходила именно на подбор и изобретение заманчивых титулов для этого

дьявника. Помню, однажды сообщалось, что в артели, работавшей у какого-то подрядчика, обнаружилось острое желудочное заболевание, повлекшее за собой смерть семи человек. Оказалось, что изготовлены были щи из гнилой рыбы, и рабочие отравились рыбным ядом. Титул этого происшествия в „Московском Листке“ гласил: „Рыбки захотелось“.

Пастухов видел, что газета надаёт, барахтался, взял Дорошевича, положил ему огромный по тому времени оклад, а делу все это мало помогло. Читатель требовал уже какого-то минимума культуры, и что „рыбки захотелось“ — было ему мало. Пастухов дошёл до того, что решился даже самовольно поехать на Парижскую всемирную выставку и описать ее, хотя до этого времени не выезжал никуда дальше Серпухова. Я бы дорого дал сейчас, чтобы иметь под рукой эти корреспонденции — они единственны и неподражаемы. В первой корреспонденции Пастухов описывает, как он собирался в дорогу, и даёт читателям подробный реестр того, чем им, в особенности на следы надлежит запастись. Пастухов, лично для себя, взял 12 ф. икры, но, по его мнению, этого мало, однако, если комбинировать с балыком и белорыбницей, то можно и 8 фунт. И т. д. Затем, в дальнейших корреспонденциях излагались путевые впечатления: „Вот, — писал Пастухов, — мы пересекли границу. Вынимаю часы — что за время? У меня 9 часов, а у других 3. Это потому, что у нас солнце раньше восходит, а у них позднее. Наша все это вполне объясняет“.

Но и парижские „впечатления“ Пастухова мало помогли делу: „жиды“ продолжали резать. Был момент, когда Пастухов воспринял было духом, — с появлением высочайшего повеления о выселении всех евреев, кроме имеющих ученую степень и I-ой гильдии купцов, из Москвы. На основании этого высочайшего повеления подлежало выселке из Москвы свыше 100.000 человек. Пастухов ежедневно служил молебны и снова пополнял. Липскеров, как я уже упоминал выше, по слухам числился „для права жительства“ в портновском цехе. Так или не так, во всяком случае жил да поживал. Но тут ничего поделать было нельзя; высочайшее повеление было составлено столь категорически, в упрямой царской голове так определенно сложилась и утвердилась мысль о богоугодности этого наелепого и наглого выселения 100 тыс. человек с насиженных мест, что даже самые отчаянные полицейские выточники и крючкотворы, нажившие каменные палаты на „еврейском вопросе“ и „правах жительства“, стали втупи и отказывались подать человеколюбивую, за соответствующую маду, помощь. При этом московские хоруугеносцы и молебствующие Пастуховы следили зорко за неукоснительным выполнением богоугодного дела. Тогда Липскеров, собрав большой „фамильный совет“, поставил вопрос, как быть, и фамильный совет решил окреститься. В один прекрасный день, Абрам Яковлевич и Исаак Яковлевич, и все чада и домоладцы, и тетки, и племянницы, и зятья, и шурья, приехавшие из Мелитополя или Бахмута, оказались „англиканского вероисповедания“. Все это произведено было втайне, и когда, во исполнение высочайшего повеления и за истечением положенных сроков, частный пристав явился в редакцию „Новостей Дня“

для выселения издателя газеты, то Липскеров увел гостя в кабинет и скромно, с достоинством молвил: „Мы все англичанцы“. Частный пристав выпил воды, крикнул, закурил рыжиком, спрятал конверт с благодарностью и воскликнул:

— Ну, вот и прекрасно! Даже удивительно, как я раньше не догадался, уважаемый Абрам Яковлевич, что вы—англиканец.

Тем дело и кончилось. А Пастухова поразил, когда он узнал об этом, первый апоплексический удар. Едва ворочая языком и судорожно шевеля полупарализованной рукой, он лепетал:

— Жиды-то, жиды-то англичанцами стали... Вывернулись... Пропала наша головушка...

Об англиканском перевороте я ничего не знал. Приехав в Москву на юбилейное празднование 10-летия газеты, я был, так сказать, приятно аффрипрован, застав в редакции молебен с возгласением многолетия всему Липскеровскому дому. Абрам Яковлевич держал себя с большим тактом и достоинством, и, так как англичанцы не прибегают к крестному знамению, то он ничем во время молебствия не отличался от самого подлинного англичанца. По окончании молебна, духовенство было отпущено с соответствующею благостыней, но на трапезу оно не было оставлено. Это было не совсем помосковски,—такой „лаический“, „светский“ характер трапезы, но и тут нельзя было не подивиться такту Абрама Яковлевича.

Бедный Абрам Яковлевич! Уже первая революция свела его газету на нет. Вскоре она и совсем закрылась. Я потерял Липскерова из виду, и только однажды видел его в 1912 или 1913 г. Он пришел ко мне в номер московской гостиницы, прося дать объявление о спектаклях „Кривого Зеркала“ в какой-то издававшийся им двухнедельный листок „Театр и Спорт“. Он исхудал и побледнел, и просил об объявлении с неестественной, преувеличенной, напыщенной развязностью, вертеться во все стороны и стараясь быть как можно фамильярнее. Это было до того жалостно, что можно было расплакаться. Я наскоро сунул ему 100 рублевую бумажку за объявление во всю страницу в двух номерах „без скидки“, и целый день чувствовал острый укол в сердце. И все время вертелись у меня раздражительные крики начальника Гл. Упр. по делам печати Соловьева, у которого мы ходатайствовали как-то о смягчении административной кары, наложенной на „Нов. Дня“.

— А почему сам Липскеров не хлопочет?— спросил Соловьев.

— Он болен, ваше п-во. У него бронхит. Он и в Москве-то выезжает только в карете.

Соловьев вскочил, как ужасенный.

— Слышите, Василий Семенович,—крикнул он неизменному Аликаевскому, сидевшему в смежной комнате,—у Липскерова бронхит, бронхит, он ездит в карете. Никаких послаблений, никаких-с! Он ездит в карете, у него бронхит!...

Ну, вот — думал я — все кончилось, и как просто кончилось. Стоило ли злобствовать?

Юбилей газеты был отпразднован, в общем, весьма торжественно. Сотрудники получили очень изящные жетоны — трех сортов или, вернее, трехкого достоинства: золотые с бриллиантками, золотые просто и серебряные золоченные. Я был отнесен к первой категории, и до сих пор у меня хранится жетон, хотя, увы, уже без бриллиантовых знаков. За обедом, конечно, были речи, было много речей. Помню, что говорил Дорошевич, который в то время уже не работал в „Новостях Дня“, а писал у Пастухова, но явился приветствовать свою, так сказать, alma mater. Затем говорил Амфитеатров и придирчиво отвечал на речь Дорошевича. Это произвело неприятное впечатление, а позже вечером, когда вся компания с обеда отправилась в сад „Аквариум“, правда, уже значительно отягченная парами, между Дорошевичем и Амфитеатровым произошла и совсем грубая и нелепая сцена. С течением времени, конечно, все это забылось, и отношения, по крайней мере, наружно, между Дорошевичем и Амфитеатровым установились приятельские.

После юбилея у „жидов“ Пастухов окончательно махнул рукой и подчинился судьбе. Тираж „Московского Листка“ продолжал падать, но прочный читатель Замоскворечья и хорошие объявления продолжали поддерживать газету. Одно время Пастухов перенес честолюбивые мечты свои на своего сына Виктора, которому для начала предложил издавать иллюстрированный еженедельник. Для приглашения сотрудников Пастухов-сын приезжал в Петербург и, остановившись в Балабинской гостинице, стал выдавать авансы. Весть об этом событии быстро разнеслась по Петербургу и сильно взволновала сердца литераторов. Гонорар был положен Пастуховым важноущий—20 коп. со строки. Помню, что я тоже дал в еженедельник какую-то статью и был приведен в Балабинскую гостиницу литературным „главноуполномоченным“ В. Н. Пастухова, художественным критиком Александровым, известным в литературных кружках под именем „Переблуд-Паша“. Удачнее этого прозвища, действительно, трудно было что-нибудь придумать. Александров был человек лет за пятьдесят, с седоватою большою бородою, и очень похожий на турка. Все у него лоснилось—лицо, лысина, глаза, сюртук. Когда Переблуд-Паша ввел меня в балабинские апартаменты Пастухова-сына, то я застал плотного, черноглазого молодого человека, типа Андруши Белугина, в туфлях на босу ногу и без пиджака. Стоял дым коромыслом, на столе—дожина раскупоренных бутылок, и очень много литераторов около бутылок. Новый издатель был уже на втором взводе и, пожимая плечами, плыл лебедем по комнате, припевая: „Эй, жги, говори!“ Журнал должен был служить чистому искусству и литературе, и собственно, в Балабинской гостинице и должен был состояться обмен мнений по редакционной программе. Но иллюзии исчезают, а факты остаются... Молодой Пастухов (в общем, добродушный и приятный человек) приезжал несколько раз в Петербург намечать литературную линию журнала, и так усердно ее намечал, что заболел чем-то вроде белой горячки. Вскоре он умер. Об нем искренне жалели в московских газетных кружках.

А. Р. Нугель.

На закате народовольчества.

(Памяти В. Я. Богучарского)

(Продолжение ¹⁾).

IX.

Роман шпиона.

Продолжалось наше благополучие весь май, весь июнь и даже часть июля совершенно безмятежно. Если бы не почтовые дни, то можно было бы не замечать, не ощущать непосредственно, что живешь в стране, неуловимо свисающей над каким-то срывом, пережив в своем недолгом прошлом уже несколько катастроф и в близком будущем ожидаая новых. Можно было бы забыть свои юношеские порывы и позднейшие томления. Это кто-то другой их переживал, когда-то, где-то, на какой-то другой планете... Над Вилуйском солнце почти не заходило, описывая по небу без малого полный круг, и жизнь тут изо дня в день повторяла все тот же неизменный круг привычных смен сна и работы. В часы отдыха, у себя в артели, по нашей закоренелой привычке, мы без конца теоретизировали. И о чем только, как припомнишь, мы не теоретизировали! Какие только ничтожнейшие, обыденнейшие фактики не давали нам повода к дерзновеннейшим парениям и к глубочайшим погружениям нашей волевой мысли, то к слабовато нам известным вершинам научного знания, то к никому не известным корням всего сущего. Какой-нибудь недопеченный хлеб за обедом, прореха в рубашке или стоптавшийся каблук, как точка отправления, и... теодицея Лейбница или геометрические ереси Лобачевского, как заключительная тема того же самого разговора,—это бывало у нас зауряд. Таков был обычный стиль засбеденных и послеобеденных бесед в нашей вилуйской „Тундре“, как и во всех подобных „тундрах“ на всем пространстве от Урала до Охотского моря.

По праздничным дням и в те печальные вечера, когда волей-неволей нам приходилось провести часок-другой в обывательском обществе, разговоры велись совсем в другом роде и на другие темы: об охоте, о рыбной ловле, о всяких таежных и речных происшествиях и уж конечно—о женщинах. Эта

¹⁾ См. „Былое“, кн. 5—6, 13, 20, 21.

универсальная тема в обывательских кругах трактовалась двояко: при дамах — слегка иронически и слегка скабрёзно, и в холостой компании, где все расплывались, — так, что хоть святых вон выноси. Впрочем, по моим многолетним наблюдениям, обычное обывательское блудословие у большинства самих блудословов являлось по крайней мере на три четверти напускным. В этой среде так принято. Самнство считается у них молодечеством, а потому всякий, стараясь повернуться к собеседникам с самой выгодной стороны, из кожи лезет, чтобы выставить и себя свиньёю хоть куда. В первые годы моего пребывания в сибирских захолустьях меня не мало смешило то, что самые мохнатые сюты, если судить о них по их саморекомендациям под пьяную руку, в их действительной жизни сплошь да рядом оказывались кротчайшими барашками, которые перед своими увесистыми супругами пикнуть не смели и ничего не делали, не посоветовавшись с ними.

Однако, наряду с застольной, специально мужской моралью, составившей требование холостецкого стиля, у тех же людей, отгороженная какой-то непроницаемой переборкой, сохранялась в других сферах сознания и казенная мораль по своду законов и по заветам апостола Павла. В теории она никак прямо не отвергалась. Одна мораль почиталась и рекомендовалась окружающим, преимущественно женщинам своего круга, а другая берегалась для себя и для друзей и применялась в отношениях к женщинам низшего круга. Противоречие их обеих никого не коробило. У обывателей их слова (более или менее гнусные) не соответствовали их понятиям (более или менее затхлым), а их поступки нередко бывали гораздо хуже, но зачастую оказывались и гораздо лучше их слов и их понятий. Потребность в согласованности мыслей и в выдержанности действий этим людям была совершенно чужда. По их излюбленному словечку, — „натурально“ было почтенному обывателю, имея дочку на возраст, воспитывать ее в честных правилах, и столь же „натурально“ было ему же, наняв пригожую страпу, в отсутствии супруги пользоваться случаем и своего не упускать, а при ближайшей попойке хвастнуть своими похождениями перед собутыльниками...

В нашем сильном миреке было, конечно, не так; но было ли лучше, с уверенностью не скажу. Разговоров о любви и о женщинах у нас велось, пожалуй, не меньше, чем о политике. Ведь мы составляли среду исключительно мужскую, стоявшую несколько особняком от обывательщины, черезчур далекой от нас по ее некультурности. Монахи поневоле, мы уже в силу одного этого должны были вспоминать и говорить о женщинах чаще, чем это было бы при нормальных условиях. Ну, конечно, мы старались выдерживать при таких разговорах тон серьезный и даже глубокомысленный, подобающий „идейным людям“, и притом социалистам, для которых „женщина не самка, а человек“, а любовь — не животное влечение, а что-то такое удивительно духовное, моральное и высоко интеллектуальное. Для нас этого рода стилистика была также обязательна, как для обывателей (когда они бывали не в холостой компании) их закорючая мораль чуть не по Домострою. Однако и у нас, как и у тех, наряду с нашею теоретически признаваемой этикой любви, до того книжной,

что ни Ромео, ни Юлия в этой перемудренной „любви“ наших тундренных бесед не узнали бы их пламенного чувства,— куда ярче, куда властнее той бескровной дочки Милля и Чернышевского жило в сознании и другое представление, другой канон высокого и низкого в этой области, навешенный каждому с ранних лет такими слабыми позитивистами и едва ли социалистами, как Пушкин и Тургенев, Шекспир и Байрон. Рассуждения Милля и Чернышевского о любви и о женщинах казались нам неотразимо правильными, и мы покорно отдавали их идеям наши головы, но сердца наши не считались с головным решением и оставались верны Шекспиру и Пушкину. В действительной жизни ни „новая“, черезчур уже рассудительная любовь по Чернышевскому, ни „старая“, весьма мало рассуждавшая, но вечно юная любовь по Пушкину огромному большинству молодых революционеров оставалась либо вовсе недоступной, либо была известна по одному-двум случаям, чаще всего платоническим и психологически недоразвившимся. Почти все мы попадали в тюрьмы лет двадцати—двадцати трех и многие „на воле“ избегали как огня всяких сердечных увлечений. Ведь Рахметов во имя „дела“ (т.-е. революции) обрек себя на безбрачие, а чуть ли не всякий двадцатилетний революционер считал себя более или менее Рахметовым и ожидал в своем будущем если не эшафота, так каторги. Любовь, дети, семейные заботы с такими ожиданиями не вязались, и в первом порыве революционного энтузиазма уподобиться Рахметову казалось и не так уж трудным и величественно красивым. Истинный революционер юношескому воображению представлялся титаном, подавившим в себе все земное и возлюбившим, как женщину, Свободу. Решиться в мечтах на титанические преодоления, пока на самом-то деле преодолевать было еще нечего, это всякому было под силу, и потому кандидатов в Рахметовы в старших классах российских гимназий в конце семидесятых годов имелось сколько угодно. Труднее оказывалось смирить в себе не чаемые только в будущем запросы сердца, а возникшие уже давно требования организма (или слишком рано распаленного воображения?), и на это хватало лишь очень немногих. За исключением таких единичных подвижников, большинство революционной молодежи нашей поры, при всей превыспренности ее громко проповедуемых понятий и романтичности ее затаенных влечений, поступало на деле совершенно так же, как и большинство всякой другой молодежи: сближения с порядочными женщинами, а тем более с девицами, избегало („не ровен час,— еще как бы не влюбиться! Долго ли!“), но сношений с особами непорядочными не всегда чуралось, и случалось не раз, что проповедник высоких истин, пламенный обличитель пороков „растленной буржуазии“, на часок-другой оказывался гостем какой-нибудь бульварной феи, как и самый бесхитростный офицерик или купчик. Но тем по их духовному уровню это еще простительно... Но нам-то? Вопиющее противоречие наших великолепных слов о женщине вообще и нашего „эксплуататорского“ отношения к женщинам определенной профессии было в глаза каждому из нас... Но что же было делать? Мы до некоторой степени оправдывали себя перед судом собственной совести тем, что в нашем поведении нет, по крайней мере, лжи и насилия, тогда как в „старом мире“ вся

половая мораль проникнута ложью, а буржуазная семья, или вернее ее видимость в современном обществе, только и держится насилием. Ведь развод фактически недопустим в России, и тысячи пар остаются в союзе, по настоящему говоря, помимо их воли; ведь у нас девушек „выдают замуж“, а не сами они выходят; ведь та самая среда, которая извергла благородную Анну Каренину за ее открытую, честную любовь, снисходит к всем полупривычным грешкам развратной княгини Бетси... Ну как же уважать такую мораль и такую семью?! Мы по временам плюхаемся в грязь; мутит бес и нашего брата; но уж зато никто из наших никогда не станет обманывать женщину, говоря ей о „любви“, когда у самого на уме только легонькие пашни; никто не станет надуть доверчивого простака, наставляя ему рога за его сивой... Значит, несмотря на все наши проступки против требований строгого уважения к женщине, не совместимого с посягательством на нее без действительной любви, мы в этой области все-таки остаемся выше людей „старого мира“, которые требуют наружного соблюдения некоторых условных форм и сознательно закрывают глаза на все то, что прикрывают собой эти формы. А прикрывают они сплошь да рядом и продажу своего тела, и грубейшее нарушение доверия, и тиранство одной стороны, и распутство другой, и всякую гниль и пакость.

Мы отказывали в уважении всякому, даже наизаконнейшему союзу, если он не скреплялся изнутри чистым и вполне бескорыстным чувством, и наоборот, мы готовы были приветствовать всякий союз, хотя бы и ничем не оформленный, если он имел в основе такое чувство. Свои взгляды на этот предмет мы считали чрезвычайно высокими и гуманитарными, но в попытках построения вполне выдержанной теории нашей новой морали мы встречали одно почти неодолимое затруднение: по каким же признакам можно определить то глубокое и чистое чувство, которое все собою освящает и само ни в каком освящении не нуждается? Чувство Карениной к Вронскому, чувство тургеневской Елены к Инсарову носит свое оправдание в самих себе, и в их глубине и полноте. А к тому же Каренин — ведь это Победоносцев, отвратительнейшая скнипа и реакционер, ну как от такого не сбежать? А Инсаров в „Накануне“ — патриот и революционер; кого же и любить порядочной девушке коли не такого?... В подобных случаях наши симпатии без малейшего раздумья обращались на сторону грешниц, беззаветно и самоотверженно преступающих требования филистерской морали... Но чувство тургеневской кокетки к герою „Вешних вод“ Или чувство Хлестакова и к Анне Андреевне и к Марии Антоновне, которые обе на известный миг, с пьяных-то глаз, кажутся ему очаровательными?... Выдвигая в противовес „затхлой морали“ принцип „свободы чувства“, доводим ли мы эту свободу до оправдания всех минутных увлечений какого-нибудь Хлестакова, а пожалуй и всех похотей парницы Екатерины?...

Высокие пали тюрьмы Чернышевского, стоявшие у нас всегда перед глазами, при разговорах на подобные темы заставляли нас вспоминать Николая Гавриловича и разбираться в вопросе: ну, а как он-то, наш учитель, сам понимал свободу чувства? Лучшим комментарием, если не единственным

надежным комментарием к произведениям любого мыслителя служит его биография. Мы здесь, в Вилуйске, постоянно слышали от обывателей их бесхитростные отзывы о Николае Гавриловиче: вставал он тогда-то; на обед варил себе то-то; бывал чаще всего у Лаврентия Кондакова (местного богача умника из торговых казаков); за городом он озеро спустил; говорил, что для жителей оно вредное; целое лето канаву копал и выпустил; так, — говорил, — воздух здоровше будет, и т. п. Из мелких черточек обывательских рассказов и из более содержательных рукописных воспоминаний караковского Шагана¹⁾ и для нас вырисовывался образ гражданского подвижника необыкновенно сильной, твердой и непреклонной души; образ одинокого мыслителя с головою, всегда полной мудреных социологических задач, которые он упорно пытался разрешать в одиночку, чисто диалектическим путем; наконец, образ своего рода рыцаря Тогенбурга, на всю жизнь сохранившего в юношеской свежести глубокую, нежную, до смешного заботливую и преданную любовь к своей далекой Ольге Сократовне и к своим детям, которых он покинул, когда они были еще мальцами. За восемь тысяч верст от них, через пятнадцать лет после разлуки, он мысленно все время был с ними, хотел по письмам шаг за шагом следить за их развитием, пытался и отсюда быть участником их интересов, их другом и чуть ли не репетитором²⁾. Таков был этот проповедник свободы чувства в его собственной жизни. Отсюда с вероятностью можно предположить: он представлял себе любовь по своему личному внутреннему опыту и для такой-то любви и требовал свободы.

Чернышевский своей личностью и своей жизнью комментировал проповедь свободной любви в определенном смысле, и в этом истолковании новая мораль принималась нами как нечто возвышенное и благородное. Но интересно: как истолковал бы принцип свободы чувства господин Свидригайлов?... Свидригайловых в нашей среде не было, но вот Моисей Гуревич (будущий провокатор Гурович) был в нашей среде, и этот мужчина, не принимавший никакого участия в наших многословных умищованиях о любви, на деле избрал „любовь“ как бы своей профессией и комментировал принцип свободы чувства совершенно неприемлемым для нас образом. Он избегал предосудительных, — спора нет! — но все же не связанных ни с какою ложью, мимолетных отношений с какими-нибудь отпетыми бабенками или гулящими девченками, в которых не бывает недостатка ни в Сургуте, ни в Вилуйске, ни где угодно. По его собственным объяснениям, он был для этого слишком брезглив и эстетичен. Хотя среди гулящих встречаются и недуренькие, но они так нечистоплотны! И притом же тут есть риск для здоровья. Как бывший фармацевт, он хорошо знает, как много молодых людей страдает от последствий их неосторожности. Все грубое его отталкивает. Нам этого, может быть, не понять, но он орга-

¹⁾ Воспоминания В. Н. Шагана: Чернышевский на каторге и ссылки. СПб., 1907. — *Ред.*

²⁾ См. письма, напечатанные в книге „Н. Г. Чернышевский в Сибири“. СПб., 1912 — 13. — *Ред.*

нически не выносит ничего вульгарного! Ему нужна во всем хоть тень изящества... И он повсюду, где ни жил, находил „тень изящества“ в сближении с замужними женщинами из состоятельной обывательской среды. Тут, конечно, не было риска для здоровья, которым так дорожил этот господин, но тут была сплошная ложь на три стороны сразу. Его дамы не были потаскушками, и ему всякий раз приходилось разыгрывать перед ними роль пламенного Ромео и повторять перед каждой все те же фразы о „родстве душ“ и тому подобном, тогда как для него-то все дело сводилось к „сохранению здоровья“. Всякий раз он должен был ухищряться в изыскании наилучших способов вождения за нос недогадливых мужей, с которыми он старался поддерживать наилучшие отношения. И, наконец, всякий же раз ему предстояло считаться с понятиями ссыльного товарищества и объяснять доверчивым людям свое поведение наилучшими мотивами. Если перед женщинами он принимал позу Ромео, то с нашей братней надо было вести игру в другом стиле и говорить языком Кирсанова из романа „Что делать“, Рязанова из романа „Трудное время“, и многих иных героев самых ходких романов шестидесятых и семидесятых годов. „Ну да! он любит эту женщину! ее прекрасная душа способна к более высокому развитию, и он поможет ей из пошлой обывательницы превратиться в мыслящее существо. Ее муж, этот грубый мужлан, духовно ее не удовлетворяет. Она мечтает о служении народу, и он, Гуревич, выведет ее на этот светлый путь“ и т. д. и т. д.

На первый раз это сошло. Мертвая форма брака столкнулась с живым чувством одухотворенной идейной любви. Ну, конечно: живому чувству надо предоставить простор.

Во второй раз то же самое объяснение могло бы показаться странным. Но тут подоспела сургутская история¹⁾ с ее передрыганиями. Гуревич держался в этой истории молодцом; но его сослали вместе с другими. „Ну что тут копать в интимной жизни товарища! Слаб он оказывается по женской части, но в общем, право же, не плохой малый, — ведь вот как он ругался с исправником! Не будем поминать ему об этом казусе“.

Прибыли сургутяне в Виллюйс. Мигнуть не успели, — у Франта уже третий роман. Между первой главой этого романа (встреча героя с героиней) и той главой, где стыдливые авторы прежних времен бывало ставили много-точие, прошло, как кажется, не более трех суток... Неужели опять „истинная любовь?“ Сургутяне сконфуженно смотрели друг на друга и не знали, как заговорить с франтом на эту тему. Не могли собраться с духом. Стыдно было.

На этот раз положение осложнялось тем, что неутомимый „развиватель“ жил с товарищами на одной квартире, а с мужем его дамы, как с единственным интеллигентным человеком в городке, мы, прочие, с первых же дней вступили почти в товарищеские отношения. То он к нам, то мы к нему (а жили мы в близком соседстве), — ну совсем как со своим братом-изгнанником, и в то же время жена этого господина для нашего общества

¹⁾ О „Сургутской истории“ — см. выше.

совсем не подходила. Дочь местного богача, она была обучена грамоте, очень немногому другому и тем манерам, которые в Вилюйске считались светскими. Этим ее образование и ограничилось. Семнадцати лет от роду она обнаружила зачатки черезчур пылкого темперамента, и матушка поспешила выдать ее замуж за первого „приличного“ жениха. Таким оказался сорока-двухлетний интеллигент, сильно поживший, попустившийся и пьющий. Девчонка пошла за него с охотой, правильно соображая, что с таким-то мужем ей и будет раздолье: переведут его по его службе в город побольше, — в Якутск или в Иркутск, — где будет много мужчин молодых, веселых, красивых, и уж тут-то она свое навестает. Раньше, чем это случилось, вожделенный молодой мужчина сам появился здесь, в Вилюйске, — рослый, по ее понятиям удивительно элегантный и явно готовый к услугам прекрасных дам по всякому их желанию. Оба поняли друг друга при первом же обмене улыбочками, и через несколько дней старый и малый в городке уже знали, что тут одним рогиносцем стало больше. Дольше всего, как водится, оставались слепы — муж и... мы, сожители Франта. Проводя вечера у своего гостеприимного соседа, мы не обращали внимания на то, что его жена часто куда-то исчезает и отсутствует подолгу. Сама по себе она никого из нас не заинтересовала и нам и в голову не приходило загадывать: а где она теперь может быть?

Велик был наш конфуз, когда мы узнали уже от посторонних, что дама бывает в эти часы именно у нас в „Тундре“, где наш Франт „развивает“ ее в своем духе.

Выходило так, что мы служим для него ширмой, а наша артельная квартира превращена в какой-то дом свиданий.

Это было уже слишком. У нас состоялся совет, и мы сообща поставили Франту на вид: в какое же положение он нас-то ставит перед обманутым мужем? Мы что же, пособники и укрыватели что ли для его похождения? В его сердце мы не залезаем; хочет он разводить амур с женой нашего приятеля — чорт с ним, пусть амурничает! Но в таком случае пусть он оставит нашу квартиру и предается своему занятию где угодно на стороне, но только не у нас в доме.

Франт принял наше увещание весьма близко к сердцу. Он бледнел, краснел и в своих патетических объяснениях воспроизвел перед нами все модуляции голоса и все жесты, какие он еще гимназистом переимчиво усвоил от раздражительнейших трагиков не то елисаветградской, не то мариупольской сцены. — „О если бы мы побывали в его сердце! О если бы мы могли догадаться о его страданиях! У него такая чуткая душа. Он чахнет, как цветок в пустыне без женского участия. Таким, как он, женская ласка необходима, как воздух... Но он все-таки никогда не позволил бы себе злоупотребить нашим доверием и заводить какие-то шуры-муры за нашей спиной. Это она во всем виновата. Одна она! Он умолял ее не бегать сюда, как только мы за дверь... Ведь это так близко: тут и муж может увидеть... Но мы не знаем силы женских страстей, а его рок судил всегда быть их жертвой“.

Но, впрочем, он клянется, что впредь этих посещений не будет. После этого мучительного разговора он поставит на своем".

Мы приняли это объяснение с очень кислым видом, но потребовать от него, чтобы он тотчас же убирался вон, у нас не хватило духа. Ну что мы за пуритане, чтобы шельмовать человека за слишком вольное толкование принципа свободной любви? Не нравится нам его понимание? — Ну так мы же и не обязаны сами поступать подобно ему. А что дает нам право непременно подтягивать и другого под свою мерку? Разве мы в силах доказать, что „любовь“ — вот там-то, а на вершок пониже — там уж не любовь, которая все извиняет, а грязь, которая нам претит. Ну нам претит, а ему вот нет... Теоретически наша позиция, с точки зрения наших собственных принципов, в этом случае была не из сильных, но помимо всяких теорий, по непосредственному чувству, нам все-таки претило, и мы хоть и не протурили его на этот раз со своей квартиры, но дали ему понять, что его положение в нашей среде висит на волоске и что он нам не ко двору. Выгнать его из артели без всяких разговоров нам мешало, между прочим, и то, что у него не было никаких самостоятельных средств к жизни. В артели он все-таки был с грехом пополам сыт, а перебиться одному ему было бы очень трудно. Удалить его из артели в тамошних условиях жизни это значило бы почти то же, что высадить человека с корабля на пустынный остров. На такую крутую меру у мягкосердечного Тарасыча не хватало жестокости, а у Яковлева не хватало уверенности в том, что мы имеем дело с подлинным негодяем. Яковлев обнаруживал склонность поддаваться тому самообману, который я часто замечал в отношениях весьма порядочных женщин к весьма не порядочным мужчинам. Так приятно думать, что оказываешь на слабого человека благотворное влияние, что спасаешь грешника от окончательного падения и, быть может, сумеешь вывести его на стезю добродетели!... Эта женская черточка была очень заметна в отношениях Яковлева к нашему женюлюбивому попутчику по революции, — настоящим товарищем никто из нас его не считал. Сам Гуревич, при всей его ограниченности, был не лишен способности принаровляться к нужным ему людям. Еще в Сургуте он принял к Зотову и Яковлеву, стоявшим в тамошнем товариществе всего более на виду, и обнаруживал к ним обоим глубочайшую преданность и полную готовность идти за ними в огонь и в воду. Он с кротостью выслушивал их наставления и их укоризны после какой-нибудь нравственной промашки с его стороны и всякий раз с большим чувством давал клятвы исправиться. Яковлеву хотелось верить, что этот „еще не вполне определившийся, несколько неустойчивый человек“ может выправиться, и он верил.

В первые дни знакомства я принял от сургутян их взгляд на Франта и держал себя с ним не так запросто как с другими, но все же не смотрел на него волком. Однако, с каждой неделей нашей совместной жизни надежда на возможность для такого фрукта из гнилого превратиться в свежий во мне убывала. Таяла она и у Викторыча. Мы оба не раз, оставаясь в кругу своих, заводили речь о том, что пора бы нам от этого гуса отделаться и предложить

ему в категорической форме поселиться от нас отдельно. А то что в самом деле? Все мы имеем определенные интересы, — он им совершенно чужд; если пытаются иногда подделаться под наш тон, то ведь подделка бьет в глаза и его слушать противно. Все мы работаем, — он хоть бы пальцем шевельнул. Торчит среди нас, как пугало на огороде, а нравственная ответственность за его поступки все-таки ложится тенью на всех. Для того, чтобы извергнуть его совсем из среды политических ссыльных, пожалуй, и нет оснований. Но для удаления из нашей артели достаточно и того, что он для нас не подходит. Не изгнать его с позором мы с Викторычем предлагали, а просто удалить с квартиры. Но другие двое сожителей и на это не шли. „Жестокое! Это может его озлобить против товарищества. Это может подтолкнуть его к нравственной гибели!“, — вот были их доводы. И мы с Викторычем умоляли.

В первые недели после приезда в Вилуйск я исподволь наблюдал за своим странным сожителем и видел в нем просто курьезный уникум, попавший в нашу среду из совершенно иного мира. Его духовное содержание казалось мне до такой степени убогим, что в начале лесных работ, т.-е. всего через два месяца, я самоуверенно полагал, будто этот уникум исследован мною со всех сторон, классифицирован, и поставлен на подобающее ему место с пометкой на этикетке: „*Cynoscephalus magnificus* ¹⁾ — экземпляр редкой типичности“. Мысленно прилепив к нему этот ярлык, я утратил к достаточно изученной особи всякий дальнейший интерес. У меня не возникало никакого побуждения ни к пренебрежительным шуточкам, которыми нет-нет и допекал его Викторыч, ни к полным уничтожающего презрения замечаниям о его личности в его же присутствии, какие не раз ему приходилось выслушивать от нашего невозможного по его прямолинейности Техника. Тот, бывало, смотрит-смотрит на Франта с нескрываяемо-гадливой усмешкой, да и брыкнет, обращаясь к нам:

— Вы бы на нем хоть воду что ли для артели возили. А то ведь в своем вечном безделье зажиреет он у вас до безобразия. Даже и для дам станет негоден. А не то на корде погоняли бы по двору. Это на конских заводах всегда практикуется с большою пользою. Советую и вам. В его же интересах.

Франт бросал на Техника злобный взор и бурчал что-то невнятное, а в отсутствии Техника цедил по его адресу сквозь зубы: „пси-хо-ппатт!“, находя в этом слове такое же полное оправдание своей собственной личности, как в применении к Викторычу в слове „ю-хо-ффобб!“

Способность существовать на свете, не питая ни к чему решительно никакого интереса и так-таки ровно ничего не делая, и сама по себе была в этом субъекте изумительна, но еще изумительнее было то, что его внутренняя жизнь оставалась так же пуста, как и внешняя, и он этим несколько не тяготился. Несколько тяжеловатым чертам своего лица, от природы довольно красивого, он старался придать выражение горькой грусти и томной мечта-

¹⁾ *Cynoscephalus* — павиан.

тельности, но от этой маски все-таки веяло холодом и полной неподвижностью духа. Незаметно было, чтобы он кого бы то ни было или что бы то ни было любил, кроме своего тела. Незаметно было, чтобы его к чему бы то ни было тянуло. О чем он мог мечтать, когда лежал часами на своей кровати, созерцая потолок? — О московских ресторанах, в окна которых бывало заглядывал с улицы, возвращаясь из аптеки в свою конуру? О шикарных женщинах, которые проносились мимо него в колясках по Петровскому парку, когда он плелся пехтурой?... Несомненно только об этом или о чем-нибудь подобном.

Обделив его способностью к мышлению и непомерно сузив доступную ему сферу чувствований, природа взамен чрезвычайно обострила его восприимчивость к некоторым простейшим ощущениям, преимущественно вкусовым и осязательным. Всегда медлительный в движениях, он не ел, а кушал, с полузакрытыми, масляными глазами смакуя каждый кусочек рыбки, когда такой деликатес появлялся за нашим скудным и грубым столом. Надевая свежее белье, он весь пожимался и казалось вот-вот замурлычит от удовольствия, как кот при щекотке. Он млея и таял, вспоминая, каким вкусным блюдом угощал его однажды за ужином какой-то тарский обыватель.

Вспыхивали какие-то огоньки в его глазах и тогда, когда речь заходила о денежных расчетах по нашим артельным закупкам у местных лавочников или о торговых оборотах Михалевица. Тут он сразу как-то умел и проявлял несвойственную ему в чем бы то ни было явную быстроту соображения. Иной раз в такие моменты у меня являлась недоуменная мысль: „да он, пожалуй, не так глуп, как кажется!“. Но переходил разговор на другие темы, — и Фрагт опять становился сам собой: был торжественно туп и напыщенно фразист, притом почти всегда невпопад.

В нашей среде люди ценились по развитию в них как раз обратных качеств: по пренебрежению ко всему житейскому и по их „идейности“. Гуревич это знал и усердно пытался загримитаться в нашем вкусе, но выполнял эту задачу слишком аляповато и неумело. Легче всего ему было напустить на себя непримиримую революционность. И он был революционер, как десять Маратов. Поминалось при нем имя Плеве, и с уст этого молчаливика как бы невольно срывалось: „вот бы кому хорошую бомбу!“. Упоминалось о Романовых, и тот же поборник свободы изрекал с неумолимым видом: „их надо истребить всех!“. — „Уж так-таки непременно и всех?“ — насмешливо спрашивал Викторич. Гуревич обрубал: „всех!“, и погружался в молчание весьма довольный собой.

Труднее ему было подделаться под интеллигентность и под разнообразие умственных интересов. Ведь он был не речист и в тех редких случаях, когда пытался ввязаться в общий теоретический разговор, быстро запутывался и попадал в просак, обнаруживая свое крайнее невежество. Однако, у него хватило смекалки вывернуться и в этом трудном положении, как ему казалось, без риска провратиться. Говорил он мало, но зато чрезвычайно старательно и пространно сочинял „письма к друзьям“. Никаких друзей у него не было, но он упорно называл своими друзьями всех популярных в нашей среде людей,

с какими ему приходилось хотя бы мельком встречаться в местах ссылки или на этапах. Еще дня за три до почты у него делалось дело. Он начинал высиживать письмо к одному из своих „друзей“. Такая манера писать к „друзьям“ по тщательно обдуманным черновикам несказанно меня изумляла. Всякий из нас писал к товарищам или разговаривал с ними, несколько не обдумывая ни своих речей ни своих писем; просто высказывался по ходу своих мыслей, как они сами слагались, без всякой заботы о стилистике. Но Гуревич буквально потел над своими черновиками и, закончив работу, любил прочитывать их вслух перед кем-нибудь из сожителей, скандируя периоды и усугубляя прочувствованной тонировкой глубокий смысл придуманных фраз. В начале знакомства случилось и мне раза два прослушать такие произведения. Они были в своем роде замечательны. У Гуревича на столе дежали две стопки очень аккуратно уложенных книг. Обе стопки сохраняли свой порядок ненарушимо до приближения почтовых дней. Наш Франт никогда ничего кроме романов не читал. Но садясь за обдумывание письма „к другу“, он извлекал наугад два-три увесистых тома и начинал их перелистывать в поисках подходящих цитат. Лежали у него на столе все наотбор книги преумные, о которых в нашем кругу много говорилось и хорошее знание которых в глазах компании украшало собой человека: „Основания Социологии“ Спенсера, что-нибудь по философии, по общей биологии и т. п. Облюбовав какое-нибудь место, Гуревич начинал свое письмо несколькими фразами о том, как он горячо любит и как живо помнит своего адресата. Затем следовало несколько фраз в меланхолическом тоне: „ах! было время! была молодость! были друзья!.., а теперь?-увы!“. Теперь он живет в полярной пустыне (это слово никогда не отсутствовало); живет среди дикарей, почти не имеющих человеческого облика. „Помнишь ли ты, дружище, что говорит Спенсер об абинонах?“, — и тут-то и вклеивалась цитата об абинонах. „А как тебе нравятся обычаи туарегов? право, они похожи на вилюйских обывателей!“, — и со страниц Спенсера притягивались за уши туареги. Через несколько строчек следовало размышление о том: стоит ли жить? не составляет ли мир только призрака? — и выписывались от абзаца до абзаца целые параграфы из случайно подвернувшегося под руку Шопенгауера; все это с легкой перестановкой слов, иногда с невольным перевираньем смысла, и без указания источника. В заключительной части длинного письма неизменно осыпалось проклятиями жестокое правительство, которое так безжалостно губит „лучшую русскую молодежь“, и делался глухой намек на то, что истерзанный муками ссылки, автор письма близок к самоубийству.

Проскандировав перед кем-нибудь свое глубоко меланхолическое послание, автор кушал с особенным аппетитом, сдавал письмо на почту, и на две следующие недели отдавался своим обычным занятиям: долгие часы проводил перед складным зеркальцем, чистил ногти, пересматривал и выглаживал все морщинки на своем платье, медленно прогуливался по городку и его ближайшим (не иначе как самым ближайшим) окрестностям, а с наступлением темноты надолго куда-то исчезал.

Так протекала жизнь „страдальца“, пока не разразился скандал.

Это случилось не скоро. Уже в конце лета. Много помогало Франту то, что все мы со дня на день ожидали его исчезновения из Вилюйска. В канцеляриях Якутска уже шла переписка о том, что он, скитаясь по Сибири, до сих пор не отбывал воинской повинности. Вскоре его наверно должны были вытребовать отсюда, чтобы забрать на службу либо в Якутске, либо в Иркутске. Кроме того, все мы были слишком заняты нашими артельными делами, большую часть времени отсутствовали, и в сущности обращали на него мало внимания. Не торчал он у нас перед глазами, мы о его существовании просто забывали. А он, пользуясь этим, подвигал свои дела к такой цели, какой никто из нас, даже я, и в уме не держали ему приписывать. Сказал бы кто со стороны — не поверили бы. Ругнули бы сказавшего, как грязного клеветника.

К моменту развязки этой истории мы уже не жили в „Тундре“. Начальство, наконец, разрешило нам занять флигелек при тюрьме Чернышевского, и все наши артельщики поселились там, перетащив туда же и мои вещички; сам же я не возвращался теперь с работ обедать и отсыпаться в город. Рубка леса у нас давно закончилась, и с первых чисел июля мы взялись за косьбу. Выкашивали мы благодатнейшие луга на огромном острове длиною в несколько верст, лежавшем на реке повыше Вилюйска. По стародавнему обычаю этот остров предоставлялся городским обществом в пользование исправников, а те сдавали его на подряд кому-нибудь из якутов: сорок возов следовало поставить для исправника, а что накапывалось сверх того, то все шло якутам. Все луга этого острова, как говорили старики, никогда не выкашивались целиком; было их слишком много и были они очень разного качества, а при достаточных силах и усердии можно было наставить там до двухсот возов. На это лето подрядились коспами к исправнику мы на тех же условиях, как раньше якуты, с надеждой наготовить для артели, помимо урочных, уж мало-мало возов хоть шестьдесят. Каждый день нам приходилось, полураздевшись, перебираться в брод через довольно широкую и тогда еще глубокую старицу реки Вилюя ¹⁾. Потом надо было при неумолчном звоне и яростных нападениях отовсюду, пригнувшись и отмахиваясь ветками, бежать, подобно обезумевшим телятам, болотными тальниками сквозь гущу остервенелого комарья. Потом надо было еще пробраться через рогатый завал всякого рубняка и валежника. Он служил своего рода китайской стеной, ограждавшей островные луга от городских стад к осенней поре, когда наполовину обмелевшая старица переставала служить для скота непреодолимым препятствием. Каждый год завал подновлялся жителями и представлял собою широкую препону саженой высоты и циклопического вида. По ту ее сторону мы появлялись с несколькими лишними ссадинами, ушибами и царапинами. Только через добрый час хождения по мукам мы выбирались, наконец, на широкий простор первого луга, рассти-

¹⁾ Мне передавали, что теперь эта старица уже обмелела и прежний остров примыкает к берегу. — И. М.

лавшегося перед нами приветливо, нахучего, бело-розово-лилово-золотистого. с шелковыми травами по пояс, с бархатными мхами под ногой. В дальнем конце дуга, за строем высоких осокопей, таилось тихое озерце, а под охраной этих великанов издаലെа манила взор чем-то скромно-милым, наввно-кокетливым крохотная юрточка. Она долго оставалась необитаема и при ближайшем осмотре оказалась полуразрушенной, но мы с Тарасычем в первый же день ее несколько подправили и учредили в ней свое постоянное становище. Позже, чтобы не терять сил и времени на переход сюда из города и обратно, я перенес в юрточку свой постельный войлок (он же в путях—подседельный потник), свой испытанный во многих бедствиях романовский полушубок (он же—зимнее одеяло), и на всю сенокосную пору водворился тут. Жил на острове с косой, с топором и с револьвером, отделенный от суеты земной ревнивым завалом, густою рощей, непроходимыми джунглями и умирающей речной протокой. Теперь ночи были уже темные, и я начинал одинокую работу по холоду, при первой алинке заранья, а товарищи приходили попозже, когда росистый дуг уже начинал подсыхать и весь золотился, а с приближением темноты они поворачивали домой и устало брели в свое неблизкое новое обиталище при бывшей тюрьме. С городом и с разными городскими делишками я лично и раньше-то ничем не был связан, а теперь и подавно ни о чем городском у меня и мысли не было. Переселившись на остров, я с ним сроднился и был близок к ожиданию, что скоро со мной заговорят понятным для меня языком все духи лугов и рощ этого многобрасочного, разнообразно-душистого, то светло-радостного, то язвочно-грустного мира.

Однажды после великолепного кулеша на этом чудном острове косили мы вдвоем с Викторычем и были оба в полном раже. Босые, в рубашках с вольно-растегнутым воротом, размахивали своими сверкающими лытовками и шли впереводку, молчаливо и сосредоточенно. Видим: появляются из лесочка две фигуры—Тарасыч и Яковлев; двигаются спешно. Что,—подумаешь,—их так гонят? Подошли они поближе; смотрим: оба они злоющие-презлющие. У Тарасыча в руках какой-то сверток в газетной бумаге. Воткнули мы свои косы в землю, ждем. Тарасыч подошел и буркнул гневно: „садитесь-ка!“. „Что, думаем, за чорт такой?!“... Сели. Уселись против нас и те оба. Тарасыч положил сверток на отrostки скошенной травы, развернул бумагу и говорит: „любуйтесь!“.

Мы вытаращили глаза и ровно ничего не понимали: перед нами сверкали, рассыпавшись, как горка бирюлек, прехорошенькие вещицы, всё больше бриллианты и золото; всё это старинное, полновесное и должно быть очень ценное.

— Мило? — багровел от злости, спросил Тарасыч.

— Что за чужь?! — дались диву мы оба.

Последовало объяснение.

Зашел Тарасыч к Лобачихе ¹⁾ рассчитываться по артельному забору припасов за месяц. Лобачиха хороший тон знает: приняла его, как подобает солид-

¹⁾ Заменяю в этом случае настоящую фамилию вымышленной. — И. М.

ной коммерсантке принимать солидного покупателя, — провела в гостиную, распорядилась... ну там чайек, конечно, коньячек, и всё как следует. Тут же вертелась и ее замужняя дочка (дама нашего Франта). Разговор велся степенный, всё шло как нельзя более чинно. Старуха на минуту вышла в свою спальню менять деньги (у ней там стоял какой-то заветный сундучек). Пользуясь моментом, дочка шасть к Тарасичу, и Бог знает откуда в руках у нее появился довольно объемистый пакет. Очень волнуясь, она сунула пакет Тарасичу на колени и успела сказать только одно: „передайте, пожалуйста, Гуревичу“, — в это время у дверей послышались шаги старухи. В великой простоте своей души Тарасич подумал, что дама своему другу пирожков напекла. Раньше она при таких же обстоятельствах сунула Тарасичу записочку. Грубо оборвать женщину наш мягкосердечный староста бы, конечно, не в силах, но Гуревичу тогда же им был сделан резкий выговор: „знает ведь тот, что мы держим в этой истории строжайший нейтралитет; раз ему уже отпели; что же он путает других в свои пошленькие интрижки.... Ну нечего там спорить! Конечно, — интрижка и только.... Чтобы вперед никаких таких передач не было! Иначе разговор с ним будет короткий“. Гуревич прочувствованно извинился за свою даму и поклялся, что сделает ей надлежащее внушение. И все-таки: опять Тарасича заставляют быть посредником между немалыми любовниками! Ему это крепко не понравилось, но строгая мать уже приближалась, читать нотацию греховоднице было не время, и сунул наш староста предполагаемые пирожки к себе за пазуху. Подивился при этом, что пирожки такие тяжелые и жесткие. Вернулся домой, развернул пакет и обомлел. Был не только поражен, а прямо напуган тем, что увидел. В страхе и в негодовании поспешил в комнату Яковлева, и оба они тотчас же вызвали Гуревича к допросу: это что такое?

В первый момент Гуревич растерялся и был жалок как ворюшка, ожидающий, что его сейчас станут бить. Но уже через минуту он воспрял и сразу взял высочайшую ноту: „О! неужели его подозревают в чем-то грязном?! Его, столько раз доказавшего свою преданность нашим высоким идеалам! Ну как не понять, зачем ему понадобились эти ценности?.. И при том это не он поручал передать ему вещи через Тарасича. Наоборот: — это она необдуманно поторопилась и набросила на него эту ужасную тень... Он не посвящал нас в свои замыслы только потому, что товарищи сами определенно уклонялись от всякого вмешательства в его драму. Ах! если бы мы знали, какой ад у него в душе! Как истерзала его эта история, — наверно последняя в его недолгой, — он это чувствует, — уже недолгой жизни!... Да! Он решил извлечь эту женщину из того омута, в котором она задыхается. Он решил освободить ее во что бы то ни стало от ее тирана-мужа и подготовить ей побег. Она выедет в Якутск и оттуда в Томск, где поступит на фельдшерские курсы... — Это не он; это ей Викторыч внушал, а он ее только поддерживал с тем, чтобы она впоследствии могла честно разойтись с мужем и жить собственным трудом, а не позорить себя, оставаясь законной содержанкой нелюбимого старого пьяницы. К несчастиям у него нет ни гроша (а будь у него

хоть что-нибудь, он отдал бы ей все до последней рубашки!). У нее на руках тоже ничего нет, а ее приданое в распоряжении ее тирана. У нее только и есть, что фамильные бриллианты да кое-какие безделушки, но и те хранились не у нее, а в одном из комодов в спальне ее матери. Их можно было бы продать; конечно, не в этой трущобе, а в Якутске, через евреев-ювелиров из уголовных ссыльных, с которыми он успел познакомиться при своем проезде. В Якутск его должны будут отправить не вынче-завтра. Ну вот, у них и было решено, что она тайно извлечет свои вещицы из комода и передаст ему для продажи, а деньги он вручит ей в Якутске, куда она примчится вслед за ним... Это не ему пришло в голову. Он ведь так непрактичен! Это она придумала. Он был даже против. Но если бы мы видели ее отчаяние! Он не так жесток, чтобы оставить ее без поддержки. А тут для нее все-таки блещет последний луч надежды на спасение... Вот в чем дело... А мы? Как могли мы допустить относительно него такие гнусные подвормы? Его сердце разбито! Он никем, никем на свете не может! Он никому на свете не может больше верить... О! как он ошибался в людях!!!!

Его объяснение было с начала до конца неправдоподобно. Тарасич и Яковлев сказали альфонсу, что драгоценностей они ему, конечно, не передадут, а вернут их владелице, а относительно того, как быть дальше с ним самим, пойдут на остров и посоветуются с товарищами... Ну, вот они и пришли. Что мы скажем?

Говорить тут долго было нечего. Дело казалось достаточно ясным. Не даром, видно, Франт и раньше путался не с проститутками, а с богатенькими. Припомнили сургутяне кое-какие факты в прошлом, и теперь эти факты внезапно осветились для них совсем по-новому... Так вот оно как! А они-то судили и рядили обо всех его подвигах этически, эстетически, психологически... А тут вот какая „психология“.

Не столько взбешен, сколько удручен был раскрывшейся грязью Василий Яковлевич. Неужели все время он покровительствовал... альфонсу?! В нашей среде... Ну все-таки как бы свой... Или этот Гуревич до того глуп, что просто не понимал всей зазорности своего поведения и мог думать, что он действительно поможет шальной бабе таким нелепым и сомнительным способом?! Ведь вот дубина!

— Не дубина, а прохвост! — бесповоротно возражали мы, трое остальных. Это в чем другом он глуп, а во всем, что касается золота, бриллиантов и тому подобного, все мы по сообразительности в подметки ему не годимся. Не замечали вы разве раньше, как он делает каждую рублевку? чуть не целует ее!.. И откуда у него взялись знакомства с ювелирами? Почему он раньше ни полсловом не обмолвился перед нами о том, что он в Якутске успел снюхаться с какими-то уголовными ссыльными? Зачем ему такие знакомства? Почему никто из нас не связывается с таким человеком?.. А наконец, этот фантастический „побег“! Подумать только: женщину по ее положению зовут в лицо на сотни верст кругом. По пустынному тракту незамеченной ворона не пролетит. А она без отпуски от мужа, без документов, вдруг „примчится“

к нему в Якутск. Да без бумаг кто же ее „помчит“ за семьсот верст? Ведь тут, кроме казенных станочников, „мчать“ некому. Путник верхом, ямщик верхом, багаж вьюком за ними, — вот здесь какая езда; и это по казенной дорожной; а не то так с товарным караваном, — тоже верхом, по топям, по болотам, не иначе как целой гурьбой... И оба они это знают. И тут-то, видите ли, прекрасная амазонка тайно „мчится“ к своему возлюбленному, который все время не в тюрьме, так в казарме, но всегда под надзором сотни глаз... А затем: самая необходимость такого идиотского побега. Ведь это для красоты слога Франт может называть нашего соседа „тираном“, а мы то, да и Франт не хуже нас, отлично знаем, что этот плачевный муж не тиран, а попросту — тюфяк. Поговорить бы с ним по душам Яковлеву, а то и мне, — и несомненно „тиран“ и вид же бы выдал, и в деньжонках не отказал бы. Самому ему гораздо лучше сплавить подальше блудливую бабенку, чем служить посмешищем для досужих языков целого округа... И никакой „драмы“ во всем этом нет; есть только самая дрянная пошлость. И конспирации тут совершенно ненужны. Вся эта конспирация только туман для обморочивания двенадцатилетней простушки... Наше решение в таком небывалом случае может быть только одно: бриллианты вернуть дурочке со внушением: впредь быть умней; а мерзавца выпшвырнуть вон сию же минуту. Чтобы духа его в нашем доме не пахло! и чтобы он своей физиономии нам больше не показывал.

Яковлев против этого не возражал. Но он напомнил еще раз, что истерпевавших улик, юридически достаточных для открытого признания Гуревича альфонсом и мошенником, у нас все-таки нет. Наше предположение о мотивах его действий вероятно, но не вполне несомненно; оно исходит из нашей общей, еще ранее сложившейся у нас оценки его личности, и не составляет неопровержимого вывода из фактов. Поэтому выгнать Гуревича из артели следует, но без публичного опельмования, на что мы не имеем нравственного права. Потому же и в объяснениях с дамой не следует касаться личности Гуревича и высказывать перед ней всего того, что мы об этом ферте думаем. Надо только раскрыть ей полней всю непрактичность ее плана, всю затруднительность для Гуревича, в его положении ссыльного и не нынче-завтра солдата, реализовать редкие, бросающиеся в глаза ценности и т. п.

Возвращение бриллиантов и разговор с дамой были возложены нами на Тарасыча. Он принимал вещи, он пусть и отдает; притом, он и человек мягкий: сумеет поговорить с женщиной ласково, душевно.

Противоположная задача — вышибание Гуревича, для чего по ходу переговоров могла бы, пожалуй, понадобиться и физическая сила, — это выпало уже на мою долю. Гуревич знал по некоторым шуточным состязаниям прежнего времени, что я физически гораздо сильнее его, и, повидимому, несколько меня побаивался. По характеру предстоящих объяснений такое соотношение сил казалось нам весьма нелишним для нашего парламентаря.

Злой и решительный, зашагал я в тюрьму, чтобы поскорее выполнить свою отвратительную миссию. Через час, не больше, был у флигеля. В момент

моего появления осужденный лежал на кровати в своей всегдашней позе, — с глазами в потолок. Когда дверь рванулась, и в комнату быстро вошел я, он понял все; страшно побледнел и затрясся весь мелкой дрожью, как слабые люди при виде эшафота.

Взяв стул, я сел рядом с ним и заявил без всяких предисловий: — Мне поручено предложить вам немедленно оставить нашу квартиру и нашу компанию.

Рослого и дюжего малого трясла лихорадка, и он смотрел на меня с ужасом. Я был этим удивлен. Уж если человек так долго и так коварно водил нас всех за нос и втапывал в грязь всё то, что для нас было свято, то значит: [и верования ваши для него — вздор, и мы — ослы, и чорт ли ему в нашем мнении?!... Но тогда это было поруганное самолюбие, то ли боязнь за свое положение в обывательском обществе и за успех своей авантюры, то ли животный страх, что вот-вот и его станут преболно бить, но только будущий провокатор был раздавлен и корчился, как клоп на огне... Мне мало понятны глубины шпионской души, и я в этом случае, как Ньютон, „*hypotheses non fingo*“, но факт налицо: человек, который впоследствии пролил столько крови, и не только русской, но и соплеменной ему еврейской ¹⁾, когда его выгоняли из крошечного кружка бесправных и нищих политических ссыльных в самый глухой момент их политического существования, дрожал мелкой дрожью и как-то по-своему мучился.

Несколько оправившись, штукарь попытка лепетать что-то такое о своем благородстве и в доказательство того, что сам Зотов к нему хорошо относился, порывшись дрожащими руками в ящике стола, стал совать мне в руки какие-то письма. Я думал, что это письма Зотова, и заранее пожалел, что вот — и такой хороший малый как Зотов, а все-таки попал впросак с этим негодяем. Каково же было мое изумление, когда при беглом взгляде на пачку, которую упорно подсовывал мне Гуревич, я заметил на листах хорошо мне знакомый почерк самого Гуревича.

• — Это что же такое? — вырвалось у меня по моей недогадливости.

— А это черновики моих писем к Зотову, — тронутым голосом вразумил меня Гуревич, — вы можете видеть, что так интимно, с таким полным обнажением своей души, можно писать только к ближнему другу.

— А письма самого Зотова у вас есть? — уже несколько недоверчиво спросил я.

— Ах! Николай Львович столько пережил за это время! То он был в пути, а теперь эти ужасы... Он еще не успел мне ответить.

Отвергнув рассмотрение достаточно мне известных литературных упражнений самого Гуревича, а равно уклонившись от всяких погружений в психологию, чего эта угнетенная невинность усиленно добивалась, я черство повторил, что пришел только с тем, чтобы помочь ему поскорее выбраться, что времени у меня нет и что разговаривать с ним нам больше нечего.

¹⁾ Гуревич, как это теперь удостоверено, был одним из подготовителей книжечного погрома 1902 года.—И. М.

Видя, что дело непоправимо, Гуревич пообещал мне приискать себе квартиру в тот же день и очистить наше помещение не позже завтрашнего утра.

Я встал и ушел, не прощаясь.

Больше я с этим „деятелем русской революции“ уже никогда не встречался. В ближайшее время и слышал о нем очень мало. Но зато лет через десять дошли и до меня слухи о каком-то подозрительном петербургском литераторе Михаиле Ивановиче Гуровиче¹⁾, и не сразу я сообразил, что этот „литератор Гурович“ есть не кто иной, как наш вилюйский Моисей Гуревич, — полнейший невежда по образованию и альфонс по профессии, что не мешало ему позже прослыть литератором и стать почти особой какого-то там, и не совсем уж маленького, класса. Его-то руками, как и руками многих вполне ему подобных, последний представитель Гольштейн-Готторпской династии поддерживал свой шатающийся трон. Доставили этот древний трон очень веселым дамочкам различные лейб-кампанцы и преображенцы, среди которых были и такие орлы, как Миних и Потемкин. Позже служили трону „без лести преданные“, но зато и бездарнейшие Аракчеевы, Бенкендорфы, Клейнмихели. А в последний момент только и оставалось трону опоры, что Гуревичи и Азефы... Это называется: со ступеньки на ступеньку.

У иного, — как в свое время у В. Я. Яковлева, — после сказанного в тексте еще может оставаться тень сомнения: да не ошиблись ли мы, приписывая Гуревичу стремление обокрасть доверчивую женщину? Не думал ли он и в самом деле только помочь ее нелепому побегу? В устранение такого сомнения считаю излишним сообщить кое-что из дальнейших походов нашего Фронта. В Якутске его действительно привлекли к отбыванию воинской повинности. Мы, все прочие вилюйцы, сидели тогда в углу верст за двести от города и с другими ссылными имели мало общения; выезды были для нас связаны с большими затруднениями. О наших вилюйских друзьях у нас не было охоты много распространяться; не до того нам было, да и противно такую грязь размазывать. Так как неопровержимых доказательств сознательного альфонсизма со стороны Гуревича у нас не было, то, когда приходилось о нем упоминать, мы ограничивались небрежным отзывом, что это мол дурак и, как кажется, порядочное дрянцо, а в подробности не вдавались и не добились его исключения из всякой вообще ссылной среды. Ну как нам было бы обосновать подобное требование? ведь он еще не обокрал женщины; это мы только предполагали, что он собирается ее обокрасть... В городе meantime, „солдат из нашей братии-политиков“ успел втереться в доверие к некоторым ссылным, получившим к тому времени разрешение властей пожить там для излечения или по другим поводам. Он был так предан интересам ссылного товарищества! Он был так услужлив! С особенной готовностью он брался

¹⁾ О „литераторе Гуровиче“ — см. статью Клейнборга — „Былое“ кн. 16.

ходить на почту, относить и получать посылки и денежные переводы. Грязли, мороз ли, — идет, бедняга, укутавшись своим солдатским башлыком; плетется по чужим делам, не ленится... Позже выяснилось, что все посылки, проходившие через руки этого самоотверженного товарища, неизменно исчезали. К тому же времени по письму одного западно-сибирского ссыльного получила огласку только теперь вскрывшаяся отвратительно грязная подоплека тарского „романа“ нашего героя.

Дальнейшее пребывание такого субъекта в ссыльной среде стало невозможно, и он исчез из Якутска, — дослуживал свой срок в Иркутске, где крестился, переменял фамилию и присосался к новой даме. Яковлева к этому времени уже не было в Сибири, и он ничего этого не знал... Через несколько лет он встретился в далекой России, при совершенно изменившихся условиях, с сильно изменившимся по внешности „Гуровичем“, и тот, растрогавшись при встрече, поспешил раскрыть перед „старым товарищем“ свою истерзанную душу и выяснить, сколь глубоко мы ошибались в понимании его благороднейшей и бескорыстнейшей роли при попытке „спасти“ вилюйскую даму. „Гурович“ теперь оказывался, по его словам, уже финансистом и дельцом с широкими связями в денежном мире. Но он сохранял глубокую преданность „делу“. Он сгорал желанием быть полезным „единственному, — как доказали нам Струве, — революционному классу“ — пролетариату, в идеологам которого, как он слышал, присоединился теперь и Василий Яковлевич. Это именно то направление, которому и он, Гурович, особенно горячо сочувствует. Его связи и его средства дают ему возможность оказывать пропаганде марксизма всестороннее содействие... Не устоял Василий Яковлевич перед соблазном „использовать“ для революции и этого „недалекого, но преуслужливого малого“... Последствия этого известны.

И. И. Майнов (Саратовец).

Темное дело.

I.

В момент объявления войны крейсер „Аскольд“ находился во Владивостоке, далеко от главного театра войны. Первое время он крейсировал в Индийском океане, сопровождал транспорты из Гонг-Конга в Сингапур, из Коломбо в Бомбей, в Аден. Служба была тяжелая, напряженная; преследовала неотступно боязнь германских подводных лодок, — но боевых столкновений не было, неприятеля не видали. Одно время, в октябре 1914 года, разыскивали пресловутого „Эмдена“, который показывался чуть ли не во всех морях и океанах одновременно. „Эмдена“ не нашли и продолжали конвоировать английские транспорты из Коломбо в Аден. Наконец, в ноябре пришел приказ следовать в Средиземное море. Театр военных действий придвинулся вплотную.

Весь 1915 год „Аскольд“ провел у восточного побережья Средиземного моря. Передышки почти не было. В боях крейсер, правда, не участвовал, если не считать сравнительно легких атак германских подводных лодок. На долю его выпала роль посыльного судна. Он принимал участие в блокаде сирийского побережья; крейсировал между Порт-Сандом, Александреттой, Салониками, Пиреем, посетил чуть ли не все важнейшие греческие порты. Его привлекали и к знаменитой Дарданелльской операции, но дали роль второстепенную, как бы „на выходах“: крейсер был уж из немолодых, и союзники отдавали предпочтение боевым единицам своего флота. Побывал „Аскольд“ у Имброса и у Мудроса, высади даже десант и затем три месяца топтался на одном месте вместе со всей англо-французской армией. Лавров в этой операции „Аскольд“ не стяжал, но и тяжести провала всей затеи не разделил. Участвовал он в деле больше ради символики союзного объединения и для закрепления в случае удачи прав России, которая имела бы возможность водрузить и свой флаг в Константинополе.

За все это время в жизни крейсера „Аскольд“ особых внутренних происшествий не было. Жили, как на всех военных кораблях. И команда и офицеры подчинялись строгим законам и правилам морской службы, которыми предусмотрена и до последних мелочей размерена и определена вся внутренняя жизнь на корабле. Рядом с этими писаными законами, инструкциями и циркулярами действовали не менее строгие и категорические традиции, вошедшие

и плоть и кровь каждого офицера и матроса. Не было повода и оснований сомневаться в святости и неизбежности законов и обычаев. Дисциплина не нарушалась. Напряженная жизнь, полная тревог и смертельной опасности, ее поддерживала. Бессонные вахты, непрерывные дежурства, вечная — в течение ряда месяцев — готовность к бою с невидимым врагом, все это не давало времени к размышлениям, сомнениям, критике. Война была объявлена, и ее надо было вести, и формула войны была проста и понятна.

Корабль казался благополучным, был на хорошем счету. Посторонний взгляд не открыл бы ничего подозрительного в многосотенной команде обычных средних русских матросов; не задержался бы и ни на чем отличительном в небольшой группе командного состава. На „Аскольде“ в 1915 году из Салоник в Тулон ездил министр финансов и остался доволен поездкой, крейсером, командой. Все были дисциплинированы, вышколены, службу несли исправно. За годы плавания не было случаев открытых столкновений начальства с командой. Проступки были обычные, мелкие. В портах матросы напивались иногда сверх меры и опаздывали на судно; бывали нарушения караульной службы. Все это входило в средний установившийся порядок. Были более исправные и менее исправные матросы; более послушные и менее послушные, иные даже с склонностью к дерзости.

Была дисциплина, не было моральной спайки. Боевая жизнь не связала между собой офицерский и матросский состав нитями более прочными, более интимными, чем воинская дисциплина. Как на всех судах русского дореволюционного флота, офицеры были особым классом, особой кастой. В сухопутной армии оковы часто сближали, роднили рядовых солдат и боевого командира. Под жестоким артиллерийским и пулеметным огнем падали некоторые условные перегородки. Одна и та же вошь ела подчас и капитана и солдата, и землянки их немного отличались друг от друга. В сухопутной армии, особенно в пехоте, командный состав был демократичнее и проще по происхождению и по своим навыкам. На военном корабле, — не подвергавшемся к тому же военным бурям, — кастовые перегородки сохранялись с прочностью броневых. Офицер, даже низшего ранга, был недосыгаем. Это было тоже освящено традициями флота, и на „Аскольде“ эти традиции свято оберегались. Команда это принимала, как должное. Она подчинялась беспрекословно своим офицерам, хотя несколько их не уважала. И, повидимому, их не за что было уважать.

В руках небольшой группы лиц была власть над кораблем и над сотнями простых людей, которых можно было послать на смерть, и они пошли бы и умерли. Почти два года офицеры плавали на одном судне с матросами, — горсть русских людей, затерянных среди чужих океанов и морей, бесконечно далеко от родины, лицом к лицу со смертью. И не образовалась из этих людей одна родная семья. Офицеры остались такими же чужими и далекими, как в первый день, когда они вступили на палубу „Аскольда“. Матросы относились к ним с враждой, к другим — равнодушно; к немногим — с теплотой и расположением. Но ко всем — как к чужим, к „барам“. Менее всего это могло огорчить высшую аристократию корабля. Ни законами, ни инструкциями

не предписывалась сердечная, интимная близость между офицерами и подчиненными. Не уважение требовалось от команды, а подчинение. И если команда подчинялась, то все обстояло благополучно.

Что за безнадежно серый, духовно убогая публика собиралась в кают-компании „Аскольда!“ Командиру сама судьба дала подходящее имя: Иванов 6-ой, — один из бесчисленных Ивановых, полудюжинный, не только по нумерации своей, но и по душевному складу, и по умственным способностям.

По традициям морской жизни он стоял, правда, вне кают-компании, над ней, не сливаясь с прочей офицерской братией. Все же его моральное влияние сказалось бы, если бы на его месте был человек с сильной волей, с живой и богатой душой, умеющий собирать вокруг себя людей, пробуждать в них интерес к делу, к жизни. Иванов 6-ой не плохой был командир, и добрый, мягкий человек. Но он так же равнодушно, деловито и спокойно отбывал свою службу, как и другие. К нему относились благожелательно и безразлично. Старшие офицеры были хорошими чиновниками, исполнительными службистами. Одни были грубы с подчиненными и матросами, бранились неприличными словами, могли в раздражении „заехать в морду“, другие были более сдержанны. Но умственный кругозор и одних и других был почти в равной степени ограничен. В кают-компании было скучно, общие интересы, помимо чисто служебных, отсутствовали. Как и на всем корабле, и здесь не было спайки. Кое-кто интересовался войной, следил за газетами. Другие и тут не шли дальше элементарных сведений и общих мест. На „Аскольде“ был священник. Он равнодушно и холодно отправлял службы, грубо и презрительно относился к матросам и иногда ругал их скверными словами. Матросы не любили его и исподтишка над ним смеялись. Врачи, старший и младший, могли бы составить судовую интеллигенцию; но и они словно были обращены в серую краску крейсера: такие же, как все, холодные, безучастные к матросам чиновники, поглощенные только службой и своими личными интересами.

II.

Восемнадцать месяцев непрерывной напряженной работы на море, в условиях постоянной опасности и страха перед подводными лодками, дали себя знать. Распался механизм крейсера, распались и нервы команды. Все устал. Однообразие жизни утомляло до крайности. На втором году войны усталость почувствовали и сухопутные войска. Они все же были либо на родине, либо вблизи нее; войны бывали в отпуску, не прерывалась связь с домашними, они были среди своих, состав непрерывно обновлялся. А здесь, в голубых водах Средиземного моря, „Аскольд“ был осколком русской территории, оторвавшимся от материка и брошенным надолго в чужую среду. Письма с родины доходили с трудом, редко. Прямой связи с Россией не было. До войны „Аскольд“ стоял во Владивостоке, на краю света, и были среди команды такие, которые уж восемь лет не были дома. Об отпусках нечего было и думать. Сначала казалось, что война вот-вот кончится, и „Аскольд“ победителем вернется на родину. Увлекала перспектива падения Константи-

нополя, прорыва через Дарданеллы. Но война затягивалась и угрожала стать бесконечной. Вместо прорыва с эффектом, налета на Константинополь установилась скучная прозаическая блокада.

Война надоела. Это сказалось в упадке настроения, в повышенной нервности, „раздражительности“ всего населения крейсера, его верхов и низов. Нельзя было говорить о нарушении дисциплины, и всё же чувствовался надлом в ней. Офицеры это улавливали в оттенках голоса матросов, в выражении их глаз. Участились мелкие проступки. На крейсере, в строю команда была попрежнему исполнительна; но на берегу, в портовых кофейнях матросы отводили душу в обычных матросских ругательствах. Как и во всяких командах и частях, были и на „Аскольде“ отчаянные головы, непокорные натуры, которых с трудом и не до самого конца обламывала суровая морская дисциплина. Обычно они ничем от других не отличались, тянули свою ляжку, а если и выражали протест, то исподтишка, в укромном уголку, среди верных друзей, в отсутствии унтер-офицеров или заведомых науплишков. Но в хмелю, накачавшись на берегу, они иногда вдрызг разносили все начальство и пересыпали крепкую матросскую ругань общими и неопределенными угрозами. Явление это было обычное, ему не придавали особого значения и наказывали за него не строго.

Люди нервничали. Офицеры придирались иногда по пустякам и старались поднять падающую дисциплину обычными средствами усилённых репрессий. Старший офицер Быстроумов, человек по натуре жесткий и грубый, ругал матросов последними словами и угрожал „списать“ при первом же случае с корабля. От него по мере сил не отставали лейтенант Корнилов, инж.-механик Петерсен. Пошла полоса „подтягивания“. Офицеры не раз говорили вслух, что команда испортилась, с нею надо расправиться,—это обижало и озлобляло матросов. Со своей стороны и команда стала требовательнее. Один раз отказались принять пищу, ссылаясь на то, что мясо не свежее. Мясо было свежее, но верблюжье, неприятного вкуса. Чтобы не осложнять инцидента, начальство уступило. По мере того как война затягивалась, продовольствие ухудшалось. Причины были общие, но матросы всю вину приписывали офицерам и были убеждены, что их обкрадывают. Неврасивые махинации обнаружились при выдаче матросам денег из судовой сберегательной кассы. Заведывал кассой „батюшка“. Вносили матросы свои деньги франками, а выдавал их „батюшка“ по сложному расчету на курс русского рубля. Расчет этот был матросам непонятен, и сложилось у них твердое убеждение, что их надуют. Священник Антонов в объяснения не входил, был груб, циничен, и матросы охотно верили, что он наживается на их счет.

Атмосфера на судне испортилась, насыщена была недоверием, взаимной враждой, подозрительностью. Это в особенной степени испытывали на себе средние слои судового населения, поставленные между офицерами и командой,—унтер-офицеры, боцманы. Они были передаточным аппаратом репрессий, подтягивания, угроз. От них начальство выводило о настроениях команды и делало их своими доверенными лицами. Но многие унтер-офицеры были

ближе к рядовой матросской массе, тяготились войной, тосковали по дому и так же, как матросы, были враждебно настроены против офицеров.

Чуткие люди, внимательные к нуждам и запросам простой массы, могли бы понять причины перелома в психологии матросов и участливым отношением помочь бы пережить кризис. Но над многосотенной массой истосковавшихся, издерганных и в сущности полубольных людей, нуждавшихся прежде всего в отдыхе и покое, стояли равнодушные к ним и ограниченные чиновники, — люди не злые, но тоже уставшие до последней степени, с издерганными нервами, привыкшие только командовать и не знающие иного, кроме командного, отношения к простому народу. Они все были проникнуты убеждением, что с матросами надо обращаться только „строго“ и что просто человеческое отношение к команде есть слабость, распушенность, недопустимая и смешная сентиментальность.

Команда отбивалась от рук, и это приводило старших офицеров в озабоченность. Команда платила офицерам той же монетой.

Так складывались отношения на „Аскольде“, когда в конце января 1916 года последовало распоряжение „Аскольду“ — идти в Тулон для длительного, основательного ремонта.

III.

Отдых, покой, мирная жизнь, безопасность... Нет бессонных тревожных ночей, нет призраков вездесущих подводных лодок. Приткнувшись у набережной, „Аскольд“ словно задремал после долгого бурного скитания. И сразу произошел перелом в психологии, в настроениях, в образе жизни и командного состава и матросов. И те и другие с головой ушли, окунулись в оживленную мирную жизнь большого портового города, с его приманками и соблазнами для изголодавшегося по вину, по женщинам матроса. Офицеры словно размякли. С ремонтом не торопились, да и нельзя было к нему приступить, не было свободных мастеров и рабочих, не было необходимых материалов. Шли предварительные переговоры со всякими инстанциями в России и Франции, с инженерами и заводами. Крейсер стоял с разобранными машинами, и делать на нем пока было нечего. Офицерам, особенно молодежи, корабль надоел, и большинство съехало на берег, разместилось по частным квартирам в городе и за городом. На крейсер они показывались только для отбытия дежурства. Бывало так, что на крейсере оставался только один офицер. После восемнадцати месяцев плавания офицеры старались развлечься как могли: о кутежах моряков „Аскольда“ вскоре заговорили в военных сферах Тулона. Повидимому проявлялись в этих кутежах некоторые русские черты распушенности, потому что на офицеров „Аскольда“ стали коситься не только военные, но и гражданские власти.

Ремонт был затеян в широких размерах, и видно было, что „Аскольд“ не скоро выйдет снова в море. Офицеры стали устраниваться прочно. Командир снял загородную дачу и выписал из России жену. К другим офицерам тоже приехали, к кому — жена, к кому — невеста. Некоторые свели знаком-

ство с местным французским обществом. Всех, конечно, тянуло на родину, в Россию, — но жить можно было и здесь, и недурно жить. Делать в сущности нечего было, крейсер посещали только по необходимости, на короткое время. Связь с командой окончательно ослабела. Офицеров очень мало интересовало, чем и как живут матросы, лишь бы сохранялась внешняя благопристойность, и не было резкого нарушения дисциплины. На все прочее смотрели сквозь пальцы. Дежурства и вахты отбывались кое-как, войны как будто и не было.

Команда, как и офицеры, на первых порах отводила душу в бутылках и пьянстве. Это было в порядке вещей, даже узаконено традицией. Пьянство на берегу после долгого и опасного плавания почти легализовано — в известных, конечно, пределах. Матросы посещали кабаки и дешевые театры, заводили свои знакомства в публичных домах, делали покупки и возвращались в пьяном виде на крейсер, где было пусто и скучно, и нечего было делать. Они были в несравненно худшем положении, чем офицеры. Подлинные пьяницы было немного. Большинство отдало душу в первые дни и стало пред многомесячным бездельем в чужом городе, далеко от родины, без всякой надежды свидеться с родными, без возможности выписать сюда жену или невесту. Крейсер опустылел, но уйти с него некуда было и нельзя было. Участилось число „нетчиков“, то-есть таких, которые по два, по три дня оставались на берегу, не являясь на крейсер в урочный час. „Нетчиков“ наказывали, и самое тяжелое наказание было — „без берега“. Это наказание налагалось на разные сроки, на недели и на месяцы, и в условиях вынужденного безделья оно равнялось принудительному лишению свободы. Несколько сот здоровых молодых людей томилась и скучали в большой стальной, непригодной для мирного жилья казарме, и не было ничего, что могло бы заполнить их досуг, и не было из офицеров ни одного, кто поставил бы целью развлечь, заинтересовать матросов, дать необходимую духовную пищу.

Начиналось неизбежное, но для постороннего глаза еще не заметное положение. Офицеров и прежде не уважали; теперь о них отзывались насмешливо-цинично. Крейсер стоял с разобранными машинами, и работы не производились. Почему? Команда не знала в точности и делала свои предположения. Выяснилось, что в Тулоне вообще чинить корабль нельзя, и надо его по соседству отвести в Лисейн. После долгой стоянки его повлекли туда. Но и там стояли в бездействии, и лишь спустя долгое время появились французские мастера и стали что-то делать. Их было до смешного мало, и это были не настоящие мастера, а какие-то старики и мальчишки. Матросы и механики подсмеивались над ними и находили, что они не то делают и не так, как надо. Свой инженер-механик Петерсен, которого команда не любила за грубость, высокомерие, появлялся иногда, бросал беглый взгляд на работы и уходил. У команды сложилось убеждение, что дело нечисто, что ремонт в значительной степени выдуман начальством в личных и корыстных интересах, командир и старший офицер ставнулись с французским заводом и т. д. На эту тему матросы говорили почти открыто, не стесняясь присутствием унтер-офицеров и боцманов, которым тоже странным казался скандальный характер ремонта.

Впрочем, об этом говорили не только на крейсере. Французские власти с неудовольствием смотрели на русский военный корабль, засевший прочно в мирной гавани и неторопившийся обратно на театр военных действий. Об „Аскольде“ в Тулоне говорили с обидной насмешкой. Командир во всем винил бюрократию петроградского морского министерства и французской специальной комиссии. Из Франции в Россию и обратно шли бумаги с запросами, вопросами, разъяснениями и дополнительными объяснениями. Русское командование в Петрограде посылало сердитые телеграммы и требовало выхода крейсера в море к определенному сроку. Командир Иванов 6-й препирался с французскими инженерами и успокаивал Петроград. А к обещанным срокам „Аскольд“ все стоял на одном и том же месте у набережной, и все такой же у него был мирный и домашний вид. Французы иронически улыбались и делали неслестные намеки, матросы „Аскольда“ убеждены были, что начальство кормится ремонтом и не спешит расстаться с доходной статьей. А офицеры ничего этого не замечали и вели покойный и рассеянный образ жизни. Они великолепно знали, что англо-французская эскадра в „Аскольде“ не нуждается. и отсутствие „Аскольда“ никому и ничему не угрожает.

Офицеры, в особенности старые служаки, преданные своему долгу и влюбленные в порядок, стройность, чистоту и дисциплину военного корабля, видели, конечно, что команда опустилась. Лейтенант Быстроумов называл неоднократно вслух „Аскольд“ матросским крепким словом, обозначающим публичный дом, обещал всех подтянуть и с некоторыми жестоко расправиться. Но ни он, ни другие офицеры не замечали, что матросы не только распушены, а действительно изменились, и что перемена эта глубже и сильнее, чем обычное матросское „баловство“.

Как ни оторваны были матросы от России и как ни были они одиноки на чужбине, а все же здесь на берегу и до них стали доходить голоса из России и стали встречаться русские люди. Письма получались редко, но попадались русские газеты, преимущественно „Русское Слово“. Дело было в начале 1916 года, когда резко обозначился перелом в настроении русского общества, и сквозь патристические газетные речи все более громко и сердито прорывались оппозиционные ноты. Матросы читали и комментировали, иной раз оригинально и по своему. Войну они видели не из театрального зала, а из-за кулис, наблюдали своими глазами дарданельскую операцию и не видели особого смысла в своей гибели в чужом море ради Константинополя. Война затягивалась, становилась будничным делом. Собираясь кучками на баке, матросы не раз толковали о том, долго ли еще протянется война и что будет после войны. Озлобление и тоска окрашивали эти разговоры в тон, враждебный начальству и власти. В кофейнях матросы встречались иногда и с русскими людьми, не то „вольными“, не то беглыми солдатами. От них узнавали и о революционных идеях и даже получали иногда заграничную русскую литературу. В головах матросов бродили новые мысли, неясные и спутанные. И выражалось это иногда в уродливой и странной форме. Некоторые матросы, возвращаясь в пьяном виде на крейсер, к обычной

крепкой брани присоединяли неопределенные угрозы по адресу офицеров: „Погодите, мы вам покажем! Придет и наш час!“. Этими угрозами особого значения не придавали и смотрели на них, как на обычное пьяное матросское бахвальство.

Бывали угрозы и другого рода. Во время войны не только на кораблях, но и на заводах распространена была боязнь взрывов. Всюду искали и видели германских шпионов, закладывающих бомбы, адские машины, бифордовые шнуры. Боязнь была преувеличена, временами становилась магией; но основания для такой боязни были. За время войны было взорвано в разных местах несколько заводов и кораблей. Для германских агентов разлагающаяся, полная острого недовольства и злобы среда матросов „Аскольда“ должна была представлять немалый соблазн. Но и без всяких агентов могла в минуту раздражения сорваться у того или иного матроса шальная фраза о взрыве крейсера. Этому тоже не придавали значения.

На Пасху 1916 г. группа матросов уехала в отпуск в Париж. Пробывши они там недолго, веселились и благополучно вернулись. Но после этого и пошли на „Аскольде“ иные времена.

IV.

В Париже матросы „Аскольда“ встретились с русскими эмигрантами. Знакомство началось случайно, в какой-то захудалой фотографии, но слух о русских матросах, бродящих по кафе Парижа, распространился очень быстро в русской колонии и заинтересовал эмигрантскую публику. В Париже эта публика изнывала без дела и вела междоусобную войну. Матросы дали повод к очередному столкновению между „оборонцами“ и „интернационалистами“, — не на верхах, впрочем, и не в штабах главных кружков, а где-то на периферии, среди исполнительской агентуры. „Интернационалисты“ спешили „в два счета“ внедрить основные формулы Циммервальда в матросские девственные головы; „оборонцы“ же старались, предохраняя матросов от порчи, укрепить в них патриотизм, но подорвать в то же время веру в начальство. Матросы залпом хлопали абсент и брошюры и благодарили своих учителей, не проводя между ними тонких программных различий и усваивая из кашки взглядов, формул, лозунгов и резолюций то, что всего больше подходило к собственным матросским настроениям. Уезжая из Парижа, матросы наладили связь с эмигрантскими кружками и условились о получении литературы, легальной и заграничной.

В Париже матросы получили некоторые общие указания по части конспирации и первое время тайлись. Но затем чтение газет стало обычным явлением на крейсере. Читали „Русское Слово“ и парижское „Наше Слово“ и вслух комментировали. Публика стала втягиваться в разговоры с неопределенной общей политической окраской. Интересовала собственно не чистая политика, а будущая жизнь: вот кончится война, — а что ее надо кончать, были уже все убеждены, — и пойдет все по старому, впереди каторжная работа, а то и сума. Доставалось немало русским порядкам, но всего больше собствен-

ному начальству. Офицеры замечали, что произошла какая-то перемена в матросах, но не улавливали, в чем тут дело, да и не интересовались особенно этим вопросом. Внешне жизнь шла попрежнему, разве что заметно сократилось пьянство. Офицеры над этим не задумывались. Чтение русских газет и какие-то знакомства с „вольными“ на берегу не привлекли особого внимания. Как ни беспечны были офицеры, однако и их стороной коснулись какие-то новые веяния, в которых они толком не разбирались. Они слышали, — по крайней мере некоторые из них, — о русском волонтерстве во Франции, о патриотическом настроении видных русских революционеров. Имя „лейтенанта Лебедева“ было достаточно популярно в русских кругах заграничье. Поэтому и командир и старшие офицеры сквозь пальцы смотрели на чтение газет и на новые матросские знакомства и никакой тревоги не испытывали. Доходили, правда, до них слухи о каких-то „пораженцах“, работающих на деньги германского императора Вильгельма, но сами они этих „пораженцев“ никогда не видели и не думали, чтобы „пораженцы“ могли пробраться на крейсер.

И вдруг, — словно гром среди ясного неба, секретные и тревожные телеграммы из Петрограда, из Парижа: среди матросов „Аскольда“ ведется революционная пропаганда, „пораженцы“ чуть ли не овладели уже кораблем, германские агенты, шпионы, золото и т. д. И строжайшее предписание: немедленно изъять, прекратить, довести, арестовать. Командир и его ближайшие помощники замечались в перепуге. Внезапная атака немецкой подводной лодки не казалась так страшна, как это отчаянное паническое улюлюканье из Петрограда. Начальство крейсера растерялось и ошеломялось до последней степени. Покой мирного ремонта был нарушен. Надо было немедленно найти и искоренить крамолу.

Выбор командира пал на инженера-механика Петерсена. Матросы не даром его не любили. Старшему офицеру Быстроумову и лейтенанту Корнилову всё же прощали их грубость, строгость; за бранью чувствовалась ошесточившаяся, но не злая душа. Петерсен бранился меньше других; но невыносима была матросам его надоедливая, мелочная, педантичная, сухая натура. Ограниченный и самодовольный, он вооружил против себя и команду, которой давал чувствовать свое к ней презрение, и младших офицеров. Никто однако не знал, что Петерсен может так увлечься сыском и что в душе скромного корабельного инженера таятся богатые жандармские способности.

Петерсен начал с внезапного обыска. Матросы были выстроены на палубе под надзором офицеров, боцманов, фельдфебелей, и в это время Петерсен собственноручно с помощью надежных унтер-офицеров перешарил матросские сундуки и шкафчики, ничем не гнушаясь вплоть до детального обследования грязного матросского белья. Улов был небогат, всё же найдено было несколько номеров „Нашего Слова“ и кое-какие брошюры довольно безвредного в общем характера. Допрашивание никаких результатов не дало. Без всякого предварительного уговора матросы отвечали решительным незнанием на вопросы о зачинщиках, агитаторах и организации. Офицеры столкнулись с непроницаемой каменной

матросской стеной. Найдены были списки с обозначением фамилий и сумм,— это была складчина на выпуск газет. Мгновенно пароль облетел все палубы: говорить, что собирали подписку на граммофон. Так и показали, ни один не выдал.

Начальство было взбешено. Старший офицер топал ногами, называл матросов тут же на палубе непотребными девками, угрожал сгноить в кронштадтских тюрьмах, повесить. Команда молчала угрюмо и враждебно.

Человек тридцать было списано с корабля и отправлено в Россию. Это означало заключение в кронштадтских тюрьмах, о которых ходили зловещие рассказы, или же посылку с особой отметкой на передовые позиции,—по убеждению матросов, на верную смерть. Затем посыпались репрессии: лишение „берега“, усиленные дежурства, запрещение встреч с „вольными“ и, наконец, что всего хуже, запрещение читать и получать русские газеты. Офицеры стали чаще являться на крейсер. И почувствовал каждый матрос на себе тяжелый, испытующий, старающийся в душу влезть взгляд Петерсена. Невидимые, липкие нити тайного надзора и смысла оплели и опутали матросов.

Атмосфера на крейсере стала сразу невыносимо тяжелой. Обыск и репрессии матросы приняли, как тяжкое и личное оскорбление. Подавляющее большинство не видело в чтении газет и в разговорах о войне ничего запретного. К этому привыкли; это скрашивало жизнь, облегчало скуку и одиночество на чужбине, открывало новый мир. Без этого оставалось прежнее: надоевший корабль, опостылевшие кафе, привычные и неинтересные дешевые французенки-проститутки. Газета связывала с Россией, говорила родным языком о важных и интересных вопросах. У матросов отняли то, что они успели полюбить и что вносило благоухающий элемент в их унылую жизнь. „Пораженцев“ между ними не было; пожалуй, и революционеров сколько-нибудь сознательных не было. Многие и не знали о заграничных запретных брошюрах, и когда стало известно, что найдены такие брошюры, они думали, что речь идет об „афонских книжках“, о брошюрах с описанием пресловутого изгнания с Афона монахов-имябожцев. Грубое и бестактное поведение офицеров, сразу взявших такой тон, словно перед ними многосотенная организация революционеров, превращало всю команду в безмолвных и озлобленных протестантов.

Офицеры видели, что матросы озлоблены, но толковали их озлобленность по своему. По общему убеждению начальства команда испортилась, опустела, развратилась, и необходимы были крутые меры. Наиболее несдержанные из офицеров открыто говорили о том, что весь состав крейсера будет раскассирован. Старший офицер Быстроумов называл матросов не иначе, как „рвань“, „сволочь“, „б... и“. Лейтенант Корнилов говорил, что он и сотни матросов не смеяет на своего красавца-дога Бима.

Тем временем проходило лето, а крейсер все стоял у стенки в Лясейне и все так же неторопливо копотился на нем десяток-другой мастеров. Дело ремонта принимало прямо скандальный характер. „Аскольд“ становился притчей во языцех в морских кругах Тулона. В Петрограде нервничали и торопили командира, командир переписывался с французскими властями и посылал теле-

граммы с жалобами в Петроград. Матросов в это, конечно, не посвящали; но работа происходила на их глазах, и они по своему толковали неудачу ремонта. Ясно им было, что начальство не спешит, потому что имеет личные мотивы к затягиванию дела. И видели они еще и другое, видели, что инженер-механик Петерсен вместо прямых своих обязанностей всецело отдался делу сыска.

Делал карьеру Петерсен или же просто и бескорыстно увлекся сыском? Неизвестно. Ему ясно было, что с крамолой на крейсере не покончено. Он не доверял матросам, видел вокруг себя заговор и поставил целью разыскать корни и нити. Обыкновенная слежка не достигала цели. Матросы не доверяли унтер-офицерам; при их приближении разговоры смолкали. Фельдфебели докладывали, что в команде о чем-то шепчутся, но о чем, неизвестно. Впрочем, и из унтер-офицеров нельзя было положиться. Большинство явно уклонялось от шпионской роли. Некоторые умышленно совершали дисциплинарные проступки, чтобы добиться перевода в матросы. Были случаи, когда исправные и трезвые унтер-офицеры вдруг запивали и скандалили. Их понижали в разряде, и они успокаивались. Петерсену удалось завербовать несколько матросов в качестве добровольцев-сотрудников. Наиболее усердствовал кочегар Ряполов. Но все это были парии, пользовавшиеся скверной репутацией среди команды. Их сторонились, они сами ничего не знали и не приносили особой пользы.

На помощь Петерсену пришла русская охранка. В одном кафе матрос Потемкин познакомился с русским „вольным“, услужливым и словоохотливым человеком. Это было еще на Пасху. „Вольный“ оказался любителем православного богослужения, хотя фамилия у него была нерусская—Виндинг. Он жаловался на скуку, одиночество в чужом городе и просил исплотать ему разрешение посещать церковные службы на „Аскольде“. Такое разрешение ему было дано, и он был единственным русским „вольным“ человеком, которому позволено было встречаться и на крейсере, и на берегу с матросами. Он сумел войти в их доверие. Матросы через него посылали письма и деньги, через него тайно получали русскую литературу и сносились с эмигрантами в Париже.

Матросам и в голову не приходило, что любезный и услужливый Виндинг в то же время встречается тайно и с Петерсеном, и с командиром корабля, что усердие к церковным службам это — остроумный план, разработанный на конспиративном совещании Виндинга с Петерсеном и Ивановым 6-м. Виндинг предложил им свои услуги для раскрытия грандиозного заговора на корабле. По словам Виндинга, предполагалось по выходе в море поднять мятеж и выбросить за борт офицеров. Для этого матросы будто бы запасались тайно оружием.

Виндинг обманывал обе стороны. Матросы верили ему, как революционеру; офицеры верили ему, как охраннику. Виндинг запутывал их страшными картинками готовящегося мятежа, а сам исподволь готовил обстановку, которая оправдала бы его донесения. Он затевал, быть может с ведома Петерсена, крупную прозокацию; она сорвалась вследствие преждевременного второго маскового обыска. Кочегар Ряполов донес о том, что принесены на крейсер лите-

ратура и оружие. Не предупредив Виндинга, Петерсен вторично обыскал все помещения крейсера. Оружия не оказалось. Но найдено было несколько экземпляров заграничного журнала „Былое“ и кое-какая эс-эровская литература. После обыска было списано с крейсера и уволено в Россию до 80 матросов. По многим признакам матросам ясно стало, что действовал тут предатель, и впервые возникли смутные подозрения против Виндинга.

Второй обыск, как и первый, не принес успокоения. Напротив, тревога усилилась. Петерсен продолжал под влиянием Виндинга искать корни и нити мятежа. Провокатор уверял, что к матросам идет нелегальный транспорт оружия, и, по выходе в море, мятеж—дело решенное. Под подозрение были взяты и некоторые офицеры. Липкие нити тайного надзора и сыска охватили и капитанскую команду, в особенности младших офицеров. Никто из них политикой не занимался, но и не все были захвачены охотой на матросов. Большинство держалось в стороне, не желая ввязываться в неприятную историю.

О подозрительной роли Виндинга догадывались на крейсере. Но и команда казалась ненадежной. Офицеры верили слухам о готовящемся мятеже и боялись выйти в море с таким составом экипажа. Матросам запрещено было иметь при себе револьверы, при обысках тщательно искали оружие. Его не находили, но верили, что где-то хранятся тайные запасы. Чтобы покончить с призраком мятежа, надо было отделаться от значительной части, если не от всей команды. Матросы это понимали. Они были убеждены, что их поголовно ждет тюрьма и что офицеры ищут случая, чтобы избавиться от надоевших и ненавистных матросов. Известно было, что из России выписаны пополнения на „Аскольд“. В воздухе скопилось гроза. Она должна была чем-либо разрешиться. После второго массового обыска Виндинг стал реже показываться среди матросов. Они ему не доверяли, но перестали доверять ему и офицеры. О нем ходили слухи, как о самозванце, который обманывал не только матросов и офицеров, но и департамент полиции. Повидимому, Виндинг задумывал что-то новое.

При внешнем спокойствии на крейсере было неблагоприятно. В начале августа при странных обстоятельствах пропали две винтовки. На ноги поднята была французская полиция, с которой и до того у начальства установились тесные отношения. Винтовки вскоре нашлись на заднем дворе того завода, который производил ремонтные работы на крейсере. Кто их похитил, осталось неизвестным; история была как-то замята. Но происходили какие-то переговоры между наиболее нелюбимыми боцманами и полицейскими, и у матросов осталось убеждение, что в странной пропаже винтовок причастен боцман Труш. Слово „провокация“ было уже в ходу на крейсере.

Не успел еще улетучиться шум, поднятый пропажей винтовок, как случилось новое происшествие. Скрылся с крейсера унтер-офицер Андреев.

Андреев выделялся среди команды тем, что был баптист, человек непылкий, тихий и не развратный. Влиянием он не пользовался, матросы относились к нему хорошо, но и не без добродушной насмешки. Он читал евангелие, политикой интересовался мало, и хотя в душе был противником

войны и говорил, что для него все народы равны, но служил исправно и усердно и на замечания у начальства не был. Слежка ничего подозрительного в его поведении не открыла. Репрессии его не коснулись; однако, при обыске и у него отобрали книги религиозного содержания. Религиозные взгляды его были известны; священник говорил о них цинично, старший офицер несколько раз обругал его грубо. Андреев был печален и тихо жаловался на тяжелые условия жизни, как и другие матросы.

У Андреева были французы знакомые на берегу. Его посещал на крейсере какой-то мальчик француз, который иногда даже оставался ночевать на крейсере. 16 августа Андреев ушел с дежурства и не вернулся. Бывало, что матросы запылаивают и по двое суток не являются на крейсер. Но Андреев никогда не пил, не играл в карты, не был знаком с подозрительными женщинами. Было ясно, что он ушел и не вернется. Это было странно и загадочно, а тут, через три дня, произошло событие, которое заставило придать его уходу особое и роковое значение.

V.

Около трех часов ночи 19-го августа, стоявший на дежурстве у офицерских проходов, матрос Семенов услышал нагромкий и глухой звук, — как будто упал тяжелый предмет или выстрелил кто из револьвера. Подошедшему в это время другому матросу Семенов сказал:

— Уж не застрелился ли офицер какой-нибудь?

И тут же прибавил:

— Одной собакой меньше.

На палубу выскочил полурасдетый мичман Гунин.

— Что случилось?

Семенов высказал свое предположение. Пошли посмотреть в кают-компанию, там было пусто и тихо. Но дневальные тоже слышали странный и подозрительный удар. И вдруг запахло дымом. Он пробивался из закрытого люка кормового погреба со снарядами. Приподняли крышку, дым повалил гуще.

Матросы засуетились, прибежал старший офицер Быстроумов, вывалил бойманов. Погреб открыли, но спуститься туда нельзя было. Стали качать в погреб воду. Полагалось бы бить немедленно пожарную тревогу; однако Быстроумов приказал не шуметь и команду не будить.

Дым вскоре рассеялся. Когда унтер-офицер Мухин, а за ним бойман Труш и старший офицер спустились в погреб, они нашли на полу осколки разорвавшегося снаряда и остатки сгоревшей швабры. Первая мысль была о самовозгорании пороха. Но дальнейшие розыски тут же обнаружили фитиль, свечу и спички; а дальше оказалось, что погреб был открыт поддельным ключом, а трубки в трех снарядах вывинчены. Не было ни малейшего сомнения в умышленности взрыва. В погребе было свыше тысячи орудийных снарядов. Покушение было выполнено грубо, неумело; при лучшей и более искусной подготовке легко мог погибнуть весь крейсер с мирно спавшей и ничего не подозревавшей командой.

Пожар быстро потушили. Из погреба вытащили снаряды. Все кончилось благополучно. Большинство матросов узнало о происшедшем только утром, да и то в неопределенной форме. Был пожар; говорят, что поджог; в погреб спускались только офицеры и надежные унтер-офицеры, и что они там делали и что нашли, неизвестно. Ночью был обыск у всех гальванеров, искали ключей от орудий.

Началось следствие, и сразу же арестовано было свыше ста матросов. На крейсере создалось паническое настроение. Виновных искали среди матросов; дело было не шуточное, и на снисхождение нельзя было рассчитывать. При допросе матросам угрожали расстрелом.

Первое подозрение пало на матроса Захарова, приставленного к погребу, „хозяйина погреба“ по судовой терминологии. Он работал в „выгородке“ погреба накануне взрыва. Он был и дневальным в ночь 19 августа. Но прямых улик против него не было. В погреб спускались кроме него и другие матросы и унтер-офицеры.

Офицеры были твердо убеждены, что взрыв произведен матросами из команды „Аскольда“. Легко представить себе, с каким озлоблением относились они к тем, на кого падало, подозрение. Но и матросами овладела растерянность. Многие готовы были собственными руками растерзать виновных; с трудом допускали они мысль, чтобы свои же товарищи матросы решились погубить ночью во время сна весь экипаж.

Под влиянием угроз, растерянности, злобы языки развязались. Стали припоминать случайные слова, брошенные в хмелю тем или иным матросом, намеки, неясные слухи, бродившие на крейсере. Сплетни превращались в достоверные свидетельства, случайные слова в обдуманные речи... И все же не было никаких прямых указаний на виновников взрыва, и следствие не сдвинулось бы с места, если бы не нашелся вдруг свидетель, который все указал, все видел и нарисовал правдоподобную картину.

Этот свидетель был матрос Пивинский, вороватый и плутоватый парень, которого на крейсере не любили и подозревали в наущничестве и шпионстве. Он видел, что матросы Захаров и Бешенцев выходили из погреба накануне взрыва и о чем-то шептались. Он искал сейчас же после взрыва Захарова, но Захарова на месте не оказалось — ушел в носовую часть крейсера, подальше от места взрыва. Он видел, что в уборной в носовой части к моменту взрыва собралось несколько дневальных. С его слов известно стало, что накануне при распределении дневальных некоторые матросы, в их числе Захаров и Терлеев, просили унт.-офицера Бессонова назначить их на берег, на бак, на посты, далекие от места взрыва.

Так получилась картина, нужная следствию. Она была дополнена слухами, сплетнями, брошенными случайно словами, и все стало ясно и понятно. Вышло так, что взрыв подготовлен был давно, еще в марте шли о нем речи в команде, и один унтер-офицер, отправленный на салоникский фронт, говорил товарищам: „я, вот, уезжаю, а вы все взлетите на воздух“. Потом матрос Бирюков в пьяном виде похвалялся: „я себя покажу! все узнают, кто таков

Самша Бирюков!" Было это месяца за три до взрыва, но—все равно, решили, что относится это к взрыву. Бирюков принадлежал к числу отчаянных и буйных голов; от него можно было ожидать в хмелю скандальной выходки. Один матрос рассказывал, что как-то в кафе он слышал от матроса Лепкова, будто предлагают за взрыв крейсера 40.000 франков. Был он сам выпивши, и не помнит, сам ли это Лепков рассказывал или Лепкову рассказывали, да и Лепков был тоже пьян. Лепков, конечно, заявил, что ничего такого он не рассказывал, но следствие включило и эту сомнительную историю в обвинительный акт. Далее центральная роль в покушении была приписана унтер-офицеру Андрееву,—не случайно же он скрылся за три дня до взрыва. Но кроме того, что он скрылся, решительно ничего нельзя было сказать ни о нем самом, ни об отношениях между ним и обвиняемыми. Самое покушение произведено было так: Бешенцев и Захаров подделали ключ от кормового погреба, вывинтили ударные трубки и подложили фитиль. Унтер-офицер Бессонов умышленно так расставил дневальных Сафонова, Терлеева, Шестакова, чтобы облегчить возможность организации взрыва. После того, как подожжен был фитиль, участники заговора собрались на носу, откуда легко было спастись на берег.

Картина получилась стройная. Суду были преданы Захаров, Бешенцев, Бирюков, Бессонов, Терлеев, Сафонов, Шестаков, Лепков. Виновными они себя не признали. Суд был организован тут же на „Аскольде“, но командира Иванова 6-го к этому времени по распоряжению из Петрограда убрали, и вместо него назначен был капитан Кетлинский, человек энергичный, умный, но с матросами „Аскольда“ совершенно не знакомый.

Как ни примитивен был этот военный суд, однако и в нем эффектная картина обвинительного акта сразу была смазана и уничтожена при первых же вопросах подсудимым и свидетелям. Не было решительно никаких доказательств того, что Бессонов умышленно расставлял посты с целью облегчить подготовку взрыва. Обвинение Бессонова и дневальных Сафонова и Терлеева отпало. На случайной и пьяной болтовне о 40.000 фр. ничего нельзя было построить, и от Лепкова тоже пришлось отказать. Остались четверо: Захаров, Бешенцев, Бирюков, Шестаков. Против Захарова было одно—он „хозяин“ погреба, спускался накануне в погреб. Этого было бы недостаточно, но Пивинский удостоверял, что Захаров ушел со своего поста в момент взрыва. Пивинский играл явно сомнительную роль, его показания носили характер оговора. Суд ему однако поверил, и Захаров был приговорен к смертной казни.

Против Бешенцева был оговор Пивинского. Кроме того, установлено было что Бешенцев незадолго до взрыва покупал фитиль-шнур в судовой лавочке. Такие шнуры были и у других матросов. Эспертиза пришла к заключению, что фитиль, которым пользовались для производства взрыва, мог быть и таким, какой приобретен был Бешенцевым. Тщетно Бешенцев представлял суду остатки своего фитиля. Он был приговорен к смертной казни.

Против Бирюкова было только одно. Он похвалялся в пьяном виде, что „Самша всем покажет“. Его погубила репутация забулдыги и скандалиста. Не

имея в руках ни одной, хотя бы и козвенной улики против него, суд „признал доказанным“ его участие в заговоре и приговорил к смертной казни.

Шестаков был дневальным на посту, наиболее близком к кормовому погребу. В момент взрыва его не видели на месте. Где он был? Неизвестно. Сам он утверждал, что нигде не отлучался. Мы знаем, что вся команда была достаточно распушена, особой строгости в службе не замечалось, уход дневальных был обычным явлением. Шестаков тем не менее был приговорен к смертной казни.

Суд продолжался почти три дня. Офицеры понимали, что тайна взрыва не раскрыта, что все дело окружено загадочностью. Но преступление было слишком велико, нужна была строгая и беспощадная репрессия. Командир Кетлинский присутствовал все время на суде. Быть может, лица подсудимых говорили больше, чем их слова и чем показания свидетелей. Наконец, дело требовало непременно обвинительного приговора, нельзя же было довести в Петроград, что виновные не обнаружены и все матросы оправданы. У Кетлинского, пробывшего всего неделю на крейсере, сложилось убеждение, что подсудимые действительно виновны. Он не колебался ни минуты и утвердил приговор.

Четверо матросов подлежали расстрелу.

VI.

Команда на крейсере была поголовно убеждена в том, что осужденны невинные. Бирюкова, Захарова, Бешенцева и Шестакова после суда перевели на берег и заключили в крепостной французской тюрьме, под охраной французских властей. Там же помещались и другие арестованные по делу о взрыве матросы. Известно было, что осужденные до последней минуты отрицали свою вину. Офицерский суд не внушал матросам ни малейшего доверия.

От волнения матросов не могли ускользнуть некоторые странные обстоятельства, сопровождавшие взрыв. Матросы даже придавали, быть может, преувеличенное значение этим обстоятельствам и толковали их по своему. Почему старший офицер Быстроумов, узнав, что на крейсере, в кормовом погребе со снарядами,—псжар, угрожающий взрывом и гибелью всего корабля с экипажем, не приказал сейчас же бить тревогу, поднять на ноги людей и принять меры к их спасению? Старший офицер словно заботился всего больше о мирном и здоровом сне матросов и так и не разбудил их до утра. В погреб спустился только он и доверенные лица. Они обнаружили на месте взрыва все то, что потом служило уликой и вещественными доказательствами на суде.

Подозрительным казался и самый взрыв. Словно умышленно произведен был он так, чтобы вышло много шума, но мало вреда. Один матрос подслушал разговор между собою офицеров. Быстроумов говорил, что все прочие снаряды, находившиеся в погребе, взорваться не могли.

Но главное, что замечали матросы и чему придавали они особое значение, это — открытая, несколько не маскируемая радость некоторых офицеров.

Быстроумов, Петерсен, Корнилов так и заявляли, что теперь они расправятся со всей командой. Священник Антонов в ночь, когда произошел взрыв, был на берегу. Утром на лодке, перевозившей его на крейсер, он узнал о взрыве и с присущей ему грубостью и цинизмом заявил: „Ну, и слава Богу. Теперь, наконец, освободимся от вас всех. Вы не матросы, а...“ И не смущаясь знанием своим, он точно определил на кабацком жаргоне, как надлежит называть матросов „Аскольда“.

Сложилось, словом, у матросов убеждение, глубокое и непоколебимое, что взрыв был произведен с ведома офицеров, по их почину или даже ими самими, чтобы отделаться раз навсегда от ненавистной и опасной команды. С наличным составом матросов „Аскольд“ не мог выйти в море; офицеры боялись бунта. Нужен был повод для массовой расстрелы, и этот повод был найден в виде устройства взрыва. Помимо того, матросы были убеждены, что весь ремонт, это—сплошное и наглое злоупотребление и казнокрадство, и офицерам непременно надо отделаться от опасных свидетелей в виде матросов. Лучшее средство закрыть им рты, это—запереть их в тюрьмах, как бунтовщиков.

Было ли у матросов объективное основание так думать? Несомненно было. За несколько лишь дней до взрыва приоткрылась завеса над провокацией Виндинга. С ведома офицеров и даже при содействии некоторых из них, явный негодяй устраивал обстановку вооруженного мятежа, за который много матросов поплатилось бы головой. Не по вине провокатора не удался его подлый замысел. Но матросы и часть офицеров только смутно догадывались об истинной роли Виндинга. Он не был разоблачен. Петерсен поддерживал с ним сношения, замышлялось нечто новое. И вдруг Виндинг исчез,—словно и не было его. И следствие и суд, превосходно знавшие о проделках негодяя, даже не заинтересовались вопросом о нем, даже не попытались узнать, что делал Виндинг на судне. Старательно допытывались о всех „вольных“, с которыми встречались матросы на берегу, но словно боялись задать вопрос о Виндинге.

Там, где провокатор играл такую видную роль, где командир и старшие офицеры оказались марионетками в руках заведомого негодяя, остается слишком широкое поле для всяких загадок. Суд и не пытался остановиться на этих загадках. Приговор должен был повончить с невыносимым положением на судне, а выяснение роли провокатора только запутало бы положение еще больше. Виндинга надо было спрятать, хотя бы и пришлось осудить для этого невиновных.

Матросы молчали. Они были терроризованы. Но они не сомневались, что офицеры приносят в жертву четырех их товарищей-матросов, чтобы спасти себя.

Большинство офицеров было также смущено. Хотя официально виновники взрыва и были найдены, но ясно было, что есть загадка в этом деле, и оно остается, как и было, темным. Известно было, что осужденные подозревают в чем-то матроса Алексея Княжева и что, уж после суда и приговора, они просили командира устроить им личное свидание с Княжевым.

Это свидание состоялось. Вот как рассказывает о нем очевидец:

— Когда, ночью, суд вынес свой приговор, и мы все ушли, приговоренные потребовали командира и просили позвать к ним Княжева. Командир разрешил, и вот в каземате у пушки № 19 произошло свидание. Я отлично помню их лица и, главное, глаза. Обвиненные впились глазами в Княжева и сказали: „Сознавайся, Алеша“. Княжев ответил: „Мне не в чем сознаться“. На повторное их убеждение сказал: „А вам разве это поможет?“ И отвернулся. Это все. Этот разговор, в котором больше говорили глаза, произвел на меня впечатление, что Княжев или был главным или подговорил их, но же пойман“.

Матросы не могли пролить свет на темные и загадочные стороны дела, а власть была заинтересована в том, чтобы не было слишком много света.

Новый командир Кетлинский был назначен с прямой задачей произвести чистку команды, подтянуть крейсер и придать ему боевой вид. В его намерения не входило осложнять дело расследованием провокации Виндинга и его сообщников. Надо было спешить.

Осужденные матросы были обречены.

VII.

Приговор был вынесен 13 сентября и немедленно утвержден командиром крейсера капитаном Кетлинским.

На другой день священник Антонов, вернувшись с берега, сообщил матросам, что осужденные перед смертью во всем сознались и были затем расстреляны французскими солдатами. Матросы этому поверили. Вечером этого же дня около сорока матросов были вызваны в город для караульной службы. С ними отправился лейтенант Корнилов и лейтенант Ландсберг. На рассвете матросов привели в один из французских фортов, где уже находились старший офицер Быстроумов, судовой врач, священник и группа французских офицеров. Матросы были выстроены в шеренги, и им было сказано, что они должны расстрелять четырех осужденных. Потом вывели Захарова, Бирюкова, Бешенцева и Шестакова.

Было еще темно, и нельзя было прочесть приговор. Матросы были подавлены, некоторые плакали, двое упали в обморок. Об отказе страдать нечего было и думать. Позади матросов выстроились французские солдаты-аннамиты с ружьями на прицеле. Лейтенант Корнилов резко и грубо прикрикнул на матросов, священник говорил им: „Эх, вы, бабы! самих вас перевешать надо!“

Осужденные держались спокойно. Говорили: „Ни в чем не виновны, зря погибаем!“ Бешенцев сказал: „Господи, за что же это?“

У матросов до такой степени расходились нервы, что стрельба началась еще до команды, происходила беспорядочно, и офицерам приходилось несколько раз командовать.

Французский врач выдал такую расписку: „*Sertificat. Reçus de la part des autorités du croiseur Impérial russe „Askold“ les corps des marins ci-nom-*

més: Daniel Zacharoff, Théodore Bechentzeff, Georges Schestakoff et Alexandre Birukoff, décédés le 28 septembre 1916. Le médecin de 1 classe Dr L. Moreau".

А затем началась экзекуция над оставшимися в живых матросами. Сто тринадцать человек были отправлены в Россию под конвоем, с волчьими билетами, как бунтовщики, соучастники мятежа. Все они были брошены в тюрьмы, откуда освободила их революция 1917 года.

Цель была достигнута. На крейсере водворился прочный порядок. Всякие сношения с берегом были запрещены, матросов не выпускали, корабль превратился в тюрьму. За случайную встречу с „вольными“ русскими два унтер-офицера были разжалованы в матросы. Офицеры отводили душу; мятежа в море уж никто из них не боялся.

Новый командир оказался человеком энергичным и деловым. Матросы не любили и боялись его, но видели, что он подтянул офицеров и что при нем дело ремонта двинулось вперед. И все же двигалось оно и медленно и плохо. Только в декабре „Аскольд“ попытался выйти в море и немедленно же вернулся. Машины работали неисправно. К величайшему соблазну матросов линолеум, которым были устланы палубы крейсера, потрескался во всех направлениях чуть ли не на второй день, и матросы ступали по линолеуму, как по болоту, оставляя отпечатки каблучков. Лучшего линолеума нельзя было достать, так оправдывались офицеры, взваливая всю вину на французов. Но у матросов, старых и новых, прибывших на пополнение, было непоколебимое убеждение, что продолжается по-прежнему вакханалия казнокрадства.

С трудом выплыл, наконец, „Аскольд“ из Тулона и в середине января добрался до Девенпорта в Англии. Здесь он снова чинился, и здесь застала его февральская революция. „Аскольд“ пережил ее не так, как другие суда Балтийского флота. Ненависть к офицерам, месть и гнев вспыхнули, и тут нетрудно предсказать судьбу некоторых офицеров, если бы крейсер был в это время в открытом море. Но вокруг были грозные английские броненосцы и строгий надзор английских морских властей. Был образован комитет под председательством лейтенанта Кршимовского, одного из наиболее благожелательных к матросам офицеров. Были собрания на крейсере и речи, приезжали русские эмигранты и английские рабочие делегации. Особой популярностью пользовался Майский. Матросы свободно читали литературу и широко пользовались отпусками на берег.

Порядок на крейсере не нарушался. Офицеры остались на своих местах. Попытка насильно спровадить Петерсена не удалась; вмешались британские власти, которых матросы побаивались. Офицеры сначала растерялись, присмирели, заискивали перед матросами, а потом осмелели. Петерсен вспомнил о том, что он швед по происхождению, откровенно ругал Россию и говорил, что ему все равно, где служить, и в Россию он не вернется. Лейтенант Корнилов с отличавшей его прямой и резкостью заявлял, что он монархист, „хочу Родзянке“ служить не намерен и предпочтет уйти в отставку, чем служить и мириться с новыми порядками. Быстроумов угрожал матросам, что все они перевешены будут и „шкертов“ (веревки) на них не хватит. Вообще революция,

перевернувшая в корне все отношения во флоте, лишь поверхностно коснулась „Аскольда“. Война продолжалась. В Девенпорте и позже в Гринове, куда перешел „Аскольд“, царила атмосфера строгой морской дисциплины, и матросы на „Аскольде“ повиновались офицерам и сносили откровенные, подчас и цинические выходы Петерсена и Быстроумова. Командиру Кетлинскому удалось привлечь к себе часть команды. Он держал себя с тактом, искренно принял новый порядок и беседовал с матросами дружески и запросто. Старые матросы не могли всё же простить ему участия в казни четырех матросов. Теперь на крейсере говорили уже открыто, что взрыв был произведен провокаторами по инициативе офицеров и что погибли в Тулоне невинные.

В июне 1917 г. „Аскольд“ вышел в Мурманск. Все те офицеры, боцманы и матросы, которые имели основание бояться плавания в открытом море, остались в Лондоне. Они поступили предусмотрительно. Кочегар Риполов предполагал, очевидно, что его участие в провокации неизвестно. Он ошибался. По официальной версии он пропал без вести во время перехода с Шотландских островов на Мурманск. Попросту его выбросили за борт.

По приходе „Аскольда“ в Россию было возбуждено следствие против офицеров „Аскольда“ по обвинению в злоупотреблениях по ремонту крейсера, в жестоким обращении с матросами, в устройстве провокаторского взрыва и в расстреле невинных матросов. Следствие тянулось долго; его прервала октябрьская революция.

Капитан Кетлинский 28 января 1918 г. был убит в Мурманске выстрелом из-за угла.

Д. Заславский.

Александра Федоровна Романова.

(Опыт характеристики)

I.

14 ноября 1894 года дочь мелкопоместного герцога Гессенского Людвиг IV стала женой русского самодержца. Немецкая принцесса английского воспитания на русском троне — ей суждено было сыграть зловещую роль в истории династии Романовых. Россия редко видела, еще реже слышала Александру Федоровну. За круг придворной жизни и дворцовых сплетен ее имя не проникало. Она была безгласна и казалась бесцветной. О влиянии, которое имела царица, никто первоначально не догадывался. Да и не было основания его предполагать. Политические и государственные дела ее не касались. Общественное мнение, поскольку оно вообще оценивало быт и нравы двора, приписывало Александре Федоровне качества скромной женщины, твердые принципы семейной морали и материнскую привязанность к детям. Стиль мещанской добродетели прекрасно уживался с той посредственностью, которая типична для эпохи Николая II в преломлении государственном и личном. Царицу долго не знали и не замечали. С таким же безразличием и она отнеслась к России, став ее „самодержавнейшей государыней“. О России, ведь, так мало рассказывали английские учителя и воспитатели. Общие сведения, которые она получила, рисовали картину полудикой страны, огромной равнины, населенной отсталым, некультурным народом, далеким и чуждым. Она приехала в Петербург — и даже не в Петербург, а в Царское Село, где в богатстве и роскоши слазочной живет неограниченный повелитель российской империи. „Voilà Pétersbourg et ça c'est la Russie“ — афоризм, принадлежащий Александре Федоровне, впервые ступившей на русскую землю. Искусство жить и властвовать в такой полудикой стране чрезвычайно упрощалось в сознании немецкой принцессы.

Надо лишь поведением своим, образом жизни и мыслей не ронять авторитета царя, недосыгаемого для окружающих; надо занять первое место возле него и стать неустрашимой, незаменимой. Чувствовать себя уверенной — значит ревниво оберегать полноту власти своего державного супруга, вовремя устранять чужое влияние, от кого бы оно ни исходило. В этом смысле

царь противостоит всему народу, будь то рядовой подданный или сановник первого ранга. Александра Федоровна не искала самостоятельной популярности, не имела непосредственного общения с придворной средой; до последних лет она избегала особых приемов, не заводила своего круга знакомых и приближенных. Все внимание уходило на то, чтобы из первых рук приучать царя к мысли о безграничной власти его. В глазах Николая II она не переставала быть скромной, любящей супругой. Готовность 'оставаться всегда в тени направляла по ложному пути общественное мнение, которое преувеличивало ее непритязательность и пассивность. На самом деле, теперь, после опубликования переписки Александры Федоровны с царем выясняется, как методически и сосредоточенно она закрепляла свое влияние совершенно исключительное, никем не оспариваемое и безраздельное. В отношениях к царю связывалась система взглядов Александры Федоровны. Она восприняла российскую государственность в ее девственном, доконституционном виде и не меняла своих воззрений, первоначально усвоенных. Все, что потом происходило в России — общественное движение, революция 1905 года, манифест 17 октября, Государственная Дума, война — не в силах было поколебать упрямой, близорукой настойчивости иностранки. Для нее русский престол был центром самовластия, и вся задача самодержца сводилась к тому, чтобы найти верных и надежных истолкователей царской воли. Это была главная и, пожалуй, единственная забота. Дать содержание верховной воле, указать для нее пути и цели она не могла: мешало скудость политической мысли. Лишь один принцип господствовал над всем — неуязвимый авторитет царя. „Ты и Россия — одно“, писала она ему. „Никто не имеет права пред Богом и людьми узурпировать твои права“. . . С этой точки зрения опасность грозила с разных сторон: слишком откровенный и независимый великий князь, чересчур самостоятельный министр и недостаточно покладистый придворный — все колоди глаза. Наоборот, любой бездарный бюрократ, какая-нибудь тупая посредственность могли вызвать расположение царицы, лишь бы они слепо подчинялись ореолу самовластия. Не тщеславие, не деспотизм и не жажда господства над другими руководили Александрой Федоровной. Скорее, боязнь оказаться одинокой, неуверенность в своем положении при русском дворе, отсутствие других постоянных связей заставили ее сразу нащупать единственную опору в лице „властного“ царя и на этой основе строить свое душевное равновесие, спокойствие и благополучие царицы. Эта цель была личной от начала до конца. Ее преследовал средний, односторонне-развитый человек, женщина-чужеземка, волею судьбы, быть может, не без содействия Бисмарка, попавшая на русский престол. Понятно, что цели соответствовали средства: все средства, какие только может изобрести болезненная впечатлительность неуравновешенной женщины. . .

Она была не из сильных, однако, не настолько слаба, чтобы безгласно отойти на задний план, покориться обстоятельствам и стать просто „молчалиницей“, каких не мало было в длинной череде русских цариц. Природа наградила Александру Федоровну своеобразной настойчивостью, которую можно

даже принять за резво выраженный характер. Эту настойчивость она всеистратила на укрепление самовластия русского царя, черпая в этом источнике уверенность в своем собственном завтрашнем дне. В подобном взгляде на вещи и на будущее династии было мало прозорливости, еще меньше политического чутья. Но чтобы понять, а не судить, — в этом месте следует искать главную черту психологической загадки последней русской царицы. Ее не смущала архаичность воззрений на природу самодержавной власти, ее, получившую воспитание при английском королевском дворе. Ведь Россия, как известно со слов иностранцев, страна особенная, не чета Европе. Недаром заморские путешественники, приезжавшие еще в Московию, строили недетские для нашего национального самолюбия догадки: „дикость ли народа требует такого самовластного государя, или от самовластия государя народ так одичал и огрубел?“... Ессенская принцесса усвоила, очевидно, только первую часть оскорбительной формулы всем своим поведением подтверждавшая правоту своего убеждения.

Ее влияние на царя было рассчитанным способом борьбы за существование. Александра Федоровна раз навсегда усвоила этот расчет и уже не изменяла ему в течение всей своей жизни. Он приобрел впоследствии характер маниакальный. Этому содействовали психическая надломленность, вроде глухоты душевной. Путь перевоспитания, переубеждения был закрыт для нее. Личная жизнь, дворцовый круг не выдвигали людей, которые могли бы на нее воздействовать в иную сторону и отвлечь от навязчивой идеи. От природы замкнутая, скрытная — она в царском дворце замкнулась еще больше. Ни чужого друга, ни одного поверенного. Ни духовника, ни фаворита... И рядом на троне, в приемной, в спальне маленький, серый армейский офицер, полковник со скипетром, который с трудом тянет длинную царскую мантию и никак не может приладить огромную власть самодержца... Занять место вдохновительницы при таком малокалиберном человеке, приучить его к своей неизменной и надежной опоре — задача трудная, но благодарная. Александра Федоровна избрала этот путь и ни на шаг от него не отступала.

II.

Прямая, высокая, с неподвижным лицом — она казалась человеком, который не гнется. Что-то деревянное было во всей фигуре. Какая-то „деревоподобность“, застывшая по форме, как полагается. Хорошо умела стоять на одном месте, еще лучше выслушивать, не выражая на лице ни похвалы, ни порицания. Глаза играли подчиненную роль. Могли бы совсем закрыться без упрека. Удивительное соответствие со своим царственным супругом: его оловянный взор смущал не мало старых дипломатов и боевых генералов...

Александра Федоровна имела крупные, правильные черты лица, была хорошо сложена, даже могла казаться красивой, но такой красотой, которая оставляет равнодушным, не волнует, не зовет. Поэту умирающей династии она не давала никакого сюжета. Её улыбки никто не видел, ее жест не влечо-

али. В романтике монархизма не нашлось бы места для ее образа. Недаром ни одна дворянская шпата не была вынута из ножен в ее честь. И это не потому, что имя царицы было опорочено в последние годы связью с Распутиным. Она не воодушевляла, не озаорила. Потухшим взглядом встречали ее раненные и умирающие солдаты и офицеры, когда она, в качестве сестры милосердия, склонялась над их изголовьем. Трепет перед саном государыни и пустая условность встречи... Она не создала ни одного придворного обычая, не пустила в оборот дворцовой жизни ни одного крылатого выражения или слова. Даже дамского туалета или прически à l'impératrice никто не знал. Слышат, а не живой человеческий образ.

А между тем, природа Александры Федоровны на фоне умирающего самодержавия представляла собой интересное сочетание многих черт, из которых одни приравнивали ее к уровню людей, по выражению Никиты Панина, „принадочных“, а другие выдвигали из ряда обыкновенных. Эмоциональный сторона уступала рассудочной. „Мозг все время работает и никогда не хочет отдохнуть. Сотни мыслей и комбинаций тревожат меня“... пишет она о себе. Мозг работает, а сердце „больное“, не выдерживает ничтожного напряжения, читается кашлями 2 — 3 раза в день. „Сердце болит... Но моя воля крепка. Только бы не думать“... „На сердце такая тяжесть и такая грусть“... — этими словами буквально пересыпаны ее письма. Мысли не покидают царицу. Она думает, часами лежа в кровати, на диване, думает, стоя в церкви, на прогулке с детьми, в лазарете, на охоте, на приемах, в обществе и в одиночестве. Не все мысли значительны и даже интересны. Большинство окрашено в мрачный цвет. Всегда наворачиваются опасения, тревога или зловещие предупреждения. Но, что характеризует человека это — „осмысленное“ окружающего, уклон в сторону рационализма, гипертрофия „умственности“ даже там, где, казалось бы, для чувства открывается прямая дорога. Мысль ее не получала выхода в творческой деятельности и билась бесплодно замкнутой, бескрылой. Она разьедала всякое чувство, которое рождалось в ней: как в женщине, матери и жене. Этим и объясняется холод, распространяемый ею вокруг, и неподвижность лица, и мертвенность взгляда. В этой „умственности“ была сосредоточенность, но была и навязчивость. „Только бы не думать“... А чувство быстро вырождалось в чувственность или готовило почву для экзальтации...

Подобно росту, фигуре и внешнему виду, рассудочность ее тоже была прямой, линейной, негибкой. Умственный взор всегда видел перед собой тупик. В сознании господствовала идея безвыходности. Примириться с этим было трудно, невозможно. Психика самоотравлялась. Любой момент грозил потерей равновесия. Это означало бы — крушение всего склада жизни, мирозерцания, полная катастрофа личности. Безысходность еще более осложнялась. Душа была скова-
на порочным кругом. Самообладание покупалось дорогой ценой постепенного разрушения воли. Ко времени войны картина такого разрушения была налицо. После встречи с Александрой Федоровной французский посол Палеолог занес в свой дневник характерные строки: „... моральное беспокойство, постоянная

грусть, неясная тоска, смена возбуждения и уныния, постоянная мысль о невидимом и потустороннем, легкое верие, суеверие" ... В таком состоянии, как она стерлась наблюдательному дипломату, от видимой урловновешенности осталась только пустая оболочка. То, что таила в себе подлинная природа Александры Федоровны, стало в конце концов очевидным.

Процесс внутреннего нестроения развивался особенно благоприятно, благодаря физическим недостаткам. Алиса Гессенская принесла с собою наследственный порок развития крови, гемофилию, таинственную болезнь, которая, хотя и проявляется только у потомков мужского пола, однако, преследует род женщин, — потомков гемофиликов. Зловещий знак наследственности истреблял материнскую радость Александры Федоровны. Сколько мрачных мыслей стояли на пороге ее души и мешали проникнуть хотя бы одному трепетному чувству! Она всем существом своим рвалась к рождению сына и с тайным ужасом дождалась была ждатель роковой встречи с загадочной болезнью. Сын, наследник престола — можно ли было придумать более прочную связь с мужем и самодержцем, более могущественное оружие против всех, кто готов использовать всякое средство, лишь бы расшатать ее влияние и подорвать устои власти?.. Но произвести на свет наследника, обреченного с первых дней рождения стать жертвой дурной наследственности, не значит ли это ко всем тяготам царственной жизни прибавить еще проклятие рода и увеличить во стократ неприязнь и вражду окружающих? Александру Федоровну не покидало все время чувство ответственности, неискупленной вины. Это омрачало душу, сверлило мозг. Беспокойство за единственного сына в обычных условиях принимает всегда у матерей характер навязчивой идеи. Тем более в такой предрасположенной среде, как психическая организация Александры Федоровны. Каждый успех, каждый день роста сына был отравлен тревожным ожиданием. Ничтожный случай, незаметная царапина или ушиб могли вызвать появление кровоточивости и смерть единственного. Для ребенка было закрыто безмятежное детство, для матери — источник радостной надежды.

Наследственность осложнилась еще и по материнской линии. Мать ее, принцесса Алиса, дочь Викторини, умерла 35 лет после пережитых сильных бурь и волнений. Сердце было расстроено, нервная система потрясена. Ее брат, великий герцог гессенский, отличался странными вкусами, которые заставляли предполагать в нем черты не совсем нормального человека. Сестра — Елизавета Федоровна, жена убитого Сергея Александровича, поражала своей благотворительной экзальтацией и все время пребывала в состоянии религиозномистическом. Александра Федоровна в патологическом отношении была еще более резко выраженным типом. Она не знала дня без болезненных ощущений. „У меня каждый день болит голова. Я чувствую сердце...“, — пишет она в одном месте. В другом: — „...до смерти устаю; сердце болит и расширено“... Или — „...временами чувствую, что больше не могу, и тогда накачиваюсь сердечными каплями...“ „На сердце такая тяжесть и такая грусть...“ „Я не лишена мужества, но только такая горечь на сердце и на душе...“ Сердце расширялось от пустоты, а в голове теснились однооб-

разноназойливые мысли. Изнурительное самоуглубление нельзя было ничем рассеять. Мешал двор, условный ритуал, а больше всего она сама. Наступали минуты, когда нервы отказывались служить. И воля угасала, самообладание испарилось; открывался простор для истерики или длительной меланхолии. Александра Федоровна боялась этого перелома. Он ее смущал и угнетал. Она теряла тогда последние силы сопротивления; а ведь окружающая среда таила для нее всегда угрозу и вражду. Чтобы предупредить эти приступы болезненного безволия, она прибегала к искусственному возбуждению. „...Я пришла домой и потом не выдержала — расплакалась, молилась, потом легла и курила, чтоб оправиться“...

Так часто заканчивался ее день.

Религия, молитва, даже работа приобретали характер наркотического средства. Чтобы забыться, уйти. Куда?...

Возбудимость нервная прогрессировала с каждым годом. Впоследствии она стала нескрываемой. О ней буквально чиркали все воробьи под дворцовой крышей. Психическое состояние царицы внушало серьезные опасения. Особенно оно обострилось в связи с аварией императорской яхты „Штандарт“, посаженной на мель ее командиром — потом застрелившимся — Чагиным. Во время высадки царской семьи со шлюпки на берег неразобравшая, в чем дело, береговая охрана открыла ружейный огонь по ней. Императрица испугалась за смерть и долго после этого случая не могла оправиться. С этого времени здоровье ее начало резко ухудшаться. Были испробованы разнообразные методы лечения, которые однако не приносили желательных результатов. Осматривали больную светила медицинской науки, молились о ней архипастыри церкви — ничто не помогало. Одиночество пугало, общество раздражало. Держали яхту для изоляции на море, строили специальный дворец в Крыму, помещали за оградой родного замка во Фридберге, близ Наугейма — все тщетно. Прогулка утомляла, музыка возбуждала. Истерика стала обычным явлением. Во время войны министр внутренних дел А. Н. Хвостов откровенно рассказывает о ней редакторам газет. В Государственной Думе, в обществе впервые приподнимается завеса придворной жизни; из-за нее выглядывает меланхолическая маска Александры Федоровны.

III.

— „Жизнь — ноша“ ...

— „Власть — ноша“ ...

— „Если бы только я могла помочь тебе нести твою тяжелую ношу. так много таких нош давят тебя“ ...

Она хотела облегчить Николаю II бремя — и на каждом шагу увеличивала его. Угнетенность духа, подавленное состояние сказывались во всех ее движениях и поступках. Даже советом своим и поддержкой она лишний раз подчеркивала мрачный тон своего умонастроения. Трагедию одиночества она склонна была приписать и Николаю II. „Мне было так грустно, когда я видела твою одинокую фигуру“ ..., пишет она царю. Чтобы резче оттенить

свою любовь, приверженность и значение такой прочной связи, она не боялась усилить выражение, характеризующее одиночество. Впрочем, и без того было непосредственное ощущение непосильной тяжести, которую не с кем делить. Кругом притворство, ложь, намена. „Я просто не могу понять“, — восклицает Александра Федоровна, — „как в такой великой стране случается, что мы никогда не находим подходящих людей...“ Термин „подходящий“ имел в устах ее совершенно особенное значение, не возвеличивающее человека и не определяющее его способностей.

— „Всюду лжецы и враги... Преображенская влила меня ненавидит...“

— „Министры — мерзавцы; хуже, чем дума...“

— „Даже семья (царская фамилия) старается добраться до тебя, когда ты один, когда они знают, что добиваются чего-то неправильного и что я не одобряю этого...“

Все злоумышляют. Ни на кого положиться нельзя. За исключением только ее, неустанно бдительной, провидящей и прозорливой. Но разве можно отвести любую человеческую напасть? Разве можно предвидеть, откуда враг ударит? Для этого не хватило бы никаких сил и напряжения нравственного. Систему обороны, очевидно, надо как-то упростить. Управлять должна какая-то невидимая сила. Как бы ни изощрять впечатлительность, как бы ни обострять проицательность, что если прорвется вдруг враждебное влияние или восторгается злой умысел кого-нибудь из окружающих. На помощь усталый рассудок и больная, обнаженная психика призывает мистику, чудеса, силы потусторонние. Вера уступает место суеверию; раскрывается зловеющий смысл всяких заклинаний, заговоров и причитаний. Душа темнеет, воля слабеет, и свобода человеческого духа погибает в плену...

С Александрой Федоровной и произошло такое перерождение личности. Трагедия одиночества, мрачный узел страха, сомнений, глухоты душевной придвинули ее на край бездны. Быть может, из глубины пропасти повеяло холодом безумия. Она судорожно ухватилась за последнее средство, которое продиктовано было психическим надломом, и отдалась во власть некромантов, религиозных изуверов, ведунов и просто проходивцев. Они все и стали „подходящими“ людьми; они-то и могут таинственным способом предвидеть каждую опасность, убрать любой камень с пути. А главное, с ними и спокойно — зла и несчастья не произойдет; можно, наконец, испытать чувство внутренней замирности, притти в себя и уверенно, без трепета ждать завтрашнего дня. Этих людей она называет не иначе, как „Друг“. Первый друг, второй друг... Нужно только верить в необъяснимую силу „Друга“, в правоту его призывания и слепо, беспрекословно исполнять все предначертания благого вестника божественного промысла. Обязательно слепо, без умствования, безрассудно, ибо стоит лишь начать думать, и опять душа наполнится сомнениями, страхом, опять „ноша“ потянет вниз, к бездне, в тесным станет дворец, и люди придавят своей злобой. Слабый человек, без творческого порыва, бескрылый, в пустоте замкнутый — она перегружена была

неподвижным умом своим и испытывала облегчение, когда могла разгрузиться, хотя бы ценой суеверия и полумистических бредней. Эта психологическая реакция перестает быть неожиданной и непонятной. Биограф Александры Федоровны никогда не объяснит „распутного“ заката царицы, если не погрузится в тайники ее больной, не совсем обычной души. Элементарность, грубая наивность ее верований, слепота, глупость — все эти признаки бросаются в глаза при критической оценке. Но пусть слепота, пусть глупость! Царица отдалась безразудно — единственное условие, при котором верование могло принести ей целительное успокоение. Она по натуре совсем не была наивна. И подход ее к вещам, к историческим явлениям вовсе не был элементарен и глуп. Однако, эта сложность культурно-воспитанной и европейски-цивилизованной немецкой принцессы уживалась с мужичьей хлыстовщиной и вульгарной мистификацией проходивцев.

„Наш первый Друг (француз-Филипп) дал мне этот образ с колокольчиками, чтобы предупреждать меня насчет тех, которые неправедны, и чтобы не дать им приблизиться ко мне. Я его буду чувствовать и таким образом охраню тебя от них...“ обнадеживает она царя.

Сразу просто и легко разрешалась проблема одиночества. Стоит лишь довериться звону колокольчика, и душа обретает покой. С высоты мысканной европейской культуры, от лунной сонаты Бетховена и немецких романтиков опуститься до уровня первобытного дикаря с его верой в амулеты, наговоры и прочие таинственные силы, — таков удел „последних“ царей. Александра Федоровна обречена была ступить на этот путь.

Не много усилий пришлось ей затратить, чтобы вовлечь царя в круг суеверий. Психологическая основа, в сущности, была одна и та же. „Не забудь опять поддержать образек в твоей руке и несколько раз причесать волосы Его гребенкой перед заседанием министров...“ предупреждает она заботливо. Так мало, в сущности, требуется предосторожности, такой скромный обряд предписан „Другом“ — почему бы его не выполнить, чтобы выйти невредимым, укрепленным в своей правоте? Случайное совпадение видимой удаче с наговором или употреблением „дружеской“ гребенки вырабатывает уверенность в таинственной силе, и рука „самодержца“ торопливо вынимает амулет всякий раз, как ему приходится осуществлять свою верховную власть. А уж потом созревает порочная склонность во всем полагаться на тайный промысл, извне направляемый неким „Другом“, и горе тем фактам, идеям и даже людям, которые вступают в противоречие с тайным влиянием провидца...

IV.

Схема жизни намечена: тайная рука провидца, проводник его влияния — царица и державный исполнитель — император. Три задачи должны быть выполнены, и цель будет достигнута. Прежде всего — уберечь „Друга“, не выдать его с головой врагам. „Враги нашего Друга — наши собственные враги“, — пишет царица мужу. Или: все делается против Его желания, и мое

сердце обливается кровью; оно в тоске и страхе"... Прикованная страхом и тоской к участи „провидца“, она всю тревогу свою переносит на него. Как бы с ним не случилась беда!... Ведь тогда она, незащищенная, упадет под ударами судьбы и станет игрушкой враждебных ей сил, которые окружают со всех сторон.

Уберечь „провидца“ недостаточно. Еще необходимо очистить путь для своего влияния на царя. Оно должно быть непосредственным, а главное, всесторонним. Власть, армия, церковь, семья, альков, дворцовый прием, парад, интрига — ничем не следует брезгать. Словами любви, ласки и утешения она замкнула кольцо надзора над Николаем II. Неограниченный самодержец был под духовной и нравственной опекой своей жены. Наружных следов этой опеки никто не видел. Ближко стоящие к царю люди догадывались об этом. „Она никогда не выступает открыто“, — говорил ген. Алексеев, — „она мешает всем, но действует только за спиной“...

Влияние, которое Александра Федоровна оберегала так тщательно и ревниво, вносило некоторую уверенность в ее смущенную и расстроенную душу. Она — соединитель двух центров своего равновесия; „Друг“ и муж. Вся остальное — чуждо, враждебно и опасно. Сомкнется цепь — благо; всякий разрыв означает несчастье, тревогу, мрак...

— „Богда Он говорит, что не следует чего-либо делать, и когда Его не слушаются, то всегда впоследствии видишь свои ошибки... Над Россией не будет благословения, если ее повелитель допустит, чтобы человек, посланный Богом на помощь нам, подвергался преследованиям“...¹⁾ Уйти самой от влияния на царя значит разрушить спасительную схему жизни и дать погибнуть не только ей, но династии, государству. Вера в потустороннюю связь осела в виде своеобразной идеологии, которая укреплялась с каждым днем. „В книге „Les amis de Dieu“, — отмечает у себя царица, — „сказано, что государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком“...

Но для полноты триединой схемы, для ее удачного завершения необходимо, чтобы налицо был подлинный „повелитель“, незаподозренный в слабости, неопровержимый, несомненный самодержец. Николай II казался мало подходящей для этого фигурой. Его внешний вид и внутренние свойства не соответствовали роли, которую приписывала ему Александра Федоровна. Тут-то и сказалась немецкая настойчивость царицы. Она изучала каждый жест, каждое выражение своего державного сунруга и, как опытный режиссер, разучивала с ним партию властного, неограниченного монарха. В качестве идеального образца был выбран прадед Николай I. Ему подражать во всем — вот цель, которую она поставила пред Николаем II.

Она отлично знала слабые стороны своего партнера. Он явно не располагал данными властного человека. Не умел устрашать взором, окриком, подчинять своей воле и решению. Он быстро уступал напору первого настоя-

¹⁾ Речь идет о Распутине и обер-прокуроре Самарине, который открыто выражал свое отрицательное отношение к „старцу“.

чивого министра или царедворца. Легко менял мнение, соглашался для видимости с противником, словом, был в тени. Не силы, а власти боялись: не человека, а сан уважали. Пред ним не склонялся авторитет людей независимых и свободных. Он был способен настоять на своем, но делал это не открыто, напрямик, а под сурдинку, негласно, пользуясь прерогативой своего царского усмотрения. Эта манера раздражала и вооружала против него; в ней сказывалось лукавое непостоянство монарха и пренебрежение к отзывам о себе подчиненных. Она знала, из какого человеческого материала приходится лепить самодержца. И осторожно, терпеливо, с большой тонкостью разрешала эту сложную задачу.

— „Милушку всегда нужно подтолкнуть и напоминать ему, что он есть император и может делать все, что ему хочется... Ты должен показать, что у тебя свои решения и своя воля“... преподает она нравоучительно уроки власти армейскому полковнику со скипетром. Она всячески стремится пробудить в нем чувства автократа. Пусть эти чувства найдут выражение в бурной форме окрика, удара, бешенства, как бывает у настоящих царей, которые нагоняют трепет, умеют казнить, умеют и миловать.

— „Когда, наконец, тыхватишь рукой по столу и накричишь на Джунжовского и на других, если они неправильно поступают...“, пишет она ему нетерпеливо.

— „Заставь их дрожать пред твоим мужеством и твоей волей“... Или:

— „Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку; до сих пор царствование твое было царствованием мягкости, а теперь оно должно быть царствованием власти и твердости — ты повелитель и хозяин России“...

— „Будь более автократом, моя душа, и покажи себя!“

За каждым движением царя следит ее наблюдательный глаз. Каждый неловкий шаг его она исправляет; вытягивает его низкорослую фигуру, возвеличивает осанку, усиливает голос, подталкивает руку, подчеркивает решимость. Она произносит за него монолог власти и держит пред ним все время зеркало, в котором отражается неуклюжая внешность и сколок царственной воли. Во всех ее наставлениях упрек пересыпан с лаской; за словом критики следует выражение любви и нарочитого поклонения. Она не оставляет его ни одной минуты без ободрения. Конечно, он должен быть продолжателем и достойным преемником императора Николая I, но... разным царям разное дано. Она, как заботливая мать, утешает неудачника-сына, гонит прочь отчаянье и самоуничижение и напутствует его ласковыми словами:

— „И ты покорил тысячу сердец, наверное, твоим милым, нежным, крепким существом и сияющими, чистыми глазами. Каждый покоряет тем, чем бог его одарил. Каждый своим путем...“

— „Скромность есть высший дар богу, но верховный повелитель должен показывать свою волю чаще. Будь уверенней в себе и действуй...“

Письма Александры Федоровны, посвященные проблеме властного царя, представляют собой что-то вроде политического трактата, в котором дается практическое руководство для человека, обреченного быть самодержцем. Это

„зеркало бытия“, куда должен был заглядывать маленький человек каждый раз, прежде чем ему приходилось взбираться на высокий трон. Тема была разработана царицей удивительно последовательно и ярко: Все талантливое, что природа отпустила этой женщине, она затратила для написания единственного в своем роде наставления. У Николая II был свой Ментор, свой Макиавелли, который на письме увековечил идеологическую систему абсолютной царской власти. Эта система как будто была списана с какого-то отвлеченного образца; она потрясала своей несвоевременностью, полной оторванностью от жизни. Это была утопия умирающей династии, осужденного историей режима, утопия, которую могла продиктовать болезненная сосредоточенность человека, потерявшего всякий исторический масштаб, лишённого чувства перспективы. Она могла бы послужить образцом исторического кретинизма. словно в безвоздушном пространстве выращивались идеи реставрации самодержавия, и ни одна струя свежего воздуха не проникала в царскосельский дворец, в котором расположились авторы этой системы.

Сколько наивной уверенности было в искреннем расположении народа к царю! Надо только устранить средостение между ними, прогнать или подчинить своей державной воле генералов, министров, великих князей, всех этих „мерзавцев“ и злоумышленников. Царица неотступно понуждала его во время войны чаще показываться войскам, быть среди них, и не сомневалась, что это вызовет всеобщий энтузиазм серой солдатской массы, когда она почувствует непосредственную близость „обожяемого монарха“. — „Какая награда для храброго гарнизона Осовца, если ты туда поедешь...“. „Солдаты должны тебя увидеть... Ты им нужен... они хотят тебя, а ты их...“ Она не могла примириться с мыслью, что Николай Николаевич вытесняет своим авторитетом царя, и этого было достаточно, чтобы возненавидеть великого князя слепой ненавистью, на которую была способна ее односторонняя, настойчивая натура.

— „Ах, мне не нравится, что Николай участвует во всех этих больших заседаниях, в которых обсуждаются внутренние вопросы“, — пишет она царю; при чем боязнь вмешательства во „внутренние“ дела подсказана была инстинктом самосохранения.

— „Он импонирует министрам своим громким голосом и жестикуляцией. Я временами прихожу в бешенство от его фальшивого положения... Никто не знает, кто теперь император... Похоже на то, словно Николай все решает, выбирает, сменяет. Это меня совершенно убивает... все дают тебе дурные советы и злоупотребляют твоей добротой...“

Она в конце концов добилась смещения Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего и занятия Николаем II этого места. Она шла на открытый разрыв с великим князем, — человеком, относительно популярным в среде придворных и высших военачальников. Ее волей управлял „Божий человек“. Во время войны идея триединого союза — PROVIDENCE, она и царь — стала навязчивой в буквальном смысле слова. „Григорий любит тебя ревниво и не выносит, чтобы Николай Николаевич играл какую-либо роль...“ Этого

признания было достаточно, чтобы настоять на своем. Она рвала постепенно все отношения с великокняжеской группой и подчеркивала свою чужеродность в семье Романовых. Люди, близко стоявшие к царю, ее ненавидели и чернили. Она фатально вынуждена была теснее сомкнуть цепь надзора и опеки над мужем, чтобы не быть отрезанной со всех сторон и не потерять источника своего влияния. Поэтому с такой тревогой относится она каждый раз к отъезду царя. „Чорт бы побрал ставку!“, — вырывается у нее несдержанное восклицание. „Эта предательская ставка, которая удерживает тебя...“ „Как ужасно было прощаться с тобой...“ — так начинаются письма на второй день после разлуки.

Все было поставлено в связь с самостоятельным и независимым поведением царя. Вся кампания Александры Федоровны была рассчитана на перерождение Николая II, который, наконец, станет подлинным, единодержавным властителем. Она пыталась воздействовать и на его мирозерцание и надёлить его необходимыми внешними качествами.

— „Россия, слава богу, не конституционное государство, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваются в дела...“¹⁾.

— „Мы не конституционное государство и не смеем им быть. Наш народ не подготовлен к этому, и, слава богу, наш император — самодержец... Только ты должен выказать больше силы и решимости. Я бы их быстро убрала“.

— „Я рада, что ты отказался принять этих тварей; они не смеют употреблять слово „конституция“, но они продолжают ходить кругом да около... Во истину, это было бы губительно для России..., так как ты самодержец, слава богу...“

Ее мирозерцание насквозь пропитано идеями охранительной реакции в стиле союза русского народа. И в этом отношении она с упрямой, деревенной настойчивостью доходила до логического конца. Пуще всего ненавидела она зависимость от общественного мнения. Неуловимый контроль печати, безличная критика Думы, партий пугала не на шутку. Система ее влияния, способ управления и стиль властвования — всё это противоречило гласности и не выносило публичной оценки. Ведь обычная ответственность пред общественным мнением, которая знакома европейским государственным деятелям, здесь исключалась. Народ при автократии не рассуждает; он умеет только подчиняться и любить своего державного владыку. С этой упрощенной, политической схемой Александра Федоровна ссылась. Еще в пору либеральной „весны“ 1904 года она в разговоре со Святополк-Мирским высказывалась в таком духе: „Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя...“ Самоуверенный экскурс в область русской истории и неподвижный взор, устремленный в будущее.

Справедливость требует признать, что в отношении мирозерцания Николай II оказался весьма подходящим партнером. Менее удачно он мог удовлетворить требовательную супругу своим воплощением неограниченного самодержца. Она умоляла его повысить голос или сделать хотя бы строгий вид.

¹⁾ Речь всюду идет о членах Государственной Думы.

— „Прости меня, мой драгоценный, но ты знаешь, что ты слишком добр и мягок. Иногда хороший, громкий голос и строгий взгляд делают чудеса“.

Увы! никакими ласками, увещаниями и заклинаниями нельзя было заставить бессловесного статиста сыграть коронную роль самодержца, и тогда власть — источник пафоса и творческих замыслов — превращалась в „тяжелый, неудобноносимый крест“.

— „Ты еще родился в день Иова многострадального, моя бедная душака... Помни, что ты император!“

— „Есть минуты, когда тяжесть так велика и она давит на всю страну, и тебе приходится нести ее всю...“. В этих словах царицы звучали ноты уныния, порой даже отчаянья...

V.

Александру Федоровну приводила в бешенство независимость министров или великого князя. Надо думать, что не раз она давала волю своему возмущению при виде зависимого царя. Мантия сползала с плеч неудачливого самодержца; в серой полу-солдатской шинели он терялся среди окружающих. Любовью, лаской, внушением, даже истерикой — делу помочь было трудно. Тем сильнее стремилась царица закрепить свое влияние и, так или иначе, проводить в жизнь свои решения. Если природа Николая II не поддавалась перерождению, если идеал прадеда был для него недостижим, то Александра Федоровна ставила своей целью осуществить самодержавие без самодержца. Не даром она любила иногда рисовать сатирические карикатуры на своего супруга, при чем неизменным сюжетом было изображение Николая в виде „баби“ на руках у матери. Впрочем, это относится к тому времени, когда царь находился под влиянием адвентуристки императрицы Марии Федоровны. Алиса Гессенская не могла с этим примириться. Ценой разрыва с царичей-матерью она добилась в конце концов ее устранения. Отныне пеленать самодержавного „баби“ сделалось исключительной привилегией Александры Федоровны.

Как могло это произойти? Каким образом слабо защищенная иноземная принцесса, не имеющая дворцовой поддержки, — наоборот, изолированная в кругу придворной знати, — могла завоевать такое исключительное, почти магическое влияние? Какими средствами она пользовалась, чтобы удержать все время это влияние? Ведь постоянство не было качеством Николая II. Твердые устои семейной морали, отличавшие в личной жизни Александра III, не были тоже унаследованы сыном. Правдивость, прямота, искренность часто изменяли ему в отношениях к людям родственным и близким. Вероломством и лукавством отмечены многие его поступки. Казалось бы — всё это черты характера, которые делают невозможным безраздельное подчинение себе такого человека.

К тому же и восторженной любви, этого могущественного средства взаимного подчинения, не было с самого начала в отношениях Николай II

к жене своей. В их браке было гораздо больше усмотрения, чем непосредственного влечения. Люди, отерев глаза, рассчитывали, а не отдавались слепому чувству. Экспансивность, увлекаемость, способность забыться в порыве страстном—свойства, чуждые природе царя. Он был, в общем, человек уравновешенный, с размеренным темпераментом, без пыла и пафоса, без излишней наивности и сентиментов. Подозрительность и опасливость способны были погасить любой намек непосредственных отношений его к окружающим. Чтобы приучить такого человека к постоянному своему влиянию, нужно было воздействовать на его психику с разных сторон и многими способами. Моральное, волевое, почти физическое окружение Александры Федоровны производилось исподволь, очень бережно, но систематически и без перерывов. Для этого у нее было достаточно активности, такта и предусмотрительности. Она искусно использовала привычку совместной жизни, которая часто заменяет подлинное чувство и связывает людей крепким узлом. Пустую, условную форму супружества она заполнила лирическим содержанием и не упускала случая подчеркнуть свою влюбленность. Она не оставляла царя одного, всюду сопровождала его, но делала это, „не докучая моралью строгой“, и не злоупотребляла ревнивым подозрением. Сознание подопечности могло раздосадовать Николая, и поэтому она ухитрилась осуществлять строгий надзор, не выдавая себя ни одним лишним словом или жестом. Наоборот, она не боялась признать свою зависимость от него: — „Твои глубокие, нежные глаза давно меня совсем покорили...“ уверяет она его.

Апофеоз самодержца отождествлялся ею с властью Николая II, и это imponировало ему. Экзальтированная преданность, с которой Александра Федоровна относилась к его авторитету, не могла пройти бесследно. Постепенно, с каждым годом все сильнее, он убеждался в глубокой связи, существующей между ними, в роковом сплетении общей судьбы, которую так болезненно и напрасленно пыталась предугадать его жена. Это сознание создало главную основу близости между ними, и Александра Федоровна широко ее использовала.

Она, видимо, не оставляла без удовлетворения ни одной потребности его души и тела. Советница, идеолог неограниченной монархии, резонерствующий скептик, обремененная тоской, страхом и тяжелой наследственностью — она вдруг перевоплощалась в нежно-любящую супругу, которая знает только одни слова ласки и признаний. Психопатологическая сторона ее природы и здесь сказывалась. Ее любовные обращения свидетельствуют о половой возбудимости. Прожив двадцать лет с мужем, она не перестает быть во власти эротических воспоминаний и образов, которые порой вытесняют все остальное.

— „Крепко держу тебя в своих объятиях... Я не могу привыкнуть, хотя бы на короткое время, не иметь тебя здесь, в доме... Спи, мое солнышко, мой драгоценный, тысячу нежных поцелуев от твоей старой женки...“ Такой лирический тон ее обращений к царю.

Или:

— „Мой свет, мое солнышко, моя жизнь и все мое существо“...

Или:

— „Ты мне будешь больно не хватать, мой собственный, дорогой. Спи хорошо, мое сокровище. Моя постель будет, увы, так пуста“...

— „Вспомни прошлую ночь, как нежно мы прижимались друг к другу. Я буду тосковать по твоим ласкам“...

Поцелуями пересыпаны все письма.

— „Целую каждое дорогое местечко... Я целовала и благославляла твою подушку... Целую твое дорогое лицо, милую шейку и дорогие, любимые ручки... Ты мне недостаешь, мне хочется твоих поцелуев“...

— „Посылаю тебе несколько ландышей... Я поцеловала нежные цветы, и ты их также поцелуй“...

Эти страстные и нежные излияния были только рамкой, окаймлявшей иной сюжет, иные слова. Александра Федоровна все же оставалась верна себе. Она не забывала о главном — о своем влиянии, об укреплении власти того, кто должен проводить предначертания свыше и рассеять все ее сомнения и тревоги. Вот почему иногда рядом с нежным вздохом любви уместается прозаическое напоминание о назначении или смещении какого-нибудь министра, а среди страстных поцелуев она улучшает минуту поговорить о ссоре генералов и кознях ненавистных ей общественных деятелей и о многом другом.

Она приучает своего супруга к откровенности, доведенной до крайних пределов. Нет такой интимной стороны ее жизни, о которой не было бы речи. Каждый шаг на виду, каждое физиологическое отправление ее женского организма служит предметом сообщения. И все же было бы ошибкой считать ее откровенной до конца. Под покровом всех этих „разоблачений“ внешней жизни, при той исключительной близости, которая, казалось, лежала в основе ее отношений к царю, подлинная сущность Александры Федоровны оставалась нераскрытой, замкнутой на дне ее души. Осознавала ли она сама эту сущность или смутно угадывала ее, трудно сказать. Но в главном она не делилась ни с кем. У ней проскальзывает собственное признание в этом:

— „Мы не показываем друг другу то, что мы чувствуем“, — говорит она мужу. Но все же она водила его по всем кривым закоулкам своей слабо освещенной души и имела право требовать от него такой же откровенности.

— „Выскажись откровенно твоей старой женке“, — пишет она царю, — „твой когда-то невесте; делись всем со мной, может быть, будет легче — хотя иногда легче носить горе одному, не давая себе размякнуть“...

Надо думать, что Николай II в долгу не оставался и в отношении жены приучил себя быть добросовестным. Она таким образом была осведомлена о ходе его мыслей, о каждом неудовлетворенном желании, о первой тревоге, как только она возникала. Это было, конечно, необходимым условием ее влияния. В противном случае она часто не достигала бы цели.

Дети, несомненно, укрепляли отношения между Александрой Федоровной и ее мужем. Особенно с момента появления на свет божий наследника. Николай II испытывал облегчение каждый раз, когда менял обстановку государственного деятеля на детскую комнату. Добродетели и мягкости как раз

было в нем столько, чтобы не стеснять отцовское чувство. Дочери ничем не выделялись; неприятельские, средние светские барышни, которые должны были ко времени закончить свой девичий стаж, чтобы вступить в брачный союз с отпрыском какой-нибудь иностранной династии. Сын — надежда и продолжатель рода — постоянный источник тревог и опасений, больной, исключенный мальчик. Не о системе воспитания приходилось думать и не о том, кого приставить к нему в качестве руководителя и наставника. Главная задача была — сохранить жизнь, какой угодно ценой, каким угодно способом. Дядька и доктор неотступно следовали за ним.

Александра Федоровна не уставала заботиться о сыне. На нем сосредоточена была вся нежность, скупо отпущенная природой этой женщине. Смерть наследника причинила бы ей непоправимый удар. Не только инстинкт матери подсказывал тревогу. Вакантный в будущем престол выдвигал влияние родственников царя. Открывалась дорога для посторонних авторитетов, зрела почва для дворцовых интриг. Заботой о сыне, постоянными опасениями за исход его болезни был тесно связан с царицей Николай II. Это была их община, единая и очень интимная сторона жизни. Пожалуй, отцовское чувство было более непосредственным, чем материнское. Умственному и духовному облику царя как раз соответствовал такой уклад купеческой семьи, в которой превыше всего ценится внешнее благополучие, безмятежность существования, порядок и уют. Чем сильнее разлагивалась жизнь внутри государства, тем „семейственнее“ становился царь. За скромным чаепитием, чтением английских романов, игрой в шашки можно было остаться самим собой, обыкновенным армейским служакой, в меру любящим жену, детей, сослуживцев и начальство, в данном случае божественное...

Александра Федоровна не обладала качествами радушной, приветливой хозяйки, этого непревзойденного идеала средней купеческой семьи. Создать привлекательный центр, окружить заботливым вниманием каждую мелочь домашнего обихода, оставить на всем отпечаток „Gemüthlichkeit“ — того, чем горделиво блещет добродетельный немец, — царице не было свойственно. Она стремилась к этому уровню, зная, что в числе прочих связей с мужем и семейный культ занимает не последнее место. Но в душе не хватало мягкости, умиротворяющей любви. Да и „беспокойство ума“ выносило ее за пределы домашнего уюта, мерно тикающих часов и заведенного порядка жизни. Она полна напряженной тревоги за сына; этой тревогой она делится с Николаем II; но тщетно искать в ее упоминаниях о мальчике каких-нибудь выражений ласки, обычной сентиментальности, которые могли бы выдать подлинную сущность бесхитростной, материнской любви. Конечно, привязанность ее к сыну была велика; боль, обида, страх тяжелым грузом увеличивали „ношу“ жизни... Материнство не давало выхода отяжелевшему сознанию, не приносило удовлетворения, не успокаивало.

Александра Федоровна особенно страдала от такой своеобразной опустошенности. Она всячески стремилась развить в себе противоположные душевные свойства. Но есть люди, которых преследует несоответствие между

„хочу“ и „могу“. Будучи в центре семьи, она распространяла холод вместо тепла, нарушала порядок и безмятежность своей болезненной возбудимостью и постоянным беспокойством. Достаточно взглянуть на обстановку ее интимной комнаты в Александровском дворце, чтобы убедиться, как давит этот бездушный подбор вещей, как мало тут уравновешенной примиренности и так называемого „уюта“. Правда, еще меньше царственного величия было во всем окружающем. Куда ни глянешь, всюду лежит отпечаток испуганного жизнью человека, лишённого чувства гармонии, потерявшего свое место. Поэтому не видать преемственной связи с прошлым, нет традиций, нет стиля... Случайный порядок, случайные вещи. Эпизод заменил устои.

— „Жизнь трудно понять“... любила она говорить. И это было совершенно искреннее признание. Дети в этом смысле не находили в ней опоры. Ее философия мало подходила к запросам юности. Недоступность и рассудочность, вероятно, отпугивали дочерей. Наследник находился на особом положении, и его отношения к матери еще не успели сложиться. Но, как бы то ни было, Александра Федоровна делала над собой чрезвычайные усилия, чтобы уложить всю свою „непосредственность“, всю заботливость и любвеобильность матери в семейный уклад, который со времени рождения сына особенно прилежал Николаю II.

Она выступала пред ним не только в образе любящей жены, верного друга и советницы. Привлечь Николая II, подчинить его, как ~~обольстительная~~ женщина может подчинить себе мужчину, — эта задача ей не так легко удавалась. Женственное начало в ней было заглушено. „Умственность“ и резонерство преобладали. Она тяготилась своей женской долей. Ее любимое выражение, по свидетельству Шульгина, оставалось:

— „Ах, если бы я была мужчиной!“

Роль избалованной, капризной женщины, хрупкой игрушки, вся сила которой в размягчающем влиянии, — такая роль противоречила ее природе. Она с тоской не раз восклицала:

— „Бывают минуты, когда мы, женщины, не должны существовать“...

Только иногда она „распускала“ себя и капризно отшвыривала всякие политические темы и заботы о власти. „Чорт бы побрал все эти Балканы“... или: „теперь еще эта идиотская Румыния“... бросает она нетерпеливо. В такие минуты хотелось бы пренебречь всеми условными приличиями придворной жизни и глубоко зачерпнуть свежий воздух или забыться в каком-нибудь вихре увлечений, простой, бесхитростной веселости. Но эти минуты были редки и быстро проходили. Еще раньше, в первой половине своего царствования, она, бывало, жаловалась на монотонность жизни. „Я десяти лет тут, в Царском, как в тюрьме“... обмолвилась она однажды на полуофициальном приеме. Впоследствии возобладали иные настроения. Чувство одиночества со временем приняло иное направление; психика самоотравлялась, беспомощно искала выхода и нашла его в экзальтированном суеверии, в религиозно-мистическом трансе. В этом последнем источнике черпала она силы для самообладания, даже для подъема.

Женщина в ней дремала... Царица преодолевала даже чувство ревности и достигала удивительных результатов. Ярче всего сказались это на отношениях ее к Анне Вырубовой. Урожденная Танеева, дочь обер-гофмейстера, бывшего главноуправляющего канцелярией его величества, Анна Вырובה последние десять лет пользовалась неизменным расположением Александры Федоровны. Вырובה была замужем за лейтенантом, с которым вскоре развелась, и после этого, в качестве фрейлины, неотлучно жила при царской семье. Она играла при дворе очень заметную роль. Близость к царице, фамильярные отношения с царем заставляли окружающих смотреть на нее, как на фаворитку. Она обладала красивой внешностью, была экстравагантна, с резко выраженным темпераментом, со склонностями к авантюризму, искала сильных ощущений и, вероятно, располагала к себе царицу своей „неудовлетворенностью“. Она вела свое происхождение от незаконной связи Павла I и считала себя вправе, как человек „царской крови“, пренебрегать общественным мнением. Условия придворного этикета ее не смущали. Она использовала безнаказанность привилегированной особы, чтобы разнообразить свою жизнь похождениями светской, легкомысленной дамы. Связи легко создавались, но также легко разрывались. Среди них, однако, была одна такая, которой стоило дорожить. Это — связь с самим императором.

Была ли она прочна и долговременна? Во всяком случае, достаточно интимна для того, чтобы укоротить отношения с царем до крайности. Какие цели при этом преследовала Вырובה — женщины ли, падкой до любовных походов, или интриганки, наметившей пути властолюбия, — трудно сказать. Молва приписывала ей впоследствии намерения, идущие далеко за пределы флирта, вплоть до участия в предположенном дворцовом перевороте. Вырובה будто бы лелеяла план объявить Александру Федоровну регентшей, при чем посвятила в этот план Протопопова. Версия эта похожа на вымысел, родившийся в первые дни Февральской революции. Исторический материал пока не дает основания так „углублять“ эту вульгарную, плоскую, несомненно, порочную фрейлину Романовых и превращать ее в фигуру политическую¹⁾.

Ее влияние и роль имеют еще одно объяснение. Она была поводырем Распутина при дворе. Ей обязан этот мрачный „временщик“ своим первоначальным успехом. Она его приблизила к царице и потом стояла в центре той группы очумелых, „припадочных“ женщин, которые составляли „хоровод мятежных душ“ вокруг тобольского ведуна. Ненасытность, а с другой стороны пресыщение, быть может, половая извращенность Вырубовой толкала ее навстречу новым, сильным ощущениям и бросила, наконец, под ноги темной, грубой силы, которую олицетворял этот бородатый мужик, составивший так заманчиво сладострастие с религией, порок с искуплением.

Она способствовала популярности Распутина, а потом сама находила поддержку в его влиянии. Николай II охладел к ней после совместной

¹⁾ Белецкий в своих воспоминаниях о Распутине дает такую преувеличенную оценку роли Вырубовой, оставляя совершенно в тени царицу (см. „Былое“ кн. 20 и 21).

поездки в Крым, где Вырубова, очевидно,хватила через край и успела надоесть... Александра Федоровна в глубине души ее ненавидела, но боролась с этой ненавистью, не рискуя вызвать недовольство святого „старца“. Царю и царице она, в сущности, была ненужна. Только связью с Распутиным, с которым Вырубова открыто, публично „богоугодничала“, можно объяснить ее неустрашимое влияние при дворе.

Александра Федоровна знала об измене мужа. Ее рассудительность доходила до того, что даже в этом щекоотливом и болезненном для самолюбия женщины вопросе она не нарушала системы воздействия на царя. Роль советницы и тут осталась за ней. Откровенные рассуждения царицы на тему об отношениях Вырубовой к мужу и, наоборот, Николая к ней поражают своей противоестественностью. Цинизм, атрофия нравственного возмущения, последняя степень равнодушия к своему собственному достоинству — только этими причинами можно было бы объяснить поведение царицы. Но приговор должен быть иной; в основе лежала всё та же навязчивая идея нерушимой связи с царем, мания одиночества, которая сковала все ее движения, и мистический ужас предопределения.

Она осторожно перебирает тему с Вырубовой и, если выступает с критикой против нее, то делает это так, чтобы не задеть самолюбия Николая II. Ни слова упрека, ни одного выпада по его адресу. Она продолжает дружеские отношения с Вырубовой, заботливо ухаживает за ней во время болезни (Вырубова при железнодорожной катастрофе сломала ногу) и хладнокровно советует мужу способ разрыва с ней.

— „Если мы теперь не будем тверды, у нас будут истории, и любовные сцены, и скандалы, как в Крыму“, — предупреждает она Николая II.

— „Когда ты вернешься, она тебе будет рассказывать, как страшно она страдала без тебя... Будь мил и тверд... не позволяй ей наступать на ногу... Ее всегда нужно обливать холодной водой“...

И здесь заботы о твердости характера самодержца излагаются с такой же методичностью, как будто речь идет о назначении или смещении министра. И здесь Николай II избегает открыто действовать, предпочитая уклончивость и лукавство.

Александра Федоровна не была уверена в том, что царь остыл и не дорожит больше связью с Вырубовой. Она, видимо, настойчиво продолжала добиваться сношений с ним. Одно время Вырубова даже собиралась последовать за царем в действующую армию. Вообще, куртизанка испытывала свое влияние и вела себя, как равная, не унижаясь и не угождая льстиво. Она совмещала в своем лице три функции: любовницы царя, подруги царицы и, главное, „сестры во плоти“ Григория Распутина. С желанием Ани волей-неволей приходилось считаться. — „Аня хочет перемены в действующей армии“... это звучит почти законом в устах Александры Федоровны. Аня капризничает, нервничает, требует к себе внимания, и царица покорно подчиняется этому, осторожно намекая на свое недовольство. — „Аня думает, что мой долг ее посещать, и потому она часто вовсе моих

посещения не ценит, между тем как другие благодарят за каждую секунду, что я им отдаю“...

— „Мы — друзья, я ее очень люблю и всегда буду любить, но что-то пропало, разорвана связь ее поведением и нам обоим. Она никогда не будет так близка ко мне, как была... В конце концов, мне тяжелее приходится, чем ей. Она с этим не согласна, так как ты будто бы для нее все, а у меня есть дети“... В этих словах Александры Федоровны скрыта жалоба на раздел сферы влияния. Очень редко в ней пробуждалось чувство соперницы, и тогда она с чисто-женской щепетильностью исследует внешность обольстительницы.

— „Она только и говорит о том, как она исхудала, хотя я нахожу, что ее живот и ноги колоссальны (и крайне неаппетитны). Ее лицо розовое, ее щеки менее толсты, под глазами тени“... Но быстро меняется тон критики, и вновь Александра Федоровна усваивает спокойствие резонера.

— „Я знаю, что она меня гораздо меньше любит, чем прежде, и у нее все сосредоточено в ее собственной личности и в тебе. Будем осторожны, когда ты вернешься“...

Помощь, содействие, опека... Всюду, куда ни шагнул бы самодержец, его августейшая супруга с ним... Пусть это будет ставка верховного командования, зал заседания министров, служба в церкви или спальня фаворитки...

VI.

Много препятствий преодолевала Александра Федоровна, утверждая свое влияние. Обходными путями шла она к цели; не всегда можно было открыто выразить свое подлинное намерение или раскрыть свою настоящую природу. То в выпуклом, то в вогнутом зеркале отражалась ее душа. И в том и в другом случае характеристика была бы ложная. О многих свойствах ее приходится судить условно. Не мало черт было искусно замаскировано притворством поведения и лживой, словесной формулой.

Царица афишировала свою любовь к России. „Ты знаешь, как я люблю твою страну, которая стала моей“, — не уставала она говорить своему супругу. Эту аффектированную любовь надо было примирить с неподдельной привязанностью к Германии, которая, конечно, занимала более значительное место в сердце гессенской принцессы. Особенно остро ощущалось противоречие во время войны. Царица должна была молча, если не сочувственно, относиться к борьбе с „немецким засильем“, ставшей официальным штампом патриотической благонадежности. Ни одним мускулом своего лица нельзя было выразить сомнения в „немецких зверствах“, которые, с легкой руки красных повстанцев и продажных писак, сделались монопольным пороком одних только германцев. Она открыто возмущалась или восхваляла доблесть и милосердие русских войск, мечтала вслух, обязательно вслух о гибели немецкого флота и дела дикой войны, которая, по ее мнению, „должна дух, свирепый много изощривших умов, объединила чувства“...

Но одновременно с этим она все делает для того, чтобы облегчить участь „несчастной“ Германии, окруженной со всех сторон врагами. У царицы есть одно могущественное средство, которое надо лишь умело направить, это — воля самодержца. Этим средством она владеет, и нет такой силы, которая могла бы ей помешать...

Война продолжалась... Если бы от нее зависело, она бы прекратила войну сразу. Исподволь она приучала Николая II к мысли, что кровопролитие пора остановить. Взрыв „человеколюбия“ заставлял ее произносить чуждые ее природе сентиментальные слова о мире и утешении, о том, что ненависть должна прекратиться на земле и тогда расцветет покой и краса „возлюбленной“ России. Увы, чувствительности хватало ненадолго. Спусти несколько минут, она забывает о том, что „птички поют... что природа воскресает и хвалит Господа“, и со всей истительностью обрушивается на ненавистного Гучкова, злого гения войны. „Ах, неужели нельзя было повесить Гучкова“... скорбит ее „человеколюбивая“ душа. Узнав, что Гучков собирается ехать с делегацией к царю, она втайне мечтает о железнодорожной катастрофе, надеясь таким путем отделаться от него. Поставьте ее на место стрелочника — и она, не задумавшись, бросит под откос поезд с сотнями человеческих жизней, лишь бы погубить одного врага. Какой зловещий орнамент для христианского смирения царицы!...

Она не решается открыто выступить в защиту немцев. Это было бы опасно и могло бы подорвать доверие к ней Николая. Кампания ведется тонко и незаметно. Кто может заподозрить ее в малочестности похвал, которые она расточает по адресу армии, тем более, что державный вождь ее — сам царь? Она хотела бы, чтобы имя русских войск вспоминалось впоследствии во всех странах со страхом, уважением и с восхищением. Она, конечно, за победу. Но... „победа не означает грабежа“... О зверствах немцев полагалось говорить много и вслух. О грабежах русских войск царица упоминает вскользь и втайне. Забота об отсутствии грабежей так понятна. Ведь, чем дисциплинированнее будет русская армия, тем меньше урону нанесет она городам и жителям Германии. Уж если неминуема война, то пусть, по крайней мере, она будет не так разорительна для Германии. Она восторгается вслух подвигами русских войск, но не может скрыть своего восхищения пред героизмом и организованностью своих соотечественников. Общераспространенное мнение о „германском засильи“ она ослабляла очень метким замечанием: „наши собственные ленивые славянские натуры, без всякой инициативы, сами виноваты...“ Ее положение во время войны было достаточно двусмысленно; она выпущена была оказывать влияние незаметно, не привлекая к себе внимания, прикрываясь общими соображениями гуманности и человеколюбия. Она близко принимает к сердцу заботы о военнопленных, рассчитывая таким путем облегчить участь немецких офицеров и солдат. При случае она готова реабилитировать в глазах царя немецкую армию в связи с применением газов и других варварских способов ведения войны. Открыто посредничать, с целью приблизить мирные переговоры, опасно. Она состоит в секретной переписке

со своими родными, которые, конечно, не упускали повода, чтобы заразить ее тревогой за судьбу Германии. Брат ее предпринимал даже более активные шаги. Еще в 1915 году он послал в Стокгольм доверенное лицо, уполномоченное, очевидно, работать в направлении сепаратного мира. Это лицо вручило Александре Федоровне верительное письмо. Царица осведомляла обо всем Николая II. Царь, видимо, не оставался глух ко всем нашептываниям своей супруги, и мысль о сепаратном мире нашла себе место в его мозгу.

Она восхваляла войну, она же боялась ее продолжения и внушала самодержавцу необходимость положить предел кровопролитию. Она призывала победу для русского оружия и в то же время заботилась о торжестве германского имени. Она, не запинаясь, говорила „наши собственные славянские натуры“ и, несомненно, преклонялась пред величием немецкого духа... Эти противоречия в ней уживались и не влекли за собой трагического разрыва или рокового раздвоения личности. Объясняется это тем, что противоречия-то были кажущимися. Правда ее подлинная была, конечно, не там, где она афишировала свою приверженность к русскому солдату или славянской идее. Хотя надо сказать, что в своих идеологических построениях она часто доходила до такого пафоса, который, на первый взгляд, столетними корнями был связан с исторической миссией самодержавия в истолковании официальных апологетов.

— „Бог да благословит и объединит в глубоком историческом и религиозном смысле слова эти славянские страны с их старой матерью Россией“... пишет она выспренним слогом царю. Письмо, если отбросить обычные лирические излияния и форму любовного обращения — „милушка, ручки, шейка и т. п.“ — походит скорее на декларацию, на манифест панславизма.

— „Теперь мы достаточно сильны, чтобы их удержать за собой, прежде мы не могли это сделать — тем не менее мы должны „внутри“ стать еще сильнее..., чтобы управлять крепче и с большим авторитетом. Как будет удивляться император Николай I. Он видит, как его правнук вновь завоевывает эти провинции далекого прошлого, и видит мщение за предательство Австрии по отношению к нему...“

Во всей системе приспособления к власти, которая почти заменила ей сущность и создала какой-то новый, показной вариант личности, эта же идеология имела законное право на существование. Но, конечно, в глубокую ошибку впал бы тот, кто видимость принял бы за подлинник.

В этом смысле личность Александры Федоровны представляет сложное явление. Средний, в сущности, человек, с психическим изъяном и многими недостатками—она не укладывалась в обычные рамки. В ее неустойчивости нравственной было какое-то постоянство, в ее слабости душевной скрывалась сила. Каждая черта ее характера в отдельности не может быть понята без сопоставления с другими. Весь образ целиком отразил быт и колорит умирающей династии, насквозь пропитан был предрассудками и суеверием придворной жизни. Ее трагедия одиночества была трагедией опустошенного самодержавия. Она погубила последние нити, которые связывали царизм с какой-нибудь социальной или идеологической средой. От власти осталось одно

голое устрашение, от религии — только пустое суеверие. Диву даешься, с каким увлечением Александра Федоровна, воспитанная в строгости англиканской церкви, восприняла обрядовую сторону православия. Можно подумать, что с молоком матери перешли к ней эти традиции. Здесь сказались степень ее восприимчивости, предел приспособления и растлевающее влияние среды. Икона превратилась в амулет; она раздает образки направо и налево и серьезно считается с чудодейственной их силой. Молитва приобретает характер заклинания. Она заставляла наследника повторять механически каждый день положенное число текстов. Нарушение этого правила предвещало несчастье. Открытие мощей очередного „праведника“, вымысел распутнического ставленника — Варнавы о появлении креста на небе, благоприятное предзнаменование, чудесный крест и сотни других призраков суеверия — вот что составляло суррогат религии, выхоленной, растленной так же, как и самодержавие. Гессенская принцесса на русском троне усвоила полностью пустую, мертвую форму православия, эту официальную смесь благочиния и ханжества. Она прониклась непримиримостью церковной, которая выполняла реакционную политику самодержавия. „Полякам нельзя доверять... Католики должны нас ненавидеть...“, внушала она православнейшему государю. Церковь была для нее одним из департаментов управления, разновидностью верховной власти царя. „Ты глава и покровитель церкви...“ — неустанно повторяла она Николаю II. Болезнь церкви, как и острый недуг всего общественного строя — всё это слишком большие проблемы для ее ограниченного кругозора. И если церковь нуждается в одорождении, то разве только потому, что между ней и царем стоят непослушные, своевольные слуги царевы — в клобуках или в штитных золотом мундирах.

Александру Федорову надо поставить в центре русского самодержавия XIX века, и тогда образ ее, освещенный с разных сторон, становится понятным. Русский двор в эпоху предреволюционную, русский царь — последний из династии Романовых вполне оправдывают появление такой именно царицы, как Александра Федоровна. Индивидуальными ее особенностями, быть может, объясняется степень ее влияния, та напористость, с которой она его проводила. Но общий тон поведения, даже ~~указы~~ психической и нравственной жизни царицы были предreshены... Или ее должна была извергнуть среда, ближайшая к судьбам самодержавия, или она должна была овладеть средой. Но для того, чтобы овладеть ею, нужно было самой стать средоточием и воплощением умирающего режима. Александра Федоровна выполнила это предначертание истории...

VII.

Глубокая пропасть отделяла царский двор от всей России. В условиях правовых, когда правительство подконтрольно общественному мнению и представительству, это не имело бы рокового значения. Но фактически нити управления завязывались в Царском Селе, а страна была распростерта под пятой.

самовластья. Зияющее противоречие между ростом общественного сознания и архаическим способом осуществления верховной власти усиливалось с каждым днем. Оппозиционная волна вздымалась всё выше и выше, захлестывая новые слои населения. Теснее замыкалась дворцовая клика, и последняя связь с Россией казалась нарушенной. Авторитет самодержца выцветал. Идеинные сторонники неограниченной монархии таяли от малейшего соприкосновения с дворцовой жизнью. Честных и убежденных людей отталкивала растленная среда придворных льстецов, для которых существовал только своекорыстный интерес и не было заботы о судьбе России.

Круг приближенных состоял из тупых, невежественных последних дворянских родов, лакеев аристократии, потерявших свободу мнений и убеждений, традиционные представления о сословной чести и достоинстве. Все эти Воейковы, Ниловы, Мосоловы, Апраксины, Федосеевы, Волковы — бесцветные, бездарные холопы стояли у входов и выходов царского дворца и охраняли незыблемость самодержавной власти. Эту почетную обязанность делила с ними другая группа Фредериксов, Бенкендорфов, Корфов, Гроттенгов, Гринвальдов — напыщенных, самодовольных немцев, которые пустили прочные корни при русском дворе и создали своеобразный колорит закулисного влияния. Глубокое презрение к русскому народу родило всю эту высокопоставленную челядь. Многие из них не знали прошлого России, пребывали в каком-то тупом введении о нуждах настоящего и равнодушно относились к будущему. Консерватизм мысли означал для большинства просто утешительный застой и неподвижность. Для этой породы людей самодержавие потеряло смысл политической системы, ибо их кругозор бессильен был подняться до идей обобщающих. Жизнь протекала от одного эпизода к другому, от назначения к смещению по лестнице чинов и отличий. Иногда череда событий прерывалась потрясением, бунтом, революционной вспышкой или покушением террористов. Эти зловещие симптомы пугали, даже устрасали, но никогда не внушали глубокого интереса и не привлекали к себе серьезного внимания. Всё сводилось в конечном счете к надеждам на нового энергичного администратора или искусного охранника. Правительство в техническом смысле слова пополнялось иногда элементами со стороны. Но круг их самостоятельности был всегда ограничен. Они должны были так или иначе определить себя в отношении придворной правящей клики. Независимость влекла за собой быструю опалу. Большинство избирало линию наименьшего сопротивления и угодничаю в слепую. Так растлевающая связь включала в одну цепь и царедворца, и бюрократа...

Опустошенную идейно, обезличенную среду придворной жизни развела интрига. К этому средству прибегали все — и сильные и слабые. Доверяя друг к другу питали мало, уважения — еще меньше. Интрига была оружием самозащиты и нападения. Время от времени, благодаря стечению обстоятельств, укреплялось чье-нибудь индивидуальное влияние. Но интрига сваливала любой авторитет. Так сыграл свою придворную роль Витте в первой половине царствования Николая II, так печально закатилась звезда Столыпина, который одно время был всеядным министром, а накануне своей смерти

ждал с минуты на минуту опалы. Интрига не щадила и великокняжеской семьи. Многие из князей были взяты под подозрение и не имели открытого доступа к двору. Фривда князей продолжалась в течение всего царствования Николая II. В 1911 году шла речь прямо о раскрепощении родственников царя. В последние годы распутинского влияния недовольство их приняло открытый характер, пока не грянули выстрелы в особняке Юсуповых. Во всех углах царскосельского дворца плелась тогда интрига, а князья даже замисляли что-то вроде бойкота царя, чтобы таким способом подчеркнуть свой протест против ссылки Дмитрия Павловича.

Умением разгадывать тайные нити интриги, знать ее источники и направление объясняется придворный успех некоторых бюрократов, которые кроме этой способности не обладали ничем. Они до тонкости изучали манеру обращения каждого царедворца, знали все слабости и увлечения любого из них, умели ладить, а при случае приладиться, искусно лавировали между самолюбием, эгоизмом, глушостью окружающих, никого не задевали, и потому, когда перебирались кандидатуры на ответственные посты, оказывались всегда в числе первых. К типу таких людей относился, например, Горемыкин, одряхлевший на высших ступенях бюрократической лестницы рамоли, но общепризнанный интриговед. Горемыкин был не один: он замыкал плеяду ему равных...

Николай II был притягательным центром для дворцовой интриги. Своей двуличной, многоличной политикой, обманчивой склонностью к компромиссу, который однако всегда отменялся с упрямой настойчивостью, своим непрямым взглядом и непростым отношением к людям он поощрял и закреплял этот именно стиль придворной жизни. Всякий царь заслуживает своих приближенных. Николай II не умел искать и не умел находить нужных людей. Да если бы такие нашлись, то чем он мог бы вдохновить глубоко-преданных сторонников самодержавия? Открытая политическая арена еще могла бы выдвинуть государственных деятелей, помимо индивидуального влияния царя. Но в атмосфере „личного режима“ личность самодержца имела решающее значение для тех, по крайней мере, кто в ней черпал непосредственно пафос и творческие силы. Николай II был в этом отношении совершенно бесплоден. Он продолжал олицетворять самодержавную власть, но не мог скрыть ее социальной и политической наготы. В короне давно уже не хватало драгоценных камней. Кого мог пленять фальшивый блеск стеклашеи? Не было такой нравственной, религиозной, политической идеи, которая создает силу сопротивления, созание правоты. Благодаря этому, всякий проступок режима вырастал в преступление, всякое преступление грозило гибелью...

В такой опустошенной среде протекала придворная жизнь. В ней были черты поразительного сходства с тем периодом московской истории, когда кончалась династия царей и Россия вступала в полосу смутного времени. И тогда в московском дворце, по свидетельству историка, собрались элементы нравственного растления, и тогда идея самовластного царя стала разменной монетой в игре людей, которые прибегали к силе тайных жезлов и интриг.

силе предательства, доноса, клеветы, всякого коварства, всякого „поганного лиха“. В сумеречной обстановке царскосельского дворца, куда не проникало живое, правдивое человеческое слово и не заглядывал солнечный луч, так же свирепствовал суеверный страх и боязнь „порчи“, как в хоромах московского самодержца. Если тогда прибегали к ворожбе, к приворотному зелью, к ведовству и колдовству для того, чтобы отворотить гибель или „известить“ врага, то во дворце Николая II нравы немногим разнились. Длиннополоый охабень или золотом шитый мундир одинаково прикрывали низость и своекорыстные перевертывания. Самовластие не могло существовать иначе, как окружая себя болезненной подозрительностью. В сущности, каждый приближенный таил в себе опасность, раз не существовало идейной связи, раз общий интерес не господствовал над личным. „Несмотря на свою великую власть и грозное свое могущество, грозное могущество даже одного своего слова, несмотря на эту непомерную силу сильного, московский государь чувствовал, что он не имеет силы, чувствовал, что он находится в постоянной, самой тесной и тяжелой осаде...“ Эти слова историка целиком могут быть отнесены и к быту умиравшей династии Романовых.

В такой обстановке Александра Федоровна должна была найти себе место. Ее появление на русском горизонте вызвало у некоторых надежду, у других смущение и даже тревогу. Круги либеральные, свободомыслящие связывали с именем немецкой принцессы, получившей английское воспитание, смутные чаяния конституционной реформы; придворное общество с опаской встретило чужеродный элемент и начало по обычаю плести интригу. Личность, пусть это будет царица, поскольку она входила, как составная часть, в придворный быт, была неразрывно связана с понятием о самовластии. В этом еще раз сказывалась черта сходства с московским, допетровским обществом. Гессенская принцесса сразу усвоила этот принцип окружающей среды и превратила его в средство самозащиты. Либералов она скоро разочаровала, против интриганов решила использовать силу самодержавного паря. Но последствия этой дворцовой „осады“ она не переставала испытывать. Боязнь „порчи“ не покидала ее ни на одну минуту. О том, что нельзя верить никому из приближенных — эту истину она восприняла мгновенно. Не даром ее пленяла впоследствии утопическая идеология непосредственной связи царя с армией и народом, минуя коварство придворной знати и вражду чиновной интеллигенции. В сущности, у нее не было иного выбора. Замкнутость в узких рамках семейной жизни она не могла по природе своей. Помимо всего, зловещий знак наследственности закрывал для нее и этот исход. Царица бесплодная или с опороченным потомством не выполняла, по старорусским понятиям, своего основного назначения. Дворцовая интрига ее „изводила“, и для такой неудачницы оставался двойной удел: смерть или заточение в монастыре. Быть может, по аналогии с двором Николая II, жизнь не привела бы Александру Федоровну к таким его последствиям, но положение, несомненно, создалось бы для нее безысходное, если бы она сама со всей настойчивостью и прямолинейностью не овладела обстоятельствами и не

сумела приковать свою судьбу к судьбе царя. Особенности ее душевного склада, свойства характера и направление воли помогли ей осуществить план самозащиты, они уже ускорили зловещий конец. И не мудрено, если царица в среде всеобщей скудости, умственного и духовного вырождения быстро снизилась к уровню людей „припадочных“, людей того круга, который один только был ей предназначен, и дала волю суеверию в поисках помощи извне. Не малую роль сыграл зловещий свиток событий, которым ознаменовано было царствование Николая II. Царь, окружающие его советчики бессильны были разорвать кольцо несчастий, сковавшее Россию. Они даже постичь не могли известной закономерности всех бедствий. От природы предрасположенная к мрачным заключениям, с душой, перегруженной тревогой и сомнениями, Александра Федоровна чуть ли не с первого дня своего появления в России увидела карающую десницу судьбы, которая непримиримо преследует династию, требует искупительных жертв и бьет, бьет без конца...

1896 год... Коронование в Москве... Страшная катастрофа на Ходынском поле, положившая начало всем испытаниям и бедствиям. Голодный 1898 год, судороги человеческого страдания, о которых доходили сведения даже до двора. Неуловимый призрак революции, бомбы и выстрелы, истребление наиболее преданных и надежных охранителей власти, полоса крестьянских волнений в Полтавской, Харьковской, Курской губерниях; восстания матросов в Свеаборге и Кронштадте, бунт матросов Черноморского флота, восстания в войсках и, наконец, несчастная, поворная война с Японией. Весь этот мартиролог был лишь вступлением к подлинному потрясению основ самодержавия — к революции 1905 года, когда пред лицом царицы пронесся мстительный ураган народного возмущения и доходил совсем близко глухой рокот восставшей улицы... 1905 год оставил глубокий след. Александровский дворец стал все более походить на осажденную крепость.

Годы реакции и торжества столыпинской диктатуры не могли внести успокоения. Слишком свежо было „предание“, да и Государственная дума, этот символ компромисса, который вынуждена была допустить самодержавная власть, колол глаза, как живой укор. „Усмирение“ куплено было дорогой ценой, но власть скользила все время по острию ножа и теряла равновесие от любого толчка. Социальная основа самодержавия суживалась и, наконец, совершенно исчезла. Личное влияние, личный авторитет получили широкий доступ к двору. Потерян был тот нравственный и политический критерий, который помог бы оценивать людей, предотвращать безрассудство и падение власти. Тогда-то вмешательство царицы в дела государственные становится всё очевиднее. Во время войны с Германией оно приняло форму исключительную. Всякое решение, в конечном итоге, должно было получить одобрение Александры Федоровны. Она невидимо присутствовала на заседаниях совета министров, решала военные, стратегические задачи, смещала чиновников, диктовала программу власти верховной и подчиненной. Она разочаровалась, на жестоком двадцатилетнем опыте убедилась в бесплодности всех попыток так называемых государственных деятелей водворить мир и спокойствие

в стране, дать надежную опору для династии, а главное, она не доверяла этим придворным льстецам, „мужам совета“ и своекорыстным интриганам. Длинная череда бедствий, мрачная хронология царствования Николая II подтолкнули царицу к той грани суеверия, к которой и без того влекла ее „неведомая сила“ души. История обрубила все ветви самодержавия, и сухим голым стволом, засохшим от корней до вершины, пугало оно современников. А рядом с ним иноземная царица, такая же неподвижная и „бесплодная“, думала воскресить этот политический труп при помощи чудес и заклинаний.

И невольно вспоминается далекое прошлое у истоков самодержавия. Известно, что при великом князе Иване Васильевиче его супруга, гречанка Софья, прибегала к ворожбе. К Софье Палеолог — женщине, по тому времени передовой, приходили „бабы с зельем“... К Александре Федоровне — женщине, не ставшей царицей, приходил тобольский мужик — Распутин...

VIII.

Появление Распутина, роль, которую он сыграл в последние годы династии Романовых, не раз будет привлекать внимание историка и бытописателя. Конечно, центр интереса не в самой личности этого хитрого полуганно-тизера, полурелигиозного изувера, который так заманчиво рисовал сладость искупления для порочных и божественным именем освящал греховность плоти. Его религиозно-мистическое учение удивительно легко и приятно воспринималось „высшим обществом“. Чтобы приобщиться к благодати и сохранить надежду на спасение, не только не требовалось достичь совершенства и гнать соблазн, а, наоборот, достаточно было продолжать без зазрения и дальше ту же растленную жизнь и уже в полном сознании своей правоты публично пеготлять своим пороком, заражать им других и сваливать всех в одну общую кучу греха. Распутин был нужен, и если не он, то кто-нибудь другой, подобный. Не даром Хвостов, срывая свою злобу на Распутина, называл какого-то монаха Олега, Мардария и прочих проходимцев, которые ждали случая, когда „судьба Гришки будет решена“, чтобы занять при дворе свободное место провидца и утешителя греховной плоти.

Распутин — эпизод, распутиство — явление органическое. Восприимчивость к „распутиству“ была отличительной чертой эпохи Николая II. Об этом говорят современники в своих „воспоминаниях“, об этом пишут послы в своих доведениях иностранным правительствам. „Распутиство“ — бездна, куда история бросила осужденный режим, бездна суеверия, предрассудков, пошлости и бесчестия. „Распутиство“ — прогрессивный паралич привилегированного общества, порождение умственной пустоты и разврата духовного, катастрофа воли, падение творчества, злоеший признак вырождения. „Распутиство“ неудержимо распространилось по всему организму самодержавия. Не нашлось ни одного здорового места, которое оказало бы сопротивление его разрушительному влиянию. Из светских салонов этот ад перекинулся в министерские кабинеты, из монастырского подворья — во дворец государя. Везде

находились последователи и сподвижники, восприимчивы, созревшие к падению. Дельцы и карьеристы, кликуши и изуверы, люди, испытывавшие животный страх пред смертью, с отяжелевшей от преступления совестию и просто без совести, люди пресыщенные и ненасытные — все соединились в одном общем падении и составляли мрачный легион победоносного „распутинства“. Оставалось ему перешагнуть через последнюю ступень на пути к триумфу — бросить к ногам своим царей. На пороге царскоосельского дворца стояла Александра Федоровна, которая, быть может, ждала его с большим нетерпением, чем кто-либо иной.

Кто первый оказал эту помощь царице, трудно установить. Во всяком случае известно, что епископ Феофан, бывший духовником императорской семьи, аттестовал Распутина, как человека, на котором, несомненно, почтен благодать божия. Вырубова уже была тогда в орбите распутинского влияния и, вероятно, играла главную роль в популяризации старца. Он проник во дворец не тайком, не крадучись, а державно распахнув двери, окруженный ореолом своей магической силы, как законный распорядитель царской судьбы...

Конечно, существовало много рассказов о том, как чудесно предугадывает он пути божественного промысла. В успехе всякого самозванства решающее значение всегда имеет легкое верие и подготовленность общественного мнения той среды, которая выдвигает самозванца, выдвигает потому, что на нем сосредоточивает все свои чаяния и упования. Легендарность Распутина питалась теми же объективными условиями, ибо и в его истории есть черты сходства с самозванством. Много раз предпринимали обследование его круга деятельности. К этому прибегали те, кто не поддавался сразу под влияние „старца“ или даже старался отстранить его за пределы дворца. Столыпин поручил особому чиновнику описать беспристрастно жизнеописание и подвиги Распутина, с целью вывести на чистую воду темные проделки временщика. Ковковцов прибегал к тому же приему. И тот и другой оказались бессильными разорвать пелену суеверия и страха. Падение Столыпина предупредила пуля Богрова, Ковковцов впал в немилость только потому, что не угодил Григорию Ефимовичу...

Распутину верили, хотели верить... Два-три случая его целительного воздействия превратили веру в столп неизблемый. Стоило наследнику в Спале смертельно заболеть от ушиба, а Распутину удачно предсказать его выздоровление, чтобы авторитет тобольского мужика стал несокрушимым. Отныне для царицы существует один путь предопределения, одна истина, одна правда на земле—воля и совет „старца“. И не было такого угла в ее душе, куда она не позволила бы проникнуть нескромному взгляду этого „святого“ проходимца. Быть может, единственный человек, с которым она допустила бы откровенность до конца,—был Распутин. Надо отдать справедливость ему—он не злоупотреблял силой своего влияния в отношении царицы. Инстинкт, здравый смысл, пронизательность подсказывали ему самоограничение. Физической связи с Александрой Федоровной, что было обычным приемом распутинской благодати, не существовало. Эту версию, облизываясь, разжевывала уличная молва и

бульварная печать. Ее следует бросить. Но если связи не было, то лишь потому, что этого не захотел Распутин, убоился своей собственной дерзости дрогнуть пред последним пределом...

Александра Федоровна была готова какой угодно пеной приобрести расположение „Друга“. Ведь это вносило успокоение и уверенность, упрощало всю систему жизни, власти и управления, создавало какие-то основы, более прочные, чем случайные человеческие отношения. Привходящий элемент религиозно-мистического искания придавал этой связи характер возвышенный, оставляя незамеченными все черты грубой лжи, дешевого обмана и всей омерзительной наготы распутинского „действия“. Наоборот, необычность, своеобразная безотычка хлистоинства особенно привлекали царицу. Она в этом отношении не составляла исключения из общего правила. Чем резче бросалось в глаза несоответствие между придворным этикетом и грубой манерой обращения Распутина, тем убедительнее казалась вера его и поучение. Распутин был догадливый мужик и весьма усердно поддерживал свой стиль, часто щеголяя даже своей первобытной грубостью. Он умел облекать свои простые суждения в туманный, слегка цветистый язык. Иногда говорил намеками, иногда обрывал речь на полуслове. Фамильярность, прямота, покровительственный тон, который он применял независимо от ранга и положения, подкупали своей непосредственностью и возбуждали интерес в среде, навсвязь пропитанной условной фальшью. Все забыли уже, в каких выражениях обычно людьми произносится правда, и им казалось, что распутинская вульгарность — есть необходимый атрибут ее. Человеческой правды не искали и не терпели. Искусство лгать было обязательным условием придворного успеха. Но правда, изреченная по уполномочию свыше, носителем благодати божьей — такая правда в устах Распутина считалась откровением непререкаемым. Особенно легко ее было принять потому, что она бережно опекала земные интересы, утоляла земную жажду, освобождала от сомнений и тревог тех, кто к ней внимательно прислушивался. Распутин очень хорошо знал относительную ценность такой именно правды и в „пророческих“ своих изречениях не забывал затронуть всегда судьбу вопрошавшего. Александру Федоровну он держал в напряжении все время, так как не упускал случая коснуться жизни и смерти наследника, власти монарха, отношений к царице, судьбы династии. Это и были как раз те вопросы, которые так болезненно и прямолинейно решала Александра Федоровна.

Еще привлекала „черноземность“ Распутина. Он символизировал близость народа к царю. В его лице устанавливалась связь с народом непосредственно, помимо придворной олигархии. Самодержавие таким образом пыталось освободиться от самого себя. Эта безнадежная попытка могла привести только к самоуничтожению. Революция вскоре подтвердила такой вывод... Во всяком случае, на Распутине можно было демонстрировать свое народолюбие. Вещи он — в сапогах бутылками, в рубашке навыпуск, ремешком подпоясанным, с бородой запущенной, подлинный посланец русской деревни, да еще чудесным образом наделенный даром провидения, — был для царицы живым свиде-

тельством народной основы самодержавия. В этом чудовищном извращении идеологии умирающего режима сказалась его обреченность.

Распутин не порывал со своим селом Покровским, время от времени, когда его подвиги отдавали скандалом, бывал даже насильно туда водворен; чинов не имел, сана не добивался (хотя мог бы унижить официальную церковь и до такой степени), к власти непосредственно не стремился и только ревниво охранял доступ свой ко дворцу. Эта бескорыстная преданность царской семье, самобытная, самопроизвольная, не служба, как у всех прочих придворных и „негодяев“-министров, а служение — это разве не могло вызвать в сознании Александры Федоровны представлений о возвышенной миссии Распутина? Она верила в его чудодейственную силу, не сомневалась в божественном его озарении и, мало того, приписывала особое назначение его появлению во дворце. „Бог для чего же нибудь послал Его нам“... пишет она царю. Нужно было питать к кому-то иному больше доверия, и как раз к такому человеку, который был бы способен поколебать веру в Распутина, для того, чтобы царица отказалась от соблазна принять руку помощи посланника божьего. Но таких людей не было на виду Александры Федоровны, и она гнала прочь всякие клеветнические выпады против „святого старца“. Наоборот, не было более легкого способа скомпрометировать себя в глазах царицы, как выразить сомнение в чистоте его намерений. Вера в Распутина не терпела ни малейшего колебания. Она или могла существовать, как абсолют, или вообще должна была исчезнуть.

Распутин был источником всего благого — жизни, радости, здоровья, сил и успеха.

— „Сегодня солнечный день. Должно быть, Он приехал“... отмечает у себя царица.

— „Алексей скоро поправится теперь, раз что наш друг его видел“... Как высоко должна была Александра Федоровна ценить близость Распутина если один взор его уже приносит исцеление.

Распутин никогда не ошибается, ибо им руководит высшая сила, поэтому... „очень важно, что мы имеем не только его молитвы, но и его совет“, — умозаключает царица. А советы клонились главным образом к тому, чтобы устранить из поля зрения, обезвредить явных и тайных врагов „привидца“, другими словами, содействовать укреплению власти царя, отвести все возни и злоумышления, которые подстерегают на каждом шагу. Царица неустанно напоминала мужу, что „его интерес и интерес России лежат близко к сердцу“ Распутина. Важно лишь обращать больше внимания на слова „друга“, ибо они всегда имеют серьезный смысл и по пустому не произносятся. Она не допускала критики его предначертаний. В каком-то оцепенении подчинялась она всем указаниям Распутина. Его воля — закон. Послушание — высший принцип поведения. Награда не замедлит наступить. Распутин умел на своем народно-церковном диалекте увлекательно говорить о награде и покорял царицу. „Бог имя твое прославит за ласкоту и за подвиг твой“... или: „увенчайтесь земным благом, небесным венцом“... Часто он

успокаивал ее словами утешения и магически снимал тревогу. „Господь увидел твои слезы и услышал твои молитвы. Не сокрушайся более“...

Не терять из виду Распуттина, не оставаться без его заступничества пред богом, не делать ничего вопреки его воле и намерениям—вот к чему в конечном итоге свелась вся мудрость жизни Александры Федоровны. Она вся уставилась в одну точку, роковым образом сосредоточилась в одном пункте и все устремления своя перевязала одним узлом. Распутин—судьба! Обвела себя магическим кругом и глядела застывшим взором, как бьются враждебные силы за чертой круга, тянутся к ней, чтобы погубить, но не могут переступить через волю ее хранителя. И было ясно, что, если есть субъективная уверенность в своей правоте, сила сопротивления, воля к жизни, настойчивость в решениях, система власти и управления, то всё это пригнато к некоему единству, в центре которого стоит злобная фигура тобольского ведуна, могильщика российского самодержавия.

Гринул выстрел в Юсуповском дворце... Распутин пал от руки дворцовых заговорщиков. Божественный промысел изменил ему. Он был бессилен провидеть свой собственный конец. Магический круг разорван. Рушилась вся система жизни... Оборвалась сама жизнь... Сразу ринулись вперед все противоречия. Обнажилось одиночество, душевная глухота, изломанная воля. Трон ждал первого толчка, чтобы рухнуть и похоронить под своими обломками царицу Александру Федоровну.

И когда 8 марта 1917 года генерал Корнилов, главнокомандующий петроградским военным округом, читал бывшей царице постановление Временного Правительства об ее аресте, она сделала бессильный жест рукой и не произнесла ни слова. Ее глаза выражали равнодушие и покорность...

Вл. Канторович.

Григорий Распутин.¹⁾

Из воспоминаний.

Глава XIII.

Граф Игнатъев, министр народного просвещения, и борьба с ним. — Ходатайства Распутина. — Женские драмы. — Надзор за Распутиным.

В наш период управления министерством внутренних дел начались также разговоры об уходе графа Игнатъева, министра народного просвещения, подтверждавшие предсказание кн. Андронникова об уходе всех министров, подписавших петицию государю.

Несмотря на отрицательное отношение правых фракций Думы и Совета к деятельности гр. Игнатъева, Хвостов и я находили уход этого министра несоответствующим нашей программе умиротворения Думы. В разговорах с нами Вырубова неоднократно высказывала, что, помимо родственных связей с графиней Игнатъевой, императрица недоверчиво относилась вообще к деятельности этого министра, подыгрывающегося в своей программе к думским настроениям, но что государь, несмотря на неоднократные с ним разговоры о гр. Игнатъеве, продолжает попрежнему дарить его своим доверием не только вследствие давних симпатий к нему, но и потому, что ставит в заслугу гр. Игнатъеву успокоение студенческой молодежи высших учебных заведений.

Когда в бюджетной комиссии была проведена положительная формула оценки деятельности министерства народного просвещения, Вырубова очень заинтересовалась этим и просила доставить ей печатный экземпляр отчета о заседаниях комиссии. Я поручил своей агентуре узнать у Распутина о положении дела с гр. Игнатъевым, но вскоре я ушел со службы и, уже вернувшись, спросил Распутина о гр. Игнатъеве. Распутин ответил мне, что он поддерживал императрицу, настаивавшую, как и Горемыкин и Штюмер, на необходимости иметь на этом посту своего человека и на уходе гр. Игнатъева; тем не менее государь „отмалчивался“.

В это время Распутин начал уже посещать сенатора Кульчицкого. В ту же пору начались определенные поиски Распутиным нового обер-прокурора, на пост которого Питирим выдвигал Раева, против чего был Распутин. И он предполагал, что поездки его к Кульчицкому имеют целью проведение в обер-

¹⁾ См. „Былое“, кн. 20 и 21.

прокуроры Кульчицкого. Но, вернувшись в сентябре с Кавказа, я узнал, что мнение императрицы о гр. Игнатеве поддержал и Н. А. Маклаков, имевший две частных аудиенции у государя. Против Игнатьева действовал и Протопопов, и Штюрмер, а Распутин выдвигал кандидатуру Кульчицкого, с которым гозорил я Протопопов. Весь вопрос об уходе гр. Игнатьева держался в таком строгом секрете, что, пока я, вернувшись в ноябре, собирался преупредить гр. Игнатьева, уже состоялся указ об увольнении его от должности и назначении Кульчицкого.

Для характеристики Распутина приведу пример того, насколько он был неискренен в своих отношениях к высоким особам и как он старался в каждом случае найти возможность подчеркнуть им, что все его помыслы и действия направлены исключительно к служению их интересам, доходящему до забвения им даже своих личных обязанностей к семье или родным. За весь период моего знакомства с Распутиным, решительно при каждой смене министра внутренних дел или председателя совета, подымался вопрос о таком материальном обеспечении Распутина, какое исключало бы возможность проведения им дел, во многих случаях, сомнительного характера. Никто из нас не имел мужества, зная о далеко не бескорыстных побуждениях Распутина, честно его разоблачить перед государем. Но все старались как государю, так в особенности государыне и Вырубовой, оттенить, что Распутин является жертвой своих лучших бескорыстных желаний помочь каждому, к нему обращающемуся, и что широко оказываемая им денежная поддержка бедных поглощает все даваемые ему на этот предмет добрыми знакомыми небольшие суммы. При этом каждый из министров обсуждал с Вырубовой как вопрос о материальной поддержке Распутина, так и способы парализования эксплоатации его доброты, при чем, уходя с своего поста, каждый министр держал в тайне от своего заместителя, не желая подчеркивать свою близость к Распутину, секрет своего влияния и сношений с Распутиным. Распутин старался не разуверять в своем бескорыстии ни министров, ни окружавших его лиц, ни, в особенности, высоких особ. Если же государь иногда делал Распутину замечания, когда он представлял его величеству какой-нибудь коммерческий проект, в особенности за последнее время по поставкам на армию, явно подозрительного свойства, то Распутин всегда отговаривался, что он ничего в этих делах не понимает, а исполняет лишь просьбы других лиц, думая принести этим пользу государю. А затем, в добродушном тоне Распутин рассказывал о том, как его хотели подвести под немилость царя. Все свои денежные дела Распутин вел в большом секрете даже, как я думаю, и от Вырубовой. Он всегда говорил о своих дырявых руках, не умеющих держать денег, и настолько уверил в этом высоких особ, что после его смерти Протопопов принял ряд мер к материальному обеспечению семьи Распутина. Со времени моего вступления в должность, наблюдая за Распутиным внимательно, я убедился, что он был погружен как в проведение больших коммерческих дел, так и в отстаивание своего влияния на государя, и по этим причинам он не желал и боялся оставлять Петроград.

В это время умер отец Распутина, и его вызвали приехать на родину, но Распутин мне говорил, что, когда он заговорил во дворце о своем намерении уехать, то должен был уступить усиленным просьбам высоких особ и остаться. О своем покойном отце он говорил с подкупающим прискорбием, и я подумал, что в нем заговорила совесть, так как из филерских донесений об отношениях его к отцу на родине я знал, что он не только не уважает отца, но даже не старается скрыть от посторонних своего пренебрежения к нему, ругает его самыми севверными словами, а в пьяном виде бьет его, и однажды даже вырвал у него клоч бороды. Поэтому я заинтересовался, не изменит ли Распутин свой образ жизни, хотя бы в первые дни после смерти отца, но я убедился, что всё осталось попрежнему: то же пьянство, те же кутежи, то же отношение к женщинам.

Как мы условились с Хвостовым, который, как и все сановники, имевшие дело с Распутиным, тщательно старался держать это в секрете, я взял на себя прием просителей с письмами Распутина. С письмами от него являлись преимущественно дамы и в единичных случаях мужчины. Просьбы Распутина заключались, главным образом, в избавлении от отбывания воинской повинности путем устройства в тыловых частях, о предоставлении должностей и о материальной поддержке. Просьбы первого характера я сначала исполнял, но затем в виду их многочисленности отказался, о чем и заявил Распутину. Распутин после этого обратился ко мне только с одной подобного рода просьбой за одного москвича К., прибегнув в этом случае к поддержке Вырубовой. Из разговоров с женой К. я убедился, что она совершенно не знает Распутина и что она обратилась к нему через одну москвичку, устраивавшую все дела через Распутина за плату. Г-жа К. сказала, что все эти хлопоты стоят ей больших денег, которые она давала и посреднице, и лично Распутину, и Вырубовой в виде пожертвований на лазарет. Просьба ее о муже была исполнена, он был назначен в тыл, но Распутин иначе смотрел на завязавшееся с ней знакомство, начал беспокоить К. телефонными разговорами и раз ночью хотел насильно ворваться к ней в номер. После этого К. явилась ко мне, рассказала об этом случае; по моему совету она послала еще денег Распутину и немедленно уехала в Москву. По уходе моем со службы я узнал, что Распутин все же брал на себя дела об освобождении от военной службы. В частности он устроил своего родного сына Дмитрия санитаром в поезд императрицы по особому всеподданнейшему докладу.

Второй разряд просительниц ходатайствовал о материальной поддержке и устройстве их на места. На первых порах я помогал денежно и давал рекомендации этим дамам на места, но затем начал получать, наводя справки, такие неутешительные о них сведения, что мне приходилось почти всегда краснеть за рекомендованных мною лиц. Одну из таких дам пришлось даже выслать из Петрограда. После этого случая я оказывал просительницам только денежную помощь, настойчиво советуя им в Петрограде не засиживаться. Характеризуя их, могу сказать, что эти просительницы принадлежали к числу интеллигентных дам, имевших то или другое положение в обществе, но

находившихся на временной или постоянной свободе от семейных обязательств, легко смотревших на жизнь и на моральные принципы. Многие из них как бы гордились оказываемым им Распутиным вниманием и давали понять мне свою, хотя бы и временную, как я потом разубеждал в целях агентурных, к нему близость. Они же мне говорили, что познакомилась у Распутина и с Вырубовой. Вначале эта психология для меня была непонятна, но затем, когда ко мне начали поступать из разных источников агентурные сведения, я уже более не удивлялся, так как пришлось встречаться и с такими фактами, когда занимающие видное положение в обществе, как, например, одна княгиня из Москвы, одна из крупных величин в артистическом опереточном мире и другие, хорошо материально обеспеченные и никаких просьб к Распутину не имевшие, из чувства не только любознательности, но и особого интереса к Распутину сознательно искали знакомства с ним, зная, на что они идут...

Наконец, был третий тип просительниц, которых не материальная нужда, а горе по любимым людям заставляло идти к Распутину. Но это горе Распутину не трогало, и я до сих пор не могу забыть одной женской драмы, разыгравшейся у меня в кабинете. На прием ко мне с письмом Распутина явилась прилично и скромно одетая дама, лет за тридцать, с просьбой помочь ей в возвращении административно высланного ее мужа. Высылка была произведена военными властями, и я, несмотря на усиленные ходатайства Распутина, ничего не мог сделать, но посоветовал просительнице уехать из Петербурга, предупредив ее о характере Распутина. Она все же осталась, и однажды, когда она вновь явилась ко мне, я просил ее прекратить ко мне визиты. Тогда она истерически разрыдалась и рассказала мне свою драму. Приехала она к Распутину, имея сбережения и драгоценные вещи; выдав почти все свои деньги Распутину, она настойчиво отклонила всякие попытки Распутина флиртного свойства. После моего отказа хлопотать за ее мужа Распутин поставил ей ультиматум: или исполнить его требование, и тогда он попросит государя о муже, или же не показываться ему на глаза. Ни слезы ни просьбы не помогли, и Распутин, пользуясь ее нервным состоянием, несмотря на то, что в соседней комнате были посторонние, насильно овладел ею и затем уже несколько раз приезжал к ней в гостиницу, поддерживая в ней веру в исход дела и взяв от нее всеподданнейшее прошение. Затем Распутин резко прервал с ней знакомство. Вспомнив мои предупреждения и не имея денег на обратный выезд, она и обратилась ко мне за помощью. Я посоветовал ей уехать, что она и сделала на другой день. Когда я спросил Распутина, почему он ее перестал принимать, то он ответил, что она "дерзкая" и что поэтому он не передал государю ее прошения.

Прилегающая к столовой в его квартире комната, где стояла кровать Распутина и куда никто не имел права даже из близких входить, пока он там находился с кем-либо, могла бы рассказать много подобных жизненных драм, в ней протекавших. Агентура отмечала и такие факты, когда оттуда в растрепанном виде выбегали с криками некоторые просительницы (из просто-

людью), ругаясь и отплевываясь, но их сейчас же старались успокоить и удалить из квартиры.

Чтобы разрядить атмосферу около Распутина, я при посредстве трех дам-сотрудниц и других лиц, близких Распутину, добился того, что поездки его по незнакомым ему домам значительно сократились, а в тех случаях, когда он, избегая домашней обстановки, рвался на сторону, — почитательницы его приглашали к себе и устраивали ему обеды или ужины с вызовом гармонистов, под пласовые наигрышания которых подвыпивший Распутин любил танцевать. Кроме того, в любимых Распутиным ресторанах, вследствие моих соглашений с градоначальником, отводились отдаленные, изолированные от публики кабинеты, куда кроме лиц, приезжавших с Распутиным или им вызываемых, никто не допускался, и где Распутин мог, не стесняясь временем, засиживаться, слушая любимые им песни цыган и принимая участие в их танцах.

Что касается личной охраны Распутина, то с приездом полк. Комиссарова я учредил двойной контроль и проследку за Распутиным не только филерами начальника охранного отделения Глобичева, но и филерами Комиссарова; заагентурил всю домовую на Гороховой, 64, прислугу, поставил сторожевой пост на улице, завел для выездов Распутина особый автомобиль с филерами-шоферами; для наблюдения за выездами Распутина с кем-либо из приезжавших за ним на извозчике, завел особый быстроходный выезд с филером-кучером. Затем все лица, приближавшиеся к Распутину или близкие к нему, были, по моему поручению, выясняемы, и на каждого из них составлялась справка. Один экземпляр справок я передавал Хвостову. Далее была установлена сводка посещаемости Распутина и проследка тех случайных лиц, которые так или иначе возбуждали сомнения при посещении Распутина. Кроме того, были приняты меры против газетных и театральных выступлений о Распутине, реорганизована самая тщательная перлюстрация всех получаемых им писем, что давало иногда возможность не только обнаруживать некоторые планы и заранее знать содержание его просьб, но и раскрывать сношения с ним многих лиц, в особенности из среды духовной иерархии.

Глава XIV.

Приглашение Комиссарова. — Его прошлое. — Распутин, Добровольский и Симанович.

Для завершения всех наших мероприятий по отношению к Распутину, я рекомендовал Хвостову пригласить состоявшего в ту пору начальником литского губернского жандармского управления полк. Комиссарова, о личности и деятельности которого держится в обществе много легендарных рассказов.

Директор департамента полиции Н. П. Зуев, бывший живой хроникой департамента, подробно рассказал мне прошлое Комиссарова, его отношения к ген. Горасимову и разрыв с ним на почве семейных недоразумений, о службе его в департаменте полиции, о значительной комнате, обитой пробкой;

где печатались контр-революционные прокламации, обнаруженной бывшим товарищем министра внутренних дел кн. Урусовым и гр. Витте. Это открытие послужило началом борьбы Витте и Дурново и вызвало расследование, произведенное, по требованию Витте, директором департамента полиции Вунчем и Рачковским, в присутствии товарища прокурора палаты Камышанского, с целью доказать руководящую в этом деле роль П. Н. Дурново. Зуев мне рассказывал, что Комиссаров, при допросе его, обнаружил большую стойкость и взял всю вину исключительно на себя, несмотря на угрозы со стороны Витте серьезным наказанием. Зуев, признавая некоторые слабости Комиссарова, лично ценил в нем его преданность и чувство привязанности к людям, оказавшим ему доверие и внимание. Поэтому Зуев прощал Комиссарову многое из его служебных погрешностей. Вскоре после этого Зуев уехал в заграничный отпуск, и я, по приказанию Столыпина, вступил в управление департаментом полиции при товарище министра П. Г. Курлове. В ту пору Столыпин и Кривошеин решили совершить поездку по России и Остии, в связи с произведенными аграрными реформами. Охрана поезда была возложена тогда, по моему настоянию, на Комиссарова, при чем роль его в этом отношении была затуманена. Он в поезде Столыпина не ехал, а был только передовым. На это назначение Столыпин согласился не особенно охотно. В дальнейшем Комиссаров успешно делал свою карьеру и дошел до поста саратовского начальника губернского жандармского управления, откуда был переведен, — что было значительным понижением, — в Вятку, по распоряжению Джунковского.

Узнав о моем назначении, Комиссаров пытался перевестись в Петроград, начальником охранного отделения, но я решил, что полковник Комиссаров, как человек искренне ко мне расположенный, которому я могу вполне довериться и откровенно посвятить сто в мои и Хвостова отношения к Распутину и Вырубовой, хорошо подойдет к роли агента, приставленного от нас при Распутине. Хвостов на это немедленно согласился. Комиссаров был вызван в Петроград и в первое же свидание с Хвостовым произвел на него хорошее впечатление своей откровенной беседой, в которой, к моему удивлению, он перешел несколько границы почтительности, ему обычно присущей. Когда я, возвращаясь от Хвостова в автомобиле с Комиссаровым, отметил ему в виде опасения эту черту разговора, то на это Комиссаров ответил, что я неправильно себе представляю личность и мотивы Хвостова, как министра вообще, так и в отношении к Распутину в особенности: в них Комиссаров не видит никаких государственных или идейных соображений, а только преследование Хвостовым личных своих интересов. Это впечатление Комиссаров вынес из обстановки приема у Хвостова и прибавил, что, зная близко многих министров внутренних дел, он не мог почувствовать в Хвостове министра. Затем Комиссаров заявил мне, что он только для мести, но не для Хвостова, о котором он навряд ли в будущем переменит свое мнение, возьмет предлагаемое ему поручение. Но Комиссаров ставит условием разрешить ему при всех случаях общения с Распутиным быть не в офицерской форме, в которую он не желает рваться, а в статском платье.

Комиссаров был назначен начальником жандармского управления одной из эвакуированных губерний, прикомандирован в департамент полиции и определен в мое распоряжение. Затем я поручил Комиссарову немедленно избрать соответствующий штат опытных, испытанных и преданных филеров, организовать параллельное наблюдение за Распутиным, вменив филерам в обязанность приобрести расположение к себе Распутина, — чего они впоследствии вполне достигли, — и позаботиться присканием вполне удобной, подходящей для конспиративных свиданий с Распутиным квартиры. Не открывая роли Комиссарова Глобичеву, я предписал последнему ряд мер, которые согласовались бы с агентурными охранного отделения наблюдениями за Распутиным.

Приступая к делу, я сумел заинтересовать Вырубову и Распутина личностью Комиссарова и его преданностью интересам трона, рассказал им о роли Комиссарова при Дурново и отделил отрицательное отношение к нему ген. Джунковского.

После этого я сказал Распутину, что, исполняя его желание и веря в его замечательное знание людей, мы сами отходим постепенно от кн. Андронникова; отныне те 1500 рублей, которые передавал ему от нас кн. Андронников, ему будет передавать, кроме ассигновок на ежемесячные благотворительные нужды, Комиссаров. Комиссарову Распутин может при ежедневной к нему явке передавать прошения, какие-либо интересующие нас новости и свои пожелания, вполне доверившись Комиссарову. Новая квартира для наших конспиративных с ним свиданий была нанята Комиссаровым в переулке, выходящем на Фонтанку, в первом этаже. Эту квартиру Комиссаров прилично обставил, снабдив ее всем необходимым, в том числе вином, для устройства Распутину обедов и ужинов, и поселил в ней преданного ему, женатого филера под видом лакея.

Комиссаров сразу произвел на Распутина хорошее впечатление, быстро ориентировался в его жизни, установил с ним дружеские отношения и вошел в курс интересов и привычек Распутина. Рано утром, до прихода посетителей, Комиссаров являлся на квартиру к Распутину и, пока тот был в трезвом и приличном виде, узнавал от него новости, наводя его на интересующие нас темы, проводил путем обсуждения с Распутиным наши пожелания, подчеркивал нашу доброжелательность к Распутину, нашу преданность Вырубовой и интересам императрицы и государя, и удерживал Распутина от его посядок в незнакомые дома и от употребления вина в незнакомом обществе, чем заслужил уважение в семье Распутина, где он стал своим человеком. Затем Комиссаров брал от Распутина, когда начинались приемы, различные прошения для передачи нам, ехал ко мне, а со мной и к Хвостову и докладывал подробно обо всем, что касалось Распутина, и о том, как они, по шутливому замечанию Комиссарова, решают с Распутиным государственные вопросы и обсуждают необходимые перемены в составе кабинета. За этот период времени, благодаря Комиссарову и всестороннему агентурному освещению образа жизни Распутина, удалось в точности установить роль близких к Распутину

*

лиц, из которых только немногие относились к нему сердечно; остальные же проводили через него крупные дела, действуя секретно друг от друга и следя один за другим, чтобы поддержать в Распутине постоянное чувство подозрительности в обмане его при расчетах с ним тех, чье влияние на Распутина усиливалось. Сам Распутин никогда не посвящал в свои денежные дела даже самых близких ему лиц, но зорко следил за охраною своих материальных интересов и производил подробный сыск о тех, кого он подозревал в обмане его, и затем, не сдерживаясь, публично их разоблачал, не стесняясь в выражениях.

Такие черты своего характера Распутин проявил в особенности по отношению к Добровольскому, инспектору народных училищ петроградского округа. Он и жена его пользовались особым расположением семьи Распутина. Сам Добровольский был очень конспиративен и сдержан, хорошо изучил слабые стороны Распутина, умело влиял на него. И поэтому Добровольский заведывал корреспонденцией Распутина, был посвящен в тайны влияния Распутина на высочайших особ и вел особую приходо-расходную книгу, куда записывал все свои денежные расчеты с Распутинным. Поставляя Распутину деловую элементуру, Добровольский заставлял окружающих Распутина лиц считаться с ним, Добровольским, и приглашать себя к участию в прибылях при проведении через Распутина денежных дел. Это многих задевало, конкуренты Добровольского, к которому доброжелательно относились и Вырубова, повели против него умелую интригу, пользуясь подозрительностью Распутина, и, когда почва была подготовлена, то решительный удар был нанесен неким Симановичем. После бурного объяснения Распутина с Добровольским отношения их прервались, и если потом и возобновились, то никакой роли Добровольский у Распутина уже не играл.

Что касается Симановича, то последний был знаком с Распутинным издавна еще по Киеву, где Симанович имел небольшую ювелирную лавку. Симанович в Петрограде вошел в полное доверие к Распутину, и его положение в доме Распутина закреплялось с каждым днем. Симанович небескорыстно для себя устраивал Распутину много прибыльных дел. Из справки начальника охранного отделения полк. Глубичева выяснилось, что Симанович состоит на учете сыскальной полиции, как клубный игрок и ростовщик, помещающий свой капитал до 200 т. р. в вексельные займы золотой кутащей петроградской молодежи под большие %%. Эту справку мы доложили Вырубовой и представили Распутину, — и не раз при посредстве Комиссарова. Но Распутин, наоборот, после этого еще более сблизился с Симановичем. Хвостов предлагал выслать Симановича, но я высказался против этой меры, в виду того, что Симанович приносил и пользу в отношении ревнивой охраны Распутина от подозрительных знакомств. После моего ухода со службы Хвостов арестовал Симановича в связи с делом Ржевского и произвел обыск у Добровольского. В этот момент я понял, какое значение имел для Распутина Симанович. Распутин нервно и настойчиво хлопотал у императрицы и добился того, что Симанович был освобожден от ареста, а затем была отменена и высылка его

в Исков. На всеподданнейшем прошении Симановича государь написал резолюцию о прекращении против Симановича всяких преследований.

В этот период времени Манасевич-Мануйлов передал мне о желании Симановича познакомиться со мной. Знакомство это я поддерживал до последнего времени. Я часто встречался с ним в тех домах, куда Распутин приезжал в сопровождении Симановича, при посещениях квартиры Распутина и был у Симановича раз на обеде, данном им Распутину.

Симанович в общем был со мной откровенен, рассказывал мне много о тайных предположениях Распутина относительно служебных перемен, познакомил меня с подробностями дела Ржевского, помогая мне восстановить поврежденные этим отношения с Распутиным, давал мне правильную оценку отношений Распутина к высшим чинам правительства и посвятил меня в свои планы проведения через Распутина в министры юстиции Н. А. Добровольского, своего старого знакомого, с которым он познакомил поближе Распутина. Это дало мне возможность предупредить об этом А. А. Макарова. Симанович же держал меня в курсе всех данных о смерти Распутина, ездил со мной в ближайшие после смерти дни в Вырубовой с докладами об имевшихся у него по этому поводу данных и рассказывал мне о Протопопове и Бурлове в первый период сближения их с ним при жизни Распутина.

Я усмотрел в Симановиче много хороших черт. Между прочим, он старался через Распутина воздействовать в высоких сферах на изменение правительственной политики в еврейском вопросе, чем отчасти и объясняется благожелательное отношение государя к поднятому Протопоповым вопросу о расширении прав евреев.

После смерти Распутина я узнал от Симановича, хорошо ознакомленного с материальными делами Распутина, что после Распутина осталось хорошее состояние, по крайней мере, в 300 т. р.

Глава XV.

Жизнь Распутина. — Его телефонные разговоры. — Празднование Распутиным своих именин. — Свидания с Распутиным.

Из наблюдений полк. Комиссарова, рисующих значение Распутина и обстановку его жизни, я припоминаю следующие его рассказы.

Однажды Комиссарову пришлось быть свидетелем телефонного разговора Распутина с великой княжной Татьяной Николаевной и наследником. Великая княжна сообщала Распутину, что у наследника болит голова, и передала телефонную трубку наследнику, который, повидимому, подтвердил то же самое Распутину, проси его приехать. Тогда Распутин ласковым тоном начал рассказывать ему какую-то сибирскую сказку и, по окончании, сказал, что он приедет на другой день. Распутин начал настойчиво убеждать наследника пойти и лечь в постель, уверив его, что после этого у него пройдет головная боль.

Обычно все телефонные разговоры Распутина с Царским Селом, в особенности с Вырубовой, которая с ним говорила ежедневно, происходили около 10 ч. у. Поэтому Распутин, где бы он ни был и как бы бурно ни провел ночь, всегда к этому времени возвращался домой, ожидая с нетерпением звонка из Царского Села. В зависимости от этих разговоров находилось и его настроение. Поэтому и свидания с ним Комиссарова тоже приурочивались к утренним часам. Таким образом, мы имели возможность получать некоторые сведения, нас интересующие, из первоисточника, или передавать через Комиссарова Распутину к этому времени то, о чем мы признавали нужным осведомить Вырубову для дальнейшего его доклада во дворце.

Второй рассказ Комиссарова касался празднования Распутиным дня своего ангела—10 января.

Так как об именинах мы знали от Комиссарова заранее, то с ведома Хвостова я отпустил в распоряжение Комиссарова из секретного фонда особую сумму на покупку ценных подарков не только самому Распутину и его двум дочерям, но и приехавшим к этому дню жене Распутина и его старшему сыну. Куплены были обеденное серебро, брошь, золотые часы и браслеты. В этот день филерам Комиссарова нами было поручено во что бы то ни стало проникнуть внутрь квартиры Распутина, так как нас интересовал завтрак с Вырубовой и вечер в интимной обстановке друзей Распутина. Филеры, которых Распутин сначала не пускал к себе в квартиру, к этому времени уже сумели войти в доверие к нему, сопровождая его в церковь и в баню. Он уже охотно вступал с ними в разговоры и делил обнаруживаемую ими преданность и удовольствие быть в его обществе. Поэтому, сопровождая Распутина в церковь в этот день, филеры предложили Распутину свои услуги помогать девочке-племяннице Распутина в передней при раздевании посетителей. Распутин, находясь в хорошем настроении, благодаря полученным от нас подаркам и поздравлению по телефону Вырубовой, обещавшей быть у него к завтраку, и благодаря полученной им телеграмме от высочайших особ, решил филерам быть у него на квартире.

По возвращении Распутина из церкви, к нему начали собираться избранные его знакомые с ценными подношениями. Один из рестораторов приготовил уже на свой счет обеденный стол с именинным пирогом. По приезде Вырубовой начался завтрак, проходивший до ее отъезда сдержанно, при чем Мудролюбов сказал большую, в патетическом тоне, речь и подчеркнул государственное значение Распутина, как простого человека, доводящего к подножию трона болевые народные нужды. После отъезда Вырубовой в течение целого дня совершался непрерывный приток посетителей, приносивших Распутину массу ценных подарков. Целый дождь ценных подношений был прислан Распутину при письмах и карточках разных лиц, так или иначе связанных с Распутиным. Чего только не было здесь: серебряные и золотые вещи, ковры, целые гарнитуры мебели, картины, деньги и т. п. Все эти вещи жена и сын затем отвезли в с. Покровское. Затем из разных мест России было прислано Распутину много поздравительных телеграмм.

Распутин сиял от благожеланного удовольствия, с каждым приходившим к нему или и, наконец, к вечеру свалился, и его уложили в постель. Немного протрезвившись сном, он вечером, с приходом более интимного кружка лиц, преимущественно дам, начал снова с ужина пить и требовал того же от дам, так что он почти их всех сплил. Более благоразумные дамы поспешили уехать, оставшиеся же были охвачены вместе с Распутиным, дошедшим в пляске и омынении до полного безумия, — таковой разнузданностью, что хор цыган поспешил уехать, а оставшиеся посетители в большинстве заночевали у Распутина. На другой день мужья двух дам, оставшихся на ночь в квартире Распутина, ворвались к нему на квартиру с оружием в руках. Филерам стоило большого труда предупредить Распутина и дам и этим дать последним возможность скрыться из квартиры по черному ходу, успокоить мужей, для чего они проводили их по всей квартире и дали уверение, что их жен на вечере не было. Филеры затем проследили за ними и выяснили их личность.

По словам Комиссарова, докладывая ему об этом вечере, филеры не могли без омерзения вспомнить виденные ими сцены. Этот случай с мужьями запугал Распутина, и он несколько времени после этого как бы затих, был поглушим, избегал выездов, близливо прислушивался к звонкам и был благодарен нам за улаживание этой истории, обещая больше у себя на квартире замужних женщин на ночь не оставлять, и просил об этом никого, даже Вырубовой, не говорить, что мы и исполнили. Но затем в скором времени Распутин, убедившись, что эта история заглохла, начал снова вести свой прежний образ жизни, но только был сравнительно осторожен в своих отношениях к замужним женщинам.

Что касается наших свиданий с Распутиным, то они, после устройства нами особой квартиры, происходили регулярно, по мере необходимости в этом для нас или когда Комиссаров, видя какие-либо колебания Распутина в отношении к нам или его неудовольствие на нас за неисполнение какой-нибудь интересовавшей Распутина просьбы, убеждал нас в необходимости личных переговоров с Распутиным. В таких случаях устраивался обед, мы вели нужные беседы, и в свою очередь Распутин передавал нам содержание своих разговоров с высокими особами и с Вырубовой и всякий раз обращался к нам с какой-либо просьбой или прошением, его интересующим, подчеркивая неизменно свое бескорыстие. Иногда происходили неловкости, так как Распутин, плохо разбираясь в бумагах, иногда передавал нам не то прошение, какое ему было нужно. И когда Хвостов или я указывали ему, что переданный документ касается получения концессии или подряда и к нам не относится, то Распутин вынимал другое прошение, а их у него всегда было в кармане много.

На первых наших обедах Распутин бывал сдержан в вине и даже пытался вести с ним беседы в духе своих „размышлений“, но затем Комиссаров установил с ним сразу дружеский разговор на „ты“ и отучил его от этой, по словам Комиссарова, „божественности“. Это понравилось Распутину, и он с того времени перестал нас совершенно стесняться и, приходя в хорошее настроение, приглашал нас обычно поехать к цыганам, что мы всегда отклоняли.

При наших свиданиях с Распутиным в тех случаях, когда дела касались личных интересов Хвостова, как, например, скорейшего его утверждения в должности министра, пожалования ему, по примеру Маклакова, минуя три награды, сразу ордена Анны 1-ой степени, проведения его кандидатуры на пост председателя совета министров и награждения его сразу штатмейстером, — Хвостов выходил в соседнюю комнату под предлогом отдыха, и тогда я о таких делах говорил лично с Распутиным. А затем я ездил к Вырубовой, ведя с ней такую же беседу и не забывая в нужных случаях заручиться поддержкой Воейкова.

Глава XVI.

Планы А. Н. Хвостова об убийстве Распутина. — Мое и Комиссарова отношение к этому. — Давление со стороны ген. Воейкова и правых. — План избиения Распутина и неудавшаяся попытка.

Под влиянием всех изложенных выше мер, отношения наши со всеми необходимыми мне и Хвостову лицами установились, вопрос об охране Распутина и сношений с ним налажился, равным образом установились и хорошие отношения с Вырубовой, не только деловые, но и частные. Меня и Хвостова государыня, Вырубова и Распутин считали, в чем я был искренно убежден, несмотря на неоднократные предупреждения Комиссарова, тесно связанным друг с другом не только общностью служебных интересов и взглядов, но и чисто дружескими отношениями. Я за этот период времени никаких наград не получил, А. Н. Хвостов же был утвержден министром, пожалован Анной 1-ой степени и укрепился в своем положении, бросив первые семена недоверия к Горемыкину в смысле неправильности его политики по отношению к Государственной Думе.

В этот период времени А. Н. Хвостов начал вести со мною, в дружеской форме излияний, сначала отдаленные, а затем и вполне откровенные разговоры о вреде Распутина, не только с точки зрения охраны интересов династии, но и в наших личных. Подчеркивая мне то обстоятельство, что положение его, Хвостова, теперь укрепилось у высочайших особ, у Вырубовой и у Воейкова, Хвостов начал вести со мной разговоры на тему о том, что теперь Распутин нам не только совершенно не нужен, но и даже и опасен: с ним, с его настроениями и с его подозрительностью постоянно необходимо считаться, что, при возможных из него сторонних влияниях, сильно осложняет проведение намеченных Хвостовым начинаний, как в области государственной, так и в сфере его личных предположений. При этом Хвостов указывал, что его, равно как — он думает — и меня, тяготят свидания с Распутиным и постоянная боязнь обнаружения, вследствие бесталанности Распутина, нашей близости к нему. Это делает невозможным его, Хвостова, положение в семье, в обществе и в Государственной Думе. Избавление же от Распутина очистить атмосферу около трона, внесет полное удовлетворение в общественную среду лучше всех наших мероприятий, умиротворит настроение Государственной Думы и подымет

в глазах общества, Думы и Совета наш престиж. При умелой организации этого дела устранения Распутина, наше положение не пошатнется в глазах высочайших особ и Вырубовой, если мы постепенно подготовим их к возможности подобного рода событий, жалюсь в доброжелательной к Распутину форме на его неоднократные, тайно от филеров совершаемые выскзды. Хвостов указывал, что со смертью Распутина доминирующее во дворце положение Вырубовой бесспорно поколеблется, чем можно в дальнейшем умело воспользоваться для отдаления ее от высочайших особ. Затем Хвостов мне добавил, что в расходах на организацию этого дела можно не стесняться, так как он имеет в своем распоряжении для этой цели значительное частное денежное ассигнование.

Когда я об этом замысле Хвостова передал Комиссарову, то последний целым рядом логических посылок доказал мне, что в данном случае Хвостов, как и во всех предыдущих отношениях его ко мне, — неискренен: Хвостов, поставив меня в глазах высочайших особ, Вырубовой, митрополита и близких Распутину лиц в роль близкого к себе человека, которому он передоверил охрану Распутина и сношения с ним, всё время умышленно подчеркивал это перед Вырубовой и другими и тем самым оставил себе в будущем возможность свалить всю вину в этом деле на меня. При этом Комиссаров сообщал мне, что, бывая у Хвостова и беседуя с его секретарями и офицерами, он вынес убеждение, что и им Хвостов сумел подчеркнуть свою отдаленность от Распутина и мою близость к последнему, как бы компрометирующим его. В таком духе, как Комиссарову приходилось слышать, Хвостов говорил и в Думе, и в обществе, и если Хвостов в настоящее время получил всё через Распутина и обеспокоен вопросом об его удалении, то делает он это не ввиду побуждений идейного характера, а ради того, чтобы обезопасить себя от возможности обнаружения его близости к Распутину, с тем, чтобы затем через Родзянко и других депутатов приписать себе государственную заслугу в этом деле. Комиссаров указал мне также очень важную черту Хвостова — отсутствие у него конспиративности. Но Комиссаров добавил, что, если у него раньше, когда он не знал Распутина, было еще какое-нибудь сомнение в фатальном зле, приносимом Распутиним династии, то теперь, хорошо узнав этого человека, он и его филеры, которые не могут без чувства крайнего возмущения говорить о близости такого порочного человека к тем, кто для них священен, — всегда бы нашли возможность, при тех отношениях, которые теперь установились с Распутиным, избавиться от него. Однако Комиссаров, не веря Хвостову, не может рисковать участью преданных ему людей. Комиссаров закончил, что, если бы это отвечало моим желаниям, то он и его филеры, зная меня и мое отношение к подчиненным, сделают всё то, что я прикажу.

После этого разговора с Комиссаровым я начал вспоминать весь период моей близости к Хвостову, отдельные эпизоды и мелочи жизни, слухи, все разговоры с ним и отношения к старым своим хорошим знакомым, которым он наружно при мне показывал знаки доверия, а после их ухода их выпучивал, указывая, ради какого личного интереса он их к себе приблизил, и т. п., —

я, действительно, многое понял, — в особенности черствость, эгоистичность и беспринципность этого человека.

Переходя к вопросу о Распутине, вне всякой зависимости от желания Хвостова, я при всем моем органическом отвращении к крови, в силу природных качеств и воспитания, все-таки задумался: что, если бы, под влиянием соображений высшего порядка, оставляя в стороне заманчивые перспективы, которые рисовал мне Хвостов, — что, если бы я пошел на эту великую для меня жертву и принял на себя организацию и осуществление, хотя бы в роли соучастника, этого преступления? Достиг ли бы я в конечных целях поставленной мною задачи и не был ли бы этот акт наивысшего, чрепатоного по своим непредвиденным последствиям, служебного преступления бесплодною жертвою с моей стороны, которая всегда была бы для меня тягчайшим укором совести?

После долгого размышления я всесторонне взвесил склад мистически настроенной духовной организации государя, который видел в даровании ему долгожданного наследника проявление милости к нему высших и таинственных сил провидения, вследствие его молитв и общения с людьми, как бы незыблемый особый дар предвидения будущего. Я учел постоянные опасения государя и императрицы за жизнь наследника и единственную веру их в то, что только одна незыблемая мощь тех же сил я лиц способна спасти и продлить эту дорогую им жизнь. Я видел этому примеры в прошлом, до появления Распутина, в отношениях к старцам, юродивым, предсказателям и тому подобным лицам. И я пришел к тому заключению, что если исчезновение Распутина временно и успокоит, в силу однозности этого имени, деспотизм общественного мнения о нем, то вследствие причины, выше мною отмеченных, оно неизбежно повлечет за собою появление во дворце какого-нибудь нового странного человека по типу тех же лиц, которые проходили ранее, вроде Миши Козельского, Расм Босоножки, Мардария и других, от которых Распутин впоследствии так ревниво оберегал свое влияние на высокие сферы.

В виду этого такая жертва с моей стороны, противная совести и законам, была бы бессмысленна сама по себе и, вызвав, при самых лучших условиях, общественное к Хвостову и ко мне внимание, могла бы через некоторое время вселить большое опасение в возможность применения нами, пользуясь преимуществами служебного положения, того же способа борьбы с политическими противниками существовавшего режима.

По всем этим основаниям я решил, пока мне не представится благоприятный предлог для ухода, без ущерба для себя, со службы, удерживая в своих руках все нити наблюдения и охраны Распутина, противодействовать в этом отношении Хвостову, усмиряя его бдительность. Выдавать его намерения Вырубовой и Распутину я считал неэтичным, так как это могло быть истолковано Хвостовым и другими лицами в самом невыгодном для меня свете, в особенности в широких общественных кругах, которые, в силу одного имени Распутина, стали бы на сторону А. Н. Хвостова.

Я поделился этими соображениями с Комиссаровым, и мы решили показать Хвостову всю видимость нашего искреннего сочувствия его замыслу

относительно Распутина, но подвергать самой широкой критике все предлагаемые им планы, затягивая под всякими благовидными предлогами наступление решительного момента исполнения. Когда я передал Хвостову о том, что подготовил Комиссарова к принятию его предложения, и заручился его согласием, то при следующем нашем совместном докладе Хвостов, повторив ему все высказанные уже мне мотивы для устранения Распутина, был горячо поддержан Комиссаровым, заверившим его, что это отвечает его пожеланиям и его филеров, на которых можно всецело положиться.

После этого А. Н. Хвостов приступил к обсуждению плана убийства, входя с особым интересом в обсуждение каждой детали и даже высказывая желание лично принять участие в деле. Чем больше мы об этом говорили, тем сильнее захватывала А. Н. Хвостова мысль убить Распутина, и тем тяжелее было для меня присутствовать при этих обсуждениях. Что касается Комиссарова, то я поражался его умению подойти под тон настроения Хвостова, и только потом, когда мы уходили с Комиссаровым от него, Комиссаров не сдерживался в своей оценке Хвостова, который теперь и для меня стал ясен во всей беспринципности своего мировоззрения.

После долгого обсуждения А. Н. Хвостов предложил послать, после принятия мер предупредительного характера, Распутину автомобиль под видом приглашения к какой-нибудь даме, а затем в глухом переулке, где автомобиль должен был замедлить свой ход, в него должны были вскочить загримированные люди Комиссарова; затянув петлю на шее Распутина и обмотав предварительно его лицо платком, чтобы он не кричал, и оглулив его, — они должны были свезти затем труп его на Неву, на Острова, и там его бросить в прорубь или, что еще лучше, завезти его на взорье и там зарыть в снег, привесивши к телу камни, чтобы при оттаивании льда труп опустился в море.

Но весь этот план требовал многочисленных предварительных приготовлений: необходимо было удалить под благовидным предлогом преследку филеров Глобичева, подготовить автомобили, распределить роли среди филеров, наметить даму, которую знал бы Распутин, устранить возможность разговора с ней Распутина и т. п. Высказывая постоянно А. Н. Хвостову те или иные возражения, я не мог не обратить его подозрительного внимания своим поведением, и он в первое время приписывал это моему малодушию и поэтому старался воздействовать на меня не только лично, но и давлением со стороны. Так, в одно из обычных ежемесячных посещений меня Марковым и Замысловским для получения денег на партийные надобности и за дополнительными субсидиями на „Земщину“ и лазарет, Марков, в присутствии Замысловского, сказал мне, что они только что были у Хвостова и от него, с его ведома и согласия, пришли переговорить со мной о необходимости, до открытия Государственной Думы, убрать Распутина, который всем своим поведением и афишируемой близостью к августейшим особам подрывает в корень все партийные начинания монархических организаций в деле борьбы с начавшимся анти-династическим движением в стране. При этом Марков добавлял, что, судя по словам Хвостова, всё зависит теперь от меня.

Замысловский почти не принимал никакого участия в разговоре, но, по моим сведениям, оба они с Распутиным знакомы не были и в отношении его держались непримиримой точки зрения, какой придерживалось подавляющее большинство членов правой фракции Государственного Совета, кроме Штюрмера и Н. А. Маклакова, лично знавших Распутина.

Своим собеседникам я ответил, что, если бы речь шла о моем отношении к устранению Распутина средствами партийных монархических организаций, то можно было бы говорить о моем колебании, но, в данном случае, когда осуществление всего акта А. Н. Хвостов возлагает на меня, я не могу не обдумать каждого своего шага.

Затем, при одном из ближайших моих посещений в Царском Селе дворцового коменданта ген.-майора Воейкова, последний также повел разговор на эту тему, указав на то, главным образом, что в армии идет как среди командного состава, так и среди войсковых частей, открытое брожение на почве возмущения влиянием Распутина на августейших особ, которое может вылиться в самые нежелательные формы анти-династического движения. Передавая об этом А. Н. Хвостову, Воейков считал нужным обратить на это мое особое внимание. Когда же я указал, что, согласно одобренному и им плану, мною приняты все меры к избежанию лишних разговоров о Распутине, Воейков на это ответил, что это паллиативы и что мне надо подумать о чем-либо более существенном, чтобы раз навсегда положить этому предел. Затем и впоследствии я имел такой же разговор с Воейковым, при чем заметил некоторую сухость с его стороны по отношению к себе. Это было позадолго до истории с Ржевским, когда А. Н. Хвостов повел уже свою личную политику в отношении Ржевского, так что в перемене к себе Воейкова я видел отражение влияния Хвостова.

Наконец, с Комиссаровым, а затем и со мною, по поручению А. Н. Хвостова, на эту тему говорил кн. Андрей Ширинский-Шихматов. По последнему и Комиссаров, и я, зная его доброжелательность к нам, откровенно расшифровали побуждения Хвостова; поставив его в курс всех своих соображений по этому делу, — и он их разделил, — мы рассказали ему о той позиции, какую я и Комиссаров заняли по отношению к Хвостову в этом вопросе.

Из всего происшедшего я вынес убеждение, с одной стороны, в том, что Комиссаров прав в оценке поведения Хвостова в этом деле и его исконспиративности, с другой — в необходимости что-либо предпринять, чтобы усыпить на время бдительность Хвостова. А он между тем становился с каждым днем все более и более настойчивым и обнаруживал желание или избить Распутина или, если мы не убьем его, самому его убить на свидании из револьвера... И при этом Хвостов показывал свой небольшой браунинг...

Тогда я, воспользовавшись брошенной Хвостовым мыслью об избивении Распутина, стал доказывать министру, что подобного рода мера, если она будет проведена под видом мести мужа за поруганную честь жены, даст нам в будущем, когда совершится основной акт, основание указать и Вырубовой, и высочайшим особам, что и убийство является таким же актом мести. Вместе

с тем, развивая этот план, я указал Хвостову, что, желая отвлечь Распутина от посещения ресторанов, я, в числе других лиц, между прочим, вошел в соглашение с другом Манасевича-Мануйлова, — сотрудником „Вечернего Времени“ М. А. Снарским (он же Опу), которого снабдил авансом для приглашения Распутина к себе на вечера. И просил Снарского, в случае настойчивых попыток Распутина ехать в те или другие увеселительные заведения, сопровождать его, удерживая от скандалов и устраивая эти кутежи в изолированных от публики помещениях.

Ввиду этого я заявил Хвостову, что, переговорив со Снарским, который живет в малолюдном переулке, я дам ему еще денег для устройства у себя вечера: узнав, когда Распутин будет у него, я сообщу об этом Комиссарову, который замаскирует своих людей, и они, при выходе Распутина, с соответствующими угрозами нападут на него, привлекут шумом борьбы внимание дворников, чтобы последние могли доставить Распутина в полицию, — для регистрации этого случая, — и сами исчезнут на автомобиле Комиссарова. Затем филеры, встревожась долгим отсутствием Распутина, начнут осведомляться из его квартиры по участкам и таким образом отведут от себя всякое подозрение, а нам дадут возможность сослаться на этот случай, как на доказательство трудности охраны Распутина при его стремлении скрывать свои выезды от филеров, что может повлечь за собою и более серьезные против него выступления.

Когда А. Н. Хвостов одобрил этот план, то я переговорил с Комиссаровым, который согласился осуществить его, так как Комиссарова постоянно смущали тайные от филеров отлучки Распутина.

Ко мне зашел Снарский. Я объяснил ему необходимость в виду поведения Распутина поугаждать его и попросил Снарского пригласить Распутина, задержать его при выходе гостей и выпустить его одного. Для устройства этого вечера я выдал Снарскому аванс.

Через несколько дней Снарский сообщил мне о дне, когда назначено у него на квартире свидание Распутина с двумя дамами. Я передал об этом Комиссарову и просил, чтобы он внушил филерам не переусердствовать. Когда вечером Комиссаров мне доложил, что люди поставлены им на посту и роли распределены, А. Н. Хвостов пожелал прокатиться и лично посмотреть всю инспирировку подготовлявшегося нападения на Распутина. Мы отправились втроем, проехали по переулку, где жил Снарский, видели и автомобиль Комиссарова с опущенным верхом и загримированных филеров. Однако, показывая нам квартиру Снарского, Комиссаров обратил наше внимание на то, что она не освещена, но я успокоил его тем, что вечеринка состоится после 12 ч. ночи, когда дамы приедут из театра, и что Снарский в это время обещал привезти и Распутина.

На другой день Комиссаров доложил, что никакой вечеринки у Снарского не было, — и план избиения, таким образом, не мог быть осуществлен. Снарский объяснил мне, что вечеринка расстроилась из-за Распутина, который не мог в этот вечер почему-то приехать к нему, но я узнал впослед-

ствии, что всю эту ночь Распутин вместе со Снарским прокутили в отдельном кабинете Палас-Театра.

А. Н. Хвостов был очень недоволен такой неудачей потому, вероятно, что сказал кому-нибудь, что Распутина побили, потому что с этого же дня по городу пошли в разных версиях разговоры об избиении, о чем я узнал от кн. Волконского, товарища министра.

Глава XVII.

Обсуждение Хвостовым плана убийства Распутина с Комиссаровым. — Большие суммы денег у Хвостова на убийство Распутина. — Моя поездка в Ставку. — План отравления Распутина ядом.

После этого инцидента А. Н. Хвостов начал уже сам, без меня, приглашать к себе Комиссарова для разработки плана убийства Распутина, и о проектах министра я узнавал, таким образом, со слов Комиссарова.

Однажды, вернувшись от Хвостова, Комиссаров рассказал мне, что Хвостов ради скорейшего исполнения плана убийства предложил Комиссарову лично 200 т. р. на расходы по подготовке этого дела и для дальнейшего материального обеспечения филеров, которые будут участниками убийства, с тем, чтобы они, предварительно акта, официально уволились со службы, попрощались с Распутиным, получили увольнительные билеты из департамента полиции и выплылись, как выбывшие из Петербурга.

А. Н. Хвостов даже показал Комиссарову эти деньги, вынув их из несгораемого министерского шкафа.

Комиссаров на это предложение ответил, что, если он и его филеры берутся за это дело, то не ради денег, и что такое предложение их обидит.

Наличность у Хвостова такой большой суммы денег меня весьма поразила, так как я знал финансовые дела министра. Личных денег в таком размере у него быть не могло, ибо, хотя его жена, урожденная Попова, дочь старшего председателя киевской судебной палаты, и принесла ему в приданое миллионное состояние, но, по рассказам Хвостова, я знал, что она состояние свое держит на своем счету и только дала возможность Хвостову очистить его родовые имения от долгов и завести большое свиное хозяйство, обещавшее в будущем давать доходы, в чем жена его сомневалась.

Что касается секретных сумм, то помимо меня он их получать не мог, взял же он до сих пор лишь 300 т. р. на усиление рептильного фонда. Но он был намерен, в силу полученного им согласия государя, возбудить секретным всеподданнейшим представлением ходатайство об отпуске особых сумм на предвыборную кампанию 1917 года и на задуманную им для этого широкую правительственную агитацию, затем, на осуществление плана борьбы с оппозиционной прессой по проекту Гурлянда, на получение еще дополнительного отпуска на рептильную прессу и, наконец, особого ассигнования на пополнение позанимствований из сумм департамента полиции на монархическую печать и другие расходы, произведенные в связи с его назначением и охраною Распутина.

Из указаний Комиссарова я вынес убеждение, что Хвостов был, повидимому, прав, когда говорил, что у него есть особый фонд на убийство Распутина.

Положение мое, таким образом, в деле об убийстве Распутина становилось всё сложнее, но подходящего случая, чтобы уйти от Хвостова, мне не представлялось, — а тут мне пришлось съездить в Ставку, что находили желательным Вырубова и Распутин и что советовал и кн. Андронников, обещавший написать об этом письмо гр. Фредериксу и Воейкову. Перед поездкой я побывал у Вырубовой и узнал, что императрица уже писала обо мне в Ставку.

В Ставке я переговорил с Воейковым, сделал все необходимые доклады ген. Алексею и был приглашен к высочайшему столу.

После обеда государь подробно расспрашивал меня о моих докладах Алексею, обещая их разрешить благоприятно для нашего министерства и затем спросил меня о служебных новостях. Я доложил его величеству о настроении рабочих в связи с 9 января, о свиданиях Бурцева с А. Н. Гучковым и о первых выступлениях членов бюджетной комиссии по поводу Распутина, что, повидимому, остановило внимание государя, судя по сделавшемуся сосредоточенным его лицу.

В виду этого, я, по поручению Хвостова, вместо того, чтобы, как повелевал долг и совесть, откровенно высказать свое мнение о Распутине, повторил точку зрения А. Н. Хвостова, на это выступление и его надежду, что этим будут исчерпаны все дальнейшие разговоры о Распутине в общих собраниях. Это успокоило государя, и он, прощаясь, поблагодарил меня за службу и за солидарность в работе с Хвостовым.

Милостивый прием, оказанный мне государем, в особенности напутственные его слова при прощании, ставили меня в безвыходное положение относительно Хвостова и его замысла на Распутина. В виду этого, переговорив с Комиссаровым, я решил восстать против предложенного Хвостовым убийства Распутина в автомобиле, а чтобы затянуть дело, предложил Хвостову отравить Распутина, дав ему в мадере яду. Яд обещал достать в Саратове (куда он должен был съездить) Комиссаров.

Хвостов с этим согласился и даже высказал проект послать ящик отравленной мадеры Распутину как бы от банкира Д. Л. Рубинштейна, чтобы затем как-нибудь связать и последнего с делом отравления Распутина. Против Рубинштейна Хвостов всё время был враждебно настроен. Однако я указал Хвостову на неудобство такого плана отравления, так как Распутин может поблагодарить по телефону за присылку мадеры Рубинштейна, который часто к нему обращался с просьбами, — и тогда весь план рухнет.

Комиссаров вернулся из Саратова с несколькими флаконами яда. Когда я пришел к Хвостову, то застал у него Комиссарова, объяснявшего министру свойства и действие каждого яда. Комиссаров уверял, что он попробовал действие одного из ядов на коте, забредшем на кухню конспиративной квартиры, и живописно рассказывал Хвостову, что доставило последнему удовольствие. — как вертелся и, наконец, издох кот. Хотя я и обратил внимание

на то, что окраска всех порошков ядов во всех банках была одинаковой, тем не менее сначала я подумал, что это действительно яды. И когда при ближайшем свидании с Распутиным Комиссаров наливал ему мадеры, то я подставил и свою рюмку, думая, что, если Комиссаров дает Распутину отравленную мадеру, то мне уж ее не нальет. Затем на мои настойчивые вопросы относительно яда, Комиссаров признался в своей проделке: во флаконах, показанных им Хвостову, были безобидные порошки. О свойствах ядов Комиссаров рассказывал Хвостову по учебнику фармакологии, который купил себе в дорогу, а историю с отравлением кота он выдумал.

Наши свидания на конспиративной квартире с Распутиным продолжались, но Хвостов начал часто уходить в соседнюю комнату под предлогом отдохнуть, прося меня переговаривать с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост председателя совета министров с сохранением портфеля министра внутренних дел. Но в целях проверки моих бесед, Хвостов, притворяясь спящим, стою громко храпел, что Распутин заметил это притворство и указал мне на него. Распутин увидел в этом знак некоторого пренебрежения к себе и начал с тех пор отвечать уклончиво на мои вопросы относительно Горемыкина и замещения Хвостова.

В это время я обратил внимание на то, что Хвостов, приближая к себе Комиссарова, начал вызывать к себе с очередными докладами и нач. охр. отделения Глобичева. Боясь, чтобы Хвостов не начал вести с Глобичевым разговора о ликвидации Распутина, и не зная, как к этому относится Глобичев, я в один из заездов последнего сам начал с ним разговор о Распутине и о вреде его для трона и высказался в духе пожеланий Хвостова. Но из всего поведения Глобичева и из удивленного взгляда, брошенного им на меня, я убедился, что он не пойдет на соглашение в этом вопросе с Хвостовым. После этого я начал еще более бдительно следить за Распутиным,

Хвостова заверил, что с осуществлением плана отравления в виду опасности его для жизни других, кроме Распутина, лиц, надо поременить, пока Распутин не будет использован для проведения Хвостова в премьеры. Но это последнее соображение теперь даже его не останавливало; свидания с Распутиным он начал отдалять, что последнего задевало, а в отношениях Хвостова ко мне начала просветивать некоторая враждебность.

Глава XVIII.

Дело Пеца. — Роман Манасевич-Мануйлов. — Незваный гость.

Однажды Манасевич-Мануйлов, делая мне свой очередной доклад и проводя в нем интригу против Комиссарова, возбудившего уже к себе недоверие Распутина, попросил меня уделить ему несколько минут для выслушания его личной просьбы, имеющей весьма важное для него значение. И Мануйлов, вдруг разрыдавшись, в нервном тоне рассказывал мне свою личную драму...

Несмотря на свое старое чувство привязанности к своей гражданской жене, о которой мне Комиссаров отзывался, как об умной, тактичной женщине,

в чем я и убедился впоследствии, когда Мануйлов сидел в тюрьме. — Мануйлов сердечно увлекся артисткой Лерма. И драма заключалась в том, что Мануйлов имеет основание бояться, что завязавшееся на почве уроков верховой езды знакомство Лерма с берейтором Пецом может перейти со стороны Лерма в чувство любви к Пecu, что причинит глубокую сердечную рану ему, Мануйлову. Поэтому Мануйлов просит меня, во имя расположения к нему и его всегдашней ко мне преданности, спасти его путем временного отдаления Пeca от Лермы.

Когда я указал Мануйлову, что не могу же я, как бы ни желал быть для него полезным, принять репрессивные меры к Пecu без всяких законных к тому поводов, то Мануйлов ответил мне, что Пец не только порочный человек, но и состоит под особым наблюдением следственной комиссии генерала Батюшина, имеющей веские основания подозревать Пeca в событе лошадей в воюющую с нами державу путем транспорта через Швецию. На мой вопрос, откуда Мануйлов мог получить такие сведения, он отвечал, что ему удалось оказать безвозмездно ряд весьма ценных услуг комиссии Батюшина, вследствие близости к члену этой комиссии полк. Резанову, тоже сотруднику „Нового Времени“, и получить сведения о Пece из этой комиссии. Мануйлов говорил, что он не настолько вошел в доверие ген. Батюшина, чтобы обратиться к нему с личной просьбой, но просит меня хотя бы временно арестовать Пeca, пока вопрос о нем не будет разрешен комиссией Батюшина, или выслать его административно из столицы.

Я не дал Мануйлову категорического ответа, сославшись на необходимость получить сведения о Пece. Хвостов же, которому я доложил о просьбе Мануйлова, увидел в этом деле ту цепь, на которой можно будет держать Мануйлова все время ради исполнения им наших желаний, и поручил мне, если сведения о Пece подтвердятся, арестовать временно Пeca. Так как сведения подтвердились, то Пец был арестован охранным отделением. Мануйлов горячо благодарил меня, сказав, что такой услуги он никогда не забудет... Однако затем полк. Глобичев доложил мне, что тщательное расследование не подтвердило первоначальной справки о Пece, что семья его ни в чем не замечена, об отце его имеется хороший авторитетный отзыв, а сам молодой Пец служит в Пскове в одном из учреждений, работающих на оборону. По данным Глобичева, все обвинения Пeca покоятся на чувстве мести Мануйлова из-за ревности к Лерма. Глобичев поэтому полагал необходимым освободить Пeca, за истечением законного срока содержания его под арестом.

Хвостов рассудил, что нам пока необходимо помучить Мануйлова и согласиться на исполнение его просьбы относительно продолжения ареста Пeca под условием полного его служения нашим интересам. Что касается Пeca, то Хвостов распорядился продлить ему арест, объяснив Глобичеву, что это необходимо ради приведения в подчинение Мануйлова, пустившего крепкие корни около Распутина. Я несколько дней держал Мануйлова в неизвестности относительно нашего решения продлить арест Пeca. Мануйлов несколько раз заходил ко мне и просил меня, рыдая, успокоить его и написал мне три письма по тому же поводу.

Глобичев подчинился этому решению, но записал Пеца, как арестанта, числящимся за мной: я же указал, что Глобичев допустил здесь неточность, потому Пец должен „считаться за министром“, ибо арестован по его распоряжению. Глобичев затем несколько раз намекал мне на необходимость ликвидировать это дело... Но когда ко мне приходил с просьбой о сыне старик Пец, служивший в учреждении, где его начальником был бывший начальник смысного отделения Филиппов, то я всё же говорил Пecu-отцу о серьезности улики против его сына. Но когда Пец, узнав, вероятно, от Филиппова подробности дела, подал мне прошение с обвинением Мануйлова в клевете на сына, и когда затем приходили ко мне просить за молодого Пеца его две сестры, взволнованные и нервные, то вид чужого горя образумил меня: не докладывая Хвостову, я вызвал Мануйлова, сказав ему, что отныне я отказываюсь от содействия в этом деле, и приказал Глобичеву освободить молодого Пеца, посоветовав ему не ездить в Финляндию, где у Лерма была своя дача, чтобы не возбуждать против себя Мануйлова, который на этот раз может действовать против Пеца через комиссию Батюшина. Впоследствии оказалось, что отец Пеца подавал на меня жалобу в Ставку, но департамент полиции дал отзыв, устранявший мою ответственность в этом деле.

Глава XIX.

Свидание И. Г. Щегловитова с Распутиным. — Штирмер — Его предложение в председатели совета министров. — Роль Литрина, Мануйлова и Распутина. — Борьба Штирмера и Хвостова. — Гурланд. — Назначение Терехова.

При последующих моих свиданиях с Мануйловым, неоднократно расспрашивая его об отношениях Распутина к А. Н. Хвостову и Горемыкину, я получал уклончивые ответы относительно возможности кандидатуры Хвостова на пост председателя. Относительно Горемыкина Мануйлов сообщал, что при дворе в нем в последнее время разочаровались.

В один из этих дней, приехав от Распутина, Комиссаров доложил мне, что Распутин просил его устроить ему свидание с И. Г. Щегловитовым, но в абсолютном секрете. Распутин о цели свидания ничего не говорил, несмотря на попытки Комиссарова узнать, в чем дело.

В это время И. Г. Щегловитов, незадолго перед тем ушедший с поста министра юстиции, был выбран товарищем председателя правой фракции Совета. Его эта роль не удовлетворяла. Он продолжал следить за политической жизнью, интересовался Горемыкиным, которого считал виновником своего ухода, и почти ежедневно звонил ко мне за политической информацией, которой я его снабжал. Щегловитов очень интересовался отношением к нему высоких особ, прося меня собрать в этом направлении точные сведения, и о нем я не раз говорил Вырубовой.

Череговорив по телефону со Щегловитовым по поводу желания Распутина с ним повидаться, я намекнул Щегловитову, что подобного рода предварительное ознакомление означает собой ранее или позже призыв к власти

Согласно нашему условию, вскоре Комиссаров привез вечером секретно Распутина к Щегловитову, который просил нас решительно никому не говорить о своем знакомстве с Распутиным. По отзывам того и другого, они произвели друг на друга хорошее впечатление; беседа их носила общий характер и не касалась конкретных предложений. Свидание было строго-конспиративным, и о нем знало только 4 лица.

Щегловитов просил меня узнать о результатах разговоров о нем Распутина при дворе. Я обещал, но дальнейшие события пошли так быстро, что я не успел ничего узнать.

Вслед за этим Мануйлов известил меня, что уход Горемыкина, после докладов Хвостова государю и моих разговоров с Вырубовой, решен, но выбор заместителя пал не на Хвостова и не на Щегловитова, а на кандидата митрополита Питирима — Штюрмера, которого при дворе ценили, как испытанной преданности престолу человека, много потрудившегося во время сопровождения царской семьи при юбилейном посещении в 1913 году древних обителей, как председателя собиравшегося у него влиятельного кружка правых сановников, имевшего огромный круг знакомств в придворных сферах и являющегося для Думы новым человеком, который сумеет соединить мягкость с проявлением в нужных случаях твердости власти. С Штюрмером я был в давнишних отличных отношениях и был принят в его кружок, державшемся строго консервативного направления.

Несмотря на такой свой вес, его попытки вернуться к активной деятельности до сих пор не имели успеха, несмотря на поддержку кн. Мещерского и на знакомство Штюрмера и его жены с Распутиным. Я понял, что здесь сыграл свою роль Мануйлов, давнишний знакомый и друг Штюрмеров, и обратился к нему с вопросом об этом. Мануйлов мне отвечал, что, пользуясь благорасположением к нему митрополита Питирима, когда последний сообщил ему о недовольстве государыни на Горемыкина и о колебаниях в выборе преемника, позволил себе рекомендовать митрополиту Штюрмера, который в своей программной деятельности будет держаться советов владыки. Владыка заинтересовался Штюрмером, виделся с ним, беседовал о нем с императрицей, Вырубовой и Распутиным. По просьбе Штюрмера с Распутиным говорил о нем и Мануйлов. Распутин решил поддержать Штюрмера при дворе и пожелал поближе с ним познакомиться. Свидание между ними должно было состояться в день моего разговора с Мануйловым на квартире артистки Лерма.

Я спросил Мануйлова, почему он держал в секрете дело о Штюрмере и не содействовал видам Хвостова, — Мануйлов мне отвечал, что он не верит Хвостову и его расположению ко мне и что мне будет гораздо лучше при Штюрмере, который относится ко мне с большим доверием и рад был бы поведаться со мной теперь.

Я понял, что назначение Штюрмера означает то, что Хвостов не приобрел еще к себе доверия государыни и что предстоит борьба между Штюрмером и Хвостовым из-за портфеля министра внутренних дел, к чему первый, как ближайший и любимый сотрудник Плеве, естественно будет стремиться.

Я доложил Хвостову о предстоящем назначении Штюмерера, рассказав о роли, сыгранной в этом деле Питиримом, Распутиным и Мануйловым. Хвостов начал упрекать меня в излишнем доверии к Мануйлову, припомнил преждевременное освобождение Пеца, которым мы могли бы держать в своих руках Мануйлова, и указал мне, что, если бы я своевременно устранил Распутина, то все его планы были бы осуществлены. Это меня задело. Я ответил, что он сам виноват в своем поведении по отношению к митрополиту и к Распутину, а что с исчезновением Распутина всё равно значение Питирима увеличилось бы. Я добавил, что в виду недоверия к себе я прошу его только об одном — устроить мне возвращение в сенат. Хвостов начал меня успокаивать, говорить о своем доверии, но всё же с этого момента наши отношения определились.

Свидание Штюмерера с Распутиным на квартире артистки Лерна состоялось, что подтвердило и наблюдение Глобичева. Мануйлов же мне доложил, что свидание привело к благоприятному результату. Штюмерер просил Распутина оказать ему поддержку перед государем и государыней и обещал со своей стороны советоваться с Распутиным по делам, имеющим важное значение для трона. При прощании они расцеловались. После этого свидания Штюмерер зашел на квартиру Мануйлова, был в восторге от исхода свидания, расцеловался с Мануйловым и обещал ему относиться, как к родному сыну, и устроить его после своего назначения, согласно с его пожеланиями.

Результатом дальнейших свиданий Питирима со Штюмерером, поездкой митрополита к императрице и выезда в Царское Распутина явилась поездка Питирима в Ставку, для проведения, дополнительно к письмам императрицы и Распутина к государю, кандидатуры Штюмерера у последнего. Государь отложил вопрос о Штюмерере до своего возвращения в Царское. И когда государь вернулся туда, то Мануйлов, по возвращении Распутина из дворца, узнал о согласии государя на назначение Штюмерера и о назначении ему аудиенции. О случившемся я предупредил Горемыкина, но об этом обстоятельстве я уже говорил выше.

Как только Штюмерер был назначен, он принял меня самым любезным образом, расцеловался, просил его держать в курсе всех политических проявлений жизни, продолжать политику доброжелательства к Распутину и спросил меня, сколько мы выдавали ему денег? Получив ответ, он мне ответил, что еще не знает, какими суммами он располагает из секретного для себя фонда, поэтому с согласия Хвостова я ему выдал из наших сумм 2 т. р. Что касается Мануйлова, то Штюмерер сказал мне, что он хотел бы что-либо для Мануйлова сделать. И меня Штюмерер обещал обеспечить согласно моему желанию. И действительно Мануйлов накануне назначения Штюмерера сказал мне, что Штюмерер проведет меня в члены Государственного Совета с оставлением товарищем министра внутренних дел.

Мануйлов, вскоре причисленный к министерству с откомандированием в распоряжение председателя совета, с первых же дней вступил в исполнение секретарских обязанностей при Штюмерере, всюду сопровождал его

в служебном автомобиле, сумел в это время проникнуть в дом Вырубовой, завел пишущую машинку и переписчику в доме Распутина и установил регулярные сношения Распутина с Вырубовой путем посылки написанных на машинке под диктовку Мануйлова всякого рода сообщений для Вырубовой в интересах Питирима и Штюмерера. Над этими сообщениями Распутин ставил свой обычный крест. Эта форма сообщений правилась во дворце, и императрица некоторые из них посылала в Ставку государю.

Свое значение при Штюмерере Мануйлов прекрасно использовал. Он вошел в самые близкие отношения с гр. Боргом. Утром, переговорив с Распутиным и приняв гр. Борга и секретаря митрополита Осипенко, которого он подавил своим авторитетом, он оказывался в курсе всех новостей, из которых сообщал мне то, что находил нужным, а затем устраивал у себя приемы просителей.

Причисляясь к министерству, Мануйлов имел, конечно, свои выходы. Вскоре он завел разговор о необходимости для меня, ради облегчения работы, взять знающего розыск директора департамента полиции и предложил мне познакомиться с полк. Резановым, известным своими литературными трудами о немецком шпионаже и по розыскной своей в этой области работе в Прибалтийском крае, членом комиссии ген. Батюшина. Я познакомился с ним, и он на меня произвел хорошее впечатление. Мануйлов затем дал мне понять, что Штюмерер не считает Хвостова отвечающим своему назначению, как министр и предполагает сам взять портфель министра внутренних дел, как я это и думал давно.

Из приведенных выше двух случаев уступок Хвостовым Штюмереру — по поводу совместного доклада и распоряжения фондом для печати — я решил, что, очевидно, Хвостов имеет план, путем заманивания Штюмерера в сферу действий по министерству внутренних дел, ясно обнаружить его стремление узурпировать себе положение министра внутренних дел и сделать перед государем Штюмерера ответственным за изменение политики министерства в крупных вопросах, например, по отношению к Государственной Думе; с этой целью он убедил Штюмерера лично принимать доклады не только от начальника главного управления по делам местного хозяйства, но и директора департамента общих дел и директора департамента духовных дел и иностранных исповеданий. Затем Хвостов любезно предложил Штюмереру сделать общий прием высших чинов министерства, чего не делал доселе ни один председатель совета министров. После этого приема пошли толки об ярко выраженном намерении Штюмерера взять себе портфель министра внутренних дел. Поэтому я счел нужным открыть Штюмереру глаза на образ действий Хвостова. По моему совету, Штюмерер сделал приемы и высших чинов некоторых других министерств, чтобы придать этому общий характер, и, доложив о том государю, предупредить неточность возможного об этом доклада со стороны Хвостова.

Вместе с тем Хвостов воспользовался своим старым знакомым Гурляндом, которого и откомандировал почти всецело в распоряжение Штюмерера под видом доброжелательства своего к последнему, для правильного освеще-

ния в прессе взглядов и начинаний Штюмерера. При этом Хвостов не прерывал своих ежедневных свиданий с Гурляндом. Если Гурлянд был обязан Штюмереру своей карьерой по министерству внутренних дел, то в свою очередь Штюмерер был во многих отношениях обязан Гурлянду, и между ними и их семьями была старая и тесная связь. Эта связь началась, когда Штюмерер был ярославским губернатором, а Гурлянд, будучи приват-доцентом ярославского Демидовского лицея, составлял Штюмереру всеподданнейшие отчеты и памятные записки по многим вопросам, в особенности по старообрядческому. Записки эти в свою пору останавливали на себе внимание Александра III, Императора, святейшего Синода и кружка князя Мещерского и заставляли говорить о Штюмерере, как о выдающемся администраторе, знающем историю предмета и знакомом с практикой европейских государств. Для таких же работ Гурлянд был приглашен Штюмерером в департамент общих дел, а впоследствии по рекомендации Штюмерера был ближайшим сотрудником Крыжановского как по составлению изменений положения о выборах в Государственную Думу, так и в работах по выборам в третью и четвертую Государственные Думы.

Гурлянд оставался в роли ближайшего советника Штюмерера по делам внутренней политики и личного друга семьи Штюмерера с первых же дней его премьерства. Гр. Борг и Мануйлов, в виду усиливавшегося влияния, отделявшего Мануйлова от Штюмерера, Гурлянда на Штюмерера, вели против Гурлянда кампанию. Они указывали, что Гурлянд заигрывал своими взглядами Штюмерера, который под его влиянием вызвал неудовольствие Думы, что Гурлянд пользуется своим положением для того, чтобы пристроить себя и брата в весьма прибыльных частных финансовых предприятиях. В виду этого митрополит, Вырубов и Распутин сначала сами настаивали у Штюмерера на удалении Гурлянда, а затем, несмотря на свидание Гурлянда с Распутиным, как последний, так и означенные выше лица добились того, что императрица лично предложила Штюмереру удалить от себя Гурлянда.

Вышеупомянутый гр. Борг, старый друг Штюмерера, бывший владимирский вице-губернатор, был вызван в Петроград Штюмерером, состоял чиновником особых поручений и был, благодаря своей энергии и умению вращаться в самой разнообразной среде, хорошим политическим осведомителем Штюмерера и помогал ему в борьбе с Хвостовым. В свою очередь и Хвостов собирал сведения о Борге и занялся расследованием дела Борга об его покровительственном отношении к одной водворенной во владимирскую губернию за германофильство семье, что чрезвычайно озлобило Борга.

Наружно наши отношения с Хвостовым оставались прежними, но свидания наши ограничивались официальными часами, при чем Хвостов заставлял меня ждать очереди для доклада, чего раньше не бывало. Совместные наши свидания с Распутиным продолжались. Однажды я спросил Распутина, до прихода Хвостова, отчего он не мог провести кандидатуру Хвостова в председатели совета министров. Распутин, улыбнувшись, ответил: „больно много сразу хочет А. Н. Хвостов: пусть не горячится: все будет в свою пору“.

Хвостов за это время еще больше озлобился на Распутина и стал настоятельно требовать от Комиссарова скорейшего осуществления плана убийства. В это же время Хвостов приблизил к себе прибывшего из Москвы дворняжку Торопова, деятеля монархических организаций, намекавшего мне на свое близкое участие в партийной борьбе с революцией в Москве, когда был убит депутат Иоллос. Торопов много говорил мне о том, что он может предупредить заговоры против сановников, императрицы и т. п. Как неуравновешенного человека, я отказался принять его на службу в департамент полиции, чего хотел Хвостов. Торопов проник и к Распутину, и к Вырубовой, которых встревожили своими рассказами о заговоре в Москве против императрицы и о плане насильственного заточения ее в монастырь. Зная участие Торопова в деле Иоллоса, я пришел к заключению, что Торопов, приближаясь к Распутину и Вырубовой, осуществлял замыслы Хвостова. Торопов после ареста Ржевского немедленно исчез из Петрограда.

Глава XX.

Мой разрыв с Хвостовым. — Дело Ржевского. — Арест Ржевского. — Его разоблачения. — Моя борьба с Хвостовым. — Моя отставка.

На почве ареста Ржевского произошел мой окончательный разрыв с Хвостовым.

Ржевский был близким Хвостову человеком еще в Нижнем-Новгороде, где он исполнял, в бытность там Хвостова губернатором, его секретные поручения, в особенности во время выборов в Государственную Думу депутата Барача, а впоследствии при борьбе с Кильвейном, не прошедшим в IV Думу. Но, по словам Хвостова, Ржевский часто подводил его в денежном отношении.

Ржевского до его приезда в Петроград я совершенно не знал, и он был принят в агентуру по личному желанию Хвостова. На меня Ржевский произвел неприятное впечатление, и я уклонился от дачи ему поручений. Получив сведения о его широком образе жизни, я агентурным путем узнал, что Ржевский, занимая должность уполномоченного Красного Креста северо-западного района, злоупотребляет внеочередными свидетельствами на перевозку грузов. Расследование было произведено полк. Савицким, и, после откомандирования в виду этого Ржевского от министерства внутренних дел, я сообщил председателю общества Красного Креста о неблагоприятных действиях Ржевского и доложил Хвостову о необходимости выслать этого агента.

Когда Ржевский вернулся вместе с своей гражданской женой из-за границы и явился ко мне, то стал меня умолять пощадить его, не подымая дела о злоупотреблениях. В виду того, что я был непреклонен, Ржевский, желая меня подкупить искренностью, заявил мне, что он за границу ездил не за покупкою мебели для литературного клуба, о чем он мне говорил ранее, а по секретному поручению Хвостова для свидания с Иллатором. Так как в первоначальный период наших совместных обсуждений плана убийства Распутина Хвостовым

была высказана мысль о возможности сделать ответственным за это дело Илландора, уже раз пытавшегося убить Распутина, то я понял, зачем послал Хвостов Ржевского к Илландору. Чтобы не связывать себя с Ржевским и по этому делу, я прервал его рассказ, указав ему, что, как агент министра, он не имеет права выдавать секретов, ему порученных. А затем я потребовал от Ржевского объяснений по поводу двух протоколов, составленных жандармской властью в Белоострове при проезде Ржевского за границу. Едучи туда, Ржевский обиделся тоном жандармского офицера, потребовавшего у него и жены его паспорта, и угрожал офицеру своей близостью к министру внутренних дел. Офицер составил протокол. Возвращаясь из-за границы, Ржевский, зайдя в дежурную жандармскую комнату, начал спрашивать, какое направление дано протоколу, и советовал направить его не ко мне, а к Хвостову, по секретному поручению которого Ржевский ездил за границу. Указав Ржевскому на неумение конспирировать, я сказал ему, что своего мнения не перемену и прошу его оставить мой кабинет.

В дальнейшем я решил посоветовать Хвостову решительно отказаться от услуг Ржевского и выслать его, если Хвостов будет со мной откровенен относительно данного за границей Ржевскому поручения. Если Хвостов будет конспирировать, то я сам решил арестовать Ржевского и выслать его. Хвостов после моего доклада — я не обнаружил, что знаю цель поездки Ржевского, — предоставил мне решить все это дело. В виду этого я отдал приказ Глобичеву арестовать Ржевского, произвести у него обыск и затем изготовить доклад об его высылке.

Пока еще Ржевский был на свободе, я заявил Хвостову, что, в интересах нашего плана о Распутине, необходимо отвести от него Комиссарова. Комиссарову я предписал заявить Распутину, что в виду частых тайных отлучек Распутина, исключающих возможность охраны, Комиссаров отказывается впредь охранять его. Я думал, что Распутин, насторожившись, будет после этого сидеть дома, а затем попросит вернуть ему Комиссарова. Но Комиссаров был так рад развязаться с Распутиным и излить чувство своего на него негодования за четыре месяца отношений с ним, что вышел из рамок данного ему мною поручения и так накричал и выругал Распутина, что семья его не только перепугалась, но и насторожилась против нас, передала обо всем по телефону Вырубовой, высказав свое недоверие к нам и предположение, что всё это сделано нами с какою-либо целью против Распутина. Обо всем этом мне доложил Мануйлов. Я немедленно переговорил с Распутиным по телефону, извинился за Комиссарова, — который, по словам Распутина, „уж больно широко ругал он меня, прямо страсть, как широко“, — и советовал в эти дни никуда не выходить и пускать к себе лишь самых близких лиц. Узнав от Распутина что Комиссаров ушел от него и своих филеров, я приказал им вернуться.

На другой день я узнал, что Хвостов рвет и мечет по поводу того, что при произведенном у Ржевского обыске офицер взял, приобщил к делу и ознакомился с письмом Ржевского на имя Хвостова. Глобичев передавал мне, что в этом письме Ржевский просил Хвостова спасти его, тем более, что поездка

за границу была предпринята по поручению его, Хвостова. Приехав к Хвостову, я услышал от него первые обвинения Глобичева по поводу взятого письма. Я отвечал, что жандармский офицер не имел права иначе поступить и что, если бы Хвостов не конспирировался от меня в деле Ржевского, то ничего подобного не произошло бы, и что вообще все дело Ржевского не стоит беспокойства, ибо переписка зависит от усмотрения Хвостова. Тогда Хвостов сообщил мне, что Ржевский послал письмо и к Распутину, в котором возвел на Хвостова какие-то обвинения. Тут я заявил Хвостову, что гораздо лучше будет для всех нас отойти от Распутина и от той атмосферы, которой нам пришлось дышать в это время, а вместо всяких замыслов об убийстве Распутина, представить государю записку о поведении Распутина в форме выписок из филерского дневника за подписью Глобичева и Комиссарова и откровенно раскрыть глаза его величеству на личность Распутина. Если это может не привести, судя по бывшим примерам, к положительным результатам, то всё же мы исполним свой долг. Хвостов согласился, и в одну ночь Глобичев и Комиссаров составили записку, которую утром я привез к Хвостову. Мы с ним отправились на вокзал вместе, и я старался дорогой укрепить его в мужестве для представления записки государю.*

По возвращении Хвостова из Царского, я спросил его о записке. Хвостов отвечал мне, что он сделал устный доклад государю о Распутине, выставив последнего причиной анти-династического движения в стране, а затем передал и записку. По словам Хвостова, государь в начале его доклада нервно вертел в своих руках карандаш, затем подошел к окну, начал барабанил по стеклу, и, когда доклад был кончен, государь взял записку и отнес ее в покои императрицы. Оттуда Хвостов слышал отзвуки повышенного разговора государя и государыни. Затем государь вернулся, оставил записку у себя и сухо попрощался с Хвостовым. Когда Хвостов вышел из кабинета, чтобы переодеться, то я попросил секретаря Граве посмотреть в портфеле министра, есть ли там записка о Распутине. Оказалось, что записка привезена обратно... Весь свой рассказ Хвостов, таким образом, сочинил, построив его на известных ему личных чертах государя. Хвостов продолжал вести со мной игру...

Вскоре я повидался с кн. Андронниковым, которому и рассказал про все разговоры о планах убийства Распутина. Андронников сообщил мне, что Хвостов уже сделал доклад государю о назначении меня вместо Князева иркутским генерал-губернатором. Жена моя была страшно рада этому назначению, да и я сам понял, что в моем выезде из Петрограда заключается спасение от тины, которая может меня засосать окончательно и довести до опозорения чести. В последующем моем разговоре с Хвостовым, когда я задал ему один вопрос: „за что?“, он ответил, что все поправимо, если я ликвидирую Распутина. Затем я узнал из беседы, что, повидимому, Хвостов желает меня и Комиссарова сделать ответственными за все события, связанные с делом Ржевского. Я откровенно предупредил Хвостова, что я пока примиряюсь с положением дел, если Хвостов будет корректен и не заденет

моего самолюбия. Затем я узнал, что везде и всюду вплоть до думских кругов Хвостов говорит про меня, что я, пользуясь близостью к Вырубовой и Распутину и интригуя против него, чтобы занять его должность, истолковал командировку Ржевского за границу, как шаг для организации убийства Распутина. В этом Хвостов изобличил, мол, меня перед государем, — поэтому меня решено удалить в Иркутск. Такое же освещение событиям дал Хвостов и в своей беседе с представителями совета редакторов М. А. Сувориным и И. В. Гессеном ¹⁾. Я понял, что в будущем, после моего отъезда, Хвостов постарается еще решительнее подорвать мой авторитет и добьется быстрого моего ухода из Иркутска.

В виду этого я добился через Осипенко и Мануйлова у митрополита того, что у последнего в покоях состоялось мое свидание с ним, со Штюрмером и Распутиним. Я рассказал всем им всю правду о деле Ржевского и заявил, что Хвостов желает так или иначе покончить с Распутиним. Но я не рассказал им о наших планах убить Распутина в автомобиле или отравить ядом, о последнем же знал со слов Андронникова и Распутина. Затем я рассказал и Вырубовой, в присутствии сидевшей в соседней комнате, чтобы слышать разговор для передачи его Распутину, сестры милосердия Акилины, всё про планы убийства Распутина, упомянув и Воейкова. Свидания мои с Вырубовой возобновились. В ее руки попало письмо Ржевского, привезенное ей Смиановичем от Распутина, в котором Ржевский обвинял Хвостова в поручении ему организации убийства Распутина. В виду этого Вырубова, заехав к Штюрмеру лично, передала ему это письмо с высочайшим повелением расследовать это дело, а затем, по поручению императрицы, просила генерала Беляева учредить через контр-разведку наблюдение за перепиской Ржевского.

Хвостов с этого момента старался всячески приблизить к себе Мануйлова, увеличил его содержание и просил держать его в курсе всех сведений. Но Мануйлов, передавая мне об этом, заметил, что он и не подумает служить интересам Хвостова и будет стоять на стороне Штюрмера. От Мануйлова я узнал о полученных через ген. Беляева телеграммах Илюдора на имя Ржевского, в которых Илюдор настойчиво требовал высылки 5 т. р. для выезда пяти лиц из Саратовской губ., близких к Илюдору. Эти лица, как уверил Ржевский в своем первоначальном показании, должны были убить Распутина в автомобиле, шоффером на котором должен был быть Ржевский. Распутина хотели заманить на любовное свидание через посредство жены Ржевского. Труп Распутина должны были бросить в Неву. Но потом Ржевский, вследствие пристрастного допроса Гурляндом, изменил свое показание. Вырубова и Распутин, пока дознание не перешло в руки Гурлянда, очень интересовались показаниями Ржевского. Штюрмер ездил с докладами об этом деле к императрице, заезжая к Вырубовой, которая по тому же делу тоже приезжала к Штюрмеру. Хотя дознание о Ржевском получило неопределенный

¹⁾ Беседа эта опубликована в первой книге „Былого“ (1917), с. 56—63. (Из недавнего прошлого).

характер, однако Вырубова и Распутин усумнились в искренности Хвостова. Штюрмер же, не веривший Ржевскому под влиянием Гурлянда, всё же ускорил высылку Ржевского. Поэтому Хвостов, несмотря на свое желание повидаться с Вырубовой и Распутным, не мог получить от них приглашения, а обычный доклад его государю был отложен. Это вывело Хвостова из равновесия, и он, выслав кн. Андронникова навстречу Воейкову, ехавшему из своего имения с подробным докладом, с целью заручиться поддержкой государя, — начал действовать против Вырубовой и Распутина, сделав обыски у некоторых близких Распутина и арестовав его друга Симановича, угрожая арестовать и Распутина, о чем и постарался довести до сведения Вырубовой. Эта угроза встревожила Вырубову, написавшую письмо к Хвостову с вопросом, правдивы ли дошедшие до императрицы сведения о предстоящем аресте Распутина? Это письмо Хвостов показывал очень многим лицам. Тогда я решил поехать к Вырубовой. Она мне сообщила, что в ответ на письмо Хвостов сказал ей по телефону, что он недоволен поведением ее и Распутина в этом деле и нежеланием с ним видаться. Вырубова, в виду этого, пригласила Хвостова и Распутина на примирительный обед. Тогда я раскрыл Вырубовой всю игру Хвостова, и она обед отменила. Хвостов понял, что его игра проиграна. Штюрмер при поддержке митрополита, Распутина и Вырубовой доказал государю необходимость ухода Хвостова и передачи портфеля ему, Штюрмеру.

Я торопился выездом из Петрограда. За несколько дней до отъезда ко мне зашел редактор „Биржевых Ведомостей“ М. М. Гакебуш-Горелов и просил меня сообщить ему лично, но не для печати, историю Ржевского на случай, если после моего отъезда пришлось бы защищать меня в прессе.

Я взял с него слово не оглашать моего рассказа и передал всё то, что Горелов напечатал затем в „Биржевых Ведомостях“, несмотря на отданный приказ по цензуре — не касаться дела Ржевского. Статья вызвала большой шум: говорили о запросе в Думе по инициативе Керенского. Правая группа Государственного Совета была возмущена, и Кобылинский послал в „Вечернее Время“ свою статью с требованием моей отставки. Хвостов же был так возмущен, что Замысловскому и Маркову стоило не мало усилий отговорить Хвостова от выступления на кафедре Государственной Думы. Тогда Хвостов потребовал от Штюрмера удовлетворения наказанием меня.

Что касается Гакебуша, о дружбе которого с Гурляндом я до тех пор не знал, то он объяснил мне, что считая необходимым выступить в мою защиту. Разрешения печатать нашу беседу он от меня не добился, за моим отсутствием дома. Запретительный же циркуляр, по недоразумению, не попал в редакцию. Узнав о последствиях всего этого дела, Гакебуш предложил мне напечатать разъяснение от моего имени и от редакции. Военная цензура, по приказанию Штюрмера, не разрешила к печати таких писем. Тем не менее я добился помещения моего письма в „Новом Времени“, что мне окончательно повредило, так как до появления моего письма можно было отрицать самый факт беседы. После же — всякое сомнение в этом отпало. Как я узнал, Штюрмер послал по поводу письма доклад государю. Вслед за этим я был при-

глашен Штюрмером к нему на квартиру, и он передал мне высочайшее повеление об увольнении меня от должности иркутского генерал-губернатора с оставлением в звании сенатора. Штюрмер, по получении через день доклада обо мне, вызвал меня вновь к себе, показал мне указ о моей отставке с оставлением сенатором и высочайшее повеление о пожаловании мне 18 т. р. Прощаясь со мной, Штюрмер настойчиво мне рекомендовал, намекая на желание государя, уехать на некоторое время из Петрограда и добавил, что он думает, что и А. Н. Хвостов уедет также.

С. П. Белецкий.

Как тайное стало явным?

(Страничка из истории нашей комиссии)

«1.

А стало оно явным так. Весенней ночью — в середине марта 1917 г., на заседании Одесского Общественного Комитета, воплотившего тогда в себе высшую революционную власть в городе, по моему предложению, избрали комиссию для рассмотрения и разбора дел охранного отделения Южного района и губернского жандармского управления.

Избранными оказались: от социал-демократов — С. А. Рысс; от комитета соц.-революционеров — Самуил Сергеевич Зах; от Бунда — покойный ныне Зильберлейб („Виктор“); Михаил Борисович Цвиллинг и Павел Васильевич Ратнер — от адвокатуры; от армии — начальник штаба округа генерал Маркс и персонально я, как инициатор. На другой же день, собравшись в штабе округа, в кабинете генерала Маркса, сконструировавшись, выбрав президиум — Цвиллинга, Ратнера и меня, — мы приступили к делу.

Как теперь общеизвестно, в до-революционный период нашей истории всякий мало-мальски заметный общественный или политический работник подвергался самому тщательному наблюдению со стороны так называемых „секретных сотрудников“ охраны, порой бывал в цепких руках объектом темных экспериментов, а иные из нас всю жизнь были опутаны этой сетью.

Естественно поэтому, что в повестке дня первого заседания нашей комиссии был один единственный пункт: раскрытие псевдонимов тайных сотрудников.

Небезынтересно будет упомянуть, что весь, так сказать, антураж дня такого в высшей степени своеобразного заседания, для многих из нас, искупленных во всевозможных конспирациях, оказался совершенно необычным.

Начать с того, что все мы, за исключением одного Маркса, можно сказать, архи-штатские люди, а собрались для совещания, суждения и решения весьма важных дел не больше и не меньше, как в самом архи-военном учреждении. Затем — обстановка: высокие стены обширнейшего кабинета штаба, увешанные всевозможными планами, географическими картами, сплошь

утыканными диспозиционными значками, флажками, портретами полководцев в золоченных рамках, коллекциями всевозможных оружий... Стол огромнейших размеров — заваленный бумагами, пакетами, чертежами, странными трубами и неведомыми для нас инструментами.

И вот, посреди всех этих суровых коллекций войны — застенчиво лежит скромненькая папка в синей обложке: списки секретных сотрудников с собственноручными расписками в получении жалованья.

II.

— Ну-с, господа (в ту пору обращение „товарищ“ еще не вошло в моду), приступим, — произносит, почему-то вздохнув, один из нас, М. Б. Цвинлинг, и, раскрыв свой объемистый адвокатский портфель, выгружает оттуда обернутое в синюю обложку „дело“. Развернув его, достав из папки аккуратно спитые, за сургучной печатью, бумаги, он rozdает их членам комиссии.

Большие тетради в полулист, разграфленные, пронумерованные — это и есть то, что хранилось в строжайшем секрете, тайна тайн — списки секретных сотрудников. Они расположены по алфавиту, причем в списки, конечно, внесены не подлинные фамилии осведомителя или провокатора, а их „клички“.

Против каждого псевдонима „клички“ обозначено — с какого времени сотрудник служит, размер его жалованья, какая организация, партия или учреждение им обслуживается, и, наконец, кто именно из чинов жандармского управления или охранного отделения имеет с ним непосредственное общение. Листы эти, или „ведомости“, собственно представляют из себя не что иное, как краткие ежемесячные отчеты учреждения, и к ним, как оправдательные документы, приложены собственноручные расписки „сотрудников“, разумеется, подписанные „кличкою“, а не подлинной фамилией.

Эти вот именно небольшие клочки бумаги, с почерками „секретных сотрудников“, и есть ключ к раскрытию так долго и так тщательно хранимой тайны. Почерк — единственный материал, самая веская и грозная улика для разоблачения сокроенного.

Естественно то обостренное внимание, которое уделяется нами этим серым бумажкам.

Члены комиссии с сосредоточенной жадностью впивались в списки.

— Абрамов... служит с 1915 г., жалованье сто, обслуживает общественные организации; непосредственно сносится с начальником управления полковником К. Ф. фон-Нордбергом.

— Волков — с 1914 г., жалованье 50, обслуживает армию, университет, — с начальником упр. Нордбергом.

— Старик — с 1908 г., 40 р., обслуживает эс-де, сносится с помощником нач. упр. подполковником Карауловым.

— Папич... Николенко... Иванченко... взволнованно читает кто-то вслух саграментальные клички, при этом он беспомощно приподымает и опущкает плечи, недоумевая морщит лоб, разводит руками.

Просмотревши ведомости, переходим к распискам.

Следуем тому же алфавитному порядку, в котором они расположены, начинаем с „А“.

— Сто рублей, жалованье за май 1915 г. от начальника Одесского жандармского управления получил — Абрамов.

— Абрамов — знакомая подпись, — удивительно знакомая... Господи, да это положительно рука доброго приятеля, этим почерком писали мне... — испуганно с щемящей болью проносится в моем встревоженном сознании.

— Самуил Сергеевич! — показывая я факсимиле Абрамова Заку.

Он смотрит, и тотчас же на его обросшем лице заметно выступают багровые пятна беспокойного недоумения.

— Да, — произносит он после извольнованного раздумья, — почерк несомненно знакомый, это кто-то из своих. — Он нервно переключивает с одного стула на другой больную ногу и резко поводит своей огромной головой.

— Что ж, — продолжает он, — вот и начнем с него, с Абрамова.

— Генерал, — обращаюсь я к Маресу, — нам нужны те, кто может раскрыть вот это сокровенное,

— Они здесь, — по военному тряхнув эполетами, отыскивается генерал. Он звонит и тихо отдает какой-то приказ явившемуся на его зов ординарцу. Ординарец быстро исчезает, и через несколько секунд из-за тяжелой портьеры грузно выныривает туша, одетая в жандармскую форму, лысый, моржеобразный с отвислыми усами и выпуклыми глазами старик.

Мы все, точно от сильного толчка, сразу обернулись к нему.

— Начальник управления, полковник фон-Нордберг, — представляет его нам Марес.

Откозырнув, неловко задев шпорами, полковник вытягивается перед начальником штаба.

Смотрю на старого жандарма, и меня охватывает странное и сложное ощущение. Приблизительно его можно определить так: всю мою сознательную жизнь, — больше четверти века, вы подвергали меня жесточайшему издеванию, и вот неисповедимыми путями истории настал день, и наши роли меняются... Сегодня я ваш судья!

— Скажите, полковник, кто это Абрамов?

— Виноват... Не считаю себя в праве...

— Константин Федорович, — резко обрывает жандарма Марес. — вы присягали новому строю, Временному правительству?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Оставьте, — брезгливо морщится Марес на „ваше превосходительство“. — Не можете отвыкнуть... Еще раз вас спрашиваю: искренно, по совести присягали?

— Так точно, ваше... виноват... господи генерал!

— В таком случае извольте ответить на вопросы членов комиссии также искренне и честно.

— Виноват, г. генерал. я связан честным словом, — сконфуженно морщась, мямлит фон-Нордберг.

— От слова я вас освобождаю. Я, ваш начальник.

— Слушаюсь, — удрученно подчиняется фон-Нордберг.

— В таком случае, — обращаюсь я к нему, — будьте добры сказать, кто такой Абрамов?

— Котлерман, сотрудник газеты „Одесские Новости“, — конфузливо улыбаясь, виновато и тихо отвечает жандарм.

— Котлерман!.. Захарий Абрамович!.. Кровь шумным потоком отхлынула от сердца; чувствую, как холодеют кончики пальцев.

— Ххх... хрипло вырывается у Заха жуткий полувздых, полустон, и его ольшее лицо все покрывается серо-пепельной бледностью. Кажется, что он как-то сразу постарел на много-много лет.

Котлерман — честный, корректнейший Захарий Абрамович, тихий, безобидный человек, с которым мы долгие годы работали в одной и той же редакции; вместе со мною был одним из основателей первого в России нелегального телеграфного агентства „Юг“; ему доверялись тайны большого общественного значения, — и вот...

III.

Час спустя уже в кабинете помощника начальника штаба при допросе помощника фон-Нордберга — подполковника Караулова и чиновника управления Бовтало, то, что только что пережили я и Зак, пришлось испытать Рыссу и покойному „Виктору“. Караулов раскрыл им псевдонимы: „Старика“, „Пашича“, „Иванченко“, — заслуженных партийных работников; первый — один из основателей Донского комитета эс-де и инициатор Тимирязевского восстания в 1905 г.; второй видный агитатор на юге России и один из активнейших создателей газеты „Южный Рабочий“, а третий... а о третьем — об Иване вот сейчас расскажу.

IV.

Через несколько дней после того, как в Одессе стало известно о февральском перевороте, в зале Болгаровой произошло первое собрание только что избранного Совета Рабочих депутатов. Скопструировался президиум: в председатели прошел Ив. Гниденко. Засем, приступили к выборам товарища председателя, и Гниденко предложил Маруса. Зал сразу был залит целым потоком ликующих возгласов, под оглушительный аккомпанимент рукоплесканий.

Я, человек, не лишенный чувствительности, и вот, когда я увидел, как взволнованная энтузиазмом толпа подняла на плечи пожилого рабочего, объявив, при радостных возгласах, что человек этот Иван Дорофеевич Марус, сейчас ею избранный на пост товарища председателя, двадцать лет верой и правдой служил рабочему делу, — у меня появились слезы.

Пять дней спустя после этого трогательного события, на втором заседании нашей комиссии на квартире М. Б. Цвиллинга, при очной ставке между

чинивником особых поручений при жандармском управлении Бовтало и тем, кто скрывался под псевдонимом „Иванченко“, было точно установлено, что этот крупный провокатор и долголетний сотрудник охранного отделения и есть Мэрус.

На допросе Мэрус вначале ударился в пафос.

— Как вам не стыдно говорить на безвинного человека, — укоризненно усевещивал провокатор жандарма.

— Иван Дорофеев, — просто урезонил его Бовтало, — провалились мы с тобой и конечно. Брось дурака валять, чего уж!...

И Мэрус, убежденный веской простотой Бовтало, сознался.

Допрос Котлермана и Железнякова происходил ночью. Наши телохранители, помогавшие нам при разборе документов — студенты, вооруженные револьверами, на автомобиле доставляли тех, кто подлежал допросу в комиссии.

Котлерман, со свойственной ему прямою, ответил на все наши вопросы без лукавства и с полной откровенностью.

— Служили?

— Служил.

— Ваш псевдоним?

— Абрамов.

— Сколько получали в месяц жалованья?

— Сто рублей.

И вдруг не выдержал и, как стоял, грохнулся об пол. Задышавшись от истерических рыданий, судорожно извиваясь от нестерпимой муки, он молил о пощаде.

— Не меня... Я не достоин... детей моих... дочь на днях получила кафедру в университете. Она руки на себя наложит... ее пожалейте... девочку мою...

— А вы ее жалели? — спросил Котлермана один из нас.

В ответ на это он снова забился в истерических рыданиях.

За „Абрамовым“ настала очередь „Пашича“. Студенты сняли его с работы и прямо из типографии на машине привезли к Цвиллингу.

В синей куртке и в таких же брюках, обычном костюме наборщика, с руками и лицом, измазанными типографской краской, „Пашич“ — Железняков, представ перед нами, вызываясь резко бросил:

— Что это значит?

— Это значит, — ответил ему Михаил Борисович, — что у комиссии, о существовании которой вам, по всей вероятности, известно... — Цвиллинг сделал нарочитую паузу, как будто подыскивая нужные ему слова и в раздумьи перебивая свою испаньолу, его обычный в таких случаях жест, Михаил Борисович закончил: — у комиссии имеются данные несомненные, — подчеркнул он, — о вашей службе в охранном отделении.

— Моей?... Службе? Ничего подобного!

На скуластом лице Железняка, сквозь темные полосы типографской краски, вдруг показались серые пятна необычайной бледности. Стараясь не терять самообладания, он продолжал вызывающе смотреть на нас.

— Это ваша подпись? — Павел Васильевич Ратнер, нервно бросив окурок потухшей папиросы и брезгливо оглядывая Железняка с ног до головы, показал ему денежную расписку, приложенную к жандармской ведомости и подписанную псевдонимом „Пашич“.

— Нет!

— Садитесь, — видимо сдерживаясь от охватившего его возбуждения, предложил старый юрист не в меру обнаглевшему провокатору.

— Пишите! Пишите под мою диктовку!

— Зачем? С какой статьи я вам стану писать?!

— Пишите, вам говорят!

Железняк, усевшись и обидчиво пожав плечами, стал писать под диктовку Ратнера.

Когда этот эксперимент, продлившийся минут пять, закончился, Железняку предложили сравнить то, что им только что написано, с подписью „Пашич“.

Не отрицая сходства, даже полного тождества почерков, он все же настойчиво отказывался признать подпись псевдонима своей, стараясь доказать, что такого рода обстоятельство, как даже полное сходство, ровно ничего не значит. При этом он ссылаясь на историю с бордеро в знаменитом деле Дрейфуса, на аналогичные дела, и, наконец, вдруг оживившись, точно вспомнил самый веский аргумент, заявил, что почерк его брата поразительно схож с его почерком.

— Вы что же этим хотите сказать, что подозреваете, что брат служил в охранке?

— Все может быть...

На всех нас эта выходка произвела гнетущее впечатление.

— Вот что. Железняк, — заявил ему один из членов комиссии, — пойдите пока в другую комнату, посидите там, обдумайте свое положение. а затем, если вы будете настаивать на своем, нам тогда придется прибегнуть к очной ставке. Мы вам дадим очную ставку с... — тот, кто говорил, сделал глубокую паузу, впился глазами в Железняка, а затем, медленно подчеркивая каждое слово, закончил, — очную ставку с вашим приятелем. с Бовтаю.

„Пашич“, вздрогнув всем телом, шатаясь, вышел за дверь.

Вернувшись к нам полчаса спустя, заметно разбитый всем тем, что только что пережил и передумал там, — в пустой комнате, — наедине со своей темной, но встревоженной совестью, он сознался. Но, и сознавшись, продолжал, вопреки очевидности, утверждать, что за свои услуги жандармам он денег не брал, он де только расписывался — деньги же получали другие.

Тут же, резко переменяя интонацию и жесты, стал взлагать, покаянно волнуясь, как жандармы, подвергал его пытке перемежающихся арестов: три месяца заключения, месяц воли и так впродолжение годов. — довела этим его истерзанную душу до падения...

V.

„Старика“ — Захарии Григорьевича Михайлова, видного деятеля социал-демократической партии, дважды сосланного по политическим делам в Сибирь, комиссия удалось разыскать лишь в двадцатых числах марта.

Перед нами, в поношенной солдатской шинели (Михайлов, оказывается, сейчас же после революции поступил добровольцем в действующую армию), предстал довольно пожилой рабочий, высокий, немного сутулый, широколобый шатен, а в темных, глубоко ушедших в продолговатые впадины, глазах отражались странные отблески: тут была и подлинная тоска, не нашедшего своего пути в дебрях жизни, человека, и покорность отчаяния несчастнейшего из горемык, и хищный блеск охотника-ловца...

На наши вопросы он отвечал, по всей видимости, с искренностью познавшего весь ужас своего положения, пропавшего человека; — он не отрицался, не запирался. Как-то мимоходом упомянул, что единственным исходом для себя считает смерть, для этого и поступил в армию, и сказал об этом без всякой аффектации, просто, как любой крестьянин из любой приволжской или притонской деревни.

Во мне Михайлов возбудил сложный интерес. Когда кончился допрос, я, удержав его минут на десять, завел с ним частный разговор.

— Захарий Григорьевич, — спросил я его в конце нашего разговора, — скажите, как это с вами, старым партийным работником, могла случиться такая вот пакостная история?

— Как? А, должно быть, вот как... — Он немного помолчал, а затем, подняв на меня свои тоскующие и наглые глаза, не торопясь и с той же простотой, с какой он давал объяснения на допросе, пояснил:

— Вы, вот, писатель, и вам это не трудно будет понять. Видите ли, я способен на подвиг, знаете: в Цятон годе — в Тимеришке, когда мы восстановление делали, на меня тогда смерть не раз смотрела. И я ничего. Ну, и вот также подлость — порой так и тянет кому-нибудь какую пакость сделать — самому близкому.

— Душа у меня такая, — что поделаешь! — Наклобучив на голову фуражку и не попрощавшись, он понуро направился к выходу; за ним пошли и конвойные.

VI.

Как известно, по мировоззрению романтиков русского революционного движения — народников, всякий человек, будь то самый закоренелый злодей, замлейший из убийц, даже тот, чья душа запятнана, как у предателя из Карпота, даже у него под пеплом сожженной совести всё же тлеет неугасимый во веки огонек неба — искра божья. Если это верно, как правило, а нет правила без исключения, — то мне думается, что среди лиц, раскрытых нами, таким исключением является сотрудник газеты „Одесская Почта“ Фрак.

Узнав, что фон Нордберг выдал его, „Волков“, псевдоним Фрака, вызвав меня по телефону, завел со мной такой вот разговор:

— Наум Маркович! Вы художник и национальный писатель. Поэтому я прошу вашего разрешения, раньше, чем вы подвергнете позору публичного допроса еврея и тоже писателя, правда маленького, явиться к вам на квартиру, частным образом, для объяснения. Я вам доставлю данные, которые, надеюсь, убедят вас, что я только жертва Нордберга, а не его помощник.

Хотя факт провокации „Волкова“ для всей комиссии был вне малейшего сомнения, но голос того, кто со мною сейчас разговаривал, был до того искренен, в нем звучали нотки скорбного негодования и подливого возмущения, что я дал Фраку разрешение приехать для предварительного, частного объяснения.

В сумерки, часу в седьмом, он явился. Выбор времени Фрак объяснил тем, что, никогда не бывая у меня до этого, он опасался, что, если его заметят, то это обстоятельство может усилить нежелательные для его доброго имени толки.

Тут же вскользь им было брошено замечание, что у репортеров имеются сведения, что за моей квартирой следят какие-то темные личности.

После этого краткого вступления, он, необычайно волнуясь, рассказал мне в высшей степени жуткую историю. Сущность ее сводилась вот к чему. У Нордберга очутились письма интимнейшего характера самого дорогого и близкого для Фрака человека. Если бы содержание этих писем стало известно, то несомненным последствием этого явился бы ряд самоубийств. Нордберг, зная это, под угрозой вручить письма тому, для кого они составляют жизненный интерес, вынудил у Фрака согласие стать осведомителем. Чтобы отрезать ему отступление, жандарм тогда же заставил его подписать расписки, фиктивные, разумеется, в получении жалованья.

Если бы я не читал, правда поверхностно, провокаторского дневника „Волкова“¹⁾, эта жуткая история с упоминанием собственных имен действующих лиц и другими, неподлежащими пока опубликованию подробностями, могла бы убедить меня в невинности Фрака.

Но, как я уже упомянул, дневник „Волкова“ был мне знаком, и поэтому мое подозрение не рассеялось.

Заканчивая разговор, Фрак спросил: есть ли шансы рассчитывать, что вот то, о чем он меня поставил в известность, может послужить для его реабилитации. На это последовал ответ, что сейчас, до разбора дела комиссией ничего определенного сказать нельзя.

Прощаясь со мною он, точно в раздумьи, уронил: — „придется пустить в ход самое ценное“. — Его можно было понять так, что ему, для спасения чести, остается покончить с собою. Впрочем, его слова можно было толковать и как

¹⁾ В каждом жандармском управлении имеются такие дневники. В них день за днем отмечается работа „сотрудника“, как по части осведомительной, так и по другим отраслям его деятельности.

угрозу: вызвать меня и Цвиллинга (меня и Михаила Борисовича считали самыми деятельными членами комиссии) на дуэль.

Действительно, в тот же вечер и на следующий день целый ряд известных „доброжелателей“, вызывая меня по телефону, советовали быть чрезвычайно осторожным с честью и добрым именем Фрака. Советы эти неизменно кончались предостережением, что детям моим угрожает несомненная опасность остаться сиротами...

Бок-о-бок с увещаниями по телефону велась, так сказать, публичная агитация. По городу был пущен слух, что комиссия, обнаружив весьма крупных сотрудников охраны из именитейших людей Одессы, — почему-то скрывает их... А вот-де маленького человека, вся вина которого заключается в том, что жандармы вынудили его подписать какую-то бумажку, публично шельмуют. И вот стали нас шельмовать. Дошло до того, что один из приятелей „Волкова“, репортер газеты „Одесский Листок“ Тилишевский, ходил по редакциям и в каждой из них горячо доказывал, что подозревать его приятеля в провокации нелепейший вздор. Через три дня он, Тилишевский, всем докажет с несомненной очевидностью, что более невинного человека, как Фрак, нет на всем земном шаре. Впрочем, стиль в опровержении Тилишевского не совсем был выдержан. К аргументу из евангелия (три дня) одесский репортер примешал и чисто местный прием: предложив сомневающимся пари в 500 рублей.

„Волкова“ мы должны были допросить 14 марта, но когда наши студенты явились за ним, они его уже не застали. Оказалось, что Фрак вместе с женой накануне выехал из Одессы.

Впоследствии заведующий контр-разведкой полковник Васильев рассказывал мне, что Фрак, один из деятельнейших агентов контр-разведки, представлял ему, Васильеву, данные о необходимости в интересах дела экстренно отправиться в Стокгольм.

Контр-разведка, не имея понятия, что Фрак и „Волков“ одно и то же лицо, сейчас же снабдило его заграничным паспортом.

Таким образом выяснилось, что тайный сотрудник охранного отделения „Волков“ в одно и то же время был и военным шпионом.

Об этом своеобразном Янусе из Одессы я, при личном свидании, поставил в известность А. Ф. Керенского, тогда министра юстиции. Керенский, со свойственной ему экспансивностью, тотчас же принялся за „разъяснения“ двойного провокатора, но из всех его стараний ничего не вышло: выбравшись из России, Фрак — „Волков“ исчез неизвестно куда.

Н. Осипович.

Одесса.

14 октября 1921 года.

Революция в Баку.

Очерк первый.

Февраль — Октябрь 1917 г.

Февральская революция в Баку. — Образование Советов Раб. Депутатов и Общественных Организаций. — Особый Закавказский Комитет („Озакком“). — Мусульманские общественные организации. — Организация Совета Рабочих и Военных Депутатов. — Рабочее движение в Баку и конфликты с предпринимателями. — Начало продовольственного кризиса и его значение в деле обострения классовой борьбы. — Совет Раб. и Воен. Депутатов и партийные течения. — Углубление фракционных разногласий. — Выборы в Городскую Думу. — Борьба за введение коллективного договора. — Продовольственный кризис и эксцессы. — Отголоски кернелевского выступления. — Выборы на Демократическое Собрание. — Изменения в соотношении общественных сил. — „Рабочая конференция“ и лозунг „вся власть Советам“. — Всеобщая сентябрьская забастовка и ее результаты.

I.

Картина первых дней революции в Закавказье мало чем отличается от зафиксированного историей общероссийского шаблона провинциальных революций ¹⁾.

Это картина бурного и восторженного, хотя по существу пассивного, восприятия факта столичного переворота, первоначальной неорганизованности общественных сил, наспех проводимой их мобилизации, далее, роста общественной активности и вместе с тем роста экономических антагонизмов и, как неизбежное следствие этого, прогрессирующей дифференциации отдельных составных частей образуемого социального целого, — первых симптомов зарождения будущей гражданской войны.

¹⁾ В основание настоящего беглого обзора положены материалы историко-революционной секции Гос. Архива А. С. С. Р. в Бакинского Музея Революции.

Необходимо отметить, что архивы большинства бакинских организаций и учреждений, относящиеся к первому полуторогодовому периоду революции (март 1917 г. — сентябрь 1918 г.), в связи с имевшим место в сентябре 1918 г. занятием г. Баку турками, в значительной своей части уничтожены (архивы: Бах. Совета Р. и С. Деп., Испол. Ком-та Бах. общественных организаций, правительства Диктатуры Центро-Каспия уничтожены целиком), и для освещения указанного периода приходится в настоящее время пользоваться прежде всего сохранившимися комплектами повременных изданий, разрозненными, случайно сохранившимися из уничтоженных архивных фондов документами и, далее, в торостепенными по своему политическому значению уцелевшими архивами, как архивы Гор. Управы, продовольственных комитетов. (Архив канцелярии Бах. Градоначальника, уцелевший в сравнительно незначительной своей части, еще не приведен в известность, архив же Мусульманского Национал. Ком-та целиком уничтожен пожаром во время мартовских событий).

Тифлис первый узнает о низвержении самодержавия. „Мтавробдзе ¹⁾ сиячался“ — гласила условная телеграмма Чхеидзе, полученная 1/III Закавказским областным комитетом Р. С.-Д. Р. П. — Тифлис, этот культурный, административный и вместе с тем партийный центр Закавказья, оказывается организационно более подготовленным к восприятию революции, быстрее и легче усваивает факт переворота.

Баку, торгово-промышленный центр, с его многотысячным пролетарским населением, оказывается достигнутым революцией как бы врасплох: процесс собирания и организации общественных сил идет здесь более медленным темпом. Но, раз приведенные в движение, общественные силы дают здесь наиболее крупную на всей территории Закавказья амплитуду классовой борьбы, поднимающейся до героического и вместе с тем трагического опыта первой бакинской коммуны, после безвременья эс-эровской диктатуры и отрыва от центральной России опускающейся в пучины жестокой национальной контр-революции и снова пробивающей себе путь на воссоединение уже с Советской Россией.

Весть о совершившейся революции доходит до Баку только 2/III.

День 3/III дает непрерывный ряд митингов: рабочих — в промышленных районах и общегражданских — в городе. Первым политическим центром становится Городская Дума, куда стекаются выбираемые на митингах делегаты. Общепризнанная форма организации общественных сил — Исполнительный Комитет общественных организаций и Советы рабочих и солдатских депутатов.

В ночь на 5/III сформировался Бакинский Исполнительный Комитет общественных организаций из представителей Гор. Думы (М. Г. Гаджинский и И.-Б. Гайдаров), Совета Съезда (не избран), Совета Раб. Деп. (временно Хопылин и С. Фролов), кооперативов (В. Лихачев и Е. Дяткин), профессио-

Необходимо оговориться, что данный обзор составился вне пределов Азербейджана и что при этом использованы далеко не все собранные в бакинском архиве материалы, а лишь важнейшие, выписки из конх составитель сделал во время своего пребывания в Баку.

Использованию подверглись: комплект газеты „Известия Б. Сов. Р. и С. Д.“ (март 1917 — февраль 1918 г.), собранный с некоторыми незначительными пробелами; комплект газ. „Баку“ (за тот же период), далеко не полный; комплект газ. „Наспий“ и „Известия Исп. Ком. Б. Мус. О. Орг.“ (апрель — декабрь 1917 г.), собранный полностью „Дело канцелярии Бакинского Городского Головы“ 1917 — 18 г., содержащее в себе отдельные выписки из протоколов заседаний Совета Р. и С. Деп.; „Протоколы заседания согласительной комиссии“ 1917 г., представляющие собою комплект разрозненных, случайно уцелевших экземпляров; отдельные печатные экземпляры воззваний, приказов и пр., собранных в Бак. Музее Революции.

Как подобные, подвергшиеся использованию, материалы должны быть отмечены следующие тифлиские издания: „Протоколы заседаний Тифлиского Совета Р. и С. Деп.“; „Стенографический отчет заседаний Закавказского Сейма“; „Материалы по внешней политике Закавказья и Грузии“.

¹⁾ „Мтавреба“ — не-грузински правительство.

нальных союзов (Д. Кулаков и Мартиросов), продовольственного совещания (Арутюнов и А. Стопани), армянских национальных организаций (не избраны), мусульманских национ. организаций (не избраны), военных организаций ¹⁾.

Председателем Испол. Комитета избирается гор. голова Л. Л. Быч (плехановец), товарищем председателя А. М. Сяопани (большевик). И того же числа за подписью Л. Быча опубликовывается воззвание „К гражданам“, призывающее к укреплению нового строя, к согласованной работе с Исполн. Комитетом Государственной Думы и к единению с бакинским гарнизоном. Тогда же Исполн. Комитет назначает в ряд учреждений своих комиссаров ²⁾.

Ликвидация старого режима не отличается особенной интенсивностью: отмечается арест начальника бакинского гарнизона и войск Бакинской губ. контр-адмир. Клюпфеля, пристава 2-го участка Черкезова и одного околоточного надзирателя. С назначением В. И. Фролова на должность комиссара бакинского градоначальства, бывш. градоначальник Г. С. Ковалев уполномочивается в то же время Испол. К-том на продолжение несения своих обязанностей, при чем объявляются действительными распоряжения, выходящие за двумя подписями ³⁾.

Нерешительность и половинчатость действий Испол. К-та находит свое основание в пестром социальном составе этого органа, с решительным преобладанием в нем мелко-буржуазной интеллигенции.

Вместе с тем и деятели старого режима проникаются симпатией к новой власти.

¹⁾ Кроме того, к работам были персонально приглашены: В. И. Фролов (статистик), плехановец, А. К. Леонтович (прис. пов.), к.-д., Я. Н. Смирнов (прис. пов.), И. Е. Аяшев (кооператор), м.-к., П. Ф. Илюшкин (гласный Г. Думы), к.-д., И. П. Иоаннидис (кооператор).

²⁾ Комиссаром по бак. градоначальству — В. Фролов, помощником его — Илюшкин; комиссаром по реорганизации милиции — Леонтович; почты, телеграфа и телефонов — Анхалев; по Балах-Сабунч. полицеймейстерству — Хопылин; помощниками его нижегородцы Семенов и Худабашев; по надзору за обществ. собраниями — Я. Смирнов; по распоряжению общественными зданиями — Кулаков, С. Фролов, Мартиросов.

³⁾ 5-й бат. бакин. градоначальника Г. С. Ковалева посетил депутат Испол. К-та обществ. организаций, который передал ему решение комитета о назначении комиссаром при градоначальстве В. И. Фролова и о том, чтобы уполномочить его, Г. С. Ковалева, на продолжение несения обязанностей бак. град-ка, при том непременном условии, чтобы все приказы его скреплялись подписью комиссара В. И. Фролова. Г. С. Ковалев изъявил полную готовность подчиниться этому постановлению, после чего было выработано и подписано следующее воззвание: „Граждане! Испол. Комитет общественных организаций назначил на должность комиссара по управлению делами бак. градоначальства гражд. В. И. Фролова и уполномочил Г. С. Ковалева на продолжение несения обязанностей бак. град-ка. Объявляя об этом, приглашаем население к содействию в поддержке спокойствия и порядка. Все распоряжения град-ка будут выходить за двумя подписями: градоначальника Ковалева и комиссара Фролова, и только такие распоряжения действительны. Предупреждаем врагов порядка, что у обремененной доверием народа власти есть достаточно сил и решимости к беспощадному подавлению покушения нарушать порядок. Градоначальник Г. Ковалев. Комиссар В. Фролов. 5-ти 17 г. 7 ч. веч.“

В общезакавказском масштабе это проявляется в приказе верх. главнокомандующего в. кн. Николая Николаевича от 7/ш, „повелевающего всем чинам славной нашей армии и флота неуклонно повиноваться установленному Правительству через своих прямых начальников“; далее — в приказе ген. Юденича от 17/ш, заявляющего о своем признании Врем. Пр-ва.

В бакинском масштабе мы имеем заявление 20-ти жандармов от 7/ш о готовности подчиниться новой власти и аналогичное же заявление служащих градоначальства и губернского правления.

Крупная буржуазия, разумеется, также солидаризируется с переворотом: в лице Совета Съезда и биржевого комитета она шлет (7/ш) Врем. Правительству свои приветствия. „Инициативная группа по организации неорганизованной части торгово-промышленного класса г. Баку“ (представители местных банков, пароходладельцев, торговых, технических и иных контор, всех видов местной розничной и оптовой торговли, промышленных и ремесленных заведений) организует (7-8/ш) собрания „для выборов своих представителей в бакинский Совет торгово-промышленных депутатов, для активного и организованного участия в обще-политической жизни и, в частности, для избрания представителя в Бак. Исполнительный комитет“.

Мелко-буржуазная демократия явилась превалирующею силою первых моментов движения, намечавшего порядок ближайших дней. Характерно в этом отношении происходившее 5/ш (под председательством Иоаннисяна) заседание представителей 22-х кооперативных обществ, принимающее резолюцию, по конкретности своего содержания выгодно отличающуюся от бесчисленного множества резолюций тех дней: „... собрание считает первой очередной задачей момента создание единого местного центрального органа взамен старой власти... собрание считает необходимым, чтобы местный Исполнительный Комитет немедленно приступил к осуществлению следующих мероприятий: а) разоружения полиции и создания народной милиции, б) назначения комиссаров во все правительственные учреждения, с) фактического упразднения охранного отделения, д) ареста жандармского полковника, всех его... сотрудников, адмирала Ключевского и других... Собрание считает необходимым подчиниться власти временного Исполн. Комитета впредь до организации нового на более демократических началах... собрание находит недопустимыми какие-либо сепаратные выступления помимо Исполнительного Комитета“...

Только к середине марта сложившаяся организация общественных сил получает законченное юридическое оформление и официальное признание.

„Для осуществления и укрепления нового государственного строя в соответствии с предначертаниями Врем. Правительства и Особого Закавказского Комитета, а также для охраны общественной безопасности в бакинском градоначальстве и бакинской губернии учреждается Совет бакинских общественных организаций и бакинский Исполнительный Комитет“ — гласило официальное извещение, опубликованное 19/ш.

Социальная структура Совета общественных организаций всецело определялась следующим представительством, положенным в основу его образо-

вания: армяне — 2, мусульмане — 2, грузины — 1, евреи — 1, молокане — 1 поляки — 1, адвокаты — 1, врачи — 1, инженеры — 1, учителя — 1, правительственные чиновники — 1, Совет Раб. Деп. — 12, профессионал. союзы — 5, кооперативы — 5, Совет Солд. Деп. — 5, Сов. Офицерск. Деп. — 3, Гор. управа — 2, Гор. дума — 5, Совет съезда — 3, Биржевой комитет — 2, Балах. военно-промышл. Комитет — 1, Союз городов — 1, продовольственн. совещание — 2, мецданская управа — 1, торгово-промышленные организации — 3, печать — 1, интернациональн. культ-просветит. организации — 1, моряки торгового флота — 2, представители политических партий — 3, священники — 1.

Эта рыхлость и бесформенность социальной структуры Совета, большое количество членов (к середине марта — 75) не способствовали, конечно, укреплению его политического значения, и Совет держится только первоначальной слабостью Совета Раб. Депутатов.

Не будем упускать из виду, что, если власть в губернии оказывается сосредоточенной в лице Исполн. Ком-та Совета общественных организаций, то власть в Закавказском крае в целом фиксируется к этому времени в образованном по распоряжению Врем. Пр-ва от 9/III „Особом Закавказском Комитете“. В Озакое входили: бывшие члены Гос. Думы — Харламов (к-д), Пападжанов (к-д), Джафаров (мусаватист), Чхенкели (с-д м-к) и грузинский федералист Абашидзе. Слабо связанный с Советами Рабочих Деп. (Бакинским и даже Тифлиским), построенный по национальному признаку, окруженный национальными советами и на них опирающийся, ослабленный национальными трениями, осуществляя миссию проводника „предначертаний“ Врем. Пр-ва и в конечном счете проводя политику грузинской, армянской и тюркской мелко-буржуазной интеллигенции, Озакое в общезакавказском масштабе был не менее чахлым детищем революции.

Его политика гражданского мира „во что бы то ни стало“ основывалась исключительно на неразвитости и отсталости закавказской общественности и только поэтому пользовалась в первоначальный период революции известным успехом.

Правда, местная кадетская группировка с первых же дней обнаруживает недовольство политикой Исполн. Ком-та — она требует в своей резолюции от 14/III его реорганизации „на основаниях, возможно более приближающихся к принципам всеобщего избирательного права“. Но кадетская группировка, опиравшаяся на буржуазию армянскую и мелкую буржуазию русскую, была слишком незначительным фактором в соотношении общественных сил. Тенденции развития этих последних намечали, как выяснится впоследствии, консолидацию двух крупных решающих сил: рабочего класса, с одной стороны, и национальной тюркской полу-феодалной буржуазии — с другой.

От этих социальных точек отправления и следовало ждать преимущественной агрессии против воцарившегося в первые дни гражданского мира.

II.

Бакинская мусульманская общественность наблюдается нами в рассматриваемый период в совершенно аморфном, не дифференцированном состоянии.

Правда, в моменту революции в Баку имеется несколько повременных изданий на тюркском языке (Ачыг-Соз, Басейрат, Совгат, Догры-Соз, Тутти), до 30 разнокалиберных общественных объединений, характера почти исключительно благотворительного и культурно-просветительного; наконец, мы имеем полу-легально функционирующую политическую группировку в лице „национально-демократической партии Муссават“ (Равенство) и притаившуюся в глубоком подполье еле заметную с-д. организацию „Гуммет“.

Идеалы национально-культурной самостоятельности составляют однако удел численно ничтожной буржуазной интеллигенции. Национальные интересы мусульманской массы, инертной, но крепко спаянной языком и религией, не выходит за пределы веками взрощенной стихийной вражды к назойливому и небезопасному экономическому конкуренту — армянам. Не приходится, разумеется, говорить о подготовленности тюркской рабочей демократии, не прошедшей еще школы национальной гражданственности, к обостренной классовой борьбе. „Мусульманская масса, — по компетентному свидетельству одного из идеологов тюркского национального движения того времени ¹⁾, — представляя собою самую неорганизованную и политически неподготовленную, благодаря малому проценту грамотности и слабому контакту с другими своими более культурными согражданами, и не вполне доступную для общей агитации почву, дает мало надежды к быстрой ассимиляции ее с прочей массой, к проявлению живого участия в разрешении близких для ее жизненных интересов задач...“

Временным центром объединения тюркских общественных сил оказывается Мусульманское Благотворительное общество. 9/ш на собрании в помещении об-ва („Исмаиле“), происходившем по случаю праздника Новруз-Байрама, на котором присутствовали представители всех мусульманских общественных организаций и уже появились символические фигуры Расул-Заде и Ф. Хан-Хойского, была принята политическая резолюция о солидаризации с переворотом и послана в Петербург приветственная телеграмма. В десятых числах того же месяца мы наблюдаем ряд многотысячных общегражданских митингов мусульман (происходящих обычно или в „Исмаиле“ или в мечети Таза-Пир).

Организационное строительство намечается прежде всего по линии профессиональной, а затем — землячеств. Апрель месяц пестрит фактами такого рода собраний: мусульман-приказчиков, мусульман-парикмахеров, мусульман-рабочих, занятых в той или иной отрасли производства, мусульман-писателей и журналистов, мусульман-учителей и студентов. Среди объединений типа землячеств обращает на себя внимание об-во мусульман Поволжья, образовавшееся из об-ва грамотности, охватившее довольно значительные кадры бывших мусульманских рабочих.

К самым первым числам апреля относится образование Врем. Комитета Бак. Мус. общественных организаций и далее — Совета этих организаций и

¹⁾ См. „Известия Иск. К-та Бак. Мусульм. Обществ. организаций“ № 129.

Исполнительного его Комитета, которые складываются по аналогии с общегосударственными российскими организациями этого рода и становятся официально признанными центрами национального движения, переименовываемые впоследствии в национальный Совет и национальный Комитет. 7-го апреля Брем. Ком-т Бак. Мус. О. О. публикует воззвание к турецкому населению. „В целях ознакомления широких мусульманских масс с исторической важностью переживаемого момента, — читаем в воззвании, — объединения всех мусульманских общественных сил путем создания соответствующих организаций и ... популяризации национально-политических идеалов, образовался Совет Бакинских Мусульманских Общественных организаций... Воздерживаясь до созыва обще-мусульманского съезда от обнародования национально-политической программы, комитет однако считает необходимым теперь же высказаться о том образе государственного правления, который наиболее обеспечивал бы интересы мусульман, как нации... Такой формой правления безусловно является лишь демократическая республика...“ Воззвание заканчивается призывом: „Братья, объединяйтесь, ... сгруппируйтесь вокруг национально-политических лозунгов, дабы в Учредительном Собрании наши депутаты, чувствуя за собой организованную народную силу, могли бы смело выставить в чистом и кристаллизованном виде наши национально-политические идеалы“¹⁾.

Только к концу апреля (30/iv) Совет Б. М. О. О. получает возможность поставить свой печатный орган „Известия Совета Б. М. О. О.“, укладывающийся целиком на 4-ой странице газеты „Каспий“. „Мы совершенно не организованы. — читаем в редакционной статье первого номера этих „Известий“; — задача прессы в том, чтобы пропагандировать в широких демократических массах идею крайней необходимости немедленно организовать, объединяться в стройные ряды демократии, чтобы явиться в Учредительное Собрание с развернутыми знаменами, на которых должны быть начертаны наши требования демократической республики, наши национально-культурные идеалы“...

Апрель-май — месяцы мусульманских съездов: всероссийский съезд мусульман в Москве (10—12/iv), далее, кавказский мусульманский съезд 15—20/iv), мусульманский женский съезд в Казани (24/iv), съезд объединенных горцев Кавказа (14/v), съезд учащих мусульман Кавказа (5/v).

Первоначально расплывчатые и туманные „национально-политические идеалы“ в течение этого периода постепенно оформляются и принимают более

¹⁾ Необходимо отметить, что в деле раскрытия и формулировки этих „национально-политических идеалов“ отсталая турецкая общественность идет в хвосте прочих национальных закавказских группировок. „Национально-политические лозунги“ подмечаются лозунгами общедемократическими, и проблема национального самоопределения впервыеначально не получает раскрытия. Несколько иная картина в то же самое время наблюдается в грузинской общественности: там 7-го марта мы уже имеем собрание тифлисских дворян, которые посылают Родзянко и кн. Львову телеграмму с требованием предоставления Грузии автономии; в начале апреля в Тифлисе активно выступают грузинские федералисты, требующие территориальной автономии Грузии; наконец, там ранее, чем где бы то ни было, начинается формирование национальных военных частей, вызывающее протесты со стороны местного Совета Р. Дел.

четкие очертания. Приводим резолюцию, принятую съездом мусульман Кавказа и подтвержденную съездом объединенных горцев: „Кавказский мусульм. съезд, обсудив вопрос о национально-политических идеалах мусульман Кавказа, постановил признать, что формой государственного устройства России, наиболее обеспечивающей интересы мусульманских народностей, является демократическая республика на территориально-федеративных началах“.

Пробуждающиеся турецкие общественные силы в этот первоначальный период являются почти лишенными какой бы то ни было политической активности. Поглощенные всецело процессом внутри-организационной и культурно-пропагандистской работы, они ничем не проявляют себя в бурном потоке политических событий, развивающихся своим чередом. Захлестываемые этим потоком и не поспевающие за ним, бессильные повлиять на него, идеологи мусульманского национального движения вначале проявляют признаки некоторой растерянности и прямого недовольства политикой „революционной демократии“.

В редакционной статье официальных „Известий Исп. Ком. Бак. М. О. О.“¹⁾ выдвигается вопрос: „в чем выразилась реальная деятельность в Баку революционной демократии в деле организации мусульманского пролетария?“ И редакция обвиняет эту демократию не в историческом грехе ее — небрежении национальным моментом, а в том, что она не выполнила функций одной из демократий национальных... В то же время слышны жалобы на то „невнимание, которое оказали революционные организации мусульманскому населению, составляющему большинство“... Невнимание это „...выразилось в факте отсутствия представителей из мусульман в местных организациях, имеющих важное значение, как Исполнительный Комитет, Совет Рабочих, Депутатов и пр.“²⁾ „Левые партии, если они жаждут исправить свою ошибку по отношению к мусульманам, должны идти дальше: они должны знать, что мусульманская масса сумеет освободиться от влияния темных сил лишь тогда, когда их друзья из левых лагерей отбросят в сторону классовые тенденции и пойдут рука об руку с мусульманскими организациями в деле воспитания массы...“

Однако многого исхода, кроме поддержки той же „революционной демократии“, ни у буржуазной демократии, ни даже у феодально-буржуазных элементов национальных меньшинств в настоящий момент не было. „Мусульмане расходятся с крайними левыми партиями существенным образом, — читаем мы в том же официальном мусульманском органе³⁾, — но это расхождение несколько не исключает возможности их солидарной работы и солидарных выступлений для установления и упрочения в России вполне демократической республики и победы над империалистическими партиями, обладающими такими же аппетитами к захвату чужих стран и таким же стремлением угнетать подвластные им народы, каким обладал недавно похороненный деспот

¹⁾ См. № 115 от 27/г.

²⁾ См. статью „Ошибка левых“ в газете „Азиз Соз“. См. „Извест. И. К. Б. М. О. О.“, № 117 от 30/г.

³⁾ См. „Изв. И. К. Б. М. О. О.“, № 103 от 11/г.

гический строй России"... Такими объективными причинами вызывалась для турецкой официальной общественности того времени необходимость носить ярко демократическую тогу.

Только к июню месяцу она получает надлежащее политическое оформление. 12/у в Баку происходит учредительное собрание турецкой партии федералистов. А в середине июня с турецкой партией федералистов сливается национально-демократический „Мусават“ в единую „турецкую демократическую партию федералистов Мусават“, приобретающую на долгое время монополию на роль политического выразителя обще-национальных интересов азербайджанских турок.

III.

Рабочее движение, почти совсем не организованное к моменту революции ¹⁾, естественно начинает двигаться. В несколько дней оно проходит первоначальную бурную митинговую стадию. Размеры митингов определяются десятками тысяч участников. Приветственные телеграммы неизменно штампуются адресами Чхендзе и Керенского.

Вечером 6/ш в помещении Армянского человеколюбивого об-ва происходит первое заседание Совета Рабочих Деп. при 52 присутствующих. Председателем Совета избирается С. Шаумян (б-к), товарищами предс-ля Мандельштам (внефракцион. с.-д.) и Васин (с.-р.), секретарем — Аполло (м-к). Тогда же конструируется Исполн. Комитет Совета из президиума, представителей партий и трех членов Совета (Фиолетова, Каприеляна и Сочнева). „В ночь на 7/ш — читаем в первом воззвании Испол. Ком-та, — Совет Раб. Деп. бакинского района организовался окончателно. В состав его вошли 52 депутата, избранных от 52.000 рабочих и служащих. В выборах приняло участие более ²⁾ всего бакинского населения, и Совет Раб. Деп. счел поэтому возможным признать себя действительным и единственным выразителем воли бакинского пролетариата в целом. Признав себя уполномоченным, Совет Р. Д. избрал Исполнительный Комитет С. Р. Д. Согласно полученным при выборах наказам избирателей, Испол. Комитет Совета Р. Д. намерен строго согласовать свою деятельность с деятельностью петроградского Совета Р. Д. ... Совет Р. Д. ставит целью крепко связать себя сетью организаций со всею массой своих избирателей, готовить и организовать дружное выступление всего пролетариата в тот момент, когда завоеванной пролетариатом и революционной армией свободе будет угрожать хоть малейшая опасность“....

Того же 6/ш в помещении Гор. Думы происходит первое заседание Совета Солдатских Депутатов, носящее организационный характер по преиму-

¹⁾ Три-четыре незначительных профессиональных союза (как портных, печатников), насчитывающих в общей сложности не более 1000 членов, владели жалкое, почти полу-легальное существование. Функционировала только рабочая группа при местном Военно-Промышленном Комитете.

ществу (избирается президиум: председатель — Никитин, тов. предс. — Пипик, секретарь — Сарумов). В своем воззвании от 8/ш Совет Солд. Деп. ставит своей задачей „с надлежащей энергией и быстротой проводить в жизнь те мероприятия временного городского исполнительного комитета, которые будут клониться к поддержанию нового порядка и к скорейшему проведению в жизнь всех начал, объявленных Врем. Правительством“...

Совет Раб. Деп. еще далек от мысли оспаривать приоритет власти у Исполнит. Комитета общественных организаций, он избирает 4-х депутатов на отведенные ему первоначально в нем четыре места и ограничивается лишь борьбой за увеличение своего в нем представительства.

Рабочее движение отличается, как мы указали уже, крайней неорганизованностью. Это иллюстрируется, в частности, фактом отсутствия в городе с-демократической партийной организации: организационное партийное собрание с.-д.-тов относится только к середине марта и проходит без явных признаков фракционной дифференциации. Весь первый месяц характеризуется многочисленными, но неорганизованными, разрозненными выступлениями рабочих; бесчисленными, более или менее крупными, конфликтами рабочих отдельных предприятий со своей администрацией; разрозненными фактами предъявления рабочими экономических требований; наконец, эксцессами и насильственными действиями над представителями высшей и низшей администрации (вывоз на тачке, удаление со службы и т. д.). Совет вынужден заниматься улажением бесконечных конфликтов. Не имея достаточной опоры в организации масс, связанный по рукам и ногам этой неорганизованностью, втиснутый с головой в политику малых дел, Совет долгое время оставляет нереализуемыми свои политические возможности; как единственно крупное мероприятие, за весь март может быть отмечена лишь проведенная им, да и то совместно с Исп. Ком-том общ-х организаций, реорганизация полиции в промышленном районе; свой собственный орган „Известия“ Совет оказывается в состоянии поставить только к 31-му марта.

Развитие движения шло медленно. Но заложенные в бакинском рабочем движении возможности, рано или поздно, по достижении достаточной классовой организованности, естественно, должны были дать необходимый политический эффект: протокол первого же заседания Совета Р. Д. от 6/ш дает уже симптоматичные указания — председателем Совета, несмотря на всю политическую бесформенность его состава, избирается один из популярнейших вождей бакинского рабочего движения, вождь кавказского большевизма Степан Шаумян; и на том же первом заседании Совета вопросы, задаваемые присутствующему на заседании комиссару Исп. Комитета общ-х организаций Фролову, весьма скоро переходят в столь резкую критику мероприятий Исп. Комитета, что председательствующий м-к Аполло оказывается вынужденным гильотинировать прения.

Впервые классовые противоречия выявляются в начале апреля, когда Советом Раб. Деп. выдвигается вопрос о введении 8-ми часового рабочего дня. примирительных камер и промышленно-заводских комиссий. Тогда же при Исполн.

Комитете общ-х организаций образуется особая согласительная комиссия из представителей рабочих и предпринимателей ¹⁾).

Входящие в эту комиссию представители Совета Раб. Деп. заявляют 7/iv о необходимости введения 8-ми часового рабочего дня на следующих основаниях: „1) 8-ми часовой рабочий день вводится, как принцип, во всей бакинской промышленности, 2) сверхурочные работы обязательны во всех предприятиях, работающих на оборону или производящих предметы первой необходимости, 3) обязательность и продолжительность сверхурочных работ определяется специальным смешанным органом из представителей промышленников, Совета Раб. Деп., Совета Военных Деп. и Исполн. Ком-та общ-х организаций“. Исполн. Ком-т Совета Военных Деп. поддерживает точку зрения Совета Раб. Деп.

Точка зрения промышленников отражается в следующей резолюции: „Бакинские промышленники полагают, что разрешение этого вопроса во всем его объеме надлежит отложить до рассмотрения его в законодательном порядке. Но, не желая отказом в разрешении вопроса о 8-ми час. рабочем дне вызвать между промышленниками и рабочими обострения, могущие отозваться на ходе работ, а, следовательно, и на обороне государства, промышленники полагают возможным разрешить его частично для бакинского района и ввести 8-ми час. рабочий день в следующих отраслях бакинской торговли и промышленности, при неременном условии производить сверхурочные работы по требованию самих промышленников: 1) в нефтяной промышленности, а именно в той ее части, где 8-ми часовой день не введен, 2) в фирмах подрядного бурения, 3) у фабрикантов и заводчиков, 4) в фирмах торгово-промышленного союза, 5) у шахтовладельцев... Оплату сверхурочных работ установить на 50% выше оплаты урочных работ... Распространение 8-ми час. раб. дни на судоходную промышленность признать неприемлемым“.

„Одобряя действия делегатов Совета Раб. Деп. в согласительной комиссии, — гласит резолюция Совета, принятая на заседании последнего 9/iv, — Совет Раб. Деп. поручает Исп. Ком-ту и делегированным товарищам: 1) вести дальнейшую энергичную борьбу за проведение 8-ми час. рабочего дня во всех областях бак. промышленности... 2) Обратиться к Петроградскому Совету Р. и С. Деп. и к Врем. Прав-ву через Керенского о необходимости немедленной командировки особого комиссара, который совместно с Бак. Советом Р. и В. Деп. установил бы контроль по делам судоходства Каспийского моря, а также 3) принять меры к ускорению реквизиции транспортных средств по Каспийскому морю. До достижения общего для всей промышленности решения о 8-ми час. рабочем дне ни на какое частичное введение его в части промышленных предприятий не соглашаться“.

¹⁾ На первом заседании согласительной комиссии присутствовали представители от Совета Раб. Деп. — Шаумян (б-к), Саалян (с.-р.), Аполло (м-к), Мандельштам (инфр. с.-д.), Рамисвили (м-к), Сухарцев (с.-р.), Фиолетов (б-к), Социев, Заргарян (б-к), Игенти (м-к), Богданов и Винтер; от промышленников — Алибеков, Тагханов, Унксов, Секторский, Идельсон, Зейферт, Мехтлев и Костанянц.

После того, как предложение Совета Р. Деп., поддержанное Советом Военн. Деп., оказалось сорванным союзом судовладельцев, председатель Исп. Ком-та общ-х организаций вновь собирает согласительную комиссию, настаивая на необходимости достигнуть соглашения. Представители судоходной промышленности стоят во главе оппозиции. — Они выставляют следующие условия: они согласны на введение 8-ми час. раб. дня, но с тем, чтобы ту работу, которую до сего времени при 12-ти часовом дне производили восемь рабочих, — при 8-ми час. дне производили бы девять человек рабочих без какой бы то ни было оплаты сверхурочных часов. Представители рабочих отклонили это предложение: в такой постановке вопроса они видели тот же решительный отказ со стороны судовладельцев ввести у себя 8-ми час. раб. день. Не достигается соглашение также и по вопросу о контроле над сверхурочными работами. Совет Раб. Деп. постановляет: „воздержаваясь от забастовки, принять все зависящие меры к разрешению конфликта государственным путем“.

Предприниматели однако делают уступку поднимающейся волне рабочего движения, и Бак. Исп. К-т общ-х организаций за подписью председателя К-та Фролова и члена Озакма Джафарова особым извещением „объявляет, что 15-го с. апреля достигнуто соглашение о том, что: 1) в бакинском районе вводится, как принцип, 8-ми час. раб. день, 2) учреждаются примирительные камеры..., 3) вводятся промышленные заводские и фабричные комиссии, 4) на время до демобилизации армии сверхурочные работы признаются обязательными, как для рабочих, так и для промышленников, во всех предприятиях, работающих на оборону и производящих предметы первой необходимости, 5) практическое введение 8-ми час. рабоч. дня, примирительных камер, промышленных, заводских, фабричных комиссий, а равно и вопрос об урегулировании сверхурочных работ через особый смешанный орган будет предметом дальнейших работ согласительной между рабочими и промышленниками комиссии, 6) все эти решения осуществляются с 1-го мая (стар. стиля) 1917 г.“

IV.

Продовольственный кризис и беспрестанно возрастающая дороговизна углубляют еще более классовые противоречия в бакинском рабочем движении. Уже на заседании Гор. Продовольств. Комитета 21/IV докладчиком Стопани (председателем Горпродкома) констатируется критическое состояние хлебных запасов, могущих хватить не более, как на двадцать два дня. И тогда же на очередь ставится вопрос о введении хлебных карточек и определении хлебного рациона. 12-го мая по докладу представителя Горпродкома в Совете констатируется наличие хлебных запасов всего лишь на 8-10 дней. Положение становится особенно угрожающим в связи с расстройством жел.-дор. транспорта. Продовольственная разруха революционизирует не только рабочие массы, но и позицию органов „революционной демократии“. В Гор. Продов. Комитете, на заседании 21-го апреля, раздаются резкие нападки на Гор. Думу, не ведущую решительной борьбы со спекуляцией, слышны указания

на необходимость муниципализации главных отраслей торговли и промышленности, питающей население. В Совете Раб. Деп., на заседании 12-го мая, представители левого крыла настаивают на принятии самых решительных мер вплоть до установления „продовольственной диктатуры“.

Неприспособленность старой цензовой Гор. Думы к новым условиям, отсутствие в то же время каких бы то ни было органов самоуправления в промысловых районах, где продовольственный кризис особенно сильно обостряется и создает почву, удобную для экспессов — побуждают Исп. Ком-т общ. организаций поставить на очередь вопрос о немедленном, впредь до реформы городского самоуправления, создании „участковых“ („гражданских“) продовольственных комитетов, и 9-го мая, за подписью председателя Исп. Ком-та Фролова и председателя Горпродкома Стопани, публикуется следующее извещение об организации таких комитетов: „учет запасов, контроль над частной торговлей, равномерное распределение продуктов, борьба со всеми видами злоупотреблений, руководство городскими столовыми — первая задача гражданских продовольственных комитетов. На эти же комитеты будет возложено и содействие охране и безопасности граждан. Комитеты будут организованы по числу миллионных участков — 16 комитетов (10 — в городе, 6 — на промыслах). В выборах участвуют все граждане обоего пола, не моложе 20 лет, без различия национальности, проживающие в данном участке. Выборы будут производиться по спискам, заранее составленным политическими и общественными организациями. Число членов комитетов установлено в 25 человек в каждом“ ... Не приходится, разумеется, сомневаться в том значении, какое должна была иметь разворачивавшаяся кампания по выборам, как средство хотя бы самого элементарного политического воспитания масс.

Продовольственный же вопрос обостряет недовольство деятельностью центрального краевого органа власти — Озакома и влечет за собою постановку на очередь вопроса политического. Останавливают на себе внимание заседания Губ. Продовольственного съезда, открывшегося 25-го июня. В докладах с мест отмечается полная неадаптация организации сельских комитетов, которые должны были служить основой демократически организованной продовольственной кампании, указываются многочисленные случаи несоответствия представителей местной власти своему революционному назначению, слышатся жалобы на то, что местные власти защищают интересы землевладельцев, купечества, кулачества. Съезд, созданный по продовольственному делу, принимает предложенную Губпродкомом ярко выраженную политическую резолюцию, седьмой пункт которой гласит следующее: „Так как при таких условиях правильная организация продовольственного дела в губернии является совершенно невозможной, то Комитет находит прежде всего необходимым немедленно организовать сильную центральную губернскую и городскую революционную власть в виде общегубернского Исполнит. Ком-та, хотя бы на основаниях, выработанных Озаком, который в свою очередь, как показал опыт, нуждается в реорганизации для того, чтобы быть ярким выразителем воли революционной демократии“.

Дороговизна бьет по заработной плате рабочих, вопросы зарплаты влекут за собою целую цепь вопросов материального и правового быта рабочих. Конфликт следует за конфликтом; то тут, то там происходят эксцессы, пока мелкие и частичные, но по своей симптоматичности достаточно злоеющие. На заседании Совета Раб. Деп. 29-го апреля С. Шаумян сообщает, что к нему „обратились управляющие некоторых промыслов с заявлением, что среди рабочих идет сильное брожение на почве предъявления различных требований...“. „Первая волна отдельных требований, — говорил Шаумян, — благодаря Совету Р. Деп. была сдержана. Вторую необходимо сдержать...“

Совет вынужден искать выхода из положения, тем более, что он, в прямой ущерб своим политическим функциям, начинает превращаться в орган, разрешающий бесконечные мелкие конфликты, в своего рода примирительную камеру. В воззвании Совета, опубликованном 9-го мая, значится: „Недопустимо обременение Совета Р. Деп. мелкими частичными требованиями, ибо это тормозит его главную работу, которая в настоящее время стоит перед ним... Ему необходимо: преобразовать городскую думу... создать участковые думы... учредить контроль над продовольственным делом... образовать постоянную народную милицию... заняться политическим воспитанием широких масс, принимать деятельное участие в политической жизни страны...“. И далее, на заседании Совета 6-го июня, при обсуждении вопроса о взаимоотношении с Исп. Ком-том общ-х организаций, в прениях вырисовывается определенная картина: „Исполн. Ком-т Совета завален массой текущих дел“, он „выносит на своих плечах всю работу профессиональных организаций“ ¹⁾, „утопает в мелких вопросах местного характера вследствие отсутствия на местах сильных организаций“ и потому „отклоняется от своей основной задачи — быть политическим центром и руководителем...“

Какое же русло намечает Совет для бушующей рабочей стихии? Он ставит прежде всего на очередь традиционный для истории бакинского рабочего движения вопрос о выработке и проведении в жизнь коллективного договора, который должен дать рабочим экономическую и юридическую базу для нормального развития классовой борьбы. Образуется особая комиссия по выработке коллективного договора между рабочими, занятыми в нефтяной промышленности, и предпринимателями (при председателе М. Лурье и секретаре П. Джапаридзе). Договор, выработанный для нефтепромышленных рабочих, составляющих подавляющее большинство бакинского пролетариата, должен послужить образцом для рабочих других производств. Комиссия открывает свои действия 25-го апреля, она образует шесть подкомиссий ²⁾ и созывает ряд собраний пред-

¹⁾ Профессиональное строительство характеризуется в первоначальный период чрезмерною организационною дробностью: ко второй половине апреля насчитывается свыше 25 отдельных профессиональных объединений с общим числом членов около 10.000 чел., при чем главнейшие из них (нефтепромышленных рабочих, металлостроителей, жел.-дорожников, доковых рабочих) к этому времени окончательно еще не были организованы.

²⁾ 1) Рабочего времени и зарплаты, 2) жилищную, 3) страховую, 4) образования и развлечения, 5) рабочих организаций, 6) медицинской помощи.

ставителей промышленных и заводских комиссий. Конкретные экономические вопросы служат той реальной осью, вокруг которой начинается процесс организации масс и вовлечение их в организованное движение.

Совет съезда, орган объединенных нефтепромышленников, обнимающий свыше 60 крупнейших нефтепромышленных фирм, склонен итти рабочей стороне на уступки в традиционной форме выдачи единовременного пособия (в размере ежемесячного военного пособия), но нарезотизирующее значение „подачки“, раскалывающее ряды рабочего класса, учитывается руководителями рабочего движения: на заседании согласительной комиссии 2-го мая С. Шаумян заявляет, что „отдельное выступление нефтепромышленников не только не внесет успокоения в бакинскую промышленность, но создаст массу недовольных в других отраслях, что меру эту необходимо распространить на все отрасли; для достижения же однообразия — исходить из жалования, а не из пособия“.

В течение всего мая месяца работы согласительной комиссии не дают ощутительных результатов; даже по актуальному частному вопросу о размерах единовременного пособия не удается достигнуть соглашения. Декретированное „в принципе“ введение 8-ми часового рабочего дня не получает на практике общего признания (в подрядном бурении, в обозе). На промыслах и заводах не прекращаются конфликты, в отдельных предприятиях назревают забастовки (Каспийско-Черноморск. тов-во, завод Бьеринга и др.). Рабочая группа при бак. областном Военно-Промышл. Комитете требует немедленного учреждения министерства труда.

Озаком реагирует на создавшееся конфликтное положение командированием в Баку „для урегулирования отношений между рабочими и промышленниками“ своего уполномоченного — члена первой Госуд. Думы Исидора Рамишвили. Пользуясь популярностью, как в рабочих массах, так и в широких общественных кругах, последний публикует 24/у призыв к рабочим и промышленникам к воздержанию от анархических действий одной стороны и неуступчивости другой. Он становится во главе работ согласительной комиссии.

Однако продолжающиеся и в течение всего июня работы комиссии остаются бесплодными. На заседании Совета Раб. Деп. 1/ви констатируется факт перерыва переговоров с нефтепромышленниками: 2-ой союз предпринимателей, обнимающий собою 60 фирм, решительно отверг ставки комиссии; к нему присоединились подрядчики по бурению и заводчики; 1-ый союз соглашается лишь на частичное повышение ставок (на 257 % по сравнению со ставками 1914 г.). И тогда же (на заседании Совета) впервые раздаются голоса, требующие национализации нефтяных промыслов, реквизиции нефтяных продуктов, ареста предпринимателей, объявления двухдневной забастовки, апелляции к государственной власти. Совет постановляет:.. „1) созвать конференцию заводских комиссий..., 2) передать на обсуждение конференции вопрос о забастовке..., 3) декретировать введение 8-ми часового рабочего дня..., 4) декретировать выдачу единовременного пособия в счет коллектив-

ного договора..., 5) арестовывать промышленников, сокращающих производство..., 6) требовать вмешательства государственной власти...". Н. Раминский, именующийся теперь комиссаром труда, оказывается вынужденным отправить министру труда Скобелеву телеграмму следующего содержания: „Переговоры по проведению коллективного договора между рабочими и предпринимателями прервались. Предвидится общая забастовка, которая нежелательна в виду государственного значения промыслов. Рабочие идут на пересмотр условий договора. Уступок нефтепромышленников не ждут. Потребуется вмешательство государственной власти для разрешения вопроса. Мне нужны Ваши указания“.

К июлю месяцу гражданский мир нарушается формально и по существу, но разгоревшаяся экономическая борьба не сразу превращается в политическую.

„Полномочный орган революционной демократии“¹⁾ первоначально крепко держится за основные лозунги буржуазной демократии: на заседании Совета 16/у, посвященном вопросу о коалиционном министерстве, резолюция Шаумяна (большевиков) собирает всего лишь 9 голосов, и большинством 166 при 8 воздержавшихся проходит общая резолюция меньшевиков, с-ров, дашнакцаканов и группы военных с выражением полного доверия Врем. Правительству и с призывом к его поддержке.

Правда, на заседании Совета 17/ви заслушивается и принимается доклад об организации Совета Раб. Деп. (и Исп. Ком-та), как „органа революционной власти“, „с одной стороны являющегося опорой революционного правительства, с другой стороны, органом, контролирующим действия властей“...

Но и дальше — на заседании Совета Раб. Деп. 5/ви, когда, при обсуждении петроградских „июльских“ событий, обнаружилась непримиримость двух точек зрения (Шаумян и Бекзадян), собрание подавляющим большинством голосов присоединилось к воззванию Всеросс. Центр. Исп. Комитета Советов.

В этот период Совет находится всецело во власти блока, сформировавшегося из м-бов, с-ров и дашнакцаканов. В оппозиции, на крайней левой, выкристаллизовывается группа б-ков, незначительная в Совете, но постоянно расширяющая свое влияние в массах.

Попутно отметим, что первоначально „единая“ бакинская с.-д. организация раскалывается только в конце июня. Июнь и июль — месяцы углубления и оформления фракционных разногласий.

Еще на конференции всех районных комитетов и общегородского центра баки. организации Р.С.-Д.Р.П., состоявшейся в середине апреля, большинством 43-х против 8 при 11 воздержавшихся принимается по вопросу о войне предложенная С. Шаумяном резолюция интернационалистского характера, при чем

¹⁾ 10-го мая произошло слияние Советов Рабочих и Военных Депутатов.

нение меньшинства фиксируется в оборонческой резолюции всего лишь 12 подписями ¹⁾.

Но состоявшаяся 1/ви конференция „с.-д. меньшевиков и других с.-д. — сторонников объединения (86 мандатов от 1660 членов)“ выносит уже резолюцию: „Принимая во внимание, что все попытки меньшевиков к сохранению единства организации Р. С.-Д. Р. П. встретили самый резкий отпор со стороны большинства Бакинского Ком-та; констатируя, что 6-ки на своей конференции санкционировали раскол и не отозвались на наше приглашение явиться на конференцию для объединения, собрание решает создать бак. организацию Р. С.-Д. Р. П., объединяющую все оттенки и течения с.-д. мысли, стоящей на точке зрения необходимости единства организации, и постановляет объявить газ. „Социал - Демократ“ официальным органом Р. С.-Д. Р. П.“ ²⁾.

2/ви происходит конференция с.-д. большевиков при участии 52 делегатов. Возвратившийся из Петербурга С. Шаумян оформляет позицию партии и намечает твердую линию на раскол. Собрание принимает постановление, сущность коего сводится к следующим пунктам: 1) на выборах в городскую думу отвергнуть общий список с другими социалистическими организациями..., 2) обратить серьезное внимание на значение заводских комиссий и предстоящую конференцию..., 3) на предстоящей демонстрации выставить лозунги о коллективном договоре, о присоединении промышленных окраин к городу и общеполитические... 2-ой и 3-ий пункты этой резолюции, как увидим ниже, вполне соответствовали коренным требованиям бакинских рабочих и, в качестве лозунгов дня, в полной мере и с успехом были использованы организацией, становившейся идейной выразительницей стихийных настроений и чаяний широких рабочих масс.

Руководимый меньшевистско-эс-эровскими элементами Исполн. Ком-т Совета пытается укрепить свою позицию вотумом конференции комитетов всех социалистических партий города, созываемой им на 12/ви ³⁾. Непримиримые разногласия резко обозначаются на этой конференции в речах лидеров враждующих крыльев — Садовского и Шаумяна. „Или мы изменники революции, — в возбуждении заявил Шаумян, обращаясь к правому сектору, — или вы контр-революционеры“... Углубляется водораздел, тождественный с общероссийским.

Исп. Комитет не обманулся в расчете: принятая большинством собрания резолюция соответствует позиции В. Ц. И. К.; она требует: „пополнить состав органа правительственной власти — Исп. Ком-та общественных организаций — представителями всех социалистических партий, стоящих на точке зрения настоящей резолюции, и поручить ему в полном согласии с правительством спасения революции проводить политику решительной борьбы с контр-революционными течениями“.

²⁾ Г. Аноло, С. Фролов, Ис. Рамшвили, С. Опарин, И. Глазрин, А. Касамши, Б. Якобсон, В. Тер-Микаэлян, А. Давыдова, А. Чураев, В. Бакрадзе, Грезин.

³⁾ Большевики начали издавать газету „Бакинский Рабочий“.

³⁾ Присутствовали: члены Исп. К-та Совета Р. Д., комитеты партий — 6-ков, м-ков, с.-эров, армянских с.-д., Гуммета, Бунда и Дашнакцутюн.

Руководители блока использовали свою временную победу, проведя (по предложению Аполло) большинством голосов эту резолюцию на бурном заседании Совета от 14/ви, посвященном вопросу об отношении к июльским дням.

V.

Вопреки тщетным усилиям руководителей советского большинства сохранить нерушимость прежних позиций, Совет в целом с неизбежностью вовлекается в разгорающуюся классовую и политическую борьбу.

Выдвинутый революцией в общероссийском масштабе вопрос об организации демократических городских дум в бакинских условиях суживается до пределов вопроса о пополнении состава действующей городской Думы представителями от демократических организаций в количестве, равном числу членов Думы. На заседании Совета, состоявшемся 1/ви, была вынесена резолюция в указанном смысле. Но этот же вопрос в бакинских условиях повлек за собою постановку на очередь другого вопроса — о присоединении промышленно-заводских районов к городу. Необходимость введения самоуправления в этих районах, разумеется, никем не оспаривалась, и спор разгорался вокруг вопроса о том, какова должна быть форма самоуправления районов, т. е. должны ли они управляться самостоятельно или быть присоединенными к городу. Присоединение к городу означало неизбежность резкой демократизации кадров избирателей в Гор. Думу, и, следовательно, состава самой Думы, и вызывало поэтому решительное противодействие со стороны цензовых элементов.

На заседании Совета Р. Д. 23/ви было принято постановление о поручении Исп. Комитету „добиваться присоединения промышленно-заводских районов к городу“. Рабочее население районов реагировало на этот животрепещущий для него вопрос рядом митингов с вынесением подобных же резолюций.

Того же требовала и конференция заводских и промышленных комиссий на заседании 10/ви: „Конференция... выражает пожелание, чтобы Исп. К-т Совета немедленно обратился к Врем. Правительству и Закавказскому комиссариату с ходатайством об издании дополнительного декрета о присоединении промышленного района к городскому самоуправлению“.

Бак. Исп. К-т общественных организаций входит в Гор. Думу с соответствующим представлением, не встретившим в ней сочувствия. На заседании 1/виш Гор. Дума постановила послать в Тифлис, в Озак, телеграмму: „Обсудив предложение Бак. Исп. Ком-та общ-х орг. о присоединении к городу промышленных районов для предоставления им участия в городских выборах, после всестороннего обсуждения, в виду неразработанности и большой сложности вопроса, Гор. Дума постановила отклонить означенное предложение и просить Комитет разрешение этого вопроса отложить до приезда в Тифлис для личного мотивированного доклада делегатов Думы“.

Колеблющийся, нерешительный Озак дал по этому вопросу заключение в тонах дельфийского оракула: признавая необходимость введения в районах

самоуправления, Озаком, однако, не указывал на его формы. В течение всего августа месяца Озаком хранил глубокое молчание — и вопрос оставался открытым. Только в самых последних числах августа, под влиянием назревавших событий, Озаком делегировал в Баку специальную комиссию, которая приступила к изучению вопроса и в результате работ оказалась вынужденной (при особом мнении Топчибашева) признать: 1) „тесную хозяйственно-экономическую связь промышленных районов с городом“, 2) „городской уклад жизни в промышленных районах“, 3) „ходатайство Бак. Исп. Ком-та общ-х орг. подлежащим удовлетворению“.

Незадолго до своей политической кончины, политически к тому времени уже себя изживавший Озаком санкционировал заключение комиссии постановлением от 7-го, гласившим: „1) присоединить заводско-промышленный район к гор. Баку в целях организации общей с ним городской самоуправляющейся единицы..., 2) назначить немедленно выборы в Городскую Думу по г. Баку в его теперешних границах, 3) приступить к составлению списков по присоединяемому заводско-промышленному району“...

Здесь уместно будет отметить ту обстановку, в какой должна была протекать избирательная кампания по выборам в Гор. Думу и далее в Учредительное Собрание и которая вырисовывалась уже с достаточной степенью определенности в предшествующую кампанию, имевшую место еще в мае-июне месяцах в связи с образованием гражданских комитетов. Существенные черты этой обстановки были таковы: обширность территории, многоязычность, отсталость (неграмотность) большинства населения, отсутствие необходимых статистических данных и недостаток средств и сил для производства переписи, враждебность старого городского самоуправления, противодействие со стороны всего буржуазного фронта (в лице организаций и органов прессы), слабая активность демократических и социалистических организаций, наконец, специфические местные бытовые условия, связанные с национальными и религиозными традициями (отношение к участию в выборах женщин-мусульманок, случаи недопущения в мечети, где происходили выборы, контрольными комиссий и т. п.).

И уже эта майско-июньская кампания по выборам в гражданские комитеты давала основания к небезынтересным и поучительным выводам. Выборы обнаружили: 1) абсолютную слабость русско-армянской буржуазии и идейной выразительницы ее — партии к-д., получившей всего несколько сот голосов; 2) инертность, относительную слабость и неподготовленность демократических и социалистических организаций; 3) организованность и сплоченность мусульман, за списки которых из 50.000 голосовавших было подано, притом в четырех только участках, немного более половины голосов.

„Революционная демократия“, к тому времени еще не расколовшаяся, имела против себя главную силу в лице сплоченного блока мусульманских националистов, за которыми шла вся мусульманская мелко-буржуазная демократия и значительная часть мусульманских рабочих. На арене разгоравшейся политической борьбы вырисовывалась новая могучая сила, которая, организова-

ционно сложившись и идейно оформившись, в момент определенной национально-политической и международной конъюнктуры, должна была сыграть решающую роль в исторических судьбах восточного Закавказья.

VI.

Как было отмечено выше, классовая и экономическая борьба была направлена в русло кампании за коллективный договор. Двухмесячная работа согласительной комиссии по выработке основ коллективного договора разбилась об упорство нефтепромышленников, обусловливаемое, разумеется, не местными только причинами, но тем контр-наступлением, которое наблюдалось со стороны промышленников во всероссийском масштабе. Отметим характерную деталь: в то время, как первый союз нефтепромышленников находил всю систему вычисления согласительной комиссии неправильной и предлагал свои ставки, второй союз соглашался и с системой и со ставками при том однако условии, чтобы была повышена цена на нефть; мелкие нефтепромышленники и шахтовладельцы не давали никакого ответа, а подрядчики по бурению заявили о невыполнимости для них требований договора и о неизбежном сокращении производства.

Рабочая сторона, не чувствуя себя достаточно подготовленной к „непосредственному действию“, старалась использовать все средства и возможности для мирного разрешения конфликта. Комиссар труда Рамишвили еще раз сделал попытку к соглашению сторон, созывав их на особое совещание на 9/ви. На конференции заводских и промысловых комиссий, профессиональных союзов и других рабочих организаций 6/ви представители большевиков выдвинули лозунг забастовки-демонстрации, но голосами м-ков, с-ров, дашнаков и Центр. Бюро профсоюзов была принята резолюция о передаче проекта договора в особую комиссию, образуемую при комиссаре труда, и об обращении к Врем. Правительству в случае, если соглашение и здесь не последует. „Признавая забастовку наиболее действительным боевым средством борьбы рабочего класса за улучшение его социально-экономического положения, — значится в п. 5-м означенной резолюции, — конференция, считаясь с условиями момента и общегосударственными интересами, признает необходимым прибегнуть к этому средству лишь при полной невозможности добиться своих прав путем соглашения или государственного вмешательства, а потому считает забастовку и демонстрацию сейчас несвоевременными“.

Однако конфликтность положения и неминуемость забастовки начинают всё сильнее ощущаться рабочими массами. Растет потребность в самоорганизации.

Профессиональные союзы слабы; Совет Раб. Деп., орган всей революционной демократии, не может выполнять функции классовой экономической организации, не отвлекаясь тем самым от своих прямых функций; промышленно-заводские комиссии, которые приняли непосредственное участие в разработке коллективного договора и спорадически посылали своих делегатов на конференции, должны выдвинуть эту конференцию, как постоянно функционирующий орган, руководящий экономической борьбой рабочего класса —

такие доводы слышим мы на заседании конференции заводских и промышленных комиссий, профес. союзов и членов Совета Р. Д. 10/vii, доводы, развиваемые представителями партии б-ков.

Представители блока пытались возражать, указывая на громоздкость проектируемого органа (600—700 чел.), недостаток в рабочих на местах, дробление сил, присвоение конференцией функций Центрального Бюро, но большинство конференций склонилось на сторону большевиков, завоевывавших тем самым новую организационную базу, опираясь на которую, они теперь могли толкать непоспевающий за революционирующимися массами „согласительский“ Совет. Резолюция, принятая собранием, гласила: „Конференция промышленных и заводских комиссий высказывает настоятельное пожелание, чтобы Совет Р. и В. Деп. немедленно организовал особый орган в Баку из представителей всех отраслей труда при Центр. Бюро профес. союзов, который вместе с комиссариатом труда разбирал бы все экономические вопросы, назревающие в жизни города“.

Классовый инстинкт, продиктовавший рабочим массам необходимость немедленного принятия превентивных мероприятий, не обманул их. Политическое предвидение представителей партии б-ков в данный момент оказалось правильным.

На 26/vii было назначено последнее заседание согласительной комиссии при комиссаре труда по выработке коллективного договора. Соглашение и на этот раз оказалось недостижимым. Переговоры снова прервались. Рабочая сторона выставила 4 пункта: 1) коэффициент вздорожания определяется — 4,6 ¹⁾, 2) коллективный договор вводится с 1-го апреля, 3) вопрос о повышении цен на нефть никоим образом не связывается с удовлетворением требований рабочих, 4) договор вводится во всех фирмах. Возражения промышленников сводились к следующему: 1) для мелких предприятий принятие коэффициента 4, 6 — разорительно, 2) до поднятия цен на нефть требования коллективного договора удовлетворены быть не могут, 3) коллективный договор вводится лишь с 1-го июля, 4) единый коллективный договор для всех фирм невозможен.

Уже из докладов на конференции, заседавшей 24/vii и длившейся целых восемь часов, явствовало, что положение обостряется, что недовольство рабочих масс, нараставшее в течение четырех месяцев, дошло до своего крайнего предела, и каждую минуту можно ждать стихийных вспышек.

На созванном по этому поводу заседании Исполн. Ком-та, всегда мирно и оптимистически настроенный И. Рамишвили произносит полную отчаяния речь и заканчивает ее словами: „В воздухе запахло порохом...“ Исп. К-т отправляет ВЦИК'у телеграмму: „Положение нефтяной промышленности крайне тревожное. Промышленники упорствуют в заключении коллективного договора, желая вызвать осложнения с целью добиться повышения цен на

¹⁾ При установлении минимума заработной платы за основу принималась довоенная зарплата 1914 г. и множителем брался коэффициент вздорожания жизни, определявшийся из анализа цен на продукты первой необходимости.

нефть. Вторичные переговоры прерваны. Необходимо вмешательство центральной власти. Просим немедленно отправить сюда делегатов с полномочиями". В то же время И. Рамишвили телеграфирует министру труда: „Комиссия установила вздорожание жизни в 4,6 раза. Промышленники обуславливают повышение заработной платы соответствующим повышением цены на нефть. Положение серьезное, среди рабочих крайняя нужда. Возможна забастовка. Необходимо ваше вмешательство".

Телеграмма, посланная от имени заседавшей 27/ви конференции пром.-зав. комиссий и Исп. К-та Совета на имя министра труда и ВЦИК'а Советов, гласила: „Четырехмесячные усилия провести в жизнь коллективный договор не привели ни к чему. Настроение рабочих угрожающее. Существовать при прежних ставках заработной платы невозможно. Исчерпаны все возможности. Рабочие накануне голода. Всеобщая забастовка неизбежна. Возможен саботаж и прочие осложнения. Необходимы решительные и категорические меры центральной правительственной власти воздействия на нефтепромышленников. Государственная необходимость заставляет искать вашего содействия".

„Для проведения в жизнь коллективного договора и решения вопроса о начале забастовки" конференция на том же заседании 27/ви выделяет из себя своего рода исполнительный орган — „Совет Труда" в составе: представителей от районов (по 2 от каждого), представителей от Исп. К-та С. Р. и В. Д., Центр Бюро профсоюзов, политических партий и комиссара труда.

Со стороны нефтепромышленников наблюдается не только несговорчивость и упорство, но и прямое противодействие. К началу августа они требуют: 1) „точного определения круга вопросов, подлежащих ведению примирительных камер и третейских судов..."; 2) „запрещения устраивать митинги и собрания в рабочее время", 3) „запрещения... вмешиваться в вопросы о приеме и увольнении...", 4) „образования особой комиссии для разрешения вопроса о давности...". Основное же их требование это — требование повышения цены на нефть: они добиваются повышения цены на 68,3 коп. на пуд, в то время как рабочая сторона исчисляет вызываемые введением коллективного договора расходы лишь в 8 коп. на пуд.

Центральная власть оказывается вынужденной вмешаться в конфликт. Но и приезд в Баку „социалистического" министра труда Скобелева мало подвинул дело вперед: промышленники продолжают настаивать на повышении цены на нефть и в ответ на сделанные рабочей стороной уступки продолжают свое противодействие. Отсрочка момента решительного разрыва путем перенесения работ согласительной комиссии в Петроград — единственный результат поездки Скобелева. На заседании согласительной комиссии 8/ви он внес принятое всеми союзами предпринимателей и рабочей стороной предложение. „В виду того, что г.г. представители предпринимателей заключение коллективного договора ... поставили в прямую и непосредственную связь с повышением цен на нефть, предлагаю представителям сторон незамедлительно послать в Петроград своих представителей в равном числе в специальную по

этому вопросу правительственную комиссию, при условии, что г.г. предприниматели всех разрядов и отраслей производства не позже 25-го августа выдадут всем служащим и рабочим аванс в размере двухмесячного оклада полной заработной платы (основное жалование и военное пособие) для обеспечения возможности нормального течения работ при теперешнем тяжелом экономическом положении*.

Конференция санкционировала принятое согласительной комиссией решение. Бакинский пролетариат вновь призывается к выдержке и спокойствию. Но объективные условия, и экономические и политические, таили в себе слишком много моментов, благоприятствовавших дальнейшему возбуждению масс...

VII.

Отмеченный выше продовольственный кризис, надвинувшийся еще в апреле, конечно, по условиям времени не мог быть ликвидирован, и 12/ви председатель Горпродкома Стопани на объединенном заседании общественных организаций и продовольственной управы сообщил, что хлебных запасов в городе осталось только на 4 — 5 дней, что виды на урожай неудовлетворительны, и что предстоит приступить к сокращению нормы потребления. Расчеты на подвоз хлеба, в виду расстройств транспорта и недовольства крестьян твердыми ценами, оказались крайне неблагоприятными, и в августе месяце подвоз сократился по сравнению с 1916 годом ровно вдвое (с 600.000 пуд. до 300.000 пуд. в месяц).

Голодает не только население города, но и ряда уездов — Муганского, Шемахинского, Геокчайского; толпы голодных сельчан, устремляясь в город, усугубляют тяжесть положения.

На объединенном продовольственном совещании 16/ви принимается постановление о сокращении хлебного рациона, об обязательной регистрации запасов, о необходимости разгрузки города. Исп. К-т Совета обращается за поддержкой в Тифлису. Совет съезда шлет просьбу о помощи в Петроград. Приводим телеграмму Совета съезда, с достаточной яркостью характеризующую создавшееся положение: „Населению Баку и нефтепромышленного района угрожает голод со всеми последствиями. За 10 дней поступило 11 вагонов хлебных грузов, вместо требующихся по голодному району 150 вагонов. Жили впроголодь августовскими остатками и заимствованиями у интендантства... Заимствовать больше неоткуда... На промыслах начались частичные забастовки, рабочие требуют хлеба... Настроение масс угрожающее... На почве голода неминуема не только полная остановка промышленных работ, но и эксцессы и разгромы, которые парализуют надолго всю промышленность. Промедление решительными мерами грозит огромными бедствиями...“

К сентябрю положение еще более ухудшается: хлебный рацион сокращен, твердые цены увеличены, подвоз почти прекратился. В широких массах, и рабочих и мелко-буржуазных, создается крайне нервное настроение и благоприятная почва для эксцессов. Хроника за август и сентябрь месяцы пестрит этими эксцессами: разгром продовольственного комитета в Ленкоране (5/ви);

беспорядки на продовольственной почве и насилия, устроенные толпой над членом продовольственного комитета в Сабунчах (18/viii), многотысячные митинги мусульман у зданий губернской и городской продов. управ (11 и 12/ix), угроза стачкой в Балаханах (10/x)...

Продовольственные органы и Исп. К-т Советов опубликовывают воззвания за воззванием с призывами к спокойствию, поддержке демократических продовольственных учреждений. Устраиваются многочисленные митинги по вопросу о сокращении хлебного рациона. Везде на митингах принимаются резолюции о необходимости этого сокращения, а через несколько дней толпы народа снова осаждают здания продовольственных органов с требованиями выдачи хлеба и повышения рационов.

Правительственные и демократические органы мечутся в бессилии в поисках выхода из положения, становясь объектом возрастающего недовольства. Рабочие массы охватываются анархизирующими настроениями и склонны искать разрешение вопроса в крайних мерах: большую популярность приобретает в этот момент лозунг массовых обысков. В приведенной выше резолюции продовольственного совещания 16/viii мы находим включенным пункт о производстве обысков. [Тактическое значение этого мероприятия заключалось в том, чтобы „рассеять психологическую уверенность масс, будто в городе имеется большое количество продовольственных запасов“, и „предупредить возможность самочинных повальных обысков“ (явления, имевшего место в Москве и получившего в свое время отпор со стороны Московского Совета), ибо самочинных действий со стороны масс в этом направлении можно было ждать каждую минуту.

На 25/viii созывается расширенная конференция промысл.-зав. комитетов, на которой присутствуют рабочие, уполномоченные заводами на производство обысков. Заседание носит чрезвычайно бурный характер. С-ры, м-ки, дашнаки, Гуммет, Совет мусульманских общественных организаций, И. Ком-т Совета Р. Д., правление союза нефтепромышленных рабочих — все категорически высказываются против обысков, как меры, „нарушающей неприкосновенность и свободу жилищ“, „не достигающей практической цели“ и способной лишь „потворствовать низменным инстинктам масс“, „культивировать хулиганство“ и „разжигать межнациональную вражду“. Право производить обыски, по мнению представителей упомянутых организаций, принадлежит только одному Исп. Ком-ту. В то же самое время идею повальных обысков горячо отстаивают ораторы из массы. Многие из них, будучи членами партийных организаций, выражают открытое негодование политикой своих вождей и заявляют о своей готовности нарушить партийную дисциплину. Собрание не пришло ни к какому решению и постановило продолжить конференцию на 26/viii, когда была принята резолюция, предложенная Исп. Ком-том, сохранявшая за ним монопольное право на обыски, со следующими дополнениями: 1) таксировка продуктов, взятых при обысках, 2) контроль над предприятиями и товарообменом с деревней, 3) реквизиция товаров, хранящихся на пристанях и в транспортных конторах.

Коалиционистскому Исп. К-ту удалось на этот раз удержать движение в надлежащих пределах. Но не надолго.

Самую логичную событий подталкиваемые на самостоятельность и активность, рабочие массы, как наиболее подвижная и инициативная социальная группа, отнесшая на задний план отрывавшиеся от масс и становившиеся инертными общегражданские продовольственные комитеты, всё глубже втягивались в борьбу по линии продовольственного фронта и, далее, в борьбу за овладение всем фронтом экономической политики.

Лозунг „принудительного синдицирования промышленности“ и „государственного“, а затем „рабочего“ контроля над производством и торговыми предприятиями растет в своей популярности. Развязанное корниловскими днями движение создает новые переходные формы — образование в начале октября „военно-революционного контроля“ над продовольственным делом и далее в середине октября — образование „продовольственной рабочей конференции“ с представительством от районов, проф. союзов, Гор. Продов. комитета и военно-революционного контроля.

Так, выдвинутый жизнью частный конкретный вопрос ставил на очередь проблему борьбы за власть во всем ее масштабе.

VIII.

К восприятию факта корниловской контр-революции бакинская общественность оказывается уже в достаточной степени подготовленной, и неудача корниловщины лишь форсирует движение.

Тифлису опять-таки и теперь самоорганизация революционных сил далась легче; там быстрее сложились и более четко оформились типичные для данного периода органы „обороны революции“, но пролетарский Баку дал в конечном счете более глубокие социально-политические сдвиги. В Тифлисе был образован Центральный Революционный Комитет¹⁾, выполнявший функции информационного краевого центра по преимуществу, производивший ряд арестов среди генералитета и, наконец, в конце сентября ликвидированный в порядке „прекращения деятельности самочинных организаций, возникших

¹⁾ Комитет составился из президентов всех революционных общественных организаций и представителей партий: с.-д. и-ков, с.-д. б-ков, с.-рев, с.-федералистов, дашнактаканов. От Краевого Центра за подписью председателя его Гегеч-ори во все Исп. Ком-ты и Советы Кавказа была послана следующая телеграмма: „Кавказский Краевой Центр Советов Р. С. и Кр. Деп. образовал Центр. Революц. Комитет, который, стоя на страже революции, будет вести борьбу со всеми проявлениями контр-революции на Кавказе. Выражая свое доверие Врем. Правительству, Кавк. Центр. Революц. Комитет в полном согласии со всеми революционными организациями России объявляет ген. Корнилова предателем и изменником свободы и родины. Кавк. Центр. Революц. Ком-т призывает все демократические организации, все Советы, Исп. Ком-ты Р. Союз. и Крестьян. Деп., мобилизовав все свои силы, пресекая в корне все явно контр-революц. движения, спокойно выжидать дальнейших директив Кавк. Центр. Революц. Ком-та. Никаких сепаратных действий. Все действия и все важные шаги должны быть совершаемы в полном контакте с Центр. Революц. Ком-том. Установите полный контроль телеграфа“.

в дни корниловского мятежа и присвоивших себе функции органов правительственной власти или местного самоуправления"...

В Баку тотчас же по получении известий о событиях под Петроградом 28/виш было устроено экстренное закрытое совещание членов Испол. Ком-та Совета с представителями социалистических партий, вынесшее резолюцию: 1) Представителем и руководителем революционной демократии является Исполн. Ком-т Совета Р. и В. Деп., пополненный представителями по два человека от социалистических партий и от центрального бюро. 2) Исполн. Ком-т выделяет из своего состава бюро для борьбы с контр-революцией; бюро это входит в полном составе в Исполн. Ком-т общественных организаций и является высшим органом правительственной власти. 3) Сместись с тифлисским краевым центром для выяснения совместного действия и проведения общекавказской политики борьбы с контр-революцией. 4) Перед лицом контр-революции необходимо иметь теснейшее единение всех революционных сил Баку с низу до верку. 5) Пополнить состав Городской Думы представителями от Совета Р. и В. Деп. в равном числе с цензовиками".

На заседании Совета 30/виш, обсуждавшем вопрос о выступлении Корнилова, м-ки и дашнакцканы поддержали принятую ранее Испол. Ком-том резолюцию; б-ки и с-ры находили необходимым, чтобы образованный штаб борьбы с контр-революцией действовал совершенно самостоятельно, независимо от Испол. Ком-та общественных организаций. Б-ки считают одной из причин контр-революции политику большинства Советов, м-ки отстаивают необходимость не рвать с теми слоями буржуазии, которые "еще способны идти по пути революции". Продолжительные страстные прения завершились принятием большинством в 28 голоса резолюции, предложенной б-ками и с-рами.

Это был первый случай, когда в бакиском Совете победила большевистская революция, и первый случай, когда советские с-ры соединились с большевиками. Приводим эту резолюцию: "Обсудив вопрос о происходящих событиях, Совет Р. и В. Деп. заявляет, что он всемерно будет поддерживать все органы власти, которые будут вести решительную борьбу с контр-революцией, при чем указывает, что эта борьба не должна останавливаться перед такими мероприятиями, как во внутренней, так и во внешней политике, которые могут привести к разрыву с буржуазией. Совет находит нужным предложить В. Ц. И. К. при первой же возможности созвать съезд революционных органов, как Советов Р. С. и Кр. Деп., а также социалистических партий, для окончательного решения вопроса о создании авторитетной революционной власти. Что же касается местного органа борьбы с контр-революцией, Совет находит, что созданное Испол. Ком-том бюро должно действовать в вопросах борьбы с контр-революцией самостоятельно, как орган Совета Р. и В. Д., независимо от Испол. Ком-та общественных организаций. Одобрив включение в Гор. Думу представителей Совета Р. и В. Д. в половинном составе Думы, Совет указывает на необходимость немедленного осуществления этой меры".

Зашевелилось руководимое м-ками и с-рами, но стоящее ближе к массам Центр. Бюро проф. союзов, а экстренное заседание членов правлений проф.

союзов, состоявшееся 30/ви, не только было согласно с резолюцией Совета, но даже пошло дальше ее: „1)... Руководителем демократии должен явиться Исп. К-т Совета, пополненный представителями, как социалистических партий, так и Совета професс. союзов“ ... 2) „Для тесного контакта союзов с бюро по борьбе с контр-революцией собрание избирает комиссию из 12 чел. при Совете профессиональных союзов“ ... 3) „Принимаются меры экстренной организации вооруженной рабочей гвардии совместно с Советом и под руководством бюро“. 4)... ставится на очередь вопрос о переизбрании Совета Р. и В. Деп.

Естественно, что резолюция Совета от 30/ви являлась как бы вотумом недоверия данному составу Исп. К-та. Большинство 11 против 4, при 5 воздержавшихся, последний на заседании своем, состоявшемся в тот же день, постановил „в виду создавшегося положения подать в отставку“. Вопрос был поставлен на обсуждение Совета 1/ix; на этом заседании, происходившем при закрытых дверях, Совет выразил Исп. Ком-ту свое доверие; в отмену своей резолюции, принятой на предыдущем заседании, он согласился принять отклоненную тогда резолюцию Исп. К-та и в заключение выразил полное доверие Врем. Правительству.

Заколебавшееся было „единство фронта“ сохраняется.

IX.

На 12/ix в Петрограде был назначен съезд всех демократических организаций. Городу Баку предоставлено 5 мест, из коих 2 — Совету, 3 — демократической Думе. Но в виду того, что бакинская Городская Дума оказалась еще недемократизированной, Исп. Комитет Совета особым отношением предложил Гор. Думе „представителей от Думы не избирать, а предоставить это сделать Исполн. Комитету обществ. организаций“, угрожая в противном случае поднять вопрос об их отводе.

На заседании Бак. Исп. Ком-та обществ. организаций 6/ix по вопросу о посылке на съезд организованной демократии постановляется: „Принимая во внимание, что существующая Гор. Дума старого созыва не представляет собою того демократического органа самоуправления, который предусмотрен телеграммой Врем. Правительства, и что Исп. Ком-т обществ. организаций есть единственное в Баку учреждение, до новых перевыборов Думы удовлетворяющее требованиям Врем. Прав-ва, изложенным в телеграмме, — из состава Исп. Ком-та делегировать трех представителей: Белавина, Каргимазяна и Шаумяна“.

Наблюдаемые в рассматриваемый период изменения в соотношении общественных сил страны в целом всё более приближают политическое состояние ее к положению неустойчивого равновесия.

Заражаясь общими настроениями, как будто теряет равновесие даже соседний „консервативный“ Тифлис. Полученный 9/ix из Тифлиса телеграфный циркуляр за подписью председателя Врем. Кавк. Революц. Комитета Гегечкори гласил: „В связи с отставкой членов Озакома объявляется во всеобщему сведению: Врем. Кавк. Революц. Комитет Краевого Центра в эти

тяжелые дни контр-революционных выступлений в тылу и корниловского мятежа на фронте решил взять всю власть в крае в свои руки. Естественно, что Озаком должен быть реорганизован на новых началах. В комитет должны войти представители революционных и социалистических организаций. По этому вопросу революционный Комитет уже сегодня снесся с Врем. Правительством. До разрешения этого дела Врем. Правительством и до реорганизации Озакома он продолжает оставаться на своем посту в прежнем составе, и потому всем органам власти предлагается попрежнему по всем своим делам сноситься с Озакомом, памятуя, что нормальная работа всех учреждений местных органов власти не должна прерываться ни на минуту“.

В бакинском Совете с левых скамей всё громче и всё настойчивее раздаются напоминания, что „официальная политика Совета не удовлетворяет массы“, что „Совет потерял свой авторитет“, что необходимы перевыборы. Руководители советского большинства оказываются вынужденными принять вызов, делаемый им жизнью. На заседании Совета 6/ix по инициативе б-ков ставится вопрос о перевыборах, при чем фракция б-ков предлагает выработать новую систему выборов. Тогда же принимается резолюция: 1) избрать комиссию для выработки нового наказа по выборам; 2) поручить этой комиссии в срок не более одной недели выработать новый наказ по выборам; 3) впредь до новых выборов обязать районные комитеты немедленно доизбирать выбывших из Совета членов.

Наконец, на заседании Совета Р. и В. Деп. 28/ix обсуждается и принимается проект наказа о перевыборах Совета и из состава Испол. Комитета выбирается центральный избирательный комитет.

Отмеченные выше факты колебаний советского большинства являются верными показателями тех массовых политических сдвигов, какие относятся к рассматриваемому периоду. Колебания эти конкретно должны быть отнесены за счет нарушения гражданского мира в эс-эровской партии. Симптоматичным в этом отношении явилось происшедшее 10/ix заседание совета бакинской организации партии с-ров, на котором обнаружилось определенное расхождение между центром и левым крылом, при чем ни одна из предложенных резолюций не собрала абсолютного большинства.

Большевизирующаяся часть эс-эров составит, как увидим впоследствии, в новом Совете численно значительную компактную группу левых с-ров. Теперь же, организационно еще не оформившаяся, она проявляет себя в индивидуальных, анархических в отношении партийной дисциплины, выступлениях идейных своих представителей, а свою социальную базу обретает по преимуществу в деклассированных, но прогрессивно революционизируемых солдатских и особенно матросских массах.

Х.

Историческая обреченность коалиционистской тактики советского большинства явственно вырисовывается на фоне сосуществования другого, явного

порядком народившегося, но приобретшего права гражданства органа — „Рабочей Конференции“.

Созданная, как мы уже видели, в целях руководства экономической борьбой рабочего класса, она вовлекается шаг за шагом в борьбу политическую. Она конструируется теперь из пленума Совета, представителей фабрично-заводских комитетов, социалистических партий, полковых, ротных, флотских и прочих военных комитетов. К этому органу, носящему в большей, чем Совет, мере массовый характер, более тесно связанному с местами и потому более революционно настроенному, левое крыло обычно апеллирует, как к высшей, над Советом стоящей, инстанции. И апелляция эта большей частью оказывается не безуспешной.

На конференции 15/х, по докладу с.-ра Сухарцева (впоследствии левое с.-ра) о Демократическом Совещании, подавляющим большинством голосов принимается резолюция, предложенная докладчиком от имени Бакинской Военной Социалистической Объединенной Организации: „Б. В. С. О. О. находит, что только власть, пользующаяся доверием демократии, опирающаяся на демократию, может хоть отчасти устранить ту анархию и развал, которые наблюдаются в стране; что только однородная революционная власть, объединившая вокруг себя все слои демократии, может вести активную политику в вопросе о мире, может передать землю трудовому народу, установить должный контроль над промышленностью, производством, потреблением и распределением продуктов, а также поднять дух, зажечь огонь энтузиазма в стране для борьбы с внешним врагом. Коалиционное министерство по своей сущности, кроме гибели России, ничего не несет. Поэтому Б. В. С. О. О. не может его поддерживать. Организация Предпарламента, соподчиненного Коалиц. Правительству, кроме отрицательного отношения, со стороны Б. В. С. О. О. вызвать ничего не может. Конструкция Совета Республики... противоречит интересам демократии... Поддерживать такой Совет Б. В. С. О. О. не будет. Единственным правомочным органом, выражающим волю народа, Б. В. С. О. О. считает Учредительное Собрание, а до созыва его — органы Совета Р. С. и Кр. Деп., как на местах, так и в центре“.

В этой многоречивой резолюции конференция расширенного Совета впервые, как бы ощупью, подходит к лозунгу передачи власти Совету.

Это было первое слово, от которого было далеко еще до претворения его в дело. Но, сказанное во всеуслышание, слово это упало на благодарную почву, взрылленную ожесточенными схватками классовой борьбы.

Остановимся еще на минуту на основных моментах ожесточавшейся экономической борьбы, в рассматриваемом периоде достигающей своего апогея в знаменитой сентябрьской всеобщей забастовке.

XI.

Осью экономической борьбы попрежнему является коллективный договор. В результате происходящих в Петрограде совещаний сторон при участии представителей заинтересованных ведомств, центральная власть идет на

уступки нефтепромышленникам, и снова как будто создается почва для возможного соглашения.

25/виш министр труда Скобелев телеграфирует комиссару труда: „Необходимо безотлагательное окончательное редактирование и подписание коллективного договора на месте в Баку. По соглашению министра труда, министра торговли с представителями нефтепромышленников в Петрограде, одновременно с подписанием договора вводится условно принятая твердая цена на нефть. Завтра выезжает Мандельштам с текстом протокола правовой комиссии и моими заключениями“. И тогда же Совет Труда на заседании 25/виш постановляет: „Для ускорения работ по окончательной выработке коллективного договора предложить согласительной комиссии немедленно приняться за окончательное его редактирование“.

Однако согласительные попытки на месте, в Баку, снова разбиваются об упорство предпринимателей, выставивших ряд новых возражений и уклонившихся от подписания договора.

Проходит две недели — договор остается неподписанным. 9/ix опять созывается конференция промышленно-заводских комитетов для обсуждения неразрешенного доселе вопроса. В речах представителей левой, волнующий рабочих экономический вопрос получает недвусмысленное политическое освещение: „Прежняя соглашательская тактика, — говорит Джапаридзе, — не разрешила ни одного вопроса в стране, не разрешит она и коллективного договора. Необходимо в центре и на местах передать всю власть советам, чтобы покончить с вопросами, выдвинутыми революцией, в том числе и с коллективным договором...“ И конференция снова постановляет: „предоставить согласительной комиссии пятидневный срок для окончательного ответа — принимается ли предпринимателями коллективный договор“¹⁾.

Проходит еще неделя. Конференция пром.-зав. комитетов, заседавшая 16/ix, застаёт вопрос в том же состоянии. Она повторно выносит постановление, что согласительная комиссия должна продолжать переговоры с нефтепромышленниками и закончить переговоры в течение пяти дней от 17/ix.

Созываемая на 18/ix конференция объявляет свои заседания непрерывными и постановляет: 1) „в случае неудовлетворения требований согласительной комиссии объявить забастовку“; 2) „впредь до выяснения вопроса, всем бастующим приступить 19/ix к работам“.

Работы конференции принимают напряженный, страстный, боевой характер. Заседание конференции 21/ix, на которой присутствуют 502 делегата от районов, а также члены Исп. К-та и Совета Р. Д., Совета труда, профес. союзов, представители социалистических партий и Военная Секция Совета, выносит постановление: немедленно послать делегацию на происходящее сегодня заседание промышленников с категорическим заявлением о том, что выставленные комиссией по переговорам от рабочих требования являются

¹⁾ На том же заседании конференция постановила предложить рабочим Об-ва „Зафатема“, где назревала забастовка в связи с невыплатой аванса, „не прибегать к забастовке, дабы не разбивать общих рядов, и выжидать общего решения вопроса“.

действительно ультимативными, неудовлетворение которых неминуемо повлечет за собой всеобщую забастовку, вся ответственность за которую падает всецело на предпринимателей; 2) обратиться со срочной телеграммой в Петроград; 3) просить комиссара труда Ис. Рамишвили сделать соответствующее сообщение в Тифлис; 4) объявить конференцию стачечным комитетом; 5) члены конференции делают утром 22-го доклады на местах, организуют местные стачечные комитеты, организуется охрана промыслов и производится учет топлива; 6) в 1 час дня 22-го созывается конференция для ознакомления с окончательным ответом предпринимателей и решения о начале забастовки; 7) в 6 час. 22-го устраиваются собрания на местах для сообщений о решениях забастовочного комитета; 8) конференция призывает всех рабочих приступить к забастовке не иначе, как по призыву стачечного комитета и в назначенный им срок.

22/ix конференция заседает уже в качестве Стачечного Комитета. Заседание должно иметь решающее значение. Оно отличается исключительным многолюдством: присутствуют 681 делегат от районов, члены Совета Р. Д., представители всех рабочих и военных организаций, представители партий, — всего около 800 человек. Докладчики с мест заявляют о повсеместном присоединении рабочих к резолюции о забастовке. Против забастовки высказываются представители армии. К этому же моменту приходит ответ промышленников. Представитель согласительной комиссии заявляет, что ответ предпринимателей не удовлетворяет рабочей стороны: они понижают предложенный минимум заработной платы, устанавливают большую разницу между окладами квалифицированных и неквалифицированных групп, выделяют в особую группу канторских служащих и, наконец, совершенно не признают права заводских комиссий над приемом и увольнением. Представители рабочих высказываются категорически за забастовку. За забастовку высказывается Мандельштам от имени Исп. Ком-та Совета. Рамишвили также осуждает ответ предпринимателей. Постатейное обсуждение проекта коллективного договора в редакции нефтепромышленников отклоняется и подавляющим большинством против 17 при 65 воздержавшихся постановляется: „переговоров не продолжать, считая их исчерпанными, и объявить забастовку“. Начало забастовки назначается на 27/ix.

Избранная исполнительная комиссия по организации и проведению забастовки должна начать работы со следующего дня. Принимаются постановления: об объявлении изменниками рабочего дела всех, кто начнет или кончит забастовку раньше срока; о соблюдении порядка, спокойствия, дисциплины; о непрекращении работ в предприятиях, работающих на оборону и на водопроводе, нефтепроводе, электрических станциях, в больницах, аптеках, на железных дорогах, почте, телеграфе, мельницах. Постановляется продолжать во время забастовки перевоз из Баку во все города, в армию и во флот нефти и нефтяных продуктов. Словом, делается всё, чтобы придать выступлению максимально организованный облик и выдержать его в строгих тонах экономической забастовки.

В виду того, что на заседании конференции 22/ix эсерствующие представители армии высказывались против забастовки, Исп. Ком-т Совета публикует обращение к бакинскому гарнизону и всей демократии с призывом поддержать стачку. В силу этого 24/ix происходит заседание Военной Секции Совета совместно с полковыми, ротными и флотскими комитетами, посвященное вопросу об отношении к забастовке. Собрание приходит к заключению, что 1) „все доступные рабочим мирные средства исчерпаны и рабочие вынуждены к забастовке“, что 2) „вся ответственность за забастовку падает на предпринимателей“, и постановляет „предоставить в распоряжение Стаечного Комитета все силы гарнизона“.

Аналогичную же резолюцию выносит 25/ix собрание всех правлений профессиональных союзов, где особенно сильны были коалиционистские элементы (присутствовало 150 чел. от 30 союзов): „Признавая при настоящих общегосударственных и местных условиях забастовку бакинских рабочих нецелесообразной и несвоевременной и находя в то же время невозможным предотвратить ее, собрание... считает необходимым... принять следующие положения: 1) недопустимы террористические выступления; 2) недопустимы разгромы промышленного и заводского имущества; 3) необходимы дежурства при продовольственных комитетах; 4) необходима агитация за полное подчинение бастующих постановлениям стачечного комитета; 5) необходима агитация среди рабочих тех предприятий, кои не должны бастовать; 6) необходимо наблюдение за правильным вывозом нефти; 7) членов союза, не подчиняющихся этой резолюции, исключать из союза; 8) произвести отчисления однодневного заработка“.

Сочувственное отношение к забастовке обеспечивается, таким образом, со стороны всего демократического фронта. Но еще делаются последние попытки примирения. Избранная на конференции бакинского гарнизона 24/ix военная делегация на следующий день посещает Совет съезда. Нефтепромышленники заявляют делегатам о своем желании продолжать переговоры. Когда однако на следующий день из Петрограда от министра труда получается телеграфное предложение согласиться на текст коллективного договора в редакции Скобелева, и Стаечный Комитет вновь постановляет обратиться к нефтепромышленникам через комиссара труда за их последним ответом на ультимативные требования, — промышленники, оставляя вопрос стачкома без формального ответа, фактически отвечают на него посылкой в Петроград телеграммы следующего содержания: „Несмотря на то, что нефтепромышленники и подсобные предприятия пошли на самые крайние экономические уступки, ... рабочие, не приняв договора, объявили всеобщую забастовку...“

В полном сознании роковых последствий этой, неимеющей никаких серьезных причин, забастовки, собрание нефтепромышленников снимает с себя всякую ответственность за последствия... При этом сообщаем, что в вопросах правовых промышленники придерживаются изданного в августе министром труда циркуляра, каковой рабочие отвергают...”

Прибывший в связи со стачкой в Баку и выступающий на заседании стачечной конференции 26/ix Гегечкори, указывая на опасность забастовки, обещает от имени Краевого Совета Р. С. и К. Д. вмешательство центральных революционных организаций. В то же время Бекзадян от имени Краевого Совета Кавказской Армии убеждает рабочую сторону возобновить переговоры. Революционизированный всеми предшествующими событиями в достаточной степени, знакомый с опытом вмешательства центральной власти, на опыте же убедившийся в бесплодности переговоров, Баку не поддается увещаниям коалистически настроенного Тифлиса. Собранием принимается резолюция: „Конференция еще раз подтверждает, что бакинские рабочие принуждены были прибегнуть к единственному крайнему средству — к забастовке. Забастовка объявлена, и необходимо принимать все меры, чтобы завтра, в 7 ч. утра, она началась организованно. При первом серьезном намерении промышленников пойти на уступки и вступить в переговоры с представителями Стаечного Комитета, поручается последнему совместно с представителями Краевого Совета вступить в переговоры... Конференция обращается к представителям Краевого Центра и ко всем революционным организациям и партиям, чтобы они оказали воздействие на промышленников, преступным упорством и неуступчивостью которых вызвана эта забастовка“.

Далее принимается постановление об организации охраны промыслов: заводские комиссии формируют рабочую милицию, которая входит в связь с начальниками милиции; устанавливаются дежурства, посты, обходы; для охраны промыслов и города дополнительно привлекаются воинские силы.

27/ix в 8 час. утра, согласно выработанного Стаечным Ком-том плана, началась забастовка. В промысловых районах жизнь замерла совершенно.

„В течение всего дня порядок нигде не нарушался, — гласит бюллетень Стаечного Комитета. — Учрежден бдительный надзор и охрана. Воинские силы гарнизона привлечены к охране промыслов“. Центральным Стаечным Комитетом публикуются: 1) воззвание к рабочим с призывом к дисциплине и организованности; 2) воззвание ко всему населению Баку с призывом к спокойствию; 3) разъяснение о значении стачки и тактической линии стачечников; 4) перечень предприятий, в которых работа не прерывается; 5) инструкция стачечным организациям (в пункте 13-м этой инструкции значится: „конференция заводско-промысловых комиссий реорганизуется следующим образом: а) все мелкие предприятия, в которых число рабочих не превышает 100 чел., — выбирают по одному делегату; б) все остальные предприятия выбирают одного делегата на каждые 100 рабочих“).

Действие забастовки не замедляет сказаться тотчас же по возникновении.

На вечернем заседании Центр. Стач. Ком-та 27/ix происходит объединенное выступление пришедших в движение официальных представителей коалиционной политики. Председатель Исп. К-та общ. орг. Фролов сообщает о переговорах, которые велись с нефтепромышленниками им, Гегечкори, Бекзадяном и Рамисвили: промышленники отказываются уступать в вопросе о правах заводских комиссий, в вопросах же экономических идти на уступки

согласны. В то же время Гегечкори обещает разрешить правовой вопрос декретом краевой власти.

Заседание постановляет: 1) поднять перед краевой властью вопрос о проведении правовой части договора декретом; 2) поручить особой комиссии, избираемой Стаечным Комитетом, вести переговоры с нефтепромышленниками по остальным вопросам экономического характера; 3) считать predetermined, что, если бы нефть-ки и пошли на уступки по всем пунктам экономической части договора, все-таки договор не может быть подписан и забастовка прекращена, пока не будут разрешены вопросы правовой стороны договора.

28/ix — второй день забастовки. Ц. Стач. Ком-том конструируется президиум: председатель — Джапаридзе (один из лидеров бакинских б-ков), тов. пред. — Васин (с.-р.) и Чураев (м-к), казначей — Рабинович, секретари — Маневич, Беккер, Давит. Центральный Стач. Ком-т публикует: 1) информационные сообщения о ходе забастовки; 2) обязательное постановление (совместно с Исп. К-том Совета) о воспрещении продажи вина и появления в нетрезвом виде, о закрытии кафе-штанов; 3) постановление о привлечении инженеров и техников к охране промыслов и заводов; 4) правила о средствах передвижения во время забастовки; 5) постановление об отмене митингов.

29/ix — третий день забастовки. Ц. Стач. Ком-т публикует краткое обращение к рабочим с призывом к организованности и предостережение от провокации. Он проводит ряд мероприятий по борьбе с хвостами, по выдаче рабочим жалованья, учету нефти. В дружное организованное течение забастовки некоторый диссонанс вносит только выступление Совета проф. союзов, издающего постановление всем проф. союзам и зав. комиссиям об обязательной санкции стачечных выступлений Советом проф. союзов.

30/ix, в четвертый день забастовки, на заседании Ц. Стач. Ком-та вырабатывается окончательная формулировка правовых требований. Докладчики с мест констатируют факт исключительной выдержки и дисциплины, проявляемых бастующими. Чтобы парализовать дезорганизующее влияние выступления Совета проф. союзов, постановляется: „все постановления Центр. Стач. Комитета могут быть опротестованы только на стачечной конференции“. В этот день приходит известие о том, что предприниматели выразили согласие на уступки в экономической области, но требуют прекращения стачки 2-го октября.

Наступает пятый день забастовки. На заседании Стаечной Конференции 1/х из доклада о дальнейших переговорах выясняется, что в значительной части экономических требований, в главных пунктах, промышленники уступили. Рабочая сторона также идет на уступки, исключая из договора вопросы о рабочих поселках, образовании, страховании. По обоюдному соглашению правовые вопросы коллективного договора передаются на разрешение краевой власти.

2/х делегация от стачечной конференции продолжает дальнейшие переговоры с промышленниками, которые подписывают предварительные условия договора.

Центр. Стач. Ком-т „поздравляет бакинский пролетариат с победой и блестящей организацией при проведении 6-ти дневной забастовки... и доводит до всеобщего сведения, что по постановлению стачечной конференции забастовка объявляется прекращенной с 12 ч. дня 8/х“.

ХП.

Хотя правовые вопросы коллектива остались неразрешенными, хотя значение экономических достижений умалчалось непрекращающимся ростом дороговизны (установленный коллективом коэффициент вздорожания в 4,6 оказывался устаревшим к данному моменту, требовавшему нового повышения его до 7,6), однако общественно-политическое значение забастовочной кампании было неоспоримо: фактом принятия коллективного договора достигалось объединение рабочих, уравнивание условий труда, создавалась правовая и экономическая база для дальнейшей борьбы; бакинский пролетариат обнаружил организованность и реальную силу, он обогатился новым опытом борьбы и убедился в силе своей организованности; в его рядах осталось мощное орудие в лице постоянного органа — конференции фабрично-заводских комиссий. Забастовка, наконец, ускорила процесс изживания пролетариатом принципов коалиционной тактики, по целому ряду конкретных вопросов ставившая органы рабочей демократии с органами демократии коалиционной, приводя к различным случаям смещения функций, столбновения компетенций.

С „классовой“ точкой зрения Совета Р. Д. и конференции на забастовку не могла мириться „государственная“ точка зрения Исп. Комитета общ. организаций. И обратно: на заседании И. К. О. О. 6/х представители рабочих резко обвиняют председателя Ком-та В. И. Фролова в переходе на сторону пензовиков. Пропасть между двумя крыльями демократии углубляется. Отставка Фролова, являвшегося как бы связующим звеном между этими крыльями, символизирует начало конца гражданского единения.

Дальнейшие перипетии с судьбами вопроса о правовых требованиях, непосредственно по окончании стачки переданного на разрешение краевой власти, должны были содействовать лишь большему укреплению в рабочих массах антикоалиционистских тенденций. В течение целой недели Озаком не дает вопросу движения. На конференции пром.-зав. комиссий, происходившей 8/х, выносятся постановления: 1) „протестовать против действий Озакома...“ 2) „не распускать стачечных организаций...“ 3) „предоставить Озакому недельный срок для обнародования правовых требований...“ 4) „делегировать в Тифлис двух представителей, поручив им передать решения рабочей стороны и настаивать на скорейшем разрешении вопроса“.

Озаком однако уклоняется от его разрешения и, ссылаясь на недостаточность своей компетенции, 10/х объявляет о передаче вопроса на разрешение Врем. Правительства...

А. Попов.

(Продолжение следует).

К 75-летию „Коммунистического Манифеста“.

Мы воспроизводим факсимиле предисловия, написанного К. Марксом и Фр. Энгельсом, к русскому изданию „Коммунистического манифеста“, вышедшему в 1882 г. (перевод Г. В. Плеханова). Это предисловие целиком воспроизведено Фр. Энгельсом в предисловии к немецкому изданию 1890 г. Но Энгельс не имел под рукой немецкого подлинника и должен был сделать с русского перевода новый перевод на немецкий язык. „К сожалению,—пишет он,—рукопись немецкого подлинника затерялась, и мне приходится переводить с русского, от чего, конечно, дело мало выигрывает“. (К. Маркс и Фр. Энгельс, Коммунистический манифест. С введением и примечаниями Д. Рязанова. 2-ое изд. М. 1923 г., стр. 50).

Рукопись, которую мы воспроизводим факсимиле,—как раз та самая, которую Фр. Энгельс считал утерянной. Никаких существенных изменений в текст ни русским переводом, ни вторичным Энгельсовским не внесено, если не считать пропуска слов „namentlich Englands“, вкравшегося еще в русский перевод.

Русский перевод предисловия заимствован из первого издания „Коммунистического манифеста“.

Die erste russische Ausgabe des „Manifestes der Kommunistischen Partei“ übersetzt von Bakunin, erschien Anfangs der sechzigten Jahre in der Druckerei des „Kolokol“. Der Westen konnte damals in ihr (der russischen Ausgabe des Manifests) ¹⁾ nur ein literarisches Kuriosum sehen. Solche Auffassung wäre heute unmöglich.

Welch beschränktes Gebiet damals (Dec. 1847) die proletarische Bewegung noch einnahm, zeigt am klarsten das Schlusskapitel des Manifests: Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen Oppositionsparteien in den verschiedenen Ländern. Hier fehlen nämlich grade—Russland und die Vereinigten Staaten. Es war die Zeit wo Russland die letzte grosse Reserve der europäischen Gesamt-Reaction bildete; wo die Vereinigten Staaten die proletarische Überkraft Europa's durch Einwanderung absorbirten. Beide Länder versorgten Europa mit Rohproducten und waren zugleich Absatzmärkte seiner Industrieerzeugnisse. Beide Länder waren damals also, in dieser oder jener Weise, Säulen der bestehenden europäischen Ordnung.

¹⁾ Слова в скобках вписаны рукою К. Маркса.

Wie ganz anders heute! Grade die europäische Einwanderung befähigte Nordamerika zu einer riesigen Ackerbauproduction, deren Konkurrenz das europäische Grundeigenthum—grosses wie kleines—in seinen Grundfesten erschüttert. Sie erlaubte zu den Vereinigten Staaten, ihre ungeheuren Industriellen, Hilfsquellen mit einer Energie und auf einer Stufenleiter auszubeuten, die das bisherige industrielle Monopol Westeuropas und namentlich Englands binnen kurzem brechen muss. Beide Umstände wirken revolutionär auf Amerika selbst zurück. Das kleinere und mittlere Grundeigenthum der Farmers, die Basis der ganzen politischen Verfassung, erliegt nach und nach der Konkurrenz den Riesenfarmen; in den Industriebezirken entwickelt sich gleichzeitig zum ersten Mal ein massenhaftes Proletariat und eine fabelhafte Konzentration der Kapitalien.

Und nun Russland! Während der Revolution von 1848—49 fanden nicht nur die europäischen Fürsten, auch die europäischen Bourgeois in der Russischen Einmischung die einzige Rettung vor dem eben erst erwachenden Proletariat. Der Zar wurde als Chef der europäischen Reaktion proklamirt. Heute ist er Kriegsgefangener der Revolution in Gatschina und Russland bildet die Vorhut der revolutionären Aktion von Europa.

Das Kommunistische Manifest hatte zur Aufgabe die unvermeidlich bevorstehende Auflösung des modernen bürgerlichen Eigenthums zu proklamiren. In Russland aber finden wir, gegenüber rasch aufblühenden kapitalistischen Schwindel und sich eben erst entwickelnden bürgerlichen Grundeigenthums, die grössere Hälfte des Bodens im Gemeinbesitz der Bauern. Es fragt sich nun: kann die russische Obschtschina, eine wenn auch stark untergrabene Form des uralten Gemeinbesitzes am Boden, unmittelbar in die höhere des kommunistischen Gemeinbesitzes übergehen? Oder muss sie umgekehrt vorher denselben Auflösungsprozess durchlaufen der die geschichtliche Entwicklung des Westens ausmacht?

Die einzige Antwort hierauf, die heutzutage möglich, ist die: Wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen, so dass beide einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeineigenthum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen.

London. 21 Januar 1882.

Karl Marx. F. Engels.

Первое русское издание „Манифеста коммунистической партии“, в переводе Бакунина, появилось в начале шестидесятых годов, в типографии „Колокола“. В то время русское издание манифеста могло казаться на Западе не более, как литературным курьезом. В настоящее время такой взгляд был бы уже невозможен. До какой степени ограниченную область распространения имело, в период первого появления манифеста (декабрь 1847 г.), движение пролетариата, лучше всего показывает последняя его глава: „Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям в различных странах“.

also, in dieser oder jener Weise, Säulen
der bestehenden europäischen Ordnung

Wie ganz anders heute! Gerade die eu-
ropäische Existenz befähigte Nordame-
rika zu einer riesigen Ackerbauproduktion,
deren Konkurrenz das europäische Grund-
eigentum - großes wie kleines - in seinen
Grundfesten erschüttert. Die erlaubte zudem
den Vereinigten Staaten, ihre ungeheuren inter-
nationalen Hilfsgewalten mit einer Energie &
auf einem stupendesten Ausgabebudget, die
das bisherige industrielle Monopol Westeuropas
& namentlich Englands binnen Kurzem brechen
& neues Reiches Umwälzungen revolutionär
auf Amerika selbst zurück. Das kleinere & mit
seiner Grundeigentum der Farmers, die Basis
der ganzen politischen Verfassung, erleidet
nach & nach der Konkurrenz der Riesengiganten
zunehmend entvölkert, in den Industriebezirken
entvölkert, sich gleichzeitig zum ersten Mal
ein massenhaftes Proletariat & eine fühl-
hafte Konzentration der Kapitalien.

Nach nun Russland! Während des Revolu-
tion von 1848-49 fanden nicht nur die

europäischen Fürsten, auch die europäischen
Kongresse in denen der russische Einmi-
ßung die einzige Richtung vordem stand
erst unerkunden Polster. Der Zar wurde
als Chef der europäischen Reaktion problem.
Nur ist er. Kriegsführen der Revolution
in Ostasien, und Russland bildet die Vor-
kurt der revolutionären Aktion von Europa.

Das kommunistische Manifest hatte zwei
Aufgabe, die besonderen die unvermeidlich
Auflösung des modernen bürgerlichen Eigen-
tums zu proklamieren. In Russland aber
finden wir, gegenüber nach aufstrebendem Re-
faktionistischem Abschied und sich eben nach
entwickeltem bürgerlichen Grundeigentum,
die große Masse der Bodenbesitzer
besitz der Bauern. Es fragt sich nun: Kann
die russische Obdachlose, eine von auch
dort untergrabene Form des uralten Gemein-
besitzes am Boden, unmittelbar in die Hände
des kommunistischen Gemeinbesitzes übergehen?
Oder muss die umgekehrt damit vorher der
selben Auflösungsprozess durchlaufen den
die geschichtliche Entwicklung der Welt
ausmacht.?

Die einzige Antwort hierauf, die sich
heutzutage möglich, ist die: Wird die russische
Revolution das Signal einer proletarischen Re-
volution in Westen, dann der Erfolg des
~~russischen Gemeineigentums~~
~~russischen Landes~~ sodass beide einander
ergänzen, so kann das jetzige russische
Gemeineigentum am Boden zum Ausgangs-
punkt einer kommunistischen Entwicklung
dienen. -

London 21. Januar 1892

Karl Marx & Engels.

В ней недостает именно России и Соединенных Штатов. Это было время, когда Россия являлась последним большим резервом всей европейской реакции. Эмиграция в Соединенные Штаты поглощала излишек сил европейского пролетариата. Обе эти страны снабжали Европу сырьем и служили в то же время рынком для сбыта ее промышленных произведений. Обе они являлись, следовательно, так или иначе, оплотом общественного строя Европы.

До какой степени изменилось это теперь! Именно европейская эмиграция способствовала колоссальному развитию земледелия в Северной Америке, которое, своей конкуренцией, колеблет крупное и мелкое европейское землевладение в самых его основаниях. Она дала, кроме того, Соединенным Штатам возможность взяться за эксплуатацию их богатых источников промышленного развития в таких размерах и с такою энергией, которые в короткое время должны положить конец промышленной монополии Западной Европы. Оба эти обстоятельства воздействуют, в революционном смысле, и на Америку. Мелкая и средняя поземельная собственность фермеров, основа всего ее политического строя, побеждается мало по малу конкуренцией громадных ферм; в то же время в промышленных округах впервые развивается многочисленный пролетариат и баснословная концентрация капиталов.

Перейдем к России. В период революции 1848—49 года не только европейские монархи, но и европейские буржуа находили в русском вмешательстве единственное спасение против только-что собравшегося с силами пролетариата. Царя провозгласили главою европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе.

Задачей Коммунистического манифеста было провозгласить неизбежно-предстоящее разложение современной буржуазной собственности. Но, рядом с быстро развивающейся капиталистической горючей и только теперь образующейся буржуазной поземельной собственностью, мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян.

Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного коллективного владения землею — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму землевладения? Или, напротив, она должна пройти сначала тот же процесс разложения, который определил собою историческое развитие Запада?

Единственный, возможный в настоящее время, ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития.

Карл Маркс. Фридрих Энгельс.

Лондон, 21 Января 1882 г.

По поводу воспоминаний И. И. Майнова.

В № 20 журнала „Былое“ за 1922 г. И. И. Майнов посвятил особую главу своих воспоминаний, печатающихся под общим заглавием „На закате народовольтчества“, — Якутской истории 22 марта 1889 г.

Более 30-ти лет прошло со времени этого памятного трагического дня — период достаточный, чтобы отнестись с возможной объективностью к разывшимся тогда кровавым событиям и к трагической судьбе многих ее участников.

Этому требованию, к сожалению, И. И. Майнов далеко не удовлетворяет. Мы, конечно, не забываем, что очерки Майнова, написанные живо, даже слишком живо, почти фельетонно, сказали бы мы, принадлежат к тому роду самой по себе очень ценной и интересной, мемуарной литературы, к авторам которых не приходится предъявлять тех строгих требований, с какими обыкновенно подходят к холодным летописцам, бесстрастно регистрирующим и исследующим события той или иной эпохи. Наоборот, тот отпечаток субъективизма, чисто личных переживаний, который лежит на такого рода писаниях авторов, бывших, подобно И. И. Майнову, деятельными участниками изображаемых исторических эпох, придает этой литературе особую ценность и жизненность „человеческого документа“, имеющего немаловажное историческое значение для ознакомления с характером эпохи, о которой она повествует.

Казалось бы, что уже самое заглавие очерков: „На закате народовольтчества“ обязывало автора, старого революционера, хотя и не принимавшего непосредственного участия в мартовской истории, к более историчному, так сказать, подходу к описываемым им событиям, к более осмысленной их оценке, в определенной исторической перспективе и в связи с общей политической и революционной обстановкой тогдашней России.

Вторая половина и особенно конец 1880-х годов были действительно временем „заката народовольтчества“, упадка старого революционного движения, на смену которому не появились еще нарождавшиеся только тогда новые силы русской революции в форме широкого организованного движения. Живые же обломки прежних разбитых революционных организаций, хранивших традиции народовольтчества в эти мрачные годы реакции, находились в плену у правительства и целыми партиями одна за другою сплавлялись в Западную и Восточную Сибирь.

К 1888—1889 г. г. в Якутске скопилось значительное число изгнанных из жизни молодых революционеров. Среди них находились и будущие

участники Якутской трагедии. Большинство из них были предназначены к ссылке в Верхоянск и Средне-Колымск. Путешествие в эти отдаленнейшие пустынные места Якутской области было сопряжено с невероятными трудностями и лишениями. Между тем, вступивший как раз в это время в исполнение обязанностей якутского губернатора Осташкин отменил прежний льготный порядок, допускавшийся в виду невероятных трудностей путешествия для ссылаемых в Колымск и Верхоянск. Переговоры ссыльных с губернатором, настаивавших на сохранении прежнего порядка, ни к чему не привели. Товарищи, хорошо знакомые с условиями переезда из Якутска в Колымск, уверили, что новые правила, установленные Осташкиным, грозили ссыльным серьезной опасностью не только их здоровью, но и жизни. После долгих совещаний группа ссыльных, предназначенная к ссылке в Колымск, решила не подчиняться новым распоряжениям якутского губернатора и, в случае применения к ним насильственных мер, оказать вооруженный отпор. Была ли однако самозащита единственным мотивом этого героического решения? Нет. Уже на предварительных совещаниях ссыльных непосредственно интересовавший их вопрос был перенесен в общеполитическую плоскость. Для ссыльных было очевидно, что новая политика якутской администрации была лишь частным проявлением общей системы репрессий центрального правительства, и, останавливаясь на решении оказать вооруженное сопротивление, революционеры оценивали его не только как акт самозащиты, но и как серьезный революционный акт принципиального значения. Они горячо верили, что их вооруженный протест даст толчок ослабленным революционным организациям в России, поднимет революционный энтузиазм в расстроенных рядах борцов, заставит их вновь сплотиться и с удвоенной силой возобновить натиск на крепость самодержавия. Помимо того, ссыльные были убеждены, что их выступление громким эхом разнесется по отдаленным концам всего мира и вызовет новый взрыв негодования против самодержавия не только в широких кругах русского общества, но и в европейском общественном мнении. И надо признать, что эти ожидания молодых энтузиастов, в известной мере, оправдались, хотя за это им и пришлось заплатить дороною ценой.

Таковы в немногих словах ближайшие новоды и мотивы разыгравшейся 22 марта 1889 года в Якутске трагедии.

Между тем в исследовании и оценке событий и в характеристике группы участников мартовской истории И. И. Майнов подходит к делу несколько по-обывательски или, в лучшем случае, как профессиональный следователь, для которого важнее всего установить „зачинщиков“, „поспособников“ и просто участников. Такого рода подход неизбежно должен был привести автора воспоминаний к совершенно неправильному освещению событий, глубоко неправильной их оценке и даже к прямо неверному изложению фактов, явившемуся, вероятно, в результате недостаточной его осведомленности.

„В кругу колымчан, — пишет И. И. Майнов, — более всего волновались и ужасались (перед опасностью предстоявшего пути в Колымск) именно те скромные обитатели каких-то юго-западных городков, которых Департаменту

полиции пришла охота сделать козлами отпущения за грехи саратовцев и тамбовцев. Проводя теплые южные вечера под акациями своих городских бульварчиков, ну, думали они разве о головоломных спусках на оленьей нарте с какого-то Верхоянского хребта, о двухмесячном пути в тундре, о ночлегах в поварнях... и о том, главное, что всё это предстоит проделывать вот именно им, ему, Самуилу, и ей, Сонечке, свекшшимся кто с милым Почепом, кто с тихими Прилуками, а кто и с великолепным Елисаветградом?..“ (стр. 153 — 154).

Приведенная нами выписка, может быть, и делает честь художественному вымыслу автора, может быть, и способствует фельетонному оживлению его повествования, но ничего общего с действительностью не имеет.

Из 83-х участников „мартовской истории“, частью расстрелянных и повешенных, частью осужденных военным судом, 19 были студенты и студентки высших учебных заведений (московских, петербургских, харьковских), один получил образование на двух факультетах (Гаусман), один закончил университетское образование со степенью кандидата (Брамсон), трое окончили гимназии и получили среднее медицинское образование, остальные восемь с гимназическим или домашним образованием, из коих трое не достигли еще совершеннолетия.

Таким образом, если бы в числе участников мартовской истории даже и были уроженцы „миллого Почепа“ и „тихих Прилук“, то, очевидно, не „под акациями их городских бульварчиков“ складывался их духовный облик революционных борцов, а в напряженной атмосфере тех центров умственной и политической жизни, какими всегда являлись при старом режиме наши столицы и другие крупные университетские города. В огромном большинстве это были типичные представители революционной учащейся молодежи, в той или иной мере идейно связанные с традициями Народной Воли и занимавшиеся практической работой в различных подпольных организациях.

Продолжая свою характеристику еврейской революционной молодежи, специально направлявшейся в Якутск, И. И. Майнов вскоре оставляет тон беллетриста и начинает говорить уже в тоне сурового судьи. Считая чуть ли не главным „зачинщиком“ кровавых событий 22 марта С. А. Пика, автор воспоминаний заявляет, что последний пользовался некоторым авторитетом среди „лиц наиболее юных и наиболее далеких от действительной прикосновенности к революционному движению русского общества. На таких, — поясняет автор, — самый арест, тюрьма, допросы, а затем неожиданный приговор — административная высылка года на четыре в западную Сибирь подействовали оглушающим образом“ (стр. 157).

Мы не знаем, о ком собственно здесь говорит автор. Но если все эти разглагольствования направлены против участников Якутской истории, то, как уже видно хотя бы из приведенных нами выше статистических данных, они совершенно извращают истинный их облик. Но автор, очевидно, имеет в виду именно участников истории 22 марта, и потому мы, товарищи так трагически погибших дорогих и близких нам людей, считаем своим долгом самым энергичным образом протестовать против этой вопиюще несправедливой характеристики.

Не будем останавливаться на других заявлениях автора воспоминаний, вызывающих возражения и принципиального характера, как, например, его аргументация против предложения Пика о выражении русскими товарищами публичного протеста против применения правительством исключительных мер репрессии к политическим ссыльным еврейского происхождения. Можно было, конечно, оспаривать форму, предложенную Пиком для выражения этого протеста; по существу же, самое предложение нельзя было не признать предметом, во всяком случае заслуживающим серьезного внимания и обсуждения. Но возражения, приводимые И. И. Майновым против предложения Пика, столь неожиданны, что они были бы более уместны в устах завязатого обывателя, чем под пером старого революционера.

Повторяем, все неудачные и прямо неверные характеристики и в общем совершенно неправильное освещение событий 22 марта в воспоминаниях И. И. Майнова явились неотвратимым последствием крайне неудачного подхода к вопросу, а отчасти и далеко неточной информации о действительно происходившем в день 22 марта и на совещаниях, ему предшествовавших.

Выше мы упомянули о фактических неточностях, допущенных автором воспоминаний. Указанием на некоторые из них мы и закончим нашу заметку.

1) Муханов, хотя действительно и был против вооруженного сопротивления, но со сторонниками последнего не мог вести борьбы и в город прибыли лишь утром 22 марта, когда дело уже шло к роковой развязке.

2) Софья Гуревич не гналась за солдатами с револьвером в руке. Она в самом же начале, когда раздалась команда: „Вернись“, была растерзана штыками.

3) Л. М. Коган-Бернштейн не стрелял. Он был ранен в самом начале столкновения с солдатами и не оставался лежать на полу в комнате, где это столкновение произошло, а был перенесен некоторыми товарищами в другую комнату и никаких речей не произносил.

М. Брагинский.

П. И. Перли-Брагинская.

М. В. Брамсон.

Н. О. Коган-Бернштейн.

Н. М. Терешкович.

Е. Я. Фрейфель-Гуревич.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

С. Я. ШТРАЙХ. *Брожение в армии при Александре I. К столетию заговора декабристов*. Петербург. 1922. Стр. 48.

Книжка С. Я. Штрайха с некоторыми изменениями повторяет собою изданную им в столетнюю годовщину Семеновской истории книжку „Восстание Семеновского полка в 1820 г.“ Изменения состоят в устранении некоторых мест старой книжки и включении ряда новых. Первых немного и по существу они почти все незначительны. Вторых больше и они значительнее. Из них наиболее интересно использование переписки, частью неизданной, вносящее ряд черточек в понимание настроения как командного состава армии, начиная с генералов крупного иерархического положения, так и рядовой солдатской массы. Настроение этой массы характеризуют и две включенные в новую книжку песни. Эти и другие прибавки делают понятным попытку автора переиздать свою книжку, но никоим образом не оправдывают ее нового названия, ибо в книгу о брожении русской армии александровской поры она от этих прибавок не выросла. Автор, впрочем, думает иначе и даже считает свою старую книжку лишь материалом к созданию новой. Это несомненное заблуждение, которое легко понять даже при беглом ознакомлении с обеими книжками. Что же касается техники „переработки“, то она не везде удовлетворительна, — так на стр. 9 автор соединил в один абзац два, 9 же стр. старой книжки, начинающиеся словами: „Но царь косо...“ и „Отмечая, что при...“, исключив при этом две строки старого текста и одну нового; вся операция оказалась сделана столь неискусно, что средняя фраза объединенного абзаца, сложенная из двух разного содержания, страдает дефектом и грамматики и смысла.

Что же дает автор своей книжкой для понимания ее центрального момента — семеновской истории? Взгляд автора на семеновскую историю не представляется мне вполне ясным. Повидимому, он считает ее результатом встречи нового солдатства, созданного заграничными походами и развившегося под воздействием прогрессивных офицерских кружков, с жестокими правилами и еще более жестокою практикою военной дисциплины. Автор, однако, не задумывается над вопросом о происхождении и так сказать политическом смысле дисциплины эпохи после наполеоновских войн; на стр. 44 он даже обесцвечивает ее источники и содержание до „болезненного увлечения царской семьи военной муштрой“. Меж тем расцвет жестокой военной дисциплины этой поры такое же логическое последствие тяжелого внутреннего и внешнего положения государства, как и знаменитые военные поселения. Обиженная и разоренная, с лишенными искренности и напряженными отношениями к контрагентам по военным договорам, страна не могла, но была должна стоять наготове перед тяжелою опасностью нового вооруженного столкновения на западе. В стремлении не вызвать его и во всяком случае сохранить для него нерастраченными все силы страны, власть терпит унижения в своей восточной политике, не поддерживая греков в борьбе, до которой они выросли

не без побуждений с русской стороны, и даже позволяя туркам без конца тянуть исполнение бухарестского договора. Власть готовится к новым решительным столкновениям и, готовясь к ним, пытается реорганизовать армию; эта реорганизация идет по нескольким путям; я отмечаю здесь два пути: создание военных поселений, проведенное в целях государственной экономии и с несомненным стремлением иметь, при общей политической ненадежности армии, в своем распоряжении железной дисциплиной сколоченный и прекрасно военному делу обученный вооруженный кулак, и постепенное введение расшатанной войною дисциплины в общую массу русской армии, переставшей быть политически надежной. Я не касаюсь здесь вопроса о том, как русская армия утратила свою с точки зрения власти политическую надежность. Отмечу только, что ликвидация наполеоновских войн прошла обидным для армии образом, ибо власть не признала себя в силах вознаградить ее боевую службу и почти ничего не сделала ни для офицерства, ни для тем паче солдатской массы. Между тем, не говоря уже об офицерах, солдат вырос в эту беспримерную эпоху; выросли и усложнились его интересы: он сам оценил себя, как защитника родины, „освободителя Германии“ и победителя великого Наполеона, а, познав свою значительность, стал ждать и много к себе отношения. Для таких заключений в нашем распоряжении имеется совершенно достаточно материала. Но это только одно изменение в русском солдатстве в итоге наполеоновских войн. Другое заключалось в том, что дисциплина русской армии была очень сильно расшатаана войною. Сведения об этом идут с разных сторон. Именно этот упадок дисциплины и вызвал первые суровые меры к русской армии в ее целом и в частях со стороны императора Александра. В дальнейшем дело осложняется политической ненадежностью офицерства, аскового по сравнительному обилию материала, и таковою же ненадежностью солдатской массы, вскрывающеюся для исследователя в сравнительно немногих источниках, а всего पहले и яснее в отголосках солдатского ропота 20-х годов, еще не ставшего предметом изучения. Вот эта-то техническая разученность армии и утрата ею политической надежности, почувствованные властью, конечно, до того хронологического момента, с которого становятся доступными исследованию, не могли не стать предметом настоящего внимания государя и всего высшего командного состава. В качестве лекарства наметились два пути: один применительно к тому внутреннему росту солдатства, который создала война,— путь гуманных мероприятий, и другой — применительно к общему курсу внутренней политики власти,— путь жестокого внедрения дисциплины в армию, ее политического обезличения путём этого внедрения. Первый путь был очень пригоден для половины задачи — для простого восстановления былой дисциплины и фронтовых сведений, но оказывался абсолютно непригодным для той общей политической задачи, которая стояла перед властью. Поэтому, вполне приемлемый для широких офицерских кругов и некоторых генералов, этот путь оказался совершенно неприемлемым для власти и высших военных лиц и сфер.

Впрочем, его неприемлемость была ими осознана не сразу. Также постепенно завоевывал себе в этих решающих кругах безапелляционное признание второй путь; это признание шло с колебаниями и не без неровностей; и те и другие отразились, напр., в „приказах“ эпохи. Вообще неправильно думать, что этот путь — русская старина: времена расцвета русской военной славы его не знают; правда, в недавнем прошлом он торжествовал при императоре Павле, но без участия в этом торжестве лучших генералов эпохи, включая гениального Суворова; в первую же половину царствования императора Александра, среди новых великий и почти постоянных войн, он, повидимому, не имел значительного успеха. Было бы чрезвычайно важно проследить, как это усвоение второго пути властью подготавливалось ее постепенным, но неудержимо растущим разрывом с прогрессивными группами офицерства, вырисовывающим для нее, конечно, с большою выпуклостью опасность гуманных мер воссоздания армии, пропагандируемых и проводимых этими группами. На переломе этого процесса и разыгралась своеобразная по своему ходу семеновская история. Если бы автор яснее вставил ее изучение в круг событий эпохи, ее происхождение и характер точнее

определились бы для него, — ясное вместе с тем стала бы для него и роль, которую в этой истории сыграло офицерство. Она, конечно, была в первой стадии семеновской истории пассивной и, так сказать, благотворительной во второй. Недаром необычайно придирчивое и весьма длительное следствие не отыскало в ней ничего политически активного, не считая мелочей, вроде нескромных разговоров или несдержанных слов. Между тем автор, повидимому, полагает совсем иначе. Он склоняется к мысли, что семеновская история произошла не без влияния офицеров, не поясняя, впрочем, с ясностью, о каком собственно влиянии, сколь сильным и какими путями проникающем, он говорит. Доказать свое лишенное четкости мнение он не смог, ежели выходить за пределы суждений о влиянии в самом, так сказать, общем смысле слова. Далее он полагает, что во время следствия и суда над солдатами, часть семеновского офицерства удерживала связи с ними и руководительствовала ими. Особенно он останавливается на деятельности офицеров Ермакова, С. Муравьева-Апостола и Щербатова. Ни для одного из них, однако, он не привел ни одного доказательства политических связей с солдатами или, тем паче, политического руководства ими. Что в частности касается Муравьева-Апостола, то он делает непозволительно смелые утверждения на его счёт: не анализируя дела Бобровского, не верит его, Муравьева, и других лиц показаниям, что Бобровский ходил в крепость исключительно для проверки провизанта. С Муравьевым-Апостолом он поступает не в меру решительно и в другом случае: его он считает автором известной большой прокламации. Доказывает это он, в сущности, весьма неубедительно: „наличностью одинаковых оборотов и выражений, а также общностью содержания“ этой прокламации с „прокламациями 1820 года, несомненно составленными С. И. Муравьевым-Апостолом“. Конечно, это весьма неубедительное доказательство, ибо „наличность одинаковых оборотов и выражений“ и „общность содержания“ „прокламаций“ 1820 и 1825 гг. может объясняться и совершенно иначе. И С. И. Муравьев-Апостол по аргументации автора кажется не более основательно заподозренным в преступном авторстве, чем Каразин императором Александром.

В первом издании своей книжки автор подкрепил свой вывод ссылкой на В. И. Семевского. Однако сам В. И. Семевский не повторил своих суждений об авторстве С. И. Муравьева-Апостола в последнем капитальном своем труде о декабристах. Может быть, именно потому автор устранил свою ссылку на авторитетного исследователя русских политических движений? Но после статьи П. Е. Щеголева о „Катехизисе Сергея Муравьева-Апостола“ автору следовало бы совершенно отказаться от своего взгляда.

Таково центральное место книжки. Его нельзя считать удачным. „Брожение“ же в книжке отразилось немногими примерами и некоторыми общего характера замечаниями. Оставляя в стороне последние, отмечу, что примеры подобраны не вполне удачно: это осенние прокламации 1821 г., слухи, недовольство солдат или офицеров, конкретные, в большинстве мелкие, случаи неповиновения или претензий тех и других. Они рисуют армию беспокойной, но не дают ее брожения, не вскрывают его основных пружинок и идейного содержания. Картины брожения в армии книжка не дает и заглавие остается неоправданным. Очевидно, еще надо искать материал для обещанной автором картины.

Манера изложения у автора неприятная: он любит внешнюю остроту выражений и многозначительный приподнятый стиль. Однако внутренней логики и глубокого пафоса событий он остается чужд. Свои положения он охотно подтверждает ссылками и выписками, иногда громоздя их, но, в погоне за внешней красотой страниц, часто лишает читателя возможности их фактической проверки, ибо своих источников (издание, рукопись, даже фонд) он вслед за ссылкой или выпискою не указывает. Порою читатель просто стоит в недоумении, что взято скудным на указания автором у В. И. Семевского и что, действительно, плод его труда над первоисточником.

С. Чернов.

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОПАТИН. — *Автобиография. — Показания и мысли. — Стихотворения и стихотворения. — Библиография. 1846 — 1918. — Подготовил к печати А. А. Шилев. — Петроград. Гос. Издат. 1922, стр. 218.*

К этому сборнику статей и показаний Г. А. Лопатина читатель приступает с большим интересом, что и понятно, — показания на допросах, автобиография, письма, стихотворения и статьи такого человека, как Г. А. Лопатин, не могут не заинтересовать кого угодно. Но оставляет книгу читатель с некоторым разочарованием. Он много ждет от нее, имея в виду ореол, окружающий имя Г. А. Лопатина, и к своему удивлению слишком мало получает, чтобы быть удовлетворенным. Правда, невольно является мысль, что, быть может, тут собраны далеко не все произведения Г. А. Лопатина, имеющие то или иное значение, и потому сборник производит такое впечатление. Но сборник составлен Шилевым с редкой полнотой (так же как и отдел библиографии), и если в нем есть пропуски, то не столь крупные по своему значению. По крайней мере, мы можем указать только один существенный пробел, да и тот трудно поставить в вину редактору сборника. Пробел состоит в том, что в сборник не введены шлиссельбургские материалы (по данным Департа-та полиции), напечатанные Г. А. Лопатиным в журнале „Былое“, в № 13 заграничного издания, с его комментариями и пояснениями. Как эти комментарии, так и разного рода пояснения Лопатина, не говоря уже о самих материалах, представляют несомненно большое значение для выяснения некоторых сторон жизни в Шлис-сельбурге, не затронутых в остальной литературе об этой крепости; представляют они также интерес для характеристики самого Лопатина.

Можно, конечно, пожалеть, что этих очерков нет в сборнике Шилова, но если бы он их и поместил, и они не дали бы чем-нибудь существенным то впечатление, которое сборник теперь производит.

Содержание сборника до такой степени не соответствует общей репутации Лопатина, что на эту диспропорцию нужно бы прежде всего обратить внимание самому Шилеву и тем или иным путем ее объяснить, хотя бы в кратких комментариях. Правда, это привело бы его к необходимости дать небольшую психологическую характеристику Г. А. Лопатина, что далеко раздвинуло бы рамки, поставленные им для своей работы, — но без такой характеристики сборник произведений Лопатина теряет почти все свое значение. Больше того: — он дает в известном смысле искаженное представление о Г. А. Лопатине, чего А. А. Шилев, разумеется, не хотел, на что он, конечно, не рассчитывал. Дело в том, что Г. А. Лопатин органически не мог писать для печати, не мог написать ни одной строки, если знал, что то, что он пишет, будет опубликовано.

Писать для печати для него являлось настоящим мучением, нравственной пыткой в буквальном смысле этого слова. После выхода из Шлиссельбурга Германа Ал-ча со всех сторон осаждали просьбами написать то в один журнал, то в другой, то для русского издательства, то для иностранного, свои воспоминания, либо вообще о своей жизни, такой легендарной и такой глубокой по своим переживаниям, либо о тех или иных частных эпизодах, напр., о знакомстве с Карлом Марксом, представляющем не только биографический, но и общенаучный интерес. Запас наблюдений у Лопатина был колоссальный; исключительно крупной являлась у него также способность к наблюдению, умение подметить в человеке и явлении самые характерные черты. При таких условиях записать свои воспоминания, казалось, для него было так просто, и, однако, этой простой задачей он никогда не мог выполнить. Не потому, что не хотел, а потому что, повторяю еще раз, органически не был способен к литературной работе в обычном смысле такого слова. Каждый раз, когда Лопатин садился за работу с намерением что-либо написать для печати, знал притом, что он пишет для печати, его мысль каменела, и он оказывался не в состоянии, несмотря на все усилия своей страшной воли, что-либо создать. И это являлось тем более странным, что вообще-то литературной речью, как и разговорной, он владел в совершенстве, в чем не трудно убедиться, пересматривая теперь сборник, составленный Шилевым. Но и при этом читатель должен обратить особенное внимание на то, что все статьи и вообще все произведения, введенные в этот сборник, написаны

были Г. А. Лопатиным тоже как бы случайно, без мысли, что он пишет для печати. Строго говоря, это даже не статьи, — там вот ни одной статьи в общепотребительном смысле такого слова, — а только быстро набросанные письма, которые почти всегда были интимны, не предназначались для печати, а если предназначались, то не Лопатиным, а другими лицами, его адресатами, о чем он мог не думать, даже мог забывать, составляя то или иное из своих посланий. Письма, это — настоящий род литературной деятельности Лопатина, представляющий огромный интерес, и только тогда, когда они будут собраны и опубликованы, мы получим должное представление о том, что представлял собою Г. А. Лопатин в литературном отношении.

Иллюстрацией ко всему этому являются почти все печатные статьи Лопатина, введенные теперь Шиловым в рецензируемый сборник. Такова, напр., самая крупная печатная статья Лопатина, очерк „Не-наши“. Это тоже не статья, а письмо к Лаврову, разросшееся в журнальную статью независимо от автора. Совершенно таким же образом составились две другие статьи того же сборника, представляющие крупный интерес, это именно статьи о Щапове и Худякове, — и та и другая являются по первоначальному замыслу ответными письмами на соответствующие запросы Лаврова. Для того, чтобы получить от Лопатина ту или другую статью, так и надо было делать. Нужно бывало в таком случае создать ему, пусть даже только фиктивную, уверенность, что то, что он пишет по чьей-либо просьбе, есть простое ответное письмо, а не статья, предназначенная для печати. Тогда порой, севши что-нибудь писать и не зная или, по крайней мере, не думая, что он пишет для публики, Герм. Ал. мог дать волю своей потребности творчества и своим литературным способностям, которые у него безусловно были, и очень крупные; в таких случаях незаметно для самого себя он превращал свои письма в целые статьи и столь же легко мог бы превратить их даже в книги.

Г. А. Лопатина и самого ставила часто в тупик эта его неспособность писать для печати, зная, что пишешь для нее. Почему это случалось, он не мог дать себе ответа. Не раз в разговорах он обращался к этой теме и пробовал разными соображениями объяснять тот психологический процесс, который давал такие странные результаты. Однако вполне удовлетворительных объяснений он не находил и обычно кончал свой разговор на эту тему заключением, что это какой-то особый вид неврастении, которой он, по-видимому, охвачен. Но чем бы эта способность (или неспособность к литературной работе) ни объяснялась, она у него несомненно была, и, игнорируя ее, нельзя понять, почему так скромно и так незначительно оставленное им литературное наследство. Дабы предотвратить в этом случае неизбежное разочарование читателя при знакомстве его с печатными статьями Лопатина, и были бы необходимы те комментарии к настоящему сборнику, о которых я говорил выше. Правда, как видно из дополнительных пояснений А. А. Шилова к составленной им книге, работа его протекала в таких условиях, при которых трудно было выполнить всю намеченную им себе программу, благодаря чему, возможно, не был заполнен и указанный пробел. Читатель должен, однако, иметь в виду и наши замечания, чтобы не получить в этом случае о Г. А. Лопатине ненадлежащего представления.

Евгений Колесов.

ВЕРА ФИГНЕР. *Запечатленный Труд*. Ч. I. Москва, 1921 г. Стр. 348. Ч. II. *Когда часы жизни остановились*. Москва 1922 г. Стр. 240. Изд. „Задруга“. Цена не обозн.

Известная деятельница „Народной Воли“, вынесшая затем в Шлиссельбурге 18 летнее заключение, Вера Николаевна Фигнер подарила литературу своими воспоминаниями, озаглавленными „Запечатленный Труд“. Самое заглавие, сначала несколько непонятное, оказывается замечательно метким: печатные строки запечатлели труд всей жизни одного из крупнейших деятелей русской революции и притом запечатлели в истинно художественно-литературной форме. Вполне прав автор, говоря в пре-

дисловии во второй части, что „если не воскресают мертвые, то книги воскресают“, причем ссылается на Сильвио Пеллино („Мои Техники“) и Де-Костера („Улешнигель“). Вера Николаевна пишет, что настанет время, когда ее книга „будет нужна“. Эта книга — памятник борьбы самоотверженных революционных единиц с колоссом самодержавия, семидесятиников, до сего времени не превзойденных по силе энергии и проявленной ими воли в борьбе последующими поколениями. Эта книга — апофеоз энергии и силы воли тех же людей, сумевших и в таком заключении (для них таившегося неких 25 лет!) с достоинством удерживать в заложанных руках знамя революции, единственное звено, оставшееся у них от прошлого и связующее их с будущим... Эта книга нужна и теперь, и в будущем, и останется нужной всегда, как живая картина прошлого, как яркий эпизод столетней борьбы с царизмом. Нет сомнения, что „Залочателенный труд“ будет переведен на языки всех цивилизованных стран и не потому только, что в данное время „зрачек всего мира“ устремлен на Россию, а по своему внутреннему художественному и историческому значению.

Нет никакой возможности, даже в самом кратком виде, передать содержание двух уже появившихся в печати томов воспоминаний В. Н. Фигнер. Читатель обязан прочесть их в подлиннике. В первой части он найдет блестящий очерк революционного движения за 1874—1883 г. г.; во второй — мастерски написанную психологию идейного деятеля, переживающего им в бессрочном заключении. Автор упоминает о Сильвио Пеллино и его заключении, но он не сказал, что десятилетняя тюрьма морально сломила итальянца Пеллино, и он вышел из нее мистиком. Читатель увидит, что двадцатилетняя одиночная тюрьма, при неизмеримо худших условиях, чем австрийские тюрьмы 1820-х г. г., не только не сломила энергии и поражающей силы воли русской женщины, но даже еще более закалила их, если это вообще было возможно.

Переходя к частности, следует сказать, что у читателя является сожаление, что Вера Николаевна так мало (вернее, почти совсем) не говорит об идейной эволюции, пережитой некоторыми заключенными в связи с новыми веяниями, проникшими в Шлиссельбург через позднейших заключенных и литературу (стр. 283—84, I ч. и 159—60, II ч.). Нельзя даже вывести определенного заключения, пережили ли подобную эволюцию сам автор, и лишь в двух местах (стр. 283—84, I ч., стр. 180—II ч.) мы находим косвенный намек на это. Это очень жаль, особенно в силу того, что до сих пор не опровергнуто то положение, что наши революции (1905 г. и обе 1917 г.) прошли для громадного большинства русского народа (крестьянства) под народническим знаменем „Земля и Воля“. Все частности, касающиеся шлиссельбуржцев, исторически интересны, а посему интересно бы было знать, кому из них свойственно было обладать лучшим историческим предвидением?

Было бы желательно, чтобы воспоминания В. Н. являлись одним из классических трудов по истории русской революции, но, как и всякие воспоминания, они не могли, конечно, избежать в первом издании некоторых фактических неточностей. Поэтому будем надеяться, что оставшиеся еще в живых, но уже немногочисленные народолюбцы внесут и свои фактические поправки, как это уже сделала А. В. Якинова, в № 1 „Ист.-Рев. Вестника“. Некоторые из этих замечаний касаются спорных вопросов и затруднительно сказать — где правда.

До сих пор, например, точно не выяснена причина неудачи взрыва под Александровским. Вера Ник. говорит о неправильном соединении электролов. В прим. к „Процессу 16 террористов“ (Петерб., 1906 г.) В. Л. Бурцев говорит то же самое, но неизвестно, откуда он берет эти данные. А. В. Якинова опровергает эту версию, — говоря, что „причина неудачи осталась неизвестной“. Но с ее замечанием, что количество динамита в Зимнем Дворце (5 февр. 1880 г.) было будто бы достаточным для взрыва царской столовой, никак согласиться нельзя. Оно было бы достаточно, если бы динамит находился в стене или в мине, но при открытом его состоянии производить взрыв при таком количестве являлось технической ошибкой, если задавались целью уничтожить врага а не целью одного лишь морального воздействия. Вообще же говоря, замечания

А. В. Ликиной заключают много до сих пор еще неизвестных фактических подробностей. Она ошибается лишь, говоря, что А. Арончик умер в Алексеевском равелине (он умер в Шлиссельбурге, 2 апр. 1888 г., а А. Михайлов умер, действительно, в равелине, но не в начале своего заточения, а 18 марта 1884 г.).

Имея в виду второе изд. „Запеч. Труда“, в котором автор может исправить некоторые фактические неточности, а может быть, и согласится с указаниями на иную версию еще „спорных вопросов“, не лишним будет сделать кое-какие замечания, придерживаясь последовательности страниц текста обеих частей.

В предисловии, (с. VI) акт 1 марта 1881 г. неудачно назван „катастрофой“. Из дальнейшего изложения ясно видно, что сам автор, как и следовало ожидать, видит в этом событии весьма полезный для России акт, а никоим образом не катастрофу.

На стр. 82 поездка группы пропагандистов (А. Квятковский и др.) в Нижегородскую губ. отнесена к 1876 г. Если автор имеет в виду народническое поселение, с хутором И. Л. Динева (Дж. Филиппа) во главе, то оно было в 1877 г., уже после образования организации „Земли и Воля“.

На стр. 86, говоря о разработке новой программы деятельности, приведшей в конце концов к организации „Земли и Воли“, автор, можно думать, приписывает главную роль в этой разработке Ю. Н. Богдановичу, Н. И. Драго и А. И. Иванчичу-Писареву. Это неточно. Разработкой этой занята была коллективная мысль всех участвовавших в хождении в народ, а если уже выделять личности, то на первом плане следует поставить М. А. Натансона и его единомышленников.

По поводу Казанской демонстрации (стр. 91) и толков среди молодежи (вернее было бы сказать среди „публики!“), что индигаторы демонстрации употребили будто бы публику, как орудие для своей цели, следует сказать, что толки эти действительно были, но имели в виду не „организацию“, а отдельных лиц. В. Н. ошибается, говоря что вся организация присутствовала самолично на площади. Предварительно было постановлено организацией, чтобы некоторые ее члены (в том числе и Алексей Андреевич Емельянов — „Архип Петров Боголюбый“) не присутствовали. М. А. Натансон тоже открыто не присутствовал на демонстрации, что, повидимому, главным образом и подал повод к упомянутым толкам...

Стр. 98. Шипов Финогенов был убит летом 1877 г. А. К. Пресняковым в результате дознания о М. А. Натансоне и др. (т. наз. „О-во друзей“), а не одновременно с этими арестами.

На стр. 120 корректурная ошибка — вместо Осинский напечатано Осиповский. Стр. 124. Едва ли правильно утверждение, что убийство харьковского губернат. Крапоткина было организовано и „осуществлено“ В. Осинским. Валериан, правда, участвовал в организации этого акта, но осуществил его Гр. Гольденберг и Д. Кобылянский.

Стр. 127—129. Говоря об образовании в 1879 г. около А. Д. Михайлова и А. А. Квятковского подсобного кружка, В. Н. на приписывает ему „громкое“ (вернее романтическое и вполне не гармонирующее с семидесятинами!) название „Победа или Смерть“. Насколько нам известно, только один Н. А. Морозов в своих воспоминаниях говорит о таком названии. Точно ли это? И не следует ли причислить его к категории добродушно-иронических шуток кого-либо, вроде „троглодитов“ Д. А. Клеменса? — Н. И. Кибальнич судился не по проц. 193, а по собственному делу. Арестован он был в октябре 1875 г., а вышел на волю в мае 1878 г. Затем он отбыл 2 месяца тюрьмы. Дважды пытался вновь поступить в Мед.-Хир. Академию (он был на 3 курсе), Кибальнич лишь в августе окончательно убедился, что все пути ему туда закрыты. — Автор упоминает, как о членах той же группы, о „супругах А.“. — Следует ли даже и теперь, когда подобные разоблачения вполне уже безопасны для личностей, ограничиваться одними инициалами? Тот же вопрос следует поставить и об умолчании имени лица, которому поручен был взрыв мин на М. Садовой ул. из лавки Кобозева. Ведь и из того, что так картинно сказано В. Н.-ой о невозмутимом спокойствии этого лица перед отправлением в сырную лавку, и по другим подробностям (стр. 208—209) даже

бегло знакомый с событиями той эпохи человек безошибочно назовет это лицо. Догадается об этом и всякий внимательный читатель, определив и мотивы умолчания: лицо это еще живо и оно так скромно, что ему неприятно присоединение еще одного громкого факта ко многим другим, уже известным. Но для историка революц. движения, каким является автор „Запечатл. Труд“, следовало бы пренебречь этики соображениями, тем более, что дело идет, ведь, не об умалении лица, а о еще большей любви и уважении к нему.

На стр. 132 В. Н. перечисляет участников Воронежского съезда землевладельцев 1879 г., причем список автора не вполне совпадает со списком другого участника съезда О. В. Антекмана („Земля и Воля“—Русск. Ист. Библ., № 19. Изд. А. Сурац („Донская Речь“), 1906 г., стр. 189). Из числа переименованных В. Н-ой по О. В. Антекману отсутствовали Мощенко и Хотинский („уехали, не дождавшись съезда“), Преображенский и Пресняков (не упоминаемый В. Н-ой) „не прибыли во время“. Кроме того он упоминает Е. Д. Сергееву, о которой ничего не говорит В. Н-на. Разногласие это легко могли бы выяснить еще живущие участники съезда.

На стр. 137 вырвалась очевидная опска: Чубаров и Лизогуб были, казнены 10 авг. 1879 г. одновременно с Иосифом Ям. Давиденко, а не с Малинкою и Дробизгным, которые были казнены (7 декабря 1879 г.) вместе с Майданским.— Квартира А. Кватковского стр. 141) была по Лештукову пер., д. 13, кв. 22. Кстати, его отчество было Александрович, а не Васильевич (стр. 164). Найденный у него при обыске набросок плана Зимнего Дворца сразу был признан за таковой (а не после взрыва 5 февраля), но власти не догадались о значении поставленного на нем креста на месте царской столовой, хотя подробный осмотр соответствующих частей дворца и был ими сделан.— Квартира по Екатерининской ул. в Одессе (стр. 155), по словам Гольденберга, была под № 66 (а не 61).

По поводу ареста А. Д. Михайлова при выходе из фотографии (стр. 171) следует сказать, что он в данном случае истинно испытал судьбу. То, что описывает В. Ник. (предупреждение его женою фотографа), произошло накануне его ареста, когда он успел скрыться, но, несмотря на это, он на другой день вновь пошел за карточками осужденных товарищей...

Долголетний союзник Нечаева (стр. 193) по Алексеевскому равелину был не Шевич (как писал сам Нечаев), а Бейдеман (Мих. Стен.).— Нечаев сносился с волею через солдат равелина, а не через жандармов (стр. 193 и 197).

Во время суда солдаты равелина называли Нечаева „№ 5“, так как произносить его фамилию было запрещено (стр. 200).— Бардовский (мировой судья в Варшаве) был казнен 16 января 1886 г., а не в 1884 г. (стр. 202).

В. Н. говорит на стр. 213, что она „думала, что ночью Исаеву дадут покой, и потому не видела риска оставаться у себя“ (на конспиративной квартире) до утра. Судьба и на этот раз спасла В. Н-ну, искушавшую ее неоднократно. Первомартовцу А. В. Тыркову удалось в Петропавловке однажды, когда находившийся в камере у Исаева жандарм заснул, перестукаться с Исаевым. Он сообщил, что его без перерыва все ночи держали, стоя на стое, перед дефилировавшими дворниками, так что в последнюю ночь (о которой и говорит В. Н.) он уже не в состоянии был сам держаться на ногах, и его поддерживали под мышки двое городских.— До усмирения Кавийской тюрьмы после побега в 1882 г. там не „практиковались побой“ (стр. 227).— Стр. 233, прим. Заславский был действительно осужден на 10 л. кат. работ, но они были ему заменены ссылкой на поселение (в Тулку, Иркут. губ.) по неизлечимой болезни З.; он вскоре умер.

Перечисляя состав Исп. Ком. „Нар. Воля“ до 1 марта 1881 г. (стр. 242), В. Н-на не упоминает печальной памяти Гр. Гольденберга... Но, как из песни слова не выкинешь, так и из истории. Гольденберг несомненно был членом Исп. Ком. до своего ареста (14 ноября 1879 г.)...

На стр. 254. В. Н-на предполагает, что Гер. Романенко попал в ссылку в Ташкент „в силу слабости его здоровья“. Едва ли Ден. пол. руководствовался такими гумани-

ными соображениями, назначая опыльному Ташкент. В те годы ссылка туда вообще была подозрительна. Туда попадали все, кому особенно симпатизировал Департамент (Елько, Гейер, затем Паули и др.). Из воспоминаний О. Люботович нам известно, что Плеве предлагал ей принять на себя миссию переговоров с Иси. Ком., но она отклонила от себя эту „честь“ и указала на Романенко, как на лицо, годное для этого... Из этого, по ее словам, ничего не вышло, но кое-какие льготы, намеченные Департаментом для этой цели, были все же даны. Напр., Стефанович получил непонятно мягкий приговор, Люботович не судили за побег с поселения, Романенко... вместо Сибири поплы в Ташкент, — В. Талаков судился по проц. 17 (а не 20); он умер в 1884 г. в Трубецком баст. от туберкулеза, так как из-за болезни его не решились, как других, перевести в Алексеевский ровалин.

На стр. 280 в прим., В. Н. задается вопросом: не со времени ли первого знакомства Дегаева с Судейкиным (в начале 1882 г.) началась слежка за Греческим? Это почти несомненно. Но не этим ли знакомством с Судейкиным заложены были и основы будущей явной измены Дегаева? Почему он так уверенно клялся Судейкину после своего ареста в Одессе? Если не найдутся когда-либо записки самого Судейкина, а что он вел их весьма сомнительно, то вопросы эти едва ли когда-нибудь выяснятся.

На стр. 288 находится мало объясненный промах автора, утверждающего, что Гольденберг „не указал ни одного адреса, ни одного нелегального паспорта“. Он указал очень многие адреса и нелег. паспорта. Единственно, что можно сказать в оправдание показаний Гольденберга, это то, что он давал их не из желания спасти себя, а вследствие ограниченности своего умственного кругозора, заигноризированный носулами прок. Добрынского.

На стр. 295, в прим., Вера Ник. говорит, что вскоре после ареста одесской типографии была выпущена М. Калужная, и тотчас пошел слух, что она выдавала, слух, „повидимому пущенный жандармами“. Теперь с достоверностью известно, что слух этот исходил от жандармов, предполагавших, вероятно, снять этим всякие подозрения с Дегаева. Насколько нагло действовал при этом полковник Катанский, видно из того, что в рапорте о покушении на него Калужной он даже не постеснялся назвать ее своим „бывшим агентом“, что явилось прямою клеветой.

На стр. 304 В. Н. говорит, что показания Дегаева датированы были „20 ноября“, и предполагает, что это ошибка и следует читать „20 декабря“. Мне не удалось видеть в архиве этих показаний, но уже по содержанию их, относящемуся и к 1883 г., ясно, что они не могли быть написаны Дегаевым при аресте его 18 декабря 1882 г. Он мог закончить их и подписать для предстоящего суда 20 ноября 1883 г.

По поводу II ч. „Запечатленного Труда“, носящего такой меткий подзаголовок — „Когда часы жизни остановились“ в застенках Шлиссельбурга, приходится сделать лишь немногие замечания.

На стр. 16 автор говорит, что Крыжановский (переведенный с Кари) умер в Шлиссельбурге в первые годы. Официальных данных о пребывании Кр. в Шлиссельбурге пока не найдено, но по отзывам заключенных он содержался в Петропавловске, а после некоторое время и в Шлиссельбурге. Однако мало вероятно, что Кр. там же и умер, так как весьма многие утверждают, что после Шлиссельбурга Крыжановский был на Сахалине, куда его перевели после подачи им прошения о помиловании.

Стр. 20 — 21. Е. Минаков действительно покушался убить предателя Гомтцова, а расстрелян Минаков был через две недели после суда 21 ноября 1884 г.

Б стр. 98. Автор говорит, что заключенные искали объяснений, почему вышедший на поселение в 1888 г. В. А. Караулов не передал на воле никаких поручений в том, что ему угрожали возвращением в крепость, если он проронит хоть слово о ком-либо из заключенных, и что Караулов много лет спустя печально опровергал это.

Мне не случилось познакомиться с этим опровержением, но, встретясь в 1889 г. в Сибири с В. А. Карауловым, мне пришлось от него лично слышать об этих угрозах, которыми он и объяснял свой законизм в ответах о Шлиссельбурге. Только, ближе

познакомившись, удалось кое-что узнать от Караулова о Шлиссельбурге, но эти сведения были весьма скудными, так как, по его словам, он сидел в Шлиссельбурге, почти совсем воздерживаясь от перестукиваний, и о других узниках почти ничего сам не знал.

Лаговский посажен был админ. порядком в Шлиссельбург (стр. 99) по высочайшему повелению.

К стр. 102—103, прик.—Манучаров, содержавшийся, как ссыльный на Сахалин, в Северной башне Бутырок передал политической партии, содержавшейся в Часовой башне, сведения о Шлиссельбурге (обнародованные в 1896 г. в сб. „Наше Время“) и несколько стихотворений, в том числе и стихотворение В. Н-ны „Расскажи мне, мой милый, мой любящий друг“. Среди политических был С. А. Басов (Верхоляцев), которому товарищи и поручили написать ответ, обнадеживающий шлиссельбуржцев, так как и сами политики Часовой башни преисполнены были в то время всякими надеждами, рассчитывая на уже начавшийся подниматься революционный вал. Басов на другой же день справился с заданной темой, и оба стихотворения с соответственными комментариями тотчас же пересланы были Н. К. Михайловскому. Они появились в ближайшем № „Русск. Бог.“, и мы уверены были, со слов Манучарова, что они достигнут цели. Так оно и вышло; хотя и с запозданием шлиссельбуржцы прочли привет с воли. Подпись „М.“—заглавную литеру фамилии Манучарова—В. Н. приняла а за инициал фамилии Н. К. Михайловского, который чрезвычайно горячо отнесся к этой возможности послать привет народолюбцам.

На стр. 83 очевидно типографская ошибка и вместо четинского коменданта („друга декабристов“) Лепарского напечатано Каринского.

После воспоминаний В. Н-ны, и имени Лепарского история прибавит также и имя коменданта Шлиссельбурга Гамгарта, в связи с шлиссельбуржцами-народолюбцами и история не забудет этого имени!

Настоятельно рекомендуем всякой фундаментальной библиотеке—особенно учебных и воспитательных заведений—приобрести обе части „Запечатленного Труда“ В. Н. Фигур.

Н. Тютчев.

А. В. ЛУЧИНСКАЯ. *Великий провокатор. Лето Азефа*. Издательство „Радуга“. Петербург-Москва.—1923. Стр. 126.

Редко встречаются книги до такой степени наполненные чисто фактическими ошибками, как „Великий провокатор“ А. В. Лучинской. Ошибки у нее ошметы, как из рога изобилия. Отметим некоторые, так как перечислить все их—невозможно.

На стр. 19 Лучинская рассказывает историю томской типографии, с которой начались предательства Азефа внутри России (перед тем он был за границей). Евгений Филиппович настаивает на том, что всего удобнее будет устроить свою типографию в Томске. И вот, несмотря на то, что все соображения говорили против этого, типографию там все-таки устраивают. Автор желает этим оттенить значение, которое уже тогда играл в партии Азеф.

Всё это по меньшей мере недоразумение:—устроить типографию в Томске решено было задолго до того, как Азеф появляется в среде московских эс-еров. Еще в 1898—1899 г.г. для устройства типографии в Сибирь выехал В. Е. Павлов, занявший там место, сначала врача на ст. Татарск, а затем, когда оказалось, что на врачебном пункте типографию устроить неудобно, перешедший на коронную службу, в качестве переселенческого чиновника. Как заведующий переселенческим пунктом в Томске, он и решил приспособить одно из зданий для типографии, что и было сделано без всякого вмешательства Азефа.

— „В сентябре 1901 г. томскую типографию накрывают,—сообщает Лучинская,—когда она успевает выпустить лишь один номер „Рев. России“ (№ 3-ий). Часть членов

Сев. Союза арестовывается, остальные скрываются за границу. Дело с провалом объясняется тем, что „шпики“ выследили некую Антюх-Вербицкую, и тем, что она недостаточно корректно держала себя на допросах“.

Вербицкая держала себя на допросах действительно не корректно и давала повод для разного рода подозрений, что ставило Азефа в очень благоприятное положение. С другой стороны, самый факт его предательства был трудно уловимым. — Азеф указал в данном случае на некоторых лиц, главным образом на Барыкова, который должен был заведывать типографией, и предложил Моск. охр. отд. следить за ним. Сам он при этом оставался в тени, лишь слегка приоткрывая уголок завесы, скрывавшей жизнь революционного подполья от взоров полиции. Всё остальное делало уже наружное наблюдение, не бросая тень на провокатора.

Так и было в данном случае. Барыков выехал в Томск издадека, сколько помнится — с Кавказа. На пути он делал разные остановки и, разумеется, мог попасть то здесь, то там в сеть наружного наблюдения, достаточно искусно поставленного. Все это было так хорошо законспирировано, что мысль о предательстве изнутри едва ли могла кому прийти в голову. Не было для этого данных, хотя почти у всех арестованных по делу томской типографии оставалось неясное сознание, что произошло что-то непонятное. Приходила также в голову мысль о том, что причина провала коренится где-то около Барыкова (помним Вербицкую). По крайней мере, сам я, сидя по делу томской типографии в таганской тюрьме, слышал от В. Е. Павлова, что по его мнению на след типографии навел Барыков, против чего, впрочем, сам Барыков категорически протестовал. Так, однако, или иначе, но А. В. Лучинская всю эту историю излагает слишком уж упрощенно.

Не мешает внести и еще несколько мелких поправок к приведенной выше цитате. Арестована была не „часть членов“ Сев. Союза или „главарей“, как выражается Лучинская в другом месте, а все, за исключением М. Ф. Селюк, выехавшей за границу. Уехать за границу или перейти на нелегальное положение имели возможность, впрочем, и другие, но сами не пожелали это сделать.

Неверно, наконец, что типография успела выпустить № 3 „Рев. Россия“. Она была взята за работой над №-ром 3-им и выпустить его не успела, о чем А. В. Лучинская могла бы прочесть, напр., в книге Спиридовича, дабы не делать лишних ошибок.

На стр. 40 Лучинская рассказывает другую аналогичную историю, бывшую в августе 1905 г. на этот раз в Н.-Новгороде. — „В начале августа провалился областной съезд в Н.-Новгороде. Там же пришлось ликвидировать и только что начавшиеся приготовления к покушению на губернатора Унтербергеря. Оба дела пропали из-за слежки полиции. Азеф заметил это первым и предупредил других. Не будь этого, партия поплатилась бы арестом многих работников и боевиков“.

Лучинская даже пишет: — „Азеф, как только приехал в Нижней, тотчас же заявил: — За нами следят“...

Всё это — безнравственность. Никакого областного съезда в Н.-Новгороде в то время не собиралось. Намечался там съезд части боевиков (на ярмарке) с Азефом и Савиновым во главе, но к областным делам он не имел никакого отношения. Наблюдение за приехавшими, действительно, было сразу замечено, но не Азефом, тем более не им первым, а другими. Что же касается Азефа, то он, напротив, отрицал наличие слежки, что и понятно: — ему надо было показать агентам полиции съехавшихся боевиков и тех, с кем они там виделись. Неверно также, что начавшиеся приготовления к покушению на Унтербергеря пришлось ликвидировать. Они не были ликвидированы, а продолжались, тем более, что к этому делу центральная боевая организация не имела отношения; оно выполнялось местными силами. Покушение не состоялось не из-за слежки полиции, а по совсем иным причинам, и те, кто его организовал, остались невредимыми. Из них трое принимали потом участие в общей боевой работе, а один из трех — Федя Назаров, сорочковский рабочий, явился даже исполнителем приговора над провокатором Татаровым.

Далее почти тут же, на 41—42 стр. Лучинская рассказывает о прекращении террора Ц. К. после октябрьской забастовки: „Центр. Комит. выпускает манифест о прекращении террористической борьбы партий соц-рев-ов, и в ноябре начинается разбег боевиков“.

Но, ведь, в то же время в Могилеве Езерская стреляет в губ. Клингенберга; в Саратове Быценко убивает ген. Сахарова; в Самаре совершается покушение на ген. Сергеева; в Тамбове под ударами террористов падает вице-губ. Богданович, а вскоре после этого происходит покушение Сиридоновой на Луженовского. Кто же совершал эти акты, и в каком отношении стояли они к прекращению террора?

На стр. 55—56, а также на 44—45 Лучинская касается одного очень крупного факта в истории боевой организации, — сложения полномочий Азефом и Савинковым. Внутренней истории этого события (для партии это было в то время целым событием) она совсем не освещает, так как этой истории просто не знает. Самые факты она безбожно путает. На стр. 44—45 относит к 1905 г. то, что происходило годом позже, осенью 1906-го. На стр. 55 она отнесла к концу 1906 г. происходившее в середине этого года. Там же, нарушая всю последовательность рассказа, Лучинская переходит к аресту Сулатидского и к отношению к этому аресту Азефа; упоминает о — „савинковской группе против Лауница“, путая ее с другими группами, и т. д. Запутав таким образом и читателя и самую себя, А. В. Лучинская обращается снова к отставке Азефа и Савинкова и говорит:

— „Ц. К. принял отставку. Новыми заведующими Б. О. были назначены Слетов и Гроздов — член Поволжского областного Комитета“.

На стр. 92 снова повторяется то же самое, и в качестве руководителей Боевой Организации опять фигурируют Слетов и — „Гроздов“. Так что о случайной обмолвке тут не может быть речи.

Никакого — „Гроздова“ в партии не было. Откуда почерпает о нем сведения Лучинская — неизвестно. Был, правда, в Поволжской обл. Дроздов, иначе — „Тамбовец“ но этот Дроздов никогда никакого отношения к боевой работе партии не имел. Что касается Слетова, то он в данный момент стоял в стороне от боевой работы и менее всего являлся руководителем боевой организации. После того, как Азеф, а вслед за ним Савинков (Савинков в то время всегда шел вслед за Азефом, а не наоборот, как представляет дело Лучинская), сложили с себя полномочия, руководителем боевой организации стал не Слетов, и тем более не „Гроздов“, а Лев Ив. Зильберберг, позже, в августе 1907 г., повешенный под именем Штифтера.

Зильберберг сыграл тогда большую роль в Б. О., и роль героическую. Но было бы напрасным искать об этом какие-либо сведения у Лучинской...

На стр. 57—58 Лучинская пишет: — „В Таммерфорсе 6 августа собирается второй съезд партии соц-рев-ов. На съезде — савинковский доклад о реформе террористической организации“, и пр.

На резолюции Таммерфорского съезда в свое время, во второй Думе, разогнанной 3 июня, ссылался Столыпин. Следовательно, съезд никак не мог происходить 6 августа. Он происходил не в августе, а в феврале 1907 года; в этом может убедиться всякий, кто хотя раз видел протоколы его заседаний, давно напечатанные отдельной книгой. Затем из тех же протоколов, если бы они были ей известны, А. В. Лучинская могла бы убедиться, что на Таммерфорском съезде Савинков не присутствовал и никакого доклада там не читал.

На стр. 90 новое открытие, на этот раз о роли Азефа в подавлении восстания в Москве. в декабре 1905 г. — „За два дня до начала восстания Азеф приехал в Москву и весь период подавления восстания пробыл там“, и пр.

Как раз за два дня (или даже за день) до начала восстания ко мне на квартиру в Москве пришли, уже поздно вечером, Чернов и Азеф и заявили, что по их мнению и по их сведениям в Москве не предвидится в ближайшее время никаких событий, в Петербурге же, напротив, предстоит генеральный бой, для которого туда стягиваются

партийные силы. Поэтому, они предложили мне от имени Ц. К. немедленно вместе с ними выехать туда, что мы тогда и сделали: прямо с моей квартиры поехали на вокзал и оттуда в Петербург.

Я тогда пробыл в Петербурге до 20 или 21 декабря. Азефа я видел почти каждый день, часто ночевал с ним на одной конспиративной квартире. Могу уверить А. В. Лучинскую, что в Москве его в то же время быть не могло. Хотя он и — „великий провокатор“, но все-таки не настолько, чтобы сразу в одно время быть в разных местах.

На стр. 53 — 55 Лучинская вновь допускает такую путаницу фактов, разобраться в которой даже знающему человеку не легко. Запутать, впрочем, всегда легче, чем распутать. В указанном месте Лучинская говорит: — „С открытием Госуд. Думы первого созыва, согласно решению совета партии с.-р., террористическая борьба снова была приостановлена. А между тем, только что перед тем Азеф взял на себя организацию покушения на Столыпина, а Савинков на Чухнина и уже уехал для этого в Севастополь“.

— „Перед тем“, т.-е. перед первой Думой, Столыпин был саратовским губернатором, — не более. Он тогда еще ничем особенным не привлекал внимания партии, и вероятно, чтобы Азеф, руководитель центр. боевого отряда, стал брать на себя организацию покушения на провинциального администратора. Лучинская здесь путает очевидно вот что: — хотя во время первой Думы террор был приостановлен, но было все-таки сделано персональное исключение для ген. Трепова (а вовсе не для Столыпина), и все, что тут Лучинская говорит о Столыпине, относится, быть может, к Трепову. Но если это так, и если А. В. Лучинская не просто тут сочиняет сама разные факты, то спрашивается: как же она могла смешать Трепова со Столыпиным, или это также исключ., на которые она не считает нужным обращать внимание?!

Далее А. В. Лучинская, как мы видели, говорит, что Савинков для организации покушения на Чухнина выехал в Севастополь. Это было уже в середине мая 1906 г., здесь во время покушения на ген. Нелидова, произведенного местной организацией, — „Савинков, — по рассказу Лучинской, — был во время налета случайно арестован на улице с двумя только что приехавшими боевиками“.

Савинков был арестован вовсе не случайно. За боевиками, приехавшими на свидание с ним, следил шаг за шагом от самого Харькова, с места их отправления.

На той же странице Лучинская рассказывает, как Азеф сомневался в успешном исходе задуманного Зильбербергом освобождения Савинкова с военной гуттвахты в Севастополе (в успехе этого предприятия многие сомневались). Азеф сомневался, но о нем и на об этой попытке и не распространял ее, — между тем Лучинская на это обстоятельство не обращает внимания, а оно имеет чрезвычайно важное значение для характеристики его тогдашних отношений с Савинковым, отношений, совершенно не понятых А. В. Лучинской.

— „16 июля Савинков при помощи Зильберберга бежал из тюрьмы, — сообщает далее Лучинская, — и они вместе с участником освобождения Сулатицким и принявшим их в нем оставшимся лейтенантом флота Б. Н. Никитенко морем скрылись за границу“.

Сколько тут путаницы в этих немногих словах! С гуттвахты Савинков бежал не при помощи Зильберберга, а при помощи Сулатицкого, который вывел Савинкова из тюрьмы. Затем Никитенко увез Савинкова и др. в Руминию, на катере, а сам не только не „скрылся“ за границу, как это выходит по рассказу Лучинской, а вернулся в Севастополь, и потом легально жил в Петербурге, работая в Б. О. Все это рассказано в „Воспоминаниях“ Савинкова, которыми чрезвычайно обильно и совершенно слепо, без критики пользуется А. В. Лучинская, но даже их она не может изложить сколько-нибудь правильно.

На стр. 52 Лучинская передает о том, как Азеф во время покушения на Дубасова находился в кофейной Филиппова, на Тверской, как он был там задержан вместе со всей публикой, но — „городовые пропустили его, когда он показал свой знак инженер-технолога“.

Лучше всего в этом рассказе то, что весь он сплошь сочинен самим Азефом, о чем Азеф сам передал Бурцеву во время их свидания во Франкфурте 1912 г., чего Лучинская, повидимому, не подозревает.

Приведу еще один пример такого же рода, но уже более значительный. В целом ряде мест своей книжки А. В. Лучинская, порой даже очень красочно, в полу-беллетристической форме, старается изобразить положение Азефа в мире охранников, дабы вскрыть — „секрет успеха“ его, как там, так и в партии. Но при этом она игнорирует чрезвычайно важный факт: — арест Азефа ген. Герасимовым в Петербурге, в марте 1906 г. Об этом аресте Лучинская не говорит ни слова, между тем значение его для характеристики Азефа и истории его предательства давно уже выяснены в соответствующей литературе. Нет никакого сомнения, что А. В. Лучинская об этом факте просто не знает, ибо, зная о нем, она не могла бы об этом умолчать. И вот, не зная таких кардинальных фактов, А. В. Лучинская тем не менее берется писать книгу об Азефе и излагает историю его провокации. По меньшей мере это весьма смело с ее стороны.

Полагаю, всем сказанным достаточно определяется ценность работы А. В. Лучинской об Азефе. Для этой работы нет места в сколько нибудь серьезной исторической литературе. Она стоит вне такой литературы, и хорошо, если не должна быть отнесена к чисто рыночным произведениям о — „великом провокаторе“. Вскоре после разоблачения Азефа, в журнале „Нов. Слово“, выходившем в виде приложения к „Виржев. Вед.“, появился роман — „Под плащом сатаны“, где Азеф был выведен под именем какого-то — „Маранафы“. Автором этого романа являлся Ясинский, и читатель может себе представить, чего только не было в этом бульварном произведении. Неужели же лавры И. И. Ясинского соблазнили теперь А. В. Лучинскую?

Евгений Колесов.

БИБЛИОТЕКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ. *Систематический указатель статей и материалов, помещенных в журнале „Былое“ за 1917 — 1922 г.г.* (На обложке: „Социалистическая Академия. Библиография периодики. Вып. 3-й. Систематический указатель“ и т.д.). М. 1923 г. С. 29.

Социалистическая Академия приступила к изданию серии полезных библиографических указателей к некоторым русским историческим журналам и журналам, представляющим исторический интерес (напр., указатель статей и материалов, помещенных в нелегальных марксистских изданиях по 1917 г.). Работа по описанию журналов ведется сотрудниками кабинета „истории общественной мысли и революционного движения в России“. Из толстых исторических журналов в первую очередь предпринято описание таких, как „Былое“ и „Минувшие Годы“, которые наибольшее внимание, как известно, уделяли именно статьям и материалам по истории общественных и революционных движений в России.

Рецензируемый третий выпуск „Библиографии периодики“ (как называется серия), выпуск, увидевший свет, насколько нам известно, первым, представляет часть результатов работы по описанию журналов; в него „включены все статьи и материалы, помещенные в „Былом“ за 1917 — 1922 г.г., за исключением рецензий на книги; заглавия статей снабжены, где это нужно, краткими аннотациями“ (с. 3).

Приходится, конечно, приветствовать такое полезное и нужное начинание. Библиография по истории революционных и общественных движений в России находится еще в таком зачаточном состоянии разработки, что каждый новый в ней указатель, как бы ограниченны ни были его рамки, в той или иной степени положительно является вкладом в литературу предмета. А когда речь идет об указателе к периодическим изданиям, в которых напечатано огромное количество свежего интересного и важного материала, такого материала, который в большинстве случаев нигде не перенечатан и нигде не библиографирован, то появление такого указателя, какие бы, повторяю скромные задачи ни ставили себе составители, тем более заслуживает благодарности.

Мы с нетерпением ожидаем выхода в свет следующих выпусков „Библиографии периодики“ и надеемся, что составители не исчерпают свою работу описанием лишь тех журналов, которые перечислены в проспекте, а произведут ту же полезную работу и над другими журналами и газетами исторического значения и над другими историческими журналами (напр., „Голос Минувшего“).

Выражая искреннее желание, чтобы работа продолжалась и плоды ее увидели бы свет, невольно приходится несколько дольше задержаться на оценке лежащего перед нами выпуска „Библиографии периодики“. Считаем необходимым подчеркнуть те редакторские и технические погрешности этого выпуска, которые способны иногда умалять значение всей кропотливой работы до нуля. Желательно, однако, чтобы составители постарались набежать в следующих выпусках тех ошибок, которыми, как ниже убедится читатель, настоящий выпуск буквально испещрен. В противном случае, вся работа грозит быть проделанной напрасно, так как не привлечет доверия читателя.

Первое требование, которое должно быть предъявлено подобному указателю, это — исчерпывающая полнота. Когда пишешь дело с какой-нибудь сотней-другой статей, сконцентрированных в одном журнале, и притом, когда не только не требуется разыскивать материал, но из наличного количества статей не приходится делать выборки, а взять их целиком, достигнуть исключительной полноты прямо легко. Надо только, предварительно сгруппировавши статьи по отделах, лишний раз внимательно перечитать все книжки журнала и проверить записи. Данный указатель, как это ни странно, при его незначительном размере не свободен от пропусков. Конечно, мы не имеем здесь в виду отсутствие указаний на библиографический отдел, которых сознательно, и по нашему мнению неправильно, избегали составители. Неправильно потому, что рецензии, помещаемые в научных исторических журналах, подчас включают оригинальный материал или, по крайней мере, либо существенно исправляют, либо дополняют рецензируемое произведение. Но в указатель не введены такие материалы, которые должны бы были указаны. Вот главные замеченные нами пропуски: Не указаны статьи П. Щеголева „Событие 1 марта и Владимир Соловьев“ (1918, 4—5), заметка Т. Ютчева „Судьба первомайцев“ (там же), заметка „Александр III о студентах“ (1917, 1) и пропущено любопытнейшее, сообщение „Архивный документ. Дело департамента полиции о нападках негального содержания на стенах общественного ретирала в гор. Петровске“ (1917, 1). Из ценнейших библиографических обзоров Б. Николаевского в указателе указаны только два: один, обзор сибирских журналов и газет, в общем отделе „история обществ. мысли и револ. движения“ (с. 5), а другой, обзор литературы о тюрьме и ссылке, в соответственном отделе „тюрьма и ссылка“ (с. 23). Почему не указаны еще три обзора его, представляющие не меньшее значение (1918, 1, 2 и 3)? И, наконец, в отделе „Народная Воля“ указана ст. инж. Н. Рынина по поводу проекта воздухоплавательного аппарата Н. И. Кибальчича, но нет ссылки на самый проект (см. ук. с. 10 и Б. 1918, 4—5).

Второе требование, это — безусловная точность. Отметим некоторые непростительные неточности. Воспоминание Кареева о Лаврове напечатаны в 3-ей кн. за 1918 г., а не за 1917 г. (с. 7); в 19-ой кн. за 1919 г. статьи И. И. Майнова „На закате народофильства“ нет (с. 9); статья Б. И. Николаевского „С. М. Гинзбург в Шлиссельбурге“ напечатана не в кн. 4—5 за 1918 г., а в 15-ой за 1919 г. (с. 9); ст. А. Блока „Последние дни старого режима“ — в 15-ой кн. за 1919 г., а не в 13-ой (с. 18); воспоминания В. Л. Утгофа — в 16-ой кн. за 1921 г., а не в 1-ой (с. 10); сообщение об обретении кошей преп. Серафима Саровского — в 12-ой кн. за 1918 г., а не 16-ой (с. 21) и, наконец, воспоминания И. Коростовица о португальских мирных переговорах печатаясь в четырех книгах журнала Б. 1918, 1, 2, 3 и 12), а не в трех (с. 27, не указана последняя). Подобные неточности никак не отнесешь к разряду случайных „опечаток“ или „описок“. В отношении ссылок на книги журнала составители обязаны были проявить наибольшую щепетильность. Наличие их — результат невнимательного, небрежного отношения к работе.

Эта невнимательность, небрежность чувствуется на каждой почти странице (из 29!). Составители игнорировали всякие поправки и „писма в редакцию“, печатавшиеся в том же „Былом“. Так, напр., автором ст. „Амурская колесная дорога“ в указателе значится А. Виноградов-Бессель (с. 22). Так и в той же кн. „Былого“, где она напечатана. Но в кн. 5—6 за тот же год (с. 386) имеется специальная поправка редакции, в которой указывается, что автором статьи является не Виноградов-Бессель, а А. Соболев. Этого не заметили и не оговорили составители. К ст. Н. Тютчева „Здание у Цепного моста“ (ук., с. 10) и к ст. Т. Кириичникова о восстании Волынского полка в 1917 г. (ук., с. 18) имеются поправки, напечатанные в „Былом“ кн. 12 за 1918 г. (с. 221) и 1-ой за 1918 г. (с. 239). То же наблюдается и в аннотациях. Вот, напр., воспоминания П. Н. Малинговича о пребывании в Зимнем дворце 25—26 октября 1917 г. (ук., с. 18). Поясняя содержание статьи, составители допустили ту же ошибку, что и редакция во вступительном примечании к этим воспоминаниям, написав, что они „представляют отрывок из книги Н. К. Муравьева“ (вместо П. Н. Малинговича). Такое слепое списывание было бы еще полбеды, если бы редакция „Былого“ в той же книжке журнала, не далее как в следующем печатном листе, в особом примечании (1918, 12, с. 141) не исправляла эту ошибку... А составители, разумеется, залепив первое примечание, проглядели второе.

Как характерные примеры, отметим еще отсутствие в некоторых случаях указаний на авторов. Не указан, как автор ст. „Разгром Земли и Воли в 1878 г.“, Н. Тютчев (с. 8). „Программу первого в России с.-д. кружка“ сообщил и сопроводил своим обстоятельным вступительным комментарием Б. Николаевский, что не отмечено (с. 12). Не назван С. Венгерова, как автор предисловия к неизданным стихотворениям В. Р. Шиглева (с. 24). То же в отношении С. А. Венгерова допущено на с. 6 (письмо жены Белинского к художнику И. А. Астафьеву). Место не позволяет, да и просто невозможное (это завлекло бы нас слишком далеко) отметить все фактические неточности, пропуски и т. п.

В указателе, помимо прочего, отсутствует метод и не чувствуется редакторской руки. Составители не наметили себе единого обязательного принципа.

Для чего в указателе к „Былому“ под названием каждой статьи нужно приводить букву „Б“ — „Былое“?

В одних случаях, когда статьи одного и того же автора следуют в указателе рядом, составители при заглавии каждой статьи приводят фамилию автора (см. с. 10, 11, 13 и др.). В других же случаях вместо фамилии автора ставят тире (см. с. 6—С. Аптекман, с. 23—П. Щеголев, и др.). В то же время тире сопровождает в указателе любое анонимное сообщение, любую анонимную статью. В каких же случаях тире обозначает отсутствие авторской подписи под статьей и в каких случаях оно относится к автору предыдущей статьи?

Выше отмечены уже были случаи, когда составители не называли авторов статей. А вот и обратное явление. На с. 20 ук. имеется следующая запись: „Гурович М. И. — Журнал „Начало“. [Участие провокатора Гуровича в редакции журнала „Начало“. Журнал был разрешен с целью иметь среди литераторов своего „агента“]. Таким образом, автор назван М. И. Гурович. Заметка же в журнале имеет заголовок „М. И. Гурович и журнал „Начало“. В ней идет речь о Гуровиче, но он отнюдь не автор заметки... Или в 3-ей кн. Былого за 1918 г. опубликована справка департамента полиции о Г. В. Плеханове. В указателе имя последнего фигурирует, как автора (с. 12). Составители, конечно, прекрасно знают, что не Плеханов писал заметку эту, но, не придерживаясь какого-либо библиографического принципа, неправильно цитировали заглавие статей и неправильно в рубрику авторов включали те или иные имена. Таких примеров можно привести не мало.

Несколько слов об аннотациях. Тут встречаемся с такими примерами. Статью Б. И. Николаевского „С. М. Гинзбург в Швейцарии“, дающую исключительно архивный материал, авторы аннотаций определили, как „воспоминание“ (с. 9). На с. 11 ук. указывается автобиография В. Н. Фигнер. При этом выписаны в круглых скоб-

лах слова „Первое показание в 1883 г.“. Очевидно составители приняли эти слова за подзаголовок. В действительности же на следующих же страницах напечатаны и последние показания В. Н. Фигнер, что в указателе не отмечено. По поводу воспоминаний Кина „Невинно-осужденные“ составители в правых скобках от себя пишут: „Вольченко А. Л. и Берг В. М., приговоренные к 10 г. каторги по Севастопольскому восстанию в ноябре 1906 г.“. Фактически в воспоминаниях Кина представлена целая разнообразная галерея невинно-осужденных лиц, и т. д. и т. д.

Остается сказать только о группировке материала по отделам. И здесь проявлены та же невнимательность и то же игнорирование какого-либо принципа. Есть отдел „Западники и славянофилы“ (с. 6). Одинокое место нашло в нем письмо жены Белинского к художнику Астафьеву, ничего не говорящее ни о славянофильстве ни о западничестве. Письму место в отделе „История литературы“. В общем отделе по истории общ. мысли и револ. движения (с. 5) названы три статьи: библиографическая заметка Е. Колосова об известной Истории револ. движ. Туна, обзор сибирских газет и журналов Б. Николаевского и „Воспоминания шестидесятилетии“ А. Успенской. Первые две из них отнесены туда более или менее правильно. Третьей безусловно место в отделе „Шестидесятилетии“ (с. 6). Ст. Я. В. Стефановича „Русская революционная эмиграция“ и заметка по поводу них Н. Тютчева (с. 7; связь между ними не отмечена, как и в других подобных случаях) относится больше к отделу „Народная Воля“, а не „народничество 70-ых годов“. В одном случае материалы о Шлиссельбурге отнесены в отдел „Тюрьма и ссылка“ (с. 23), а в других — в отдел „Народная Воля“ (с. 11). Речь В. Н. Фигнер „Памяти борцов за свободу“ место не в отделе „Народная Воля“, а в отделе „Смесь“, так как она не касается совершенно „Народной Воли“. В отделе „Волнения в армии“ (с. 16) находим только воспоминания Максимова о севастопольском восстании 1907 г. Между тем там же должны быть указаны и ст. Егорова о кронштадтском восстании, и доклад Меллера-Закомельского о севастопольском восстании 1906 г., и воспоминания Кирпичникова о восстании Волынского полка в феврале 1917 г. и др. Конечно, составители правильно поступили, включив только что названные статьи в соответствующие отделы о 1906 г. и революции 1917. Но раз установлены такие отделы, как „Волнения в армии“, то обязательно следует включить сюда все материалы о движении в армии в разные периоды. Нам кажется, что, поскольку дается классифицированная библиография, постольку же безусловно допустимо и даже обязательно повторение одного и того же названия в двух и нескольких отделах. Ибо сплошь да рядом одна статья тесно связана с двумя или несколькими темами. Каждая из них в указателе представлена особым отделом.

Заключаящие указатель отделы „Различные материалы по русской истории“ и „Смесь“ можно было бы объединить в один, значительно притом сократив их. Напр., воспоминания защитника С. Анисимова об убийстве нач. Тобольской каторжной тюрьмы перенести в отдел „Тюрьма и ссылка“; агентурные донесения „В конце 1916 г.“ и все материалы о Распутине, последние, по словам составителей же (с. 28, № 16), „относятся к последним месяцам жизни старого режима“ — в отдел „Революция 1917 г.“; ст. Е. Тарле „Кн. Бисмарк и царубийство 1 марта 1881 г.“ и материалы о дорис-не-ликовской конституции — без натяжки в отдел „Народная Воля“ или же создать отделы „История конституционных движений“, или „История либерализма“ и т. п.

Если не касаться массы мелких опечаток (Ш. П. Лавров, с. 7, Бирев Н., с. 7. Лукашевич У, (вместо И), с. 9, Б (вместо В.) Срезневский, с. 26, и т. д.), то главные недочеты мы указали, но далеко не исчерпали мелкие.

Выразим в заключение пожелание, чтобы при выпуске следующих указателей серии „Библиография Периодики“ составителями была проявлена большая внимательность и вдумчивость, строгая щепетильность и соблюдена абсолютная точность.

Помимо всего этого, мы вправе от Социалистической Академии ждать и строго выдержанного, научно и точного метода, метода, — мы бы сказали, образцового.

Р. М. Кантор.

OK1
B982
New Son.
10.21-22



3 0000 108 522 859



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DEMCO

